

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988




В.В.КРЕСТОВСКИЙ

•

Н.С.ЛЕСКОВ

•

Д.Л.МОРДОВЦЕВ

•

В.Г.КОРОЛЕНКО

•

Г.П.ДАНИЛЕВСКИЙ

•

Е.А.САЛИАС

•

Д.С.МЕРЕЖКОВСКИЙ

•

Л.Н.ТОЛСТОЙ

•

М.А.КУЗМИН

•

А.И.КУПРИН

•

С.А.АУСЛЕНДЕР

•

Б.А.САДОВСКОЙ

•

В.Я.БРЮСОВ




РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ

•



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

ББК 84Р1
Р89

Составление, вступительная статья,
комментарии
Ю. А. Беляева

Оформление художника
Д. Шимилиса

Р $\frac{4702010100-381}{028(01)-88}$ 1—88

ISBN 5—280—00095—7 (Т.2)
ISBN 5—280—00093—0

ЭПОХИ, ВОСКРЕШЕННЫЕ СЛОВОМ

II

Читатель может заметить, что первый том антологии завершается произведением, впервые напечатанным в 1844 году, а второй — начинается повестью, написанной только в 1873 году. И действительно, согласно наблюдению известного библиографа и историка литературы С. А. Венгерова, исторический роман, «совсем было заглохший в 40-х, 50-х и начале 60-х годов» — «значительное развитие получает, начиная с 70-х годов» [1].

Оценка эта полностью распространяется и на жанр исторической повести. Чем же объясняется неожиданный спад интереса к исторической прозе в середине века? Одна из главных причин, по-видимому,— это победа «натуральной школы», породившей позднее и реализм, и натурализм как господствующие направления и стили в отечественной прозе. Появление остросоциальных произведений, посвященных актуальным проблемам современности, приглушило интерес к прошлому, к исторической тематике. С другой стороны, романтический интерес к старине выглядел старомодным и даже легкомысленным в период начавшегося капиталистического развития общества.

Однако грандиозный успех романа Толстого «Война и мир» и усталость читателя от примитивно понимаемого принципа «злободневности» привели к мысли о неисчерпаемых возможностях исторического жанра, позволяющих решать духовные и интеллектуальные задачи современности.

---

[1] Венгеров С. А. Очерки по истории русской литературы, 2-е изд. СПб., 1907, с. 120.

В 70-х годах появляется группа интересных романистов, почти исключительно посвятивших себя исторической тематике. Эти писатели — Е. А. Салиас, Вс. С. Соловьев, Г. П. Данилевский, Д. Л. Мордовцев — по популярности у русского читателя в тот период опередили не только наших первых классиков — Достоевского и Толстого, но и даже мировых «королей» развлекательного жанра — Александра Дюма-отца и Жюля Верна [1]. Поэтому приходится только удивляться, почему эти два действительно замечательных французских писателя могут широко издаваться в нашей стране, вплоть до 12-томных собраний сочинений, а превосходившие их по читаемости русские исторические романисты не удостоились ныне даже двухтомников, а Салиас и Вс. Соловьев вообще не переиздавались.

Такое непонятное и необоснованное пренебрежение идет от устоявшихся стереотипов тех времен, о которых речь шла выше. Но если с годами исторический жанр был все же реабилитирован, то отечественная критика второй половины XIX века так и не смогла избавиться от заблуждений предшествующего периода. Об этом хорошо сказал критик А. Измайлов: «Салиас разделил общую участь русских исторических романистов. Ни Алексей Толстой, ни Данилевский, ни Всеволод Соловьев, ни Полевой, ни Карнович не стояли в тех рядах, которым сопутствовал попутный ветер критического и читательского благоволения» [2]. Относительно читательского отношения здесь, конечно, допущена явная неточность. Что же касается литературной критики, то ее узкоцеховой «герметизм» подмечен верно. Лишь в начале XX века историческая проза, представленная посмертно опубликованным шедевром Толстого «Хаджи-Мурат», повестями Кузмина, нашумевшей трилогией Мережковского, романами Брюсова, пробила «брешь» в стене критического равнодушия и снисходительности. Эстетствующий журнал «Аполлон» вынужден был заявить: «...в творчестве Мережковского и Брюсова мы можем приветствовать величественное расширение наших культурных кругозоров» [3].

Однако нельзя не напомнить, что это «прозрение» критиков, признавших статус большой литературы за исторической прозой, было подготовлено выступлением на рубеже столетий таких гигантов отечественной литературы, как Лев Толстой и Лесков, Короленко и Л. Андреев.

---

[1] Это утверждение основывается на статистических данных земских библиотек.

[2] Измайлов А. А. Литературный Олимп. Лев Толстой, Чехов, Андреев, Куприн, Горький, Сологуб, Ясинский, Брюсов, Салиас, Соловьев. М., 1911, с. 418.

[3] Аполлон, 1913, № 2, с. 76.

Новый этап в развитии русской исторической повести открывается произведением автора нашумевших антинигилистических романов В. В. Крестовского «Деды».

Журнал «Исторический вестник» отмечал как профессиональную добротность исторической фактуры, так и новый подход автора повести к трактовке образа Павла I, одного из ее главных героев: «В повести «Деды», которая представляет собою характеристику времени императора Павла, автор, оставаясь на почве фактов, хочет сказать, что мрачные представления об этой эпохе преувеличены» [1]. Действительно, понимая всю неоднозначность фигуры Павла I, писатель относится к нему с явной симпатией, подчеркивая в своем герое и здравый смысл, и стремление к рыцарским поступкам и т. д. Он обращает внимание читателей на известные павловские реформы, направленные на преодоление застойных явлений в российском государстве и одновременно на искоренение «духа вольности» среди привилегированных любимцев Екатерины — от высших сановников до простых гвардейцев, «давно уже привыкших к совершенно иным порядкам беззаботной службы и сибаритской жизни». «Именные повеления и указы Павла,— рассказывает Крестовский,— исполнялись изумительно быстро и точно. Он приучил к этому с первых же минут своего царствования». Автор с одобрением восклицает: «Что за тревога и гоньба поднялась вдруг по всем концам государства!» Но, как показано в дальнейших эпизодах повести, перестроить общество в условиях деспотии, закостенелой централизованной власти, было невозможно. Добрые намерения государя, по мысли автора, не увенчались успехом. Одни злоупотребления попросту заменялись другими.

Касается автор и важной темы масонства в павловскую эпоху, но вскользь, не связывая ее с интригами зарубежных политиков.

К числу лучших страниц повести относится описание героического альпийского похода суворовской армии. Насыщенность фактами, яркое воспроизведение быта минувшего времени помогали приблизить к читателю эксцентричную эпоху Павла I.

К тому же направлению исторической прозы относятся, наряду с романами, и многочисленные повести Г. П. Данилевского и Д. Л. Мордовцева: занимательная фабула сочетается в них с углубленным исторически-этнографическим экскурсом, со стремлением поставить в центр повествования фигуру самобытную и в то же время типичную для эпохи.

В незатейливой по сюжету повести Данилевского «Потемкин на Дунае» (1878) привлекает внимание колоритный, парадок-

---

[1] Исторический вестник, 1890, № 12, с. 753.

сальный образ главного героя: «То пышный, блестящий и жадный к веселостям и почестям, то мрачный меланхолик, враг раболепных льстецов и мизантроп, с раскольниками начетчик, с дамами нежный Эндимион, Потемкин ноне являлся ко двору ликующий, беспечный, счастливый, смешивший до слез Екатерину уменьем перецыганивать ее голос, манеру или скакал по Невской перспективе, в зеленой, бархатной бекеше, подбитой на тысячных соболях, в бриллиантах и пуанде-шпанах. А завтра, на целые дни, недели, запирался в комнату и лежал здесь на диване, небритый, немытый, растрепанный, сгорбленный, в заношенном халате и в стоптанных туфлях на босу ногу. Угрюмо и молча хандря, он в такие часы, надо полагать, в удалении и тайности от всех, обсуждал свои высокие пропозиции. По природе лентяй, он, принимаясь за выполнение задуманного, трудился без устали днем и ночью. Ожидая опасности, тревожился, как малое дитя; когда же опасность приходила, он встречал ее беспечно и весело. Скупой и мот, вольнодумец и суевер, он был подобием тогдашней России: дикая необузданность граничила в нем с мягкостью воспринятых европейских нравов».

Как видим, автор стремится дать социальную мотивировку психологическим поступкам своего героя, что свидетельствует об аналитическом характере исторической прозы Данилевского. Другая его работа «Царевич Алексей» (1890) была задумана автором как роман, но в ее незавершенном виде она скорее напоминает историческую повесть с действием, сконцентрированным вокруг одного героя — царевича Алексея Петровича, слабого, влюбленного в старозаветную, патриархальную Русь, своим неприятием нового бросающего вызов великому отцу-реформатору. Повествование обрывается в тот самый момент, когда Алексей должен сделать окончательный выбор и бежать из родного Отечества на Запад, который как раз и служил моделью для ненавистных ему петровских реформ...

Повесть Данилевского «Последние запорожцы» (1878) рассказывает о последних годах существования Запорожской Сечи. Относясь с симпатией к ее героям, бесшабашным, вольнолюбивым сечевикам, автор в то же время отказывается от какой-либо идеализации казачества. Повесть выдержана в жестких, контрастных тонах: «Запорожцы, запасаясь в украинских селах хлебом и прочими харчами и угоняя татарские и польские конские табуны, с набега жгли костелы и монастыри, грабили шляхетские замки и усадьбы и бросали в огонь живьем связанных монахов и ксендзов. Совершив грабеж и расплату с ляхами, они снова исчезали, как дым, и точно проваливались в землю. Завзятый рубака, Дорошенко, призвав в помощь турок, осадил и взял польский город Каменец. Он велел петь бывшим с ним

в походе монахам акафист и умиленную песнь «О, всепетая Мати!» и, в знак гнушательства враждебною, латинскою верой, въехал в покоренный город пьяный, о бок с пашой и топча конем вынесенные ему навстречу иконы и прочую церковную католическую утварь».

В предисловии к шестому изданию своего собрания сочинений Данилевский вспоминал, с каким вниманием он «изучал в исторических документах и преданиях прошлого века — иногда в нескольких строках частного задушевного письма, в дневнике, между листками рукописного календаря или в надписи на сборнике любимых стихотворений того времени и хозяйственных бумаг — внутренние черты исторических характеров Петра I, Екатерины II, Павла, Мировича, Пугачева, Разумовских, Орловых, Суворова, Потемкина, Перовского и других» [1].

Это стремление исследователя к исторической достоверности выгодно отличается от пришедшего ему на смену в начале XX века неоромантического метода с акцентом на непознаваемость истории. Русский акмеист Сергей Ауслендер так прямо и заявлял об относительности исторического познания: «Никто не знает, что́ было, ка́к было» [2].

Автор многих романов и повестей Д. Л. Мордовцев в настоящей антологии представлен небольшой, но изящно сделанной вещью «Кум Иван» (1887), переносящей нас в далекую эпоху Ивана III. «Исторический роман,— по мысли Мордовцева,— не может не служить задачам современности». При этом писатель, отвергая принцип исторической идеализации, считал, что только такое «принципиальное отношение к прошлому дает историческому роману силу воспитательного фактора в жизни общества» [3].

Имена таких писателей, как Евг. Салиас, Вс. Соловьев, Вас. Немирович-Данченко, обычно связывают с историко-авантюрным направлением. Подобное определение, однако, справедливо лишь отчасти. Так, например, Н. Энгельгардт, оценивая творчество Немировича-Данченко, пишет, что он «стоит где-то на дороге между Дюма-отцом и Виктором Гюго» [4]. А ведь этот писатель относился к числу наиболее «развлекательных» среди исторических прозаиков того времени. А вот Салиас и Вс. Соловьев при всей занимательности и остросюжетности их произведений немало давали читателю и в познавательном отношении. «Романы

---

[1] Данилевский Г. П. Соч., т. 1. СПб., 1893, с. LXXXVI.

[2] Ауслендер С. Рассказы. Кн. 2-я. СПб., 1912, с. 9.

[3] Мордовцев Д. Л. К слову об историческом романе и его критике.— Исторический вестник, 1881, № 11, с. 551.

[4] Энгельгардт Н. История русской литературы XIX столетия, т. II. СПб., 1903, с. 442.

графа Салиаса,—писал критик «Исторического вестника»,— увлекая массу читателей своим изложением всяких приключений, незаметно внесли в обращение нашей образованной публики обильное количество исторического материала...» [1]

Самый популярный писатель конца века Евг. Салиас был в некоторой мере продолжателем традиций русского исторического романа, сложившихся еще на заре становления жанра. Это признавала и современная писателю критика: «Тот же интерес к приключениям... обнаруживается в значительной степени и в весьма многих исторических романах и повестях гр. Салиаса и роднит их с произведениями наших старых романистов Загоскина и Лажечникова, а в особенности с крайне сложными по интриге романами Рафаила Зотова» [2].

Сам Салиас в шутливой форме так говаривал о своем любимом предмете: «Если верить в перевоплощение, то не могло бы быть сомнения, что я когда-то жил именно в XVIII веке. Этот век — мой любимый. В нем я — как дома» [3]. Действительно, такие его романы, как «Пугачевцы» и «Петербургское действо», относятся именно к этой эпохе. На материале XVIII столетия написаны также повести «Бригадирская внучка» и «Крутоярская царевна». В последних автору удались образы главных героинь, а закрученная до предела пружина стремительно развивающейся интриги сообщает повествованию особенную увлекательность. При этом автор внимателен и к историческому фону, который проходит как бы вторым планом, но создает ощущение достоверности. Знание писателем быта, этнографических особенностей XVIII века облегчали его задачу. Как и Вс. Соловьев, Салиас застал еще живых свидетелей ушедшего века, и беседы с ними, наряду с изучением архивов, давали ему исключительно ценный материал для постижения духа минувших эпох. В «Крутоярской царевне», где главные действующие лица являются вымышленными персонажами, следует отметить и психологическую глубину характеров.

Растущий интерес читателя к исторической тематике обусловил расцвет и беллетристики, связанной с описанием наиболее пикантных или «экзотических» эпизодов из отечественной и мировой истории. Но и такого рода беллетристика, рассчитанная на массового читателя, достигала подчас достаточно высокого художественного уровня. Это в первую очередь относится к повестям П. Н. Полевого, сына Николая Полевого («Тальянская чертовка», «Государев кречатник», «Избранник Божий»). Пестрота

---

[1] Исторический вестник, 1899, № 2, с. 616.
[2] Там же, с. 613.
[3] Измайлов А. А. Указ. соч., с. 436.

имен авторов исторической массовой повести (это и В. Авенариус — «Три венца», и А. В. Арсеньев — «Арина-уточка», «Детский пленник», и В. П. Клюшников — «Государь-отрок», и Н. Шаховская с ее древнеримской тематикой, и многие другие), а также сильные перепады в художественном уровне произведений делают этот участок отечественной литературы «малопроходимым» для современного исследователя, тем более что критика того времени не замечала подобные произведения.

Другое направление в исторической повести конца века представлено замечательной прозой Н. С. Лескова, чье творчество в целом было оценено по достоинству лишь в XX веке. И тем не менее произведения Лескова, написанные на сюжеты древности, были еще при его жизни отнесены к образчикам «высокой» литературы. Так, Д. С. Мережковский в своей нашумевшей книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893) восторженно отзывался об исторических и одновременно философских вещах Лескова: «Его мистические легенды из «Пролога» — очаровательны. Какая неувядаемая свежесть, какая наивная и младенческая грация! Эти тысячелетние, засохшие цветы, с едва заметным слабым ароматом, заложенные между пыльными пергаментными страницами древнецерковных или раскольничьих книг,— под пером художника, каким-то чудом, вдруг оживают, распускаются, вспыхивают вешними красками, как только что расцветшие, как только что сорванные!..» [1]

Действительно, лесковский цикл «проложных» сказаний, написанных на древневизантийском материале, поражает нравственно-философской глубиной и художественной отточенностью. Старинный житийный сборник «Пролог» с его легендарными необычайными героями и сюжетами привлекал внимание русских писателей задолго до Лескова, но лишь у последнего древнехристианская тематика в сочетании с богатейшим этнографическим материалом Восточной Римской империи нашла наиболее органичное преломление. Примером для Лескова в обращении к подобной тематике послужило творчество Гюстава Флобера и Льва Толстого, о чем свидетельствует сам автор: «Повесть из Прологов кончил и ею доволен. Источника фабулы *не* указываю. Повесть вышла в роде Толстого (Льва), но более в роде Флобера «Искушение св. Антония»...» [2] Стремление Лескова к высокой дидактике не помешало ему в «Прекрасной Азе» и «Скоморохе Памфалоне», в «Горе» и «Совестном Даниле», в образах древних праведников создать яркие жизненные ха-

---

[1] Мережковский Д. С. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы. СПб., 1893, с. 85.

[2] Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 8. М., 1958, с. 584.

рактеры, ищущие, страдающие и исцеляющие других. Они имели непосредственное отношение и к российской действительности, волновавшей писателя и заставлявшего его искать чудодейственные рецепты ее нравственного выздоровления. Не всем импонировал такой подход, в котором строгий ригоризм сочетался со здравым смыслом реального осознания жизни. Поэтому, например, русский критик Аким Волынский, признавая «поэтическую образность» в «Скоморохе Памфалоне», все же считал шаблонной основную идею — «противопоставить деятельное христианство созерцательному, подвиг практической жизни подвигу отвлеченного духа» [1].

С этим трудно согласиться, ибо именно в «Скоморохе Памфалоне» вопрос о нравственном смысле человеческого бытия прозвучал с особой силой. Поединок добродетельной аскезы в лице ушедшего от мира столпника Ермия с творящим истинное добро грешником и лицедеем Памфалоном раскрывал всю философскую глубину проблемы служения человечеству.

В жанровом отношении для Лескова было вполне приемлемым смешение легендарного материала с историческим. Он считал, что «проследить, как складывается легенда, не менее интересно, чем проникать, «как делается история» [2].

Следует отметить, что «проложные» повести Лескова оказали, как по своей проблематике, так и по стилистическому рисунку, ощутимое влияние на развитие русской исторической прозы в лице таких ее представителей, как Д. Мережковский, М. Кузмин, Ф. Сологуб. Определенную близость к Лескову можно найти и у Леонида Андреева, который в своем обращении к историко-библейской тематике также искал ответы на наболевшие вопросы и также пытался переосмыслить некоторые устоявшиеся стереотипы. Это особенно относится к его «Иуде Искариоту» (1907). Как писал критик начала века А. А. Измайлов, «в тонах реалистической идиллии, оставив в стороне нимбы и все легендарное, ведет свой разговор Андреев, в понимании личности Христа примыкая целиком к Ренану и в истолковании Иуды, выставляя свою самостоятельную теорию» [3]. В письме к Г. Чулкову Андреев назвал повесть «совершенно свободной фантазией на тему о предательстве, добре и зле, Христе и проч.» [4]. Однако в андреевском толковании библейской истории было немало эпатажа и умозрительности. В таком же ключе написана и аллегория Л. Андреева «Так было» (1906), имевшая в зарубежном

---

[1] Волынский А. А. Н. С. Лесков. Пб., 1923, с. 168, 169.

[2] Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 8, с. 584.

[3] Измайлов А. А. Указ. соч., с. 255.

[4] Цит. по изд.: Андреев Леонид. Повести и рассказы в 2-х томах, т. 2. М., 1971, с. 413.

бесцензурном издании подзаголовок «Очерк из эпохи французской революции». Созданное на условном историческом материале, это произведение было проникнуто социальным пессимизмом и глубоким неверием в успехи революционного процесса. Тема власти, приобретая то отвлеченный, то конкретизированный характер, решается преимущественно с анархо-индивидуалистических позиций: «Ожидали короля, а явился шут». Или: «Нужно убить рабов. Власти нет — есть только рабство».

На нравственное толкование Андреевым исторического процесса обратил внимание Луначарский. «Царство тьмы, насилия, тирании внутри вас есть! Вот художественное учение Андреева...» [1] — так определил он основное кредо автора этой повести.

Создавая повесть «Суламифь» (написана в 1907 году), А. Куприн также обратился к библейскому материалу, но его занимали не столько идейно-философские проблемы, связанные с ретроспективным взглядом в глубину веков, сколько психологические акценты и историческая экзотика. «Теперь роюсь в Библии, Ренане, Веселовском и Пыляеве,— рассказывал Куприн,— потому что пишу не то историческую поэму, не то легенду... Что выйдет — не видно, но задумано много яркой страсти, голого тела и другого» [2]. Как видим, образы древнеиудейского царя Соломона и его возлюбленной Суламифи интересовали писателя совсем не с исторической точки зрения. Чувственный культ дионисийского отношения к жизни оказывал явственное влияние не только на писателей-модернистов. Правда, Куприн стремился привнести в повесть хотя бы внешние исторические приметы времени, поэтому текст перенасыщен древневосточными реалиями, старинными названиями драгоценных камней и описаниями мистических ритуалов. Вот характерный образчик такого стиля: «...стены так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый в Фаюмэ под видом крокодила, и Тоот, бог луны, изображаемый, как ибис, в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Баст из Бубаса, под видом кошки, Шу, бог воздуха — лев. Пта — апис... и, наконец, в виде овна, страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиементу, что значит «Живущий на Западе».

Повесть Куприна была воспринята современниками по-разному. Оценки этой романтической легенды о торжестве земной любви варьировались от восторженных (Воровский) до резко отрицательных (Горький) [3].

---

[1] Луначарский А. В. Критические этюды. Л., 1925, с. 89.
[2] Куприн А. И. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 4. М., 1972, с. 482.
[3] Там же, с. 484.

Более глубоким историзмом отмечены повести В. Г. Короленко. И если в его «Сказании о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды» (1886) еще ощутима литературная традиция, то философская фантазия «Тени» (1889) уже вполне оригинальна. В трактовке Короленко образа великого мыслителя античного мира Сократа проявляются высокие нравственные критерии, вообще характерные для творчества писателя. И то, что герой и чудак Сократ все же сомневается в триумфальной истинности своего учения, невзирая на победу в трудном споре с богатым кожевником, подчеркивает диалектический характер философского познания мира. В одном из своих писем Н. С. Лесков отмечал, что короленковские «Тени» ему «очень понравились» [1].

Шедеврами русской исторической прозы начала века стали повести Льва Толстого на сюжеты из отечественной истории — «Посмертные записки старца Федора Кузмича» (1905) и «Хаджи-Мурат» (1904). В основу первой была положена имевшая стойкое хождение в различных слоях русского общества легенда об Александре I, якобы не умершем в Таганроге в 1825 году, а начавшем новую жизнь в обличье страждущего и странствующего по российским просторам старца Федора Кузмича. По мнению Короленко, «было бы удивительно, если бы эта загадочная фигура не привлекла художественного внимания Льва Николаевича Толстого, до такой степени она заманчива и колоритна именно в толстовском духе» [2]. Действительно, этот своеобразный вариант «преступления и наказания», этот драматичный поединок духа и плоти давал великому писателю благодатную возможность для яркого воплощения своих нравственных постулатов. Правда, повесть так и не была дописана.

Интересен ответ Толстого великому князю Николаю Михайловичу, приславшему писателю оттиск своего исследования на эту тему: «Пускай исторически доказана невозможность соединения личности Александра и Козьмича, легенда остается во всей своей красоте и истинности» [3]. Эта точка зрения совпадает с приведенной выше концепцией Лескова о равноценности истории и легенды как строительного материала для художественного произведения. Нельзя не вспомнить и высказывание Куприна, вложенное в уста одного из его героев (рассказ «Мелюзга»): «Стремление к чуду, жажда чуда — проходит через всю русскую историю».

---

[1] Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 11, с. 577.
[2] Короленко В. Г. Собр. соч., т. VIII. М., 1955, с. 343.
[3] Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х томах, т. 20. М., 1984, с. 616.

И все же вершинным достижением жанра стала повесть Толстого «Хаджи-Мурат». Не столько раскрытие психологии образа главного героя интересовало писателя в этой повести, сколько эпический характер самого времени. Вот примечательное высказывание Толстого: «Меня здесь занимает не один Хаджи-Мурат с его трагической судьбой, но и крайне любопытный параллелизм двух главных противников той эпохи — Шамиля и Николая, представлявших вместе как бы два полюса властного абсолютизма — азиатского и европейского» [1].

Исторические повести начала нового века представлены в сборнике произведениями Мережковского, Кузмина, Ауслендера, Садовского и Брюсова. Нельзя полагать, что все произведения этих писателей объединены неким стилистическим единством. Так, повесть Мережковского «Микель-Анжело» (1902) можно отнести к реалистическому направлению, хотя в своей известной исторической трилогии под общим названием «Христос и Антихрист» писатель тяготеет к романтическому символизму с некоторым налетом мистицизма. Там характерной чертой творческого подхода был взгляд на исторические события сквозь призму борьбы мировых религий. Как писал Андрей Белый, «первый после Ницше соединил Мережковский формы христианства с образами истинного язычества». Этот причудливый симбиоз создавал иную перспективу, в которой привычные исторические стереотипы теряли свою силу, и для автора открывался простор в построении собственных концепций [2]. Однако неизменным для Мережковского как писателя исторической темы оставался его принцип культурологической погруженности в изображаемую эпоху. Молодой Корней Чуковский подметил вполне справедливо как раз эту черту в творчестве Мережковского, чей роман о Леонардо да Винчи принес ему даже европейскую известность: «Мережковский становится истинным виртуозом, тонким и богатым художником только тогда, когда он рассматривает человека сквозь наслоение созданных человеком вещей — религии, языка, литературы, искусства» [3]. Критика называла отличительной чертой исторической прозы Мережковского *«аскетический* пессимизм» [4]. Отмечена им и его повесть о великом итальянском мастере. Вот какой горечью веет от заключительных строк повествования о вроде бы счастливой творческой судьбе Микеланджело Буонаротти: «Академики, желая почтить память художника, превратили церковь в музей, наполнили ее аллегориче-

---

[1] Сборник воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911, с. 99.

[2] Белый Андрей. Арабески. М., 1911, с. 419.

[3] Чуковский К. И. От Чехова до наших дней. Литературные портреты и характеристики. 3-е изд. СПб., 1908, с. 208.

[4] Аполлон, 1913, № 2, с. 77.

скими фигурами, статуями и картинами тогдашних художников, учеников и последователей Микель-Анжело. Эти произведения казались жалкими карикатурами на создания учителя. Достаточно было взглянуть на них, чтобы убедиться, что искусство погибает. Но печальные мысли не приходили в голову академиков...» Традиционный для романтического искусства конфликт гения и не понимающей его толпы проявляется и в исторической прозе XX века, хотя и в несколько иной трактовке.

Ближе к романтической манере, чем Мережковский, оказались «старшие символисты» — Валерий Брюсов и Федор Сологуб, а также видные представители акмеизма М. Кузмин, С. Ауслендер, Б. Садовской. Выше уже приводилось высказывание Ауслендера об относительности любого исторического познания. Поэтому естественно, что его «Петербургские апокрифы», как уже можно судить по названию,— плод романтического воображения: «Несколько историй, навеянных грезами о славном, веселом, жестоком и необычайном Петербурге минувшего» [1]. Эта позиция весьма близка откровенно романтическому и субъективистскому подходу, декларировавшемуся еще Бестужевым-Марлинским, который в письме к Николаю Полевому по поводу его романа «Клятва при гробе Господнем» восклицал: «Пусть другие роются в летописях, пытая их *было ли так, могло ли быть так* во времена Шемяки? Я уверен, я убежден, что оно так было... в этом порукой мое русское сердце, мое воображение...» [2] Субъективное ощущение исторического прошлого пронизывало и столь популярную у русских символистов ретроспективную стилизацию («Сын белокаменной Москвы», «Двуглавый орел», «Петербургская ворожея» Б. Садовского, «Маг» И. фон Гюнтера, «История Исминия» С. Соловьева, «Ночной принц», «Ставка князя Матвея», «Некоторые достойные внимания случаи из жизни Луки Бедо» С. Ауслендера, «Тень Филлиды», «Повесть о Елевсиппе», «Подвиги Великого Александра» и «Путешествие сэра Джона Фирфакса по Турции и другим замечательным странам» М. Кузмина, «Чудо отрока Лина» и «Милый паж» Ф. Сологуба). Максимальная аллегоричность и притчевость, характерные для творчества Сологуба вообще, приводили к размыванию границ исторического жанра. Показательна в этом отношении вневременная эротическая притча «Царица поцелуев». В жертву своему субъективному видению мира приносит историзм и А. Ремизов в мистической притче «Придворный ювелир», ставящий под сомнение ценность самой человеческой циви-

---

[1] А у с л е н д е р С. Указ. соч., с. 9.
[2] Русский вестник, 1861, № 3, с. 328.

лизации: «Казнили людей, как блох. Подстерегали, ловили этих блох и тут же прихлопывали на ногте» [1].

В русской исторической прозе начала века поражает разнообразие сюжетного материала, свободный, раскрепощенный диалог писателя с любой эпохой, оставившей заметный след в национальной или всемирной истории. Надо сказать, что не всем критикам того времени импонировало такое легкое путешествие во времени, тем более тогда, когда авторы выступали в роли удачных стилизаторов. Этим вызваны обвинения Кузмина и Ауслендера и других родственных им по мироощущению прозаиков в граничащей с эскапизмом попытке «вернуть нынешнюю литературу к содержанию и форме XVIII века» [2].

Как бы возражая своим критикам, Кузмин в одной из статей в журнале «Аполлон» отстаивал идейную значимость стилизаторского принципа: «Стилизация — это перенесение своего замысла в известную эпоху и облечение его в *точную литературную форму данного времени»* [3].

Этой же теории придерживался и Брюсов, дававший самую высокую оценку творческой манере Кузмина: «Никто среди современных русских писателей не обладает такой властью над стилем, как М. Кузмин» [4].

Стиль Кузмина действительно выделялся на фоне даже самых претенциозных прозаиков-символистов и акмеистов. Кукольно-маскарадная действительность и игрушечно-фарфоровые герои прекрасно вписывались в единую по своей художественной стилистике кузминскую комедию жизни. Своеобразное ироничное кредо Кузмина наиболе метко выражено им в стихах: «Слез не заметит на моем лице // Читатель плакса. // Судьбой не точка ставится в конце, // А только клякса». Следует признать, что пассеистические стилизации Кузмина являлись одновременно и эстетической позицией, и попыткой огуманизировать современный ему «железный век». Одной из излюбленных «областей ухода» был для Кузмина эллинизированный Египет и Ближний Восток, пересечение столь не схожих по своей исторической и этнографической сути цивилизаций, край, будивший творческое воображение даже изысканного стилиста, суливший приобщение к вековечным тайнам вселенского духа.

Столь любимая акмеистами эллинская эпоха, по определению профессора Б. В. Михайловского, в основном «выступала в под-

---

[1] Ремизов А. Придворный ювелир.— Хризопрас. М., 1906—1907, с. 39.

[2] Измайлов А. А. Литературные беседы.— Русское слово, 1908, 3 августа.

[3] Кузмин М. О прекрасной ясности.— Аполлон, 1910, № 4, с. 9.

[4] Весы, 1907, № 7, с. 80.

ражаниях позднеантичному роману, в проникнутых эпикурейскими настроениями виртуозно выполненных «Александрийских песнях» Кузмина» [1]. Последние действительно передают этот доходящий до идолопоклонства идиллический восторг неофита перед величием древней, ушедшей культуры:

Как звук трубы перед боем,
Клекот орлов над бездной,
Шум крыльев летящей Ники,
Звучит мне имя твое.
Трижды великое:
Александрия!

Типичным произведением Кузмина в духе исторической прозы, хотя, быть может, и не лучшим, является его «Повесть о Елевсиппе» (1907), выдержанная в чисто кузминской тональности философской ироничности и своеобразного, эстетизированного переосмысления плутовского романа. Как считал Вяч. Иванов, «повесть красива и ярка; исторический колорит превосходен», и тем не менее, на его взгляд, «в «Повести об Елевсиппе» автор все еще только пробует свои силы» [2]. Более высокую оценку он давал другому образчику «александрийской» прозы Кузмина — «Подвигам Великого Александра» (1909), называя их «chef d'œuvre строгого стиля и грандиозного полета творческой фантазии» [3].

Недооценивал «Повесть о Елевсиппе» и Брюсов: «Я считаю Кузмина писателем настоящим, хотя и его «Крылья» и его «Элевзиппа»... вещами второстепенными» [4]. С этим трудно согласиться. «Повесть о Елевсиппе» привлекает внимание не только как типичный образчик творческой манеры Кузмина, но и как попытка вопреки самодовлеющей эстетике выйти к читателю с постановкой философских проблем. Ведь в начале века господствующее положение в русской литературе занимала принципиально аполитичная концепция эстетического индивидуализма, отчетливо выраженная Игорем Северянином: «Долго со злом мы боролись. // Отдых найдем в Аполлоне». Несмотря на ироничность высказывания, оно довольно точно передает ту атмосферу самодовольного эстетизма и жеманной чувственности, в которой, как писали критики того времени, «в литературе выступает на первый план какое-то трактирное восхваление Диониса» [5]. В этой атмосфере развивалось и творчество Кузмина, но сильный, здоровый талант всегда пробивается сквозь наносные напластования литературной

---

[1] Михайловский Б. В. Русская литература XX века с девяностых годов XIX века до 1917 г. М., 1939, с. 339.
[2] Аполлон, 1910, № 7, с. 48.
[3] Там же, с. 49.
[4] Литературное наследство, т. 85. М., 1976, с. 686.
[5] Львов-Рогачевский В. Снова накануне. М., 1913, с. 148.

моды и психологического эпатажа. В современной Кузмину критике это несоответствие писательского таланта художественной манере было замечено: «Все описания его, в стихах и в прозе, сделанные всегда немногими чертами, переносят ли они нас во Францию XVIII века, или в старую Александрию, или в квартиру современного эстета, дают нам иллюзию пространства, освещенного солнцем или мерцающими огнями, воздуха, напоенного ароматами» [1].

Все это присутствует и в «Повести о Елевсиппе», в которой автор вслед за Лесковым заставляет своего героя, генеалогически родственного героям лесковского «Скомороха Памфалона», мучительно искать смысл человеческого бытия.

О генезисе творчества Кузмина хорошо сказано у Б. Эйхенбаума: «Традиции Кузмина — своеобразны и глубоко органичны. С одной стороны — латинский запад, главным образом Франция. Из современников — Анри де Ренье и Анатоль Франс; из прошлого —авантюрный роман XVII—XVIII веков: Сорель, Лесаж, Прево. Но линия эта идет еще дальше — к византийскому роману, к древнерусской экзотике. Отсюда — естественное тяготение к Лескову — единственному, пожалуй, русскому учителю Кузмина...» [2]

Не скрывал своей литературной родословной и С. А. Ауслендер, выразительно подчеркивавший «готический дух» старого Петербурга: «Камни мостовых, стены старых домов, площади, дворцы и церкви много таят в себе загадочных, странных историй. Страшные преступления, прекрасные подвиги совершались здесь когда-то». Подобным колоритом загадочности, причудливым смешением реальности с грезами отличается и его «Ночной принц».

И хотя, конечно, и Ауслендер, и Садовской по таланту уступали Кузмину, они также пользовались популярностью в последнее предреволюционное десятилетие. Известный советский исторический романист А. Чапыгин вспоминал, что «у Ауслендера были поклонницы-истерички, которые захлебывались от восторга, читая его. Ругать Ауслендера было нельзя — глаза выдерут» [3]. При всей шаржированности отзыв этот передает экзальтированный характер эпохи, которой соответствовало творчество и Кузмина, и Ауслендера, и Садовского.

«Петербургская ворожея», рисующая юного Пушкина, написана в более реалистической манере, но и ей присуща излишне личностная трактовка исторических событий и персонажей.

---

[1] Гуревич Л. Литература и эстетика. Критические опыты и этюды. М., 1912, с. 123.

[2] Эйхенбаум Б. О литературе. М., 1987, с. 348.

[3] Чапыгин А. П. По тропам и дорогам. М.—Л., 1931, с. 293.

И даже Валерий Брюсов, литератор педантичный и скрупулезный в изучении исторической фактуры, не мог не удержаться от «подмены» объекта субъектом. Недаром Кузмин писал о замечательном романе Брюсова «Огненный ангел», что в нем «совершенно Брюсовские коллизии героев», Брюсовский (и непогрешимо русский) язык сочетаются так удивительно с точной и подлинной формой немецкого автобиографического рассказа XVII века» [1]. Подобное ощущение возникает и при прочтении «Реи Сильвии». Символично, что несчастная фантазерка Мария, которой «не было еще десяти лет, когда Рим был взят королем готов Тотилою», в развалинах знаменитого дворца Нерона находит барельеф с изображением древней весталки Реи Сильвии, согласно легенде родившей Ромула и Рема. И в этой, также несчастной, прародительнице римского народа, утопленной жрецами в водах Тибра, Мария узнает себя. Так по-брюсовски символично замыкается круг земного времени, а в элегическую атмосферу повести, которая «интересна также и с археологической стороны» [2], врывается грозное дыхание предстоящих исторических катаклизмов. Эта концепция неизбежной смены эпох, сопровождающейся гибелью одной цивилизации, уходящей в «катакомбы», и нарождением другой, была выражена Брюсовым еще в 1905 году в его знаменитом стихотворении «Грядущие гунны»:

Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром!
Слышу ваш топот чугунный
По еще не открытым Памирам!

«Рея Сильвия», завершающая настоящую антологию, и «Наталья, боярская дочь», открывающая ее, и по идейному настрою, и по психологической тональности принадлежат к разным историческим эпохам и соответствуют различным фазам в эволюции российской государственности. Русская историческая повесть, давшая немало подлинных шедевров высокого искусства, всегда была зеркалом одновременно и прошлого и настоящего, отражая не только «преданья старины глубокой», но и все изменения в политическом, духовном и нравственном климате общественной жизни своего времени.

Выдающийся художник-мыслитель Николай Рерих, подчеркивая неразрывную связь времен, призывал: «Из древних, чудесных камней сложите ступени грядущего». И следует признать: в строительство «ступеней грядущего», в формирование идеалов будущего, в котором участвуют каждая эпоха и каждое поколение, солидную лепту внесла и русская историческая повесть.

Юрий Беляев

---

[1] Аполлон, 1910, № 4, с. 9.
[2] См.: Брюсов В. Я. Повести и рассказы. М., 1983, с. 360.




РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ



ДЕДЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ ИЗ ВРЕМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I

I

КОНЦЫ И НАЧАЛА

На обширной площади перед Зимним дворцом была какая-то странная, необычная тишина. Народ отдельными кучками стоял по разным местам этой площади и с напряженным вниманием глядел на несколько слабо освещенных окон, которые как-то грустно и таинственно выделялись своим тусклым светом на темном фоне высокой каменной громады дворца, погруженной во мглистый мрак ноябрьского вечера. Эти кучки народа оставались в глубоком безмолвии; изредка разве обратится сосед к соседу с каким-нибудь замечанием, вопросом или сообщением, но и то так тихо, вполголоса, почти шепотом... Тягостная неизвестность и томительная тоска какого-то грустного ожидания отпечатлевались на лицах. А между тем, несмотря на эти неподвижно стоявшие кучки, площадь полна была тревожным движением. И от дворца, и ко дворцу почти беспрерывно то отъезжали, то подкатывали всевозможные экипажи: курьерские возки, городские санки, тяжелые барские кареты четверней и шестеркой цугом, но мальчишки-форейтора́, которые в то время имели обыкновение кричать свое «пади!» с громким и продолжительным визгом, стараясь выказать этим свое молодечество, на сей раз не подавали ни малейшего звука. Одно только глухое громыханье колес или время от времени топот копыт коня какого-нибудь вестового гусара, в высокой и мохнатой медвежьей шапке, про-

носившегося куда-то и зачем-то во всю конскую прыть, нарушали это странное и строгое безмолвие.

— Еще вчера, сказывают, изволили быть в совершенно добром здравии,— шепотом передавал в одной из кучек народа какой-то мелкий сенатский чиновник двум-трем из ближайших соседей.

— Где уж здорова! — с грустным вздохом махнул рукой старый инвалид в гарнизонном кафтане.— Мне хороший знакомец мой один,— он кафишенком у князь Платон Александрыча [1] — так он сказывал, что еще третевадни целый день на колики жаловалась.

— И однако ж вчера была здорова,— настаивал сенатский чиновник,— и мне даже через одного человека из самого дворца доподлинно ведомо, что даже обычное свое общество принимали в будуваре, очень много разговаривали о кончине сардинского короля и все шутить изволили над Нарышкиным, над Лев Александрычем, все, значит, смертью его стращали, а ныне вот...

— Никто как бог... Его святая воля... Авось-либо все еще, даст бог, благополучно кончится! — утешали себя некоторые.

— Ах, дай-то господи! Сохрани ее, матушку, владычица небесная! — крестясь, вздыхали другие.

В то самое время в опустелой Софии, дремавшей среди уныло обнаженных садов, миновав Царское Село, скакал верховой ординарец. Взмыленный конь его уже хрипел и выбивался из последних сил, а молодой человек меж тем все больше и больше пришпоривал и нетерпеливо побуждал его ударами шенкелей, но конь начинал уже спотыкаться и, видимо, терял последние силы.

— Лошадь под верх! Бога ради, живее! — торопливо и взволнованно закричал ординарец, приплетясь кое-как на конюший двор. Но его не слушали. На крыльце перед конюшнями стоял кто-то закутанный в дорогую шубу, в собольей шапке и с дорогой собольей муфтой в руках.

— Лошадей!.. Лошадей, каналья, скорее! — шумел и жестикулировал мужчина,— лошадей, говорю, или я тебя самого запрягу под императора!

— Ах... ах, ваше сиятельство! — манерно и с ужимками, полуучтиво и полугрубо отвечал ему на это хриплопьяноватым голосом какой-то старикашка, одетый в граж-

---

[1] Зубова. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

данский мундир заседателя.— Запречь меня не диковинка, но какая польза? Вить... вить я не повезу, хошь до смерти извольте убить.

— Под императора, говорят тебе! — топал меж тем тот, кого заседатель называл сиятельством.

— Да что такое император? — все также манерно разводя руками, возражал ему пьяненький старикашка.—О чем говоришь-то, не разумею... Какой император?.. Если есть император в России, то дай бог ему здравствовать, а буде матери нашей не стало, то... то ей виват! виват!.. Н-да! вот те и заседатель!

Молодой ординарец, заглянув при свете луны в лицо закутанного мужчины, почтительно отдал ему воинскую честь и торопливо прошел мимо, направляясь в конюшню и таща за собой на поводу измученную лошадь. В этом мужчине он узнал графа Николая Зубова.

Не дожидаясь заседателя, ординарец сам выбрал под себя свежую лошадь, спешно переседлал ее под свое седло и как вихрь помчался по гатчинской дороге.

Вскоре навстречу ему одиноко проскакал кто-то закутанный в плащ и на лету успел только крикнуть одно слово: «Едет!», вслед за которым оба всадника уже далеко разминулись друг с другом.

Через несколько минут сквозь ночную мглу показались впереди на дороге точно бы два огненные глаза, которые, все увеличиваясь и приближаясь, превратились наконец в два фонаря дорожной кареты, мутно светившие сквозь густой пар, что валил облаками от восьмерки запряженных добрых коней.

Молодой человек придержал свою лошадь.

— Кто там? — раздался из открытого окна мужской голос.— Гонец?.. с известием?.. Что нового?..

— Ее величеству слава богу лучше! — громким и отчетливым голосом доложил ординарец, поворотив свою лошадь и направляясь обратно по дороге, вровень с окном кареты.— Когда сняли шпанские мушки,— продолжал он,— государыня открыла глаза и попросила пить... Я от графа Салтыкова доложить, что есть надежда.

— Фу!.. Слава богу! — с глубоким, полным и облегченным вздохом послышалось из глубины кареты.

За экипажем скакали верхом и ехали в санях уже человек пять курьеров, посланных ранее с известиями более или менее тревожного свойства. Молодой ординарец, привезший первую весть надежды, присоединился к этому кортежу и тоже поскакал за каретой.

В Софии на перемену уже была готова новая подстава: Николаю Зубову какими-то судьбами удалось наконец уломать несговорчивого заседателя. Когда экипаж остановился пред крыльцом, конюхи живо стали перепрягать лошадей. На площадке в это время стоял еще кто-то, новоприезжий из Петербурга, и разговаривал с Зубовым.

— Ah, c'est vous, mon cher Rostoptchin! — послышалось из каретного окна,— faites moi le plaisir de me suivre; nous arriverons ensemble. J'aime à vous voir avec moi [1].

Зубов молча, задумчивыми глазами проводил отошедшего Ростопчина. Быть может, в эту минуту он почувствовал в его лице восхождение нового светила в среде царедворцев...

По дороге в Петербург время от времени попадались навстречу все новые гонцы и курьеры, которых уже ворочали назад, и таким образом набралось их человек двадцать, что составило длинную свиту саней и вершников, мчавшихся за каретой.

Проехав Чесменский дворец, наследник приказал на минуту остановиться и вышел из экипажа. Чтобы хоть несколько развлечь тяжелые думы высокого путника, Ростопчин, после некоторого молчания, привлек его внимание на красоту ночи, которая действительно была необыкновенно тиха и светла и слегка морозна: холод не превышал трех градусов. Красивые тучки быстро и высоко неслись по темно-синему небу, и луна то выплывала из-за облаков, то опять закутывалась в дымку. Вокруг царствовала глубокая тишина. Наследник молча устремил свой взгляд на луну — и при полном ее сиянии Ростопчин заметил, что глаза его полны были слез, которые тихо катились по лицу.

Поговорив с Ростопчиным и крепко пожав ему руку, государь-наследник уже садился было в карету, как вдруг обернулся и спросил, кто привез известие, что государыне лучше.

— Я, ваше высочество,— ответил ему молодой ординарец, подавшись вперед из-за кареты.

— Сержант лейб-гвардии Конного полка?

— Так точно, ваше высочество.

— Фамилия?

---

[1] А, это вы, мой милый Ростопчин! Сделайте одолжение, поезжайте за мной! Я люблю быть с вами *(фр.)*.

— Дворянин Василий Черепов.

Наследник кивнул головою, вслед за тем дверца захлопнулась — и весь кортеж помчался далее.

Зимний дворец был переполнен людьми всякого звания. При тусклом свете немногих ламп, кое-как зажженных наскоро, в обширных залах и коридорах толпились сенаторы, генералы, синодальное и иное духовенство, дворяне, городские обыватели, придворные и сановники и служители, дамы и фрейлины, гвардейские офицеры и солдаты. Одни поспешали сюда по обязанности своего звания, другие из любопытства или из страха за жизнь императрицы, и все с затаенным трепетом ожидали приближающейся роковой минуты. Смутный гул сдержанного шепота пробегал из залы в залу; на каждом шагу повторялись вопросы и сообщения то о часе апоплексического удара, то о действии лекарств, о мнении медиков... Всякий рассказывал разное, но общее чувство и общая мысль выражались в желании хотя бы слабой надежды на выздоровление государыни. Граф Безбородко, в качестве статс-секретаря, находился в ее кабинете. Прибыв, по обыкновению, во дворец с докладом, он с самого раннего утра присутствовал здесь безотлучно и был в отчаянии: неизвестность будущей своей судьбы, страх, что новый государь на него еще в гневе за прежние столкновения, и живое воспоминание о стольких благодеяниях умирающей императрицы заставляли его часто рыдать как ребенка и наполняли сердце его горестью и ужасом. Он желал теперь только единственной милости — быть оставленным без посрамления.

Отчаяние же князя Зубова было беспредельно. Не только искусившиеся опытом царедворцы, но каждый и даже первый попавшийся с улицы человек мог бы легко и свободно прочесть теперь на его физиономии полную и окончательную уверенность в своем падении и наступающем ничтожестве, и эта уверенность, вопреки самолюбию и помимо искусства самообладания, слишком ясно выказывалась не только в выражении лица, но даже в каждом движении этого человека. Проходя через комнату императрицы, он по нескольку раз останавливался пред умирающей и выходил рыдая. Толпа придворных сторонилась, отшатывалась и удалялась от него, как от зачумленного, так что князь убежал наконец в дежурную комнату и упал в кресло. Томимый жаждою и жаром, несчастный не мог выпросить себе даже стакана воды, в чем теперь

отказывали ему те, которые еще сутки лишь назад на одной его улыбке строили все счастье и благосостояние своей жизни, и та самая комната, где еще вчера люди чуть не давили друг друга, чтобы стать к нему поближе, обратилась теперь для него в глухую пустыню.

Наконец приехал великий князь наследник и, зайдя на минуту в свою комнату в Зимнем дворце, пошел на половину императрицы. Весть о его прибытии в то же мгновение успела облететь всех собравшихся в залах, и прием, оказанный ему, был уже приемом как бы государю, а не наследнику. Великие князья Александр и Константин вышли к нему навстречу, уже одетые в мундиры тех батальонов, которыми командовали они в гатчинском «модельном войске». Проходя через комнаты, наполненные людьми, ожидавшими восшествия его на престол, великий князь очень милостиво, с ласковым и столь свойственным ему рыцарски-учтивым видом отвечал на бесчисленные глубокие и часто подобострастные поклоны.

Умирающая лежала на полу, на сафьяновом матраце, в том самом положении, в каком успели поместить ее в первые минуты утром камердинеры ее Тюльпан и Захар Зотов, не будучи в состоянии поднять на кровать бесчувственное тело, по причине его значительной тяжести. Теперь уже не к чему было тревожить его перекладыванием, при последнем издыхании. Государыня лежала навзничь, неподвижно, с закрытыми глазами. Сильное хрипение в горле, среди всеобщей тишины, слышно было даже в смежной комнате. Вся кровь била ей в голову, и цвет лица становился иногда багровым, а иногда, когда кровь отливала, принимал вдруг самый живой и свежий румянец. Это последнее явление обыкновенно пробуждало на минуту в присутствующих некоторую надежду, которая — увы! — через несколько мгновений угасала снова... У тела находились попеременно придворные лекаря и, стоя на коленях, внимательно следили за дыханием и малейшими колебаниями пульса. В опочивальне, кроме медиков и ближайшей прислуги, присутствовали члены императорской фамилии и камер-фрейлина Протасова [1], ни на минуту не отлучавшаяся от государыни с самого утра. Глаза ее, помутившиеся глубоким горем, не отрывались от полумертвого тела ее благодетельницы. Агония продолжалась уже более суток. Доктора объявили наконец, что всякая надежда кончена. Тогда, по приказанию великого князя

[1] Анна Степановна. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

наследника, преосвященный Гавриил с духовенством прочел над умирающею глухую исповедь и причастил ее святых тайн. Затем Павел Петрович удалился в боковой кабинет, куда призывал для деловых разговоров некоторых лиц или тех, кому имел сообщить какое-либо приказание. Так, между прочим, поручил он Ростопчину передать графу Безбородке, что, «не имея никакого особенного против него неудовольствия, он просит его забыть все прошедшее и считает на его усердие, зная дарования его и способности к делам»; потом призвал самого графа и лично поручил ему заготовить указ о восшествии на престол всероссийский; в течение дня раз пять или шесть призывал к себе также и князя Зубова, разговаривал с ним очень милостиво и, умеряя его отчаяние, уверял в своем благорасположении.

В течение этого времени во дворец прибывали все новые и новые сановные лица, чиновники, военные и люди всякого состояния. Горестная весть уже успела разнестись по столице, и к вечеру громадные толпы народа, осыпаемые густыми хлопьями мокрого снега, в прежнем безмолвии стояли на Дворцовой площади. Войска же петербургского гарнизона все были собраны в своих казармах в ожидании присяги новому императору.

В девять часов вечера лейб-медик государыни, англичанин Роджерсон, войдя в кабинет, где находился наследник с супругою, объявил, что императрица кончается.

Тотчас приказано было войти в опочивальню умирающей всем великим князьям, княгиням и княжнам, с которыми вошла и воспитательница их, статс-дама Ливен, а за нею князь Зубов, граф Остерман, Безбородко и Самойлов. По правую сторону императрицы стал наследник с супругою и семейством, по левую — доктора, лекаря и вся ближайшая прислуга Екатерины, а в головах — призванные в комнату Ростопчин и Плещеев. Дыхание императрицы сделалось очень трудно и редко; кровь, как и прежде, все еще то бросалась в голову, искажая черты лица, то отливала в грудную полость, возвращая физиономии естественный ее вид. Полное и благоговейное молчание всех присутствующих, затаенный и сдержанный трепет последнего страшного ожидания, немые взгляды, устремленные на лицо умирающей, отдаление на эту минуту от всего земного, от всех посторонних и суетных помыслов, глубочайшая тишина и слабый свет, мерцающий в комнате,— все это обнимало ужасом душу каждого, все возвещало близкое веяние смерти... Тихо и мелодично, переливаясь тонкими металлическими звуками, пробили ста-

ринные часы первую четверть одиннадцатого. Великая женщина вздохнула в последний раз, и... дух рабы божией Екатерины предстал пред суд всевышнего.

С последним вздохом, казалось, вдруг наступил для нее тихий и сладкий сон. Всегдашняя ее приятность и величие постепенно и так заметно разлились опять по чертам спокойного лица и воочию всех явили еще раз ту царицу, которая славою своего царствования наполняла всю вселенную. Сын ее и наследник преклонился пред бездыханным телом и вышел, заливаясь слезами, в другую горницу. В то же мгновение опочивальня огласилась воплем женщин, служивших Екатерине.

Но слезы и рыдания не простирались далее той комнаты, где лежало тело государыни. Прочие покои дворца были наполнены знатью и чиновниками,— по преимуществу теми людьми, которые во всех переменах и обстоятельствах, счастливых и несчастных, прежде всего видят только самих себя и заняты исключительно сами собою, а эта печально-торжественная минута для многих и многих из них казалась страшным судом и грозила расплатой за прошлое...

Граф Салтыков вышел в дежурную комнату с официально печальным и важным видом и объявил во всеуслышание:

— Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, государь Павел Петрович изволил взойти на всероссийский престол.

Едва были произнесены эти слова, как множество царедворцев бросилось обнимать Самойлова, Ростопчина, Плещеева, камер-пажа Нелидова и прочих, в ком только усматривали или могли предполагать они будущих приближенных, поздравляя их, а за ними всех присутствующих с новым императором.

Граф Алексей Григорьевич Орлов, измученный нравственно и изнеможенный физически, проведя в слезах и терзаниях, без сна и пищи, почти двое суток, не в силах был уже дождаться кончины императрицы и уехал к себе на квартиру. Едва прилег он отдохнуть, как прибежали сказать ему, что государыня скончалась, а вслед за тем явился посланный с повелением от государя, чтобы Орлов немедленно прибыл во дворец для учинения присяги. Старик, отговариваясь крайним утомлением, поручил передать императору, что, как скоро рассветет, он не преминет явиться и исполнить долг своего верноподданства. Государю такой ответ показался неугоден, и он послал

к графу вторично, чтобы тот, невзирая ни на что, явился немедленно же к присяге. Надо было повиноваться.

— Полагаю, ваше сиятельство, что и вам надлежало бы учинить присягу? — встретил его император, как только гордый вельможа вошел к нему в комнату.

— Конечно, так, государь! — с глубоким и почтительным поклоном отвечал Орлов,— и я, поверьте, готов учинить то с охотнейшим моим сердцем.

Государь вымерял его взглядом и, казалось, внутренно остался доволен ответом.

В это время обер-церемониймейстер Валуев, известный как самый ревностный блюститель порядка всех придворных торжеств и церемоний, явился с докладом, что в дворцовом храме все уже готово к присяге.

В церкви, залитой огнями сверкающих люстр, паникадил и канделябр, Павел Петрович впервые стал на императорское место, и преосвященный Гавриил, выйдя на амвон, начал внятно и явственно читать форму присяги, которую вслед за ним громко повторяла густая толпа присутствующих, подняв крестообразно сложенные правые руки.

Императрица Мария, по окончании присяжного обряда, подойдя к государю, хотела было преклонить перед ним колена, но он удержал и с чувством обнял ее, а вслед за ней и всех детей своих. За сим каждый из присутствовавших целовал крест и Евангелие и, подписав на присяжном листе свое имя, почтительно подходил к руке императора и императрицы. Когда же окончилась и эта долгая и утомительная церемония, Павел пошел прямо в опочивальню покойной государыни, тело которой к этому времени было уже в белом платье положено на кровать, и в головах его на аналое дьякон читал Евангелие.

Это было в ночь с 6-го на 7-е ноября 1796 года.

II

ПЕРВЫЕ ДНИ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА

Едва окончился обряд торжественной присяги, как к Зимнему дворцу подлетела взмыленная курьерская тройка. В санях, дрожа и ежась от холода, сидел какой-то неизвестный петербургской публике человек, без шубы и даже без плаща, в одном только полковничьем мундире гатчинской формы. Он был очень сухощав, сутуловат и жилист и как-то судорожно все морщил свой подборо-

док. Толстая, несуразной формы голова, постоянно наклоненная на один бок, желчно-смуглый цвет лица и большие мясистые уши прежде всего кидались в глаза всем и каждому при первом взгляде на этого человека. При покойной императрице офицеры гатчинского отряда никогда не допускались в Зимний дворец, и потому, не зная расположения комнат, новоприбывший гатчинец просто заблудился в неведомом ему лабиринте зал и коридоров... Он долго не мог отыскать императора и тщетно пытал про него у встречных придворных и камер-лакеев.

— Кто это? Что за человек такой? Откуда взялся таков? — неслись вослед ему и справа и слева бесчисленные вопросы, которыми перекидывались между собой лица екатерининского двора, невольно останавливая внимание на странном костюме и несуразной фигуре незнакомца, а в особенности на его впалых, серых глазах, в которых светилась какая-то странная смесь ума и злости вместе с неуклонной энергией и железной волей.

Но на все эти летучие вопросы никто не мог дать определенного положительного ответа, и за проходившим гатчинцем всецело оставалось у всех одно только беспричинно неприятное впечатление, которое делала его во всяком случае, замечательная наружность.

— Где же государь, наконец? — остановясь близ дверей одной залы и с некоторым раздражением пожав плечами, спросил незнакомец повышенным голосом, причем обвел толпу недоумело-вопросительным взглядом. Он говорил в нос, немножко гнуся и не то что не договаривая, а как бы глотая окончания слов и фразы.— Я вызван сюда именным моего государя повелением, по эстафете,— продолжал он, видимо сдерживая внутри себя раздражение,— и вот уже полчаса как тщетно ищу его величество, и никому не угодно указать мне, где государь изволит находиться.

На этот возглас откликнулся один из гатчинских камердинеров государя, случайно находившийся в зале, и почтительно провел незнакомца в кабинет императора.

— Кто таков? — посыпались на него вопросы, едва лишь он затворил дверь за неизвестным гатчинцем.

— Господин полковник Аракчеев,— было ответом ближайшей кучке любопытных.

— Аракчеев?.. Что такое — Аракчеев?.. Арак... Dieu, quel nom atroce! [1] Что за птица? Откудова? — жужжа по

---

[1] Боже, что за варварская фамилия! *(фр.)*

зале, полетели из уст в уста недоумевающие вопросы и иронические улыбки.

Через четверть часа всеобщее недоумение разъяснилось. Аракчеев вышел из царского кабинета об руку с цесаревичем Александром и в сопровождении великого князя Константина, а через минуту в кучках екатерининских придворных уже передавали самую свежую новость, что наследник престола назначен петербургским военным генерал-губернатором и вместе с тем полковником лейб-гвардии Семеновского полка, великий же князь Константин полковником в Измайловский полк, а Аракчеев сделан петербургским комендантом с производством в генерал-майоры. При этом передавали, что государь принял его с необычайною милостью, поставил рядом с наследником, соединил их руки и сказал: «Будьте друзьями и помогайте мне».

Этого рассказа было достаточно, чтобы не только самые юркие, но даже и наименее смышленые люди поспешили тут же представиться новому коменданту и с любезными, искательными улыбками почтительно поручали себя его благосклонному вниманию... Аракчеев все эти изъявления принимал сдержанно, сухо и холодно. Видно было сразу, что он понимает в корень истинный, сокровенный смысл и значение придворных ласк и приветствий.

Начинало светать. Великие князья, в новых своих гатчинских мундирах, с голубыми Андреевскими лентами через плечо, сели на коней и без всякой свиты поехали каждый к своему полку приводить людей к присяге. На улицах было много движения экипажей и пешеходов. Лавки начинали отпираться, несмотря на то, что урочная пора для этого далеко еще не наступала.

Сероватая мгла рассвета пропитана была сыростью быстро начавшейся оттепели. Моросил частый дождик, и среди глубоко выпавшего снега успели образоваться лужи. Серые контуры домов, скрадываясь и сливаясь в этой туманной мгле, глядели угрюмо, скучно и холодно. Не только в лицах людей, но, казалось, как будто даже в самом воздухе разлито что-то тоскливое, тревожное, недоумевающее... По улицам, шлепая по слякоти, в разных направлениях понуро шли гренадерские взводы гвардейских полков, относя к своим частям знамена, взятые из дворца для присяги. На съезжих полковых дворах отсырелые и подмокшие барабаны жидким звуком дребезжали «сбор» — и на этот призывный бой с разных сторон,

с ружьями наперевес, в одиночку выбегали из казарм солдаты и спешно пристроивались на плац-парадном месте к своим ротам. На каждой такой площадке, пред наскоро вынесенным аналоем, стоял с крестом и Евангелием полковой священник в полном облачении. По прибытии великих князей к своим частям, полки Семеновский и Измайловский приняли присягу. Преображенский полк был приведен к присяге своим заслуженным и почтенным подполковником Татищевым [1], которого государь в этот день тоже почтил особою милостию: когда Татищев, подав ему строевой рапорт, отступил, по тогдашнему правилу, на несколько шагов, император сам подошел к нему, приветливо взял старика за руки и, подводя к себе, сказал, что «таким почтенным и заслуженным мужам надлежит быть ближе к государю», а в уважение к его старости разрешил ему сидеть в своем присутствии, даже и в том случае, если бы сам он разговаривал с ним стоя.

Присяга гвардии представляла грустное и трогательное зрелище: развернутые знамена полоскались по ветру пред сотенными рядами поднятых рук; лица людей были бледны и смутны; офицеры и солдаты стояли тихо и понуро, погруженные в глубокую горесть; большая часть из них молча глотали слезы, иные же плакали навзрыд; инде раздавались громкие вздохи и вопли: «Пропали мы, пропала Россия! Матери не стало... Всем мать была!.. всем одна!» Начальствующие лица не унимали этих проявлений скорби: они и сами думали и чувствовали почти то же. И эта скорбь — надо заметить — в таких же точно проявлениях выказывается в русском войске при смерти каждого любимого монарха.

На 8-е число ноября назначен был первый «вахт-парад» [2] на дворцовой площадке. В церемонии развода должны были парадировать части из Измайловского и лейб-гвардии Конного полков. Великий князь Константин, желая сделать государю приятный сюрприз, очень заботился, чтобы на этом вахт-параде, еще первом и потому совершенно новом в Петербурге, некоторые командные слова произносились по гатчинскому образцу и чтобы все офицеры были на параде в длинных перчатках с раструбами и имели в руках форменные гатчинские трости. Несколько ездовых великого князя, вместе с полковым

[1] Николай Алексеевич, генерал-поручик и гвардии полковник. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Развод. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

адъютантом [1], еще до свету обрыскали весь гостинный двор, всех столичных перчаточников и токарей и, к радости молодого полковника, когда в 8 часов утра он приехал на полковой двор, все эти вещи были уже налицо и в совершенной исправности. Полк еще с трех часов ночи учился на плацу гатчинскому артикулу. Великий князь прорепетировал церемонию вахт-парада, проверил офицеров и солдат и остался доволен. Действительно, Измайловскому полку, на удивление самому себе, удалось в несколько часов довольно отчетливо изучить важнейшие правила нового устава, над готовою рукописью которого в это самое время деятельно работали в сенатской типографии несколько наиболее искусных наборщиков [2].

Конногвардейцы тоже были в большой тревоге.

Два эскадронных парикмахера всю ночь трудились над солдатскими головами, приводя их в новый форменный порядок: мазали салом их волосы, завивали букли, заплетали толстые косички и в изобилии обсыпали всю эту куафюру, вместо пудры, пшеничною мукою. Люди с трудом натягивали друг на друга мокрые лосины, и ни один человек не смел присесть, облокотившись к стене, чтобы не смять своей прически. Полковой командир, майор Васильчиков, самым тщательнейшим образом во всех мелочах и подробностях осматривал каждого человека из отборного взвода, назначенного во внутренний дворцовый караул, и неоднократно прорывалось у него душевное беспокойство и опасение; он знал, что новый император не совсем-то доволен духом, господствовавшим в среде этого аристократического полка. Но главное смущало его то, что в целом полку никто еще не имел ни малейшего понятия о новом уставе. И вдруг заметил он, что в конце казарменного коридора собралась вокруг кого-то кучка конногвардейцев, из которой по временам раздавались взрывы сдержанной веселости.

— Что там за смехи? Узнай, пожалуй, мне! — досадливо приказал он своему личному адъютанту.

— Сержант Черепов показывает прусскую выправку и экзерцицию,— доложил тот, возвратившись от веселой кучки.

---

[1] Е. Ф. Комаровский, впоследствии граф и генерал-адъютант. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Три устава о воинской службе были изданы уже 29 ноября 1796 года. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

— Ба! так он знает, не шутя? — с живостью подхватил начальник.— Послать ко мне его сейчас же!

— Черепов!.. Сержанта Черепова к командиру! — словно эхо из уст в уста пошел призывный клич по длинному коридору.

— Ну, брат Вася, достукался! Будет ужо пудрамантель! — шепотом пророчили вослед ему товарищи.

Но «брат Вася», нимало не смущаясь, шел к командиру своим обычным смелым и уверенным шагом.

— Ты что там за экзерцицию показуешь? — серьезно спросил его Васильчиков.

— С прусской модели,— бойко ответил Черепов.

— И ты не врешь, братец?

— Я, ваше превосходительство, дворянин,— возразил сержант, гордо вскинув слегка свою красивую голову,— и, как дворянину, врать мне недостойно.

— Гм... Молодец, коли так! Да откуда же тебе эта выправка ведома?

Черепов объяснил, что еще в прошлом году, будучи уволен в шестимесячный домашний отпуск, он отпросился «в некоторый малый вояж» за границу и, прожив два месяца в Берлине, сошелся с прусскими солдатами, многократно видел тамошние вахт-парады и с наглядки «нарочито и весьма изрядно» ознакомился с прусскою выправкой и экзерцицией, так что с тех пор нередко «утешает» своих «камратов», передразнивая и корча, по их просьбе, немецких солдат и офицеров.

— А ну-ка, покажи: как это? — предложил ему Васильчиков.

Черепов, с самым серьезным видом, воспроизвел перед своим командиром всю воспринятую им премудрость.

— Скажи, пожалуй! — воскликнул тот, хлопнув себя по коленям,— да ты, брат, и впрямь как настоящий гатчинец!.. Видал и я их тоже... Ей-ей, прекрасно, бесподобно! Полюбуйтесь, господа офицеры!

Но господа офицеры уже и без того любовались на ловкого и молодцеватого детину.

— Господин адъютант! Назначить сего сержанта ныне в развод на ординарцы к его величеству,— распорядился повеселевший Васильчиков.— А тебя, братец, прошу в грязь лицом не ударить! — прибавил он, обратясь к Черепову.

— Рад стараться! — бойко выкрикнул «брат Вася» и, совершенно по темпам прусского образца, повернувшись налево кругом, отошел от своего командира.

Ростепель и мо́креть продолжались уже полторы сутки. Рыхлый снег валил в неимоверном количестве и предательски застилал своею белопуховой скатертью изобильные лужи отдаленных и немощеных петербургских улиц. Конная гвардия квартировала тогда за Таврическим дворцом, под Смольным. В девятом часу утра части, назначенные в развод, выступили из казарм. Мимо «Тавриды» тянулась к Зимнему дворцу сначала конная команда, а за нею весь наличный состав конногвардейских офицеров и, наконец, отборный пеший взвод внутреннего караула. Люди были одеты в лучших своих мундирах, синих с золотом, в лучших шляпах с дорогим плюмажем, без плащей, в полной амуниции, и увязали в глубоком снегу пустынной улицы. В половине десятого измайловцы и конногвардейцы заступили назначенные им места на дворцовой площадке. Здесь уже стояла толпа офицеров от разных частей войск, но народу вообще было очень мало; быть может, потому, что об этом новом явлении петербургской жизни никакой официальный агент власти и администрации не извещал публику заблаговременно. Около этого времени к толпе офицеров стали все более и более присоединяться лица штаб-офицерских и генеральских рангов, подъезжая к площадке в своих возках и каретах. И ни на ком ни единого плаща, а уж о шубах или муфтах и помину не было! Все это гвардейское офицерство присутствовало в одних тоненьких мундирах и, с непривычки, тряслось от холоду под косым дождем, на ветру, который стремительными и буйными порывами налетал со взморья. Здесь, в этой толпе, передавалось множество новых слухов и фактов, но нельзя сказать, чтобы все эти новости нравились или производили приятное впечатление на массу гвардейцев, давно уже привыкших к совершенно иным порядкам беззаботной службы и сибаритской жизни. Сообщали за верное, что отныне, в силу высочайшего приказа, уже ни один офицер не смел являться никуда иначе, как в форменном мундире, тогда как до сего времени гвардейские щеголи «за редкость мундир надевали», а больше все фланировали в муфтах, в шубах да в роскошно расшитых французских фраках, из бархатных и драгоценных шелковых материй, заботясь единственно лишь о своем изяществе и помышляя только о трактирах, банкетах, театрах, балах, маскарадах да о том, чтобы посещать «приятные обществы»; о службе же действительной и «всякое понятие давно позабыли». Сообщали также, что офицерам запрещено ездить в крытых экипажах, тогда как при

покойной государыне гвардейский офицер «за стыд почитал себе» не иметь собственной кареты с шестеркой и даже с осьмеркой рысаков и с зашитым в золото либо в серебро гусаром, а не то егерем на запятках, теперь же только офицерские жены могли выезжать в закрытых экипажах, да и то не шестерней, а парой, или много-много если четвернею цугом; мужья же их обязаны были ездить верхом либо в простых санках или дрожках, «но отнюдь не с пышностию и великолепием». При Екатерине действительно роскошь в общественной и частной жизни достигла блистательнейших, но вместе с тем и печальнейших размеров. Не только знатные и богатые, но даже люди самого посредственного состояния тянулись изо всех сил, чтобы не отстать от вельмож и магнатов, поражавших всю Европу «своими негами и роскошами». Все хотели «кушать» не иначе, как на чистом серебре, и разорялись на драгоценные сервизы. Император Павел в разговорах «о сей материи» высказал напрямик, что он охотно согласен сам до тех пор есть на олове, пока не восстановит нашим деньгам надлежащий курс и не доведет государственные финансы до того, «чтобы рубли российские ходили действительно рублями».

— Изречение божественное и достойно великого государя! — восклицали при этом некоторые, тогда как большинство, недовольное новыми порядками и стеснениями, только улыбалось и сомнительно покачивало головою.

Между тем, пока гвардейская молодежь, поеживаясь от холоду, вместе со стариками судачила и обносила в своих кружках новые узаконения, великий князь Константин, пред своим измайловским фронтом, по-видимому, совершенно стоически и равнодушно переносил докучную петербургскую нéпогодь. Около трех четвертей одиннадцатого часа он приказал адъютанту Комаровскому взять подпрапорщика [1], идти во дворец и, остановясь перед кабинетом государя, велел камердинеру доложить его величеству, что развод Измайловского полка готов и что адъютант пришел за знаменем. Комаровский отправился, но через несколько минут вышел на площадку, хотя и с подпрапорщиком, но без знамени, и смущенно передал удивленному и озабоченному Константину, что когда камердинер отворил дверь кабинета и подал ему знак войти, то император, стоя, надевал перчатки и уже приказал было

[1] В полковом приказе было сказано, чтобы под знамя нарядить подпрапорщика. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

взять знамя, как вдруг, увидев громадного роста подпрапорщика, спросил неожиданно: «А что, он дворянин?» и на отрицательный ответ Комаровского заметил, что «знамя должно быть всегда носимо дворянином», и повелел привести унтер-офицера из этого сословия.

Великий князь, необычайно боявшийся отца, сильно перетревожился и приказал взять поскорее, на первый случай, хоть какого-нибудь подходящего сержанта. И едва знамя было вынесено к фронту, как на крыльцо гурьбой высыпали новые лица, новые сановники, одетые в мундиры новой формы. Эта форма, с непривычки резавшая глаза и казавшаяся странною, даже как будто маскарадною, доставила на первый раз всему разводу, а в особенности конногвардейцам, источник острот и смеха. Все эти лица казались им словно бы старые портреты немецких офицеров, выскочившие из своих рамок.

Ровно в одиннадцать часов из дворца вышел сам император в преображенском мундире новой формы и направился к разводу. Сначала, при виде петербургской гвардии, он стал как будто недоволен — по крайней мере, заметно отдувался и пыхтел, что всегда являлось у него верным признаком неудовольствия или гнева. Но когда пред измайловским фронтом раздалась команда по-гатчински и строй отчетливо исполнил, что требовалось, лицо императора прояснело и озарилось приветливой улыбкой.

Наконец настала очередь ординарцев.

Завидев синий с золотом мундир подходящего конногвардейца, император снова было насупился и отвернулся несколько в сторону, но ординарец, молодцевато остановясь перед ним на расстоянии трех шагов, проделал все, что следовало в данном случае, в совершенстве подражая прусскому идеалу.

Государь, приятно удивленный этой новой неожиданностью, внимательно окинул ординарца своим быстрым взглядом и с благосклонной улыбкой обратился к полковому командиру:

— Так и у вас, господин майор, успели уже ознакомиться с новым уставом? — спросил он.

Васильчиков, не решаясь утвердительным ответом высказать неправду и в то же время боясь разочаровать государя откровенным признанием, отвечал несколько уклончиво, с почтительным поклоном:

— Стараемся, ваше императорское величество!

Государь лично скомандовал ординарцу несколько приемов и поворотов, полюбовался его выправкой и маршировкой и остался совершенно доволен.

— Спасибо, молодец! — приветливо кивнул он ему головою.— Твоя фамилия?

— Черепов, ваше величество!

— Э, так мы с тобой уже знакомы!

И после короткого молчания, в течение которого его внимательный и зоркий глаз скользил по стройной фигуре ординарца, он вдруг прибавил:

— Благодарю, *корнет*! Мне лестно видеть в вас такого отличного служаку!

Это было сказано громким и приятным голосом, так что не только окружающие, но весь развод отчетливо слышал слова государя, которые были полною неожиданностью для всех и более всех для самого Черепова. Почти ошалелый от радости, он смутно вспомнил, однако же, что надо сейчас же благодарить государя за милость и, по обычаю того времени, преклонил пред ним колено.

Император протянул ему для поцелуя свою руку. Черепов почтительно прикоснулся к ней губами.

В это время прискакал гатчинских войск поручик Ратьков и доложил государю, что гатчинские и павловские батальоны находятся уже пред городской заставой и ожидают высочайших повелений. Обрадованный император тут же сам надел на него Анненский крест 2-го класса и назначил адъютантом к наследнику. В ту же минуту к государю подвели «Помпона», его любимую верховую лошадь, и он, в сопровождении двух сыновей своих, быстро поскакал навстречу своим старым любимцам, которые всецело были его личным созданием, его забавой и утешением в течение долгих и монотонных лет его гатчинского одиночества.

Гвардейский развод остался на площади. Хотя по отбытии государя никем не была подана команда «стоять вольно», но конногвардейцы, по «вольности дворянства» и по недавнему еще обыкновению, на что смотрелось сквозь пальцы, кружком обступили счастливого Черепова и наперерыв поздравляли его с неожиданной милостью.

— Каково метнул из нашего брата солдата да прямо в гвардии корнеты!

— Поди-ка!.. Ну-тка!.. да, вот те и пудрамантель! — дружески смеясь, замечали товарищи.

— Мы думали — буфонит, а он, на-ко, и взаправду! Ай, молодец же, Васька!

— Что ж, брат Вася, поди-ка теперь зазнаешься?..

— Чего-о? — насупился Черепов,— да вы меня это за кого понимаете?..

— Так, значит, литки с тебя, дружище!

— Непременно! завтра же после смены и устроим,— согласился Черепов.— Прошу, любезные друзья, пожаловать к фриштыку в ресторацию Юге, что в Демутовом трактире,— пригласил он,— будут устерсы и аглицкое пиво, и шампанское вино, и многое другое... Последняя копейка ребром, черт возьми, для эдакой радости!

Час спустя по отъезде государя послышались с Гороховой улицы мелодические звуки флейт и грохот барабанов.

Весь развод, естественно, обратил внимание на ту сторону, откуда приближались эти воинственные звуки. То были гатчинские батальоны, торжественно вступающие еще в первый раз на Дворцовую площадь.

Император ехал во главе той части, которую он наименовал в Гатчине своим Преображенским полком, а великие князья следовали пред так называемыми Семеновским и Измайловским полками. Позади пехоты и артиллерии шел прекрасный Кирасирский цесаревича полк, во главе которого Павел Петрович, будучи наследником, прослужил кампанию 1788 года; причем над его головой не раз гудели шведские ядра и свистали пули.

Гатчинские гости были одеты совершенно по-прусски, в коротких мундирах с лацканами и в черных штиблетах; на гренадерах красовались медные шапки [1], а на мушкетерах маленькие треугольные шляпы. Офицеры, большей частью безвестные и бедные дворяне, из бывших морских батальонов, шли на своих местах, держа по форме красивые эспонтоны, что для гвардейского развода казалось и смешно, и педантично. Одеты они были все в поношенные и потертые мундиры темно-зеленого цвета, явно перекрашенные, в видах экономии, из разноцветных сукон — обстоятельство, опять-таки служившее бесконечным поводом к насмешкам и колким замечаниям.

— Батюшки! да какие ж они пегие, полинялые, оголтелые, куцые! — трунили между собой блестящие гвардейские щеголи.

Император меж тем в восторге любовался на свое «модельное войско», шесть батальонов которого с необыкновенной стройностью входили в *«алиниеман»* на

---

[1] Как ныне у л.-гв. Павловского полка. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

Дворцовой площади. Когда же они выстроились в безукоризненно чистую, строгую линию, государь обратился к ним с речью.

— Благодарю вас, мои друзья! — сказал он с заметно теплым чувством.— Благодарю за верную вашу мне службу, и, в награду за оную, вы поступаете в гвардию, а господа офицеры чин в чин.

Долгие и восторженные «ура» гатчинцев были ответом на приветливое слово государя. Затем их знамена понесли во дворец — и весь гвардейский развод отдавал им воинскую честь обычным образом. Император был необычайно доволен измайловцами за их быструю науку, обнял великого князя Константина, благодарил офицеров, а нижним чинам пожаловал по фунту рыбы. Затем, поставив вообще всем присутствовавшим гвардейцам своих гатчинцев, как образец, которому должно подражать по возможности близко, государь милостиво пригласил всех без исключения генералов, гвардии, армии и флота штаб и обер-офицеров, даже до последнего инвалидного прапорщика — «пожаловать к нему во дворец к водке и закуске».

Так окончилось это утро, достопамятное для старой екатерининской гвардии.

III

ОПАЛЬНЫЙ

Почти на полпути между Москвой и Коломной, верст двенадцать в сторону от большого тракта, стояла небольшая помещичья усадьба, Любимка, принадлежавшая отставному генерал-майору графу Илие Дмитриевичу Харитонову-Трофимьеву. Летом это был прелестный и благодатный уголок, совсем заброшенный и запрятанный среди березовых, ольховых и сосновых рощ, которые, окружая его со всех сторон, ревниво и тихо оберегали мир, покой и уединение всеми забытого приюта. И точно, в течение долгих годов екатерининского царствования, усадьба Любимка оставалась в полном забвении. Редко кто из соседей-помещиков заедет, бывало, отдать «решпект» обывателю Любимки, да и то заезды эти, по большей части, делались словно бы крадучись, исподтишка, с опаской, как бы не проведали, как бы не дознались да не донесли часом в подобающее место... Полицейский пристав, которому поручено было наблюдение за образом жизни, мнениями и по-

ведением любимковского обитателя, каждый месяц аккуратнейшим образом являлся к нему в усадьбу, причем старый дворецкий Аникеич принимал его «в барской конторе», поил чайком и наливками, снаряжал особую подводу, которую нагружали из господских кладовых и амбаров всякой живностью и припасами, вроде битых гусей и кур, свиного окорока, лукошка яиц, корца меду, четверика муки, меры круп, масла и проч. и проч. Полицейский пристав, получив «детишкам на молочишко», угощенный по горло и ублагодушествованный, расставался приятельски со старым Аникеичем и, не видав в глаза того, за коим был приставлен, убирался восвояси, отягченный его щедрыми дарами и мечтая, что вот, даст бог, на будущий месяц, коли доживу, опять на 3-е число явлюсь к сиятельному милостивцу за получением «законоположенного». Так шли многие и многие годы...

Один, забытый в Петербурге, забытый и окрест себя, ничего кроме смерти не ожидая в будущем и ничего ни от кого не желая, кроме полного покоя, в каком-то гордом смирении, спокойно и твердо коротал свои старческие дни в уединенной усадьбе граф Илия Харитонов-Трофимьев... А было время, что и он играл свою видную роль и в армии, и при дворе Елизаветы, и при Петре III; но это было давно... было да сплыло, и сплыло так, что не только сверстники и завистники графа успели давно уже простить ему его успехи, забыть ему его прошлое, но даже он и сам простил им их козни и интриги и успел забыть все минувшее и сделался вполне равнодушен как к своим былым успехам, так и к былым завистникам.

В известном «перевороте» 29-го июня 1762 года он не принял ни малейшего участия, открыто порицал Орловых и остался верен памяти Петра III.

— Он хотя и немец по духу, но несомнительно человек честный и благожелательный ко всем российским сословиям,— говорил о Петре граф Илия, споря с Григорием Орловым на другой или на третий день после «переворота».— И для того мне,— прибавил он,— как тоже честному человеку, не подобает нарочито смутьянить и играть моим верноподданством.

Граф Илия, однако же, силой вещей вынужден был подчиниться новому порядку, но принял присягу не ранее, как воочию увидев мертвого императора, привезенного для погребения в Александро-Невскую лавру.

— Не лицу присягаю, присягаю престолу российскому... C'est le principe, mon cher! c'est une autre cho-

se! [1] — неосторожно выразился он при этом одному из своих приятелей, и слова крутого графа в тот же день были доведены до сведения кого следовало. С этой минуты его оставили в тени. Ни на одном из торжественных придворных праздников не было видно, в числе приглашенных гостей, статной и мужественной фигуры графа Харитонова-Трофимьева, равно как и в длинных списках наград и пожалований орденами, чинами и титулами, и крестьянами тщетно кто-нибудь стал бы доискиваться его имени. И так продолжалось с ним во все блестящее царствование Екатерины.

Наследник престола, Павел Петрович, еще в детстве своем случайно как-то зазнал графа Илию. Однажды даже пригласил он его к столу, на свою особую половину, и граф Илия обедал с наследником, в обществе воспитателей его: графа Панина и Порошина, и в течение обеда «много утешал царственного отрока» своими занимательными и поучительными рассказами о физике, химии и о воинском устройстве многоразличных европейских армий. Но когда об этом «дошло до сведения», то граф Панин в тот же вечер деликатно «получил на замечание», и с тех пор Харитонов-Трофимьев уже не обедывал с наследником престола.

Впоследствии тому же самому наследнику, когда он уже был взрослым и женатым человеком, граф Илия имел случай оказать некоторую услугу. В один из своих приездов в Петербург (постоянно он жил у себя в усадьбе, но въезд в столицу, «по силе нужности», формально воспрещен ему не был) узнал он, что Павел Петрович временно стеснен в средствах, но не решается просить у императрицы, так как однажды встретил уже полный отказ в подобной своей просьбе.

— Доложите великому князю,— сказал граф одному из приближенных наследника, от которого случайно узнал о его затруднениях,— доложите ему, что в память его августейшей бабки и родителя, коими я был некогда облагодетельствован, все мое достояние, когда бы и сколько бы ни потребовалось, принадлежит его высочеству.

И когда тот же приближенный, будучи послан благодарить графа за его обязательную услугу, присовокупил, что наследник ни теперь, ни впоследствии не забудет графу его одолжения и при первой возможности постарается сам отблагодарить его достойным образом,— граф

---

[1] Это — принцип, мой дорогой! Это — другое дело! *(фр.)*

Харитонов-Трофимьев, закусив губу, выпрямился во весь рост и сказал:

— Передайте от меня его высочеству, что напрасно он обо мне таковое мыслит, что я сие сделал не ради надежд на мою персональную выгоду в будущем, но единственно токмо ради моей благодарной памяти к моим благодетелям, от коих милостей я получил все, чем пользуюсь ныне.

Этот случай был сопряжен с последним приездом графа в столицу. Сколь ни отличалась его услуга самым интимным и скромно-конфиденциальным характером, тем не менее люди, усердно следившие за Павлом изо всех щелей его гатчинской резиденции, сочли нужным «довести» о «негоции» графа Харитонова-Трофимьева. Эта «негоция» не понравилась, и вот с тех самых пор граф Илия почти уже безвыездно затворился в своей уединенной усадьбе. С тех же пор, в кругу соседей и у всех, кому только было ведомо имя Илии Харитонова-Трофимьева, стал он известен под прозвищем «опального графа».

Это был человек глубоко несчастный в своей жизни, и только одна фамильная гордость да прирожденная сила характера помогали ему вечно таить внутри себя все муки своего несчастия, никому никогда не жалуясь, нигде и ни в ком не ища себе сочувствия и даже не допуская мысли, чтобы кто-нибудь осмелился подумать, будто он и в самом деле может чувствовать себя несчастным. Его политическая карьера была уже давно и безвозвратно разбита; но столько же, если не более, была разбита и его жизнь семейная. Граф не был счастлив в супружестве. Жена его, которой всецело отдал он, уже будучи в опале, свою руку и сердце, не сумела оценить это сердце, ни понять характер графа. Капризная и своенравная дочь прожившегося боярина, воспитанная в модных парижских салонах того времени, она пленила графа Илию своей блистательной внешностью, шутя отдала ему свою руку, шутя пошла с ним к аналою, с проклятием родила ему дочь, а год спустя покинула и эту дочь, и самого графа, предпочтя своей семейной обстановке жгучую жизнь тех же самых блестящих салонов Парижа и скандалезную репутацию открытой подруги одного из самых знаменитых тогдашних «энциклопедистов». Ее скандально блестящая слава, которой завидовали у нас не только многие великосветские жены, но даже и мужья этих жен, втайне грызла и сосала сердце гордого графа. Насколько возможно, он старался если не забыть, то хоть несколько облегчить, утихомирить свое горе и боль уязвленного самолюбия тишиной своего

глухого сельского угла, постоянным углублением в чтение, в историю да в сельскохозяйственные работы. Впрочем, он не обвинял безусловно свою ветреную графиню. Напротив, он склонен был скорее обвинять себя, так как главную причину семейного несчастья полагал в своем собственном неосмотрительном увлечении в том, что женился, будучи старше своей жены годами более чем вдвое. Чтобы не подать повода к каким бы то ни было упрекам, он аккуратно высылал ей слишком достаточные средства для ее заграничной жизни и никому никогда не заикался про эти щедрые подачки. Но свои собственные потребности сузил он до самых скромных пределов, и не потому, чтобы чувствовал в этом настоятельную материальную необходимость (средства его вообще были более чем прекрасны), но единственно потому только, что ему, после петербургского блеска и в особенности после разрыва с женой, стали глубоко противны вся эта пышность, и гром, и роскошь вельмож его времени. Графу Илие захотелось похорониться в тишине какого-нибудь неведомого угла, уйти внутрь самого себя, порвать со всем этим светом, чтобы и о нем никто, да и сам он ни о ком не слышал. У него под Москвой было огромное и великолепное имение, которое славилось своим каменным дворцом и обширными садами. В этом имении у графа помещались и знаменитый в свое время конский завод, и знаменитая псовая охота, и домашний оркестр, и домашний театр с трагиками, благородными отцами и первыми любовниками, с целым штатом певиц и танцовщиц из крепостных; тут же проживали у него на вечных и льготных хлебах и капельмейстер-немец, и балетмейстер-француз, и куафер, и костюмер, и много иного, вполне теперь бесполезного ему люда. С тех пор как жена его оставила, он никогда не живал в своем подмосковном имении, но, «сократив» самого себя, даже и не подумал, чтобы хоть сколько-нибудь «сократить» весь этот праздно проживавший штат.

«Пусть их живут; надо же и им с чего ни есть кормиться!» — махнув рукою, отвечал обыкновенно граф Илия на представления управителя, который в первое время новой уединенной жизни своего патрона решался иногда докладывать ему, что не мешало бы-де распустить дармоедов.

Но зато заботы и всю любовь своего горячего и обиженного сердца сосредоточил граф на своей дочери. Как самая нежная мать и нянька, он следил за нею шаг за шагом еще с самой колыбели этого покинутого ребенка. И сколько мучительных дум и забот, сколько блестящих

надежд и томительных сомнений о будущем своей дочери кипели и волновались в душе отца, когда он по вечерам сидел, бывало, на низеньком табурете пред ее детской кроваткой, в ожидании, пока заснет его дитя под тихое, мурлыкающее бормотанье старой няньки Федосеевны, какая взяла себе за правило «беспременно и кажинный вечер сказывать сказки своей графинюшке...».

Эту дочь, в честь своей царственной благодетельницы, граф Илия назвал Елизаветой и, нарекая ребенка дорогим ему именем, в молитве своей призывал покойную государыню быть ее ангелом-хранителем, ее неземною восприемною матерью.

Он не жалел никаких средств на воспитание и образование своей дочери. В течение всего ее детства в Любимке проживали три пожилые особы: англичанка, француженка и немка, которые были обязаны заниматься с графиней Лизой языками, рукодельями и изящными искусствами, т. е. живописью, игрою на арфе да на клавесине. Но простой русский и притом крепостной человек, нянька Федосеевна, все ж таки «даже и при трех мадамах» постоянно занимала своего рода первенствующую роль при «графинюшке». Она, конечно, не вмешивалась в дрессировку светского ее воспитания, предоставленного трем «мадамам»; но чистая и благотворная струя русского влияния, без всякой, конечно, предвзятой на этот счет мысли, а просто себе и как бы инстинктивно, по действию самой природы вливалась в душу ребенка, благодаря все тому же простому и непосредственному человеку — няньке Федосеевне, которая научила свою девочку лепетать и первые слова, и первые молитвы. Областью Федосеевны была спальная комната «графинюшки Лизутки», ее умыванье, чесанье, одеванье и раздеванье, ее каждоутренний и каждовечерний *безмен а папа* (baise main à papa) [1], ее белье и платьица, ее куклы, цветы и картинки, русская сказка и песни, русский простой разговор, подчас ворконя, а более того тихий вздох да задушевная ласка своей «полусиротки». Три учителя для русского языка, математики, истории, географии и мифологии были выписаны графом, по рекомендации ректора, из лучших студентов Московского университета. Закон божий и священную историю граф преподавал сам. Он был очень религиозный человек и никому, кроме себя, не решился «препоручить сего наиважнейшего предмета». Да и вообще, сре-

[1] Целовать ручку папá *(фр.)*.

ди своих книг и агрономических занятий, он постоянно находил время лично следить за воспитанием и образованием своей дочери, вникая во все его подробности.

Таким-то образом прошло все детство и отрочество этой девочки, выросшей без матери, среди привольной жизни забытого сельского уголка, и — «графинюшка Лизутка» незаметно стала взрослой девицей. Это была совсем русская красавица: сильная, здоровая, ловкая и хорошо сложенная, с плавными и грациозными движениями, с лучистым взглядом больших и открытых серых глаз, с «соболиною» бровью и длинными ресницами, с несколько капризно-вздернутым носиком, густыми светло-каштановыми косами и, наконец, с обворожительной улыбкой свежих, румяных губ, и эта улыбка имела у нее свойство, словно солнце, озарять все лицо, все существо ее, когда ей было весело или когда она хотела быть приветливой.

Со вступлением графини Елизаветы в семнадцатилетний возраст, учителя ее были отпущены с хорошими наградами, а три мадамы остались при ней по-прежнему — «для практики и для компании», но старая нянька Федосеевна и в новом положении своей воспитанницы, «по законному своему праву», все-таки не покидала первенствующей роли, и графиня Елизавета, как и в оны дни, продолжала быть для нее все тою же «графинюшкой Лизуткой».

IV

СОН В РУКУ

Ноябрьский сиверкий день начинал вечереть. Стая ворон и галок шумливо кружилась над обнаженными деревьями любимковских рощ, наглядывая себе в прутьях ветвей удобные места для ночлега. Граф Илия, проснувшись от послеобеденного сна, вышел по обыкновению в своем темно-синем бархатном халате на беличьем меху посидеть в гостиную, куда в эту пору дворецкий Аникеич, тоже по обыкновению, принес ему с погреба большую хрустальную кружку фруктового кваса. Граф любил посидеть в этой комнате именно в тот час, когда уже начинают спускаться сумерки, и, погрузясь в глубокое, покойное кресло да прихлебывая из кружки ароматный квасок, послушать пение своей Лизы с аккомпанементом арфы или ее игру на клавесине. Графиня Лиза сидела у окна, усердно склонившись над пяльцами; она вышивала

шелками роскошный букет для диванной подушки, которую намеревалась поднести «в презент» своему отцу в день его рождения, и теперь торопилась, пока еще не стемнело, окончить большую пунцовую розу.

— Полно-ка глазенки томить! — заглядывая из-за плеча дочери на вышиванье и мягко проводя рукой по ее волосам, заметил граф,— успеешь еще, родная...

— Ах, пожалуй, не мешай, папушка! — тряхнув головкой, с оттенком легкого нетерпения, озабоченно проговорила Лиза,— еще шестнадцать городков остается и тогда конец.

— Да глаза же слепишь, говорю тебе.

— Пустое! Молодые еще, не ослепнут... Ведь для тебя же стараюсь...

— Для меня... Ах ты, рукодельница моя прилежная! — ласково усмехнулся граф.— Для меня... А чем же я для тебя постараюсь? В Москву свозить, нешто?

— Не охотница я, мне и здесь хорошо пока.

Аникеич вошел с полною кружкой на серебряном подносе.

— Ага, и ты, старый хрен, пожаловать изволил! — с доброй усмешкой моргнул на него граф.

— Сами не далечь от меня отстали... Хрен да хрен! Какой я вам хрен еще! — как бы взаправду сердясь, проворчал старый дворецкий.— Кушайте-ка лучше, пока пенится... Вашего сиятельства на доброе здравие! — прибавил он с поклоном, когда граф взял и поднес к губам своим кружку.

— Ну, однако же, будет! Довольно! — ласковым, но решительным тоном обратился этот последний к дочери.

— В сей час, папушка, в сей час. Уж только семь городков осталось... Вот только этот бутон... один лепесточек, и на сей день урок мой кончен.

— Да смеркается же! Будет... Пожалуй-ка, лучше сыграй мне, а я послушаю... Только нечто бы маэстозное,— я в такой настройке ныне.

— Ты говоришь, настройка... маэстозная...— раздумчиво и как-то оттягивая слова, после некоторого молчания заговорила Лиза.— А знаешь ли, папушка, и я ведь тоже в совсем особливой ныне настройке.

— Ой ли, детка! Что так?

— Да так, и сама не знаю. Все раздумье берет... беспричинное... будто симпатия какая.

— Да с чего же, однако, быть той симпатии?

— Сон такой привиделся.

— Со-он? Эка выдумщица!..

— Право же сон, папушка... И вообрази, дважды кряду в эту ночь все он один снился... Поутру я даже в «Мартын Задеке» справлялась.

— Что ж за знатный сон такой? Ну-ка?

— Да вот, изволишь видеть, снится мне это, будто мы с тобой вдвоем идем на высокую гору, и будто эта гора — наша Любимка. «Поди ты, что за странность, думаю. Стать ли этой нашей Любимке быть вдруг горою!.. Да еще такою высокою, такою трудною!» И мы с тобой все на нее взбираемся, все карабкаемся, а из-под ног у нас все камешки сыплются, и мы скользим, падаем и снова подымаемся, а окрест нас такая пустыня, такая темень, мрак, хоть глаз выколи! И плачусь я, что никогда мы не дойдем до вершины и никогда нашему бедству скончания не будет... И только что я эдак-то сама в себе возроптала,— гляжу,—ан мы с тобой вдруг уже на самой вершине, и тут вдруг озарил нас свет... И такой это был блеск неожиданный и прекрасный, что я даже испугалась и зажмурилась. И в сей же час мы с тобой, взявшись за руки, побежали с этой вершины вниз, и так, знаешь ли, шибко, так легко-легко несемся, будто летим, что даже дух у меня замирает. Смотрю, а уж мы среди прекрасной и цветущей долины плывем в лодке по широкой реке, и тут я проснулась.

— Плотно, матушка, значит, покушала за ужином,— смеясь, заметил граф на рассказ своей дочери.

— Ну, вот!.. Совсем почти нисколько не ела, одну только чашку молока выпила! — возразила девушка.— И что достопримечательно: чуть лишь заснула — опять все тот же сон... Я себе и возьми это за приметку, заглянула в «Мартын Задеку», а там знаешь, что про то писано? Писано, что на гору взбираться — означает труд, испытание и долготерпение в горести, а с горы катиться — вот что от слова до слова сказано,— я даже в самой точности запомнила: «сон сей, человече, нарочито знатную перемену в жизни твоей означает». А что до реки касается, то спокойно плыть по оной — прибыток, довольство и счастливую жизнь знаменует.

Граф на это только тихо и несколько грустно улыбнулся своей дочери.

— Все это прекрасно,— заметил он,— а вижу я, однако, что ты, неслух эдакой, все еще корпишь над своей работой!

— Последний городок, папушка! Ей-богу, последний!

И настойчивая Лиза не ранее-таки встала из-за пялец, как дошив до конца весь лепесток розового бутона.

— Ну вот, теперь я права! — весело поднявшись со стула и накрывая камчатной салфеткой свою работу, сказала она с полным, облегчающим вздохом.— Что же сыграть тебе, папушка?

— Что знаешь, дружочек... Из Метастазия нечто или из Моцарта.

Девушка присела слегка за клавесин, взяла несколько аккордов и задумалась — что бы такое сыграть ей в угоду отцу. Взгляд ее вдумчиво устремился куда-то, как бы в пространство, и бессознательно перешел на стекла окна, из которого видна была часть «переднего двора», частокол и посреди него высокие дубовые ворота, крытые русским навесом с гребешком и коньками, а там, за этими воротами — выгон, скучно покрытый снежной пеленой, и серающая роща со своими крикливыми галками, и под рощей тот большой и густой коноплянник, где еще ребенком так хорошо и привольно бывало ей прятаться в жаркий полдень, среди чащи сильно пахучих высоких стеблей, от докучного дозора подслеповатой и строгой «мадамы-англичанки».

— Папушка! Глянь-ко, что это такое?.. Никак, едет кто-то,— вскричала вдруг Лиза, вскакивая с табурета и кидаясь к окошку.

— Полно! Кого понесет сюда в такую пору! — махнул граф рукою.

— Нет, папушка, и впрямь едет... Слышишь, колокольчик почтовый...

Граф прислушался из своего кресла и действительно очень ясно различил приближавшийся звон заливистого колокольчика.

— Сдается так, что военный будто... в шляпе, в треугольной... Право же, папушка! — глядя в окно, уверяла Лиза.

Граф ничего не ответил и только слегка поморщился, невольно выказав этой миной признак внутренней досады и неудовольствия. В течение долгих лет своей опалы он из опыта уже убедился, что редкие приезды незнакомых лиц в военной форме, с почтовым колокольчиком под дугой, знаменуют всегда нечто официальное, а все официальное не могло доселе сулить опальному графу ничего, кроме какой-нибудь новой неприятности, нового стеснения.

Колокольчик замолк перед самым частоколом на ту минуту, пока прибежавший с дворовыми собаками казачок

отворял решетчатые ворота, и вслед за тем, облетев полукругом двор, курьерская тройка остановилась у небольшого крыльца барского домика.

— Аникеич, узнай-ка, брат, кто там и за коей надобностью,— приказал граф дворецкому, позвав его обычным хлопаньем в ладоши, что служило у него сигналом призыва для домашней прислуги.— Да если это какой-нибудь новый пристав,— прибавил Харитонов-Трофимьев,— так ты, братец, внуши-ка ему, что это вовсе не порядок лезть со своими колоколами прямо под графское крыльцо, что для сего-де есть у графа сборная изба либо контора... Ну, и там выдай ему, что следывает по положению, и отправь поскорее.

Аникеич удалился, но, после каких-то переговоров с незваным и нежданым гостем, вернулся опять в гостиную, видимо озадаченный и смущенный.

— Курьер... из самого Питера,— доложил он.— Сказывает, что имеет препорученность персонально до вашего сиятельства.

Граф окинул его вопросительным взглядом и недоумело пожал плечами.

— Зови,— сказал он,— коли персонально.

Через минуту, вслед за старым Аникеичем, в гостиную вошел статный и молодой гвардеец.

— Его императорского величества к вашему сиятельству именное повеление,— звучно и отчетливо проговорил он несколько официальным тоном.

— Как вы сказали, сударь? — прищурился граф, прикладывая щитком ладонь к правому уху.— Виноват, кажись, я ослышался...

— Его императорского величества...— снова начал было гвардеец.

— То есть *ее* величества, сказать вы желаете? — перебил его граф, думая исправить, и заметил курьеру его обмолвку.

— Нет, граф, *его* величества,— подтвердил тот непреложно-уверенным тоном:

— Как?! Да разве... разве императрица?

— Волею божией шестого сего ноября скончалась.

Граф неподвижно, словно бы громом пораженный, с минуту оставался в своем кресле, затем медленно перекрестился и встал с места, выпрямясь во весь рост.

— Я слушаю повеление моего государя,— с видом благоговейной почтительности произнес он тихо, важно и вполне спокойно.

— Государь император,— начал гвардеец, подавая графу запечатанный пакет,— высочайше соизволил дать мне препорученность, дабы передать вашему сиятельству, что воля его величества есть как можно скорее видеть вас вблизи своей особы. Государь просит вас изготовиться наипоспешнейше вашим отъездом, но, впрочем, принимая во внимание ваши лета и домашние обстоятельствы, всемилостивейше разрешает вам четыре дня для необходимых сборов. Мне же от его величества препоручено препроводить вас до столицы и озаботиться, чтобы, находясь в пути, ваше сиятельство ни в чем не потерпели никакого неудобства, ниже задержки.

Выслушав это, граф дрожащей рукой сорвал конверт и стал читать собственноручное письмо императора Павла.

— Благодарю тебя, господи, яко не до конца оставил мя еси! — тихо прошептал он, перекрестясь еще раз на образ, и с благоговением поцеловал строки, начертанные царственной рукой.

— Благодарю и вас, государь мой, за сие высокорадостное известие! — взволнованно и с чувством продолжал он, подавая курьеру руку.— По форме усматриваю, что вы гвардии офицер... Позвольте знать, кого имею честь принимать у себя в доме?

— Лейб-гвардии Конного полку корнет Василий Черепов,— отрекомендовался тот с учтивым поклоном.

— Папушка! Голубчик мой! А ведь сон-то в руку! — с восторгом и вся в радостных слезах кинулась на шею отцу «графинюшка Лизутка».

V

ПОД ПРИВЕТЛИВОЙ КРОВЛЕЙ

Весь дом графа Харитонова, тихо дремавший доселе в долгом однообразии своей замкнутой жизни, исполнился вдруг какого-то особенного настроения. Это была не шумливая своекорыстная радость, не эгоистические ликования по случаю счастливой перемены, а скорее как будто испуг пред внезапностью переворота, очевидно наступающего в жизни графа,— чувство смятенного страха и благоговения пред той светлой и высокой ролью, которая, благодаря царской милости, ожидает теперь этого «опального», еще вчера всеми покинутого и забытого. Во всей усадьбе тихо и серьезно шушукались, передавали весть о кончине императрицы и о новом государе, который чуть не с пер-

вой минуты своего царствования вспомнил-де о графе и послал за ним особого гонца, гвардейского офицера «из самого что ни есть первейшего в империи Конного полка», и что теперь будет с графом, «графинюшкой», да и со всей их «ближней услугой»? Какая судьба, какие перемены ожидают всех их в самом недалеком будущем? Кто поедет «при графских персонах» в Питер? Кто останется в Любимке? Отпустят ли трех «мадамов», да как-то теперь все это пойдет вдруг по-новому, когда того никто и не чаял?..

Нечего и говорить, что — начиная с «графинюшки» и ее няньки Федосеевны до последнего человека в усадьбе,— все смотрело на «царского гонца» чуть ли как не на божьего посланника, который просто с неба слетел к ним со своим благовестием. Все старались чем ни на есть угодить ему, успокоить, накормить, взлелеять его после шальной и бессонной курьерской скачки, которая в двое с половиной суток примчала его из Петербурга в Любимку.

Аникеич самолично накрывал для него чистой камчатной скатертью обеденный стол, торопил поварят на кухне и шпынял казачков в людской, чтобы те проворнее грели самовар для «царского посланца»; сам слазил еще и еще раз на погреб, обдумывая, каким бы вином пристойнее всего угостить такого гостя и ради такого случая — францвейном или венгерским? Или и тем и другим, а для радости уж не вытащить ли еще и бутылку шампанского вина? Все эти соображения в данную минуту представлялись Аникеичу «материей нарочито важной» и требующей «особливого проникновения».

— Устин Аникеич, кому служить за столом укажете: мне, аль Антропу, или Степке? — приставали к нему несколько гайдуков, которым тоже было бы «лестно» прислуживать царскому посланцу.

— Сам служить буду! Никому не дам! — с достоинством отвечал Аникеич таким решительным тоном, который не допускал уже более никаких противоречий, просьб и доводов.

Старая Федосеевна с горничными девушками тоже была в хлопотах немалых. Этот отряд женской прислуги суетился в особом «чистом» флигелечке, приготовляя для гостя «спальную горницу и прочий апартамент». Там сметали с углов паутину, спешно мыли и подметали пол, топили лежанку, переводили на время в контору двух «мадамов», которые доселе здесь помещались, взбивали пуховики и подушки, застилали чистые простыни, вешали

новые занавески — словом, возни и хлопот было по горло для всезаботливой и предупредительной Федосеевны. «Пущай, мол, видит, хоша и в захолустьи живем, а все как след, все по-графскому... Лицом в грязь не ударим и графа свово не поконфузим».

Гость между тем сидел в гостиной вместе с графом и его дочерью и, отвечая на их расспросы, рассказывал — насколько знал и лично видел или от других слышал — обстоятельства кончины государыни и первые минуты восшествия Павла, первые его распоряжения и нововведения, о которых гвардейцы и публика узнали в утро первого вахт-парада. Рассказал он также и про свой «особливый случай» у государя, благодаря которому стал неожиданно «пожалован в гвардии корнеты», и как во время его ординарческого дежурства во дворце государь, случайно проходя по той зале и постоянно замечая его «отменную выправку», до трех раз подходил к нему и каждый раз изволил милостиво с ним разговаривать, расспросил, кто он и откудова, имеет ли родных и состояньишко? И когда Черепов отвечал, что от покойного отца своего за ним числится в Новгородской губернии сто двадцать душ крестьян, да еще родная тетка, умершая в бездетности пять месяцев тому назад, оставила ему по завещанию сто душ Московской губернии, в Коломенской округе, близ большого рязанского тракта, то государь спросил, успел ли он побывать уже в этом последнем своем имении, и на отрицательный ответ Черепова, несколько подумав, вдруг изволил произнесть:

— Это очень кстати: у меня в тех местах проживает в своей усадьбе генерал-майор граф Харитонов-Трофимьев. Поезжай к нему и сейчас же от моего имени и скажи, что я жду его с нетерпеливостью и прошу пожаловать к себе в Петербург; скажи, что я старика всегда очень помнил и охотно желаю его поскорее видеть, дабы иметь при своей особе... Инструкции, маршрут, подорожную и особливый пакет на имя графа получить имеешь через час из моего кабинета; пробыть изволь там на месте не позднее четырех суток, а в это время, кстати, коль угодно, то можешь взглянуть и на свое новое именьишко.

— И вот в силу таковоrо повеления,— заключил рассказ свой Черепов,— я, как изволите видеть, примчал к вам, чтобы не умедлить ни единой минуты насчет оповещения вас о толикой особливой его величества милости; а завтра, дабы не мешать моим посторонним присутствием вашим скорым семейным сборам, я прошу позволения

отъехать в свое именьишко, а через два дня опять вернуся, исполняя волю моего императора, к вашего сиятельства услугам и буду иметь честь сопровождать вас до Петербурга.

— Не смею стеснять вас, сударь,— слегка поклонился граф,— но сей ночлег прошу иметь под моей кровлей: чем богати, тем и ради, по простоте, по-старинному. А смею спросить,— прибавил он,— как прозванье именьищу-то вашему, что от покойной тетушки досталось?

— Чижово, Замахаевка тож,— ответил Черепов.

— Замахаевка?.. Бог мой! — вскричал граф Илия,—да это близехонько, просто рукой подать отселе, в самом ближнем соседстве, и двадцати верст, почитай, не будет!.. Так, стало быть, ваша тетушка была Варвара Тимофеевна Порезкова, вдова моего былого сослуживца бригадира Василия Иваныча Порезкова? Так ли?

— В самой точности так, ваше сиятельство!

— Ну, и прекрасно! Тем паче приятно видеть в вашем лице ее, надеюсь, достойного племянника.

— Батюшка не комплимент говорит вам, а истинную правду,— поспешила примолвить графиня Елизавета.— Надо вам знать, сударь, мы очень уважали вашу тетушку, потому что она была прямой и независимый человек; она одна, почитай, со всей округи езживала к нам и водила с нами хлеб-соль в то время, как все старались отвертываться и не замечать нас, и мы тоже, бывало, у ней гащивали, а меня-то уж она в особливости жаловала. Я к ней всегда питаю самую благодарную память.

— Кушать подано! — с официальной торжественностью возгласил старый Аникеич, появясь в дверях гостиной с салфеткою в руке, в своем новом камзоле и парадном кафтане с графскими гербами по широкому басону.

— Прошу! — поднялся граф с места, делая офицеру пригласительный жест той изящной, благоволивой приветливостью, которая была свойственна вельможно-светским людям былого времени.— А ты, графинюшка,—прибавил он, с улыбкой обращаясь к дочери,— будь настоящей хозяйкой, как следствует, предложи гостю руку и веди его к столу, а я только кафтан мой одену и сейчас буду к вам. Угощай же его изрядненько, чтобы дорогой гость наш не обессудил и всем остался бы доволен, а на утрие, сударь,— обратился он вслед за тем к офицеру,— моя карета четвернею будет к вашим услугам и доставит вас в Замахаевку.

И несмотря на убедительные просьбы Черепова оставаться, не стесняясь, по-домашнему, в своем халате, граф все-таки ушел в свою гардеробную переодеться, а графиня Елизавета с приветливой, хотя и несколько смущенной улыбкой, подала гостю руку и, слегка придерживая пальчиками чуть-чуть приподнятый перед своей будничной робы, грациозно, в качестве молодой хозяйки, повела его в столовую, мимо старого Аникеича, который, вспомнив по старине всю официальную строгость этикета, подобающего настоящей минуте, с важно поднятой головой и важно насупленными бровями встретил и проводил серьезным и строгим взором прошедшую мимо его молодую пару. И чуть лишь эта изящная пара оставила его за собой, как уже старик в гневном ужасе торопливо замахал салфеткой, подавая немые знаки няньке Федосеевне, которая с полдюжиной горничных девушек, не будучи в состоянии превозмочь своего любопытства, заглядывала из противоположной двери в столовую. Старая нянька увидела это маханье и с видимым неудовольствием покорилась блюстителю требований старого этикета. Но хоть и одним глазком, а все-таки успела она взглянуть на свою графинюшку Лизутку и молодчика гвардейца — «как это они так приятно и великатно изволили шествовать вместе».

VI

«УСЛАДУШКА»

На следующий день, едва лишь рассвело, Черепов, после раннего завтрака, выехал на графской четверке в свою Замахаевку. Эта деревня залегала в весьма людной местности, окруженная ближайшим соседством нескольких помещичьих дворов, между которыми первенствующую роль играла «Усладушка» — богатая усадьба со всякими причудами и затеями, принадлежавшая некоему Прохору Михайловичу Поплюеву. Имение это, отстоявшее не более как на три версты от Замахаевки, названо было «Усладушкой» самим Прохором Поплюевым, в силу того, что в нем совокуплялись самые разнообразные заведения, предназначенные к услаждению духа и плоти владельца. Путь предстоял Черепову как раз через «Усладушку». Тихо дремля в глубине покойной кареты, он и не заметил, как, миновав богатое село, экипаж его спустился на мост, за которым стоял опущенный шлагбаум и при нем сторожка, а по обе стороны от этой заставы тянулся высокий

частокол, замыкавший собой границы «Усладушки». Шлагбаум, гремя своей цепью, тотчас же поднялся вверх и беспрепятственно пропустил карету. Самый дом и обширные службы расположены были в стороне, саженях в полутораста от дороги, пролегавшей через огражденное пространство усадебного участка, и хотя эта дорога была единственным проезжим путем, т. е. составляла, в некотором роде, общественную собственность, тем не менее владелец «Усладушки» считал себя вправе держать на ней шлагбаумы, на том основании, что дорога, мол, в этом месте по моей собственной земле пролегает.

Доехали до противоположной рогатки, и тут Черепов был выведен из своей тихой дремоты неожиданной остановкой экипажа. Он зевнул, провел по лицу рукой, чтобы стряхнуть с себя остатки дремы, и насторожил внимание. Казалось, будто кучер с кем-то бранится или торгуется.

Черепов опустил стекло и высунулся в окошко каретной дверцы.

— Что там такое? — крикнул он своему вознице.

— Не пропущают! — возвестил тот с высоких козел.

— Как не пропущают?.. Кто?.. Зачем?.. Почему?

— Не велено... Указ такой вышел,— пояснил чей-то посторонний голос.

Черепов кинул взгляд вперед и увидел пред собой опущенный шлагбаум: сторожку и на пороге ее человека в особенной форме военного покроя.

— Что за вздор! Проезжих людей не пускать по проезжей дороге! — заметил Черепов.— Кто такие указы может выдавать в мирное время?

— Наш усладовский барин,— было ему ответом.

— Усладовский барин?.. Что за барин такой?

— Прохор Михайлыч Поплюев.

— Да ты что за человек есть?

— Я-то?.. Я ихней милости гвардеец.

«Вот где товарища какого нашел!» — усмехнулся про себя Черепов и спросил его громко:

— Что за гвардеец? Солдат, что ли?

— Нет, мы не солдаты, а мы, значит, нашего барина гвардия,— пояснил человек в военном костюме.— Я теперича, к примеру, карабинер,— продолжал он,— а то есть у его милости и мушкатеры, и гусары, и антилерь.

— Ну, и на здоровье ему! — улыбнулся Черепов,— а ты, братец, все-таки подыми-ка рогатку!

— Не могу, сударь!.. Хоть убей, не могу!.. Мне опосля того и не жить! Тебе-то что, а майор, поди-ка, три шкуры с меня спустит, коли пропустить-то... Не указано!

— Ну-ка! что за майор еще?

— Нашего барина майор... Потому как он, значит, при себе майора такого держит, чтобы нас муштровать по артикулу... Смерть какой лютый!.. Пропустить никак не можно. Впускать иное дело: впускать, сказано, всякого, а выпускать с разбором.

— Да что ж за причина, однако?

— А то и причина, вишь, что барин-от ноне рожденник и, значит, рожденье свое справляет, и для того никого, опричь подлых людей, пропущать не велено, а указание есть, чтобы которые благородные проезжающие — безотменно к их милости в усадьбу просить к водке и на пирог чтобы пожаловали.

— Да мы с твоим барином вовсе незнакомы,— засмеялся Черепов.

— Это все единственно! Это ничего! — возразил карабинер.— У него что знакомый, что незнакомый — все ему гости.

— Да иной, поди-ка, может, и знать-то его не хочет.

— Ну, уж про то не наше дело! Там уж, поди, сам с ним в усадьбе разбирайся. А мы знаем одно: не пущай, и кончено!

— Э, так я сам себя пропущу! — сказал ему Черепов и, выйдя из кареты, направился к шлагбауму с решительным намерением поднять его.

— Не трошь, барин! Не балуй! Я те Христом богом прошу! — взмолился карабинер, ухватившись обеими руками за подъемную цепь,— майор то ись страсть какой лютый!.. беда!.. Уж лучше сожди маленько, я товарища пошлю в усадьбу, пущай сбегает да доложит,— тогда твоей милости, может, и пропуск выйдет, а без того не моги, не подводи под ответ-то! Ну, што тебе! Сожди, прошу честью!

Что было делать! Человек молит чуть не со слезами,— как тут не уступить, когда ему, и в самом деле, без вины может достаться от какого-то лютого майора! Черепов только плечами пожал и согласился обождать в карете, пока посланный сбегает в усадьбу. Прошло несколько минут, как вдруг он заметил, что к нему скачет верхом на горбоносом дончаке какой-то чудак с развевающимися «вылётами» несколько фантастического костюма. Всадник этот осадил скакуна как раз пред дверцей кареты и приложился по-военному к своей лохматой медвежьей шапке.

— По благородному виду и по экипажу могу судить, что вы, сударь, человек благорожденный,— сказал он Черепову самым любезным тоном.— Смею спросить чин, имя и фамилию, а равно откуда и куда едете?

— Да что это за комедия, наконец! И кому какое до того дело! — досадливо воскликнул Черепов.— Если вы тутошний чудак помещик, то прикажите, сударь, вашему карабинеру поднять мне рогатку!

— Извините, государь мой, я не помещик, хотя и был таковым некогда; но я тутошнего помещика майор и послан персонально от Прохор Михайлыча дознаться о чине и звании проезжающей особы, а потому не посетуйте...

Чтобы поскорее отвязаться, Черепов сообщил ему что требовалось и повторил свою просьбу насчет рогатки.

— Извините, государь мой, но у нас таков уже порядок! — учтиво возразил мохнатый чудак.— От имени моего шефа,— продолжал он, приподняв шапку,— смею просить вас оказать особую честь Прохор Михайлычу... По русскому обычаю, от радушного хлеба-соли не отказываются... И ему тем паче будет приятно знакомство ваше, что вы лейб-гвардии офицер. Не откажите в чести!

«Что за чудаки! — подумал себе Черепов.— А впрочем, чего тут ломаться! не все ль равно!» И он приказал кучеру поворачивать к крыльцу поплюевского дома, рассчитывая пробыть здесь самое короткое время и соображая, что все равно надо же будет когда-нибудь познакомиться с этим Прохором, как с одним из своих ближайших соседей.

Меж тем чудачный майор, чуть только услышал приказание, отданное кучеру, как уже поскакал во всю прыть обратно к дому, неистово махая кому-то рукой и крича во все горло:

— Салют!.. Салют почтенному гостю!

И в это самое время раздались вдруг три выстрела из пушек. Графская четверня с испугу шарахнулась было в сторону, но ловкий кучер успел-таки справиться с ней без дальнейших неприятных последствий. Облако дыма тихо рассеивалось над тем местом, откуда сделаны были выстрелы, и Черепов, обратив глаза в ту сторону, заметил насыпной маленький редутец, на валах которого стояли четыре чугунных фальконета, а в одном из углов возвышался длинный шест с развевающимся флагом.

Едва экипаж подъехал к крыльцу, как со ступеней сбежали два заранее поджидавшие гайдука, одетые гусарами, и, спешно распахнув дверцу, с почтением высадили Черепова под руки из кареты.

Сам хозяин очень любезно вышел к нему навстречу в большую приемную залу с колоннами, украшенную громадной хрустальной люстрой и огромными картинами мифологических сюжетов, где преобладали какие-то обнаженные богини, Вакхи и Сатиры среди гирлянд из винограда, цветов и порхающих амуров.

Прохор Поплюев казался на вид мужчиной лет тридцатипяти или около. Это был небольшой кругленький человечек с одутловатым брюшком, на тоненьких ножках и с добродушным, несколько брюзгливым лицом, которое носило на себе следы какой-то лимфатической сонливости и апатии, чему в особенности помогало слабосильно опущенное правое веко. От этого века все лицо его казалось не то плачущим, не то улыбающимся и вообще как-то кисловато куксилось, отличаясь скорее бабьим, чем мужским выражением. Волосы его были распудрены и тщательно завиты в букли, мягкие руки благоухали какою-то тончайшею парижскою эссенцией, а на толстеньких, коротких пальцах разноцветно сверкали дорогие перстни. Одет был господин Поплюев в расшитый блестками атласный палевый кафтан, каких в то время уже не носили более светские франты, и вообще всею наружностью своею являл он апатично-самодовольную и не лишенную некоторого комизма фигурку петиметра доброго старого времени. Судя по фальконетам и карабинерам, Черепов рассчитывал встретить в нем человека совсем иного характера и наружности.

— Позвольте поручить себя вашей благосклонности,— шаркнув ножкой, начал Поплюев, которому майор успел уже доложить о госте все, что требовалось,—и тем паче,— продолжал он,— что мы не только соседи, но и камрады по оружию... Я тоже имею счастие быть военным, и при том гвардеец, но чин мой, к прискорбию, не высок: я успел достигнуть сержантского лишь ранга в Измайловском полку, ибо доселе еще только числился, а не состоял на действительной службе.

И Прохор Поплюев, радушно взяв Черепова под руку, повел его знакомиться с остальными гостями, которые, съехавшись частию сами, частию же попав случайно, как и Черепов, заседали в широкой гостиной, где у одной из стен с утра уже был накрыт длинный стол, отягченный всевозможными водками и закусками. В этой гостиной на первом плане, посреди штофного дивана с позолотою, восседал в бархатной рясе архимандрит одного из ближних монастырей — человек далеко еще не старый

и видный собою. Около него сидели два монаха того же монастыря и несколько коломенских чиновников, капитан с офицерами армейской роты, квартировавшей в окрестности, да человек десять разнокалиберных помещиков.

Представив всей этой компании нового гостя, хозяин круто подвел его к столу и неотступно стал приставать с угощениями, уверяя, что дорогие гости «пропустили» уже по пяти чарочек «чефрасу» и что ему необходимо надлежит догнать их коли не сразу, то как можно скорее.

— Я человек военный и во всем регулярность наблюдаю,— заметил при этом хозяин,— а «чефрас» это есть, государь мой, целебный настой моего собственного изобретения. Вот и отец архимандрит, и господин капитан довольно хорошо меня знают и все мои качествы. Я дисциплину люблю, коя есть наипервое нашему брату основание... Отец архимандрит, господа гости! — воскликнул он вдруг, обращаясь ко всем присутствующим,— желаете ли, в сей час тревогу учиню?.. В сею секунду!.. Вы, отец архимандрит, в прошлом разе остались довольны, проинспектировав мои войска; не любопытны ли будете взглянуть, каковы они ныне?

Все гости поспешили заявить свое полное удовольствие на предложение хозяина. Майор находился тут же. Это был субъект родом из так называемой тогда «смоленской шляхты» и носил какой-то полупольский, полувенгерский костюм. Куцый паричок, осыпанный мелкими пукольками, прикрывал его небольшую клубоподобную головку; а круглое лицо, напоминавшее маятник стенных часов, неизменно хранило в себе какую-то странную смесь подобострастия, комической строгости и самодовольно надутого чванства. При достаточном росте он держался прямо, словно бы аршин проглотил, и состоял при хозяине в качестве «майора» всем чем угодно: и шутом, и собеседником, и начальником его надворной гвардии и церемониймейстером. Под его ведением находились многие отрасли усладовского обихода; кроме гвардии, майору подчинялись еще и капельмейстер, и балетмейстер, фейерверкмейстер, кухмейстер, шталмейстер, и гофмейстер. Служив когда-то в военной службе, этот импровизованный майор давно уже предпочел тревоги полевой жизни мирному существованию «на хлебах из милости», под кровом усладовского барина, и был даже необычайно горд и доволен своим настоящим положением. Получив приказание хозяина насчет тревоги, он тотчас же выбежал из комнаты, и чрез минуту во дворе уже послышались звуки барабана.

Гурьба гостей, одев шубы, высыпала на крыльцо любоваться тревогой поплюевской гвардии. Минут через пять на дворе выстроились человек тридцать дворовых людей, одетых мушкатерами, и прискакали с конюшни двенадцать всадников, из которых одна половина называлась гусарами, а другая — карабинерами. Майор, в своей косматой папахе, начал ученье и по окончании каждой эволюции непременно подходил, по воинскому артикулу, к отцу архимандриту, для принятия его приказаний. Отцу же архимандриту все достодолжное в этом случае подсказывал армейский капитан, и таким образом архимандрит исполнял недурно свою роль военного инспектора. Надворная гвардия маршировала во все стороны и производила сильный ружейный огонь, кавалерия гарцевала на своих донцах, а артиллерия в грозном ожидании стояла с зажженными фитилями на валах редута, около своих фальконетов. Наконец архимандрит приказал «штурмовать крепость». Майор стремительно влетел вприпрыжку к своим войскам, замахал и саблей и шапкой, завопил неистовым голосом: «Урра-а! вперед, россияне!» — и надворная гвардия бегом кинулась на валы редута. Тут уже поднялся гам и крик всеобщий: фальконеты гремели с валов, барабан бил «атаку», пехотинцы палили из ружей, кавалеристы, как ошалелые, гикали и кружились по всему двору, майор надседался что есть сил, ободряя свое воинство, карабкавшееся на бруствер, гости били в ладоши и кричали «ура», архимандрит пребывал в полном восторге, а хозяин, потирая себе ручки, весело и добродушно улыбался своей плаксивой улыбкой.

После этого победного штурма Прохор Михайлович пригласил гостей осмотреть хозяйство и повел их в оранжереи, где, для украшения и «оживления» южных плодовых деревьев, торчали у него насажденные на шпильки и прикрепленные проволокой к ветвям живые плоды померанцев, персиков и абрикосов, которые еженедельно выписывались, по дорогой цене, из московских фруктовых лавок. Гостям при этом предоставлялось думать, будто эти все персики и померанцы выросли и созрели же в этих самых усладовских оранжереях. Из оранжерей компания гостей направилась в амбары, где у Прохора Михайловича было ссыпано в зерне множество разного хлеба, затем в кладовые, которые завалены были холстом, сукнами и кожами собственной, домашней выделки, и где помещались целыми рядами кадки воску, меду, масла коровьего и конопляного, и проч. Показал он им и свою образцовую

псарню, и свои конюшни, где стояло у него десятка четыре лошадей разных пород, и особое отделение собственного конского завода, и скотный двор и наконец повел в самый заповедный уголок своего хозяйства. То был винный погреб, помещавшийся в подвалах его обширного двухэтажного дома, выстроенного на прочном каменном фундаменте еще в прадедовские времена. Здесь, в многочисленных нишах, устроены были ряды полок, уставленные разнообразными бочонками и бутылями, хранившими всевозможные сорта водок, наливок и медов, из которых многие носили на себе все наружные и несомненные признаки времен отдаленных. В этом погребе у Прохора стоял большой дубовый стол со скамейками и висел на стене серебряный дедовский ковш.

— Прошу, господа! — пригласил хозяин, сняв этот ковш.— Прошу пробовать, кому какой напиток более по вкусу придет, тому мы такого и за обедом перед кувертом поставим. Ну-тка, отец архимандрит, благослови начинать по порядку!

И, приказав своему ключнику нацедить из заповедной бочки, Прохор подал монаху ковш, до краев наполненный искрометною влагой душистого меда.

— Как круг пойдет? По тостам, что ли, аль просто? — спросил кто-то из обычных усладовских гостей и сотольников.

— По тостам! по тостам! — в голос отвечали почти все остальные.

— Итак, первый тост, как есмы верные российские сыны,— подняв торжественно ковш, возгласил архимандрит,— да будет во славу и здравие, и во спасение, и во всем благое поспешение нашей матери-императрице.

— Виват! Ура! — закричали было гости, махая снятыми шапками, как вдруг Черепов выступил вперед и остановил руку архимандрита, который готов уже был отведать от края.

Все переглянулись с недоумением.

— Сей тост невместен! — серьезно сказал он.

— Как! Что такое?.. Почему невместен? Кто дерзостно смеет помыслить таковое? — напустились было на него гости.

— Да разве вы не знаете иль не слыхали еще?

— О чем бишь слышать-то? Что загадки, сударь, гадаешь?

— Да ведь императрица-то... волею божией, шестого сего ноября скончалась.

Серебряный ковш выпал из дрогнувшей руки пораженного монаха.

Все отступили молча, в каком-то паническом испуге. Вопрос, недоумение, сомнение и недоверие ясно заиграли на лицах.

Несколько секунд прошло в полном молчании.

— Скончалась... мать скончалась... А мы здесь бражничаем! — с упреком сказал наконец кто-то упавшим голосом; и гости печальной толпой, понурив головы, один за другим стали подыматься наверх из погреба по широким ступеням каменной лестницы.

Понятно, что сообщением о смерти государыни Василий Черепов возбудил чрезвычайный интерес во всех гостях усладовской усадьбы. Опомнясь от ошеломляющего впечатления первой минуты, все они обступили его с разных сторон и закидали вопросами. Каждый стремился услышать прискорбное известие как можно обстоятельнее, в наибольших подробностях — и Черепову пришлось повторить им все то же, о чем он рассказывал графу Харитонову-Трофимьеву. В конце концов разговор коснулся и того обстоятельства, по которому гвардии корнет прискакал царским курьером к опальному графу, и эта последняя новость едва ли не произвела впечатление еще более сильное, чем весть о смерти государыни: большая часть этих гостей были соседями графа, которые, зная причины обстоятельств его продолжительной опалы, не находили нужным оказывать ему какое-либо внимание. Всяк понимал, что «песенка его спета», что он ни силы, ни значения не имеет и, стало быть, не может уже оказать ни пользы, ни милости, ни заступы, ни иного какого-либо покровительства, а потому большинство этих людей, выражаясь их же словами, «плевать на него хотело». Да многие и опасались дружить и водиться с опальным человеком, из страха, как бы не навлечь на себя чрез это знакомство каких-либо подозрений или невыгодного мнения со стороны представителей наместничьей власти. И вдруг теперь этот самый человек «в случай выходит»! Сам император, на первых же минутах своего царствования, за ним особого гонца посылает, «респектует его особым отличием», и — глядь — граф Харитонов из ничтожества мгновенно превращается в «силу», так что любого из этих самых своих соседей может теперь «осчастливить», «в люди вытащить», «деток пристроить», «в чины произвесть», равно как и в любом же из них может выместить за все сплетни и кляузы, за все их пренебрежение, которое так гордо

и равнодушно переносил в свои опальные годы. Как тут быть? Что теперь делать? «И кто бы мог когда таковое помыслить, и кто бы мог ожидать сего?» И тотчас же, наперерыв друг пред другом, стали все восхвалять графа Илию, превозносить его достоинства, его ум, его характер, удивляться ему и отдавать заслуженную дань справедливости и почтения тому величию духа, с каким он переносил свою опалу. «Мы-де всегда его чтили и любили! Мы-де всегда говорили, всегда предвидели, что его случай еще настанет, что его вспомнят, потому что российское отечество нуждается именно в мужах толикого ума и достоинств, и спасибо-де государю, что он сразу отличает и ценит истинных сынов отечества, и мы-де так рады, так уж рады за графа, и дай-то ему господи всякого благополучия, и тоже дочери его, «сей прекраснейшей и благороднейшей отрасли...»». И чего-чего не было тут насказано! И что всего замечательнее, многие высказывали все это совершенно искренне, от души, от чистого сердца, так же точно, как прежде совершенно искренне, бывало, судачили того же самого графа. Но Василий Черепов мог бы теперь подумать, что он находится среди самых искреннейших друзей и почитателей графа Харитонова-Трофимьева.

Среди этих толков и разговоров появился вдруг парадный «гофмейстер» и объявил, что «кушать подано». Все общество от закусочного стола перешло в обширную залу с двумя эстрадами, на которых во время усладовских пиршеств присутствовали обыкновенно домашний оркестр и домашняя «опера» Прохора Поплюева. Они и теперь помещались на своих местах, в ожидании выхода гостей к обеду. На одной эстраде капельмейстер внимательно пялил глаза на дверь, боясь, как бы не пропустить момент, в который появится Прохор Михайлович, торжествующий день своего рождения, чтобы встретить его величественным полонезом, сочиненным «нарочито для сего торжественного случая», а на другой эстраде регент-семинарист, даровитый пьяница и поэт, из бывших архиерейских певчих, все прислушивался к своему камертону, приготовляя себя и свой оперный хор к той минуте, когда будут подняты бокалы «за здравие высокопочтенного рожденика», чтобы грянуть ему кантату, тоже «нарочито для сего случая скомпанованную». Певцы были разодеты в алые суконные кафтаны с позументами, кистями и вылетами, какие и до сего дня можно видеть на казенных церковных певчих, а певицы красовались в венках из фальшивых роз

и в белых кашемировых тюниках греческого покроя. Стол был сервирован роскошно. Посредине его возвышалась скала, сделанная из обсахаренного торта, на скале между сахарными цветами и елками ютилась сахарная хижина, около которой сидел сахарный пастушок с пастушкою и паслись сахарные барашки. В одном месте этой скалы помещалась особо приспособленная серебряная лохань, наполненная белым вином, что долженствовало изображать озеро, посреди которого бил фонтанчик, орошая своими брызгами пару плавающих сахарных лебедей. Одним словом, в отделке этой скалы поплюевский «кухмейстер» проявил верх своего кондитерского искусства и изобретательства.

— Отец архимандрит, ты как полагаешь, пристойно ли греметь полонезу в рассуждении толико горестного события? — отнесся хозяин к своему почтенному гостю, еще не вступая в столовую залу.

Архимандрит нашел, что звуки музыки, коли они будут в светском, «аллегретном» характере, то лучше их удалить, как вовсе не подходящие; но если вокальный хор будет воспевать какие-либо канты строгого или маэстозного характера, то сие отнюдь не возбранно. Поплюевский майор, выслушав на ухо секретное распоряжение об этом, тотчас же полетел в столовую предупредить и регента, и капельмейстера, что как полонез, так и все вообще «аллегретное» отменяется, чем несказанно огорчил обоих композиторов, которые совсем уже было приготовились блеснуть на славу и удивление своими талантами.

Гости сели за стол без музыки. Но здесь, почти в самом начале обеда, нежданно-негаданно для всех, случилось обстоятельство несколько исключительного рода: сам хозяин оказался вдруг пьян. Как и когда успел он, по выражению архимандрита, «уготовать» себя — это для всех осталось непостижимою тайною.

— Проша!.. Эк тебя!.. С чего ты это, скажи, пожалуй? С горя аль с радости? — спрашивали его приятели.

— И с того, и с другого! — заплетаясь языком, меланхолически бормотал Поплюев.

— А что, Амфитрион-то наш холост иль женат? — тихо спросил Черепов у своего соседа, заметив полное отсутствие за столом дамского общества.

— Вдовый,— отвечал тот,— и к тому ж бездетен. Да и на что ему вдругоряд жениться,— продолжал он,— коли у него, как у шаха персиянского,— вон, видишь, сударь,—

целый гарем: и балет, и опера... Затейник он! Несмотря, что с виду тихоня, а большой затейник!

Невзирая, однако, на нетрезвое состояние хозяина, который в тихой полудремоте слегка покачивался на своем месте, обед шел своим чередом, по чину и порядку, благодаря зоркому глазу строгого майора. Для светских людей подавали скоромное, а для духовенства и для желающих — постные блюда, и каждое блюдо появлялось не иначе, как изукрашенное разными штуками. Вокруг громадных осетров, например, красовался венок разнообразных цветов, которые были выделаны из свеклы, репы, моркови и картофеля; жареный барашек предстал целиком, с золотыми рожками, в бархатной зелени кресс-салата, что долженствовало изображать вокруг него зеленую лужайку; жареные гуси, индейки и куры явились в украшениях из страусовых и павлиньих перьев — и все это было настряпано в громадных размерах, в поражающем изобилии. О винах и напитках нечего и говорить: кроме «ординарных столовых», которые стояли пред каждым «кувертом», гофмейстер после каждого блюда обходил всех гостей и потчевал их еще особыми тонкими, редкими винами. Все это в совокупности, конечно, должно было производить на головы гостей надлежащее действие, так что к концу обеда лица уже рдели, и речи становились все громче и непринужденнее.

Вдруг хозяин, безгласно дремавший и до тоста, и после тоста за его здоровье, как бы очнулся, откинулся на спинку своего кресла и крикнул:

— Гей!.. балет!.. жарь лезгинку!.. карабинеров сюда!.. вали развеселую! «Варварушку-сударушку»... Утешай! С бубнами, с ложками! Ж-ж-жа!..

Архимандрит, как самый почетный гость, сидевший рядом с Поплюевым на первом месте, дружеским и солидным тоном стал урезонивать его, говоря, что таковое-де буйственное веселие вовсе неприлично, что сам же он пред обедом испрашивал дружеского совета насчет аллегретной музыки, что надо-де вспомнить, каковы суть ныне события, и прочее.

Прохор уставился на него посоловелыми глазами.

— Как?! Что?! — закричал он, стукнув кулаком по столу.— Кто смеет запретить мне?.. Кто здесь хозяин, ты али я? Отвечай!.. Отвечай, кто хозяин?! Я тебя уважаю — ты меня уважай!

— Не дури, Прохор! Ей, говорю, не дури, а то обижусь! — дружески грозил ему архимандрит.

— Лезгинку желаю!.. Как пляшут-то бестии! Как пляшут! Дрожит ведь вся!.. Ты погляди — душа выпрыгнет!.. Право!

— Невместно сие, подумай, пьянственный твой образ!

— Не перечь! Желаю!

— Ну, в таком разе, мне и братиям не подобает уже здесь соприсутствовать.

И архимандрит обиженно встал из-за стола, кивнув за собой обоим монахам.

Поплюев тоже поднялся вслед за ними. Качнувшись раза два, он подступил к архимандриту:

— Батя!.. а, батя!.. Уважь!.. Прошу тебя, останься!

— Уважу, коли дурость бросишь, а то прощай, брат!

— Н-нет, ты без кондиций... ты просто останься...

— Невозможно... Окаянный ты, говорю — невозможно!

— Не хочешь? — решительно подступил к нему Поплюев, ухватясь за широкий рукав его бархатной рясы.

— Не могу! — развел тот руками.

— Вдругорядь пытаю: не хочешь?

— Ни сану, ни обстоятельствам не подобает.

— Эй, батя, в последние говорю: останься... Не хочешь?

Монах отрицательно покачал головой.

— Собак! Ату его! — неистово крикнул Поплюев, норовя схватить архимандрита за ворот, но потерял равновесие и грузно бухнулся на пол.

Гости переполошились. Кто кинулся к монахам, кто к хозяину — одни с желанием потешиться неожиданным «шпектаклем», другие с целью помешать дальнейшему «шкандалу», который становился чересчур уже непристойным. К счастию, распорядительный майор с несколькими гостями успели подхватить с полу барахтавшегося Поплюева и унесли его из залы. Воспользовавшись этой минутой, архимандрит тотчас же уехал вместе с монахами.

— Батюшки!.. Что я наделал!.. Ах, злосчастный! Чего натворил! — убивался и плакал Поплюев не далее как чрез полтора часа после разыгравшейся сцены, когда пришел в себя и узнал, что обиженный архимандрит уехал из усадьбы.— Отца духовного... батю... Шутка ли!.. ведь он мне духовный отец, а я его... Боже мой, боже!.. Ведь мне за это ни в сей, ни в будущей жизни... Духовную персону оскорбил... И кто смел его выпустить?.. Уехал!.. Что ж теперь?

И он поник на минуту в отчаянном раздумье.

— Ну, ништо! Дело житейское,— уговаривали его приятели.— Поедешь завтра к нему, прощения попросишь, и помиритесь.

— Завтра?.. А коли я помру до завтра?.. Тогда-то как?.. Ведь ни в сей, ни в будущей, поймите это!.. Гей! Майор! Чертова перечница! — вскочил он с места.— Бей тревогу! Запрягать лошадей!.. Да живо у меня!.. В монастырь еду!.. В сей час! в сию минуту! Почтенные гости все со мной! Прошу!.. Все будь свидетелями моего покаяния!.. Все!

Иные согласились на это приглашение с величайшей охотой, а некоторые, в том числе Черепов, стали отговариваться под разными предлогами и просить уволить их от этой поездки.

— Нет, друзья мои!.. Нет! Не могу! — бил себя в грудь Поплюев.— Гей! Майор! Запрягать под всех только моих лошадей и в мои экипажи! Чужие все распречь и без моего позволения не выпускать из сараев! Понимаешь?.. А вас, господин гвардии корнет, прошу в особливости! — искренно и усердно кланялся он Черепову.— Не покидайте меня!.. Пожалуйста, поезжайте со мной! Окажите истинно дружеское ваше расположение и внимание!.. Мне без вас невозможно.

— Да на что я вам, однако? Чем могу быть пригоден? — с невольной улыбкой пожал плечами Черепов.

— Ах нет, не говорите!.. Вы мне великую пользу оказать можете! Вы человек корпусо-кадетский и учливый, вы гвардии офицер,— он, батя-то мой, ведь он меня не послушает... Упросите его за меня... Он из решпекта к вам сие сделает с охотным сердцем!.. По христианству прошу!.. Ведь ни в сей, ни в будущей!..

— Ну, ладно! Ин, быть так! — смеясь, согласился Черепов, которому после обеда, обильного столькими возлияниями, стало казаться, что в сущности решительно все равно, куда ни ехать и где ни быть сегодня, а что в свое именьище и завтра проехать успеет.

— О, благодетель!.. Вот люблю! Уважаю! — с горячею благодарностью кинулся Поплюев, пожимая ему руки.—Гей, майор! Вина сюды! Хочу пить тост за господина гвардии корнета! И пущай при этом валяют из всех фальконетов! Салют в честь дорогого гостя и друга!.. Живо... Да вот что еще,— приказал он, остановив в дверях своего майора,— захвати-ка походный погребец и подарки для отца-архимандрита: двух жеребцов упряжных с моей конюшни, коляску, ту, что ему понравилась, четыре ковра...

Мало? Пятый давай! Да еще салфеточных и скатертных полотен дюжину с нашей фабрики... А для братии бочку меда кати! Все взять с собою! Да гляди ж ты, живей!

Не прошло и часу, как майор доложил, что все уже готово и экипажи ждут у подъезда. Прохор Поплюев уселся в свою парадную расписную карету вместе с Череповым и двумя дворянами, остальные разместились по разным экипажам и, под эскортом конных карабинеров да гусар, длинным поездом выехали из усадьбы. Впереди всех красовался все тот же майор, на горбоносом дончаке, а за ним восемь карабинеров, по четыре в шеренгу, которые с бубнами и тарелками отхватывали любимую поплюевскую песню:

Варварушка!
Сударушка!
Не гневайся на меня,
Что я не был у тебя.

Остальные эскортеры ехали, по два, по бокам каждого экипажа и время от времени палили из пистолетов, отчего упряжные лошади нередко закидывались в стороны,— обстоятельство, доставлявшее немалую потеху всем вообще путникам. Для этой-то потехи, собственно, и производилась пальба. В заключение кортежа четыре конюха вели под уздцы двух подарочных жеребцов, затем уехала подарочная коляска и, наконец, две подводы, из которых одна нагружена была тоже разными подарками, а другая вмещала в себе походный погребец, запас вин и закусок да еще бочку меда для монастырской братии.

Софрониевский монастырь, где игуменствовал отец-архимандрит Палладий, столь обиженный Прошкой Поплюевым, отстоял верст на восемь от усладковской усадьбы. Торжественное покаянное «шествование» усладковского барина подвигалось вперед не особенно спешно, так как ехали большею частию шагом. Путники наши не добрались еще и до половины дороги, как настал уже вечер. Карабинеры позажигали смоляные факелы, а в передовом отряде время от времени жгли фальшфейеры и пускали ракеты. К счастью кающегося грешника, поезд его успел добраться до монастыря как раз в то самое время, когда привратник совсем уже было собирался замыкать на ночь святые вороты. Звуки «Варварушки-сударушки» и пистолетные выстрелы, конечно, смолкли еще по крайней мере за версту от обители, так что торжественный поезд вступил на монастырский двор в полном молчании, которое

время от времени нарушалось только шипением взвивавшихся ракет да распеканиями строгого майора.

Парадная карета Поплюева остановилась против домика, занимаемого отцом Палладием, и монастырский двор, словно заревом, озарился весь багровым светом пылающих факелов. Между монашествующею братией поднялся переполох необычайный. Кто в чем попало, выскакивали монахи из келий, не понимая, что бы могло значить внезапное появление в их мирной обители какого-то странного кортежа, с вооруженным эскортом, факелами и ракетами. Иные в смятении думали, что уж не горят ли где монастырские строения, другие же опасались, что к ним нагрянуло нашествие иноплеменных, а кто и просто-напросто слезно вопил, что это-де второе пришествие настало.

Игуменский служка выбежал на площадку узнать, в чем дело и что за смятение такое в обители?

Майор сейчас же объяснил ему, что приехал-де сам Прохор Михайлович Поплюев вымаливать у отца-архимандрита пастырского прощения за свой великий грех и привез-де с собою такие и такие-то подарки для «его высокоблагословенства».

Обстоятельно выслушав это, служка юркнул в дверь игуменской кельи и минут чрез пять возвратился с объявлением, что отец-архимандрит гневаются и ни за что не желают принять господина Поплюева.

Тогда огорченный Прошка вылез из кареты, кинул наземь шапку и опустился среди двора на колена.

— Отче! согреших на небо и пред тобою! — воздев кверху растопыренные руки, искренно вопиял он в полный голос, с самым жалостным видом, и все свои слезные вопли сопровождал земными поклонами. Это покаяние длилось минут десять, по крайней мере, пока-то наконец в одном из архимандричьих покоев раскрылась форточка, и в ней появилась торжествующая физиономия отца Палладия.

— Ага, сударик, пожаловать изволил! — заметил он кающемуся.

— Батя!.. Прости!.. Разреши, голубчик!.. Согреших окаянный! — взывал, кланяясь, Прошка.

— То-то «согреших»!.. А давеча что?! Проси, паршивая овца, в стаде Христовом! Проси! Говори: «Сотвори мя яко единаго от наемник твоих».

— Сотвори мя яко единаго от наемник твоих! — жалостно повторил за ним Прошка, воздевая руки.

— А собаками будешь травить?

— Пьян был, батя! Ей-же-ей, пьян!.. Все горячесть моя виною!.. А ты меня жупелом за это... Позволяю!.. Хоть канчуками валяй — слова не скажу! Только разреши ж ты меня!

— То-то «канчуками»!.. Ну, да уж так и быть! Гряди семо, сын геенны! Бог с тобою! А уж я было и прошение настрочил на тебя! Все пункты намаркировал!.. Да уж и такое ж прошение-то! Не жить, да и только!.. Ну, да господь с тобою, коли просишь и каешься... Я не памятозлобен. Ступай сюда, и с честною компаниею,— гостьми будете.

Было уже далеко за полночь, когда поплюевский кортеж двинулся в обратный путь. Но уж стреляли ль на этом пути из пистолетов, жгли ль фальшфейеры, пели ль «Варварушку», пускали ль ракеты, того ни Черепов, ни Поплюев, ни кто-либо из гостей его уже решительно не мог себе припомнить, а на следующий день, едва только после полудня, Черепов успел выбраться в свою усадьбу из гостеприимной «Усладушки».

VII

ПЕРЕМЕНА ДЕКОРАЦИИ

Ознакомясь кое-как в течение одних суток со своим новым хозяйством, Черепов возвратился в Любимку, где к этому времени граф Харитонов-Трофимьев совсем уже изготовился к отъезду. Но Любимка, этот забытый, одинокий и всеми обегаемый уголок, была теперь неузнаваема. Взглянув на то обилие экипажей, кучеров и выездных гусаров, которое застал Черепов во дворе усадьбы, можно бы было подумать, что граф Илия задает пир на весь мир и что к нему со всех сторон съехались многочисленные друзья и приятели. Это действительно так и было, хотя никакого пира он не задавал и никаких друзей не рассчитывал у себя видеть, по той весьма простой причине, что таковых он не имел между окрестными дворянами. Тем не менее именно эти-то самые окрестные дворяне и наполняли теперь скромные приемные покои графа Харитонова-Трофимьева. Тут застал Черепов и отца-архимандрита, и двух соборных протопопов, бронницкого и коломенского, равно как и двух исправников и двух предводителей дворянства тех же уездов, и многих из тех дворян, с которыми третьего дня экспромтом пировал он у Прохора Поплюева.

Даже и сам Прохор, окончательно «истрезвившийся», раздушенный, припомаженный и напудренный, предстоял тут наряду с другими и, по обыкновению, добродушно улыбался своей кисловато-бабьей улыбкой. Все эти гости присутствовали здесь либо в форменных мундирах, либо в самых нарядных своих кафтанах. Черепов не знал, чему и приписать столь блистательное стечение всей этой публики,— мужчин и дам, юношей и старцев, но недоумение его разрешилось очень скоро, когда Прохор Поплюев объяснил ему, что весть о «случае» графа с замечательною быстротою успела распространиться в ближнем и в дальнем околодках еще третьего дня и что «все сии дворяне и чиновные особы» поспешили теперь явиться в Любимку не за чем иным, как «единственно токмо в рассуждении решпекта и поздравления графа с толикою монаршею милостью».

— Да ведь они же его знать не хотели?! — с невольною улыбкой, оглядывая всю эту компанию, вполголоса заметил Прохору Черепов.

— То было время, ноне другое,— отвечал тот, потупясь,— то был человек в забвении, ныне стал в силе: кому чинишко, кому крестишко исхлопочет, кому детишек в кадетский корпус на казенное иждивение определит, о ком в Сенате по тяжбе слово замолвит,— все это, государь мой, надлежит принимать в тонкое соображение; надо наперед человека задобрить, чтобы он свой-то стал.

— И что ж,— спросил Черепов,— все эти господа мнят себе, что граф не сообразит или не догадается о том, каковы побуждения руководствуют ими в сем пресмыкании?

— И, полно! Чего там! — махнул рукой Прохор.— Все мы это отменно понимаем, но уж на том жизнь стоит. Да вот хотя бы я, к примеру,— продолжал он, еще более понизив голос,— ныне богат я, банкеты задаю, фестивалы торжествую, и все ко мне на поклон стекаются, а прогори я — ну-ка! — да ни единой души во веки веков не залучишь! Обегать будут, узнавать не станут! И я это хорошо понимаю, но что ж поделаешь? Такова уж, сударь, философия нашего века.

Но как посгибалися спины, как закивали головы, какие улыбки заиграли на лицах, какие приветствия полились из уст всех этих дворян, иереев и чиновников, когда граф Харитонов-Трофимьев, в траурном простом кафтане без всяких украшений, появился между своими гостями! Ни

один мускул не дрогнул на его спокойном лице, которое и теперь, как всегда, хранило печать строгой простоты, самодостоинства. Он не показал всем этим господам ни своего торжества над ними, ни тени кичливости счастливой переменой своей судьбы, равно как не выказал пред ними и особой угодливости. Он, как и Прохор Поплюев, понимал, что «такова уж *философия* нашего века», и потому нисколько не удивился появлению этих практических «философов» в своей тесной гостиной, даже нимало не возмутился в душе переменой их поведения в отношении к самому себе: «Все сие так есть и всему тому так и быть надлежало». Эту мысль можно было прочесть в его глазах, когда он молча, спокойно и вежливо выслушивал льстивые поздравления, пожелания и изъявления радости, преданности и тому подобного.

— Уж позвольте нам, ваше сиятельство,— подобострастно говорили ему соседи и чиновники,— уж позвольте быть в надежде, что вы, при таковой близости к трону, не забудете иногда своими милостьми и нас, маленьких людей!.. Ведь мы с вами, так сказать, свои, все сограждане, все земляки, одноокружники, все коломенские, соседи-с! Уж мы за вами, как за столпом гранитным; вы наш якобы природный защитник и покровитель... И ежели когда в случае чего, то уж позвольте надеяться!

— Господа,— отвечал им граф,— ежели государю императору благоугодно будет доверить мне какую-либо отрасль в управлении, то не токма что землякам и соседям, но и каждому человеку, кто бы он ни был, я всегда окажу всякое доброе содействие, коли то не противно будет истине и справедливости. Всяк, кто знает меня, знает и то, что это не пустое с моей стороны слово.

— Может, ваше сиятельство, в прошедшем ежели изволили иметь какой-либо повод к неудовольствию против кого-либо из нас,— начал было коломенский исправник,— то поверьте, как пред истинным...

— Оставьте,— перебил его граф,— пренебрегите сим и не мыслите более такового. Кто старое помянет, тому глаз вон,— прибавил он с улыбкой и переменил тему разговора.

Ласково и даже дружески обратился он к Черепову, расспрашивал, хорошо ли ему съездилось в свое именьице, каково нашел местность, дом, усадьбу и все хозяйство, каково мужики его встретили.

— А вот я, сударь,— сообщил ему граф,— даже днем ранее данного мне срока совершенно уже изготовился к отъезду.

— Итак, стало быть, когда же вам угодно отъехать? — спросил Черепов.

— Да ежели вам то не вопреки, то думал бы даже сегодня; препятств ни с моей, ни с дочерней стороны никаких к тому нет.

— А я и тем паче, со всею моею охотой,— поклонился ему гвардеец.

После наскоро изготовленного завтрака, к которому радушно были приглашены все понаехавшие нежданные гости, граф с дочерью отслушал напутственный молебен, отслуженный причтом его сельской церкви, и стал прощаться с дворовыми. Эти люди, с которыми неразлучно прожил он столько лет в своем уединении, казались искренно тронутыми: и граф, и его дочь не раз почувствовали на своих руках горячие капли слез, когда они подходили прощаться. На дворе ожидала большая толпа крестьян,— мужики и бабы, от мала до велика — все население любимковского села; даже убогая слепая старуха — и та притащилась с клюкой «проститься со своими боярьями». Впереди этой толпы, окруженной всеми любимковскими стариками, стоял староста и держал на блюде, покрытом узорчатым полотенцем, большой пшеничный каравай — «хлеб-соль» от крестьян на счастливую дорогу. Граф уже на крыльце перецеловался, по обычаю, со всеми стариками, снял шапку остальной толпе, откланялся еще раз своим гостям и уселся с дочерью в широкий дормез, запряженный целой шестеркой откормленных и веселых коняшек. Целый обоз тронулся вслед за графским дормезом: тут были и кибитки с ближайшей прислугой, которая «при господах» отправлялась в Петербург, и несколько саней с тюками, сундуками и чемоданами, со всевозможной поклажей, с домашней рухлядью и съестными запасами. Кроме того, поезд этот увеличивался еще экипажами понаехавших гостей, которые со всеусердием пустились провожать «новослучайного вельможу» до первой станции, а местные власти простерли свое усердие даже до того, что проводили его до самой границы Коломенской округи и никак не хотели удалиться от него ранее сей черты, несмотря на то, что граф несколько раз просил их не беспокоиться ради его понапрасну.

VIII
ПО ДОРОГЕ

В Москву приехали под вечер и остановились в Басманной, в большом, но запущенном доме, принадлежавшем графу Илие. Здесь уже все было готово к приему, так как граф еще заблаговременно отправил сюда нарочного с извещением о своем предстоящем приезде. Холодные комнаты были вытоплены, прибраны и освещены, когда графский дормез подкатил к крыльцу, украшенному двумя гранитными львами. Прислуга, на попечении которой постоянно оставались покинутые хоромы, встретила наших путников в сенях, облеченная в свои давно уже ненадеванные ливреи, со знаками всего почтения, какое подобало в настоящем случае по старинному этикету.

Черепов, не желая стеснять собой, хотел было стать по соседству на одном из ближайших «подворий», но граф, узнав о его намерении, отнюдь не допустил этого.

— Чтой-то, сударь, помилуй! — говорил он ему с дружеской укоризной,— комнат, что ли, нету?! Все уж заранее для тебя приуготовлено, целый апартамент особливый; да это и мне-то, старику, в стыд бы было, коли б я от своего дома да пустил тебя по подворским нумерам притыкаться.

Намереваясь завтрашним утром пораньше тронуться в дальнейший путь, граф переоделся в свой мундир и, несмотря на вечернюю пору, поехал представиться к своему былому знакомому, престарелому генералу Измайлову, который в то время «главнокомандовал над Москвой». Экстренность случая могла служить достаточным объяснением экстренности вечернего визита.

Москва уже знала о смерти Екатерины и спешила по всем приходским церквам присягать новому императору.

Старик Измайлов, до которого тоже успела дойти быстролетная молва «об особливом случае графа Харитонова», встретил его самым дружеским образом. Он добродушно рассказал, в какой испуг был приведен вчера вечером, когда к нему во двор нагрянул вдруг целый отряд кавалергардов из Петербурга; думал было, что уж не брать ли его приехал под арест да в крепость, «ан оказалось, что кавалергарды присланы от «печальной комиссии» за государственными регалиями, хранимыми в Москве, кои теперь потребны в процессию к погребальной почести и отправлены нынешним утром по назначению». Рассказал также старик и о том, что носятся тревожные слухи о мно-

гих реформах, затеваемых императором, что он повелел освободить из заточения известного Москве Новикова, князя Трубецкого [1] и всех мартинистов и «франмасонов», предписывал возвратить из Сибири Радищева [2], сам посетил в Петропавловском каземате «главного польского бунтовщика» Фаддея Костюшку и сам освободил его при этом,— «а господину Московского университета куратору Хераскову, яко старейшему из наших стихотворцев и славнейшему пииту, пожаловал чин тайного советника», и что вообще, по слухам, везде и по всему большие перемены воспоследуют. Добродушный старик хотя и подхваливал при своем рассказе и то, и другое, но все-таки было заметно, что перемены тревожат его втайне и что, пожалуй, по-старому все было бы и лучше, и покойнее.

Часа три, по крайней мере, продержал Измайлов у себя графа Харитонова, беседуя с ним наедине в своем кабинете о разных «политических материях, нарочито важных по текущему времени», а «графинюшка Лизутка», в ожидании отца, сидела пока в гостиной со своей старой нянькой. С дороги ли, с морозу или с чего другого свежие щеки ее рдели ярким румянцем и глаза играли несколько лихорадочным блеском. Во всех движениях девушки порой проявлялось нечто нетерпеливое и порывистое: то она задумывалась о чем-то и становилась рассеянной или чересчур уже сосредоточенной, то вдруг вдавалась в совершенно безграничную веселость и начинала тормошить Федосеевну, покрывая со смехом все лицо ее своими быстрыми поцелуями, то принималась торопливо ходить по комнате, как бы ожидая кого-то, но, не дождавшись, кидалась вдруг в кресло и, запрокинувшись на подушку, снова погружалась в тихое и мечтательное раздумье.

— Мамушка, а что я тебе скажу... Ты не рассердишься? — подняв с подушки головку, обратилась она вдруг к няньке после глубокого молчания и покоя, длившегося несколько минут без перерыва.

---

[1] Н. И. Новиков, содержатель московской университетской типографии, издатель «Московских ведомостей», «Экономического магазина» и многих книг, оживлявших русскую литературу того времени, был обвинен в «мартинизме», в основании тайного общества и приговорен к заключению в крепости. Его друзья и сотрудники, между которыми были князья Юрий и Николай Никитичи Трубецкие, тоже потерпели при этом. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Радищев — автор известного «Путешествия из Петербурга в Москву» — книга, за которую он был сослан в Сибирь. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

— Чего мне сердиться? — ответила та, перебирая свои чулочные спицы.

— Мне бы хотелось... Нет, да ты не рассердишься?

— Да ну тебя, графинюшка! Чего ты и всамделе.

— Как бы, мамушка, поглядеть, что офицерик наш делает! — отчасти со смущенной улыбкой, отчасти же наивно, но, во всяком случае, не без девичьего лукавства проговорила Лиза.

— Кто-о? офицерик? — удивленно подняла на нее Федосеевна свои взоры.— Тебе-то что до его?

— Ах, мамушка, он мне очень нравится... Такой красивый, право, да бравый такой!

— Ну да, болтай еще!.. Чему в ём нравиться? Мужчина как мужчина, таков же, как и все, с руками, с ногами, костяной да жильный.

— Ан не таков!.. Я таких-то еще и не видывала, коли ты знать хотела! — задорно и весело поддразнила ее Лиза.

— Увидишь и лучше, ништо тебе! Время-то будет еще,— зевая и крестя рот, апатично заметила старуха.

— Да я теперь хочу его видеть.

— Мало ль чего нет!.. Ишь ты!

— Мамушка! голубушка! — вскочила вдруг Лиза с кресла и ласково бросилась к няньке.— Ужасно скучно мне... Просто такая скука, что одурь берет... С чего и сама не ведаю... Знаешь что... Сходи-ка ты да погляди, что он делает, и коли ничего не делает, то позови сюда его...

— Что ты, что ты, шалая!.. Христос с тобой! Вот выдумщица-то! — замахала на нее нянька своими спицами.

— Не хочешь?.. Ну, так я и сама пойду! — бойко и решительно отклонилась от нее девушка.

— Лизутка!.. Ей-богу, графу скажу,— пригрозилась Федосеевна.— Погоди, ужодко будет тебе, как приедет...

— Да что ж тут дурного-то?.. Мамушка! Подумай! Ведь мне со скуки только поболтать охота.

— Ну и болтай, коли хочется.

— С кем это? с тобой, что ли?

— Ну, и со мной болтай.

— Ах, мамушка, да уж мы с тобой-то все ведь выболтали, все до чуточки...

— Ну, коли все, начинай сначала.

— Чего это? Болтать-то сначала? Да ведь с тобой скучно!

— Ну и поскучай маленько.

— Поскучай! Так так-то ты меня любишь?! — с укором положила Лиза руки на плечи старухи.

— Ну, чего пристала, графинюшка? — начала та оправдываться.— Ну, коли хочешь знать, так его и дома-то нетути, офицера этого; еще давеча на почтовый двор поскакал заказать, чтобы на утрие под графа лошади с Ямской были, да и вперед-то по дороге надоть кульера спосылать ему, чтобы там на всех станках под наш вояж подставы готовились. Мало ли ему делов да хлопот-то! Он ведь не до вашего сиятельства, а по царскому приказу действует! Есть, вишь, ему время с тобой тут турецкие разводы разводить! Как же! Дожидайся!

Лиза надула губки и, по-видимому, успокоилась. Но не прошло и пяти минут, как из смежной залы в открытую дверь послышались быстрые шаги, сопровождаемые звуком шпор. Графиня Лиза вздрогнула и чутко насторожила уши.

В открытой двери показался Черепов. Не ожидая встретить тут девушку, он на минуту невольно замедлился в проходе в гостиную, в нерешимости, идти ли далее, вернуться ли назад.

— Войдите, сударь! — предупредительно пригласила его Лиза.— Вам, верно, батюшку надо?

— Да, я хотел доложить графу, что у меня все уже распоряжено и готово на завтра к отъезду,— сообщил Черепов.

— Он еще не вернулся... Коли угодно, то подождите его здесь, посидите с нами, буде то вам не в скуку.

Старая Федосеевна только взгляд один кинула на свою воспитанницу, удивляясь ее бойкости. «Ишь ты, стрекоза! И откуда что вдруг взялося!» — ясно говорило выражение ее лица, которому в эту минуту она старалась придать нечто строгое и недовольное.

Черепов не заставил повторять себе любезного приглашения и свободно вошел в гостиную, где «был прошен садиться», вследствие чего и поместился на золоченом стуле в достодолжном и почтительном расстоянии от молодой хозяйки. Завязался разговор. Лизу очень интересовал Питер и его быт: как там живут и что делают, и какие там дома, какие улицы,— такие ль, как в Москве, или лучше, красивее? — что это там за «двор», балы, куртаги, феатры, маскерады, эрмитаж, гвардия, министры? какие там светские дамы и девицы, и что у них за наряды, что за моды? Все это, доселе еще невиданное и почти неслыханное ею в сельской глуши, представлялось ее воображению чем-то блистательным, почти сказочным, все это манило ее своим радужным блеском и в то же время как будто пугало ее душу. Черепов охотно отвечал на все расспросы девушки

и, с удовольствием любуясь на ее красивое, оживленное личико, рассказывал как умел все, что знал об интересовавших ее предметах. И Лиза слушала его с жадным интересом и думала про себя о Черепове: «Какой он, в самом деле, добрый и хороший и как он все это любопытно и занимательно рассказывает!» Даже нянька Федосеевна и та заслушалась его рассказов, хотя и не переставала по временам кидать на него из-за своих спиц недоверчивые взгляды. Часа через два, когда вернулся от Измайлова граф Илия, подан был ранний ужин, после которого все разошлись на покой, ввиду завтрашнего раннего отъезда.

По дороге в Петербург, проезжая деревнями и селами, путники наши нередко встречали на сельских улицах и площадях, пред церквами, толпы крестьян, которые то шли к присяге, то возвращались от нее, то собирали промеж себя свои мирские сходки и толковали о смерти царицы да о «переменах», про что и до них уже успели дойти кое-какие слухи и вести. Сказывали между крестьянами, что отныне уже не будет новых рекрутских наборов и даже последний набор приказано-де распустить по домам, потому что новый царь не хочет никакой войны, не желает для себя никаких приобретений, а намерен беречь своих людей и соблюдать свое государство; толковали также, что хлеб будет дешевле прежнего [1], что раскольников не станут гнать и дозволят им открыто отправлять все свои духовные обряды и требы и что крепостным людям в скором времени «полная воля выйдет», что царь очень доступен всем и каждому, что кто хочет, тот и волен идти прямо к нему с прошением о своих нуждах, о притеснениях ли от господ и начальства, и что царь кладет на все такие прошения суд скорый и строгий: «Коли начальство аль господин виноват, сразу взыщет и на лицо не посмотрит, а коли челобитчик неправо просит, то берегись: за сутяжество худо будет». Все эти вести и новости разлетелись в народе с необычайной быстротой через тех проезжих курьеров из Петербурга в Москву и иные города, которые никогда еще доселе не ездили по России в таком количестве и так быстро, как в эти первые дни воцарения

---

[1] Еще за несколько лет до смерти императрицы Екатерины цены на хлеб не только в Петербурге, но даже и по всей России поднялись до 8 и 9 рублей за куль. Это было причиной общей дороговизны на все жизненные предметы и вызывало неоднократные жалобы и ропот как в обществе, так и в народе. Одною из первых мер императора Павла были указы, от 10-го и 18-го декабря 1796 г., о понижении цен на хлеб и о замене хлебной подати денежною. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

императора Павла. Московско-петербургский почтовый тракт, по преимуществу, был поприщем этих курьеров, едва лишь на несколько минут делавших остановки на почтовых станциях для перемены лошадей, где каждого такого гонца старались принять как можно ласковее и угостить чем ни есть получше, лишь бы только выведать от него какую-нибудь петербургскую новость. В этом отношении в особенности старались станционные смотрители, сельские старосты и бурмистры, попутные помещики, деревенское духовенство и земские заседатели. Нередко и толпы крестьян осаждали станционные дома в ожидании курьерских новостей, которые с московского тракта разносились молвою все далее и далее, в заповедные глубины русских весей и дебрей. Этим курьерам, в глазах народа, в особенности придавало значение то, что их подорожные были подписаны самим наследником престола, великим князем Александром Павловичем [1].

На другой день своей дороги наши путники обогнали оригинальный поезд. Графиня Лиза в особенности заинтересовалась никогда еще невиданным ею зрелищем и долго глядела на него, высунувшись из каретного окошка. По дороге шла шагом на статных, породистых конях толпа блестящих всадников, в стальных доспехах, в сияющих шлемах со страусовыми перьями, в красивых кирасах и налокотниках, с обнаженными палашами в руках, а посреди этой толпы, которая казалась Лизе кавалькадою древних рыцарей, ехали пышно убранные дроги, где стоял длинный ящик, обитый драгоценною парчою. В нем были заключены государственные регалии, которые под эскортом кавалергардов перевозились теперь в Петербург для погребальной церемонии. Этих-то самых кавалергардов и испугался в Москве престарелый Измайлов, когда они неожиданно нагрянули к нему в дом чуть не целым эскадроном.

В течение этого путешествия Василий Черепов иногда целые станции ехал в одной карете вместе с графом и Лизой. Когда, бывало, графу станет скучно глядеть по дороге на однообразные, покрытые снегом равнины и перелески, а между тем ни дремать, ни читать не хочется, он останавливал экипаж и приказывал подбегавшему Аникеичу достать обыкновенно дорожную флягу венгерского вина да

---

[1] По званию с.-петербургского генерал-губернатора, вел. кн. Александр должен был лично подписывать все подорожные и билеты на выезд из столицы. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

каких-нибудь лакомств и звать «господина гвардии корнета»: «Не угодно ли, мол, позабавиться различными лакомствы от дорожной докуки?»

Гвардии корнет, зная, что увидит еще один лишний разок хорошенькие глазки и светлую улыбку «графинюшки», обыкновенно с большой охотой принимал эти приглашения, выскакивал из своего возка и подходил к раскрытому окошку дормеза, благодаря графа за его любезное к нему внимание.

Здесь он, по большей части, получал приглашение пересесть, не стесняясь, в графский экипаж, «буде на то есть охота», чтобы поболтать «малую толику» о том о сем пока до станции, и Черепов пересаживался на переднее сиденье, рядом с нянькою Федосеевною. Тут иногда подымался какой-нибудь разговор, граф расспрашивал либо про петербургские порядки прошлого царствования, либо предавался обсуждению разных дорожных слухов о столичных событиях и переменах последних дней, делал различные планы и предположения, что из всего этого может произойти и воспоследовать и какой блеск ожидает в будущем наше счастливое отечество при таком начале царствования нового монарха, либо же наконец переходил к воспоминаниям о своем прошлом времени, о дворе Елизаветы и Петра III, о жизни, лицах и отношениях того давно прошедшего времени. Графиня Лиза, эта единственная и потому балованная дочь опального вельможи, часто вмешивалась в разговоры своего отца и тоже строила свои полудетские радужные планы и предположения о его будущности, не раз вызывавшие на уста старика добрую и задумчивую улыбку. Иногда граф, убаюканный мягким качаньем дормеза, начинал дремать, причем обыкновенно ему вторила и старая Федосеевна; разговор при этом, конечно, прекращался, и молодые люди, оставленные, благодаря дремоте стариков, как бы наедине и чувствуя каждый такую близость друг к другу, начинали испытывать в душе то приятное, сладкое, хотя и несколько неловкое смущение, которое всегда посещает в подобных обстоятельствах молодые сердца и является как бы предвестником невольно зарождающегося сближения и чувства. Они молчали, притаив дыхание и даже избегая встречи взорами, но глаза их все-таки встречались порою, и в это мгновение каждый из них мог прочесть во взоре другого какую-то внутреннюю пытливость, обращенную на него и озаренную светлым лучом ожидания и надежды на что-

то теплое и хорошее, что как будто ожидает, манит и непременно должно сбыться в их будущем.

Таким образом, в течение пяти суток дороги старый граф и его дочь настолько успели привыкнуть к Черепову и сблизиться с ним, что стали считать его как бы совсем своим домашним человеком, совсем добрым, старым и хорошим знакомым. Граф Илия, привыкший в течение долгих лет своей опалы к жизни «по простоте» и к совершенно простым, непосредственным отношениям к окружающим его людям, от души полюбил молодого гвардейца и просил не забывать его дом и в Петербурге.

— Иди, сударь, ко мне за чем ни понадобится; чем богат, тем и рад для тебя буду. Человек ты, вижу, хороший, и мне по нраву пришел,— сказал он Черепову на последней станции.

Его дочь ничего не промолвила при этом, но зато взглянула на молодого человека таким хорошим взглядом, что не трудно было угадать и в ее глазах не только желание видеть его почаще, но даже как бы приказание и полную уверенность в том, что он непременно должен и будет бывать у них в доме.

Едва графский поезд приблизился к заставе, как пред ним опустился полосатый шлагбаум, и дормез поневоле должен был остановиться, в виду этого неожиданного препятствия. Здесь к экипажному окошку подошел дежурный унтер-офицер в новой форме по прусскому образцу и осведомился об имени и звании проезжающих.

— Что за остановка? В чем дело? — выпрыгнув из своего возка, крикнул Черепов.

— Позвольте, ваше благородие, чин, имя и фамилию,— доложил ему дежурный.— Надо знать, кто такие проезжающие.

— Да зачем тебе это надо?

— Так приказано. Новый приказ такой вышел, чтобы не пускать ни в Питер, ни из Питера без прописки на заставе. Пожалуйте в караульный дом расписаться в книжке.

Черепов вошел в караулку и отметил в шнуровой тетради, что такого-то числа, в три часа пополудни, в столицу въехал по именному государя императора повелению генерал-майор граф Харитонов-Трофимьев с дочерью и в сопровождении курьера такого-то.

— Подвысь! — крикнул дежурный часовому, стоявшему у заставы,— и полосатый шлагбаум медленно поднялся пред экипажем графа.

Караул тотчас же выбежал «вон» на платформу и по уставу отдал въезжающему генералу достодолжную воинскую почесть, которую столько уже лет никто нигде не отдавал опальному графу.

IX
ПЕТЕРБУРГ ТОГО ВРЕМЕНИ

Все великолепие города Петербурга в 1796 году сосредоточивалось в очень ограниченном и небольшом пространстве, между Дворцовой набережной, которая известна была под именем «сюрлеке» (sur le quai), Луговой, Миллионной, обеими Морскими и Невским проспектом от Полицейского до Аничкина моста. Центр города составляли окрестности Зимнего дворца, но и в этой лучшей части Петербурга — высоких, трех- и четырехэтажных каменных домов было очень немного. Почти все каменные дома покрывались черепичными кровлями и строились не выше как в два этажа или в один этаж с подвальным жильем, значительно углубленным в землю. Хотя на Морских и Миллионных да на помянутом пространстве Невского проспекта деревянных построек почти уже вовсе не существовало или же таковые являлись как редкое исключение, но зато во всех прочих улицах каменные здания составляли едва лишь десятую часть в общем итоге жилых построек; остальные же дома были все деревянные, редко в два этажа, а все более с мезонинчиком и с палисадником пред окошками.

В настоящее время на Невском проспекте сохранились в прежнем своем виде дом Васильчикова, где помещается «Английский магазин», уже около столетия существующий на одном и том же месте, дом Коссиковского (что ныне Елисеева) у Полицейского моста, тогда еще *новый* и принадлежащий князю Куракину, дом графов Строгановых, известный в те времена под именем палаццо (palazzo), дом католической церкви и Гостиный двор. Все же прочие дома теперь уже либо сломаны, либо надстроены, так что от прежнего в них и следа не осталось. На Итальянской улице, против Михайловской площади, на правой стороне стояли частию каменные, частию деревянные постройки, а по левой, во всю длину улицы, тянулся каменный забор, который ограждал собою «дворцовый огород», принадлежавший к Летнему саду. На Литейной и Владимирской, в Конюшенных, в Троицком переулке, в Моховой

и окрест лежащих улицах, равно как в Малой и Средней Мещанских, в Подьяческих, на Вознесенском и Екатерингофском проспектах — каменный дом, принадлежавший частному лицу, являлся уже редким исключением. Здесь тротуары заменялись деревянными мостками, и мостовые вполне могли назваться убийственными. Части же города, известные и тогда, как теперь, под названием Московской, Рождественской и Коломны, были сплошь обстроены деревянными домами и вовсе не имели мостовой, а Козье болото в Коломне являлось действительным болотом непроходимым, смрадным и покрытым зеленой тиной. Таких болот в тогдашнем Петербурге было несколько: по Лиговке, в Грязной (ныне Николаевская), на Новых местах и за Каретным рядом, где в наши дни возвышается столько громадных и великолепных зданий. Васильевский остров по набережной Большой Невы сохранился и поныне почти в тогдашнем виде; но во всех остальных частях, за исключением Первой и Кадетской линии, он весь напоминал те окраины своих отдаленных линий за Малым проспектом, какие недавно еще можно было видеть в окрестностях Чекуш и Смоленского кладбища. Что же касается Песков, Петербургской и Выборгской сторон, то их лучшие улицы напоминали самые плохие уездные городишки, а Ямская представлялась настоящей деревней. Каменных церквей в городе было очень немного и великолепными могли назваться только Александро-Невская лавра да собор Смольного монастыря. Казанский же собор был еще деревянным низким строением, выкрашенным желтой краской, с высокой деревянной колокольней. Собор Исаакиевский, далеко еще недостроенный, представлял собой какую-то мрачную массу, без всякой архитектуры. Адмиралтейский шпиц со своим корабликом хотя и существовал, но башню его еще не окружали колонны и статуи, да и самое здание Адмиралтейства было низко, не оштукатурено и, не вмещая в себе никакого жилья, служило единственно складочным местом для кораблестроительных материалов. Водяной ров и прямолинейные земляные валы с трех сторон окружали это здание там, где теперь красуется бульвар Адмиралтейский. На месте нынешнего Инженерного замка стоял еще, окруженный липами Летнего сада, деревянный «Летний дворец» императрицы Елизаветы Петровны [1]. Александринский те-

[1] На месте его император Павел воздвиг, по собственному своему плану и рисункам, в один год с небольшим, «Замок св. Архангела Миха-

атр, известный тогда под именем *Малого*, представлял собой низкое и безобразное здание вроде сарая, без всякой архитектуры, а *Большой* театр, гораздо ниже нынешнего и не украшенный еще портиком, тоже походил скорее на складочный казенный магазин, чем на храм искусства.

Дворцовую площадь окружали дома частных владельцев, между которыми отличался дом Кушелева, построенный полукругом, на месте нынешнего главного штаба. Арка тогда еще не существовала. Этот дом являлся для Петербурга своего рода Пале-Роялем, где помещались и лучшие «лавки» (слово «магазин» при Павле было запрещено на вывесках), и лучшие трактиры, и маскарадная зала Фельета [1] и немецкий театр [2]. В Петербурге было тогда несколько театральных трупп: русская, французская, немецкая, итальянская опера и некоторое время даже польская труппа, существовавшая под управлением антрепренера Кажинского [3]. На русской сцене *Малого* театра, где давались трагедии, комедии, водевили и оперы, блистали тогда трагик Яковлев и трагическая актриса Екатерина Семенова, комики Бобров, Рыкалов, Воробьев, певцы Самойлов [4] и Гуляев, певица Сандунова. В балете отличались Дюпор — европейская знаменитость того времени — и не менее знаменитый Огюст, балетмейстер Дидло и танцовщицы: Колосова, Данилова, Иконина. В итальянской опере приводила в восторг меломанов примадонна Маджолетти, а теноры Пасква и Ронкони, буффо Ненчини и Замбони почитались первыми в Европе. Французский театр тоже процветал в царствование Павла, несмотря на все предубеждения императора против Франции. На французской сцене в особенности отличалась m-me Шевалье (сестра танцовщика Огюста). Она занимала первые амплуа в комических оперетках и блистала своей игрой и пением, а главное, что делало ее особенно сильной в разных

ила». Этот замок имел вид крепости, окружен был водяными рвами и валами, на которых стояли пушки, и служил жилищем императору в последний год его царствования. Подъемные мосты вели во внутренность замка. Освящен он был 8 ноября 1800 г. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[1] Ротонда, где ныне помещается библиотека главного штаба. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Зала этого театра ныне занимается общим архивом главного штаба. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[3] Отца покойного В. Кажинского, капельмейстера Александринского театра. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[4] Отец Василия Васильевича Самойлова. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

столичных мирках, это ее близость к Кутайсову, который был ее безусловным поклонником. К ней прибегали за протекцией, просили о местах и пособии. Муж ее сидел в передней и докладывал о посетителях, которых жена принимала как королева. Одно слово ее Кутайсову, записочка Кутайсова к генерал-прокурору или другому сановнику — и дело решалось тотчас же. Француз Фельет в громадных своих залах давал публичные маскарады, посещаемые всем высшим сословием, и нередко даже членами царской фамилии. За вход в фельетовский маскарад, равно как и за места в театральных партерах, куда ходила вся молодежь лучших фамилий и все гвардейское офицерство, взималось тогда по одному рублю медью. В этих маскарадах можно было и поужинать, причем, например, жареный рябчик стоил 25 коп. медью, а бутылка шампанского два рубля, обыкновенное же столовое вино весьма порядочного сорта от 40 коп. до полтины за бутылку. Лавки кушелевского дома были переполнены французскими и английскими товарами, которые тогда продавались необыкновенно дешево; поэтому «панель» пред нашим петербургским Пале-Роялем служила излюбленным местом прогулок для тогдашних щеголих и модниц, у которых здесь под рукой было все, что лишь могла предоставить им самая изысканная мода.

За исключением набережных и Дворцовой площади тротуаров в городе не было, а каменные мосты существовали только на Екатерининском канале, в том виде, как и теперь, да на Фонтанке, где они все были подъемными и наружным видом походили на Чернышев мост, существующий и до сего дня. Мосты же на Мойке, т. е. Полицейский, Красный, Синий и Поцелуев, были деревянные, и из них два средние получили название от цвета своей окраски. Многие улицы весною и осенью были почти непроходимы, а на других лужи не просыхали в самое жаркое лето. На этих улицах зачастую паслись коровы и расхаживали свиньи вместе со всякой домашней птицей. По ночам стаи бездомных собак бродили около рынков, нарушая покой обывателей своим вытьем и лаем, далеко разносившимся по окрестности. За исключением центра города по всем остальным улицам порой просто не было проходу от оборванных мальчишек, которые устраивали здесь свои игры в городки и в бабки. Эти мальчишки взимали своего рода копеечную контрибуцию с чисто одетых прохожих, которые в противном случае рисковали быть забрызганными грязью. На повороте с Невского про-

спекта во Владимирскую помещался *«Обжорный ряд»*, где целыми рядами сидели торговки с хлебом, пирогами, жареным и вареным мясом, русаками и рыбою. Весь рабочий люд толпился тут непременно по два раза в сутки, обедая и полдничая на вольном воздухе. У Синего моста тоже постоянно толпились люди обоего пола и различных возрастов вместе с рядчиками, дворецкими и приказчиками. Здесь производились наймы прислуги и рабочих, а также купля и продажа в вечное и потомственное владение. Одним словом, Петербург *показной*, Петербург, щеголявший европейскими нравами и перенимавший европейские привычки, группировался только в *«чистой»* части города, т. е. около дворца, на Морских, на Миллионных да на Невском до Аничкина моста; остальной же весь Петербург жил «по старине» и деревянной наружностью своей нимало не походил на европейскую столицу.

С первых же дней воцарения императора Павла весь строй и порядок петербургской жизни быстро и круто изменился.

В былое время вельможи Екатерининского века, бывшего по преимуществу «веком вельмож», соединяли в себе все утонченности европейских вкусов и привычек, все величественное изящество манер века Людовика XIV и всю вольность нравов эпохи его преемника, полуазиатскую пышность польских магнатов и все хлебосольство и щедрость старинных русских бояр с достаточной примесью самого широкого самодурства. Цель жизни заключалась в наслаждении: «наслаждайся сам и давай наслаждаться другим, чтобы вид нищеты и несчастия не отравлял собой полноты твоего наслаждения» — таков был девиз большинства этих магнатов. У них ежедневно накрывались обеденные столы на пятьдесят и более особ, куда могли являться не только званые и незваные, но часто даже и вовсе незнакомые люди, лишь бы только их костюм был мало-мальски приличен. Невские острова и Петергофская дорога в то время представляли собой оживленные ряды аристократических дач со всевозможными затеями, где, бывало, в каждый праздничный день гремела музыка, сжигались фейерверки и вся незнакомая «публика» была угощаема чаем, фруктами, мороженым. Граф Строганов в своей даче устроил даже большой танцевальный павильон для этой «городской публики» и задавал для нее блистательные празднества. Кроме того, от имени Нарышкина и графа А. С. Строганова ежедневно раздавали пособие нуждающимся и милость убогим день-

гами и провизией. Множество бедных семейств получали от них и от целых десятков других бояр ежемесячные пенсионы. Дома этих русских вельмож блистали драгоценными собраниями картин, богатыми библиотеками, горами серебряной и золотой посуды, множеством драгоценных камней и всяких редкостей. Императрица Екатерина, бывало, говаривала в шутку про Нарышкина и Строганова: «Два человека у меня делают все возможное, чтобы разориться, и никак не могут!» В последние годы ее царствования в Петербурге стали все более и более появляться из присоединенных провинций магнаты польские, которые соперничали в блеске и роскоши с русскими боярами. Тут были князья Четвертинские, Чарторыйские, Любомирские, графы: Иллинский, Северин-Потоцкий, Виельгорский, Ржевуский и др. Все это старалось переблистать друг друга и богатством, и тороватостью, причем открывался достаточный простор и честолюбию, и интриге.

А в то же время весь Петербург невельможный, всяк по своему чину и состоянию, также старался «утопать в роскошах». Не только гвардейские офицеры, но даже и нижние чины из дворян редко занимались службою, пренебрегали фронтом и еще реже носили свои мундиры, а все больше щеголяли во фраках да в теплых шубах с меховыми муфтами, шатались целыми партиями по городу, зачастую «чинили уличные буйствы и дебоширствы» насчет мирных обывателей, разбивали целые трактиры, погребки и «вольные дома», мотали не на живот, а на смерть, «показуя прилежность свою к бильярду и к азартным играм», и вообще вели себя «яко сущие шатуны и повесы» самым невозможным образом. Равно и в среду мелких гражданских чиновников и вообще в средний класс петербургского населения проник «дух фривольных нравов» и пьянство великое. Целые ночи, бывало, раздаются в трактирах, в игорных и в иных «партикулярных» домах веселые звуки музыки и песен, звон стаканов и бутылок, разбиваемых вдребезги, неистовые клики пирующих и вопли побиваемых. Следствием этого бывали еженощные драки, даже целые побоища партиями, нередко смертоубийства и пожары, особенно частые и опасные при тогдашних деревянных постройках. Страсть к «роскошам» и наживе посредством азартной игры, разоряя мелкое чиновничество, поневоле заставляла его выискивать себе недостающие денежные средства в сугубом взяточничестве и во всяком роде незаконных поборах. Обязанности службы отправлялись кое-как, спустя рукава, дела залежива-

лись по несколько лет без всякого движения, и присутственные места столицы едва-едва наполнялись похмельными чиновниками только к полудню, а к двум часам дня были уже пусты, хоть шаром покати. Короче сказать, тогдашняя городская и, в особенности, столичная Россия, в упоении блеском и громом побед и всяческих торжеств Екатерининского царствования, считая себя необъятной и страшной силой на всем земном шаре, в сущности, была-таки порядочно распущена и разнуздана халатным управлением вельмож-сановников, и это в особенности стало заметно для каждого трезвого и нелицеприятного глаза в последние годы царствования доброй и славной монархини, когда ее энергия, неутомимость в государственных трудах и непреклонная воля, под гнетом лет, уже значительно ослабели.

Всеми трезво мыслящими и прозорливыми людьми стала наконец чувствоваться настоятельная необходимость *подтянуть* эту военную, чиновную и чиновничью Россию, слишком уж разнуздавшуюся в тридцатилетнем своем упоении блеском российского могущества, силы и славы и слишком уже привыкшую удовлетворять своим «роскошам и приятствам» на счет крестьян и вообще нечиновных производительных классов народа.

Павел Петрович, будучи еще наследником престола, как бы позабытый и заслоненный от столичного блеска пышными вельможами и временщиками, очень хорошо видел и понимал, среди своего гатчинского уединения, все расшатавшиеся винты и гайки тогдашнего государственного механизма. В противоположность людям того века он до педантизма был исполнителен, точен и верен своему долгу и обязанностям, прост и неприхотлив в своем домашнем обиходе, спартански скромен во всех требованиях и удобствах своей жизни и очень религиозен. Известно, что в его гатчинском дворце, в том месте, где обыкновенно стаивал он на коленях, погруженный в одинокую молитву и часто обливаясь слезами, паркет был положительно стерт, а дежурные офицеры нередко слышали из смежной комнаты его глубокие вздохи во время молитвы. Кроме того, следует еще заметить, что, в противоположность эпикурейскому материализму XVIII века, этот человек был вполне идеалист, сочувствовал масонству, склонен к высшему романтизму и пламенно любил все то, что носило на себе рыцарский характер или даже оттенок. Ложь, притворство и криводушие способны были мгновенно выводить его из себя, и тогда он становился беспоща-

ден. Один из самых неприязненных России писателей сознался, однако же, о нем, что «он был справедлив даже в политике». А это уже много для того времени... Что же мудреного, если, видя общественную расшатанность и понимая ее причины, он, со свойственной ему энергией, принялся, что называется, выбивать клин клином и резко впал в противоположную крайность? Так было надобно: состояние общества того требовало.

Но строгость своих требований он применял прежде всего и более всего к самому себе. Государь обыкновенно вставал очень рано, между четырьмя и пятью часами утра, и, обтеревшись куском льда, тотчас же принимался спешно одеваться, затем посвящал некоторое время молитве, а затем уже выслушивал донесение о благосостоянии города и отдавал некоторые распоряжения относительно своих домашних дел. В шесть часов утра в его приемной уже находились в сборе все те министры и начальники отдельных частей и управлений, у которых в тот день была очередь для доклада, а также и те лица, которым еще накануне велено было почему-либо явиться к его величеству. Первым из числа должностных вельмож обязан был являться генерал-прокурор и первый министр, граф Безбородко. Ровно в шесть часов государь выходил в приемную и до восьми занимался выслушиванием докладов и донесений, обсуждая некоторые безотлагательные дела и кладя свои резолюции. В восемь часов у его крыльца уже стояли в готовности одиночные санки и заседланная лошадь. Отпустив своих министров и сенаторов, государь садился либо в санки, либо верхом, в одном сюртуке, невзирая ни на какую погоду, и в сопровождении очень немногих лиц, иногда Кутайсова или Обольянинова, а иногда Ростопчина, отправлялся подышать свежим воздухом и прокатиться по городу, избирая для этих прогулок не только людные, но и самые отдаленные, пустынные улицы и закоулки. Иногда при этом заезжал он неожиданно в казармы того или другого полка, пробовал пищу, осматривал удобства солдатских помещений, цейхгаузы и склады, а к десяти часам уже возвращался во дворец и, обогревшись несколько, выходил на площадку к ожидавшему его гвардейскому разводу. Тут, в сопровождении свиты, посвящал он час воинским экзерцициям и некоторое время на личное принятие челобитен и прошений, в одиннадцать же часов возвращался в свои комнаты, причем к нему свободно могли приходить все бывшие при разводе, не только высшее начальство, но даже простые

армейские и гарнизонные офицеры до прапорщичьего чина включительно. Тут они находили уже расставленные столы с закусками, и государь, разговаривая с начальниками и офицерами, приглашал всех без изъятия к водке и закуске и сам закусывал тут же, вместе со всеми. Затем, ровно в полдень, он садился со своим семейством за простой домашний обед, который готовила ему кухарка-немка и к которому приглашал иногда того или другого из приближенных или из дежурных офицеров. Пообедав, император отправлялся в свой кабинет отдохнуть на некоторое время, а в три часа для него опять уже были готовы одиночные санки и верховая лошадь. С пяти же и до семи часов происходил вторичный прием министров с докладами, затем один час посвящался государем своему семейству, а в восемь часов он уже ужинал и ложился спать. В девять часов гауптвахтные караулы высылали рунды с барабанщиками, которые, обходя известный район города, били вечернюю зорю, а с этого времени во всем городе уже не было ни единой горящей свечки. Всякая наружная, уличная жизнь тотчас же прекращалась: лавки, ворота и ставни замыкались на болт, и петербургские обыватели волей-неволей обязаны были спать или, по крайней мере, сохранять полнейшую тишину и спокойствие.

Но зато пред рассветом, еще в ночной темноте, между четырьмя и пятью часами, петербургские улицы, прилегавшие к Сенату и иным присутственным местам, наполнялись гражданскими чиновниками, которые вереницами пробирались по дощатым мосткам, поспешая к местам своего служения. Боже избави, если бы кто из них осмелился хотя пятью минутами запоздать против урочного времени! Арест на «съезжей», а не то и выключка из службы тотчас же поражали неаккуратного. В пять часов утра во всех без исключения канцеляриях, департаментах и коллегиях на рабочих столах горели уже сальные свечи, и трезвые чиновники усердно скрипели гусиными перьями. Около этого же часа, проходя по апартаментам Зимнего дворца, государь мог уже видеть полную и блистательную иллюминацию всех окон «вице-канцлерского дома», что стоял на Дворцовой площади, по соседству с кушелевским «Пале-Роялем»: там уже ярко пылали все камины, блистали зажженные люстры, лампы и кенкеты, а благообразные, чистенькие юноши дворянских фамилий — гражданская jeunesse dorée [1] того време-

[1] Золотая молодежь *(фр.)*.

ни — вместе с чиновными старцами, дельцами и дипломатами сидели на своих местах за работой. Генерал-прокурор, по окончании доклада у государя, тотчас же спешил с высшими сановниками в тот или другой комитет, обыкновенно собиравшийся под председательством наследника-цесаревича. Одним только сенаторам, говоря относительно, дана была маленькая «поблажка»: они должны были заседать за красным столом не с шести, а только с восьми часов утра.

«Ad exemplum regis componitur orbis» [1],— с покорным видом и с подавленным вздохом говорили чиновные сибариты, которым стало куда как тяжко подыматься с постели в ту пору раннего утра, в какую они, бывало, только что ложились после изобильных и роскошных ужинов. Те же самые сибариты в официальных своих разговорах, конечно, восхваляли новый порядок жизни и службы, называя его *«ренессансом»*, эпохой возрождения, а в дружеской беседе, с глазу на глаз, брюзжа на весь мир и вздыхая о прошлом приволье, дарили эту же эпоху «ренессанса» названием «затмения свыше».

Обстановка присутственных мест тоже изменилась. Еще так недавно даже в канцелярию Сената неприятно было войти мало-мальски брезгливому человеку, а о прочих второстепенных и третьестепенных местах нечего и говорить. Сальные огарки там были воткнуты в бутылки, чернила наливались в помадные банки, песок насыпался в черепки, в плошки или бумажные коробки; на полах лежала засохшая грязь, которую в редких экстренных случаях не отмывали, а просто должны были соскребывать заступами; закоптелые стены пропитаны были какой-то сальной грязью, так что чистоплотному просителю гадко было и прислониться к ним, а между тем в приемных для посетителей не полагалось не только стульев, но даже и простых скамеек, и целые толпы несчастных ходатаев по собственным и чужим делам должны были по нескольку часов дожидаться на лестницах, в сенях и даже на улице. Чиновники торговались с ними в канцеляриях, как на толкучем рынке. Эта растрепанная и оборванная чернильная рать просто ужас наводила на просителей. Случалось иногда, что служители Фемиды и администрации не только без церемонии, но даже без всякого зазрения совести шарили у просителя по карманам и отнимали деньги при веселом смехе похмельных сотоварищей. Павловская

---

[1] Мир живет примером государя. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

«подтяжка» быстро и резко изменила эти безобразные порядки. Народу дано было право приносить прошения и жалобы лично самому императору. У одного из подъездов Зимнего дворца, в окошке нижнего этажа, постоянно выставлен был ящик для опускания просьб на высочайшее имя, и ключ от него хранился у самого государя, который лично отмыкал крышку и прочитывал эти бумаги, немедленно кладя по ним резолюцию или назначая особые следствия. И сколько взяточников, вымогателей и казнокрадов в первые же дни его царствования было вышвырнуто из службы с опубликованием в «С.-Петербургских ведомостях» имен и поступков «исключаемых»! Дрожь не от стужи, а от страха все более и более стала пронимать чиновников. С перекраской и очисткой присутственных мест, которым дана была приличная и опрятная обстановка, пришлось и дельцам волей-неволей оставлять старые привычки и нравы, брать «полегоньку», осторожно и с «опаской», а то и вовсе не брать, дела не затягивать, а решать быстро, да и самим понадобилось облекаться в новые форменные шляпы, мундиры и ботфоры со шпорами. Все это было тяжело, и число недовольных новыми порядками с каждым днем возрастало. Зато простой, неслужащий люд в первые дни царствования Павла Петровича встречал его появление на улицах криками «ура» и изъявлениями своей благодарности за удешевление хлеба, соли и мяса, за назначение умеренных податей, окончание персидской войны и отмену рекрутского набора.

X

У ГОСУДАРЯ

— А что, граф Харитонов-Трофимьев не приехал еще? — спросил государь при утреннем докладе у петербургского коменданта.

— Никак нет, ваше величество!

— Жду его с нетерпением. Как только приедет, доложить мне тотчас же.

— Слушаюсь и не премину исполнить,— почтительно поклонился комендант.

Это было сказано накануне того дня, в который граф Илия со своим деревенским караваном въехал в северную столицу. Караульный офицер еще на заставе сообщил Черепову высочайшую волю, о которой комендант, сейчас

же по получении царского приказания, оповестил караул московской рогатки.

Граф Илия еще с Москвы, по рекомендации старика Измайлова, решил «пристать» в Петербурге на первое время в Демутовой гостинице, куда и был препровожден Череповым, который, не теряя лишней минуты, помчался в ордонанс с «репортом» о прибытии графа. Это было в исходе третьего часа. В гостинице Демута, почитавшейся в то время лучшею в Петербурге, граф Харитонов-Трофимьев занял несколько лучших нумеров «под себя и свою услугу». Еще далеко не успели перетаскать в его помещение чемоданов, вмещавших в себе наиболее нужные вещи, как вошедший Черепов доложил о приезде петербургского коменданта.

— Не далее как вчера государь император изволил интересоваться вашего сиятельства приездом,— начал гость после взаимной рекомендации и первых приветствий, которые со стороны графа Илии сопровождались извинениями, что, не успев переодеться, принимает его в чем есть, т. е. в дорожном длиннополом сюртуке, в роде шлафрока.— Н-да,— продолжал генерал тягуче-размеренным и несколько гнусливым голосом,— его величество повелел мне тотчас же, как приедете, известить его, и я несказанно счастлив, что, благодаря вашему неумедленному приезду, могу столь скоро удовлетворить воле моего государя. Конечно, император пожелает, чтобы вы ему представились в самом непродолжительном времени, быть может, даже завтрашнего дня утром, но... извините, откровенный вопрос: имеете ли вы соответственную форму?

При этом комендант указал жестом на воротник и лацканы своего генерал-майорского мундира.

— Я имею только ту форму, с коей был уволен от службы,— сообщил ему граф Харитонов-Трофимьев.

— Н-да, но я обязан предупредить вашего сиятельства, что приказом, отданным на сих днях, при пароле, вы уже зачислены на действительную его величества службу, в состав генералитета, а потому имеете представиться в установленной форме одеяния.

— Но как же, если сие, как вы говорите, может воспоследовать завтра? — возразил Харитонов.

— О, это ничего не значит! — поспешил заверить генерал.— Я тотчас же пришлю к вам образцового закройщика из лейб-гвардии преображенской швальни, и наши портные наутро оденут вашего сиятельства как нельзя наилучше. Тем более,— продолжал он,— что государь импе-

ратор, отечески входя во все нужды и экономию военнослужащих, а наипаче преследуя вредные излишества всяких роскошеств, соизволил повелеть, чтобы господа военные, от генерал-аншефа и до прапорщика, имели токмо один форменный мундир, каковой завсегда и носили бы, а дабы то было отнюдь не обременительно, то вместо прежних богатых мундиров повелел строить оные из недорогого темно-зеленого сукна, подбитые стамедом, с белыми пуговицами, и столь недорогие, что мундир не стоит более двадцати двух рублей.

Затем комендант стал рассказывать о некоторых переменах и новых порядках, о том, как ныне даже генерал-поручики и генерал-аншефы, украшенные георгиевскими звездами, не исключая и самого графа Николая Васильевича Репнина, генерал-фельдмаршала и лейб-гвардии Измайловского полка батальонного командира, обязаны каждое утро ходить в манеж, учиться там маршировать, ровняться, салютовать эспонтоном и изучать новый строевой устав, плутонги, эшелоны, пуань-де-вю, пуань-д' аппюи и прочее.

— Но к чему же все сие потребно генерал-аншефам и фельдмаршалам? — в некотором недоумении неосторожно спросил граф Харитонов.

— О, не судите так, ваше сиятельство, не судите! — возразил ему комендант с некоторым жаром неподдельного, по-видимому, увлечения.— В основании сего лежит идея сообщить в распущенные войска свежую силу, научить всех без изъятия тому, что каждому воину знать надлежит, научить их прежде всего слепо повиноваться и стройно действовать массами, и когда недреманная бдительность и грозная взыскательность обратятся у нас в натуральную привычку, то это заранее приуготовит наши войска к победе и послужит к наивящей славе отечества! Таково мое искреннее и глубочайшее убеждение,— заключил он, подымаясь с места и берясь за шляпу.

— Куда же вы так скоро! — любезно остановил его граф.

— Не могу и не смею долее: служба,— неуклюже поклонился петербургский комендант, слегка пожимая протянутую ему руку.— Спешу к моему государю исполнить его священную волю и доложить о приезде вашего сиятельства,— пояснил он в заключение и тотчас же откланялся.

— Папушка, что это за урод был у тебя? — спросила у графа вошедшая Лиза, которая из смежной комнаты

успела в дверную щель высмотреть гостя в ту минуту, когда он уже удалялся.

— Как урод, мой друг! — с некоторым укором возразил ей отец.— Это здешний комендант, господин Аракчеев, лицо очень близкое к императору.

— Пусть так, но все-таки он препротивный,— утверждала девушка.— Ужасно мне не понравился, хотя я и одну лишь минуту одним глазком его видела: такое злое и неприятное лицо, и если б ты знал, как он мне не по сердцу!

— Очень умный и, кажись, весьма обходительный человек,— возразил граф, на которого в глубине души тоже не совсем-то приятное впечатление сделала своеобразная фигура Алексея Андреевича.

Аракчеев сам по себе никогда не был исключительным человеком относительно вельмож и тузов своего времени, даже в начале своей карьеры. Но визит к графу Илие был сделан им «в том рассуждении», что неравно государь при докладе спросит, виделся ли он уже с графом и каково нашел его. Выслушав донесение Черепова о благополучном прибытии графа Харитонова-Трофимьева, Алексей Андреевич сообразил, что государь в данную минуту находится еще где-нибудь на верховой прогулке, и нашел, что его комендантское достоинство не пострадает нимало, если он предварительно доклада воспользуется временем этой прогулки, чтобы заехать на несколько минут в «Демутов трактир» — «оказать честь и респект» новоприбывшему «почтенному старцу» — давнишнему любимцу государя. «Таковое с моей стороны внимание, вероятно, будет приятно и его величеству, в угождение коему всю жизнь и все существо мое посвящаю»,— заключил свое размышление Аракчеев, отправляясь к графу Харитонову.

Через час по отъезде его из «Демутова трактира» приехал туда в придворной карете дежурный флигель-адъютант и объявил, что государю императору угодно немедленно же принять графа, и потому пускай граф едет, не стесняясь, в чем есть, т. е. в кафтане или в прежнем своем мундире.

Граф Илия спешно оделся, навесил на грудь ордена, жалованные ему еще Елизаветой и Петром III, прицепил шпагу и поехал во дворец вместе с флигель-адъютантом.

Вечерний прием докладов далеко еще не кончился у государя, когда граф Илия был введен в приемную, примыкавшую к кабинету его величества. Здесь с портфелями и папками под мышкой дожидались несколько

приближенных лиц, министров и статс-секретарей, которые шепотом разговаривали между собой, обращая порой боязливые взгляды на запертую дверь кабинета. Из старых знакомцев своих граф Илия заметил здесь гр. Н. И. Салтыкова, гр. Александра Строганова и Льва Нарышкина. Первые два раскланялись с ним молча, но очень вежливо, и по этому поклону можно было заметить, что обоим им несколько неловко в душе за свою прежнюю холодность к опальному приятелю их молодости, который теперь вдруг подымается на высоту милостию монарха и, быть может, будет играть очень видную и сильную роль в государственной и придворной жизни. Зато открытый и добродушный Нарышкин сразу же подошел к нему на цыпочках с выражением самой искренней радости и удовольствия.

— Сколько лет, граф... сколько лет не видались! — взволнованно и шепотом говорил он по-французски, горячо пожимая руку Харитонова. — Да, граф! Достойное поведение и честный образ мыслей (верный или неверный — это все равно, лишь бы честный!), судя по вашему примеру, не всегда пропадают на земле втуне и бесследно!.. Вы снова в нашей среде, после тридцати лет забвения и немилости, и снова такой же, как и были, каким вынуждены были покинуть нас... Вы здесь нужны, граф, а главное — пример ваш нужен,— нужен именно теперь, когда и «время переходчиво», как говорится по-русски, и «люди переменчивы...». Вы один из немногих, которые *не переменились*.

Граф Илия слушал его с равнодушно-спокойной и грустно-приветливой улыбкой.

— Нет, Лев Александрович, моя песня, кажись, уже спета: стар стал, да и отстал от всего в своей медвежьей берлоге за тридцать лет...

— Что за старость еще! Полноте! — махнув рукою, перебил его Нарышкин.— Поглядите: Салтыков, Строганов, да и мало ли других, пожалуй, постарше вас будут, а и не думают о старости.

— Большим кораблям большое и плаванье,— сказал по-русски граф Харитонов.

— Ну, вы тоже не из мелких суденышек.

— Молодежи пора место уступать... Вон сколько здесь молодых... Скажите, пожалуйста, кто такие?

— Новые люди, новые силы, граф,— еще тише заговорил Нарышкин.— Это вот, что у самой двери в кабинет стоит, Иван Павлович Кутайсов.

— Как?.. Кто такой? — наставив ухо, переспросил Харитонов.

— Кутайсов... Он турецкого происхождения; доселе брил государю бороду, а теперь, если захочет, то так отбреет нашего брата, что ай-ай!.. Сила, большая сила! В аристократы метнул...

— Какими судьбами?

— Не судьбами, а высочайшею волею... Государь изволил прямо высказать, что в России нет аристократии, что здесь только тот аристократ с кем *он* говорит, и до тех только пор, *пока* он говорит с ним.

— Абсолютный монарх был вправе это высказать,— сдержанно заметил Харитонов.— А эти кто такие? — спросил он, указав глазами на группу из трех-четырех человек, стоявших в нише окна.

— Это наша деловая «молодежь», то есть, конечно, молодежь относительная. Это вот — статс-секретарь Нелединский-Мелецкий, известный стихотворец, это — граф Ростопчин, а подле него Обольянинов и Плещеев.

Вдруг растворилась дверь из кабинета — все невольно вздрогнули, вытянулись и замолкли. На пороге, опираясь на трость, появился император, за спиною которого виднелась фигура Аракчеева.

— Граф Илия Дмитриевич!.. Пожалуйте, приблизьтесь... Душевно радуюсь видеть вас! — громким голосом и со светлой улыбкой сказал государь, выходя на середину приемной комнаты и протянув по направлению к графу свою правую руку.

Харитонов-Трофимьев, отдав глубокий поклон, почтительно выступил на три шага вперед и, прежде чем принять поданную ему руку, хотел было, сообразно этикету того времени, преклонить пред монархом колено, но государь не допустил его до этого и быстрым движением предупредил склонявшегося старика.

— Нет, нет! Не так, граф! — быстро заговорил он.— Старые друзья не так встречаются... Обнимите меня.

И государь сам обнял и поцеловал графа Илию, глубоко потрясенного и растроганного таким неожиданным проявлением царской милости и внимания.

— Пойдемте в мой кабинет; мы давно не видались, а мне есть о чем поговорить и посоветоваться с вами,— сказал император, приглашая Харитонова следовать за собой.

Кабинетная дверь наглухо затворилась за ними.

Аракчеев остался в приемной и, подозвав к себе дежурного флигель-адъютанта, пошептал ему что-то на ухо с тем деловым видом, с каким обыкновенно передаются приказания свыше. Флигель-адъютант выслушал его со вниманием и озабоченно поспешил удалиться куда-то.

Встреча государя с опальным вельможей и прием, ему оказанный, произвели заметное впечатление на всех присутствующих.

— Однако! — с многозначительным видом исподтишка мигнул соседу один из сановников с портфелем, видимо озадаченный происшедшею сценой.

— Н-да!..— сквозь зубы и шепотом процедил тот в ответ, раздумчиво закусив себе нижнюю губу.— Но только в каком же разуме надлежит понимать это?

— Да так и понимать, что *сила*, большая сила.

— И замечайте, даже его превосходительства Алексея Андреича не пригласил за собою...

— Поистине примечательно!

— И ведь никого еще из самых приближенных не удостоивал публично такового приема! Даже вопреки этикету.

— Н-да... А за какие заслуги, любопытен бы я знать, за какие подвиги? Что сделал? Чем ознаменовал себя?.. Вот и служи после этого.

— Тсс... осторожней: нас могут слышать.

— А пускай! Мне-то что! — с независимым видом слегка мотнул головой сановник.— Однако как бы узнать, где он пристал и когда принимает? — с некоторой озабоченностью заметил он после минуты раздумья.

— То есть, кто это? — переспросил сосед.

— Да все он же, граф Харитонов-Трофимьев.

— Хм... Во дворце, чай, знают; надо справиться. А почто вам?

— Н-н... да так... Все же надо будет некоторый респект оказать ему, визит сделать,— пояснил чиновник, напуская на себя тон маленькой небрежности.

— Да, это не мешает,— согласился сосед, думавший в душе то же самое,— а тем паче в рассуждении сего приема,— продолжал он.— Как знать, что может быть и как еще обернется фортуна!

Придворные более или менее разделяли всяк про себя и мнение, и ревнивое чувство двух этих сановников. Чем долее оставалась замкнутою дверь кабинета, тем более вырастало в их глазах значение графа Харитонова и тем настоятельнее сознавалась необходимость в предупреди-

тельном оказании ему всяческого «респекта». О чем беседовал с ним государь — это осталось обоюдной тайной, но беседа в замкнутом кабинете длилась более получаса, и когда наконец дверь растворилась снова, император вышел в приемную, ласково положив свою руку на плечо графа.

— Готово? — мимоходом вскинул он вопросительный взгляд на Аракчеева.

Тот предупредительно метнулся в сторону и жестом пропустил мимо себя двух камер-лакеев, которые приблизились к государю, держа пред собою массивное серебряное блюдо. На этом блюде, сверкая алмазами, красовались орденские знаки.

— Поздравляю тебя кавалером ордена святыя Анны 1-го класса,— милостиво сказал государь графу Илие и собственноручно возложил на него звезду, а потом ленту.

— Я слыхал, у тебя есть дочь; ты, конечно, привез ее с собою? — спросил он после того, как Харитонов принес ему благодарность за новый знак высокой милости.— Она должна быть представлена императрице,— продолжал государь,— и я укажу, когда сие должно будет исполнить.

— Благодарю, ваше величество, но заранее прошу для нее милостивого снисхождения,— заметил граф с глубоким поклоном.— Она у меня родилась и возросла в деревне одиноко и для того опасаюсь, что обычаи большого света весьма мало ей знакомы.

— Это ничего; я поручу ее такой особе, которая живо сообщит ей надлежащий лоск. А благополучно ли вы доехали, не спросил я еще тебя? — продолжал государь.

— Как не надо лучше и спокойнее, ваше величество.

— А что, ординарец, которого я послал к тебе в провожатые, хорошо ли он исполнил свою обязанность?

— Офицер самый достойный и вполне расторопный,— похвалил граф Черепова.

— И ты, стало быть, остался им доволен?

— Как нельзя более, государь!

— В таком разе, коли угодно, можешь взять его к себе в личные адъютанты.

И вслед за ним император милостиво отпустил от себя графа. Очередной статс-секретарь отправился в кабинет с докладом, а остальные из присутствовавших, знакомые

и незнакомые, обступили Харитонова и кланялись, и рекомендовались, и знакомились, и пожимали руки и, сияя улыбками, по-видимому, от всей души поздравляли его «с толиким милостьми монарха».

Граф Илия, выйдя из приемной комнаты, прежде всего пожелал поклониться праху усопшей императрицы. Один из камер-лакеев почтительно повел его по дворцовым коридорам и залам. Весь двор был в глубоком трауре. Множество лиц, одетых в черное, толпилось и проходило взад и вперед по всем покоям, и только шелест женских шлейфов да легкий звук шагов нарушали глубочайшую тишину, которая царила в громадных залах и галереях. «Кавалергардская комната» сплошь была обита черным сукном: и потолок, и пол, и стены. Камер-лакей препроводил графа Илию в Малую Троицкую залу, куда 15-го ноября торжественно перенесено было тело императрицы, покоившееся дотоле в ее опочивальне, при полном дежурстве фрейлин и придворных кавалеров. Здесь пред глазами Харитонова предстало зрелище, невольно поражавшее каждого своим мрачно-роскошным величием. Посреди залы на возвышенном тронном помосте стояла кровать, богато и пышно драпированная малиновым бархатом, который покрыт был серебряным флером, оторочен золотой бахромой и украшен тяжелыми золотыми кистями. Российский императорский герб, расшитый чернетью, шелками, серебром и золотом, блистал в головах этой кровати, а по бокам ее на ниспадающих драпировках красовались вензелевые шифры Екатерины. Вокруг помоста стояло несколько массивных бронзовых канделябр, на которых в вышине, сквозь туманные волны ароматного курева, трепетно сияли целые клубки огней и заливали своим струящимся светом смертный одр, на котором в особенности резко выделялся строгий и величественный профиль покойницы. Тело императрицы облечено было в русское национальное платье из серебряной парчи, отделанное золотой бахромой и драгоценным кружевом, известным под названием «Point d'Espagne». Необычайно длинный и роскошный шлейф этого платья, ниспадая по ступени, изящно и пышно распростерт был до самого аналоя, на котором положен был образ, сверкавший драгоценными каменьями. Малиновый бархат и белый серебристый глазет с золотым позументом драпировали и аналои, и орденские подушки, и подзоры, и тронный помост. В головах кровати, обвитые черным флером, сверкали сталью два эспонтона, на которые опирались двое гвардейских офицеров, капитан и капитан-

поручик, поставленные сюда в виде почетной стражи. Вдоль смертного ложа по обе стороны, отступя на несколько шагов, неподвижно, как изваяния, с карабинами на плече, стояли шесть кавалергардов в своих рыцарских доспехах и в шишаках, повитых траурным флером. У обеих дверей этой залы, внутри комнаты, на часах поставлено было тоже по два кавалергарда, а у ног покойницы в нескольких шагах находились четыре камер-пажа. Шесть почетных дам первых четырех классов, две фрейлины и восемь придворных кавалеров днем и ночью находились на дежурстве при теле императрицы. Духовенство, облаченное в черные бархатные ризы, ежедневно от 9-ти часов утра до часу дня, а потом от 3-х и до 8-ми вечера, совершало при теле церковную службу. Священники, чередуясь друг с другом, читали вместо Псалтири Евангелие, и чтение это производилось непрестанно, днем и ночью, на особом аналое. Лица всех сословий, за исключением одних только крестьян, беспрепятственно были допускаемы к руке покойной императрицы.

Эти волны фимиама и струящийся свет множества восковых свечей, блеск парчи и воинских доспехов, эта тишина, среди которой внятно раздается глухой низкобасовый и монотонный голос читальщика, эта неподвижная стража и множество, одна за другой преклоняющих колена, мужских и женских фигур, которые от контраста огней и черного цвета своих одежд все кажутся бледными и, как тени, тихо двигаясь в тумане ладана, напоминают собой скорее каких-то призраков, чем людей, наконец этот величаво спокойный вид усопшей на возвышении — все это обвеяло душу графа Илии благоговейным трепетом и поражало ее мыслию о таинственном и суровом величии смерти. Он долго стоял в немом созерцании пред недвижным телом той, которую помнил еще во всем увлекательном блеске ее красоты, молодости, характера и силы воли, когда, тридцать четыре года тому назад, она смело и гордо шла на рисковое предприятие в Петергоф, впереди полков императорской гвардии. И восстал пред ним весь контраст ее громкого, славного царствования и своей собственной опальной жизни, но ни чувство горечи, ни чувство упрека не шевельнулись теперь в душе старого графа.

— Прости мне, если я был неправ пред тобой! — тихо прошептали его уста, когда он с земным поклоном повергся у подножия смертного ложа великой женщины и великой императрицы.

XI
ПОХОРОНЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ ЧЕТЫ

Государственные регалии, под эскортом кавалергардов, были наконец перевезены из Москвы в Петербург и доставлены императору. Сыновное чувство побуждало Павла Петровича воздать достодолжную почесть смертным останкам его родителя, который тридцать четыре года назад был погребен в склепе Александро-Невской лавры. Местом погребения российских императоров служит обыкновенно Петропавловский собор с.-петербургской крепости, но Петр III положен был в усыпальницах лавры, на том основании, что он умер лицом некоронованным, т. е. отрекшимся от престола. Настоящую минуту император Павел нашел благопотребною для того, чтобы исправить ошибку его покойной родительницы. Он задумал перенести останки Петра III сначала в Зимний дворец, с тем чтобы похоронить их рядом с гробом Екатерины в Петропавловском соборе. С этой целью государь самолично с обер-церемониймейстером Петром Степановичем Валуевым составил церемониал перенесения гроба своего родителя во дворец и его вторичного погребения обще с Екатериною II. Собственною рукою намечал он имена высших чиновников, назначенных им к несению императорских регалий. При этом граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский написан был «к императорской короне Петра III». Это было жестоко, но никто не имел возразить что-либо против справедливости возмездия, заключавшегося в той мысли, которая внушила государю дать это поручение именно графу Алексею Орлову. Князь Платон Александрович Зубов был приглашен к участию в совете по случаю перенесения останков Петра III. В это время он жил уже не во дворце, а на Английской набережной, в доме сестры своей, Жеребцовой, и между придворными мало кто интересовался теперь знать, обретается ли еще в живых его светлость, хотя Зубов все еще продолжал пользоваться должностью и званием генерал-фельдцейхмейстера. Фельдмаршал князь Репнин послал к нему своего адъютанта Лубяновского доложить о назначении его в «совет» и спросить, угодно ли его светлости пожаловать в собрание. Лубяновский ни души не нашел ни на лестнице, ни в прихожей и уже в одной из смежных комнат наткнулся в сумрачном углу на частного пристава. Удивленный нечаянным появлением адъютанта, пристав осмотрел его с ног до головы и, допросив, кто он, откуда,

от кого и зачем прислан, сначала позамялся, а потом бросился в переднюю и исчез где-то. Минут пять спустя пред Лубяновским растворилась дверь траурной гостиной. Князь Платон, читавший лежа на диване книгу, встал при его появлении. На бледном и унылом лице его, по-видимому, пробежала легкая улыбка неожиданного удовольствия, когда он услышал, зачем был прислан к нему адъютант фельдмаршала. Зубов поблагодарил за внимание и просил передать князю Репнину свое сожаление, что, по причине болезни, он не может участвовать ни в совете, ни в церемонии. Алексей же Орлов, оповещенный повесткою из «печальной комиссии» о своем назначении к короне Петра III и никак не подозревая, что здесь участвовала личная воля государя, приехал в собрание совета «вполпьяна» и стал шуметь и браниться с Валуевым, в полном убеждении, что Валуев самовольно, по собственному усмотрению делал расписание и дал ему такое «невместное» назначение, от которого Орлов решительно отказался, ссылаясь на слабость в ногах. Раздосадованный Валуев не без особого намерения положительно умолчал о своем столкновении с Орловым и об его отказе. Наконец печальный церемониал был окончательно составлен, и государь заранее самолично сделал «рекогносцировку» для войск от Зимнего дворца до лавры. Все наличные войска, предназначенные к участию в церемонии, отданы были под команду князя Репнина, по его «фельдмаршалскому рангу».

За два дня до перенесения останков Петра весь Петербург присутствовал при другой церемониальной процессии, унылее которой трудно было представить себе что-либо. Это было перевезение из Зимнего дворца в Невскую лавру государственных регалий ко гробу Петра III. Процессия двинулась в семь часов вечера, при двадцати градусах стужи, в совершенной темноте от густого морозного тумана. Более тридцати карет, обитых внутри и снаружи черным сукном и запряженных каждая цугом на шесть лошадей, тихо тянулись длинным рядом вдоль по Невскому проспекту. Лошади с головы и до края копыт покрыты были суконными черными попонами с капором и у каждой при уздцах шел придворный лакей с факелом в руке, в черной епанче с длинными воротниками и в обложенной крепом широкой шляпе. В таком же наряде и тоже с факелами в руках шло по нескольку человек лакеев с обеих сторон у каждой кареты. Кучера на высоких козлах сидели в широкополых шляпах, как под наметами. В каждом экипаже помещались высшие сановники и при-

дворные кавалеры в глубоком трауре, держа на бархатных подушках те или другие предметы государственных регалий, от которых иногда в опущенном каретном огне отражался на мгновение сверкающий блеск драгоценных каменьев. Мрак непроглядной ночи, могильная чернота на людях, на лошадях и на колесницах, глубокая тишь во многолюдной толпе, какой-то зловещий свет от гробовых факелов и бледные от того лица — все это вместе составляло печальнейшее зрелище.

Еще за несколько дней до этой процессии, а именно 19-го ноября, тело Петра III, по высочайшему повелению, было вынуто из склепа и в своем старом гробе положено в гроб новый, великолепно отделанный золотым глазетом и серебристым газом и украшенный металлическими государственными гербами. Прах покойного императора выставлен был на нижней Благовещенской лаврской церкви, куда в тот же день к семи часам вечера прибыл император Павел с супругою и великими князьями. В присутствии императорской фамилии старый гроб был вскрыт не более как на минуту. Государь приблизился взглянуть на прах родителя, но увы! в этом гробе не нашел он уже ни образа, ни подобия Петра III: тело его окончательно истлело, уцелели же только шляпа, перчатки и ботфорты. Император оросил эти смертные останки горькими слезами и приложился к ним последним, прощальным поцелуем. Вслед за ним отдали ту же дань почтения царственному праху императрица Мария Феодоровна и цесаревич Александр с великим князем Константином, а затем крышка снова, и уже навеки, была наложена на гроб Петра III.

25-го ноября, утром, приехал в лавру с великими князьями государь во время панихиды, при провозглашении «вечной памяти», возложил на гроб родителя императорскую корону, а вечером того же дня происходило торжественное положение во гроб тела императрицы. К этому дню большая тронная зала была уже вся драпирована черным сукном и посредине ее, на тронном помосте, поставлен высокий «каструм долорис» [1]. К восьми часам вечера в Зимний дворец съехались лица обоего пола, имеющие приезд ко дворцу, и все высшее духовенство.

После литии, отправленной митрополитом Гавриилом, восемь камергеров приблизились с обеих сторон к ложу усопшей и, подняв ее тело, переложили его во гроб. Четыре камер-юнкера несли при этом шлейф ее платья. Затем

[1] «место печали» *(лат.)*.

ко гробу приблизилась императрица Мария Феодоровна и возложила на главу усопшей императорскую корону. Как скоро это было исполнено, те же восемь камергеров подняли гроб и, в предшествии духовенства и четырех камер-юнкеров, несших крышку, перенесли его в большую тронную залу и поставили на «каструм долорис», а четыре старших камергера покрыли его богатейшим покрывалом. После этого была отслужена торжественная панихида и все присутствующие допущены к руке покойницы.

2-го декабря, к десяти часам утра, в Александро-Невскую лавру прибыли все члены императорского семейства. Их ожидали уже там все высшие чины государства и двора, назначенные участвовать в церемонии по случаю перенесения гроба Петра III в Зимний дворец. От монастырских ворот и вплоть до дворца, на всем протяжении Невского проспекта, по обеим сторонам его, стояла гвардия. Между великанами-гренадерами, в изящных светло-зеленых мундирах с великолепными касками, теснились переведенные в гвардию мелкие гатчинские солдаты в наряде пруссаков времен Семилетней войны, что тогдашняя публика, вместе с екатерининскими гвардейцами, находила с непривычки смешным и безобразным. Массы народа, громоздясь на скамейках и лестницах, теснились за рядами войск. Все окна, все балконы, драпированные черным сукном, несмотря на сильную стужу, были раскрыты настежь и наполнены зрителями, которые унизывали даже домовые крыши.

После малой литии, отслуженной митрополитом вместе со всем высшим белым и черным духовенством, приступлено было к поднятию гроба Петра III. Но тут, с самого первого шага, процессия несколько замялась. Государь заметил, что к императорской короне подходит не Алексей Орлов, а какой-то другой чиновник.

— Для чего не Орлов? Ведь он тут? — строго обратился он к Валуеву.

— Тут, ваше величество, но... князь отказывается за слабостью.

Император с негодованием выхватил у чиновника бархатную подушку и толкнул ею Валуева.

— Ему нести в наказание! — сказал он громко, так что все ясно это слышали.

Но Орлова не было. Кинулись искать его и насилу нашли. Князь Алексей Григорьевич забился в один из темных углов собора и плакал навзрыд. Ему передали непременную волю разгневанного императора и заставили

выйти из своего уединения. Руки его сильно трепетали, когда под магнетическим взглядом безмолвного государя брал он императорскую корону. Коснувшись ее, он зашатался и, смертельно бледный, при помощи двух ассистентов, подхвативших его под руки, должен был пронести эту легкую, но страшную для него ношу весь путь до самой тронной залы. Какие ужасные воспоминания и картины должны были терзать его совесть в эти минуты возмездия! Он нравственно проходил теперь сквозь строй не только гвардейских войск, но и бесчисленного народа. И действительно, общее внимание преимущественно обращалось на графа Орлова и еще на двух человек, несших концы покрова Петра III. Эти двое были князь Барятинский и Пассек. Все трое занимали в процессии места, подобающие первым лицам в империи.

По перенесении в большую тронную залу гроб императора Петра III был поставлен на том же «каструм долорис», с гробом императрицы Екатерины, и над обоими торжественно отправлена общая панихида и провозглашена общая «вечная память». Почетная стража и дежурство были удвоены. Таким образом, два эти гроба стояли совместно в одной зале и на одном катафалке в течение трех суток, до 5-го декабря. Во все это время по-прежнему отправлялось ежедневно церковное служение и чтение Евангелия над императорской четой, а лица всех состояний были денно и нощно допускаемы в известные назначенные часы к поклонению усопшим.

5-го декабря вновь стояли шпалерами войска, но уже не по Невскому, а по Миллионной и на особом, нарочно наведенном мосту от Мраморного дворца до ворот крепости. В предшествии двух «печальных рыцарей», с головы до пяток закованных в стальные доспехи, медленно двигалась громадная и пышная процессия, в хвосте которой следовали одна за другою две погребальные колесницы: на первой помещался гроб императора Петра III, а на второй — императрицы Екатерины. За этим последним шел пешком государь, в черном одеянии, с воротником из кружев в несколько рядов, а за его величеством следовали: императрица, великие князья и княгини — все в таком же глубоком трауре.

Оба гроба поставлены были рядом в Петропавловском соборе, где оставались до 18-го декабря. В этот же день, т. е. на сорок третьи сутки со дня кончины императрицы, совершено было погребение. Литургию и все вообще служение совершал Гавриил, митрополит новго-

родский, в сослужении шести архиреев, пяти архимандритов, четырех игуменов, духовника с придворным духовенством и петропавловского причта. После обедни отправлена была панихида по государыне Елизавете Петровне, в память дня ее рождения, а в начале девятнадцатого часа прибыл в собор император со всей высочайшей фамилией и был встречен со крестом. При начатии панихиды, когда раздавали свечи, во время эктении, митрополит кадил гробы и церковь, а по окончании каждения был снят с катафалка и опущен в склеп гроб императрицы; затем, точно таким же порядком, опустили рядом с ней и гроб Петра III. В это время панихида была окончена и усопшей чете провозглашена пред царскими вратами «вечная память». Гром пушечных выстрелов раздавался с бастионов крепости во время погребения. Ему вторил с набережной огонь полевой артиллерии и ружейные залпы.

Граф Харитонов-Трофимьев, в сопровождении своего личного адъютанта, по обязанности присутствовал при всех этих печально-торжественных церемониях.

Василий Черепов во время последней панихиды обратил его внимание на золотые надписи, крупно вырезанные на черных металлических досках в головах каждого гроба. На этих надписях значилось: «Император Петр III, родился 10 февраля 1728 г., погребен 18 декабря 1796. Императрица Екатерина II, родилась 21 апреля 1729 г., погребена 18 декабря 1796 г.»

— Да,— тихо заметил на это граф после минуты грустного размышления,— подумаешь, что эти супруги провели всю жизнь вместе на троне, вместе умерли и вместе погребены в один день.

— А что ж,— ответил Черепов,— пожалуй, это скажут чрез несколько тысячелетий будущие историки, истолковывая уцелевшие надписи на неизвестном тогда языке русском. Это и ныне в истории частенько бывает.

XII
НОВАЯ ФРЕЙЛИНА

Граф Илия, прочтя случайно в «С.-Петербургских ведомостях» объявление, что «в Садовой улице, против Летнего сада в Турчаниновом доме, под № 799, отдаются для дворянства покои, богато убранные и с драгоценными мебелями, помесячно и в годы внаем», поехал осмотреть, что это за покои, нашел их «довольно пристойными, со

многими удобствы», с людскими, конюшнями и сараями, и нанял для себя целый этаж, куда и переехал из «Демутова трактира». Черепов тоже подыскал для себя маленькую «пристойную» квартирку по соседству и в положенные часы утра являлся к своему шефу за приказаниями, а затем сопровождал его в манеж, где граф, наряду с другими высшими генералами, должен был обучаться шагистике, приемам с эспонтоном и всем «экзерцициям» нового устава. Занятия этого рода были уже не по летам старому графу и, в сущности, очень его тяготили, но отказаться от них не представлялось возможности, так как это делалось вследствие высочайшей воли, и сам государь нередко являлся в манеж во время подобных занятий, чтобы лично объяснять и указывать своим генералам новые правила воинских уставов.

Между тем в квартире графа, на половине «графинюшки», шли суетливые приготовления. Харитонов-Трофимьев получил от Валуева официальное письмо, извещавшее о дне и часе, когда графиня Елизавета, а вместе с ней и сам граф Илия должны будут представиться императрице. Надо было торопиться, чтобы поспеть приготовить парадную «робу», сообразно требованиям этикетного траура, подумать о «куафюре» и о прочих мелочах и подробностях парадного туалета. Василий Черепов, как человек «досконально знакомый» с Петербургом, по просьбе графини Елизаветы Ильинишны, поскакал на Малую Миллионную к одному из лучших тогдашних парикмахеров, Фичулке, и привез его к графинюшке для «консилиума» насчет прически, причем Фичулка несказанно удивился природной длине и роскоши ее волос, сказав ей, «в комплементу», что все его букли и шиньоны никуда не годятся в сравнении с подобным «богатством материала». Затем поехал Черепов к одной из самых модных портних-француженок, m-me Ксавье, которая недавно еще появилась в Петербурге со своей модной лавкой и мастерской, славясь по столице репутацией «богини Разума», так как про нее под сурдиной ходили слухи, будто она, в силу своего величественного вида и красоты, не только под другим именем была некогда избрана Робеспьером и членами комитета «общественной безопасности» для разыгрывания роли «богини Разума» и разъезжала по Парижу на торжественной колеснице, принимая себе подобострастные поклонения и божеские почести со стороны парижской черни. Мастерицы этой m-me Ксавье, «ради пущего спеху», были перевезены для работы даже в квартиру

графа Харитонова, а сама m-me Ксавье и кроила, и шила, и примеряла, и источала целые потоки бойкой, блестящей болтовни, комплиментов, пикантных намеков и маленьких сплетен из высшего дамского света, который был ей доступен с заднего крыльца, в силу ее артистического вкуса и профессии. Наряд, созданный ею для графини Елизаветы Ильинишны, действительно был изящен и великолепен, при всем своем траурном характере. Старуха m-me Лантини, древняя знаменитость в качестве великосветской учительницы танцевального искусства, нарочно приезжала несколько дней подряд в графской карете, чтобы преподавать молодой девушке все правила церемониальных реверансов, по требованию придворного этикета. И вот настал наконец день представления императрице.

Граф Харитонов-Трофимьев сел со своею дочерью в парадную карету и поехал во дворец, а старая нянька Федосеевна в то же самое время наняла извозчика и с трепетом в сердце отправилась к «Казанской», нарочито петь владычице молебен, чтобы бог помог ее Лизутке как ни есть наилучше представиться матушке-императрице.

Обер-церемониймейстер Валуев ввел графиню Елизавету с отцом в приемную залу на половине государыни.

Через четверть часа в эту залу вышла императрица Мария Феодоровна, в сопровождении государя, статс-дамы баронессы Ливен [1] и фрейлины Екатерины Ивановны Нелидовой!

Смущенная и бледная, с замиранием сердца, графиня Елизавета отдала свой первый реверанс по всем правилам, удачно усвоенным ею от m-me Лантини.

Императрица милостиво улыбнулась и сделала ей знак приблизиться.

Государь самолично представил своей августейшей супруге графа Илию и его дочь, с которою, впрочем, и сам при этом впервые только познакомился. Императрица сказала обоим несколько милостивых слов и поблагодарила графа за его испытанную уже в прежние годы «приверженность» к своему супругу, когда тот был еще великим князем.

---

[1] Впоследствии графиня и княгиня, воспитательница императорских дочерей, женщина, которая, по свидетельству современников, была одарена самыми редкими качествами ума и характера: откровенная и твердая, она заставляла самого императора уважать ее мнение. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

— Вся жизнь моя, как в оны дни, так и ныне, по самый гроб всецело принадлежит его величеству,— с глубоким поклоном отвечал Харитонов-Трофимьев.

— Нам приятно видеть вокруг себя наших добрых, испытанных друзей,— заметила государыня со своей обворожительной улыбкой.— И я надеюсь,— продолжала она, окинув взором девушку и тотчас же переведя его на супруга,— я надеюсь, государь не откажет мне в моей просьбе?..

— В чем дело? — вопросительно вскинул на нее император свой на этот раз светлый и веселый взгляд.

— Я желала бы иметь графиню Елизавету в числе фрейлин моего двора.

— О, с охотнейшим моим сердцем удовлетворяю желанию вашего величества! — весело воскликнул император.

Зардевшись от радости и вся преисполненная благодарным чувством за себя и за своего отца, девушка скромно и изящно отдала новый глубокий поклон государыне. После первых минут невольного смущения теперь она впервые только могла поднять на нее взоры и разглядеть как саму императрицу, так отчасти и особ, ее окружающих.

Государыня показалась ей очень красивой, белокурой женщиной; высокий, стройный рост, при некоторой полноте, сообщал всей ее фигуре очень много величия, а необычайная скромность и степенность ее манер придавала ей на первый взгляд даже нечто строгое и повелительное. За нею, в двух шагах с правой стороны, виднелось исполненное открытого достоинства, честности и доброты лицо баронессы Ливен, которую Мария Феодоровна называла и почитала своим доверенным другом, а слева — в совершенный контраст с величественной наружностью государыни — стояла фрейлина Нелидова — маленькая, живая и подвижная, как ртуть, сухощавая брюнетка, с блестящими черными глазами и с миловидным личиком, которое все дышало жизнию и выразительностию, отражая в себе малейший оттенок каждого впечатления. Эта маленькая брюнетка почиталась тогда самой яркой звездой интимного придворного кружка, где блистала игрой своего остроумия и изяществом манер и танцев.

Отпуская от себя графа Харитонова с дочерью, государыня подозвала Нелидову и поручила ее вниманию и дружбе графиню Елизавету, как молодую фрейлину, не вполне еще знакомую с порядками придворной жизни, этикета и отношений, прося не оставлять ее, в чем потребуется, дружеским советом или указанием. Это было

сделано согласно заранее сообщенному императрице желанию государя, который хотел дать молодой и неопытной девушке, на первых шагах ее новой жизни, надежного друга и руководительницу для того, чтобы не осталась она одинокой в сфере, пока еще для нее чуждой и незнакомой.

Веселая и счастливая, шумя шлейфом парадной робы, впорхнула графиня Лиза в залу отцовской квартиры, где ожидал уже возвращения графа Василий Черепов.

— Поздравляйте, поздравляйте меня! — смеясь и хлопая в ладоши и вся сияя живым восторгом, говорила она, подбегая к молодому адъютанту.— Это прелесть! восторг! божество! величество!..

— Кто? что такое? — недоумело пробормотал Черепов.

— Как кто? Она! Государыня! Какая благость в ней, если б вы знали! Как она милостива! Как ласково приняла!.. Мне было сначала так страшно-страшно, а потом, как взглянула на нее, на эту улыбку, взор божественный — так хорошо вдруг стало! И страх как рукой вдруг сняло! Ах, какая же она добрая и величественная!

— Кланяйся, сударь, кланяйся и приветствуй! — весело и шутливо обращаясь к Черепову, говорил граф Харитонов.— Могу представить тебе вновь пожалованную фрейлину двора ее императорского величества. Каково метнула моя деревенщина!.. а?

— Постой, папушка, не мешай! Дай рассказать все по порядку!

И Лиза, словно бы торопясь высказаться, наскоро стала передавать Черепову все впечатления, какие произвел на нее прием государыни и государя, их черты, наружность, разговор, обстановка дворца и прочее; только рассказ ее отличался отсутствием всякого порядка и последовательности, хотя она и намеревалась рассказывать «по порядку». Все эти впечатления как бы толпились и теснились в ее душе и сразу, одно наперебой другому, порывались высказаться, выпорхнуть наружу.

Черепов слушал ее рассказ и любовался оживленными чертами ее лица, которое все сияло восторгом и полудетской гордостью достигнутого торжества и счастия. Заметно было, что оказанное ей внимание льстит ее молодому самолюбию и начинает кружить пылкую голову. Он был рад и счастлив за графиню Лизу, но... в то же самое время нечто похожее на смутное предчувствие тревожно

шептало ему, что это увлечение блеском двора, эта гордость первого успеха едва ли не будет, в дальнейшем своем развитии, служить помехой их взаимному сближению, которое началось еще так недавно и при таких, по-видимому, благоприятных условиях.

«Закружится... Ох, закружится пташка в этом придворном свете!.. Тут и молодость, и красота, и толпа поклонников, искателей, воздыхателей, и все новое, невиданное... Поди-ка, и не вспомнит про нас, грешных!» — думалось Василию Черепову.

«А ты не плошай и будь молодцом! Бери свое с бою!» — подсказывало ему в то же время свое собственное самолюбие.

XIII
ЕКАТЕРИНИНСКАЯ ГВАРДИЯ

«Нельзя изобразить, в каком странном и удивительном положении была до сего гвардия, говорит один из бытописателей-современников этой эпохи [1], и сколь многия злоупотребления во всем господствовали в высочайшей степени в оной. Ежели б все то изобразить, то составилась бы прелюбопытная картина для потомства, и потомки наши не только б стали удивляться, но едва ли б в состоянии были поверить, чтоб все то существовало в самом деле, и скорее могли бы подумать, что то выдуманная баснь и совершенная небывальщина».

И действительно, положение было «странное». Гвардейские солдаты, в течение нескольких десятков лет живя неподвижно в Петербурге и неся одну только караульную службу, изнежились и избаловались до такой степени, что начальство с трудом поддерживало в своих частях коекакие наружные признаки дисциплины. Многие из солдат обзаводились целыми домами, отдельным хозяйством, открывали лавочки и лавки, занимались торговлею и промыслами; другие, пользуясь бесконечными отпусками, вовсе и не живали даже в своих полках. От этого происходило, что полки, считаясь в полном комплекте, налицо не имели и половины штатного числа людей, а между тем жалованье отпускалось на всех. Этим пользовались пол-

---

[1] Болотов А. Т. Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты государя императора Павла Петровича. См.: Русск. арх. 1864 г. Издание 2-е, с. 708. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

ковые командиры и скопляли себе из жалованья отпускных целые состояния.

Но и это еще были злоупотребления не первой важности. Одно из главных зол составляли дворяне, записывавшиеся в гвардию в звании унтеров-офицеров и сержантов. Этих дворян за екатерининское время понабилось в полки громадное множество; в одном Преображенском числилось их несколько тысяч, а во всей гвардии до двадцати тысяч человек! И не только дворяне, но и купцы, секретари, подьячие, духовенство, ремесленники, управители и даже господские люди, благодаря протекции сильных лиц, а также чрез деньги и разные происки, записывали детей своих в гвардию и тем самым доставляли им те же выгоды и преимущества, какими пользовались дворяне действительно служилые. В гвардейские полки можно было записывать не только взрослых, но и грудных младенцев. Доходило даже до того, что отцы записывали детей еще не родившихся и получали на них законные виды и патенты с пустыми местами в строках, для вписки имени. «И вся мелюзга сия,— говорит бытописатель и современник,— не только записывалась, но жалована была прямо либо в унтер-офицеры, либо в сержанты». Многие, однако, и этим еще не довольствовались. Нежные и заботливые родители зачастую добивались, чтобы действительная служба их младенцев и даже неродившихся будущих детей считалась непосредственно со дня зачисления их в списки гвардии. Таким образом, старшинство в чинах по линии производства шло этим фиктивным гвардейцам еще в утробе матери, и многие из них, едва достигнув десяти- или двенадцатилетнего возраста, выходили уже в отставку гвардии-капитанами или армии-подполковниками, а родители их похвалялись тем, что мой-де сын-дворянин уже окончил свой термин службы и имеет теперь право всю остальную жизнь безмятежно проживать на покое в своем поместье.

Что же касается взрослых гвардейцев, то и из них большая часть не служила вовсе, а проживала себе праздно где заблагорассудится. Все они «либо лытали, вертопрашили, буянили, бегали на бегунцах, либо с собаками по полям только рыскали да выдумывали моды и разнообразные мотовства» [1].

Но и это еще было не наибольшее зло.

---

[1] Ibid *(лат.)* ⟨там же⟩. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

Самое главное зло заключалось в том, что эти праздно проживающие гвардейцы, едва достигнув шестнадцати или восемнадцати лет, «будучи еще сущими ребятишками и молокососами», перечислялись в армейские части штаб-офицерскими или, по меньшей мере, капитанскими чинами, приезжали в свои полки и, не смысля ни аза в военном деле, да и грамоте едва ли зная, получали по праву в непосредственное свое командование не только роты, но батальоны и даже полки, с ежегодным доходом в несколько десятков тысяч, и перебивали линию старшинства у действительных старых служак. Существует одна очень характерная песенка, сложенная И. И. Дмитриевым в последние годы екатерининского царствования, где автор говорит:

Обманывать и льстить
Вот все на разум правы;
Ах, как не возопить:
«О, времена! о, нравы!»
Полковник в двадцать лет
Подпорой нашей славы,
А ротмистр дряхл и сед,—
О, времена! о, нравы!

Представьте себе, в самом деле, каково было седоусому, опытному и боевому ротмистру, прослужив верой и правдой в поле двадцать пять, а не то и все тридцать лет, поступать вдруг под начальство двадцатилетнего полковника, который не только что не нюхал пороху, но даже и «налево кругом» не умел правильно скомандовать, но зато пользовался правом распекать, делать «репримацды» и даже без объяснения причин давать «абшиды», то есть увольнять подчиненных в отставку.

«Нельзя изобразить,— говорит бытописатель,— какое великое множество выпускалось таких мотов, невежд и сущих молокососов ежегодно в армию!» Едва наступало 1-е января, как эти «молокососы штаб-офицерских рангов» целыми сотнями выпускались в армейские части, и не было полка, в котором не состояло бы их иногда по нескольку десятков сверх комплекта, и все до одного получали от казны полное содержание по штатам. Армейские военачальники и даже такие лица, как Румянцев и Суворов, решительно не знали, куда с ними деваться. Большинству из них выдавалось разрешение идти себе на все четыре стороны с сохранением старшинства и содержания, лишь бы только не мозолили глаза и не бременили своим невежеством порядка и требований действительной служ-

бы. Но это была мера паллиативная, так как с каждым новым годом на нашу армию все-таки выпускались новые тучи подобной гвардейской саранчи, которая все более и более «садилась на шею» заправским армейским служакам. Сверх того, множество гвардейцев выпускалось и «к штатским делам» со значительным старшинством и повышением в чине и точно таким же образом садилось на шею действительным дельцам гражданской службы, отбивая у них места и повышения, но нимало не внося с собой на новое свое поприще хотя бы маломальского знания дела. О выпуске же в отставку полковниками и бригадирами нечего и говорить: таких было множество, и все это в совокупности делало необычайно быстрым производство в гвардии, которое, по словам современника, «летело как птица на крылах», так что в семь или восемь лет из прапорщиков люди выскакивали в бригадирский чин, «лежучи на боку и живучи в деревне». Никогда еще в России, ни до, ни после, не было так много «бригадиров и полковников-молокососов», как в этот период времени, и никогда гвардейские полки не были переполнены таким «несметным множеством» сверхкомплектных и бог весть где проживающих офицеров. «Монархиня у нас была милостивая и к дворянству благорасположенная,— говорит бытописатель,— а господа гвардейские подполковники и майоры делали что хотели, и не только они, но даже самые гвардейские секретари были превеликие люди и жаловали кого хотели за деньги».

В таком-то положении застал гвардию и весь военный механизм государства император Павел Петрович.

Что же оставалось ему делать при подобных порядках?

Уже с давнего времени, будучи еще наследником престола, Павел смотрел с прискорбием и беспокойством на такой ход дела. Он живо чувствовал и понимал ту нестерпимую обиду, какую несли армейские служаки, но, не имея собственной воли, по необходимости, должен был молчать до времени. Но вот, едва лишь успел он вступить на престол, как уже именным указом от 20-го ноября [1] повелел оповестить повсюду, чтобы все гвардейские чины, уволенные в домовые отпуски, «непременно и в самой скорости» явились к своим полкам и командам, где должны впредь нести прямую службу, «а не по-прежнему наживать себе чины без всяких трудов».

---

[1] Указ объявлен Военной коллегии президентом ее, гр. Салтыковым. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

Именные повеления и указы Павла исполнялись изумительно быстро и точно. Он приучил к этому с первых же минут своего царствования. Точно так же и этот последний указ сопровождался всей возможной быстротой и «неукоснительностью». Что за тревога и гоньба поднялась вдруг по всем концам государства! Как переполошились гвардейцы взрослые и родители гвардейцев-малюток. Из Москвы всех вытурили в течение нескольких часов, а многих выпроваживали даже и под конвоем; с больных отбирали подписки о скорейшем выезде, как только позволит состояние здоровья, и никому не давали покоя, пока не было исполнено «в самой точности» царское повеление. Весть об этом повелении, как громовой удар, поразила всю Россию, и по преимуществу дворянство. Паника увеличивалась еще новыми слухами о том, что буде кто не явится в срок, то не только что будет исключен из службы, но и имена всех таковых имеют быть сообщены в герольдию, дабы впредь никуда уже не принимать исключаемых и вычеркнуть их из дворянских росписей. Тысячи нареканий, сетований, вопли и слезы посыпались отовсюду на новые «деспотические» порядки. Множество гвардейцев, из тех, что лежебочили в деревнях, успели не только пожениться, но и детей своих записать в гвардию; другие кусали себе с досады губы и пальцы, каясь, что не успели вовремя выйти в отставку; третьи рассчитывали на сей год наверняка выскочить в капитаны или полковники, получить доходные полки, и вдруг все это лопнуло, все мечты и надежды рассыпались прахом!.. Все это гвардейство сходило теперь с ума и мучилось тоской, не зная, что делать и как предстать пред лицо монарха. Но безвыходнее всех оказалось положение тех отцов и матерей, у которых дети числились на службе гвардии сержантами еще в материнской утробе, и будучи теперь в младенческом возрасте, писались отпущенными домой «для окончания образования в науках». Многим из этих младенцев, благодаря деньгам и проискам, не только служба считалась за действительную, но даже было «приклепано» по нескольку лишних годов, и нашлось множество примеров, что в полковых списках показывались 16-ти и 18-тилетники те, кому, в сущности, не было еще и 10-летнего возраста. Как со всем этим было показаться на глаза государю, который строго и «неукоснительно» требовал к себе на личный смотр всех без исключения отпускных гвардейцев? А между тем как ни круто было, но высочайшее повеление приходилось исполнить. Местные административные и воин-

ские власти повсюду разыскивали гвардейцев и волей-неволей выпроваживали их в Петербург. Со слезами и горем, с воплями и проклятиями «деспотизму» жены отправляли мужей, сестры — братьев, матери — детей своих. Все большие почтовые дороги усеяны были кибитками скачущих гвардейцев, старых и малых, и матерей, которые в страхе и трепете везли своих грудных сержантов и прапорщиков на смотр государю. Ямские слободы спешили пользоваться обстоятельствами этой усиленной гоньбы и драли за лошадей неимоверную плату, умножая этим всеобщий ропот и неудовольствие. «Сим-то образом,— заключает бытописатель,— наказано было наше дворянство за бессовестное и бесстыдное употребление во зло милости милосердной монархини и за обманы его непростительные». А вместе с тем надо заметить, что мера, в сущности вполне законная и справедливая, послужила для большинства дворян первым предлогом к ропоту и недовольству против нового правительства.

Надо было выбить из гвардии ее преторианский дух, что воспитался в ней, благодаря тем политическим переворотам, в которых со смерти Петра I она постоянно принимала участие и пользовалась за то мирволением да поблажками со стороны высшей власти. Надо было заставить гвардейцев сделаться в настоящем смысле солдатами, а не преторианцами, не лейб-кампанцами, среда которых постоянно доставляла контингент политических авантюристов, иногда высокодаровитых и даже гениальных, но чаще всего алчных и своекорыстных, при полной посредственности ума и характера. Павел вполне понимал все безобразие подобного преторианства и одной из первых своих целей поставил радикальное искоренение его. Все малолетние и неслужащие гвардейцы были исключены из списков, некоторые чины, как, например, сержантские, секретарские, обозничьи, были уничтожены и все вообще понижены против прежних рангов. До сего времени каждый гвардейский рядовой считал себя не иначе, как наравне с армейским прапорщиком, а сержант не ниже капитана; император же Павел, согласно с регламентом Петра Великого, установил, чтобы одни лишь гвардейские офицеры, но отнюдь не солдаты, считались выше армейских на один только чин и чтобы впредь из гвардии вовсе не выпускать в армейские полки с повышениями, да и в отставку увольнять не армейскими, а гвардейскими же чинами. Этим он добился того, что гвардия в его короткое царствование оставила свою былую кичливость и полити-

ческое самомнение, а сделалась только *войском*, и при том отлично дисциплинированным. А чтобы и самая внешность ее не напоминала ей прежнего преторианства, император заменил ей пышные и дорогие мундиры самыми простыми и дешевыми.

Служба стала строга и тяжела. В шесть часов утра все солдаты и офицеры, не исключая даже и великих князей, уже присутствовали на съезжих полковых дворах и до самого полудня — какая ни будь там стужа или слякоть — занимались военными экзерцициями. О шубах, муфтах и каретах не стало и помину в среде гвардейского офицерства. Но... в большинстве этой среды все росло и росло затаенное неудовольствие и ропот. Новые требования и порядки, после недавнего приволья, казались гвардейцам «насилием и произволом деспотизма».

XIV
ЗАВЕТНЫЙ ЧЕРВОНЕЦ

В отдельном кабинете «ресторации Юге», которая помещалась в «Демутовом трактире», сидело за завтраком несколько гвардейских офицеров. Чины все были небольшие: от прапорщика до капитана включительно. На столе стояли «устерсы», холодный ростбиф да несколько бутылок портеру и разных вин, которые своей пустотой, очевидно, доказывали, что господа офицеры успели оказать им подобающую честь. Лица состольников уже достаточно подрумянились, пенковые «пипки» дымились в устах, камзолы были нараспашку; но разговоры этой компании далеко не отличались той громогласностью, какая, по настоящему, необходимо должна была бы сопровождать приятельскую беседу при таком «легком подпитии». Говорили тише чем в обыкновенный голос: разговор шел о современных порядках. Екатерининские гвардейцы осуждали новые требования и строгости военной службы и приходили в негодование и ужас от новой меры наказания, которая доселе никогда не применялась к офицерам и почиталась между ними за наказание позорное: на днях два гвардейских офицера, за какую-то ошибку на вахт-параде, отправлены были под арест на гауптвахту.

— Слыханное ли дело! Офицера, дворянина — и вдруг под сюркуп часового!.. После сего и служить невозможно!

— Чего невозможно! — возражал Черепов,— стоит только устав вытвердить.

— А ты его небойсь вытвердил?

— Я вытвердил.

— Исполать тебе! Ну, а нашему брату, ей-богу, это такая немецкая тарабарщина... То ли дело устав при матушке Екатерине!

— Ничего; стерпится — слюбится, ребята!

— Да, тебе хорошо говорить! Ты в харитоновских адъютантах сидишь, как у Христа за пазухой; а ты, сударь, пожалуй, изволь на наше место стать, в строй, на морозец, так инако запоешь. Офицер должен украшать собой службу, а тем паче гвардейскую! Офицер, ежели он есть человек благорожденный, обязан иметь гардероб пристойный и богатый, негнусный стол, выездной экипаж с гусаром либо с егерем... а ныне что?! Вырядили нас в эти грошовые обезьяньи мундирчики и заставили ездить верхом либо в простых санках в одиночку, да мало сего,— еще и за обедом опричь двух блюд воспретили иметь! И ходи по чину, и одевайся по чину, и ешь по чину! Да я не по чину, а по утробе желаю!

— И однако ж, это не мешает нам услаждать себя устерсами в сей ресторации,— улыбнулся Черепов.

— Да! услаждайся под сурдину и разговаривать громко не смей! Мы теперь, брат, и караул не инако заступаем, как захватив в карман несколько сотен, на тот случай, что ежели неравно прямо с поста на курьерской тройке в Сибирь отправят, так чтобы хоть сколько-нибудь деньжонок было при себе на дорожные расходы!

— Уж будто так!

— Доточно говорю! Поверь, пожалуй!

— Н-да!.. Времена! — вздохнул один из офицеров, постарше других годами и чином.— Не единожды вспомянешь прежнюю службу! То-то роскошь была!.. В карауле, бывало, стаивали по целым неделям, так что, отправляючись на пост, берешь с собой и перину с подушками, и халат, и колпак, и самовар. Пробьют это вечернюю зорю — поужинаешь, выпьешь здорово, разденешься и спишь себе вволю, как дома. Но уж в особливости в утеху было стаивать летом в загородных постах. Встанешь, бывало, с солнышком и пойдешь себе, не одеваясь, а так как есть, в колпаке да в халате, в лес за грибами — любо! И никаких никогда историй, и никаких происшествиев. Бог хранил! А уж этих формальностей вовеки не знали! А теперь тебя хуже чем в профосы трафят! То и дело читаешь в «Ведомостях»: таких-то и таких-то выкинуть из службы, яко недостойных! «Выкинуть!» Хм!.. как ошурок или

тряпку какую!.. Срам и позор благородному дворянскому сословию! Каково терпеть-то это!

— А что, государи мои, не прокинуть ли с горя в фараончик? — предложил кто-то из офицеров.

— Тсс! какой тебе фараончик!.. Иль не читал разве? Запрет, строжайший запрет на азартные игры!

— Ну, и пущай его!.. Запрет сам по себе, а мы сами по себе. Прислуга здесь у Юге верная, не выдаст... Дверь на задвижку можно.

— Разве что на задвижку... Только чур: не кричать, ребята, не разговаривать громко, а то беда!

— Ах, любезный друг, «беда — что текучая вода: набежит и сплывет». Вынимай-ка карты! У кого есть в запасе?

— У Черепова есть. Вася, есть у тебя?

— Найдется. Кто метать будет?

— Да чего там кто! Твоя колода, ты и мечи.

— Ин быть по сему! Пятьсот рублей в банке.

И, вынув из кармана шелковый вязаный кошелек, Черепов высыпал из него на стол груду червонцев и серебряных денег.

Началась игра.

Счастие колебалось: то везло оно Черепову, то отворачивалось от него, то заставляло его некоторое время балансировать на скользком уровне, как бы не говоря ему ни *да*, ни *нет*, и снова хмурилось, и снова улыбалось. Игра с каждой минутой становилась интереснее, оживленнее и бойче. Игроки все более и более одушевлялись и время от времени невольно громким восклицанием и спором сопровождали переменчивые обороты карточного счастья. Один только солидный капитан,— тот самый, что вздыхал о халатах и перинах прежней караульной службы,— по праву старшинства в чине и в летах, сдерживал каждый раз чересчур уже громкие взрывы молодежи, напоминая ей о грозном запрете азартных игр, «по указу его императорского величества». И молодежь, любящая, в силу своих лет и горячей крови, что называется, поплясать на лезвии ножа, на минуту сдерживала, под давлением его авторитета, слишком громкое проявление своих азартных чувств и начинала говорить чуть не шепотом, но через некоторое время опять невольно отдавалась волнениям той же горячей крови и влиянию избытка юношеских сил. Каждый очень хорошо сознавал, что теперь уже не прежнее, еще недавнее, время, когда можно было где угодно и сколько угодно, без запрета и без всякой опаски, предаваться

своим игрецким и иным пылким страстям юности; но тем-то и интереснее казалась для них игра — этот запретный плод новейших дней, именно потому, что он стал вдруг *запретным*, что тут приходилось теперь рисковать не одним своим карманом (это бы пустяки!), а всей карьерой, всею судьбой своей жизни.

Переменчивое счастие, после нескольких оборотов своего колеса, вдруг отвернулось от Черепова самым крутым образом. В несколько карт он спустил весь свой банк, который был сорван счастливым капитаном.

Молодой адъютант бросил колоду и объявил самым решительным тоном, что на нынешний день не станет более метать.

— Мечи, кто хочет, ребята! С меня довольно: кошелек мой впусте.

— Играй на мелок,— предложил ему кто-то из товарищей.

— Гм... на мелок... Да мелков-то нет у нас.

— Ну, на карандаш играй; карандашом записывать станешь!

— Не хочу! Довольно!

— Ну, как знаешь. Займи, коли хочешь, и продолжай. Прерывать не следует.

— Довольно, черт возьми! Говорю, довольно! Продолжайте, государи мои, коли в охоту!

И он поднялся со стула.

Солидный капитан занял его место и стал метать.

Черепову было немножко досадно. Хотелось попытать еще раз счастия — авось-либо вывезет! Но играть на карандаш или одолжаться у других ради игры — ему не хотелось из самолюбия. Он отошел в сторону, налил себе стакан вина, развалился на канапе и закурил тоненькую, длинную голландскую «пипку». А между тем, глядя на игорный стол, окруженный тесной группой молодежи, он чувствовал, как сердце его зудит страстным желанием попытать снова свою удачу. В кошельке его оставался только один, и уже последний, «голландчик». Но этот червонец был для него заветным.

Его покойная мать, еще ребенком отправляя своего Васеньку в шляхетный корпус, вручила ему эту монету вместе с благословенным образом и заповедала сберечь его на счастье или на самый крайний черный день, потому что этот «голландчик» принадлежал еще ее деду и спокон веку почему-то почитался в семье особенно счаст-

ливым. И Черепов до сей минуты свято сохранил у себя дорогой подарок.

«Рискнуть разве?.. Куда ни шло!.. Ведь он счастливым называется, ведь он заповедный! А коли счастливый, то должен выручить,— думалось ему в то время, как на столе золотые «голландчики» переходили из одной кучки в другую.— А что, если попробовать на *ее* счастие?.. Ведь она и впрямь счастливая... Поставлю-ка я на бубновую даму... Ей-богу! Куда ни шло!»

И Черепов поднялся с места.

«Ну, моя радость, моя любимая, дорогая, желанная, выручай!.. Выручай меня!» — мысленно молил он, обращаясь в уме своем к светлому образу той девушки, которая с недавнего времени всецело царила в его сердце.

— Атанде! — сказал он, вмешавшись в среду игроков, окружавших стол,— золотой на бубновую даму.

— Ого! На девушку? — весело заметил кто-то.

— Да еще на какую, кабы вы знали! Уж коли эта не выручит...

— А вдруг изменит.

— Что-о?.. *Она* изменит... Мечите, капитан, мечите!

Вдруг, в эту самую минуту, кто-то внезапно дернул с наружной стороны за ручку запертой двери. Игра мгновенно прекратилась, карты исчезли со стола, и на грудки золота офицеры поспешили накинуть несколько салфеток. Заветный «голландчик» остался в кармане Черепова.

Один из игроков отомкнул задвижку и отворил. На пороге появился ресторанный слуга, а за ним выглядывала фигура гвардейского пехотного солдата.

— Что вы, черти, беспокоите!.. Чего вам надо?

— А вот кавалер про корнета Черепова пытают,— почтительно объяснил лакей,— не здесь ли, мол, спрашивают, потому как они, сказывают, были у них на дому, и дома им сказали, что господин корнет здеся находятся, то я им и говорю, что они точно здеся, и проводил сюда.

— От кого ты, любезный? Что тебе? — с неудовольствием спросил солдата Черепов.

— От их сиятельства графа Харитонова-Трофимьева очередной вестовой,— отвечал гвардеец.— К вашему благородию записка,— прибавил он, доставая из кармана сложенную и запечатанную облаткой бумажку.

Черепов развернул записку и взглянул на почерк. Очевидно, почерк был женский.

«Господи! неужели... неужели *она*? Что ж это значит?» — тревожно екнуло его сердце, и он с нетерпеливым чувством жадно стал пробегать глазами наскоро начертанные французские строки.

«Батюшке очень нужно зачем-то вас видеть,— писано было в этой записке,— и так как я иногда по своей охоте разыгрываю, как вам известно, роль его секретаря, то и спешу вас уведомить, согласно его желанию, чтобы вы приезжали к нам как можно скорее. Кстати, если хотите похвалить или покритиковать мой придворный сарафан, в котором я должна буду присутствовать на коронации и который только что привезен мне для окончательной примерки г-жею Ксавье, то поторопитесь вашим приездом».

«Голубка моя! Дорогая»,— чуть было не вслух подумал обрадованный Черепов и, сунув кое-как записку в карман камзола, как ошалелый поспешно побежал вон из ресторана.

— Черепов!.. Вася!.. Друг! Куда ты? Что с тобою? — раздавались вослед ему голоса товарищей, изумленных этим поспешным и каким-то восторженным бегством.

Корнет, не оборачиваясь, махнул им рукою и поспешил далее.

— Экой малый!.. Вот служака-то! Как спохватился вдруг! — пожимал плечами солидный капитан.— Ба! а ведь шпагу-то свою второпях и позабыл,— промолвил он, кинув случайный взгляд в угол, где стоял тяжело-кавалерийский палаш Черепова.— Эй! Сударь! Шпагу захватите! Шпагу! — кричал он ему вослед; но молодой адъютант, скрывшись за дверью, уже не слыхал этих восклицаний.

— Вестовой! Подожди-ка, брат, на минутку, захвати шпагу корнета да беги за ним как наискорее! — распорядился один из офицеров, вручая гвардейскому солдату оружие Черепова.

Тот принял палаш и пустился вдогонку за адъютантом.

Как назло, ни одного извозчика не было у подъезда ресторации. Черепов, проклиная и этот случай, и всех «Ванек» на свете, спешно пустился шагать вдоль по Мойке, а вестовой что есть мочи нагонял его со шпагой и был уже в десяти шагах от своего офицера, как вдруг сзади обоих ясно и громко раздался чей-то повелительный и гневный голос:

— Солдат, стой!.. Господин офицер, стойте!..

Оба остановились, и в то же мгновение оба обернулись назад и замерли, окаменев в невольном испуге.

К ним, ухватив кучера за кушак и приподнявшись в одиночных, легких санях, подъехал император.

— Чью несешь ты шпагу? — спросил государь вестового.

— Их благородия,— смущенно отвечал перепуганный гвардеец, указав глазами на Черепова.

— Их благородия? — повторил государь, принимая удивленный вид.— О?! Неужели! Стало быть, надо думать, что их благородию слишком тяжело носить свою шпагу, и она им, видимо, наскучила. Пожалуй-ка сюда, господин офицер, приблизьтесь! — строго позвал он Черепова.

Тот подошел, не предвидя ничего доброго.

— Ага, так это вы?! — гневно воскликнул узнавший его император.— Так это вы, сударь!.. Весьма сожалею!.. Жалуя вас в офицеры моей гвардии, не чаял я, сударь, что вы окажетесь столь небережливы к своему сану и притом столь нежны, что даже шпагу будете считать себе отягощением.

Черепов, не постигая до сей минуты, в чем дело и за что такой гнев, торопливо ощупал свой левый бок и только тут с ужасом заметил, что он без шпаги.

— Ну, любезный,— продолжал государь, обращаясь к вестовому,— так как сему офицеру шпага его тяжела, то надень-ка ты ее на себя, а ему отдай штык свой с портупеей: это оружие будет для него полегче.

Ошеломленный Черепов понял, что этими роковыми словами вестовой произведен в офицеры, а он разжалован в солдаты, и машинально надел на себя амуницию рядового.

— Ступай в полк,— говорил между тем государь гвардейцу, который живо подстегнул себе офицерское оружие,— явись твоему начальству и скажи, что сего же дня при вечернем рапорте мне о тебе доложили. Как твое имя?

— Изот Нефедьев, ваше императорское величество!

— Хорошо, любезный! Ступай. А ты,— гневно сверкнул государь глазами на Черепова,— становись на запятки, негодница!.. В крепость! — крикнул он вслед за тем кучеру — и бодрая лошадь помчалась.

Был четвертый час дня. На дворе стояла непогодь и ростепель, с моря дул порывами сырой и холодный ветер, но в улицах было людно, и на Невском проспекте сновало много экипажей. Еще издали завидя императора, народ торопливо снимал шапки и кланялся; возки, кареты и извозчичьи санки останавливались среди улицы; из экипажей выскакивали седоки, сбросив свои шубы, и ста-

новились — мужчины прямо в грязь, на мостовую, а дамы на каретную подножку и встречали проезжавшего государя глубокими поклонами. Беда, если бы кучер оплошал и не остановился вовремя: по проезде государя полиция тотчас же арестовала бы виновных, причем и экипаж с лошадьми был бы отобран в казну, и кучер с форейтором насиделись бы на полицейской «съезжей», где были бы высечены розгами, и выездному лакею (как и бывало то в иных случаях) забрили бы лоб, да и господа натерпелись бы множества хлопот и неприятностей. Эти строгие требования уличного этикета казались более всего обременительными и несносными для столичной публики, вызывая в ней постоянный ропот на новые порядки.

Видя гневное лицо государя и гвардейского офицера с солдатской портупеей на запятках его саней, прохожие любопытно оборачивались вослед последнему и окидывали его сострадательными взглядами, всяк догадывался, что это, должно быть, новый *несчастный*, которого, наверное, упекут куда-нибудь далеко...

И сам Черепов думал про себя то же.

Смутно и горько было у него на душе.

«Теперь прощай!.. Теперь уже все пропало! — думалось ему в то время, как царский рысак бойко мчал легкие санки по людным улицам.— Вот она, фортуна!.. Ох, эта фортуна — цыганка: как раз обманет!.. А *она*... она-то, моя радость, ждет, поди-ка, сердится — что, мол, долго замешкался!.. И не чает, что ты уже в солдатах, на дороге в каземат, а оттуда, вероятно, в ссылку, в какие-нибудь отдаленные сибирские гарнизоны...»

Черепов знал, что в этих случаях не шутят, и высочайшие повеления выполняются комендантом Аракчеевым немедленно, с быстротой изумительной. Ему стало жутко, когда подумал, что не успеет он теперь не только известить графа Харитонова письмом о своем неожиданном несчастии, что Лиза о нем ничего не узнает, но что не дадут ему даже захватить с собой перемену белья да кой-какое теплое платье, что так и посадят, как есть в одном мундирчике, на курьерскую тройку, рядом с полицейским драгуном, и помчат через два-три часа в те страны, куда и ворон костей не носит. На свою беду и деньги-то все проиграл он в проклятый фараончик! Как быть? За что ухватиться? С чем ехать в дальний и трудный путь?

В кармане у него оставался всего-навсего единственный и последний его заветный червонец.

«Мать, покойница, благословляла на счастье либо на крайний черный день... Вот он и пришел, этот черный! — думалось Черепову.— Как же теперь обернешься, да и много ли на такую сумму сделаешь?! Тулупишко да кеньги где-нибудь на попутном базаре купишь, коли дозволят, а на иное что и не хватит. Да пока купишь-то, ночью мороз ой-ой какой проберет... Смерть!.. Уж и теперь ветер до костей пронимает... Жутко!»

А бодрая лошадь меж тем все мчит и мчит по улицам легкие сани, и с каждым шагом все ближе и ближе к Петропавловской крепости, и прохожие все также торопливо и смятенно спешат с глубоким поклоном обнажать свои головы.

«Господи! — думает Черепов,— если бы была хоть какая-нибудь возможность заговорить, объяснить ему, как и почему это так случилось... Если бы он мог узнать все как есть и какие мои побуждения были... Да нет! Это невозможно!.. Нечего и думать пустое... Твоя, господи, воля святая,— будь что будет! Видно, уж судьба такая на роду мне написана. Нечего, значит, и жалеть себя!»

И, думая таким образом, вдруг заметил Черепов на дощатых мостках какого-то дряхлого и больного старика нищего, очевидно, отставного солдата, который, ковыляя на костыле и протягивая к прохожим руку, дрожал от холода и кутался кое-как в скудные и рваные лохмотья форменной епанечки.

«Я-то еще хоть молод и бодр, а вот этому каково! Может, семья с голоду да холоду помирает»,— мелькнуло в уме Черепова, и сердце его сжалось от боли и сострадания при этой мысли.

И вдруг, по первому порыву сердца, почти не отдавая себе отчета что делает и какие, еще более страшные, последствия могут из этого выйти, Черепов повелительно крикнул царскому кучеру:

— Стой!.. Остановись на минуту!

Кучер, по привычке, почти машинально придержал вожжи и в недоумении, одновременно с удивленным государем, оглянулся назад.

Лошадь остановилась.

Черепов соскочил с запятков, подошел к нищему, полез в свой карман и, вынув заветный червонец, сунул его в дрожащую руку калеки.

— Дай тебе господи... Спаси тебя, мать пресвятая богородица! — зашамкал, крестясь, вослед ему несчастный.

— Пошел! — крикнул кучеру Черепов, спешно вскочив на запятки,— лошадь снова помчалась.

Прошла минута — Павел не обронил ни единого слова. Прошла еще минута.

— А какой на тебе чин, братец? — вдруг обернул он искоса лицо свое на Черепова.

— Рядовой, ваше императорское величество,— отвечал тот.

— Рядовой?.. Ошибаешься, братец: не рядовой, а унтер-офицер.

— Унтер-офицер, ваше императорское величество!

— То-то!

Едут далее. Переехали по льду через Неву. Вот и Иоанновские ворота Петропавловской крепости. Черепов недоумевает: «Что ж это, в самом деле, значит и как объяснить себе? — произвел в унтер-офицеры, а все-таки везет в крепость».

Перед самым въездом в ворота государь опять искоса повернул к нему лицо свое:

— Какой на тебе чин, сударь?

— Унтер-офицер, ваше императорское величество!

— Неправда, сударь, корнет.

— Корнет, ваше величество! — подтвердил Черепов, все более и более приходя в недоумение и не зная, чем-то еще все это разрешится на главной гауптвахте, внутри крепости. Он испытал нечто похожее на внутреннее ощущение утопающего человека, которому кажется, что уж он совсем погиб, тонет окончательно, захлебывается,— и вдруг какая-то счастливая волна опять выносит его на поверхность, опять он видит на мгновенье людей и небо и дышит воздухом, и вот кидают ему с берега спасательную веревку, он уже ловит ее руками, радостная надежда оживает в его душе, но он еще боится верить своему спасению: а вдруг капризный вихрь вырвет у него из рук эту веревку, вдруг новая волна опять окунет его в бездну... Но — слава богу! — крепость проехали благополучно. Государь не остановился ни пред главной гауптвахтой, ни у подъезда комендантского дома; а при выезде из тех ворот, что мимо кронверка ведут на Петербургскую сторону, опять обратился к Черепову:

— Господин офицер, какой ваш чин?

— Корнет, ваше императорское величество.

— Ан нет, не корнет, поручик, сударь.

— Поручик, ваше величество.

— То-то!

Едут далее, по Петербургской стороне, мимо церкви Николы Мокрого; на Тучков мост выезжают.

— А каков ваш чин, господин офицер? — снова раздался голос государя, но уже на этот раз заметно повеселевший.

— Поручик, ваше величество.

— Гм... Поручик... Неправда, сударь; чина своего не знаете! Штабс-ротмистр, а не поручик!

— Так точно, ваше императорское величество.

— Что такое: так точно?!

И при этом последнем вопросе в голосе государя вдруг проявилась какая-то суровая нотка, от которой дрогнуло сердце Черепова и холодные мураши по спине побежали.

— Что «так точно», сударь, я вас спрашиваю? — еще строже повысил свой тон император,— что чина своего не знаете, это, что ли, «так точно»?

— Никак нет, ваше величество, я говорю так точно, что я штабс-ротмистр.

— Ага, то-то, сударь!

«Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его! Вынеси счастливо, мати пресвятая богородица!» — мысленно молится Черепов, дрожа от холода на запятках. А санки меж тем мчатся по Малому проспекту Васильевского острова и приближаются к Чекушам, к тому месту, где обыкновенно устраивается съезд на зимнюю дорогу в Кронштадт, проложенную по льду так называемой «Маркизовой лужи». Тут стояла гауптвахта и при ней унтер-офицерский караул. Прохожих на этом пустыре почти не попадалось. На горизонте за взморьем, сквозь пустые тучи, начинали пробиваться рдеющие полосы заката, обещая на завтра мороз и ветер. Бодрый рысак наконец устал и запотел. Пар валил от него клубами. Чтобы дать передохнуть лошади, государь приказал кучеру пустить ее шагом и повернулся к Черепову.

— Господин офицер, скажите мне чин ваш?

— Штабс-ротмистр, ваше императорское величество.

— Ан вот и неправда, сударь! Ротмистр!

— Ротмистр, ваше императорское величество! — бойко подхватил Черепов.

— То-то же, сударь, знайте! — кивнул ему государь с милостивой улыбкой.— Ну, скажите же мне, господин ротмистр,— продолжал он,— как могло таковое случиться, что вы позволили себе показаться на улице без оружия?

Черепов с полною откровенностью стал рассказывать как было дело, как он после развода зашел с несколькими

товарищами позавтракать к Юге, как после нескольких бутылок началась игра, как он проигрался в пух и, вспомня про любимую особу, вздумал поставить на ее счастье, на бубновую даму, свой последний заветный червонец, и как в это самое время явился графский вестовой с запиской.

— Кто играл с вами? — нахмурясь, спросил император.

Черепов в крайнем смущении потупил глаза, не решаясь выдать товарищей.

— Государь! покарайте меня; я один виноват во всем! — произнес он с глубоким, искренно-сердечным чувством.

— Впрочем, я не любопытствую знать их,— сказал император, подумав.— Я ненавижу ложь и презираю лжецов, но в сем случае вполне понимаю побуждение, которое удерживает вас назвать ваших товарищей. Я вас прощаю. Но как могли вы все-таки забыть ваше оружие, тем паче, если получили письменный ордер от вашего начальника и должны были спешить непосредственно к нему?

— Государь! — еще тише и смущеннее заговорил Черепов.— Я получил не ордер, а простую записку, и не от начальника, а...

— А от кого, сударь?

Черепов потупился и молчал.

— Уж не от той ли особы? — улыбнулся император.

— Вы угадали, ваше величество! — скромно поклонился Черепов.— И потому-то,— продолжал он,— как только увидел я строки, начертанные ее рукой, то и света невзвидел от радости и восторга, ибо это еще суть первые строки, первый знак внимания, полученный мною от нее... И я кинулся как ошалелый бежать на ее призыв, забыл оружие, забыл и все на свете, а уж это, вероятно, товарищи догадались передать мою шпагу вестовому, как вдруг встреча с вашим величеством.

— Да, встреча с моим величеством,— перебил государь, начиная снова хмуриться.— Все это прекрасно! Но я желал бы знать, сударь, на каком это основании и по какому праву, и по чьему наконец повелению солдаты моей гвардии летают любовными постильонами и передают амурные цидулки?

— Клянусь, государь! — с жаром воскликнул Черепов, подняв свою голову и прямо, искренно взглянув в глаза Павла.— Клянусь честью, это не амурная цидулка, это просто записка самого ординарного содержания.

— Охотно верю вашей искренности, сударь, но все-таки желаю знать, кто это дерзнул распоряжаться, ради партикулярных посылок, ординарцами графа Харитонова-Трофимьева?

Что было отвечать на этот вопрос и как назвать заветное, дорогое имя? Как выдать ту тайну своего сердца, в которой он даже и ей самой, этой «любимой особе», не осмелился еще признаться доселе?.. Черепов снова смутился и снова потупился.

— Я жду ответа, сударь! — настойчиво и строго заметил государь.

Положение было ужасное. Неискренность, ложь или дальнейшее молчание могли быть пагубны для Черепова, при этой вспыльчивости Павла, при этих резких и быстрых переходах его от гнева к милости и от милости вновь к жесточайшему гневу. Назвать имя графини Елизаветы Ильинишны — не значило ли бы скомпрометировать ее, оставив в уме государя, быть может, подозрение насчет содержания письма, хотя бы и самого ординарного, как уверял он за минуту пред сим? И наконец, уже самый факт, что она, молодая, благовоспитанная девушка, вдруг ведет какую-то корреспонденцию с молодым адъютантом своего отца — не кинет ли этот факт на нее, в глазах государя, хотя бы самую легкую тень и упрек в легкомыслии?.. Что тут осталось делать! А между тем это грозное «я жду ответа, сударь», прозвучавшее из уст Павла непреклонным приказанием, светилось и в его взоре, пытливо и пристально обращенном на лицо молодого офицера.

Медлить далее было уже невозможно. Вместо всякого ответа Черепов достал из кармана записку Лизы и подал ее государю.

Павел Петрович пробежал ее глазами, и лицо его снова прояснилось, и на губах заиграла та благосклонная, приветливая улыбка, которою подчас он так умел очаровывать сердца и души.

— Так вот кто твоя зазнобушка! — сказал он, возвращая Черепову записку.— Ну, брат, извини, что узнал тайну твоего сердца. Впрочем, можете, сударь, быть спокойны: я ее никому не выдам.

Черепов почтительно склонил свою голову.

— И что же,— продолжал император после некоторого молчания,— молодая графиня отвечает вам взаимностью?

— Не знаю, государь,— со вздохом ответил Черепов.— Я никогда еще на сей предмет не дерзал объясниться с нею, хотя люблю ее горячо и много.

— И на ее-то счастие ставили на карту свой заветный червонец? Ха-ха! — весело засмеялся император.

— Хотел было, ваше величество,— подхватил Черепов,— да не успел, не удалось! Но я твердо верю, что она выручила бы! Непременно!

— Гм... И лучше, что не удалось, молодой человек, поверьте!.. А какую же монету изволили вы, сударь, отдать нищему? — как бы домекнувшись о чем-то через мгновение и быстро переменив свой милостивый тон на несколько подозрительный, недоверчиво спросил Павел.

— Да все ту же, ваше величество,— усмехнулся Черепов.

— То есть червонец ваш?

— Так точно.

— Гм... Ну, вот видите ли, она и выручила! — снова самым веселым тоном и даже радостно воскликнул император,— все-таки выручила! Там, где и не ждали! ха-ха!.. Это прекрасный поступок, господин майор! — с некоторым увлечением продолжал он после короткого раздумья,— прекрасный поступок!.. У вас, господин майор, я усматриваю доброе и честное сердце... Я люблю это! Но мне нравится также и то, что вы чувствуете влечение к особе достойной! Я знаю ее — прекрасная девица, и вполне одобряю выбор вашего сердца. Думаете делать предложение?

— Не смею, ваше величество.

— Почему так?

— Да как сказать!.. Во-первых, неуверенность в ней, отвечает ли она моим чувствам...

— Мм... да, это до некоторой степени основательно. А во-вторых?

— А во-вторых, мое служебное, пока еще маленькое и скромное положение.

— Н-ну, не совсем-то уж маленькое! — воскликнул, перебив его, император,— ведь вы, сударь, насколько мне известно, кажись... э-э... тово... подполковник?.. Не так ли?

— Точно так, ваше императорское величество!

— Ну, вот видите ли! Штаб-офицерский ранг! Это дело не маленькое, и значуще облегчает, сударь, ваши шансы, если там у нас нет еще какого-нибудь неприятного *«в-третьих»*.

— Увы! Есть и *«в-третьих»*, ваше величество! — пожал плечами Черепов.

— Будто так?! Хм!.. Что же такое?

— Да разность положения. Я хотя и негнусного дворянского рода — старинной отрасли потомок, но... состояньишко не велико: всего-навсе триста душ в двух именьишках, а она — дочь богача и вельможи... Такая ли ей партия пристойна!

— Об этом не думайте, сударь! — подумав, решительно сказал император.— Все это ваше *«в-третьих»*, как есть, ничего незначущее. Она единственная дочь, и к тому же у нее и без вашего довольно. Старайтесь только, чтобы «во-первых» было удачно, т. е. удостоверьтесь в ее чувствах к вам, а об остальном не заботьтесь.

В это время санки подъезжали к чекушинской гауптвахте. До платформы оставалось шагов сорок, не более.

— Караул — вон! — крикнул «часовой у фронта», узнав императора,— и на его призыв из караулки выбежало человек десять измайловцев, которые спешно построились впереди сошек.

— Слушай, на пле-чо! Слушай, на краул! — скомандовал своему взводу старший унтер-офицер и, став на свое место, принялся салютовать алебардой. Но этот салют «по-новому» выходил у него и неловко, и смешно.

Государь приказал кучеру остановить лошадь.

— Что за негодница стоит это за старшего?! — крикнул он, мгновенно приходя в сильное негодование.— Дела своего не смыслит! Да, никак, пьян еще!

И действительно, наружность унтер-офицера отличалась далеко не воинственным видом. Брюзгловатое лицо с плаксивым выражением глядело совсем по-бабьи, а несуразная, одутловатая фигура на тоненьких ножках являла в себе нечто весьма комическое в этом военном костюме и особенно с этой алебардой, которая была ей не по росту и, видимо, затрудняла собой неловкого воина.

— Несносный вид!.. Подите и прогоните его с платформы! — приказал государь Черепову.

Тот соскочил с запяток и побежал на гауптвахту.

Но каково же было его удивление, когда, подбежав ко фронту, узнал он в несуразном унтер-офицере Прошку Поплюева.

«Вы какими судьбами!» — чуть было не воскликнул Черепов, но воздержался, зная или скорее даже чувствуя, что на него наверное пристально смотрят теперь сзади два гневных глаза.

— Его величество изволил приказать унтер-офицеру убраться прочь с платформы,— сообщил он Прохору самым официальным тоном.

— Как?.. С платформы? от фронта?.. Меня?! Не можно тому быть, ваше благородие; я здесь начальство и стою на своем законном посту,— столь же официально возразил ему Поплюев.

— Его величество, говорю, самолично приказать изволил — прочь с платформы!

— А я говорю, что быть тому никак нельзя, и его величество приказать сего не может! Отстранитесь, ваше благородие, не мешайте мне делать салютацию и не стойте перед фронтом,— сие порядок нарушает.

Черепов, пожав плечами, побежал обратно к санкам. В коротких словах он передал государю ответ Поплюева.

Павел Петрович, очевидно пораженный такой неслыханной дерзостью, два или три мгновения не произносил ни слова и, только глядя на Черепова, тяжело пыхтел и отдувался.

Это было у него обычным признаком сильнейшего гнева.

— Подите и сделайте то, что вам повелено. Арестуйте его сейчас же! — отчетливо отделяя слова, но не повышая голоса, сказал император.

Черепов снова побежал на платформу и сообщил приказание.

— Не верю, ваше благородие! — твердо возразил Поплюев,— и быть никогда не может такого приказания! Разве вы не знаете, что, прежде чем арестовать меня, вы должны сменить меня со вверенного мне поста? Извольте сменять, а тогда уже арестуйте.

Черепов опять побежал к саням и передал ответ унтер-офицера.

Это озадачило государя, но ненадолго. Подумав, он улыбнулся с довольным видом.

— А ведь прав! — заметил император,— и даром что пьяный, а лучше нас, тверёзых, знает свое дело! Молодец, унтер-офицер! — крикнул он Поплюеву.— Спасибо за знание порядка службы!

— Рад стараться вашему императорскому величеству! — закричал со своего места Прохор.

Государь приказал поворотить лошадь и шибко поехал прочь от гауптвахты; Черепов едва успел вскочить на запятки.

Довольно долго ехали молча, и все это время Павел, казалось, погружен был в какое-то раздумье.

— Жаль! — как бы про себя подумал он наконец вслух.— Очень жаль, что пьян... А кабы не это, быть бы офицером...

— Да он не пьян, ваше величество,— решился заметить Черепов, домекнувшись, что дело идет, вероятно, о Прохоре.

— Ты говоришь, не пьян? — повернув вполоборота голову, нахмурился император.

— Точно так, ваше величество. Это уж он с роду так: мать-натура одарила его толиким невзрачием, и потому он сдает на пьяного, а он трезвый и дело свое в самой точности понимает.

— А вам, сударь, отколь он известен?

— Соседи по имению, ваше величество.

— Дворянин?

— Так точно, ваше величество, дворянин Прохор Поплюев.

— Поплюев?.. Тьфу! какая фамилия!..

— Фамилия точно что пасквильная, но человек хороший, и столь великую приверженность питает к воинскому делу, что даже у себя в имении учредил из дворовых людей мушкатеров с карабинерами, обмундировал их и очень деятельно обучал артикулу и гарнизонной службе.

— О?! Стало быть, любит?

— Отменно любит, ваше величество.

— И точно человек хороший?

— Беззлобный, ваше величество; чудак он немножко, но щедр и хлебосолен.

— А каков с крестьянами? Это главное.

— Да вот графу Харитонову хорошо известен он по ближайшему соседству; так граф однажды, как-то при случае, сказывал мне в разговоре, что с крестьянами он ничего себе, жалеет, и живут они у него в достатке и не печалуются на тягости.

— Ну, вот это мне очень приятно слышать! — с видимым удовольствием заметил император.— А вам, сударь, спасибо за то, что не оставили в заблуждении моих на его счет мыслей. Благодарю вас.

В это время санки подкатили к Салтыковскому подъезду Зимнего дворца.

Черепов быстро соскочил с запяток и, вытянувшись во фронт у самых дверей, приложил по форме левую руку к полю своей треугольной шляпы.

— А вы, кажись, порядком-таки продрогли, сударь,— заметил государь, выходя из саней и мимолетно взглянув в посинелое с холоду лицо офицера.

— Отнюдь нет, ваше величество! — поспешил бодро ответить Черепов.— Погода прекрасная, и я с удовольствием готов бы еще...

— Ага! понравилось, сударь! — засмеявшись, перебил его император.— Видно, хочется быть полковником? Ну нет, брат, больше не надуешь! Пока довольно с вас и этого. Прощайте, сударь!

И государь скрылся за дверью подъезда.

Черепов вскочил в сани первого попавшегося извозчика и, посулив ему рубль на водку, велел гнать как можно скорее на Садовую улицу, к графу Харитонову-Трофимьеву.

Там о нем сильно беспокоились. Графиня Лиза, в присутствии отца, весело вертелась перед трюмо, осматривая на себе новую парадную робу из черного бархата, когда Аникеич, войдя с таинственным и испуганным видом, тихо доложил графу, что сейчас-де прибежал вестовой и сказывает, будто с нашим адъютантом, с Василий Иванычем — несчастие.

— Что такое? — встревожился Харитонов.

— Императору на улице попался, и сейчас его, значит, в солдаты и в крепость...

— Что ты врешь, старый дурак! О ком говоришь-то! — недоверчиво и с досадой вскричал граф.

— Сами извольте допросить вестового,— пожал старик плечами.— Коли я вру, стало, и он врет.

Призвали вестового.

Тот, ошеломленный еще всем, что случилось с ним за несколько минут на набережной Мойки, рассказывал, насколько мог и умел, все обстоятельства внезапной встречи с государем.

— Последнее слово их было «в крепость!» — с тем и поехали,— заключил свой отчет гвардеец.

Графу не верилось. Все это казалось так несбыточно, так странно...

— И ты не бредишь? — спросил он, колеблясь между сомнением и верой...

— Извольте взглянуть: на мне офицерская шпага,— как на доказательство, указал вестовой на свое оружие.— Это шпага вашего сиятельства господина адъютанта.

Дальнейшие сомнения были бы напрасны. Граф тотчас же отпустил вестового, которому, по приказанию государя, должно было немедленно бежать и сообщить обо всем полковому начальству.

— Бедный Черепов!.. Несчастный молодой человек! — в глубоком огорчении и в сильной тревоге повторял он, ходя по комнате и долго не замечая присутствия в ней своей дочери. Но наконец, случайно вскинув глаза в ее сторону, граф увидел Лизу и остановился с невольным выражением вопроса и удивления.

Графиня Елизавета, вся бледная и скорбная, стояла безмолвно и неподвижно, как будто на нее столбняк нашел.

— Что с тобой?! Лиза!.. Лизанька! — с беспокойством подошел к ней граф.— Да откликнись же!.. Что ты!

— Это я виновата... моя записка... Это я погубила его,— с трудом и почти шепотом проговорила девушка.

— Ну полно, дружок! — начал было граф.— Могла ль столь пустая записка...

— Нет, нет, это моя вина... моя,— настойчиво и быстро перебила Лиза и вдруг порывисто схватила отца за руку.

— Папушка! Голубчик!.. Если любишь меня, спаси его! — с воплем и мольбою вырвалось из ее груди.

— Ах, милая, я рад бы сам, да нет путей сего исполнить! — с глубоким вздохом пожал граф плечами.

— Как нет путей!.. Как нет?! Твой путь прямой: ступай к государю и проси его, поезжай сейчас же!.. Он тебя любит, он для тебя сделает это... Проси, моли его,— ну, что ему стоит!.. Ведь не преступник же Василий Иванович!

— Преступник устава воинской формы.

— Ах, бог мой!.. И что такое вся эта ваша воинская форма! Ну, и за что?.. за что же?..

— Дитя мое, оставь; ты сего не понимаешь,— ласково и кротко успокаивал граф свою дочку.— Когда-нибудь, как император будет в особливо добром духе, я приступлю к нему, но ныне, когда он гневен — о, ты не знаешь, что такое гнев его! — ныне это решительно невозможно.

— Невозможно?.. Ты говоришь невозможно?.. Ну, так я сама пойду к нему! — порывисто и решительно вспрянула девушка.— Сама буду просить, кинусь в ноги, стану молить его, плакать... Я не допущу, чтобы человек погибал по моей вине... Я, я одна тут виновата! И он поймет же это, он тронется мною! А коли нет, то я скажу ему, что он тиран и деспот! Пусть и меня тогда заточат, для того что все ж таки я тут более всех виновата!

И с рыданием, наконец-то прорвавшимся наружу, вся заливаясь слезами, девушка упала на руки отца.

Долго ухаживал около нее граф и долго не мог ее успокоить. Он инстинктивно понял, что не одно лишь простое участие к знакомому человеку сказалось теперь в сердце девушки столь сильным и решительным порывом, что тут, кажись, кроется нечто иное, более глубокое...

Поэтому не хотелось ему делать кого-либо из домашних людей свидетелями ее слез и волнения, из чего потом могли бы, пожалуй, пойти разные преждевременные толки, предположения и заключения. Он сам, как мог и умел, успокаивал и утешал свою Лизу, как вдруг растворилась дверь, и в комнате послышались чьи-то быстрые мужские шаги...

Граф обернулся и даже вскрикнул от нечаянного изумления.

Весь сияя радостью и восторгом, к нему шел Черепов.

— Возможно ли? — вскричал Харитонов, простирая к нему объятия и ясно слыша, как позади раздалось вдруг радостное восклицание дочери.

— Поздравляйте!.. Поздравляйте меня! — задыхаясь от сильного волнения и быстрого взбега на лестницу, говорил Черепов.

— Спасен!.. Слава тебе, господи! — крестясь, промолвили в одно время и граф, и Лиза.

— Мало того что спасен! С монаршею милостию поздравляйте! — восторженно говорил гвардеец,— с необычайною милостию! Я произведен в подполковники!

— Ну, полно, друг! — замахал на него рукой Харитонов,— с ума ты, что ли, спятил от радости!

— Ей-ей-же, в подполковники! — побожился Черепов.— И даже так, что сам себе не верю, наяву ли то или во сне мне снится.

— Но как же это? Какими промыслами?

— Да так, что в течение единого часа разжалован в рядовые и из рядовых последовательным порядком произведен чрез все чины до подполковника включительно!

— Не верю!.. Воля твоя, не верю! Садись и рассказывай, если ты, сударь, и впрямь с ума не спятил.

И Черепов рассказал все, за исключением лишь той части своего разговора с государем, предметом которой была графиня Елизавета и его чувство к ней. Невольное смущение перед любимой девушкой и известного рода деликатность воздержали его от повествования об этой части.

Лиза слушала в нетерпеливом волнении и все время не сводила с него глаз, и чем далее шел его рассказ, тем все более и более выражение изумления и радостного восторга разливалось по ее красивому лицу.

— Господи! Спаси его, этого рыцарского, великодушного государя! Награди его за это! — воскликнула она в восхищении, когда Черепов кончил.

— Да, сударь, а все заветный червонец помог, из коего вы в черный день сделали столь достойное употребление! — весело заключил граф Харитонов-Трофимьев.

XV

КОРОНАЦИЯ ИМПЕРАТОРА ПАВЛА

Еще с января месяца 1798 года стали делать приготовления к коронации. Двор собирался в Москву. Отряды гвардейских войск выступили туда же отдельными эшелонами. Вся придворная свита разделена была на несколько групп, из которых каждая должна была отправиться в первопрестольную столицу по особому расписанию. Еще ранее этого времени император купил у графа Безбородки его обширный и великолепный дом, против Головинского сада, и назвал его Слободским дворцом. К этому дому приказано было пристроить по бокам две большие деревянные залы и домовую церковь [1]. Свита великих князей, приехавшая в Москву ранее большого двора, разместилась против Слободского дворца, в здании Старого Сената, где была назначена квартира и великим князьям.

Сам император, прибывший с супругой после всех, в сопровождении нескольких из приближеннейших лиц, остановился, по принятому обыкновению, в Петровском дворце.

Вскоре назначен был день торжественного вшествия в древнюю столицу. На протяжении всего пути от Петровского до Слободского дворцов расставлены были полки гвардии и армии — пехота, конница и артиллерия. К участию в церемонии наряжены были камергеры и камер-юнкеры, а так как день был холодный, то им приказано одеть «супперроки», т. е. род широких кафтанов из пунцового бархата. Один из военных участников этого парадного въезда [2] замечает, что «ничего не было смешнее,

[1] Дом этот сгорел в 1812 году, во время занятия Москвы французами. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Граф Е. Ф. Комаровский. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

как видеть этих придворных (привыкших ходить по паркету в тонких башмаках и шелковых чулках) верхом, бог знает на каких лошадях, и на тех не умеющих держаться и ими управлять: многих лошади завозили куда хотели, и оттого эти царедворцы потеряли свои ряды и наделали большую конфузию». Между ними в особенности была замечательна фигура графа Хвостова, бывшего тогда камергером [1]. Но в особенности странное впечатление на москвичей делали новые военные и гражданские мундиры участников церемонии, казавшиеся им с непривычки, после екатерининской роскоши, «карикатурными». Все эти чиновники, военные и статские, следовали по два в ряд, младшие впереди, что составляло «предлинную линию, в виде протянутой веревки», как замечает участник [2]. После этих придворных ехал верхом император, один, и несколько позади его — два великие князя: Александр и Константин.

В Кремле государь остановился на несколько минут для того только, чтобы приложиться к св. мощам и иконам, после чего, сев опять на лошадь, продолжал шествие свое до Слободского дворца. Уже начинало смеркаться, когда прибыл он к этому дворцу, и здесь, остановясь перед крыльцом, пропустил мимо себя церемониальным маршем все войска, участвовавшие в параде. Несчастные камергеры и гражданские чины должны были все это время оставаться верхом, и до такой степени замерзли, что некоторых из них принуждены были снимать с седел почти в бесчувственном состоянии.

День своего коронования назначил император на 5 апреля, в самое светлое Христово воскресенье.

На страстной неделе вся императорская фамилия говела и в великий четверг приобщалась святых таин (кроме императора) в церкви Спаса за золотой решеткой. Обедня совершаема была митрополитом Платоном. Императрица Мария Феодоровна, в полном блеске и цвете лет, великие княгини Елизавета Алексеевна и Анна Феодоровна, великие княжны Александра, Елена, Мария и Екатерина Павловны, все одетые в белые платья, поражали взоры своей красотой и скромным величием. Платон сумел выразить впечатление, производимое ими в ту минуту, как они

---

[1] Известный плохой стихотворец, «певец Кубры», но очень добрый и прекраснейший человек, служивший постоянной потехой для литературных знаменитостей своего времени. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Граф Е. Ф. Комаровский. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

предстояли пред алтарем, в ожидании св. причащения. Когда торжественно растворились царские двери, то прежде нежели дьякон вынес сосуд с дарами, митрополит Платон вышел из алтаря и, как будто пораженный блеском этих августейших красавиц, отступил назад, а потом, обратясь к императору, сказал:

— Всемилостивейший государь! воззри на вертоград сей!

И повел рукой, показывая на предстоявших.

У императора приметны были на глазах слезы.

Священный обряд коронования происходил, как обыкновенно, в Успенском соборе. Зрелище было исполнено величия в ту минуту, когда государь, самолично возложивший на себя императорскую корону, подал знак своей супруге приблизиться и короновал императрицу, преклонившую пред ним колена. Но замечательнее всего в этом обряде был момент, когда, при возглашении «со страхом божиим и верою приступите», Павел I вошел в алтарь через царские двери, взял с престола чашу и, как глава церкви, сам причастился святых таин. Это зрелище представлялось для присутствовавших в особенности редким, потому что с самого 1728 года в России не было коронования *государя*. Причастясь в алтаре, император, в короне и порфире, снова взошел на возвышенное тронное место и с высоты его сам прочитал во всеуслышание составленный им «Фамильный акт о порядке престолонаследия» и повелел акт сей на вечные времена хранить в алтаре Успенского собора, в нарочно устроенном для того серебряном ковчеге [1].

Из Успенского собора коронованная чета, в царских облачениях, шествовала, под золотисто-глазетовыми балдахинами, вокруг деревянного Кремля, в древний дворец российских государей. Гром пушек, колокольный звон с Ивана Великого и со всех сорока сороков колоколен Москвы, звуки военной музыки и несмолкаемый гул восклицаний войска и бесчисленного народа сопровождали это торжественное шествие. Император милостиво и приветливо кланялся своему народу.

В этот день государь щедрой рукой осыпал многих наградами и отличиями. Все штаб и обер-офицеры, служившие в гатчинских войсках, получили земли и деревни, смотря по чинам, от ста до двухсотпятидесяти душ, а не-

---

[1] Акт этот составлен был домашним образом еще в 1787 году. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

которые, как Аракчеев, Кологривов, Донауров, Кушелев, по две тысячи душ. Кроме того, Аракчееву дано баронское достоинство. Аркадий Иванович Нелидов — родной брат фрейлины Екатерины Ивановны Нелидовой,— который при восшествии Павла Петровича на престол только что был выпущен из камер-пажей в поручики гвардии, а в марте 1797 года произведен в генерал-майоры и назначен генерал-адъютантом,— получил теперь Анненскую ленту и тысячу душ, через пять месяцев своей действительной службы. Из прежних екатерининских деятелей пожалованы: генерал-фельдмаршал граф Салтыков 1-й — крестом и звездою ордена св. Андрея Первозванного с алмазами, генерал-фельдмаршал князь Репнин — шестью тысячами душ крестьян; граф Безбородко — вотчиной, поступившей в казну после умершего бригадира князя Кантемира, и тридцатью тысячами десятин земли в Воронежской губернии; сверх того возведен в княжеское Всероссийской империи достоинство, с титулом светлости, и предоставлено ему на выбор шесть тысяч душ, где угодно; Каменскому и Гудовичу 2-му — графское достоинство; вице-канцлеру Куракину — 4300 душ в Псковской и Петербургской губерниях; Ростопчину — орден св. Александра Невского и 473 души в Орловской губернии; гардеробмейстер Кутайсов произведен в обер-гардеробмейстеры 4-го класса, граф Илия получил орден св. Александра Невского. Много было и других наград; но при этом всеми замечено, что государственные деятели екатерининского времени, сравнительно с новыми, личными любимцами государя, награждены гораздо щедрее. Впрочем, эти последние не роптали: для них впереди было еще будущее.

На другой день утром в Кремлевском дворце происходило торжественное «без-мен» (baise-main). Император и императрица на троне в Грановитой палате принимали поздравления от духовенства, высших сановников государства, сенаторов, придворных, военных, представителей дворянства и городских сословий. Рука императрицы покоилась на бархатной пунцовой подушке, и все мужчины, за исключением духовных особ, отдав поклон царственной чете, подходили к руке Марии Феодоровны; дамы же ограничивались одним глубоким реверансом. Между духовенством всеобщее внимание обращали на себя несколько высших сановников церкви, украшенных орденскими лентами и знаками, что для москвичей составляло совершенную новость. Митрополит Платон, бывший некогда законоучителем Павла, присутствовал здесь в своем белом

клобуке и в фиолетовой бархатной рясе, поверх которой красовалась орденская цепь Андрея Первозванного. После «без-мена» был читан список вчерашних наград и пожалований. Всех крестьян роздано было более ста тысяч, с наделом земли по пятидесяти десятин на каждую душу. Не забыты были и самые крестьяне: высочайший манифест, данный в самый день коронования, возвещал, что, удостоившись воспринять священное миропомазание и венчание на прародительском престоле, император Павел почитает долгом своим перед творцом повелеть, чтобы «никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам» и чтобы оные только три дня в неделю работали на помещика, а остальное время на себя, потому что «для сельских изделиев остающиеся на неделе шесть дней по ровному числу оных вообще разделяемы, при добром распоряжении, достаточны на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям».

Этот манифест по всем церквам был читан народу, и когда, по окончании «без-мена», государь выехал верхом прогуляться по городу, в сопровождении дежурного генерал-адъютанта и московского главнокомандующего, графа Салтыкова, то громадное множество простого народа со всех сторон окружило Павла, оглашая воздух криками «ура!». Тысячи шапок полетели вверх. Император с улыбкой милости и благоволения медленно двигался среди этого живого моря обнаженных голов. Какой-то мужичонка долго шел подле его стремени, все любуясь на своего царя. И вдруг он обтер пыль с сапога его величества, перекрестился и поцеловал его в ногу. Это было как бы сигналом для толпы, которая таким же образом принялась с обеих сторон целовать ноги императора.

— Спасибо тебе, батюшка, ваше величество, за милости к нам, к серочи твоей! — раздавались голоса в ближайшей толпе народа.— Спасибо за то, что хлебушко нам удешевил! войну пошабашил! Спасибо, что рекрутиков наших по домам вернул, воскресный праздничек подарил нам, три дня барщины прочь скостил! За все спасибо, милостивец! Ты нам как что легче сделал!.. Чувствуем!

Государь отвечал, что прямо из Москвы намерен сам поехать по России, чтобы собственными глазами видеть обыкновенный, повседневный быт своего народа, его нужды и потребности, и для того воспретил начальникам какие бы то ни было особые приготовления к его встрече.

Эта весть еще более усилила восторг простого народа.

Вечером был большой бал в залах Кремлевского дворца. Дамы съезжались в черных бархатных робах русского фасона, которые при блеске брильянтовых колье и брошей на белых куафюрах были необычайно эффектны. Мужчины — и военные, и статские — все были в самых простых форменных мундирах нового образца, в черных чулках и башмаках, в пудреной прическе с тупеем, с треуголками под мышкой и при шпагах.

Между всем этим отборным обществом делал сильную «сенсацию» слух, передаваемый шепотом, что трем дамам из высшего московского света было отказано в приезде ко двору, несмотря на то, что, по положению мужей своих, они имели к тому полное право.

— Как? что?! почему? — шепотом перелетали вопросы, обращенные друг к другу хорошими знакомыми из москвичей.

— А это надо понимать так, что сей акцией *он* торжественно обнаружил нетерпимость свою к вольной жизни.

— Которая весьма уже, и до самого высокого градуса, у нас усилилась,— подхватывали при этом в пояснение те, которые имели причины быть особенно довольными этим распоряжением.

— Положим, и так; но... кому какое дело, что кума с кумом сидела! — возражали им защитники «фривольных» нравов.

— Ну, нет; монарх должен держать камертон всем нравам и порядкам своего государства,— оспаривали защитники нового павловского «режима».

— Положим, и так,— продолжали оппоненты,— но это можно было бы выразить инаким способом, не столь компрометантным для особ знатных фамилий.

— Э, нет! — настаивали защитники,— не говорите! Напротив! *Он* потому-то так и учинил, чтобы доказать самым делом свою антипатию к фривольству. Будь это незнатные госпожи, ославившиеся слишком своевольной жизнью, мера не имела бы своего предостерегательного значения. То не была бы мера наказующая. А потому-то она и *мера*, что *он* учинил так, не уважив нимало, что эти три госпожи суть именитых фамилий.

— Совершенно истинно! — утверждали другие защитники новых порядков и взглядов.— Совершенно так и надлежало, потому что молва о сем наверное разнесется повсюду, и для того многия наши барыни в тот час же начнут воздерживаться и привыкать к жизни порядочной.

— Тсс... Смотрите, смотрите!.. Кто такова?.. Чья?.. Какая прелесть!.. Видите? видите? — пробежал по зале гул замечаний и вопросов,— и все глаза с любопытством и вниманием устремились в одну сторону.

По зале проходил граф Илия Харитонов-Трофимьев под руку со своей дочерью.

Она была действительно прекрасна. Роскошь естественных волос, красиво подобранных и взбитых в высокую прическу искусной рукой лучшего парикмахера; чудная белизна роскошных плеч, выделяемая еще рельефнее из-под черного бархата; ясность и сила искристого взгляда выразительных глаз; радостная усмешка, в которой так ясно выражалось все удовольствие, вся чистая полудетская радость, все бессмертное счастие, ощущаемое в эту минуту молодой девушкой, вывозимой еще впервые в большой свет и на такой бал,— все это в совокупности придавало графине Елизавете такую восхитительную прелесть, такую детскую наивную чистоту, не умеющую маскировать своих внутренних ощущений, что на нее невольно устремились внимательные взгляды старых и молодых ловеласов, давно уже отвыкших, в своей придворной и светской жизни, среди любовных интриг и похождений, от созерцания подобной нравственной чистоты, свежести и, так сказать, девически-детского величия. Такая неиспорченная прелесть — и физически, и нравственно — только и могла создаться в уединенной, почти глухой деревне, при помощи всех тех средств, которые были в распоряжении умного и честного опального вельможи. И этот контраст нравственной чистоты и обаятельной прелести молодой девушки с этими великосветскими искушенными «модницами» и «кокетками» петербургского и московского света — невольно, сам собой, с первого взгляда бросился в глаза всем и каждому.

— Какая дивная особа! — глядя сквозь лорнет на графиню Елизавету, сказал Безбородко, стоявший рядом с престарелым Херасковым, которого перед этим он только что «удостоил» своего особого внимания и разговора, как старейшего представителя нашей литературы и поэзии.

— Российская Цирцея! — с видом старческого восторга сказал Херасков, отправив в нос добрую понюшку французского «рапе» из тяжеловесной золотой «жалованной» табакерки.

— Нет, ваше превосходительство! Нет, не Цирцея! — с живостью перебил его Безбородко.— Цирцея — это

слишком низменно, слишком плотски для нее!.. По-моему, скорей уже Мадонна, если нам нужны боготворения.

— Ваша светлость, позвольте согласить мое определение с вашим,— с почтительно-любезным видом, сквозь который, однако, проглядывала внутренняя независимость, сказал Херасков.— Цирцея в образе Мадонны, или Мадонна в образе Цирцеи. Не так ли? В ней есть и то, и другое.

Безбородко, любуясь на графиню Елизавету и в то же время как бы соглашаясь с Херасковым, молча кивнул головой.

В это время Екатерина Ивановна Нелидова, завидя графа Илию с его дочерью, прервала, извиняясь, какой-то разговор с одной из самых почтенных и взыскательных московских старушек и с доброй, милой улыбкой пошла навстречу графине Елизавете.

— Как я рада, что наконец-то вас встретила! — приветливо заговорила она по-французски, протягивая Лизе обе свои замечательно маленькие и изящные ручки.— Мой брат не дает мне покою: он давно уже слышал о вас от меня, но сегодня видел вас здесь впервые, ранее меня, и теперь просто сгорает от нетерпения быть вам представленным. Он очень добрый мальчик. Позвольте мне вас познакомить с ним.

Лиза, не зная, что отвечать, полусмущенно взглянула на отца и потом на Нелидову.

— Я очень рад, Екатерина Ивановна; надеюсь и она тоже,— поспешил ответить старик, заметив взгляд дочери, выражавший ее затруднительное положение.

Нелидова подала графу свою руку, и они втроем направились к почтенной московской старушке, за креслом которой стоял безбородый и девически-свежий юноша, Аркадий Иванович Нелидов, в своем генерал-адъютантском мундире, с Анненской лентой через плечо и с необыкновенно счастливым, самодовольным выражением во взоре и улыбке.

Ярко-радостные лучи посыпались из его глаз, когда он увидел сестру, подходившую к нему вместе с графом и Лизой.

Фрейлина Нелидова представила их друг другу.

Но не успел еще разговориться молодой генерал-адъютант с пленившей его девушкой, как к ней уже подошел личный адъютант одного из высоких германских гостей и почтительно передал, что его высочество просит

оказать ему честь — протанцевать с ним следующий контрданс.

— Передайте его высочеству, что я благодарю за честь и буду ожидать его,— совсем просто проговорила Лиза.

— Ах, ma cher! — с видом легкой дружеской укоризны деликатно заметила ей Нелидова, обмахиваясь блестящим веером.— Надо было отвечать не иначе, как приняв на себя вид почтительной благодарности и с глубоким реверансом, по этикету: ведь принц наверное смотрел на вас в эту минуту... Ведь это большая честь!.. Я бесконечно рада за вас!

— Учите, учите, Екатерина Ивановна, мою добрую дурушку,— заметил граф, ласково похлопывая слегка по руке дочку, чтобы ободрить ее от невольного смущения, которое почувствовала она при словах Нелидовой.

— Граф, позвольте представить вам и графине, вашей дочери, моего доброго друга,— заговорил вдруг, со своей лукаво-добродушной улыбкой, Лев Александрович Нарышкин, подводя какого-то немощного, расслабленного субъекта, на лице которого было написано и старческое сластолюбие, и старческая жажда бодриться и молодиться во что бы то ни стало.

Харитонов с легкой вопросительной улыбкой окинул взглядом того и другого.

— Мой друг и достойный ментор моей молодости, граф Ксаверий Балтазарович Лопачицкий,— продолжал Нарышкин, рекомендуя расслабленного субъекта,— камергер прежнего двора и генерал-поручик российской армии.

Харитонов протянул руку.

— Смотри-ка, брат, пожалуй, и этот хрен туда же! Каков? — чуть не прыская со смеху, заметил командир Конногвардейского полка, толкая под руку одного из своих старших офицеров, окружавших его целой группой.

— Что ж, ваше превосходительство? Это означает, что мы вскорости будем пировать на его свадьбе,— шутя, заметил тот.

— Куда ему! — махнул кто-то из конногвардейцев.

— Как куда, помилуйте! Он еще не токмо сносен, но и бодр. Смотрите, смотрите, как увивается! — кивнул молодой офицер, граф Уваров.

— А вы знаете, ваше превосходительство, анекдот, который произошел с ним некое время назад? — обратился он к полковому командиру.

— Что за анекдот? Не знаю. Расскажите, пожалуйте.

— Как же-с,— начал офицер,— покойная императрица Екатерина узнала как-то случайно, что этот чиновный, с отличными достоинствы и уже преклонных лет человек взял к себе в метрессы некую танцовщицу. Обстоятельство, так сказать, экстраординарное и всем оно стало, к вящшему скандалу, досконально известно. Но что ж делает ее величество? Посудите сами: велела выучить заморского попугая сему упреку в его поступке и прислала ему ту болтливую птицу в день его именин, заместо поздравления. Съехались этта гости, а он и хвастается, вот-де какой милостью изволила почтить меня ее величество! Еще никто-де из вас, господа, не удостоился получать таковой! Ну, те и возжелали видеть заморскую птицу. Приказал Лопачицкий принести клетку и поставить ее пред гостями. Горд и доволен своим преимуществом необычайно. Но вдруг глупая птица попугай как брякнет ему на чистейшем русском языке: «Стыдно, брат, на старости влюбляться, да еще в танцовщиц!» Можете заключить об эффекте, который произвело это на присутствующих!

Офицеры, глядя на не лишенную комизма фигуру расслабленного старца, так и покатились со смеху.

— А ведь гляди, чего доброго, женится! Предложение сделает! — воскликнул командир.

— Ну нет, едва ли! Соперник есть, и могущественный соперник! — сомнительно покачав головой, сказал веселый рассказчик.

— Соперник?.. Кто таков? — спросили некоторые из товарищей.

— А вот, извольте взглянуть: его превосходительство генерал-адъютант Нелидов. Этот посильнее будет!

Подполковник Черепов, как офицер Конногвардейского полка, стоял в этой же кучке. Услышав имя Нелидова, в соединении с которым было произнесено слово «соперник», и метнув глаза в сторону, он одновременно почувствовал в груди прилив негодования, ревности, досады, опасения и боязни потерять свою надежду на возможность счастия с любимой девушкой. Анекдот о попугае не произвел на него ни малейшего впечатления, хотя в то же время он чувствовал себя в состоянии задушить собственными руками этого Лопачицкого, вместе с Нелидовым, который вдруг сделался ему ненавистным. Он видел, что графиня Елизавета весьма благосклонно и приветливо отвечает на его любезности и что старый граф вовсе не смотрит на это неприязненным взглядом; напротив, разговаривая с влия-

тельной московской старушкой и с фрейлиною Нелидовой, он этим самым как будто давал своей дочери возможность большего сближения с молодым, блестящим генерал-адъютантом, который, по-видимому, стремился вполне воспользоваться предоставленным ему преимуществом. Так, по крайней мере, казалось Черепову.

Ревность, злость и досада с каждой минутой все более и более овладевали его сердцем. Он чувствовал себя в состоянии сейчас же подойти к этому ненавистному Нелидову и наделать ему всяческих неприятностей и дерзостей, вызвать его на дуэль, но... присутствие около него графини Елизаветы, во всей ее чистоте и прелести, невольно воздержало молодого человека от всяких чрезвычайных и сильных проявлений своего взволнованного чувства.

Скрепив сердце и, по странному чувству, во весь вечер не решаясь подойти и заговорить с нею, он видел, какое лестное внимание оказывал ей во время контрданса блестящий германский принц и как на эту прекрасную пару с живым любопытством устремлялись внимательные взоры всех присутствовавших; видел потом, как танцевал с графинею Лизой молодой Нелидов и какой благосклонной улыбкой, по-видимому, отвечала она на его беспрерывные любезности и внимание; видел, как потом подошел к ней расслабленный генерал Лопачицкий и пригласил с собою на минуэт, который император Павел нарочно заставил всех екатерининских стариков протанцевать в этот день в Грановитой палате. Все присутствующие закусывали губы и строили серьезные мины, чтобы не прыснуть от невольного смеха, глядя, как все эти развалины, в паре с молодыми красавицами, выделывают грациозные антрша, пируэты и поклоны по старой танцмейстерской школе.

Сам император, судя по его улыбке, казалось, нарочно устроил всю эту потеху.

За ужином Черепову пришлось очень далеко сидеть от графини Елизаветы, но он видел, и не столько даже видал, сколько чувствовал инстинктом каким-то, что она совершенно счастлива и довольна; встречая с одной стороны такое внимание к себе молодого принца, а с другой — будучи окружена Нелидовым и графом Лопачицким, которые, наперерыв друг перед другом, всячески стремились своею любезностью предупредить ее малейшее желание.

XVI
«ЗВЕЗДА МОСКОВСКА НЕБОСВОДА»

Траур по императрице далеко еще не кончился, и потому блестящие собрания в «дворянском доме», у главнокомандующего и у других «первейших» вельмож и сановников обходились без танцев. Единственное исключение было допущено только на бале во дворце, в самый день коронации. Дамы являлись на этих вечерах, собраниях и придворных «куртагах» не иначе как в черных робах, стараясь избегать роскоши в отделке и убранстве, потому что роскошь была неприятна государю. На самых больших из этих вечеров все дело ограничивалось одним полонезом, звуками которого встречали появление императорской фамилии. Государь с супругою, в предшествии двух церемониймейстеров с жезлами и в сопровождении лиц своего семейства, шествовавших за ним попарно — кавалер с дамой,— обходил, под звуки полонеза, вокруг залы, даря все собрание поклонами и улыбкой, а затем — танцы совершенно устранялись. Общество, рассыпавшееся по смежным залам и гостиным, составляло вокруг небольших столов партии в лото, бостон и дофин; молодые люди и девицы играли в фанты, в колечко, в вопросы и ответы, в угадывание желаний и тому подобные игры.

Граф Харитонов-Трофимьев еще заблаговременно, до коронации, отделал заново свой московский дом и задавал в нем теперь вечера и банкеты. Один из этих вечеров был почтен присутствием императорской фамилии, и государь, всегда блиставший в обществе своим остроумием и очаровывающею любезностью, был весьма ласков к хозяину и внимателен к его дочери.

Графиня Елизавета, еще с первого выезда в большой свет, на всю Москву сделала положительное впечатление. В ней единогласно признала Москва звезду первой величины, ее все замечали, о ней все говорили, некоторые ей завидовали, но все восхищались ее наружностью, ее даже злословили, и это последнее обстоятельство могло служить ручательством верного и полного успеха. Толпа поклонников, и молодых, и старых, и высокопоставленных, и «ординарных», приветствовала ее появление в обществе, и всякий из них наперерыв старался обратить на себя ее благосклонное внимание. Граф Ксаверий Балтазарович Лопачицкий, в этом отношении, более всех и, пользуясь привилегией своей почтенной старости, иногда получал от Лизы на свою долю более снисходительной, полушутливой

благосклонности, чем молодые и блестящие искатели. По этому поводу Лев Нарышкин частенько напоминал ему в шутку знаменитую фразу его попугая, но старый граф Лопачицкий не смущался этим нимало. Молодой Нелидов, казалось, тоже был весьма заинтересован графиней Елизаветой Ильинишной; Нелединский-Мелецкий посвятил и написал ей в альбом одно небольшое стихотворение, которое все находили прелестным и чувствительным; даже сам «патриарх российских пиитов», старец Херасков, на склоне дней своих, спустился с высот «пиндарической оды» и нетвердою старческою рукою начертал в этом альбоме четверостишный мадригал в честь «звезды московска небосвода».

Встречая теперь графиню Елизавету в обществе, Черепов не раз вспоминал себе ту минуту, когда эта прелестная девушка еще в Петербурге, возвратясь домой, после первого представления своего императрице нежданно пожалованная во фрейлины ее величества и упоенная блеском и счастием своих впечатлений, восторженно рассказывала ему о приеме, которого была удостоена, о необычайном внимании, оказанном ей придворною знатью... Черепов тогда уже видел, насколько все это льстит ее молодому, чуткому самолюбию, насколько все это начинает кружить ей пылкую голову. Он тогда еще, радуясь вместе с нею ее счастию, смутно и тревожно почувствовал в душе, что эта вольная пташка закружится в вихре большого света, что эта гордость первого успеха впоследствии, быть может, послужит помехою его сближения с нею, которое началось так тихо, так просто, хорошо... Теперь, с болью в душе, он видел, что эти смутные предчувствия начинают сбываться.

Лиза действительно закружилась в этой упоительной атмосфере придворного блеска, светских успехов, похвал, поклонений и обожания. Тут все и повсюду льстило ее самолюбию, приятно щекотало гордость, будило дремавшее чувство сознания своей красоты, своего положения, своего превосходства... Черепову казалось, что это была уже не та «графинюшка Лизутка», какою еще так недавно знал он ее в глухой опальной деревне... Не то чтобы она вся мелочно погрузилась в радужную суетность окружавшей ее жизни, не то чтобы для ее души не существовало уже ничего вне ее светских успехов,— нет, душа-то у нее все-таки была хорошая, чистая, высокая и, в сущности, оставалась такою же, как и прежде, но... одурманенная на первое время фимиамом всех этих похвал и поклонений, она, не думая, не анализируя и даже как бы не понимая

вовсе, зачем это надо думать и анализировать, когда все так хорошо, отдалась подхватившему ее потоку, отдалась радостно и доверчиво, полная жизни, свежей и благоухающей молодости и жажды новых, светлых впечатлений. Она доверчиво и любопытно, как бабочка на огонь, впорхнула в этот очаровательный блестящий свет из темной безвестности своей деревенской жизни. «О чем тут думать! Здесь так хорошо, так светло, тепло и радостно, здесь все так меня любят, так хвалят... и все они, право же, такие прекрасные, чудесные люди — и мужчины и женщины — все, без исключения, и мне так хорошо с ними, и я сама так люблю их... Пусть всем будет хорошо и весело жить на свете!» — так думала Лиза и беззаветно отдавалась уносившему ее потоку. Она искренно и глубоко была убеждена, что и всем так же хорошо, как и ей, что и все так же думают, как она, и так же чувствуют.

В отношении Черепова она не то чтобы переменилась, но стала как-то рассеяннее. Мысль ее, постоянно отвлекаемая новыми и новыми заманчивыми сторонами еще незнакомой и неизведанной ею жизни, менее сосредоточивалась, менее имела теперь случаев и поводов останавливаться на Черепове, чем прежде, в первое время в Петербурге, когда Лиза никого еще почти не знала и не видала вокруг себя, когда подле нее был один только он, да отец, да старая нянька. Теперь же в Москве какими-то судьбами вдруг отыскались и родственники, и друзья, и знакомые; пять кузин наперебой заискивали в ее дружбе, две двоюродные тетки — почтенные московские барыни, что называется барыни с весом и с голосом,— соперничали между собою в нежных родственных чувствах к племяннице, стремились взять ее под свое авторитетное покровительство и поговаривали о «достойной партии». Но о последнем Лиза пока еще вовсе не думала.

Между тем Василий Черепов страдал и мучился втайне. Он ревновал ее ко всем ее светским успехам и испытывал порой нечто очень похожее на чувство совершенно беспричинной ненависти ко всем ее поклонникам. «Странное дело! — размышлял он иногда сам с собой,— и что это со мной вдруг сталося! Ведь надеялся же я не плошать, ведь хотел же брать ее с бою! С чего ж это теперь опускаются руки!.. Малый, кажись, не робкого десятка, и повели только она, так хоть на черта ради нее полезу, все сделаю, все превозмогу... И ведь было время, одно бы только слово сказать, признанье сделать прямо и просто и... почем знать, быть может, о сю пору была бы уже моей... Одно

лишь слово... одно!.. Но почему ж оно, это слово заветное, почему не выговаривается?.. Ведь был же я доселе не только смел, но иногда и предерзок даже с иными женщинами; и удавалось, все удавалось... Почему же пред этой чувствую, что и ум мутится невольно, и язык немеет, и руки опускаются... Одни лишь глаза говорят, но она в глазах прочесть того не умеет или не может... а как знать? быть может, и не хочет прочесть... Отчего это так со мной? Уж не оттого ли, что тех, иных женщин, я только обхаживал, махался, волочился за ними, а эту люблю... люблю впервые истинной и большой любовью...»

Но от всех этих мучительных вопросов, дум и размышлений ему все же было не легче, и дело его ни шагу не подвигалось ближе к желанной цели! Напротив, теперь он стал гораздо далее от Лизы, чем в Петербурге. С тех пор как император внезапно осчастливил его повышением в несколько чинов разом до подполковника включительно, он, в силу своего штаб-офицерского ранга, не мог уже оставаться личным адъютантом при графе Харитонове-Трофимьеве и на другой же день был отчислен парольным приказанием государя в свой лейб-гвардии Конный полк. Хотя по новым штатам в старой гвардии этого чина и не полагалось, но — на сей раз такова была воля императора. С отчислением в полк уже не было причины по-прежнему бывать ежедневно в доме графа и проводить там почти все время; пришлось поневоле сделать свои посещения более редкими и менее продолжительными, да и случаи к разговорам с графиней Елизаветой выдавались теперь гораздо реже, и все эти препятствия служили только к тому, чтобы все больше бередить сердце влюбленного Черепова.

XVII

«В АНГЛИЙСКОМ КЛУБЕ»

Двор готовился к отъезду в Петербург, а император к путешествию по России, в сопровождении Безбородко, Аракчеева и некоторых других лиц из ближайшей своей свиты. Его величество прежде всего намеревался посетить литовские губернии и вообще западную окраину своего государства. Гвардия тоже приготовлялась к походу в Петербург, на свои постоянные квартиры, и на днях уже должна была выступить.

Идучи однажды по Тверской, Черепов вдруг услышал, что кто-то сзади окликнул его по имени. Он обернулся

и увидел Прохора Поплюева, который в это время спрыгивал с дрожек, запряженных красивым рысаком собственного поплюевского завода.

— Ба! вот оно кто! — удивленно воскликнул Черепов.— Эге, да что я вижу!.. Вы в офицерском мундире!.. Поздравляю! Давно ли это?

— А помните, в тот раз, как вы с его величеством в Чекуши приезжали,— сюсюкал Прохор самодовольным тоном.— Я было думал, что он меня тогда в гарнизу куда-нибудь, в Сибирь, а он, батюшка, на-ко! За изрядное знание службы в обер-офицерский чин пожаловал. Справку самолично навел обо мне в полку, ну, великий князь[1], спасибо ему, отзыв дал, что я ништо себе, не гнусен, и вскорости за то самое вдруг читаю в приказе... Так-то-с!.. только — увы! — не в гвардию! — вздохнул Поплюев,— написать изволил чином подпоручика в армию... Это, конечно, лучше чем ничего, но... при матушке-императрице мы, гвардии сержанты, армии капитанами себя полагали, а ныне... Ну, да и то слава богу!.. Куда шествовать изволите?

— Да вот думаю в какой-нибудь трактир зайти пообедать,— сказал Черепов.

— Самое настоящее дело! И я за тем же! — подхватил Прохор.— Я в Английский клуб еду, и буде вам то не в противность и все равно, где ни обедать, то поедемте вместе. Я ведь старый член, запишу вас гостем, а ныне там новому повару вторительная проба делается. Преотменный повар, я вам скажу! Поедемте!

Черепов согласился, и поплюевский рысак помчал обоих знакомцев к Английскому клубу.

Повар действительно был «преотменный» и показал себя на славу, так что Прохор с чувством самоуслаждения отдал всю достодолжную дань справедливости его искусству и объедался до отвала. Здесь была вся московская знать, заштатные деятели Семилетней войны и вообще елизаветинской эпохи, пред которыми люди «времен очаковских и покоренья Крыма» почитались, в некотором роде, как бы молокососами. Тут были и сенаторы, и генералы не у дел, и дипломаты Бестужевской школы, и экс-губернаторы, и вообще все то, что давало Москве особый тон и цвет несколько брюзгливой и недовольной, но благодушной и патриархальной оппозиции новым людям и но-

---

[1] Великий князь Константин Павлович был тогда командиром лейб-гвардии Измайловского полка. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

вым порядкам. Мнения здесь высказывались громко и независимо. Тут же присутствовало, в качестве гостей, и несколько петербургских стариков, некогда сослуживцев и старых приятелей московским старцам.

И те, и другие встретились здесь за обедом радостно, как родные после долгой разлуки, и от удовольствия, казалось, помолодели. Застольная беседа оживлялась воспоминаниями: кто рассказывал про службу в Оренбургском крае еще при Татищеве, кто про Пугача и Шамхала Тарханского, и про Остермана, и про Миниха, кто о переформировании берг-коллегии и московского архива что-то доказывал, кто про панинскую ревизию, а кто и кенигсбергскую фрейлен Летхен вспоминал, и варшавскую панну Цецилию... Ко взаимной общей потехе, каждый прилагал свое, не стесняясь; анекдот шел за анекдотом. Доставалось, кстати, и современным порядкам, и нововведениям... Старички «будировали» и высказывали вместе с тем свое старинное, отменно тонкое умение «вести в обществе умные и вместе приятнейшие беседы». А седовласые, откормленные лакеи меж тем разносили по разным концам столов то изумительную кулебяку, то чудовищных стерлядей на серебряных блюдах, и старший клубный метрдотель, с гордым сознанием собственного достоинства, предлагал состольникам «манзанеллы, каркавеллы или франконского» и иные самые тонкие вина. Встав от стола с раскрасневшимися щеками и взвеселившимся от воспоминаний сердцем и проходя мимо бюста императрицы Екатерины, старики вдруг словно опомнились, остановились, молча посмотрели на нее, как на живую, молча взглянули друг на друга, отерли глаза и отошли со вздохом.

Черепов, окончив обед, прошел покурить и отдохнуть в «диванную». В мягком полусвете этой уютной комнаты как-то особенно хорошо дремалось под тихий говорок клубных старожилов, которые искони удалялись сюда для послеобеденной дремы и послеобеденной беседы.

Вдруг ему показалось, что кто-то произнес имя графини Елизаветы Ильинишны. Очнувшись тотчас же от легкого полузабытья, Черепов кинул взгляд в ту сторону, откуда послышалось это имя, и увидел в углу на диване графа Ксаверия Балтазаровича, подле которого сидел Нарышкин.

— Сколь она прелестна! — старчески-восторженно восклицал Лопачицкий,— сколь прелестна! в особливости на последнем куртаге...

— Стыдно, брат, на старости влюбляться! — слегка похлопывая его по колену, подтрунивал Нырышкин.

— Ба!.. Но разве я столь стар, черт возьми!

— Однако.

— Однако я желал бы иметь потомка,— вот что!

— Зачем это, милый ментор моей юности?

— Затем... затем... ну, хоть затем, дабы род не угас, имя передать и состояние.

— Поздно хватился, брат.

— Для чего так? Для чего это поздно?

— Да для того, что потомка у тебя не будет.

— На каком основании не будет?

— Фу, боже мой! Да тебе сколько лет?

— Мне... мне всего только семьдесят два года.

— А! ну, это дело инакова рода! — согласился Нарышкин.— Коли так, то женись смело: в семьдесят два года дети всегда бывают, и непременно!

— Ты таково думаешь?

— Уверен в том, ибо таков закон натуры. Вот видишь ли,— продолжал он,— в пятьдесят они еще иногда могут быть, но с трудом; в шестьдесят их совсем не бывает, но в семьдесят два — наверное и непременно! надлежит только взять за себя молоденькую!

— Вот, вот!.. Я так и думаю, так и намерен! — подхватил плешивый селадон, потирая руки.

— Только гляди, брат, опасайся знатного риваля! [1] — шутя предостерег Нарышкин.

— Кого это?.. Кто таков риваль мой? — прищурясь на собеседника, пренебрежительно двинул губой Лопачицкий.

— А Нелидов-то? Ты что себе думаешь!

— Oh, mon cher! Ce n'est qu'un damoiseau! [2]— самоуверенно махнул рукою граф Ксаверий Балтазарович.— Какой это риваль мне! Помилуй!

— Однако, говоря, что не ныне — завтра он сделает формальное предложение, и это мною из наивернейших источников почерпнуто.

— Пуф! Ему откажут!

— Едва ли. За него ратуют пять кузин и две тетки. Да и самой-то ей, кажись, он вовсе не претит.

— Н-ну, mon cher, то мне лучше знать!

— Твое дело, конечно... А все-таки повторяю вслед за твоим попугаем: «Стыдно, брат, на старости влюбляться!»

— Alons donc, farceur! [3]— с некоторой досадой мотнул головой влюбленный селадон и поднялся с места.

[1] соперника (от *фр.* rival).

[2] Мой милый! Это всего лишь дамский угодник *(фр.)*.

[3] Ну и шутник ты! *(фр.)*

Этот разговор сделал на Черепова неприятное впечатление. Ему больно было слушать, что к той, кого он чтил столь высоко, люди относятся так легко, так шутливо, что этому поеденному молью облезлому старцу может же вдруг прийти оскорбительная мысль делать ей предложение. Но больнее всего кольнуло его в сердце известие о намерениях юного генерал-адъютанта. Нарышкин, по-видимому, говорил совершенно серьезно и столь положительно, что с этой стороны Черепов почувствовал серьезную опасность. Нелидов молод, красив, умен, образован; один из первейших любимцев государя; пред ним впереди еще более блистательная карьера — при таких условиях, что препятствует ей отдать ему руку и сердце?

С пылающей головой и щемящим, тоскливым чувством в душе вышел Черепов из Английского клуба и быстрыми шагами бесцельно пошел по тускло освещенным московским улицам. Он шел не глядя куда идет и ничего не замечая ни пред собой, ни около себя. В голове его вертелась в каких-то туманных обрывках все одна назойливая мысль, центром которой была графиня Елизавета и рядом с нею этот ненавистный, но прелестный Нелидов; в сердце подымались то злоба, то горечь и слезы, и казалось ему порой, будто земля ускользает из-под его ног и вместе с нею ускользало все его счастие и дымом разлетались мечты и надежды.

XVIII
МАСОНСКАЯ ЛОЖА

Двор и гвардия вернулись в Петербург, где обыденная жизнь того и другой вошла в свои колеи, резко и твердо обозначенные для них императором еще с первых дней его воцарения. Черепов надеялся, что после московских торжеств и праздников графиня Елизавета Ильинишна, почувствовав себя опять среди своей мирной и тихой домашней обстановки, захочет несколько отдохнуть от светского рассеяния, более сосредоточится в самой себе и тогда — «авось-либо и про нас, грешных, вспомнит, авось-либо станет по-старому уделять долю своей дружелюбной внимательности и — как знать! — быть может, теперь-то и заметит, что она весьма не чужая моим сердечным чувствованиям». Так думал и надеялся Черепов, но — увы! — мечты его пока еще не оправдывались на

деле: графиня Елизавета при встречах была с ним и приветлива, и любезна, но под этой любезностью как-то не чувствовалось той простоты и задушевности, какая была в ней прежде. Ему казалось, будто она в отношении его все еще находится в тумане той рассеянности, в которой находилась все время московских празднеств, и он с болью в душе сознавался себе, что эта рассеянность чуть ли не выражает собой полнейшего равнодушия к нему. Так казалось Черепову, и потому состояние внутренней, затаенной тоски почти не покидало его. Все товарищи и приятели не без сожаления замечали промеж себя, что он положительно изменился.

Однажды, как-то после «вахт-парада», заехал к нему по дороге один из его добрых знакомцев, некто гвардии-капитан Гвоздеев, человек пожилой и солидный.

Черепов приказал подать закуску, после которой приятели разговорились, и беседа их незаметно приняла характер задушевности.

— Скажите, государь мой,— говорил Гвоздеев, прохаживаясь с ним по комнате,— все мы, ваши друзья-приятели, примечаем, что вы досконально преобразовались как-то, стали вовсе не тот, что прежде, словно у вас докука некая в сердце... Ежели то с моей стороны не назойно и вам не претит, скажите, как другу... быть может, у нас явится возможность помочь, облегчить или, по крайности, хотя посоветоваться вместе.

— Да как вам сказать!.. Просто скверно живется на свете,— пожал плечами Черепов.

— Вам ли то молвить!.. Вы, который лично известны государю, и он до вас столь милостив, служебная карьера вам улыбается, состояньишка, слава богу, хватает, из себя молодец и добрый малый, любим и уважаем товарищами,— чего вам более?..

— Все это так, да здесь-то вот непокойно,— сказал Черепов, указав на сердце.

— Аль зазнобушка?.. Ну что ж!.. Это в натуре вещей: годы ваши такие, и коли любите, то эта неспокойность и тем паче на благо вам, сударь.

— Да, хорошо любить, коли и нас взаимно любят... Но не в том сила... Отчасти, коли хотите, есть и это, а отчасти и другое нечто... сумненья, и мало ли что...

— Сумненья? — серьезно повел бровью Гвоздеев,— в чем же сумненья-то? В себе ли, в жизни или в верованиях?

— Всего бывает порой,— проговорил Черепов, как бы вдумываясь и вглядываясь внутрь самого себя.—Но опять-таки не в этом главная сила,— продолжал он,—а в том, что просто скука давит, пустота вокруг какая-то, неудовлетворенность моральная... Чувствую, что не хватает чего-то, и живо чувствую, а чего — и сам не знаю, уяснить не могу себе. Но порой такие минуты находят, что, кажись, на всякую отчаянность, на всякое сумасбродство пошел бы со всей охотой, очертя голову, лишь бы забыться!

— На эту болезнь есть лекарство,— серьезно и с чувством внутреннего убеждения сказал Гвоздеев.—Лекарство сие — самоуглубление, размышление; надо познать себя в испытании естества своего и своей духовной природы, и тогда вы обрящете в жизни духа такие утешения и сладости, каковых никогда не даст вам вся эта юдольная суетность со всем ее блеском, со всеми ее благами и почестьми.

Гвоздеев замолк на минуту и продолжал раздумчиво ходить по комнате.

— Известно ли вам, сударь, что-либо о «Великом Востоке»? — остановился он вдруг перед Череповым,—слыхали ли вы нечто о братстве «вольных каменщиков»?

— Случалось,— отвечал тот,— и не раз, и от людей весьма досточтимых, которые к нему относились со всем почитанием.

— Мудрый и не может отнестись инако,— заметил собеседник.

— Да, но правительство наше, кажись, не совсем-то...

— То есть покойная императрица, сказать вы желаете? — перебил Гвоздеев.— Да, это так; но не нынешнее правительство. Ныне, напротив,— продолжал он,— сам император весьма сочувственен ко франмасонству и всегда таковым оставался. Ныне в здешней ложе можно встретить людей и знатных, и высокопоставленных. Стремление ко всеобщему благу не есть и не может быть преступно.

— Вы франмасон? — открыто и прямо спросил Черепов.

Гвоздеев потупился, в легком смущении, и ответил не сразу.

— Хотя уставы братства,— сказал он,— и воспрещают открываться профанам, но вы человек честный и мой приятель, и я вам откроюсь. Да, я франмасон, и счастлив тем внутренно, ибо только с тех пор, как оным соделался, мои горизонты расширились, и я уразумел, что в жизни, помимо суетного себялюбства, есть еще жизнь духа, есть

иные, более высокие задачи и мечты... Вот где, сударь мой, можно обрести целительный бальзам от тех духовных недугов, которые вас снедают! — с жаром глубокого убеждения заключил Гвоздеев.

Черепов с любопытством стал было расспрашивать о сущности общества, о его задачах и стремлениях, но собеседник объявил наотрез, что не имеет права открывать их непосвященному, что в этом отношении его связывает добровольно данная клятва, что идея и задачи братства имеют несколько степеней и даже посвященным открываются не сразу, а постепенно, по мере убеждения высших членов в их духовном совершенствовании.

— Но если дух ваш точно жаждет новых сфер и достойного поприща,— сказал Гвоздеев,— то я могу предложить вас в члены и ввести в ложу; тогда, по мере удостоения вашего, вам все откроется, все станет ясно, и вы познаете на земле истинное благополучие.

То состояние духа, какое за все это время испытывал Черепов, как нельзя более располагало его в пользу сделанного ему предложения. Тоска любви, исключительно наполнявшая его душу, неудовлетворенные стремления к счастию, не дававшемуся в руки, внутреннее одиночество среди товарищей — все это делало в его глазах пустой и непривлекательной ту жизнь, которая повседневно его окружала. Он смутно, но верно почувствовал в душе, что ему необходим какой-нибудь исход, какое-нибудь отвлечение в иную сторону, во что-либо новое, еще неизведанное им в жизни, и потому-то с радостным и благодарным чувством ухватился он за предложение Гвоздеева.

— Углубитесь в себя,— сказал ему тот на прощанье,— подумайте хорошенько над самим собою, поразмыслите наперед, и если убедитесь, что хотение ваше не есть минутный порыв, а истинная воля души, жаждущей просветления, тогда решайтесь. Через два дня я заеду к вам, и коль скоро решимость ваша не ослабнет, а еще тем паче укрепится,— я буду к вашим услугам, сударь, и мы поедем тогда.

В назначенный срок Гвоздеев явился к Черепову.

— Ну что, не раздумали? — спросил он.

— Везите! — было ему решительным ответом.

— Коли так, то ожидайте меня завтра в шесть часов вечера.

На другой день, в условленное время, они сели в карету и поехали. Экипаж остановился вскоре на набережной Фонтанки, пред одним каменным домом, солид-

ной, барской постройки, наружные окна которого были замазаны белилами, что как бы указывало на отсутствие хозяев, а в сущности, быть может, служило к тому, чтобы не привлекать праздное любопытство прохожих или внимание уличных соглядатаев. Вообще все внешнее устройство этого дома показывало, что он никак не предназначался для отдачи внаймы разным жильцам. В нем не помещалось ни лавок, ни ремесленных заведений, и видно было, что весь он составляет одну квартиру, одно широкое помещение, как бы нарочно приноровленное для барского богатого семейства. Двор был чист и безлюден.

Оба приятеля, отпустив наемный экипаж, вошли в широкие, полутемные сени с колоннами и лепным потолком и поднялись по широкой лестнице в приемную комнату.

Здесь Гвоздеев оставил Черепова и, предварив, что ему придется несколько обождать, скрылся за внутреннею дверью, которая за ним наглухо захлопнулась.

Минут через десять из этой самой двери вышел какой-то неизвестный человек, одетый в черный фрак, и приблизился к Черепову.

— Если желаете последовать за мною, вы должны дозволить мне завязать вам глаза,— сказал он тихо и вежливо, приподняв к лицу его белую повязку.

— Это необходимо? — спросил Черепов.

— Это необходимо,— утвердил неизвестный самым решительным тоном.

Черепов, в знак согласия, подставил ему свою голову. Плотно завязав глаза, незнакомец взял его за руку и повел чрез большой и длинный ряд покоев. Вдруг остановился, и Черепов услышал гром тяжелых железных запоров, вслед за которым заскрипели массивные двери.

Оба переступили высокий порог и вышли в комнату, где провожатый посадил Черепова на стул.

— Когда я удалюсь отсюда,— сказал он все тем же тоном и вежливым голосом,— вы скиньте повязку и углубитесь в книгу, которая разверста перед вами.

Новый скрип двери и гром запоров возвестил об его удалении.

Черепов снял повязку и в недоумении огляделся вокруг. Его окружали совершенно черные стены какой-то мрачной пещеры. При слабом свете лампады, которая, тихо покачиваясь, висела над его головой, глаза его встретили человеческий череп и близ него развернутую Библию на бархатной голубой подушке, обшитой золотым галуном. Все это помещалось на небольшом квадратном столе, кото-

рый был покрыт тяжелой черной пеленой, со всех сторон падавшей до самого пола. Этот пол был тоже черный, затянутый сукном или войлоком.

Вся эта мрачная обстановка делала впечатление могилы, которое усилилось еще более, когда Черепов заметил вверху сводчатого потолка, как раз над своей головой, какое-то темное мерцание. Вглядевшись пристальнее, он увидел, что это было круглое матовое стекло, на котором нарисовано красками изображение мертвой головы со скрещенными костями и с надписью вокруг: «Memento mori» [1].

Черепов придвинул к себе Библию и внимательно стал читать глазами.

Через несколько времени в глубине пещеры беззвучно раскрылась совершенно незаметная потайная дверь, и в комнату вошел новый незнакомец, одетый в черное. Голубая лента обвивалась вокруг его шеи, и на ней, спускаясь на грудь, висел золотой треугольник. Тот же эмблематический знак, но только гораздо меньших размеров, на ленте алого цвета с серебряными каймами, украшал левую сторону его груди. В правой руке незнакомца сверкал темным стальным блеском обнаженный меч.

Неизвестный человек медленными шагами приблизился к столу и с важным видом спросил:

— Какое намерение ваше, вступая в собратство «вольных каменщиков»?

— Открыть вернейший путь к познанию истины,— отвечал Черепов.

— Что есть истина?

— Свойство той первоначальной причины, которая сообщает движение всей вселенной.

— По силе возможности дастся вам понятие о тех путях. Но теперь,— продолжал незнакомец,— следует вам знать, что послушание, терпение и скромность суть главнейшие качества, коих требует от вас вначале общество, в которое вы вступить намереваетесь. Чувствуете ли себя способным облечься сими первоначальными добродетелями?

— Употреблю к тому все свои силы. Но знайте также,— поспешил прибавить Черепов,— что меня привлекает не любопытство к наружным обрядам общества; я хочу увериться в том, что жаждет, но не достигает дух мой;

---

[1] «Помни о смерти» *(лат.)*.

хочу иметь средства утвердиться в добродетели и знать, бессмертна ли душа моя?

— Льзя ль сумневаться в том! Ничто не исчезает в мире.

— Но, будучи часть предвечной души мира сего, каким образом душа, оскверненная пороками, соединится с чистейшим источником своим?

— Ищите и обрящете, толцыте и отверзется; но начните повиновением,— отвечал незнакомец с несколько торжественною строгостию и, позвав вслед затем брата прислужника, приказал ему снять с Черепова все вещи, какие были при нем: шпагу, часы, кошелек, форменный кафтан, камзол и один сапог — именно с левой ноги. Исполнив что требовалось, брат прислужник накрепко и в узел перетянул ему разутую ногу платком выше колена, снова наложил на его глаза тугую повязку и обнажил грудь, спустив с левого плеча сорочку. Вслед за тем Черепов почувствовал, что к обнаженной груди его, как раз против самого сердца, приставлен меч, острие которого непосредственно касалось его тела.

— Следуйте за мною,— все с тою же важностью приказал незнакомец и, взяв Черепова за руку, повел его из пещеры.

Долго в таком положении делал он с ним различные круги и обороты по комнатам, не отводя стального острия от его груди, но наконец остановился и наложил его руку на какое-то массивное кольцо.

— Ударьте сим кольцом три раза в вертикальную плоскость,— приказал он — и Черепов исполнил его веление.

Через минуту за дверями послышался голос:

«Кто нарушает спокойстие беседы братской?»

— Профан,— отвечал путеводитель,— он желает вступить в члены священного братства.

«Не тщетное ли любопытство влечет его к тому?» — продолжал голос за дверями.

— Нет! он жаждет озариться светом истины.

«Какое имя его? звание? лета? место рождения? занятий род?»

Черепов чрез путеводителя должен был с точностью ответить на все эти вопросы, после чего дверь отворилась — и его ввели в большую залу и поставили, как показалось ему, должно быть, посередине ее. Повязка все еще оставалась на глазах его, и холодное острие касалось груди.

Через минуту, среди глубокой тишины, услышал он издали важный и тихий голос, который его спрашивал:

«Профан! Настоятельно ли желаешь ты вступить в священное сословие?»

— Да! — отвечал Черепов.

«Имеешь ли довольно твердости, чтобы перенесть испытания, тебе предлежащие?»

— Да,— повторил он с внутренним убеждением.

«Брат учредитель порядка! — торжественно воззвал тот же голос,— начни испытания и сверши с профаном путь продолжительный и трудный!»

Тогда подошел к Черепову брат учредитель порядка и, снова приставя ему меч к груди, а другой рукой взяв его за руку, начал с ним путь от востока на запад и тихо, малыми шагами продолжая водить его таким образом, громко и внятно говорил на философическую тему о жизни и смерти; потом остановился, потрепал его по плечу и воскликнул:

— Vénérable! [1] Профан свершил первое испытание; твердость его подает надежду к перенесению дальнейших.

Вслед за сим эти же самые слова были повторены еще двумя какими-то голосами, и тогда голос повелевающий воззвал:

«Брат учредитель порядка! Начни второй путь!»

И снова повторилось круговое хождение от востока на запад, и снова продолжалась ясная и твердая речь о материи и духе, о бесконечном и о бессмертии; и таким образом был пройден второй путь испытаний и за вторым — третий, который уже был последним. Когда же брат — учредитель порядка поставил Черепова на место и, потрепав опять по плечу, отдал венераблю отчет, его речь слово в слово была повторена теми же двумя голосами, и тогда уже третий голос, тихий и сострадательный, произнес:

«Возлюбленнейшие братия! Профан окончил с похвалою испытания свои. Он достоин вступить в общество наше. Позволите ли ему приобщиться к лику вашему!»

Раздалось глухое рукоплескание многочисленных лиц, из чего Черепов догадался, что этим знаком братья изъявили свое согласие.

«Итак, да приблизится!» — повелел издали голос.

Новопринятого брата повели прямо вперед, направляя его ноги так, чтобы он ступал на известные места, взвели

---

[1] Почетный *(фр.)*; здесь: венерабль — почетный член, старейшина в масонской ложе.

на ступени, поставили одним коленом на подушку и возложили правую руку на Библию и меч. Кто-то наложил на эту руку свою длань и повелел клясться в сохранении тайны.

По произнесении клятвы, слова которой Черепов повторял вслед за незнакомым ему голосом того, кто держал под своей ладонью его руку, его отвели задом на прежнее место, и здесь некто возле него сказал ему: «Выстави язык!» — и приложил к нему какое-то железо.

В то же самое время раздался повелевающий голос: «Да спадет повязка с глаз его. Да удостоится увидеть свет лучезарный!» — и она упала.

Мгновенно пред глазами Черепова вспыхнуло большое яркое пламя и столь же мгновенно исчезло. Тут он увидел пред собой, в освещенной круглой зале, до сорока человек, сблизившихся к нему в полукружие, с устремленными прямо против него мечами. За этими людьми, на возвышении, где помещался престол, под зеленым балдахином, усеянным звездами, стоял великий магистр, с повелительно простертою вперед рукою. По мановению его сонм братьев молча занял места свои.

Приглядываясь к этим людям, Черепов заметил, что все они сидели в черных шляпах, и на каждом надет был белый лайковый передник; но у одних передники были просто белые, у других же — обшитые розовыми и голубыми лентами, что означало разные степени достоинств. Точно так же по степеням распределялись и те символические знаки, которыми украшались груди братий. Золотые и серебряные треугольники у одних висели на голубых, у других на алых лентах, и при этом на шее или же в петлицах. Великий магистр тоже был покрыт шляпою, только вместо треугольника на нем красовался золотой угольник, подвешенный на голубой широкой ленте. Пред ним стоял стол, покрытый до самого пола зеленым бархатом. По трем углам этого стола возвышались три массивных шандала, а посредине лежали на подушках: Библия, меч, белый молоток, циркуль и треугольник.

Когда все расселись по местам, великий магистр приказал подвести новопринятого члена к своему престолу.

Теперь, подходя к нему уже с открытыми глазами, заметил Черепов, что посреди залы лежал на полу большой план Соломонова храма. Он догадался, что при первом приближении к престолу ноги его последовательно были переставляемы нарочно затем, чтобы ступать на

известные изображения, и именно на те места, которые по плану ведут постепенно во святая святых.

Взойдя на ступени и приблизясь к престолу, Черепов преклонил колено. Великий магистр взял циркуль, наставил его на обнаженную грудь неофита и троекратно ударил по ним молотком. Кровь брызнула из раны, к которой брат учредитель поспешил подставить серебряную чашу. Каждое действие сопровождалось здесь особенными словами и изречениями, по установленному обряду. Когда чаша достаточно уже оросилась кровью, великий магистр предложил Черепову одеться, для чего он и был введен в смежную горницу, где ему уняли кровь с помощью какой-то вяжущей жидкости и помогли облечься в его платье, и когда после этого он опять был введен в круглую залу и поставлен пред престолом, венерабль обратился к нему с особенной речью.

— Возлюбленный брат! — начал он торжественным голосом,— все, что ты ощутил и видел, суть гиероглифы таинственной существенности: повязка на очах, темная храмина, умственные углубления, ударение кольцом, пути с востока на запад, шествие по изображению храма Соломонова — все это есть не иное что, как разительные черты того, что может возбудить в душе твоей мысли о ничтожности мира и желание к отысканию истины: ищите и обрящете, толцыте и отверзется. Мы уверены, что довольно бы было единого слова твоего к сохранению тайны; но мы ведаем также и слабость сердца человеческого и потому, над священною сею книгою религии, наполняющею ревностью сердца всех нас, приемлем, для обеспечения себя, клятву твою, снизующую тебя с нами посредством сей священной книги. Для того требуем мы клятвы к сохранению тайны, дабы профаны, не понимающие цели братства сего, не могли издеваться над оною и употреблять во зло. Свобода и равенство царствуют между нами. Под именем «вольных каменщиков» мы будем стараться вкупе о восстановлении здания, основанного на краеугольных каменях, изображенных в сей изящной книге.

При этом венерабль указал на Библию. Затем, подавая Черепову лайковый передник и маленькую кирку:

— Любезный брат! — продолжал он,— для того-то облекаем тебя, подобно каменщику, запоном и вручаем кирку. Приими также и сию безделку — знак братского союза нашего — и носи на груди твоей всякий раз, когда посетишь общество.

И он вручил Черепову прорезной золотой треугольник, на сторонах которого было изображено: «Les amis réunis»[1], а в средине — две соединенные руки. Этот орденский знак висел на алой с серебряными каймами ленте.

— Приими сии перчатки,— продолжал оратор, подавая Черепову пару, сделанную из батиста,— и да будут они тебе в знак сохранения чистоты твоих деяний; прими также и эти две женские перчатки — для подруги жизни твоей, если таковую изберешь себе. Прекрасный пол не входит в состав нашего общества, но мы не нарушаем устава творца и натуры. Приими наконец сей меч, которым должен отсекать страсти твои, и ведай, что общество соединенных братий, в которое ныне вступил ты, есть ничто само по себе, если не устремишь воли своей к отысканию истины; но это общество служит преддверием пути, который жаждет открыть пробужденная совесть падшей души.

По окончании этой речи великий магистр обратился к брату учредителю порядка и повелел ему облечь Черепова в символические знаки «вольных каменщиков» и научить предварительным гиероглифам. Тогда брат учредитель принялся объяснять неофиту, что так как он, неофит, принадлежит пока еще к «Les Apprentis», т. е. к ученикам, которые составляют первую степень масонства, то знак этой категории есть как бы хватающее прикосновение правой руки к шее, потом относ этой руки на правое плечо, слагая большой палец с указательным, и, наконец, опущение ее вдоль по бедру. Знак же «для познавания брата» заключается в пожатии рук таким образом, чтобы большой палец одного подавил руку другого вдруг два раза, с малой остановкой, а в третий гораздо сильнее и продолжительнее.

— Слово для узнания масона есть «Saquin»,— продолжал брат учредитель,— и говорится оно после пожатия руки так: «Скажи мне первое слово, я тебе скажу второе». Тогда вопрошаемый, буде он масон, произносит: «s», а вопросивший вслед за ним: «a», первый «q», второй «u», и так далее. Слово священное есть «Tudalcain», и все эти слова и гиероглифы имеют свое значение, но первой степени оные не открываются.

Этим последним объяснением закончилось посвящение Черепова в масоны. Проэкзаменовав его тут же относительно правильного усвоения им гиероглифических знаков и найдя, что он усвоил их верно, ему подвязали лайковый передник, повесили на пуговицу кирку, а в петлицу треу-

[1] «Объединенные друзья» *(фр.)*.

гольник, дали в руки обнаженный меч, велели надеть шляпу подобно всем братьям и указали то место, которое должно принадлежать ему во время братских собраний.

После этого все члены поднялись со своих мест и чинно отправились в особую столовую, где ожидало их братское пиршество.

XIX
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ПЕТЕРБУРГА ПРИ ИМПЕРАТОРЕ ПАВЛЕ

Первая ученическая степень масонства, в которую был посвящен Черепов, не открыла пред его нравственно-духовными очами никаких особенных тайн и откровений, которые двинули бы жизнь его на новую дорогу, указали бы ему иные, высшие цели и задачи. А он так желал, так надеялся именно этого!.. Гвоздеев утешал его тем, что не все-де может быть открыто сразу, что наперед нужна основательная подготовка и строгая последовательность в степенях, а за тем, со временем, все само собою станет ясно и «маэстозно» для его ищущего и пытающего духа. Но пока — все это сулилось еще впереди, а в настоящую минуту, при всех своих усердных и аккуратных посещениях ложи, Черепов видел одну только внешнюю сторону масонства, одни лишь обряды, часто вовсе не постигая их смысла и ни во что не успевая проникнуть далее и глубже этих чисто внешних формальностей. Такое положение вскоре намного охладило его рвение, и он стал уже гораздо реже посещать «собратство». Разочарование последовало еще и оттого, что многие из масонов, не только низшей, но и более высоких степеней, не стеснялись в обществе относиться легко и даже иронически как о собратьях, так и о своем собственном масонстве. «Что ж это! одна мистическая забава, игра взрослых детей в *страшную игру!*» — с горечью думалось ему в иные минуты. Но положительный результат, приобретенный Череповым в масонской ложе, заключался в новых знакомствах с некоторыми из тогдашних профессоров Академии Наук. Императрица Мария Феодоровна оказывала особенное внимание и покровительство этому ученому учреждению, и даже несколько профессоров русского происхождения пользовались от ее величества особыми субсидиями за чтение публичных лекций в залах Академии и в кунсткамере. Профессор Гурьев читал там высшую математику, Захаров — химию, Севергин — минералогию, а Озерецков-

ский — зоологию и ботанику. Публика в особенности любила последнего; хотя он говорил и грубо, не разбирая выражений, но всегда умно, ясно и увлекательно. В числе слушателей его были многие морские и горные офицеры; посещали иногда аудитории и молодые гвардейцы, между которыми Черепов был не из последних. Эти лекции доставляли им случай к развитию многих понятий и к приобретению основательных сведений о некоторых научных предметах. Гвоздеев тоже был в числе наиболее ревностных слушателей и, подбодряя Черепова, говорил ему, между прочим, что это есть один из существеннейших путей к усвоению масонских стремлений и «абсолютной истины».

Академия того времени хотя и не отличалась особенным блеском, но приносила обществу несомненную пользу. Подле знаменитых иностранцев: Эйлера, Эпинуса, Палласа, Шуберта и Ловица стояли рядом русские имена: Румовского, Лепехина, Озерецковского, Севергина, Иноходцева, Захарова, Котельникова, Протасова, Зуева, Кононова и Севастьянова. Правда, не все из этих русских были люди великие и гениальные, притом многие же из них сильно придерживались чарочки, но все они трудились и честно действовали «на пользу и преуспеяние» России. Первое место в числе их занимал Озерецковский, человек умный, основательно ученый, но вздорный, сквернослов и большой руки кутила. Гвоздееву удалось как-то ввести Черепова в профессорскую компанию, и хотя он был плохой ученый собеседник, но профессоры уважали его за добрый, открытый нрав, за полную и беззаветную готовность, во всякое время дня и ночи, на всякую лихую отчаянную штуку, за уменье хорошо выпить, еще лучше угостить да, наконец, и блестящий конногвардейский мундир, в глазах многих ученых того времени, тоже что-нибудь значил. Словом, не один из них находил, что быть с Череповым в знакомстве «и лестно, и приятно». Обо всей этой компании ходило тогда много анекдотов. Рассказывали, например, что однажды летом все члены Академии были на свадьбе у одного из своих товарищей на Васильевском острове. Часу в шестом утра шли они домой, гурьбою, в шитых мундирах, в орденах, и присели дорогой на помост канавки, чтобы отдохнуть и перевести дух. В это время лавочник отворял свою мелочную лавку. Озерецковский предложил зайти и напиться огуречного рассолу, что преотменно действует после попойки, и крикнул лавочнику подать им ковш «сего нектару». Напились и отыкались

ученые. «Эх, да и хорош же у тебя рассол, собака! Что же мы тебе должны? сколько с нас следует?» — «Ничего-с, ваши превосходительствы и сиятельствы!» — отвечает купец с поясным поклоном. «Как ничего?!» — «Да так, ваши превосходительствы, потому ведь и с нашим братом это случается».

Чтобы размыкать свою внутреннюю тоску, Черепов в это время отдался разным течениям, кидался в разные сферы общества, жизни и занятий, нимало даже не заботясь, «пристойно ли сие гвардейскому мундиру». Ему просто хотелось как бы то ни было и где бы то ни было забыться, заглушить, потопить эту назойливую и ревнивую кручину, которая по временам, и особенно после встреч в большом свете с графиней Елизаветой, глубоко забиралась в его сердце.

Но ни масонство, ни наука, ни даже профессорские кутежи не помогали. Вне графини Елизаветы — все казалось ему скучным, бесцветным, мертвенным, ничто не привлекало, ни в чем не почерпалось забвения.

Да и самые условия жизни тогдашнего общества все более и более становились тесными и печальными. Время было тяжелое, и вообще, и в частности, и сделалось оно таковым вскоре по возвращении государя из путешествия по России; но в особенности казалось оно тяжким по сравнению с привычками и жизнию екатерининского времени. Все переменилось разом так резко и круто, и общество остановилось в полном недоумении пред явлениями новой жизни. Государь на многих из придворных и сановников имел подозрения, и сколько из них, чуть ли не ежедневно, были отставляемы от службы и ссылаемы на житье в деревни! Тайная канцелярия была завалена делами, преимущественно раскольничьими; Обольянинов разбирал основания разных сект; многих из сектантов брали в «Тайную», брили бороды и ссылали на поселение. По отзывам современников то настала «эпоха ужасов». Один из них [1] говорил, что «сердце болело, слушая шепоты, и рад бы не знать того, что рассказывают»; а другой [2] свидетельствует, что в то время «надлежало остерегаться не преступления, не нарушения законов, не ошибки какой-либо, а только несчастия, слепого случая»; и все жили

[1] Мертваго Д. Б. «Русск. архив» 1867 года, с. 118. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Греч Н. В. «Русск. архив» 1873 года, с. 697—699. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

тогда с таким точно чувством, как во время какой-нибудь повальной болезни: прожили день — и слава богу. Если в каком-либо доме занимал квартиру квартальный надзиратель, то он свободно мог являться тираном и страшилищем всего дома,— была бы лишь охота; его слушались со страхом и трепетом, от него прятались и убегали на улицах. Донос полицейского агента нередко мог иметь самые гибельные последствия. Даже самые невинные удовольствия не всегда проходили без приправы страха и горечи. Многие были до того напуганы, что если, бывало, заслышат курьерский колокольчик, то так и затрясутся, так и побледнеют: все чудилось, будто фельдъегерь или даже сам полицеймейстер Эртель едет брать их в «Тайную». Брали иногда бог весть почему, даже по такого рода доносам прислуги, что господа говорили-де о курносых. Это было уже усердие паче меры и разума, и государь большей частию даже вовсе и не знал о нем.

А в то же время трудно и представить себе то бешеное веселие, которое в эти самые дни царило в петербургском обществе. В десять часов, по распоряжению полиции, все огни в домах должны были быть погашены, но обыватели выдумали шторы на двойной подкладке, которые, будучи спущены в урочный час, препятствовали видеть комнатное освещение с улицы, и хозяева, простившись со слишком строгими блюстителями законных формальностей, оставались в кругу людей, не заботившихся о том, что ожидает их завтра,— веселились напропалую, танцевали до упаду, вели речи самые безбоязненные, произносили суждения самые резкие. Но часто, с наступлением грозного завтра, гости, при возвращении домой, находили ожидавшую их тройку, которая отвозила «по назначению». Случалось, что и хозяева были отправляемы туда же так скоро, что созванные ими с утра гости не находили их. Но эти внезапные исчезновения не удивляли и не смущали никого: всякий мог ожидать на всякий час подобной же участи, а до того с русской беззаботностию старался запастись весельем. Но еще более может показаться невероятным, что в стране, подчиненной таким грозным порядкам, могли люди пользоваться замечательной свободой порицания. В том ящике, который был выставлен в одном из нижних окон дворца для кидания просьб и жалоб, государь нередко встречал карикатуры и пасквили на свою особу, и — замечательная черта характера! — иногда он смеялся, если находил их остроумными, и всегда оставлял их, все без исключения, без всяких последствий для авторов. Из-

вестен, между прочим, факт об одном камергере, который постоянно позволял себе говорить о Павле Петровиче, еще в бытность его наследником, самые резкие вещи, что, конечно, было небезызвестно его величеству. Сделавшись государем, Павел однажды во дворце увидел своего давнишнего недруга, который старался теперь всячески удаляться и прятаться за других, чтобы не попасться ему на глаза. Подойдя к нему самым милостивым образом и взяв его за руку, государь сказал: «Что вы так прячетесь все от меня! Поверьте, милостивый государь, все то, что *великий князь* знал и слышал, он не скажет о том *императору*». Таково же точно было его отношение и к пасквилям. Пламя камина обыкновенно тотчас же поглощало эти произведения подпольных авторов.

Придворные балы, торжества и празднества не поражали теперь таким ослепительным блеском и баснословною пышностью, как в предшествовавшее царствование, но всегда были оживленны и нередко весьма оригинальны. В последнем отношении особенно выделялось торжество накануне Иванова дня, 23-го июня. Оно учредилось с тех пор, как государь, в январе 1797 года, заключил конвенцию с «державным орденом мальтийским» об установлении этого ордена в России.

Св. Иоанн, как известно, был почитаем в качесте патрона мальтийских рыцарей. Накануне дня его праздника все «великое приорство российское» собиралось в одном из загородных дворцов, преимущестенно в Павловском, и составляло орденскую думу, вело «протокол всем своим советованиям» и «делало о том в Мальту потребные сообщения». Впоследствии, когда император Павел принимал права и титул гроссмейстера этого ордена, он назначил на остров Мальту русский гарнизон и особого коменданта, а город Мальту повелел внести в академический календарь, «наравне с губернскими Российской империи городами». Накануне мальтийского празднества, обыкновенно вечером, все наличные войска были собираемы парадом вокруг дворцовой площадки, а самый дворец занимали кавалергарды и лейб-экскадрон конногвардейцев, которые размещались по покоям на проходе его величества. К назначенному часу все находившиеся в Петербурге кавалеры и командоры ордена св. Иоанна Иерусалимского собирались во дворец и открывали процессионное шествие по два в ряд. На них тогда красовалось особое одеяние: алый орденский супервест с вышитым на груди изображением белого мальтийского креста. В замке этой процессии

шел император в сопровождении орденского оруженосца, Павла Ивановича Кутайсова, и командира «кавалергардского корпуса», с палашом наголо. Вся процессия троекратно обходила около девяти костров, разложенных на площадке, обрамленной войсками, после чего император и один из высших сановников ордена бросали на костры пылающий факел и зажигали их, а затем шествие тем же порядком, между горящими кострами, возвращалось во внутренние дворцовые покои. Императрица с женской половиной царской фамилии, дамы высшего круга и весь двор обыкновенно любовались на этот древний рыцарский обряд из-под намета особой палатки, разбивавшейся поблизости.

Но более всего бывало оживленно в Гатчине во время осенних маневров. Здесь, в этой колыбели павловской армии и флота, в этом питомнике их организации, учреждений, выправки и дисциплины — было любимейшее местопребывание императора во время осени. Петергоф он еще любил и живал там, среди освежающих фонтанов, в самую жаркую летнюю пору, но Царского Села терпеть не мог и почти никогда в него не заглядывал. В Гатчине, еще при жизни императрицы Екатерины, благодаря постоянному пребыванию там наследника, образовалась как бы совсем иная атмосфера, где все приезжающие во дворец были принимаемы с любезностью и радушием; но вместо непринужденности и легкой, веселой свободы, господствовавшей при большом дворе, здесь все было чинно, скромно, семейно и бесшумно. Все здесь было устроено несколько на прусский лад, и именно по старинным образцам прусским: повсюду трехцветные шлагбаумы на въездах и выездах из городка, повсюду часовые, которые, бывало, на прусский манер окликают проезжающих и стоят в старинной форме времен Фридриха-Вильгельма I. Там был выстроен «форштадт» — совершенное подобие маленького немецкого, очень чистенького городка; казармы, конюшни, гауптвахты и вообще все казенные строения — точь-в-точь такие, как в Пруссии, что так нравилось Павлу Петровичу еще со времени его путешествия по Европе.

Здесь, в уединении, он мог свободно предаваться своим любимым занятиям: воинским экзерцициям, составлению военных проектов, реформ, уставов, верховой езде и чтению научных книг. Известно, что он был одним из лучших ездоков и наездников своего времени и еще с раннего возраста отличался в каруселях; он знал в совершенстве

языки: русский, славянский, французский и немецкий, владел достаточно хорошо итальянским и латинским, был хорошо знаком с историей, географией и математикой, говорил и писал весьма легко и свободно и всегда отличал особым вниманием людей остроумных.

Гатчина уже и в это время была прекрасным уголком среди петербургских окрестностей. Лучшим ее украшением служил дворец или, точнее, замок, с башнями и подземными ходами, построенный просторно и прочно из тесаного местного плитняка и окруженный каменной стенкой, рвами и земляными валами, на которых и доселе еще стоят орудия того времени. Парк и тогда уже был тенист и очень обширен и изобиловал превосходными старыми дубами. Прозрачный поток и теперь, как тогда, вьется по парку и по садам, во многих местах расширяясь в обширные пруды, которые почти можно назвать озерами и на которых красовались в полном боевом снаряжении две прекрасные яхты. Вода в этих прудах до того чиста и прозрачна, что можно считать камешки на глубине двенадцати или пятнадцати футов, где плавают большие форели и стерляди. Этот замок вполне удовлетворял романтическим, рыцарственным наклонностям императора Павла.

Во время осенних смотров, парадов и маневров здесь происходили большие увеселения: концерты, балы, маскарады, фейерверки и спектакли, преимущественно французские, беспрерывно следовали одни за другими. Казалось, что на эти немногие, ясные осенние дни все удовольствия, все развлечения Версаля и Сан-Суси сосредоточивались в Гатчине. Но эти празднества часто помрачались строгостями всякого рода, как, например, арестом офицеров или мгновенною ссылкою их в отдаленные полки. Государь часто бывает сердит и особенно вспыльчив; но замечательно, что из уст его никогда, ни при каком случае, не вырывалась грубая или обидная брань. Он и в гневе умел сохранять свои врожденные свойства присущей ему рыцарской вежливости. Случались также и несчастья, какие нередко бывают на больших и горячих кавалерийских маневрах, и эти случаи весьма раздражали императора; но он постоянно выказывал много человеколюбия и сердечной теплоты, если кто-либо из солдат или офицеров серьезно был ранен.

XX
«СПРАВА ПОВЗВОДНО, В СИБИРЬ НА ПОСЕЛЕНИЕ»

Осенние маневры 1789 года отличались особенным оживлением. Весь двор и высший петербургский свет переселились на это время в Гатчину. Все обывательские дома этого маленького городка были заняты временными постояльцами, которые за какую-нибудь небольшую комнату платили «неслыханно дорого» — от пяти и даже до десяти рублей в две недели. Войска, собранные под Гатчиной, разделялись на два отряда: одним командовал граф Пален, другим — Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Великий князь Константин Павлович временно исполнял должность военного губернатора Гатчины. Утро обыкновенно проходило в поле, воинственные клики, звуки барабанов и гром выстрелов оглашали мирные гатчинские окрестности, а по вечерам все общество собиралось в залах обширного дворца наслаждаться звуками прекрасной музыки и изящной игрой французских актеров. И воинские экзерциции, и придворные увеселения — все это шло прекрасно, стройно, удачно, и потому государь все дни находился в отличнейшем расположении духа. Рассказывали несколько происшедших за это время случаев, которые получили даже анекдотическое значение. Так, например, говорили, что однажды утром дежурный адъютант, в чине поручика, рапортует государю о состоянии одной воинской части, подав ему предварительно писанную «рапортичку», где было проставлено число людей, наряженных в караул, на дежурство; больных и арестованных не было никого. Государь по этой записке следил за словесным рапортом адъютанта, а тот, рапортуя: «дежурных столько-то, больных столько-то», по рассеянности или по невольной привычке, произносит: «под арестом», да вдруг спохватился, что под арестом-то нет никого, и замолк, совершенно осекшись.

— Кто под арестом? — спросил император.

Адъютант смутился еще более и молчит.

— Кто под арестом? — строго повысив голос, повторил его величество.

— Я, государь! — промолвил адъютант, преклоняя колено.

— Встань, капитан! — весело сказал император, довольный находчивостью этого ответа.

В другой раз, во время самого маневра, его величество посылает ординарца своего Рибопьера, только что произве-

денного в корнеты конной гвардии, с какими-то приказаниями к генералу Кологривову, который командовал кавалерией. Рибопьер, не вразумясь или не вслушавшись хорошенько, отъехал в сторону и остановился в крайне критическом положении, не зная, как ему теперь быть и что делать? И вдруг он видит, что к нему скачет сам государь с вопросом:

— Исполнил ли повеление?

— Ваше величество, я убит с батареи по моей неосторожности,— почтительно доложил ординарец.

— Ступай за фронт! Вперед наука! — довершил император.

Эти анекдоты, бывшие новостью дня, передавались из уст в уста и служили как бы мерилом того прекрасного расположения духа, в каком находился император.

В один из воскресных дней, на разводе, данном от Преображенского полка, его величество, по званию батальонного командира, в штиблетах и пешком парадировал во главе батальона пред императрицей и ловко, искусно и легко салютовал эспонтоном.

По окончании развода, окруженный всем генералитетом, начальниками разных частей и полковыми командирами, государь выразил им и велел передать войскам свое особое благоволение и удовольствие по поводу образцового хода маневров и всех вообще воинских занятий.

— Я знал, господа,— прибавил он при этом,— я знал, что образование войск по уставу было не всем приятно: я ожидал осени, чтобы вы сами увидели, к чему все клонилось; теперь вы видите плоды общих наших трудов во славу и честь оружия российского.

Одним словом, все предвещало милости и награды, начальство было необычайно довольно, как вдруг одно обстоятельство помрачило общее настроение духа.

На следующее утро после этого счастливого развода лейб-гвардии Конному полку назначено было линейное учение. Надо заметить, что государь отчасти имел предубеждение против этого полка за его прежний дух и иногда полушутя, полусерьезно называл конногвардейцев якобинцами.

— Vous êtes jacobins,— говаривал он полковнику Саблукову,— pas vous, mais le regiment [1],— и таково было его постоянное убеждение. Но на сей раз его величество, будучи весьма доволен полком, пожелал оказать ему осо-

[1] Вы — якобинцы... не вы, а полк *(фр.)*.

бую честь и объявил, что завтра он сам будет учить конногвардейцев.

Наутро погода стала хотя и ясная, сухая, но с ночи еще дул сильный и порывистый ветер, который ни на минуту не унимался.

Конногвардейцы вышли на учебный плац в самом блистательном виде, облеченные в свою полную парадную форму.

Они рассчитывали показаться государю истинными молодцами и поддержать относительно себя его благоволение. Ряды открытых экипажей, придворные линейки, наполненные нарядными дамами и кавалерами, и множество публики наполняли окраины плаца — все это стеклось сюда любоваться на учение самого блестящего полка русской кавалерии. Графиня Елизавета и Нелидова тоже присутствовали между фрейлинами. Окончив обычный развод, государь около девяти часов утра прибыл верхом на плац-парадное место и принял полк в свое командование. Чтобы показать полку особое его внимание, он нарочно оделся в конногвардейскую форму.

Встреченный трубными звуками и салютом преклонившихся штандартов, его величество, в сопровождении блестящей свиты, поскакал вдоль фронта, приветливо здороваясь с эскадронами. Затем свита отъехала далеко в сторону, и государь, оставшись один пред полком, начал учение. Сначала дело шло прекрасно. Началось с «перемены фронта назад». Для этого подана была его величеством команда: *«Перемена фронта и флангов. Весь полк по четыре, направо рысью марш!»* Эскадроны отчетливо заехали отделениями направо. Предстояла одна из самых эффектных и красивых кавалерийских эволюций того времени, но зато же она была и самой трудной, самой головоломной и опасной.

— *Стой, равняйсь!* — скомандовано было тотчас же после заезда.— *Укороти поводья! С места, марш-марш!*

И вслед за этим словом первое отделение первого эскадрона сразу и круто поворотило «левое плечо вперед кругом» и во весь карьер помчалось почти по той же линии фронта, которую занимал полк до команды. Все остальные отделения полка тем же аллюром следовали на хвосте за первым. Таким образом, одна половина полка мчалась в глубокой колонне навстречу другой почти локоть к локтю встречного всадника. Лошади в нашей кавалерии того времени вообще были недостаточно выезжены,

и на таких-то лошадях приходилось проделывать подобную молодецкую штуку! При этом нередко случалось, что они заносили, и всадники не всегда могли с ними справиться: кони сталкивались, люди сшибались друг с другом, отчего выходили и несчастные случаи. Но на сей раз бог помиловал: эволюция была исполнена не только вполне благополучно, но и блистательно по своей эффективной стройности. Вся вереница громадных всадников мчалась до той минуты, пока не поменялась флангами, т. е. пока правый фланг не очутился на месте левого, а левый на месте правого.

Тогда раздалась команда: *«Стой!.. Во фронт, марш! Стой, равняйсь»*,— и мчащаяся вереница на месте осадила коней и по отделениям сделала заезд во фронт, т. е. задом к прежней линии фронта.

— Хорошо, ребята! — послышался довольный голос государя.

Весь полк, как один человек, отгрянул молодецки: «Рады стараться!»

Но затем учение пошло уже менее удачно. Неистовые и шумные порывы ветра относили порой не только слова команды, но даже и трубный звук сигнала делали неясными, особенно если он подавался издали. Дивизионерам и эскадронным командирам из-за этого ветра приходилось иногда командовать и делать построения чисто наугад, по вдохновению или по соображению с каким-нибудь одним словом, которое случайно долетало к ним из целой командной фразы. Понятно, что при этом нередко исполнялось вовсе не то, что командовалось, а порой происходила даже и путаница во фронте. Император, видимо, начинал досадовать и сердиться.

Новый устав, выработанный под сильным и непосредственным влиянием Аракчеева, вносил во фронт буквальную и строгую точность, каждый прием исполнялся не иначе, как по темпам; каждому движению, да и вообще всему была положена строго и определенно очерченная рамка, выходить из пределов которой не осмеливались даже генерал-фельдмаршалы. Устав предписывал всем, начиная от фельдмаршала и кончая рядовым, «все то, что должно им делать», и не допускал ни малейших отступлений от своих формул, подчиняя своей букве всех и каждого и требуя только безусловно точного, так сказать, автоматического исполнения.

Конногвардейцам приходилось жутко; они видят, что путают, чувствуют, что государь, глядя на них, должен

быть гневен, ветер меж тем так и свистит, так и бьет на просторе.

— Господа офицеры, к атаке! — командует император.— Весь полк рысью вперед — марш!

И вслед за этим повернулся и поехал рысью. Отъехав шагов шестьдесят, он крикнул: «Марш-марш!» — дал шпоры и пустил коня полным карьером.

— Стой, равняйсь! — раздалась его команда, в виду всей публики, почти на самом краю плаца. Осадив коня, он повернулся назад,— и что же?.. Развернутый полк виднеется вдали — и ни с места! Как стоял, так и стоит, словно вкопанный.

Государь сильно натянул повод, закусил губы, плашмя и свободно опустил вниз палаш и сдержанным троттом отъехал на ближайшую дистанцию к полу, на то место, с которого обыкновенно пропускал полки мимо себя церемониальным маршем. Свита, предполагая, что линейное учение кончено и сейчас начнется церемониал, спешно приблизилась к государю и стала позади его красиво-пестрой свободной группой.

— Полк, слушай-ай! — отчетливо, размеренно и громко раздалась его команда.— По церемониальному маршу!.. Справа повзводно... в Сибирь... на поселение... шагом... марш!.. Господа офицеры!

И вот, лейб-гвардии Конный полк по знаку его палаша плавно тронулся с места. Впереди всех на рослом пегом коне красиво и горячо выступал полковой адъютант, за ним ехал залитый в золото литаврщик со своим богато изукрашенным инструментом, далее два трубача, за ними полковой командир, потом командир лейб-эскадрона, имея позади себя двух младших корнетов, а затем, уже по порядку своих нумеров, красиво следовали стройные взводы. Пред каждым на ретивом коне в лансадах ехал взводный офицер и салютовал палашом, парадируя мимо императора. Трубачи протрубили «поход», или, как называлось тогда, «фанфар»,— и вслед за ними полковой хор грянул «марш лейб-гвардии Конного полка» на своих валторнах, тромбонах, флейтах и гобоях.

Эта была минута необычайного эффекта. В ответ на салют каждого взводного командира император прикладывался к полю своей треугольной шляпы. Бледные лица безмолвной свиты выражали испуг, беспокойство, недоумение... Все свитские очень ясно слышали роковую команду императора; у многих из них в строю этого самого полка были внуки, сыновья, братья, племянники, друзья

и приятели... Надо отдать справедливость конногвардейцам: они прекрасно, спокойно, с великолепным эффектом уходили церемониальным маршем в свою неожиданную сибирскую ссылку.

Публика на окраинах плаца еще не знала, в чем дело, и с удовольствием любовалась на красивый шаг конногвардейцев.

Пропустив мимо себя последний взвод и не проронив ни единого слова, император угрюмо съехал с плаца в одну из аллей и направился домой. Свита, пораженная чуть не паническим страхом, в глубочайшей тишине следовала за ним шагом.

Дежурный фельдъегерь, гремя и пыля своей взмыленной тройкой, нагнал на дороге Конногвардейский полк и подал пакет командиру. Тот, не останавливая церемониального марша, вскрыл конверт, между страхом и радостью надеясь, что эта бумага несет прощение с приказанием возвратиться в казармы, но вместо того помутившимся взором прочел он маршрут, которым определялось следование до Новгорода, с пояснением, что дальнейший маршрут до Сибири будет ему выслан своевременно. «Идти весь путь неукоснительно церемониальным маршем»,—прибавляла инструкция в заключение.

— Будет исполнено в самой точности,— промолвил командир, приложив руку к шляпе, и фельдъегерь тою же дорогой помчался обратно.

Первый ночлег полку назначен был в Тосне,— ямской слободе на большой московской дороге.

XXI
«НАЛЕВО КРУГОМ»

На другой день после этого происшествия, в предобеденное время, графиня Елизавета Ильинишна сидела в комнате Екатерины Ивановны Нелидовой, обсуждая с нею, в каком наряде следует быть на нынешнем интимном вечере, который предполагался в гатчинском дворце, на половине императрицы, для небольшого, самого отборного общества.

В это время вошел ливрейный камер-лакей и подал Лизе письмо на серебряном подносе. Сургуч на конверте

был самого скверного достоинства и вместо печати притиснут медной копейкой.

— Прислано с нарочным,— пояснил лакей, откланиваясь.

Недоумевая, откуда бы могло быть это послание, Лиза сломала печать и равнодушно принялась за чтение. Но чем более она углублялась в письмо, тем все тревожнее и взволнованнее становилось выражение ее красивого личика.

«Пишу к вам ночью, с яма Тосны,— читала она,— с сего первого нашего этапа в отдаленное сибирское странствие. Мог ли я еще ныне утром считать на такой исход дня, прекрасно начавшегося!.. Вы, конечно, уже известны о той злополучной судьбине, коя постигла наш полк, а в том числе и меня, на ученье сего утра. Все дело в одном великом недоразумении. Мог ли кто-либо, не токма уже целый полк, дерзнуть и в помышлении, чтобы сознательно учинить что-либо супротивное воле его величества! Тем не менее мы все несем кару за ослушание команды, которой вовсе не расслышали. Противный несносный ветер совершенно относил в иную сторону слова команды. Мы видели, как его величество поехал рысью с пункта, достаточно от нас отдаленного, видели, как помчался он карьером, но не дерзнули учинить того же вослед за ним, опасаясь преступить наистрожайшее требование устава, не допускающее ни малейшего движения во фронте, помимо команды ближайших начальников. Ни я, ни кто-либо из нас не осмелились взять сего движения вперед на свой риск, хотя и чаятельно было, что означает оное вероятную атаку. Но так как мы и без того достаточно в сие учение погрешили, то и не желали новою погрешностию отягчить свои невольные вины, а потому и остались на месте в неподвижности. Но как бы то ни было, теперь уже дело это конченое и непоправимое. Мы идем в Сибирь, чтобы в ее хладных степях скончать всю нашу дальнейшую служебную карьеру. О выходе в отставку не может быть и помышления, так как идем мы не своей охотой, а впоследствии грозной опалы его величества, и потому должны служить, где укажет его величайшая воля, доколе сам он не преложит гнев свой на милость. Мы, однако, пока и в самом мечтании не считаем на пощаду. Знаем только одно, что, куда бы ни кинула нас суровая судьба, мы все до единого пребудем до конца в неколебимой верности и преданности государю и отечеству. Таково наше всеобщее убеждение. Но довольно о сей материи. Простите велико-

душно, что дерзаю утомлять внимание ваше столь длинным посланием, но смотрите на меня теперь как на человека не от мира сего и как бы на умершего. Уповательно, что в сей жизни мы с вами никогда более не встретимся, а потому примите снисходительно и благосклонно сию первую и последнюю мою исповедь. Среди светских утех и рассеяний, среди блистательных поклонников ваших вы, графиня, едва ли даже и примечали то глубокое, нежное чувство, которое молча питал я к вашей особе. Теперь, отходя на вечную разлуку, можно сказать по чести и прямо о том, чего никогда не дерзал я выразить вам в лицо. Причиной сему опять же сие самое мое чувствование, которое я чтил и лелеял слишком свято в своей душе, чтобы осмелиться выказать его наружу... Меня удерживало сумнение, как вы его примете. Теперь — дело инакое, и, кончая сии строки, я прошу вас верить, что там, где-то в глубине снегов сибирских, всегда будет биться для вас преданное сердце, которое до последнего своего содрогания не престанет благоговейно чтить ваш образ. Прощайте навсегда. *Василий Черепов*».

Когда Лиза читала последние строки, лицо ее сделалось бледно и на глазах показались крупные слезы. В словах Черепова заключалось для нее открытие такой тайны, о которой она и не подозревала доселе, и это открытие было ей приятно, сладко, утешительно. Почему? Она и сама не могла бы дать себе в том отчета; но перечитав еще раз эти строки, почувствовала на сердце какую-то удовлетворенность, нечто теплое и хорошее, и благодарное. Это чувство казалось ей похожим на то, как будто она, среди роскошного, но чужестранного города, в котором все так шумно, пестро и весело, где ей самой тоже весело, но где она никого не знает и среди чуждой толпы сознает себя совершенно одинокой, вдруг нежданно и негаданно повстречалась с добрым, старым знакомым, с которым вот именно теперь, в эту самую минуту, и нужно было встретиться, с которым именно в эту-то минуту так и влечет поделиться всей своей душой... Но — увы! — этот «старый знакомый» в действительности уходит теперь далече, на темную, безвестную и суровую жизнь, и уже никогда, никогда больше не доведется с ним встретиться.

Вот какое смешанное чувство вызвало эти невольные слезы.

Нелидова все время, пока Лиза читала письмо, внимательно взглядывала на нее из-за своего тамбурного вышиванья и, с чисто женским любопытством уловляя

все изменчивые оттенки в выражении ее лица, старалась по ним разгадать как содержание письма, так и чувства, волновавшие Лизу.

— Друг мой! Что это?.. Никак, вы плачете? — с полуиспугом и участием воскликнула она, заметя Лизины слезы.— Зачем? Отчего?.. Скажите, бога ради! Неужели это письмо причиной?.. Если так, то какое же оно противное!

— Да, это письмо причиной,— подтвердила Лиза,— но оно не противное,— нет! Оно славное, доброе, хорошее письмо!.. Господи! Как бы помочь этому горю!

— Но, моя милая... в чем дело, если это не нескромно?

— Читайте сами.

И Лиза подала ей письмо, которое Екатерина Ивановна стала читать с полным и серьезным вниманием.

— Бедные! несчастные! — воскликнула она со свойственной ей живостью и восприимчивостью, окончив чтение и, словно ртуть, вскакивая с места и принимаясь быстро ходить по комнате.— За что это они так терпят!.. Надо сегодня же сказать государю!.. Я беру это на себя... Ведь вы, конечно, не будете против?

— О! нет... Спасите, если возможно!.. — кинулась в объятия к ней Лиза.

— Милая!.. А вы любите?.. Да?.. да? Любите его? — говорила Нелидова, целуя ее голову.

— Я? — в некотором замешательстве подняла на нее Лиза свои взоры.— Я... право, не знаю... мне доселе как-то ни разу не думалось об этом... Но он такой добрый, славный, честный... Я только теперь это поняла. Спасите его, дорогая моя!.. Спасите!.. Вы одна только это можете!

В эту самую минуту в смежной комнате послышались быстрые и твердые, хорошо знакомые им обеим шаги. Нелидова вздрогнула, закусив губу, и, как бы остерегая Лизу, быстро и крепко схватила ее за руку.

В этот миг распахнулась тяжелая портьера, и на пороге появился император. Он мгновенно захватил обеих девушек в их обнявшейся позе, с их одушевленным выражением лиц и с этими слезами Лизы. Письмо было еще в руке Екатерины Ивановны.

— Само небо посылает вас! — воскликнула она, бросаясь к нему навстречу.

— Что такое? В чем дело? — весело спросил государь, вздернув несколько кверху свою голову, что было его привычным движением, в котором выражалось так много царственного, повелительного и великодушного.

— Дело, государь, не сложно. Читайте и вы все узнаете.

И с этим словом она подала императору письмо Черепова.

— Это писано к вам? — спросил ее Павел Петрович.

— К ней, ваше величество,— указала Нелидова на смущенную Лизу, у которой на ресницах все еще сверкали красивые слезы.

— Что вижу?.. вы плачете? — обратился к ней император.

— Читайте, государь, читайте! — перебила Нелидова.

— Вы позволяете? — спросил он графиню Елизавету.

— Прошу о том ваше величество,— ответила та с глубоко почтительным поклоном.

Император стал читать и с первых же строк сосредоточенно отдал письму все свое внимание.

При всей изменчивости своего нрава в первую половину царствования он охотно подчинялся нравственному влиянию Нелидовой. Лица, занимавшие в это время главные места, принадлежали по большей части к прежним гатчинским собеседникам государя: это были друзья или родственники Екатерины Ивановны. Двое братьев Куракиных, граф Буксгевден, Нелидов, Плещеев находились между собой в тесной связи и составляли при дворе особый тесный кружок, центром которого была Нелидова. Все ее уважали за ее образованный, своеобразный, симпатично-веселый и колкий ум и не могли не пленяться ее беседою, когда она чувствовала себя в добром расположении духа. Правда, подчас капризный характер ее становился несносен, выражаясь в ворчливости и в требовательности по отношению к близким ей людям; но все это легко прощалось и забывалось ей за ее теплое сердце, чуткое и отзывчивое ко всему доброму и хорошему. Влияние ее простиралось далеко, и справедливость требует заметить, что она пользовалась им во благо императора и не раз спасала невинных людей от его гнева, причем ее никогда не удерживало эгоистическое опасение прогневить своего царственного друга. Ей нередко удавалось отклонять некоторые резкие меры и распоряжения государя и, между прочим, если военный орден св. Георгия Победоносца не был уничтожен, то этим обязаны Нелидовой, которая настойчиво и горячо убедила императора не исполнять за-

думанного им решения. Словом, в первую половину царствования Павла она была предметом его рыцарского почитания и первым лицом при дворе. Все восхищались ее уменьем танцевать, прелестью и миловидною грациею всех ее движений, блеском и живостью ее остроумия. Она любила зеленый цвет — и в угоду ей придворные певчие получили новые зеленые кафтаны. Она одна говорила государю что ей вздумается, а иногда даже и отказывалась говорить с ним. Всецело принадлежа двору, Екатерина Ивановна находилась в самой тесной близости ко всему императорскому семейству. Она всю свою жизнь была лучшим другом императрицы Марии Феодоровны. От нее, конечно, зависело бы воспользоваться своим положением, извлечь для себя и для своих близких всякие прибыли, как и делали многие до нее и после нее; но она отличалась образцовым бескорыстием, и ей случалось многократно отвергать или умалять щедрые милости, которыми стремился награждать ее император.

Окончив чтение, государь поднял светлое лицо на Нелидову.

— Я был неправ,— сказал он,— и от всего сердца благодарствую вам, что подали мне возможность узнать истину и не попустили совершиться несправедливости. Если простому смертному не довлеет быть несправедливым, то кольми паче государю.

И, взяв со стола бронзовый колокольчик, он позвонил громко и нетерпеливо.

Тотчас же вошел дежурный флигель-адъютант, дожидавшийся в коридоре.

— В сию же минуту дать с фельдъегерем приказание Конному полку «налево кругом!». Возвратиться обратно! — сказал государь — и адъютант исчез, полетев исполнять высочайшее повеление.

— А молодой-то человек, как видно, любит вас не на шутку, сударыня? — весело заметил император, возвращая Лизе письмо Черепова.

— Я только что узнала про то,— смущенно пролепетала девушка.

— Будто ли так?.. И можно ль тому статься?!

— Уверяю вас, государь...

— Хм... Так не знали?.. Ну, а я знал... Вот, видите ли, раньше вас знал и давно уже знаю об этом.

Лиза с выражением вопроса и удивления подняла было на него взоры, но государь, круто повернувшись на каблуке, выходил уже из комнаты.

XXII

ИЗ-ЗА ТУПЕЯ

Первая встреча графини Елизаветы с Череповым после его письма прошла как-то вовсе не так, как предполагал и мечтал о ней каждый из них заранее. Оба они были не то что сконфужены, но им вдруг стало несколько неловко, и они ушли в глубь себя и далеко не высказали друг другу того, что хотелось бы высказать. Вместо пламенного, сильного слова разговор между ними вообще не клеился, вертелся около самых обыкновенных и вовсе для них посторонних тем, и оба они, как бы боясь вывести его на настоящую и столь желаемую каждому дорогу, усиленно старались поддерживать его именно на этих посторонних темах. Все, что заранее было так стройно и хорошо обдумано, вдруг улетучилось, испарилось из мысли и памяти, показалось вовсе некстати, вовсе ненужным, неуместным; о письме ни с той, ни с другой стороны не было сказано ни слова, ни намека, как будто за эти дни вовсе не произошло ничего особенного ни в судьбе Черепова, ни в их взаимных отношениях, и таким образом эта первая встреча прошла самым обыкновенным образом и, сравнительно с их прежними встречами, даже суше, чем обыкновенно. Но не то было в душе: графиня Елизавета чувствовала, что Черепов стал не чужой ее сердцу, и почувствовала это еще живее и как бы осязательнее именно в ту минуту, когда он удалился после этой первой встречи и когда не сказалось ему того, что хотелось и задумано было высказать. Они продолжали встречаться в свете, но оба боялись и, скорее, избегали, чем искали, встреч между собою. В их взаимных отношениях оставалось что-то незавершенное, недосказанное, и оба они чувствовали, что стоит только сделать первый приступ, сказать всего лишь одно заветное слово, именно то слово, которое *нужно* сказать,— и все выскажется, все довершится, все станет ясно и хорошо между ними, но это-то слово и не выговаривалось...

Так прошла и осень, и зима, и наступил март месяц 1799 года.

Блестящие победы молодого генерала Бонапарте на полях Италии в 1796 году и Кампоформийский мир, заключенный в октябре следующего года, сделали Францию грозою для ее соседей и дали ей решительный перевес на западе Европы. Французское правительство, увлеченное

успехами своей армии, перестало полагать всякие пределы своим политическим притязаниям, и потому-то насильственные меры, принятые директориею, побудили несколько держав образовать вторичную коалицию против Французской республики. В этой коалиции приняли участие: Англия, постоянно враждовавшая с Францией; Россия, ручавшаяся по Тешинскому трактату за самостоятельность Германии; Австрия, вполне убежденная в безуспешности Раштадтских переговоров; Турция, оскорбленная самовольным захватом Египта; короли неаполитанский и сардинский, угрожаемые со стороны Франции потерею своих владений и, наконец, некоторые из германских владетельных князей, сопредельных Французской республике. В 1799 году со стороны союзных государств предположено было напрячь все усилия против господства беспокойной директории. Значительные армии направлены были в Германию и Италию, и в то же время Австрия, вместе с Англией обратились к императору Павлу с просьбой о вручении командования союзными войсками в Италии полководцу, никогда еще не бывшему побежденным,— Суворову.

Гениальный старик, по смерти императрицы Екатерины, почувствовал перемену в началах армейского военного быта, не сошелся с нововводителями во взглядах на требования нового воинского устава и, подвергнутый опале, удалился в свое село Кончанское. Здесь, играя с деревенскими мальчишками в бабки, звоня на колокольне и читая в церкви Апостол, он в то же время внимательно следил за ходом войны, бывшей следствием французской революции; составлял, для собственного удовольствия, планы кампаний против французов и, бодрый духом, хотя убеленный почтенными сединами, томился в бездействии. Император вызвал его в Петербург и принял с особенным почетом и милостию. Во всей столице только и разговора было о Суворове. Имя его перелетало из уст в уста, повторялось и в богатых гостиных, и в убогих подвалах, и на всех перекрестках; что ни день, то новый анекдот распространялся о Суворове; им восторгались, его лелеяли, на него возлагали все надежды,— это был герой дня, на которого с гордостью смотрела вся Россия. Одушевление в обществе сделалось необычайное: молодые силы бурлили, искали исхода и порывались к войне с врагами целой Европы. Хотя нам, собственно, мало было дела до Франции и нас она ни в чем не касалась непосредственно, но в тогдашнем русском обществе были еще

сильны и живучи некоторые принципы и основы, и потрясение их в Европе отзывалось негодованием в русских городах и усадьбах. Притом же, общество это не утратило еще живых воспоминаний о грозном блеске и громкой славе русского имени при Екатерине. Долг, честь, слава и доблесть не были еще для него пустыми звуками, и меркантильные интересы личного эгоизма не смели беззастенчиво возвышать свой мещански-либеральный голос там, где дело шло об общем государственном величии. В этом обществе, при всех его грубых недостатках, была еще та особенная закваска, которая порой исполняла его бескорыстными порывами широкого великодушия и готовностию на многие жертвы. Наши деды вообще были сильные люди.

На площадке пред дворцом выстроился развернутым фронтом гвардейский батальон со знаменем и несколько взводов иных частей войск, назначенных к заступлению караулов. В ожидании развода генералитет и офицерство, не участвующее в строю, толпились большими пестрыми группами около главного подъезда. Война, французы и Суворов были почти исключительной темой всех разговоров, расспросов и сообщений между офицерством.

— Господину подполковнику имею честь кланяться! — подошел к Черепову Поплюев.

— Ба! господин прапорщик!..

— Подпоручик-с,— поправил Прохор.

— Как? уже?! Простите на моей оплошности, не приметил сразу.

— Н-да-с, уже! Иные сверстники, гляди, в капитаны метнули, а мы своим ходом только до сего ранга подвинулись.

— Что ж так медленно?

— Линия-с... Ну, и притом же, признаться сказать, по несправедливости однажды обойден был представлением к чину. Незадача мне...

— Давно ли в Питере?

— Только четвертого дня в двадцатиосьмидневный отпуск прибыл, с высочайшего разрешения; да вот все, до сего утра, со своими старыми измайловцами путался, а то бы непременно к вам заехал респект отдать.

К Черепову подошли и поздоровались еще два-три знакомых измайловца.

— А наш-то Прошка каков? а? — кивнул один из них на Поплюева.— Как вы думаете, зачем в столицу изволил пожаловать?

— Пожуировать, конечно.

— Какое! Ищет перевода в действующую армию.

— Вот как! — слегка удивился Черепов.

— А почему ж бы нет? — вступился за себя Прохор.—Я уж давно в себе мечтание питал такое, а время теперь самое подходящее. Чин на мне скромнехонький, обиды мною ничьей шее быть не может, ну, а война авось-либо и вывезет... Я уж думал было абшид брать вчистую, да мундира по офицерскому рангу пока еще не выслужил, а без мундира что за абшид!.. Это уж не токма что пред своим братом, дворянином, но и пред подлого класса людьми довольно в стыд мне будет.

— А куда ваш знаменитый майор девался? — спросил Черепов, невольно как-то вспомнив при этом поплюевскую Усладушку и инспекторский смотр отца архимандрита.

— Майор-то? — переспросил Прохор,— да куда ж ему деваться! Все у меня же на хлебах живет, при вверенной ему команде.

— А вы не распустили ее?

— Помилуйте, зачем распускать! Аль хлеба у меня не хватает? Пусть живут себе с богом!

— А знаешь, брат, что? — шутя обратился к Поплюеву один из его измайловских приятелей.— Ты бы вместо себя-то майора на войну послал.

— Зачем так?

— Да понадежнее будет.

— То есть в каком разуме надлежит понимать сие? — слегка подфыркнул задетый за живое Прохор.

— Да весьма просто. Во-первых, для чего тебе твой благородный лоб под пули подставлять, а во-вторых, ведь и струсишь-то, пожалуй, француза...

— Кто?.. Я?! — подпрыгнул Поплюев.

— Ты, сударь.

— Я?.. Француза?.. Государь мой, вы меня плохо разумеете! Не токма что француза, я, коли захочу, то и самого черта не струшу.

— Зачем черта! До черта далеко,— продолжал подтрунивать приятель,— а вот и сего почтенного старца,— кивнул он на стоявшего впереди пузатенького генералика,— стоит лишь оглянуться ему на тебя, так и того-то струсишь.

— На каких резонах изволишь полагать обо мне таковое? — все более и более подфыркивал Прохор.— Я коли захочу, то и доказать могу, что не струшу.

— Ну, и докажи.

— И докажу!

— Поди и дерни его за тупей, тогда поверю.

— За косицу-то?.. Его?.. Вот еще! Стоит труда! Нашел доказательство!

— Да уж каково ни есть, а не дернешь.

— Ан дерну!

— Ан врешь!

— Я?! Не дразни, брат, лучше! Эй, не дразни!.. Меня стоит только раздразнить, так я бедовый!

— Бедовый-то бедовый, а за косицу все-таки не дернешь.

— Да не токма что старца, а... понимаешь ли, *кого*? И то дерну!

— Ну, брат Прошка, никак, ты во хмелю!..— засмеялись приятели.— Много ли *чефрасу* хватил сегодня? С утра уже благословился. Закуси-ка лучше гвоздичкой, а то дух будет.

— Гвоздичкой-то я закушу, а дернуть все-таки дерну, коли мне такое расположение блеснет.

— Пари, что не дернешь! — продолжал потешавшийся приятель.

— Идет! — расхорохорился Поплюев,— идет, коли на то пошло! На что угодно?

— Да что тебя много разорять-то! На десяток устерсов у Юге, с аглицким пивом. Вот я на твой счет и позавтракаю. Господа, будьте свидетелями,— разнимите!

— *Смирно-о-о!* — раздался вдруг громкий голос штаб-офицера, командовавшего разводом.

Мгновенно все смолкло; генералы вытянулись в одну шеренгу против фронта, за ними во вторую шеренгу стали все штаб- и обер-офицеры, а третья образовалась из юнкеров и унтер-офицеров, не участвовавших в строю.

Пять минут спустя раздалась новая команда: фронт взял «на караул», барабаны грянули встречу, эспонтоны и знамя отдали салют, и все живое на площадке замерло в напряженном ожидании.

С крыльца сходил император.

Начался вахт-парад. Штаб-офицер сначала заставил фронт проделать все ружейные приемы по флигельману, потом скомандовал «*батальон шаржируй*», т. е. стреляй,—

и фронт, не производя огня, проделал примерное заряжание, прицеливание и вновь заряжание. Затем была подана команда барабанщикам: *«Бей сбор»*. Те вышли и стали боком ко фронту — и вновь грянули барабаны, после чего насередину вышел плац-майор и скомандовал: *«Слушай, на плечо! Подвысь! Гауптвахт направо, гренадеры налево!»*. Во время исполнения данного движения фронтовые офицеры, взяв эспонтоны вверх, в правую руку, и выйдя вперед, стали по старшинству чинов пред середину парада, а за ними в две шеренги вытянулись унтер-офицеры. Здесь плац-адъютант разделил их всех по постам, и тогда по команде: *«Господа обер и унтер-офицеры, на свои места! Марш!»* — все разом разошлись по рядам направо и налево. Затем: *«Повзводно направо заходи! Марш!»* — и весь парад, под звуки флейт и барабанов, шел церемониалом мимо императора.

Государь остался вообще доволен парадом и, по окончании развода, собрав вокруг себя тесную толпу офицеров, стал передавать начальствующим лицам парольный приказ и разные замечания. Черепову случайно довелось стоять как раз за спиною государя. Вдруг видит он, что рядом с его локтем протягивается вперед чья-то рука — и хвать за черную ленту косицы!

У Черепова захолонуло сердце и на мгновение в глазах помутилось. Он понял, что это такое и чем может грозить подобная проделка. Государь в то же мгновение обернулся, и вопросительно строгий взгляд его в упор остановился прямо на Черепове.

«Погиб!» — как молния мелькнуло в уме последнего. Надо было выручать уже не Поплюева, а самого себя, и как можно скорее.

— Простите, ваше величество! — почтительно и тихо проговорил он, стараясь казаться как можно спокойнее,— тупей лежал не по форме... Чтобы молодые офицеры не заметили...

Государь молча продолжал смотреть ему прямо в лицо тем же сурово блестящим взглядом, и Черепову показалось вдруг, будто он тоже понимает, в чем дело, и дает ему чувствовать это. С полминуты, по крайней мере, продолжал государь держать его под этим магнетически действующим взглядом, и какое-то смутное чувство говорило Черепову, что если он оробеет и смутится, то пропал безвозвратно и навеки. Но он чувствовал себя правым, совесть его была спокойна.

— Благодарю, *полковник!* — громко сказал государь и отвернулся, продолжая прерванную речь с генералом [1].

Черепов оглянулся назад,— за ним, ни жив ни мертв и весь бледный как полотно стоял и трясся, как в лихорадке, Прохор Поплюев.

После развода Черепов по пути заехал к Юге позавтракать. Несколько минут спустя появился там и Поплюев со своей компанией.

— Благодетель мой!.. Спаситель! — плаксиво, смущенно и вместе с тем радостно кинулся к нему Прошка.— Сколь виноват я пред вами!.. Нет слов и меры моей вине и моей благодарности!..

— Зато вы пари ваше выиграли,— равнодушно улыбнулся Черепов.

— Что пари!.. В Сибири места мало мне за это... Я растерялся, но я думал... Клянусь вам, думал, что если на вас обрушится беда, то — была не была! — выступлю вперед и брякну: так и так, мол, я это сделал!

— Напрасно не вышел,— полковником был бы,— подтрунил измайловский приятель.

— Эх, братец ты мой! пустой ты, как вижу я, человек! Что полковник!.. Не полковник, а ум нужен, находчивость, сметка — вот что нужно! А Прошка — дурак, и ничего больше!.. Но нет,— продолжал Поплюев, с чувством обращаясь к Черепову,— вы великодушны... вы доказали то... Ну, и, значит, вы меня простите!.. А я вам за сие всю жизнь, как собака... понимаете ли, как собака буду вам предан! Издыхать у ног ваших стану!.. Выпьем!

— Так-то, брат Пронька! — хлопнул его по плечу приятель,— хоть пари я и проиграл тебе, а все же ты не в барышах! Уж чего бы, кажется, вернее награды как нынче, ан глядишь — и тут тебя обошли-таки чином!

— Что делать, братец мой! — пожал плечами Поплюев,— незадача мне!.. Выпьем!

В тот же день вечером к Черепову явился вестовой и объявил, что граф Харитонов-Трофимьев просит его

---

[1] Этот вполне исторический факт известен из нескольких мемуаров, напечатанных в разное время и, между прочим, в записках Н. И. Греча (см. «Русский архив» 1873 г.). Ф. Булгарин в своих «Воспоминаниях» (изд. 1846 г., ч. II), рассказывая о том же, говорит, что проделка с тупеем была совершена известным шалуном того времени Вакселем. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

немедленно же пожаловать к себе по высочайшему повелению.

Черепов оделся по форме и поехал.

Он застал графа одного в его обширном, слабо освещенном кабинете. Старик сумрачно ходил по комнате и казался чем-то озабоченным.

— Государь император,— сказал он Черепову,— поручил мне, как бывшему вашему шефу, передать вам, чтобы вы отправлялись в действующую армию к графу Суворову. Вот вам пакет: в оном найдете вы маршрут, подорожную, прогоны и приказ о своем назначении. Вы отправляетесь в распоряжение фельдмаршала, и государь надеется, что на поле чести потщитесь вы найти более достойное применение избытку ваших сил и смелости.

— Как скоро должен я выехать? — почтительно спросил Черепов.

— Немедленно же. Чтобы к утру вас уже не было в городе.

— Воля его величества будет исполнена,— проговорил Черепов и уже хотел было откланяться, как граф с участием взял его за руку.

— Пожалуй, дружок, скажи на милость,— заговорил старик, меняя свой официальный тон на дружескую и душевную ноту,— что это за несчастная блажь пришла тебе в голову дергать за тупей.

— Граф! Неужели вы думаете, что я мог дерзнуть на что-либо подобное? — открыто и с чувством достоинства поднял Черепов голову.

— Как так?! — изумился Харитонов,— стало быть, дернул не ты?

— Не я, клянусь на том честью!

— Так кто же?

— Я знаю кто; но прошу вас, не невольте меня называть его имени. Он уже достаточно наказан своей совестью, и я ни в коем случае не назову его.

Старик раздумчиво прошелся по комнате.

— Молодой человек,— с чувством заговорил он, снова взяв за руку Черепова,— это с вашей стороны благородно!.. Не сумневаюсь, что вы говорите мне правду; и верь, друг мой, при случае я доведу о сем похвальном поступке до государя, а теперь прощай, господь с тобой!.. Поезжай с богом и постарайся возвратиться, как подобает храброму!

И с этими словами он поцеловал Черепова и отпустил его из кабинета.

Миновав смежную комнату и проходя чрез большую неосвещенную залу, Черепов вдруг заметил, что мимо него мелькнуло женское платье.

— Это вы, графиня? — тихо спросил он голосом, упавшим вдруг от неожиданного волнения. Сердце его дрогнуло и забилось тревожно и сладко.

— Я... постойте на минуту,— шепотом лепетала Лиза,— я знаю все... давеча отец мне сказывал... Вы едете?

— Сею же ночью... Прощайте, быть может, не увидимся.

— Нет, нет, не говорите так... не надо! — порывисто и как-то жутко заговорила она, схватив его руку,— не надо... не надо так говорить! Вы вернетесь... Вы должны вернуться... Я верю... я буду молиться... Постойте... Вот вам.

И, быстро сняв с себя золотой крестик на золотой цепочке, она поцеловала его, перекрестила им Черепова и надела ему на шею.

— Он сохранит вас... молитесь и... не забывайте меня... вашу... Лизу.

И с этим словом в голосе девушки прорвались сдержанные слезы.

Схватив ее дрожащую руку, Черепов с благоговейным чувством восторженно покрыл ее своими влюбленными поцелуями, и вдруг в душе ему стало так ясно, тепло, светло и отрадно, и вся будущность озарилась чудным, радужным блеском.

Заветное, желанное слово, которое не выговаривалось так долго, наконец-то было сказано.

XXIII

В ИТАЛИИ

Черепов нагнал Суворова уже около Вены и тотчас представился фельдмаршалу, вручив ему высочайший приказ о своем назначении в его распоряжение.

— Крестика, чай, хочешь? Затем и поехал? — с некоторым неудовольствием спросил Суворов, прочтя бумагу.

— Совсем напротив тому, ваше сиятельство! — с чувством внутреннего достоинства возразил Черепов,— я здесь совсем случайно и даже самому себе неожиданно.

И он, зная, что старик не любит терять много времени на лишние разговоры, вкратце, но с толком рассказал ему

причины своего внезапного отправления в действующую армию.

— Помилуй бог! Какой молодец! — весело вскричал фельдмаршал,— из-за тупея!.. Ха-ха!.. И товарища не выдал! Похвально!.. Ну, будем служить с божьей помощью! При мне оставайся.

И он милостиво отпустил от себя Черепова.

Суворов прибыл в Вену 15-го марта и был встречен приветливыми кликами всего населения. Император Франц II принял его ласково и с почетом. В Шенбрунне старик впервые, после долгой разлуки, увидел русские войска и радостно приветствовал их.

— Здравствуйте, чудо-богатыри, любезнейшие друзья мои! Опять я с вами! Здравствуйте!

И на восторженных лицах героев Кинбурна, Фокшан, Рымника, Измаила и Праги показались слезы...

Вкратце и на словах объяснив императору Францу все свои стратегические предложения, Суворов спешил уехать в Италию, где с нетерпением ожидал его русский вспомогательный корпус генерала Розенберга.

Но барон Тугут, первый министр австрийского кабинета, мелкая личность, взобравшаяся на высоту из ничтожества, всячески домогался, чтобы русский фельдмаршал представил венскому гофкригсрату [1] точный и подробный план будущих военных действий и, не видя этого плана, под разными предлогами задерживал Суворова в Вене. Эти домогательства не повели, однако, ни к чему. Суворов очень хорошо понимал, что такое гофкригсрат, знал за ним «неискоренимую привычку битым быть», называл членов его *унтеркунфтами, бештимтзагерами, мерсенерами* [2] и вообще не располагал доверять своих планов Тугуту, секретарь которого служил некогда секретарем при Мирабо и поэтому самому казался Суворову подозрительным и продажным. Да и сам Тугут далеко не был симпатичной личностью. Эгоистически и ревниво заботясь только о своем собственном влиянии при дворе, он не допускал никого действовать самостоятельно, вмешивался во все и, вовсе не будучи военным человеком, связывал по рукам

---

[1] Высший военный совет, коего членами были тогда: Коллоредо, Туркгейм и Тигэ — покорные исполнители распоряжений штатского Тугута. Независимо от этих членов, Тугут любил употреблять по военным делам преданного ему Лауэра, которого все ненавидели. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] лагерниками *(нем.)*, указчиками *(нем.)*, наемниками *(англ.*

австрийских генералов, не смевших шагу ступить без категорического предписания из Вены. Подобная система, конечно, не могла нравиться Суворову, который хотел сражаться независимо от методических соображений гофкригсрата. Старик не согласился даже запросто побывать у Тугута, для объяснений хотя бы словесных, о чем не раз намекал ему граф Разумовский, русский посланник в Вене.

— Андрей Кириллович! — отвечал обыкновенно на эти намеки Суворов,— ведь я не дипломат, а солдат... русский... Куда мне с ним говорить? Да и зачем? Он моего дела не знает, а я его дела не ведаю!.. Знаете ли вы, Андрей Кириллович, первый псалом? «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых!»

Кончилось тем, что на все приставания Тугута Суворов вручил ему кипу белой бумаги и показал чистый лист с бланком императора Павла со словами: «Вот мои планы!»

Эта суворовская штука окончательно взбесила Тугута и была зерном той затаенной неприязни австрийских властей к русскому главнокомандующему, следствием которой были и бесплодность лавров, обильно пожатых Суворовым в Италии и, еще более, бесплодность неимоверных подвигов, им же совершенных в Швейцарии.

2-го (14-го) апреля он прибыл в Верону. Жители, со свойственной им итальянской живостью и пылкостью, сделали ему много шумных оваций: они выпрягли из кареты лошадей и повезли ее сами до дворца, отведенного фельдмаршалу.

Здесь Суворов принял под свое начальство австрийских и русских генералов. Представление последних происходило отдельно и как бы домашним образом, сопровождаясь разными оригинальностями. Пока Розенберг называл чин и фамилию представляемого, Суворов стоял навытяжку, с закрытыми веками, и при каждой неизвестной ему фамилии быстро открывал глаза, говоря с поклоном:

— Помилуй бог!.. Не слыхал! Не слыхал!.. Познакомимся.

Дошла очередь до генерала Милорадовича.

— А! это Миша?! Михайло?! — вскричал Суворов.

— Я, ваше сиятельство! — поклонился статный двадцативосьмилетний красавец в генеральском мундире.

— Я знавал вас вот таким! — продолжал старик, показывая рукою на аршин от полу.— Я едал у вашего батюшки Андрея пироги. О! да какие были сладкие! Как теперь помню... Помню и вас, Михайло Андреевич! Вы хорошо тогда ездили верхом на палочке! О, да и как же вы

тогда рубили деревянной саблей! Поцелуемся, Михайло Андреевич! Ты будешь герой! Ура!

Милорадович, растроганный до слез, говорил, что постарается оправдать мнение о нем фельдмаршала.

Наконец Розенберг назвал генерал-майора князя Багратиона.

При этом имени Суворов встрепенулся, открыл глаза, вытянувшись, откинулся назад и спросил:

— Князь Петр?! Это ты, Петр?.. Помнишь ли ты... под Очаковым!.. с турками!.. в Польше!..

И, подвинувшись к Багратиону, он его обнял и стал целовать в глаза, в лоб, в губы, приговаривая:

— Господь бог с тобою, князь Петр!.. Помнишь ли?.. А?.. помнишь ли походы?

— Нельзя не помнить, ваше сиятельство,— отвечал Багратион со слезами на глазах,— не забыл и не забуду...

По окончании представления Суворов быстро повернулся, заходил широкими шагами, потом, вдруг остановясь, вытянулся и, с закрытыми глазами, начал произносить скороговоркою, не относясь ни к кому именно:

— Субординация! Экзерциция! военный шаг — аршин; в захождении — полтора. Голова хвоста не ожидает. Внезапно, как снег на голову! Пуля бьет вполчеловека; стреляй редко, да метко; штыком коли крепко. Трое наскочат: одного заколи, другого застрели, а третьему карачун! Пуля дура, а штык молодец! Пуля обмишулится, а штык не обмишулится! Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию. Мы пришли бить безбожных, ветреных, сумасбродных французишков; они воюют колоннами,— и мы их будем бить колоннами!.. Жителей не обижай! Просящего пощады милуй!

Проговорив эту инструкцию, Суворов умолк и, как бы умилясь, склонил голову, наморщил брови, углубился в себя... Но чрез несколько секунд вдруг встрепенулся, приподнялся на носки, живо повернулся к Розенбергу и сказал:

— Ваше высокопревосходительство! Пожалуйте мне два полчка пехоты и два полчка казачков.

И следствием этого «пожалуйте» было немедленное выступление авангарда под начальством князя Багратиона.

В Вероне издано было воззвание Суворова к итальянцам: «Из далеких стран севера пришли мы защищать веру, восстановить престолы, избавить вас от притеснителей. Наказание непокорным; свобода, мир и защита тем, кто не забудет долга своего — сражаться со злодеями!»

Русский корпус в Италии состоял из верных сподвижников Суворова в войнах турецкой и польской. Каждый солдат знал своего «батюшку». Утомленные продолжительным и быстрым походом, войска авангарда немедленно начали ряд славных подвигов.

Первое дело русских с французами произошло при Палаццоло. Когда Суворову были представлены пленные французы, взятые в этом сражении, он отпустил их немедленно во Францию со словами: «Идите домой и скажите землякам вашим, что Суворов здесь». 9-го апреля Багратион и Край [1] взяли укрепленную Бресчио; 14-го — Моро, разбитый при Лекко и Треццо, бежал за реку Адду, а Серрюрье, настигнутый при Вердерио, положил оружие. Возвращая шпагу пленному Серрюрье, Суворов произнес стихи Ломоносова:

Великодушный лев злодея низвергает,
Но хищный волк его лежащего терзает,—

велел перевести эти стихи французскому генералу и вышел из комнаты.

— Quel homme! [2] — воскликнул удивленный Серрюрье.

Император Павел, получив известие об этих победах, велел дьякону возгласить в конце благодарственного молебна: «Высокоповелительному фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому многия лета»,—и, посылая победителю портрет свой в перстне, осыпанном брильянтами, писал в рескрипте: «Примите его в свидетели знаменитых дел ваших и носите на руке, поражающей врага благоденствия всемирного». Сын Суворова тогда же был сделан из камер-юнкеров генерал-адъютантом и отправлен к отцу, причем государь сказал ему: «Поезжай и учись у него; лучше примеру тебе дать и в лучшие руки отдать не могу».

Стояли дни Страстной недели. На бивуаках разбивалась палатка походной церкви, и кто хотел, тот шел молиться. Суворов вместе со всем своим штабом, питавшийся в эти дни исключительно постной пищей, несмотря ни на какую усталость, постоянно присутствовал при богослужении и все время службы был в величайших хлопотах: пел на клиросе с дьячками и досадовал на них, когда несогласно с ним пели, читал Апостол «с великим напряжением голоса», беспрестанно перебегал с клироса на клирос, то в алтарь, то молился перед местными образами и клал

---

[1] Австрийский генерал. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Что за человек! *(фр.)*

положенное число земных поклонов, наблюдая в это время из-под руки, все ли усердно молятся. «Религии предан, но пустосвятов не люблю»,— говорил он и уподоблял их вазам, которые звенят, потому что внутри пусты. Когда были присланы первые австрийские и русские ордена для его подчиненных, он приказал священнику окропить эти знаки отличия святой водой в алтаре, а после молебна, при выносе их на блюде, каждый удостоенный монаршей милости становился на колена; тогда Суворов, с поцелуем и приличным приветствием, возлагал на него орден. И сам престарелый австрийский генерал Мелас, которого он называл *«папой Меласом»*, должен был с коленопреклонением принять от него крест Марии-Терезии 2-й степени.

Изумив всю Италию и Европу быстрым переходом от Вероны до столицы Ломбардии, Суворов в страстную субботу остановился в виду Милана.

— Demain j'aurai mille-ans! [1]— сказал он каламбур при этом, и действительно, на следующий день, 16-го (28-го) апреля, в самый светлый праздник, русские полки торжественно вступили в этот город. Народ с восторгом приветствовал своих избавителей, хотя и сильно-таки побаивался этих «северных варваров». Суворов ехал позади своего секретаря Е. Фукса и генерал-лейтенанта Ферстера, приказав им вместо него раскланиваться с публикой. Когда же русские полки, пройдя церемониальным маршем, в пустых и тесных колоннах построились в каре на городской площади, Суворов посреди их, сняв шляпу, запел: «Христос воскресе из мертвых».

— Смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав! — разом, как один человек, подхватило за ним 18 000 голосов русского войска. Все это действительно «соделалось стадом одного пастыря», замечает очевидец [2]. Троекратно повторился гром этой торжественно священной песни, и эффект тысячеголосного хора был поразителен. Миланцы дрожали в исступленном восторге и своими приветственными криками покрыли окончание православного гимна.

— Христос воскресе, ребята! — когда все смолкло, крикнул Суворов солдатам.

— Воистину воскресе, отец! — отгрянуло ему войско.

---

[1] Завтра я войду в тысячелетие *(фр.)*. Игра слов: «Милан» и «Тысяча лет».

[2] Фукс Е. См. его «Собрание разных сочинений», стр. 184. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

Это был могучий отклик на православное приветствие, какого никогда еще не раздавалось в Милане.

Суворов слез с коня и стал христосоваться с окружающими. Его обступили массы офицеров и солдат. По замечанию очевидца, «не оставалось ни одного фурлейта, которого бы он не обнял и троекратно не поцеловал» [1]. Даже сам пленный Серрюрье не избегнул его лобызания, и Суворов заставил его отвечать по-русски: *«Воистину воскресе»*. Но когда общий восторг достиг до полного энтузиазма, старик вдруг прослезился. Он вспомнил любимых своих фанагорийцев.

— С сими чудо-богатырями взял я Измаил,— говорил фельдмаршал,— с ними разбил при Рымнике визиря... Где они?.. Как я бы желал теперь с ними похристосоваться! [2]

Черепов присутствовал при всей этой грандиозной сцене и живо ощущал в груди своей трепет какого-то священного восторга. Сердце его замирало от радости, и в то же время хотелось плакать, и он не замечал даже, как из глаз его одна за другой падают крупные слезы, и так он был горд сознанием, что и он тоже душою и телом принадлежит к этой доброй, честной, православной семье, которая с дальнего севера явилась в этот роскошный южный город, и здесь, среди чуждой страны и природы, сознает себя все той же извечной и неизменной силой, которая зовется русским народом. Вспомнился также ему и образ Лизы...

Она далеко; но он чувствует ее близко, совсем близко, как бы тоже здесь, рядом с собою, и шепчет ей свое приветствие: «Христос воскрес, моя милая!»

И под влиянием этого чувства достал он из-за пазухи крестик, надетый Лизой на его шею в минуту прощанья, и благоговейно приник к нему губами.

Он мысленно христосовался с нею.

Солдаты рассыпались по улицам и отведенным для них квартирам,— и Милан как-то вдруг превратился совсем в русский старинный город. Солдатики наши на улицах, в домах, в лавках — крестятся, целуются, обнимают друг друга, меняются красными яйцами, которые они какими-то судьбами успели тотчас же раздобыть и накрасить

---

[1] Фукс Е. См. его «Собрание разных сочинений», стр. 184. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

[2] Фанагорийский гренадерский полк (ныне Суворовский) в это время находился на другом конце Европы, в составе нашей голландской армии. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

в сандале, угощают друг друга пасхою в итальянских булочных, славят Христа; везде по отведенным квартирам теплятся восковые свечи пред походными медными складенцами, которые русские люди сейчас же повесили на гвоздиках, рядом с католическими изображениями. Толпы праздношатающейся городской черни, не понимая ничего, с любопытством бегали повсюду за солдатами, рассматривали их, как нечто диковинное, дотрагивались до них и ощупывали руками мундиры, оружие, разевали рты, корчили рожи, жестикулировали, добродушно смеялись и горлопанили между собою. Наши сейчас же обгляделись и обошлись с ними по-свойски.

— Ну, брат-пардон, Христос воскрес! — говорили они иному итальянцу.— Хоша ты и бусурман, и глуп, а все же человек, значит. Поцелуемся!

И какой-нибудь Беппо от души лобызался с каким-нибудь Мосеем Черешковым из Вологодской губернии, и Черешков понимал Беппо, и Беппо понимал Черешкова. Между ними сейчас же отличнейшим манером устанавливалось взаимное понимание и своеобразные разговоры, которыми и те, и другие были очень довольны.

— Вступление сюда,— говорил в этот день Суворов всем окружающим его,— вступление именно в день торжества торжеств и праздника праздников есть предзнаменование на враги церкви победы и одоления.

Отслушав, нарочно для него отслуженную, заутреню и обедню в домашней греко-российской церкви, он отправился на литургию и в городской католический собор. Жители были в восхищении от его ласкового приема и обращения. Итальянские поэты, импровизаторы и композиторы слагали в честь его блистательные оды, писали торжественные кантаты, марши и гимны. Когда же вечером посетил он городской театр, то был принят публикой с исступлением дикого восторга.

— Помилуй бог! — вскричал при этом старик,— боюсь, чтоб не затуманил меня фамиам! Теперь пора рабочая!

В этот же вечер занялся он планом дальнейшей кампании.

— Когда вы успели все это обдумать! — воскликнул изумленный маркиз Шателер, когда Суворов открыл ему свои предначертания.

— В деревне,— отвечал фельдмаршал,— здесь было бы поздно обдумывать: здесь мы уже на сцене.

— И вас,— сказал Шателер,— и вас называют генералом без диспозиции.

Черепов, в качестве русского полковника, принадлежащего к свите фельдмаршала, пользовался большим почетом со стороны городской знати и зажиточной буржуазии. В первый же вечер, в фойе и партере театра, перезнакомился он почти со всеми представителями местной аристократии и золотой молодежи. Двери лучших домов были ему раскрыты с полным радушием. Но — увы! — в этих богатых салонах нашел он невежество, которое казалось ему невероятным. О России, которую здесь знали только по слухам, ему приходилось выслушивать нелепейшие вопросы; относительно Германии здесь были убеждены, что вся она вмещается только в одной Австрии; о Швеции, Норвегии, Дании почти и не слыхивали. В высшем миланском обществе Черепов не встретил ни одного человека, который бы побывал где-нибудь за границей. «К чему нам,— говорили они,— выезжать из своего сада Европы!» Многие из первых вельмож и знатнейших дам просили его сказать им откровенно, под величайшим секретом: правда ли, что gli capuccini russi, т. е., что казаки — русские капуцины (так их чествовали за их бороды) — зажаривают и едят детей? На следующий день, когда довелось ему быть с визитом у Милорадовича и он стал рассказывать про эти вопросы, в комнату врывается вдруг какой-то аббат и в исступлении бешенства ревет с отчаянным видом.

— Генерал? Если в вас есть бог, то спасайте! Но спасайте скорее!

Все стремглав побежали за ним вниз.

— Eccolo! — кричит итальянец.— Вот он! Вот! Спасайте!

— Что такое?! В чем дело?! — Все в смятении, в испуге смотрят, ищут глазами, и что же?.. Казак ординарец, сидя на ступеньке каменного крыльца, как нежная нянька, держит на руках младенца и смотрит на него умильно со слезами.

— Ты что тут делаешь? — строго спросил его Милорадович.

— Извините, ваше превосходительство! — говорил тот, поспешно поднявшись с места,— это дите так смахивает на мово Федьку-пострела... на Дону... что я расцеловал его, да вот... виноват... и расплакался малость.

Милорадович не мог скрыть своего гнева на итальянского патера и выругал его достойным образом.

Австрийские генералы просили Суворова дать войскам в Милане более продолжительный отдых, но он

отвечал им одним коротким: *«Вперед!»*,— и вот 26 апреля пред ним спускает свой флаг Пескьера, этот ключ Пьемонта, а через два дня после нее то же следует с крепостями Пиччигетоне и Тортоною. В самый день сдачи Пескьеры прибыл в главную квартиру Суворова великий князь Константин Павлович в сопровождении генерала-от-кавалерии Дерфельдена. Моро, атакованный 1 и 2 мая, опять вынужден был отступить к Асти и Кони. 12-го мая союзники овладели Феррарою, 13-го миланскою цитаделью, 14-го феррарскою, а 27-го мая Суворов вступил в Турин — столицу Пьемонта, и обложил тамошнюю цитадель. Рассматривая на карте движения Моро, он сказал с удовольствием: «Моро понимает меня, старика, а я радуюсь, что имею дело с умным полководцем. Но не тот умен, о коем все говорят, что он умен, а тот, кого другие дураком считают».

И здесь он оправдал слова свои, ибо, понявши хитрые маневры французского полководца, сумел *заставить его думать*, будто дается в обман, и перехитрил его гениальнейшим образом. Имея в виду не допустить Макдональда, двигавшегося от Неаполя до соединения с Моро и разбить его отдельно, Суворов начал такие странные движения войск, что они решительно спутали все расчеты Моро и Макдональда. Между тем император Павел, узнав, что в один месяц времени вся Верхняя Италия уже очищена и остатки разбитой армии Моро отброшены в Ривьеру Генуэзскую, писал Суворову:

«В первый раз уведомили вы нас об одной победе, в другой о трех, а теперь прислали реестр взятым городам и крепостям. Победа предшествует вам повсеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам вашим».

Обеспеченный уже со стороны Моро, т. е. с фронта, Суворов смело обратился на нового противника, свежие силы которого угрожали союзникам с тыла. Этот новый противник был Макдональд, уже спустившийся с Апеннин и начинавший дебушировать в долину реки По.

Суворов, не любивший ожидать нападений, оставил один австрийский корпус наблюдать за Моро, а сам устремился с главными силами против Макдональда, которого и оттеснил первоначально до реки Требии.

Здесь, на том самом месте, где за две тысячи лет до того Аннибал сокрушил римлян, повторилась великая битва Требийская. *Папа Мелас*, пред началом сражения читая краткую и ясную диспозицию, остался очень изум-

лен, что в ней ничего не было предписано на случай отступления, и прислал адъютанта спросить, куда надлежит отступать?

— Куда? — спросил Суворов,— за Требию, в Пьяченцу.

Это значило, что отступления нет, а надо гнать неприятеля и двигаться вперед или умирать. Других исходов не признавал и не понимал Суворов. В этом сражении, между прочим, великий князь Константин Павлович вел в атаку кавалерийский полк, а Багратион, несмотря на отчаянное сопротивление, решил дело штыками, подтвердив еще раз на кровавом опыте превосходство русской «штыковой работы» пред изобретателями этого страшного оружия. Начавшись в десять часов утра, сражение окончилось только в десять часов вечера, завершась полным отступлением французов за Требию. Наутро началась новая битва. Макдональд дрался с Суворовым три дня подряд (7, 8 и 9 июня) и наконец, потерпев окончательное поражение, бросился в беспорядочном бегстве обратно за Апеннины, чтобы хотя берегом моря успеть как-нибудь соединиться с Моро, начинавшим в отсутствии русских одерживать некоторые успехи над австрийцами. Эти успехи, однако же, прекратились с появлением Суворова, который снова заставил Моро уйти в горы. Союзники перешли Требию и овладели Пьяченцою, где было взято 7 000 человек, четыре генерала, столько же полковников и 350 офицеров. Жара все это время стояла нестерпимая, убийственная до такой степени, что, разбирая тела на поле сражения, находили умерших без всякой видимой причины: очевидно, что они были поражены солнечным ударом или же задыхались, падая от бессилия и будучи завалены мертвыми и ранеными. Суворов поспевал всюду и носился по полю битвы на своем поджаром горбоносом дончаке в одной полотняной сорочке и подштанниках, обутый в ботфорты и покрытый легким колпаком, вместо шляпы или каски. Закусывал он в это время только солдатским сухариком да сухим донским балычком, который, составляя его любимую закуску после водки, во всех походах имелся у него в запасе. Потери Макдональда были громадны: за время трехдневной битвы он лишился девяти генералов ранеными, шести тысяч человек убитыми, свыше двенадцати тысяч пленными, в том числе 510 офицеров, да, кроме того, у французов отнято было семь знамен и шесть орудий. Но и союзникам далась победа не дешево: у них насчитано до одной тысячи убитых и около четырех

тысяч раненых, между которыми был Багратион и еще два генерала.

Известие о Требийской битве шумно полетело по всей Европе: в Вену, в Петербург, в Лондон... Император Павел прислал Суворову свой портрет, осыпанный брильянтами. «Портрет мой на груди вашей,— писал государь старику,— да изъявит всем и каждому признательность государя к великим делам своего подданного, ими же прославляется царствование наше».

Вслед за Требийской битвой, к крайнему негодованию Суворова, последовало более чем месячное бездействие австрийцев. Это был подвох мстительного Тугута, приковавшего все внимание венского двора к продолжавшейся осаде Мантуи, стойкость которой служила для бездарного гофкригсрата уважительным предлогом противодействовать дальнейшему развитию наступательной системы русского Суворова. Фельдмаршал жаловался императору Павлу на робость гофкригсрата, на зависть к себе, как чужестранцу, на интриги частных двуличных начальников и безвластие свое в производстве операций прежде доклада о них в Вене. Но наконец сдалась и Мантуя, а за нею пала Александрия. Суворов вздохнул свободнее: он почуял теперь возможность оставить ненавистный ему «дефенсив» и, перейдя в наступление, проникнуть в Ривьеру Генуэзскую.

Но это предполагаемое наступление не состоялось по той причине, что его предупредил новый главнокомандующий республиканских войск в Италии, молодой генерал Жуберт, которого сам Бонапарт называл «наследником своей славы». Усилив армию Моро многими подкреплениями, Жуберт снова перешел с нею Апеннины и занял сильную позицию при городе Нови.

— Юный Жуберт пришел учиться; дадим ему урок! — сказал тогда Суворов и, пылкий не по летам, стремительно атаковал его позицию 4-го августа. Битва была отчаянная и стоила жизни самому Жуберту. Трудность овладения новийскими высотами, нестерпимая жара, грозная артиллерия и стойкое мужество неприятеля делали тщетными все усилия русских. До трех часов дня высоты три раза переходили из рук в руки. Русские начальники, кроме самого Суворова, не знали, куда девался Мелас с его отрядом, и удивлялись, что это старик длит сражение и остается спокоен, видя его безуспешность. План фельдмаршала и верность его взгляда поняли только тогда, когда он вдруг велел учинить усиленное нападение «на центр». Тогда-то

начался самый страшный разгар битвы. Багратион был отбит. Суворов сам бросился в ряды солдат. При нем находился великий князь Константин.

— Друзья! Богатыри! Дети! С нами бог! Ура! — восклицал старик — и вот «в слепоте исступленной храбрости, под градом смертоносных орудий, не думая о превосходстве неприятельской позиции, презирая неминуемую смерть, бросились русские солдаты. Сугубо восстали на них смерть и бедствие; но, ободряемых примером вождей, их уже невозможно было удержать» [1]. В это время вдруг загремела в тылу неприятеля неожиданная канонада: это Мелас, удачно сделавший обход, громил теперь французов. Нападение на центр было усилено еще больше. Противник, видя невозможность держаться долее, решился бросить на жертву часть своих войск, чтобы спасти остальные, и спешно начал отступление в горные ущелья, укрываемый мраком наступавшей ночи. Французы потеряли убитыми и ранеными более десяти тысяч; русские и австрийцы восемь тысяч. До пяти тысяч пленных и 36 пушек достались победителям. Когда австрийцы заспорили было о числе этих последних трофеев, причитавшихся на их долю, и требовали себе половину, Суворов порешил вопрос коротко и просто:

— Отдать им все! — приказал он,— пускай их! Где им взять! Мы еще возьмем!

И пушки были отданы беспрекословно.

Подвиги Суворова достойно оценялись и монархом России, и освобожденной Италией, и изумленною Европой, возбуждая в то же время ужас правителей Франции. За освобождение в четыре месяца всей Италии «от безбожных завоевателей» император Павел возвел Суворова в княжеское Российской империи достоинство с титулом *Италийского*, «да сохранится в веках память дел Суворова», и повелел, «в благодарность подвигов этих, гвардии и всем российским войскам, даже и в присутствии государя, отдавать ему все воинские почести, подобно отдаваемым особе императорского величества». «Не знаю, кому приятнее,— писал старику Павел,— вам ли побеждать или мне награждать вас, хотя мы оба исполняем свое дело. Я как *государь*, вы как *полководец*; но я не знаю, что вам давать: вы поставили себя свыше всяких награждений, а потому определили мы вам почесть военную... Достойно-

---

[1] Слова из реляции о Новийском сражении. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

му достойное!» — прибавлял государь в заключение своего рескрипта.

В Англии давно уже на всех праздниках провозглашали тосты за здоровье *избавителя Италии*, сочиняли ему оды и гимны, выбили в честь его медаль... Но особенное удовольствие доставила императору Павлу награда, пожалованная Суворову королем сардинским, который возвел его в сан главнокомандующего фельдмаршала сардинских войск и в гранды Сардинии, с титулом и степенью *кузенов* королевских (cousin du roi) и прислал ему ордена Аннонсиады, Маврикия и Лазаря. «Радуюсь, что вы делаетесь мне роднею,— писал после этого император Павел Суворову,— ибо все владетельные особы между собою роднею почитаются». «Славе легко породниться с царями!» — восклицали поэты. «Я разделяю с другими благодеяния ваши,— писал фельдмаршалу король неаполитанский,— вы открыли мне дорогу в царство мое, вы утвердите меня на моем царстве».

А между тем, среди всех этих побед и оваций, завистливый и мелочно мстительный Тугут готовил исподтишка Суворову новые козни и ковы.

XXIV
ПЕРЕД АЛЬПАМИ

Десять больших выигранных сражений, двадцать пять взятых крепостей, восемьдесят тысяч пленных французов, около трех тысяч французских орудий, двести тысяч ружей и полное очищение от неприятеля всего Пьемонта и Ломбардии — вот что было трофеями и результатом суворовских действий в Италии. В четыре месяца сделано было то, над чем почти четыре года трудился Наполеон Бонапарт. И все это совершилось при самых невыгодных обстоятельствах, в каких только мог находиться главнокомандующий союзных войск, окруженный тайными шпионами Тугута и явными недоброжелателями — друзьями и холопами того же австрийского премьера. Мы уже говорили, насколько предписания гофкригсрата связывали Суворова и мешали его военным планам. Беспрестанно подтверждали ему из Вены, чтобы он действовал как можно осторожнее, и негодовали, когда он насмешливо доносил, что получил в *Милане* приказание идти за *Адду*, в *Турине* — позволение *действовать на Милан.* Суворов не без основания подозревал во всех действиях наших союзников

своекорыстную подкладку. Когда же победы его освободили Италию, своекорыстие это обнаружилось вполне. Добрые австрийцы русскими руками загребали жар в свою пользу. По взятии Турина Суворов, в особой прокламации, согласно воле императора Павла, призвал народы Италии к возвращению под власть законных их государей, что как нельзя более совпадало с желаниями самих итальянцев. Но венский двор, вопреки этой прокламации, поторопился сейчас же учредить повсюду свои австрийские управления, доходы и подати велел собирать на Австрию; строго запретил народные восстания, организованные для освобождения страны из-под ига французов; муниципальные стражи были обезоружены и заменены австрийцами; чиновники, присланные от сардинского короля, не допущены к отправлению должностей,— и это в то самое время, когда император Павел, действуя честно и по правоте сердца, велел Суворову звать в Турин законного государя и передать ему Пьемонт!..

Горько жаловался Суворов на все оскорбительные и бедственные распоряжения гофкригсрата и австрийских канцелярий, постоянно открывая в то же время все новые и новые козни Тугута. «Я стою между двумя батареями — военною и дипломатическою; первой не боюсь, но не знаю, устою ли против другой,— писал он с досадою.— Или дайте мне полную власть и никто не мешай, или я прошу отзыва мне... Ради бога, отнимите у них перья, бумагу и крамолу!.. Запретите глупую переписку демосфеновскую: она развращает подчиненных... Не они ли потеряли Нидерланды, Швейцарию, Рейн и преклоняли колена пред Бонапартом? Я начал поправлять — и глупою системою меня вяжут!.. Деликатность здесь неуместна. *Где оскорбляется слава русского оружия, там потребны твердость духа и настоятельность»*.

Видя неподатливость Суворова, дипломаты и стратегики австрийского двора решились нанести ему окончательный удар. Победа при Нови поселила в них ложную уверенность, будто в Италии уже нечего более опасаться; да и, кроме того, присутствие русских все-таки мешало им прибрать Италию как следует к своим рукам и задушить ее втихомолку. Готовясь к завоеванию Генуи, с тем, чтобы следующей весной вторгнуться во Францию и кончить войну в завоеванном Париже, Суворов вдруг получает из Вены неожиданный приказ — сдать команду над австрийской армией Меласу и идти с русскими войсками в Швейцарию. Венские политики целым рядом происков и хит-

рых убеждений успели согласить на это распоряжение и императора Павла. «Успехи французов против цесарцев начнутся с отбытием русских в Швейцарию»,— утешал он фельдмаршала в ответ на его жалобу. После этого Суворову, конечно, не оставалось ничего, как только покориться необходимости и выступить тем скорее, что венский двор требовал выступления *безотлагательно.*

Новый план военных действий, изобретенный Тугутом, заключался в том, что союзные войска займут операционную линию между Немецким и Средиземным морями, а русские сосредоточатся исключительно в Швейцарии, откуда австрийский эрцгерцог Карл, не дожидаясь даже прибытия Суворова, немедленно выступит к среднему Рейну, между тем как герцог Йоркский с англичанами двинется туда же из Голландии. Таким образом, два слабосильные русские корпуса, Римского-Корсакова в Швейцарии и Германа в Голландии, одинаково предавались австрийцами на верную жертву: Корсаков — Массены, а Герман — Брюна. Достаточно сказать, что с уходом эрцгерцога Карла 24 тысячи Корсакова очутились против 84 тысяч французов, занимавших Швейцарию.

Это хитросплетение австрийского министерства составляло венец козней Тугута; можно было рассчитывать наверное, что Герман с Корсаковым будут просто задавлены массами французов. Суворов же погибнет в альпийских ледниках и пропастях, в борьбе с непреодолимой природой, и тогда, с уничтожением русских, никто и ничто уже не помешает Австрии проглотить Пьемонт и Ломбардию.

Делать было нечего.

— Иду! — воскликнул Суворов, прочтя настойчивое предписание,— иду! но горе тем, кто посылает меня! Горе Австрии!.. Я бил, да не добил французов, и злоумышленники раскаются, но поздно!

Фельдмаршал знал все предстоявшие ему трудности, знал, что его армия встретит на пути своем такие места, где два человека едва могут пройти рядом, где и думать нельзя ни о повозках, ни об артиллерии, где нечего рассчитывать на какие-нибудь средства продовольствия, где, наконец, придется штыками пролагать себе дорогу сквозь узкие горные теснины, уже загражденные французскими отрядами; знал он также и то, что Массена не станет дожидаться его прибытия, а, пользуясь уходом эрцгерцога Карла, поспешит разбить Корсакова, что и случилось на самом деле.

Все распоряжения к походу были сделаны с обычной быстротой. Обозы и артиллерия должны были направиться кружным путем, водой, а при армии оставлено только двадцать пять горных орудий, которыми навьючили мулов. Австрийское полевое интендантство успокоило Суворова, что ему нечего заботиться о перевозочных средствах, так как для него уже заготовлено в Таверне до полуторы тысячи вьючных мулов.

Усиленными маршами пришли русские войска 4-го (16-го) сентября в Таверну. Перед ними высились снежные вершины Альпов. Но каковы же были удивление и досада Суворова, когда ни в Таверне, ни в окрестностях не оказалось ни одного мула! Этот новый подвох австрийской политики решительно ставил в тупик русского фельдмаршала, пред самыми глазами которого возвышался хребет Монте-Ченаре, непроходимый ни для каких провиантских повозок и доступный только вьюкам. Суворов видел, что даже при *его суворовском* расчете на семидневный поход от Таверны до Шпица не было никакой возможности двинуться без мулов. Теперь уже ему самому приходилось остановиться и ждать пять суток, т. е. медлить, разрушая тем свою собственную диспозицию, от своевременного выполнения которой зависело, быть может, спасение Римского-Корсакова. Но на этой-то остановке, собственно, и строились расчеты наших добрых союзников. Этого-то только им и нужно было.

Суворов горько жаловался в письме императору Павлу на все эти далеко недвусмысленные штуки, но с солдатами поневоле высказывался иначе.

— Вот там,— говорил он им, указывая на подымавшиеся с севера утесы,— там безбожники французы... Их мы будем бить по-русски... Горы велики, есть пропасти, есть водотеки, а мы их перейдем — перелетим! Мы русские! Бог нами водит. Лезши на горы, одни стрелки стреляй по головам врага,— стреляй редко, да метко, а прочие шибко лезь в россыпь. Взлезай, бей, коли, гони, не давай отдыху. Просящим пощада: грех напрасно убивать. Помилуй бог! Мы русские — богу молимся. Он нам помощник: царю служим, он на нас и надеется, и нас любит... Чудо-богатыри! Чада Павловы! Кого из нас убьют — царство небесное!.. Церковь бога молит. Останемся живы,— нам честь, слава, слава, слава!

Впрочем, солдаты очень хорошо понимали, чего не договаривает и даже вовсе не высказывает «отец». Имя Тугута в войсках наших произносилось с проклятием, как

чума, и было известно не только офицерам, но и каждому рядовому.

Маленький городишко, пока в нем поневоле оставалась главная квартира русской армии, кипел жизнью и многолюдством. По главной улице беспрестанно тянулись передвигавшиеся части войск, скакали в разные стороны посыльные казаки, кучки обывателей стояли там и сям в своих характерных костюмах и с обычной жестикуляцией оживленно разговаривали между собой либо с военными; пестрые юбки кокетливо мелькали в улицах, хорошенькие личики любопытно выглядывали из окошек, из-за калиток, из зелени виноградников... Множество разного офицерства появлялось с бивуаков потолкаться по городу, закупить чего-нибудь в лавках, пообедать в ресторации, поразузнать новости и слухи из главной квартиры, которая как и всегда в подобных случаях становилась центром всех интересов и стремлений. Почти все дома заняты были постоем, но для гостей с бивуаков жители охотно уступали на несколько часов помещение в своих квартирах. Все обыватели превратились на это время в торговцев — кто продавал лепешки, кто вино, виноград, сыр, фрукты... В двух-трех трактирах была такая теснота от офицеров, что новые посетители с трудом протискивались в комнату. Повсюду стоял шум и гомон, и было во всем этом нечто таборное, оживленно страстное, жгучее и беззаветно веселое. Здесь раздаются нежные звуки мандолины, там свинью волокут за ноги, и визжит она благим матом; с ближайшего бивуака звуки кавалерийской трубы несутся, в другом конце барабан грохочет «сбор на кашицу»; тут взрывы хохота, там русская ругань или немецкая брань, итальянская песня под аккомпанемент гитары и разухабистая всероссийская «барынька» с «комаринским». В трактирах играли в банк, в фараон и в кости. Кучи золота и серебра мгновенно переходили из рук в руки, и в этой битве на зеленом поле преимущественно отличались австрийские чиновники полевого интендантства. Эти господа жили и одевались роскошно, пили шампанское, разъезжали в комфортабельных экипажах, возили за собой любовниц, проигрывали и выигрывали десятки тысяч...

Русские офицеры насчет шампанского и вообще вина тоже в грязь лицом не ударяли: последняя копейка шла ребром, а вследствие игры между ними и австрийцами нередко происходили ссоры. Вообще наши на «господ австрийцев» смотрели теперь не только косо, но даже

враждебно; союзники, конечно, платили нам тем же, однако не мы первые подали к тому повод.

Зайдя как-то раз закусить в один из трактиров, Черепов столкнулся там с Поплюевым и еще кое с кем из знакомых офицеров: сели за общий стол, заболтались за кружками вина, а потом придвинулись к тому концу, где австрийский шикарный офицер метал банк, окруженный тесной толпой союзного офицерства, и стали следить за игрой. Черепов поставил карту и малу-помалу увлекся. Вскоре кошелек его оказался пуст. С досады на проигрыш и с понятным желанием отыграться он расстегнул из-под камзола свой кожаный *черес*, в котором хранились все его деньги, и положил его на стол перед собой. Но вскоре и из череса исчез последний червонец.

Василий Иванович сел, подпершись рукой, и задумался.

— Herr Oberst [1], ваша карта? — спросил щеголеватый австриец.

— У меня нет карты... Я не играю больше,— с внутренней досадой и потому отрывисто проговорил Черепов.

— Зачем так? — с тонкой усмешкой прищурился на него банкомет.

— Затем, что я проиграл все, до копейки, и теперь ничего больше не имею.

— Ба! — фатовато возразил австриец,— пока у человека есть мундир на плечах и, наконец, собственная жизнь, он не может сказать, что ничего имеет.

Черепов внутренне дрогнул, почувствовав кровное оскорбление. Он похмуро повел глазами на окружающих и в упор остановил свой твердый взгляд на блистательном офицере.

— Русские мундиром не торгуют и отнюдь не позволят себе ставить его на карту,— сказал он веским и спокойным голосом,— а что касается до жизни, то извольте, я готов, но с тем, что ежели кто из нас проиграет, тот всадит себе пулю в лоб сейчас же, здесь на месте.

Опешенный фанфарон смутился и стал было вежливо и мягко объяснять, что он хотел вовсе не то сказать и не так понят...

— Без объяснений! — перебил его Черепов,— чего там не так понят! Я отлично понял, что вы мне сделали вызов, и я его принял. Надеюсь, и все здесь поняли это точно так же?

---

[1] Господин офицер *(нем.)*.

— Конечно, вызов! — подтвердили несколько русских офицеров.

— Господа австрийцы, ваше мнение? — спросил кто-то.

Те отвечали молчаливым пожатием плеч и в замешательстве только переглядывались между собой.

— Камрад! — обратился меж тем Черепов к какому-то казачьему офицеру,— вы, кстати, при пистолете. Заряжен он у вас?

— Непременно, полковник.

— В таком разе одолжите-ка его сюда на минутку.

И Черепов, внимательно осмотрев кремень и полку, положил врученный ему пистолет на стол между собой и австрийцем.

— Ну-с, милостивый государь, теперь я к вашим услугам. Не угодно ли!

Он вынул наудачу первую попавшую карту. Это была трефовая восьмерка!

Австриец, принужденно улыбаясь, начал метать.

В комнате водворилась вдруг мертвая тишина. Все присутствующие тесно столпились вкруг стола и, затаив дыхание, напряженно следили, как ложатся карты.

— Направо — налево... направо — налево...

— Дана! — сорвался вдруг общий крик, когда наконец выпала роковая восьмерка...

Австриец побледнел. Черепов не мигнул даже глазом: лицо его оставалось холодно и спокойно.

Бросив карты, смущенный фанфарон опустил руки и молчал, как школьник, пойманный на месте.

Противник выжидательно смотрел на него вопросительным взглядом.

— Herr Oberst, ведь это шутка? без сомнения? да? — тревожно обступили его австрийцы, сделавшиеся вдруг очень милыми и любезными,— не правда ли? Вы не потребуете от молодого человека подобной жертвы!

— Я не шутил, господа, ставя мою жизнь на карту,— холодно и твердо возразил им Черепов,— и если бы я проиграл жизнь, то не принял бы ее в подаяние от противника; а за тем, государь мой,— обратился он к банкомету,— так как пистолет до сих пор еще не разряжен вами, то оставляю ваш поступок на вашу совесть.

И, сухо раскланявшись с австрийцем, он удалился из трактира.

— Василий Иванович... друг... благодетель! — остановил его вдруг на пороге кинувшийся за ним вдогонку

Поплюев.— Вот это так!.. Это по-русски, растак их душу!.. По-русски... хорошо, голубчик!.. хорошо! — растроганно сюсюкал он своим заплетающимся лепетом, горячо и крепко пожимая руку Черепова.— Вы все проиграли? и «гельд ништу», значит?

— Ни копья не осталось... Да ну их! Это все равно! — нетерпеливо махнул рукой Черепов, сходя со ступеней.

— Минутку!.. минутку, сударь,— остановил его Прохор.— У меня до вас преусердная просьба... Не откажите.

— Что прикажете?

— Будьте столь добры, возьмите у меня взаймы?

— Убирайтесь, Поплюев.

— Ах, ах, камрад!.. Это уж, извините, не по-товарищески... Чего нам кичиться! Свои люди — сочтемся! У меня тысяча червонцев,— возьмите пятьсот!.. Бога ради!.. Умоляю, не обидьте меня!.. Если не возьмете, то сим вы доказуете только ваше ко мне презрение, а я дворянин такой же, как и вы... И за что же?..

— Ну, ин быть по-вашему! Давайте! — согласился Черепов.

— Друг!.. Товарищ!.. Вот... вот это так! — восторженно кинулся к нему на шею Поплюев.— Благодарствую вам, сударь!.. От всей моей признательной души благодарствую!.. А тот шельмец,— драматически указал он жестом на трактир, подразумевая австрийца,— пускай в презрении влачит злосчастны дни!.. Ну, а теперь выпьем!

И растроганный Прошка был совершенно счастлив.

Стоустая молва в тот же день разнесла поступок Черепова по всему русскому стану, и Милорадович, этот «Баярд своего времени», с восторгом рассказал о нем Суворову.

— Поединщик?! — весело встретил Черепова фельдмаршал, когда тот по должности явился к нему на следующее утро.— За мундир жизнь на карту?! Молодец! Помилуй бог!.. Павлово чадо!.. Спасибо, что за честь российского мундира постоял и не дался в обиду *нихтбештимтзагеру!..* [1] А за то, что в запрещенную игру покусился, ступай под арест немедленно.

Таков был неожиданный финал суворовского приветствия. Но арест Черепова продолжался недолго: перед обедом дежурный адъютант принес ему на гауптвахту его шпагу и от имени фельдмаршала передал, что «Светлейший ожидает его спартанской похлебки и железной каши кушать».

---

[1] беззаконнику, самодуру *(нем.)*.

XXV
ЧЕРТОВ МОСТ

После долгого недоразумения о том, как быть без мулов, великому князю Константину Павловичу блеснула счастливая мысль — употребить под вьюки казачьих лошадей. Искренно поблагодарив его высочество за добрый совет, Суворов тотчас же приказал спешить полторы тысячи казаков, а их коней навьючить провиантом. Устранив таким образом все помехи, русская армия двумя колоннами двинулась 10-го (22-го) сентября к Сен-Готарду. Авангардами командовали Багратион и Милорадович.

Утро этого дня было пасмурно и ненастно. От Таверны до Сен-Готарда шли трое суток, в течение которых дождь не переставал лить ливмя, а резкий северный ветер с гор пронизывал насквозь. Войска располагались на бивуак под кровом сырых, холодных ночей, дрогли от стужи, мокли от слякоти и до рассвета поднимались в поход. Вся армия тянулась гусем по узеньким тропинкам, то взбираясь на высочайшие горы, то спускаясь в пропасти; часто и вовсе не видали тропинок, а так, махали себе наудалую; часто переходили в брод глубокие быстротоки, выше колен в воде, а два раза и по пояс ее было. Одна крутизна, выше и длиннее прочих, умучила войска до устали душевной. Переходы были нескончаемые: с ранней зари до глубоких сумерек все шли и шли ускоренным шагом, и на узкой торной тропе многие из солдат, оскользнувшись, неслись кубарем вниз и разбивались об острые камни; много вьюков вместе с лошадьми погибло в пропастях. Один офицер, весело разговаривая и перекликаясь с товарищами, вдруг полетел стремглав вместе с своей лошадью с такой отвесной высоты, что дух занимало при одном взгляде вниз. Сверху не видать было даже и места, на которое он упал... Солдаты только перекрестились за упокой его души и, не останавливаясь, двигались далее. Каждый заботился лишь о собственном своем спасении, потому что помощь подать было невозможно. Кто поскользнулся или оступился — мог считать себя мертвым. И на этих-то вершинах свистали вихри и ревела осенняя буря, низвергая с вершин страшные камни и глыбы, падение которых раздавалось в горах громовыми раскатами; снежные лавины обрушивались на тропу и хоронили под собой случайно подвернувшихся солдат, тогда как следующие люди должны были перебираться через массу лавины, утопая в рыхлом снеге. Шумные водопады до того за-

глушали воздух, что в пяти шагах не слыхать было иногда голоса человека, кричавшего изо всей мочи. Метель и вьюга порою совершенно заметали след предшествовавшего путника, и делалось это мгновенно, так что все переходили опасное место чисто наудалую. Много и погибло при этом... Иногда в один день русской армии случалось проходить все климаты и испытывать все возможные погоды. Нередко на высоте горы, покрытой вечным льдом и снегом, все войско начинало костенеть от чрезмерной стужи и резкого ветра. Даже местные проводники трепетали в этом «холодном аду» и наконец разбежались. Горизонт был сжат громадными теснинами, небо было хмуро,— ни единого солнечного луча! — и вся природа как будто злобствовала. Каждый солдат, отягченный своею ношей и утомленный до изнеможения, должен был еще взлезать на каждую гору, как на штурм крутого вала или отвесной стены. Многие из офицеров вовсе не имели ни вьюков, ни верховых лошадей: скатав шинель через плечо, они несли сами в узелке насущное пропитание и все свое походное имущество. «Чудесно и непостижимо, как не истощилось мужество и неутомимость войск! — восклицает свидетель и очевидец этих ужасов.— Один, изнемогший под тягостию всех сих изнурений, мог бы остановить ход всей колонны» [1]. Но тут был живой пример перед глазами — сам Суворов. Среди всех этих ужасов верхом на казачьей лошаденке, едва влачившей ноги, фельдмаршал все время ехал подле солдат, удивляя всех легкостию своей одежды: обыкновенный мундир, белый камзол, такие же панталоны с полуботфортами, круглая большая шляпа с опускными полями, взятая у какого-то капуцина, и ветхий, ничем не подбитый синий плащ, или «епанча», которая досталась ему еще от отца и всей армии известна была под названием *«родительской»*,— вот и все, что имел на себе Суворов, забывший, казалось, свои семьдесят лет. Обок с ним тащился на казачьей же кляче некто Антонио Гамма, старичок из Таверны, у которого в доме фельдмаршал основал свою главную квартиру во время невольной пятидневной остановки. Очарованный до восторга характером и образом русского полководца, Антонио дал ему обещание следовать за ним в горы и, бросив в Таверне жену с детьми и внуками, сдержал свое слово. Он служил отличным проводником для армии и облегчал суворовскому штабу сношения с местными жителями.

---

[1] Ф у к с Е., стр. 177. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

Русские войска одновременно приблизились к неприятельской позиции с двух противуположных сторон, и ночь на 13-е (25-е) сентября провели неподалеку от Сен-Готарда, вершину которого занимал отряд неприятеля.

Сен-Готард был почти недоступен со стороны Италии: единственная тропинка, едва-едва проходимая для вьюков, извилисто поднималась по крутому свесу горы и, взбегая до самой вершины Сен-Готарда, где, на высоте 6800 футов, стоял странноприимный дом капуцинских монахов,— несколько раз пересекала два горные потока, глубокие ложбины которых бороздили кручу. Но все эти препятствия не остановили, однако, формальной атаки русских. Три раза штурмовали они недоступные скалы и наконец взяли снежную вершину Сен-Готарда. Французы, в поспешном отступлении, спустились к деревне Госпиталь. Суворов сейчас же поехал в странноприимный монастырь, у ворот которого его встретили все капуцины и сам семидесятилетний приор, белый, как лунь. Он отслужил, по просьбе фельдмаршала, благодарственный молебен, а затем пригласил его и всю свиту в братскую трапезу, где Суворов с большим аппетитом ел монашеский обед из картофеля и гороха и весело разговаривал с приором на разных языках. Образованный приор был в большом удивлении от разнообразных знаний и начитанности русского полководца. Отдохнув несколько времени на снегах Сен-Готарда, русские спустились к деревне Госпиталь, атаковали здесь неприятеля и, уже ночью, в совершенной темноте, ворвались в самую деревню, откуда французы бросились бежать. Видя невозможность преследовать их войсками, которые едва держались на ногах от чрезмерного истомления, Суворов отрядил в погоню один только полк генерала Велецкого (Бутырский), а прочие полки оставил на бивуаке в Госпитале, к чему, между прочим, побуждала его и неизвестность о результатах, добытых Розенбергом, который командовал второю колонною, направленною в обход, для овладения деревней Урзерном.

Результаты эти были удачны не менее суворовских. Подойдя к Урзерну, Розенберг начал стягивать и устраивать свои полки на уступе высокой горы, у подошвы которой расположились французы, готовые к бою. Пока весь корпус успел собраться на уступ, густой, непроницаемый туман уже повис над всею окрестностию, и медлить долее было нельзя. Розенберг отдал войскам приказание — как можно тише сойти с горы и разом ударить на французов. Но спуск был так ужасно крут, что солдаты невольно

остановились перед ним в недоумении. Видя эту нерешительность и колебание, Милорадович вышел вперед и обратился к солдатам:

— Коли вы так, то смотрите же, как возьмут в плен вашего генерала! — крикнул он решительным голосом и с этими словами вдруг покатился с уступа на спине.

Этот отчаянно лихой пример электрически подействовал на людей: вслед за Милорадовичем русские войска *скатились* — в буквальном смысле этого слова — в долину и, дав по неприятелю дружный залп, с криком «ура!» кинулись на него в штыки. Этот натиск, не подозреваемый противником, был столь решителен и быстр, что французы, будучи проникнуты, смяты и охвачены с обоих флангов, бросились бежать левым берегом Рейсы, оставя в руках победителя три орудия. За наступившею темнотою ночи их невозможно было преследовать по незнакомой и крайне опасной горной местности, и потому Розенберг немедленно занял Урзерн, расположась около него лагерем. В Урзерне было нами захвачено 370 000 боевых патронов и дневной запас провианта, в котором мы терпели существенную нужду.

Так кончился наш первый *боевой день* в Швейцарии. Ночь на 14-е сентября оба русские корпуса провели в расстоянии трех верст один от другого, хотя и без прямого сообщения между собою. Генерал Лекурб, наш противник, побросав большую часть своих орудий в Рейсу, успел, однако, в эту же ночь перелезть чрез страшный хребет Бетцберг, высотою до 7000 футов, спуститься к деревне Гешенен, стать по ту сторону Чертова моста и таким образом все-таки заградить русским дальнейшую дорогу. Утром 14-го сентября Суворов соединился с Розенбергом в Урзерне. В версте от этой деревни, на пути нашей армии, находилась так называемая Урнерская дыра (Urner Loch), т. е. низкое подземное отверстие в восемьдесят шагов длиною, шириною же не более как на столько, чтобы пройти одному человеку и вьючному мулу. Таково оно было в те времена. Самый проход пробит между громадными утесами, отвесно восстающими из самого русла Рейсы. В трехстах шагах за Урнерскою дырою, на том же пути, находится знаменитый мост, которому сами местные обыватели дали название «*Чертова*» (Teufelsbrücke). Уже по самому названию можно приблизительно судить, что это такое. Чертов мост — искусственная арка, как будто нечеловеческими усилиями переброшенная с утеса над безднoю Рейсы, на высоте 75-ти футов. Рейса в этом месте с громо-

вым треском и с быстротою молнии, вздымая огромные тучи водяной пыли и брызг, бешено прыгает с высоты двухсот футов с уступа на уступ, с камня на камень и стремительно низвергается с ревом и пеною под Чертов мост в глубокие пропасти. В этих теснинах, казалось, сама природа как будто хотела испытать, действительно ли нет ничего невозможного для русских войск,— и что же! Быстро появился Суворов пред Урнерскою дырою. Но едва головная колонна вступила в самое подземелье, как была встречена ружейными и пушечными выстрелами, тотчас же доказавшими, что пробиться сквозь эту страшную дыру физически невозможно. Тогда Суворов отряжает в обход две колонны — одну по правому, другую по левому берегу Рейсы. Полковник Трубников с тремястами охотников должен был нечеловеческими усилиями взобраться с правой стороны на скалы, висевшие над самою «дырою», а майор Тревогин, во главе двухсот егерей, тоже охотников, спустился с двухсотсаженной высоты в самую Рейсу и, по пояс в воде перебравшись с неимоверными усилиями через бурно стремительный поток, начал карабкаться на горные кручи противоположного (левого) берега. За Тревогиным последовал полковник Свищев с целым батальоном. Кому довелось видеть воочию эти громады отвесных утесов, тот и теперь с трудом верит, чтобы войска (и в особенности совсем непривычные в горной войне) могли взбираться на такие неприступные крутизны. Трубникову удалось ранее левой колонны взобраться на скалы над Урнерской дырой, и неожиданное появление его здесь, над головой противника, до того изумило и встревожило французов, что передовой их отряд, опасаясь, как бы его не отрезали, немедленно же покинул свою позицию перед выходом из подземелья, а войска, стоявшие позади Чертова моста, второпях начали ломать каменную мостовую кладку. Таким образом, передовому их отряду уже не было отступления. Батальон Мансурова, пользуясь этой суматохой, прорвался сквозь дыру и бросился в штыки на французов. Припертые к краю пропасти, эти герои не сдавались. Они бросили свое орудие в Рейсу и вслед за ним большею частию сами погибли в ее кипучих волнах; остальное же было переколото на месте.

Несмотря на огонь наших стрелков, французы, стоявшие за мостом, успели разобрать значительную часть мостовой арки. Образовавшийся провал был так широк, что не давал уже возможности перепрыгнуть через него на левый берег, где рассыпалась густая цепь неприятельских

стрелков: за каждым камнем, за каждой скалой, и вдоль самой дороги, и внизу у реки, и наверху по горам — везде торчали ружейные дула, отовсюду летели меткие пули...

Русские войска, остановленные провалом, тоже поспешили окаймить свой берег застрельщиками и, под защитой их огня, прыгали со скал, пробирались к самому руслу Рейсы, карабкались на утесы, чтобы ловче поражать неприятеля выстрелами. Живая перестрелка кипела с обеих сторон ущелья, все ребра гор подернулись дымом. Между тем охотники Тревогина и батальон Свищева уже достигли горных вершин противного берега и спускались оттуда в тыл неприятеля. Вслед за ними генерал-майор Каменский, со своим Архангело-городским мушкетерским полком, еще близ Урзерна перейдя на левую сторону Рейсы, взобрался на страшный хребет Бетцеберг и грозил правому флангу противника. Это наконец заставило французов подумать о своем спасении, и они начали отступать от моста.

Черепов, посланный осмотреть, в каком состоянии находится переправа и есть ли хоть малейшая возможность перейти на ту сторону прямой дорогой, стоял около самого моста и разговаривал с майором Мещерским. Чуть лишь заметили они, что французы на той стороне подаются назад, начиная несомненную ретираду, как бросились с ротою солдат к сараю, случившемуся поблизости, и вмиг выдернули из его стен несколько бревен.

— Господа офицеры, давайте сюда свои шарфы! Все, сколько есть! больше! несите живее! — кричали они ближайшим товарищам,— передавайте дальше, другим, чтобы шарфы сюда!.. Торопитесь!..

И вот через несколько минут перед ними лежала куча офицерских шарфов. Узлами связав их один с другим, скрутили нечто вроде канатов и вплотную соединили несколькими из них три-четыре бревна, затем — закрепив импровизированным длинным канатом верхний конец этих бревен, стоймя поднесли их к самому краю провала и, уперев нижним концом в землю, осторожно опустили на шарфяном канате другой конец на противоположную сторону моста. По этой-то зыбкой переправе первым перешел на тот берег майор Мещерский; за ним следовал ординарец-казак, а далее Черепов. Казак насередине потерял равновесие, мгновенно оборвался и стремглав полетел в кипящую бездну. Удержать его не было возможности. За Череповым, помогая друг другу, перешло еще несколько офицеров, бывших в голове колонны. Храбрый Мещерский

едва ступил на противный берег, как тут же был смертельно ранен и только успел сказать товарищам: «Не забудьте меня в реляции»,— как уже опрокинулся со скалы и расшибся в бездне.

В это время полковник Свищев и майор Тревогин спустились с гор и погнали отступавшего неприятеля, положив вдоль узкой дороги до 280 французов.

Однако для перехода через Чертов мост главных сил армии бревенчатая перекладина, брошенная через провал, была далеко недостаточна; требовалось что-нибудь более прочное. Эта работа была тут же поручена австрийским пионерам, находившимся при нашей армии. Но немцы до того медленно приступали к поправке поврежденной части моста и так методически измеряли и рассчитывали каждый вершок, что генерал Ребиндер, потеряв всякое терпение, приказал вызвать в наших полках людей, знающих плотничье дело. Таковых явилось до сотни. Им вручили австрийские инструменты, и они в ту же минуту принялись за работу по-своему: натаскали бревен, хворосту, досок,— и в какой-нибудь час времени мост был отличнейшим образом исправлен. Немцы, изумленные быстротою русской работы, только поглядывали на готовый мост да приговаривали:

— Ja!.. fertig! Das ist gut [1].

— То-то гут! — отвечал им русский солдатик, распоряжавшийся работой.— Вы бы и до вечера гутели, а делу ходу бы не дали.

Ребиндер представил его Суворову, когда тот подошел осмотреть только что оконченный мост.

— Русский на все пригоден! — воскликнул фельдмаршал.— Помилуй бог! на все, на все... и бить врага, и служить богу и царю. У других этого нет, а у нас все есть!

И он щедро наградил солдата деньгами.

Вся колонна немедленно же перешла Рейсу и следовала через деревню Гешенен к Вазену. На всем этом протяжении Рейса несется еще в виде бурного потока, а в некоторых местах низвергается водопадами. Дорога то и дело перекидывается с одного берега на другой. Несколько животрепещущих мостиков, испорченных неприятелем, чрезвычайно замедляли наступление русских, так что главные их силы уже поздней ночью достигли Вазена, сделав в этот день переход только в двенадцать верст. Но зато и переход же!..

---

[1] Да, готов!.. хорошо! *(нем.)*

XXVI

В ЦАРСТВЕ УЖАСОВ

Утром 15-го (27-го) сентября Суворов выступил далее, на Альторф. Движение это происходило по столь же трудной дороге, представляющей одно непрерывное дефиле. В Альторфе, занятом нами также с бою, Суворов рассчитывал найти австрийскую флотилию, готовую перевезти его войска через Люцернское озеро в Швиц, но флотилии не оказалось: французы, отступившие из Альторфа к Люцерну, успели захватить все средства к переправе. Со Швицем же не было отсюда никаких сухопутных сообщений, кроме двух тропинок, поднимавшихся на ужасающую высь Росшток и ведущих через снежный хребет в долину Муттенскую, по которой открывается путь к Швицу. Но тропинки эти в позднее время года доступны разве для одних лишь смелых альпийских охотников, привыкших с малолетства, в своих особенных, острым железом подкованных башмаках, карабкаться по громадным утесам и пустынным ледникам. Только тут, в Альторфе, увидел с ужасом Суворов, куда завели его австрийские колонновожатые — Вейротер, Рихтер и другие. Малочисленная русская армия была поставлена в безвыходное положение, и затаенная коварная цель Тугута казалась уже достигнутою. К довершению беспокойства Суворова, не было еще никаких известий о Корсакове, для соединения с которым принесено уже столько жертв и совершено столько подвигов. Между жителями носились, впрочем, какие-то смутные слухи, будто бы еще накануне происходил упорный бой на Линте и союзники чуть ли не потерпели в нем поражение.

Что будет с отрядами Линкена и Готце, остававшимися пока еще в Швейцарии — до прибытия Суворова! Что будет с Корсаковым, если сам Суворов не достигнет назначенного сборного пункта в Швице! Что будет с ним, если даже опоздает он туда к условленному сроку! Что будет, наконец, и с самой армией Суворова без тех запасов продовольствия, которые рассчитывал он найти в Швице!.. Уже в Альторфе армия эта терпела крайнюю нужду, несмотря на захваченные магазины, из коих на долю каждого солдата досталось по три пригоршни муки. Весь провиант, какой люди несли на себе, почти вышел, а вьюки не могли поспевать за колонною: бесконечной лентой растянулись они по всему протяжению дороги от самой Таверны до Альторфа. Части неприятельских войск,

которые при отступлении бросились из долины Рейсы в боковые ущелья, могли ежеминутно отрезать вьюки и окончательно предать русскую армию голодной смерти. Отступать было некуда: вся дорога, т. е. по большей части едва проходимая тропинка, была загромождена вьюками, да и неприятель все время преследовал бы и с тылу, и с фланга. Сам Лекурб, тоже отличавшийся необыкновенной решимостью, не допускал даже и мысли, что Суворов отважится вести свое войско далее — по тропинкам Росштока, оставив за собой 6000 неприятеля.

И однако ж русский полководец, не колеблясь ни минуты, избрал именно этот путь, и даже самую трудную из этих тропинок, потому что она прямее ведет к деревне Муттен, а он решился — во что бы то ни стало — добраться до условленного сборного пункта в Швице. Ни одной армии в мире не случалось еще проходить по таким страшным стремнинам!

Не потеряв ни одного дня в Альторфе, Суворов на рассвете, 16-го числа, двинул на Росшток свой авангард под командой князя Багратиона. Постепенно тропинка делалась все круче и у́же, а местами и вовсе исчезала на скалах. Войска должны были взбираться поодиночке, гуськом, то по голым каменьям, то по скользкой глине. В иных местах приходилось карабкаться как бы по ступеням, на которых не умещалась и подошва ноги; в других мелкие шиферные камешки осыпались от каждого шага; далее приходилось выше колена вязнуть в рыхлом снеге, которым одета вершина хребта. Тяжело было и пешим взбираться на такую гору: но чего же стоило провести лошадей и мулов, навьюченных орудиями, зарядами и патронами! Бедные животные едва передвигали ноги: нередко они, как и прежде, обрывались с узкой тропинки, летели стремглав с кручи и разбивались о камни, увлекая иногда и людей за собой. Здесь, еще более чем прежде, каждый неверный шаг стоил жизни. Часто темные облака, проносясь по скатам горы, охватывали колонну густым туманом, обдавали холодной влагой до того, что люди были измочены, как проливным дождем. Погруженные в сырую мглу, они продолжают лезть ощупью, не видя ничего ни сверху, ни снизу; выбившись из сил, на время приостановятся, отдохнут — и снова начинают карабкаться. У всех почти солдат и офицеров избилась и обтрепалась здесь и последняя обувь. Сухарные мешки уже совсем опустели, так что нечем было и подкрепить истощенные силы. Но несмотря на крайнее утомление, полубосые, голодные войска

русские все еще не теряли духа. На всем этом переходе великий князь Константин Павлович шел пешком с авангардом князя Багратиона. Было уже далеко за полдень, когда голова авангарда добралась до вершины хребта. Спуск с него был не менее труден, чем подъем: от шедших пред тем дождей грунт сделался до того вязким и скользким, что во многих местах приходилось сползать по крутым скатам, где, при малейшей неосторожности или неверно рассчитанном шаге, ожидала неминуемая смерть в глубоких пропастях. Это поистине были картины из Дантова «Ада», и недаром сам Суворов в донесении своем назвал их «царством ужасов».

Одолев в течение двенадцати часов шестнадцать верст таких, на переход которых даже самые привычные охотники употребляют не менее восьми часов времени, Багратион к пяти часам вечера спустился с головой своего авангарда в Муттенскую долину, тотчас же атаковал французский пост пред деревнею Муттен, заставил положить оружие и занял деревню. Несмотря на свою малочисленность, остальные части авангарда до того растянулись по узкой дороге, что собрались у Муттена только позднею ночью, и как ни были они утомлены, однако ж простояли всю ночь на позиции, в полной готовности к бою.

В то время, как голова авангарда уже давно достигла Муттена, хвост армии еще и не трогался из Альторфа. Все протяжение тропинки от того до этого пункта представляло непрерывную нить людей и вьюков. В таком положении войска встретили ночь. «Счастливы были те,— говорит историк [1],— которые успели перебраться через вершину горы и расположиться на первой встретившейся площадке. Правда, и там ночлег не слишком был покойный; ночь холодная; ни одного деревца на дрова, но, по крайней мере, войска тут отдохнули. А каково было тем, которых ночь застигла еще на крутых скатах горы, на краях пропастей, где человеческая ступня не вполне умещалась!.. Много несчастных погибло на этом бедственном пути; одни изнемогали от холода и утомления, другие от голода; многие, прислонясь к выступу скалы на самом краю пропастей, при малейшем движении в забытье или во сне, обрывались и находили на дне их ужасную смерть. Страшный след армии обозначался множеством трупов людей, лошадей и мулов, разбросанных по всему протяжению пути. Зато переход русских чрез эти горы до сих пор еще

---

[1] Д. А. Милютин *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

живет в памяти местных жителей, как предание полубаснословное: показывая эту тропинку, едва заметную на скалах и снежных пустынях, швейцарец говорит с благоговейным удивлением: «Здесь проходил Суворов». На картах Швейцарии тропинка эта обозначается простою надписью: «Путь Суворова в 1799 году».

Движение в Муттенскую долину продолжалось два дня безостановочно, и это на протяжении всего шестнадцати верст! Русский ариергард беспрестанно и геройски отбивал настойчивые атаки неприятеля. По прибытии Суворова в Муттен окрестные жители доставили ему страшные вести. Теперь уже не осталось сомнений, что Корсаков совершенно разбит при Цюрихе и с огромной потерей отступил к Шафгаузену; Готце разбит при Линце и сам пропал без вести; Елачич и Линкен тоже отступают; значительные силы неприятеля заняли Гларис, а сам Массена собирает армию свою к Швицу, чтобы запереть русским выход из Муттенской долины.

Дорого бы дал Суворов за верное доказательство, что слухи эти несправедливы, но — увы! — они не замедлили подтвердиться официальным донесением Линкена. В горестном безмолвии на несколько минут остановился Суворов.

— Готце! — воскликнул он наконец с горечью.— Готце!.. Да они уж привыкли,— их всегда били; но Корсаков, Корсаков!..

Прочтя это донесение, фельдмаршал убедился, что во всей Швейцарии нет уже *ни одной* части союзных войск, на содействие которой можно было бы рассчитывать, и что его собственный корпус, заброшенный в Муттенскую долину, окружен со всех сторон превосходным в числе неприятелем, который стережет решительно все выходы. Что делать? Где искать спасения?! Добро бы еще собственные войска были обеспечены всем необходимым, но они находились в отчаянно страшном положении: изнуренные неимоверным походом, почти босые, без всякой теплой одежды и уже несколько дней в крайней нужде по части продовольствия. Взяв из Белинцоны запас провианта только на одну неделю, Суворов рассчитывал, что этого количества ему хватит до Швица, а там уже надеялся открыть новые сообщения и в изобилии получить продовольствие от Готце и Корсакова. Теперь все эти расчеты рушились. Из тех же семидневных запасов, которые везлись за его отрядом, много потеряно на пути, погибло в пропастях, потонуло в горных потоках, а сохранившиеся вьюки еще

тянулись чрез снеговой хребет. В Муттенской долине у солдат не оставалось уже ни одного сухаря. Счастливыми считали себя те, которым удавалось раздобыться несколькими картофелями. Офицеры и генералы с радостью платили червонцами за каждый кусок хлеба или сыру. И однако же, несмотря на столь бедственное положение, русские войска не тронули ничего у жителей деревушки Муттен. Великий князь Константин Павлович приказал на собственные деньги скупить все, что было у них съестного, и раздать солдатам. Эта щедрость великого князя облегчила хоть на один день ужасное положение войска, а жители, приученные республиканцами к насильственным поборам, были крайне удивлены великодушием русских.

Здесь у Суворова впервые сжалось сердце. Гибель его армии казалась неизбежной; очевидная опасность глядела отовсюду. Восемнадцать тысяч русских солдат должны были пропасть ни за грош,— и эта мысль убивала фельдмаршала. Он только и был занят ею, не думая уже ни о самом себе, ни даже о принципах австрийской политики, которые тут-то и выказали себя по всей наготе. И вот, в таком-то отчаянном положении, дорожа каждым часом, собирает он, в тот же день, 18-го сентября, военный совет, на который приглашает всех генералов и некоторых штаб-офицеров, за исключением австрийца Ауфенберга.

Первым явился к заседанию князь Багратион и застал Суворова в полном фельдмаршальском мундире, со всеми орденами. Старик, не замечая вошедшего Багратиона, продолжал ходить по комнате быстрыми шагами и отрывисто бормотал сам с собой. «Парады... разводы... большое к себе уважение... обернется — шляпы долой!.. помилуй господи!.. Да, и это нужно, да вовремя... а нужней-то... это: знать, как вести войну; знать местность; уметь расчесть; уметь не дать себя в обман; уметь бить!.. А битому быть — немудрено!.. Погубить столько тысяч!.. и каких!.. и в один день... Помилуй господи!»

Багратион из приличия тихонько удалился, оставя старика в том же глубоком раздумье.

Несколько времени спустя начали собираться приглашенные на совет; в том числе и Черепов. Пришел и великий князь. Все вместе вошли они к фельдмаршалу.

Суворов остановился, сделал поклон, зажмурил глаза, как бы собираясь с мыслями, потом, после минутного молчания, окинул всех своим быстрым, огненным взглядом и начал говорить торжественно, с одушевлением.

— Корсаков разбит и прогнан за Рейн! — говорил он.— Готце пропал без вести, и корпус его рассеян! Елачич и Линкен ушли! Весь план наш расстроен!

Тут в сжатых, но резких выражениях исчислил Суворов все происки и козни против него, все гнусные интриги венского кабинета, в доказательство коварной политики Тугута приводил старания его удалить русских из Италии и преждевременное выступление эрцгерцога Карла из Швейцарии, имевшее неизбежным последствием поражение Римского-Корсакова. Наконец, и бедственное положение собственной своей армии фельдмаршал приписывал вине все тех же австрийцев. «Если бы не потеряны были пять дней в Таверне,— говорил он,— то случившиеся несчастия были бы предупреждены, и Массене не удалось бы одержать побед, подготовленных для него коварной политикой нашего союзника». Чем далее говорил Суворов, тем больше приходил он в одушевление, тем сильнее выражалось взволнованное состояние души его. Поступки австрийского кабинета называл он прямо вероломством и предательством. Далее, сравнивая положение свое в Муттенской долине с положением Петра I на Пруте, он находил одно и другое следствием измены союзников, с той разницей, что «Петру Великому изменил мелкий человек, ничтожный владетель... грек!.. А государю императору Павлу Петровичу... изменил... Кто же?! верный союзник России!.. Это не измена... Это — явное предательство, чистое... без глупости... разумное, рассчитанное!..».

Излив таким образом негодование свое на Австрию, фельдмаршал перешел к очерку настоящего положения своей армии.

— Теперь мы среди гор,— говорил он,— окружены неприятелем, превосходным в силах. Что предпринять нам? Идти назад — постыдно!.. Никогда еще не отступал я!.. Идти вперед к Швицу — невозможно: у Массены свыше шестидесяти тысяч; у нас же нет и двадцати. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого... Мы на краю гибели!

Произнося эти тяжкие слова, Суворов едва мог сдерживать порыв своего негодования, горести и волнения. Он был убит, растерзан, скорбь его отзывалась во всех присутствовавших. У каждого сжималось сердце.

— Теперь,— прибавил Суворов,— одна надежда на всемогущего бога, другая — на высочайшее самоотвержение войск... Мы русские!.. С нами бог!..

Словно искра электрическая пробежала при этих словах во всех слушавших. Заметив это действие, старик оживился.

— Спасите честь России и государя! Спасите сына нашего императора! — восторженно воскликнул он и с этими словами упал в слезах к ногам великого князя.

Никто не ожидал этой сцены; все были поражены. Константин Павлович, рыдая сам, бросился поднимать старика, обнимал его, целовал... Все окружавшие чувствовали неизъяснимое волнение. Семидесятилетний полководец, испытанный в тысяче опасностей, непреклонный до упрямства, всегда изумлявший своей железной силой воли,— теперь плакал от горя... До сей минуты никто еще никогда и нигде не видал Суворова плачущим.

Когда все несколько успокоились, генерал Дерфельден заговорил первый, от лица всех русских начальников. Он ручался фельдмаршалу за неизменную храбрость и полное самоотвержение войска, готового идти безропотно, куда бы ни повел его великий полководец.

Выслушав Дерфельдена, Суворов вдруг поднял поникшую голову, открыл зажмуренные глаза и заговорил с оживлением.

— Надеюсь!.. Рад!.. Помилуй бог!.. Спасибо!.. Мы русские,— с помощью божией мы все одолеем! разобьем врага!.. И победа над ним!.. Победа над коварством!.. Будет победа!

Эти слова, произнесенные как бы с пророческой уверенностью, возвратили всем твердую бодрость духа. Началось совещание. Вопрос был в том, куда пробиваться: к Швицу или к Гларису? Основательные соображения, высказанные великим князем, заставили согласиться Суворова и всех присутствовавших на движение к сему последнему пункту. Решено было выступать завтра же (19-го), а генералу Ауфенбергу с его австрийским отрядом двинуться немедленно и сбить неприятеля с горы Брагель. Корпус Розенберга должен был оставаться в Муттенской долине и до тех пор прикрывать ее со стороны Швица, пока все вьюки не переберутся за Брагель.

По окончании военного совета все присутствовавшие начальники разошлись к своим войскам и объявили им о предстоящем бое с неприятелем.

— Только, чур, ребята, береги патрон! — предостерегали они людей,— патронов у нас почти уже ничего не осталось.

— И не надо! На что их? — возражали солдаты,— мы, ваши превосходительствы, и без патронов-то еще вольготнее: по крайности, решить скорее станем, на штыках доймем его!.. Это уж без сумления!

Несчастные события с Корсаковым и Готце были уже известны в русском лагере: солдаты знали, в какой опасности находятся все они в эту минуту, и по-своему толковали об измене союзников, о бароне Тугуте, бранили австрияка и осыпали ауфенберговский отряд своими насмешками.

Но Суворов сумел скрыть пред ними отчаянно тревожное состояние своей души и поддержал в людях бодрость. Усевшись на барабан, около солдатского костра, велел он подать себе шкатулку, в которой всегда возил с собой все свои ордена и другие знаки монарших милостей, и медленно стал раскладывать перед собой все эти украшения, любовался ими и приговаривал: «Вот это за Очаков!.. Это за Прагу!» — и так далее. Обступившие его солдаты глядели на ордена, глядели и на своего седовласого «отца» и тихо переговаривались между собой:

— А что, братцы, старик-от не унывает?!

— Чего ему ныть-то!.. Не таковский!.. Ишь ты, разложил их, кавалериев-то этих — эвона сколько!.. Смотри!.. «За Прагу», говорит...

— Есть там всякого, и за Прагу, и за прочее!.. Ничего, батюшка Александра Василич, и за Альпы получишь... Еще краше... Никто как бог!.. Бог не выдаст, свинья не съест!..

— Верно, детки!.. Помилуй бог, верно! — добродушно улыбался в ответ им Суворов.

Согласно диспозиции, выработанной на совете, Багратион, рано утром 19-го числа выступил с авангардом из Муттена и, перейдя снежный Брагель, спустился в три часа дня в Клёнтальскую долину, где нашел отряд Ауфенберга уже готовым сдаться противнику. Войска Багратиона пришли в негодование от одного известия об этом. Пока он устраивал их к бою под огнем французских пуль и картечи, некоторые из австрийских офицеров генерального штаба сочли нужным предупредить великого князя Константина, что союзные войска поставлены здесь в самое опасное положение, и уговаривали его отъехать куда-нибудь назад, подальше. Великий князь с негодованием отвечал им, что именно в подобных-то обстоятельствах его присутствие и может быть в особенности полезно. Вместе с этими словами дал он шпоры и выехал пред боевую линию.

— Мы со всех сторон окружены, ребята! — громко обратился он к людям.— Но вспомните, что завтра день рождения нашего государя и моего родителя! Мы должны прославить этот день победой или умереть со славой.

Восторженные клики раздались в рядах, и вслед за ними гренадеры, с барабанным боем, без выстрела и прямо с фронта ринулись в штыки на французов.

Три раза атакуемый Багратионом, неприятель отступал все далее и далее, потеряв уже более четырехсот человек убитыми и пленными; но, получив подкрепление из Глариса, занял у Клёнтальского озера такую сильную позицию, что всякий подступ к ней стоил и нам больших потерь. В этой самой позиции, за несколько месяцев пред тем, ничтожная горсть швейцарской милиции остановила целую французскую колонну. После нескольких безуспешных подступов наступившая темнота и крайнее утомление войск заставили Багратиона отложить атаку до следующего утра. Одна только ружейная перестрелка в передовых цепях продолжалась еще некоторое время.

Стояла уже глубокая ночь, когда русская армия подтянулась к своему авангарду у Клёнтальского озера. В этот день было пройдено ею более двадцати верст; но Бетцберг, после Росштока, не казался уже нашим солдатам особенно страшным, хотя и на этом переходе погибло еще много вьюков. На ночь войска оставлены были в виду неприятельской позиции и приказано им стоять как можно тише, не разводя огней, а ночь меж тем была холодная: проливной дождь перемежался хлопьями снега, и мглистый туман до того сгустился, что в двух шагах едва уже было видно товарища. Солдаты, дрожа от холода и сырости, промокшие насквозь, голодные, почти босые не ложились спать.

Вдруг в темноте обнаружилось какое-то движение на бивуаке.

— Где князь Петр? где Петр? — спрашивал кто-то.

Это был сам Суворов, в своей «родительской епанечке», плохо одетый, обмоклый, прозябший... Багратион, завернутый в бурку, поднялся с мокрой земли и встретил фельдмаршала.

— Князь Петр, я хочу, непременно хочу ночевать в Гларисе... Мне и вот им,— говорил старик, указывая на солдат,— пора отдохнуть... Нам холодно и голодно, Петр... Подумай!.. Непременно хочу ночевать в Гларисе!

— Мы скоро будем там,— отвечал Багратион.— Головой ручаюсь вам, ваша светлость, вы будете ночевать

в Гларисе! — уверенным и светлым голосом прибавил он, как бы утешая старика, измученного за этот день и физически, и нравственно.

— Так будем?.. Ну, спасибо, князь Петр! Спасибо, голубчик!.. Хорошо!.. Помилуй бог, хорошо! — повторил Суворов, провожаемый Багратионом до какого-то овечьего хлева, предоставленного на сей раз фельдмаршалу, где он и провел остаток этой ночи вместе с великим князем Константином.

Наутро, 20-го числа, бой возобновился еще впотьмах, вскоре после полуночи. Французы, встревоженные перестрелкой двух столкнувшихся патрулей, разом открыли огонь по всей своей линии. Русские войска, мгновенно встрепенувшись, как будто по установленному сигналу, разом кинулись вперед, «на ура!» и ударили на республиканцев с фронта и правого фланга. Не видя впотьмах местности ни под ногами, ни пред собой, они прямо с яростью стремились на одну цель, которая обозначалась для них вспышками неприятельских выстрелов. Встречая республиканские войска, расположенные по косогору, наши бросались на них в штыки и свергали их с кручи: в жару боя многие и сами, срываясь с утесов, стремглав летели в пропасть. Узкая дорога между подошвами круч и берегом озера была усеяна истерзанными обезображенными трупами русских и французов, которые часто лежали рядом или один на другом, вцепившись друг в друга. Немногим удалось спастись, хватаясь за камни или деревья. Французы живо были выбиты из своей неприступной позиции. Их опрокинули и гнали до Нетсталя, отсюда до Нефельса, потом до Молиса, где наконец прекратилось преследование. Багратион сдержал свое слово: Суворов действительно ночевал в Гларисе, занятом после шестнадцатичасового непрерывного боя, трофеями коего нам достались два неприятельских знамени, три пушки и до шестисот пленных.

В ариергарде, оставленном у Муттена, все это время тоже дрались и оттеснили противника до самого Швица, заставив его потерять 3000 убитыми! И здесь точно так же бой доставил нам обременительные трофеи: пять пушек и 1200 пленных с одним генералом (Лакуром). Необременителен был только эполет самого Массены, из литого золота, сорванный с его плеча унтер-офицером Махотиным.

23-го сентября ариергард наш присоединился наконец к главным силам, и таким образом у Глариса собралось все, что оставалось еще от армии Суворова. Но в каком

ужасном положении были эти остатки — оборванные, босые, без артиллерии, без патрона в суме!.. И что было делать с людьми, изнуренными беспримерным походом, постоянным голодом, ежедневным боем!.. Вьюки большею частью погибли: раненых не на чем было везти. А тут еще лопнула и последняя надежда Суворова на соединение с Линкеном: оказалось, что австрийский генерал без всякой необходимости давно уже отступил совсем за горы, в Граубинден, и даже Ауфенберг покинул русские войска, уйдя 21-го сентября, по следам Линкена, к Иланцу. В подобном положении нечего уж было думать о победах: впору было спасать только остатки армии и честь русского оружия.

Последовал вторичный военный совет. Путь долиной Линты, хотя и кратчайший для соединения с Корсаковым, нашли неудобным, потому что к этой же Линте должен был выйти Массена со всеми своими силами. Другой же путь на Иланц и Кур к Фельдкирху, хотя и кружный, был удобен в том отношении, что в Куре, занятом союзниками, войска могли запастись провиантом. Таково было мнение великого князя, и Суворов с ним согласился. Войскам предписано выступить из Глариса в ту же ночь и следовать к Эльму. Авангард поручен Милорадовичу, ариергард — Багратиону. Но до чего уменьшилась численная сила войск, можно было судить по отряду того же Багратиона, который состоял без всякой перемены из тех самых частей, что и при вступлении в Швейцарию: тогда в нем было 3000 человек, теперь же едва и до 1800 добиралось!.. Но войска за двое суток стоянки у Глариса, которая сама по себе была отвратительна, все-таки хоть обогрелись у костров, заштопали заплаты, зачинили кое-как обувь себе и офицерам. Не трудно вообразить, каково было у них состояние последней, если даже генералы ходили в ботфортах без подошв и передов, заменяя те и другие полами, обрезанными у своих же сюртуков.

Задолго еще до утра на 24-е сентября армия Суворова тихо снялась с позиции перед Гларисом. Узнав об этом уже на рассвете, неприятель поспешил отрезать ей путь, но был отброшен штыками, и потому именно штыками, что нам больше нечем было драться. Стойкость и мужественное сопротивление ариергарда, который дрался на каждом шагу, поминутно кидаясь врукопашную и переходя в наступление, сделали то, что главные силы и остаток вьюков благополучно миновали теснину и, пройдя более 20-ти верст, спокойно достигли Эльма.

Голодные люди ариергарда братски делились между

собой ничтожными крохами хлеба, который находили в ранцах убитых французов.

Черепов, посланный с поручением к Багратиону, исполнив что было приказано, шагом возвращался по полю сражения и проезжал случайно мимо трех каких-то спешенных казаков, которые намеревались делиться булкой, только что добытой из французского ранца. Черепов был голоден и не без алчности выражения в глазах кинул взгляд на вкусную булку.

— Ваше скародие! — скороговоркой крикнул ему бойкий казачок из этой группы,— чай, покушать желаете?.. Не угодно ли?

И он протянул к нему булку.

— Да вы сами голодны, братцы! — колеблясь, отказался было Черепов.

— Ничего, ваше скародие, мы еще раздобудемся, здесь в алиргарде этого добра — благодаря господу — есть пока!

Взяв булку, Черепов захватил из кармана горсть червонцев и подал их своему нежданному благодетелю.

— Извините, ваше скародие, этого нам не надоть!.. Мы не для того! — смущенно заговорили казаки.— А вот ежели б милость ваша... кабы нам патрончиков... коли есть у вас, то пожалуйте,— мы бы сейчас этто охоту на булки устроили.

В кабурах у Черепова было несколько запасных патронов, и он с удовольствием поделился ими с казаками.

— Как же это вы будете охотиться? — спросил он, убирая за обе щеки кусок французского хлеба.

— А вот сейчас. Только винтовочки набьем, сейчас и готово! — отвечал бойкий казачок, посылая заряд в дуло.— Которого примерно? — спросил он у товарищей, мотнув головой на цепь неприятельских стрелков, наступавших впереди, шагах в полутораста.

— Офицера не бей! у офицера ничего нет,— посоветовал смышленый товарищ.— А вот, вишь, там, в энтой кучке унтер ихний идет — его и вали: у унтера, надо быть, есть наверно!.. Пожалуй, и сырку, а то и ветчинки раздобудемся.

Казак прилег, положил дуло на камень, прицелился и — в тот же миг намеченный капрал завертелся на месте и упал ничком на землю.

— Готово! — воскликнул радостно ловкий стрелок.— Теперь только чур, ребята, сторожи: как на уру на них побегим, так чтоб другие его не подобрали! Ну, а теперича следующий!

И он опять стал заряжать винтовку.

Черепов дал шпоры и поспешил отъехать от продолжения этой охоты, обвинять за которую голодных, ожесточенных людей он в душе не чувствовал возможности.

На пути своего следования ему попалось еще несколько подобных же кучек солдат, которые усердно шарили в ранцах убитых французов, тут же делясь найденным хлебом, и даже добродушно приносили начальникам часть своей добычи.

Однако и в Эльме не нашли себе русские войска желаемого отдыха: всю ночь оставались они под ружьем, наготове к бою, в расстоянии ружейного выстрела от противника и, при этой холодной, ненастной темноте, нигде не могли добыть дров, чтобы развести костры; а снег так и валил большими хлопьями... Этот приятный ночлег покинут был 25-го сентября еще до света, и в пяти верстах за Эльмом русские увидели пред собой страшный снеговой хребет Ринген-Копф (Паникс), знакомый пока только авангарду Милорадовича, который вовсе не ночевал в Эльме. Путь, предстоящий теперь, был еще труднее, неизмеримо труднее, чем все прежние переходы. Даже Росшток казался игрушкой в сравнении с Ринген-Копфом, которого крутой и продолжительный подъем как бы вдруг вырос пред глазами армии с первыми лучами рассвета. Подъемная тропинка, трудная сама по себе, сделалась совсем непроходимой от продолжительного ненастья. Люди вязли в грязи, едва вытаскивали ноги — и опять те же обрыванья и полеты стремглав в преисподние!.. Опять гибель последних вьюков! Здесь была потеряна в безднах вся остальная наша горная артиллерия, которую просто пришлось нарочно побросать в пропасти для облегчения животных, необходимых под перевозку раненых. Чем выше поднимались русские, тем круче и труднее становился подъем, а выпавший за ночь глубокий снег совсем занес дорогу. Густые тучи затянули всю поверхность горы, так что люди карабкались наобум, ничего не видя пред собой. Проводники опять разбежались,— пришлось самим под вьюгой искать себе дорогу, погружаясь в снежные сугробы. С высоты гор слышались глухие раскаты грома, и по временам густой, непроницаемый туман рассекался блеском молний, и опять огромные каменья, срываемые бурею, с грохотом катились в бездны. Русские вступили в область грозы, которая трещала вокруг, а через несколько времени молниеносные удары грома раздавались уже значительно ниже: грозовой пояс был пройден. И на этом-

то ужасном переходе все без различия — солдаты, офицеры, генералы — были босы, изнурены и голодны. Промоченные до костей страшным ливнем, они вдруг были застигнуты снегом, вьюгою, метелью,— и мокрая одежда покрылась на них ледяной корой.

Здесь в первый раз между солдатами раздался ропот.

— Ну, братцы, старик наш совсем, видно, из ума вышел! Завел невесть куда! — громко говорили солдаты, нимало не стесняясь присутствием самого Суворова, который ехал рядом.

— Помилуй бог! Они хвалят меня! — громко и с веселым смехом обратился он к окружающим.— Так точно хвалили меня они же и в Туречине, и в Польше!

При этих словах люди невольно вспоминали, что «отец» всегда умел выводить их с честью и славой из самых безвыходных обстоятельств, и им стало стыдно за свое минутное малодушие. Бодрость была возбуждена снова.

В это время на одной из попутных скал увидели они надпись.

— Савёлов! ты дока на грамоту: разбери-ка, что оно тут обозначает? — обратился один из солдат к товарищу.

— А ляд его знает! Не по-законному писано, не по-русски! — отозвался вопрошаемый.

— Эта надпись гласит, что «здесь прошел пустынник»,— пояснил им Черепов, случившийся рядом.

— Пустынник!.. Ишь ты, диковина какая, пустынник! Что ж тут такого?! — тотчас же весело стали переговариваться солдаты.— Нас-то, поглядишь, эвона сколько пустынников идет, и ничего себе, шагаем!.. А у них сейчас этто надпись!.. Чудесно!.. Ей-богу!..

И такие-то суждения произносили люди, отродясь не видавшие гор, привыкшие с колыбели к простору родимых равнин, к раздолью степей необозримых! А подъем все выше да выше, все круче и тяжеле — и опять признаки уныния начинаются замечаться на изнуренных лицах.

Вдруг, в эту самую минуту, ни с того ни с сего, Суворов во всю мочь затягивает песню:

Что девушке сделалось?
Ай, что красной случилось?

И далече передается вдруг разлившийся вокруг него гомерический хохот, и до крайности истомленные войска с новой бодростью карабкаются на новую кручу!

Целый день безостановочно тянулась колонна, одолевая кручу Ринген-Копфа, и только авангард Милорадови-

ча успел засветло спуститься к деревеньке Паникс. Все остальные войска едва в сумерки достигли ледяной вершины хребта и тут были застигнуты темнотой. Вся колонна так и остановилась в том самом положении, в каком захватила ее ночь. Не имея никакой возможности идти далее и совершенно выбившись из сил, солдаты сами приютились где попало: на голом снегу, на каменьях, на ледяных глыбах или прислонившись к скале — и так провели целую ночь в ожидании рассвета. И тут еще, к довершению бедствия, поднялась вдруг такая стужа, что многие солдаты замерзли во сне, на вершине Паникса, и обледенелая дорога сделалась чрезвычайно скользкою. Темно-синее небо, сквозь ясный горный воздух, морозно играло бесчисленным множеством ярких звезд; студеный ветер гудел среди ледника,— и вместе с его воем раздавались иные ужасные звуки: то был горячечный, полупомешанный бред, рыдания, вой и скрежет, вопли и стоны умирающих пленных французов... Русские, как более привычные к суровому климату, переносили эти ужасы легче и если умирали, то делали это тихо.

Здесь воистину была настоящая адская *ночь ужасов.* На заре розоватый луч восходящего солнца заиграл переливами радужных цветов на окрестных ледяных вершинах и золотисто обагрил густые тучи, клубившиеся далеко внизу, под ногами.

«Ку-ку-ри-ку-у-у!» — раздался вдруг громкий петуший крик в одном из концов русского стана.

— Ну-у!.. загорланил старый петух! — быстро загомонили промеж себя солдаты.— Вставай, ребятки, вставай, шевелися!.. В поход пора!

«Кво-ох, кво-кво-кво-квох!» — в ответ на петуший крик весело послышалось с разных сторон куриное кудахтанье — и солдаты живо, со смехом, подымались со своего ледяного ложа, отбивая на месте трепака с холоду и отряхая с себя налет морозной пыли.

— Ну, ну! вставайте, вставайте, курицыны дети!.. Живо! Ишь, батька-то как петухом орет!.. благим матом! Стало быть, время!

И люди, оправясь да поразмяв члены, набожно и спешно крестились на восток, откуда большим диском подымалось багряное солнце, и еще поспешнее становились в ружье и выстраивались. Унтер-офицеры наскоро делали расчет по рядам, примечая, кто жив, а кто остался почивать вечным сном в ледниках Ринген-Копфа. Но вот барабан загрохотал «подъем», где-то впереди раздалась

команда — и головная часть колонны двинулась с горы по обледенелому спуску. Этот спуск вполне стоил подъема, если даже не был еще хуже. На каждом шагу теряя последних лошадей и мулов, армия около полудня спустилась кое-как по гололедице и с величайшей опасностию к деревне Паникс, где был дан ей небольшой привал, и затем, уже по более отлогой местности, полки направились к городу Иланцу.

Крупной рысью обскакивая их на этом переходе, Суворов весело кричал солдатам: «Здравствуйте, чудо-богатыри, витязи русские!.. Чада Павловы, здравствуйте!»

И ответный крик ратников от души, от сердца, с любовию вырывался у всякого.

— Здравия желаем, отец, батюшка Александр Васильевич!

И долго громкое «ура» бесконечными перекатами от батальона к батальону, от полка к полку провожало старика по дороге и не смолкало даже и тогда, когда его капуцинская шляпа и развевавшийся родительский плащ совсем уже терялись впереди из виду...

И сам Суворов, и каждый ратник равно чувствовали и сознавали, что в эту минуту было спасено более чем жизнь: спасена была честь оружия русского.

XXVII

ЦАРСТВЕННЫЙ СВАТ

27-го сентября совершенно уже босая армия пришла в город Кур, где кончились ее невзгоды и опасности. Высокий снеговой хребет стоял между нею и неприятелем, фланги прикрывались австрийскими отрядами, а в самом Куре найдены были изобильные запасы продовольствия, дров и боевого снаряжения. Здесь был истинно светлый праздник: на улицах все генералы, офицеры и солдаты братски обнимались и целовались между собой, поздравляя друг друга с жизнью и спасением. Мгновенно оживился весь русский стан. В котлах варилась похлебка с говядиной, солдаты резали свежий хлеб, курили трубочки-носогрейки, давно уже не дымившие табачком, фельдфебеля распоряжались около бочонков с водкой и делили ее по «братским крышкам»... Утомление и горе было забыто. Люди принялись чинить обувь, справлять амуницию и уже шутили над только что минувшими страданиями. К вечеру по всему бивуаку гудели бубны, звенели медные

тарелки, и ротные песенники в кругах распевали веселые песни.

Суворов приказал позвать к себе Черепова. Когда последний вошел к фельдмаршалу, он застал там двух-трех высших генералов и начальника походной канцелярии, Е. Б. Фукса, который сидел за письменным столом и приготовлялся что-то писать.

— Ну, пиши же реляцию,— говорил ему Суворов,— все опиши, достойное примечания... все!..

— Для сего кисть моя не имеет красок,— пожал тот плечами.— Да и на что тут реляция! Для потомства довольно и сего: *«Русские перешли Альпы — и Россия имеет Аннибала!»*

— Го-го!.. Помилуй бог! — захлопал Суворов в ладоши и принялся скакать по комнате.

— А! Вот он! — вскричал вдруг старик, увидав Черепова.— Очень рад, что пришел!.. Хорошо!.. Отлично!.. В сей час получишь поручение!

— Что прикажете, ваше светлость? — почтительно спросил Черепов.

— А вот-вот, сейчас... Пиши же, Егор, пиши, голубчик, скорее... время не ждет!

Но литературное перо Фукса уже и без того быстро бегало по листу бумаги.

— Вот тебе ордер к кригс-цальмейстеру,— продолжал Суворов, подавая Черепову клочок бумаги, на котором тут же написал за своей подписью несколько слов.— Беги ты с ним к казначею, получай прогоны, изготовься и через час будь здесь. Егор, реляция будет готова?

— Поспеет,— утвердительно кивнул Фукс, не подымая глаз от своей бумаги.

— О, помилуй бог!.. у тебя живо!.. Все живо! Ну, хорошо!.. Итак, голубчик,— опять повернулся старик к Черепову,— лети, мчись... птицей... в Петербург... к государю... с реляцией... А будет спрашивать, расскажи ему сам все, что видел... что перенесла армия... все... все, без утайки!.. Ступай же за прогонами!

Черепов поклонился и вышел.

Через час у крыльца главной квартиры стояла уже немецкая почтовая брика, и краснощекий швейцарский почтальон, с бичом в руке и медным рожком за спиной, молодцевато красовался на козлах. Черепов в четверть часа успел купить себе новые сапоги и дорожный, подбитый ватою, плащ да кожаную подушку; набил кисет табаком, уложил в кожаную сакву две перемены белья,

бутылку рому, две-три булки с куском копченой ветчины и — совершенно готовый в путь — явился в назначенный срок к фельдмаршалу.

— Ну вот, и ты готов, и реляция готова! — весело воскликнул Суворов.— Поезжай же с богом!.. Вот тебе сумка курьерская... вот открытый лист... Вот пакет... Государю!.. в собственные руки!.. Ну, все, кажись?..

— Все, ваша светлость,— подтвердил начальник канцелярии.

— Ах, да!.. Поди-ка сюда на минутку! — как бы домекнувшись о чем-то, кивнул Суворов Черепову и повел его за собой в другую комнату, где они очутились наедине.

— Есть ли у тебя деньги? — тихо спросил старик, затворив за собой дверь.

— Как же, ваша светлость! Прогоны мне в тот час же выданы.

— Прогоны!.. Помилуй бог!.. Я не о том... Прогоны! Помимо прогонов есть ли?

— Найдется еще малая толика.

— Да вдосталь ли?

— Хватит, ваша светлость! — беззаботно махнул рукой Черепов.

— То-то!.. Хватит!.. Ты не церемонься: коли нужно, возьми у меня... Я никому не скажу... Потом сочтемся.

— Ей-ей, хватит, ваша светлость!.. Недосуг только расстегиваться, а то и показал бы.

— Ну, коли так, то не теряй времени!.. Помилуй и сохрани тебя боже!.. Поезжай, поезжай, голубчик!.. Господь с тобой!

И, трижды перекрестив Черепова, старик поцеловал его и выпроводил за дверь, положив на плечо ему руку.

Черепов, благословясь, вскочил в бричку, почтарь хлопнул бичом — и быстрая пегая пара бойкой рысью тронулась по улице, кипевшей горожанами и нашим солдатством.

Не отъехали и трех верст от города, как Черепов, истомленный несколькими бессонными ночами, закутавшись в плащ да прикурнув плечом и головою к своей кожаной подушке, спал мертвым сном под однообразный стук колес подпрыгивающей брички.

После выхода Суворова из Альпов вся Швейцария снова очутилась в полной власти французов. Дела австрийцев на Рейне и в Италии были ничтожны и нереши-

тельны. И вот те самые люди, которые всячески старались исторгнуть победу из рук Суворова, стали теперь уговаривать его начинать снова вместе с ними военные действия. Эрцгерцог Карл предложил было ему сначала охранять Граубинден, пока не получатся новые повеления от венского гофкригсрата. Суворов пришел в негодование. «Воинов, увенчанных победами и завоеваниями, дерзают назначать сторожами австрийских границ!» — писал он Ростопчину и немедленно решил перейти в Фельдкирх, назначив Корсакову пункт соединения с собою в Линдау. Здесь произведен был размен пленных между русскими и французами, после чего соединившиеся остатки двух русских армий расположились между реками Иллером и Лехом.

Меж тем эрцгерцог Карл, все еще не теряя надежды снова привлечь Суворова к военным действиям, предложил ему личное свидание с собой — Суворов отказался, сказав, что эрцгерцог может сообщить ему на письме, что почтет нужным. Тот опять прислал доверенное лицо, графа Колоредо, с требованием свидания. Недовольный повелительным тоном письма, старик сухо отвечал посланцу:

— Эрцгерцог Карл, если он не при дворе, а в лагере, такой же генерал, как и Суворов, кроме того, что Суворов гораздо старше его своей опытностью. И притом, передайте его высочеству, что я не знаю обороны: умею только атаковать и двинусь вперед, когда сам признаю удобным, и тогда уже не остановлюсь в Швейцарии, а пойду прямо во Франш-Конте. Скажите, что в Вене во дворце я буду у ног его высочества, а здесь, на войне, я, по меньшей мере, равен с ним и ни от кого не приму уроков.

«Чего хочет от меня эрцгерцог? — писал он тогда же П. А. Толстому.— Он думает обволшебить меня своим демосфенством... а у меня на бештимтзаген [1] ответ готов. Он дозволил исторгнуть у себя победу. Мне 70 лет, а я еще не испытал такого стыда. Да возблистает слава его! Пусть идет и освободит Швейцарию — тогда и я готов».

Эрцгерцог оскорбился и в длинном письме принялся доказывать, что никак не он, а Корсаков и сам же Суворов виноваты в потерях. «Все тактики согласны с этим»,— прибавлял он в заключение.

И не пощадил же его старик за эту выходку в своем прямом ответе!

---

[1] требование, домогательство (от *нем.* bestimmt sagen).

«Царства защищаются,— писал он,— завоеваниями бескорыстными, любовью народов, правотою поступков, а не потерею Нидерландов и гибелью двух армий в Италии. Это говорит вам солдат, который прослужил шестьдесят лет, водил к победам войска Иосифа II и победою утвердил за Австрией Галицию,— солдат, не знающий ни демосфеновской болтовни, ни академиков бессмысленных, ни сената карфагенского! Я не ведаю ребяческих соперничеств, демонстраций, контрмаршей. Мои правила: *глазомер, быстрота, натиск*».

Но так как эрцгерцог настаивал на продолжении военных действий и требовал от русских помощи, то Суворов созвал в Линдау новый военный совет из своих сподвижников, и этот совет решил единогласно, что, «*кроме предательства, ни на какую помощь от цесарцев нет надежды,* чего ради наступательную операцию не производить».

Император Павел был немедленно же извещен фельдмаршалом об этом решении.

Взмыленная тройка подкатила к одному из дворцовых подъездов.

— Курьер... курьер из армии! — тотчас же разнеслось по всем коридорам, этажам и апартаментам — и курьер немедленно же был введен в кабинет государя.

— Злые или добрые вести? — быстро спросил император.

— Вести геройские,— почтительно и твердо ответил посланец, подавая запечатанный пакет.

Государь нетерпеливо сломал печать и жадно погрузился в чтение реляции.

— Слава богу!.. Честь оружия спасена и армия тоже! — воскликнул он, осеняя себя широким крестным знамением, и снова перечитал всю реляцию.

— Ты находился все время там? при фельдмаршале? — спросил он.

— Все время, ваше величество, и был очевидным свидетелем неимоверных трудов и подвигов армии.

Государь с несколько бо́льшим вниманием окинул взглядом всю фигуру курьера.

— Господин полковник Черепов! — воскликнул он с улыбкой.— Ну, что ж, удалось ли вам в бою схватить за тупей фортуну?

— Моя фортуна в руках вашего величества,— ответил, склонив голову, Черепов.

— Недурно сказано! — усмехнулся император.—Итак, ты видел все?.. Сам был свидетелем?.. Расскажи. А впрочем, нет! — перебил он самого себя.— Пойдем сперва к императрице, порадуем ее доброй вестью, и там заодно ты расскажешь.

И он повел Черепова на половину государыни.

— А что ваше сердце, господин полковник? — нежданно спросил вдруг император.— Все так же ли продолжает хранить чувствительность к известной особе?

— Да, государь, и поднесь люблю ее! — открыто сказал Черепов.

— И что ж, намерены делать предложение?

— Желал бы с охотой всего сердца, но...

— Все еще не осмеливаетесь?

— Да, ваше величество!

— Где чересчур уж смел, а тут робок некстати,— заметил с улыбкой император.— Ну, хочешь, я буду твоим сватом. Для меня, надеюсь, отказа не будет.

И с этими словами они вошли в кабинет императрицы.

Государыня у окна занималась акварельною живописью. Княгиня Ливен, бывшая в тот день дежурной статс-дамой, сидя за креслом ее величества, держала на коленях какую-то вязальную работу, а дежурная фрейлина читала вслух государыне вновь вышедшую повесть Карамзина. При входе императора обе последние дамы почтительно поднялись с места. В эту минуту, быстрым взглядом окинув всю женскую группу, Черепов чуть не вскрикнул от восторга: в дежурной фрейлине узнал он графиню Елизавету, которая, тоже подняв глаза на вошедших, вдруг вся вспыхнула от неожиданной радости.

— Я знал, зачем вел вас сюда! — как бы вскользь заметил ему государь с самой милостивой улыбкой и прямо направился к императрице.

— Добрые вести!.. Славные вести!.. Старик наш неразлучен с геройством! — сказал император и сам стал громко читать реляцию Суворова.

Вслед за тем он заставил Черепова рассказать о всех виденных им подробностях альпийских битв и переходов. Безыскусственный, но правдивый и оживленный рассказ в устах очевидца был увлекательно ярок и вместе с тем прост и невольно хватал за душу. Государь сжимал губы и нервно мял в пальцах сложенную бумагу, когда передавались ему все мрачные подробности предательских коз-

ней наших добрых союзников; императрица невольно отерла слезу, слушая о том, что перенесено было русской армией на ледяных вершинах и в глубине темных пропастей этого «царства ужасов»; но лица царственной четы засветились удовольствием и радостью, когда рассказ дошел до спасения армии, до эпизода ее перехода в Кур, до выражения того чудного, геройского духа, которым оживлено было все войско в самые ужасные дни. Переданы были также и многие подробности о великом князе Константине, о его самоотвержении в Клёнтальской битве, о его боевых трудах, лишениях и живом участии к солдатам, с которыми делился он всем, чем только мог и что имел при себе. Этот последний рассказ вполне возвратил государю его светлое, довольное настроение духа.

— Благодарю!.. Спасибо! — сказал он приветливо Черепову и вслед за тем вдруг обратился к графине Елизавете.— Не правда ли, что не много красавиц отказались бы от чести быть женами подобных героев?

— Если только герои захотят обратить на них внимание, государь,— скромно заметила девушка.

— О, в этом я совершенно уверен! И потому (он весело окинул взглядом Черепова и Лизу) ...и потому, сударыня, я позволяю себе просить вашей руки для генерал-майора Черепова. Надеюсь, ни вы, ни ваш батюшка не откажете нам в этой чести?

Радостно смущенная Лиза сделала глубокий поклон государю и, вся зардевшись, безмолвно подала жениху свою руку.

XXVIII

ЛУЧИ БЕССМЕРТИЯ И СЛАВЫ

Следствием своекорыстной политики венского двора и всех коварств Тугута был разрыв нашего союза с Австрией.

«Вашему величеству,— писал государь Павел Петрович императору Францу,— уже должны быть известны последствия преждевременного выступления из Швейцарии армии эрцгерцога Карла, которой, по всем соображениям, следовало там оставаться до соединения фельдмаршала князя Италийского с генерал-лейтенантом Корсаковым. Видя из сего, что мои войска покинуты на жертву неприятелю тем союзником, на которого Я полагался более, чем на всех других; видя, что политика его совершен-

но противоположна Моим видам и что спасение Европы принесено в жертву желанию расширить вашу монархию; имея притом многие причины быть недовольным двуличным и коварным поведением вашего министерства (которого побуждения не хочу и знать, в уважение высокого сана Вашего Императорского Величества), Я с тою прямотою, с которой поспешил к вам на помощь и содействовал успехам ваших армий, объявляю теперь, что отныне перестаю заботиться о ваших выгодах и займусь выгодами собственными своими и других союзников. Я прекращаю действовать заодно с вашим императорским величеством, дабы не действовать во вред благому делу...»

Это письмо было передано императору Францу чрез русского посла Колычева, заменившего графа Разумовского. Прочитав его, Франц до того смутился, что не умел даже скрыть свои ощущения пред нашим послом, который после аудиенции у императора австрийского имел свидание с бароном Тугутом. Когда Колычев объявил ему, что русским войскам предписано возвратиться в Россию, Тугут сначала не хотел даже этому верить. Черты лица его, всегда холодные и неподвижные, тоже не могли скрыть живого смущения; но потом, придя несколько в себя, австрийский министр начал вдруг выхвалять доблести русских войск, заслуги полководца их и старался выведать у Колычева, не может ли Суворов хотя повременить на некоторое время выступлением из Германии, в той надежде, что гнев императора Павла, быть может, еще смягчится и повеления его будут отменены. После первого испуга Тугут старался успокоить себя той мыслью, что император Павел в действительности не решится привести в исполнение свою угрозу. Однако же надежды венского двора, давно уже, впрочем, затеявшего втайне отдельные переговоры с французской директорией, в скором времени окончательно рушились.

Копия с письма к австрийскому императору была препровождена государем к Суворову при особом рескрипте, где, между прочим, значилось: «Вы должны были спасать царей; теперь спасите российских воинов и честь вашего государя», а в следующем за тем рескрипте государь писал, что более «не намерен жертвовать своими войсками для корыстолюбивых и бесстыдных видов двора венского». Суворов, конечно, не претендовал на разрыв с австрийцами, коварство которых чуть не выморило всю его армию и было главнейшей причиной поражения Корсакова. Император Павел очень хорошо понимал последнее и хотя

отставил Корсакова от службы, но, получив донесение о выходе русских из Швейцарии, писал к Суворову от 29-го октября: «Весьма рад, что от вашего из Швейцарии выступления узнает эрцгерцог Карл на практике, каково быть оставлену не вовремя и на побиение; но немцы люди годные: все могут снесть, перенесть и унесть».— «Действуя на пользу общего дела престолов, я не должен, однако, терять из виду безопасность и благоденствие моей империи, в чем отдам отчет пред богом и пред всеми подданными моими»,— писал государь к принцу Конде, извещая об отозвании своих войск в Россию. Распорядясь о немедленном выступлении русской армии из Баварии и о движении ее «умеренными маршами» к пределам своего отечества, государь формально приказал *платить за все* на пути чрез австрийские владения, а деньги на путевые расходы просить взаимообразно у курфюрста баварского Максимилиана. «Теперь главный предмет мой,— извещал он Суворова,— есть возвращение ваше в Россию и охранение ее границ». Действующую армию предназначалось расположить под непосредственным начальством Суворова, на западной окраине империи, а ему самому повелевалось «иметь пребывание, яко в средоточии маетностей его,— в местечке Кобрине».

Известясь об этой высочайшей воле, Суворов сказал:

— Я бил французов, но не добил. Париж, мой пункт,— беда Европе! — и послал племянника своего, князя Горчакова, занимать у курфюрста баварского миллион гульденов.

Швейцарский поход по справедливости считается, не только у нас, но и в Европе, венцом воинской славы Суворова. Граф Ростопчин в письме к нему в следующих выражениях высказывал свое мнение об этом походе: «Ваше последнее чудесное дело удостоивают в Вене названием «une belle retraite» [1]. Если б они (т. е. австрийцы) умели так ретироваться, то давно бы завоевали всю вселенную».

— Belle retraite! — воскликнул со смехом Суворов.— Помилуй бог!.. Здесь нет des belle retraites,— разве в пропастях!

Император Павел, по тому же поводу, писал ему в рескрипте от 29-го октября: «Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов отечества, недоставало вам одного

[1] Прекрасное отступление *(фр.)*.

рода славы — преодолеть и самую природу. Но вы и над нею одержали ныне верх: поразив еще злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистию против вас вооруженных».

Спасение русского войска в самой ужасной и труднейшей из местностей Швейцарии было во мнении государя величайшей заслугой. Выслушав реляцию, он тут же возвел Суворова в звание *генералиссимуса* и сказал при этом графу Ростопчину: «Это много для другого, а ему мало — ему быть ангелом»,— и в рескрипте, которым объявлялась старику эта новая милость царская, было изображено: «Награждая вас по мере признательности моей и ставя на высший степень, чести и геройству предоставленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего полководца сего и других веков». В то же время император повелел отлить статую Суворова и, в честь его, воздвигнуть монумент в Петербурге, на Марсовом поле [1].

В числе самых деятельных и полезных участников швейцарского похода был великий князь Константин Павлович, которому Суворов в донесении своем государю отдал полную дань справедливости, за что великому князю пожалован был титул цесаревича. Все частные начальники и отличившиеся офицеры по представлению генералиссимуса получили щедрые награды.

Вся Европа дивилась и рукоплескала Суворову. Ораторы, поэты слагали ему похвалы. Державин, воспевший некогда Измаил и Прагу, сделал швейцарские подвиги предметом новой своей оды, которая исполнена самобытными красотами: своенравными, как гений Суворова, дикими, как природа Швейцарии. Воспевая подвиги русских, Державин изображал Валгаллу и древнего героя Севера, указующего на Суворова:

«Се мой», гласит он, «воевода,
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа —
Девятый вал в морских волнах!».

«Хохочет ад»,— восклицал Державин, рисуя битвы в Альпийских горах и представляя Сен-Готард исполином, который касается «главой небес, ногами ада» и с ребер которого —

---

[1] Монумент был открыт уже в 1801 году, в царствование императора Александра I и первоначально поставлен на Царицыном лугу, а впоследствии перенесен на площадь к Троицкому мосту, которая с тех пор и называется Суворовскою. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

Шумят вниз реки!..
Пред ним мелькают дни и веки,
Как вкруг волнующийся пар...

Эта ода заключалась мыслию, что отныне вековечными обелисками русских подвигов пребудут сами Альпийские горы.

Вместо миллиона гульденов у курфюрста баварского нашлось всего 200 тысяч, которые и были немедленно доставлены генералиссимусу. Затем вся русская армия сосредоточилась в Аугсбурге. Здесь прислали к Суворову почетную стражу.

— Зачем это?! Помилуй бог!.. Не надо!.. Меня охраняет любовь народная! — сказал он, отсылая караул.

Около месяца прожили в Аугсбурге русские, и время, проведенное здесь, прошло для них шумно и весело. Множество генералов, министров, путешественников стекалось сюда со всех сторон Европы, чтобы видеть Суворова, хоть мельком, но воочию взглянуть на него. Все благоговело пред героем италийским. Из Аугсбурга русская армия двинулась далее, двумя колоннами — одна через Богемию, другая — через Моравию. Сам Суворов следовал при первой. В городке Вишау встретил его хор детей, пропевший в честь ему гимн. Старик прослезился, перецеловал маленьких певцов, усадил их у себя за стол, потчевал разными лакомствами и сам пел с ними.

1-го декабря Суворов прошел Нитенау и вступил в Прагу, столицу Богемии, где, во исполнение высочайшего повеления двигаться «умеренными маршами», приготовился дать войскам своим продолжительный отдых и остался здесь на целый месяц. Сюда приехали к нему генерал Беллегард — со стороны императора австрийского, и лорд Минто — со стороны короля английского для новых попыток уговорить его сражаться. Старик был и сам не прочь от этого, только не вместе с австрийцами. Множество знатных людей, министров, дипломатов, генералов и дам окружали его и здесь, как в Аугсбурге. Здесь, среди героев, которых водил к победам, среди уполномоченных агентов государей, искавших его внимания и согласия, Суворов в последний раз явился в полном блеске славы и почестей. В Праге же помолвил он и своего сына с принцессой Курляндской. По вечерам у него происходили многолюдные и шумные собрания. Затеял он тут справлять русские святки, завел святочные игры, фанты, жмурки, жгуты, подблюдные песни, сам пел, и бегал, и мешался в толпе гостей, с точностию исполняя все, что назначалось

ему проделывать, когда вынимался его фант, водил хороводы, заставлял немцев выговаривать трудные русские имена и мудреные слова и слушать рассказы о славной плясунье — боровичской исправничихе, и, наконец, пускался в танцы: «Люди вправо,— пишет очевидец [1],— а он влево; такую причинял кутерьму, суматоху, штурм, что все скакали, прыгали и сами не знали куда». И замечательно, что знатнейшие богемские дамы, австрийские генералы, даже английский посланник при венском дворе и множество чужестранцев — путались вместе с руссаками в наших народных играх. Суворов был очень доволен, если, при игре в жгуты, особенно больно доставалось по спине австрийским генералам. «Пониже бы их хорошенечко! Пониже!» — приговаривал он, хлопая в ладоши. Сюда же, в Прагу, явился художник Миллер, присланный от курфюрста саксонского с просьбой о позволении списать с Суворова портрет для Дрезденской галереи. Старик очаровал Миллера своими разговорами. Ласково встретив его, он стал словами изображать свой нравственный портрет.

— Ваша кисть изобразит черты лица моего,— говорил он художнику,— они видны; но внутреннее человечество мое сокрыто. Итак, скажу вам, любезный господин Миллер, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего, во всю жизнь мою никого не сделал несчастным, ни одного приговора на смертную казнь не подписывал; ни одно насекомое не погибло от моей руки. Был мал, был велик (при этом Суворов вскочил на стул); в приливах и отливах счастия уповал на бога и был непоколебим (тут он сел на стул); непоколебим как теперь!.. Вдохновитесь вашим гением и начинайте!

— Твой гений вдохновит меня! — воскликнул в восторге художник.

Умолкнув, Суворов терпеливо выдерживал неподвижную позу — и прекрасный портрет его, списанный Миллером, до наших дней хранится в Дрезденской галерее.

В это время оживлял Суворова не суетный блеск, окружавший его, не величие, в каком являлся он в представлении своих современников,— оживляла его надежда явиться снова, но уже самостоятельно, среди громов битвы и победы. Любимой и самой заветной мечтой его было победить и умереть в бою, но не на постели.

---

[1] Фукс Е. Б. *(Примеч. В. В. Крестовского.)*

Высочайший рескрипт от 29-го декабря застал его еще в Праге. «Князь! — собственноручно писал государь,— поздравляю вас с новым годом и желаю его вам благополучна, зову вас к себе. Не мне тебя, герой, награждать! ты выше мер моих; но мне чувствовать сие и ценить в сердце, отдавая тебе должное».

Удовлетворяя желанию государя, генералиссимус простился с войсками: он прослезился — и ничего не мог сказать им от волнения... Ряды солдат тоже безмолвствовали и были грустны, словно предчувствуя, что видят «отца» уже в последний раз в своей жизни. Суворов сдал начальство генералу Розенбергу и спешил выехать из Праги. Но пред отъездом, возражая еще раз на новые планы, представленные ему Беллегардом и Минто, он выразился напрямик, что «все эти планы красноречивы, да не естественны, прекрасны, да не хороши», и на прощанье высказал им мысль весьма замечательную:

— Если хотите еще раз воевать с Францией,— сказал он,— то воюйте хорошо, ибо война плохая — смертельный яд. В этом случае лучше и не предпринимать ее! Всякий, изучивший дух революций, был бы преступником, если б умолчал об этом. *Первая великая война с Францией должна быть также и последнею.*

Спустя пятнадцать кровавых лет Европа в 1812 году убедилась в вещих словах Суворова.

На другой день он выехал из Праги в сопровождении небольшой свиты. По дороге, моравском городке Нейтитченке, где умер и похоронен австрийский фельдмаршал Лаудон, пожелалось ему взглянуть на гробницу этого замечательного человека. Погрузясь в глубокую задумчивость, долго стоял он и смотрел на длинную латинскую эпитафию, где в подробности и до последних мелочей исчислены были дела, чины, титулы и отличия Лаудона.

— К чему такая длинная надпись! — произнес он наконец в раздумье.

Рядом с ним стоял Фукс, ловя на лице великого старца все оттенки сокровенных дум, волновавших его душу в эту замечательную минуту.

— Нет! Когда я умру,— продолжал Суворов, обратясь к своему спутнику,— завещаю тебе волю мою: когда я умру, не делайте на моем надгробии похвальной надписи. Напишите просто, всего три слова: *«Здесь лежит Суворов»*,— с меня и довольно!

XXIX
СМЕРТЬ ВЕЛИКОГО ДЕДА

Доехав до Кракова, Суворов почувствовал себя дурно. Он через силу поехал на бал, данный в его честь, но среди пышной толпы видимо казался утомленным и грустным: здесь уже не было в нем ни обычных его остроумных выходок, ни оригинальностей. На другой день у него открылась болезнь, известная под названием «*фликтены*»; сыпь и водяные пузыри покрыли все его тело. Он поспешил добраться до Кобрина, где находилась его «маетность», и, как ни торопился в Петербург, однако, против воли, должен был слечь в постель. Император Павел, встревоженный известием о болезни своего генералиссимуса, прислал к нему своего лейб-медика Вейкарта. «Молю бога,— писал он,— да сохранит мне героя Суворова. По приезде вашем в столицу увидите вы вполне признательность к вам вашего государя, которая, однако ж, никогда не сравнится с вашими подвигами и великими заслугами, оказанными мне и государству».

Ежедневно скакали курьеры из Кобрина в Петербург с депешами о состоянии здоровья Суворова. Медики советовали ему пользоваться водами, но он вообще пренебрегал медициной, не терпел лекарств и лечился по-своему.

— Помилуй бог! — отвечал он на все эти советы.— Посылайте на воды здоровых богачей, игроков, интриганов, а я ведь болен не шутя... Мне надобны деревенская изба, молитва, баня, кашица да квас.

Однако, известясь о воле государя, который желал, чтобы больной следовал предписаниям медика, Суворов подчинился приказаниям Вейкарта. Однажды как-то велел он денщику своему Прошке отыскать свою старую аптечку, подаренную ему Екатериною.

— Я только хотел поглядеть на нее; она надобна мне только на память,— оправдывался он, когда Вейкарт сердито отнял у него ящичек.

Предписано было ему одеваться теплее, а он не хотел и отговаривался тем, что «я-де солдат!».

— Вы генералиссимус,— возразил ему Вейкарт.

— Так-то так, да солдат с меня пример берет! Вот что! — отвечал несговорчивый Суворов.

Никак не могли также убедить его есть скоромное в великий пост. Однако Вейкарт значительно помог своему пациенту. Почувствовав облегчение, старик усердно принялся ходить в церковь, по обыкновению пел на клиросе, читал Часы и Апостол, клал положенные поклоны. Вспыльчивый Вейкарт беспрестанно сердился на него, доказывая, что все это изнуряет его физические силы, а Суворов, в отместку за ворчливость, заставлял говорить его по-русски, ходить вместе с собой в церковь, есть постное и от души смеялся досаде немца-врача, который всячески старался отбояриться от такого непривычного ему образа жизни. Слыша о беспрерывной благосклонности государя, с чувством говорил Суворов: «Вот *это* вылечит меня лучше Ивана Ивановича Вейкарта!» Он все еще деятельно занимался перепиской, пересматривал и проверял списки наград, заботливо спрашивая, «не забыт ли кто?». Но по временам, чувствуя безнадежность своего здоровья, говорил, что лишь бы добраться до Питера, увидать государя, а потом — умирать в деревню! Советовали ему просить у императора еще какое-нибудь материальное обеспечение для себя и детей.

— Как!.. мне испрашивать еще что-нибудь у щедрого монарха!.. Да это подло, совестно, грех! — с негодованием воскликнул бескорыстный старец.

Но в другие часы забывал он о своей деревне и говорил о военных делах, о битвах; мечтал о новом походе в Италию, во Францию, в Париж, где, по его убеждению, только и мог быть положен действительный конец деспотическим действиям республиканцев; создавал новые планы освобождения Европы, писал письма к государям и знаменитым современникам; разговаривал о приготовлениях к триумфальному въезду его в Петербург.

— Дайте, дайте мне только увидеть государя! — восклицал он, с удовольствием слушая рассказы о том, как нетерпеливо ждут его в столице, какие почести придумывает ему император, как готовит для него помещение в Зимнем дворце, хочет встретить его, как римского триумфатора, со всей гвардией, при громе пушек и колокольном звоне. Читая письмо государя, где он писал, что «радуется приближению часа, когда обнимет героя всех веков», старик оживал, молодел, веселился и торопил приготовления к своей дальнейшей поездке.

Наконец Вейкарт разрешил ему отправиться в путь, но с тем, однако, чтобы не уезжать в сутки более 25-ти верст. Суворов не мог уже, как прежде, лететь на перекладных, в ямской телеге: теперь его везли в дормезе, на перине, обложенного подушками, в сопровождении врачей. Багратион свидетельствует, что «переход чрез Альпийские горы в ненастное время, а более всего неудовольствия от гофкригсрата и враждебного Тугута, из зависти и злобы нанесенные, и их козни сильно подействовали на здоровье Александра Васильевича». Крепкая натура боевого старика долго боролась с болезнию, но наконец последняя взяла-таки верх.

Не переставая заботиться о состоянии здоровья своего полководца, император Павел тем не менее отдал 20-го марта 1800 года следующий высочайший приказ: «Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своем, по старому обычаю, непременного дежурного генерала — что́ и дается на замечание всей армии».

Этим приказом особа генералиссимуса поставлена была выше выговора, который вместо него сделан был как бы всему русскому войску.

Суворов почувствовал это тонкое различие, и тем сильнее было его огорчение.

Приказом этим воспользовались его враги и недоброжелатели, чтобы оклеветать его пред государем и повсюду распустить слух, что не почести, но гнев и негодование государя ожидают его в Петербурге, что встречи, готовленные ему, отменены и войскам не велено отдавать ему почестей, высочайше дарованных за италийские подвиги... В этой новой и вполне удавшейся интриге было не без участия тайных клевретов Тугута.

Слухи о ней дошли и до Суворова, когда он остановился в Вильне. В нескольких станциях за этим городом свита генералиссимуса с изумлением и страхом увидела в нем внезапную перемену к худшему. Припадки болезни возобновились и усилились. Он не мог ехать далее и остановился на дороге в бедной литовской корчме. Его внесли в хату и положили на лавку. Сопровождавшие его лица не могли удержаться от слез при виде изможденного старика, прикрытого простынею и почти умирающего. «Боже великий! За что страдаю?!» — тяжко вздыхал он по временам, прерывая свою молитву и подавляя стоны.

Но железная натура его еще раз взяла верх над болезнию. Все были обрадованы, когда Суворов, кое-как перемогшись, начал снова свое путешествие и особенно когда приехал он в Ригу. Здесь застал его первый день Пасхи. Через силу надел он полный мундир со всеми орденами, отслушал заутреню и обедню и разговелся у рижского губернатора.

Остальное путешествие до Петербурга тянулось две недели и походило как бы на похоронное шествие. Толпами высыпал к нему навстречу народ, но, опасаясь потревожить его покой, не решался приветствовать героя своими кликами и, обнажив головы, провожал его в торжественном безмолвии, плакал и крестился, молясь за недужного старца. Едва шевелясь и видимо угасая, Суворов все еще шутил и с тихой улыбкой говорил иногда: «Ох, устарел я что-то!..»

В Стрельне ожидали его друзья и родные. Дормез генералиссимуса был окружен здесь множеством петербуржцев, нарочно съехавшихся сюда встретить народного героя. Почти все глаза полны были слез, когда увидали умирающего старика — тень великого Суворова. Слабым голосом говорил он с окружавшими его. Дамы и дети подносили ему цветы и фрукты; он благодарил дам, просил матерей приподнимать к себе детей и благословлял их дрожащей рукой.

К нему приблизилась молодая чета и за ней высокий, но уже сильно дряхлеющий старик в военном генеральском мундире.

Суворов поднял глаза, и во взоре его на мгновение вспыхнул светлый луч удовольствия и радости.

— Вася... Василий... мой... Черепов!.. Здравствуй, голубчик... Царь наградил тебя... Знаю!.. Хорошо... Помилуй бог!.. Спасибо ему за это! — проговорил он полным чувства, дрожащим голосом и протянул исхудалую костлявую руку.

Черепов в сильном волнении и с любовью приник к этой руке сыновним поцелуем. Сердце его сжалось мучительной тоской, и слезы сами невольно навертывались на глаза: таким ли оставил он Суворова несколько месяцев назад, в Куре, когда старик отечески целовал и благословлял его в дальнюю и спешную дорогу!..

— А это кто ж с тобой? — спросил Суворов, указав глазами на молодую даму, стоявшую рядом.

— Жена моя, рожденная графиня Харитонова-Трофимьева,— представил Черепов Лизу.

— Жена!.. Хорошо!.. Поздравляю... У, да какая ж красавица!.. Любите его, сударыня,— прибавил старик,— любите... Он честный солдат и человек... Он достоин сего... Вы не дочь ли графа Илии?.. Знавал я его некогда... в молодости... товарищи были.

— Да, я дочь его... Да вот и он сам, мой батюшка! — представила ему Лиза стоявшего за ней дряхлого генерала.

— А!.. граф Илия!.. Здорово, друг! — приветливо проговорил Суворов, озаряясь страдальчески-светлой улыбкой,— дай руку!.. Устарели мы немного... А помнишь Куннерсдорф... налет на Берлин с Тотлебеном... вместе были... Лихое время!.. Молодость!..

И, пожав руку графа, он от слабости томно закрыл свои веки и погрузился в мягкие подушки.

20-го апреля, в одиннадцатом часу вечера, тихо въехал Суворов в Петербург, чрез воздвигнутые для встречи его триумфальные ворота и принял скромную почесть заставного караула, вышедшего в сошки, по причине позднего часа, в силу устава, без ружей. Не заезжая в Зимний дворец, остановился он в доме племянника своего, графа Д. И. Хвостова, на Екатерининском канале, близ церкви Николы Морского, и там почувствовал себя сразу до того плохо, что тотчас же безмолвно лег в постель.

Государь, узнав о приезде Суворова, немедленно прислал к нему его сподвижника, князя Петра Ивановича Багратиона, проведать о здоровье и поздравить с приездом. Багратион застал старика в постели, едва дышавшего от изнурения. Часто впадал он в обморок; ему терли спиртом виски и давали нюхать.

Пришедши в себя, он взглянул на Багратиона, и в его больших гениальных глазах не блестел уже взгляд жизни. Долго смотрел он, как будто припоминая его, и наконец узнал.

— А!.. это ты, Петр!.. Здравствуй!

И замолчал, забылся.

Минуту спустя взгляд его сознательно опять остановился на Багратионе, который, пользуясь мгновением, поспешил передать ему все, что приказал государь.

Суворов при этом как будто оживился.

— Поклон... мой... в ноги... царю... сделай, Петр!.. ух... больно! — с усилием проговорил он, и застонал, и впал в бред.

Багратион донес государю обо всем и пробыл при его величестве за полночь. Меж тем каждый час доносили императору о ходе болезни Суворова.

— Жаль его! — с глубокой грустью сказал государь между многими о нем речами.— Жаль! Россия и я со смертию его теряем многое... Да, мы потеряем много, а Европа — все!

Наутро явился к генералиссимусу горячий поклонник его, вице-канцлер граф Ф. В. Ростопчин, и привез собственноручное письмо Лудовика XVIII, при котором князю Италийскому препровождались ордена св. Лазаря и св. Богородицы Кармельской. Суворов просил прочитать письмо и, взяв ордена, спросил:

— Откуда присланы?

— Из Митавы,— отвечал Ростопчин.

Горькая улыбка мелькнула на устах страдальца.

— Как из Митавы? — проговорил он.— Король французский должен быть в Париже!

И как бы сомневаясь, так ли ему прочитали, просил еще раз прочесть письмо, и когда услышал слова: «Примите, герой великий, знаки почестей от несчастного монарха, который не был бы несчастным, если бы следовал за вашими знаменами»,— крупные слезы блеснули на глазах его. Старик перекрестился, поцеловал кресты орденов и безмолвно опустил их на колени.

С каждым днем, с каждым часом недуг все усиливался; давнишние привычки и оригинальности Суворова исчезали одна за другой.

Медленно, тихо и безропотно угасал закаленный, старый солдат...

Память заметно начинала изменять ему, так что часто забывал он названия местностей, прославленных его недавними боевыми подвигами, забывал даже и самые эти победы. Но по временам светлое сознание возвращалось, и тогда он старался крепиться, вставал с постели, присаживался в большие кресла, заставляя двигать их по комнате, и даже занимался турецким языком, причем вспоминал свои походы в Турции; но вдруг нить воспоминаний этих прерывалась — он умолкал, голова его грустно никла на грудь, и тогда с глубоко скорбным вздохом вырывались у него слова:

— Зачем не умер я там, на полях Италии...

Услышав однажды от племянника, что до него есть дело, Суворов вдруг совершенно ободрился и твердым голосом произнес:

— Дело?.. Я готов!

Когда же все «дело» объяснилось тем, что барон Бюллер желал получить пожалованный ему баварский орден непременно из рук знаменитого генералиссимуса, Суворов грустно опустил голову и слабо, едва внятным голосом, промолвил:

— Хорошо... пусть войдет...

Наконец врачи потеряли всякую надежду.

Чувствуя приближение смерти, Суворов 5-го мая призвал духовника, исповедался, причастился и с ясным спокойствием духа простился со всеми окружающими его. Наступила ночь, и с нею — бред предсмертный. В беспамятстве умирающий герой отдавал разные военные приказания, твердил о Генуе, истолковывал стратегические планы свои... Бред продолжался и утром, и последними словами Суворова были: «Генуя... Сражение... *Вперед*!» — а во втором часу 6-го мая 1800 года, в день св. Иова Многострадального, великий и тоже многострадальный человек тихо испустил последнее дыхание.

Глубокое и тяжелое впечатление произвела весть о смерти Суворова в столице, в войсках, в отечестве. Многие инвалиды, его соратники, и все русские полки служили панихиды по усопшем «*отце*», и эти люди, бесстрашно и хладнокровно глядевшие с ним вместе на смерть, так близко и так часто, в кровавых боях,— теперь неутешно плакали как дети...

Император, до глубины души огорченный смертию русского полководца, послал своего генерал-адъютанта передать родным покойного, «что он, наравне с Россиею и с ними, разделяет скорбь о потере великого человека».

На другой день массы народа теснились около дома, где скончался народный герой, и тихо, благоговейно входили, один за другим, посетители в траурную залу, где стоял на катафалке гроб Суворова. Лицо его до того было спокойно, что он казался не мертвым, а только уснувшим. Кругом на бархатных подушках сверкали все ордена и многочисленные знаки отличий генералиссимуса. Люди всех званий и состояний, не только петербуржцы, но и нарочно приехавшие из других городов, хотели взгля-

нуть еще раз на почившего и поклониться его бренным останкам. В числе их замечали множество старых инвалидов, которые плакали и молились... И все трое суток таким образом толпился русский народ у этого дубового гроба.

Настало ясное, теплое утро 9-го мая. По улицам из Малой Коломны медленно тянулся похоронный поезд Суворова. Все духовенство столицы предшествовало гробу, стройные клиры оглашали весенний воздух пением: «Святый Боже». Все сановники, вся знать, военные и гражданские чины, сословия: дворянское и купеческое, представители науки, литературы и всех искусств и неисчислимое множество народа шли позади печальной колесницы. Далее следовали войска со знаменами, обвитыми черным флером. Глухо и монотонно били похоронный марш барабаны, сопровождая мерным и медленным своим боем печальные звуки мелодических флейт... Далее стройно раздавался мрачный марш кавалерийских хоров, а еще далее, позади траурных эскадронов, тяжело громыхали по мостовой артиллерийские орудия. Бесчисленные толпы теснились на улицах вплоть до самой Александро-Невской лавры. Окна, балконы и даже крыши домов усеяны были народом. Державин шел за гробом и выразил скорбь свою о кончине героя, подвиги которого долго служили ему предметом поэтических песнопений. «Северны громы в гробе лежат!» слагал он о смерти Суворова:

Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари?
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари?

Император Павел, окруженный блистательной свитой, верхом выехал на угол Невского и Садовой. Задумчиво стоял он близ Публичной библиотеки, ожидая приближающуюся процессию, и, когда она поравнялась с ним, его величество снял с головы шляпу.

— Прощай!!. Прости!.. Мир праху великого! — сказал он в полный голос, отдавая низкий поклон усопшему,— и все видели, как в эту минуту текли слезы по лицу государя.

В воротах лавры шествие затруднилось. Опасались, что высокий надгробный балдахин не пройдет под ворота, и уже хотели было снимать его.

— Вперед! — закричал вдруг старый гренадерский унтер-офицер, ломавший все походы вместе с Суворовым. — Не бойсь-те, пройдет! *Он* везде проходил!

И вот по слову старика инвалида разом двинулись вперед — и действительно колесница вместе с балдахином «прошла» на монастырский двор вполне благополучно.

Обряд отпевания совершал митрополит Амвросий. В последний раз загремели Суворову его грозные пушки и зарокотали ружейные залпы, когда, с провозглашением «*вечной памяти*», гроб полководца, на руках его соратников, был опущен в могилу, которую покрыла скромная плита с простою надписью: «*Здесь лежит Суворов*».

Это большие люди хоронили своего великого человека.



СКОМОРОХ ПАМФАЛОН

> Слабость велика, сила ничтожна. Когда человек родится, он слаб и гибок; когда он умирает, он крепок и черств. Когда дерево произрастает, оно гибко и нежно, и когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила — спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому, что отвердело, то не победит.
>
> *Лао-тзы*

ГЛАВА ПЕРВАЯ



В царствование императора Феодосия Великого жил в Константинополе один знатный человек, «патрикий и епарх», по имени Ермий. Он был богат, благороден и знатен; имел прямой и честный характер; любил правду и ненавидел притворство, а это совсем не шло под стать тому времени, в котором он жил.

В то отдаленное время в Византии, или в нынешнем Константинополе, и во всем царстве Византийском было много споров о вере и благочестии, и за этими спорами у людей разгорались страсти, возникали распри и ссоры, а от этого выходило, что хотя все заботились о благочестии, но на самом деле не было ни мира, ни благочестия. Напротив того, в низших людях тогда было много самых скверных пороков, про которые и говорить стыдно, а в высших лицах царило всеобщее страшное лицемерие. Все притворялись богобоязненными, а сами жили совсем не по-христиански: все злопамятствовали, друг друга нена-

видели, а к низшим, бедным людям не имели сострадания; сами утопали в роскоши и нимало не стыдились того, что простой народ в это самое время терзался в мучительных нуждах. Обеднявших брали в кабалу или в рабство, и нередко случалось, что бедные люди даже умирали с голода у самых дверей пировавших вельмож. При этом простолюдины знали, что именитые люди и сами между собой беспрестанно враждовали и часто губили друг друга. Они не только клеветали один на другого царю, но даже и отравляли друг друга отравами на званых пирах или в собственных домах, через подкуп кухарей и иных приспешников.

Как сверху, так и снизу все общество было исполнено порчей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

У упомянутого Ермия душа была *мирная,* и к тому же он ее укрепил в любви к людям, как заповедал Христос по Евангелию. Ермий желал видеть благочестие настоящее, а не притворное, которое не приносит никому блага, а служит только для одного величания и обмана. Ермий говорил: если верить, что Евангелие божественно и открывает, как надо жить, чтобы уничтожить зло в мире, то надо все так и делать, как показано в Евангелии, а не так, чтобы считать его хорошим и правильным, а самим заводить наперекор тому совсем другое: читать «оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем», а заместо того ничего никому не оставлять, а за всякую обиду злобиться и донимать с ближнего долги, не щадя его ни силы, ни живота.

Над Ермием за это все другие вельможи стали шутить и подсмеиваться; говорили ему: «Верно, ты хочешь, чтобы все сделались нищими и стояли бы нагишом да друг дружке рубашку перешвыривали. Так нельзя в государстве». Он же отвечал: «Я не говорю про государство, а говорю только про то, как надо жить по учению Христову, которое все вы зовете божественным». А они отвечали: «Мало ли что хорошо, да невозможно!» И спорили, а потом начали его выставлять перед царем, как будто он оглупел и не годится на своем месте.

Ермий начал это замечать и стал раздумывать: как в самом деле трудно, чтобы и в почести остаться и самому вести жизнь по Христову учению?

И как только начал Ермий сильнее вникать в это, то стало ему казаться, что этого даже и нельзя совсем вместе соединить, а надо выбирать из двух одно любое: или оставить Христово учение, или оставить знатность, потому что вместе они никак не сходятся, а если и сведешь их насильно на какой-нибудь час, то они недолго поладят и опять разойдутся дальше прежнего. «Уйдет один бес и опять воротится, и приведет еще семерых с собою». А с другой стороны, глядя, Ермий соображал и то, что если он станет всех обличать и со всеми спорить, то войдет он через то всем в остылицу, и другие вельможи обнесут его тогда перед царем клеветами, назовут изменником государству и погубят.

«Угожу одним,— думает,— не угожу другим: если с хитрыми пойду — омрачу свою душу, а если за нехитрых стану — то им не пособлю, а себе беду наживу. Представят меня как человека злоумышленного, который сеет неспокойствие, а я могу не стерпеть напраслины да стану оправдываться, и тогда душа моя озвереет, и я стану обвинять моих обвинителей и сделаюсь сам такой же злой, как они. Нет, пусть так не будет. Не хочу я никого ни срамить, ни упрекать, потому что все это противно душе моей; а лучше я совсем с этим покончу: пойду к царю и упрошу его дозволить мне сложить с себя всякую власть и доживу век мой мирно где-нибудь простым человеком».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Как Ермий задумал, так он и сделал по своему рассуждению. Царю Феодосию он ни на что не жаловался и никого перед ним не обвинял, а только просился отставить его от дел. Царь уговаривал Ермия остаться при должности, но потом отпустил. Ермий получил полную отставку («отложи от себя всяку власть»). А в это же самое время скончалась жена Ермия, и бывший вельможа, оставшись один, начал рассуждать еще иначе:

«Не указание ли мне это свыше? — подумал Ермий.— Царь меня отпустил от служебных забот, а господь разрешил от супружества. Жена моя умерла, и нет у меня никого такого в родстве моем, для которого мне надо было бы стараться по своим имениям. Теперь я могу идти резвее и дальше к цели евангельской. На что мне богатство? С ним всегда неминучие заботы, и хоть я от служебных

дел отошел в сторону, а, однако, богатство заставит меня о нем заботиться и опять меня втравит в такие дела, которые не годятся тому, кто хочет быть учеником Христовым».

А богатства у Ермия было очень много («бе бо ему богатство многосущное») — были у него и дома, и села, и рабы, и всякие драгоценности.

Ермий всех своих рабов отпустил на волю, а все прочее «богатство многосущное» продал и деньги разделил между нуждавшимися бедными людьми.

Поступил он так потому, что хотел «совершен быть», а тому, кто желает достичь совершенства, Христос коротко и ясно указал один путь: «Отдай все, что имеешь, и иди за мною».

Ермий все это исполнил в точности, так что даже никакой малости себе не оставил, и радовался тому, что это совсем не показалось ему жалко и трудно. Только начало было дорого сделать, а потом самому приятно стало раздавать все, чтобы ничто не путало и ничто не мешало идти налегке к высшей цели евангельской.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Освободясь и от власти и от богатства, Ермий покинул тайно столицу и пошел искать себе уединенного места, где бы ему никто не мешал уберечь себя в чистоте и святости для прохождения богоугодной жизни.

После долгого пути, совершенного пешими и босыми ногами, Ермий пришел к отдаленному городу Едессу и совсем нежданно для себя нашел здесь «некий столп». Это была высокая каменная скала и с расщелиной, и в середине расщелины было место, как только можно одному человеку установиться.

«Вот,— подумал Ермий,— это мне готовое место». И сейчас же взлез на этот столп по ветхому бревнышку, которое кем-то было к скале приставлено, и бревно оттолкнул. Бревно откатилось далеко в пропасть и переломилось, а Ермий остался стоять и простоял на столпе тридцать лет. Во все это время он молился богу и желал позабыть о лицемерии и о других злобах, которые он видел и которыми до боли возмущался.

С собой Ермий взял на скалу только одну длинную бечевку, которою он цеплялся, когда лез, и бечевка эта ему пригодилась.

На первых днях, как еще Ермий забыл убрать эту бечевку, заметил ее пастух-мальчик, который пришел сюда пасти козлят. Пастух начал эту бечевку подергивать, а Ермий его стал звать и проговорил ему:

— Принеси мне воды: я очень жажду.

Мальчик подцепил ему свою тыквенную пустышку с водой и говорит:

— Испей и оставь себе тыкву.

Так же он дал ему и корзинку с горстью черных терпких ягод.

Ермий поел ягод и сказал:

— Бог послал мне кормильца.

А мальчик как только пригнал вечером в село стадо козлят, так сейчас же рассказал своей матери, что видел на скале старика, а пастухова мать пошла на колодец и стала о том говорить другим женщинам, и люди из села побежали к Ермию и принесли ему чечевицы и бобов больше, чем он мог съесть. Так и пошло далее.

Только Ермий спускал сверху на длинной бечеве плетеную корзину и выдолбленную тыкву, а люди уже клали ему в эту корзину листьев капусты и сухих, невареных семян, а тыкву его наполняли водою. И этим бывший византийский вельможа и богач Ермий питался тридцать лет. Ни хлеба и ничего готовленного на огне он не ел и позабыл и вкус вареной пищи. По тогдашним понятиям находили, будто это приятно и угодно богу. О своем розданном богатстве Ермий не жалел и даже не вспоминал о нем. Разговоров он не имел ни с кем никаких и казался строг и суров, подражая в молчании своем Илии.

Поселяне считали Ермия способным творить чудеса. Он им этого не говорил, но они так верили. Больные приходили, становились в тени его, которую солнце бросало от столпа на землю, и отходили, находя, что чувствуют облегчение. А он все молчал, вперяя ум в молитву или читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и Стефана.

Так проводил Ермий дни, а вечером, когда сваливал пеклый жар и лицо Ермия освежала прохлада, он, окончив свои молитвы и размышления о боге, думал иногда и о людях. Он размышлял о том: как за эти тридцать лет зло в свете должно было умножиться и как под покровом

ханжества и пустосвятства, заменяющего настоящее учение своими выдумками, теперь наверно иссякла уже в людях всякая истинная добродетель и осталась одна форма без содержания.

Впечатления, вынесенные столпником из покинутой им лицемерной столицы, были так неблагоприятны, что он отчаялся за весь мир и не замечал того, что через это отчаяние он унижал и план и цель творения и себя одного почитал совершеннейшим.

Повторяет он наизусть Оригена, а сам думает: «Ну, пусть так, пусть земной шар весь стоит для вечности, и люди в нем, как школяры в школе, готовятся, чтобы явиться в вечности и там показать свои успехи в здешней школе. Но какие же успехи они покажут, когда живут себялюбиво и злобно, и ничему от Христа не учатся, и языческих навыков не позабывают? Не будет ли вечность впусте?» Пусть утешает Ориген, что не мог же впасть в ошибку творец, узрев, «яко все добро зело», если оно на самом деле никуда не годится, а Ермию все-таки кажется, что «весь мир лежит во зле», и ум его напрасно старается прозреть: «кацы суть богу угождающие и вечность улучившие?»

Никак не может Ермий представить себе таковых, кои были бы достойны вечности, все ему кажутся худы, все с злою наклонностию в жизнь пришли, а здесь, живучи на земле, еще хуже перепортились.

И окончательно взяло столпника отчаяние, что вечность запустеет, потому что нет людей, достойных перейти в оную.

ГЛАВА ПЯТАЯ

И вот однажды, когда при опускающемся покрове ночи столпник «усильно подвигся мыслию уведети: кацы суть иже богу угожающи», он приклонился головою к краю расщелины своей скалы, и с ним случилась необыкновенная вещь: повеяло на него тихое, ровное дыхание воздуха, и с тем принеслись к его слуху следующие слова:

— Напрасно ты, Ермий, скорбишь и ужасаешься: есть тацы, иже добре богу угожают и в книгу жизни вечной вписаны.

Столпник обрадовался сладкому голосу и говорит:

— Господи, если я обрел милость в очах твоих, то

дозволь, чтобы мне был явлен хоть один такой, и тогда дух мой успокоится за все земное сотворение.

А тонкое дыхание снова дышит на ухо старцу:

— Для этого тебе надо забыть о тех, коих ты знал, и сойти со столпа да посмотреть на человека Памфалона.

С этим дыхание сникло, а старец восклонился и думает: взаправду ли он это слышал или это ему навеяно мечтою? И вот опять проходит холодная ночь, проходит и знойный день, и наступили новые сумерки, и опять поник головой Ермий и слышит:

— Спускайся вниз, Ермий, на землю, тебе надо пойти посмотреть на Памфалона.

— Да кто он такой, этот Памфалон?

— А вот он-то и есть один из тех, каких ты желаешь видеть.

— И где же обитает этот Памфалон?

— Он обитает в Дамаске.

Ермий опять встрепенулся и опять не был уверен, что это ему слышно не в мечте. И тогда он положил в своем уме испытать это дело еще, до трех раз, и ежели и в третий раз будет к нему такая же внятная речь про Памфалона, тогда уже более не сомневаться, а слезать со скалы и идти в Дамаск.

Но только он решил обостоятельно дознаться: что это за Памфалон и как его по Дамаску разыскивать.

Прошел опять знойный день, и с вечернею прохладою снова зазвучало в духе хлада тонка имя Памфалона.

Неведомый голос опять говорит:

— Для чего ты, старец, медлишь, для чего не слезаешь на землю и не идешь в Дамаск смотреть Памфалона?

А старец отвечает:

— Как же могу я идти и искать человека мне неизвестного?

— Человек тебе назван.

— Назван мне человек Памфалоном, а в таком великом городе, как Дамаск, разве один есть Памфалон? Которого же из них я стану спрашивать?

А в духе хлада тонка опять звучит:

— Это не твоя забота. Ты только скорее слезай вниз да иди в Дамаск, а там уже все знают этого Памфалона, которого тебе надо. Спроси у первого встречного, его тебе всяк покажет. Он всем известен.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Теперь, после третьего такого переговора, Ермий более уже не сомневался, что это такой голос, которого надо слушаться. А насчет того, к какому именно Памфалону в Дамаске ему надо идти, Ермий более не беспокоился. Памфалон, которого «все знают», без сомнения есть какой-либо прославленный поэт, или воин, или всем известный вельможа. Словом, Ермию размышлять более было не о чем, а на что он сам напросился, то надо идти исполнять.

И вот пришлось Ермию после тридцати лет стояния на одном месте вылезать из каменной расщелины и идти в Дамаск...

Странно, конечно, было такому совершенному отшельнику, как Ермий, идти смотреть человека, живущего в Дамаске, ибо город Дамаск по-тогдашнему в отношении чистоты нравственной был все равно что теперь сказать Париж или Вена — города, которые святостью жизни не славятся, а слывут за гнездилища греха и пороков, но, однако, в древности бывали и не такие странности, и бывало, что послы благочестия посылались именно в места самые злочестивые.

Надо идти в Дамаск! Но тут вспомянул Ермий, что он наг, ибо рубище его, в котором он пришел тридцать лет тому назад, все истлело и спало с его костей. Кожа его изгорела и почернела, глаза одичали, волосы подлезли и выцвели, а когти отросли, как у хищной птицы... Как в таком виде показаться в большом и роскошном городе?

Но голос его не перестает руководствовать и раздается издали:

— Ничего, Ермий, иди: нагота твоя найдет тебе покрывало.

Взял Ермий свою корзиночку с сухими зернами и тыкву и кинул их вниз на землю, а затем и сам спустился со столпа по той самой веревочке, по которой таскал себе снизу приносимую пищу.

Тело столпника уже так исхудало, что его могла сдержать тонкая и полусгнившая веревочка. Она, правда, потрескивала, но Ермий этого не испугался: он благополучно стал на землю и пошел, колеблясь как ребенок, ибо ноги его отвыкли от движения и потеряли твердость.

И шел Ермий по безлюдной, знойной пустыне очень долго и во весь переход ни разу никого не встретил, а потому и не имел причины стыдиться своей наготы; приближаясь же к Дамаску, он нашел в песках выветривший-

ся сухой труп и возле него ветхую «козью милоть», какие носили тогда иноки, жившие в общежитиях. Ермий засыпал песком кости, а козью милоть надел на свои плечи и обрадовался, увидев в этом особое о нем промышление.

К городу Дамаску Ермий стал приближаться, когда солнце уже начало садиться. Старец немножко не соразмерил ходы и теперь не знал, что ему сделать: поспешать ли скорее идти или не торопиться и подождать лучше утра. Очам казалось близко видно, а ногам пришлось обидно. Поспешал Ермий дойти засветло, а поспел в то самое время, когда красное солнце падает, сумрак густеет и город весь обвивает мглой. Точно он весь в беспроглядный грех погружается.

Страшно сделалось Ермию — хоть назад беги... И опять ему пришла в голову дума: не было ли все, что он слышал о своем путешествии, одною мечтою или даже искушением? Какого праведника можно искать в этом шумном городе? Откуда тут может быть праведность? Не лучше ли будет бежать отсюда назад, влезть опять в свою каменную щелку, да и стоять, не трогаясь с места.

Он было уже и повернулся, да ноги не идут, а в ушах опять «дыхание тонко»:

— Иди же скорей лобызай Памфалона в Дамаске.

Старик снова обернулся к Дамаску, и ноги его пошли.

Пришел Ермий к городской стене как раз в ту минуту, когда городской страж наполовину ворота захлопнул.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Насилу успел бедный старик упросить сторожа, чтобы он позволил ему пройти в ворота, и то отдал за это свою корзину и тыкву; а теперь сам совсем безо всего очутился в совершенно ему незнакомом и ужасно многогрешном городе.

Ночи на юге спускаются скоро, сумерек почти нет, и темнота бывает так густа, что ничего нельзя видеть. Улицы в то время, когда было это происшествие, в восточных городах еще не освещались, а жители запирали свои дома рано. Тогда на улицах бывало очень небезопасно, и потому обыватели крепко закрывали все входы в дом, чтобы впотьмах не забрался какой-нибудь лихой человек и не обокрал бы или бы не убил и не сжег дом. Ночью же входов или совсем не отпирали, или же отпирали только запоздавшим своим домашним или друзьям, и то не иначе,

как удостоверясь, что стучится именно тот человек, которого впустить надо.

Отворенными поздно оставались только двери развратниц, к которым путь открыт всем, и чем больше идет к ним на свет, тем им лучше.

Старец Ермий, попав в Дамаск среди густой тьмы, решительно не знал, где ему приютиться до утра. Были, конечно, в Дамаске гостиницы, но Ермий не мог ни в одну из них постучаться, потому что там спросят с него плату за ночлег, а он не имел у себя никаких денег.

Остановился Ермий и, размыслив, что бы такое в его положении возможно сделать, решился попроситься ночевать в первый дом, какой попадется.

Так он и сделал: подошел к ближайшему дому и постучался.

Его опросили из-за двери:

— Кто там стучится?

Ермий отвечает:

— Я бедный странник.

— Ах, бедный странник! Не мало вас шляется. Чего же тебе надо?

— Прошу приюта.

— Так ты не туда попал. Иди за этим в гостиницу.

— Я беден и не могу платить в гостинице.

— Это плохо, но иди в таком случае к тем, кто тебя знает: они тебя, может быть, пустят.

— Да меня здесь никто не знает.

— А если тебя здесь никто не знает, то не стучи и у нас понапрасну, а уходи скорей прочь.

— Я прошусь во имя Христа.

— Оставь, пожалуйста, оставь это имя. Много вас тут ходит, все Христа вспоминаете, а наместо того лжете и этим именем после всякое зло прикрываете. Уходи прочь, нет у нас для тебя приюта.

Ермий подошел к другому дому и здесь опять стал стучать и проситься.

И здесь тоже опять спрашивают его из-за закрытых дверей:

— Чего тебе надо?

— Изнемогаю, я бедный странник... пустите отдохнуть в доме!

Но опять и тут ему тот же ответ: иди в гостиницу.

— У меня денег нет,— отвечал Ермий и произнес Христово имя, но оно вызвало только укоры.

— Полно, полно выкликать это имя,— отвечали ему из-за дверей второго дома,— все ленивцы и злодеи нынче этим именем прикрываются.

— Ах,— отозвался Ермий,— поверьте, что я никому никакого зла не сделал и не делаю: я пришел прямо из пустыни.

— Ну, если ты из пустыни, то там бы тебе и оставаться. Напрасно ты сюда и пришел.

— Я не своею волею пришел, я имел повеление.

— Ну, так иди к тому, куда позван, а нас оставь в покое; мы тех, кои старцами сказываются и в козьих милотях ходят, боимся: вы сами очень святы, а за вами за каждым седмь приставных бесов ходит.

«Ого! — подумал Ермий,— как время изменило обычаи. Верно, ныне совсем уже нет старого привета странным. Все уже знают пустынное предание, что за аскетом вслед более бесов ходит, чем за простым грешником, а через это не лучше, а хуже стало. И вот я — пустынник, простоявший тридцать лет,— в тени столпа моего люди получали исцеления, а меня никто не пускает под крышу, и я не только могу быть убит от злодеев, но еще горше смерти могу быть оскорблен и обесчестен от извративших природу бесстыдников. Нет, теперь я уже ясно вижу, что я поддался насмешке сатаны, что я был послан сюда не для пользы души моей, а для всецелой моей пагубы, как в Содом и Гоморру».

А в это самое время Ермий тоже замечает, что кто-то во тьме спешно перебегает улицу и, смеясь, говорит:

— Ну, насмешил ты меня, старичина!

— Чем это? — спросил Ермий.

— Да как же, ты так глуп, что просишься, чтобы тебя пустили ночевать в дома людей высокородных и богатых! Видно, ты и в самом деле, должно быть, ничего в жизни не понимаешь.

Столпник подумал: «Это, пожалуй, вор или блудодей, а все-таки он разговорчив: дай я его расспрошу, что мне сделать, где найти приют».

— Ну, ты постой-ка,— сказал Ермий,— и кто бы ты ни был, скажи мне, нет ли здесь таких людей, которые известны за человеколюбцев?

— Как же,— отвечает,— есть здесь и таковые.

— Где же они?

— А вот ты сейчас у их домов стучался и с ними разговаривал.

— Ну, значит, их человеколюбство плохо.

— Таковы все показные человеколюбцы.

— А не известны ли тебе, кои боголюбивы?

— И таковые известны.

— Где же они?

— Эти теперь, по заходе солнечном, на молитву стали.

— Пойду же я к ним.

— Ну, не советую. Боже тебя сохрани, если ты своим стуком помешаешь их стоянию на молитве, тогда слуги их за это свалят тебя на землю и нанесут тебе раны.

Старец всплеснул руками:

— Что же это,— говорит,— человеколюбцев никак в своей нужде не уверишь, а набожных от стояния не отзовешь, ночь же ваша темна, и обычаи ваши ужасны. Увы мне! увы!

— А ты вместо того чтобы унывать и боголюбцев разыскивать, *иди к Памфалону.*

— Как ты сказал? — переспросил отшельник и опять получил тот же ответ:

— *Иди к Памфалону.*

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Рад был отшельник услыхать про Памфалона. Стало быть, шел он недаром. Но кто, однако, сам этот во тьме говорящий: хорошо, если это путеводительный ангел, а может быть, это самый худший бес?

— Мне,— говорит Ермий,— Памфалона и нужно, потому что я к нему послан, но только я не знаю: тот ли это Памфалон, о котором ты говоришь?

— А тебе что о твоем Памфалоне сказано?

— Сказано много, чего я не стану всякому пересказывать, а примета дана такая, что его здесь все знают.

— Ну, а если так, то я говорю о том самом Памфалоне, про которого тебе сказано. Он один только и есть такой Памфалон, которого все знают.

— Почему же он всем так известен?

— А потому, что он приятный человек и всюду с собою веселье ведет. Без него нет здесь ни пира, ни потехи, и всем он любезен. Чуть где пса его серого с длинной мордой заслышат, когда он бежит, гремя позвонцами, все радостно говорят: вот Памфалонова Акра бежит! Сейчас, значит, сам Памфалон придет и веселый смех будет.

— А для чего же он пса при себе водит?

— Для большего смеха. Его Акра чудесная, умная и верная собака, она ему людей веселить помогает. А то еще у него есть разноперая птица, которую он на длинном шесте в обруче носит: тоже и эта дорогого стоит: она и свистом свистит, и шипит по-змеиному.

— Зачем же Памфалону все это нужно — и пес, и разноперая птица?

— Как же, Памфалону без смешных вещей быть невозможно.

— Да кто же такой у вас этот Памфалон?

— А разве ты сам этого не знаешь?

— Не знаю. Я только слышал о нем в пустыне.

Собеседник удивился.

— Вот как! — воскликнул он.— Значит, уже не только в Дамаске и в других городах, а и далеко в пустыне знают нашего Памфалона! Ну, да так тому и следовало быть, потому что такого другого весельчака нет, как наш Памфалон: никто не может без смеха глядеть, как он шутит свои веселые шутки, как он мигает глазами, двигает ушами, перебирает ногами, и свистит, и языком щелкает, и вертит завитой головой.

— Перебирает ногами и вертит головою,— повторил пустынник,— лицедейство, телодвижение и скоки... Да кто же он такой наконец?!

— Скоморох.

— Как?.. Этот Памфалон!.. К кому я иду!.. Он *скоморох*!

— Ну да, Памфалон скоморох, его потому все и знают, что он по улицам скачет, на площади колесом вертится, и мигает глазами, и перебирает ногами, и вертит головой.

Ермий даже свой пустыннический посох из рук уронил и проговорил:

— Сгинь! сгинь, дьявол, полно тебе надо мной издеваться!

А во тьме говоривший не расслышал этого заклинания и добавил:

— Памфалонов дом сейчас здесь за углом, и у него наверно теперь в окне еще свет светится, потому что он вечером приготовляет свои скоморошьи снаряды, чтобы делать у гетер представления. А если у него огня нет, так ты впотьмах отсчитай за углом направо третий маленький дом, входи и ночуй. У Памфалона всегда двери отворены.

И с тем говоривший во тьме сник куда-то, как будто его и не бывало.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Ермий, пораженный тем, что он услыхал о Памфалоне, остался в потемках и думает:

«Что же мне теперь делать? Это невозможно, чтобы человек, для свидания с которым я снят с моего камня и выведен из пустыни, был скоморох! Какие такие добродетели, достойные вечной жизни, можно заимствовать у комедианта, у лицедея, у фокусника, который кривляется на площадях и потешает гуляк в домах, где пьют вино и предаются беспутствам».

Непонятно это, а ночь темна, деться некуда и — надо идти к скомороху.

Ночной приют пустыннику был необходим, потому что хотя он и привык ко всем непогодам, но на улице в городе в тогдашнее время остаться ночью было гораздо опаснее, чем в нынешнее. Тогда и воры грабили, и ходили такие отчаянные люди, каких видали только пред сожжением Содома и Гоморры. Эти были хуже животных и не щадили никого, и всяк мог ожидать себе от них самого гнусного оскорбления.

Ермий все это помнил и потому очень обрадовался, когда только что завернул за угол, как сейчас же увидал приветный огонек. Свет выходил из одного маленького домика и ярко горел во тьме, как звездочка. Вероятно, тут и живет скоморох.

Ермий пошел на свет и видит: действительно стоит очень маленький, низенький домик, а в нем растворенная дверь, и над нею поднята тростниковая циновка, так что все внутрь этого жилья видно.

Жилье невелико — всего один покой, и притом не высокий, но довольно просторный, и в нем все на виду — и хозяин, и хозяйство, и все его рукомесло. И по всему тому, что видно, нетрудно было отгадать, что здесь живет не степенный человек, а именно скоморох.

На серой стене, как раз насупротив раскрытой двери, висела глиняная лампа с длинным рожком, на конце которого горел красным огнем фитиль, напитанный жиром. Фитиль этот сильно коптил, и вниз с него падали огненные капли кипящего жира. Вдоль всей стены висели разные странные вещи, которые, впрочем, точнее можно бы назвать хламом. Тут были уборы и сарацинские, и греческие, и египетские, а также были разнопестрые перья, и звонцы, и трещотки, и накры, и красные шесты, и золоченые обручи. В одном углу вбит был крюк в потолок,

а к нему подцеплен тонкий шест, похожий на большое удилище, а на конце того шеста на веревке другой деревянный обруч, а в обруче спит, загнув голову под крыло, пестрая птица. На ноге у нее тонкая цепь, которою она прикована к обручу. В другом же углу загнуты полколесом гнуткие драницы, и за ними задеты бубны, накры, сопели и еще более странные вещи, которых и назначения даже не мог придумать давно не видавший суеты городской жизни пустынник.

На полу в одном углу постель из циновки, а в другом сундук; на этом сундуке перед скамьею, заменяющею стол, сидит и что-то мастерит сам хозяин жилища.

Вид его странен: он уже человек не молодой, а подстароват, имеет лицо смуглое, добродушное и веселое, с постоянным умеренным выражением и легким блеском глаз, но лицо это раскрашено, а полуседая голова вся завита в мелкие кудри, и на них надет тонкий медный ободок, с которого вниз висят и бренчат блестящие кружочки и звездочки. Таков Памфалон. Сидит он, нагнувшись над скамьею, на которой разбросаны разные скоморошьи приборы, а перед лицом его маленькая глиняная жаровня и паяло. Он дует ртом через паяльную трубку в жаркие угли и закрепляет одно за другое какие-то мелкие кольца и не замечает того, что на него снаружи давно пристально смотрит строгий отшельник.

Но вот лежавшая в тени у ног Памфалона длинномордая серая собака чутьем почуяла близость стороннего человека, подняла свою голову и, заворчав, встала на ноги, а с этим ее движением на ее медном ошейнике зазвонили звонцы, и от них сейчас же проснулась и вынула из-под крыла голову разноперая птица. Она встрепенулась и не то свистнула, не то как-то резко проскрипела клювом. Памфалон разогнулся, отнял на минуту губы от паяла и крикнул:

— Молчи, Акра! И ты, Зоя, молчи! Не пугайте досужего человека, который приходит звать нас смешить заскучавших богачей. А ты, легкий посол,— добавил он, возвыся голос,— от кого ты ни жалуешь, подходи скорее и говори сразу: что тебе нужно?

На это Ермий ему ответил со вздохом:

— О Памфалон!

— Да, да, да; я давно Памфалон — плясун, скоморох, певец, гадатель и все, что кому угодно. Какое из моих дарований тебе надобно?

— Ты ошибся, Памфалон.

— В чем ошибся, приятель?

— Человеку, который стоит у твоего дома, совсем не нужно этих дарований: я пришел совсем не за тем, чтобы звать тебя на скоморошное игрище.

— Ну что ж за беда! Ночь еще впереди — придет кто-нибудь другой и покличет нас и на игрище, и у меня будет назавтра заработок, для меня и для моей собаки. А тебе-то, однако, что же такое угодно?

— Я прошу у тебя приюта на ночь и желаю с тобою беседовать.

Услышав эти слова, скоморох оглянулся, положил на сундук дротяные кольца и паяло и, расставив над глазами ладонь, проговорил:

— Я не вижу тебя, кто ты такой, да и голос твой незнаком мне... Впрочем, в доме моем и в добре будь волен, как в своем, а насчет бесед... Это ты, должно быть, смеешься надо мною.

— Нет, я не смеюсь,— отвечал Ермий.— Я здесь всем чужой человек и пришел издалека для беседы с тобою. Свет твоей лампы привлек меня к твоей двери, и я прошу приюта.

— Что же, я рад, что свет моей лампы светит не для одних гуляк. Какой ты ни есть — не стой больше на улице, и если у тебя нет в Дамаске лучшего ночлега, то я прошу тебя, войди ко мне, чтобы я мог тебя успокоить.

— Благодарю,— отвечал Ермий,— и за привет твой пусть благословит тебя бог, благословивший страноприимный кров Авраама.

— Ну, ну, перестань многословить! Совсем не о чем говорить, а уж ты и за Авраама хватаешься. Бери, старина, дело проще. Много будет, если ты благословишь меня, выходя из моего дома, когда отдохнешь с дороги и успокоишься, а теперь входи скорее: пока я дома, я тебе помогу умыться, а то меня кто-нибудь кликнет на ночную потеху, и мне тогда будет некогда за тобой ухаживать. У нас нынче в упадке делишки: к нам стали заходить чужие скоморохи из Сиракуз; так сладко поют и играют на арфах, что перебили у нас всю самую лучшую работу. Ничего нельзя упускать: надо сразу бежать, куда кликнут, а теперь как раз такой час, кога богатые и знатные гости приходят попировать к веселым гетерам.

«Проклятый час»,— подумал Ермий.

А Памфалон продолжал:

— Ну, входи же, сделай милость, и не обращай внимания на мою собаку: это Акра, это мой верный пес, мой

товарищ,— Акра живет не для страха, а так же, как я,— для потехи. Входи ко мне, путник.

С этим Памфалон протянул гостю обе руки и, сведя его по ступенькам с уличной тьмы в освещенную комнату, мгновенно отскочил от него в ужасе.

Так страшен и дик показался ему вошедший пустынник!

Прежний вельможа, простояв тридцать лет под ветром и пламенным солнцем, изнемождил в себе вид человеческий. Глаза его совсем обесцветились, изгоревшее тело его все почернело и присохло к остову, руки и ноги его иссохли, и отросшие ногти загнулись и впились в ладони, а на голове остался один клок волос, и цвет этих волос был не белый, и не желтый, и даже не празелень, а голубоватый, как утиное яйцо, и этот клок торчал на самой середине головы, точно хохол на селезне.

В изумлении стояли друг перед другом два эти совсем не сходные человека: один скоморох, скрывший свой натуральный вид лица под красками, а другой — весь излинявший пустынник. На них смотрели длинномордая собака и разноперая птица. И все молчали. А Ермий пришел к Памфалону не для молчания, а для беседы, и для великой беседы.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Оправился первый Памфалон.

Заметив, что Ермий не имел на себе никакой ноши, Памфалон с недоумением спросил его:

— Где же твоя кошница и тыква?

— Со мной нет ничего,— отвечал отшельник.

— Ну, слава богу, что у меня сегодня есть чем тебя угостить.

— Мне ничего и не надо,— перебил старец,— я пришел не за угощением. Мне нужно знать, как ты угождаешь богу?

— Что такое?

— Как ты угождаешь богу?

— Что ты, что ты, старец! Какое от меня угождение богу! Да мне об этом даже и думать нельзя.

— Отчего тебе нельзя думать? О своем спасении всяк должен думать. Ничего для человека не может быть так дорого, как его спасение. А спасение невозможно без того, чтобы угодить богу.

Памфалон его выслушал, улыбнулся и отвечал:

— Эх, отец, отец! Если бы ты знал, как мне смешно тебя слушать. Видно, и вправду давно ты из мира.

— Да, я из мира давно; я тридцать лет уже не был между людьми, но все-таки что я говорю, то истинно и согласно с верой.

— А я,— отвечал Памфалон,— с тобою не спорю, но говорю тебе, что я человек очень непостоянной жизни, я ремеслом скоморох и не о благочестии размышляю, а я скачу, верчусь, играю, руками плещу, глазами мигаю, выкручиваю ногами и трясу головой, чтобы мне дали что-нибудь за мое посмешище. О каком богоугождении я могу думать в такой жизни!

— Отчего же ты не оставишь эту жизнь и не начнешь вести лучшую?

— А, друг любезный, я уже это пробовал.

— И что же?

— Не удается.

— Еще раз попробуй.

— Нет, уж теперь и пробовать нечего.

— Отчего?

— Оттого, что я на сих днях упустил такой случай для исправления моей жизни, какого уже лучше и быть не может.

— Почему ты знаешь? По-твоему, не может быть, а у бога все возможно.

— Нет, ты про это со мною, пожалуйста, лучше не говори, потому что я даже и не хочу более искушать бога, если я не умею пользоваться его милостями. Я себя сам оставил без спасения, и пусть так и будет.

— Так ты, значит, отчаянный?

— Нет, я не отчаянный, а только я беззаботный и веселый человек, и разговаривать со мною о вере... просто даже некстати.

Ермий покачал головой и говорит:

— В чем же, однако, состоит твоя вера, веселый, беззаботный человек?

— Я верю, что я сам из себя ничего хорошего сделать не сумею, а если создавший меня сам что-нибудь лучшее из меня со временем сделает, ну так это его дело. Он всех удивить может.

— А отчего же ты сам о себе не заботишься?

— Некогда.

— Как это некогда?

— Да так, я живу в суете, а когда нарочито соберусь спасаться, то на меня нападает тоска, и вместо хорошего еще хуже выходит.

— Ты говоришь несообразное.

— Нет, это правда. Когда я размыслюсь, то от моего слабого характера стану тревожен и опять сам все разрушу, и стану на свою скоморошью степень.

— Ну, так ты человек пропащий.

— Очень может быть.

— И я думаю, что ты совсем не тот Памфалон, которого мне надобно.

— Я не могу тебе на это ответить,— отвечал скоморох,— но только мне кажется, что на этот час, когда я так счастлив, что могу послужить твоей страннической нужде, я теперь, пожалуй, как раз тот Памфалон, который тебе нужен, а что тебе дальше нужно будет, о том завтра узнаем. Теперь же я умою твои ноги, и ты покушай, что у меня есть, и ложись спать, а я пойду скоморошить.

— Мне нужно бесед твоих.

— Бесед! — опять воскликнул Памфалон.

— Да, мне нужно бесед твоих, я для них пришел и не отступлю от тебя.

Памфалон поглядел на старца, потрогал его за его синий хохолок и потом вдруг расхохотался.

— Что же это тебе, весельчак, так смешно в словах моих? — спросил Ермий.

А Памфалон отвечал:

— Прости мне мое безумство. Я это по привычке шутить рассмеялся. Ты хочешь не отступить от меня, а я подумал, что мне, пожалуй, и хорошо бы взять тебя и поводить с собою по городу. Мне бы было выгодно водить тебя напоказ по Дамаску. На тебя бы все глядеть собирались, но мне стыдно, что я так о тебе подумал, и пусть же и тебе будет стыдно надо мною смеяться.

— Я ни над кем не смеюсь, Памфалон.

— Так зачем же ты говоришь, что хочешь от меня бесед для своего научения? Какие научения могу дать я, дрянной скоморох, тебе, мужу, имевшему силу рассуждать о боге и о людях в святом безмолвии пустыни? Господь меня не лишил совсем святейшего дара своего — разума, и я знаю разницу, какая есть между мною и тобою. Не оскорбляй же меня, старик, изволь мне омыть твои ноги, и почивай на моей постели.

— Хорошо,— сказал Ермий,— ты хозяин в своем доме и делай что хочешь.

Памфалон принес лохань свежей воды и, омыв ноги гостя, подал ему есть, а потом уложил в постель и промолвил:

— Завтра будем говорить с тобою. А теперь об одном тебя попрошу: не тревожься, если кто-нибудь из подгулявших людей станет стучать ко мне в дверь или бросать что-нибудь в стену. Это ничего другого не значит, как празднолюбцы зовут меня потешать их.

— И ты встаешь и уходишь?

— Да, я иду во всякое время.

— И неужто ты входишь повсюду?

— Конечно, повсюду: я ведь скоморох и не могу разбирать места.

— Бедный Памфалон!

— Как быть, мой отец! Мудрецы и философы моего мастерства не требуют, а требуют его празднолюбцы. Я хожу на площади, стою у ристалищ, верчусь на пирах, бываю в загородных рощах, где гуляют молодые богачи, а больше все по ночам бываю в домах у веселых гетер...

При последнем слове Ермий едва не заплакал и еще жалостнее воскликнул:

— Бедный Памфалон!

— Что делать,— отвечал скоморох,— я действительно очень беден. Я ведь сын греха и как во грехе зачат, так с грешниками и вырос. Ничему другому я, кроме скоморошества, не научен, а в мире должен был жить потому, что здесь жила во грехе зачавшая и родившая меня мать моя. Я не мог снести, чтобы мать моя протянула к чужому человеку руку за хлебом, и кормил ее своим скоморошеством.

— А где же теперь твоя мать?

— Я верю, что она у бога. Она умерла на той же постели, где ты лежишь теперь.

— Тебя любят в Дамаске?

— Не знаю, что есть слово «любят», но меня, пожалуй, и любят, и кидают мне деньги за мои забавы, и угощают меня за своими столами. Я пью на чужой счет дорогое вино и плачу за него моими шутками.

— Ты пьешь вино?

— О да, что я пью вино и люблю его пить, в том нет никакого сомнения. Да без этого и нельзя для человека, который держится веселой компании.

— Кто же тебя приучил к этой компании?

— Случай, или, лучше тебе сказать, я не умею объяснить этого твоему благочестию. Мать моя в молодости была весела и прекрасна. Отец мой был знатный человек.

Он меня бросил, а другие из степенных людей никто меня не взяли, взял меня такой же, как я, скоморох и много меня бил и ломал, но все-таки спасибо ему — он меня выучил своему делу, и теперь никто лучше меня не кинет вверх колец, чтобы они на лету сошлися; никто так не щелкнет языком, не строит рож, не плещет руками, и не митушует ногами, и не тростит головой.

— И тебе это ремесло еще не омерзело?

— Нет, оно часто мне не нравится, особенно когда я вижу, как проводят у гетер время вельможи, которым надо бы думать о счастье народа, и когда в веселые дома приводят цветущую юность, но я в этом воспитан и этим одним только умею добывать себе хлеб.

— Бедный, бедный Памфалон! Смотри, вот уже и голова твоя забелелась, а ты все до сей поры плещешь руками, и семенишь ногами, и тростишь головой у погибших блудниц. Ты сам погибнешь с ними.

А Памфалон отвечал:

— Не жалей меня, что я выкручиваю ногами и верчусь у гетер. Гетеры грешницы, но бывают к нам, слабым людям, жалостливы. Когда их гости упьются, они сами ходят и сами для нас от гуляк собирают даянье, и даже порою с излишком и с ласкою для нас просят.

И, заметив, что Ермий отвернулся, Памфалон тронул его ласково за плечо и молвил с уветом:

— Верь мне, почтенный старик, что живое всегда живым остается, и у гетер часто бьется в груди прекрасное сердце. А печально нам быть на пирах у богатых господ. Вот там часто встречаются скверные люди; они горды, надменны и веселья хотят, а свободного смеха и шуток не терпят. Там требуют того, чего естество человеческое стыдится, там угрожают ударением и ранами, там щиплют мою разноперую птицу, там дуют и плюют в нос моей собаке Акре. Там ни во что вменяют все обиды для низших и наутро... ходят молиться для вида.

— О горе! о горе! — прошептал Ермий.— Вижу, что он даже совсем еще далек от того, чтобы понимать, в чем погряз, но его ум и его естество, может быть, добры... Потому я, верно, для того к нему и послан, чтобы вывесть его одаренную душу на иную путину.

И сказал он ему вдохновенно:

— Брось свое гадкое ремесло, Памфалон.

А тот ему спокойно ответил:

— Очень бы рад, да не могу.

— Произнеси глагол к богу, и он тебе поможет.

Памфалон вздрогнул и упавшим голосом молвил:

— Глагол!.. Зачем ты читаешь в душе моей то, о чем я хочу позабыть!

— Ага! Ты, верно, уже давал обет и опять его нарушил?

— Да, ты отгадал: я сделал это дурное дело — я давал обет.

— Почему же ты называешь обет дурным делом?

— Потому, что христианам запрещено клясться и обещаться, а я, какой ни есть, все же христианин, и, однако, я давал обет и его нарушил. А теперь я знаю, что разве может слабый человек давать обет всемогущему, который предуставил, чем ему быть, и мнет его как горшечник мнет глину на кружале? Да, знай, старичок, знай, что я имел возможность бросить скоморошество и не бросил.

— И почему же ты не бросил?

— Не мог.

— Что у тебя за ответ: все ты «не мог»! Почему ты и мог и не мог?

— Да, и мог и не мог, потому что... я небрежлив — я не могу о своей душе думать, когда есть кто-нибудь, кому надо помочь.

Старец приподнялся на ложе и, вперив глаза в скомороха, воскликнул:

— Что ты сказал?! Ты ни во что считаешь погубить свою душу на бесконечные веки веков, лишь бы сделать что-нибудь в сей быстрой жизни для другого! Да ты имеешь ли понятие о ярящемся пламени ада и о глубине вечной ночи?

Скоромох усмехнулся и сказал:

— Нет, я ничего не знаю об этом. Да и как я могу знать о жизни мертвых, когда я не знаю даже всего о живых? А ты знаешь о тартаре, старец?

— Конечно!

— А между тем, я вижу, и ты не знаешь о многом, что есть на земле. Мне это странно. Я тебе говорю, что я человек негодный, а ты мне не веришь. А я не поверю тебе, что ты знаешь о мертвых.

— Несчастный! Да ты имеешь ли даже понятие о самом божестве?

— Имею, только очень малые понятия, но в том не ожидаю себе великого осуждения, потому что я ведь не вырос в благородной семье, я не слушал уроков у схоластиков в Византии.

— Бога можно знать и служить ему без науки схоластиков.

— Я с тобою согласен и так всегда говорил в уме с богом: ты творец, а я тварь — мне тебя не понять, ты меня всунул для чего-то в эту кожаную ризу и бросил сюда на землю трудиться, я и таскаюсь по земле, ползаю, тружусь. Хотел бы узнать: для чего это все так мудрено сотворено, да я не хочу быть как ленивый раб, чтобы о тебе со всеми пересуживать. Я буду тебе просто покорен и не стану разузнавать, что ты думаешь, а просто возьму и исполню, что твой перст начертал в моем сердце! А если дурно сделаю — ты прости, потому что ведь это ты меня создал с жалостным сердцем. Я с ним и живу.

— И ты на этом надеешься оправдаться!

— Ах, я ни на что не надеюсь, а я просто ничего не боюсь.

— Как! Ты и бога не боишься?!

Памфалон пожал плечами и ответил:

— Право, не боюсь: я его люблю.

— Лучше трепещи!

— Зачем? Ты разве трепещешь?

— Трепетал.

— И нынче устал?

— Я уже не тот, что был прежде когда-то.

— Наверно, ты сделался лучше?

— Не знаю.

— Это ты хорошо сказал. Знает тот, кто со стороны смотрит, а не тот, кто свое дело делает. Кто делает, тому на себя не видно.

— А ты себя когда-нибудь чувствовал хорошо?

Памфалон промолчал.

— Я умоляю тебя,— повторил Ермий,— скажи мне, ты когда-нибудь чувствовал себя хорошо?

— Да,— отвечал скоморох,— я чувствовал...

— А когда это было?

— Представь, это было именно в тот самый час, когда я себя от него удалил...

— Боже! что говорит этот безумец!

— Я говорю сущую правду.

— Но чем и как ты отдалил себя от бога?

— Я это сделал за единый вздох.

— Ответь же мне, что ты сделал?

Памфалон хотел отвечать, что с ним было, но в это самое мгновение циновку, которою была завешена дверь,

откинули две молодые смуглые женские руки в запястьях, и два звонкие женские голоса сразу наперебой заговорили:

— Памфалон, смехотворный Памфалон! Скорей поднимайся и иди с нами. Мы бежали впотьмах бегом за тобою от нашей гетеры... Спеши скорей, у нас полон грот и аллеи богатых гостей из Коринфа. Бери с собой кольца, и струны, и Акру, и птицу. Ты нынче в ночь можешь много заработать за свое смехотворство и хоть немножко вернешь свою большую потерю.

Ермий взглянул на этих женщин, и их лоснящаяся теплая кожа, их полурастворенные рты и замутившиеся глаза с обращенным в пространство взором, совершенное отсутствие мысли на лицах и запах их страстного тела ошибли его. Пустыннику показалось, что он слышит даже глухой рокот крови в их жилах, и в отдалении топот копыт, и сопенье, и запах острого пота Силена.

Ермий затрясся от страха, завернулся к стене и закрыл свою голову рогожей.

А Памфалон тихо молвил, нагнувшись в его сторону:

— Вот видишь, досуг ли мне размышлять о высоком! — И, сразу же переменив тон на громкий и веселый, он отвечал женщинам: — Сейчас, сейчас иду к вам, мои нильские змейки.

Памфалон свистнул свою Акру, взял шест, на котором в обруче сидела его пестрая птица, и, захватив другие свои скоморошьи снаряды, ушел, загасив лампу.

Ермий остался один в пустом жилище.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ермий не скоро позабылся сном. Он долго размышлял: как ему согласить в своем понятии то, для чего он шел сюда, с тем, что здесь находит. Конечно, можно сразу видеть, что скоморох человек доброго сердца, но все же он человек легкомысленный: он потехи множит, руками плещет, ногами танцует и тростит головой, а оставить эти бесовские потехи не желает. Да и может ли он сделать это, так далеко затянувшись в разгульную жизнь? Вот где он, например, находится теперь, после того как ушел с этими бесстыжими женщинами, после которых еще стоит в воздухе рокотанье их крови и веянье страстного пота Силена?

Если таковы были посланницы, то какова же должна быть та, которой они служат в ее развращенном доме!..

Отшельник содрогнулся.

Для чего же было ему, после тридцати лет стояния, слезать со скалы, идти многие дни с страшной истомой, чтобы прийти и увидеть в Дамаске... ту же темную скверну греха, от которой он бежал из Византии? Нет, верно, не ангел божий его сюда послал, а искусительный демон! Нечего больше и думать об этом, надо сейчас же встать и бежать.

Тяжело было старцу подняться — ноги его устали, путь далек, пустыня жарка и исполнена страхов, но он не пощадил своего тела... он встает, он бредет во тьме по стогнам Дамаска, пробегает их: песни, пьяный звон чаш из домов, и страстные вздохи нимф, и самый Силен — всё напротив его, как волна прибоя; но ногам его дана небывалая сила и бодрость. Он бежит, бежит, видит свою скалу, хватается за ее кремнистые ребра, хочет влезть в свою расщелину, но чья-то страшно могучая рука срывает его за ноги вниз и ставит на землю, а незримый голос грозно говорит ему:

— Не отступай от Памфалона, проси его рассказать тебе, как он совершил дело своего спасения.

И с этим Ермия так дунуло вспять, что он едва не задохся от бури и, открыв глаза, видит день, и он опять в жилище Памфалона, и сам скоморох тут лежит, упав на голом полу, и спит, а его пес и разноперая птица дремлют...

Возле изголовья Ермия стояли два сосуда из глины — один с водою, другой с молоком, и на свежих зеленых листах мягкий козий сыр и сочные фрукты.

Ничего этого с вечера здесь не было...

Значит, пустынник спал крепко, а его усталый хозяин, когда возвратился, еще не прямо лег спать, а прежде послужил своему гостю.

Скоморох поставил гостю все, что где-то достал, чтобы гость утром встал и мог подкрепиться...

Ни сыру, ни плодов в доме у Памфалона не было, а все это, очевидно, ему было дано там, где он вертелся и тешил гуляк у гетеры.

Он взял подачку от гетеры и принес это страннику.

«Чудак мой хозяин»,— подумал Ермий и, встав с постели, подошел к Памфалону, взглянул в лицо его и засмотрелся. Вчера вечером он видел Памфалона при лампе и готового на скоморошество, с завитою головою и с лицом, разрисованным красками, а теперь скоморох спал, смыв с себя скоморошье мазанье, и лицо у него было тихое

и прекрасное. Ермию казалось, будто это совсем не человек, а ангел.

«Что же! — подумал Ермий,— может быть, я не обманут; может быть, не было надо мной искушения, а это именно тот самый Памфалон, который совершеннее меня и у которого мне надо чему-то научиться. Боже! Как это узнать? Как разрешить это сомненье?»

И старик заплакал, опустился перед скоморохом на колени и, обняв его голову, стал звать со слезами его по имени.

Памфалон проснулся и спросил:

— Что тебе угодно от меня, мой отец?

Но, увидев, что старец плачет, Памфалон встревожился, спешно встал и начал говорить:

— Зачем я вижу слезы на старом лице твоем? Не обидел ли тебя кто-нибудь?

А Ермий ему отвечает:

— Никто меня не обидел, кроме тебя, потому что я пришел к тебе из моей пустыни, чтобы узнать от тебя для себя полезное, а ты не хочешь сказать мне, чем ты угождаешь богу; не скрывайся и не мучь меня: я вижу, что живешь ты в жизни суетной, но мне о тебе явлено, что ты богу любезен.

Памфалон задумался и потом говорит:

— Поверь, старик, что в моей жизни нет ничего такого, что бы можно взять в похвалу, а, напротив, все скверно.

— Да ты, может быть, сам не знаешь?

— Ну как не знать! Я знаю, что живу, как ты сам видишь, в суете и вдобавок еще имею такое дрянное сердце, которое даже не допускает меня стать на лучшую степень.

— Ну вот скажи мне хоть об этом: какой вред сделало тебе твое сердце и как оно не допускает тебя стать на иной степень? Как это было, что ты почувствовал себя хорошо, когда сделал дурно?

— Ага! Про это изволь,— отвечал Памфалон,— если ты так уже непременно этого требуешь, то я тебе расскажу этот случай, но только ты после моего рассказа, наверно, не захочешь ко мне возвратиться. Восстанем же лучше и пойдем отсюда за город, в поле: там на свободе я расскажу тебе про то происшествие, которое совсем меня отдалило от надежды исправления.

— Пойдем, бога ради, скорее,— отвечал Ермий, покрываясь своими ветхими лохмотьями.

Они оба вышли за город, сели над диким обрывистым рвом, у ног их легла Акра, и Памфалон начал сказывать.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

— Ни за что я не стал бы тебе рассказывать,— начал Памфалон,— о чем ты меня просишь, но как ты непременно хочешь считать меня за хорошего человека, а мне от этого стыдно, потому что я этого не стою, а стою одного лишь презренья, то я расскажу. Я большой грешник и бражник, но, что всего хуже еще,— я обманщик, и не простой обманщик: а я обманул бога в данном ему обете как раз в то самое время, когда получил невероятным образом возможность обет свой исполнить. Слушай, пожалуйста, и суди меня строго. Я желаю в твоем суде получить целебную рану, какую заслужил себе в наказание.

Нечистоту моей скоморошьей жизни ты видел и все дальнейшее посему понять можешь. Кругом я грязен и скверен. Я тебе правду сказал, что рассуждать о божественном я не научен, и по жизни моей мне редко когда это приходит на мысль, но ты прозорлив — бывали случаи, что и я о своей душе думал. Вертишься ночь бражникам на потеху, а когда перед утром домой возвращаешься, и задумаешься: стоит ли этак жить? Грешишь для того, чтобы пропитаться, и питаешься для того, чтоб грешить. Все так и вертится. Но человек ведь, отче, лукав и во всяком своем положении ищет себе смоковничьи листья, чтобы прикрыть свою срамоту. Таков же и я; и я себе не раз думал: я в грехе погряз от нужды, я что добуду, тем едва пропитаюсь; вот если бы у меня сразу случились такие деньги, чтобы я мог купить хоть очень малое поле и работать на нем, так тогда бы я сейчас же оставил свое скоморошье и стал бы жить, как другие, степенные люди. Да не мог я этого достичь, и не потому, чтобы никогда в мои руки денег не попадало,— нет, деньги бывали, а всегда что-нибудь такое случалось, что я не успею собрать сколько нужно, как уже все собранное и растрачу; случится кто-нибудь в горе, и мне его станет жаль, и я промотаюсь. Если бы мне враз пришло в руки много денег, тогда бы я, наверно, скоморошество оставил и перешел на степенность, а шить лоскут к лоскуту я не умею. Зачем меня бог так устроил? Но если он щедрой рукой когда-нибудь враз мне поможет,— ну, тогда я воздержусь и стану жить хорошо, как прочие благородные люди,

которых почитают и монахи, и клирики, и все ожидающие себе царствия небесного.

И что же ты думаешь! точно как с того будто слова случилось: вдруг выпал мне такой удивительный случай, о каком, казалось, невозможно было и думать. Слушай прилежно меня и суди меня строго.

Вот что было раз в моей жизни.

Был я позван однажды тешить гостей у одной здешней гетеры Азеллы. Она немолода, но ее красота долголетня, и Азелла всех здесь красивей, пышней и умнее. Гостей было много, и все чужеземцы из Рима и хвастуны богачи из Коринфа. Все упивались вином и меня беспрестанно заставляли играть им и петь. Другие хотели, чтобы я смешил их, и я всем угождал, как хотели. А когда я уставал, они не желали этого знать и надо мною обидно смеялись, толкали, насильно поили вином, в которое сыпали неприятную подмесь; обливали меня и злили мою бедную Акру. Они дергали ее за ляжки и плевали ей в нос, а когда Акра рычала, они ее били и даже грозились убить; я все это сносил, лишь бы побольше от них заработать, потому что, признаюсь тебе, мне надобно было тогда отправить на родину одного калеку-воина. Зато умная гетера Азелла, видя, как меня обижали, обратила это все в мою пользу: она раскрыла свою тунику и заставила всех кинуть мне несколько денег, гости же спьяну набросали мне много, а особенно один, горделивый и тучный Ор коринфянин, с надутым брюхом, без шеи. Ор громко сказал:

— Покажи мне, Азелла, много ли золота все положили в твою тунику.

Она показала.

Ор же взглянул и, скосивши лицо с надменной усмешкой на римлян, добавил:

— Слушай меня, что скажу я, Азелла: прогони сейчас от себя всех этих гостей и возьми за это у слуги моего вдесятеро против того, что они все положили твоему скомороху.

Азелла сказала гостям:

— Мудрые люди, фортуна спускается к смертным не часто, а к Памфалону она еще во всю жизнь не сходила. Дайте ей место, а сами идите спокойно ко сну.

Недовольные гости ушли, а Азелла проводила меня последнего и дала мне так много денег, что я не мог счесть их, а утром, когда стал сосчитывать, насчитал двести тридцать златниц. Я и обрадовался, и вместе с тем испугался.

«Вот,— подумал я,— случай, после которого я уже не должен более служить скоморошьим потехам. Это точно бог внял моему обещанью. Никогда еще у меня не бывало зараз столько денег. Довольно же меня всем обижать и надо мной насмехаться. Теперь я не бедняк. За эти деньги я вчера снес большие обиды, но зато вперед этого больше не будет. Конец скоморошью! Я отыщу себе небольшое поле с ключом чистой воды и с многолиственной пальмой. Куплю это поле и стану жить честно, как все люди, с которыми не стыдятся вести знакомство ни клир, ни монахи».

И я предался разнородным мечтаньям, стал любоваться собою, как я буду жить достойною жизнью: буду рано утром вставать, а не то что теперь — только утром ложиться; не буду свистать, а стану петь псалмы; буду днем работать в *своем* винограднике, а вечером сяду у *своего* ручья под *своей* пальмой и стану размышлять о *своей* душе да выглядывать путника. А покажется путник, я поднимусь и пойду ему навстречу, приглашу его к себе, приму его в дом, успокою, угощу и потом поведу с ним в тишине под звездным небом беседу о боге. Переменится совсем к лучшему жизнь моя, и не буду я скоморохом в старости, когда оскудеют мои силы. А чтобы решение мое еще более окрепло и слабость ко мне ниотколь не подкралась, я завязал себе руки неразрывною цепью... Я сделал то, о чем ты говорил, я поклялся с этого раза стать совсем иным человеком; но послушай же, что затем сталось и перед чем я не устоял в клятве и обещании.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Чтобы ничего не истратить, я не пошел отправлять домой убогого воина, а зарыл все мои деньги в землю у себя под изголовьем и утром не поднимал моей циновки. Я притворился больным и не хотел ни одного раза больше идти на гульбу с бражниками. Всем, кто приходил меня звать, я отвечал, что я болен и пойду за город в горы подышать свежим воздухом и поискать на болезнь мою целебную траву. А сам пробрался потихоньку к сводчику, к жиду Капитону, который знает все, где что продается, и просил его отыскать мне хорошее поле с водою и с пальмовой тенью. Капитон-сводчик меня сразу обрадовал.

— Есть,— говорит,— у меня на виду как раз то, что тебе нужно.

И описал мне продажное поле так хорошо, как я сам не умел о нем и подумать. Есть там и ключ и пальма, да еще и бальзамный куст, от которого струит ароматом на целое поприще.

— Иди,— говорю,— и купи мне скорей это поле.

Жид обещал все устроить.

«Вот,— думал я,— теперь уже совсем наступает конец моей беспорядочной жизни, теперь я брошу все мои крики и свисты, сниму все смешные наряды, надену на себя степенный левитон, покрою голову платом и буду работать день на поле, а вечером стану сидеть у своей кущи и подражать гостеприимству Авраама».

Но не скрою от тебя — во все это время я ощущал беспокойство. Все мне казалось, что ничего того, что я затеял, не будет.

На обратном пути от Капитона объял меня страх: не узнал ли кто, что я получил деньги от гордого коринфянина, и не пришел ли без меня и не украл ли моих денег из того места, где я их зарыл у себя под постелью?.. Побежал я домой шибко, в тревоге, какой ранее никогда еще не знал, а прибежав, сейчас же прилег на землю, раскопал свою похоронку и пересчитал деньги: все двести тридцать златниц, которые бросил мне гордый Ор коринфянин, были целы, и я взял и опять их зарыл и сам лег на них, как собака.

И хочешь ли знать, кого я боялся? Мне страшно было не одних тех воров, что ходят и крадут, а я боялся и того вора, что жил вечно со мной в моем сердце. Я не хотел знать ни о чьем несчастье, чтобы оно не лишило меня той твердости, которая нужна человеку, желающему исправить путь своей собственной жизни, не обращая внимания на то, что где-нибудь делается с другими. Я не виноват в их несчастиях.

А так как я, ходя к Капитону и возвращаясь назад, изрядно устал, то меня одолел сон, но и сон этот был тоже исполнен тревоги: то я видел, что давно уже купил себе сказанное Капитоном поле, и живу уже в светлом доме, и близко меня журчит родник свежей воды, и бальзамный куст мне точит аромат, и ветвистая пальма меня отеняет. То во всей этой красоте все что-то портит: в роднике я вижу бездну пиявиц, вокруг пальмы прыгают огромные жабы, а под самым бальзамным кустом извивается аспид. Увидав аспида, я так испугался, что даже проснулся, и сейчас подумал: целы ли мои деньги? Они были целы — я лежал на них, и никто их не мог взять без насилия. И вот

мне пришла мысль, что богатство, которое мне бросил Ор у Азеллы, вероятно, не осталось до сих пор тайной в Дамаске. Не с тем кинул мне деньги на пиру у гетеры гордый коринфянин Ор, чтобы это оставалось в тайне. Он, конечно, для того только это и сделал, чтобы все завидовали его богатству и распускали молву, которая лестна для его гордости. И вот теперь люди узнают, что у меня есть деньги, и придут ко мне ночью и меня ограбят и изобьют, а если я стану им сопротивляться, то они совсем убьют меня.

А как у меня циновка была опущена, то в горнице стало нестерпимо душно, и я подошел приподнять циновку и вижу, что по улице идут два малолетних мальчика с корзинами, полными хлеба, а перед ними осел, который тоже нагружен такими же корзинами с хлебом. Мальчики погоняют осла и разговаривают между собою... обо мне!

— Вот,— говорит один,— наш Памфалон нынче уже и циновки своей не открывает.

— Да зачем ему теперь открывать ее,— отвечает другой,— ему больше не нужно кривляться: он богач — может спать сколько захочет. Ты ведь, я думаю, слышал, что рассказывали все, которые приходили сегодня к нам в пекарню за хлебом.

— Как же, как же, я даже так заслушался, что хозяин дал мне за это во всю ладонь подзатыльник. Какой-то гордец из Коринфа, чтобы унизить наших дамасских богачей, бросил Памфалону у гетеры Азеллы десять тысяч златниц. Он теперь купит дом, и сады, и невольниц и будет лежать у фонтана.

— Не десять, а двадцать тысяч златниц,— поправил другой,— и притом деньги эти были еще в ящике, осыпанном перлами. Он купит, наверное, поле с чертогом, поставит вокруг себя самых красивых мальчиков с опахалами и станет сбирать разных ученых и заставлять их рассуждать на разных языках о святом духе.

Из этого разговора мальчиков, развозивших хлеб из пекарни, я узнал, что случай моего неожиданного обогащения уже известен всему Дамаску, а притом и самая сумма, которою я обладал по прихоти горделивого Ора, была более чем в десять раз преувеличена.

Да и кто мог наверно знать, что сумма, брошенная мне гордецом Ором, заключалась менее чем в трехстах литрах, а совсем не в двадцати тысячах златниц? Конечно, это знал только один я, потому что и сам Ор, без сомнения, не считал того, что он мне кинул.

Но и это было еще маловажно в сравнении с тем, чем закончили свой разговор проходившие мальчики. Один из них продолжал, будто всех очень занимает: куда я спрятал теперь такое богатство, как двадцать тысяч златниц. Особенно же этим будто интересовался флейтщик Аммун, отчаянный головорез, который прежде был воином в двух взаимно враждовавших армиях, потом разбойником, убивавшим богомольцев, а после еще монахом в Нитрийской пустыне и, наконец, явился сюда к нам в Дамаск с флейтою и черной блудницей, завернутой в милоть нитрийского брата. Брата он, верно, убил, а блудницу продал в веселый дом нагишом, а милотью обтирал долго пыль и грязь с ног гуляк, подходящих вечерами к порогам гетер. Он также часто играл на своей флейте при моих представлениях, но еще чаще гетеры отгоняли его. Аммун сам был виноват, потому что он без стыда начал румянить себе щеки и наводить брови, как особа обоего пола. Этим он сделался мерзок для женщин, как их соперник. Меня Аммун страшно ненавидел. Я даже знал, что он уже несколько раз научал пьяных людей напасть на меня ночью и сделать мне вред.

Теперь желанье сделать мне вред в Аммуне, конечно, должно было усилиться, а его старинные разбойничьи навыки могли помочь ему привести задуманное им злодейство в исполнение. У него уже было золото, и он брал себе людей в кабалу и заставлял их делать, что скажет.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Мысль об опасности, угрожающей мне от Аммуна, пролетела в моей голове как молния и так овладела мною, что даже помешала мне отнять рогожу от окна и воротить прошедших мимо мальчиков, у которых мне надо было купить для себя свежих хлебов.

Скача и вертясь за то, что мне кинут, я всегда был сыт и даже очень нередко подкреплял себя вволю вином, а теперь, когда у меня было золото, я впервые провел весь день и без пищи и без глотка вина, а притом еще и в тревоге, которая возрастала так же быстро, как быстро сгущаются наши сумерки, переходящие в темную ночь.

Мне было не до пищи: я страшился за целость моего богатства и за мою жизнь: флейтщик Аммун так и стоял с своими кабальными перед глазами напуганной души моей. Я думал, это непременно так и есть: вот он днем

обегал уже всех подобных ему, согласных на злодейства, и теперь, при наступающей темноте, все они собрались в какой-нибудь пещере или корчемнице, а как совсем стемнеет, они придут сюда, чтобы взять от меня двадцать тысяч златниц. Когда же они не найдут у меня столько, сколько думают, то они не поверят, что коринфянин Ор не дарил мне такой суммы, и станут меня жечь и пытать.

И тут вдруг я, к ужасу своему, вспомнил, что я никогда как следует не заботился о крепости запоров для своего бедного жилища... Я закрывал его на время моего отсутствия более только для вида, а ночью часто спал, даже совсем не положив болтов ни на двери мои, ни на окна.

Теперь это не годилось, и как время уже совсем приблизилось к ночи, то надо было поспешить все пересмотреть и что можно поскорее приладить, чтобы не так легко было ко мне ворваться.

Я придумал, как можно подпереть изнутри мою дверь, но только что стал это подстроивать, как вдруг неожиданно, перед самыми глазами моими, моя циновка распахнулась, и ко мне не взошел, а точно чужою сильною рукою был вброшен весь закутанный человек. Он как впал ко мне, так обвил мою шею и замер, простонав отчаянным голосом:

— Спаси меня, Памфалон!

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

С теми мыслями, каких я был полон в эту минуту и чего в тревоге опасался от Аммуна, я прежде всего заподозрил, что это начинается его дело, затеянное с какою-нибудь хитростию, в которых разбойничий ум Аммуна был очень искусен.

Я уже ждал боли, которую должен был ощутить от погружения в мою грудь острого ножа рукою впавшего ко мне гостя, и, охраняя жизнь свою, с такою силою оттолкнул от себя этого незнакомца, что он отлетел от меня к стене и, споткнувшись на обрубок, упал в угол. А я тотчас же сообразил, что мне легче будет управиться с одним человеком, который притом показался мне слабым, чем с несколькими за ним следующими, и потому я поскорее примкнул заставницу и задвинул крепкий засов, а потом взял в руки секиру и стал прислушиваться. Я твердо решился ударить секирою всякого, кто бы ни показался

в мое жилище, а в то же время не сводил глаз с того пришельца, которого отшвырнул от себя в угол.

Он стал мне казаться странен тем, что неподвижно лежал в углу, куда упал, и занимал так мало места, как ребенок, а в то же время он совсем не обнаруживал ничего против меня ухищренного, а, напротив, был будто заодно со мною. Он зорко следил за каждым моим движением и, учащенно дыша, шептал:

— Запрись!.. Скорей запрись!.. Скорей запрись, Памфалон!

Меня это удивило, и я сурово сказал:

— Хорошо, я запрусь, но тебе что от меня нужно?

— Подай мне поскорее твою руку, дай мне испить и посади меня у твоей лампы. Тогда я скажу тебе, что мне нужно.

— Хорошо,— отвечал я,— каковы бы ни были твои замыслы, но вот тебе моя рука, и вот чаша воды и место у моей лампы.

С этим я протянул гостю руку, и передо мною вспорхнуло легкое детское тело.

— Ты не мужчина, а женщина! — вскричал я.

А гость мой, говоривший до сей поры шепотом, отвечает мне женским голосом:

— Да, Памфалон, я женщина,— и с этим она распахнула на себе темную епанчу, в которую была завернута, и я увидал молодую, прекрасную женщину, с лицом, которое мне было знакомо. На нем вместе с красотою отражалось ужасное горе. Голова ее была покрыта дробным плетением волос, и тело умащено сильным запахом амбры, но она не имела бесстыдства, хотя говорила ужасные вещи.

— Посмотри, хороша или нет я? — спросила она, отеняясь одною рукою от лампы.

— Да,— отвечал я,— ты бесспорно красива, и тебе лучше не терять своего времени со мною. Что тебе нужно?

А она говорит:

— Ты не узнал меня, верно. Я Магна, дочь Птоломея с Альбиной. Купи меня, купи, Памфалон-скоморох, дочь Птоломея — у тебя теперь много богатства, а Магне золото нужно, чтоб спасти мужа и избавить детей из неволи.

И, орошая щеки слезами, Магна стала торопливой рукой разрешать на себе пояс туники.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Старик! Я видал много людей, но такой странной гостьи у меня еще никогда не случалось... Она и продавала себя и страдала, и все это вместе меня как будто сдавило за сердце.

Имя Магна принадлежало самой прекрасной, именитой и несчастной женщине в Дамаске. Я знал ее еще в детстве, но не видал ее с тех пор, как Магна удалилась от нас с византийцем Руфином, за которого вышла замуж по воле своего отца и своей матери, гордой Альбины.

— Остановись! — вскричал я,— я тебя узнаю, ты в самом деле благородная Магна, дочь Птоломея, в садах которого я с позволения твоего отца не раз забавлял тебя в детстве моими играми и получал из твоих ласковых рук монеты и пшеничный хлеб, изюм и гранатовые яблоки! Говори мне скорее, что с тобой сделалось, где твой супруг, роскошный богач византиец Руфин, которого ты так любила? Неужто его поглотили волны моря, или молодую жизнь его пресек меч переплывшего Понт скифского варвара? Где же твоя семья, где твои дети?

Магна, потупясь, молчала.

— Скажи же по крайней мере, когда ты явилась в Дамаск и зачем ты не у своих здешних родных или не у прежних богатых подруг — у умной Фотины, у ученой Таоры или у целомудренной Сильвии-девы? Зачем быстрые ноги твои принесли тебя к бедному жилищу бесславного скомороха, над которым ты сейчас так жестоко посмеялась, сделав мне в шутку такое нестаточное предложение!

Но Магна грустно покачала головою и проговорила в ответ:

— Ты, Памфалон, не знаешь всех моих ужасных несчастий! Я не смеюсь: я пришла продать себя не для шутки. Муж мой и дети!.. Муж мой и дети мои все в неволе. Мое горе ужасно!

— Ну так скорее скажи мне, что это за горе, и если я могу тебе пособить, я все с радостью тотчас исполню.

— Хорошо, я все скажу тебе,— отвечала Магна.

И тут-то, пустынник, постигло меня то искушение, за которым я позабыл и обет мой, и клятву, и самую вечную жизнь.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Я знал Магну с ранних дней ее юности. Я не был в доме ее отца, а был только в саду как скоморох, когда меня звали, чтобы потешить ребенка. Гостей вхожих к ним было мало, потому что великолепный Птоломей держал себя гордо и с людьми нестрогой жизни не знался. В его доме не было таких сборищ, при которых был нужен скоморох, а там собирались ученые богословы и изрекали о разных высоких предметах и о самом святом духе. Жена Птоломея, Альбина, мать красавицы Магны, была под стать своему мужу. Все самые пышные жены Дамаска не любили ее, но все признавали ее непорочность. Верность Альбины для всех могла быть уроком. Превосходная Магна уродилась в мать, на которую походила и прекрасным лицом, но молодость ее заставляла ее быть милосердной. Прекрасный сад ее отца, Птоломея, примыкал к большому рву, за которым начиналось широкое поле. Мне часто приходилось проходить этим полем, чтобы миновать дальний обход к загородному дому гетеры Азеллы. Я всегда шел с моей скоморошьею ношей и с этой самой собакою. Акра тогда была молода и не знала всего, что должна знать скоморошья собака.

Выходя в поле, я останавливался на полпути, как раз против садов Птоломея, чтобы отдохнуть, съесть мою ячменную лепешку и поучить мою Акру. Я обыкновенно садился над обрывом оврага, ел — и заставлял Акру повторять на широком просторе уроки, которые давал ей у себя, в моем тесном жилище. Среди этих занятий я и увидал один раз прекрасное лицо взросшей Магны. Закрывшись ветвями, она любопытно смотрела из зелени на веселые штуки, которые проделывала моя Акра. Я это приметил и, не давая Магне заметить, что я ее вижу, хотел доставить ей представлениями моего пса более удовольствия, чем Акра могла показать по тогдашней своей выучке. Чтобы побудить собаку к проворству, я несколько раз хлестнул ее ремнем, но в ту самую минуту, когда собака взвизгнула, я заметил, что зелень, скрывавшая Магну, всколыхнулась, и прекрасное лицо девушки исчезло...

Это привело меня в такое озлобление, что я еще ударил Акру два раза, и когда она подняла жалобный визг, то из-за ограды сада до меня донеслись слова:

— Жестокий человек! За что ты мучишь это бедное животное! Для чего ты принуждаешь собаку делать то, что несвойственно ее природе.

Я оборотился и увидал Магну, которая вышла из своего древесного закрытия, и, стоя по перси над низкой, заросшей листами оградой, говорила она мне с лицом, пылающим гневом.

— Не осуждай меня, юная госпожа,— отвечал я,— я не жестокий человек, а выучка этого пса относится к моему ремеслу, которым мы с ним оба питаемся.

— Презренно твое ремесло, которое нужно только презренным празднолюбцам,— ответила мне Магна.

— О госпожа! — отвечал я,— всякий питается тем, чем он может добыть себе пищу, и хорошо, если он живет не на счет другого и не делает несчастия ближних.

— Это не идет к тебе, ты развращаешь своих ближних,— молвила Магна, и в глазах ее я мог видеть ту же строгость, которою отличался всегда взор ее матери.

— Нет, юная госпожа,— отвечал я,— ты судишь строго и говоришь так потому, что мало сама испытала. Я простолюдин и не могу развращать людей высшего звания.

И я повернулся и хотел уходить, как она остановила меня одним звуком и сказала:

— Не идет тебе рассуждать о людях высокого звания. Лучше вот... лови мой кошелек: я бросаю это тебе, чтобы ты дал вволю пищи твоей жалкой собаке.

С этим она бросила шелковый мешочек, который не долетел на мою сторону, а я потянулся, чтобы его подхватить, и, оборвавшись, упал на дно оврага.

В этом падении я страшно расшибся.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В бедствии моем мне было утешением, что во все десять дней, которые я провел в малой пещерке на дне оврага, ко мне всякий день спускалась благородная Магна. Она приносила мне столько роскошной пищи, что ее с излишком доставало для меня и для Акры, а Магна сама, своими девственными руками, смачивала у ручья плат, который прилагала к моему больному плечу, стараясь унять в нем несносный жар от ушиба. При этом мы с ней вели отрадные для меня разговоры, и я наслаждался как чистотой ее сердца, так и ясным светом рассудка. Одно мне в ней было досадно, что она не снисходила ничьим слабостям и слишком на себя во всем полагалась.

— Отчего,— говорила она,— все не живут, как живет моя мать и мои подруги Таора, Фотина и Сильвия, которых вся жизнь чиста, как кристалл.

И я видел, что она их весьма уважала и во всем хотела им следовать. Несмотря на свою молодость, она и меня хотела исправить и оторвать от моей жизни, а когда я не решался ей этого обещать, то она сердилась.

Я же ей говорил то, что и есть в самом деле.

— Разве ты не знаешь,— говорил я,— что нужен сосуд в честь и нужен сосуд в поношение? Живи ты для чести, а я определен жить для поношения, и, как глина, я не спорю с моим горшечником. Жизнь меня заставила быть скоморохом, и я иду своею дорогой, как бык на веревке.

Магна не умела понять простых слов моих и все относила к привычке.

— Сказано мудрым,— отвечала она,— что привычка приходит как странник, остается как гость и потом сама становится хозяином. Деготь, побывав в чистой бочке, делает ее ни к чему больше не годною, как опять же для дегтя.

Нетрудно мне было понять, что она становится нетерпелива, и я в глазах ее теперь — все равно что дегтярная бочка, и я умолкал и сожалел, что не могу уйти скорей из оврага. Тяжело стало мне от ее самомнения, да и сама она стала заботиться, как меня вынуть из рва и доставить в мое жилище.

Сделать это было трудно, потому что сам я идти не мог, а девушка была слишком слаба, чтобы помочь мне в этом. Дома же она не смела признаться своим гордым родителям в том, что говорила с человеком моего презренного звания.

И как один проступок часто влечет человека к другому, так же случилось и здесь с достойною Магной. Для того чтобы помочь мне, презренному скомороху, который не стоил ее внимания по своему недостоинству, она нашла себя вынужденной довериться еще некоторому юноше, по имени Магистриану.

Магистриан был молодой живописец, который прекрасно расписывал стены роскошных домов. Он шел однажды с своими кистями к той же гетере Азелле, которая велела ему изобразить на стенах новой беседки в ее саду пир сатиров и нимф, и когда Магистриан проходил полем близ того места, где лежал я во рву, моя Акра узнала его и стала жалостно выть.

Магистриан остановился, но, подумав, что на дне рва, вероятно, лежит кто-нибудь убитый, хотел поскорей удалиться. Без сомнения, он и ушел бы, если бы наблюдавшая все это Магна его не остановила.

Магна увлеклась состраданьем ко мне, раскрыла густую зелень листвы и сказала:

— Прохожий! Не удаляйся, не оказав помощи ближнему. Здесь на дне рва лежит человек, который упал и расшибся. Я не могу пособить ему выйти, но ты сильный мужчина, и ты можешь оказать ему эту помощь.

Магистриан тотчас спустился в ров, осмотрел меня и побежал в город за носильщиками, чтобы перенести меня в мое жилище.

Вскоре он все это исполнил и, оставшись со мною наедине, стал меня спрашивать: как это со мною случилось, что я упал в ров и расшибся, и как я мог жить две недели без пищи?

А как мы с Магистрианом были давно знакомы и дружны, то я не хотел ему говорить что-нибудь выдуманное, а рассказал чистую правду, как было.

И едва я дошел до того, как питала меня Магна и как она своими руками смачивала в воде плат и прикладывала его к моему расшибленному плечу, юный Магистриан весь озарился в лице и воскликнул в восторге:

— О Памфалон! Сколь ты счастлив, и как мне завиден твой жребий! Я бы охотно позволил себе изломать мои руки и ноги, лишь бы видеть возле себя эту нимфу, эту великодушную Магну.

Я сейчас же уразумел, что сердце художника поразило сильное чувство, которое зовется любовью, и я поспешил его образумить.

— Ты малодушник,— сказал я.— Дочь Птоломея прекрасна, об этом ни слова, но здоровье для всякого человека есть самое высшее благо, а притом Птоломей так суров, а мать Магны, Альбина, так надменна, что если душа твоя чувствует пламень красот этой девушки, то из этого ничего для тебя хорошего выйти не может.

Магистриан побледнел и отвечал:

— Чему ж еще надобно выйти! Разве мне не довольно, что она меня вдохновляет.

И он ею продолжал вдохновляться.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Когда я оправился и пришел в первый вечер к Азелле, Магистриан повел меня показать картины, которые он написал на стенах в беседке гетеры. Обширное здание беседки было разделено на «часы», из которых слагается каждый день жизни человека. Всякое отделение назначалось к тому, чтобы приносить в свой час свои радости жизни. Вся беседка в целом была посвящена Сатурну, изображение которого и блестело под куполом. У главного круга было два крыла в честь Гор, дочерей Юпитера и Фемиды, а эти отделения еще разделялись: тут были покои Ауге, откуда виднелась заря; Анатоло, откуда был виден восход солнца; Музия, где можно было заниматься науками; Нимфея, где купались; Спондея, где обливались; Киприда, где вкушали удовольствия, и Элетия, где молились... И вот здесь-то, в одном отдаленном уголке, который назначался для уединенных мечтаний, живописец изобразил легкою кистью благочестивое сновидение... Нарисован был пир; нарядные и роскошные женщины, которых я всех мог бы назвать поименно. Это все были наши гетеры. Они возлежали с гостями, в цветах, за пышным столом, а некто юный спал, уткнувшись лицом в корзину с цветами. Лицо его не было видно, но я по его тоге узнал, что это был сам художник Магистриан. А над ним виднелася травля: львы в цирке неслися на юную девушку... а та твердо стояла и шептала молитвы. Она была Магна.

Я его потрепал по плечу и сказал:

— Хорошо!.. Ты ее написал очень схоже, но почему ты полагаешь, что ей звери не страшны? Я знаю их род: Птоломей и Альбина известны своим благородством и гордостию тоже, но ведь рок их щадил, и их дочери тоже до сих пор не касалось никакое испытание.

— Что же из этого?

— А то, что прекрасная Магна никаких бедствий жизни не знает, и я не понимаю, почему ты отметил в ней такую черту, как бесстрашие и стойкость перед яростью зверя? Если это иносказанье, то жизнь ведь гораздо страшнее всякого зверя и может заставить сробеть кого хочешь.

— *Только* не Магну!

— Ах, я думаю, *даже* и Магну!

Я говорил так для того, чтобы он излишне не увлекался Магной; но он перебил меня и прошептал мне:

— Меня звали делать ширмы для ее девственной спальни, и пока я чертил моим углем, я с ней говорил. Она меня спросила о тебе...

Живописец остановился.

— Она сожалеет, что ты занимаешься таким ремеслом, как скоморошество. Я ей сказал: «Госпожа! не всякий в своей жизни так счастлив, чтобы проводить жизнь свою по избранию. Неодолима судьба: она может заставить смертного напиться из самого мутного источника, где и пиявки и аспид на дне». Она пренебрежительно улыбнулась.

— Улыбнулась?..— спросил я.— Узнаю в этом дочь Птоломея и гордой Альбины. Мне, знаешь ли... мне больше понравилось бы, если бы она промолчала, а еще лучше — с состраданием тихо вздохнула б.

— Да,— произнес Магистриан,— но она также сказала: «Смерть лучше бесславия»,— и я верю, что она на это способна.

— Ты скоро судишь,— отвечал я,— смерть лучше бесславия — это неспорно, но может ли это сказать мать, у которой есть дети?

— Отчего же? Ты только вспомни, что сделала мать Маккавеев?

— Да. Маккавеев убили. А если бы матери их погрозили сделать детей такими скоморохами, как я, или обмывщиками ног в доме гетеры... Что? я думаю, если бы мать их была сама Магна,— то бог весть что бы она предпочла: позор или смерть за их избавление?

— Зачем говорить это! — воскликнул, отходя от меня, Магистриан,— пусть не коснется ее вовек никакое зло.

— О,— говорю я,— от всей души присоединяюсь к твоему желанию всего доброго Магне.

А на другой же день после этого разговора Магистриан пришел ко мне перед вечером очень печальный и говорит:

— Слышал ли ты, Памфалон, самую грустную новость? Птоломей и Альбина выдают дочь свою замуж!

— А почему ты называешь это грустною новостью? — отвечал я.— С каких это пор союз двух сердец стал печалью, а не радостью?

— Это было всегда, когда сердце соединяют с бессердечием.

— Магистриан! — остановил я живописца,— в тебе говорит беспокойное чувство, его зовут ревность. Ты должен его в себе уничтожить.

— О, я уже давно его уничтожил,— отвечал живописец.— Магна мне не невеста, и я ей не жених, но ужасно, что жених ее приезжий Руфин-византиец.

Это имя мне так было известно, что я вздрогнул и опустил из рук мое дело.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Руфин-византиец был из знатного рода и очень изящен собою, но страшно хитер и лицемер столь искусный, что его считали чрезмерным даже в самой Византии. Тщеславный коринфянин Ор и все, кто тратили деньги и силы на пирах у гетеры Азеллы, были, на мое рассуждение, лучше Руфина. Он прибыл в Дамаск с открытым посланием и был принят здесь Птоломеем отменно. Руфин, как притворщик, целые дни проводил во сне дома, а говорил, будто читает богословские книги, а ввечеру удалялся, еще для полезных бесед, за город, где у нас о ту пору жил близ Дамаска старый отшельник, стоя днем на скале, а ночью стеная в открытой могиле. Руфин ходил к нему, чтобы молиться, стоя в его тени при закате солнца, но отсюда крылатый Эол его заносил постоянно под кровлю Азеллы, всегда, впрочем, с лицом измененным, благодаря Магистрианову искусству. А потому мы хорошо его знали, ибо Магистриан, как друг мой, не делал от меня тайны, что он рисовал другое лицо на лице Руфина, и мы не раз вместе смеялись над этим византийским двуличьем. Знала об этом и гетера Азелла, так как гетеры, закрыв двери свои за гостями, часто беседуют с нами и, находя в нас, в простых людях, и разум и сердце, любят в нас то, чего не встречают порою в людях богатых и знатных.

Азелла же, надо сказать, любила моего живописца, и любила его безнадежно, потому что Магистриан думал об одной Магне, чистый образ которой был с ним неразлучно. Азелла чутким сердцем узнала всю эту тайну и тем нежней и изящней держала себя с Магистрианом. Когда я и Магистриан оставались в доме Азеллы, при восходе солнца она, проводив своих гостей, часто говорила нам, как она которого из них разумеет, и не скрывала от нас своего особенного презрения к Руфину. Она называла его гнусным притворщиком, способным обмануть всякого и сделать самую подлую низость, а Азелла всех хорошо понимала. Один раз после безумных трат коринфянина Ора она нам сказала:

— Это бедный павлин... Все его щиплют, и когда здесь бывает с ним вместе византиец Руфин, хорошо бы встряхивать Руфинову епанчу.

Это значило, что Руфин мог быть и вор... Азелла никогда не ошибалась, и я и Магистриан это знали.

Но Птоломей и Альбина глядели на византийца своими глазами, а добрая дочь их была покорна родительской воле, и жребий ее был совершен. Магна сделалась женою Руфина, который взял ее вместе с богатым приданым, данным ей Птоломеем, и увез в Византию.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Птоломей и Альбина были скоро наказаны роком. Лицемерный Руфин оказался и небогат, и не столь именит, как выдавал себя в Дамаске, а главное, он совсем не был честен и имел такие большие долги, что богатое приданое Магны все пошло на разделку с теснившими его заимодавцами. Скоро Магна очутилась в бедности, и приходили слухи, будто она терпит жестокую долю от мужа. Руфин заставлял ее снова выпрашивать серебро и золото у ее родителей, а когда она не хотела этого делать, он обращался с нею сурово. Все же, что присылали Магне ее родители, Руфин издерживал бесславно, совсем не думая об уменьшении долга и о двух детях, которые ему родились от Магны. Он, так же как многие знатные византийцы, имел в Византии еще и другую привязанность, в угоду которой обирал и унижал свою жену.

Это так огорчило гордого Птоломея, что он стал часто болеть и вскоре умер, оставя своей вдове только самые небольшие достатки. Альбина все повезла к дочери: она надеялась спасти ее и потеряла все свои деньги на дары приближенным епарха Валента, который сам был алчный сластолюбец и искал случая обладать красивою Магной. Кажется, он имел на это согласие самого Руфина. Говорили, будто Руфин даже понуждал свою жену отвечать на исканье Валента, заклиная ее согласиться на это для спасенья семейства, потому что иначе Валент угрожал отдать Руфина со всею семьею во власть его заимодавцев.

Альбина не вынесла этого и скоро переселилась в вечность, а Магна осталась с детьми в самой горестной бедности, но не предалась развращенным исканьям Валента. Тогда гневный вельможа Валент распорядился отдать всех их во власть заимодавцев.

Заимодавцы посадили Руфина в тюрьму, а детей его и бедную Магну взяли в рабство. А чтобы сделать это рабство еще тяжелее, они разлучили Магну с детьми и малюток ее отослали в село к скопцу-селянину, а ее отдали содержателю бесчестного дома, который обязался платить им за нее в каждые сутки по три златницы.

Напрасно вопияла ко всем бедная Магна и у всех искала защиты. Ей отвечали: над нами над всеми закон. Закон наш охраняет многоимущих. Они всех сильней в государстве. Если бы был теперь на своем месте наш прежний правитель Ермий, то он, как человек справедливый и милосердный, может быть, вступился бы и не допустил бы этого, но он очудачел: оставил свет, чтобы думать только об одной своей душе. Жестокий старик! Пусть небо простит ему его отшельничье самолюбие.

Произнеся эти слова, скоморох заметил, что сидевший возле него пустынник вздрогнул и схватил Памфалона за руку. Памфалон спросил его:

— Что, ты о них сожалеешь, что ли?

— Да, я сожалею... сожалею... И о них и о себе сожалею,— отвечал Ермий.— Продолжай твою повесть.

Памфалон стал продолжать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Содержатель бесчестного дома, чтобы избежать неприятного шума в столице и надежнее взять свои деньги, не стал держать Магну в Византии, а отправил ее в Дамаск, где ее все знали как самую благородную и недоступную женщину, а потому, без сомнения, теперь все устремятся обладать ею.

Магну, как рабыню, стерегли зорко, и у нее были отняты все средства бежать. Она не могла и лишить себя жизни, да она о самоубийстве и не помышляла, потому что она была мать и стремилась найти и спасти своих детей от скопца из неволи.

Так она под караулом и в закрытости была привезена в Дамаск, и на другой день, то есть именно в тот день, когда я скрывался, лежа на моем золоте, огласилось, что продающий Магну содержит ее у себя за плату по пяти златниц за каждые сутки. Получить ее может всякий, кто заплатит златницы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Тот, кто взялся выручать за Магну златницы, конечно, не медлил, чтобы собирать их с хорошим прибытком, и для того разослал зазывальщицу по всем богатым людям Дамаска, чтобы оповестить им, каким он роскошным владеет товаром.

Развращенные люди кинулись в дом продавца, и Магна весь день едва лишь спасалась слезами. Но к вечеру продавец стал угрожать снестись с тем, кто взял ее детей, чтобы их оскопить, и она решилась ему покориться... И после этого силы ее оставили, и она крепко заснула и увидела сон: к ней кто-то тихо вошел и сказал ей: «Радуйся, Магна! ты сегодня обрела то одно, чего тебе во всю твою жизнь недоставало. Ты была чиста, но гордилась своей непорочностью, как твоя мать; ты осуждала других падших женщин, не внимая, чем они доведены были до падения. Это было ужасно, и вот теперь, когда ты сама готова пасть и знаешь, как это тяжко, теперь твоя противная богу гордость сокрушилась, и теперь бог сохранит тебя чистой».

И в это же самое время в дом, где заключалась Магна, постучался один застенчивый гость, который закрывал лицо свое простой епанчою, и, тихо позвав хозяина, сказал ему шепотом:

— Ах, я очень стыдлив, но умираю от страсти. Скорее введи меня к Магне — даю тебе десять златниц.

Продавец был рад, но, прежде чем ввести незнакомца к Магне, сказал ему:

— Я должен сказать тебе, господин, что эта женщина из знатного рода, и она стоит мне по кабале больших денег, которых я через нее не выручил, потому что она умела разжалобить всех, кого я вводил к ней. Не мое будет дело, если ты станешь слушать ее слова и тебя размягчат ее речи. Я свое золото должен иметь, потому что я человек бедный и взял ее за дорогую цену.

— Не беспокойся,— отвечал, продолжая скрывать лицо, незнакомец,— вот получи свои десять златниц, а я не таковский: я знаю, что значат женские слезы.

Продавец взял у него десять златниц и дернул шнур, который опрокинул медную чашу, содержавшую медный же шар. Шар покатился по холщовому желобу и, докатившись до шатрового отделения Магны, звонко упал в медный таз, стоявший у изголовья ее постели. После чего продавец сейчас же повел гостя к Магне.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Незнакомец вошел в отдаленный покой, накуренный пистиком и амброй, и увидал здесь при цветочном фонаре лежащую Магну. Ее не разбудил удар в таз, потому что как раз в это время ей снился тот сон, где открывалось, что надменная сила ее отлетела и теперь она спасена за признание своей немощи.

Продавец упрекнул Магну, что она не слыхала удара шара по тазу, и, указав ей на незнакомца, сказал грубо:

— Не притворяйся, будто не слышишь, что к тебе пущен шар! Вот кому я уступил всякую власть над тобою до утра. Будь умна и покорна. А если ты еще заставишь меня терпеть убытки, я передам тебя туда, где к тебе будут входить суровые воины, и от тех ты уже не дождешься пощады.

И, сказав это, продавец взял шар и вышел, а гость затворил за ним и, оборотясь, тихо молвил Магне:

— Не бойся, злополучная Магна, я пришел, чтобы спасти тебя.— И он сбросил свой плащ.

Магна узнала Магистриана и зарыдала.

— Оставь слезы, прекрасная Магна. Теперь не время, чтоб лить их и отчаиваться. Успокойся и верь, что если небо спасало тебя до сего часа, то теперь твое избавление уже несомненно, если ты только согласна сама помогать мне, чтобы я мог тебя выручить и возвратить тебя детям и мужу.

— Согласна ли я! — воскликнула Магна.— О, добрый юноша, разве в этом возможно сомненье!

— Так поспеши же скорее делать, что я тебе скажу: теперь я отвернусь от тебя — и давай как можно скорее переменимся платьем.

И вот Магна надела на себя тунику, и епанчу, и все, что имел на себе мужское Магистриан, а он сказал ей:

— Не медли, спасайся! закрой епанчой твое лицо точно так, как вошел сюда я, и смело иди из этого дома! Твой презренный хозяин сам тебя выведет за свои проклятые двери.

Магна так и сделала и благополучно вышла, но тотчас же, выйдя, стала сокрушаться: куда ей бежать, где скрыться, и что будет с бедным юношей, когда завтра обман их откроют? Магистриан подвергнется истязаньям, как разрушитель заимодавного права; он, конечно, не имеет столько, чтобы заплатить весь долг, за который отдана в кабалу Магна, и его навеки посадят в тюрьму

и будут его мучить, а она все равно не может явиться к своим детям, потому что ей нечем выкупить их из кабалы.

И вот тут этой женщине пришла в голову мысль, которая навсегда лишила меня возможности исправить мой путь и вести вперед добропорядочную жизнь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Когда Магна открыла мне свои бедствия и рассказала об опасности, которой подвергался за нее Магистриан, передо мною точно разверзлась бездна. Я знал, что у Магистриана не могло быть десяти литр золота, которые взнес он за Магну и которые все равно не могли избавить ее от ее унижения, ибо не составляли цены всей ее кабалы и ничего не оставляли на выкуп ее детей от скопца в Византии. Но где, однако, Магистриан мог взять и эти златницы? Он работал в доме Азеллы, где всегда был ларец с сокровищами этой без ума влюбленной в него гетеры... И ужас объял мою душу... Я подумал: что если любовь к бедной Магне довела его до безумия, и он похитил ларец, и имя Магистриана отныне бесчестно: *он вор*!

А бедная Магна, продолжая оглашать воздух стонами, возвратилась опять к тем же словам, с которых начала, когда неожиданно вошла в мое жилище.

— Памфалон! — вопияла она,— я слышала, что ты разбогател, что какой-то гордый коринфянин дал тебе несметные деньги. Я пришла продать себя тебе, возьми меня к себе в рабыни, но дай мне денег, чтоб выкупить из неволи моих детей и спасти погибающего за меня Магистриана.

Отшельник! Ты отжил жизнь в пустыне, и тебе, быть может, непонятно, какое я чувствовал горе, слушая, что отчаяние говорит устами этой женщины, которую я знал столь чистой и гордой своею непорочностию! Ты уже взял верх над всеми страстями, и они не могут поколебать тебя, но я всегда был слаб сердцем, и при виде таких страшных бедствий другого человека я промотался... я опять легкомысленно позабыл о спасении своей души.

Я зарыдал и сквозь рыдания молвил:

— Ради милости божией умолкни, несчастная Магна! Сердце мое не может этого вынесть! Я простой человек, я скоморох, я провожу мою жизнь среди гетер, празднолюбцев и мотов, я дегтярная бочка, но я не куплю себе того, что ты предлагаешь мне в безумье от горя.

Но Магна так ужасно страдала, что не поняла меня вовсе.

— Ты отвергаешь меня! — воскликнула она с ужасом.— О, я несчастная! Где мне взять золота, чтобы избавить от изуродования моих детей? — И она заломила над головою руки и упала на землю.

Это исполнило меня еще большего ужаса... Я задрожал, увидя, как ее унизило горе до того, что она, уже словно счастья, искала, чтобы кто-нибудь купил у нее ее ласки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Я поспешил ее утешить.

— Нет,— закричал я,— это вовсе не то, что будто я тебя отвергаю. Я тебе друг и докажу тебе это моею готовностью помочь твоему горю. Только не говори более, для чего ты пришла сюда. Разрушь скорей это плетение волос, через которое ты стала походить на гетеру; смой с своих плеч чистой водою этот аромат благовонного нарда, которым их покрыли люди, желавшие твоего позора, а потом скажи мне: сколько именно должен муж твой.

Она вздохнула и тихо промолвила:

— Десять тысяч златниц.

Я видел, что ее обманули: богатство, которое бросил мне расточительный Ор, было ничтожно для того, чтобы заплатить долг ее и выкупить детей.

Магна молча встала и, подняв рукою сброшенную епанчу Магистриана, хотела снова покрыть свою голову.

Я догадался, что она хочет уйти от меня с нехорошею целию, и воскликнул:

— Ты хочешь уйти, госпожа Магна?

— Да, я возвращусь снова туда, откуда пришла.

— Ты хочешь освободить Магистриана!

Она только молча кивнула головой в знак согласья.

Я ее остановил насильно.

— Не делай этого,— сказал я.— Это будет напрасно. Магистриан так благороден и так тебе предан, что он оттуда не выйдет, а ты своим возвращением только увеличишь смятенье. У меня всего есть двести тридцать златниц... Это все, что я получил от коринфянина Ора. Если думают, что у меня есть более, то это или сочинила молва, или нахвастал сам Ор пустохвальный. Но все двести тридцать златниц ты должна считать за свои. Не возражай

мне, госпожа Магна, не возражай мне против этого ни одного слова! Это золото твое, но надо достать еще много, что бы составило долг твоего мужа. Я не знаю, где больше взять, но ночь пока еще только вначале... Магистриан до утра безопасен. Твой продавец уверен, что вы теперь слилися в объятьях. Ты оставайся у меня и будь спокойна. Моя Акра до тебя никого без меня не допустит, а я сейчас извещу о твоем несчастье твоих именитых подруг: Таору, Фотину и Сильвию-деву, благочестье которой известно Дамаску... Их слуги все меня знают и за дары меня пустят к своим госпожам. Они богаты и целомудренны, и они не пожалеют золота, и дети твои будут выкуплены.

Но Магна живо меня перебила:

— Не тревожь, Памфалон, ни Таоры, ни Фотины, ни девственной Сильвии — все они ничего для твоей просьбы не сделают.

— Ты ошибаешься,— возразил я.— Таора, Сильвия и Фотина — благочестивые женщины, они преследуют всякий разврат, и по их слову у нас уже выслали многих гетер из Дамаска.

— Это ничего не значит,— отвечала Магна и открыла мне, что, прежде чем бедствия ее семейства достигли до нынешней меры, она уже обращалась с просьбою к названным мною высоким гражданкам, но что все они оставили ее просьбы втуне.

— А как теперь,— прибавила она,— ко всему этому присоединился еще позор, до которого дошла я, то всякие просьбы к ним им будут даже обидны. Я сама была такова ж, как они, и знаю, что не от них может прийти избавление падшей.

— Ну, все равно, жди у меня, что нам пошлет милосердное небо,— сказал я и, погасив лампу, запер вход в мое жилище, в котором Магна осталась под защитою Акры, а я во всю силу бегом понесся по темным проходам Дамаска.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Я не послушался Магны и проник, с помощию слуг, к Таоре, Сильвии и к Фотине... И стыжуся вспоминать, что я от них слышал... Магна была права во всем, что мне о них говорила. Слова мои только приводили в пламенный гнев этих женщин, и я был изгоняем за то, что смел приходить в их дома с такою просьбой... Две из них, Таора

и Фотина, велели прогнать меня с одним только напоминанием, что я стоил бы хороших ударов, но Сильвия-дева, та повелела бить меня перед ее лицом, и слуги ее били меня медным прутом до того, что я вышел от нее с окровавленным телом и с запекшимся горлом. Так, томимый жаждою, вбежал я на кухню гетеры Азеллы, чтобы попросить глоток воды с вином и идти далее. А куда идти — я сам не знал этого.

Но тут, едва я явился, под крытым переходом меня встретила наперсница гетеры, белокурая Ада. Она как будто нарочно шла с кувшином прохладительного напитка, и я сказал ей:

— Будь милосердна, прекрасная Ада, освежи уста мои — я умираю от жажды.

Она улыбнулась и молвила с шуткой:

— Тебе ли теперь умирать, *господин* Памфалон, ты больше не беден и можешь иметь рабов, которые станут прохлаждать для тебя воду.

А я ей ответил:

— Нет, Ада, я, слава богу, опять уже не богат,— я опять так же беден, как прежде, и вдобавок... должен признаться,— я сильно изранен.

Она мне нагнула сосуд, а я припал к питью, и в то время, когда я пил, а Ада стояла, склонившись ко мне, она заметила на моих плечах кровь, которая сочилась из рубцов, нанесенных мне медным прутом пред лицом девственной Сильвии. Кровь проступала сквозь тонкую тунику, и Ада в испуге вскричала:

— О несчастный! Ты взаправду в крови! На тебя, верно, напали ночные воры!.. О несчастный! Хорошо, что ты спасся от них под нашею кровлей. Останься здесь и подожди меня немного: я сейчас отнесу это охлажденное питье гостям и вмиг возвращусь, чтоб обмыть твои раны...

— Хорошо,— сказал я,— я тебя подожду.

А она добавила:

— Может быть, ты хочешь, чтоб я шепнула об этом Азелле? У нее теперь пирует с друзьями градоправитель Дамаска: он пошлет отыскать тех, кто тебя обидел.

— Нет,— отвечал я,— это не нужно. Принеси мне только воды и какую-нибудь чистую тунику.

Надев чистую одежду, я хотел идти к бывшему монаху Аммуну, который занимался всякими делами, и закабалить ему себя на целую жизнь, лишь бы взять сразу деньги и отдать их на выкуп от скопца детей Магны.

Ада скоро возвратилась и принесла все, что мне было нужно.

Но она также сказала обо мне и своей госпоже, а это повело к тому, что едва Ада обтерла прохладною губкою мои раны и покрыла мои плечи принесенною ею льняной туникой, как в переходе, где я лежал на полу, прислонясь боком к дереву, показалась в роскошном убранстве Азелла.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Азелла вся была в золоте и в перлах, из которых один стоил огромной цены. Этот редкостный перл был подарен ей большим богачом из Египта.

Азелла подошла с участьем ко мне и заставила меня рассказать ей все, что со мною случилось. Я ей стал рассказывать вкратце и когда дошел до бедствия Магны, то заметил, что глаза Азеллы стали серьезны, а Ада начала глядеть вдаль, и по лицу ее тоже заструились слезы.

Тогда я подумал: вот теперь время, чтобы открыть Магистрианову тайну, и вдруг неожиданно молвил:

— Азелла, это ли все драгоценности, которые ты имеешь?

— Нет, это не все,— отвечала Азелла.— Но какое тебе до этого дело?

— Мне большое есть дело, и я тебя умоляю: скажи мне, где ты их сохраняешь и все ли они целы?

— Я храню их в драгоценном ларце, и все они целы.

— О, радость! — вскричал я, позабыв всю мою боль.— Все цело! Но где ж взял десять литр золота Магистриан?!

— Магистриан?!

— Да.

И когда я стал рассказывать, что сделал Магистриан, Азелла стала шептать:

— Вот кто истинно любит! Моя Ада видела, как он вышел из дома Аммуна... Я все понимаю: он продал Аммуну себя в кабалу, чтобы выпустить Магну!

И гетера Азелла начала тихо рыдать и обирать с своих рук золотые запястья, ожерелья и огромный перл из Египта и сказала:

— Возьми все это, возьми и беги, как можно скорее возьми от скопца детей бедной Магны, пока он их не изуродовал!

Я так и сделал: я соединил все мои деньги, которые дал мне Ор коринфянин, с тем, что получил от гетеры, и от-

правил с ними Магну выкупить из неволи ее мужа и двух сыновей. И все это совершилось успешно, но зато исправление жизни моей и с ней вся надежда моя на блаженную вечность навсегда разлетелись. Так я теперь и остаюсь скоморохом — я, смехотвор, я, беспутник,— я скачу, я играю, я бью в накры, свищу, перебираю ногами и трясу головой. Словом: я бочка, я дегтярная бочка, я негодная дрянь, которую ничем уже не исправишь. Вот тебе и весь сказ мой, отшельник, о том, как я утратил улучшение жизни и как нарушил обет, данный богу.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Ермий встал, протянул руку к своей козьей милоти и молвил скомороху:

— Ты меня успокоил.

— Полно шутить!

— Ты дал мне радость.

— В чем она?

— Вечность впусте не будет.

— Конечно!

— А почему?

— Не знаю.

— Потому, что перейдут в нее путем милосердия много из тех, кого свет презирает и о которых и я, гордый отшельник, забыл, залюбовавшись собою. Иди к себе в дом, Памфалон, и делай, что делал, а я пойду дальше.

Они поклонились друг другу и разошлись. Ермий пришел в свою пустыню и удивился, увидав в той расщелине, где он стоял, гнездо воронов. Жители деревни говорили ему, что они отпугивали этих птиц, но они не оставляют скалы.

— Это так и должно быть,— ответил им Ермий.— Не мешайте им вить свои гнезда. Птицы должны жить в скале, а человек должен служить человеку. У вас много забот; я хочу помогать вам. Хил я, но стану делать по силам. Доверьте мне ваших коз, я буду их выгонять и пасти, а когда возвращусь с стадом, вы дайте мне тогда хлеба и сыра.

Жители согласились, и Ермий начал гонять козье стадо и учить на свободе детей поселян. А когда все село засыпало, он выходил, садился на холм и обращал свои глаза в сторону Дамаска, где он узнал Памфалона. Старец теперь любил думать о добром Памфалоне, и всякий раз,

когда Ермий переносился мыслью в Дамаск, мнилось ему, что он будто видит, как скоморох бежит по улицам с своей Акрой и на лбу у него медный венец, но с этим венцом заводилося чудное дело: день ото дня этот венец все становился ярче и ярче, и, наконец, в одну ночь он так засиял, что у Ермия не хватило силы смотреть на него. Старик в изумлении закрыл даже рукою глаза, но блеск проникает отовсюду. И сквозь опущенные веки Ермий видит, что скоморох не только сияет, но воздымается вверх все выше и выше — взлетает от земли на воздух и несется прямо к пылающей алой заре.

Куда он несется! Он испепелится, он там сгорит. Ермий рванулся за Памфалоном, чтобы удержать его или чтобы по крайней мере с ним не расстаться, но в жарком рассвете зари между ними вдруг стала преграда... Это как бы частокол или решетка, в которой каждая жердь одна с другою не схожи. Ермий видит, что это какие-то знаки,— во весь небосклон большими еврейскими литерами словно углем и сажей напачкано слово «самомненье».

«Тут мой предел!» — подумал Ермий и остановился, но Памфалон взял свою скоморошью епанчу, махнул ею и враз стер это слово на всем огромном пространстве, и Ермий тотчас увидал себя в несказанном свете и почувствовал, что он летит на высоте, держась рука за руку с Памфалоном, и оба беседуют.

— Как ты мог стереть грех моей жизни? — спросил Памфалона на полете Ермий.

А Памфалон ему отвечал:

— Я не знаю, как я это сделал: я только видел, что ты затруднялся, а я захотел тебе пособить, как умел. Я всегда все так делал, пока был на земле, и с этим иду я теперь в другую обитель.

Дальнейших речей их не слышал уже списатель сказанья. Прохладное облако густою тенью застлало дальнейший их след от земли, и с румяною зарею заката вместе слились их отшедшие души.



КУМ ИВАН

ИСТОРИЧЕСКАЯ БЫЛЬ
1485 Г.

I

НЕИЗВЕСТНЫЙ ПУТНИК

Был прекрасный, яркий зимний день, какие бывают на Руси в конце января или в начале февраля. Лучи на этот раз холодного солнца искрились иридиевыми блестками в морозной, кристаллизованной пыли. Северный ветерок, тихий, но режущий, переметал через дорогу белые струйки сухих снежинок-позёмки.

Солнце, однако, клонилось уже к закату и еще ярче, казалось, сверкало на золотых маковках и крестах московских церквей и башен Кремля.

В это время из Серпуховских ворот вышел высокий и плечистый мужик в меховой шапке-треухе, в дубленом тулупе и белых, подбитых кожею, валенках на ногах. Большая рыжая борода его и усы, несколько подрезанные вдоль верхней губы, серебрились морозным инеем. Опираясь на длинный посох, рыжий мужик шел ровною, бодрою поступью, не глядя по сторонам, хотя серые, живые и, по-видимому, хитрые глаза как будто что́ исподтишка высматривали.

То, что в настоящее время давно составляет городские заречные части Москвы, тогда, четыреста лет назад, представляло разбросанные подгородние поселки и деревни, отделявшиеся от города полями, а частью садами и огородами. В один из таких поселков, по-видимому, и направлялся рыжий мужик.

Но едва наш путник отошел от города на такое расстояние, которое скорее приближало его к поселку, чем к городу, как снег-позёмка стал срываться с земли порывистее и крутиться вихрем, а до того яркое солнце заволокло скоро не то этими крутимыми ветром позёмками, не то густыми снеговыми тучами. Скоро оказалось, что действительно повалил снег, который, будучи гоним ветром и крутясь вместе с позёмкою, начал хлестать в лицо, в глаза и наметать сугробы. Начиналась пурга, буран. Это тот обыкновенный, причудливый и опасный каприз нашей суровой зимы, который даже привычного к своей родной вьюге мужика застает врасплох, как знойный хамсин араба в пустыне: буран останавливает и заметает обозы в поле; заставляет мужика, выехавшего в лес за дровами или в ближний луг к своему стогу сена,—ночевать или под этим стогом в снежном сугробе, или у своей же околицы, а то и замерзать у этой околицы; он застает баб с бельем на речке, и ослепляемые «понизухою» — понизовою метелью и вьюгою порывисто мчащихся с ветром снеговых туч, бабы едва-едва попадают ко дворам. Это тот каприз зимы, когда, в самый разгар вьюги, в селах начинают звонить в колокола, точно на пожар, чтобы погибающие в поле путники могли идти на звон, подобно тому, как погибающие на море в бурю корабли могли бы держать путь на огонь спасительного маяка.

— Свят-свят-свят! — невольно остановился наш путник и, перекрестясь, стал оглядываться.— Вот в недобрый час вышел.

Он поворотился лицом туда, где должна была находиться Москва. Но с той стороны именно и неслась снежная буря, бросая в лицо и в глаза снег комьями.

— Батюшки светы! ин к Москве мне не попасть. А Котлы, кажись, не далече — пойду в Котлы.

И он, распустив треух малахая и надвинув его на самые глаза, бодро зашагал вперед.

Буря гнала его в спину, а впереди снежные облака застилали и даль, и близь, наметая сугробы и отнимая у путника последний след дороги.

— Господи! что ж это такое? да туда ли я, полно, иду?

Сугробы попадались все чаще и чаще. Ноги вязли в снегу по колена; идти было все труднее и труднее. Сумерки надвинулись так быстро, что в каких-нибудь полчаса на землю налегла непроглядная тьма.

Путник остановился.

— Боже всесильный! спаси от наглыя смерти,— шептал он растерянно,— пощади не ради меня окаянного, а ради народа твоего, православного крестьянства. Где я?

Как бы в ответ на его отчаянную мольбу, где-то вправо послышался заглушаемый бурею слабый крик петуха.

— Петел возгласи, господи! — перекрестился он,— не знамение ли сие, аки Петру апостолу? Полно, петух ли это? не почудилось ли мне то в вое ветра?

Он тревожно прислушался. Теперь он явственно услыхал то, к чему жадно прислушивался; но ему от этого еще страшнее стало: петух прокричал теперь не с правой стороны, а где-то далеко влево.

— Куда идти? Силы небесные!

Но оставаться было невозможно: снег заносил его, наметая кругом все большие и большие сугробы; от трудной ходьбы и внутреннего волнения он чувствовал страшную усталость и пот градом катился из-под малахая.

— Пойду вправо, правым путем... А правым ли путем шел я доселе? — мелькнуло вдруг в его смущенной мысли.— Господи! пощади окаянного: с сего часу буду идти всю жизнь правым путем — Твоим путем, господи!

Он еще раз перекрестился и взял вправо, по тому направлению, откуда в первый раз донесся до него голос петуха. Но потому ли, что ветер переменился, или он круто сбился с пути, но только теперь порывами бури снег несло ему не в затылок, а прямо в лицо. Ноги его постоянно вязли в сугробах, а когда он выбирался из сугроба, то попадал или в рытвину, или на кочки. Под ним подкашивались ноги, звенело в ушах. Ему чудилось, что он слышит отдаленный звон почтового колокольчика.

— Да, да, колоколец... Сказывают, что бесовская свадьба... Свят-свят-свят! с нами крестная сила.

И он со страхом прижимал руку к груди, где под тулупом нащупывал тельный крест свой, с которым не расставался всю жизнь.

Но вот ему показалось, что невдалеке блеснул огонек, но как-то странно, точно он двигался и мигал.

— Не волк ли светит очами? Час от часу не легче.

Он наткнулся на что-то вроде загородки и ощупал.

— Плетень, точно — жилье, должно, недалеко.

Он пошел вдоль плетня. Впереди опять мелькнул огонек, и уже гораздо явственнее.

— Слава тебе, боже всесильный! не оставил меня.

Но около плетня нельзя было идти дальше — сугробы

намело непроходимые. Он повернул в сторону. Путеводный огонек исчез.

Путник собрал последние силы и с решимостью отчаяния двинулся вперед. В глазах у него темнело, ноги дрожали и заплетались, звон в ушах все усиливался и усиливался.

— Изба! — прошептал он не то радостно, не то испуганно.

Из-за неплотно прикрытой ставни светился огонек. Прохожий подошел к окну.

— Господи Иисусе Христе, Сыне божий, помилуй нас! — постучал он палкою в ставню.

Но обычного ответа «аминь» из избы не последовало.

Он снова постучал.

— Господи Иисусе...

— Кто там шляется в эку непогодь по ночам? — раздался со двора сердитый голос.

— Прохожий заплутался,— был ответ,— пусти, человече, переночевать.

— Коли прохожий, так и проходи,— снова отвечали сердито: — у меня не съезжий двор.

— Я Христом богом прошу: не дай погибнуть душе православной.

— То-то — погибнуть! Кто тебя знает: может, сам души губишь! Иди себе, ищи местов у других.

Прохожий поднял было палку, но рука его моментально остановилась в воздухе; только в глазах, на которые упала полоса света из окна, блеснул зловещий огонь.

— Га! души гублю... Может, и вправду,— прошептал прохожий, отступая от окна,— может, за это и наглую смерть посылает мне господь... О-о!

Он зашагал дальше, бормоча как бы в забытьи: «Помни это, Иванушка, помни: сам, может, души губишь... Ох, много, много погубил — сам знаю мое окаянство...»

Вдруг нога его споткнулась обо что-то. Он нагнулся. Это была небольшая дверца калитки, сорванная ветром. Прохожий вошел в калитку. Вправо, в маленьком подслеповатом окошечке, затянутом пузырем вместо стекла, мигал огонек, вероятно, от лучины.

Прохожий и тут постучался. На обычное обращение «Господи Иисусе» из избушки последовал ответ «аминь».

Скоро сенная дверка скрипнула, и кто-то вышел из избушки.

— Кого бог принес? — послышался оклик.

— Прохожий, кормилец... Непогодь загнала, с пути сбился, думал в поле замерзать... Пусти, родимый, на ночь: не дай погибнуть душе крестьянской.

— Что ты, что ты, отец родной! — отвечал приветливый голос,— али на мне креста нету? Ноли я сам не вижу, что в поле теперь смерть в очи глядит? Взойди ко мне, переночуй. Только — сказать ли тебе, отец родной? — у меня в избе-ту не ладно...

— Чем не ладно?

— Да как тебе сказать? Жена-ту моя опростаться собралась.

— Как? умирает? — участливо спросил прохожий.

— Нету, где умирать! — рожать собралась; не даст она тебе всю ночь спокою.

— Ничего, милый человек; под забором-то хуже замерзнуть.

— И то, и то. Ну, ин иди с богом, переночуй.

II

«НЕ АНГЕЛ ЛИ ЭТО?»

Добрый мужичок ввел прохожего в маленькие сенцы. Так как нежданный гость был мужик рослый, то он должен был согнуться, чтобы войти в низенькую дверь.

— Постой, милый человек, дай мне отряхнуться малость,— сказал гость,— вот что на мне снегу, как бы избу твою не выстудить.

— Отряхнись, отец, отряхнись.

Скоро и хозяин, и гость вошли в избу. Избенка была бедненькая, тесная. Закоптелые стены в иных местах завалились. У печи, над лоханью, трещала лучина. В избе не было никого, только из печурки выглядывала белая кошечка и усердно умывалась лапкой.

— И вправду, милая, к гостям умывается,— улыбнулся мужичок-хозяин.

Гость вошел, отыскал глазами в переднем углу закоптелый деревянный образок и набожно три раза перекрестился.

— Мир дому сему,— сказал он, кланяясь хозяину и кладя малахай на лавку.

Тот, в свою очередь, поклонился.

Гость с помощью хозяина распоясался, снял тулуп и остался в суконном кафтане.

— За кого же я должен молиться? — ласково обратил-

ся он к хозяину, вытирая цветной ширинкой мокрое лицо и бороду.— Как зовут тебя, милый человек?

— Киткой меня дразнют, отец родной,— сказал, улыбаясь, хозяин,— Киткой Голодранцем: Китом меня поп окрестил; вот я и Китка; а Голодранец — по шерсти кличка; видишь, отец, голо.

И он, по-прежнему добродушно улыбаясь, развел руками, показывая, что не красна его изба ни углами, ни пирогами. Сам он был маленький, тщедушный, с редкой бороденкой и белыми как кипень зубами; но в маленьком лице было столько добродушия и честной прямоты, что оно сразу располагало к нему всякого.

— Видишь, отец,— пояснил он,— не красна изба ни углами, ни пирогами, а и всей скотинки-ту у меня — одна кошечка.

И он погладил кошечку, которая вылезла из печурки и терлась у ног гостя, грациозно выгибая свою пушистую спинку, а потом вскоре перебралась к нему на колени.

Гость уже сидел на лавке, опершись локтем о стол, и видимо отдыхал. Выразительные глаза его были задумчивы и грустны. Он машинально гладил кошечку и что-то, по-видимому, соображал; в глазах светился не то укор, не то смущение.

Вдруг послышался слабый стон.

— Что это? — встрепенулся гость.

— Это, отец, баба моя на печке,— смущенно заговорил хозяин,— я сказывал тебе.

— Знаю, знаю. Вот что, Тит,— а как по отчеству?

— Захаров был.

— Вот что, Тит Захарыч,— сказал гость, вставая,— уж коли ты не дал мне замерзнуть под забором, так буду я тебе кумом — крестным отцом младенца, которого ныне вам бог посылает.

Тит радостно заволновался.

— Ах, отец родной! век за тебя будем бога молить: вить ко мне, к нищему, никто в кумовья не пойдет; а вот тебя бог послал, вестимо. Он сам батюшка. Вон и куму-то даве насилу выплакала моя Орина у суседа, в ногах валялась: шибко норовист богатый соседушко.

— А кто такой? — спросил гость.

— Да Илья Щекин.

— Это тот, что̀ изба тут большая?

— Он и есть; богатей на всю губу.

— Точно? А меня вза̀шей прогнал из-под окошка,

когда я просился к нему ночевать. Не постучись я к тебе, пришлось бы замерзать под забором.

— Оо-хо-хо! — вздохнул Тит,— до чего богачество доводит — бога богатые забывают.

При этих словах гость как-то особенно странно взглянул на хозяина: взгляд этот говорил что-то, допрашивал, казалось, о чем-то, ждал ответа; но простоватый Китка ничего не понял, и ему как будто чего-то страшно стало.

Он нерешительно глянул в глаза незнакомцу. Никогда не видал он таких глаз. Ему казалось, что, если такими глазами глянуть на печь — печь развалится, на дерево — дерево усохнет. А между тем в глазах светилось что-то доброе, ласковое. И он с суеверным страхом стал молиться в душе; но этот страх был особенный. Ему почему-то тут же припомнились слова батюшки, отца Нифонта: «Странного примешь — ангела примешь, а то и самого Христа». А может, и в самом деле ему бог ангела послал. Так нет: он видел в церкви ангелов на образах — все молоденькие, «вроде как бы девушек, а то и махоньких робяток с крылышками». А этот — здоровый мужик да и борода рыжая — большая. Зато руки незнакомца поразили Китку: таких рук, как и глаз, он никогда не видывал.

На печке повторился стон.

— Китушка, родной, беги за баушкой: час мой настал.

Тит заметался по избе, отыскивая шапку.

— Не осуди, отец родной,— робко обратился он к пришельцу,— я побегу.

— Беги, беги, милый человек.

— А как же ты не поужинамши?

— Я не голоден, милый человек, я только устал; лягу на лавку, укроюсь тулупом, усну себе, а тем временем бог подарит меня крестником, не хочу крестницы!

Хозяин ушел, а гость, оставшись один, опустился на колени и стал горячо, со слезами на глазах, молиться. Долго он молился, долго шептал молитвы, а потом, улегшись на лавку и укрывшись с головой тулупом, скоро заснул крепким сном.

III

НЕОЖИДАННОЕ КУМОВСТВО

Зимнее яркое утреннее солнце сквозь прозрачный пузырь заглядывало уже в бедную избушку Тита, когда незнакомец, спавший на лавке, проснулся. Он сбросил с себя тулуп, торопливо поднялся и перекрестился. Глаза

его изумленно оглядели ветхую избушку и, казалось, говорили: «Где я? что со мной?»

Но скоро взгляд незнакомца засветился радостью. Белая кошечка уже терлась около его ног.

— А! Тит Захарыч, здравствуй! — весело сказал он.

— Здравия желаю, кормилец, как почивал? — засуетился хозяин.

— Отменно, милый человек, давно так не спал.

Послышался крик новорожденного.

— А! кого бог дал? — улыбнулся незнакомец.

— Сына, отец родной.

— Я так и знал — не люблю девчонок. А когда же крестины? Мне надо спешить в Москву — дело есть.

— Как прикажешь, отец родной, хоть сейчас.

— Добро! а мне ждать некогда.

Тит опрометью бросился звать батюшку и куму. Незнакомец остался один в избе, да на печи, слышно, роженица возилась с ребенком.

Странная улыбка играла на выразительном, несколько суровом лице незнакомца. Он так задумался, сидя у стола и подперев ладонью голову, что и не заметил сразу, как хозяин тихо вошел в избу в сопровождении какой-то бабы.

— А! это ты, Тит Захарыч.

— Я, отец, а вот и кума.

— Жена соседа, что вчера...

Незнакомец не договорил. В дверях показался священник. Это был старенький попик с кроткими голубыми глазами и благообразным лицом.

Незнакомец при входе встал и подошел под благословение.

— Благослови, отче.

Священник глянул на незнакомца, и какая-то внезапная мысль поразила его. Он где-то видел это лицо. Как молния, память перенесла его в Москву, в Архангельский собор. Там он видел это лицо, но в какой-то другой обстановке. Казалось, он видел его там в каком-то сиянии, в золоте. Но не образ ли он это видел в соборе? Нет, не образ, а живое лицо...

Он вспомнил и весь задрожал. Изба, казалось, заходила кругом... Он упал на колени...

— Не мне благословлять тебя,— бормотал он растерянно,— ты благослови меня...

Все это произошло необыкновенно быстро, так что едва ли кто и заметил случившееся в избе.

Священник глянул в глаза незнакомцу и увидел, что тот приложил палец ко рту. Глаза незнакомца все сказали, и растерявшийся попик понял это. Он быстро вскочил с полу и сделал широкое крестное знамение.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа...

— Аминь.

Незнакомец смиренно принял благословение от священника и поцеловал его руку. Поцелуй этот, казалось, обжег благословящую десницу скромного служителя церкви. Он не знал, как ему стать, куда глянуть. Но незнакомец прервал тягостное замешательство.

— Ну, куманек,— обратился он с улыбкой к хозяину, который был точно на иголках, догадываясь о чем-то необыкновенном, что̀ совершалось в его жалкой избенке. Особенно смущало его замешательство отца Нифонта. «Уж в сам-деле не аньдела ли я принял? — шевельнулось опять в его простоватом мозгу.— Дак нет — те с крылышками, а для Христа он, сказать бы, стар».— Ну, куманек,— говорил этот таинственный гость,— проси батюшку крестить младенца.

— Поспешу, поспешу неукоснительно,— бормотал батюшка.— В храме или здесь?

— Здесь, здесь,— отвечал гость.

Священник торопливо вышел. Через несколько минут он воротился вместе с дьячком, который внес в избу купель и узел с священническим облачением. Оба они казались очень взволнованными и делали все торопливо, нервно. Дьячок хлопотал с кумой около купели, устанавливая ее на неровном полу избы и наливая холодной водой из кадки, стоявшей у порога. Священник между тем облачился. Смущенный хозяин, его жена-роженица и кума с удивлением заметили, что отец Нифонт облачился на этот раз в лучшие свои белые глазетовые ризы, которые он надевал только в светлое Христово воскресенье и на Троицу.

По заведенному обычаю кума положила на стол принесенные ею для новорожденного «ризки».

Таинственный гость, увидев это, вспомнил, что и он, как восприемник, должен с своей стороны принести «дар» для воспринимаемого им нового христианина и непременно крест.

Тогда он, расстегнув свой кафтан, снял с шеи великолепный золотой крест, усыпанный драгоценными камнями.

— Вот и мой дар младенцу,— сказал он, положив крест на «ризки»,— пусть носит на здравие и души спасение.

Крест сверкал разноцветными огнями.

— Отец родной! — не вытерпел Тит.— Стоим ли мы, нищие захребетники, таких даров!

— Про то я знаю да бог,— отвечал гость,— душа человеческая дражае злата и камней самоцветных, а ты, милый человек, душу мою спас — ты не дал мне помереть наглою смертию.

Приступили к крещению.

— Как же младенца-то назвать? — тихо обратился священник к родителям.— Ноне память преподобных Кира и Иоанна бессребреников — не дать ли крещаемому имя Кира?

Тит смущенно глянул в глаза гостю.

— Пусть будет Иван,— сказал этот последний,— у нас ноне на Москве государствует государь великий князь Иоанн Васильевич всеа Русии.

— Аминь,— тихо и внятно произнес священник.

Едва кончился обряд крещения, как дверь избы тихо отворилась, и в нее робко вошла матушка, старушка попадья. В руках у нее был узелок. Низко поклонившись гостю и всем находившимся в избе, она развязала узелок, достала из него скатертцу, хлеб, кусок вяленой белорыбицы, берестяночку с солеными грибами и бутылку заморского вина, которое отец Нифонт хранил у себя на случай посещения его убогой церкви какою-либо высшею духовною особою.

Потом матушка накрыла своей скатертцой стол, положила хлеб, переложила рыбу на деревянную тарелку, достала нож, которым сделала на хлебе крест, и молча поклонилась гостю, приглашая его за трапезу.

— Спасибо, матушка,— ласково сказал гость.— Отец Нифонт! благослови трапезу.

Отец Нифонт благословил.

— Садись же, отче.

Отец Нифонт смущенно переминался на месте, но садиться не решался.

— Садись же,— повторил гость, лукаво улыбаясь,— тебе подобает сидеть в переднем углу.

Но отец Нифонт не мог совладать с своей робостью и не садился.

— Ну, ин я сяду, коли так,— решил гость, пробираясь под образ.

Он сел и весело и лукаво обвел глазами всех присутствующих.

— А помнишь, отче, русскую поговорку про передний угол? — с лукавой улыбкой обратился он к отцу Нифонту.

Тот еще больше смешался и ничего не отвечал.

— Не помнишь? так я тебе напомню,— продолжал гость тем же тоном,— в переднем углу сидит либо поп, либо дурак... Ну, ин пусть же я сей раз буду дураком.

И гость весело рассмеялся, наливая себе чарочку вина и выпивая ее маленькими глотками.

— Э! — рассмеялся он весело, ставя чарочку на стол и обращаясь к Титу,— да ты, брат кум, не промах: вишь каким винцом дурака угощаешь; на славу винцо!

— Ах, отец родной! — заметался Тит,— ах, куманек любезный! да и вино-то не мое, и все угощенье не мое, а батюшкино, отца Нифонта. А у меня, куманек, ни синь-пороху.

— Добро, добро,— улыбался гость, закусывая грибками.

Встав из-за стола, он благодарил и отца Нифонта, и хозяев за приют и угощение, а куме и жене Тита дал несколько серебряных и золотых монет — «корабленников».

— А теперь, куманек,— обратился он снова к хозяину,— где бы мне раздобыть клячонку да санишки, до Москвы добраться.

А Тит уже раньше выбегал на двор и видел, что сани и лошадь соседа, того самого Ильи Щекина, что ночью прогнал от своего окна путника, уже стоят у крылечка, а на козлах сидит его батрак. «Для кого это?» — «Для твово кума».— «Сам Илюша прислал?» — «Он самый».— «Ишь догадливый! спасибо ему».

— А? как же, куманек? будет клячонка? — спрашивал гость,— вон ты меня так угостил, что я теперь сам, спьяну, поди, и Москвы не найду.

Ободренный Тит весело смеялся.

— Помилуй, куманек дорогой,— говорил он, кланяясь,— вон и сани стоят у крыльца.

— Спасибо, милый человек.

Гость наскоро оделся, попрощался со всеми и вышел из избы. Все провожали его с низкими поклонами.

Гость сел в сани и велел трогать.

— Как же, куманечек милый, нам поминать тебя? — кричал ему вслед растроганный Тит,— за кого молиться? да и приведет ли нам бог видеть тебя когда?

— Так ты приходи сам ко мне на Москву в гости,— отвечал незнакомец.

— Ах, куманек, Москва не Котлы: как тебя найдешь там?

— Найдешь, спроси только кума Ивана, и тебя приведут ко мне.

Сани исчезли за сугробами снега, а озадаченные котловяне все смотрели им вслед, давно ничего не видя.

— Уж и чудной же человек! — развел руками Тит, — либо он большой боярин, либо на̀больший протопоп.

Отец Нифонт ничего не отвечал.

IV

ГОСУДАРЫНЯ СОФЬЯ ФОМИНИШНА

В то время, когда в Котлах, в жалкой избе Тита крестили новорожденного, в Москве, особенно же в Кремле и в великокняжеском дворце, происходило что-то необыкновенное. Ранним утром по всему дворцу разнеслась страшная весть, что накануне еще великого князя и государя Ивана Васильевича не оказалось в княжеских палатах, и где он делся, никто ничего не ведал.

С вечера еще ближний боярин, князь Данило Холмский, знаменитый победитель новгородцев в Шелонской битве, явившись во дворец с докладом, не нашел великого князя. Кого он ни спрашивал, не видали ли государя, все отвечали, что великого государя никто не видал с самого обеда.

Холмский явился к государыне, к великой княгине Софье Фоминишне, чтоб у ней осведомиться о государе, но и та ничего не знала.

Тогда разослали гонцов во все концы города и в Замоскворечье; но дети боярские, возвращаясь во дворец один за другим, к ужасу Холмского, докладывали, что великого князя нигде нет и никто об нем ничего не слыхал.

Так прошла ночь.

Холмского пугало одно обстоятельство. Он больше других знал привычки великого князя, «собирателя Русской земли». Он знал, что Иван Васильевич любил тайно, переодетым, ходить по городу, по базарам и площадям, чтобы лично прислушиваться к народному говору, к тому, что об нем и о его делах и подвигах думает вся Русь и доволен ли народ его порядками и людьми, долженствовавшими блюсти эти порядки. В то время на Руси не было ни газет, ни того, что в настоящее время называется общественным мнением. Все, что ни делалось на Москве и во всей Русской земле, доходило до государя или через уста ближних бояр, или чрез отписки воевод и наместников. Но для

умного государя этого было мало. Он сам хотел слышать, что говорят и думают о нем не одни бояре и воеводы. Он крепко верил непогрешимости народного изречения: «Глас народа — глас божий». Он чуял своим практическим чутьем, что покорение Новгорода и суровые меры, примененные к новгородцам, вызывали в стране глухой ропот. На раззорение Новгорода многие смотрели, как на ненужную, не только не полезную для государства, но совершенно вредную для него жестокость. «Али мы татары! — слышал он однажды на базаре возглас новгородца.— За то, что мы были богаты и вольны, так нас и разорять. У нас был свой вечный колокол, он и говорил нам про волю; а у вас на Москве и колокола святые пикнуть не смеют». Слова эти запали в душу великого князя, и он их не забыл, а потом все чаще и чаще прислушивался к народному говору.

Холмский знал это и когда не нашел во дворце великого князя, то тотчас же догадался, что он прошел из дворца тайным ходом, ему одному известным, и этим же ходом возвратится во дворец. Но когда разом налетела на город вьюга, а за нею настала и ночь, а великий князь не возвращался, Холмским овладел страх: «Долго ли до греха в такую непогодь!»

Такие же опасения, но только в более острой степени, угнетали и великую княгиню. Она не спала всю эту ужасную ночь; она постоянно становилась на молитву, но и молитва не приносила облегчения ее смущенной душе. Стоя на коленях или припав пылающей головой к холодному дереву киоты с чудотворным образом Богородицы, она невольно прислушивалась к вою вьюги, бушевавшей над Кремлем, и в этом вое ей слушался стон, заставлявший трепетать все ее тело.

То она подходила к кроватке своего маленького сына Васюты и, глядя на его розовое, во сне улыбающееся личико, в сотый раз повторяла обычное бабье причитанье: «На кого ты нас, сирот, кормилец наш, покинул?» — и слезы неудержимо лились из ее прекрасных черных глаз, в которых и под московскими снегами не погас огонь южного, жаркого солнца ее далекой родины.

Вот и теперь, утром, когда яркое зимнее солнце, ворвавшись целыми снопами лучей в окна терема великой княгини, сверкает золотом на шелковых узорах вышиванья, перед которым сидит, глубоко задумавшись, Софья Фоминишна, глаза ее, видимо, заплаканы.

В эти мучительно-тревожные часы перед нею проходит вся ее жизнь. Что-то будет с нею, когда ее великого князя не станет? А если его уже нет в живых? При одной мысли руки ее холодеют, и иголка падает на малиновый бархат ее работы.

Любила ли она его, однако? Нет, когда она, там, в далекой, милой Италии, еще девушкой, узнала, что за нее сватается великий князь московский, ее охватил ужас. Как это ей покинуть милое южное небо, это бирюзовое море, свои привычки, всю привычную обстановку всей ее жизни, и тащиться в далекий, неведомый край, где по хмурому небу ходит такое холодное, неприветливое солнце, где царствует вечный снег, где не понимают ее родной речи и где не с кем ей будет обменяться живым словом! А каков он сам, ее нареченный жених? Варвар, в полном смысле варвар, как ей казалось!

Но выбора не было для бедной отрасли царственного дома некогда могущественных Палеологов. Внучка императоров византийских, она там, на далеком севере, должна восстановить свой царственный род. И как горько она плакала, расставаясь с родными и отправляясь в неведомый путь!

Нет, тогда она не любила его, не могла любить!

Какой бесконечный путь, бесконечное плавание по неведомым морям! Все это теперь припомнилось ей. Чем дальше уносил ее сердце чужой корабль от ее милой родины, тем более и более ныло и тосковало это сердце. Еще когда корабль плыл вдоль италийских и гишпанских берегов, она видела с палубы этого корабля что-то свое, родное: зеленые и лазоревые горы, красивые берега, лимонные и апельсиновые рощи, красивые букеты гордых пальм, ярко-голубое небо; но чем более корабль подвигался к северу, тем однообразнее и грустнее становились картины, на которые она глядела грустными глазами: бирюзовое море сменялось каким-то свинцовым, пологие берега становились все однообразнее и однообразнее, и небо было уже не то, что там, на ее родном юге.

Тоскливый, бесконечный путь!

Но вот однажды, пасмурным, туманным утром, когда мокрый западный ветер порывисто надувал мокрые парусы ее корабля, ей указали на низменную, такую же туманную, как утро, полосу земли и сказали, что это — Русская земля! Какой тревогой и боязнью сжалось ее и без того истосковавшееся сердце!

Так вот она та далекая, неведомая Русская земля, где она должна похоронить свою молодость, свою красоту!.. Сыро, туманно, тоскливо кругом...

Нет, она не любила его!

Но вот она покинула и свой корабль, на котором она так много и так нерадостно думала. Теперь и корабль этот казался для нее чем-то своим, родным, близким. Но она и с ним должна была проститься, проститься навсегда!

Как она помнит эти псковские суда — «насады», которые окружили ее корабль! Эти псковские бояре в высоких меховых шапках, эти длинные, шитые золотом кафтаны, эта незнакомая речь, как все это было не похоже на то, к чему она привыкла с детства!..

Вот они плывут Наровою по землям великого Пскова... Вот и Псков, торжественные встречи, а там — Москва и — он, ее будущий муж и государь!

Нет! тогда она не любила его...

Зачем же теперь слезы текут по ее смуглым щекам и падают на богатое вышиванье?

— Мама, мама! об чем ты плачешь? — услыхала она детский голос.

Это прибежал из соседней палаты ее сынок, князюшка Васюта, пяти или шести лет, хорошенький мальчик.

— Об чем ты, мама? — заглядывал он ей в глаза.

— Ах, сыночек! да все о том, что батюшки князя доселе нету,— отвечала княгиня.

И она, обхватив руками курчавую головку сына, тихо причитала: «И на кого ты нас, сирот твоих, покинул?»

Ребенок тоже громко заплакал, уткнув лицо в колени матери. Княгине стало жаль малютку, и она начала утешать его.

— Не плачь, дитятко, батюшка князь скоро воротится.

— А где он? — спросил ребенок.

Этот наивный вопрос смутил княгиню. Она не знала, что отвечать.

— А я знаю, куда поехал батюшка,— серьезно сказал мальчик, утирая заплаканные глаза.

— А куда, дитятко? — обрадовалась мать.

— Псков громить,— быстро отвечал мальчик,— вчера батюшка за что-то разгневался на Псков и говорит князю Даниле Холмскому: я, говорит, скоро и Псков разгромлю, как разгромил Новгород. А что, мама,— продолжал лепетать ребенок,— и во Пскове есть Марфа-посадница и вечной колокол? А знаешь, мама, когда я буду государствовать на Москве, знаешь, кого я разгромлю?

— Кого, дитятко? — глотая слезы, спросила княгиня.

— Крым! я возьму в полон крымского хана... А что это ты вышиваешь, мама?

— Орла государева, дитятко.

— Орла! А для чего у него две головы?

— Это двуглавый орел, дитятко: это наше государское знамение, это мое вено, это государское знамение моих отцов и дедов.

Вдруг в соседней палате, со стороны «государевых переходов», послышались чьи-то шаги.

Княгиня радостно, скорее как бы испуганно, встрепенулась. Она узнала знакомые шаги,— шаги того, которого она когда-то не могла полюбить,— его, всегда угрюмого, вечно занятого своими думами о «собирании Русской земли», всегда холодного...

«Стерпится, слюбится»,— слова эти не сходили с его уст... И вот «стерпелось» — она полюбила его...

— Это он!

— Кто, мама?

Шаги все ближе и ближе. Вот он сейчас войдет...

Княгиня сорвалась с места... В дверях стояла могучая фигура мужчины. На рыжей окладистой бороде заиграло солнце — это был он!

Княгиня с радостным криком бросилась ему на шею...

— А уж я, горькая, не чаяла и в живых видеть тебя, света моего!.. Ваня! соколик! радость очей моих!

V

ТИТ ИЩЕТ КУМА ИВАНА

Миновала суровая московская зима. Солнце все левее и левее восходит за Москвою, когда Тит, выйдя из своей избенки утром, молится, оборотясь лицом к востоку, а потом обернется лицом к своей избенке и видит, что она все больше разваливается: и крыша вся расползлась, и углы позавалились.

Покачает, покачает Тит своею бесталанной головой, почешет в затылке,— а что поделаешь? чем взяться?

Котлы все ярче и ярче одеваются в зелень. Ласточки давно прилетели и не гнушаются жалкой, разваливающейся избенкой Тита...

— Вон, касатыя, и гнездышко у меня лепют — это к счастью,— утешает себя Тит.

А между тем в избе есть нечего. Плачется Орина, и ребенок плачет с голоду, а Тит все утешает жену:

— Погоди, Орина, вот ужо́ пойду в гости к куму Ивану...

— О, дурак, дурак! — махнет на него рукой Орина,— где ты будешь этого кума искать?

— Где? на Москве! он сказал, он не обманет, он не такой человек...

— Ах, дурак! дурак! да вить Москва, чать, не Котлы!

— Он сам сказал, он не обманет.

— Да как ты его сыщешь там, дурацкая твоя образина? ноли на Москве только и есть один Иван, твой кум?

— Да он сам сказал: спроси, гыть, только кума Ивана, и тебя приведут ко мне... А он не обманет — не такой он человек... А я и хлебца попрошу у него, и леску для избы — он всего даст.

— О, дурак, дурак! что мне с ним делать, господи!

Идет огорченный Тит и к соседу своему, к Илье Щекину, позычить хлебца, а тот ему тоже в ответ: «Эх, дурак, дурак! да чем ты отдашь?»

— Да вот я ужо пойду на Москву к куму Ивану.

— Ха-ха-ха! вот дурак!

— Он мне всего даст...

Опять та же история. Все смеются над дураком Киткой, а Тит не унывает.

Наконец он идет к батюшке, к отцу Нифонту.

— Благослови, отец Нифонт, на Москву иду.

— Что? как?

— Да пойду к куму Ивану.

— Что ж, дело хорошее, давно бы пора надуматься тебе, Титушка: вить он звал тебя в гости.

— Звать-то звал... А вон все смеются, говорят: дурак! дурак! в одно слово все дураком называют. А ты как, батюшка, думаешь?

— Да думаю, Титушка, что ты не дурак, а только смирен, и тебе за смирение господь пошлет.

— А как ты думаешь, отец Нифонт,— я найду его на Москве?

— Непременно найдешь: тебя так к нему и приведут.

— А как ты думаешь, кто он такой? Большой боярин?

— Полагаю, что большой.

— А може, сам митрополит?

— Может, и митрополит.

— То-то и я мекаю.

— О! да ты мужик не промах.

Наконец Тит решился. С утра натянул на себя рваный чапанишко, подвязал новой мочалкой лапти, достал из соседнего плетня палку и, перекрестясь на восток, а потом на церковь, потянул к Москве, ничтоже сумняся...

— Вон наш дурак пошел в Москву кума Ивана искать,— смеялись ему вслед мужики.

А Тит идет себе, полный веры в своего кума, и посмеивается себе в бороду.

— Вот ужо̀ посмотрим, кто засмеется,— думает он себе.

Как нарочно, на этот раз и утро выдалось великолепное. Солнце так ласково греет. Зеленая трава, словно живая, тянется к небу и не нарадуется, что опять оживает после суровой зимы. В роще где-то заливается соловей, а на соседнем огороде, над развестистыми ветлами, с радостным задором вьются стаи грачей.

Но Тита не занимает весенний концерт природы. Он думает о цели своего путешествия, о том, что его ожидает в Москве, и обрадуется ли ему кум Иван.

А Москва все ближе и ближе. Золотые маковки церквей так ярко горят на солнце. В некоторых церквах слышится благовест. Тит снимает свою шапчонку и набожно крестится. В голове его шевелится даже игривая мысль при виде рваной шапки.

Эх, ты, шапка, ты, шапка моя,
Одного сукна с онучею!

Он смотрит и на онучи. Неказисто сукно на онучах.

— Ну, уж недолго мне носить такие,— думает он.

Но вдруг его поражает мысль. А что, если да кум его уехал из Москвы? что, если теперь он совсем не живет в белокаменной? Он, доверчивая душа, не сомневался, что найди только он кума Ивана, тот озолотит его. Он почему-то глубоко уверовал в своего кума. Но что, если его нет в Москве? Отчего он ни разу не вспомнил ни о нем, о своем куме Китке, ни о своем крестнике? Отчего, если он такой большой боярин, не прислал кого-либо из холопей наведаться о здоровье своего крестника?..

А тут вот уже и Серпуховские ворота. Ярко горит на вершине их золотой крест.

Тит — к воротам, снимает опять шапку и крестится.

У ворот стоят два стражника с бердышами. Тит почтительно хотел было проскользнуть мимо них.

— Стой! — закричали стражники.

Тит оторопел и снял шапку.

— Ты кто таков? — спрашивали его.

— Я... я Китка из Котлов; кормильцы... Кит.

— А куда идешь?

— В Москву, кормильцы.

— Зачем? — продолжался допрос.

— Кум у меня тамотка есть.

— Кум, говоришь? — И стражники многозначительно переглянулись.— Какой кум?

— Да кум Иван, родимые: приходи, гыть, ко мне в гости, Кит Захарыч.

— Это он! держи его!

И стражники схватили несчастного под руки. Он весь затрепетал.

— Батюшки светы! за что же! о-о!

VI

У КНЯЗЯ ХОЛМСКОГО

Перепуганного Тита повели прямо в Кремль. Он не знал, что и подумать обо всем с ним приключившемся; но расспрашивать боялся, тем более что молчали и сопровождавшие его стражники. Но как ни страшно казалось ему все окружавшее, в душе он глубоко верил в своего кума.

«Не такой он человек»,— копошилось у него в мозгу.

Скоро стражники подвели его к богатым каменным палатам. У крыльца стояли два ратника с алебардами в руках.

— Дома князь его милость боярин Данило Димитрич? — спросил один из стражников.

— Дома, сейчас от великого государя пришел,— отвечал ратник.

— Поди и доложи боярину: от Серпуховских деи ворот стражники пришли по самонужнейшему делу.

Ратник вошел в хоромы. Через несколько минут он воротился и приказал стражнику от имени князя идти в покои.

— Там тебя проведут,— пояснил он.

В покоях стражника встретил молоденький боярчонок, сын боярский, и провел его во внутренние покои князя.

Князь Холмский задумчиво ходил вдоль образной палаты в ожидании стражника. Седая, но мужественная еще голова его была низко опущена на грудь, на которой ярко блестела золотая гривна. От времени до времени он

теребил нетерпеливо свою длинную, серебристую бороду.

Да и было о чем задуматься! Сегодня великий князь так гневен. Из Пскова приехало посольство с жалобою на своего князя Ярослава Владимировича и на его наместников. Великий князь сегодня намерен пустить послов к себе на очи, но очень гневен: как бы Холмскому не пришлось вести рати против псковичей, как он водил против новгородцев. А легко ли проливать кровь своей же братии, православных! Вон и до сих пор по ночам, в тонце сне, видится часто Марфа-посадница, которая рвет свои седые косы и горько плачется: «Отдай мне моих сыновей! вороти мне мою вотчину, Великий Новгород! зачем отняли у него вечный колокол!»

— Ты что? — спросил он вошедшего в эту минуту стражника.

— Я от Серпуховских ворот, ваша милость,— отвечал последний, кланяясь.

— По какому такому самонужнейшему делу?

— Да мужичка, боярин княже, задержали у ворот.

— Какого мужичка?

— Из Котлов, боярин, кума Ивана пытает.

— А! кума Ивана... Помню, помню... Спасибо за службу...

— На том крест целовали, ваша милость.

— Спасибо, спасибо... Ин пусть войдет ко мне мужичок.

Стражник вышел, бережно ступая по одной половице. Через несколько минут в дверях показалось испуганное лицо Тита. Сзади его тихонько подталкивал молоденький боярчонок: «Иди же! иди — не бойся!»

— А! здравствуй, Тит Захарыч! добро пожаловать! — ласково обратился к нему князь Холмский,—что, к куму Ивану в гости пришел? Давно, давно бы пора. А то уж мы подумывали, что ты заспесивелся и видеть не хочешь своего куманька.

Тит совершенно растерялся. Все, что он видел кругом, все, что с ним произошло этим утром, казалось ему сном. Эти стражники с бердышами, схватившие его, едва он произнес имя кума Ивана; этот Кремль, через который его провели как осужденного на казнь; эти богатые палаты, в которые его ввели, богатство и великолепие, бросившиеся ему в глаза,— все это казалось ему волшебством, дьявольским наваждением.

И вдруг этот седой боярин, весь в золоте, точно образ Николая Чудотворца в золотой ризе, называет его Титом Захарычем, величает по имени и отчеству, словно какого боярина — «Добро пожаловать»...

«Господи! что ж это такое? — мутилось у него в голове.— Да ведь это не кум Иван... У того рыжая борода, и тот моложе этого...»

— Ну, как поживаешь, милостивец? — говорил между тем этот седой боярин с золотою гривною на шее.— Здоров ли твой сынок Иванушка? что твоя жена, здорова ли?

От изумления бедный Тит не мог промолвить ни слова и стоял весь растерянный. Только дрожащие руки его нервно теребили жалкую шапчонку.

Холмский положил ему руку на плечо, желая ободрить.

— Я все знаю,— говорил он,— мне твой кум все рассказал. Я знаю, как твой богатый сосед не хотел пустить к себе на ночь прохожего, а ты сжалился над ближним, ты спас христианскую душу от наглой смерти,— и тебя за это бог наградит на том свете, а государь великий князь пожалует тебя на этом. А знаешь ли ты, кого ты спас?

— Не ведаю, родимый,— пробормотал допрашиваемый.

— И не догадываешься?

— Отец Нифонт сказывал: либо большой боярин, либо сам владыка.

— Добро, добро, ты сам его скоро увидишь.

VII
ПСКОВСКОЕ ПОСОЛЬСТВО

У государя великого князя Ивана Васильевича всеа Русии прием псковских послов.

Великий князь сидит в Грановитой палате на державном месте в полном великокняжеском облачении. На голове у него шапка большого выхода. В одной руке скипетр, в другой — державное яблоко. Золотые ризы прикрыты бармою. Длинная рыжая борода расчесана по волоску и тоже отливает червонным золотом. По правую его руку стоит князь Данило Холмский. Ниже, у подножия трона, около стола стоит думный дьяк Курицын и осторожно расправляет лежащие на столе свитки — государственные грамоты и договоры. По обеим сторонам полукругом расположились именитые и думные бояре.

Посередине палаты, ближе к державному месту, кучкою, сбившись, как испуганное стадо овец, стоит посольство великого Пскова: два посадника, именитые бояре и по два посланца от каждого пригорода.

В сторонке от всех, у окошка, стоит наш знакомец, милейший Тит Захарыч в своем обтрепанном чапанишке, и добрые глаза его, то и дело застилаемые слезами, с неизреченною любовью смотрят на того, кто сидит на державном месте...

«Так вот кто кум Иван!»

Великий князь держит речь. Он гневен, заряжен негодованием.

— Я вам говорил тогда, когда жаловал мою отчину, Псков, золотым кубком (отчетливо и гулко лилась грозная речь на всю Грановитую палату),— я говорил: смотрите же, псковичи, я, князь великий, хощу вас, свою отчину, держать в старине, и вы, наша отчина, слово свое держите честно и грозно над собою и наше собе жалованье. Чтоб вы это знали и помнили! Помните?

Мертвая тишина. Только слышен нервный шорох свитков под дрожащими пальцами дьяка Курицына да у окна — тяжелый, глубокий, но сдержанный вздох.

— Нет, вы это забыли! Забыв мое великого князя жалованье, вы присылали ко мне послов с безлепичными, изветными речами, что-де московские послы, едучи Псковскою землею, по дороге обижают людей, у проезжих деи отымают лошадей и животы, грабят по станам и на подворье в городе, требуют деи от Пскова грубо поминок не по силе, а что им деи Псков дает, то не берут. И то ваша вина! Забыли ваше грубство?

Та же мертвая тишина. Слышно только, как за окном, на карнизе, голуби воркуют.

— Слушайте, псковичи, моя отчина! — великий князь возвысил голос.— Слушай и ты, кум!

Тит вздрогнул всем телом и едва не упал от ужаса. Он понял, он видел, что последние слова великого князя обращены к нему. Но глаза Ивана Васильевича, доселе грозные, смотрели теперь на трепещущего Тита ласково, как тогда, зимой, у него в избе.

— Слушай, кум, как я учу моих ослушников и как жалую добрых людей,— пояснил великий князь и снова обратился к псковскому посольству, которое с недоумением смотрело на стоявшего у окна оборванного смерда.

— Слушайте ваши вины, послы Пскова, моей отчины! Когда князь Ярослав Владимирович, которого я вам дал,

совокупно с посадниками написал грамоту о смердьей работе, вы супротив той грамоты восстали крамолою — у многих посадников дворы порубили, посадника Гаврилу убили на вече до смерти, а смердов Стехна, Сырня и Лежня посадили в погреб. Опасаяся смертнаго убойства, достальные посадники бежали к нам на Москву, спасаючи свои головы, а вече написало на них мертвую грамоту и закликали их в Псков на смертную казнь. Помните,— в те поры я указал Пскову, моей отчине, откликать от смерти посадников, отпечатать мертвую грамоту и принести повинную князю Ярославу. Что ж вы сделали тогда? Забыли? Так я напомню вам!

Послы стояли бледные, не смея поднять глаз. Иван Васильевич глянул на князя Холмского, и тот стоял бледный, безмолвный.

Дьяк Курицын молча подал князю какой-то свиток.

— Да, вот она,— сказал великий князь, пробегая глазами свиток и возвращая его дьяку.— И вы, псковичи, моя отчина, и в те поры оказались мне, великому князю, ослушны: смердов из погреба не выпустили, посадников не откликали, князю Ярославу челом не добили. Отвечайте, истину я говорю? Отвечайте же!

— Истину, господине,— послышался робкий ответ.

— Я вам не господин! — грозно перебил посла великий князь.— Будет и того, что Новгород умалял до господина мое государское титло. А что я сделал с Новгородом? Ноли и Псков, моя отчина, того же хочет!

— Смилуйся, государь! положи гнев на милость! — упали послы на колени.

— Встаньте! — приказал великий князь.

Никто не шевелился. Все замерло в палате.

— Встаньте!

Все послы повалились в ноги точно перед иконой. Слышно было, как боярские лбы стукнулись о дубовый помост Грановитой палаты.

— Я вам говорю — встаньте! — в третий раз сказал Иван Васильевич.

— Не встанем,— послышались слабые голоса,— либо вели снять с нас головы, великий государь, либо отложи твое нелюбие — все равно нам живыми не быть.

Великий князь глянул на Холмского. В глазах у своего любимца он заметил слезы. Плакал, закрываясь шапкой, и тот, который стоял у окна.

— Добро! — сказал Иван Васильевич,— во имя святыни отчины моей, Пскова, во имя святыя Живоначальныя

Троицы, я, государь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии, говорю ныне в последний раз: если отчина моя, Псков, исправит мое слово — отпечатает мертвые грамоты на посадников своих и откличет их и выпустит смердов из погреба и учнет потом бить мне челом о своей нечести, то я, великий князь, отдам Пскову, моей отчине, мое нелюбье и буду вас миловать по пригожаю. Таково мое слово! Встаньте.

Послы встали. Не одна грудь вздохнула глубоко, глубоко, точно она долго придавлена была камнем. Тот, который стоял у окна, широко крестился.

VIII
ДОБРО ЗА ДОБРО

Когда послы встали и отошли в сторону, великий князь подал свой скипетр князю Холмскому, а державное яблоко — дьяку Курицыну и сам поднялся с трона. Глаза его светились радостью.

— Ну, куманек, подойди теперь ты ко мне,— сказал он, ласково взглянув на Тита.

Тот робкими шагами подошел к трону и упал на колени.

— Узнал меня? — улыбнулся Иван Васильевич.— Узнал кума Ивана?

И он протянул к Титу свою руку. Тот с благоговением прильнул к ней, словно к руке Спасителя на плащанице, и заплакал от умиления.

— Что, узнал меня? — повторил великий князь.

— Узнал, батюшка надёжа-государь, узнал! — всхлипывал растроганный бедняк,— в каком бы ты одеянии ни был, осударь батюшка, я узнал бы тебя, узнал бы твои светлые очи.

— Добро, добро! А отчего долго не приходил ко мне?

— Не смел, осударь батюшка.

— А ты догадался, что это был я у тебя?

— Где, государь, догадаться!.. Ноли я смел подумать, что сам батюшка, надёжа-государь... А-ах!

И он снова залился горячими слезами.

— Я думал: большой боярин, либо именитый купец, либо... а тут... о-ох!

— Добро! добро! Встань!

С этими словами великий князь повернулся к послам великого Пскова и сказал:

— Видите человека сего? Он — смерд и смердьяго рода. Но он для меня почетнее боярина. И вот почему: он соблюдает заповедь Христову — «страннаго приими»... Прилучилось мне ноне зимою действа некоего ради тайным образом выйти из Москвы, и не по образу великокняжескаго хождения, а в образе простого селянина. Не успел я отойти стадий пять-шесть от Серпуховских ворот, и се внезапу возмятеся метель велия, и вста ветр сильный, и объят мя тьма ночная. Воротиться к Москве — за темнотою и сугробами снежными дороги не найду; далее идти — могуты моей нет. Пришлось погибать наглою смертию в поле. Но господь, не воздавая мне по грехом моим, оказал мне свою милость. Внезапу увидел я свет невдалеке. То были Котлы. Я на свет иду, а сам мало-мало не падаю от утомления. Вижу — изба хорошая, новая, большая и огонь в ней светится. Я стучусь в окно — и меня гонят от окна аки пса смердящаго. Я затаил в сердце моем гнев, поминаючи словеса Христовы — за зло платить добром,— и постучался в другую, бедную избенку. В ней меня приняли как отца роднаго. А не всякий бы принял в такой неподобный час: у того, кто меня принял, в ту ночь должна была жена разродиться...

— Вот кто принял меня! — указал великий князь на смущенно стоявшего Тита.— А наутро я с ним и покумился. Но я все еще в долгу перед моим спасителем. Видите, какая на нем бедная одежонка, и то моя вина! Каюсь пред послами отчины моей, Пскова: мне первому подобает награждать за добрыя дела и казнить за злыя.

Потом, снова обращаясь к Титу, великий князь спросил:

— Скажи, кум: твоя изба все такая же ветхая, как зимой была?

— Совсем разваливается, государь,— был ответ.

— И скотинки у тебя нет?

— Нетути, надёжа-государь,— одна белая кошечка.

— Добро! все будет у тебя. Федор! — обратился великий князь к дьяку Курицыну,— напиши в мой государев приказ, чтоб крестьянину Титу в Котлах отпущено было лесу на избу, хлеба на прокорм и на семена, пару лошадей, коров, овец и всего, что понадобится; да чтоб мои государевы плотники срубили ему добрую избу; да сейчас же прикажи одеть его во все новое и доброе, а уж князь Данило (Иван Васильевич взглянул на Холмского) позаботится, чтобы у моего кума все было и всего вдоволь.

Тит снова упал на колени и только качал головою, за слезами не будучи в состоянии выговорить ни одного слова.

— Ну, полно, кум, вставай! — ласково сказал Иван Васильевич.

Тит поднялся, шатаясь, точно пьяный.

— Ну, кум, а чем же ты меня отдаришь? — улыбнулся великий князь.

Тит не знал, что отвечать, и смотрел как-то растерянно.

— Вот что, кум,— продолжал великий князь,— подари мне свою белую кошечку. Когдя я, в те поры, воротясь от тебя, рассказал государыне княгине, Софье Фоминишне, и сыночку моему, князю, Васюте, о том, как я ночевал у тебя и как ласкалась ко мне твоя белая кошечка, с той поры сынок мой не дает мне проходу: достань да достань ему белую кошечку от котловского кума. Так смотри же, привези мне кошечку. Да кланяйся куме Орине и другой куме — Щекиной и отцу Нифонту скажи, что я кланяюсь ему саном протоиерея и палицею, с возложением на него златой митры. Это дело святейшего патриарха — я сам скажу ему о том.

— А вы,— обратился он к псковским послам,— скажите Пскову, моей отчине, мое последнее слово, и помните, что слово мое крепко.

И великий князь медленно направился к выходу.

IX

«ДУРАКАМ СЧАСТЬЕ»

Вечерело. Весеннее солнце, опускаясь за верхушки соснового бора, раскинувшегося к западу от Котлов, последними лучами золотило разнесенную ветрами и непогодою соломенную крышу жалкой избенки Тита.

Под избою, на осунувшейся завалине, сидела жена Тита, Орина, с ребенком на руках. За последнее время Орина очень исхудала и побледнела. Тихо качая ребенка, она тревожно поглядывала на дорогу, ведущую к Москве. С раннего утра ушел туда ее горемычный муж искать кума Ивана — и словно в воду канул.

Горько и стыдно ей было за мужа. И добрый он был мужик и ласковый, никогда ее не бил и дурным словом не обзывал; но — нечего греха таить — придурковат был. А с того времени, как покумился с каким-то прохожим, уж и совсем стал дураком. Ничего-то он не делал, да и делать-

то без скотины и хозяйства ему было нечего. А ему все, кажется, нипочем. Забрал себе в голову, что у него на Москве есть кум богатый — либо набольший боярин, либо набольший протопоп, и все ждет, что ему с неба счастье свалится. И все Котлы уж стали над ним смеяться: дурак да дурак, с целою Москвою покумился.

Так как дело было к вечеру и скоро должна была возвращаться в Котлы скотинка с поля, то котловские бабы одна за другою стали сходиться к избе Тита, которая была крайнею в поселке, чтобы там поджидать своих коровок да телушек.

— Ждешь, видно, муженька, Оринушка? — спрашивает одна баба, садясь на завалинке и участливо подпирая щеку ладонью.

— Поджидаю, родимая,— отвечает Орина.

— Э-э-хе-хе! житье наше горькое, касатая.

— И не говори, мать моя! — соболезнует другая баба, присаживаясь тут же,— али легко жить с дураком-то мужем.

— Где легко! Вон мой-то идол хоша и дерется, а все у нас и лошадка есть, и коровенка.

— Вестимо: что нашу сестру не бить, коли за дело?

— Уж и подумаю я, мать моя: как это в целой Москве найти кума Ивана!

— Вот поди ж ты! пошел искать.

— Где там найти! найди иглу в стогу сена... Уж коли б он, кум-от московский, был путящий человек, а не озорник,— как бы не сказать: ищи-де меня там-то, на такой-то улице, а вот так и так меня зовут и вот так прозывают. А то на! — спроси кума Ивана!

— Озорник и есть, тьфу!

В это время по дороге, ведущей к Москве, показалась пыль, и видно было, что кто-то ехал парой. Лошади были бойкие, красивые, да и телега не простая, а совсем господская, выкрашенная голубою краскою.

В телеге сидел и правил лошадьми боярин не боярин, мужик не мужик, а скорее посадский человек.

Телега все ближе и ближе. Вот она поворачивает к избенке Тита.

— Кто б это был такой?

— Матыньки! кажись, сам Китка?

— Китка и есть! Ах, мать моя!

— Тпрру! — это и был Тит Захарыч.

Осадив хорошо выезженных лошадей, он выскочил из крашеной, господской повозки и бросился целовать жену и крестника.

— Ну, молись, Оринушка! молись земно! — захлебывался он от радости,— шлет тебе поклон сам благочестивейший государь и великий князь Иван Васильевич всеа Русии! Вот кто таков кум Иван! Все это мое (он указал на лошадей и повозку, нагруженную разными мешками и узлами),— все это подарил сам надёжа-государь, куманек наш. Он же пожаловал нам и коровок, и овечек, и лесу на новую избу — и всего, и всего! И велел построить нам новую избу своим государевым плотникам. Слава нашему государю Ивану Васильевичу!

Он казался помешанным от радости. Жена же его, казалось, окаменела от неожиданности: она только прижимала к себе ребенка и тихо повторяла: «Владычица! государев крестник! Матушки мои! сам князь Иван Васильевич! А я-то, бесстыжая, орала при нем, рожамши! Светы вы мои! сыночек мой! осударев крестничек!»

Неслыханная весть быстро разнеслась по Котлам. Все спешили к избенке Тита, все говорили, удивлялись, спорили, горячились. Но всех покрывал один голос.

— Сказано: дуракам счастье!

— Вестимо, дуракам.

Но с тех пор как Кит Захарыч в своем новом доме под зеленою крышею зажил чуть не боярином, он пошел за умного.



ТЕНИ

ФАНТАЗИЯ

I

Это было месяц и два дня спустя после того, как, при громких криках афинского народа, судьи постановили смертный приговор философу Сократу за то, что он разрушал веру в богов. Он был для Афин то же, что овод для коня. Овод жалит коня, чтоб он не заснул и бодро шел своею дорогой. Философ говорил афинскому народу: «Я твой овод, я больно жалю твою совесть, чтобы ты не заснул. Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду, афинский народ!»

И народ, в припадке жестокой досады, пожелал избавиться от своего овода. «Быть может, доносчики Мелит и Анит оба не правы,— говорили граждане, расходясь с площади после приговора.— Но что же это наконец такое, и куда он идет? Он плодит недоумения, он разрушает мнения, твердо установленные веками, он говорит о новых добродетелях, которые надо познавать и разыскивать, он говорит о божестве, которое нам еще неведомо. Дерзкий, он считает себя умнее богов!.. Нет, спокойнее нам вернуться к старым, хорошо знакомым божествам. Пусть они не всегда справедливы, пусть распаляются порой неправедным гневом, а другой раз и нечестивою похотью даже к женам смертных. Но не с ними ли жили наши предки в спокойствии души, не с их ли помощью совершали славные подвиги? А теперь образы олимпийцев померкли, и старая добродетель расшатана. Что же будет дальше, и не должно ли одним ударом положить конец нечестивой мудрости?»

Так говорили друг другу афинские граждане, расходясь с площади под покровом синего вечера. Они решили убить беспокойного овода, в надежде, что после этого лица богов опять просветлеют. Правда, в умах граждан порой вставал кроткий образ чудака-философа; порой они вспоминали, как мужественно делил он с ними при Потидее труды и опасности; как он один защищал их самих от позора несправедливой жизни военачальников после аргинузской победы; как один он против тиранов, убивших полторы тысячи граждан, осмелился возвысить голос, спрашивая на площадях о пастырях и овцах. «Не тот ли пастырь,—говорил он,— может назваться добрым, который приумножает и бережет свое стадо? Или, напротив, добрые пастыри призваны уменьшать количество овец и разгонять их, а добрые правители — делать то же с гражданами? Исследуем, афиняне, этот вопрос!» И от вопроса одинокого, безоружного философа лица тиранов бледнели, а глаза юношей загорались огнем негодования и честного гнева...

Когда афиняне, расходясь с площади после приговора, вспоминали все это, тогда их сердца сжимало смутное сомнение: «Уж не совершили ли мы над сыном Софрониска жестокую неправду?» Но тогда добрые афиняне смотрели в гавань и на море. При свете угасшей зари на синем понте еще мелькали вдали пурпуровые паруса острогрудого корабля делосских празднеств. Корабль ушел из гавани в этот день и вернется лишь через месяц, а до тех пор в Афинах не может пролиться кровь ни виновного, ни невинного. В месяце же много дней, а часов еще больше. Кто помешает сыну Софрониска, если уж он осужден невинно, убежать из тюрьмы, а многочисленные друзья наверное даже помогут? Разве так трудно богатому Платону, Эсхину и другим подкупить тюремную стражу? Тогда беспокойный овод улетит из Афин к фессалийским варварам или в Пелопоннес, или еще дальше, в Египет... Афины не услышат более его назойливых речей, а на совести добрых граждан не будет этой смерти. И все, таким образом, обойдется ко всеобщему благополучию...

Так многие рассуждали про себя в этот вечер, восхваляя мудрость демоса и гелиастов, а втайне питая надежду, что беспокойный философ уберется из Афин, убежит от цикуты к варварам, освобождая сограждан в одно время и от себя, и от угрызений совести за невинную смерть.

Тридцать два раза с тех пор солнце выходило из-за океана и опять погружалось в него, а до того дня, когда афиняне решили воздвигнуть Сократу памятник,—осталось тридцатью двумя днями меньше. Корабль из Делоса вернулся и, точно стыдясь за родной город, стоял в гавани с печально упавшими парусами. На небе не было луны, море колыхалось под тяжелым туманом, и огни на холмах мерцали сквозь мглу, точно прижмуренные очи людей, одержимых стыдом.

Упрямый Сократ не пожалел совести добрых афинян. «Простимся! Вы идите к своим очагам, а я пойду умирать,— сказал он судьям после приговора.— Не знаю, друзья, кто из нас выбирает себе лучший жребий». Когда срок возвращения корабля стал приближаться, многие из сограждан почувствовали беспокойство. Неужели же этот упрямец в самом деле умрет? И они принялись стыдить Эсхина, Федона и других учеников и друзей Сократа, подстрекая их усердие. «Неужто,— говорили они с едкой укоризной,— вы допустите, чтоб ваш учитель умер? Или вам жаль несколько мин на подкуп сторожей?» Напрасно Критон упрашивал Сократа согласиться на побег и горько жаловался, что общая молва упрекает их в недостатке дружбы и в скупости,— упрямый философ не пожелал сделать удовольствие ни своим ученикам, ни доброму афинскому народу. «Исследуем этот вопрос,— говорил он.— Если окажется, что мне надо бежать,— я убегу; а если нужно умереть, то умру. Припомним: не говорили ли мы раньше, что не смерть должна страшить разумного человека, а неправда? Справедливо ли соблюдать нами же установленные законы, пока они нам лично приятны, а неприятные нарушать? Кажется, память мне не изменила: ведь мы действительно что-то говорили об этих предметах?»

— Да, говорили,— ответил ученик.

— И, кажется, все были в этом вопросе согласны?

— Да.

— Но, может быть, правда есть правда для других, а не для нас?

— Нет, правда одинакова для всех, и для нас тоже.

— Но, может быть, когда нам, а не другим приходится умирать, то и правда превращается в неправду?

— Нет, Сократ, правда остается правдой при всех обстоятельствах.

Когда таким образом ученик последовательно согла-

сился со всеми посылками Сократа, философ, улыбаясь, перешел к умозаключению:

— Но если так, друг мой, то не следует ли, пожалуй, мне умереть? Или уж моя голова так ослабела, что я не в состоянии сделать верного заключения?.. Тогда поправь меня, добрый друг, и укажи правильный путь моей заблудившейся мысли.

Ученик закрыл лицо плащом и отвернулся.

— Да,— сказал он,— я вижу теперь, что ты непременно умрешь...

И в этот темный вечер, когда море металось и глухо шумело под туманом, а изменчивый ветер шевелил паруса кораблей с тихим и грустным недоумением; когда на улицах Афин граждане, встречаясь, спрашивали друг друга: «Он умер?» — и голоса их звучали робкою надеждой, что это неправда; когда первое дыхание проснувшейся совести, как первый предвестник бури, уже шевельнуло сердце афинского народа и даже, казалось, лица домашних богов устыдились и потемнели,— в этот вечер, с закатом солнца, упрямец выпил чашу смерти...

Ветер крепчал, сильнее закутывая город пеленой морских туманов, и начинал с яростью трепать паруса, запоздавшие в гавань. И Эринии заводили свои мрачные песни в сердцах граждан, возбуждая в них грозу, от которой впоследствии погибли обвинители Сократа... Но в тот час эти первые порывы раскаяния метались еще смутно и неясно. Граждане еще более сердились на Сократа, зачем он не доставил им облегчения своим побегом в Фессалию; злились на учеников его, которые ходили в последние дни печальные, мрачные, как живые упреки; злились на судей, у которых не было ни благоразумия, ни мужества, чтобы воспротивиться слепой ярости возбужденного народа; злились на самых богов. «Вам, боги, принесли мы эту жертву,— говорили многие,— радуйтесь, ненасытные!»

«Не знаю, кто из нас берет лучший жребий!» — вспоминались слова Сократа, последние слова его к судьям и к народу, собранному на площади. Теперь он лежал в своей тюрьме, под плащом, спокойный и неподвижный, а над городом нависли печаль, недоумение, стыд... Он опять стал мучителем города, сам уже недоступный мучению... Овод был убит, но мертвый он жалил свой народ еще больнее... Не спи, не спи эту ночь, афинский народ! Не спи,— ты совершил жестокую, неизгладимую неправду!

II

В эти печальные дни из учеников Сократа воин Ксенофонт находился в далеком походе с десятью тысячами, пробивая себе среди опасностей путь к милой родине. Эсхин, Критон, Критовул, Федон и Аполлодор были заняты приготовлением скромных похорон, а у Платона горела вечерняя лампа, и лучший из учеников философа записывал на пергаменте его дела, слова и поучения, которыми завершилась жизнь мудреца. Ибо, как говорит великий поэт,

Листьям в дубраве подобны сыны человеков:
Ветер одни по земле расстилает, другие — дубрава,
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают...
Так человеки: одни нарождаются, те погибают.

Однако мысль не гибнет, и истина, достигнутая великим умом, как факел в темноте, освещает пути следующих поколений.

Был и еще ученик Сократа. Пылкий Ктезипп еще недавно считался самым веселым и самым беспечным из афинских юношей; он боготворил только красоту и преклонялся перед Клиниасом, как совершеннейшим ее воплощением. Но с некоторых пор, и именно с того времени, как познакомился с Сократом, он потерял и веселье, и беспечность, а в толпе Клиниасовых друзей его заменили другие, и он смотрел на это равнодушно. Стройность мысли и гармония духа, которые он встретил у Сократа, казались ему теперь во сто крат более привлекательными, чем стройность стана и гармония в чертах Клиниаса. Всеми силами своей пылкой души он привязался к тому, кто нарушил девственное спокойствие его собственной души, раскрывшейся навстречу первым сомнениям, как почки молодого дуба раскрываются навстречу свежему весеннему ветру.

Теперь, в эти горькие минуты, он нигде не мог найти успокоения,— ни у домашнего очага, ни на улицах притихшего города, ни в обществе единомышленных друзей. Боги очага, домашние и народные боги стали ему противны: «Я не знаю,— говорил он,— лучшие ли вы из тех, кому бесчисленные поколения народов сжигают благовония и приносят жертвы. Но знаю, что в угоду вам слепая толпа погасила яркий светильник истины и принесла в жертву лучшего из смертных!»

Улицы и площади, казалось Ктезиппу, еще оглашаются криками неправедного суда. Здесь некогда Сократ один воспротивился бесчеловечному приговору судей и слепой ярости черни, требовавшей смерти аргинузским вождям [1]. Теперь не нашлось никого, кто бы сумел защитить его с такою же силой. В этом Ктезипп винил и себя, и товарищей, и вот отчего ему хотелось в этот вечер избавиться от присутствия всех людей и даже, если возможно, от себя самого.

Он пошел к морю. Но здесь его тоска стала еще тяжелее. Казалось, под покровами из тумана опечаленные дочери Нерея метались и бились о берег, оплакивая лучшего из афинян и самый город, ослепленный безумием. Волны летели одна за другой, волны плескались о каменные скалы с непрерывным жалобным рокотом, который раздавался в ушах Ктезиппа, как траурное, намогильное пение.

Тогда он отвернулся и пошел от берега все прямо, не глядя перед собой и не заботясь даже о дороге. Мрачная скорбь затемнила его сознание и нависла над ним, как темная туча. Он забыл о времени, о пространстве, о собственном существовании и весь полон был одною гнетущею мыслью о Сократе... «Вчера он *был*, вчера еще раздавались его кроткие речи. Как может быть, что его *нет* сегодня? О ночь, о вы, великаны горы, окутанные туманными нимбами, ты, рокочущее море, обладающее собственным движением, вы, неспокойные ветры, несущие на крыльях дыхание необъятного мира, ты, звездный свод, покрытый летучими облаками, ты, тихо сверкающая зарница, раздвигающая их молчаливые гряды,— возьмите меня к себе, откройте мне тайну этой смерти, если вы ее знаете! А если не знаете, дайте моему неведению ваше бесстрастие. Возьмите у меня эти мучительные вопросы,— я не в силах более носить их в груди без ответа и без надежды на ответ... А кто же ответит, если уста Сократа

---

[1] В битве при Аргинузах афиняне одержали блестящую победу. После битвы наступила буря, и, щадя живых, вожди недостаточно позаботились о мертвых, которые остались без погребения. Тогда против счастливых вождей поднялись в Афинах страсти суеверной толпы. Родственники убитых явились на собрание в траурных платьях, обвиняя вождей в том, что теперь умершие останутся вечными скитальцами: здесь выступило древнее верование, гласившее, что душа не покидает тела и вместе с ним сходит в недра земли. Сократ один воспротивился приговору, основанному на угождении грубому суеверию. *(Примеч. В. Г. Короленко.)*

смежило вечное молчание, а на его взоры налегла вечная тьма?»

Так говорил Ктезипп, обращаясь к морю, к горам и мракам ночи, которая между тем, как всегда, совершала над спящим миром свой незримый, неудержимый полет. Прошло много часов, прежде чем Ктезипп вздумал оглянуться, куда привели его шаги, не управляемые сознанием. Когда же он оглянулся, то темный ужас охватил его душу.

III

Казалось, неведомые божества вечной ночи услышали дерзкую молитву. Ктезипп глядел и не узнавал места, где он находился. Огни города давно угасли в темноте, рокот моря смолк в отдалении, и теперь самое воспоминание о нем стихало в оробевшей душе. Ни один звук: ни осторожный крик ночной птицы, ни свист ее крыла, ни шорох листьев, ни журчание никогда не засыпающих горных ручьев,— ничто не нарушало глубокого молчания... И только синие блуждающие огни тихо снимались и переносились с места на место по утесам, да молчаливые зарницы вспыхивали и угасали в туманах над вершинами, усиливая мрак своими короткими вспышками и мертвым светом открывая мертвые очертания пустыни, по которой черные расселины вились, как змеи, и скалы громоздились в диком, хаотическом беспорядке.

Казалось, все веселые боги, живущие в зеленых дубравах, в звенящих ручьях и в горных лощинах, навсегда бежали из этой пустыни; только один великий таинственный Пан притаился где-то близко в хаосе природы и зорко, насмешливым взглядом следит за ним, ничтожным муравьем, еще так недавно дерзко взывавшим к тайне мира и смерти. И слепой, не рассуждающий ужас уже разливался в душе Ктезиппа, как море заливает во время шумного прилива прибрежные скалы.

Был ли это сон, была ли это действительность, было ли это откровение неведомого божества, но только Ктезипп чувствовал, что еще одна минута — и грань жизни будет перейдена, и душа его растворится в этом океане беспредельного, бесформенного ужаса, как дождевая капля в волне седого океана в темную и бурную ночь. Но в эту минуту он услышал вдруг голоса, показавшиеся ему знакомыми, и глаза его различили при свете зарницы человеческие формы.

IV

Человек сидел на одном из каменных выступов в позе глубокого отчаяния и с плащом, накинутым на низко опущенную голову. Другой тихими шагами приближался к нему, поднимаясь с осторожностью и исследуя каждую пядь дороги. Сидевший открыл лицо и воскликнул:

— Тебя ли я видел сейчас, добрый Сократ? Ты ли идешь мимо меня в этом безрадостном месте, где я сижу уже много часов, не зная смены дня и ночи, напрасно дожидаясь рассвета?

— Да, это я, друг! А в тебе не узнаю ли я Елпидия, умершего за три дня передо мной?

— Да, я — Елпидий, богатейший из афинских кожевников, а ныне несчастнейший из всех рабов. Теперь только понимаю я справедливость слов, сказанных поэтом: лучше быть последним рабом на земле, чем властителем во мраке аида.

— Друг! Но если так тяжело тебе в этом месте, почему не идешь ты в другое?

— О Сократ! я удивляюсь тебе: как можешь ты идти в этом безрадостном мраке? Я же... в глубокой тоске сижу здесь и оплакиваю радости слишком скоро промелькнувшей жизни.

— Друг Елпидий, я, как и ты, очутился в этой тьме, когда в глазах моих угас свет земной жизни. Но внутренний голос сказал мне: «Сократ, иди в новый путь, не теряя времени»,— и я пошел.

— Но куда же пошел ты, сын Софрониска? Здесь нет ни дороги, ни герма, ни колеи, ни даже луча света. Только хаос камней, мрака и туманов.

— Это правда. Но, друг Елпидий, убедившись в этой печальной истине, не спросишь ли ты себя: что наиболее угнетает твою душу?

— Без сомненья, эта ужасная тьма.

— Итак, надо искать света. Должно быть, великий закон состоит в том, чтобы смертные сами искали во мраке пути к источнику света. Не думаешь ли ты, что это лучше, чем сидеть на месте? Я думаю именно так и потому иду. Прощай!

— О нет, добрый Сократ, не покидай меня. Ты довольно твердо ступаешь по этому адскому бездорожью. Дай мне полу твоего плаща...

— Если ты полагаешь, что и тебе это будет лучше, иди за мной, друг Елпидий.

И две тени пошли дальше, а душа Ктезиппа, исторгнутая сном из тленной оболочки, понеслась им вслед, жадно внимая звукам ясной Сократовой речи...

— Ты здесь, добрый Сократ,— послышался опять голос афинянина Елпидия.— Что же ты смолк? Разговор сокращает путь, и, клянусь Гераклом, никогда не случалось мне идти такою ужасною дорогой.

— Спрашивай, друг Елпидий. Вопрос любознательного человека вызывает ответы и родит собеседование.

Елпидий помолчал и потом спросил, собравшись с мыслями:

— Вот что. Расскажи мне, мой бедный Сократ, хорошо ли, по крайней мере, тебя похоронили?

— Признаюсь тебе, друг Елпидий, я не могу удовлетворить твое любопытство.

— Понимаю тебя, бедный Сократ,— тебе нечем похвастать. Вот я — другое дело! Ах, как меня хоронили, как превосходно хоронили меня, мой бедный товарищ! Я и теперь с великим удовольствием вспоминаю об этих лучших минутах... после моей смерти! Прежде всего меня обмыли и умаслили дорогими благовониями. Потом верная моя Ларисса надела на меня лучшие ткани. Искуснейшие плакальщицы в городе рвали на себе волосы, так как им обещали очень хорошую плату. В семейную усыпальницу со мной поставили одну амфору, одну кратеру с превосходно украшенными бронзовыми ручками, один фиал, затем...

— Постой, друг Елпидий. Я уверен, что верная Ларисса разменяла свою любовь на несколько мин... Однако...

— Ровно десять мин и четыре драхмы, не считая напитков, которые выпиты гостями. Редкий, я думаю, даже из богатейших кожевников может похвалиться перед душами предков таким вниманием со стороны живущих.

— Друг Елпидий, не думаешь ли ты, что это золото принесло бы больше пользы оставшимся в Афинах беднякам, чем тебе в настоящую минуту?

— Это ты говоришь, признайся, из зависти,— возразил Елпидий с горечью.— Мне жаль тебя, несчастный Сократ, хотя, между нами сказать, ты действительно заслужил свою участь... Не раз в кругу своей семьи я сам говаривал, что давно бы пора прекратить рассеиваемое тобою нечестие, ибо...

— Постой, друг. Кажется, ты имел в виду какое-то заключение, и я боюсь, что ты свернул с прямого пути.

Скажи, добрый человек, куда клонится твоя нетвердая мысль?

— Я хотел сказать, что, по своей доброте, я все-таки тебя жалею. Месяц назад я и сам немало кричал в собрании, но поистине никто из нас, кричавших, не желал для тебя такой крупной неприятности. Теперь тем более, поверь, мне жаль тебя, несчастный философ!..

— Благодарю тебя. Однако, товарищ, скажи: в глазах твоих светло?

— О нет, передо мной такая тьма, что я спрашиваю себя: не это ли туманные области Орка?

— Значит, для тебя путь этот так же темен, как и для меня.

— Это верно.

— Если не ошибаюсь, ты даже держишься за полу моего плаща?

— И это правда.

— Но тогда мы оба в одинаковом положении. Ты видишь, предки не спешат насладиться рассказом о твоем похоронном торжестве, а боги, за которых ты на меня так сердился, думают о тебе так же мало, как и обо мне. Где же разница между нами, мой добрый товарищ?

— Но, Сократ, неужели боги помрачили твой рассудок настолько, что тебе не ясна эта разница?

— Друг, если тебе твое положение яснее, тогда дай мне руку и веди меня, ибо, клянусь собакой [1], ты предоставляешь именно мне идти вперед в этой тьме...

— Оставь шутки, Сократ! Оставь твои шутки и не равняй себя (потому что ведь ты безбожник) с человеком, умершим на своей собственной постели...

— А, кажется, я начинаю понимать тебя... Скажи мне, однако, Елпидий: надеешься ли ты, что будешь пользоваться твоею постелью еще когда-либо?

— Увы! не думаю.

— И было такое время, когда ты не спал на ней?

— Было... до того самого дня, когда я купил ее у Агезилая за половинную цену. Вот видишь ли... Этот Агезилай, хоть и порядочный мошенник...

— Оставим Агезилая. Быть может, он торгует ее теперь у твоей вдовы за четверть цены. Не прав ли я, однако, когда говорю, что эта постель находилась лишь во временном твоем владении?

— Согласен.

---

[1] Обычная клятва Сократа. *(Примеч. В. Г. Короленко.)*

— Но ведь и та постель, на которой я умер, тоже находилась в моем временном владении. Ее дал мне на время добрый Протис, тюремный сторож.

— А! если б я знал, к чему ты склоняешь речь, я не стал бы отвечать на твои коварные вопросы. Ну, слыхано ли, о Геракл, подобное нечестие: он равняет себя со мною! Но ведь я мог бы уничтожить тебя, если на то пошло, двумя словами...

— Произноси их, Елпидий, произноси без страха. Едва ли можно уничтожить меня словами больше, чем это сделала цикута...

— Ну вот! Это-то я и хотел сказать. Несчастный, ты умер по приговору суда, от цикуты!

— Друг! Я это знал с самого дня смерти и даже значительно ранее. А ты, о счастливый Елпидий, скажи мне, отчего ты умер?

— О, я совсем другое дело! У меня, видишь ли, сделалась водянка в животе. Был позван дорогой врач из Коринфа, который взялся вылечить меня за две мины и половину получил в задаток... Боюсь, что, по неопытности в этих делах, Ларисса, пожалуй, отдаст ему и другую половину...

— Судя по тому, что я вижу, врач из Коринфа не сдержал своего обещания?

— Это правда.

— И ты умер именно от водянки?

— Ах, Сократ, поверишь ли: она принималась душить меня три раза, пока не залила наконец огонь моей жизни!..

— Скажи же мне: смерть от водянки доставила тебе большое наслаждение?

— О, злой Сократ, не смейся надо мной! Говорю же тебе: она принималась душить меня три раза... Я кричал, как бык под ножом мясника, и молил Парку поскорее перерезать нить, связывающую меня с жизнью...

— Это меня не удивляет. Но тогда, добрый Елпидий, откуда ты заключаешь, что водянка сделала свое дело лучше, чем цикута, которая покончила со мной в один раз?

— Вижу, что опять попался в твою западню, лукавый нечестивец! Не стану больше гневить богов, разговаривая с тобою, нарушителем священных обычаев.

И оба замолчали, и было тихо. Но спустя немного Елпидий заговорил первый:

— Что же ты смолк, добрый Сократ?

— Друг, не ты ли сам настойчиво просил об этом?

— Я не горд и умею относиться снисходительно к людям хуже меня. Оставим ссору!

— Я не ссорился с тобою, друг Елпидий, и, поверь, не хотел сказать тебе ничего неприятного. Я привык только познавать вещи посредством сравнения. Мне неясно мое положение. Свое ты считаешь лучшим, и я был бы рад узнать — почему. В свою очередь и тебе, быть может, не лишне было бы узнать истину, какова бы она ни была.

— Ну-ну, оставим это!.. Скажи, ты не боишься?

— Не думаю, чтобы чувство, которое я теперь испытываю, следовало назвать страхом.

— А я чувствую именно страх, хотя, сказать по правде, у меня меньше поводов к ссоре с богами, чем у тебя. Не кажется ли тебе, однако, что, оставляя нас здесь, на волю хаоса и собственных усилий, боги обманули наши ожидания?

— Это зависит от того, каковы были ожидания... Чего же ты ждал от богов, друг Елпидий?

— Чего ждал, чего ждал!.. Странные вопросы предлагаешь ты, Сократ!.. Если человек приносит в течение своей жизни жертвы, умирает в благочестии своею смертию, если его хоронят со всеми обрядами, то можно бы, кажется, послать кого-нибудь ему навстречу... Если уж Гермес занят чем-нибудь более важным,— то хоть кого-нибудь из незначительных богов, для указания пути... Правда, совесть указывает мне на одно обстоятельство... Видишь ли: много раз обещал я Гермесу тельцов, прося удачи в торговле кожами, и...

— Удачи тебе не было?

— Удача была, добрый Сократ, но...

— Понимаю,— не оказалось теленка.

— Ах, Сократ, ну, могло ли не быть какого-нибудь теленка у богатого кожевника?

— Теперь я понимаю: была и удача, и теленок, но ты оставлял их себе, Герму же не досталось ничего.

— Ты умный человек, я это говорил много раз... Увы, свои обеты я исполнял не более трех раз из десяти и с другими богами поступал не лучше, чем с Гермесом. Если и с тобой, как я думаю, случалось что-либо подобное, то не в этом ли причина, что мы теперь оставлены оба?.. Правда, я приказал Лариссе принести после моей смерти целую гекатомбу...

— Но ведь это уже Ларисса, друг Елпидий, а обещание дано тобою.

— Это правда, это правда... Ну, а ты, добрый Сократ? Неужели ты, безбожник, поступал в отношении богов лучше меня, богобоязненного кожевника?

— Друг! не знаю, лучше ли я поступал или хуже. Прежде я приносил жертвы, не давая обетов, а в последние годы я не давал ни тельцов, ни обещаний...

— Как, несчастный, ни одного теленка?

— Да, друг, если бы Герму пришлось питаться одними моими приношениями, боюсь, он бы сильно отощал...

— Понимаю! Ты не занимался торговлей скотом и приносил ему от предметов другого промысла. Может быть, мину, другую из платы твоих учеников?

— Друг, ты знаешь, что я не брал платы с учеников, а промысла едва хватало на собственное прокормление. Если бы боги рассчитывали на остатки от моей суровой трапезы, они сильно обманулись бы в расчетах.

— О нечестивец! Перед тобой и я могу похвалиться святостью. Посмотрите, боги, на этого человека! Правда, я иногда обманывал вас, но порой все-таки делился с вами излишками удачной торговли. Дает много дающий что-нибудь в сравнении с нечестивцем, который не дает ничего! Знаешь что: ступай себе один. Боюсь, как бы общество подобного тебе безбожника не повредило мне во мнении богов.

— Как хочешь, добрый Елпидий. Клянусь собакой, никто не должен насильно навязывать свое общество другим. Отпусти полу моего плаща и прощай. Я пойду один.

И Сократ пошел вперед, все так же твердо, хотя и исследуя на каждом шагу почву. Но Елпидий тотчас же закричал ему вслед:

— Погоди, погоди, мой добрый согражданин, и не оставляй афинянина одного в таком ужасном месте! Я только пошутил, прими мои слова в шутку и перестань торопиться. Я удивляюсь, как можешь ты видеть что-нибудь в такой кромешной тьме.

— Друг, я приучил свои глаза.

— Это хорошо. Однако я не могу похвалить тебя за то, что ты не приносил жертвы богам. Нет, не могу, бедный Сократ, не могу! Наверное, почтенный Софрониск не тому учил тебя смолоду, и ты сам, я видел это, прежде участвовал в молениях.

— Да. Но я привык исследовать разные основания и принимать только те, которые, после исследования, оказывались разумными... Итак, пришел день, в который

я сказал себе: Сократ, вот ты поклоняешься олимпийцам. За что же именно ты им поклоняешься?

Елпидий засмеялся.

— Вот это так! Право, вы, философы, не находите порой ответов на самые простые вопросы. А вот я, простой кожевник, никогда в жизни не занимавшийся софистикой... и, однако, я знаю, почему следует почитать олимпийцев.

— Скажи же, друг, поскорее, пусть и я узнаю от тебя — почему?

— Почему? Ха-ха-ха! Но ведь это так просто, мудрый Сократ.

— Чем проще, тем лучше. Но только не скрывай от меня твоего знания. Итак, почему следует чтить богов?

— Почему?.. Да ведь все делают это...

— Друг! ты знаешь хорошо, что не все. Не вернее ли сказать: многие?

— Ну, пусть многие...

— Но скажи мне, не большее ли количество людей делают зло, чем добро?

— Думаю, что это правда: зло встречается чаще.

— Итак, надлежит делать зло, а не добро, следуя за большинством?

— Что ты говоришь?

— Не я, ты сам говоришь это, я же думаю, что множество преклоняющихся перед олимпийцами не есть еще основание, и нам нужно поискать другого, более разумного. Быть может, ты находишь их заслуживающими уважения?

— Это вот верно.

— Хорошо. Но тогда новый вопрос: за что же именно ты уважаешь их?

— За их величие, это ясно.

— Пожалуй... И я, может быть, скоро соглашусь с тобой. Мне остается только узнать от тебя, в чем состоит величие... Ты затрудняешься? Поищем же ответа вместе. Гомер говорит, что буйный Арей, ниспровергнутый камнем Паллады-Афины, покрыл своим телом семь десятин.

— Вот видишь, какое огромное пространство!

— Итак, в этом величие?.. Но, друг, вот опять недоумение. Не помнишь ли атлета Диофанта? Он выделялся целою головой из толпы, а Перикл был не выше тебя. Кого, однако, мы называем великим, Перикла или Диофанта?

— Я вижу, что величие действительно не в громадности.

— Да, величие — не громадность, это правда. Я рад, что мы кое в чем уже с тобой согласились. Быть может, оно в добродетели?

— Конечно!

— Я опять думаю то же. Теперь скажи, кто же перед кем должен преклониться: меньший ли перед большим или, наоборот, более великий в добродетели должен преклониться перед порочным?

— Ответ ясен.

— Думаю. Теперь пойдем дальше: скажи мне по совести, убивал ли ты стрелами чужих детей?

— Конечно, никогда! Неужели ты думаешь обо мне так дурно? Я не разбойник.

— И не соблазнял, надюсь, чужих жен?

— Я был честный кожевник и хороший семьянин!.. Не забывай этого, Сократ, прошу тебя!

— Значит, ты не обращался в скота и своею похотливостью не давал верной Лариссе поводов мстить соблазненным тобою женщинам и ни в чем не виновным детям?

— Право, ты меня сердишь, Сократ.

— Но, быть может, ты отнял наследство у родного отца и заключил его в темницу?

— Никогда!.. Но к чему эти обидные вопросы?

— Погоди, друг. Может быть, мы как-нибудь и придем вместе к какому-либо заключению... Скажи, считал ли бы ты великим человека, который сделал все, что я сейчас перечислил?

— Ну, нет, нет! Я назвал бы такого человека негодяем и обвинил бы его публично перед судьями на площади.

— Ну, Елпидий, почему же ты не обвинял на площади Зевса и олимпийцев? Кронид воевал с родным отцом и распалялся скотскою похотью к смертным, а Гера мстила невинным девам, потерпевшим насилие от ее супруга... Не они ли вдвоем обратили несчастную дочь Инаха в жалкую корову? Не Аполлон ли убил стрелами всех детей Ниобеи, а Каллений не воровал ли быков?.. Итак, Елпидий, если правда, что менее добродетельный должен оказывать почтение большему в добродетели, то ведь не ты олимпийцам, а они тебе должны воздвигать алтари.

— Не богохульствуй, нечестивый Сократ, перестань! Тебе ли судить богов?

— Друг, их осудило нечто высшее. Исследуем вопрос: какой признак божества? Ты, кажется, сказал: величие,

состоящее в добродетели. Не это ли же самое — единственная божественная искра в человеке? Но если ничтожною человеческою добродетелью мы измерили величие богов и мерило оказалось больше измеряемого, то отсюда следует, что само божественное начало осудило олимпийцев. Но тогда...

— Что тогда?

— Тогда, добрый Елпидий, они — не боги, а обманчивые призраки. Не так ли?

— Вот к чему приводит разговор с вами, босоногие философы! Я вижу теперь, что о тебе говорили правду: ты и видом, и всем другим походишь на рыбу-торпиль, которая своим взглядом околдовывает человека. Так же околдовал ты меня лишь затем, чтобы породить в душе моей, твердой в вере, недоумение и колебание. Вот уже в моем уме пошатнулось уважение к Зевесу... Ну, нет, говори же теперь один,— я не стану отвечать!

— Не сердись, Елпидий, я не желаю тебе зла. Если же ты устал следить за правильностью умозаключений, то позволь рассказать тебе притчу об одном милетском юноше. Ум отдыхает на притчах, а между тем и отдых бывает не бесплоден.

— Говори, если твой рассказ не очень длинен и имеет в виду хорошее нравоучение.

— Он имеет в виду истину, друг Елпидий, и я постараюсь его сократить:

— Видишь ли, когда-то, в древние времена, Милет подвергся нападению варваров. В числе юношей, уведенных в плен, был один отрок, сын мудрейшего и лучшего из всех граждан страны. Дорогой ребенок впал в сильную болезнь и был брошен в беспамятстве, как негодная добыча.

Глубокою ночью пришел он опять в себя. Высоко над ним мигали звезды, кругом расстилалась пустыня, а вдали раздавались хищные крики зверей. Он был один...

Он был совершенно один, и, кроме того, боги отняли у него память всех событий его предыдущей жизни. Тщетно он напрягал свой ум,— в нем было так же темно и пусто, как в этой неприветливой пустыне. И только где-то, за далью туманных и неясных образов, стояла мечта об оставленной родине. В этой светлой стране чудился ему образ лучшего из всех людей, и тогда в сердце звучало слово: «Отец!..» Не находишь ли ты, что судьба этого юноши напоминает судьбу всего человечества?

— Как это?

— Не так же ли мы просыпаемся к жизни на этой земле со смутным воспоминанием о другой родине?.. И не мелькает ли у нас в душе великий образ неведомого?..

— Продолжай, Сократ. Это, кажется, поучительно. Я слушаю.

— Ободренный юноша поднялся на ноги и пошел нетвердыми шагами, избегая опасностей. После долгого пути, когда, казалось, последние силы готовы были изменить ему, он увидел в туманной дали огонь, который освещал тьму и разгонял холод. В усталую душу вступила тогда кроткая надежда. Воспоминания об отчем крове ожили, и юноша пошел на огонь с криком: «Это ты, это ты, отец мой!»

— Это и был дом отца?

— Нет, это была стоянка диких кочевников... Много лет после того он вел жалкую жизнь пленного раба, мечтая о далекой родине, об отдыхе на родной груди отца. Порой нетвердая рука его пыталась вызвать неясный образ из мертвой глины, дерева или камня. Бывали даже минуты, когда, усталый, он обнимал собственное произведение, поклонялся ему и орошал его слезами. Однако камень оставался холодным камнем, и, вырастая, юноша разбивал свои изделия, которые казались ему уже жалким оскорблением его заветной мечты.

Наконец судьба привела скитальца к доброму варвару, который спросил его о причине его всегдашней грусти. Когда юноша доверил ему тоску и надежды своей души, варвар, человек мудрый, сказал:

— Мир был бы лучше, если бы в нем была такая страна и тот, о котором ты говоришь. Но по какому же признаку узнаешь ты отца своего?

— В моей стране,— ответил юноша,— чтили мудрость и добродетель, а отца моего все признавали учителем.

— Хорошо,— ответил варвар.— Надо думать, что и в тебе есть зерно его учения. Итак, возьми же посох и иди рано в путь. Ищи совершенной мудрости и правды, и если найдешь их, сложи свой посох,— это будет твоя родина и твой отец...

И юноша рано на заре пустился в дорогу...

— Он нашел, кого искал?

— Он ищет его до сих пор. Он узнал много стран, много городов, много людей. Он изучил земные пути, переплыл бурные моря, исследовал тропы светил, указую-

щих пути в безбрежных пустынях. И всякий раз, когда в трудном пути, в темноте ночи, глазам его являлся приветный огонь, сердце его билось сильнее, и в душе вставала надежда. «Это приют в доме отца моего!» Когда же радушный хозяин предлагал истомленному страннику привет, благословение и отдых у своего очага, то растроганный юноша припадал к его ногам и говорил: «Благодарю тебя, отец мой! Не узнаешь ли ты своего пропавшего сына?»

И многие готовы были усыновить его, потому что в те времена похищения детей были часты... Но после первых восторгов юноша начинал замечать в воображаемом отце следы несовершенства, а иногда и пороков. Тогда он начинал исследовать и искушать, приставая к нему со своими вопросами о правде и неправде... И его скоро прогоняли из-под гостеприимного крова на труд и холод нового пути. Не один раз говорил он себе: «Останусь у этого последнего очага, сохраню эту последнюю веру. Пусть будут они мне вместо отеческого крова...»

— Знаешь что: это, пожалуй, было бы всего благоразумнее, Сократ.

— Порой он думал, как и ты. Но привычка к исследованию и смутная мечта о родном отце не давали ему покоя. И опять отряхал он прах от своих ног, и опять брал страннический посох, и не всегда бурная ночь заставала его под кровлей... Не находишь ли ты, что судьба юноши опять напоминает судьбу человеческого рода?

— Почему?

— Не так же ли род людской заменяет детскую веру испытанием и сомнением? Не так же ли творит он сам образ неведомого из дерева, камня, из обряда и предания, из вдохновенной песни поэта и из догадок мудреца?.. И потом находит этот образ несовершенным и разбивает его, чтобы опять удалиться в пустыню сомнений... И все для того, чтобы искать лучшей веры, все выше и выше... И не суждено ли роду земному искать, все возвышаясь бесконечно, потому что и неведомый есть бесконечность!..

— О, лукавый мудрец, о, рыба-торпиль! Я понимаю теперь, к чему ведет твоя притча!.. Ну, так я скажу тебе прямо: пусть только мелькнет свет в этой тьме, и ты увидишь, стану ли я искушать хозяина ненужными вопросами и сомнениями?

— Друг, свет уже мелькает,— ответил Сократ.

V

Казалось, слова философа должны были оправдаться. Где-то высоко, за дымною пеленой, скользнул далекий луч и исчез в горных пределах. За ним другой, третий... Казалось, там, за пределами тьмы, реют какие-то светлые гении, свершается великая тайна, чье-то чудится живое дыхание, готовится какое-то великое торжество.

Но это было далеко. А над землей тени сгущались, клубились дымные тучи, свиваясь и развиваясь, перегоняя друг друга без конца и перерыва...

Синий огонь упал с отдаленной вершины в глубокую пропасть, и тучи поднялись выше, покрывая небо до самого зенита.

А лучи уходили все дальше и дальше, как будто им не было дела до этой мрачной и затененной равнины.

Сократ стоял, следя за ними грустным взглядом. Елпидий со страхом смотрел на вершину.

— Посмотри, Сократ, что видишь ты там на горе?

— Друг,— ответил философ,— исследуем положение. Так как земная жизнь должна иметь пределы, то думаю, что предел этот на рубеже двух начал: в борьбе света и тьмы венец наших усилий. А так как у нас не отнята способность мышления, то думаю, что божеству, давшему жизнь нашей мысли, угодно, чтобы мы исследовали самые пределы наших стремлений. Итак, Елпидий, приготовимся достойным образом встретить зарю позади этих туч...

— О, добрый товарищ! Если такова заря, то я предпочел бы, чтобы вечно длилась прежняя безотрадная, долгая, но спокойная ночь... Не находишь ли ты, что время проходило у нас сносно в поучительной беседе? А теперь душа содрогается перед надвигающеюся грозой. Нет, что ни говори, а там, впереди, не простые тени безжизненной ночи... Вот еще одна Зевсова стрела метнулась в бездонную пропасть...

Ктезипп посмотрел на вершину, и ужас сковал его душу. Великие мрачные образы олимпийцев теснились, венчая гору, загораживая дорогу. Последний луч скользнул еще раз поверх туманных нимбов и умер, как слабое воспоминание. И ночь с надвигающеюся грозой воцарилась безраздельно, а темные образы заняли все небо... В середине, с головой, увенчанною нимбом, увидел Ктезипп могучего Кронида. Кругом толпились гневные фигуры старших богов, смятенные и в мрачном движении. Как стаи птиц, летящие в вечернюю даль, как пыль, взметае-

мая ураганом, как осенние листья, гонимые techбореем, реяли длинною тучей бесчисленные меньшие божества народной веры, заполняя пространство...

Когда же тучи двинулись с вершины и мрачный ужас ринулся перед ними, обвеивая землю, Ктезипп упал ниц: он признавался впоследствии, что в эту страшную минуту он забыл все выводы и все заключения, так как душа его умалилась и над ней властно пронесся страх...

Он только слушал.

Два голоса звучали там, где молчала перед бурей вся оцепеневшая природа. Один — могучий и грозный голос божества, другой — был слабый голос человека, приносимый ветром со склона горы, где Ктезипп оставил Сократа.

— Ты ли,— говорил голос из тучи,— дерзкий Сократ, надменный разумом, боровшийся с богами земли и неба? Не было бессмертных веселее и светлее нас, олимпийцев,— теперь давно уже проводим мы свои дни в сумерках от неверия и сомнений, воцарившихся на земле... Однако никогда еще эти туманы не сгущались так сильно, как с тех пор, когда среди любезных некогда Афин послышалось ненавистное слово твое, сын Софрониска. Почему не следовал ты заветам отца твоего? Добрый Софрониск позволял себе, особенно в молодые годы, небольшие кощунства, но все же не один раз запах его жертв радовал наше обоняние...

— Остановись, Кронид,— сказал Сократ,— и разреши мое недоумение: итак, малодушное лицемерие предпочитаешь ты исканию истины?

Вслед за этим вопросом скалы дрогнули от громового удара. Первое дыхание грозы промчалось и стихло в дальних ущельях, но склоны горы все еще дрожали, потому что все еще дрожал от гнева восседавший на ее вершине... А в пугливой тишине сгустившейся ночи слышались только дальние стоны. Казалось, это в самом сердце земли стонали от удара Кронида скованные титаны...

— Где ты теперь, дерзкий вопрошатель? — раздался насмешливый голос олимпийца.

— Я здесь, Кронид, здесь, на том же самом месте, и только твой ответ подвинет меня дальше. Я жду.

Гром заворчал в туче, как дикий зверь, удивленный бесстрашием ливийца-укротителя, когда он безоружный подходит к нему с ясным взглядом. И через несколько мгновений голос прошумел вновь над равниной:

— О, сын Софрониска! Не довольно ли тебе, что на земле ты расплодил столько сомнений, что даже здесь, на

Олимпе, они окружили нас темными облаками! Поистине иные дни, когда ты беседовал на площадях, в академиях или в публичных раздевальнях,— нам казалось, что ты разрушил уже на земле все алтари и что это пыль от развалин несется к нам в горния... Тебе мало: ты и здесь перед лицом моим, не признаешь власти бессмертных...

— Зевс, ты сердишься. Скажи, кто дал мне то гениальное, что тревожило всю жизнь мою душу, побуждая меня неустанно стремиться к истине?

В туче царствовало таинственное безмолвие.

— Не ты ли? Ты молчишь. Итак, я исследую дело. Или это божественное начало дано тобою, или другим. Если оно дано тобою, то тебе же я несу его в дар, как созревший плод моей жизни, как пламя от зароненной тобою искры. Смотри, Кронид, я сохранил твой дар; в лучшем углу моего сердца я взрастил твое семя. Вот он, огонь моей души, который горел в горькую минуту, когда я собственной рукой обрезывал нить моей жизни. Отчего же ты не примешь его, зачем ты сердишься, как плохой наставник, которому старость мешает разглядеть, что отрок-ученик чертит на послушном воске его собственные повеления?.. Кто же ты, приказывающий мне погасить священный огонь, освещавший мою жизнь с тех пор, как в нее проник первый луч святой мысли? Солнце не говорит звездам: «Угасните, чтобы мне взойти». Оно всходит, и слабое сияние звезды утопает в свете бесконечно сильнейшем. День не говорит факелу: «Погасни,— ты мне мешаешь». Он разгорается, и факел дымит, но не светит. Божество, к которому я иду,— не ты, боящийся сомнений. Он, как день, он, как солнце, светит сам, не угашая ничьего света. Тот, который скажет мне: «Странник, дай мне твой факел, он не нужен тебе больше, потому что я — источник всякого света...» Тот, кто скажет: «Сложи на моем алтаре слабый дар твоих сомнений, потому что во мне разрешение...» Вот мой бог, которого я ищу! Если это ты, то прими мои вопросы. Никто не убивает своего детища, а мои сомнения — порождение вечного духа, которому имя — истина!

Темные тучи разорвались от края и до края небесными огнями, и в криках бури опять раздался могучий голос:

— К чему вели твои сомнения, надменный мудрец, отринувший смирение, лучшее украшение земных добродетелей? Ты оставил приютный кров простодушной веры, чтобы вступить в пустыню сомнений. Ты видел его,— этот мертвый простор, оставленный живыми богами. Тебе ли одолеть его, ничтожному червю, ползающему в прахе свое-

го жалкого отрицания? Тебе ли оживить мир, тебе ли постигнуть неведомое божество, которому ты не умеешь молиться? Ничтожный мусорщик, запачканный пылью разрушенных алтарей,—ты ли тот зодчий, которому суждено воздвигать новые храмы? На что же надеешься ты, отринувший старых богов и не знающий нового? Вечная ночь неисходных сомнений, мертвая пустыня, лишенная живого духа,— таков ваш мир, жалкие черви, истачивающие живую веру, прибежище простых сердец, вселенную обратившие в мертвый хаос... Что же?.. Где ты теперь, ничтожный и дерзкий мудрец?

Буря одна властно гремела на просторе... Потом стихли громы, ветер смежил свои крылья, и только потоки дождя лились во мгле, точно обильные, неудержимые слезы, готовые поглотить землю, покрыть ее потоком неутомимой скорби...

И Ктезиппу казалось, что они поглотили учителя, что навсегда уже смолк бесстрашный голос, привыкший к неустанным вопросам. Но через минуту он раздался снова на том же месте:

— Слова твои, Кронид, попадают лучше твоих громов. Ты бросил в смущенную душу то, что давно уже не раз звучало в моем сердце, и каждый раз оно изнемогало под бременем невыносимой скорби. Да, я оставил приютный кров, где царила простодушная вера; да, я видел ее, пустыню, лишенную живых богов, окутанную ночью непроглядных сомнений. Но я бесстрашно вступил в нее, потому что мне светил мой гений, божественное начало всякой жизни. Исследуем вопрос: не во имя ли того, кто дает жизнь, курятся фимиамы на твоих алтарях? Ты — похититель чужого: не тебе, а ему поклоняется простодушная вера, но не его ли также ищет неусыпающее сомнение? Да, я не зодчий, я не создатель нового храма, не мне было суждено на старом месте поднять от земли к небу величавое здание грядущей веры. Я — мусорщик, запачканный пылью разрушения. Но, Кронид, совесть говорит мне, что и работа мусорщика нужна для будущего храма. Когда на расчищенном месте стройно и величаво воздвигнется чудное здание и в нем воцарится живое божество новой веры, я, скромный мусорщик, приду к нему и скажу: «Вот я, без устали ползавший в прахе отрицания. Окруженному туманом и пылью, мне некогда было поднять глаза от земли, в моем уме лишь слабо рисовалась мечта бу-

дущего созидания... Отринешь ли ты меня, праведный, истинный и великий?..»

В туче царило удивленное молчание, а Сократ возвысил голос и продолжал:

— Солнечный луч падает на грязную лужу, и легкий пар, оставив на земле грязные части, тяжелые и бренные, тянется к светлому Гелиосу и тает, растворяясь в эфире. Ты тронул своим лучом мою грязную душу, и она устремилась к тебе, неведомый, чье имя — Тайна... Я искал тебя, потому что ты в истине, я стремился к тебе, потому что ты в справедливости, я любил тебя, потому что ты в любви, для тебя я умер, потому что ты — источник жизни... Неужели ты отринешь меня, неведомый? Мои тяжкие сомнения, мои жгучие искания, мою трудную жизнь, мою вольную смерть — прими их, как бескровную жертву, как одну молитву, как вздох о тебе, как летучую струйку бренного пара принимает безграничный океан чистого эфира. Прими их ты, которого я не знаю имени, не дай туманным призракам умершей веры заградить мой путь к твоему вечному свету... Уступите же с дороги, мглистые тени, заграждающие свет зари! Я говорю вам, боги моего народа: вы неправедны, олимпийцы, а где нет правды, там и истина — только призрак. К такому заключению пришел я, Сократ, привыкший исследовать разные основания.

Итак, расступись же, мертвый туман, я иду своею дорогой к тому, кого искал всю мою жизнь...

Я иду . . . .

Гром загремел, но короткий, отрывистый, как будто эгид выпал из ослабевшей руки громовержца. Голоса бури, колеблясь, ринулись по уступам гор, прошумели в теснинах и, удаляясь, замирали в ущельях. И на их месте слышались иные, неведомые, чудные звуки.

Когда Ктезипп открыл изумленные глаза, перед ним встало невиданное зрелище. Ночь уходила, тучи рассеялись. Тени богов быстро неслись по лазури, точно золотой узор на краях чьей-то ризы. Другие мелькали по дальним уступам и ущельям, и Елпидий, маленькая фигура которого виднелась над расщелиной, простирал к ним руки, как бы умоляя исчезающих о решении судьбы.

А вершина горы уже вся вышла из таинственных облаков и сияла, как факел, над синею мглой долин. И хотя не было на ней ни громовержца Кронида, ни других олимпийцев, только горная вершина, свет солнца и высокое небо, но Ктезипп ясно чувствовал, что вся природа до

последней былинки проникнута биением единой таинственной жизни. Чье-то дыхание слышалось в ласкающем веянии воздуха, чей-то голос звучал чудною гармонией, чьи-то чуялись невидимые шаги в торжественном шествии сияющего дня. И еще человек стоял на освещенной вершине и простирал руки в молчаливом восторге и могучем стремлении.

Мгновение — и все исчезло, и сияние обыкновенного дня показалось проснувшейся душе Ктезиппа жалкими сумерками в сравнении с улетевшим ощущением природы, проникнутой веянием единой, неведомой жизни.

. . . .

В глубоком молчании выслушали ученики погибшего философа странный рассказ Ктезиппа. Платон первый прервал молчание.

— Исследуем,— сказал он,— сон и его значение.

— Исследуем,— ответили остальные.



ЦАРЕВИЧ АЛЕКСЕЙ

I

Среди зимы 1716 года в Петербурге заговорили о сильном разладе между царем Петром и его единственным сыном.

Грозная «сиверка» Петра готовилась, как все ожидали, разразиться над царевичем Алексеем. Овдовев с осени, сам царевич между тем продолжал мирно и тихо жить в небольшом дворце, выстроенном к его свадьбе на Неве, близ Литейной, по-видимому, не очень беспокоясь даже о том, что отец при встречах перестал с ним говорить. Кстати же, траур давал ему возможность вовсе не появляться на торжественных приемах отца и ассамблеях вельмож, а дома у себя, боясь смотрельщиков отца, он не принимал почти никого.

Крытый тесом, в двенадцать окон по улице, с антресолями и обширным садом на Неву, деревянный, на высоком каменном фундаменте, дворец царевича был на Шпалерной, против нынешней церкви Всех Скорбящих Радости. В глубине двора, вдоль сада, шли разные службы, избушки, боковуши, сарайчики и склады, и возвышалась церковь. У крыльца на улице стоял караул. Комнаты были убраны уютно и со вкусом: стены — в кожаных, с позолотой, обоях, зеркала — в фигурчатых фарфоровых рамах, с потолков приемной и столовой висели хрустальные люстры, а мебель обтянута цветным сукном и штофом. Все это, впрочем, как и ковры, занавеси окон и столовая посуда, было свадебным подарком, присланным покойной жене царевича от ее сестры, жены австрийского императора. Скупой и неприхотливый царь, глядя на эту обста-

новку, морщился. «Денег-то убито сколько, денег!» — думал он при этом, неохотно посещавший сына и при жизни покойной кронпринцессы.

Вверху, на антресолях, с гофмейстериною, кормилицей и нянями, жили дети царевича. Внизу помещался он сам. Его кабинет, двумя окнами выходивший в сад и одним на угол улицы, был расположен между приемною и спальней. Еловый вощеный пол кабинета, у письменного стола, был покрыт бухарским ковром, перед софой и креслами — медвежьим мехом. На стенных полках лежало несколько немецких, французских, польских и церковных русских книг. В углу комнаты, возле окна, стоял небольшой голландский клавесин, а на стене, над ним, висела небольшая семиструнная лютня.

Было утро двадцать пятого января.

Солнце ярко светило в разрисованные морозом окна кабинета. У письменного стола, на обитом черною кожей кресле, откинувшись на его высокую спинку, сидел худощавый и бледный, выше среднего роста, лет двадцати шести-семи, человек. Он был в шелковом сером кафтане, в черных шерстяных чулках и башмаках с серебряными пряжками. Темно-каштановые, слегка напудренные его волосы длинными завитками падали на узкие плечи. Большие, черные глаза неподвижно были устремлены на стол, на котором стоял раскрытый, отделанный слоновою костью и сафьяном, ларец. То был царевич Алексей.

Давно молодой камердинер поставил перед ним, возле ларца, поднос с кофе, сливками и булкой. Он несколько раз неслышно отворял дверь из гардеробной и смотрел из-за кресла, качая головой. Кофе простыл; до него не касались.

Царевич более часа сидел, задумавшись и не помня, где он и что с ним. Он знал одно, что в последнее время сильно прогневил отца и что стал у него в явной и полной опале, а как и чем он прогневил его, об этом он боялся и избегал думать. День и ночь его мысли были далеко. В памяти проносились годы его детства, жизнь в Москве, потом в Измайловском, когда он жил на глазах матери.

Где эти счастливые годы и где мать? Не вернуть их. Она насильно пострижена, томится в монастыре, а у отца, при живой жене, другая, бывшая пленная немка. Тяжело было ребенку без матери. По девятому году его хотели отправить учиться в чужие края, в Дрезден, но это не состоялось. Четырнадцати лет он был уже в рядах нового войска, в преображенском мундире; по семнадцато-

му году ему поручили возведение укреплений Москвы, в ожидании шведов. Его обучали точить, чертить, французскому и немецкому языку и арифметике; возили его по воинским и корабельным делам то в Смоленск и Сумы, то в Воронеж, Севск и Ярославль,— в бой под Полтаву, однако, не взяли.

Девятнадцати лет Алексея, по болезни, отправили за границу, в Карлсбад. «Не остаться ли здесь навсегда? — подумал он в то время, охваченный волей, любуясь дивными видами и правами чужих краев.— Но расстаться с родиной?.. Да что там и хорошего на этой родине,— деньденьской возня и сутолока, воинские смотры и парады, спуски кораблей, постройки,— ни на час отрадного, тихого отдыха... а там выберут тебе иноземную принцессу, о которой не гадал и не думал, и насильно женят. Нет, лучше остаться тут простым, вольным человеком!..»

Мечты царевича не сбылись. По двадцатому году ему посватали в невесты принцессу Шарлотту Вольфенбютельскую. Она показалась ему «человек добр», и через год он женился на ней, в Саксонии, в Торгау. Ему грезилось счастливо пожить с женой, но и это ему не удалось. Вскоре потребовали его от жены в корпус Меншикова, под Штетин, и он пробыл там всю весну и лето, а осень и зиму в Мекленбурге, откуда, по воле отца, отправился с мачехой в Петербург и хоть по дороге думал встретиться с женой, бывшей все еще в чужих краях, но и здесь не видел ее. В следующем году сама жена прибыла в Петербург и снова неудачно,— царевич находился в то время при войске, в Або; через месяц он возвратился из похода, но опять его поспешно услали, для надзора за корабельными работами, в Ладогу.

В таких-то постоянных разъездах и мыканьях шли первые годы семейной жизни царевича. Согласия и лада с иноплеменкою женой, не знавшею ни слова по-русски и окруженною собственным двором, не было и быть не могло. Выходили частые ссоры; царевича содержали скудно. От огорчений он снова захворал и вторично был послан на излечение за границу. Наблюдательный ум его нашел там немало пищи для размышления и сравнений родного гнета с чужеземными порядками и льготами. В Карлсбаде, Франкфурте и Берлине он накупил немецких, французских и польских книг, философские трактаты Барония, Де-Лявальер и Ла̀рима, басни Езопа и другие. Полюбив, благодаря жене, музыку, он посещал духовные и светские концерты и следил по курантам за церковными и об-

щественными событиями. По собственному благочестию, прочтя когда-то пять раз подряд Библию по-славянски и творения св. отцов, он теперь ознакомился с книгой *Манна небесная* Дрекселя, с рассуждениями «об истинной правде», о том, «как скоро ученым себя сделать», «как без болезни жить» и проч.

На родину царевич возвратился здоровый, но еще более настроенный против дел, убеждений и стремлений отца. Да и как ему было сочувствовать отцу? Их нравы были совершенно чужды и даже противоположны друг другу.

Добрый, мягкий сердцем, щедрый и впечатлительный, царевич походил не на отца, а на тезку-деда — «тишайшего царя» Алексея Михайловича, и отчасти на дядю, отцова брата, царя Федора Алексеевича. Суеверный и набожный, как дед, он был не прочь от занятий нетрудными делами, предпочитал изучению неголоволомное чтение и умные разговоры, не отвергая пользы от образования и изучения языков. Подобно же дяде, царю Федору, он был подозрителен, слаб волею, скрытен и осторожен до трусости. Вставая поздно, за всякое, порученное отцом, дело брался неохотно и вяло. Огненный, не знавший покоя и удержу, нрав непоседы-отца не выносил обычаев сына. Он осыпал его укоризнами, стыдил наедине и при других, но все укоры шли мимо. Сын не любил отца и как тирана своей матери, а сознавая, что нет более тяжких мук, как требование изменить, переломить врожденный нрав, питал к нему только недоброжелательство и страх.

Уклоняясь, под разными предлогами, от зова на отцовские смотры войск и верфей, свои домашние досуги он проводил за беседой и тихой, хотя подчас и более знатной, выпивкой с близкими приятелями, с которыми, в подражание «всепьянейшему собору» отца, и у него, в его холостые годы, бывали такие же «соборные» заседания и бдения. Принося жертвы Бахусу, отец своим сотрапезникам давал клички «всешутейшего князь-папы», «князь-игуменьи», «патриарха Яузы и всего Кокуя»,— участники пирушек царевича также носили клички: «Жибáнда», и «Захлю́стки», «Ада», «Сатаны» и других.

Женитьба мало изменила наклонности и привычки царевича. Хотя, после семейных ссор и огорчений, иногда во хмелю, он и жаловался «собинным» друзьям на жену: «Вот батюшкины клевреты чертовку-немку навязали мне! Иду к ней, а она все сердитует!» — молодая, образованная кронпринцесса находила способ обуздывать и снова привлекать к себе разгневанного мужа: вывезя из родного

Брауншвейга любовь к музыке, она прекрасно играла на клавесине. Торжественные сонаты и фуги Баха, суровые псалмы и оратории Генделя и нежные прелюдии, арии и менуэты Скарлатти приковывали к себе, в ее исполнении, внимание царевича. В неизъяснимом восторге, потрясенный и растроганный до глубины души, он нередко по целым часам не отходил от клавесина, подарка невестки, из которого обыкновенно сухая и чопорная, затянутая в фижмены, кронпринцесса извлекала такие нежные и сладкие, бурные и страстные звуки. Особенно Алексею нравилась в игре жены одна из сюит Генделя. Начинаясь ленивою и медленною саксонскою «алема́ндой», она переходила в оживленную французскую «кура́нту», сменялась жгучею испанскою «сараба́ндой» и кончалась безумно-веселою английскою «жи́гой». «Еще, ли́бхен, ге́рцхен [1], еще! — повторял он жене, слушая эту сюиту и не отходя от клавесина,— а потом, bitte [2], из Рина́льдо и Те-де́ум!..» Кронпринцесса молча поворачивала ноты и снова без умолку играла.

С минувшей осени все это кончилось. Жена царевича, родив сына, неожиданно для всех скоропостижно умерла. Клавесин закрыли, ноты с него убрали. Вдовый царевич заперся в своем дворце и никуда не показывался, повидимому, ни от кого и ни от чего не ожидая более отрады и счастья в душе.

На стене, над клавесином, однако, появилась лютня. Откуда она взялась и кто на ней играл, об этом знал только он сам и немногие из его ближних.

II

«Да! как это было, как случилось?.. И неужели, господи, все это произошло?» — с замиранием сердца, вспоминая о прошлом, думал царевич. И сколько он ни думал, мысленно кончал: «Да, все это было, произошло, но воротится ли опять?»

Два года назад ему купили у Нарышкина алатырскую вотчину, село Поречье. Едучи туда, он остановился, по пути на ночлег, в подмосковной деревушке Вязёмах, родине бывшего своего дядьки Никифора Вяземского. Звонили к вечерне. Царевич зашел в церковь, а после службы

---

[1] Дорогая, душенька *(нем.)*.
[2] Пожалуйста *(нем.)*.

присел на поповом крылечке. Был конец покосов. Улицей с поля шли косари и гребцы, спешившие к празднику по домам. Несколько гребчи́х, с домочадцами попа Созонта, вошли в его двор. Между ними царевич разглядел статную и рослую, в белом платке, над густою, темно-русою косой, девушку. Она бодро и весело шла с граблями на плече; а когда во дворе увидела, что поповым работникам не сложить с телег до ночи в сарай подвезенного нового сена, крикнула товаркам: «Ну-ка, девушки, Веронья! Федосья, за рожны́!» — и принялась помогать рабочим. Алексей видел, как эта дюжая, полногрудая и голубоглазая девушка, откинув с головы на спину платок, смеясь и скаля зубы, быстро взмахивала рожном и, то нагинаясь, то выпрямливаясь и опять натуживаясь всем станом, подавала в окно сарая тяжелые сенные вороха. Долго следил царевич с крыльца за этою гребчихой, любуясь ее ловкостью и радостным блеском ее красивой и сильной природы. «Кто это?» — спросил он попадью, шедшую в ворота от сарая. Та оглянулась на сенник. «Толстогубая-то?» — спросила, усмехаясь, попадья. «Да, что впереди всех».— «Наша питомка».— «Как звать?» — «Фрося».— «Откуда она у вас?» — «Твоего пестуна, а нам кума, Никифора Кондратьевича Вяземского крепостная, из пленных, что ли...» — ответила Созонтиха. «Где взята в полон?» — «Под Полтавой, сказывали, отбита с братом у шведов; малыми ребятками были, Ванюша да Фрося, не помнящие ни племени, ни родства; может, из богатой, дворянской семьи, убиенной на войне,— руки были белые, лица чистые».— «Как же они попали к вам сюда?» — «Раздавали в ту пору пленных боярам, этих записали за Вяземским, а он девчурку отдал, до возраста, в науку нам, бездетным, а мальчонку в певчие. Девка выросла у нас, всякому рукомеслу обучилась, у мужа грамоте, а у братишки с голоса петь, и надседается нынче инова́, как жавороно́чек тебе, либо как та пеструшка, и на крылосе поет...» — «Где же ее брат?» — «Был тоже сперва у нас, а недавно в собор, в Каширу, батюшка отослал».

Задумался царевич. Рабочие и домочадцы от сенника разошлись. Двор опустел. Дюжая, с рожном в руках, загорелая и весело скалившая зубы полонянка не выходила из головы Алексея. «Писаная красота! — мыслил он.— И как жаль! Не здесь ей быть, не на грубой и черной, простой работе! И почему Никифор столько времени молчал,— хоть слово бы сказал о своих пленных?»

Стемнело. Царевич вышел в сад и долго там ходил. Ночь была теплая, безлунная. Из-под развесистых ив и лип он прошел в вишенник, оттуда на полянку к реке, в малинник. Воздух был напоен цветущими липами. За околицей водили хороводы; по реке неслись песни девок и парней. Вдруг Алексей замер. С вышки попова дома, через сад, послушались сперва тихие, потом более явственные струнные звуки, как бы от гуслей или торбона. Одно из окон на вышке было отворено. Струнам вторил и человеческий голос; пела, очевидно, женщина. «Неужели она, этот жаворонок, пеструшка?» — подумал царевич, упиваясь переливами голоса и струн. С шибко бившимся сердцем он направился, пробиваясь сквозь кусты и деревья, к дому. «Лютня! — проговорил он себе, узнав инструмент, не раз слышанный им в горах Саксонии,— и так стройно, душевно берет, искусница, лады!» Звуки затихли, окно на вышке притворилось, но Алексей еще долго бродил по тропинкам сада, поглядывая на вышку.

На другой день он был у обедни. Сельская церковь была наполнена молящимися. Дьячку и пономарю на клиросе подпевали племянницы священника и его питомка. Последняя читала и апостол. Царевич не узнал гребчихи. В праздничном алом сарафане и белых кисейных рукавах, с двумя густыми русыми косами, в синих лентах, взойдя на амвон среди церкви, она так степенно поклонилась на три стороны и, опустив глаза в книгу, так истово и толково-звучно вычитывала святые слова, хоть бы первому грамотею и чтецу. Когда лысый, подслеповатый пономарь, в конце обедни, вынес царевичу из алтаря на блюдце просвиру, Алексей, приняв ее с крестом и глядя на клирос, где стояла чтица, положил на блюдце золотой дукат.

Царевич прожил в то время в Поречье недолго, опять завернул в Вязёмы, где отдыхал и охотился, а когда вернулся в Петербург, Вяземский неожиданно для всех прислал обоим своим крепостным пленным отпускные. Бывший каширский певчий, Иван Федоров Афанасьев, тогда же был взят в Петербург, ко двору царевича, где его назначили камердинером и гардеробмейстером Алексея, а вскоре к нему на побывку приехала и его сестра, Афросинья Федоровна, по прозвищу взявшего ее в плен полтавского казака, Смолокурова. Она несколько раз навещала брата и впоследствии. При жизни покойной жены царевича его ближние поговаривали о ней, как о будущей, новой камер-медхен Шарлотты. Такого назначения Смоло-

курова не получила, хотя, гостя у брата, при дворе царевича, допускалась и в собственные апартаменты кронпринцессы, где ее жаловали дозволением поиграть на лютне. По смерти кронпринцессы Афросинью отправили обратно в деревню, но уже не в Вязёмы, а, в уважение ее брата, на мызу царевича, доглядывать за огородом, птичней, прядильным двором и садом, в Поречье. Попа Созонта туда же перевели.

Все о ней вскоре забыли и вовсе перестали толковать. Не забыл о ней сам царевич. Он не только поминал ее, но тайно переписывался с нею, посылал ей через ближних своих и получал от нее нежные грамотки и, глядя на оставшуюся после ее лютню, с замиранием сердца робко думал: «Вот где мое счастье, вот отрада! И ничего другого, кроме этого рая, жизни с нею, если бы только то случилось, мне более не нужно!»

Те же мысли наполняли Алексея и теперь.

«А отец? Что скажет он, как узнает? — в ужасе подумал он.— Куда загонит меня, какие кары наложит? — Царевич вспомнил о грозных письмах, полученных от отца. Их было два, и оба они лежали теперь у раскрытого ларца. Он приподнялся и бледными, тонкими пальцами потянул к себе эти письма.— Неужели же их написал отец? И какой отец мог выражаться так сурово и беспощадно зло? Да, его почерк, его мысли!» — Алексей с содроганием снова прочел два послания.

Первое письмо, врученное царевичу в минувшем октябре, вслед за похоронами невестки, Петр озаглавил: «Объявление сыну моему». Вспоминая в нем свои успехи, после начальных тяжелых годов своего царения, он выразился: «И егда, сию радость рассмотряя, обозрюся на линию наследства, горесть мя снедает, видя тебя, наследника, весьма на правление дел государственных непотребнаго,— ибо Бог разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отнял». «Есмь человек и смерти подлежу,— говорилось в заключение этого письма,— то кому оставлю? За благо изобрел я сей тестамент тебе написать и еще мало подождать, аще нелицемерно обратишься. Ежели же ни, известен будь, что я тебя наследства лишу, яко уд гангренный; и не мни себе, что ты один у меня сын и что я сие только в устрастку пишу: во истину, како могу тебя, непотребнаго, жалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный».

Получив это письмо, Алексей бросился за советом к тайным своим друзьям и в том числе к ближайшему из

них, дворецкому его тетки, царевны Марьи Алексеевны, Александру Кикину, жившему не вдали от него, в собственном доме, у Смольного двора. Друзья сказали: «Давай писем хоть тысячу, еще когда-то что стрясется! Улита едет, да коли-то будет! Это не запись с неустойкою!» Алексей, помедлив, ответил отцу: «По погребении жены моей, отданное мне от тебя, государь, вычел; на что иного донести не имею, только, будет изволишь, за мою непотребность, меня наследия лишить короны российской,—буде по воле вашей,— о чем и я вас, государь, всенижайше прошу. Всенижайший раб и сын ваш *Алексей*».

Второе письмо Петра сыну от 19 января было еще суровее. На нем значилось заглавие: «Последнее напоминание еще». «Только о наследстве вспоминаешь,—писал в нем отец сыну,— и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня; а что столько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить? Хотя бы и истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большия бороды, которыя, ради тунеядства своего, ныне не в авантаже обретаются, к которым ты и ныне склонен. Так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно. Или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах. На что дай немедленно ответ на письме, или самому мне на словах резолюцию. А буде того не учинишь, то я с тобой как с злодеем поступлю».

Полученное шесть дней назад, это письмо еще более взволновало и огорчило Алексея. Он снова поспешил к Кикину.

— Да чего же ты сомневаешься, царевич? — сказал советник.— Придет время и расстрижешься: клобук ведь не гвоздем к голове прибит!

Алексей на другой день ответил отцу: «Милостивейший государь-батюшка. Письмо ваше я получил, на которое больше писать, за болезнию, не могу. Желаю монашеского чина и прошу вашего о сем милостивого позволения. Раб ваш и непотребный сын *Алексей*».

Перечтя письма, Алексей молча уложил их обратно в ларец и спрятал его в шкаф. Он вспомнил опять о Смолокуровой. «Как я низок и гнусен, что так мало забочусь и думаю о ней!— мыслил он, прохаживаясь по комнате.— Почти забыл ее, а она теперь единственное мое счастье, вся отрада! И как она любит, какие грамотки пишет;

умница, богобоязненна, хозяйственна и добра. Но давно не отзывается,— уж здорова ли?»

Алексей живо представил себе дальнейшие встречи с Афросиньей в Вязёмах, чрез которые он не раз потом ездил на осмотр новокупленной вотчины и где иногда оставался охотиться. После вечерни, когда он впервые увидел ее во дворе священника, он, едучи с борзыми по полю, неожиданно встретил ее у опушки леса. Смолокурова собирала с подругами грибы. Алексей заговорил с нею, шутил. «Какия мы милыя, да красавицы, с такими-то ручищами! — усмехнувшись, ответила она, показывая свои загорелые, точно испеченные на солнце, руки.—Эдакими только жать да вязать снопы!» Случались и другие встречи, за околицей, на дороге, у мельницы на реке. Царевичу приходилось вскоре возвращаться из Поречья в Петербург. Вязёмовский священник в ту пору отлучился в Москву... Темною ночью, к задворкам его усадьбы, подкатила телега. Бубенцы и колокольчик на лошадях были подвязаны. Садом, в огород, неслышно сошла попова питомка. Ее подхватили через забор и усадили в телегу. Лошади помчались. Ими правил в кучерском наряде сам царевич. Утром спохватились питомки,— ее и след простыл. Впоследствии оказалось, что ее увезли, с поклажей царевича, в особой колымажке, в Москву. Здесь она некоторое время скрывалась в доме приятеля царевича, Александра Васильевича Кикина, а потом навещала в Петербурге своего брата, уже служившего при дворе Алексея.

III

Дверь в кабинет из спальни отворилась. На ее пороге появился, радостно сияющий, с подносом в руке, камердинер.

— Что ты? — спросил его царевич.

— От Александра Васильевича,— ответил слуга, подавая на подносе письмо из Москвы,— коли что надо, наказал, писали бы; вечером, мол, опять в вотчину оказия.

Алексей в надписи на письме узнал четкий, прямой и крупный почерк Афросиньи.

— Ну, хорошо, ступай,— сказал он,— позову, когда надо.

Краска залила его лицо. С забившимся сердцем он вскрыл печать. На пакете была надпись: «Государю моему, другу сердечному, царевичу Алексею Петровичу.

Прийти близко, поклонитеся низко, честь весело, быть радостну». В письме было написано: «Государь мой батюшка, друг желанный, царевич Алексей Петрович, здравствуй на много лет! Аз же, по воле Божией жива еще, по десятый день сего януария. Не забудь, радость, любовь мою к тебе, а во мне дух с печали едва жив. Ох, друг мой, любонька-свет! С ежечасной докуки света Божьяго не вижу. Будь крылья у сироты убогой, сама прилетела бы. Ой, скучно, смерть моя! Мил-человек день и ночь в глазах. И где прежния веселыя восхищения, где радости? Либо вызови, либо сам приезжай. Дай повидать светлыя оченьки. Сам не можешь, хоть вели, солнышко, ближним по тайности отписати. Да пришли мою семиструнку. Ей, соскучилась, не на чем душеньку отвести. А я, писавши, остаюсь верная твоя раба, женишка запретная Фроська, челом премного бью».

«Не запретная и не по тайности,— когда-нибудь все то обретется и въявь!» — подумал царевич, пряча за пазуху письмо Смолокуровой. Он снова присел к столу, достал бумаги, вырезал конверт, надписал на нем: «Матушке, хозяюшке, любезнейшей Афросьюшке. Прийти близко, поклонитеся низко, честь весело, принять радостно»,— и, подумав, с расстановками, написал следующий ответ:

«Матушка Афросьюшка, друг мой сердечный, здравствуй! О себе извествую, Божьею помощью такожде еще жив, о твоем же здравии непрестанно слышати желая. А что безгласна по се число была, ни единой грамотки не писала, и тем уязвися сердце мое печалью. Никто с вотчины не писывал же, а иные с домов непрестанно получают. Ей, матушка, любонька, утешь, пожалей; не мало тяготы и смертных докук от вышней стороны имеем. Инако же не думаем, как об увольнении нас от всех дел на покой, на наше с тобой хозяйство. Как наши лебеди, павлины, гуси, живы ли? Как житный, скотный и конюший дворы? такожде урожай каков вышел, варят ли брагу, меды? дал ли Бог уберечь улечков, пчел молодых? Придет вешня пора, опиши все, сбережены ль пруды и как уродит всяк новый овощ и хлеба. Улетел бы я к хозяюшке. Вспомяни гулянье в роще. Воззревши кверху древа и видя гнездо и птичища, в нем сидяща, кому в те поры уподобила мя еси? малейшей птичицы хуже! У той — зелена, густа дубрава, у нас сирот — скорбная тюрьма; у той — высота синь-небесная, воля — свет, нас от родшаго ны — таковы печали, абы, случаю зовущу, не умрети без по-

каяния. И что ныне приводится: либо насильно пострищитись, идти в чернецы, либо-таки на иноземной велят жениться. Только батюшка вершит свое, а Бог свое. Попустит Бог, женюсь, только по своей воле,— вить и батюшка таковым же образом учинил...»

Написав это, Алексей остановился и оглянулся. «Ну, как кому из сторонних смотрельщиков попадутся эти строки? — подумал он,— пустяки! некому теперь смотреть и доносить. Отец с осени ни ногой сюда, со мной вовсе не говорит, а написав последнее свое напоминание, и окончательно махнул на меня рукой. Будь, что будет,— сердцу не преградить пути».

Алексей вспомнил просьбу Смолокуровой о присылке ей в Поречье лютни. Он снял последнюю со стены, отер с нее пыль, тронул ее струны. Ему вспомнилась песня, которую под эти струны пела Афросинья:

Ах, сколь трудно человеку
Жить без счастья в младом веку!
О младыя мои лета,
Что дрожайша всяка цвета!
Коль пройдет цвет младости,
Не чаешь уже быть в радости...

«Именно,— сказал себе Алексей,— на что и почести, сила и высокий сан, коли нет счастья, нет радости?» Он снова склонился над бумагой и дописал: «Семиструнку твою, не без жалости, отсылаю, целуя личико белое, оченьки ясныя, рученьки и ноженьки. И пожалуй, матушка, не молчи, отписывай, а коли твоя воля на то, изволь без опаски и к нам побывать. Вышние на днях паки отъезжают в армию и надолго, и им, по всему видать, ныне не до нас. За сим, будь здорова, кланяюсь доколенно. Писавый — друг твой верный *Алексей*».

Запечатав письмо, царевич позвал слугу, отдал ему пакет и лютню и велел немедленно отослать с ездовым к Кикину. «Да в руки самому Александру Васильевичу, слышишь ли? — приказал он,— ему одному; не будет дома, чтоб обождал».— «Не сомневайтесь, ваше царское высочество! — ответил слуга.— Недалек путь, сам отнесу».

Алексей с облегченным сердцем опустился в кресло.

«Верно написал я,— мыслил он,— батюшка вершит свое, а бог свое. Мало ли на что, по вынуждению, соглашаются? Ужли и вправду надеть рясу и клобук, что Василию Шуйскому? Не попустит бог, руки коротки!» Он вспомнил о забытом кофе, и только что коснулся чашки, на улице

послышался звук барабана. Часовой у подъезда бил тревогу. Царевич бросился к окну и замер в недоумении.

Караул у подъезда строился во фронт. Прохожие на улице снимали шапки. Со стороны Литейной неслись государевы сани. «Не ко мне, вероятно, мимо, на прядильный двор,— подумал царевич,— незачем ему сюда!» Сани между тем подкатили к крыльцу. Отдав честь караулу, государь вышел из саней, отряхнул с себя снег и стал подниматься на крыльцо. Совершенно растерявшийся Алексей несколько секунд не знал, что ему делать. Опомнившись, он схватил с полки и раскрыл было на столе еще осенью присланную отцом тетрадь пушкарных чертежей, но раздумал, прилег на софу и, повторяя мысленно: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» — принял вид недужного и страждущего. В прихожей послышались знакомые тяжелые и твердые шаги. Они близились к приемной. «Где же он? здоров ли?» — громко спрашивал растерявшихся слуг голос Петра.

В то утро, проснувшись по обыкновению с зарей и откинув занавеску с окна, государь навел подзорную трубу на противоположный берег Невы, где на окраине Летнего сада, рядом с каменным двухэтажным дворцом Екатерины, тогда строился новый флигель, очень заботивший Петра. Он сам в то время продолжал еще жить в крошечном деревянном дворце, на Петербургской стороне, где ныне часовня Спаса. Все его помещение состояло из маленькой приемной, служившей вместе и столовою, еще меньшей дежурной комнаты для адъютантов и ординарцев и кабинета, где государь и спал.

Дежурным в то утро состоял недавно возвратившийся из армии, посланной против шведов, бывший любимый государев денщик, ныне капитан гвардии, Александр Иванович Румянцев. Ему было несколько не по себе. Явясь по привычке на дежурство до рассвета, он с тревогой поглядывал на узенькую кабинетную дверь. Нагоревшая сальная свеча тускло освещала дежурную комнату. Увидев на стуле у двери государев суконный зеленый кафтан, такие же штиблеты и камзол, а на полу высокие, с раструбами, сапоги, Румянцев, не дождавшись камердинера, достал из шкафика в углу комнаты ваксу и щетку, почистил государевы сапоги и принялся за его платье. Заметив отпоротый на камзоле позумент и плохо державшуюся на кафтане пуговку, он отстегнул у себя лацкан,

где про запас всегда держал иглу, обмотанную ниткой, и, подсев к свечке, принялся штопать. «Вот она, его бережливость!» — рассуждал он, закрепив пуговку, и принимаясь чинить камзол.— Побывал я и в Турции, и в Швеции, сколько одежи истрепал, а он все одно и то же носит платье. Оно у него и будничное, и праздничное,— залоснилось на отворотах, стамед на подкладке вытерся, а ему ничего,— о лучшем наряде и не думает. Хорошо еще, скупился бы на себя, да нас не забывал бы... Куда! Зовемся ближними, видят по все дни его царскую расположенность к нам, а в домашнем обиходе совсем истончали, живем скудно, чуть не в бедности и последней тесноте. Тридцать шестой год пошел, двенадцать лет несу службу и никакого состояния; хоть бы деревнюшкой какой пожаловал или домом в столице. А того ли можно было, поблизости к цареву дому, ожидать?» Румянцеву вспомнилась первая его встреча с царем.

Сын бедного костромского дворянина, двенадцать лет назад записанный в преображенские солдаты, он стоял на часах у только что отстроенного государева дворца. Петербург в то время также едва возникал из болот. Был сильный, с ветром, мороз. Продрогнувший до костей, в неподбитом мехом плаще, широкоплечий и рослый, разрумяненный на морозе часовой, пожимаясь и постукивая ногой об ногу, прохаживался у дворца с ружьем на плече. Государь был на постройке верфи. Все поглядывали на Неву; пушка давно пробила адмиральский час, а государя еще не было. На льду показались наконец государевы сани. Завидев у крыльца статного, молодцеватого солдата, Петр подозвал его к себе. «Как прозываешься?» — спросил он. «Румянцев».— «Прозвище и лицо одной масти! — улыбнулся Петр.— Коли нрав и ревность к службе не разнствуют от того ж, быть тебе в отличии... Имеешь состояние?» — «У отца двадцать душ».— «Сильно озяб?» — «Никак нет,— это что еще за мороз! клюет только, не рвет...» — «Шуба есть?» — «В деревне у матушки осталась,— тут не до шуб».— «Молодец!.. Сменишься, зайди к Данилычу». После смены, явясь к Меншикову, Румянцев был осчастливлен двумя монаршими милостями: ему поднесли стакан собственной царской перцовки и объявили, что государь изволил принять его, с того же дня, в ординарцы. За расторопность, честность и точность в исполнении множества ежедневных поручений государя он вскоре был произведен в сержанты гвардии, за привоз

из Турции известия о мире с Портой — в поручики и через три года — в капитаны гвардии.

«Отличий, что и говорить, не мало, а жить все-таки нечем! — мыслил Румянцев, кончив штопанье государева платья и пряча иглу.— И сколько раз жалобно печалился я ему; один ответ: подожди! Ну, да, господь даст, скоро авось оправимся. Отец наехал, сватает богатую невесту. Только как и с этим решиться, не объявясь царю?»

IV

Бережно сложив на стул государеву одежу и видя, что начало рассветать, он загасил щипцами свечу. Вскоре за дверью послышались шаги государя в туфлях. Румянцев, по привычке, каждую минуту угадывал, что в известную пору делал государь. «Вот он откинул занавески у окон, умывается,— думал он.— Теперь умылся, чешется, скоро возьмет одежду, станет молиться». И точно, дверь приотворилась, в нее просунулась мускулистая, волосатая рука государя: Петр сам взял платье и сапоги. Слышно было, как молча постоял, очевидно, молясь, и присел к рабочему столу. Прошло с полчаса. Послышался стук отодвинутого стула; зазвучало точильное колесо. «Точит костяное паникадило,— скоро выйдет!» — сказал себе Румянцев, бросаясь в столовую взглянуть,— все ли там припасено. Дверь отворилась.

— А, это ты, Иваныч? — произнес Петр,— и, кстати, есть дело к тебе. Готова ли закуска?

— Готова, ваше величество.

Петр направился к столовой. Румянцев у ее порога упал перед ним на колени.

— Что ты? — удивился государь.

— Много, превыше заслуг, твоею милостью, государь, почтен, только не осуди за правое слово.

— В чем дело?.. Встань, говори.

Петр вошел в столовую, Румянцев за ним.

— За твои милости, великий государь, до конца дней буду молить бога о твоем здравии,— сказал он, поднося Петру флягу тминной.— Люди мы только, прости, мелкотравчатые, малопоместные, жить в скудности и бедности тяжело. За что попускаешь терпеть недостатки?

— Учись, братец, терпенью, продолжай отличаться по службе,— произнес Петр, выпивая тминной и закусывая

ее кренделем,— придет время, рука моя развернется, посыплются и на тебя всякие земные дары и блага.

— Казна у тебя, батюшка царь, не богата,— продолжал Румянцев,— много про нее нужд, а нас, просящих, у тебя еще того больше... Есть, государь, иной способ...

— Какой?

— Родитель сватает мне богатую невесту; назначена и вечеринка для смотрин и сговора.

— Сколько за невестой приданого?

— Тысяча душ.

— Чьих будет невеста?

— Племянница Кикина.

— Какого?

— Александра Васильевича.

— Но у него свои дети, почему так награждает племянницу?

— Ее мать была из богатых, родная сестра жены Кикина, у них сирота и выросла.

Петр помолчал.

— Нравится девка тебе? — спросил он,— видел ли ее? хороша ль?

— Не видел, государь, не утаю; а сказывают, не дурна и не глупа.

— Так с чего ж тебе за нее свататься? ужли потому только, что коза с золотыми рогами?

Румянцев смешался, подыскивая, что ответить государю.

«Кикин,— с досадой думал тем временем Петр,— сынку моему тайный доброхот и раделец во всех его непотребствах; смекнул, видно, что царскому ординарцу легче, чем иному, дойти до первых степеней, и затеял сбыть свою родню».

— Вот тебе, Румянцев, мое решение,— сказал государь, вставая из-за стола.— Вечеринке и смотринам почему не быть, дозволяю,— от сговора же всячески помедли, удержись... Когда назначена вечеринка?

— Завтра.

— Простая или как быть следует, с музыкой и танцами, ассамблея?

— Ассамблея!

— Отлично. Дай сейчас знать Кикину, я и сам буду у него на смотринах; и коли невеста тебе пара, не стану перечить браку и твоему счастью.

Румянцев низко поклонился.

— А вот и кстати,— сказал Петр, увидя в окно готовые сани у крыльца,— едем вместе; мне к Литейной, и тебе туда же,— подвезу.

Румянцев стал на запятки государевых саней. Осмотрев постройку у Летнего сада, Петр на Литейной ссадил Румянцева, а сам, повернув на Шпалерную, остановился у дворца Алексея.

— Что же, и впрямь хвораешь? — спросил он, войдя к сыну и видя, что тот, унылый и бледный, лежит на софе.

— Недужен, государь-батюшка,— ответил, поднявшись и кланяясь, Алексей.

Петр зорко осмотрел его, приподнял его волосы, коснулся лба и взял его руку.

— Жара не слышно, пульс умеренный, лихоманки, стало быть, нет,— в чем же немочь, скажи?

Сын молчал. Отец взглянул на стол.

— Чертежи рассматривал,— произнес он,— сделал ремарки?

— Прости, государь, за хворостью не успел.

Петр покачал головой.

— Все некогда? — сказал он.— Мы к обедне — там отпели, мы к обеду — там отъели, мы в кабак — только так... Верно ли говорю?

Увидя на полке духовные, в почернелых переплетах, книги, Петр взял одну из них, разогнул и стал просматривать.

— Ужли и впрямь готовишься,— спросил он,— слушая своих бородачей, под клобук?

Алексей молча переступил с ноги на ногу.

Петр бросил книгу на стол и опустился в кресло.

— Слушай, Алеша,— сказал он дрогнувшим голосом,— сядь и обдумай, что скажу.

Царевич сел, против отца, на софе.

«Боже господи,— с радостно забившимся сердцем подумал он,— Алешей, как в детстве, назвал! Алешей, вместо ненавистного, немецкого Зоона, и так добродушно... неужели привез прощение и забвение всему?

— Ой, черноризцы, попы, бородачи,— корень всякому злу! — начал Петр.— Не научат они тебя, любезный, добру, помяни меня; учение в этих книгах светло, да душа-то их и сами они черны, как переплет. К нам приставлено по

одному бесу, к ним по семи. Скажи мне, только откровенно, не картавя, без удобовымышленных аргументов и лживых рацей,— почему в столь ранние годы предпочитаешь ты живому, бодрящему делу монашеский чин?.. Одни мы, никто нас не слушает, говори...

Государь встал, заглянул в приемную и в опочивальню сына, запер обе двери и снова сел.

— Батюшка,— ответил царевич,— дело простое: не всякому под силу тяжелый труд, тем паче воинское поведение.

— А меня, Алеша, тебе не жаль? — произнес Петр.— Ты обучен всему, получил доступ к умным книгам, я же во младости был лишен не только дельных наставников, но и книг... Невзирая на то, поднял я непомерное бремя на плечи, отечество от прежних азиатских обычаев ввел в Европу и везде один, один, как перст. Давно говорю тебе и всем вам,— левшей не владею, в одной же руке держать шпагу и перо возможно ли, а помощников верных, сам знаешь, ни одного... Да хотя бы и были, разве они то же, что родной сын?

Слезы навернулись на глазах Алексея. Он дышал тяжело.

— Батюшка, помилуй,— сказал он, схватив руку отца и покрывая ее поцелуями.— Не повелишь из жалости в монахи, не принуждай к делам, коих недостоин и не осилю,— отпусти, уволь от всего.

— Как уволить? — спросил, нахмурясь, Петр.

— В деревнишки мои, на хозяйство,— ответил, не выпуская руки отца, царевич.— Ныне господь дал мне брата, у вас второй есть сын, до его возраста управят другие; дай век в тихости прожить, простым человеком.

В глазах Петра сверкнул гневный огонь. Угол его рта, с подстриженным усом, судорожно задвигался.

— Это откуда,— вскрикнул он, вырвав от сына руку,— подсказано? Пароль суздальской чернохвостницы? Глуп ты, Алексей; двадцать шесть лет тебе, а ты как птица желтоносая, беспёрая, все в чужой рот смотришь. Эй, остерегись слушать льстивую, древнюю змею и всех черных ворон, старцев да попов, ее приспешников и верных слуг. Ну, да ты правды не скажешь и не сознаешься. Впоследствии сам доподлинно узнаешь их скрытую прелесть и клевретные поступки. Не даром, поймешь, пошел я, с костылем Грозного, на всех этих бесчинников и их крамолу. У истории рот незатворенный,— потомство узнает все.

Петр замолчал, стараясь утишить поднявшееся в нем негодование. Царевич обсуждал, сказать ли отцу заветную свою мысль об Афросинье. «Мы с ним на одной стезе поставлены судьбой,— мыслил он.— Подобно ему, и я полюбил пленницу, только он немку, я русскую, он при живой жене, я вдовый. Кто из нас более прав?»

— Так что же ты скажешь, чем окончательно решишь? — спросил Петр.— Через три дня еду в Копенгаген, хочешь ли быть мне помощником или, в стыд и досаду отечеству, на самом деле примешь монашеский чин? Уже ли царевичу, моему сыну, быть в нетех?

Алексей склонил голову. «Не согласится отец,— мыслил он,— еще от гнева разразится вконец, изведет неповинную».

— Позволь, государь, постричься,— ответил он, кланяясь в пояс.— В том мое решение, коли позволишь, нерушимо.

Петр, медленно выпрямляясь, встал. «Вот оно, Авдотьино семя, упорный заклятой род Милославских, вот оно! — подумал он, с горечью глядя на сына.— Да не будет потачки лицемерам и всякому их дурну и злу! Малого обошли, опутали черные пауки... Надо дать время; авось сам комар вырвется из их паутины».

— И это твое последнее слово? — спросил государь.

Алексей молча поклонился.

— Прощай же! Дело важное, одумайся, не спеши. Мое мнение — лучше взяться за открытую, прямую дорогу, чем в столь молодые годы идти в чернецы. Я же не забыл, что тебе отец, а потому вот тебе и мое последнее слово: буду ждать окончательного твоего решения, от сего дня, еще полгода.

Петр надел шляпу, обнял сына и направился к выходу.

— Кстати,— сказал он, одевшись и спускаясь с крыльца к сеням,— у нас скоро быть помолвке, твой приятель Кикин племянницу сватает.

— За кого, батюшка?

— За капитана Румянцева; не был бы ты в трауре, вместе бы поехали,— я же завтра на смотринах буду.

«Вот удивительно,— подумал царевич,— отец собирается к Кикину: знать, не к добру».

Проводив государя, Алексей медленно возвратился в кабинет, постоял перед столом и упал, горько рыдая, на софу. «Молодые годы!.. прямой путь! — мысленно повторял он, ухватясь за голову.— Но если бы точно все это

говорил отец, если бы он по правде любил меня, ужли для молодости, для счастья родного сына он не уважил бы его искренней, душевной мольбы?»

V

На другой день была ассамблея у Кикина. Гостей съехалось много. Кроме радушия приветливых и умных хозяев, всех привлекала весть, что на их вечеринке будет сам государь.

Александр Васильевич Кикин двадцать лет назад, в числе других волонтеров, был при великом посольстве с Петром в Голландии, где с товарищами учился кораблестроению. Вернувшись оттуда в звании мачт-макера, он состоял на верфях в Воронеже и Олонце. В чине адмиралтейств-советника он снова побывал в чужих краях. По кончине отца, получив изрядное наследство, он стал проситься на покой, но не был уволен. Это было началом его охлаждения к Петру. Назначенный состоять при дворе царевны Марии Алексеевны, Кикин, кроме дома, невдали от двора Меншикова, на набережной Васильевского острова, построил себе еще дом, на Неве, у Смольного двора. Здесь он жил с семьей.

Перейдя в ряд тайных недоброжелателей Петра, Кикин, и в первые годы близкой службы при нем, не вполне одобрял ломки царем всего старого, освященного обычаями веков. От природы набожный, строго соблюдавший посты и все прочие церковные обряды, он в домашней жизни охотно допускал непротивные догматам отцовской веры европейские обычаи — вечеринки, музыку, танцы.

Ассамблея у Кикиных была в полном разгаре. Шли угощения сластями и вином. Пожилые играли в карты и шахматы. Танцы, в ожидании царя, некоторое время не начинались; но ввиду того, что государь не любил, чтобы им где-либо стеснялись, хозяева дали знак музыкантам, и молодежь пустилась в пляс. Гавоты сменялись минуэтами. Румянцев, познакомясь с девушкой, которую ему сватали, танцевал с нею несколько раз, все поглядывая на входную дверь, где толпившаяся прислуга любовалась танцующими, разряженными в пышные робы дамами и девицами. Вечеринка кончилась; ни хозяева, ни гости государя не видели. Впоследствии только стало известно, что уже в конце вечеринки, когда подпившие старики крикнули «русскую» и двое из лучших гвардейцев-плясунов, выйдя на средину залы с своими дамами, стали танце-

вать,— нежданно подъехавший государь вошел в переднюю, протискался между слуг, поглядел из-за них на гостей и, проговорив вполголоса: «Неважно! ничему не бывать»,— уехал.

Наутро Петр призвал Румянцева.

— Был я, братец, у Кикиных,— сказал он ему,—накоротке, а все видел; невеста тебе не пара и о браке с нею позабудь. Ты вон какой молодец, и ростом взял, и красой, а она хоть и умильна,— отнять того нельзя,— но сухощава больно и мелка, вроде, извини, как бы воробушек...

Румянцев нахмурился. «И какое ему дело,— подумал он,— вмешиваться, так разбирать? Одно ясно видно, не хочет он допустить просветления моей участи, даже и через женитьбу».

— Печалишься, недоволен? — спросил Петр.— Успокойся, я твой сват; найду и высватаю тебе получше. Приходи вечером сегодня, увидишь, правду ли говорю.

В тот же день вечером Румянцев снова явился к государю.

— Вчера через тебя я попал на одну вечеринку,— сказал ему Петр,— сегодня сам тебя свезу на другую. Дом, куда поедем, не Кикиным чета. Там будут девушки иные: выбирай любую, какая приглянется,— отказа через меня не получишь.

Государь и Румянцев поехали в дом графа Матвеева, на Луговую.

Андрей Артамонович Матвеев был любимейшим из пособников Петра. Сын знаменитого боярина, Артамона Сергеевича, у которого царь Алексей некогда высмотрел и посватал за себя Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра,— Андрей Артамонович свои детские годы провел, при царе Федоре, в ссылке, в Пустозерском монастыре, где изгнанники жили в нужде и в холоде, без печи и без хлеба. С воцарением Петра Андрей Артамонович был назначен двинским воеводой, потом состоял послом в Голландии, Франции, Англии и Австрии. Пожалованный два года назад графом, сенатором и президентом юстиц-коллегии, он поселился в Петербурге, где всех пленял своим широким и щедрым хлебосольством.

Обширный каменный дом графа Матвеева, близ адмиралтейства, на Луговой, состоял более чем из тридцати комнат. К дому, сквозь каменные ворота, с дворянским гербом на щите, вела аллея из лип и берез. Стены столовой палаты в доме были обиты немецкими золочеными кожами. Передний угол в ней и часть прилегающих к нему стен

были унизаны иконами, в дорогих окладах, с висящими перед ними лампадами. На прочих стенах висели, в ре́зных деревянных рамах, «персоны» царей Иоанна Васильевича Грозного, Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича, Иоанна и Петра Алексеевичей, также французского Людовика XIV и шведского Карла XII. Окна в столовой были в два пояса, верхние из них по стеклам расписаны сквозною живописью, фигурами красивых женщин и воинов. На средине полотняного, крытого голубою краской, потолка золотом было изображено солнце, с лучами, и вокруг него созвездия и планеты. Из средины солнца над столом опускалось костяное паникадило, о четырех поясах, с шестью свечами в каждом. В простенках между окон висели зеркала в точеных деревянных, посеребренных и черепаховых рамах, скамьи и стулья были обиты синим сукном. На полках и особых поставцах красовалась старинная, серебряная и золотая посуда,— кубки, брати́ны, кружки и ковши с чеканенными на них крылатыми гениями, деревьями и цветами.

В приемной-гостиной палате окна были также в два пояса, но на верхних, вместо фигур, были изображены сады и поля. Здесь был большой, на ножках, голландский изразцовый зеленый камин. На нем стояли часы с боем, и в них, вместо маятника, амур, качавшийся на качели, под стеклянным колпаком. Стены гостиной палаты были обиты красным сукном, вперемежку с холщовыми шпалерами, изображавшими морские виды и корабли. С потолка гостиной, на проволоке, с хрустальными прорезями, спускались три хрустальные люстры. Стулья и лавки здесь были обиты косматым бархатом и бухарскими коврами. В углу, на деревянном станке, стоял немецкий орган. На стене, против окон, висели три голландские картины, с библейскими изображениями: *Суд Соломонов, Давид и Голиаф и прекрасная Сусанна у купели;* на полках под ними были расставлены разные вещи: шкатулки с янтарною и костяною отделкой, кувшинцы, сулеи и чашки черепаховые, фарфоровые и алебастровые и костяные фигурки, а по бокам полок висело древнее оружие: мечи и кинжалы с серебряною и финифтяною насечкой, обухи, пищали, протазаны, кольчуги, луки и топоры. Из приемной одна дверь вела в бильярдную, другая — в библиотеку. Здесь, в фигурчатых шкафах, вывезенных хозяином из Лондона и Вены, за стеклами, хранилось собрание иностранных изданий и русские книги, по духу времени, большею частью церковные: «Руно одушевленное»,

«Евангелие толковое», «О благоговейном стоянии в храме Божием», «Патерик печерский», «О титле венца Христова», «Об антихристе» и пр. Но были здесь и светские: «Рифмотворная», «Право или уставы Галанския земли», «О гражданском житии и направлении всех дел, яже надлежит народу и како царица Олунда близнят породи и како их мать кесарева хотя погубити».

Едва смерклось, двор графа Матвеева осветился плошками и фонарями. С шести часов вечера начался съезд гостей. В ворота то и дело въезжали шестерками и четверками, на полозьях и колесах, колымаги, берлины и открытые калёши. Государь приехал в семь часов. Встреченный музыкой, он хозяином и хозяйкой был проведен в театральную палату, где дожидались уже все гости. Здесь, по знаку хозяина, в глубине комнаты раздвинулась занавесь и на подмостках, убранных живыми растениями, собственными актерами графа из его дворовых слуг, была разыграна в переводе комедия Мольера «Доктор принужденный», с веселою интермедией *О гаере, шляхтиче, цыгане, купце и двух молодках.* Между действиями гостям разносили вина, пунш и сласти.

По окончании представления начались танцы. Шведский оркестр духовых и струнных музыкантов играл с разубранных хор. Танцевали в двух смежных залах.

Беседуя с моряками, сенаторами и дипломатами, Петр не спускал глаз с Румянцева. Изредка он подзывал его к себе.

— Что, Иваныч, находишь по сердцу? — спрашивал он его,— нравится кто-нибудь?

— Глаза, государь, разбегаются, только не нашего все полета... где низменной синице сравняться с соколами, с орлами?

— Полно, братец, не дешеви себя, приглядывайся.

В конце вечера, когда у гостей и у самого государя глаза стали особенно веселы от беспрестанно разносимых гданских, токайских и иных вин, государь встал из-за стола, за которым играл в карты с Долгоруковым, Ягужинским и Апраксиным, и подозвал к себе Румянцева. Он приблизился с ним к зале, где оживленные пары танцующих только что кончили веселую, шумную куранту, и, медленно двигаясь в менуэте, то приседали друг перед другом, то плавным шагом отходили и, снова приседая, сближались и кланялись.

— Приглянулась, нашел? — спросил Петр Румянцева.

— Прости, государь! Что вижу — неприступно, что нравится — и думать страшусь.

— Ну, а эти три? — указал государь на среднее окно, против которого, с моряком и гвардейцами, танцевали три девушки.

Румянцев знал их. То были белокурые княжны Шелешпанская и Щетинина и черноволосая дочь хозяина дома, графиня Матвеева. «Неужели могу мыслить об одной из этих? — подумал, замирая от волнения, Румянцев.— Нет, царь только испытывает, шутит, после сам засмеет... У каждой за полмиллиона приданого. Отцы же их, за дерзость одного помысла, опозорят, разнесут!»

— Что же молчишь? — спросил, пристально вглядываясь в красавиц, Петр.

— Ум цепенеет, не смею и взора поднять.

— А ты подними, приударь! — усмехнулся Петр.— С малыми да храбрыми батальонами не такие еще фортеции берут. Вот хоть бы княжна Щетинина, да и графинюшка Марья Андреевна... отчего бы тебе не просить их в пару?.. Музыка переменилась; ну-ка, не плошай,—начинают гавот...

Государя ждали у карточного стола. Ему была очередь сдавать. Он возвратился туда. Продолжая игру, он видел, однако, что Румянцев, как вкопанный, оставался на месте, следя за танцующими, и не пригласил ни Шелешпанской, ни Матвеевой. «Храбрец по этой части, видно, не из смелых,— подумал Петр.— Надо иным путем».

«Шутит государь или вправду говорит? — терялся в то же время в догадках Румянцев.— И неужели дело идет и он намекал о графине Марье Андреевне? Нет, это несбыточно, невозможно!» Краска выступила на его лице. Облокотясь о притолок двери, он пристально вглядывался в высокую и стройную, черноглазую красавицу, со вздернутым носиком и приподнятою верхнею губой, обнажавшею при улыбке белые и острые, как у белки, зубы. Он все забыл, музыку, ярко освещенный зал и танцы, помня одно — эти пышные, черные волосы, вздернутый носик и белые, сверкающие зубы.

VI

Музыка разом затихла, танцы прекратились. Гостей звали ужинать. К государю подошли хозяин и хозяйка. Они, с низкими поклонами, пригласили его откушать

в цветочную, носившую название зимнего сада. Петр прошел туда с немногими из приближенных. Румянцев удостоился также ужинать с государем. Не любивший вообще где-нибудь долго сидеть, Петр и здесь то и дело вставал, обходя ужинающих. С бокалом вина, а то и с крылышком недоеденной дичи в руках, он одного из сотрапезников уговаривал выпить налитый хозяином ему, как и прочим, ковш аликанте; другому приказывал, при общем смехе, рассказать, как он некогда был пойман и уличен своею женой в тайной любовной авантюре; третьего заставлял осушить, присужденный, по примеру царских ассамблей, общим приговором пирующих, за молчаливость, уныние и скуку, огромный кубок мальвазии.

Среди ужина в цветочную, двумя слугами, на серебряном блюде, был внесен и поставлен на стол огромный, обложенный цукатами и облитый вареньем и ромом, пудинг. Едва слуги отошли от стола, пудинг распался, из него выскочили карлик и карлица, одетые пастушками, и под музыку из залы начали тут же, на столе между тарелками и бокалами, плясать менуэт. Веселью пирующих не было конца. После пирожного принесли корзину глиняных трубок с табаком. Дым поднялся коромыслом. Разговор стал шумнее. Начались споры, даже перебранки хмельных. Государь, куря трубку, всех подзадоривал. «Какой ты слуга? я вернее тебя! — кричал, стуча по столу, сенатор Бутурлин сенатору Юшкову.— Вас на алтын меняли!» — «По-немецки пьешь, выпьем по-московски! — твердил Салтыков Стрешневу,— вот как, видишь? — вот!» — «Древнему другу и благодетелю! в поминанье старых благ!» — обращался Головин к Писареву. «Маменька, друг мой! вот как люблю!» — отвечал совсем растроганный Писарев. Раздался звон разбитой кем-то посуды. Все хохотали, говорили без умолку. Кто-то, желая обнять соседа, полез к нему через стол и сапогом попал прямо в блюдо с пирожным. Кого-то за руки, а наконец и за ворот оттаскивали от зеркала, которое охмелевший разбил головой, приняв его за дверь...

Среди общего шума, гама и хмельных восклицаний государь, как видел Румянцев, был по обыкновению свеж и бодр. Он встал из-за стола и с коротенькою голландскою трубкой в зубах прошел с графом Матвеевым в соседнюю комнату. «О чем он с ним беседует?» — размышлял Румянцев, глядя в раскрытую дверь на Петра. Лицо государя казалось озабоченным. Он то вынимал изо рта трубку,

поправлял в ней пепел и рассматривал лепные на ней изображения, то опять порывисто курил.

— Завтра еду в Копенгаген,— сказал он Матвееву,— а душа неспокойна,— царевича все сбивают; имею несомненный суспе́т на сторонних, и чего боялся паче всего — связей с Суздалем, с тамошнею моею черницей,— то, кажется, как раз и действует.

— В чем же твои подозрения, государь?

— Умру, все погибнет, и вместо славы пойдет у нас одно бесславие.

— Не понимаю, прости,— произнес Матвеев.

— Алексея, скажу тебе, склоняют, по примеру матери, также в монастырь,— связь понятна... По кончине моей оба скинут черные рясы, облекутся в иные одежды и все повернут по-своему.

— В таком разе не соглашайся, батюшка, не давай своего благословения,— и кто же против воли твоей пойдет?

Петр положил трубку на стол.

— В том-то и ловушка, сам я ему, как вдовцу и ленивцу, в острастку, предложил монашество,— сказал он,— а простака, видимо, научили, он и согласился, просит пострижения. Один путь — Алеше жениться бы снова на здоровой, доброй бабе. Не знаешь ли похожей какой, из виденных тобою опять-таки иноземных, не худородных принцесс?

— Не мало пожелали бы с вашим величеством породниться, на какую только страну изволишь бросить взгляд.

Петр подумал, прислушиваясь к цветочной, откуда попрежнему неслись веселые голоса пирующих.

— Эта материя еще терпит, теперь об ином,— сказал он, положив руку на плечо Матвеева,— выражусь прямо, без утайки... Одно сватанье в сторону, другому, надеюсь, пособишь; у тебя, Андрей Артамонович, невеста, я к тебе привез жениха.

Матвеев растерянно взглянул на государя.

— Твоя дочь, Марьюшка,— ты знаешь, как я к ней расположен,— продолжал Петр,— умна, мила, приветлива; но, извини, по молодости, легкомысленна... да, да, не смущайся, это верно! Ее надо выдать за такого, кто любил бы ее, но, притом, держал бы в руках...

— Разве, ваше величество, что за нею замечено? или проглядела глупая, слабая мать? Да я ее, негодницу, если в чем провинилась, разражу, собственными руками убью...

— Успокойся, не сто́ит; лучшая, братец, исправка девичьего нрава — венец, и я потому-то у тебя нынче и сватом...

— Много чести, великий государь; но кто, извини, выбран тобою?

— Вон он, у края стола,— указал государь в цветочную на Румянцева,— этого предлагаю в женихи твоей Марьюшке; просим честью, не осуди жениха и свата.

Матвеев стал белее стены. Его грудь дышала тяжело; в опущенных глазах проступили слезы. «Какое унижение и какой стыд! — мыслил он, не помня себя,— мелкопоместный дворянчик, из самых бедных, и это жених моей графинюшке! За что такая немилость?»

— Ты недоволен, вижу, сватовство не по тебе? — спросил Петр.— Говори прямо: считаешь его недостойным твоей дочери и тебя.

— Затрудняюсь, великий государь... Тебе повелевать, нам слушать и покоряться.

— Не ладно говоришь, Артамонович, не приказую и не насилую твоего решения... А только помни, этот слуга из близких мне, и я люблю его, как любил и тебя; ты за труды сенатор, министр и граф,— от меня, от моей милости, сам ты знаешь, зависит и его сделать счастливейшим между вами, превознести выше всех. Не знатен, не богат теперь, будет богат и знатен через час.

Матвеев молчал. Пот крупными каплями падал с его лица на расшитый золотом кафтан.

— Что же скажешь? согласен? — спросил Петр.

— Весь в твоей милости,— ответил, кланяясь, Матвеев.— Не обижен тобою доныне, не обидишь и впредь.

— Отлично, Артамоныч,— сказал, обняв его и целуя, Петр.— Дело, значит, слажено; только заповедь тебе: до срока о том, чур, никому.

— А жениху, государь, изволишь объявить? — спросил Матвеев.

— Никому, повторяю, и ты — ни жене, ни дочке; приданого тебе не готовить,— чай, давно полны сундуки; сговор останется тайным, промеж меня только да тебя. И тому важный резон: завтра надолго еду в чужие края, беру с собой и жениха. Будем с господом живы, вернемся, напомню тогда,— за парадною помолвкой, сыграем и свадьбу.

Государь позвал Румянцева. Тот подал ему шляпу и шпагу. Провожаемый Матвеевым, Петр вышел в сени. Здесь с матерью, накинув на плечи желтую тафтяную

шубку, в зеленой бархатной шапочке, с алым верхом, стояла раскрасневшаяся от танцев графиня Марья Андреевна.

— И ты вышла проводить? — улыбнулся, увидя ее, Петр.— Простудишься, плутовка! Береги здоровье! Оно надобно тебе, иди...

Он обнял и поцеловал девушку в обе щеки. Матвеев подал государю теплый плащ. Петр уехал.

— Что же, братец, так и не выбрал себе суженой? — спросил он Румянцева, подъезжая с ним ко дворцу.

— Превыше сил, прости, не смею...

— Я за тебя выбрал... только до времени посмотрю еще на тебя, не скажу. Готовься, завтра едешь со мной в Данциг и далее в Копенгаген.

В ту ночь совсем не спалось Румянцеву. Он ложился на правый бок и на левый, закрывал глаза, вызывая дремоту, думал о море и спеющей, колеблемой ветром ржи,— ничто не брало, сон бежал от него. В мыслях неотлучно были веселые черные глаза, вздернутый носик и зеленая шапочка, с алым верхом, над пышными черными волосами.

В ожидании отъезда с государем Румянцев встал до зари, оделся в парадную форму, уложил небольшой дорожный свой скарб и готовился ехать во дворец. Он жил у просвирни Казанской церкви, в Мещанской слободке, возле Невской першпективы, занимая две горенки, из которых в одной ютился сам, а в другой помещались его отец и мать, приехавшие проведать его из костромской деревушки. Отец привез ему волчью шубу, своей охоты, которой сын теперь, ввиду дальнего вояжа, особенно был рад. Старики тоже встали рано, побывали в бане и, красные, с повязанными головами, хлопотали над укладкой сыновних вещей.

— Ну, Александр, что же государь? — спросил отец, увязывая узел с бельем.— Как насчет, то есть, сватовства? Выбрал наконец, указал тебе какую кралю?

— Молчит,— с недовольством ответил сын,— и что́ у него на уме, не пойму...

— Молчит? А припасенную, указанную отцом и матерью, отверг?.. Ему что? терпится; нам-то каково? Хоть бы, примером, белье; нешто в таком ходить гвардейскому офицеру, да еще капитану? Сорочки — одно звание, карпетки — в заплатах... Степанидушка, глянь сюда, ужли сына этак-то в дорогу и снаряжать?

— Пусти, постылый, не видишь разве? — с сердцем вскрикнула мать, вырывая у мужа обноски сына,— вот

новые чулки... не помнишь нешто, как сама вязала? А вот и сорочек трое из фрязского холста. Где был? или опять запамятовал, как о Спаса пять ройков продали, кума́ за холстом ездила?

— Так, так сорокоумовцам продали.

— То-то, сорокоумовцам. Носи, Сашенька, нас поминай. Без матери-отца кому вспомнить, приголубить тебя?

Старушка отерла слезы.

— Вот пирожки с сигом да с курятинкой, а на дорогу хозяйка печет блинцы. Не торопись, родимый, успеешь еще,— духом принесу.

Старуха ушла к хозяйке.

VII

— Уж не думает ли царь,— сказал Румянцеву отец, когда они остались вдвоем,— не затеял ли он выдать за тебя одну таковую персону?

— Какую?

Старик оглянулся.

— Новую одну матресишку, последнюю... это с ним бывает.

— Кто же она?

— Ужли не знаешь?

— Я отсутствовал, только что вернулся из похода, почем же мне все здешние новости знать?

— Да тебя же туда он и возил.

— Не понимаю, батюшка, о ком речь.

— О дочке графа Андрея Артамоновича.

Румянцев невзвидел света. Комната заходила в его глазах.

— Клевета, родной, как же не видишь? Небылица! — вскрикнул он.— И кто тебе такие сплётки наплел?

— Не сплётки, Ликсаша, а истинная, должно быть, правда. Дворецкий из Катерингофа,— ну, старый знамец, ты знаешь его...

— Знаю, только что из того?

— Вечор это, как повез тебя государь к Матвееву, он зашел и сказывал... и такое открыл, что лучше бы не слышать...

— Эх, батюшка, не мучь; что же он, лысый черт, говорил такое? Язык бы ему клещами пощупать...

— Не горячись и не шума́ркай, все скажу, только не прочуял бы кто посторонний.

Старик встал, посмотрел за дверь в сени и запер ее на крючок.

— Так-то будет спокойнее,— сказал он.— Господи, какие дела! Вышним полюбилась эта графинюшка Марья Андреевна, и самой девке, видно, приятны были милости оттоль. Да, да, не вскакивай, слушай... Как жил государь, летось, с царицей в Катерингофе, и Матвеевы на своей мызе, поблизости, там же в те поры пребывали. Государь их чествовал и дочку их, из приязни, тоже отличал, брал в одноколку с собой кататься по садам и рощам, на буере с нею по Неве и по взморью допоздна плавал. Те ног под собой от радости не чуяли; счастье, мол, такое им выпало. И все шло будто ладно, все лето они в удовольствиях и восхищениях проводили. А осенью, как царю пришлось переезжать уже на зиму во дворец, он и подметил, что графинюшка Марья, так же, как с ним, по рощам и по взморью каталась еще и с некиим другим. Выследил государь, самолично убедился, позвал ее на допрос, та и повинилась.

— Фу-ты, господи! Не верится!.. И что же, родителю открыл государь?

— Для чего? Нешто опять-таки его не знаешь? Самолично все прикончил... Никому не говоря, припас в сеннике пук березовых, пригласил ее туда, будто новую царицыну корову-голландку посмотреть, да собственноручно и высек.

Румянцев вскочил.

— Нет, нет, это клевета, умысел на Матвеевых! И кто мог это видеть, узнать?

— Да полно тебе фуфыриться! Говорят тебе — верно, ну так же, как мы вот тут сидим.

Старик еще что-то говорил, но сын не слушал его. «Графиня Марья Андреевна, красавица, гордая, недоступная, и такой о ней слух,— мыслил Румянцев.— Отец сердит, что не удалось сватовство за Кикину, и верит всяческой небылице».

— Но зачем, батюшка, все это передал ты мне? — спросил он.— Из ревности за предложенную тобой невесту? Да ведь государь, повторяю, никого еще не указал, а что до Матвеевой — и намека о ней не бросил. С нею танцевали Шелешпанская, Щетинина и много других,— может быть, из тех, кого он имел на примете.

— Как знаешь, Ликсаша, а только нашему роду еще не бывало подобного покора и стыда... И уж лучше, помни ты

мое слово, век в нищете доживать, чем таковую персону брать за себя.

В дверь постучались. Вошла с крынкой блинов мать. Наскоро закусив, сын уложил на подводу свои пожитки, получил благословение родителей, простился с ними, оделся в привезенную отцом шубу и отправился ко дворцу.

— Своей охоты, Ликсаша, своей! — говорил отец, крестя сына и указывая ему на шубу.— В две пороши затравил, одного живьем связанного привез.

Государь уехал после раннего обеда. «Прав отец, неподхожее было бы дело,— рассуждал Румянцев, едучи в одной из кибиток в свите государя.— Брошенная фаворитка, как ни говори,— надоевшая, ненужная забава. И любить-то тебя, после таких протекторов, вряд ли будет, да и выгоды, пожалуй, никакой!» Петербург вскоре скрылся за снежными холмами. Дорогу обступили стены темных, вековечных лесов. Издали блестел только шпиц адмиралтейской башни. Вечерело; начинал падать снег. Вороны взлетали над вершинами елей и берез. Тройки царского поезда мчались бесконечною лесною просекой.

Румянцев, укутавшись с головой в шубу, вспоминал недавнее прошлое, поход в Швецию, разговор с царем на дежурстве, ассамблею у Кикиных и ассамблею у Матвеевых. «А пышность и роскошь их дома, а эта боярская сановитость их рода! Нет, быть не может! — рассуждал он.— Все слышанное отцом сущая злобная клевета! Государь недаром меня туда возил. Что в его мыслях — не угадать... Но если б он имел в виду, не теперь, хоть со временем...» Снег валил без остановки. Сумерки сгущались более. Лошадей из кибитки трудно уже было разглядеть. «Да и вдруг все это, по правде, небылица и ложь? — мыслил Румянцев,— и что́, если государь и в самом деле решит и скажет: вот тебе невеста, графиня Марья? Боже-господи, удостой этого выбора. Лучшего счастья, полагаю, и во сне не видать, не испытать. И уж коли суждено было бы мне стать зятем графа Андрея Артамоновича, царица небесная! какой колокол пожертвовал бы на церковь в графскую вотчину,— в пуд, мало того, в два-три пуда, из чистого серебра!»

Царевич провожал государя до заставы. Он простудился дорогой и несколько дней после того не выезжал из дому, удивляясь, что никто из «со́бинных» друзей его, даже Кикин, не навещал его. «Об отошедшем, кажись бы,

всюду промчалось,— рассуждал он,— не для кого более подглядывать, а видно, и теперь боятся!» Он послал за Кикиным; тот ответил, что угорел после бани и явится, когда одужает. «Лукавит, дозора опасается, случая ждет!» — подумал Алексей. Он от скуки взошел наверх к детям и до вечера играл там в шахматы с их гофмейстериной. Возвратясь при свечах, он стал просматривать присланные Меншиковым из Сената дела. Скучно было их читать. Ему подали письмо. Он по почерку узнал руку попа Созонта Печýнина, у которого в Вязёмах жила некогда Афросинья и который теперь, по милости Алексея, состоял при церкви в Поречье.

«Многолетно, благополучно и радостно здравствуй, батюшка-царевич,— писал поп Созонт.— Высокоблагородствию твоему искатель милостей твоих челом земно бью; а посылаю превысочеству твоему белужью тешку, щук провесных четыре, балычка прута два, да полпуда икорки,— изволь во здравие кушать; помаранцевой настойки такожде малое ведерце, и его кушай же, во здравие, с приятели. Покровен десницею Вышняго да пребудет дом твой в благодати на многие предыдущие годы. Про здравие же твое слышати ежечасно желаю. В приездишки твои кормил ты и поил нас, сирот, доволе, а ныне без тебя зело мы оскудели. О, горе мне, мизúрному! Никто прошеньишка моего принять и честь не хочет. Младоумножаемая ветвь прекрасного, цветущего и превысочайшего царского древа! Воззри на нуждишки наши, ждем тебя, яко Миссию. В Вязёмах луг нам давали, хлебушка с копны, лесу — сколько зришь; тут все твоим старостою Мосеичем урезано, а за что, один создавый ны вся весть. Афросинью Федоровну просили, ее не слушают,— твое-де бабье дело токмо птичня, да огород, да кудель. А по-нашему вот кому, ей быть здеся старостой. Яви божескую милость, а Мосеичу повели нам пособить. У самого великий роскошь и деспотичество во всем, загребает с огуменников, с амбары и кладовых, а на слуг церковных помощи никакой. И не ходи к нему, всякой мольбе отсечение, правде — посрамление, добру — погубление, душе — углубший гвоздь. За твою же милость аз писавый, за весь праведный дом твой и за всех любящих многолетнее здравие твое, ныне и впредь, без урыву, вечный твой богомолец — смиренный *Созонт*».

«Надо ехать в Поречье, вот как надо бы,— подумал царевич, прочтя послание Печунина.— Но как ехать? какой к тому видимый предлог, да еще зимой? Донесут отцу,

а тот сыщика следом пошлет,— какие, мол, такие хозяйские нужды унесли его, оглашенного, от важных штатских дел на мызу в такие холода?» Жалобу Созонта Алексей вкратце изложил в цидулке пореченскому старосте, приказав дать Печунину все, что ему отпускалось в Вязёмах, и прибавил в конце приказа: «А о прочем, что доносят и слышу, разберу, коли господь позволит самому быть в ваших оных местах».

VIII

В половине февраля над Петербургом носился и гудел сильный снежный буран. Метель сугробами устилала площади, преграждала улицы и заваливала переулки. Некоторые дома были заметены снегом до крыш. Ни проезда, ни прохода. Царевич, слушая свист и яростный рев бури, уже собирался на ночлег, когда слуга доложил ему, что его желает видеть Кикин. Алексей обрадовался и приказал звать его в кабинет.

— Это банный угар доселе не пускал? — спросил он, встречая гостя, стряхивавшего с волос и собольей шапки хлопья снегу.

— Всякого угару вдоволь,— ответил, оглядываясь, Кикин.

— Садись, Александр Васильевич, будь гостем; приятно видеть хоть одного, когда остальные все забыли.

— Да помним ли мы сами себя и свою жизнь? Как живется-то нам, спросил бы ты,— сказал Кикин, припирая дверь и садясь на софу рядом с царевичем.

— Или стряслось что новое? — спросил, глядя на него, царевич.

— Все старое, батюшка Алексей Петрович. Довольно одного: Питер, где живем с тобой. Что он? С одной стороны — море, с другой горе, с третьей — мох, с четвертой — ох...

Царевич улыбнулся. Он любил находчивость и всегда замысловатые выражения умного, бойкого и наблюдательного эконома своей тетки, царевны Марьи Алексеевны.

— Ну, слушай,— сказал царевич, взяв за руки гостя,— скажу без утайки, и мне тут тяжело; а где быть? куда укрыться?

— Езжай в чужие края, у тебя великая протекция,— австрийского кесаря супруга — твоей покойной жене сестра; от нее и от самого кесаря всегда тебе будет защита

и покой. Ты ведь российский кронпринц, и кесарю немалый резон тебе секундовать во всем.

— Но как решиться? Опасно это, да и жаль родины, ближних своих.

— С весны мою царевну, ведомо, может быть, тебе шлют, из-за ее болестей, на воды в Карлсбад; ну, и я еду, в провожатых,— буду не вдали от Вены и о тебе могу, от чего же нет, промыслить там.

— Ой, страшно, Васильевич! Где у кесаря скрыться? Батюшка легко, через клевретов, откроет в Вене,— ведь она на большой дороге.

— Отпросишься, как уйдешь в итальянские владычества кесаря,— там не откроют; а уж те палестины — неземные края, сущий рай, не расстанешься с ними вовек.

— Ты же нешто был в Италии?

— Был с гардемаринами на первой посылке в выучку.

Царевич задумался. Большие черные глаза его с грустью были устремлены на ковер. Носком башмака он водил по его узору.

— А скажи, Васильич, каковы там люди и как живут? — спросил он, взглядывая на Кикина,— и впрямь не похоже на наших?

— Уж истинно сказать, все не по-нашему: на улицах, в городах, ночью великая светлость от фонарей, как днем; древние и новые хоромы больше все в два жилья, а есть по четыре и пяти житий в высоту; окна везде стекольчатые, не слюдяные. А сады? Везде, по препорции, цветы — дивными штуками, першпективы зело изрядные, на полянах лимоны, персик, помаранцы, дули и миндаль; в огородах — кудрявые салаты, ка́просы и всякий дивный овощ. В садах и на больвардах беседки писаны хитрым, тамошним письмом; пропускные воды многоструйно прыщут вверх фонтаною, а на тех фонтанах — часы бывают невиданного строения, бьют водой перечасье в великие и малые колокола...

— А люди, народ?

— На площадях и улицах, по всяк день, гулянье в ка́лешах предивной французской работы. И в каждом, почитай, городе театрум, а в нем для увеселения — опры, либо зело хитрая комедь.

— И ты видел опры и комедь?

— Бывал не раз; между действами, где Аполло либо Венус выходят и говорят вирши, дивные хоры увеселяют гостей на фрейтах, скрипицах и фиолгаба́лах предивного мусикийского мастерства.

— А как тамошние баре?

— Главы жен и девиц непокровенны, как и в Дрездене, и Карлсбаде ты видел. Только женск пол к уборам в тех краях больше охочи, к делу неприлежны, ко греху же зело слабы и нрава часом весьма зазорного. Ну, да ты ведь на них и не взглянешь — слышно, и впрямь собираешься в монастырь.

Алексей отвернулся.

— Тебе шутки все шутить! — сказал он с досадой.— До того ли мне, и какой я монах?

— На что же, батюшка, в таком разе решаешься, чем задумал кончить, по требованию отца?

— Об одном мысль, к одному стремлюсь,— произнес, задумчиво глядя перед собой, царевич,— когда бы от всего меня уволили, чтоб жить мне, как бог изволит, в деревне, и ни до чего бы мне дела не было.

— Ну, на это, сам пойми, вряд ли согласятся вышние,—возразил, качая головой, Кикин,— потребуют несомнительно, жестоко притянут к иному.

— Да не могу же я, Александр Васильевич, душа не лежит,— сказал Алексей.— Сам ты говоришь: Питер — горе да ох... Из-за чего отец старые порядки бросил, потоптал? из-за чего, что ни день, заводит все новые? Мучит всех, во сне и наяву, шпыняет, теребит. Жило же царство без этих новшеств,— без гвардионцев и потешных,— в славе и силе состояло. Стрельцы били шведов, немца и ляхов. Все сторожко и честью блюли наш народ и сан. Батюшка веру дедов и прадедов презрел, патриарха синодскими канцеляристами заменил. И на что нам это, прости господи, чертово болото — новая столица? На что кургузые кафтаны солдатства, а вместо древних, урядных сарафанов, хоть бы эти хвостатые роброны, на фижмах, да пудра? Истерзал отец родину, уродует, кромсает, как мясник телку, по живому телу ножом...

Алексей встал. Лицо его залил румянец.

— И все потатчики подбивают его на эти новшества,— продолжал он, порывисто ходя по комнате,— изменники заповедям родным, боголживцы, церковные и мирские мятежники,— Головкин, Шафиров, Ромодановский, Трубецкой и сколько иных! Как попустит господь взойти после батюшки на древний предковский престол, быть на колах головам супостатов. Алексашка Меншиков особливо попомнит; места на его шее не станет, где упасть топору!

Алексей, опершись о стол, перевел дыхание. Глаза его горели гневом и негодованием.

— Быть Петербургу пусту! — вскрикнул он, ударив кулаком по столу.— Кораблей не стану строить, гвардию распущу, воевать брошу: со всеми будь мир и покой. Зиму стану жить в Москве, лето в Ярославле... Плюю на всех, абы здорова была мне чернь.

— Так-то так,— промолвил Кикин,— да чернь-то — стадо бессловесных; им нужен с доброю клюкой пастух, а ты мягок сердцем, вельми добр.

— А тезка мой, дед Алексей? Нешто не жил он в господней благодати, в общей любви и уважении от иноземных и своих? Никуда-то он, тишайший, непрошено не лез, никого не тормошил и не тиранил, а был счастлив. Так, с господнею защитой, буду царствовать и я.

— Сядь, батюшка-царевич, сядь,— произнес Кикин, ловя Алексея за руку,— угомонись для бога и слушай; объясню с иной стороны.

Алексей со вздохом опустился в кресло.

— Царствовать думаешь ты... великое слово,— продолжал Кикин,— только надо еще добиться того. А удастся ли, бабушка надвое сказала.

— Так что же мне делать и о чем мыслить? — тихо проговорил царевич, ломая руки.— По воле батюшки, с нищими, что ли, да с дьячками, схоронить себя в монастыре или отъехать, по-твоему, в такое царство, где приходящих приемлют и никому не выдают? Как решиться — на его или на твои слова? Ведь я человек, Васильич, жить на поле, как всякий последний смерд, хочу, а разве в черной рясе или на чужбине вольная жизнь, по душе?

— Видишь ли, Алексей Петрович, не обессудь, опять прямо скажу... Ты зело невоздержан в речах... Именно так... Мне открываешься, но поведал, может статься, и другим, а отцу-то долго ли от дозорцев про все узнать? Ну разделка и не далека...

— Ну что же отец, хоть и царь он, может сотворить со мной?

Кикин сдвинул брови.

— Как что? — спросил он, глядя на царевича.— Да разве не знаешь, как таковы дела творились и творятся у нас? Очень даже просто,— слышал, полагаю, про яд, потопления и прочия наши галантереи?.. Ведь даже Грозный царь Иван, как сравнить его с батюшкой Петром Алексеевичем, перед ним, в хитром неустанном тиранстве, малый шаловливый ребенок, шутник...

Алексей снова встал. В глазах его были слезы.

— Помоги, Александр Васильич,— сказал он,— молю тебя, как мне быть и как избавиться от отца?

— Невидимым учиниться! Был, мол, человек и нет его, по французскому термину, знаешь, чай, его,— il s'est éclipsé... [1]

— То есть опять-таки говоришь о бегстве, о чужеземщине?

Кикин молча кивнул головой. Царевич несколько мгновений смотрел на него, не находя выражений тому, что вставало и кипело в его душе. Грудь его дышала тяжело.

— Ах, друг любезный, ах, радетель,— выговорил он через силу,— ужели не понимаешь? Не могу я жить без Афросиньи... Вразуми, наставь, как не покидать мне ее? Ну, вот птице, малому зверенку нужен воздух, рыбе вода... Она мне — вода и воздух...

Кикин опустил глаза в землю. Теребя свою курчавую, косматую голову, как бы в тяжелом смущении, молчал.

— Был я в Венеции,— произнес он,— и слушал там в кляшторе езуи́ту; он перед принципом венецким сказывал казание. Сам в чепи золотой, в алмазных запонах, фиолетовой робе и в крахмальных полотняных брызжах около шеи, а недоросли-ребятки, в белых стихариках, подол той робы держали, как его на золоченом седне покоевые камергеры в церковь внесли. Езуи́та сказывал, а наши, бывшие там доле, переводили. Его проповедь была по зело высокую гору, что в Неаполе, от сотворения мира, неустанно день и ночь горит. Ничем ее не угасить и не повергнуть в темь. И равнял езуи́та ту гору Везувий с душою людской; не угасить и в человеке жара палящих страстей. Горячесть наша ныне спадет, завтра опять дымом и пеплом бьет и огненные пускает ручьи.

— К чему это ты ведешь? — спросил царевич.

— Помяненный сказатель навел в те поры на мою мысль и тебя. Не дивись, так оно и есть. Видел я твой предмет, Афросьюшку, впервое в Москве, в непригожем, бедном уборе видел, но и тогда она приятством пленила. Брови черные, союзные, телом дородна, вся быдто облита молоком; возрастом изрядна, глаза велики, умные, а косы русые, велики же, трубчатые, падают по плечам.

— Так и тебе, Васильич, она приглянулась? — с счастливою улыбкой спросил Алексей.

— Еще бы, батюшка! А как нарядил ты ее и увидел я ее после в Питере, просто диву дался. И не платьеце ал

---

[1] закатился как ясное солнышко... *(фр.)*

атлас, не чулочки узорные, синий шелк, не башмаки с каблучками, и не золото, серебро, канителью строченное по платью,— сама она, словно Венус планета, светила между других... И скажу без утайки, великого ума и нежных проницательств твоя Афросинья, хотя ты ее и не из высокого ранга приметил и сблизил к себе. Не в такой,—в высшей доле следовало бы ей быть...

Алексей в безмолвном восхищении слушал эти слова. «Переборщил, превысил похвалы Фроське,— думал тем временем Кикин,— ну, да ладно, маслом каши не испортишь; а взойдет он на отчий престол, Смолокурову царицей наречет,— быть мне из первых в министрах».

— Так ты не шутишь, Васильич? — спросил Алексей,— одобрил бы этот союз? Ведь батюшкина нынешняя женка из простых полонянок, люторка, чухонкой в услугах была... моя тоже полонянка, да русская и правой веры... Отец при живой жене ее взял к себе, а я — вдовый...

— Что и говорить! — ответил Кикин.— Еще и еще повторю: как заметишь что неладное, неумедлительно беги; вручи себя в добрую приемность кесаря.

— А как же с Афросиньей?

— Бери и ее. Только не сразу делай; снабдевай недостатки, порывы нрава благоразумием. Отведи глаза досмотрщикам: начни умненько охать, на недомоганье главы и всех мыслей жалуйся, с неделю, две не умывайся, не брейся,— сочтут тебя скорбным и слабым... тут разом, все изготовя, и беги.

Царевич задумался.

— А ты побываешь в Вене? — спросил он, не спуская глаз с Кикина.

— Нарочно, как бы по своим приватным делам, отпрошусь у царевны и съезжу.

— Выберешь, уготовишь мне тайное место?

— Не только с кесарскими министрами поведу негоцию, самого кесаря постараюсь видеть и о твоем приеме и защите уговорить.

Алексей бросился на шею Кикина. Ветер шумел за окном. Сквозь его гул слышались всхлипывания царевича.

— Помоги, верный друг, устрой! — проговорил он, отирая слезы.— У прочих на их дела всяких нужных и сильных слов много, у меня мало, почти никаких... Ну, Васильич, Христос тебя сохрани,— заключил Алексей, видя, что Кикин собирается встать,— часто видеться не приходится, хоть отписывай о себе, как и что.

— За милость твою буду тебе, государю моему, своею головой работать и отвечать,— сказал Кикин.— Одного молю, в тайности великой держи все, что говорено меж нас.

— Нешто и здесь боишься отца и его смотрельщиков? — с укоризной воскликнул царевич.— Даже обидно,— где они?

Вьюга на улице в это мгновение разразилась страшнейшим взрывом. Дом царевича вздрогнул. На крыше что-то рухнуло. Напротив бури сорвало крючок с оконной фортки, и она распахнулась. Ветер с ревом ворвался в комнату, задул свечи на столе и обдал вихрем снега лица хозяина и его гостя. «Уж не батюшка ли под окном подслушал нас и вошел сюда?» — в суеверном ужасе подумал Алексей, с содроганием отступая от окна. Ему показалось, будто ледяной, грозный гигант стал перед ним во тьме, глядя на него страшными, белыми глазами. «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его!» — шептал он мысленно, едва держась на ногах. Кикин бросился в соседний покой, принес оттуда канделябр со свечами и принялся замыкать фортку. Его руки дрожали. «И здесь чертова си́верка нашла,— думал он,— нигде от нее не спрячешься!»

— Счастливо оставаться,— сказал он, откланиваясь.— Через верных посыльщиков не оставь и нас безвестно о твоем здравии и прочем.

Царевич молча обнял его. По уходе гостя он присел в кресло, облокотился о стол, склонил на руки голову и так просидел за полночь, изредка взглядывая на дрожавшее от ветра окно. Под гул и грохот бури ему все мерещился ледяной гигант, будто склонявшийся к оконной раме с улицы и укорительно глядевший на него белыми глазами. «И почему я так боюсь его,— мыслил царевич,— фантома его пугаюсь, как дитя?.. Разве зверь он, не человек, мне не отец? И отчего, вместо сыновней, нежной любви, я с малых лет, сколько знаю себя, так не любил и так всегда боялся его?»

Алексею вспомнилось время, когда он юношей впервые возвратился из чужих краев. «Ну, каковы твои успехи? — спросил тогда отец,— как учился языкам, чертить и прочему? Принеси-ка свои чертежи». Напал тогда смертный страх на юношу-царевича. «Что, как заставит он, в испытание, чертить при себе? — подумал при этом Алексей.— А я столь ленился и не сумею? Пропадать, видно, злой кары не избегну!» Он пошел за чертежами, взял со стены пистоль, зарядил его и, как бы нечаянно, левою рукою

выстрелил себе в правую,— пуля слегка ранила ладонь. «Что с тобой, Алеша?» — спросил царь, бросившись на выстрел и увидя кровь на руке сына. «Не приметил с чертежами пистоля,— ответил царевич.— Ухватился, прости, и негаданно поранил себя». Петр подозрительно глянул на сына, но смолчал; опыта с черчением не было.

«Трус я негодный, смело думаю, говорю о борьбе с ним! — мыслил Алексей под гул несмолкавшей бури.— И когда же кончатся эти муки, когда, вместо метелей и холода, настанут ясные и теплые вешние дни?»

Кончился февраль, миновали март и половина апреля. Снег в Петербурге и его окрестностях сошел. Весна была в полном разгаре. Царевич изредка ездил в заседания коллегий и Сената, принуждал себя заниматься текущими делами, прочитывал присылаемые Меншиковым на его просмотр бумаги и немецкие куранты. Об отце мало было слухов. Знали только, что он ведет какие-то негоции в Дании. Посещая церкви, царевич наведывался кое к кому и из ближних к отцу вельмож. В конце великого поста он отговел и приобщился святых таин.

Солнце пригревало более и более. Скудная питерская природа готовилась одеться в вешний наряд. Ивы давно сбросили чехлы с цветовых почек. На полянах лесов Васильевского острова и Охты дружно прорастали зеленые травы, и по ним выделялись голубые и желтые пролески. Распускались вздутые почки лип и берез. С орешника свешивались серые цветочные локонцы. В садах пахло смолой раскрывавшихся листьев тополей. Грачи и вороны, оправив прошлогодние гнезда, с криком носились над ними. Появились мошки и жуки. В лесные затишья налетели зяблики, долгоносые удоды, серые и черные дрозды. Зазеленела черемуха, и на вскрывшихся реках показались первые дикие гуси и утки.

Ко двору царевича, перед Пасхой, прибыл весенний обоз из Поречья с живностью,— копчеными окороками, маслом, творогом, балыками, яйцами и провесными гусиными полотка́ми. С обоза ему подали два письма. Первое вскрытое было от попа Печу́нина. Отец Созонт благодарил Алексея за оказанные щедроты и дары. «О-ле, чудное милосердие, Христе Боже! — писал он царевичу.— Хитроделец и злопамятогубец, староста Мосеич, как ни роскошен и честолюбив, все по твоему указу исполнил. Не корит более, не уязвляет каменнометными словесы; дай,

Господи, тебе своего времени и лет царствования твоего благолепно устроити, аки устроил и хозяйствишко твое на мызах. Молился аз многогрешный тезоименнику твоему, человеку Божьему Алексею, и оный преподобный мученик милости нам от щедрот твоих излия: дадены нам луг и лес, пашенка и помощь в скоте и прочем, на прокормление мучицы аржаной и ячной, а для просфор матушке кладушечек две и пшеничной крупчатки. И во всем том добросердная и к помощи склонная моя питомка Ефросинья, вашей худобы блюстительница, советом и делом помогла совершить. Аз же, многогреховный и мизирный, пишу сие, а оная к милостям радетельница, Ефросинья Федоровна, вышла от себя, супротив, на крылечко, зрит в ваш сад и онаго с зимы, ей Господи, больше не познать. И егда убо дверцы в оный сад ныне на солнце отверзлись, от тех древес и кустов, яко аромат излиянный, дух сладкоухан и благоухан всех объя,— двор и церковка наша исполнися аки смирны и ладона. В прежнем житии, в Вязёмах, было хорошо; в твоей же, батюшка-царевич, здесь купленной мызе ей многократ лучше! Сему же письму конец предлагая и твоих милостей ввек не забывая, аз писавый словес ставлю конец, да сохранит твое превысочество «Бог-отец».

«Виршами на радости кончил! — подумал с улыбкой царевич, дочитав послание Созонта.— Что же, дай ему господи! добрые люди оба они...»

Но во втором письме он увидел надпись Смолокуровой. Краска восторга залила его лицо. Торопливо распечатав вчетверо сложенную бумагу, Алексей прочел следующие строки:

«Государю моему, царевичу Алексею Петровичу. Прийтить близко, поклонитеся низко, честь весело, быть радостну. С особливым увеселением извещена есмь любительнейшим вашим писанием. И мое письмишко честно да вручится тебе, государю моему, и ты впредь забвенно не учини, а мы о здравии вашем хоть одну строку слышати на всяк час желаем. Доношу же твоей милости, не видя ясных твоих очей, несносная мне печаль, сердечная, смертоносная язва. А кругом разве не рай? да кому без тебя, желанный, любоватися? Хозяйство ваше, аки младенец приятный, ласковый, досмотрено мною паче зеницы. А которыя слова приказаны, все то сделано. Солодовня починена, винокурня и маслобойня труждаются по всяк день; ледники набиты и в них из медоварни и пивного завода вкачаны бочки новаго варева, до вашего пришест-

вия к нам. Каменная рига покрыта, с чешуйным, зело красным, обвиванием по тесу и с петушки. В хоромах потолок, по воле твоей, зело штучно, итальянскою работой, из гипса кладен, и слуги ваши, кормилицыны оба хлопчика, красно же одеты,— плащик долог, бело сукно, шапочка бархат-синь, с обручиком смушковым,— сама с матушкой шила. Ах, приезжай, любонька-свет, все повидишь, сам не нахвалишься нашим трудам. На птичьем дворе — веселие от крику и радости велия. Гуси, павлины, утки и куры вывели малых птенцов. От мельницы, как приказал ты, радость, едучи, гирями в огород тянется вода. Реки, ручьи в местах полистых и лугах взыграли. Роща листьем кроется. Цветы из теплиц выставлены и скоро аки бы цвесть яблоням, дулям, сливам и всему. Не приедешь — вконец я пропала. И такая это, Бог мой, будет тоска! Виждь, свете мой, братец, прост я сердцем человек, а всему свету доказала, в любви верна. Ах, сердце, ах, лапушка! Зови к себе либо приезжай. Твой верный друг *Афросинья*».

«Надо ехать,— подумал царевич.— Какой ни придумать резон, нет сил,— вырвусь и уеду!»

Волга, Кама, Ока и Дон в то время уже вскрылись. В Воронеже готовились к спуску на воду вновь построенных кораблей. Алексей объявил в Сенате, что, выполняя всегдашние желания отца и чувствуя себя ныне вполне здравым, он решил отбыть в Воронеж для осмотра тамошних судов и верфи. Получив от морской коллегии прогоны и подъемные, он собрался и вскоре, со слугой и поваром, двинулся на ямских в Москву, а оттуда на Муром и Арзамас, в алатырскую свою вотчину, Поречье. «В Воронеж еще успею, как просохнет,— думал он.— Давно собственного не видел хозяйства». . . . .

Ноябрь 1890 года



КРУТОЯРСКАЯ ЦАРЕВНА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ
1773 Г.

I

На высоком и крутом берегу небольшой, но быстрой речки раскинулась богатая помещичья усадьба, хорошо известная не только в ближайшем губернском городе Самаре, но и далеко за пределами губернии.

Огромные каменные палаты, стоящие венцом на высоком холму, были окружены десятком надворных строений, а впереди барских палат тянулись два обширных густых сада: нижний — уступами спускавшийся к реке, и верхний — примыкавший к селу, разбитый на правильные аллеи с оранжереями, грунтовыми сараями и питомниками.

В противоположной стороне от верхнего сада, среди молоденькой березовой рощи, высился красивый каменный храм. Большое село с тысячью душ обоего пола далеко раскинулось по равнине.

Вотчина эта, по имени Крутоярская, или, как привыкли звать ее, просто — Крутоярск, была известна на сотни верст кругом, во-первых, потому, что она была богатой и красивой усадьбой, во-вторых, потому, что личность, которой Крутоярск принадлежал, была в совершенно исключительном положении.

Вотчина принадлежала не какому-либо богатому и почтенному помещику, пожилому и семейному, а принадлежала юной помещице, которую давно прозвали «царевной».

Владетельнице богатой усадьбы и многих других имений в других губерниях было всего шестнадцать лет, и к тому же она была круглой сиротой. Не мудрено, что молоденькая и хорошенькая сирота, богатейшая невеста, интересовала многие и многие помещичьи семьи как Самарской, так и соседних с ней губерний.

Во всякой помещичьей усадьбе, где был налицо сын, молодой малый, родители денно и нощно мечтали женить его на крутоярской царевне. Самарская молодежь и все неженатые от двадцати и до сорока лет включительно, даже самые не корыстолюбивые и не думавшие вовсе о деньгах и приданом, мечтали удостоиться руки владелицы Крутоярска.

Иначе и не могло быть... Молоденькая девушка была таковою, какие только описываются в сказках, потому что, помимо огромного состояния, она была очень красива собой, умна, кротка и чрезвычайно добра. Сиротство ее, казалось, прибавляло ей еще более прелести.

Прозвище царевны как нельзя более шло к ней. Действительное имя богатой сироты-невесты было Неонила Аркадьевна Кошевая. Предки ее были малороссы.

Прадед крутоярской помещицы поневоле покинул когда-то Украину и поселился в Приволжском крае. В те дни, когда знаменитый Мазепа изменил первому императору, Кошевой остался верен русскому царю, но, нажив своими действиями много врагов на родине, должен был покинуть Украину вместе с многочисленной родней.

За несколько десятков лет прошло три поколения Кошевых, но никого не осталось в живых из многочисленной семьи; теперь единственной представительницей малорусского казачьего рода была богатая сирота. Последний помещик Крутоярска, Аркадий Петрович Кошевой, погиб в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими. Молодая вдова не долго пережила страстно любимого мужа, и после нее на свете осталось двое сирот: мальчик и девочка, пяти и трех лет. Но еще через два года мальчик, хилый, почти немой, тихо и незаметно угас. Представительницей рода Кошевых оставалась одна девочка-малютка, которую звали уменьшительным именем, данным ей еще покойным отцом,— Нилочкой.

Будь близкие родственники у Нилочки люди, заинтересованные тем, чтобы захватить в свои руки большое состояние, то, быть может, благодаря времени и нравам, коварные люди сумели бы извести и отправить на тот свет малютку. Но таких родственников или наследников не

было ни единого. Если бы крошка Нилочка вдруг умерла, то все состояние оказалось бы выморочным.

Наоборот, нашлись люди, которым было выгодно, чтобы малютка была жива и здорова. Люди эти были назначенные к ней опекуны.

Едва только умерли Кошевые — отец и мать, как к обеим детям был назначен опекун, дальний родственник покойной Кошевой. Это был человек пожилой, добрый и беспечный, лейтенант в отставке Зверев. Он взял на себя управление всеми имениями и воспитание детей почти против воли. Опекунство это продолжалось, однако, очень не долго.

Тотчас после того как умер мальчик, который за все свое недолгое существование был еле живой, в Петербург посыпались на лейтенанта со всех сторон безыменные доносы в том, что он уморил одного из сирот и собирается уморить и девочку, чтобы, в качестве дальнего родственника покойной Кошевой, хлопотать о наследстве.

Все это было вымыслом и клеветой. Тем не менее вскоре был прислан из Петербурга гвардейский офицер — по высочайшему повелению расследовал все касающееся до сироты Кошевой и ее состояния.

Судьбой малютки, оказалось, заинтересовался в качестве соотчича сам гетман Кирилл Григорьевич Разумовский. Присланный офицер был его дальний свойственник. Последствием возбужденного дела было только удаление лейтенанта Зверева от опекунства.

Над малюткой была назначена опека прямо из Петербурга, и опекуны обязывались обо всем постоянно докладывать самому гетману. С этого дня существование маленькой Нилочки изменилось.

В Крутоярск явились два опекуна: артиллерийский полковник Мрацкий с женой и большой семьей, состоящей из шести человек детей и многих родственников, а за ним вслед преображенский прапорщик в отставке — Жданов. Последний, холостяк лет сорока, явился с одним мальчиком, которого выдавал он за приемыша, но который был, в сущности, его побочным сыном от крымской татарки.

Оба опекуна на первых порах разделили все вотчины опекаемой ими малютки на две части, ради управления. Каждый делал, что хотел, в своем уделе, и только раз в год оба вместе составляли один общий доклад обо всем на имя гетмана. Вскоре, однако, все управление незаметно перешло в руки одного Мрацкого, а Жданов не вмешивался ни во что. Вместе с тем большие палаты были разделены

тогда же на три части. В левом крыле поселился со своей семьей и домочадцами Мрацкий. В правом крыле поместился Жданов, но вместе с ним и канцелярия опекунского управления, т. е. человек двадцать всяких наемных подьячих и писарей. В центральной части дома, где были большие парадные комнаты, две огромные залы, называемые: зимняя и летняя, несколько гостиных: желтая, анненская и итальянская,— жила в четырех небольших горницах крошка-владелица. К ней тотчас был приставлен целый штат нянек и горничных, а впоследствии явились и гувернантки: француженка, немка и третья совершенно сомнительного происхождения, которой вменялось в обязанность обучать девочку танцам и малеванью.

Разумеется, крошка-сирота в огромном доме, окруженная кучей пришлых, чужих людей, взиравших на нее, если не вполне неприязненно, то холодно и безучастно, могла бы, конечно, сгинуть, известись. По ее бледному, худому личику и большим кротким глазам всякий бы увидал и догадался, что извести, напугать Нилочку было бы далеко не мудрено.

Конечно, оно бы так и случилось. По всей вероятности, девочка не достигла бы и десятилетнего возраста, окруженная не людьми, а штатом,— живой, холодной стеной, закрывавшей ей со всех сторон свет и весь мир божий. Но судьба поставила около ребенка верным стражем — няню.

Твердо и незыблемо, как какой-нибудь каменный исполин, а отчасти и каменный сфинкс, стояла около Нилочки эта няня.

II

С первых дней существования малютки бедная дворянка из захудалого рода, Марьяна Игнатьевна Щепина, была взята в старшие надзирательницы над многими няньками новорожденной. Через несколько месяцев все няньки были ею оттеснены и Марьяна Игнатьевна взяла на свое полное попечение девочку-малютку, поселилась с нею вместе в небольшой горнице и не отходила от нее ни на шаг ни днем, ни ночью.

Однако, помимо питомицы, у этой женщины была своя забота, свой ребенок-мальчик, одних лет с Нилочкой.

Так как Щепина поступила в низкую, для ее дворянского происхождения, должность, то согласилась на это только под условием, чтобы ее ребенок жил около нее.

Покойные родители Нилочки охотно согласились на это, и маленькому Борису была даже отведена отдельная горница и дана отдельная нянька.

При жизни покойных Кошевых Марьяна Игнатьевна имела уже некоторое значение в доме, но, едва только дети остались сиротами, Щепина получила еще большее значение. Она прославилась на всю Самарскую губернию своими невольными похождениями на берегах Невы. В эти роковые для нее дни Марьяна Игнатьевна показала свету белому, что она за человек.

Когда умер мальчик, до которого Щепина не касалась,— так как он имел свою няню — и когда вслед за тем явился следователь из столицы, Марьяна Игнатьевна разделила участь опекуна Зверева. Ее отставили, изгнали из Крутоярска, советуя благодарить бога, что она не отдана под суд.

Опекун Зверев, негодуя и грустя на клевету, спокойно удалился в свое небольшое имение. Марьяне Игнатьевне приходилось вместе с мальчиком своим точно также удалиться в Самару.

Она это и сделала, но через несколько дней, оставив мальчика на попечение дальней родственницы, Марьяна Игнатьевна была уже в пути. Через полтора месяца она была уже в Петербурге.

Целую зиму обивала она пороги домов и палат и вельмож и простых чиновников, подавая всюду одно и то же прошение. Щепина требовала, чтобы, в исполнение воли покойной матери ее питомицы, она была снова приставлена к малютке Кошевой. Время, в которое она попала в столицу, было самое неблагоприятное. При ней началось новое царствование, вступил на престол император Петр Феодорович. За это время Щепина прошла столько мытарств, что никогда, впоследствии, не хотела и поминать в разговорах все, что пережила и перечувствовала. Руководила ею горячая привязанность к малютке, а не корыстолюбие, иначе она бросила бы хлопоты.

Много раз грозились Щепиной сильные люди, что она будет выслана из столицы, а то и сослана в какую-нибудь трущобу, но Марьяна Игнатьевна не устрашалась и не унывала. Наконец, уже в конце великого поста, она была принята графом Алексеем Григорьевичем Разумовским и выслушана им. Затем с собственным лакеем любимца покойной императрицы она была отправлена им к брату — гетману. И в тот же час гетман принял Щепину. Несколько месяцев добивалась она и тщетно старалась проникнуть

в палаты Кириллы Григорьевича, а теперь это оказалось возможным сразу.

Беседа Щепиной с графом-гетманом привела к полному успеху.

В мае месяце Марьяна Игнатьевна уже снова вернулась в Крутоярск, чтобы стать вновь главной нянькой маленькой Нилочки. Но на этот раз все обыватели Крутоярска, оба опекуна, весь штат, вся дворня, все до последнего человека, встретили Марьяну Игнатьевну так, как если бы она была сама владетельницей вотчины.

И не мудрено. Марьяна Игнатьевна привезла с собой строжайшее предписание графа-гетмана, чтобы во всем, что будет касаться до ухода за девочкой, не вступаться никому.

Вместе с тем Щепиной препоручалось хозяйство в доме, заведование всем штатом маленькой Кошевой и приказывалось, точно так же, как и опекунам, посылать годичный рапорт на имя гетмана о здоровье и благополучии опекаемой малютки.

С этого дня далеко за пределами Самарской губернии Марьяна Игнатьевна Щепина стала лицом столь же известным, как и сама сирота Кошевая.

С тех пор прошло более десяти лет, а Марьяна Игнатьевна все еще пользовалась тем же значением и тем же почетом, как и в первый день своего прибытия из столицы.

Про нее все отзывались, кто смеючись, а кто и со злобой, что она «баба, железом шитая».

И вот благодаря этой женщине, «железом шитой», малютка Кошевая, как бы за надежным щитом, выросла, расцвела и стала красивой девицей-невестой. Щепина вполне заменила девочке родную мать и даже более того. Живи на свете Кошевые — родители Нилочки — она, быть может, была бы менее счастлива и была бы хуже воспитана.

Дворянка захудалого рода пошла в простые няньки ради куска хлеба и пристанища, а главным образом ради средств для воспитания единственного сына, которого обожала, но вскоре оказалось, что ее положение почти настоящей опекунши было ей по плечу.

Опекуну Мрацкому с первых же дней пришлось бороться с Щепиной и наконец уступить во многом, что касалось до ухода и воспитания богачки-девочки. Мрацкий скоро догадался, что Марьяна Игнатьевна — женщина недюжинная, с умом и с волей.

— Нашла коса на камень! — говорили про опекуна и про главную нянюшку все обитатели Крутоярска, и нахлебники, и крепостные.

Более десяти лет прожили Мрацкий и Щепина под одной кровлей и не единого разу не повздорили и не поссорились, а между тем ненавидели друг друга всеми силами души и разума. За все это время Марьяна Игнатьевна «без шума» добивалась своей цели и достигла ее. Цель эта заключалась в том, чтобы Нилочка любила ее и слепо повиновалась ей, а чтобы ее собственный сын Борис был воспитан «по-дворянски» и вышел в люди. У Бориса Щепина были те же учительницы, что и у «царевны», а так как он был мальчик способный, то воспользовался ученьем вполне. Будучи четырнадцати лет, он уже озадачивал своими познаниями малограмотную среду.

Теперь Борис был уже в Петербурге, в гвардии, и его жизнь начиналась так, как если бы он был сыном богатых помещиков, а не простой нянюшки.

Марьяна Игнатьевна была вполне счастлива, глядя на карьеру сына, и мечты ее о счастии ее Бориньки шли дальше, выше... Но в чем они заключались, никто не знал, даже обожаемая ею Нилочка.

Между пестуньей и питомицей не было, конечно, тайн; они жили душа в душу, как бы родные мать и дочь. Но о том, что мечтается Щепиной относительно Бориса, она не могла искренно поведать Нилочке.

Богатая сирота «царевна» не могла бы и догадаться, о чем помышляет Марьяна Игнатьевна, настолько эти тайные помыслы няни были далеки от ее личных помыслов относительно того же Бориса.

А Нилочка вообще любила помечтать, и чем более подрастала, тем более воображение ее работало.

Теперь она все чаще и все упорнее мечтала о том, что сделает, когда выйдет из-под опеки. Об иных своих планах она тоже не говорила няне. Между прочим, Марьяна Игнатьевна не знала, что Нилочка собирается подарить Борису богатую вотчину в Казанской губернии.

Равно не знала няня, что ее питомица мечтает о том дне, когда она никому повиноваться не будет, и притом ждет его так же, как алчущий ждет утолить свою жажду. С мучительным нетерпением, с тоской...

Не мудрено было няне не знать этого, так как вообще мудрено было знать Нилочку. Худенькая, тихая, белокурая девушка, с красивыми голубыми глазами, темными, задумчивыми и глубокими, была своего рода загадкой. Ее

никто таковою не считал, никто не старался разгадывать, полагая, что она вся «на ладони»; но зато никто ее и не знал, все на ее счет ошибались.

Марьяна Игнатьевна думала, что Нилочка «чудна» только на словах, а на деле — самое простое существо.

«На словах собирается век города брать,— думала Марьяна Игнатьевна,— а как дойдет дело до поступления, то струсит и послушается моего совета. Так завсегда было, так и впредь будет».

И в этом суждении было доказательство того, что и сама няня, ближайшая к Нилочке личность,— не знала девушки.

Крутоярская царевна, всячески опекаемая чужими людьми и окруженная холодной толпой нахлебников, уподоблялась птичке в клетке.

Птичка, прыгая по двум жердочкам клетки, смотрит все вверх в синие небеса и чует, знает, чувствует, что может взмахнуть крылышками и унестись туда в один миг...

Но кто же ей — умеющей пока только прыгать по клетке — поверит?!

III

Усадебный дом в Крутоярске, его обстановка, обыденная жизнь всех его обитателей представляли собой странное явление. Едва ли бы можно было найти другой богатый усадебный дом, в котором жилось бы так же странно.

Прошло более десяти лет, что в доме явились два опекуна. Как в первые дни их появления, так и теперь, большие палаты вмещали в себя несколько враждебных между собой лагерей. Тут, казалось, никто не жил дружно.

Шестнадцатилетняя владелица занимала центральную часть дома, огромную по размерам, но где жилых комнат было всего четыре небольших. Остальные были залы и гостиные, вечно пустые, унылые и молчаливые.

Нилочка с своей воспитательницей Марьяной Игнатьевной, которую она обожала, и с несколькими женщинами из штата жила особой жизнью, замкнутой и тихой. У нее, конечно, была своя отдельная прислуга, отдельный стол, за который только в большие праздники приглашались, в качестве гостей, опекуны и их домочадцы.

Правое крыло дома, где жили опекуны Петр Иванович Жданов с приемышем Никифором, было одним лагерем,

враждебным остальному дому. Левое крыло дома, где помещался опекун Сергей Сергеевич Мрацкий с большой семьей и собственными своими нахлебниками, было другим враждебным всему остальному лагерем.

Верхний этаж над парадными апартаментами был разделен на десятки мелких комнат, где помещался штат владелицы и нахлебники обоего пола, бог весть зачем согнанные отовсюду. Весь этот люд, праздный, сытый, от дарового корма бесившийся с жиру, притворно обожал «царевну» и Марьяну Игнатьевну и раболепствовал пред обеими всячески. В действительности весь этот люд разделялся на два лагеря. Одни были приспешниками Жданова, другие — Мрацкого.

Замечательнее всего было то, что два опекуна жили довольно дружно, почти никогда не ссорились, так как Жданов постоянно уступал Мрацкому и в мелочах, и в серьезных вещах.

Что касается до их приверженцев среди нахлебников, дворни и даже крестьян, то эти партизаны не жили просто, а постоянно воевали между собой. Если бы не всеобщая боязнь двух лиц в доме, то, быть может, когда-нибудь в крутоярском доме дошло бы дело и до смертоубийства. Только два лица сдерживали всех нравственным влиянием: Марьяна Игнатьевна и опекун Мрацкий. Это были единственные два лица в доме, которые обуздывали разношерстную толпу обитателей Крутоярска.

Вместе с тем Мрацкий и Марьяна Игнатьевна были издавна, с первых дней общего сожительства, злейшими врагами. И опекун, и пестунья жили рядом более десяти лет, как стоят две враждебные армии одна против другой — стоят, зная, что придет час битвы, и трепетно, с боязнью ждут часа сразиться.

Теперь в крутоярском доме все жили с одной мыслью, скоро ли и за кого выйдет замуж крутоярская царевна. Все зависело от этого... Жизнь каждого в отдельности и будущность его была в прямой зависимости от замужества владелицы.

«Кто будет завтра супругом царевны, барином в Крутоярске?» — вот о чем думали все.

Все были уверены, что не пройдет году, как крутоярская юная помещица будет уже выдана замуж. Не сама выберет себе мужа, а будет выдана почти насильственно. Но за кого? Кто возьмет верх, кто победит?

Праздная толпа нахлебников насчитывала теперь четырех искателей руки помещицы. Первый и главный из них

был двадцатипятилетний сын Мрацкого — Илья. Его звание — претендента на руку богатой невесты, опекаемой его отцом,— не было тайной ни для кого.

Сергей Сергеевич Мрацкий прямо и открыто не говорил, но все, однако, знали, что он лучше даст себя прирезать или сжечь живым, нежели упустить такую невесту. Он думал и был глубоко убежден сам, что опекаемая им девушка должна выйти замуж за его сына из благодарности за все его, опекуна, благодеяния.

Он заявлял, что принял в опеку имение Кошевой в самом плачевном виде и за десять лет привел все дела в порядок. Это было верно только отчасти.

Действительно, Мрацкий усердно занимался делами, пока Жданов ничего не делал, но зато опекун, явившись в Крутоярск с большой семьей, не имел почти никакого состояния, а теперь уже владел сам тремя имениями в других губерниях, купленными за время опекунства.

В губернском городе Мрацкого иначе не называли в шутку, как крутоярский «упекун», который может со временем упечь и все состояние Кошевой. В действительности Мрацкий наживался осторожно и отчасти благоразумно. За время своего опекунства он мог бы присвоить себе вдвое более.

Главный претендент на руку владелицы крутоярской был капралом в отставке. Когда-то Мрацкий снарядил сына в Петербург в один из столичных полков, но затем, по прошествии трех лет, снова выписал его обратно. Ему хотелось, чтобы его Илья был постоянно в Крутоярске и приучил к себе Нилочку.

Молодой человек, к большому прискорбию отца, был крайне не подходящ для роли претендента. Это был здоровый, плотный, рыжеватый малый с пухлым лицом и простоватым, почти бессмысленным выражением в глазах. Он был то, что народ называет «лупоглазым».

Несмотря на молодые годы, он был какой-то медведь, ленивый, грузный, неповоротливый, не способный ни на что. Даже молодые девушки семейств нахлебников говорили про Илью Сергеевича Мрацкого, что он — ни мужик, ни баба.

Единственное качество молодого человека заключалось в том, что он был крайне добродушен и готов услужить всякому. Глядя на сына, Мрацкий в иные минуты сам отчаивался в возможности женить его на Нилочке.

Будь у него другой сын-жених, он бы давно бросил эту мечту, но на его горе после Ильи были взрослые, тоже

некрасивые дочери, а второму сыну было всего только пятнадцать лет. Надеяться на то, что Нилочка засидится в девушках и даст время второму сыну, Сергею, подрасти, было трудно.

Вторым претендентом на руку Нилочки считался родственник губернатора, князь Николай Николаевич Льгов, красивый и умный молодой человек, бывший офицер и состоявший теперь на службе в Самаре. У него не было никаких средств, но зато был титул. Князь Николай Николаевич был самым видным и завидным женихом для крутоярской помещицы, которой недоставало только титула, чтобы иметь все, что судьба может дать любимице.

Князь изредка бывал в Крутоярске в гостях, но визиты эти были очень странные. Молодого князя принимали поневоле, боясь губернского начальства. Никто в Крутоярске не желал его видеть. Для всех он был бельмом на глазу.

За последнее время князя стали принимать еще более холодно все до единого обитателя, от опекунов и пестуньи и до последнего нахлебника. Причиной этого было то, что многие заметили, как стала относиться к князю юная помещица. Молодой человек, по-видимому, нравился ей немного.

IV

Третий претендент на руку царевны был несколько сомнительный. Это был приемыш опекуна Жданова, Никифор Неплюев. Несмотря на свое побочное происхождение от простой караимки, у приемыша Жданова бумаги были в порядке и он числился недорослем из дворян.

Многим было хорошо известно в Крутоярске, что документы приемыша купленные, что никакого Неплюева-отца у него никогда не бывало,— но доказать ничего было нельзя.

Никифор Неплюев, двадцатитрехлетний малый, был красивый брюнет с оригинальным лицом, очень смуглый, с большими черными глазами, с такими бровями, каких не было на всю Самарскую губернию.

Брови эти, как бы углем намазанные, шли от висков и почти срослись на переносице, но это не безобразило его. Резкие, но характерные черты лица, замечательно выразительные глаза, черные, как смоль, курчавые волосы — все делало его красивым.

Вдобавок он был чрезвычайно статен, очень ловок и, в противоположность Илье Мрацкому, мастер на все руки. Он лихо ездил верхом и любил объезжать самых бешеных коней из табунов, отлично стрелял, будучи страстным охотником, как и его отец, был главным сердцеедом и победителем женского персонала в Крутоярске и во всем уезде.

Он безусловно нравился всем женщинам: от помещиц и горничных до крестьянских молодух на селе. Никифор был не столько умен, сколько хитер, но при этом и дерзок, предприимчив и в особенности быстр во всем, что он делал. Он, казалось, успевал во всем только потому, что брал каждого человека врасплох. Даже с самим опекуном Мрацким — врагом его названого отца — он умел справиться.

Мрацкий ненавидел Никифора уже за одно то, что он был противоположностью его собственного сына, был около Ильи молодец молодцом. Тем не менее Никифор умел часто заставить Мрацкого что-нибудь сделать в свою пользу исключительно тем, что наступал неожиданно, дерзко и быстро.

Прозвища, которые были у Никифора, данные ему в Крутоярске, обрисовывали его. Его звали «Никишка головорез». Потом одно время звали «Стенькой Разиным». Теперь звали «Сибирным», предрекая, что за некоторые дерзкие выходки в своих любовных похождениях он может угодить в Сибирь.

Все в Крутоярске опасались Никишки, так как он в карман за словом не лазил и, по выражению обитателей, «за ножом тоже в карман не полезет». Это мнение было не преувеличенным, так как, будучи еще пятнадцати лет, Никишка однажды в ссоре хватил ножом сына одного из нахлебников.

Все относились к Неплюеву осторожно, просто боялись его, но в доказательство того, что бывают на свете необъяснимые странности, была в Крутоярске одна личность, которая не боялась Никишки и которой он даже, казалось, нравился.

А личность эта была именно сама царевна. Кто бы что ни говорил про головореза и сибирного Неплюева, Нилочка горячо защищала его, находила его и умным, и красивым, и добрым. Последнее было совершенно неверным, даже неприложимым к Неплюеву. Достаточно было взглянуть ему повнимательнее в лицо, чтобы убедиться, что красивый караим по матери был малый злой и

бессердечный. Многие случаи из его жизни доказывали это.

Как будто назло Мрацкому и к большой досаде Марьяны Игнатьевны, Нилочка благосклонно относилась к ненавидимому и презираемому ими Никишке. Она находила удовольствие разговаривать с ним, охотно выслушивала россказни дворни про разные его похождения и подвиги; хотя эти подвиги бывали иногда очень бесчеловечны.

Однажды, не справившись с дикой лошадью, которую Неплюев взялся объезжать, он настолько разбесился, что привязал коня к дереву и ременной татарской плетью «снял кожу» с животного, как говорили все нахлебники, т. е. истязал животное, а затем на месте застрелил из ружья.

Иногда, узнав про какой-либо подобный подвиг Неплюева, Нилочка приходила в ужас, порицала молодого человека, затем требовала у него объяснения его поступка. Головорез Никишка умел каждый раз представить все дело в таком виде на благоусмотрение крутоярской царевны, что она выговаривала ему, брала с него слово никогда более не злыдничать и, отпуская от себя, снова приветливо улыбалась ему.

Подобные случаи все более убеждали крутоярских обитателей, что у головореза есть какой-то приворот на женщин. Даже сама царевна и та, пожалуй, кончит тем, что влюбится в сибирного. Представить себе этого Никишку барином крутоярским и распорядителем судьбами всех его обитателей было, конечно, ужасным.

Насчет четвертого претендента на руку царевны мнения в Крутоярске разделились. Одни были вполне убеждены, что Нилочка не только рано или поздно, но даже и вскоре выйдет за него замуж непременно. Другие же считали дело совершенно невозможным.

Этот четвертый претендент, бывший теперь в Петербурге, в рядах Семеновского полка, вскоре ожидался в Крутоярске. Это был единственный сын самой Марьяны Игнатьевны, Борис Щепин.

Будь пестунья Нилочки не дворянского происхождения, то, конечно, ее сын не мог бы мечтать ни о том, чтобы быть в гвардии, ни еще менее о том, чтобы жениться на Кошевой. Марьяна Игнатьевна, пошедшая когда-то в простые няньки, кичилась своим дворянским происхождением и постоянно твердила обожаемому сыну Борису, что у него все есть, кроме состояния.

Понятно, что для Нилочки сын второй матери был почти родным. Вместе росли они, были дружны и любили друг друга как брат и сестра. И так прошло несколько лет.

Марьяна Игнатьевна всем и каждому заявляла, что надеется со временем хорошо женить сына на какой-нибудь самарской девице. Когда же ей говорили и намекали на возможность брака между ее сыном и Нилочкой, то Марьяна Игнатьевна приходила в негодование, говоря, что ее сын — Нилочке не пара.

Она богачка, ей, по прозвищу «царевна», следует выходить замуж тоже за какого-нибудь царевича, а не за бедного офицера, хотя и дворянского, хорошего рода.

Многие верили Марьяне Игнатьевне на слово, многие двусмысленно ухмылялись. В действительности можно было опасаться одной помехи для подобного брака. И помеха эта была в самой Нилочке. Она слишком просто была привязана к Борису Щепину. Он был для нее братом, человеком, с которым она прожила душа в душу все свое детство.

Если бы самой Нилочке назвали когда-нибудь Бориса женихом, то она бы рассмеялась. Это казалось чем-то несообразным.

За последние два года, что Борис был в Петербурге, Нилочка много думала о нем, интересовалась его судьбой, нетерпеливо ждала вестей о нем и постоянно тосковала о «Бориньке» с Марьяной Игнатьевной. Одним словом, для Нилочки Борис был совершенно родным братом.

Борис Андреевич был вообще любимцем всех прихлебателей, а равно и дворни в Крутоярске. Он был слишком добрый и сердечный малый, чтобы не быть любимым всеми. Он постоянно, еще ребенком, оказывал всякого рода услуги, иногда устраивал и важные дела для крутоярцев. Многое зависело от его матери, а Марьяна Игнатьевна никогда не могла ни в чем отказать своему Бориньке. Понятно, что всякий ради успеха своего дела упрашивал заступиться «мамушкиного барчука» и подсылал его к неприступной и нелюбимой в усадьбе Щепиной.

Когда в начале осени пришло в Крутоярск известие, что Борис Андреевич уже не рядовой, а получил чин капрала, почти все в усадьбе, кроме семьи Мрацких, обрадовались и искренно, от души бросились поздравлять «железом шитую бабу».

V

В 1773 году, после жаркого лета, сразу наступила холодная и ненастная осень.

В угрюмый октябрьский день, несмотря на сильный ветер, низко и быстро летящие серые облака, грозящие ежеминутно частым мелким дождем, крутоярская владелица, в сопровождении мамушки Марьяны Игнатьевны, тихо и молча гуляла взад и вперед по главной липовой аллее верхнего сада.

Обе двигались то к дому, то от дома, будто нехотя или «по заказу», поневоле, без всякого желания гулять.

Нилочка глядела бесстрастно и скучающими глазами на пустынную аллею или по бокам на оголенную чащу дерев и кустов. Щепина озабоченно думала о чем-то, и лицо ее было сумрачно.

Всякий день, за исключением дней полного ненастья, Нилочка гуляла часа по два в этом верхнем саду и знала каждый камешек и каждую ветку наизусть. По этой аллее бегала она когда-то и пяти лет от роду с куклой на руке, и потом десяти и более с детскими мечтами.

Наконец тут же гуляет она почти 17-летней девушкой и думает... думает о совершенно ином.

А этот сад все тот же пустынный, безответный. Осенью и зимой сквозь голую чащу виднеется чрез его каменную ограду направо селенье, налево надворные постройки, а за ними высокая колокольня храма, за ним поля и леса... Все это от палат и храма и до последней березки — ее собственность и вместе с тем все это как чуждо. Надо всем этим не она повелевает, над всем будто нависла грозой власть почти страшного для нее человека, злого, лукавого и коварного.

Она у себя дома, под родным кровом, и в то же время она будто в гостях и даже хуже: на хлебах из милости у ненавистных ей благодетелей. Говорят, будет конец такому житью, но она почти перестала верить этому.

Когда она будет совершеннолетняя, опека уничтожится, все эти чужие люди выедут из Крутоярска поневоле, но ведь до тех пор еще ждать более четырех лет.

Мало ли что может еще случиться, что они, эти неприязненные ей люди, могут наделать?

Один из них страшен ей, но страшен равно всем. Сергей Сергеевич Мрацкий так поговаривает, что, кажется, никогда не покинет Крутоярска. Он сумеет так все под-

вести, что вековечно будет властвовать и над Крутоярском, и над сиротой.

И, думая об этом, Нилочка всякий раз кончала одной и той же мечтой.

Ах, если бы явился избавитель. Он! Тот желанный и неведомый, который не устрашился бы Мрацкого, полюбил бы ее и стал бы властным над всем, над всем и, пожалуй, над ней самой.

На этот раз, благодаря осени, серому дню, озабоченности Марьяны Игнатьевны, молодая девушка была еще тоскливее настроена, чем когда-либо. Ей казалось сегодня еще яснее, чем бывало прежде, что она — самое несчастное существо на свете. Сиротство и одиночество сказывалось еще ярче, ощутительнее... Бывало, она все свои думы или тревоги сердца поверяла своей второй матери, мамушке, теперь вот уже третий год она перестала это делать.

Марьяна ли Игнатьевна изменилась по отношению к ней? Или она переменилась, и ей самой стали приходить такие мысли, которые не следовало иметь? Ее дорогая «Маяня», как звала она мамушку, еще в детстве картаво переделав ее имя, все чаще журила свою питомицу, когда девушка исповедовалась в своих мечтах и грезах. И кончилось тем, что теперь самое дорогое на сердце оставалось скрытым, тайным не только для всего Крутоярска, но и для этой «Маяни».

Услужливая из раболепства дворня, сенные девушки в особенности, часто передавали барышне кой-какие вести, касающиеся до Крутоярска. Сегодня утром Нилочка узнала, что будто на днях к ним собирается из Самары гость, человек, к которому девушка относилась как-то странно, непонятно ей самой. Чужой вполне человек, мало знакомый даже, был ей будто близок, будто гораздо ближе многих своих крутоярских.

И об этом думалось ей теперь. А сказать об этом Марьяне Игнатьевне можно, но не хочется...

Молчаливо погуляв более часу, Нилочка позвала Щепину домой.

— Может быть, и разгонный уж приехал,— заметила она.— Может, письмо есть.

Марьяна Игнатьевна вздохнула.

— Пора бы. Пора...— выговорила она глухо.— Всякий день — вот неделю томит он нас. И что могло задержать? Боринька мой не зряшный какой о семи пятницах в неделю.

— Вот я и думаю, Маяня... сегодня письмо есть. Чует мое сердце, что есть... увидишь.

— Ах, полно ты... только смущаешь меня,— нетерпеливо вымолвила Щепина.

Обе женщины двинулись к дому и скоро входили уже на большое крыльцо, поднялись во второй этаж и вступили в парадные комнаты, так как достигнуть им своих четырех сравнительно маленьких комнат нельзя было иначе, как чрез грязный ход для прислуги, или чрез обе большие залы и три гостиные. Первая зала, белая под мрамор, с лепными позолоченными украшениями, была велика, в два света, всегда холодна зимой, пустынна круглый год.

В ней с рожденья на свет Нилочки никогда ничего не бывало, но в прежние времена при ее деде бывали пиры и балы.

Вторая зала была несколько менее, темнее, к ней примыкала большая крытая терраса, выходившая в сад. Здесь бывали обеды, более или менее парадные, четыре раза в году, в Светлое воскресенье, в Рождество и затем в день рождения и именин владелицы, приходившихся на январь и октябрь.

Затем следовали три гостиные, из которых анненская в два колера — пунцовый и желтый — была самой красивой. Но последняя итальянская с круглыми окнами, со светло-голубой позолоченной мебелью стиля Лудовика XIV была любимой гостиной юной владелицы. Здесь она принимала за последние годы своих редких гостей, зато часто Мрацких и Жданова, которых не любила допускать в свои горницы. Нилочка называла три уютные комнатки «мои» в отличие от всех других в доме.

Да, все эти парадные и другие горницы действительно были для сироты под опекой — вполне как бы чужими.

Три ее комнаты делились на гостиную, где почти никогда не бывало гостей, на рабочую, где девушка сиживала весь день, и на спальню.

Около второй была горница Марьяны Игнатьевны, с тех пор, как ее питомица перестала спать вместе с мамушкой.

В рабочей комнате было самое простое убранство, но было двое пялец и большой стол, на котором девушка рисовала. Рисованье было ее любимым занятием, и она уже собиралась от карандаша и пастелей перейти к малеванию, т. е. к масляным краскам.

Теперь хотя и была в доме учительница малевания, взятая опекунами, но эта женщина, скрывавшая свое про-

исхождение с какого-то юга, долго тоже скрывала свое незнание живописи. А Нилочка, чтобы не обижать женщины, все отлагала просить опекунов нанять другую учительницу малевания.

Едва только молодая девушка и мамушка вошли к себе, как старшая горничная, уже пожилая женщина, встретила их словами:

— Разгонный из города привез вам, барышня, ящик, а вам письмо почтовое.

Марьяна Игнатьевна оторопела. Кроме сына, никто ей не писал.

Чрез минуту письмо было уже в руках и прочтено... Марьяна Игнатьевна просияла и бросилась целовать Нилочку, стоявшую около нее в нетерпении.

— Едет! Едет! — воскликнула Щепина и стерла слезы на глазах...

— Когда? — выговорила Нилочка, зарумянившись от радости.

— Пишет: чрез неделю после письма ждать и писателя его.

Нилочка подсела к Марьяне Игнатьевне на диван, и они обе начали снова читать письмо Бориса Щепина. Окончив, они снова перечли его. И так раз до десяти... Это бывало всегда.

VI

В тот же ненастный угрюмый день, в сумерки, во двор крутоярских палат въехал верхом солдат и передал людям большой пакет,— это был посланный с письмом от самарского губернатора к опекуну Мрацкому. Солдат заявил, что ему указано дождаться ответа.

Сергей Сергеевич Мрацкий сидел у себя в рабочей горнице за письменным столом, когда ему подали письмо губернатора. Это был человек очень маленького роста и очень худой, следовательно, очень невзрачный и неказистый, именно то, что называет народ «заморышем».

Однако было в нем нечто, что не позволяло считать его заморышем. Это был взгляд маленьких серых глаз. В них было что-то особенное, невольно обращавшее на себя внимание каждого. В них было столько силы загадочной, недоброй, как бы каждому опасной, что всякий невольно относился к Мрацкому любезно и приветливо, а иногда и подобострастно, как бы ради одной самозащиты.

Сам Мрацкий не любил своих глаз.

— Треклятые! — говорил он сам себе, стоя иногда перед зеркалом.— Выдают поневоле! С этими гляделками не пройдешь за скромного и тихого человека. Очки, что ли, синие завести?

И Мрацкий серьезно думал об очках и собирался носить их, но никогда не собрался. Давнишнее желание Мрацкого было странное, редко встречаемое на свете. Ему всегда желалось, а в особенности с тех пор, что он был опекуном крутоярской царевны, слыть за человека самого простого, безучастного ко всему, смирного и, пожалуй, даже ограниченного.

Цель была простая. Ему хотелось быть волком в овечьей шкуре. Разумеется, этого никогда не удавалось. Мрацкого за всю его жизнь никто не любил и все боялись, даже и те, на судьбу которых он не мог ничем повлиять.

С юношества, с первого капральского чина и до отставки уже в чине полковника, Мрацкий был среди товарищей отрезанным ломтем. Если он оставался со всеми в приличных отношениях, то благодаря исключительно всеобщей боязни заводить с ним какую-либо ссору.

Репутация его в Петербурге была нехороша, и, бог весть, каким образом втерся он в дом гетмана Разумовского, и совершенно неведомо, почему и как был избран честным и прямодушным графом Кириллом Григорьевичем в опекуны малютки Кошевой.

Семья — жена и дети и более полдюжины родственников — относились к Сергею Сергеевичу на особый лад. Анна Павловна Мрацкая любила мужа потому только, что «муж есть глава жены, яко Христос — глава церкви». Дети любили отца тоже на основании пятой заповеди. Родственники и домочадцы любили Сергея Сергеевича потому, что он был «наш кормилец и поилец».

Впрочем, Мрацкий ни к кому из близких несправедлив никогда не бывал. Он был только тяжел. Это был семейный камень, придавивший всех, от жены и детей до последнего дальнего родственника — глухонемого Пучкова.

Чрез несколько минут после появления верхового на дворе в горницу к Мрацкому вошла высокая и полная женщина. Рост и тучность в ней были таковы, что из нее легко бы можно было выкроить четырех Сергей Сергеевичей.

Муж и жена были противоположностями во всем, как физически, так и нравственно. Анна Павловна была до-

брейшее и тишайшее существо, потому что была ленивейшая и сонливейшая женщина на свете.

Существование ее проявилось и проявлялось только тем, что она родила двенадцать человек детей, из коих только шесть были в живых, и теперь ожидала седьмого или тринадцатого по счету.

Анна Павловна принесла сама письмо, так как в маленькую угловую горницу, в которой сидел теперь Мрацкий, почти никто не допускался. Только старик лакей Герасим имел право входить рано утром и обметать пыль со столов, где лежали кипами всякого рода бумаги.

Помимо опекунского управления у Мрацкого были и другие дела, о которых ходили в Крутоярске только смутные слухи. Знали наверное только одно, что Мрацкий один из второстепенных членов соляного откупа.

— Сергей Сергеевич! — выговорила женщина, входя в горницу своей особой походкой мелкими шажками и переваливаясь с боку на бок.

— Чего еще? — отозвался Мрацкий, не оборачиваясь.

— Гонец из Самары от губернатора. Вот!..— И Анна Павловна протянула мужу большой пакет с восковой печатью.

Глаза Мрацкого блеснули сильнее. Он взял пакет, повертел его в руках, затем, не распечатывая, бросил перед собой на стол, вскинул маленькие серые глаза на жену и выговорил:

— Начинается!

Анна Павловна с трудом уместилась на маленьком стуле, стоявшем неподалеку, и, уподобляясь большому забору на подпорке, глупыми глазами смотрела на мужа. Противоположность во всем со своим мужем, она и взглядом отличалась от него тем, что была, по русскому выражению, «лупоглаза...». Те же глаза передала она и старшему сыну Илье.

— Да, сударыня,— ехидно выговорил Мрацкий,—начинается!

— Что же такое-с?

— А то, что всякому понятно, кроме тебя, дуры.

— Это, Сергей Сергеевич, конечно. А вы скажите...

— Начинается, сударыня моя, давно мною ожидаемая война, вроде вот той, что прозывают семилетней с немцами. Вот и у нас в Крутоярске начинается война и долго ли продолжится — неведомо. Может, четыре года, может, и больше, может, до совершеннолетия Нилочки и вступления во все ее права. А может, война возгорится и в не-

сколько месяцев окончится, а кто победит — неизвестно. Надо надеяться, что Сергей Сергеевич Мрацкий! А потому, думаю, он победит, что от пушки и до перочинного ножа включительно всякое при нем оружие будет. Во всеоружии воевать будет, как сказывается!..

Все это Мрацкий проговорил, глядя в окно, где бушевало ненастье, мелкий дождь, ветер и холодная сырость.

— Да вы, Сергей Сергеевич, опять так все рассказали, что я, по моему малоумию, ничего не поняла. С кем же война-то? С туркой, что ли?

Мрацкий качнул головой.

— Что же, пожалуй, что и с туркой тоже будет, коли не с самим туркой, то с татарином... с Никишкой! Он ведь тоже полутурка. Да и неужто же ты, моя оглашенная,— мягче и почти нежно выговорил Мрацкий, глядя на жену,— неужто ты совсем не догадываешься, что это за письмо из Самары. Вот, не читая, тебе прочту. Слушай, вот что тут написано!

И Сергей Сергеевич, положив руку на пакет, начал говорить:

— Дорогой и достоуважаемый приятель и сосед Сергей Сергеевич! пишу вам со скорым, чтобы поведать важное дело, с коим я на сих днях буду иметь великое удовольствие побывать в Крутоярске. А приеду я к вам, чтобы совать нос туда, куда меня не спрашивают, привезу с собой своего родственника — нищего князька, которого я, ни к черту негодный губернатор, хочу пристроить, женивши на опекаемой вами богачке. Вот ты это знай заранее, обдумай и придумай какие-либо средства меня заставить отъехать «несолоно хлебавши», потому что виды у тебя у самого на царевну другие — свои собственные. Денежки Нилочки и тебе тоже нравятся, как и мне. У меня князек — дальний родственник, а у тебя Илья — родной тебе сын. Понятное дело, что ты меня примешь, как козла в огород.

Мрацкий замолчал, а Анна Павловна, давно сидевшая с удивленным лицом, вымолвила:

— Неужто же это он все пишет? Ведь тут и благоприличия нет никакого. Зачем же он ругается?

Мрацкий, не отвечая, разорвал пакет, вынул письмо, прочел его и затем обернулся к жене.

— Ну, вот, оглашенная моя, как я сказал, так и есть. Приедет он на сих днях со своим князьком сватать его. Вот и прав я, говоря, что начинается война.

Наступило молчание, после которого Анна Павловна тем же своим добродушно-глупым голосом спросила:

— Как же нам быть-то, Сергей Сергеевич?

— А что?

— Да Илья-то...

— Ну, так что ж?

— Да как же, говорю, быть-то? Ведь за двух замуж не выйдешь! Коли она пойдет за этого князя, Илья-то наш при чем же останется?

— С носом останется, голубушка!

— А вы не допущайте, все в вашей воле.

— Вот я и буду не допущать. От того война и будет. Но мне бы хотелось, чтобы Нилочка действовала, сама отказала, а не то, что мне ее пугать да против нее идти. Это своим чередом после будет, когда навернется другой какой... А их теперь, женихов, посмотри, тьма будет! Так один за другим и посыпятся! Всяк знает, что ей скоро семнадцать лет.

Мрацкий помолчал, подумал и наконец выговорил:

— Ты, Анна Павловна, теперь чаще ходи к этому дьяволу Марьяшке и сиди с ней, и в любви изъясняйся. Говори ей, что не ныне завтра наш Илья отправится на вторичную службу в Петербург.

— Зачем же ему ехать?! — ахнула женщина.

— Ох, оглашенная, да никуда Илья не поедет, а ты ей-то сказывай это. Если она заговорит что-нибудь насчет наших видов на Нилочку, так ты говори, что это давно оставлено. Поняла?

— Поняла-с...

— Ну, а потом будь добра и приветлива с Никишкой и так ему обиняком сказывай, что коли у него денег мало, коли понадобятся когда, да отец не дает, то чтобы у тебя попросил. А ты тогда приди ко мне да возьми. Сколько бы Стенька Разин ни попросил, я ему всегда дам. Спешить надо, а то он все вертится, вертится, а все еще не свертелся! Надо ему помочь шею себе свернуть. Ну, постой, еще что? Да... Где Аксютка, буфетчикова внучка, красавица-то ваша крутоярская?

— Ее, Сергей Сергеевич, на огороды послали за что-то, картофель рыть, а кончит — на скотный двор пошлют.

— За что же это?

— А уж не знаю...

— Кто же это распорядился?

— Да вы же, Сергей Сергеевич.

— Полно врать! Я-то — я, да я этого не знал и не

знаю... Кто-нибудь из холопов подвел. Прикажи тотчас ее в дом опять взять да выряди ее и никакой работы ей не давай, слышишь? Будь ты на что-нибудь годна, полно спать-то! — вдруг возвысил голос Мрацкий.— Ведь нельзя век свой храпеть! Теперь времена, видишь, какие подошли... Встряхнись, будь хозяйкой! Поняла?

— Поняла-с...

— Поняла-с, поняла-с! А сама сидишь — спишь! Приодень Аксютку, чтобы была совсем франтиха, и балуй на все лады. А как только приедет сынок Марьяшкин, так сейчас отрядить Аксютку к нему в услужение по части белья, что ли, чтобы она так при нем и состояла. Ну, вот, это пока все. Первое расположение войск перед цитаделью. Только не напутай, помни! Первое — с Марьяшкой любезничай и уверяй ее, как бы хорошо было Нилочке выйти замуж за князя, а второе — Илье пора уезжать на службу... Третье — Никишке деньги обещай и приходи за ними ко мне. Четвертое — Аксютку к Борьке, когда приедет, приставь... Не спутаешь?

— Зачем, Сергей Сергеевич?

— А затем, что ты — дура! — вдруг воскликнул Мрацкий.— Ну, ступай! Пришли через полчаса за ответом губернатору. Ну, а завтра я с Ждановым и с Марьяшкой буду совет семейный держать насчет князька. Да, думал я, а не ожидал, что так скоро будет начало военных действий. Думал, еще годик пройдет, ан, вон оно сразу!.. И князек паршивый полез, и Борька из Питера не ныне завтра явится, да и Никишка, черт, вот уж месяц не буянит и трезвый ходит... Все напасти! Черт бы их всех драл! А тут еще двести возов соли пропало в пути! Ведь при этаких обстоятельствах голову-то бы надо иметь саженную, чтобы в ней все уместилось, а она у меня вон она... крошечная!

— Зато она у вас, Сергей Сергеевич, о семи пядей во лбу.

— Это ты откуда же выудила? Не сама же придумала?

— Все так сказывают, что вы — умнеющий человек.

— Да, около них, дураков, пожалуй, что и умен, а вот для самого себя кажусь иногда чистый дурак... Ну, уходи! — кончил Мрацкий, махнув на жену рукой.

VII

В тот же день во всем доме было всем уже известно, что губернатор с родственником князем собираются в Крутоярск со сватовством. Известие почти никого не удивило, так как князя Льгова давно уже считали почти самым лучшим претендентом на руку царевны.

Но, однако, все чуяли, что дело просто не обойдется. Может быть, Нилочка сразу изъявит свое согласие, но ей, по несовершеннолетию, рассуждать не дадут, решат за нее ее судьбу. Покорится она — и все обойдется мирно и тихо, а не покорится — будет дым коромыслом в Крутоярске. Война, о которой говорил Мрацкий, чуялась всем.

В тот же вечер Мрацкий послал сказать своему товарищу по опекунскому управлению, а затем и главной нянюшке Марьяне Игнатьевне, что просит обоих пожаловать к нему утром для совещания.

Мрацкий всегда поступал так и сносился со всеми, как если бы жил не в одном и том же доме, а в другом городе. Иногда случалось ему даже писать Жданову из левого крыла дома в правый и просить письменного ответа.

Жданов заставлял писать ответ какого-нибудь писаря и только подписывался длинною подписью: «прапорщик лейб-гвардии Ее Императорского Величества Петр Иванов, сын Жданов». Иногда подпись эта бывала длиннее коротенького ответа: «Беспременно буду» или: «Как пожелаете».

Посланный Мрацкого принес ответ, что Петр Иванович — на охоте за зайцами вместе с Никифором Петровичем, а Марьяна Игнатьевна обещалась быть.

— Когда же будут обратно с поля? — спросил Мрацкий.

— Ночью или на заре, сказывают, велели себя ждать.

— Хорошо, если приедет трезвый,— пробурчал Мрацкий,— а то отлагай дело, пока не проспится!

Петр Иванович Жданов, второй опекун, но не в действительности, а только ради формальности, был очень удобным товарищем по опекунству для Мрацкого.

Петр Иванович не вмешивался буквально ни во что уже много лет и только давал свою длинную подпись на самых важных бумагах. Он не пользовался никаким значением, не пользовался даже и видимым уважением обитателей Крутоярска.

С ним обращались все запанибрата, даже писаря опекунской канцелярии грубили ему, и иногда Жданов принужден был жаловаться на них Мрацкому.

Произошло это потому, что Жданов был чрезвычайно добродушный и беспечный человек. При этом у него было две страсти: охота и вино. Большую часть времени он был навеселе: никогда не пьян совершенно, но редко и в нормальном состоянии.

Будучи страстным охотником, он иногда отлучался из Крутоярска на неделю и более в дальние болота. При нем был целый штат охотников — всякого рода разношерстный народ. Тут были и нахлебники, и писаря канцелярии, и дворовые, и крестьяне, и настоящие пройдохи, являвшиеся в Крутоярск к барину Жданову с коротким объяснением:

— Я тоже охотник! Дозвольте быть при вас.

Однажды один из самозваных гостей даже обокрал Жданова: свел отличную собаку и стащил пару дорогих пистолетов. Насколько Мрацкий был занят разного рода делами, жил с постоянными планами и проектами, один другого хитрее, настолько Жданов был вечно свободен, праздный и веселый, но при этом постоянно витавший мыслями в поднебесье.

Жданов был, сам того не зная, поэт и музыкант в душе. Он страстно любил слушать и петь народные песни и бренчать на балалайке и немножко на гитаре. Тайком от всех Жданов сочинял сам песни и певал их на привалах во время охоты своим соратникам, т. е. своей шайке прихлебателей-охотников.

Ни разу никому не пришло на ум, что песни, петые Ждановым,— его собственного сочинения.

Все удивлялись только, откуда Жданов достает их. Иным совершенно искренно казалось, что они эту песню уже слышали где-то, когда-то, готовы были поклясться, что они песню знали, да забыли.

И этим наивно подтверждалось то обстоятельство, что песни Жданова были чистые, неподдельные народные песни. И Жданов сам не знал, что, может быть, лет сто спустя после него, будет петься на Руси его песнь и про нее скажут, что ее «сложил русский народ».

Одно странное, непостижимое обстоятельство было загадкой. Все песни сочинения веселого и беспечного холостяка были грустны и тоскливы. Иногда в иной выражалась глубокая скорбь обо всем в мире. Одна песня, звавшаяся «Ох, неволя, неволюшка!», в которой повество-

валось о жизни и приключениях крепостного парня, заеденного помещиком и миром, часто вызывала слезы на глазах его товарищей по болотам и лесам.

Разумеется, сочинитель этой песни за всю свою жизнь пальцем не тронул ни одного из крепостных холопов. Он понимал отлично и оправдывал, как кругом него порют и бьют, и в солдаты сдают, и в Сибирь ссылают разных рабов, но сам ни разу в жизни не сделал никого несчастным.

И вот именно невидимая музыка в душе пожилого холостяка заставляла его так относиться к последнему писарю, к последнему дворовому, если он только был его товарищем по охоте, что все в Крутоярске относились к нему как к равному и, следовательно, часто грубили ему.

Жданов всю жизнь избегал женщин и смотрел на брак так же, как другой смотрит на поступление в монастырь. Жениться значило для него — заживо похоронить себя. Однако раз в жизни холостяк отдал сердечную дань.

Будучи по делам в маленьком городке почти на границе крымского ханства, он из жалости купил на базаре девчонку-караимку, болезненную и некрасивую, продававшуюся «на побегушки», т. е. как прислуга. Девчонке было всего 14 лет. Жданов купил ее с целью перепродать или подарить, но с тем, чтобы она попала к добрым людям. Таких долго не находилось, и, не зная, куда девать свою покупку, он оставил ее на время у себя в доме в помощь своей стряпухе... А затем как бы забыл о ней...

Прошло года три, и Жданов, как-то однажды вернувшись с охоты, вдруг заметил, что караимка оправилась и стала очень недурна собой. В этот день на 17-летней девушке было новое красное платье и она бросилась ему в глаза поневоле.

Не будь красного платья, Жданов, может быть, еще долго не заметил бы преображения некрасивой девчонки в красивую девушку.

И он стал замечать ее чаще... т. е. обращать на нее внимание. Караимка оказалась скромной и очень не глупой, затем оказалась доброй, затем привязчивой, чувствительной ко всякой ласке.

Как-то вдруг однажды к вечеру Жданов, болтавший с девушкой о пустяках, заметил, что она «чудно» смотрит на него. Он испугался ее глаз... Он именно от таких женских взглядов всегда бегал еще смолоду. Жданов решил скорее продать караимку, чтобы сбыть с рук от «греха».

Но когда наступил час, условленный с соседом для продажи, случилось целое происшествие.

Караимка собралась топиться, предпочитая смерть разлуке с своим добрым и ласковым барином...

Разумеется, она осталась в доме и перестала быть на кухне.

Чрез два года у нее родился ребенок, названный по дню рождения Никифором, но еще чрез год после вторых родов и мать, и мертворожденная девочка были похоронены вместе.

После потери единственного любившего его существа Жданов снова по-старому избегал всех женщин на свете.

VIII

На следующий день уже после полудня Мрацкий ожидал в маленькой гостиной своего товарища-опекуна и главную мамушку. Он вышел из своей рабочей горницы, так как в ней никогда никого не принимал.

Расхаживая тихими шагами по гостиной, в ожидании приглашенных им на совещание, Мрацкий раздумывал, очевидно, о чем-то веселом или забавном, так как изредка ухмылялся, то самодовольно, то презрительно. Наконец он подошел к окну, остановился и начал шептать вслух.

— Три мышеловки самые настоящие! На каждую мышку по одной! И в каждой мышеловочке по кусочку говядинки... Вся сила в том, хорошо ли наложены крючочки, хлопнут ли дверки, когда мои мышата глупые будут дергать говядину. Да, будет ли удача? Сомнение берет. Ну, да это хорошее дело. Как меня возьмет раздумье, сомнение, опасение за свой разум и за свою ловкость, так всегда удача пущая бывает. Относительно головореза Никишки бояться нечего. Он за сто рублей миллион продаст и после только разочтет, что потерял. Опасаться надо князька и Борьки. А уж для Никишки третья мышеловка так про всякий случай заготовлена. Господи помилуй, когда подумаешь, что все дело в этой тощей выдре Марьяне! Околей она за это время, была бы Нилочка одна на свете, приставил бы я к ней другую мамку и были бы обе у меня в кармане. И был бы мой Илья крутоярским помещиком. За все эти одиннадцать или двенадцать лет не было ни одного случая Марьяну похерить! Вот, сказывают, теперь в Оренбурге бунтуют разная татарва и казаки,

какой-то беглый каторжник выдает себя за покойного императора Петра Федоровича. На руку бывает это умным людям в их делах. Недаром пословица сказывает: «В мутной воде легче рыбу поймать». Да, кабы замутилось тут вокруг нас все, я бы в этой мути Нилочку как раз бы в невестки выудил себе.

Мечтания и шепот Мрацкого были прерваны скрипом отворяемой двери. Он обернулся. В горницу вошла Марьяна Игнатьевна.

Несмотря на жизнь под одной кровлей, Мрацкий и Щепина виделись изредка. Теперь уже дней десять не видели они друг друга. Дня три или четыре назад Мрацкий видел Марьяну Игнатьевну только из окна, когда она гуляла по дорожкам сада со своей питомицей.

— Здравствуйте! Как поживаете? — любезно выговорил Мрацкий.

— Ничего, слава богу! — отозвалась Щепина.

— Присядьте, Петр Иванович сейчас, вероятно, придет. Надо нам, Марьяна Игнатьевна, побеседовать о важном деле. Вы ведь тоже, так сказать, третий опекун.

Они сели к столу. Мрацкий вздохнул притворно и выговорил:

— Да, обуза не малая — чужого ребенка опекать! Что ни сделаешь в его пользу, люди переиначут, добро злом сочтут, участие — корыстолюбием, строгость — притеснением. Да, тяжелое дело! А то еще и вором чужого имущества поставят. Вот как меня теперь! Опять стали говорить, что я — грабитель, разоряю Кошевую, а сам наживаюсь. Я, чай, слышали, что с неделю назад в Самаре на бале предводителя про меня было сказано.

— Слышала, Сергей Сергеевич. Что вы покупаете новую вотчину в Рязани, что ли, в Пензе.

— Ну, да-с...

— Так ведь это же правда! — вымолвила сухо Марьяна Игнатьевна.

— Правда, матушка, я не скрываю, но извольте узнать — на какие деньги! Соль мне дает эти деньги, откуп дает, а не доходы крутоярские.

— Это, Сергей Сергеевич, никому не известно, какие деньги идут в ваш карман. Они не меченые. Кабы на каждом рубле стояла надпись «Нилочкин», тогда бы можно было разобраться. А то ведь рубль-то — все рубль. Что заработанный, что уворованный — он все один и тот же светляк целковый.

Мрацкий ничего не ответил. Подобные разговоры изредка, раза два в году, бывали между ним и Щепиной. Никогда эта женщина, наподобие других, не избегала прямых ответов, не скрывала своей мысли.

Она сама никогда не говорила людям, которых не любила, прямо и резко своего невыгодного для них мнения, но, когда ее вызывали на разговор вопросом, она отвечала прямо, что думала.

Мрацкий понял, что если он начнет оправдываться, то Щепина прямо скажет ему: «Уверена я, что все рубли — Нилочкины».

— Когда ждете к себе дорогого сынка, Бориса Андреевича? — произнес Мрацкий приветливо, чтобы переменить разговор.

— Вскорости жду.

— Не надолго?

— Уж не знаю, право... Желалось бы мне подольше его поглядеть, а там — как начальство.

— Полагаю я, что и Нилочка теперь с вами радуется — ждет не дождется Бориса Андреевича?

— Да, радуется...

— Ведь она его любит, обожает не меньше вас. Он ей, так сказать, брат родной.

И при этом Мрацкий ехидно глянул своими проницательными и злыми глазами в строго-холодное лицо Щепиной.

— Да, конечно,— отозвалась Марьяна Игнатьевна.—Вместе росли, что брат с сестрой — как же не любить!

— Да, да... Именно братнина и сестрина любовь. Душа в душу ведь они жили, вместе игрывали, дрались, мирились, целовались... Борис Андреевич для Нилочки — самый близкий человек... Думаю, приглянись кто ей, первому вашему сынку поведает свою тайну... Прежде вас ему поведает, что сестра брату.

В словах Мрацкого, по-видимому, не было ничего, кроме приятного для главной мамушки, а между тем Щепина, несмотря на умение сдерживать себя, умение составлять выражение лица, какое ей хотелось, все-таки теперь не сдержалась,— брови ее сдвинулись, в глазах виднелся гнев. И это заставило Мрацкого подумать про себя: «Умная баба, а в этом дура! Думает, никому неведомо! Чисто как тетерька, сунула голову в траву, а сама вся наружи и думает, что коли сама ничего не видит, так и ее не видно».

Мрацкий снова собрался заговорить что-то ехидное, судя по новому выражению, которое появилось на его лице, но в эту минуту дверь отворилась и вошел довольно высокий, плотный человек с сильной сединой в коротко остриженных волосах. Полное лицо было красновато, большие, добродушные, серые глаза смотрели сонно или были опухши. На нем было русское платье, кафтан, шальвары и высокие сапоги.

Это был Жданов, вернувшийся поздно с охоты, только что проснувшийся и поспешивший на приглашение товарища по опекунству. Он поздоровался с Мрацким и Щепиной, потом торопливо сел тоже к столу и, поглядев на них, начал улыбаться. Лицо его говорило:

«Ну, вот и я! Звали, беседуйте, я сейчас подмахну, если не рукой, так разумом. Что ни предложите, я сейчас готов с большим удовольствием».

И в эту минуту Жданов думал:

«Эх, остынет там все! Разогретое потом ешь!»

— С хорошим полем поздравить можно? — спросил Мрацкий.

— Да-с, да-с! — оживился Жданов.— Некуда девать! Две дюжины зайцев отправил в Самару, в подарок куму, две дюжины к вам, на кухню доставили, да еще две или три распределили по дому. Нынче к вечеру во всяком-то крутоярском жителе в животе кусочек зайца будет!

— Не хорошо это, Петр Иванович! — усмехнулся Мрацкий.— Сказывают, заячье мясо есть не надо.

— Почему так?

— Сказывают, много его есть не надо. Трусливость в человеке от заячьего мяса распространяется. Сказывают, ешь человек всякий день зайца, то к концу года будет совсем ледащий... Трус, хуже малого ребенка.

— И, что вы! Полноте! — серьезно отозвался Жданов.— И сколько же я зайцев в год-то съем. Мое любимое блюдо! А ведь вот, кажется, не трус.

Мрацкий усмехнулся и подумал:

«Хорош пример выискал!»

IX

После паузы Мрацкий, переменив голос, несколько важно произнес, оглядывая гостей:

— Вот-с, просил я вас, Петр Иванович, и вас, Марьяна Игнатьевна, на совещание опекунское первейшей важно-

сти. Распространяться не буду, сами сейчас уразумеете в чем дело. Позвольте вам прочесть письмо, полученное мною вчера от губернатора.

Мрацкий достал из бокового кармана бумагу и прочел ее вслух медленно и внятно. Затем он сложил листок, положил его в карман и вопросительно взглянул сначала на мамушку, а потом на опекуна.

И тот и другая молчали.

— Ну-с, что ж скажете?

— Да, что же-с... ничего-с! — весело отозвался Жданов.

Мрацкий перевел глаза на Щепину.

— И я тоже, Сергей Сергеевич, ничего сказать не могу... Послушаю прежде, что вы скажете.

— Извольте! Мое мнение будет такое-с, что князь Льгов жених завидный для всякой девицы, и, как бы Нилочка ни была богата, все-таки для нее это пара. Будет она княгиня Льгова, а ей при ее богатстве и при ее красоте только титулования не хватает. Князь — человек доброго нрава, тихий, любезный и не глупый, хорошим хозяином тоже будет. Чего же лучше желать?..

Говоря это, Мрацкий не спускал глаз с Щепиной, и, несмотря на старание той не выдать себя, он все-таки заметил в лице ее полное изумление и внутренно улыбнулся.

— Стало быть, Сергей Сергеевич, если Нилочка скажет, что князь ей по сердцу, то и вы согласны будете? — спросила Щепина.

— Конечно-с, а вы разве не будете согласны?

— Что ж мне! Мне счастие моей Нилочки всего дороже. Коли ее счастие в замужестве с князем, так и господь благослови! Только мало я этого князя знаю... какой он такой, совсем не знаю... может, злой!..

— Что вы! — воскликнул Мрацкий.— Добрейшей души человек!

— Сказывали тоже — сильно зашибал он, кутил, безобразничал в столицах, а теперь в Самаре тихоней прикинулся.

— Вздор все! Пустое! Марьяна Игнатьевна. И какой же молодой человек живет монахом? Женится — остепенится!

Щепина ничего не ответила и с озабоченным лицом наклонилась над столом.

— Ну, а вы, Петр Иванович, как скажете? — обратился Мрацкий к товарищу.

— Я что же-с... Я ничего-с... Только, позвольте доложить, ведь если Нилочка выйдет замуж, то мы-то с вами

сейчас, стало быть, отсюда вон? Нас сейчас, опекунов-то, побоку?

— Понятное дело, Петр Иванович! Да ведь не век же нам девицу опекать! Все равно — будет совершеннолетняя, мы должны подобру-поздорову убираться. Двумя, тремя годами раньше или позже,— не все ли равно.

Жданов ничего не ответил и протяжно вздохнул. Веселое и оживленное лицо его стало сразу печально.

— Не нравится вам это, Петр Иванович?

— Как же, помилуйте, нравится? — вдруг упавшим голосом выговорил добродушный холостяк.— Как же это будет нравиться? У вас, Сергей Сергеевич, состояние большущее! Вы вон все вотчины покупаете, а я-то ведь, извините, месяц тому назад даже дедовы золотые часы в Самару послал продавать. Выйду я из опекунов, что же мне делать? К иному богатому барину в доезжачие, что ли, наниматься?

— Кто же виноват, Петр Иванович? Сами вы состояние протрубили на охоте. Не вы одни! Сколько на Руси дворян в таком положении. Ездил в поле с собаками, трубил, трубил, да все и протрубил.

— Нечего было, Сергей Сергеевич, протрубливать, извините. Я сюда прибыл,— у меня, почитай, ничего не было, как и у вас. А вот теперь, извольте видеть, через каких-нибудь одиннадцать с лишком годочков, вы-то — богач, а я-то — нищий! Вы поездом целым, цугом, с обозом и с поклажей выедете отсюда прямо к себе в какую вотчину не хуже крутоярской. А я-то суму за плечи, лапти на ноги — и по миру. Будь у меня еще сын на службе, а то у меня приемыш, да и тот служит только утробе.

— Позвольте, Петр Иванович,— строго выговорил Мрацкий.— Из ваших слов выходит все та же клевета, ходящая в губернии, насчет моего грабительства. Позвольте, вы такой же опекун, как и я, все бумаги подписываете. Кто другой может на меня напраслину взводить, а вы — уж извините! Коли я воровал, так и вы воровали. Только я сберегал и сберег, а вы финтили и все профинтили. Коли вы себя почитаете вором,— ну, так я промолчу.

— Я, Сергей Сергеевич,— глухо выговорил Жданов, сильнее покраснев в лице,— чужой полушки никогда не присвоил и на том свете господу богу в этом смело ответ дам.

— Господь бог, Петр Иванович, в денежные расчеты людские входить не станет. Но все это не к делу. Я вас

прошу выразить ваше мнение насчет сватовства князя и знать наперед, что вы ответите.

— Что же мне отвечать? Что я ни ответь, все равно мои слова ни значения, ни пользы иметь не будут. Вы желаете, чтобы Нилочка была княгиней Льговой? Кажется мне это очень сомнительным и необъяснимым; но это ваше дело. А вот Марьяна Игнатьевна и совсем молчит, ничего не сказывает.

— Мне нечего сказать, — вдруг выпрямляясь, вымолвила Щепина.— Я, признаюсь, тоже удивляюсь. Не думала я, что Сергей Сергеевич согласится Нилочку так рано замуж выдавать, да еще за первого посватавшегося за нее молодца. Подумаешь, князей-то больше и нет на свете! Не он — так другой через год-два навернется получше. Я в этом деле, скажу прямо, действовать не стану ни против князя, ни за него. И Нилочке тоже ничего советовать не буду,—как она хочет.

— Так-таки ни слова и не скажете? — спросил Мрацкий.

Щепина молчала.

— Нехорошо это, Марьяна Игнатьевна! Вы для Неонилы Кошевой все одно что родная мать. Вы отвечаете перед богом за ее счастие. Вы должны теперь этого князя разобрать по ниточкам и, в случае какая ниточка окажется вам сомнительной, сейчас нам скажите и питомице скажите. И если ниточка эта грозит будущему счастию вашей питомицы, то вы не должны соглашаться, должны упорствовать.

— Из всего этого выходит, Сергей Сергеевич, что вы желаете со своих плеч свалить дело на мои плечи, желаете, чтобы отказ произошел от меня или от Нилочки с моих слов и советов. А иначе и понять ничего невозможно!

— И так, и не так, Марьяна Игнатьевна! Я ничего особенного против князя Льгова не имею и готов дать свое согласие, бросить управление опекунское и уезжать из Крутоярска. Но если вы найдете князя женихом неподходящим, то я тоже настаивать не стану и соглашусь с вами. И мы будем ждать другого жениха.

— И всего бы лучше ждать! — жалостливо выговорил Жданов.— Право, лучше... Неужто уж другого-то и нету? Ведь вот и вы, Сергей Сергеевич, и вы, Марьяна Игнатьевна, знаете, что есть другие женихи... Знаете тоже и про кого я сказываю...

— Это все, любезный товарищ, крутоярские пересуды бабьи. Уж если есть, так один жених, а не два!..

И Мрацкий вскинул ехидные глаза на Щепину.

— Уж если есть жених, так действительно один... настоящий,— выговорила Щепина,— но не самый подходящий, не самый вероятный, потому что Нилочка за него не пойдет... Она лучше в монастырь пойдет!

Мрацкий, умевший сдерживать себя, вдруг задвигался на месте, лицо его на мгновение исказилось от прилива гнева, и он выговорил, слегка поперхнувшись:

— Все девицы монастырями стращают, а их скрути, прихлопни да хоть за козла выдавай!

— Это, это не про Нилочку сказать! Таковое с ней приключиться не может,— глухо проговорила Щепина.— У Нилочки — я! А пока я жива, царапинки на ее пальчике никто не причинит, а не только что прихлопывать да крутить.

— Да и никто и не собирается, Марьяна Игнатьевна, успокойтесь! — рассмеялся Мрацкий ехидно.— Полагать надо так, что у Нилочки столько женихов, что в конце концов ни одного не останется! Перегрызутся все вокруг нее, друг друга пожрут — и останется она одна-одинехонька.

Наступило молчание. Очевидно, все было сказано — и прямо, и намеками, и более не о чем было рассуждать.

Первый прервал молчание Жданов.

— Так как же-с, чем порешили?

— Да, собственно говоря, ничем. Будет губернатор с князем через три-четыре дня, будут свататься. Я буду свое согласие выражать. Вот Марьяна Игнатьевна свое несогласие по одной причине, а вы, Петр Иванович, свое несогласие — по другой причине. И причины эти, коим подобной у меня нету, совершенно законные: вам жаль опекунского места и деваться некуда, а у Марьяны Игнатьевны, может быть, другой какой жених на примете. Так ли, иначе ли, а вы двое будете против меня одного, ну, стало быть, князь и отъедет восвояси с арбузом в руках.

X

Вскоре яблоко раздора упало среди Крутоярска. Борьба началась. Через четыре дня после опекунского совещания во всей усадьбе было волнение и почти смятение среди всех ее обитателей. Обыденная жизнь Крутоярска, как и во всякой глуши провинции, шла настолько тихо, что малейшая новость или какое-либо маленькое приключение

поднимали на ноги всех. А теперь в усадьбе было целое событие.

В доме, в комнатах, предназначаемых для приезжих гостей, остановились: отставной лейтенант корабельного флота Зверев и губернаторский родственник князь Льгов.

Появление Зверева было нечаянностью. Прежний опекун, когда-то отставленный благодаря клеветническому доносу, никогда не бывал с тех пор в Крутоярске. Теперь он явился в тот же дом, где когда-то был в продолжение двух лет главным лицом и полным хозяином.

Оказалось, что губернатор, интересовавшийся судьбой своего родственника, предпочел вместо себя послать своего хорошего приятеля — местного помещика.

Добродушный человек, уже старый, коварно удаленный когда-то от опекунства, и не думал мстить новым опекунам. Но теперь, когда молодой человек, князь Льгов, собрался предложить руку и сердце крутоярской царевне, Зверев, зная хорошо, что за человек Мрацкий, с удовольствием взял на себя роль свата и покровителя молодого князя.

И Зверев, и князь явились в качестве простых гостей, заявив, что они заехали по дороге на один день. Так требовали приличия. Все знали цель прибытия их, но прямо высказывать это не считалось возможным.

Переодевшись с дороги, оба гостя отправились с посещением в левое крыло дома, к самому главному опекуну, и, просидев у него с четверть часа, беседовали обо всем на свете, кроме самой сути дела, по которому приехали.

Затем они посетили Жданова и у него просидели несколько больше, благодаря тому, что Жданов и Зверев были, пожалуй, одного поля ягоды: один во время оно, другой теперь — страстные охотники и оба — люди прямодушные и добрые.

Затем гости, спустя час, направились посетить помещицу крутоярскую.

Прием гостей был совершенно официальный. Нилочка, одетая в парадное платье, вышла в итальянскую гостиную с ее оригинальными окнами, с золотисто-голубой мебелью, и села под большой портрет во весь рост покойной императрицы Елизаветы. Вместе с Нилочкой в темном, тоже парадном платье вышла Марьяна Игнатьевна. За нею пять прежних наставниц, а ныне именовавшихся штатными барынями.

Нилочка села на большой диван почти по его средине. Марьяна Игнатьевна поместилась на кресле около дивана.

За нею на простых стульях сели штатные барыни. Все были по левую руку от барышни-помещицы. Направо несколько больших кресел остались свободными. Женщины довольно долго молча сидели в ожидании опекунов и гостей. Наконец, после почти двадцати минут ожидания, всем им стало очевидно, что нечто должно было совершиться и задержать визит приезжих.

Нилочка переглянулась уже несколько раз с своей старшей мамушкой, как бы спрашивая ее, что значит замедление. Наконец раздался вдали, в большой зале, звук шагов, затем снова все стихло и снова наступило гробовое молчание.

— Что ж это, Маяня? — вымолвила Нилочка.

— Непонятно, да и неблагоприлично! — отозвалась сухо Марьяна Игнатьевна. И, обернувшись к одной из штатных барынь, она прибавила: — Лукерья Ивановна, пойди, голубушка, скажи Сергею Сергеевичу — ждать нам или раздеваться?

Но едва только самая старая из всех штатных барынь двинулась с своего стула, как в зале раздался звук шагов нескольких человек, а через несколько мгновений в дверях из анненской гостиной в итальянскую показался Зверев и князь Льгов, а за ними — оба опекуна.

Марьяна Игнатьевна зорко и быстро окинула пытливым взглядом все четыре лица и подумала:

«Поспорили, должно, чуть не до драки!»

Действительно, все лица, за исключением лишь Жданова, были как-то странно оживлены. Зверев смотрел строго, но как добрый негодующий человек. Молодой князь имел несколько озадаченный вид. Мрацкий, вошедший с опущенными глазами, был бы любопытнее всех для всякого человека, увидавшего его в первый раз.

В иные минуты Мрацкий был именно любопытен тем, что лицо его не имело буквально никакого выражения. Оно ничего не говорило. Оно представлялось как бы под занавеской или под густым вуалем. И только одни крутоярские обитатели знали по опыту, что когда у Сергея Сергеевича лицо «деревянное» или «мертвецкое», то в эти-то минуты его и опасайся.

Гости раскланялись и сели по правую руку от хозяйки, а около них поместились и оба опекуна.

Зверев заговорил первый, что заехал в гости вместе со своим юным другом по дороге в Сызрань. Затем Зверев напомнил Нилочке, что давно, когда она была еще крошкой, он был ее опекуном.

— Я знаю, почти, могу сказать, помню,— отозвалась Нилочка.

— Ну, помнить-то вряд вы можете, вам было тогда очень немного... годка четыре. А вот Марьяна Игнатьевна, конечно, меня не забыла.

Щепина улыбнулась и, не глядя ни на кого, ответила:

— Еще бы не помнить! Мы с вами, Фома Фомич, дружно жили.

— Дружно, дружно,— быстро отозвался Зверев и прибавил: — Спасибо вам за то, что вы мое имя и отчество не забыли.

И Зверев заговорил с Щепиной, спрашивая про разных лиц из крепостных людей, которые в те времена были в Крутоярске. Оказалось, что многих из стариков уже не было на свете.

В ту же самую минуту князь заговорил с Нилочкой, спросив, давно ли она последний раз ездила за грибами в лес. При первом же вопросе своем молодой князь таким проницательным и в то же время влюбленным взором посмотрел на Нилочку, что девушка закраснелась немного при первом же своем ответе.

Князь, высокий и стройный молодой человек, был не столько красив собой, сколько пригож. Большие, добрые, карие глаза, небольшой, как-то добродушно вздернутый нос, красивые губы с мягкой ласковой улыбкой и наконец приветливый вкрадчивый голос. Несмотря на свою гражданскую службу, князь носил мундир Измайловского полка, который, конечно, красил его.

И Нилочка, и князь оживленно разговорились о грибах, о том, что за лето было как-то особенно много мухоморов, о том, что опенки — грибы хорошие, но скоро прискучивают, оскомину набивают.

На основании этого разговора молодые люди пришли к убеждению, вполне несомненному и ясно выраженному с обеих сторон, что они сильно нравятся друг другу и, конечно, оба готовы венчаться хоть сейчас же.

Нилочка, видевшая князя уже не в первый раз, давно, в долгие скучные вечера, мечтала о князе, иногда видела его во сне. Это был единственный человек в настоящее время, за которого крутоярская царевна пошла бы замуж, как говорится, с руками и с ногами.

Князь, первый раз явившийся когда-то в Крутоярске, приехал познакомиться с богатой невестой, так как искал приданое, чтобы пристроиться. Но с первого же раза девушка настолько понравилась ему, что он был

бы способен жениться на ней, если бы у ней было и самое маленькое состояние.

Побывав несколько раз после того в Крутоярске, он не каждый раз мог видеть Нилочку. Опекуны принимали его неприязненно, в особенности, конечно, Мрацкий. Однако за каждое свое посещение князь уезжал из Крутоярска под впечатлением, что он нравится Кошевой.

Теперь в один миг, благодаря беседе о мухоморах и опенках, он вдруг как-то особенно ясно увидал, что он не только нравится, а пожалуй, и любим девушкой.

Лицо князя Льгова сразу оживилось, стало еще приветливее и красивее. Он начал красно говорить о Петербурге, куда недавно ездил, и стал доказывать Нилочке, что ей бы следовало тоже побывать на берегах Невы и даже в качестве крупной русской помещицы-дворянки представиться монархине.

Князь вдруг обернулся к обоим опекунам и прибавил:

— Вот вам, господа опекатели и воспитатели, следовало бы свозить Неонилу Аркадьевну в обе столицы. Путешествие было бы и высокоприятное, и назидательное.

— На ум как-то не приходило! — выпалил наивно Жданов и при этом даже рот разинул, как бы сам себе удивляясь.

— Юной девице-сироте не полагается по свету мыкаться зря! — сухо выговорил Мрацкий.

— Ради любопытства и самопросвещения,— начал было князь, но Мрацкий перебил его:

— Мы, опекуны, заведуем управлением всех вотчин, а что касается до воспитания Неонилы Аркадьевны, в этом ответственное лицо Марьяна Игнатьевна.

— Точно так-с! — отозвалась Щепина.— Я много раз последние годы предлагала побывку и в Москву, и в Петербург, но Сергей Сергеевич не нашел сего возможным, ссылаясь на большие расходы и недостаток казны в Крутоярске.

И тотчас же между Марьяной Игнатьевной и Мрацким завязался разговор, состоящий из коротеньких фраз, и каждая из них была шпилькой для другого.

— Выйдет Неонила Аркадьевна замуж и поедет, куда ей заблагорассудится! — сказал наконец Мрацкий, чтобы кончить пререкания. И он прибавил, улыбаясь и обращаясь к Нилочке: — Так ли я сказываю?

— Совершенно так, Сергей Сергеевич! — ответила девушка, причем лицо ее из веселого и приветливого стало сразу холодно и неприязненно.

Зверев поднялся, за ним тотчас же князь, и оба стали раскланиваться.

— Вы сегодня у нас откушаете? — спросила девушка.

— Как же-с... если позволите... мы предполагали...— выговорил Зверев.

— Прошу сделать мне эту честь и прошу погостить в Крутоярске денька три-четыре.

После этих слов Нилочки наступило сразу гробовое молчание в гостиной. Все до единого человека, мужчины и женщины, были поражены этими словами. В первый раз опекаемая сирота выразила желание или свою волю, не спросясь ни у кого, не предупредив тоже никого.

От опекунов и мамушки до штатной барыни Лукерьи Ивановны — все вытаращили глаза и устремили их на царевну.

А царевна сидела спокойно, с весело улыбающимся лицом, хотя с легким румянцем, заигравшим вдруг на щеках. И, глядя в лицо молодого князя, она как бы ждала прямого ответа.

— Если позволите... мы, конечно... Если на то ваше желание...— начал путать князь, почему-то тоже смутившийся, быть может, от мелькнувшей ярко надежды.

— Сделаете нам великое одолжение,— вымолвила Нилочка.— Мы тут живем так тихо, что рады гостям. А вы, Фома Фомич, и князь — тоже, хотя и незваные гости, а самые для нас дорогие... Позвольте мне просить вас пробыть в Крутоярске дня три-четыре и кушать ежедневно не у господ опекунов моих, а у меня.

Зверев и князь Льгов поблагодарили, поклонились и двинулись из гостиной. Вслед за ними двинулись и опекуны. И Жданов на ходу нагнулся к маленькому Мрацкому и шепнул ему на ухо:

— Вот так блин!

Мрацкий ничего не ответил и бровью не двинул.

— А за блином-то сейчас чистый понедельник! — снова шепнул Жданов и начал смеяться.

XI

Когда гости вышли, Нилочка чинно поднялась с большого дивана, как бы с какого трона, и тихо двинулась, в сопровождении мамушки и штатных барынь, в свои горницы. Однако у дверей первой же ее горницы придворные дамы крутоярской царевны откланялись и отправились к себе.

Нилочка осталась у себя глаз на глаз с мамушкой и, веселая, все еще румяная, бросилась вдруг на шею к Щепиной и начала ее целовать.

Лицо Марьяны Игнатьевны, уже несколько мрачное еще в гостиной, стало теперь темнее ночи.

— Что ж ты, Маяня? Что ты такая?! — воскликнула девушка.

— Ничего, золото мое...

— Как ничего? Посмотри лицо-то свое!.. Ты будто гневаешься, что я вдруг так распорядилась по-хозяйски... стала приглашать гостей.

— Нету... Что ты?..

— Как — нету? Вижу... рассердилась... А за что же? Оба мои опекателя молчат, видно, что хотят выжить поскорей из дому и прежнего опекуна, и молодого князя. Да и ты молчишь... Нельзя же так... Невежество!..

— А знаешь ли ты, Нилочка, зачем они приехали? Я тебе об этом не сказывала...

— Точно, Маяня, не сказывала, но я знаю...

— Как?! Каким путем?! — воскликнула Щепина.— Кто посмел тебе мимо меня нашептывать?

Нилочка подпрыгнула раза два как ребенок, потом отбежала, села в свое кресло около угольного окна, выходившего в сад,— ее любимое местопребывание,— и вскрикнула смеясь:

— Садись, Маяня, садись вот сюда!..

Щепина с тревожным лицом быстро подошла, опустилась на стул и пытливо впилась глазами в лицо девушки. Она приняла ее на руки через несколько дней после ее рождения, знала почти семнадцать лет и теперь не находила... Ее Нилочка исчезла!.. Перед ней сидела какая-то другая девушка, которая и смотрит, и говорит совершенно иначе.

— Что с тобой? Христос с тобой! — выговорила Марьяна Игнатьевна, глядя на питомицу и совершенно пораженная превращением, совершившимся на ее глазах в несколько мгновений.

— Ничего со мной, Маяня... Рада я...

— Чему?

— А тому, что князь приехал, и тому, что свататься будет нынче или завтра... Фома Фомич за него говорить будет, а Сергей Сергеевич отказывать будет, а Петр Иванович охать и жалиться будет, но тоже петь в голос Сергею Сергеевичу. А ты опасаться будешь, что и человек-то князь, может, нехороший, и буян, и столичный головорез. Ну, и всякое такое...

— Ну, ну, ну?..— нетерпеливо и с тревогой в голосе выговорила Щепина.

— Ну, что ж... ничего!.. Всякий-то свое будет выводить...

— А ты-то, ты-то... сама что же?..

— Я-то?.. Я под опекой... Я ничего не могу!.. Как он мне ни приглянулся, как ни будь по душе,— что же я сделать могу?.. Да... одно я сделать могу...

Нилочка протянула руку, положила на пяльцы, стоявшие около ее кресла, точь-в-точь так, как императрица Елизавета на своем портрете держит руку над скипетром, и выговорила, отделяя паузой слово от слова:

— Я... одно... могу... говорить... Нет... нет и нет!.. И... никогда... ни за кого... против воли... замуж не пойду... Годов князю немного, мне и того меньше. Хоть и четыре года подождем до моего совершеннолетия...

— Как ты смеешь так рассуждать? — вдруг вскрикнула Марьяна Игнатьевна, изменяясь в лице.

Нилочка вздрогнула. Взгляд ее сразу стал тревожным. Она откинулась на спинку кресла и широко раскрытыми, почти испуганными глазами смотрела, не сморгнув, в искаженное неведомым ей чувством лицо своей второй матери.

— С каких пор?.. Когда?.. Ничего не понимаю!..— выговорила Щепина, как бы сама себе.— Никишка-головорез тебя испортил, что ли? Когда ты так рассуждала? Опомнись!

Нилочка молчала мгновение, потом, не спуская глаз с мамушки, вымолвила взволнованно и недоумевая:

— Ничего и я не понимаю... Отчего ты так рассердилась? Что же я такое сказала? Разве прежде не ты во всем мое желание исполняла? Ты всегда спрашивала, как я хочу. А теперь вдруг...

— Да ведь это в пустяках было: ехать ли кататься, шить ли розовое или какое платье, приставить или отста-

вить какую новую барыньку в штат... А теперь о чем ты языком болтаешь? Всю свою жизнь махом сама решаешь!..

— Да, всю жизнь!.. Так ведь это важнее грибов и катанья...

Марьяна Игнатьевна хотела что-то сказать, даже крикнуть, но слова замерли на губах ее. Она опустила глаза, потупилась и, очевидно, собиралась с мыслями. Она была положительно поражена всем происшедшим.

Нилочка стала смотреть в окно и тоже глубоко задумалась. И вдруг она заговорила вслух, как бы не помня себя и не зная, что высказывает громко свою тайную мысль.

— Потому что там что-то деется... Там загорелось... И в голове горит... Да, везде, везде!.. Я вся горю!.. Страшно всего, страшно всех... А вот он пришел, будто стал около, а я будто за него спряталась... И из-за него никто вы мне не страшны!.. Он мой приказчик и — что прикажет, то я и сделаю. Чудно это, диковинно... Ничего, ничего нету... никого нету... никого не боюсь!.. Да и чего бояться?.. Ну, убьют!.. А быть живу, да без него, это... еще хуже смерти!..

— Как ты смеешь?! — хрипливо выговорила Щепина и разбудила девушку от какого-то очарованного бреда.

Нилочка снова вздрогнула, обернулась на свою мамку и испугалась... За шестнадцать с лишком лет она не видела у своей второй матери такого лица. Марьяна Игнатьевна была мертво бледна, губы ее дрожали. Она хотела что-то выговорить и не могла.

— Маяня! Маяня! — воскликнула девушка, вскочила и бросилась на шею к мамушке.

Но Марьяна Игнатьевна схватила обе худенькие ручки, ее обхватившие, и грубо стащила их со своих плеч. И Нилочка легко вскрикнула. Мамушка сделала ей больно.

И прежде чем девушка опомнилась, Марьяна Игнатьевна, быстро поднявшись с места, вышла из горницы. Она не владела собой, выдавала себя с головою благодаря тому, что забушевало в груди ее. Ей единственное было спасение — скрыться с глаз питомицы.

Нилочка не побежала за мамушкой, как бывало всегда с раннего ее детства. Когда ее Маяня сердилась за что, за какую проказу, шалость или каприз, Нилочка кидалась за ней, ловила ее за подол, хватала за руки и просила прощения, иногда со слезами, и отставала только тогда, когда добивалась примирения и ласки.

Теперь же ей и на ум не пришло бежать и схватиться за юбку мамушки. Ей будто кто-то сказал на ухо:

— Оставь, ты не виновата!

И Нилочке вдруг примерещилось, что будто у того, кто говорит, голос князя Льгова. Она тихо прошлась по комнате, потом приблизилась к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу, и слезы показались у нее на глазах.

Почему она заплакала, девушка сама не знала... Ей хотелось плакать. Слезы эти были ей приятны, доставляли ей наслаждение. Но о мамушке в это мгновение она и не помышляла.

Усевшись снова через мгновение в свое кресло, Нилочка глубоко задумалась, понурилась и далеко умчалась горячими мыслями.

Скоро она была в каком-то удивительном месте, которое называлось столицею — Петербургом. Но она была не одна... Около нее, не покидая ее ни на миг, был князь Льгов...

И в этом удивительном городе, в золотом дворце, высокая, чуть не исполин, женщина в короне и порфире величественным голосом говорит Нилочке:

— Коли ты этого хочешь, дитя мое, то я приказываю тебя венчать. А Мрацкого и Жданова прикажу сослать в Сибирь!

XII

Между тем в эти же самые минуты в левом крыле крутоярских палат, в гостиной Мрацкого, шло почти такое же бурное объяснение между опекуном и гостем-сватом. Объяснение это было почти продолжением той неприятной беседы, которую они имели перед тем, как явиться с визитом к помещице. Собираясь идти в итальянскую гостиную, Зверев намекнул обоим опекунам о цели своего посещения вместе с князем Льговым. Мрацкий резко ответил, что Неонила Аркадьевна Кошевая пока еще не невеста, замуж не собирается, а если бы и собиралась, то ее не выдадут по малолетству.

Зверев в присутствии князя заявил, что Мрацкий не все послания к нему графа Разумовского помнит и что не мешало бы ему снова все предписания гетмана разыскать и прочесть.

Мрацкий сильно изменился в лице при этом замечании Зверева, но не ответил прямо, и несколько минут между

ними шел резкий разговор о том, что опекаемая им помещица слишком молода, чтобы думать о замужестве.

На этом стычка прекратилась на время, отсрочилась.

Теперь же лейтенант в отставке, старый, добродушный, но вдруг оказавшийся упрямым и стойким, явился продолжать с Мрацким ту же самую беседу, но уже прямее. Он кратко и ясно объяснил опекуну, что приехал с князем Льговым, чтобы сватать его.

При этом Зверев счел долгом объяснить, что князь — завидный жених для всякой девицы, и, как бы Кошевая ни была богата, все-таки князь Льгов ей пара. И более пара, чем кто-либо другой в пределах Самарской губернии.

— Если и ходит молва о том,— заговорил Зверев холодно,— что есть у Неонилы Аркадьевны женихи, то должен вам заявить, Сергей Сергеевич, что эти женихи — срамота! Это шутовство одно!

Мрацкий, знавший отлично, что Зверев намекает отчасти и на его собственного сына, не только вспылил, но даже остервенел. Всякий раз, что это случалось, Мрацкий, привыкший владеть собой, терялся. Его собственные силы, его умственное всеоружие покидало его.

Ему чудилось самому в эти минуты, что он становится даже глуп. И он давал себе время успокоиться, чтобы начать бороться и искусно парировать удары врага.

Так случилось и теперь. Остервенелый Мрацкий молчал несколько минут, но за эти минуты не мог успокоиться, так как Зверев просто, отчасти добродушно, но твердо объяснил Мрацкому, что никогда граф-гетман, интересующийся судьбой малороссиянки Кошевой, не допустит выдать ее замуж за неподходящего жениха, если бы даже она и сама того пожелала.

Молву, ходящую давно по Самарской губернии, что богачку Кошевую хотят почти насильно выдать замуж, действуя так из-за корыстолюбивых целей, он — Зверев — якобы считает праздной болтовней. Главный жених, измышленный для Кошевой,— «гороховое чучело».

Эти два слова были произнесены Зверевым отчетливо, с расстановкой, и при этом он глядел в глаза Мрацкому. Глаза говорили:

— Гороховое чучело твой сын Илья!

Мрацкий, успокоившийся было, снова остервенел и снова начал молчать и только тяжело пыхтел. Его оскорбляла, главным образом, смелость Зверева.

Отставленный, оклеветанный когда-то опекун мирно и тихо, не возражая, удалился в свое маленькое имень-

ишко и считался и Мрацким, и многими другими за какую-то овцу, почти за дурака. И вдруг этот же Зверев явился в Крутоярск сватом князя Льгова и говорит прямо в глаза такие вещи, как если бы в упор стрелял из пушки.

Наконец Мрацкий, овладев собой, выговорил слегка все-таки дрожащим от гнева голосом:

— Очень вам мы благодарны за честь, но никогда Неонила Аркадьевна за князя не пойдет, а если бы она сама и пожелала, то я этого не допущу.

— Ну, вот-с, очень вам благодарны за сие последнее объяснение! — отозвался Зверев, улыбаясь.— Благодаря вашему выражению этому, мы можем объясниться короче и с полной ясностью. Тому назад с час я имел честь объяснить вам, что вы не все указания в письмах графа Кирилла Григорьевича помните... Если же вы позабыли иные указания, то позвольте вам напомнить... Есть у вас письмо от графа, полученное года с два назад. Сказываю это на основании слов губернатора, коему все известно. В письме этом гетман пишет вам, что насильственно выдать Кошевую ни за кого он не дозволит, а если Неонила Аркадьевна соберется замуж сама за какого-либо дворянина, то вам, опекателям ее, ничего не предпринимать, не только препятствовать, а немедленно его сиятельству отписать. Запамятовали вы это письмо гетмана?

— Никогда такого не было! — отозвался Мрацкий глухо.— В Самаре его болтуны вилами на воде писали...

— Изволите ошибаться, Сергей Сергеевич... Такое письмо было! Впрочем, ваше запамятование не важно. Губернатор может тотчас отписать обо всем графу по поводу сватовства князя Льгова, и все дело разъяснится.

— Ну, так и извольте действовать, как вам угодно! — выговорил Мрацкий, поднимаясь с места.— А пока позвольте вас, в качестве неприятного гостя, просить вместе с князем сделать нам честь или удовольствие уезжать из Крутоярска до стола.

— И этого не могу, почтеннейший Сергей Сергеевич! Нас пригласила помещица крутоярская, хозяйка в доме. Если она не имеет прав распоряжаться своими вотчинами, то имеет право приглашать к своему столу, и это до ее опекунов не касается. Пригласила нас Неонила Аркадьевна с князем откушать у нее, и мы, хотя бы из одного благоприличия, обязаны. .

— Но позвольте. Я вас...— выговорил Мрацкий, и хотя запнулся и не кончил, но было ясно, что он хотел сказать: «выгоню вон».

— Никогда! — отозвался добродушно Зверев, хотя лицо его изменилось.— Вы слишком умный и осторожный человек, чтобы заводить срамоту. Вы одумаетесь и поймете, как посмотрит на этакие ваши действия граф-гетман. Ну-с, вот и все! Честь имею снова просить вас пересмотреть все письма лица, власть имеющего и занятого сердечно судьбою Неонилы Аркадьевны.

— Повторяю вам, такого письма гетмана никогда не бывало и нет!

— А я повторяю вам, что такое есть. Честь имею кланяться.

Зверев спокойно вышел от озлобленного опекуна и, пройдя в верхний этаж, где были горницы для гостей, застал князя Льгова в волнении.

— Ну, что? — вскочил этот к нему навстречу.

— Объяснился и сказал все...

— Озлился небось? — спросил князь.

— Вестимо. Да нам-то что же... Мы уедем, но прежде все-таки свое дело обделаем. Сейчас за работу...

Зверев сел к столу и, очинив себе новое перо, стал писать большое письмо, скрипя по бумаге.

Князь сел в глубине горницы и задумался.

Он опасался еще вчера неудачи в своем предложении, не зная, как относится крутоярская царевна к нему лично. Сегодня в один миг он сердцем почуял, что сирота девушка очень благосклонна к нему. Стало быть, помеха только в опекунах, не желающих выпускать из рук: один — теплого местечка, а другой — и более того, всего состояния опекаемой, которую прочит за своего остолопа-сына.

За князя Льгова была его изящная внешность, его имя и титул, наконец его родственник — местный губернатор. Все удачи были на его стороне. Против него была дерзость Мрацкого и его предприимчивость, неразбирающая средств, а затем робкая природа запуганной сироты.

— Но робка ли она настолько, чтобы поддаться им? Запугана ли она ими совсем? — спрашивал себя князь.

И, вспоминая ее взгляд, когда она беседовала с ним, он невольно решал:

— Темна! Бог ее знает... А ведь все в ней. Скажи слово — и я могу похитить ее, обвенчаться в Самаре... А там не развенчают никакие опекуны.

XIII

В три часа, несколько позже обыкновенного, опекуны и гости появились снова в парадных апартаментах. В одной из двух больших зал был накрыт стол.

Разумеется, к обеду были приглашены и другие лица: две штатные барыни, двое нахлебников из дворян, Анна Павловна Мрацкая, ее сын Илья и две старшие дочери. Из всех главных обитателей Крутоярска отсутствовал только Никифор Неплюев, вдруг отлучившийся в Самару.

Обед прошел угрюмо. Беседа не клеилась. Все были возбуждены и враждебно настроены. Казалось, что за столом сидели не только два, а несколько враждебных лагерей.

И действительно, в желаниях и интересах присутствующих была полная разногласица. Если бы не молодой князь, весь обед разговаривавший поочередно со всеми и много рассказывавший о столицах, то обед мог пройти при полном молчании.

Не только Мрацкий, но и Щепина не давали даже себе труда скрывать свое неудовольствие и равно открыто неприязненно смотрели на двух незваных гостей.

После стола все перешли в соседнюю анненскую гостиную, прозванную так вследствие того, что в ней мебель и шпалеры были под цвет орденской ленты св. Анны. Приглашенные занялись поданными сластями, вареньем, смоквами и наливками.

Зверев подсел к Нилочке и стал тотчас же просить ее показать свои работы, рукоделия и затем, сказав, что он много слышал об ее способностях к рисованию, стал просить показать ему и князю все ее рисунки карандашом и пастелью.

Нилочка долго отказывалась, но на помощь к Звереву явился князь и стал настолько убедительно и настойчиво просить Нилочку показать рисунки, что девушка решилась и велела их принести. Их оказался целый большой портфель. Рисунков хороших было довольно мало, но гости, конечно, расхвалили все до небес.

Нилочка сначала не поняла, зачем, собственно, и Зверев и князь так настойчиво пристали со своей просьбой, но затем, когда Зверев снова стал складывать все рисунки в портфель на глазах у Нилочки, она сразу поняла все и вспыхнула.

Зверев украдкой ото всех присутствующих ловко вынул из бокового кармана сложенный лист бумаги и, много-

значительно глядя ей в глаза, вложил его среди рисунков. Завязав и передавая все девушке, он тихо выговорил:

— Прочтите... Важно!..

Зверев сделал все настолько искусно, что никто ничего не заметил. Даже Марьяна Игнатьевна, не спускавшая глаз ни с князя, ни с прежнего опекуна, не заметила ни вложенной бумаги, ни роковых двух слов.

Просидев часа два, несмотря на то, что беседа тоже не клеилась, гости стали откланиваться. Зверев заявил от себя и от имени князя Льгова, что, несмотря на любезное приглашение хозяйки, они должны в тот же вечер выезжать из Крутоярска, так как дела, не терпящие отлагательств, ждут их в Сызрани. Нилочка насупилась и не ответила ничего, но затем взглянула на князя. И взгляд ее сказал слишком многое не только молодому человеку, но и всем присутствующим. Этот быстрый взгляд девушки как будто говорил:

«Что ж? Все равно!.. Все-таки никакой перемены не будет. Мы нечто знаем, и все в наших руках».

После этого молчаливого, но красноречивого ответа и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна, одинаково пораженные, стали заметно смущены.

Через час после этого в трех разных горницах большого крутоярского дома происходило нечто особенное, чего никогда не бывало. Нилочка чуть не в первый раз в жизни заперлась у себя в спальне на ключ и, когда кто-то постучался в дверь, ответила кратко:

— Нельзя!

И даже не спросила, кто стучит.

Она сидела с письмом Зверева на четырех страницах. Бывший опекун подробно объяснил молодой девушке, что он приехал с молодым князем сватать его, что князь давно любит ее и просит ее руки. Ожидая отпора со стороны Мрацкого, он нисколько им не удивлен, но считает долгом объяснить молодой девушке то, что, конечно, ей совершенно неизвестно.

И Зверев повторил тут то же, что сказал самому Мрацкому,— доводил до сведения Нилочки, что она, на основании приказания графа Разумовского, может вполне располагать своей рукой и, в случае упорства опекунов или кого-либо другого, может прямо написать гетману нечто вроде жалобы. Доставить письмо в Петербург в собственные руки графа Кирилла Григорьевича брался, конечно, сам князь Льгов.

Молодая девушка была настолько поражена письмом Зверева, что долго не могла вполне прийти в себя. Ей казалось, что тяжелый гнет сразу свалился с ее плеч...

В те же самые минуты в кабинете Мрацкого, куда он никогда никого не допускал, кроме жены и старшего камердинера для уборки горниц, сидела не кто иная, как злейший враг его — Марьяна Игнатьевна.

Более десяти лет прожили они вместе в крутоярском доме и ненавидели друг друга и никогда не поверили бы, что придет день — и они сойдутся так, как теперь, и будут беседовать так, как беседуют теперь. Они глазам не верили, что сидят друг против друга и говорят такие вещи, что готовы не верить собственным ушам.

Общая опасность сразу, как по мановению жезла волшебника, сблизила двух врагов. Когда они сидели за столом, то думали одну думу:

«Надо избавиться от князя, а там дальше видно будет...»

Марьяна Игнатьевна никогда не боялась замужества Нилочки за Илью Мрацкого, так как знала, что некрасивый и глупый Илья почти противен девушке; поэтому и не боялась всех ухищрений его отца. И вдруг теперь явился гораздо более опасный претендент. Но это бы еще ничего.

Главное, что поразило Щепину, было нечто вдруг проснувшееся в ее питомице. Марьяна Игнатьевна как умная женщина поняла сразу, в чем дело. Нилочка полюбила в первый раз в жизни, и вместе с любовью возникла в ней или проснулась где-то таившаяся воля.

Марьяна Игнатьевна, после краткой и бурной сцены со своей питомицей, почти потеряла голову. Она была в таком положении, как если бы Нилочка одевалась уже под венец и собиралась венчаться с князем Льговым.

Поискав мысленно исхода и спасения, Марьяна Игнатьевна ничего не нашла. Только одно было под рукой: идти, бежать к заклятому врагу Мрацкому, протянуть ему руку и начать борьбу вместе с ним против общего врага.

И, сидя за столом, Щепина решилась в тот же день безотлагательно объясниться с опекуном. Мрацкий, сидя за тем же столом, думал почти то же.

Он был глубоко уверен, что Марьяна Игнатьевна имеет громадное влияние на Нилочку.

Он не мог и предположить возможности того разговора, который был в этот день между мамушкой и питомицей, следовательно, спасение было в той власти, которую сумела захватить мамушка над своей питомицей.

«Надобно вместе отделаться от князя Льгова, а потом видно будет!» — думал и решил Мрацкий.

Когда Марьяна Игнатьевна послала сказать Мрацкому, что желает тотчас же быть у него, опекун несказанно обрадовался. Едва только женщина вошла к нему, как они уселись, и оба, кисло-сладко ухмыляясь, заговорили прямо, приступили к делу без обиняков.

Однако после нескольких же сказанных слов ясно стало, что помирившиеся враги ошиблись друг в друге. Марьяна Игнатьевна пришла просить помощи опекуна, а опекун находил только одно средство спасения в том влиянии, которое мамушка имеет над питомицей.

— Вы можете как опекун прямо воспротивиться и не дозволить ей и помышлять об этом князе,— заявила Марьяна Игнатьевна.

— Нет-с, не могу...

— Стало быть, не хотите?!

— Нет-с, очень хочу, но не могу! Никакого не имею права препятствовать, если за кого-либо соберется Нилочка замуж.

И когда Марьяна Игнатьевна заявила, что даже не понимает, что хочет сказать Мрацкий, то он раздражительно и озлобленно объяснил, что имеет прямое приказание графа-гетмана не препятствовать ни в чем молодой девушке при выборе супруга, а только доложить об этом тотчас же.

Марьяна Игнатьевна была поражена открытием. Она, конечно, и не подозревала никогда о таком распоряжении графа Разумовского.

— Следовательно, Марьяна Игнатьевна, вся сила в вас! Вы видите, что я ничего не могу сделать. Вы одна, пользуясь дочерней любовью и уважением Нилочки, можете все сделать. Вы можете, любя, остановить ее, не допустить подобного брака. Я же ничего не могу...

Марьяна Игнатьевна хотела сознаться в том, что в нынешний же роковой день она сделала невероятное открытие, но не решилась и промолчала.

— Поймите,— продолжал Мрацкий,— что если мы избавимся от этого князька, то у Нилочки останется два жениха и из них-то двух она и выберет кого-нибудь: мой сын и ваш сын. По всем вероятиям, она предпочтет вашего Бориса, так как мой Илья, на беду мою, остолоп.

Последнее слово Мрацкий выговорил с горечью и отчаянием. Ничего подобного никогда никто от него не слыхал. Марьяна Игнатьевна удивленно взглянула на него.

— Да, не удивляйтесь... В такую минуту подошло! Да, прямо бухнул... Остолоп! Дикобраз! Тюфяк! Уродись он в меня,— иное бы дело было. А где же ему с его рылом спорить с вашим Борисом? Стало быть, Марьяна Игнатьевна, нам судьба велит подружиться после долгого враждования, и я вам здесь же, сейчас же даю мое дворянское слово во всем вам помогать. Приедет вот ваш сынок, соберется за него замуж Нилочка,— я не только делом, но и словом препятствовать не стану, а сейчас же отпишу графу Кириллу Григорьевичу о том, на кого пал выбор опекаемой мною девицы. Разумеется, Марьяна Игнатьевна, за это я попрошу с вас маленькое вознаграждение и теперь же его скажу. Вы дадите мне подписку и божбу, что после венчания, когда я удалюсь отсюда от всех опекунских дел, то мой Илья получит в подарок от вашей питомицы какую-нибудь вотчину. При ее состоянии одна вотчина — плевое дело. Идет ли у нас такой уговор?

Марьяна Игнатьевна, сильно волнуясь, собиралась что-то сказать и не могла. Наконец она пересилила себя.

— Я, право, Сергей Сергеевич, никогда так не думала. Мой Боринька с детства был с Нилочкой... Он ей брат родной, а не жених.

— Знаем, знаем! Все это я часто вам сказывал и этим вам досаждал, шпильки подпускал этим родным братом! Знаю... Бросимте все это... Не до того теперь! Никакого тут родного брата нету, никаких родственных чувств таких, чтобы помешали браку, нету. Захотите вы, живо все повернется по вашему желанию. Знала она вашего Бориса мальчуганом, а ведь теперь приедет капрал, молодец, в мундире. Да и подучить вы его можете, да и наконец... эх, Марьяна Игнатьевна, будь я — вы, так у меня бы Нилочка через две недели была супругою Бориса Щепина.

И Мрацкий так странно глянул своими крошечными и лукаво злыми глазами в глаза Щепиной, что пожилая женщина вспыхнула и зарумянилась, как молодая девушка.

— Да-с! Да-с! Всякие средства есть для умных людей! Будь я мамушка Нилочки, да будь у меня сын такой, я бы их против воли женил. Так бы дело повел, что в этом бы все спасение было.

После этого объяснения наступила пауза. Обоим прежним врагам, которые теперь примирились, продолжая, конечно, ненавидеть друг друга, показалось, что они зашли слишком далеко, хватили через край, слишком вы-

сказались и дали каждый, в свою очередь, слишком опасное для себя оружие в руки другого.

Они расстались молча, ничего не обещая друг другу и как бы говоря своими угрюмыми лицами:

«Увидим — подумаем! Что будет — неведомо... Что-нибудь решим!»

XIV

В эти же минуты в правом крыле, в небольшой горнице, сидел и быстро, спеша, обедал только что приехавший из Самары приемыш опекуна Жданова.

Молодой человек, двадцати с чем-то лет, на вид, казалось, был гораздо старше. Ему можно было дать и все тридцать. Смуглое угрюмо-красивое лицо носило следы какой-то усталости. Казалось, что жизнь этого человека прошла в постоянных серьезных заботах, но выражение это было обманом.

Никифор Неплюев, напротив, провел свою жизнь в постоянных буянствах, кутежах и всяких диких затеях. Неплюев по фамилии, благодаря просто противозаконно купленным документам, был настоящий породистый крымский татарин.

Лицо отличалось резкими чертами, было крайне переменчиво, часто бывало чрезвычайно красивым и часто бывало крайне неказистым. Большие черные глаза с густыми черными бровями и длинными ресницами красили его, но несколько большой нос с горбом и как бы вечно поджатые губы портили лицо.

Когда Никифор весело болтал, рассказывал что-нибудь, вообще оживляясь, лицо его казалось иногда добродушно-веселым. В минуты молчания и задумчивости оно становилось почти злое.

В действительности молодой человек был загадкой и себе, и другим. В душе он был не злой малый, а часто с увлечением доходил до крайне дурных поступков. Из него мог понемножку выйти то, что называется «лиходей».

Иногда и на словах, и на деле Никифор был добродушен, мягок и сердечен, но случалось это — и то, и другое — как-то зря. Он не раскаивался в совершенном злом деле и часто презрительно относился к совершенному им доброму делу.

Вдобавок у молодого малого было в душе больное место. Он тяготился и был подчас даже несчастлив тем,

что он не русский дворянин, а татарин по матери, что всякий может этим упрекнуть его.

Никифор только что вернулся из Самары, куда его посылал названый отец — Жданов. Поручение, ему данное, касалось того же ожидавшегося сватовства князя.

Никифор должен был разузнать в Самаре все, что только было возможно о князе, его образе жизни, а затем выискать такое лицо, хотя бы чиновника, подьячего, через которое Жданов мог бы войти в тайное соглашение с молодым князем ради личной выгоды.

Жданов хотел заручиться; ему пришло на ум, что он мог бы, помогая теперь жениху Кошевой, со временем сделаться другом князя Льгова и его жены и удержать за собой даровое существование в Крутоярске, разумеется, не в качестве опекуна, а в качестве простого нахлебника.

Никифор съездил в Самару, кое-что узнал и даже приискал подьячего, через которого его отец мог войти в переговоры с князем. Тотчас по возвращении Никифор сделал свой доклад Петру Ивановичу, а затем, усевшись обедать, послал мальчишку, прислуживавшего ему, попросить к себе в гости приятеля Илью Мрацкого.

Никифор и Илья вместе росли более десяти лет в крутоярском доме и называли друг друга приятелями, но в действительности никогда никакой приязни между ними не было и быть не могло.

Это были два молодых человека почти одних лет, но совершенно разного поля ягоды. Насколько Никифор был смышлен, если не умен, лукав и дерзок,— настолько Илья Мрацкий простоват, глупо прямодушен и робок.

Никифор жил и воспитывался на полной свободе, которую давал ему человек, любивший его. Илья, напротив, всю жизнь прожил под гнетом тяжелой руки отца. Многие дурные задатки в Никифоре развились благодаря поблажке отца. Многие хорошие стороны характера Ильи были заглушены вечной боязнью и вечным опасением наказания.

Если бы такие двое людей познакомились между собой в городе, то, вероятно, тотчас бы прекратили знакомство. Илья побоялся бы иметь такого приятеля, как Неплюев, а Никифор, со своей стороны, отнесся бы с презрением к такому лупоглазому тюфяку, каким был Мрацкий-сын.

Детство и юношество, проведенные в одном доме, сблизили их, но на особый лад. Никифор покровительственно относился к Илье, а Илья, боясь отца и не доверяя глупой матери, нес все свои задушевные мысли к приятелю Ни-

кифору и перед ним исповедовался в своих заурядных и мелких тайнах и мечтах.

Прождав теперь с полчаса Мрацкого, Никифор нетерпеливо поднялся, крикнул снова мальчугана Алешку и снова послал за Ильей.

— Скажи Илье Сергеевичу, чтобы он шел сию минуту! Слышишь, чтобы сию минуту на рысях сюда был!

И Никифор нетерпеливо топнул ногой.

Через несколько минут в горнице действительно чуть не на рысях появился плотный и толстолицый Илья.

— Что ты?.. Что!..— почти пугливо произнес он.— Аль случилось что?!

— Какого черта случилось! А тебя, черта, не добьешься... Где ты застрял?

— С матушкой объяснение имел...

— О чем еще?

— Да вот, о князе... Ведь сватается!

— Знаю... Да вам-то двоим — тебе, дураку, и ей, дуре, о чем было толковать?.. Предоставьте Сергею Сергеевичу ведать все, а то, вишь ты, два болвана сошлись вместе, туда же — толкуют!

— Матушка мне, Никиша, сказывала все. Она мне наказывала, как мне себя теперь вести... счет то есть Нилочки... Все это подробно мне разъясняла. Во-первых, говорит, я должен...

— Ах, скажи на милость! Он еще будет мне свою дичь выкладывать! Замолчи, чертова перечница! Стану я слушать, что тебе Анна Павловна наказывала!.. Ты лучше послушай, что я тебе скажу... Боишься ты очень своего тятеньки? Ну, отвечай же. Да встряхнись! — прибавил Никифор, подражая Мрацкому, так как часто слыхал, как тот при посторонних лицах говорил это слово жене.— Ну, очень боишься?..

— Вестимо, боюсь!

— Пойдешь ты говорить с батькой о важнеющем деле... так очертя голову, перекрестившись, была не была?.. Пойдешь, что ли?

— Не знаю...

— Ну, слушай... Как ты хочешь, хоть помирай от страху, а ступай ты к батьке своему и скажи ему так... Да ты не развешивай уши! Слушай! В одно глухое ухо впускай, а другое заткни пальцем, чтобы у тебя, что я скажу, в пустой голове хоть до завтрого бы пробыло. Ступай к батьке и скажи: Никифор, мол, говорит, напрасно вы им пренебрегаете... Взяли бы вы его к себе, на всякое он дело

человек способный. Никифор говорит, что возьмется хлопотать и действовать... И так ли, сяк ли, а Неонила Аркадьевна выйдет добровольно замуж за дурака Илью Мрацкого. Запомнишь?

Илья глупо рассмеялся, широко раскрыв рот.

— Полно! Закрой глотку-то! Понял ли ты?

— Понял, Никиша. Что ж, этакое я не боюсь идти говорить...

— Ну, и слава тебе, господи!.. Что же ты скажешь, повтори!

— А пойду скажу: так и так, Никифор берется Нилочку за меня замуж выдать...

— Ну, что ж, пожалуй, хоть и так! Да чего ты, дурак, не скажешь, то твой отец сам поймет. Вот голова, не чета этой!..

И Никифор начал стучать Илью пальцем по лбу.

— Ты скажи, Никифор сказывает, такое надумал удивительное приключение, такую выискал веревочку, какою никакой черт никогда никого не перепутывал. Такая веревочка ахтительная, так я всех ею перепутаю по ногам, что ли, что все у меня кувыркаться начнут! А пока все будут кувыркаться, дело Илюшки Мрацкого наладится: кто подохнет, кто без вести пропадет, кто ума решится. А тем временем Илюшка Мрацкий с Неонилкой Кошевой обвенчается. А достопочтеннейший Сергей Сергеевич все состояние крутоярской царевны в руки заберет, потому, собственно, что, надо полагать, он своего Илью и женатого вместе с невесткой будет кнутом стегать до последнего своего издыхания и так, гляди, все дела устроит, что сам у собственного своего сына или у внучат единственным прямым наследником всего состояния окажется... Так понял ты, что я говорю?

— Понял, понял!.. Да как же это ты, Никиша, сделаешь?

— Вот дурак-то! Вообразил, что я ему сейчас все объяснять стану! Да если бы я и стал объяснять, так ты не поймешь ничего, оловянная голова!.. Ну, когда же ты к отцу пойдешь?

— Когда желаешь.

— Ну, завтра рано утром ступай. Сегодня, как я смекаю, у него и на душе, и в разуме все перетолчено... Уж очень, говорят, нонешний день крут вышел! Ну, вот завтра утром и ступай. Коли что заспишь, приходи рано утром, я тебе опять повторю, да прямо от себя свежеиспеченного и направлю к Сергею Сергеевичу. Да, впрочем, немудрено.

Затверди одно: Никифор берется меня, дурака, на Нилочке женить, если вы только его к себе приблизите и с ним в совет и в уговор пойдете. Ну, вот теперь ступай! А я утомился от батькиных поручений в Самаре — спать лягу.

Илья с глупым недоумением на лице ушел от приятеля, а Никифор, дождавшись, пока шаги приятеля замолкли в соседних горницах, надел шапку, открыл окно, которое было аршина на четыре от земли, и огляделся в полумраке. Прямо под стенами левого флигеля начиналась чаща кустов сирени и акации.

Никифор прошел в соседнюю горницу, крикнул Алешку и приказал:

— Кто ни спросит,— батюшка или кто другой,— скажи, уморился, спать лег и ни за что себя будить не приказал. Разбудят — драться учну! И так до завтрашнего утра не смей ты тут шуметь, а всего лучше уходи куда!

— Слушаю-с! — пискливо ответил мальчуган, привыкший ежедневно получать здоровые колотушки от молодого барина.

Никифор вернулся в свою горницу и заперся на ключ, а затем снова отворил окно, перемахнул через подоконник и привычным ловким прыжком очутился на земле среди кустов сирени.

Здесь достал он длинный шест и им притворил рамы окна. Затем он припустился скорым шагом, а то и рысцой к селу. Миновав две, три избы, он приблизился к околице, перелез плетень и, пройдя двор, вошел в избу.

— Степан! — крикнул он громко.

Чей-то голос отозвался, и крестьянин низенького роста отворил дверь.

— Аксютка? — выговорил Никифор.

— Нету...

— Как нету?! — вскрикнул Никифор.

— Ее взяли.

— Куда?

— Обратно во двор.

— Что ты врешь?

— Ей-богу, взяли! И больше на огородах ставить не приказано... И мало что говорят! Диковина какая-то! Приходил мой мальчугашка, сказывает, прямо к Анне Павловне провели. Сказывали что-то такое удивительное, да я не понял... Платья, что ли, ей новые шить будут... ну, наряжать, стало быть...

— Что-о?! — протянул Никифор.

И он вдруг, совершенно бессознательно, ухватил крестьянина за ворот кафтана.

— Чур, барин! Я-то при чем же? Что вы! — ахнул крестьянин.

Никифор выпустил из руки ворот мужика и стоял перед ним несколько мгновений, молча и тяжело сопя.

— Чьи же это турусы? — выговорил он наконец.— Кто же это? Тот же Сережка Мрацкий! Больше никто! И вот уж хоть тресни, а ничего не разберешь! Ведь ее на скотный двор собирались поставить?

— Так точно! Так сказывали... А теперь вон наряжать хотят... Что ж, слава богу! Девка сердобольная, жалостливая... Слава богу!

— Тебе, черт, слава богу, а мне-то совсем не за что славословить.

Никифор повернулся и медленно пошел из избы, но вдруг остановился, обернулся и выговорил грозно:

— Да ты, может, врешь все?!

— Что вы! Господь с вами! Зачем мне врать! Да вы идите в палаты-то да и справьтесь.

— Это я и без тебя знаю...

Через четверть часа Никифор был в доме, на втором этаже центрального корпуса, где жили все штатные барыни и все нахлебники, и сидел в гостях у Лукерьи Ивановны.

То, что было нужно ему, он узнал сразу. Дворовая девка — первая красавица в Крутоярске, посланная в наказание на огороды с угрозой быть затем поставленной на скотный двор, была возвращена во двор, прощена, назначена в штат к самой барышне. И вдобавок Анна Павловна обласкала ее и приказала ей сшить два новых сарафана: красный и синий.

— Что ж это все значит? — два раза уже спросил Никифор у штатной барыни, старшей над всеми.

— Ничего, голубчик, понять нельзя! И все сказывают, что не это одно, а много чего будет диковинного. Сказывают, что такие деньки в Крутоярск пришли, что такое будет, такое... что у-у, господи!.. Никогда не бывало!.. Ну, просто тебе светопреставление.

XV

На другой день Жданов, вернувшись с охоты, послал за побочным сыном, чтобы снова переговорить о важном предприятии. Жданов окончательно решился перейти тай-

но на сторону князя. Сведения, собранные сыном, все были в пользу Львова, да, кроме того, Никифор узнал, что губернатор собирается деятельно хлопотать ради дела своего родственника.

В Самаре даже ходил слух, что если опекуны будут очень противиться и принимать какие-либо противозаконные меры по отношению к опекаемой ими Кошевой, то губернатор сам поедет в Петербург, официально снесется с графом Разумовским и будет сватать князя Львова.

— Я слышал,— объяснил Никифор,— что губернатор нисколько не сомневается в успехе, уверен, что одновременно и Мрацкий будет удален из Крутоярска, и свадьба Нилочки отпразднуется.

— А мы в дураках будем? Мне ты какого-то стрекулиста выискал.

— Сделал, что мог, батюшка. Дальше ничего не поделаешь.

— Пойми ты. Нам-то куда же?! Мы-то что же?! — воскликнул Жданов.— Главная сила в том, как мне загодя на сторону князя перемахнуть и в его благоприятелях оказаться. А ты какого-то подьячего выискал и, собственно, ничего не сделал и сам не узнал...

— Узнавал, батюшка,— возразил Никифор равнодушно,— и полагаю, что просто ни с какой стороны подойти нельзя. Если вы даже поедете к самому губернатору и будете предлагать всяческую ему помощь, то он вам ответит, что в нас не нуждается.— Никифор помолчал и прибавил, как бы нехотя: — Есть одно средство: мне с князем в дружбу войти. Да опять-таки не ради того, чтобы ему помогать в женитьбе... Ему на меня — наплевать тоже! А так, просто сдружиться. Это бы дело легкое, я сумею. Да другая тут помеха будет. Деньги нужны. А у нас их нету.

— На что деньги? — удивился Жданов.

— Как на что? Поехать в Самару, жить там, веселиться вместе с князем. В дружбу к нему влезть можно только со всякими затеями. Будь у нас деньги, я бы сказал — самому князю этому взаймы дать... Женится он на Нилочке — вдвое отдаст.

— Это все болтовня! — воскликнул Жданов.— Что вздор толковать! Какие же у меня деньги? Я хотел объявиться прямо его помощником. Ради того, стало быть, что якобы желаю его брака всем сердцем.

— Ну, а это ваше желание,— резко отозвался Никифор,— ему ни на что не нужно. Говорю, скажут вам все они, что и без вас обойдутся.

На этом беседа Жданова с приемышем окончилась. Петр Иванович задумался печально, и Никифор, с легкой усмешкой поглядев на отца, собрался уходить.

— Куда же ты? — очнулся Жданов.

— Дело у меня. Что же сидеть-то...

И он пошел из горницы.

— Как же, Никифор, так, стало быть, все и бросать? — остановил его Жданов.

— Что же делать? — отозвался молодой человек.— Надумайте вот, как деньги достать. Я поеду в Самару, сдружусь с князем... Там видно будет. А больше ничего не придумаешь.

И Никифор, не дожидаясь ответа, вышел от отца и быстрыми шагами отправился через весь дом, миновал две пустые парадные залы и длинный коридор и, наконец, очутился в противоположном левом крыле дома. Здесь он прямо прошел в горницу Ильи Мрацкого.

Илья вскочил навстречу к приятелю и выговорил многозначительно:

— Я к тебе шел... был у отца... все сказал... Не знаю, как у меня храбрости хватило.

— Ну... ну?.. Что же?

— Батюшка приказал тебе к нему сегодня же зайти, когда хочешь.

— Что же он тебе говорил? — улыбнулся самодовольно, но лукаво Неплюев.

— Ничего. Я говорил, а он молчал. Да и я недолго говорил... Стал было пояснять, батюшка сказал: «Полно турусы разводить! Я — не ты, дурак, сразу понял все. Скажи Никифору — приходить ко мне. С ним я и перетолкую. А с тобой мне не о чем толковать»... Ну вот и ступай к нему.

— Так я сейчас пойду.

— Ступай!

Никифор двинулся к горницам Мрацкого. Лицо его стало тотчас же несколько сумрачнее и как бы боязливо. Он приостановился перед дверями первой горницы, постоял немного, будто соображая, как войдет и что скажет.

— Иуда! С ним не свой брат! — пробурчал он себе под нос.

Через минуту старик Герасим уже доложил Сергею Сергеевичу о Никифоре. Мрацкий вышел из своей рабочей комнаты в гостиную.

— Здравствуй! — встретил он Никифора.— Садись и поясняй, что нужно. Мой Илья недорого возьмет все переврать. Что тебе нужно от меня?

Никифор сел против Мрацкого и, несколько смущаясь, что бывало с ним крайне редко, не знал, с чего начать.

— Вам Илья говорил. Стало быть, вам известно.

— Ничего мне неизвестно...— сухо отозвался Мрацкий,— был ли Илья, не был ли,— считай, что не был, и начинай сам сызнова: что тебе нужно? Да ты не увертывайся и не робей, говори прямо. Что красной девкой прикинулся! Тебе это и не к лицу. Махай все прямо, начистоту. Коли что покажется мне неподходящим, прямо так и откажу и никто ничего знать не будет.

— Вы не осерчайте, Сергей Сергеевич. Я из желания быть вам приятным...— начал Никифор.

— Знаю, знаю!.. Ты малый смышленый, с тобою дело иметь можно. Сказывай, говорю, прямо, не вертись как бес перед заутреней. Сказывай коротко и толково.

Никифор, несколько путаясь и запинаясь, передал Мрацкому, что готов ему верой и правдой служить в важном деле.

— В каком деле? Говори начистоту или уходи!

— Желаете вы, Сергей Сергеевич, конечно, чтобы ваш Илья женился на Неониле Аркадьевне?

— Желаю! — коротко отозвался Мрацкий, не сморгнув.

И по лицу его Никифор не мог никак догадаться, что в эту минуту на уме хитреца.

— Вам известно, что у Неонилы Аркадьевны два жениха, как сказывают в Крутоярске: князь Льгов и Борис Андреевич. Она может предпочесть их Илье.

— Есть еще и третий, любезнейший,— прибавил Мрацкий.— Кто третий, я чаю, знаешь?

— Никак нет-с...

— Ты!

— Полноте шутить, Сергей Сергеевич.

— Зачем шутить? Во всем Крутоярске известно, что всех женихов четверо.

— Я об этом и помышлять не могу сметь. Я — безродный... Всем это ведомо.

— Ты из молодых да ранний... Скороспелка! Тебе палец в рот не клади! Будешь ты мне здесь клясться и божиться и распинаться, что никогда не думал о том, чтобы тоже закидывать глаза на Нилочку — и я тебе не поверю. Ну, сказывай дальше, что у тебя на уме?

— На уме у меня, Сергей Сергеевич, каким путем Неониле Аркадьевне выйти замуж за Илью вашего. Как избавиться от князя и Щепина.

— Ну, как же?

— Я вот за это возьмусь, ответствуя головой.

— Что?! — удивился Мрацкий.— Ты возьмешься?

— Точно так-с...

— Да что же ты сделаешь?

— Да уж это, извините, мое дело! Это вам не должно быть известно... чтобы вам быть в стороне в случае какой незадачи. Я берусь, и в самом скором времени из трех женихов останется у барышни Кошевой, именуемой царевной, один...

— Что же, ты убьешь, что ли, обоих?

— Если бы этакое и приключилось, Сергей Сергеевич, то не ваше это дело... Я на убийство, вестимо, не пойду...

— Наймешь, что ли, каких головорезов похерить их. Так я на этакое дело не пойду. Я думал, ты умен, а ты — дурак! Убить иного человека бывает, правда... дело не глупое. А вот собираться убивать самое глупое дело...

Неплюев не понял, и на его вопросительный взгляд Мрацкий выговорил:

— Попадешься ты, попадусь и я — и все пойдет к черту? Срамота да еще и суд. Я думал, ты, Никифор, умнее.

— Никого я, Сергей Сергеевич, нанимать убивать не стану! Так все обойдется, что и я останусь в стороне, только глядеть буду. А верно вам сказываю — из двух женихов ни единого не останется... Останется один... Коли угодно вам, я ваш слуга; не угодно — не надо!

— Поясни, и я, пожалуй...— нерешительно выговорил Мрацкий и запнулся.

— Ничего, Сергей Сергеевич, пояснять я не стану! Вы — человек умнеющий, я тоже не дурак,— зачем лишние слова тратить? Я вам предложение делаю и отвечаю, что не обману, а как и что... увольте рассказывать.

Наступила пауза, после которой Мрацкий вымолвил тихо:

— Ладно! Ну, сказывай второе. Ведь ты не все сказал! Второго-то еще не говорил.

— Чего второго?

— Ломайся... Второе-то!.. Что тебе за это будет пообещано. Ведь не даром же ты стряпать будешь? Небось ведь попросишь что-нибудь! И по всей вероятности, попросишь денег.

— Точно так-с... И не мало денег!

— Ну, ладно, когда все сделаешь, тогда и приходи.

— Нет, Сергей Сергеевич, в том-то вся и сила, что деньги нужны теперь.

— Ну, это, брат, опять скажу: я думал — ты умнее! Ты, стало быть, думаешь — можно посулами выманить у меня деньги зря, как у старой барыни какой.

— Нет, Сергей Сергеевич, первые же сто рублей, какие вы дадите, вы увидите, как я истрачу, и вторые — дадите еще охотнее. А третью, четвертую, пятую сотню — еще охотнее. И при этом увидите, что деньги не остаются у меня в кармане, а все идут на ваше дело.

— Что же ты, черт, на них делать будешь? — вскрикнул Мрацкий.

— Я на них, Сергей Сергеевич, буду первый приятель Бориса Щепина и первый приятель князя. И они оба будут моими первыми приятелями. И вместе мы втроем начнем чудеса в решете показывать всей Самарской губернии. От этих чудес дым коромыслом пойдет! Неонила Аркадьевна первая чувств лишится от омерзения. Марьяна Игнатьевна повесится на каком гвозде со зла. Сказать просто, на ваши деньги я заверчу и Бориса и князя и в такую трясину с ними увязну, что лишь бы самому уцелеть... Себя не пожалею! Коли себя жалеть, то и другому никогда ущерба не сделаешь... Надо махать вот как... Надо...

Никифор запнулся и замолчал. Мрацкий тоже долго раздумывал и не отвечал ни слова.

— Сколько же ты у меня денег переберешь? — выговорил он наконец.

— Не знаю, Сергей Сергеевич... Может, до тысячи рублей дойдет. Но ведь вы прежде-то дадите сто или два ста и увидите сразу, стоит ли мне еще-то давать. Стало быть, потеряете-то вы немного. А я так полагаю: с первой же подачки вы увидите, что моя затея денег стоит. Сами посудите — похерить двух женихов у Неонилы Аркадьевны, чтобы один остался... Ведь это, воля ваша, подороже тысячи стоит!

Мрацкий усмехнулся какой-то странной улыбкой, встал и выговорил тихо:

— Обожди.

Он вышел в свою рабочую горницу, а Никифор, поднявшись, тоже подошел к зеркалу и, взглянув на себя, самодовольно улыбнулся.

Не прошло двух минут, как Мрацкий вошел снова и передал Никифору небольшой мешочек из серой паруси-

ны, круто перевязанный веревочкой. На мешочке виднелась черная цифра: 100.

— Вот! — выговорил он.— Не оловянные! Начинай. Обманешь — черт с тобой.

Никифор взял тяжелый мешочек с серебряными рублями и спрятал их на груди в боковой карман кафтана. Через мгновение он уже быстрыми шагами двигался по дому с совершенно счастливым лицом.

«Если и ничего не выйдет,— думалось Мрацкому,— то все-таки деньги мои не пропащие! На них сам молодец свертится, и все-таки одним женихом меньше будет... Но надо полагать, что польза будет. Уж очень хитер и злюч этот головорез. Недаром от полтурки уродился».

XVI

Через два дня праздно скучная жизнь в Крутоярске была прервана неожиданной новостью, почти целым событием для всех обитателей. Около десяти часов утра влетела во двор взмыленная тройка ямских лошадей, и из небольшого тарантаса вышел на главный подъезд никому незнакомый гость, в невиданном еще мундире.

Люди, находившиеся в передней, не могли сразу узнать прибывшего, но вскоре затем некоторые весело выскочили на двор вынимать вещи из экипажа, другие же стремглав пустились во все края дома вестниками радостного происшествия. Прибывший был всеми любимый Борис Андреевич. Трое из людей бросились наперегонки, смеясь и задерживая друг друга, чтобы известить прежде всего Марьяну Игнатьевну, так как Щепина давно обещала целковый тому, кто первый объявит ей о приезде ее Бориньки.

Люди, ворвавшиеся вместе в горницы главной мамушки, застали Марьяну Игнатьевну в сердечной и тихой беседе с барышней.

— Борис Андреевич! — вскрикнули они в один голос.

Марьяна Игнатьевна вскочила, слегка изменилась в лице и быстро двинулась, а затем уже почти побежала на главную парадную лестницу. Вслед за ней полетела и Нилочка.

Навстречу обеим по лестнице поднимался стройный молодой человек в красивом мундире. Марьяна Игнатьевна вскрикнула, всплеснула руками и со слезами стала обнимать бросившегося к ней сына.

Через несколько мгновений она отстранила его от себя, присмотрелась к нему и расплакалась еще сильнее. Если бы Щепина не была предупреждена, то она положительно не узнала бы родного сына, которого не видала немного более двух лет,— настолько изменился молодой человек.

Стоявшая за своей мамушкой Нилочка тоже удивленно смотрела на молодого капрала и не верила глазам: это ли тот Боринька, с которым она провела все детство.

Наконец семеновский капрал, снова расцеловавшись с матерью, вскрикнул:

— Нилочка!

И он кинулся обнять и расцеловаться с подругой детства, но девушка, смущаясь и закрасневшись, как-то сухо поздоровалась с ним.

Через несколько минут Борис сидел, однако, в горницах, занимаемых Нилочкой, как если бы был в действительности ее родной брат. И мать, и подруга детства забрасывали его вопросами о столице, службе и о всех мелочах полковой жизни. Борис отвечал, рассказывал, рассуждал... И обе женщины, любившие его, все более удивлялись, насколько может перемениться человек за такой сравнительно все-таки короткий срок времени. Давно ли — казалось, только несколько недель назад, по милости однообразной жизни Крутоярска,—проводили они по дороге в Самару скромного и отчасти робкого юношу, который горько плакал, отправляясь в Петербург, представлявшийся ему хуже Сибири. Юноша, воспитанный под крылышком любящей матери, около не менее любящей его полусестры,— теперь был совсем молодчина-капрал. Он вырос, вошел в тело, казался плечистее и мужественнее, а лицо слегка будто похудело: юношеская опухлость или кругловатость щек и скул исчезла, и оно стало более сухо и более осмысленно. Вместе с тем и голос, и ухватки Бориса были другие. Он выражался резче и громче. Изредка отвечая матери, он как бы отчасти лукаво усмехался. Он чувствовал, что и ему теперь заметна и забавна перемена, происшедшая в нем. Но он впервые увидел или заметил это только теперь здесь, в Крутоярске. В Петербурге это и на ум не приходило.

— Как ты переменилась, Нилочка,— вымолвил он, ласково глядя на девушку.

— А ты-то... ты! — отозвалась Нилочка.— Узнать нельзя.

— Ты похорошела... Совсем барышня, не девочка.

— И ты тоже... Тоже...

Но Нилочка не знала, как выразить свою мысль. Борис Щепин казался ей именно мужественным, более мужчиной, нежели когда поехал на службу.

— Ты, Боринька, совсем офицер, а не мальчуган,— сказала мать.

— Ну, до офицерского-то чина еще далеко,— ответил Борис.— Ну, что, у вас как... Что Мрацкие, Жданов, Никифор?..

И Щепин, в свою очередь, расспросил все обо всех обитателях Крутоярска, но получил от матери и Кошевой один и тот же ответ: «Все по-старому!»...

— Одна только новость у нас,— странно выговорила Марьяна Игнатьевна.— Князь один самарский за Нилочку сватается. Очень ему ее поместья и вотчины по душе пришлись.

Девушка слегка смутилась, но не покраснела, а лицо ее стало серьезнее, и она с упреком взглянула на мамушку.

— Что же, давай бог... Пора ей замуж,— воскликнул Борис.— Скорей опеку долой!

Но, присмотревшись к лицу матери, Борис прибавил:

— Не подходящ? Дурной разве человек?

— Напротив... Очень хороший...— вымолвила сухо Нилочка.

— Что же мы знаем о нем? На девичьи глаза хорош, потому что хват и речист,— раздражительно произнесла Щепина.— А больше мы ничего не знаем.

— Ну, что же? Узнайте... Я вам все разузнаю... Коли дурная слава о нем в Самаре — в один день узнается. А если человек хороший, то надо Нилочке за него. Княгиней будет. Как его фамилия?

— Князь Льгов,— вымолвила девушка.

— Льгов! — воскликнул Борис.

— А ты его знаешь? — удивилась Нилочка.

— Нет... Но... Нет...

И Борис замялся.

— Ты этого князя Льгова знаешь,— сухо произнесла Щепина.— Почему же ты заикаешься... Что-нибудь худое знаешь о нем, чего сказать не хочешь... или ты не можешь сказать при Нилочке? Так после мне скажешь...

— Князь Льгов, матушка, про коего я думаю, очень хороший человек. Такой добрый малый, каких на свете мало водится. Но тот ли это? Моего зовут Николаем, и он офицер Измайловского полка.

Щепина насупилась, а Нилочка улыбнулась и выговорила весело:

— Этот самый и есть. Этого зовут Николай Николаевич, и он этого полка, как ты говоришь.

— Отличный малый. Давай бог тебе за него замуж выйти,— воскликнул Борис.— Да он совсем-таки взаправду сватается, или это одни ваши деревенские толки? У вас тут...

— Ах, полно, пожалуйста! — прервала Щепина.— Не успел приехать, и уж меня сердишь. Ты, выходит, лицом только стал мужчина, а разумом-то все еще малолеток. По чему такому этот князь диво дивное? Скажи. Докажи. Что он дивного сделал в Питере? Ведь зря болтаешь...

— Его все хвалят, матушка, в Измайловском полку. Товарищи жалеют, что он ушел...

— Не с кем им, что ли, безобразничать теперь? Коновода нет?

Борис удивленно взглянул на мать.

— Да вы-то что худого об нем знаете? — спросил он наконец.

— Ничего, Боря. Ничего! — холодно ответила Нилочка.— Это наши крутоярские переплеты... Вот поживешь — увидишь, но ничего не узнаешь и не поймешь. Почему Маяня не хочет, чтобы я выходила за князя замуж,— она не говорит. А все только сказывает, что князь худой человек. Сказать же про него худого ничего не имеет. И выходят это — крутоярские переплеты... И чем все это кончится — я уж не знаю! — грустно добавила Нилочка.

Наступило молчанье.

Марьяна Игнатьевна сидела сумрачная и опустив глаза. Борис смотрел на мать с недоумением. Наконец Щепина поднялась и вымолвила, вздохнув:

— Ну, там видно будет... что и как... А пока, Боринька, пойдем в твои горницы... Уберешься с дороги, поди к Сергею Сергеевичу и к Петру Ивановичу.

— Да. Надо сейчас же... Обидятся... Я только переоденусь...

И молодой человек поднялся и пошел вслед за матерью, но у дверей он обернулся, поглядел на Нилочку и радостно улыбнулся. При этом он сделал едва заметный жест рукой, указывая на мать. Нилочка усмехнулась, и лицо ее, за минуту скучное, оживилось. Она увидела нечто давнишнее, знакомое, что вызвало в ней старые воспоминания детства. Бывало, когда Марьяна Игнатьевна сердилась на них, на нее и на Бориса, то они имели обыкновение друг дружке показывать так на нее украдкой, как бы говоря:

«Ничего! Пройдет!»

Этот жест за спиной Марьяны Игнатьевны был одною из их детских тайн, и теперь Борис нарочно напомнил своему другу и полусестре одну из этих невинных выходок детства.

Но когда Кошевая осталась одна, она снова задумалась глубоко.

Тогда все были шутки, думалось ей. А теперь подошло время тяжелое. Тогда были у нее враги, но было одно верное прибежище — Маяня. Заступница против всех. Теперь же эта мамушка и вторая мать против нее тоже. И она окончательно сиротой, одна-одинехонька. И люди совсем чужие становятся ближе близких. Чужой человек Зверев стал сразу близким и ратует за нее. А чужой человек князь Льгов стал чем-то... особливым для нее. За него она готова на все... на всякие подвиги. Откуда смелость берется, которой прежде не бывало? Что же с ней приключилось? Какая-то перемена в мыслях и в чувствах... Это — любовь!

И крутоярская царевна, еще недавно спрашивавшая тайком у горничных девушек, кто из них кого любит, за кого метит выйти замуж, добивавшаяся из разговоров с ними уразуметь, что это за чувство такое ими движет, заставляет их радоваться и горевать несказанно, теперь сама, сразу, неожиданно очутилась под властью такого же именно чувства.

Но в ней любовь проснулась по-своему... Чувство в самый краткий промежуток времени выросло, окрепло и овладело настолько всем ее существом, что все мысли были вытеснены из головы одной мыслью о князе Льгове.

Между тем, пока Нилочка сидела задумавшись у себя, а затем, достав письмо Зверева, которое она уже знала наизусть, начала снова перечитывать его, Щепина с сыном уже успели переговорить о князе.

Марьяна Игнатьевна, введя сына в его горницы, тотчас же строго спросила:

— Ты знаешь хорошо этого князя?

— Знаю, матушка,— ответил Борис, смущаясь.—Знаю мало, видел два раза... Но должен его любить и быть ему во веки благодарным. Да и вы тоже... Он меня чуть не от смерти спас.

— Как от смерти? — воскликнула Щепина.

— Да, матушка, не хотелось мне это вам рассказывать. Думалось, не придется... Но если ныне дело пойдет на то, что вы против него стоите, то я вам все скажу... Но теперь

увольте. Только что приехал. А это длинно рассказывать. Ну, завтра, что ли...

— Когда же? Когда же он тебя спас? Когда это было?

— Да только что я в Питер приехал; месяцев шесть еще не прошло.

— Да что же именно? Скажи хоть слово.

— Меня, матушка, могли убить... А князь Льгов заступился... Потерпите до завтра! — усмехнулся Борис.

Щепина опустила голову, и видно было, что она поражена признанием сына.

— Да ведь это, может, пустое и глупое приключение,— произнесла она.— И он вовсе не благодетель тебе какой. Услуга товарищеская в пустом деле. Пустяки.

— Нет. Не пустяки. И я у него в долгу. Мы в долгу. И вам против него грех идти — в чем бы то ни было, не только в таком важном деле, как сватовство. Коли он сватается, то, стало, любит Нилочку истинно. Он не такой, чтобы закидывать глаза завидущие на ее вотчины и деньги. А мне так даже и бог велел ему быть теперь в помощь. Надо отплатить добром за добро. Обратится он ко мне теперь, я за него горой стану против Мрацких и других.

— И против меня, матери родной? — вскрикнула Марьяна Игнатьевна.

— Что вы, матушка... Зачем... Да и вы за князя будете стараться.

— Я?.. Я, глупый! Я буду Нилочку прочить за Льгова?! Помогать ему, когда Нилочка должна быть женою другого, мною ей в мужья нареченного уже лет с десять?!

— А у вас, стало, есть свой жених для Нилочки?

— Вестимо есть.

— Да коли она его не захочет, вашего-то...

— Захочет... Я заставлю...

— И ваш-то этот любит Нилочку?

— Любит.

— Да стоит ли он князя-то?

— Стоит. Нилочкин жених мною нареченный ей — ты.

Борис вскочил с места, стал пред матерью как вкопанный и, широко раскрыв глаза, глядел на нее с бессмысленным выражением в лице.

— Что вы, матушка? — выговорил он наконец тихо.

— Коли ты малоумок, то у матери за тебя разум был и теперь будет,— глухо проговорила Щепина.— Да, Нилочка должна быть твоей женой. Тебе должно быть в этом доме хозяином, крутоярским помещиком, а мне быть не мамкой Неонилы Кошевой, а свекровью.

— Этого никогда не будет, матушка.

— Что?!

— Не будет. И Нилочка не захочет меня в мужья. Да и я... тоже.

— Не захочешь ее в жены?

— Какая же она мне супруга? Она мне что сестра.

— Все это вранье крутоярское... Сестра?! Заладили дураки — сестра да сестра. Ну, и любитесь как брат с сестрой,— повенчаться это не помехой.

— Нет, я на это не пойду. Нилочка меня не захочет в мужья, а насильно венчаться я с ней не стану.

— Так ты мне тогда не сын! Я от тебя откажуся... Я... я тебя тогда... прокляну! Да! — глухо и меняясь в лице, произнесла Щепина.

XVII

Через два дня после приезда Бориса все население Крутоярска было немного взволновано невероятными вестями, которым, однако, почти никто вполне верить не хотел.

К Сергею Сергеевичу Мрацкому приехал из Самары гость. По его словам, в Оренбургской губернии была полная смута от всякого сброда яицких казаков, татар, всяких иногородцев и крестьян.

По счастью, в столице начальство не дремлет, и из Казани было уже известие, что там проехал присланный из Петербурга генерал Кар, чтобы принять начальство над войсками, собранными против мятежников. Надо было ожидать со дня на день поимки злодея Пугачева и усмирения края.

— Ну, дорогой мой,— отозвался на эти вести Мрацкий,— у страха глаза велики, а языки длинные. Небось сотни две татар с одним беглым каторжником ограбили да прирезали двух-трех проезжих, а в Самаре из мухи слона сделали.

Гость напрасно клялся и даже подсмеивался над неведением и неверием крутоярцев. Все обитатели отнеслись к вестям так же, как и Мрацкий.

— Мало ли что народ болтает! Во всем пуде вестей и осьмухи правды не найдется.

Однако равнодушно и беззаботно отнеслись к вестям только во дворе и в палатах. Не то было на селе.

Чем менее любопытствовали обитатели крутоярских

палат знать, что происходит под Оренбургом, тем более чутко и трепетно ждали вестей от разных «прохожих людей» обитатели крутоярского села и окружных деревень. Но новостей долго не было.

Наконец выпал снег и наступила сразу зима. По первопутку следовало ждать диковинных вестей...

Прошло три недели с приезда Бориса Щепина. В палатах и во дворе уже привыкли к этому событию, прервавшему праздно-скучную жизнь. Разумеется, молодой капрал не внес ничего нового в обыденную колею жизни. Единственная перемена, которая произошла одновременно с его приездом, были ледяные горы в саду и катанья с них дворни, благодаря сразу и дружно наступившей зиме.

Вначале многие крутоярцы надеялись, что всеми любимый Борис Андреевич, приехав из столицы, придаст некоторое оживление угрюмому существованию в больших палатах. Но вышло совершенно наоборот. Сам Борис, приехавший беззаботно-веселым, поддался влиянию общей скуки и, по прошествии нескольких дней, смотрел на все и на всех такими же скучающими глазами. Впрочем, на это была особенная причина.

Борис был поражен тем, что узнал от матери. Он никогда и не помышлял о том, что она давным-давно решила тайно от него. Он всегда, с детских лет, любил Нилочку, часто вспоминал о ней и в Петербурге, интересовался ее судьбой, но смотреть на нее иначе, как на сестру, он не мог. И теперь мысль — считаться женихом, думать о женитьбе на Нилочке — казалась ему чудовищной.

Положение его тотчас же по приезде стало странное, двусмысленное и тяжелое. Хотя за время пребывания в Петербурге он несколько освободился из-под влияния матери, которой прежде страшно боялся, тем не менее теперь незаметно для самого себя стал снова поддаваться этому влиянию.

Борису казалось, что если бы дело шло о пустяках, то он бы мог противиться матери в качестве взрослого и капрала, а не быть прежним маменькиным сынком; но в таком серьезном деле, как женитьба на Кошевой, у него не хватало храбрости противодействовать.

Марьяна Игнатьевна с первого дня заметила, конечно, что возмужавший сын стал несколько самостоятельнее, но женщина не сомневалась ни минуты, что снова овладеет его волей и разумом.

Отношения Щепина к крутоярской царевне с первых же дней стали не те, о каких он мечтал в Петербурге.

Они были неестественные, натянутые, неискренние.

Марьяна Игнатьевна строго запретила сыну не только говорить, но даже и намекать Нилочке на их тайный разговор и их намерения.

— Ты должен заставить Нилочку полюбить себя,— сказала она.— Пускай она сама додумается за тебя замуж идти. А если ей сейчас сказать, чего мы желаем, то она испугается и все пойдет прахом.

Все это казалось Марьяне Игнатьевне очень просто, а Борису казалось совершенно нелепым и немыслимым.

Молодая девушка, которой за последнее время не с кем было отводить душу,— конечно, с первых же дней избрала друга детства прибежищем, исповедовалась ему во всем, передавала ему подробно все свои сердечные тайны, волнения и надежды.

Борис уже знал, что Нилочка сильно влюблена в князя Львова и готова идти на все. Ее робость, безволие — все исчезло под влиянием охватившего ее чувства. Борис выслушивал исповедь друга и принужден был обещать помощь, в чем только мог. Вместе с тем Марьяна Игнатьевна всякий день поучала сына, как заставить Нилочку полюбить себя и приучить ее к мысли — выходить замуж за него, Бориса.

И молодой человек неожиданно попал между полусестрой и матерью — двумя любимыми им женщинами,—в самое нелепое положение.

Одновременно было еще нечто новое на душе молодого капрала. Когда-то здесь, в Крутоярске, часто, чуть не ежедневно, видел он в доме маленькую девочку Аксютку, прислуживавшую горничным, и тысячи раз случалось ему играть с ней. Затем, перед отъездом в Петербург, видел он пятнадцатилетнюю Аксюту, которая много изменилась к лучшему, но Борис этого как бы не замечал — оно было ему совершенно безразлично.

И теперь, по приезде, он встретил в этом же доме красивую молодую девушку и едва узнал в ней прежнюю Аксюту. Оказалось, что девушка уже с год почитается в Крутоярске чуть не первой красавицей всей округи.

С первых же дней Борис стал видеть Аксюту всякий день, так как она была приставлена печись о его вещах и белье. Случилось это по приказанию Анны Павловны Мрацкой, а дальновидная Марьяна Игнатьевна ничего в этом не усмотрела, сочла совершенно простым делом

и не предугадывала, что могло случиться и на что сильно рассчитывал сам Сергей Сергеевич Мрацкий.

Через неделю после прибытия в Крутоярск Борис при встрече с Аксютой уже ласково ей улыбался, заглядывался подолгу на красивую девушку и все чаще заговаривал с ней. Теперь его уже занимала мысль, о чем так горячо разговаривали на ледяных горах Аксюта и Никифор, а однажды, взятые им врасплох, смутились, так как Никифор держал девушку за руки. Эта мысль сильно занимала Бориса, и он наивно не сознавал, что эта мысль, отчасти тревожная, во всяком случае неотступная, есть не что иное, как ревность. Молодой капрал, незаметно для самого себя, влюблялся в Аксюту и сам этого не знал. Он ревновал ее ко многим и больше всех к Никифору, и тоже этого не подозревал.

Вместе с тем Борис Щепин не знал и главного — не знал, что, благодаря своим новым, пока еще наивным отношениям с Аксютой, он уже нажил в Никифоре злейшего врага. И теперь «Никишка-головорез» мог служить Сергею Сергеевичу и его ехидной затее еще с большим рвением, чем прежде.

Когда-то Никифора наняли намутить, напутать, разных бед бедовых наделать. Но у этого Никифора не было ненависти ни к князю, ни к Борису. Теперь сын караимки ненавидел обоих молодых людей: Щепина — из-за ревности, из-за того, что Аксюта была тоже неравнодушна к молодому капралу, а князя — за то, что обманулся и ошибся в расчете. Обещая Мрацкому сдружиться с князем и пойти на всякие затеи в Самаре, чтобы осрамить этого князя в глазах Нилочки, он слишком много брал на себя и увидел, что все это были мечты.

Князь Льгов обращался с ним холодно-любезно и не мог скрыть презрения, которое возбуждал в нем Никифор. Дружбы между ними возникнуть не могло, так как общего не было ничего. Льгов изредка относился к Неплюеву ласково, но эта ласковость была похожа на ту, с какою господа относятся иногда к дворовым людям.

Никифор, доносивший подробно обо всем Мрацкому, как о том, что узнавал, так и о собственных действиях, не скрыл от Сергея Сергеевича своей неудачи. Однако Мрацкий все чаще допускал к себе Никифора, подолгу говорил с ним и поучал его, но в этих беседах и совещаниях двух бесспорно самых злых людей в Крутоярске заключалось нечто особенное и замысловатое.

И это нечто было теперь во всем Крутоярске, будто нависло облаком и окутало всех, как туманом. Между всеми главными обитателями больших палат было удивительное и невероятное недоразумение. Про них и про всех можно было сказать, что их «черт веревочкой перевязал!».

Мрацкий, Никифор и Марьяна Игнатьевна интриговали лукаво, злобно, бездушно, но с полным самомнением, с твердым убеждением в успехе, даже с гордостью собственного превосходства пред всеми прочими.

Нилочка, Борис и князь Льгов, явившийся еще два раза в гости, относились к козням пассивно, как бы отбивались поневоле от сетей, которыми их опутывала невидимая рука. Между тем путаница в отношениях всех лиц была полная, так как все они — умышленно или невольно — обманывали друг друга.

Борис, невольно обманывая мать, тоже невольно обманывал и Нилочку, не говоря ей о затеях матери, которые казались ему нелепыми.

Мрацкий, обманывая Марьяну Игнатьевну, обманывал и Неплюева, хотя вместе с тем попался с ним впросак. Он поведал Никифору о своей твердой надежде, что Борис неминуемо влюбится в Аксюту, оскорбит этим девичье чувство Нилочки и сам себя вычеркнет из числа женихов. Для Никифора это сообщение Мрацкого было ударом ножа.

Вместе с тем князь Льгов, с первого дня более близкого знакомства с Нилочкой, стал удаляться от Неплюева, чуждаться его. Когда Никифор, ради отомщения Мрацкому за Аксюту, собрался было искренно и честно помочь князю в его деле, то Льгов обманулся в чувствах Неплюева и отнесся к нему с еще большею холодностью и подозрительностью.

Вместе с тем князь был убежден, что капрал Щепин, которого он немного знал по Петербургу, страстно влюблен в Кошевую и поэтому должен считаться его главным соперником.

Борису искренно хотелось бы всячески помочь князю — отблагодарить его за благодеяние в Петербурге, помочь в его деле женитьбы на Нилочке. А князь почти со злобой взирал на ненавистного капрала и готов был на все, чтобы избавиться от сего серьезного соперника.

Так как у каждого из главных обитателей Крутоярска были и вновь нашлись разные помощники, если не на деле, то, по крайней мере, на словах, то весь дом разделился на несколько лагерей, и всех обитателей опутала такая сеть, в которой они сами не могли бы разобраться. В Кру-

тоярске завязался такой гордиев узел, который не только развязать было невозможно, но который, казалось, и разрубить было бы не под силу.

Прошла еще одна неделя, и огромная сеть, которая опутала всех обитателей Крутоярска, только слегка распуталась с одной стороны.

Борис, уже совершенно влюбленный в Аксюту, снова подстерег ее с Никифором. На этот раз не оставалось никакого сомнения, что Неплюев встретился с девушкой не случайно, что встреча их была назначенным заранее свиданием.

На свою беду Борис только видел, как горячо и страстно объяснялись молодые люди между собой, но не слыхал почти ничего. Он слышал несколько слов, сказанных Никифором, и из них прямо заключил, что «головорез» любит Аксюту. Но ни одного слова из того, что тихо, но холодно отвечала Аксюта, Борис слышать не мог и поэтому не знал, что чувствует она. Он не знал, что Никифор упрекает свою прежнюю возлюбленную в измене, а она грустно, но твердо оправдывается.

Если бы Борис слышал хорошо весь разговор, то он бы, конечно, был вполне счастлив. Теперь же это свидание и беседа молодых людей возбудили в нем только одну томительную ревность.

XVIII

Молодой капрал, проходив целый день скучный и грустный, объявил, что поедет прогуляться в Самару и вместе с тем заедет в гости к князю Льгову, который, побывав в Крутоярске, усиленно звал его к себе.

Князь Льгов, в душе ненавидя соперника, пригласил его к себе в Самару, отчасти из вежливости, отчасти из любопытства. Ему хотелось ближе узнать того человека, которого Нилочка, очевидно, начинает предпочитать ему.

Марьяна Игнатьевна очень обрадовалась этому визиту сына.

— Он, кажется, речист на словах,— наказывала она Борису,— а на деле — малоумный. Попытай его, разузнай все, не копает ли он нам какую яму. Будь умницей. Заставь его все себе разболтать. Узнай главное, куда девался Зверев. Я слышала, его в Самаре нет, а оно очень удивительно.

И в длинной речи Марьяна Игнатьевна научила сына, как действовать в Самаре, как поддеть князя Льгова, чтобы успешнее бороться с ним в случае каких-либо подкопов.

Но вместе с тем перед самым отъездом Бориса Нилочка успела шепнуть другу совершенно иное. Девушка упросила Бориса разузнать, как относится князь Льгов к ней, много ли ее любит или мало, надеется ли вместе с Зверевым на успешную борьбу с Мрацким. Кроме того, Нилочка упросила Бориса пригласить князя в Крутоярск как можно скорей, якобы лично к себе в гости.

Мрацкий, прощаясь с Борисом, тоже, хотя намеками, посоветовал молодому человеку воспользоваться своим посещением князя Льгова. Мрацкий косвенно посоветовал Борису убедить князя бросить свою затею и понять, что единственный серьезный претендент на руку Нилочки он сам — Щепин и что если они явятся соперниками, то он, Мрацкий, пойдет на все в защиту планов Щепиных, матери и сына.

И несколько смущаясь, но и грустно всех слушал Борис и всем обещал все, что от него требовали. Но искренним был капрал только с Нилочкой. Он выехал в Самару, твердо решив сблизиться с Льговым, откровенно объясниться с ним и стать его действительным и верным помощником.

Приехав в город и остановившись в гостинице, Щепин тотчас же отправился с визитом к губернатору, потом к московскому генералу Мансурову, присланному с особыми полномочиями из столицы, а затем к Звереву и князю, которых не нашел дома. Об первом он узнал, что тот уже с неделю как уехал в Петербург по делу.

От губернатора и генерала Щепин узнал невероятные вести. Насколько все услышанное им показалось ему невероятным, настолько же двум властным лицам показалось невероятным неведение дворянина и капрала Щепина.

— Как вы живете? — сказал губернатор.— Ведь до вас, извините, как до глухого, вести доходят.

— Нам, в вотчине, совершенно ничего не известно,— отзывался Щепин, отчасти равнодушно.

— Помилуйте! Весь край в волнении,— говорил генерал.— Того и гляди — у вас начнут крестьяне подыматься и бунтовать! Не удивляюсь, коли не ныне завтра весь ваш Крутоярск схватится за вилы и за дубье. А вы ничего не знаете. Пожар кругом, от дыма задохнешься, а вы вот слушаете меня да глаза раскрываете удивленные.

Но несмотря на то, что губернатор, а равно и генерал красноречиво описали молодому капралу ужасное положение всего края, Бориса мало взволновали их речи. Его гораздо более волновало предстоящее свидание с князем Льговым.

На другой день, когда он снова собирался к Льгову, к подъезду его гостиницы подъехала карета, а через несколько минут в комнату Бориса вошел Льгов.

— Узнав, что вы были вчера у меня, я поспешил отплатить вам тем же,— вымолвил он, входя.

Молодые люди заговорили о всяких пустяках и оба чувствовали, что они настороже, что они странно относятся друг к другу. Князь относился к Щепину подозрительно, а Борис смущался и не знал, чему это приписать.

Вдруг оборвав разговор о волнениях в крае, Борис выговорил решительным голосом:

— А я рад случаю, Николай Николаевич, чтобы снова вспомнить и снова поблагодарить вас за великую услугу в Петербурге.

— Полноте, что вы! Стоит ли это вспоминать! — отозвался князь.

— И очень стоит... И поверьте, я не забыл. Да и никогда не забуду... И поверьте, что если бы мне бог послал когда возможность отплатить вам той же монетой, то я сделаю это, хотя бы даже с опасностью собственной жизни!..

Борис произнес это так восторженно, так искренно, с таким глубоким чувством в лице и в голосе, что князь изумленно и пытливо присмотрелся к нему.

— Да, князь, такие услуги не забываются честными людьми. Если вам понадобится человек верный, к вам сердечно относящийся, не забудьте меня!

Льгов поверил словам, лицу и голосу молодого капрала, но понурился и вздохнул.

— Трудно это, Борис Андреевич! Могли бы вы быть мне добрым помощником, даже благодетелем, но в таком деле, в каком никогда не пожелаете этого... В таком деле, в котором явитесь поневоле не благодетелем моим, а злейшим врагом.

— Я вас не понимаю! — произнес Борис.

— Прекратимте эту беседу. Говорить прямо, откровенно — нам нельзя... Нам двум это невозможно... Менее возможно чем кому-либо...

— Поясните мне что-нибудь, князь! Я совсем ничего не понимаю...

— Я не могу вам ничего пояснить, да и не нужно оно.

— Нет, нужно, князь... очень нужно... У меня есть дело до вас... Просьба!.. У меня есть... не знаю, как сказать... Есть у меня до вас...— начал путать Борис и не знал, как выразиться.— Мне бы надо откровенно побеседовать с вами об одном деле... Передать поручение вам...

— От кого? — удивился князь.

— Из Крутоярска, от одной особы, которая вам хорошо известна... От Неонилы Аркадьевны.

— Поручение?! — воскликнул князь.— Какое же? Не бывать в Крутоярске?

— Нет, совсем напротив. Побывать вскорости и бывать почаще...

Изумленное лицо князя поразило Щепина. Молодые люди посмотрели друг другу в глаза, недоумевая. Они, очевидно, совершенно не понимали один другого.

— И это поручение привезли вы?.. Взялись привезти?..— спросил князь после паузы.

— Да.

— Вы согласились приехать ко мне и пригласить меня в Крутоярск от имени Неонилы Аркадьевны?

— Да! И с особым удовольствием.

— С удовольствием? — повторил князь.— Воля ваша, вы меня извините, но позвольте вам не поверить!

И князь насмешливо, даже презрительно рассмеялся. Лицо его говорило:

«Ты желаешь считать меня за дурака, но собственно ты сам простоват».

— Что же тут удивительного, что я прошу вас побывать в Крутоярске? — сказал Борис.— Это доставит удовольствие Неониле Аркадьевне, которую я очень люблю.

Князь Льгов понявший все по-своему, понявший, что простоватый малый собрался хитрить, но очень неумело, собрался его — князя рядить в дураки, но рядит самого себя,— настолько вдруг рассердился, что выговорил уже резко:

— Прекратимте, пожалуйста, этот разговор!

Поговорив снова о пустяках, молодые люди расстались совершенно странно. Борис ничего не понимал, старался разгадать князя и не мог, а князь, подозревавший молодого капрала в неудачном лукавстве, не мог, однако, не сознаться, что доброе и честное лицо Щепина, его голос, искренний и правдивый,— все противоречит его подозрениям.

— Все-таки,— сказал Борис, прощаясь,— вы мне позволите завтра побывать у вас?

— Очень рад! — сухо отозвался князь.

— Мне непременно нужно... Мне нельзя... Я обещал...— снова начал путать Борис.— Мне нельзя выехать из Самары, не взявши с вас слова приехать в Крутоярск. Мне не хочется так ворочаться... Я не хочу опечалить Нилочку. Ведь это все, князь, дело важное! — выговорил наконец Щепин с искренним чувством.

Льгов посмотрел в лицо капрала и невольно признался самому себе:

«Ничего не понимаю!»

И, помолчав мгновенье, он вымолвил:

— Милости прошу! Поговорим еще, может быть, наконец что-нибудь и поймем, а пока, воля ваша...— и князь рассмеялся,— пока я ничего не понимаю.

XIX

Борис целый день продумал о князе и их странных отношениях.

«Точно будто мы враги,— думалось ему.— А почему?»

Мысль о том, что Льгов ревнует его к Нилочке, считая его соперником, ни разу не пришла ему в голову. Помышлять жениться на Нилочке казалось ему настолько диким и нелепым, что одна лишь мать, ослепленная любовью к нему, могла додуматься, по его мнению, до такой невероятной затеи. Другому же никому и на ум не придет ничего подобного. Следовательно, и князь не может считать его соперником. Да к тому есть еще одна важная помеха, чтоб ему, Щепину, стать поперек дороги Льгову: благодеяние князя, оказанное ему в Петербурге. Из одной благодарности не мог бы он, Борис, мешать теперь своему благодетелю.

И честный Щепин чувствовал, что если б он даже был влюблен в Кошевую, то уступил бы князю девушку-невесту, чтобы отплатить добром за добро.

Князь ничего подобного, с своей стороны, и не мог предполагать, не зная, с каким прямодушным и добрым малым он имеет дело. Вдобавок Льгов и не считал своего петербургского деяния по отношению к Щепину за благодеяние и смотрел на все, как на случайность и на простую услугу дворянина и офицера своему собрату. Это «событие» для Щепина и простое «приключенье» для Льгова

произошло уже давно. Князь забыл и думать о том, что хорошо помнил и ценил сердечный Борис.

Случай этот был самый простой.

Вскоре по прибытии в столицу и поступлении в ряды Семеновского полка, Щепин, явившийся прямо «из-под юбок маменьки» — по выражению Мрацкого, подпал, разумеется, под влияние первого же человека, пожелавшего его себе подчинить.

В полку в это время процветала азартная карточная игра так же, как и во всей гвардии и в обществе. Нового новобранца втянули в игру почти насильно, и он стал посещать сборища офицеров в каком-то притоне, где шла страшная игра и где проигрывались даже вотчины.

Один из офицеров полка, уже пожилой человек, капитан Бровский сделал из Бориса своего адъютанта или наперсника. Щепин сначала незаметно для самого себя, а затем из малодушия, стал слепым орудием Бровского и исполнял все, что капитан ему приказывал, был у товарища в услужении. Как повиновался он матери в Крутоярске, так теперь стал слушаться во всем Бровского, часто желая, но боясь противоречить.

Бровский был одним из записных и самых отчаянных игроков. Он был всегда банкометом и всегда играл счастливо, обыгрывал всех. Щепин и не подозревал по наивности, что состоит в качестве наперсника у сомнительного игрока, подозреваемого в шулерстве.

Однажды давно подозреваемый Бровский попался. Целая компания офицеров устроила шулеру настоящую западню. Ему было доказано, что он играет мошеннически, и с ним распорядились попросту и под спудом, т. е. избили его до бесчувствия. Вместе с Бровским, конечно, попался и Щепин, но во время свалки выбежал в другую горницу и заперся на ключ. Он с отчаянием понял только теперь, у кого был адъютантом, но, конечно, знал, что, в сущности, не повинен и терпит в чужом пиру похмелье.

Расходившаяся толпа, исколотив Бровского, стала ломиться и в двери горницы, где спрятался Щепин, чтобы разделаться с ним тем же способом. Борис отворил окно и решил лучше броситься с третьего этажа на мостовую, нежели быть избитым в качестве шулера. И он знал тогда и помнил хорошо теперь, что решение его было твердо и непоколебимо. Он уже со слезами прочел «Отче наш» и сел на подоконник с намерением прыгать, когда двери уступят под ударами нападавших.

Все окончилось благополучно, благодаря вмешательству одного из самых разумных офицеров компании. Князь Льгов, собравшийся уезжать из игорного притона, когда началась свалка и драка, вышел на улицу и случайно увидел в окне бледную фигуру наперсника Бровского. Он увидел, как тот кружится, то поглядывает вниз, то прислушивается... Князь догадался, в чем дело... За час назад, во время игры, этот юный рядовой показался ему малым симпатичным и наивным прислужником шулера.

Князь вернулся тотчас назад и все уладил, усовестив компанию. Он один вошел в горницу Щепина, отворившего дверь, когда вся компания уже собиралась разъезжаться. Он объяснил Борису, что спас его от побоев с условием, чтобы он прекратил всякие отношения с Бровским.

Щепин охотно обещался, считая, что довольно уже наказан, так как был на волосок от смерти. Однако князь этим уверениям молодого человека, что он решился бы действительно на самоубийство, не поверил.

«В последнюю минуту не хватило бы духу прыгать»,— думал он.

Поэтому все это приключение для князя не имело теперь того же значения, что для Щепина. Один считал, что оказал маленькую услугу — спас от срамных побоев, а другой знал, насколько твердо решился прыгать от этих побоев, и следовательно, считал себя спасенным от неминуемой смерти.

Теперь Борис живо вспомнил все это дикое приключение и снова уверял князя, что обязан ему жизнью. Князь поверил, и отношения их сразу изменились, стали более искренними.

Щепин пробыл в Самаре три дня и настолько сошелся с Льговым, что, простившись с новым другом, выехал обратно в Крутоярск, готовый всячески, не жалея себя, служить Льгову в его деле.

По возвращении Борису пришлось взять на себя новую роль, которой он никогда не играл и которая на первых порах показалась ему крайне трудной. Он должен был лгать и обманывать всех, за исключением Нилочки.

Только ей одной рассказал он всю правду и своим восторженным отношением к князю только разжег страсть Кошевой. Вместе с тем он поклялся Нилочке — так же, как клялся князю в Самаре,— положить за них душу, пожертвовать хоть своей жизнью, но добиться того, чтобы они принадлежали друг другу.

Новая роль лгуна и интригана по отношению к матери и к Мрацкому настолько была не по характеру и не по силам Щепина, что он, конечно, выдал бы себя сразу, если бы и мать, и опекун не были ослеплены собственным самомнением и той меркой, которой мерили Щепина.

Марьяна Игнатьевна ни единого мгновения не допускала мысли, что ее Бориныка может идти против нее, может тайно противодействовать ее планам и вообще не повиноваться ей.

Мрацкий был убежден, что он слишком умен и хитер, чтобы быть обманутым этим Борькой. А главное — Мрацкий был убежден, что Щепин, не имеющий никакого состояния, точно также такими же алчными глазами смотрит на состояние Кошевой, как и он сам со своим Ильей.

Борис должен был объясниться и с матерью, и с опекуном по поводу своего пребывания в Самаре и свиданий с князем, и так как еще не привык лгать, то путался и противоречил себе.

Из его объяснений и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна вывели одно заключение, что Борис, по их наущению, хитрил насколько мог. Он — верный слуга, но большего от него требовать нельзя.

Мрацкий долго ахал и качал головой, узнав от Бориса, что князь приедет в Крутоярск в гости, лично к нему.

«Вот дурак-то! — думалось Мрацкому.— И в этом не сумел ничего придумать, чтобы отделаться от такого гостя!»

Марьяна Игнатьевна немного рассердилась на сына:

— Пойми ты, Бориныка, ведь он тебя одурачил, этот нахал. Ты должен был сказать, что не можешь принимать его в гостях в Крутоярске, так как ты сам здесь, правильно рассуждая, тоже в гостях у своей матери.

Борис смущался, лгал, елико умел, но внутренне смеялся, думая: «Как бы удивились вы, если бы знали, что сам я уговорил князя приехать, невзирая на ваше неудовольствие».

XX

Однако вскоре Борис должен был иметь два неожиданных искренних объяснения с двумя личностями, которых теперь начинал любить одинаково страстно, хотя и разно. Прежде всего ему пришлось покаяться откровенно пред Нилочкой и выдать тайну матери.

Девушка была сначала изумлена, узнав, что заветным желанием Марьяны Игнатьевны был брак ее с Борисом, но затем Нилочке показалось это совершенно естественным, показалось гораздо более простым делом, нежели самому Щепину.

— Знаешь что, Боринька,— сказала Нилочка, подумав,— ведь это было бы очень хорошо. Это очень умно и, конечно, могло бы случиться, приезжай ты только немножко пораньше,— прежде, чем я повидала князя.

— Что ты, бог с тобой! — отмахнулся Борис.— Да ничего более невозможного придумать нельзя! Это матушка из любви ко мне такое придумала... Какой же я тебе муж? Ты — богачка, красавица, а я что ж такое? Нищий дворянин, капрал. И все ж таки надо сказать по правде,— чей я сын? Я сын нянюшки, которая за жалованье в прислуги пошла...

— Как тебе не стыдно так рассуждать! — укоризненно отозвалась Нилочка.— Маяня для меня что мать родная была, и я ее люблю как мать. И только теперь...

Нилочка запнулась.

— Ты хочешь сказать, что теперь меньше любишь ее? — грустно вымолвил Борис.— И ты права... Зачем она, выходив тебя, идет против твоего законного желания. Ты полюбила хорошего человека, лучшего жениха во всей губернии, и он тебя любит. Зачем же матушка идет против этого ради меня? Она должна любить нас ровно, она не должна ни мной жертвовать ради твоего счастия, ни тобой — ради моего. Матушка не хорошо поступает, мешая твоему браку с Льговым, и ты имеешь право меньше любить ее.

— Если, бог даст, все устроится,— решила Нилочка,— выйду я за князя, Маяня утешится, мы заживем счастливо, и я опять буду любить ее по-старому. А все-таки скажу, Боря, приезжай ты раньше, когда еще никто моих мыслей не заполнил, как теперь князь, я бы с удовольствием пошла за тебя.

— Полно, полно! — рассмеялся Борис.— Ты ничего не понимаешь... Разве наша любовь такая, при которой венчаются? Мы ведь брат с сестрой, вместе росли. Разве ты меня любишь так же, как князя? Да и потом, по правде сказать, уж если ты мне все говоришь, то и я тебе все скажу. Приезжай я в Крутоярск раньше, случилось бы то же, что и теперь. А теперь захоти ты идти за меня замуж, я не соглашусь ни за что. Силком повезут в церковь — упираться стану.

— Что ты? — изумилась Нилочка.

— Да, верно. Почему ты не можешь идти за меня замуж, потому и я не могу на тебе жениться. Ты любишь другого человека, ну, а я...

И Борис вдруг смутился, вспыхнул как девушка и замолчал.

— Ты тоже любишь? Кого? Жениться хочешь? — с изумлением спросила Нилочка.

— Да, люблю, но жениться не могу по-многому. Во-первых, я не знаю, любит ли она меня; во-вторых, еще молод я слишком. Да и нельзя мне на ней жениться. Я — дворянин, а она не моего состояния. Матушка померла бы с горя, если бы таковое приключилось... Да, Нилочка, твое дело плохо, а мое еще того хуже! Тебе горестно, а мне и того горше! Твое дело как-нибудь да сладится,— я это чувствую, чую, а мое приключение совсем погибельное. Не знаю, что и делать,— хоть бежать поскорей из Крутоярска! Если б не мое желание помочь князю и тебе, то я бы не остался у вас, как предполагал, а поскорей бы уехал в Петербург от беды.

— Да разве та, которую ты любишь, не в столице, а здесь? — удивилась Нилочка.

— Здесь...— смущенно и едва слышно выговорил Борис.

— Здесь?! В Крутоярске?

— Ну, да... Здесь в Крутоярске.

— Вот...— выговорила Нилочка, разведя руками, и не знала что сказать.— Вот удивительно! Да кто ж это может быть?

Борис молчал, а девушка, подумав несколько мгновений, вымолвила, недоумевая:

— Год продумаешь — и ничего не придумаешь. Кто ж это в Крутоярске мог тебя заставить полюбить себя? Ты мне не скажешь?

— Уволь... Может быть, после скажу, а теперь не могу... Может, это пройдет — я и сам не знаю, как это приключилось. Удивительно! В Петербурге за все время службы я могу сказать, что ни на одну девушку глаз не поднял, не только что полюбить,— хотя и были такие, которые считались даже изрядными невестами, но мне полюбить и на ум не приходило. А тут вдруг сразу как-то поразительно все потрафилось. Будто все завертелось, и меня завертело. И ничего я не разберу, ничего не понимаю, не знаю, что и делать... Знаю только, что жить без нее мне было бы невмоготу! Надо бы скорей бежать сюда,

а я не могу себе и вообразить, как буду жить, не видая ее. Да, Нилочка, беда бедовая!

— Да кто же это? В Крутоярске? Кто же это?..— с изумлением повторяла Нилочка.— Дворовая? Крестьянка? Соседка-барышня, что ли, какая? Этаких ты и не видал ни одной.

— Уволь, говорю тебе... В другой раз скажу.

И после этого откровенного признания другу в своей нежданной страсти Борису показалось, что он еще более увлечен и еще более принадлежит той красавице девушке, с которой видается постоянно, но объясниться не в состоянии.

Аксюта первое время по строжайшему приказанию Анны Павловны Мрацкой постоянно бывала при горницах молодого барина и вместе с Никифором проклинала свою должность,— отчасти потому, что Неплюев ревновал ее, подозревал и мучил, отчасти и потому, что быть среди дворни внизу было свободнее и веселее.

Но теперь все переменилось. Красивый малый, скромный, ласковый, сердечный, понемногу, сам того не зная, вытеснил из сердца Аксюты ее первую привязанность — простую вспышку еще не любившего сердца.

Аксюта вскоре, если не уразумела, то просто почуяла, что Никифор совершенно не такой малый, который бы мог ей нравиться. Он лишь смелым и дерзким ухаживанием заставлял ее думать о себе и воображать, что она любит его.

Никифор,— думалось ей теперь,— известен тем, что уже давно направо и налево влюблялся во всех без числа; человек он лукавый, бессердечный, вспыльчивый и мстительный, презрительно и враждебно относящийся ко всем. Наконец этот же Никифор, если не на деле, то на словах, готовый даже на убийство, был далеко не такой человек, которого бы Аксюта могла любить.

Молодой барин Борис Андреевич, наоборот, был именно таков, какой всегда мерещился Аксюте.

Через неделю после того, как девушка была приставлена служить в горницах молодого барина, она уже рада была своей новой должности. Она уже старалась сама предупредить всякое малейшее желание Щепина, с удовольствием угождала ему и вместе с тем начала избегать Никифора.

В тот день, когда Аксюте показалось, что Борис чудно и непонятно смотрит на нее, как будто и в нем есть что-то

к ней большее, чем простая ласковость,—девушка стала относиться к Никифору почти враждебно. Несколько грубых слов злобной ревности окончательно оттолкнули ее от него.

И Аксюта, начав по целым дням глубоко раздумывать об обоих молодых людях, рассуждала просто:

«Никифор Петрович балуется. Мало ли кого и где уверял он в своей любви, мало ли кого он обманул. Бывали у него зазнобы всего на один месяц, а то и меньше. Со мной дольше тянется, потому что я не поддалась, а то бы и меня давно бросил. А Борис Андреевич, как сказывают Марьяна Игнатьевна, по сю пору ни на одну девушку ни разу не поглядел. Если бы он полюбил кого теперь, так было бы в первый раз и надолго. Случись этакое с ним, он бы меня с собой увез в Петербург... Одно только чудно,— прибавляла Аксюта,— то он ласково так смотрит, что, кажется, сейчас подойдет да обнимет, а то вдруг насупится, точно разгневается, и день целый слова не скажет».

На другой день по возвращении Бориса из Самары влюбленные случайно и неожиданно объяснились.

Придя к себе от матери, Борис нашел Аксюту сидящею около открытого комода, куда она клала белье. Девушка сидела, печально задумавшись.

Он уже видел ее поутру мельком и, проходя мимо нее, грустно, но и пытливо глянул в лицо красивой девушки. Взгляд его красноречиво говорил:

«Когда же мы объяснимся и уразумеем, что между нами?»

Аксюта поняла этот взгляд, потупилась смущенно и все утро затем сама себе удивлялась. Почему смелый Никифор, преследуя ее когда-то, ни разу не смутил ее своими дерзкими выходками? Он ловил ее в доме, подстерегал в отдаленных горницах или в саду и обнимал, целовал... И девушка оставалась спокойной, не робела и не боялась этих встреч. Теперь же скромный и кроткий Борис смущал ее одним своим появлением, одним взглядом. Каждый раз, что они оставались наедине, сердце Аксюты шибко билось, будто ожидая какой беды... беды, желаемой всем сердцем.

«Что же мне-то делать? — говорила она сама себе.— Не пойму я вас, дорогой мой»,— мысленно обращалась она к Щепину.

Придя убрать горницу Бориса и уложить в комод принесенное ею белье, она под наплывом горьких дум

забылась, села и глубоко задумалась, так что не слыхала, ни как он вошел, ни как очутился около нее.

Борис стал за ней и, смущаясь, не знал, что сделать, даже что сказать... Вывести ли ее из забытья или оставить так и любоваться ею хоть час, хоть день...

Он смотрел на милый профиль девушки, смуглое лицо с нежным румянцем, на ее гладко причесанную черную как смоль головку, на толстую косу, лежавшую на спине с вплетенной в нее красной тесьмой. Недавно сшитый сарафан, подаренный Аксюте барыней Анной Павловной, новый, ловко сидящий на ее полных плечах и груди, удивительно красил и без того красивую девушку.

Грустно задумчивое выражение лица, какая-то беспомощность в позе, а в особенности полное забытье, в котором находилась Аксюта, как бы отрешившаяся от всего мира божьего,— подействовали на молодого Щепина странно и для него самого удивительно и непонятно... Он стоял, не шелохнувшись, а сердце все сильнее стучало в груди. И будто кто-то сначала тихо, робко, а затем решительно, а затем и грозно понукал его...

«Ну же! Что же ты! Сейчас же!» — повелительно шептал чей-то голос.

И Борис с ужасом сознавал, чего от него требуют... Ему приказывают нагнуться, страстно обнять Аксюту, прижать к себе и, ничего не говоря ей, одними жаркими поцелуями объяснить ей все...

И почти не отдавая себе отчета, что он делает, Борис нагнулся и обнял Аксюту. Девушка вскрикнула и вскочила, как разбуженная, но не рванулась, а напротив, крепко обвила его шею руками и сама первая прильнула к нему с поцелуями. И не скоро заговорили оба... Да и не о чем было говорить. Сразу оба узнали и поняли все, в чем сомневались.

— Так ты тоже меня любишь? Не Никифора? — прошептал наконец Борис.

— Никогда это не было,— отозвалась Аксюта.— Думалось... но как увидела вас...

И она не кончила; глаза ее, устремленные на Бориса, досказали ему тайну ее сердца.

Вечером Аксюта снова тайком явилась к Борису.

— Ваша я... ваша...— сказала она.— Приказывайте! На все пойду... Сейчас помереть за вас готова...

XXI

Никифор, убедившись, что Аксюта изменила ему, любима Борисом Щепиным и влюблена в него, был вне себя. Он не страдал, а был озлоблен. Не глубокое искреннее чувство, обманувшееся в своих ожиданиях, заставляло его теперь терзаться,— в нем говорило одно оскорбленное самолюбие.

С тех пор что Никифор ухаживал, постоянно изменяя и переходя от одной привязанности к другой, ни разу не случалось ему потерпеть неудачу или быть покинутым. Он успевал всегда и всегда первый бросал предмет своей страсти, чтобы перейти к другому.

Теперь случилось совершенно обратное. Более полугода ухаживал он за красивой Аксютой. Его настойчивое преследование девушки привело лишь к тому, что она стала относиться к нему несколько ласковее и, заставив его думать, сама думала, что любит его. В действительности же чувства не было никакого.

Появление Бориса и его первое сердечное слово заставили Аксюту перестать считать Никифора своим возлюбленным и всем сердцем отдаться глупому, но прямодушному Борису Щепину.

Никифор не скрывал сам от себя, что он собирался позабавиться ею как игрушкой и бросить ее, если не через несколько месяцев, то через год,— а Борис, конечно, полюбил искренно и сильно. А что из этого выйдет? Конечно, то же самое... В конце концов разойдутся. Он уедет в столицу, а она останется... Нет! Кончится хуже, потому что он вмешается!

Эта первая неудача в любви повлияла на Никифора еще сильнее, чем он мог ожидать. Он поклялся теперь себе самому уничтожить Щепина, стереть с лица земли. Конечно, жажда мести не останавливалась и перед мыслью об убийстве. Эта мысль ни на минуту не испугала Никифора, и вопрос, которым он задался, был о средствах совершения его.

«Надобно его убить! — думал Никифор.— Надобно, чтобы его другие убили, а я бы остался в стороне. Тогда и ответа нет. Да и Аксюта не будет иметь причины меня возненавидеть. Надобно, чтобы Сережа Мрацкий и Марьяна Щепина сами убили его... Приказали бы убить! Но как это сделать? А вот в этом все и дело. Докажи себе, что умен уродился, и придумай!»

И несколько дней подряд Никифор сидел безвыходно в своей горнице или лежал на кровати и переворачивал в голове все один и тот же вопрос, делал сотни планов,— от самых простых до самых хитрых,— но не решался ни на что.

Петр Иванович Жданов, ездивший постоянно на охоту за зайцами по первой пороше, простудился, засел дома и от тоски стал чаще навещать побочного сына ради того, чтобы поболтать. Часто Никифор запирался, прикидываясь спящим, но изредка поневоле должен был впускать отца.

Беседы обоих, конечно, шли всегда все об одном и том же — о крутоярских делах, о Нилочке и о том, что если придется покидать место опекуна, то деваться некуда и жить нечем.

— И как это ты не сумел в дружбу с князем войти! — сотый раз сказал однажды Жданов, придя к сыну ввечеру.

Петр Иванович охрип, сидел с повязанным горлом, с припаркой из мыла и меду, ноги были в валенках, а на икрах были горчичники. Вид у него был самый унылый, кислый.

— Как это ты — малый умный, а простого дела сделать не можешь? — продолжал ныть Жданов, слезливо глядя на сына.

— Ах, батюшка! — нетерпеливо отозвался Никифор.— Когда же вы перестанете? Только один у вас этот разговор и есть.

— Да, глупый, ты пойми, ведь от этого наша жизнь — моя и твоя — в зависимости! Выйдет замуж Кошевая за Илью или за кого другого, нас выкинут отсюда, как щенят выкидывают. А выйди она за князя Льгова при нашей помощи, мы навеки тут останемся. Он человек добрый, сердечный. Я ничего не могу. А ты будто не хочешь, не стараешься.

— Как же я буду стараться? — нетерпеливо воскликнул Никифор.— Ну, коли вы хитры, придумайте... Научите! Вы, знай, повторяете одно: да сдружись, да повенчай их! А вы вот скажите, как...

— Да, что же... Просто бы выкрали Неонилу Аркадьевну да и повенчали. Он бы выкрадывал, ты бы помогал, повенчал бы его в церкви — и конец! Что ж тогда Сергей Сергеевич поделает? Не развенчивать же! Очень просто!..

— Просто! Просто! У вас все просто! — выговорил недовольным голосом Никифор.— Зубами луну достать тоже просто: потянуться да и цапнуть ее за хвост. Очень просто!

Но говоря это, Никифор вдруг слегка изменился в лице. Мысль, блеснувшая в его голове, сразу заставила его сморщить брови, поджать губы и пытливо устремить красиво злые глаза на отца.

Петр Иванович, знавший сына хорошо, сразу увидел, что Никифор поражен тем советом, который он дал ему. И дал он как-то вдруг, зря... С языка сорвалось прежде, чем в голове рассудилось.

— Что же, Никиша, разве я вздор сказываю? — вдруг ухватился Жданов за свою собственную мысль и приободрился.— Ей-богу бы, так! Научи ты князя похищать Неонилу Аркадьевну и вызовись помогать. Будешь его главным помощником, он тебя озолотит... Чего проще!

— Пустое все! — выговорил Никифор, но при этом слегка задумался и на все, что говорил Жданов, на все его вопросы не отвечал ни слова.

Петр Иванович, заметив, что сын усиленно обдумывает что-то, замолчал и стал ждать.

Прошло около получаса, и наконец Жданов спросил:

— Что ж, Никиша, ладно я сказываю? Надумал что?

— Все пустое! — отозвался Никифор, но при этом усмехнулся, и веселое выражение промелькнуло на его лице.

— Вот и врешь! По лицу вижу, что хитришь. Стыдно тебе от родного отца таиться! Я ж тебе доброе дело посоветовал, сказал, что сделать, а ты лучше меня сумеешь придумать, как все произвести. И таиться от меня — не след тебе, потому что я тоже малость помогу.

— Подумаю! — отозвался Никифор.— Надо порассудить... Коли покажется мне дело это возможным, я от вас таиться не стану... Зачем? Вы не пойдете разбалтывать.

Несмотря на желания Жданова обсудить тотчас же, как исполнить предложенный им план, Никифор отказался рассуждать об этом наотрез и стал говорить о пустяках.

Когда Петр Иванович ушел от сына, чтобы переменить припарки и снять горчичники, которые здорово нарвали ему икры во время беседы, Никифор, оставшись один, быстро зашагал по своей маленькой комнатке.

— Ай да батька! — говорил он вслух.— Нет, каков батька-то! И вот бывает дурак-то умнее умных... Каково придумал? Не придумал, а меня придумать заставил! Да, самое лучшее дело. Пускай они будут выкрадывать Нилочку, а уж что не выкрадут, за это я отвечаю. Я все подготовлю, все устрою, а Сережка и Марьяшка все расстроят. А мое-то дело устроят все-таки. А я буду в стороне, только в придачу еще денег наживу от Мрацкого. Нет,

каков мой-то родитель! Как бывает на свете: глупые люди по совершенной глупости умные вещи выдумывают!

И весь вечер и часть ночи Никифор обдумывал план, мысль о котором подал ему отец. Все яснее представлялось ему, как он будет действовать и что должно неминуемо произойти из хитрой затеи.

На другой день, около полудня, Никифор уже был на половине Мрацкого и велел доложить о себе. Старик лакей Герасим заявил, что барин плохо почивал ночь, только что поднялся и вряд ли допустит к себе молодого барина.

— Ладно, ты все-таки доложи. Скажи, у Никифора Петровича дело есть самое спешное. Небось меня примет.

И Никифор не ошибся. Чрез минуту принятый Мрацким, он уже сидел против него и объяснял, что имеет крайне важное дело.

С той первой беседы между Мрацким и Никифором, когда ехидный опекун нанял головореза служить себе и дал ему мешочек с сотней целковых, много раз виделись и говорили они. И теперь отношения старого опекуна и молодого малого были совершенно иные, в их беседах слышалось равенство.

Никифор посмелел по отношению к Мрацкому, выражался прямее и резче, ничего не скрывая из своих убеждений. Опекун, найдя в молодом человеке настоящего «сибирного», не боящегося ни бога, ни черта, был не только доволен, что приобрел такого слугу, но даже начал находить удовольствие в беседах с ним.

В настоящих обстоятельствах Мрацкому именно нужен такой малый, через которого он мог бы добиться своей затаенной цели. Разумеется, Мрацкий думал и был убежден, что в этой затее Никифор сложит голову, а он сам сумеет остаться в стороне и пожать плоды подвигов «разбойного» малого.

Удивительнее всего было то, что опекун, узнав Никифора ближе, нисколько не презирал его, не боялся и не ужасался тем, что нашел в нем.

«Молодец малый! — думалось Мрацкому.— Вот кабы мой Илья такой был! Мы бы тогда не только женились на Кошевой, а и всякие бы дела творили. Разжились бы и в знатные люди вышли. Молодец малый! И подумаешь, что уродился от этакого остолопа, как Жданов. Впрочем, верно-то это известно одной караимке...»

XXII

— Ну, в чем же твое важное дело? Повествуй! — выговорил Мрацкий, когда Никифор сел перед ним.

— Новое дело и дело спешное! Только прошу вас, Сергей Сергеевич, сразу никакого мне ответа не давать, потому что ответ ваш будет неправильный. А вы подумайте денек, два, три, рассудите и обсудите все и тогда ответствуйте. Вам известно, что я, несмотря на все мои старания, не мог с князем сдружиться, не мог и с Щепиным. Оба они меня чуждаются, да и оба — такие кислые твари, что где им кутить! Стало быть, дело наше проигранное... И вот я придумал, как вывернуться из обстоятельств. Буду вам прямо сказывать! Надобно нам устроить, чтобы князь Льгов Неонилу Аркадьевну выкрал, чтобы тайно с ней венчаться. А я за все дело берусь.

Мрацкий выпучил глаза и разинул рот, но затем, тотчас же догадавшись, вымолвил:

— Верно, ты хочешь сказать, что будет князь похищать Нилочку, не похитит и не обвенчается?

Никифор рассмеялся.

— На это вам, умному человеку, и отвечать мне не подобает...

— Ну, то-то! Стало быть, что же ты хочешь? Князь явится похитителем, ты будешь ему помогать. А там что же? Кто же мешать будет?

— Вы же...

— Самолично и собственноручно?

И Мрацкий рассмеялся презрительно.

— Зачем, Сергей Сергеевич! Я же не дурак! Вы будете в этих горницах сидеть, но будете знать, в какие часы и где крадут Нилочку Аркадьевну. Другие люди мешать будут, которых я же достану, а вы только указ дадите им.

— Какой?

— Мешать...

— Да как мешать, дурак?

— Вестимо, бить воров и ловить.

— И только того?

— Нет-с... В самую эту свалку князя из ружья и положат на месте.

— Кто же?

Никифор рассмеялся.

— Неведомый человек, Сергей Сергеевич.

— Нет. Дело страшное! — выговорил Мрацкий, подумав.— С губернатором потом не развяжешься... Это ты глупо выдумал.

— Нет, Сергей Сергеевич, вовсе не глупо... Вы за себя боитесь. Так поймите: вы дадите приказ остановить до время Неонилу Аркадьевну, поймать похитителей и в случае сопротивления малость поучить их. И больше ничего. А на это у вас свидетели будут,— можно их, сколько хотите, набрать. При них можете приказание отдать. А откуда явится ружье и кто князька на месте положит, будет только для всеобщего удивления и аханья. И кто он такой, и как затесался, и как все приключилось — будет вовсе непонятно никому. Если бы даже что потом и раскрылось, паче чаяния, то все-таки вы в стороне, а пропадет другой человек.

— Пропадет!..— проворчал Мрацкий.— Кабы он пропал тут же, сквозь землю провалился! А ведь его возьмут, пытать будут, судить. Он тут и скажет: «Это, мол, было уговорено у нас с Сергей Сергеевичем, а теперь я попался, а он отпирается».

— Какая же ему выгода-то выдавать вас?

— А черт тебя знает! Ты, малый,— и Варрава, и Иуда вместе.

— Так не хотите вы на это идти? — спросил Никифор решительным голосом.

И Мрацкому показалось, что если он ответит отрицательно, то у этого головореза как будто есть уже какой-то другой готовый план, совершенно противоположный и для Мрацкого, конечно, невыгодный.

— Если я не соглашусь на это дело, то ты все-таки похищение устроишь, только уже действительное. Так ли?

Никифор не ответил, а пожал плечами.

Мрацкий потупился и задумался. Он был поражен тем, что ему ни разу не пришло на ум, откуда грозила опасность его планам. Он не мог понять, каким образом ни разу не додумался до этого, до чего уже, может быть, додумался не только Никифор, но и сам князь.

— Какая путаница! — выговорил Мрацкий вслух.— Какая у нас в Крутоярске путаница! Какие чудеса в решете! Сам черт ничего не разберет! Все мы перепутались! Видел я все здесь насквозь, а теперь у меня в глазах рябить начало. Смеялся над Марьяной Игнатьевной, что она курам во щи угодит, а теперь начинаю думать, что как бы и меня не обошли и не нарядили в дураки. Слушай-ка,

Никифор, отвечай ты по сущей по правде: князь собирается красть Нилочку? Ему это первому на ум пришло?

— Нет,— кратко отозвался Никифор.

— Ты лжешь!

— Нет, не лгу. Я это надумал — и надумал на два образца.

— Или в мою пользу, или в его пользу? Или князь будет украдывать, да не украдет,— или же сворует и обвенчается.

— Может быть! — отозвался Никифор.

— Не отвечай так! Глупый ответ!

— А как же мне умнее ответить?

Наступило новое молчание.

Мрацкий задумался и в несколько мгновений сообразил все вполне. Он убедился в том, что ему надо решаться. Он был уверен, что дело о похищении Кошевой уже затеяно князем и при помощи Никифора может удасться. И тогда все пропало. Если же он даст денег Никифору,— и очевидно, в этом не дело,— то похититель будет убит собственным же своим помощником, а он, Мрацкий, в стороне.

— Ладно, я согласен! — выговорил он вдруг. И, как бы решившись на отчаянный шаг и взволновавшись, Мрацкий встал и начал медленно ходить по гостиной.

— Вы не смущайтесь, Сергей Сергеевич! Вы, стало быть, все-таки не совсем в меня веруете. Сто раз вам говорю — ничего худого не будет! Князька ухлопают на месте, а кто ухлопал и как, каким чудом совершилось это,— никогда никто не узнает. Люди ваши будут клясться и божиться, что сами не знают, как потрафилось!..

— Ладно, что ж делать! Другого выхода нет! Сколько же тебе денег дать? Небось заломишь?

— Зачем... Дайте сто рублей! Довольно будет.

— На что собственно?

— А ехать в Самару, вертеться около князя и подговаривать на похищение. Да и насчет свадебных приготовлений тоже. Взаймы ему дам. У него ведь тоже денег-то — грош.

— Ну, ладно! Зайди в сумерки, а я еще подумаю.

— Зачем в сумерки? Думайте хоть три дня, все равно, только решайтесь твердо! Помните: начнем мы ладить воровство крутоярской царевны, а вы побоитесь мешать. Что же из этого выйдет? Мы ее и украдем...

Никифор вышел бодрый и довольный прошел в свою горницу, но, посидев немного у себя, вдруг поднялся

с решимостью в лице и отправился чрез парадные комнаты к Щепиной. Горничная девушка доложила о нем главной мамушке.

— Что ему нужно, двухголовому? — отозвалась Щепина.— Поди спроси, какое такое дело у него до меня?

— Никифор заявил, что у него есть неотложное дело.

Марьяна Игнатьевна впустила к себе молодого малого, которого не любила и презирала. Увидя неприязненное лицо Щепиной, Никифор стал сумрачнее и сделал вид, что сам неприязненно относится к Щепиной и является как бы поневоле.

— Дело у меня есть до вас, Марьяна Игнатьевна,— холодно заговорил он садясь.— Я не имею чести быть у вас в любимцах! За что вы меня невзлюбили — бог весть. Да это ваше дело и мне не любопытно. Я и без вашей дружбы проживу на свете. Пришел я к вам в кратких словах пояснить кое-что. Вы бы желали, чтобы Борис Андреевич сочетался браком с Неонилой Аркадьевной...

— Что ты врешь! Как ты смеешь этакое врать! — воскликнула Марьяна Игнатьевна.

— Виноват! Так и положим, что я вру. Но позвольте у вас спросить, будет ли вам приятно, если вдруг Неонилу Аркадьевну выкрадет кто-нибудь и женится на ней. А вы узнаете это тогда, когда вам останется только поздравлять новобрачных.

Щепина так же, как и Мрацкий, была поражена этими несколькими словами. И ей точно так же никогда, ни единого раза не приходила на ум возможность такого события в Крутоярске; а между тем она была даже удивлена простотой и удобоисполнимостью того, что ей вдруг объявили.

«Украдет и женится князь, а узнается все поздно, когда уже будут поздравлять»,— подумала она.

И Марьяна Игнатьевна была настолько поражена, что долго сидела, вытаращив глаза на Никифора; молодой же человек с покойным лицом молчал и ждал.

— Что ты врешь? — глухо выговорила Щепина.

Никифор пожал плечами.

— Какой же это разговор, Марьяна Игнатьевна? Я буду говорить, а вы будете отвечать: врешь да врешь! Ну, положим, что вру, и тогда поясните, зачем я вру. На что оно мне нужно? То-то вот... Я вас предупредить пришел, не из любви к вам — лгать не стану, а по совсем особым причинам, для меня выгодным. Вот и скажите мне. Когда станут выкрадывать Неонилу Аркадьевну, а она охотно

пойдет на это, вас обманывая,— желаете вы быть в неведении того, что творится у вас под носом, или желаете знать, когда это будет?

Щепина молчала и как бы постепенно приходила в себя.

— Вам, конечно, приятнее будет все знать, чтобы помешать Неониле Аркадьевне всяческими средствами. Ну, вот и есть человек, который вас вовремя предупредит, что, мол, держите ухо востро, начинается!

— Совсем, право, не знаю! Ничего не понимаю! — нерешительно выговорила женщина.

— Но вот в чем дело, Марьяна Игнатьевна,— продолжал Неплюев серьезным деловым голосом.— Это все присказка, а сказка-то впереди. Я приду, вас вперед уведомлю, когда будут выкрадывать нашу царевну, вперед скажу, как все будет подстроено, но вы должны с своей стороны, если своего счастия желаете, всячески Неониле Аркадьевне помогать, ничему не препятствовать, сборы ее облегчать и даже своего Бориса Андреевича приставить, чтобы он ей помог.

— Что ты, ошалел, что ли? Или балуешься? — воскликнула Щепина.

— Нет, Марьяна Игнатьевна! Выслушайте!

И Никифор толково рассказал Щепиной, что князь решился похитить Нилочку, которая на это согласна, а что она мешать похищению не должна, так как все кончится не венчанием, а смертоубийством. Князь Льгов при этом похищении будет убит и самого главного жениха у Неонилы Аркадьевны судьба отнимет. Останутся Илья Мрацкий и ее сын — Борис.

Щепина сидела, как бы оглушенная всем, что сказал Никифор, и, наконец понемножку придя в себя, заговорила:

— На мой толк, все это не так. Ты больно о себе большого мнения, всех за дураков почитаешь и меня в дуры произвел! Помогай я Нилочке бежать для того, чтобы она с князем обвенчалась! Уж больно ты простоват, Никифор, коли думаешь, что я такая дура.

— Совершенно верно, Марьяна Игнатьевна, оно бы так и могло быть. Вы — единственный человек, который может все дело испортить, просто двери запереть и не выпустить Неонилу Аркадьевну. А нужно, чтобы вы были в согласии, чтобы вы помогли и ничему не препятствовали. Но так как вы полагаете, что я вас обманываю якобы какой наемник князя, то я на это вам и отвечаю: приставьте к Неониле Аркадьевне помощника, Бориса

Андреевича. Что же, по-вашему, он допустит венчание? Можете ему строжайший приказ дать, что если я вас обманываю, чтобы он не допускал обмана. Я вам повторяю, что как только Неонила Аркадьевна с князем встретится, так сейчас же тот на месте и останется, а она с Борисом Андреевичем вернется в дом. Ну-с, вот и все! Подумайте и ответ мне дайте. Ответ ваш я желаю простой: предупреждать мне вас, когда будет назначен час и день для этого воровства, или не предупреждать? Подумайте хорошенько! Мы и без вас можем обойтись, но лучше, если вы нам поможете.

— Да кто «мы»? Ведь это ты для Ильи Мрацкого все вымыслил?

— Марьяна Игнатьевна, то не мое дело! Мое дело — князя похерить, а затем останутся Илья да ваш Борис, а там уже ваше дело будет. Захотите вы меня в помощники сызнова взять, тогда и я свое слово скажу. Не захотите — возжайтесь сами с Сергеем Сергеевичем, кто кого обделает. Вот и все, Марьяна Игнатьевна. А через денька два я приду к вам за ответом, полагаться ли на вас или нет,—будете вы мешать Неониле Аркадьевне в срочный час или помогать.

Никифор поднялся и хотел уходить, но женщина остановила его:

— Стой... Мне нечего думать... Я лучше по-твоему буду поступать, а то вы с Сергеем Сергеевичем меня еще хуже проведете. Я мешать не буду Нилочке, но Бориньку к ней приставлю и прикажу якобы помогать докуда можно... До храма... Но не дальше... Венчаться он не даст.

— Больше ничего от вас мне и не нужно...— ответил Никифор улыбаясь.

XXIII

«Как по маслу! — думал Неплюев, вернувшись к себе.— А князь и Нилочка даже еще и не знают ничего».

Разумеется, Никифор тотчас же прежде всего решил переговорить скорее с самой крутоярской царевной. Это было очень просто и в то же время очень трудно. Никифор часто бывал у молодой девушки в гостях. Она любила говорить с ним, так как молодой малый забавлял ее всякого рода рассказами и часто смешил. Но эти разговоры происходили всегда в присутствии Марьяны Игнатьевны.

Повидаться и переговорить с Нилочкой наедине — было мудрено.

Отправившись к царевне, Никифор должен был просидеть около часу, болтая про все, что только приходило ему в голову, и, наконец воспользовавшись мгновеньем, когда Марьяна Игнатьевна отошла в другой угол горницы, он тихо произнес:

— Неонила Аркадьевна! надо нам побеседовать... Важное дело... о князе... Освободитесь от нее завтра да пришлите за мной.

Тому назад несколько месяцев Нилочка была бы крайне удивлена подобным предложением,— оно показалось бы ей странной, неприличной выходкой со стороны Неплюева. Но теперь времена переменились. С тех пор что она полюбила князя, она окружена если не врагами, то неприязненно настроенными людьми. Чтобы победить, надо действовать самой.

Девушка ничего не успела ответить и только кивнула головой, но на другой день около полудня горничная явилась просить Неплюева к барышне.

Явившись, Никифор нашел девушку одну. Марьяна Игнатьевна отправилась к сыну в горницу, вызванная им под каким-то пустым предлогом. Разумеется, Борис, по уговору с Нилочкой, освободил ее от матери.

Никифор прямо и резко спросил у девушки, желает ли она выходить замуж за князя Льгова, и если окончательно решила это, то что она намерена делать.

Нилочка отвечала тоже прямо и искренно, что с ее стороны это дело решенное, но что она пока не знает, как все обойдется.

— Вам, конечно, известно, Неонила Аркадьевна, что весь Крутоярск против этого, от опекунов ваших и Марьяны Игнатьевны до последнего дворового, который, ради боязни Мрацких, не станет вам помогать. Возьмите меня к себе в помощники — и все дело обойдется счастливо. А я расскажу вам то, что вам неизвестно, что замышляется против вас.

И Никифор нарисовал целую картину насильственного брака девушки с Ильей Мрацким, который замышляет его отец. И он стал доказывать девушке, что ей единственное спасение — решиться бежать с князем и тайно обвенчаться.

Никифор был уверен, что девушка испугается такого плана, но, к его удивлению, Кошевая ответила просто:

— Я готова, когда угодно. Но пойдет ли на это князь? Согласится ли он?

— За него я вам отвечаю! — твердо солгал Никифор.— Ему нужно только ваше согласие, а сам он готов. Позвольте мне передать ему от вашего имени, что вы согласны,— и все будет кончено. Если князь сам не возьмется за все, то я берусь. Завтра я поеду в Самару, а послезавтра привезу уже вам ответ. А через неделю вы будете уже княгиней Льговой. Только обещайте мне одно: в назначенный день не испугаться и не идти на попятный двор.

— Никогда! — вскрикнула Нилочка, и лицо ее оживилось.— Вы, стало быть, меня не знаете.

Никифор помолчал и с удивлением присмотрелся к девушке.

— Думал, что знаю, Неонила Аркадьевна, а вижу теперь, что ошибался. Тем лучше, если вы такая смелая.

Когда Никифор поднялся, стал прощаться, девушка выговорила взволнованным голосом:

— Если все это удастся, если князь пойдет на это и все кончится благополучно, то я буду у вас в долгу, Никифор Петрович! Потребуйте у меня тогда — что хотите! За то, чтобы быть женой князя, я готова отдать целую вотчину. В этом я вам божусь перед богом!

И девушка сама не знала, какое громадное значение получили эти слова в глазах Никифора. Он настолько хорошо знал Нилочку, что не мог ей не верить. А между тем такое обещание изменяло всю его затею сразу. Он смутился и задал себе вопрос: что же делать?

От Мрацкого он мог получить какую-нибудь тысячу рублей в награду, да и это было сомнительно. А Нилочка не была способна обмануть. Остается узнать только, захочет ли князь, сделавшись ее мужем, быть столь же щедрым. Вот что следовало только выяснить.

В тот же вечер Неплюев выехал в Самару, а на другой день был уже у князя с визитом и был им принят точно так же, как и прежде: вежливо, но холодно.

Разумеется, Никифор не тотчас и не прямо сплеча предложил ему свой план похищения Нилочки.

На его прозрачные намеки об этом князь отвечал гордо, а затем начал отшучиваться, явно показывая, что не желает в такого рода переговоры входить с таким человеком, как Неплюев.

— Зачем я буду затевать такое дело,— сказал наконец князь,— когда через месяц, а может быть и скорее, все может произойти гораздо проще. Г-н Зверев в Петербурге

и должен представиться графу Разумовскому, и когда вернется сюда, то отправится в Крутоярск моим сватом с письмом от гетмана.

Никифор, конечно, был не только удивлен, но даже поражен известием, что Зверев хлопочет в Петербурге. Весь его план должен был сразу рухнуть. Но в одну минуту он сообразил все и взялся за дело иначе, сам удивляясь своей дерзости.

— Очень верю, князь, что г-н Зверев успеет в своих хлопотах. Но будет поздно. Если пошло на правду, то я должен вам признаться во всем. Меня послала к вам сама Неонила Аркадьевна сказать вам, что надо спешить. Она прямо приказала спросить у вас, готовы ли вы выкрасть ее из Крутоярска и тайно венчаться?

— Сама Неонила Аркадьевна?! — изумился князь.

— Да-с.

— Вас послала ко мне спросить об этом?

— Да-с, так точно. А причина этому очень простая: не пройдет недели, Неонила Аркадьевна может сделаться женой Ильи Мрацкого...

— Каким образом?! — вскрикнул князь.

— Этого я вам передать не могу... Как это совершится — не знаю. Сергей Сергеевич Мрацкий — самый хитрый и дерзкий человек, какие когда-либо на свете рождались. Неониле Аркадьевне хорошо известно, что Мрацкий затевает что-то для нее погибельное и что ей невозможно будет спастись от этого. Может быть, потом и опекуна, и его сына будут судить. Да что ж толку-то? Сама Неонила Аркадьевна говорит, что когда она уже станет женой Ильи, так что же ей судиться? Надо будет судьбе покориться. Поэтому она и просит вас спасти ее от Мрацких.

— Это совершенно иное дело! — взволнованно выговорил князь.— Но что ж они могут придумать, Мрацкие? Ведь нельзя же насильно венчать.

— Не могу вам на это отвечать ничего. Что это все они затевают — я знаю верно, но как они исполнят затею — не знаю. Мрацкий — такой изувер, что на все пойдет. Итак, князь, что же мне отвечать Неониле Аркадьевне?

— Понятно, что я на все готов. Но ведь я не могу видеться с ней. Кто же поможет нам?

— Я, князь. И берусь за все. Головой отвечаю, что все кончится благополучно, что мы надуем, перехитрим Мрацких. Но главное — спешить надо. Скажите мне только

одно: когда вы будете мужем Неонилы Аркадьевны, согласитесь ли вы щедро наградить меня за мою услугу?

— Да, но как я могу наградить вас?

— Вы можете подарить мне одну из вотчин Неонилы Аркадьевны.

— Конечно, с ее согласия,— отозвался князь, но улыбнулся так странно, что Никифор почему-то подумал:

«Обманет!»

Никифору показалось, что его предложение было для князя даже забавным. Он в одно мгновение убедился, что этот человек, когда женится на Кошевой, не даст ему ни рубля.

И Никифор ошибся. Не от этого улыбнулся князь. Услыхав об этой уплате за услугу, князь заподозрил все. Ему пришло на ум, что Никифор хитрит и лжет, что Мрацкие ничего не затевают против Нилочки, а что безродный приемыш Жданова желает просто устроить похищение и самокрутку князя, чтобы поживиться за счет состояния Кошевой.

— Да точно ли вас послала ко мне Неонила Аркадьевна? — выговорил он холодно.

— Не знаю, почему вы не хотите мне верить? — обидчиво отозвался Никифор.

— Ну, положим. Но не ошибается ли Неонила Аркадьевна? Затевают ли что Мрацкие? Может быть, у них и на уме ничего нет?

Никифор подумал мгновение и ответил вопросом:

— Стало быть, вы не согласны ни на что? Вы меня заподозрили? Это неудивительно. Но надеюсь, князь, что вы поверите, если услышите от самих Мрацких, что они затевают?

— Да, тогда бы я поневоле...

— Согласны ли вы явиться в Крутоярск тайком к вечеру, пройти в сад, пролезть по сугробам и влезть по лестнице в окно вышиною всего аршина четыре? — выговорил Никифор, усмехаясь.

— Я вас не понимаю! — отозвался Льгов.

Никифор повторил то же самое и прибавил:

— Вы тайком проберетесь и будете спрятаны у меня в горницах. И у меня же Сергей Сергеевич будет беседовать о своих ухищрениях, и вы все услышите чрез дверь. Тогда вы поверите, что спешить надо. Согласны ли вы?

— Конечно! — воскликнул князь.

— Извольте в таком случае через два дня к вечеру приехать на село и прислать за мной. Все остальное — мое дело.

Князь согласился тотчас, поблагодарил Никифора и прибавил, смущаясь:

— Признаюсь, я ошибался... Я совершенно иначе судил вас... Извините меня! теперь я вам верю. Если же вы помышляете не о счастии чужих вам людей, а о своих выгодах, то ведь это совсем понятно. Все мы так же действуем. Своя рубашка к телу ближе.

— Верно-с... А коему человеку чужие рубашки будут к телу ближе, тот непременно кончит в жизни тем, что очутится голый...— пошутил Неплюев.

Чрез час молодой человек был уже в пути и размышлял раздражительно: «Это ведь путано-перепутано... Легче бы в самую мудреную картежную игру играть... Ну, вдруг Зверев в Питере все обделает! Не лучше ли мне и впрямь их повенчать, договорившись о вознаграждении? А Борька?! Останется без отплаты. После его, что ли, убрать со своей дороги. Поздно будет! Ах, Аксюта! Все мои дела перепутала».

И наконец Неплюев решил бесповоротно:

— Прежде за себя постой! Не давай себя в обиду. А там после думай о разживе.

XXIV

Мрацкий, разумеется, тотчас же согласился на лицедейство в горнице Никифора, прийти и исповедаться в своей якобы затее насчет насильственного брака сына с Кошевой.

Когда Никифор подробно доложил обо всем, что узнал от князя, то главное препятствие для успеха в их затее сначала даже испугало опекуна. Путешествие Зверева в Петербург могло действительно иметь успех, и было совершенно понятно, что князь, ожидая благоприятного ответа из столицы, не найдет нужным действовать решительным образом, т. е. похищать Кошевую.

Мрацкий, разумеется, был того же мнения, что и Никифор. Для них оставался единственный исход — действовать безотлагательно и понудить князя, не дожидаясь ответа Зверева, решиться на похищение Нилочки. Но как заставить князя Льгова действовать?

Предложение Никифора было умно. Он скажется больным, а Сергей Сергеевич придет беседовать с ним в его горницу и будет говорить о том, что он через три дня, заранее все уже подстроив, насильно обвенчает Илью с Нилочкой. Князь Льгов, спрятанный в смежной горнице, все подслушает. И выбор у него будет один: или уступить возлюбленную Илье, или немедленно похищать ее.

Обдумав затею, Сергей Сергеевич не только согласился на комедию, но даже подивился уму Никифора.

Пришел, однако, день, условленный между Никифором и князем, а Льгов не явился. Прошло еще два дня,— а из Самары не было ни слуху ни духу.

Мрацкий уже начал беспокоиться. Ему все чудилось, что каждый час могут вместе появиться в Крутоярске Зверев и Льгов и привезти с собой строжайшее предписание графа Разумовского — выдавать Кошевую за князя.

Мрацкий от волнения понемногу дошел до полной уверенности, что многолетние грезы его должны обратиться в прах, и не только его Илья не женится на Кошевой, но не нынче завтра он со всей семьей будет изгнан из Крутоярска, освобожденный от опеки княгиней Льговой.

И Мрацкий чувствовал, что он готов на все. Если бы этот же самый «сибирный» Никифор предложил ему за известную сумму денег, хоть за две или три тысячи рублей, отправиться пришибить или прирезать князя в самой Самаре, то он тотчас бы готов был согласиться.

Однажды, когда Неплюев по собственному почину уже собирался вновь в Самару, к вечеру на дворе крутоярских палат появились сани тройкой, и из них вышел князь Льгов. Появление его, конечно, как и всегда, многих удивило и всех заставило перешептываться во всех концах громадных палат.

Приезд этот всех взволновал — от Нилочки, ее опекунов и ее главной мамушки и до последней штатной барыни, до последнего дворового. Один Мрацкий, увидя князя на подъезде дома, вздохнул свободнее.

— Один приехал, соколик! — вслух выговорил он и радостно хлопнул в ладоши.

Мрацкий сразу понял, что если бы был удовлетворительный ответ из Петербурга, то князь не приехал бы один, а явился бы вместе с Зверевым, чтобы официально свататься.

Явившийся князь велел доложить о себе Борису. Новые друзья встретились и горячо расцеловались. Князь прямо прошел в горницу к Щепину и объяснил, что при-

ехал на сутки по делу, чтобы посоветоваться откровенно с другом.

И с первого же мгновения прибытия Льгова в крутоярских палатах началось нечто такое запутанное, замысловатое, такая неразбериха, что не только, по народному выражению, всех черт веревочкой перевязал, но и сам черт, если бы явился в дом, то запутался бы в той сети, которую несколько интриганов соткали, спутали и накинули на всех, зацепив и себя.

На другое утро два человека, уже побеседовавшие с князем: Щепин и Неплюев,— каждый в свой черед отправились тайно объясняться с остальными лицами, помогавшими путать себя в общую сеть.

Около полудня все до единого были озадачены, все сомневались, все подозревали друг друга, и всякий, в свой черед, боялся решиться на что-либо. Загадка была во всем и во всех.

Один Никифор знал ясно, что он делает, чего хочет и чем все путаное сочетание обстоятельств разрешится. Главные лица — опекун и мамушка, которыми теперь Никифор играл как куклами, были, однако, наименее смущены, наиболее полагаясь на себя, на свой разум и свое превосходство нравственное.

В доме, как накануне вечером, так и в этот день, с утра была речь только об одном — о бегстве крутоярской царевны, о похищении ее князем. Все главные обитатели дома знали это и все скрывали друг от друга. И все были согласны, все желали, чтобы подобное происшествие совершилось — и как можно скорей.

Свежий, посторонний человек, который бы появился теперь в Крутоярске и обладал бы не только проницательностью, но и провидением, неминуемо спросил бы:

— Кто же кого обманывает тут?

— Все всех, но вместе и себя самих.

В сущности, один головорез Никифор обманывал всех, потому что он один знал, чем кончится вся затея.

Марьяна Игнатьевна, встретившись с князем, обошлась с ним любезно и ласково, и Мрацкий был озадачен и удивлен.

Борис узнал от матери, что в случае чего-либо непредвиденного он должен всячески помогать князю Льгову, и он был поражен. Передав все откровенно Нилочке, как он делал это всегда, он привел девушку тоже в совершенное изумление.

Князь, найдя во всех приветливость, которой никогда прежде не встречал в Крутоярске, был настолько озадачен, что даже смутился и стал было подозрительно относиться к Неплюеву, но его обнадеживало и сбивало с толку участие в деле Бориса.

Даже Петр Иванович Жданов, даже глупый Илья Мрацкий и те, приглядываясь и прислушиваясь, таращили глаза, чуяли что-то диковинное в воздухе и ничего понять, конечно, не могли.

Льгов, по приезде, тотчас же переговорил откровенно с Борисом и правдиво объяснил свое неожиданное появление в Крутоярске. Он получил с нарочным письмо от Зверева содержания для него рокового.

Попытка Зверева — действовать прямо через графа Разумовского — окончилась полной неудачей. Гетман объяснил, что уже давно избрал для девицы Кошевой достойного ее жениха и следующим летом выпишет крутоярскую царевну в Петербург, чтобы обвенчать с избранником.

Вдобавок, на этот брак милостиво смотрела и сама государыня императрица. Имени этого избранника Зверев не узнал, но предполагал, что это один из придворных молодых людей, занимающий крайне высокое положение.

Получив это известие, князь не пал духом и решился неотложно действовать и самым смелым образом, хотя бы, как говорится, очертя голову. Он решился окончательно на то, что уже давно приходило ему на ум и что на днях предложил ему Неплюев, якобы от имени самой Кошевой.

Борис удивился немало тому, что Нилочка послала для переговоров в таком деле к князю не его, а Никифора, но, разумеется, вызвался тайно от матери помогать им обоим, не жалея себя.

В тот же день в маленькой горнице наверху сошлись вместе совещаться трое молодых людей: Щепин, князь Льгов и Неплюев. Дело казалось совершенно простым и ясным. Они трое собирались провести и обмануть опекуна Мрацкого и главную мамушку Нилочки, конечно, с согласия последней. А между тем и Мрацкий, и Марьяна Игнатьевна знали в эти минуты, что происходит тайное совещание молодых людей, и знали — о чем оно.

В то же время Борис и Льгов не знали, что сообщник их Никифор берется многое устроить — подпоить сторожей, мимо которых ввечеру придется Нилочке тайком

бежать, равно берется разыскать священника, который бы согласился венчать князя, не имея документов невесты — все это на деньги, полученные от самого обманываемого ими опекуна.

XXV

Условившись с Щепиным и с Неплюевым окончательно в своих действиях — в какой день и час и в каком месте ожидать с тройкой Нилочку,— князь Льгов собрался уезжать.

Когда лошади были уже поданы, а князь спускался по парадной лестнице на подъезд, главная штатная барыня Лукерья Ивановна явилась перед ним и с низким поклоном заявила, что барышня Неонила Аркадьевна покорнейше просит князя остаться кушать.

Не только князь, но и провожавшие его Щепин и Никифор удивились. Борис привык уже удивляться, но Никифору это новое для него положение показалось подозрительным. Ведь он ведет все, у него в руках вожжи от целого шестерика глупых, бойких, но неразумных коней или, вернее, нитки от нескольких глупых деревянных кукол, которых он заставляет ходить, двигаться и прыгать по собственному усмотрению.

Князь остался. Никифор тотчас же отправился к Мрацкому, чтобы узнать, кто пригласил князя или заставил Нилочку пригласить его остаться в Крутоярске. Откушав, князь, конечно, останется на вечер, останется и ночевать. Кто же смеет действовать помимо Никифора, не спросясь у него?

К немалому удивлению Никифора, Мрацкий был озадачен известием, а затем через несколько минут в присутствии того же Неплюева старик Герасим доложил барину, что Неонила Аркадьевна просит Сергея Сергеевича с супругой и с семейством откушать сегодня за ее столом в большой зале.

— Видишь сам, что не я ей приказ посылал,— выговорил Мрацкий угрюмо.— Меня самого приглашают. Это, стало быть, Марьяшка хитрит. А зачем — неведомо! Поди-ка лучше к ней, попытай ее.

Никифор отправился было в горницы Марьяны Игнатьевны, но встретил по дороге своего врага, с которым теперь лукавствовал.

Борис, не ожидая вопроса, вымолвил:

— Матушка сердита, страсть как сердита!

И при этом Борис кротко и весело рассмеялся.

— Все порешила сама Нилочка,— продолжал он.— Не сказавши никому, заказала парадный обед, приказала все приготовить в большой зале и послала Лукерью Ивановну приглашать князя, а потом пригласила и всех к столу... Петра Ивановича и всех Мрацких. Совсем как бы именины ее, или рождение, или праздник какой.

— Ай да Неонила Аркадьевна! Молодец! Пора бы ей давно так действовать! — рассмеялся Никифор.— Нам зато можно надеяться, что у нее и впрямь хватит сердца выйти из дому в условный день и час.

В эту самую минуту около двух молодых людей, разговаривавших в коридоре близ большой лестницы, появилась Аксюта и тихо прошла, не поднимая на них глаз и даже слегка опустив голову.

Оба взглянули на нее. Ни тот, ни другой ни слова не сказали девушке, а затем оба глянули друг другу в глаза.

Щепин смущенно взглянул на Никифора, а этот настолько ненавистным взглядом смерил Бориса, что пронизал его насквозь. И тут только впервые стал догадываться наивный Щепин, что имеет в лице Неплюева страшного и даже, пожалуй, опасного врага.

Да, перед ним стоял его смертельный враг — и враг не с нынешнего дня, а давнишний! А между тем он не уберегается нисколько от него, не замечает его, не только не сторонится.

Никифор, уйдя к себе, улыбался отвратительной, злобной усмешкой, исказившей его молодое и все-таки более или менее пригожее лицо.

Борис отправился к Нилочке, но был задумчив, печален. Какое-то странное чувство сжало ему сердце, будто боязнь чего-то... Ему было, в сущности, все равно,— любит ли его или ненавидит приемыш Жданова — побочный сын какой-то татарки, или караимки. Но если он прочел в глазах этого безродного головореза такую дикую ненависть к себе, то не следует ли подумать об этом?

— Но что же он может? — выговорил наконец Борис вслух сам себе.— Конечно, ничего!

Борис нашел Нилочку совершенно не такою, какой оставил за несколько минут пред тем.

Девушка, объявившая ему, что сама решила парадный обед с гостем, была тогда очень весела... Ее забавляла мысль, что она бунтует, показывает вдруг свою собственную волю, не стесняясь тем, что скажет или сделает опекун.

Теперь же он нашел девушку в углу ее горницы у окна за пяльцами, но она не шила. Опустив на худенькие руки

свою белокурую головку, Нилочка была точно также в таком же полном забытьи и отрешенная от всего мира, как когда-то недавно сидела Аксюта.

И Борис сделал почти то же. Он постоял немного над девушкой, потом нагнулся, взял ее голову в руки и поцеловал в лоб.

Нилочка вздрогнула, но, отняв руки от лица и увидя Бориса, грустно улыбнулась.

— Испугал ты меня! — прошептала она.

— О чем ты так задумалась и вдруг? Сейчас смеялась, когда я ушел, радовалась, что хозяйничать начала, как если бы и опеки над тобой не было, а теперь сидишь будто пришибленная. Случилось что?

— Ничего.

— Так что же ты приуныла?

— Мысли такие пришли, что сразу меня захватили,— тихо отозвалась Нилочка.— Я так задумалась, что все забыла, не знала где и сижу... Вот что, Боринька,— хотя и не след бы мне об этом говорить тебе, а все-таки надо. Присядь-ка...

Борис сел на диванчик недалеко от друга.

Девушка собралась с мыслями и заговорила:

— Слушай-ка, дело простое! Отвечай мне, что я тебя спрошу, а если не знаешь, что отвечать — подумай, вместе перетолкуем. Слушай, Маяня говорила тебе, что уже давным-давно, много лет, желала, чтобы ты на мне женился, что с этими мыслями она так и жила? Она и не знала, что когда ты будешь большой и военный, то не захочешь сам жениться, не знала, что и я к твоему приезду уже всю душу отдам другому человеку? Ведь не знала она ничего этого?

— Конечно, не знала! — отозвался Борис.— Что ж дальше?

— Скажи, как полагаешь, такой ли человек Маяня... твоя мать,— поправилась Нилочка,— чтобы вдруг, сразу, бросить все свои старые мысли и желания и согласиться на совсем другое? Может ли она желать теперь, чтобы я вышла за князя Льгова?

— Не знаю,— отозвался Борис и протянул свои слова, как бы соображая, что отвечать вместо них.

— Нет, ты знаешь или, подумавши, узнаешь. Так подумай!

— Да, правда твоя, чудно это немножко! — вымолвил Борис.— Матушка не такова, чтобы ныне одного желать, завтра — другого...

— Стало быть, у ней по-прежнему те же мысли: авось ты сдашься и я тоже — и обвенчаемся мы... Ну, хоть не сейчас, хоть через год.

— Да, думаю, что те же.

— Так как же, Бориныка, — воскликнула Нилочка, — потакает она нам теперь?! Поясни-ка это! Сказала я ей, что задумала звать князя к столу, а там просить остаться ввечеру... Ведь пойми ты, мне хотелось повидать его, поговорить, хоть два-три слова украдкой сказать, хоть поглядеть на него и глазами ему сказать, что я и люблю его, и на все пойду. Я думала, Маяня... ну, твоя мать... страшно разгневается на все это, а она удивилась, поглядела на меня пристально, а потом стала улыбаться и говорить: «Что ж, хорошее дело! Веселей день проведем! Он речистый, что-нибудь расскажет, позабавит нас»... А затем, Боринька, через несколько минут поглядела я на нее, она сидит, глядит в окно, задумалась и такое... Ты меня прости, она тебе мать! Такое у нее нехорошее, злое лицо, что у меня сердце екнуло. Что же все это?! Рассуди, Боринька. Ты мать любишь, но ведь и меня любишь. Рассуди по правде, подумай!.. Что же это все?

— Не знаю, Нилочка! Только одно и могу сказать, что она из любви к тебе бросила свои прежние мечтания, а самой все-таки горько. Другого я ничего придумать не могу.

— Ну, а мне, Боринька, сдается совсем не то... Не сердись и не смейся! Мне сдается, что тут все как-то во всем перепутано, ничего нельзя понять... Ну, посуди ты сам, хоть бы одно возьми — из-за чего Никифор бьется как рыба об лед, старается для меня и для князя? Я ему обещание сделала и сдержу его, но ведь это уже после было, когда уж он затеял все. А начало всего от него пошло! А он то и дело бегает к Сергею Сергеевичу, сидит у него иногда по целому часу... О чем они говорят? Я это недавно узнала. Рассуди ты все это и успокой меня, если можешь.

Борис собрался отвечать, но в эту минуту в горницу вошла Марьяна Игнатьевна.

Молодые люди смолкли, но вместе с тем впились глазами в фигуру вошедшей Щепиной.

Лицо ее было угрюмо, темнее ночи, голова опущена, руки скрещены на груди, и она вошла тихими мерными шагами, точно не живой человек, а какое привидение.

Одно это появление, внешний вид Щепиной, прямо и отвечали Нилочке на все ее вопросы и сомнения...

Нет, эта женщина не бросила все свои заветные мечтания, не уступила... Она с ними сжилась! А она из тех, которые — когда задумают что, то добьются своего, не останавливаясь ни пред чем.

Молодые люди не знали, что Щепина была теперь мрачна потому, что додумалась до подозрения сына в обмане. Она собиралась приказать ему помогать Нилочке только в деле бегства из дома, но в случае обмана со стороны Неплюева не допускать полного похищения и венчаться... А можно ли теперь ей положиться на сына? А если он продаст ее князю Льгову... Родную мать, обожавшую его всю жизнь?! Да, на это похоже...

XXVI

Парадный обед прошел заурядно. Все были будто стеснены и поэтому молчаливы. Князь не решился остаться ночевать и в сумерки уехал.

С утра следующего дня Неплюев начал хлопотать и, действительно, деятельно занялся приготовлениями к похищению крутоярской царевны. Он один действовал будто за всех и все добровольно брал на себя. И князь, и Нилочка тотчас же незаметно для самих себя очутились в полной его зависимости.

Никифор два раза побывал в Самаре для совещания с князем, одновременно совещался и с Нилочкой. Вместе с тем он оттягивал и оттянул дело неизвестно почему. Два раза назначенный день для рокового события был им отложен. Никифор уверял, то не все готово, а между тем ни князь, ни молодая девушка не узнали от него истинной причины отсрочек.

Вместе с тем князь Льгов все-таки подозрительно относился к Никифору, сам не умея объяснить, почему действия Неплюева кажутся ему сомнительными. Причин сомневаться ему в искренности Никифора не было, однако, никаких. Ведь сам же он предложил князю свое участие, первый подал мысль о похищении. И тревожное чувство все-таки не покидало Льгова ни на минуту. Отстранить его, конечно, было поздно да и нелепо и, наконец, опасно.

Такое же сомнение, смущение и тревога были в сердце молодой девушки. Она не боялась того шага, на который решилась, она не сомневалась в себе. Она сомневалась в успехе задуманного дела, и, к ее же собственному удив-

лению, ей смутно казалось, что все было бы благополучно, если бы не главный его и добровольный устроитель.

Нилочка бессознательно, без всякой почти причины, подозревала Никифора так же, как и князь. У молодой девушки для этого подозрения было лишь одно основание: через одну из своих горничных она знала, что главный заговорщик и руководитель ежедневно бывает у Мрацкого и сидит у него подолгу.

Однажды ввечеру Нилочка решилась прямо спросить у Неплюева, по какому делу он так часто бывает у Мрацкого.

Молодой малый рассмеялся добродушно.

— Уж не думаете ли вы, Неонила Аркадьевна, что я хитрю, лукавствую. Я же вам на это ответил, что считаю Сергея Сергеевича ехиднее самого змия. Если может быть какая помеха в нашем деле, то, конечно, от него. Поэтому я и подлащиваюсь к нему, чтобы он мне поведал откровенно, как преданному лицу, есть ли у него какое подозрение. Если бы вы послушали, что я ему говорю о себе и о вас, так ахнули бы! Я ваш заклятый враг! За то и он со мной откровенничает. Поэтому я и знаю, что он теперь и не помышляет о том, что мы собираемся учинить.

Конечно, молодая девушка вполне поверила объяснению Неплюева и успокоилась. На ее вопрос, что думает Никифор об успехе их предприятия, он еще добродушнее рассмеялся.

— Понятное дело, что убежим и обвенчаемся. Ведь это так мудрено кажется, особливо вам, девице. А чего же проще? Вы выйдете в сад и в поле, а князь приедет вас ждать. А там доедем до храма, обойдете вокруг аналоя три раза — и всему конец. Ловить вас никто не собирается. Была бы одна помеха — Марьяна Игнатьевна, да и на ту какая-то слепота нашла...

— Слепота ли это? — возразила Нилочка тревожно.

— А что же другое-то?

— Меня смущает Маяня... Она будто все знает и помогает.

Никифор махнул только рукой на такое странное подозрение.

Через день после этого разговора Неплюев был вдруг позван к опекуну.

«Что такое случилось?» — думалось молодому малому, когда он шел к Мрацкому.

И несколько озадаченный и смущенный, предстал он пред Мрацким.

Вероятно, во всем, что делал и говорил Никифор, или в злобно-умном лице его, было что-нибудь особенное, так как вслед за князем и Кошевой сам Сергей Сергеевич, полный сомнения, стал опасаться, не проводит ли его за нос головорез Никишка.

— Что прикажете? — спросил Никифор, пытливо вглядываясь в лицо старика.

— А видишь ли,— улыбнулся ехидно Мрацкий,— мысли такие мне в голову пришли... Хотел у тебя спросить: боишься ты меня или нет? Побоишься во мне врага нажить, или тебе наплевать на такого врага?

— Уж, право, не знаю, Сергей Сергеевич, что и отвечать... Не понимаю, что вы говорите?

— А пришло мне на ум, Никифор, не собираешься ли ты впрямь обвенчать князя с Нилочкой и магарыч с них получить. Княгиня Льгова может больше тебе дать, чем я.

— Как же я это сделаю, Сергей Сергеевич? Каким способом?

— Очень просто, надуешь меня...

— А я у вас спрашиваю, как же я это сделаю? Вспомните уговор. Вам будет известно, в котором часу явится князь на тройке, и будет известно, когда наша царевна выбежит из дому. И ваши же люди с вашим Герасимом будут поджидать, чтобы их ловить. А Герасим за вас душу свою прозакладывает. Как же я могу надуть вас?

— Вот в том-то и дело. Нет ли тут какой загвоздки? Так я и хотел тебе вперед сказать: надуешь ты меня, я себя не пожалею, никаких денег не пожалею, а сотру тебя с лица земли. Так-таки ничего от тебя и не останется. В этом вот тебе бог!

И Мрацкий показал в угол горницы, где висела икона.

Никифор помотал головой и улыбнулся.

— Удивительные мысли! Все вам известно так же, как и мне, а вы — бог весть что придумываете.

— Вот то-то и есть, Никифор, что не все мне известно... Ты с людьми не будешь, ты не говоришь, где будешь и как будешь орудовать. Ты, может, проведешь их другой дорогой да и скажешь, что мои люди прозевали.

— Полноте, Сергей Сергеевич, ведь вы знаете, где я буду и что я буду делать! Что же, по-вашему, мне среди ваших людей с ружьем встать да и палить по князю, чтобы пятьдесят человек свидетелей на этакое дело было? А вы-

дадут меня, будут судить в Самаре, кто же виноват окажется? Какова мне выгода убивать князя? Понятное дело, доищутся до того, кто меня нанял.

Переговорив снова подробно с Мрацким, Никифор вполне успокоил его, уверив, что для него вернее получить от опекуна небольшую сумму денег, чем невесть какие обещания опекаемой и ее возлюбленного.

— Не сули журавля в небе, дай синицу в руки! — вот что, Сергей Сергеевич, всякий должен знать.

— Ну, а скажи,— кончил Мрацкий,— благополучно ли все это окончится... Вестимо для нас, для меня?

— Останется ли, хотите вы сказать, князь Льгов на месте? Полагаю, что останется... Может быть, убит и не будет, пуля — дура! А уж тяжко ранен наверное будет. И всякие свои ухищрения бросит. Всякому своя жизнь дорога! Коли и выздоровеет, предпочтет искать себе другую невесту-приданницу.

— Ну, все-таки лучше бы того...— выговорил Мрацкий и запнулся.

— Остаться ему на месте? — усмехнулся Никифор.

— Да, лучше бы...

— Вестимо лучше! Да так, надо полагать, и будет!..

XXVII

Наконец наступил и назначенный день. Еще поутру явился в Крутоярск посланный из Самары и привез Никифору письмо от князя Льгова, в котором тот уведомлял, что непременно в шесть часов вечера в санях, на тройке будет ждать в поле за садом.

Никифор показал письмо Нилочке и невольно подивился, глядя на молодую девушку. Она была холодна, как лед. Лицо ее было спокойно, только глаза блестели ярче: то потухали, то вновь загорались еще более сильным огнем.

«Чудно! — думалось Неплюеву.— Вырастилась здесь, как малиновка в клетке, а все-таки бой! И не на такое дело, кажись, пошла бы... На войну пошла бы. Поглядеть на нее,— просто годится в царицы-монархини наша крутоярская царевна».

От Нилочки Никифор прошел к Мрацкому и тоже показал ему письмо князя.

— Смотрите, Сергей Сергеевич,— прибавил он,— вы не промахнитесь! Боюсь, вам бы не сплоховать!

— Что мне плоховать? Мое дело не мудреное,— отозвался Мрацкий.— Мои люди в срочный час в засаде будут.

От Мрацкого Никифор прошел в горницы Бориса и точно также предупредил его, что ввечеру должно совершиться давно задуманное.

Здесь, в горнице Щепина, Никифор совершенно изменился. Говоря с Борисом, он сразу стал сумрачен, ни разу не поднял глаз на молодого капрала.

Кратко и сухо объяснившись с ним, он глухо прибавил:

— Помните же, Борис Андреевич, ваше дело — вместе с Неонилой Аркадьевной выйти из дому и провести ее в конец сада и посадить в сани,— больше от вас ничего не требуют. Коли вы в последнюю минуту струсите и не пойдете, то это будет с вашей стороны подлый обман.

— С чего же вы взяли, что я струшу? И чего мне трусить? В церковь я не поеду, вперед говорю... Прежде хотел, а теперь... не могу. Почему, не скажу вам,— грустно проговорил Борис.— Мне одна забота, что я все-таки, выходит, решился обманывать родную мать... ну, да бог даст, она простит! Зато я угожу и Нилочке, которую люблю как брат, и князю, которого тоже люблю... Что ж может меня остановить?

— Вот этого-то я и опасаюсь! — выговорил Никифор, не поднимая глаз.— Малодушие простое вдруг помехой будет... Как придется идти к Неониле Аркадьевне, струсите и на попятный, и все дело будет проиграно. Не может же она одна бежать через весь сад в потемках?! Уж лучше прямо теперь откажитесь, я вместо вас ее проведу. Тогда вы возьмитесь за мое дело — глядеть здесь, чтобы погони не было, а если будет, чтобы погоне из дома помешать.

— Нет, уж как сказано! — решил Борис.— Я в шесть часов ровнехонько заставлю Нилочку собраться и идти. И доведу ее до князя. Но дальше я ни шагу. А я так боюсь, как бы вдруг у нее робость не явилась.

— Ну, а я думаю, извините, единственный человек, который нам все дело может испортить — это Борис Андреевич, который по малодушию в урочный час, вместо того, чтобы помогать, будет вот тут в горнице ахать, ахать да плакать, сам себя срамить. И ни шагу из своей горницы. От вас это станется!

— Вы не имеете никакого права говорить так,— обиделся наконец Борис.— Я даю честное слово, что свое дело

сделаю. Да и, повторяю, бояться мне некого и нечего! В храме меня не будет, впредь говорю...

— Ну, ладно, давай бог! — произнес Никифор по-прежнему сумрачно и, не взглянув Борису в лицо, вышел из его комнаты.

И день этот пуще, чем все прежние, казался бесконечным днем для главных обитателей крутоярского дома. Он тянулся как вечность. Каждый минующий час казался целым нескончаемым днем.

Нилочка сидела у себя безвыходно, была холодна, спокойна, молчалива и не отрывалась от работы на пяльцах. Но то, что она вышивала, было совершенно спутано. Насколько казалось спокойно ее лицо, настолько смутно было на душе ее. Она горела как в огне, а сердце замирало и ныло... Мгновениями молодой девушке казалось, что она вместе со своим возлюбленным погибнет, что в этот же день окончится ее существование и его вместе с ней.

Мысль ее не шла далее калитки от сада в поле. Ей ясно представлялось, как она достигнет до того места, где князь будет ждать ее. Но что будет далее, она никак не могла представить себе.

Борис был тоже смущен, избегал разговаривать с матерью и не решался даже посмотреть ей в лицо, но вместе с тем какая-то непонятная тоска грызла его. С той минуты, что Никифор показал ему письмо князя и он узнал, что в этот же вечер непременно состоится похищение,—странное, необъяснимое чувство напало на молодого человека.

Он долго просидел у себя около окна, глядя на покрытую снегом окрестность, и все представлялось ему унылым, печальным. Побывав на минуту внизу, в горницах Нилочки, он снова вернулся в себе и снова просидел часа два, не двигаясь и глядя в окно.

Объяснить себе свое нравственное состояние, какого никогда у него не бывало ни в Крутоярске, ни в Петербурге,— он не мог.

Марьяна Игнатьевна не знала ничего о письме князя, но все узнала, сообразила. Она прочитала на лицах Нилочки и своего сына, что нынешний день — якобы роковой для них.

«Глупые дети,— думала она.— И на ум не приходит им, что они — куклы на потеху умных людей!»

Сергей Сергеевич сидел у себя и был угрюмее всех. Он всегда верил в успех своего предприятия. Один жених уже влюблен в Аксюту, другого похерят. Однако он тревожно обдумывал последствия того, что теперь, конечно, в точно-

сти будет исполнено Никифором. Как потом отвертеться? Во-первых, он будет отчасти в руках Никифора, у них будет общая тайна — преступление. А затем вопрос: сойдет ли с рук такое дело? Всякий поймет, кому была выгода отделаться от жениха Кошевой, за которого она сама собиралась замуж и за которого в это же время хлопочет в Петербурге у гетмана-графа прежний опекун.

Мрацкий сидел у себя угрюмо, погруженный в свои тяжелые думы, и изредка шепотом повторял вслух одно и то же:

— Не зарвался ли я? Не возмнил ли о себе чересчур? Не попасться бы мне?

Но затем он вздохнул протяжно и прибавил мысленно: «Волка бояться — в лес не ходить!»

XXVIII

Наступили сумерки на дворе, и понемногу стемнело совсем. Потемнел и дом. Кое-где в горницах зажгли огоньки...

Огромный барский дом, большой сад, надворные строения, храм за рощицей — все имело свой обыкновенный, давний и всегдашний вид.

Но не так казалось оно двум существам, которые в эти мгновения будто томились под кровлей крутоярских палат, переживая душевные муки.

Нилочка уже часа два не находила себе места. Она двигалась без цели из одной своей горницы в другую или выходила в смежные парадные комнаты, в обе большие залы, угрюмые и пустынные, и бродила по ним, заглядывая в окно. Она озиралась на все, на горницы и на окрестность, тревожно и вопросительно, будто силилась узнать или прочесть где-либо на чем-либо ответ на вопрос: «Что будет?»

В воображении девушки рисовались картины близкого будущего, то отрадные, то ужасные...

Иногда ей представлялось, как она завтра явится сюда с мужем, как она, будучи уже по закону княгиней Льговой, смело и гордо заговорит с Мрацким.

Иногда же непонятный страх овладевал ею, и такая гнетущая тоска врывалась в сердце, как если б она собиралась идти добровольно на смерть.

Когда на больших часах в анненской гостиной пробило пять и по всем пустым горницам дома прозвучало мерно

пять медленно звенящих ударов, Нилочка встрепенулась и стала прислушиваться. И каждый удар отзывался у нее в сердце. С рожденья слышала она этот бой, и никогда звуки эти не казались ей такими, как теперь... Это были странные звуки, унылые и зловещие, будто погребальные...

Слезы навернулись на глаза девушки...

— Когда будет бить шесть — что будет? — шепнула она, мысленно обращаясь к этим часам.

В то же время и Борис сидел у себя унылый, хотя с ним была забежавшая к нему Аксюта. Она знала, конечно, через него о сборах для бегства барышни. Девушка тоже была без всякой причины печальна, не имея возможности объяснить себе самой, что именно и почему лежит у нее камень на сердце.

Влюбленные сидели в углу горницы, задумавшись, и давно уже молчали.

Когда начало смеркаться, Борис заволновался. Он отпустил Аксюту и не знал, что ему делать. Идти за Нилочкой было рано, а ждать у себя урочного времени он не мог от волненья.

— Да чего же наконец я боюсь? — спросил он себя.—Не Мрацкого же? Что же он может? Ну, увезли из-под носа опекаемую — и конец! И раз Нилочка обвенчана — ему надо отсюда выбраться с пожитками, а не командовать. А матушка простит. Да и чудна она! Будто знает все. Приказала мне во всем помогать Нилочке, что та попросит, но взяла слово с меня не уезжать из Крутоярска.

Несколько ободрившись, Борис спустился вниз и, проходя через большую залу, увидел в полумраке маленькую фигурку у окна.

— Боринька, ты? — послышался ему голос Нилочки, но настолько изменившийся, что он не сразу признал его.

— Я... К тебе шел...— отозвался он и, приблизившись, прибавил тихо,— шестой час.

— Скоро половина,— глухо вымолвила Нилочка.

— Что же?

— Что? — тоже вопросом ответила и девушка.

— Ты не знаешь?

— Знаю... Вестимо...

И оба смолкли, стараясь разглядеть друг друга в темноте.

— Оробела? — спросил наконец Борис.

— Нет... А страшно...— прошептала Нилочка.— Не страшно бежать, венчаться... А страшно другое. А что — не знаю.

— И мне как-то. Мрацкого я, вестимо, не боюсь. Что ж он может со мной? Я не крепостной его. На него у меня есть кулак и шпага, смотря по обстоятельствам... А я боюсь... чего — сам не знаю.

— Вот... Да... Как же, Боринька? Решаться ли? Не отложить ли?

— Пожалуй...

Нилочка схватила Бориса за руку, сильно дернула и произнесла с укором:

— Стыдно! А еще капрал столичный! Оставайся. Я одна добегу до калитки.

— Что ты... Что?.. Ты же говоришь — боюсь.

— Я тебя пытала... Ничего я не боюсь. Да и нечего бояться. А что у меня на сердце жутко, так понятное дело... Ведь мне под венец — на всю жизнь! А вот чего ты трусишь — этого уж никому не понять. Оставайся...

И Нилочка быстро двинулась чрез залу, но Борис бросился за ней.

— Я тебя одну не пущу! — воскликнул он.— Я буду здесь ждать. Одевайся и выходи.

Девушка ушла к себе в горницы; Щепин быстро сбегал к себе, вернулся вниз в плаще и в шляпе и стал ждать Нилочку у двери на маленькую лестницу, которая вела к выходу в сад.

В это же самое время к саду крутоярской усадьбы подъехали сани тройкой и стали, укрытые кустами ельника, в поле.

Из них вышел князь Льгов, прошел калитку и стал медленно ходить вдоль забора сада.

За полчаса до появленья князя здесь же, в самой чаще кустов сирени и акации, среди глубоких сугробов тихо и безмолвно сидели, укрываясь, человек двадцать дворовых людей, присланных сюда барином-опекуном под начальством его любимца лакея Герасима.

Дворня знала лишь наполовину, зачем ее отрядили. Было приказано повиноваться во всем Герасиму в деле препятствования уехать из вотчины.

Но куда и зачем собирается их помещица и истинная владелица — никто не знал. Шагах в полутораста правее от спрятанной в засаде дворни, тоже в кустах, притаился один человек, пришедший сюда прежде всех. Это был Никифор.

Он стал, пригнувшись и совершенно укрытый отовсюду. Пред ним было ружье, уже положенное на здоровый сук и верно направленное, как бы с подставки, на дорожку, по которой взад и вперед медленно и задумчиво шагал прибывший князь.

Если Льгов не подозревал, что в полумраке в сотне шагов от него скрыто две засады, то и дворня, видящая его, не знала, что поблизости от нее спрятался человек, который также следит за князем лихорадочным взором.

Благодаря звездному небу Никифор мог хорошо видеть Льгова. Уже два раза принимался он, брался за ружье, прикладывался с прицела к тихо движущейся фигуре и слегка трогал пальцем собачку... Стоило двинуть пальцем сильнее, и остро отточенный кремень, свежий порох на полке и жеребье, т. е. продолговатая свинцовая пуля, которую он чрез силу вколотил в ствол ружья — сделали бы вмиг свое страшное дело.

Но Никифор, два раза нацелившись в князя, оба раза усмехнулся. Он только пробу делал: достаточно ли видна мушка на стволе и можно ли хорошо направить дуло прямо в грудь.

«Умный человек эту штуку выдумал»,— думал он, глядя на ружье.

Вдруг Никифор слегка вздрогнул, и его сердце застучало сильнее.

«Вот!» — будто сказал кто-то ему на ухо.

— Да. Ну так что же? — прошептал он как бы в ответ.— Что же? Что же? — повторил он.— Сейчас — и готово все будет...

В полумраке налево выделились две фигуры, мужская и женская, и поспешно приближались... Князь увидел их тоже и двинулся навстречу. Они сошлись вместе. Князь взял девушку за руки, как бы благодаря за решимость и сдержанное слово...

Борис стоял около них вплотную, но, перемолвившись, все трое двинулись к калитке, и Щепин отделился, идя последним...

В кустах зашумели... Послышался шелест и хряст, затем и голоса... Дворня из засады двинулась сразу...

— Лови, ребята! — крикнул Герасим.

Беглецы стали как вкопанные. Нилочка схватилась за князя, который обнял ее одной рукой. Щепин выступил вперед...

В то же мгновение гулко грянул выстрел. Борис ахнул, схватился за грудь и повалился на снег...

Дворня окружила беглецов, но все до единого человека, молча, озирались друг на друга с недоумением, будто спрашивая:

«Что это?.. Кто?!»

— Ребята? Кто же это? — раздался голос Герасима.

Чрез мгновенье все были заняты упавшим...

Нилочка была на коленях около него. Князь тоже нагнулся, как бы забыв о бегстве и о нежданно явившейся толпе.

— Боринька? Боринька? — плакала девушка.— Что же это такое! Господи!

— Я... это знал...— прошептал Борис...— Конец... Скажи...

Но он не кончил и тяжело вздохнул.

— Как смели это! — с рыданием вскрикнула Нилочка на толпу и, поднявшись, она грозно замахнулась на всех.

— Это не мы, барышня! — отозвался Герасим.— Бог весь кто! Непонятно. Пожалуйте скорее домой. А барина мы донесем. Берите, ребята...

Щепина подняли на руки. И все двинулись к дому. Нилочка пошла тоже, не думая ни о чем... И только пройдя несколько шагов, она стала вдруг озираться, будто искала кого глазами. Она искала князя. Но его не было с ней.

XXIX

В саду недалеко от забора стало тихо и пусто...

Снежные сугробы были истоптаны. Сейчас здесь сновала, шумела, голосила целая толпа. Теперь все стихло, и не было ни души... Дворня с Щепиным на руках была уже около дома.

Князь Льгов уже сел в свои сани, пораженный, смущенный, и скакал обратно в Самару. Один!.. Все рухнуло! И спасибо еще, что он жив. Князь догадался и верил, что случайно избегнул смерти. Пуля предназначалась, очевидно, для него.

Спустя с четверть часа после выстрела и сумятицы среди кустов шевельнулся кто-то, тяжело вздохнул и двинулся из сугробов.

Это был Никифор.

Долго просидел он в своей засаде, но не от опасенья за себя. Он давно видел, что все кругом опустело.

Никифор сидел на снегу среди чащи под наплывом нежданного и непонятного, какого-то для него нового чувства. Он сам с собой шептался, спрашивал и отвечал.

Его собственный выстрел заставил его замереть на месте. Он был уверен, что убил Щепина. Ружье с подставки было намечено спокойно и верно прямо в грудь Бориса и дрогнуть не могло.

И этот выстрел теперь все еще звучал в ушах Никифора... Ему казалось, что он теперь снова живет иною жизнью. Снова, а не по-прежнему, не по-старому. Для него началась новая жизнь. До выстрела была одна жизнь, а теперь началась другая... Этот выстрел разделил все на две половины: все... желания, мечты, все чувства, все мысли. То было до выстрела, а это вот... после, теперь...

— Человека убил! — шептал Никифор.— Бориса Щепина. Да. Хотел отплатить за Аксюшу. И отплатил.

Но ведь тот, которого он ненавидел здесь в Крутоярске,— его вдруг не стало... Есть мертвое тело. И это он сделал, что есть теперь мертвое тело. Он думал отделаться от врага, а нажил преследователя... Да, Борис Щепин, которого унесли дворовые в дом,— здесь, около него стоит невидимкой.

И так всегда будет! Отныне и навсегда.

— Все пустое! — шептал Никифор и прибавил: — Ох, лучше бы... сызнова.

Наконец, как бы овладев собою вполне, Неплюев вышел из засады и засунул ружье среди чащи в высокий сугроб. Затем он подошел тихо к тому месту, где лежал Борис, поглядел, вздохнул и медленно двинулся к дому.

Между тем в крутоярских палатах было всеобщее смятение... Страшная весть быстро облетела всех обывателей, и они сбежались в большую залу. Бориса принесли без чувств в горницы барышни.

По дому пронесся один вопль... Только один! Но долго звучал он потом в ушах всех крутоярцев. Этот протяжный стон вырвался из груди Марьяны Игнатьевны.

Скоро все уже знали все подробно и были в таком же недоумении, как и Герасим.

— Кто! Почему?.. Где же ружье? у кого нашлось?.. Что сказывает Сергей Сергеевич?..

Но вскоре новая весть ошеломила всех. Этого будто никто не предвидел. Кто-то объявил, что Борис Андреевич «кончился».

Действительно, принесенный и положенный на диван, Борис пролежал с четверть часа без движения, и только

грудь его заметно вздымалась. Марьяна Игнатьевна стояла около дивана на коленях, смотрела в лицо сына широко раскрытыми глазами и с изумленным лицом. Женщина была, казалось, только изумлена — и до такой степени, что, очевидно, не понимала ничего происходящего перед ней.

Нилочка, тоже стоявшая поблизости от лежащего Бориса, не спускала глаз с своей Маяни. Она была страннее, чем ее сын. Нилочка уже предугадывала смутно, чего ждать... Это искаженное изумлением лицо мамушки говорило, что вопрос, написанный на нем, так и останется навсегда. Она никогда на него не ответит, а другим не поверит и даже не услышит, что они будут говорить ей.

Борис вдруг двинулся, широко раскрыл глаза и будто хотел сказать что-то... Но только грудь высоко вздулась и медленно опустилась. Нилочка поняла, зарыдала и отошла. Марьяна Игнатьевна ничего не заметила, стояла все так же на коленях и чрез несколько минут вымолвила тихо, но недовольным голосом:

— Боринька! Что же так-то лежать? Скажи что-нибудь! Где болит-то? А?..

И снова наступившее в горнице молчание настало надолго...

В то же время в половине Мрацких в коридоре столпились все люди, которые были посланы в засаду.

Сергей Сергеевич только что допросил всех лично, как приключилось невероятное событие.

Мрацкому не пришлось разыграть роль взволнованного и негодующего, как он приготовлялся с утра... Он действительно был вне себя.

Опросив всех и получив все тот же ответ — «не ведомо» и «бог его знает»,— Мрацкий ушел к себе и метался из угла в угол, бился как разъяренный зверь в клетке.

— И не идет! Не идет! — изредка повторял он, злобно и нетерпеливо поглядывая на дверь.

Наконец Герасим, тоже взволнованный происшествием, в котором оказался против воли как бы виноватым, вошел, понурившись, и доложил:

— Никифор Петрович.

— Давай, давай! — почти закричал Мрацкий.

Никифор, сильно бледный, вошел и улыбнулся... Но это была не улыбка, или же Мрацкий отроду таких улыбок не видал, и она его приковала к месту, лишила языка. Он молча глядел на Неплюева.

— Ошибочка вышла,— проговорил глухо Никифор.

Мрацкий как бы пришел в себя и едва прошептал, задохнувшись от гнева:

— Ошибочка?!

— Да-с... Что же? Оба офицеры... Точку в точку платье и шляпы... Одного росту. Да и ночь на дворе... Что же... Мне и самому оно...

Никифор вздохнул. Мрацкий смерил малого с головы до пят и почувствовал, что его злоба начинает отливать от сердца.

Неплюев был на себя непохож, очевидно, от рокового недоразумения, в котором был виноват отчасти. Ведь не от раскаяния же в смертоубийстве треплет его будто в лихорадке. Не из таких этот. Сибирный.

— Как же вышло-то, скажи!! Что же теперь делать... всему конец. Второй раз князь не сунется...

Неплюев молчал, но Мрацкий, приглядевшись к нему, вдруг будто прочел что-то на его бледном лице.

— Ты Каин, да и Иуда вместе! — глухо прошептал он.— Пошел вон, сатана!

Ввечеру настала в доме унылая тишина. Все будто попрятались по углам.

Сергей Сергеевич обошел весь дом и всем пригрозился, что убийца будет найден, так как он даст знать в Самару о происшествии, и в Крутоярск пришлют приказных судей.

Вместе с тем Мрацкий распорядился немедленно относительно опекаемой им «безобразницы» и ее мамушки. Марьяна Игнатьевна с рокового мгновения, очевидно, потеряла рассудок, она даже сердилась и смеялась, разговаривая с телом покойного...

Щепину отвели наверх, заперли в отдельную горницу, а к дверям приставили дворового часовым и назначили двух горничных дежурить по очереди около сумасшедшей.

Нилочка в своих горницах, по распоряжению опекуна, очутилась точно так же взаперти и под стражей шести сменявшихся по очереди лакеев.

XXX

Между тем весь край волновался из-за самозванца Пугачева. Наступил конец ноября, и смута усилилась... В Крутоярске жизнь замерла. И прежде бывало всегда скучно и уныло в больших палатах; теперь же все, казалось, омертвело. Иногда большой дом, наполненный обита-

телями, мог показаться заброшенным и совершенно пустым.

Смерть внезапная и загадочно насильственная всеми любимого Бориса, безумие Марьяны Игнатьевны, находящейся как бы под стражей, и наконец положение самой крутоярской царевны, как бы тоже заключенной и отрешенной от всех, навели и уныние, и робость на всех обитателей дома.

Мрацкий, которого и прежде все боялись, теперь навел на всех такой страх, что даже грезился во сне иным штатным барыням. Главная из них, Лукерья Ивановна, подняла однажды ночью всех на ноги такими страшными воплями, как если бы ее резали. Вскочив с постели, она выбежала из своей горницы и пустилась бежать по дому, оглашая его дикими криками. Когда ее поймали, снова уложили, то она не могла объяснить, что с ней случилось, побоялась даже рассказать свой сон. А пригрезилось ей, что ее пришел перепиливать пилой сам Сергей Сергеевич.

Всего удивительнее было то обстоятельство, что боль в животе у Лукерьи Ивановны от пилы, которой Мрацкий пилил ее во сне, чувствовалась до утра.

Хотя другие штатные барыни и убеждали Лукерью Ивановну, что вся беда произошла от вновь заваренного кваса, которого все не в меру отведали, но во всяком случае молодой квас, под влиянием страшных крутоярских событий, преобразился ночью в старого опекуна Мрацкого с большущей пилой.

Главный деятель крутоярский, всеми по чутью почитаемый настоящим убийцей, был мрачен, сидел у себя в горнице или отлучался на сутки и более неизвестно куда.

Однажды Никифор пропал на целую неделю и, вернувшись, не захотел никому объяснить, где был. Даже Мрацкому ответил крепко:

— По своим делам!

Отношения Мрацкого и Никифора были несколько иные. Никифор относился к опекуну с ненавистью, но тщательно скрывал это. Причиною была судьба Аксюты. Тотчас же после похорон Бориса Щепина Анна Павловна, конечно, по приказанию мужа, приказала отнять у Аксюты вновь сшитые и подаренные ей сарафаны, и девушку отправили на скотный двор в помощь бабам, ходившим за коровами.

Разумеется, Никифор тотчас же бросился к Мрацкому объясниться. Умный и хитрый малый поступил наивно и попался в сети Сергея Сергеевича. Он искренно, горячо,

даже сердечно, что совершенно не шло к нему, объяснил Мрацкому, что давно любит Аксюту и просит пощадить ее ради его.

Это было со стороны Неплюева слишком простодушным поступком.

— Так вот отчего ошибочка произошла? — ответил Мрацкий.— Так на мои денежки ты от своего неприятеля избавился, а не меня от моего избавил!

Никифор стал доказывать, что между его страстью к Аксюте и ошибкой, происшедшей при похищении Нилочки, нет ничего общего, но Мрацкий рассмеялся ехидно.

— Будь по-твоему! Готов поверить... И в силу того, что ты меня все-таки от лишнего женишка избавил, я на тебя гневаться не буду. Заключим мы с тобой новое условие... Избавь меня от другого женишка, сиятельного, и тогда приходи просить об Аксюте. Что пожелаешь, то и будет; а пока князь здравствует в Самаре — Аксюта твоя будет на скотном дворе. А коли затянется все это, то через месяц либо два так твоей Аксюте еще горше будет. Коли ты доподлинно любишь ее, то из-за нее прямо с ножом полезешь на князя и прирежешь его при всем честном народе.

И с этой минуты Мрацкий совершенно захватил в руки Никифора своей властью над судьбой дворовой девушки, ибо молодой малый, несмотря на явную ненависть к нему Аксюты, был по-прежнему влюблен в нее.

Между тем весь край был в полном смущении, и смута в умах все усиливалась, неурядицы, разбои и грабежи учащались. То и дело приходили вести о нападении скопищ на усадьбы.

В Крутоярске давно появился один старик помещик, а затем одна барыня с двумя дочерьми, спросившие убежища, так как их усадьбы были разгромлены и сожжены.

Разумеется, и здесь, главным образом на селе, тоже волновались и толковали всякую несообразицу крепостные крестьяне. Казалось, если бы не тяжелая, железная рука опекуна, то и крутоярские мужики готовы бы были отказаться от исполнения своих обязанностей.

Сергей Сергеевич давно уже отобрал в дворне и среди крестьян около дюжины шустрых молодцов, положил им большое жалованье и сделал из них расторопных сыщиков.

И всякий день являлись к опекуну всякого рода докладчики. Некоторые докладывали о том, что толкуют или собираются учинить на селе и в окрестных приписанных к Крутоярску деревнях.

Другие соглядатаи Мрацкого посылались им и много далее: в Самару, в соседние уездные города. Всем выдавалось жалованье по времени огромное, т. е. по пяти рублей ассигнациями. Кроме того, все были щедро оделяемы всякой провизией, и семьи сыщиков попали на совершенно новое положение, жили в довольстве и приобрели известное значение в усадьбе.

Благодаря этой вновь учрежденной команде разведчиков Мрацкий был теперь подробно извещен обо всем, что творится во всем крае верст на двести кругом. Он знал положительно больше о делах оренбургских и был вернее уведомлен, нежели сам самарский губернатор. Во всяком случае, он знал о самой Самаре и о делах администрации губернской больше, чем знало само начальство.

Мрацкий знал, что в земских судах и в разных присутственных местах, а равно и среди небольшого войска есть приверженцы вновь явленного императора Петра Федоровича, а этого и не подозревали самарские власти.

Мрацкий знал также, что в городе Ставрополе большое скопище калмыков, подкрепленное крестьянами, собирается взять приступом город Самару и в самое время, когда войска будут выведены из нее по оренбургской дороге навстречу к идущему самозванцу.

Разумеется, одновременно, благодаря только двум сыщикам, которых Мрацкий оставил на селе и которые не были, конечно, известны за таковых крутоярским крестьянам, Мрацкий знал наперечет всех главных коноводов и смутителей из местных крестьян.

Некоторых он уже выслал под конвоем в самарский острог, других, которых считал опаснее, держал взаперти в подвалах палат, не рассчитывая, конечно, на бдительность самарских властей.

Твердая рука опекуна чувствовалась и на селе, и в подвластных деревнях. Кругом в крае творились всякие бесчинства, иногда и злодеяния. В поместьях Кошевой не случилось за все время ни одного насилия и ни одного проступка, не только преступления.

Невидимый никому Сергей Сергеевич, маленький, худенький старичок, сидящий безвыходно в своих горницах, казался повсюду в окрестности для всех пугалом,— но не простым, а пугалом-исполином, который одним движением перста может похерить и в гроб заколотить сотню человек.

Между тем сам Мрацкий, за последнее время в особенности, казался озабоченным. Он ничем не занимался,

ни разу не развернул ни одной бумаги или книги по опекунскому управлению и целые часы сидел задумавшись. Изредка он вздыхал.

— И не с кем-то посоветоваться! — восклицал он.— Хоть бы один человек был! А пропустить такие времена — стыд и срам! Пускай другие простофили зевают, а тебе, Сергей Сергеевич, грех прозевать этакие времена. Да что грех... и стыд великий! Всю жизнь раскаиваться будешь!

И каждый раз мысль о том, чтобы вызвать к себе Никифора и иметь с ним такое объяснение, которое будет в стократ важнее всех прежних, подолгу, неотступно застревала в мозгу Мрацкого, но каждый раз он все свои размышления кончал все теми же словами:

— Нельзя! В таком деле сообщника нельзя иметь. Один будь!

XXXI

Наконец однажды, выслушав доклад трех приезжих сыщиков, из которых один — сын Герасима, явился из дальних мест, из города Бугульмы, Мрацкий узнал много нового.

Весь тот край был, по его словам, в полном восстании. Бунт разгорался как большой пожар, захватывая все кругом и распространяясь с неудержимой силой. Во всех губернских городах, даже в главном городе края, в Казани, были смятения, неурядицы и общая паника среди дворян. В Казани ожидали вновь назначенного из Петербурга главнокомандующего всех войск, собираемых против самозванца, генерала Бибикова. Но все, от властей до последнего мещанина, были глубоко убеждены, что судьба этого нового питерского генерала будет все та же, что и судьба генерала Кара, постыдно бежавшего от самозванца. «Разобьет государь Петр Федорович царицыны войска в пух и прах,— говорила молва народная.— И станет еще сильнее, еще грознее. И какие полчища ни приведи на него — ничего с ним не поделаешь, потому что дело его — правое».

От этого же сыщика узнал Мрацкий, что во многих богатых усадьбах полчища бунтовщиков с самим самозванцем или с его наперсниками принимались помещиками с хлебом-солью, при колокольном звоне, с хоругвями и с образами.

Не выдержал Сергей Сергеевич и решился на страшный, роковой и многозначащий шаг. Утром следующего дня, когда Анна Павловна своей утиной походкой явилась к мужу, Сергей Сергеевич показался ей не то чересчур веселым, не то чересчур пришибленным.

Женщина вытаращила глаза: не тот был Сергей Сергеевич, каким бывал всегда... Что-то чудное приключилось с ним!

— Ну, Анна Павловна,— заявил Мрацкий,— помнишь, говорил я тебе, начинается война, когда князек самарский вздумал свататься за Нилочку. Ну, а теперь, сударыня, начинается нечто важнеющее... Видишь ты вот эту голову? — показал Мрацкий пальцем себе на лоб.—Говори, видишь?

— Вижу, Сергей Сергеевич,— глупо отозвалась женщина.— Как же мне не видеть? Ваша это голова.

— То-то моя!.. Ну, вот видишь ли ты, как, по-твоему, она: на шее на моей сидит?

Анна Павловна склонила голову на сторону, пригляделась к мужу и вздохнула. Изредка муж задавал ей задачи, и она кое-как старалась всегда распутаться и хоть раз или два на десять ухитрялась сообразить без его помощи, в чем дело; но такую задачу, как теперь задал Сергей Сергеевич, конечно, не ей было разрешить.

— Не пойму я ничего, Сергей Сергеевич! — отозвалась она.

— Еще бы! Тебе да понять! А ты вот что скажи, голова моя на шее у меня, на плечах или нет?

— Кажись, что так...— отозвалась Мрацкая.

— Нету, сударыня, голова моя отныне не на шее сидит, а на волоске висит... Понимаешь! Вот тебе волосок, а на волоске голова висит... И вот именно моя теперь и повисла на волоске... Повесил я ее сам этаким способом. Не ныне завтра такое вы все узнаете в Крутоярске, что все без чувствия пошлепаетесь и будете так трое суток лежать. Ахнет вся округа, в Самаре ахнут, в Питере ахнут, что за человек такой Сергей Сергеевич Мрацкий.

И при этом маленький человечек поднял кулак над головой, будто грозясь и всем соседним губерниям, и даже самой столице.

И Анна Павловна, как ни была глупа, а увидела ясно, что муж радостно взволнован.

Около полудня, несколько успокоившись, Мрацкий послал за Неплюевым.

Лакей, ходивший звать молодого человека, явился с ответом, что Никифор Петрович придет через час. И Мрацкий узнал, что тот был в отсутствии в продолжении четырех дней и только сейчас вернулся в Крутоярск.

— Где же он был? Неизвестно?

— Никак нет-с,— отозвался лакей.— Только не в Самаре... Не оттуда приехали. А уж грязны, грязны — страсть. Сказывают сами, четверо суток не умывались и трое суток якобы ничего не кушали. Так сами сказывают, смеючись.

Лакей, докладывающий об этом, не нашел в этом ничего особенного, кроме смешного. Мрацкий взглянул на подобную отлучку Неплюева по-своему.

«Только удивительно одно,— подумал он,— чего дурак болтает, а не таит этакое про себя. Такой малый, как ты, Никишка, в такие времена, как нынешние, не будет сложа руки сидеть! Что я чую, то и ты чуешь! Как мне эта мутная вода на руку — рыбку в ней половить,— какая желается или какая попадется,— так и ты, сибирный, в этой же мутной воде чаешь выловить себе что-нибудь, что пригодится на всю жизнь. Ну, вот, что ж делать, и надо нам вместе. Одна голова — хорошо, а две — еще лучше! Ты же у меня, благодаря Создателя, теперь на цепочке на крепкой, и цепочка эта — девка Аксютка! Теперь ты у меня в полном послушании. Ошибочек, какая была тот раз, не будет!»

И Мрацкий стал нетерпеливо дожидаться появления Неплюева. Прошло довольно много времени, и наконец старик Герасим, явившийся с докладом о положении двух заключенных: Марьяны Игнатьевны и Неонилы Аркадьевны, что делал ежедневно,— доложил и о том, что Никифор Петрович просит его допустить.

— Зови, зови! — нетерпеливо выговорил Мрацкий.

Молодой человек вошел в горницу и удивил опекуна своим лицом. Или он устал с дороги, или ему нездоровилось, но Никифор казался сильно похудевшим. Глаза его, умные, всегда отчасти загадочные, блестели сильнее обыкновенного, но были еще замысловатее.

За ними, под черными лохмами кудрявых волос, ясно чудились Мрацкому такие сокровенные, диковинные мысли, которых Никифор, конечно, не выложит на ладонь, но от которых не нынче завтра не поздоровится многим.

— Ну, Никифор, давненько мы с тобой не видались! — встретил его опекун.

— Дня четыре! — отозвался молодой малый, угрюмо и охрипшим голосом.

— Что — застудился, что ли? — спросил Мрацкий.

— Немножко есть. Дольше трех суток под крышей не бывал. Все под чистым небом...

— Что же так?

— Нужно было, Сергей Сергеевич! — умышленно загадкой отозвался Никифор.

— По своим делам? — усмехнулся старик.

— Точно так, Сергей Сергеевич! По своим делам. И за все время не спал почти да и не ел ничего.

— Вот как! И все по своим делам? — еще ехиднее усмехнулся Мрацкий.

— Да, Сергей Сергеевич, по своим делам! — усмехнулся тоже и Никифор, но с такой откровенной неприязнью к опекуну, как будто считал уже лишним притворяться и лукавить.

— Уж не выкрал ли ты Аксюту со скотного двора? — вдруг спросил Мрацкий.

— Нет, зачем! Ни на что она мне не нужна! Я и мысли о ней бросил.

— Почему так?

— Насильно мил не будешь! Она меня клянет, сказывает, что если бы вы приказали ей не только идти ко мне в любовницы, а венчаться со мной в храме, то она на себя руки наложит. Что ж мне с этакою тварью возжаться, время терять? А время дорого. А уж нынешние времена, Сергей Сергеевич, не то что дороги, а золотые времена!

Мрацкий почти вздрогнул от последних слов, как если бы Никифор подслушал что-либо из самых его сокровенных мыслей или выведал ловко какую его тайну. Мрацкого поразило, что молодой парень оценил дни, переживаемые ими, точно так же, как и он.

И Мрацкий отпустил от себя молодого человека, поболтав о всяких пустяках и не сказав ни слова о главном. «Да, умен, мерзавец! — подумал он по уходе Неплюева.— Голова! Иуда и Каин! Ох, обида! Был бы у меня таков мой Илья, чего бы мы не натворили! Целое царство бы завоевали, а теперь и с одной крутоярской царевной совладеть не можем».

Заявление Неплюева настолько поразило Мрацкого, что он даже не решился заговорить с ним о своем важном деле. Старик действовал как шахматный игрок. Увидя новый неожиданный ход соперника, он решил снова серьезно обдумать свой ход, уже приготовленный было совсем.

XXXII

Разумеется, колебание Мрацкого продолжалось недолго, и в тот же вечер он послал опять за Неплюевым.

— Надумались? — загадочно произнес Никифор, садясь пред ним.

— Ну, слушай! — твердо и решительно заговорил старик.— Авось хватит у тебя ума-разума рассудить мудрейшее дело, которого проще нету. Сам ты говоришь, что золотые времена пришли для таких, как ты да я... Хочешь ты, мы вместе от этих времен себе великие выгоды добудем? Я все свои дела устрою, как мне желательно, а ты разбогатеешь, станешь важным помещиком... Желаешь ли?

— Помещиком богатым здесь не стать, Сергей Сергеевич, а раздобыть много денег, чтобы потом из этих пределов бежать и на далекой стороне стать важным помещиком,— вестимо можно.

— Можно, но не легко, все-таки же...

— Вестимо.

— Ну, а хочешь, я помогу тебе, и станет оно легким делом!

— Отчего же...

— Тысяч пятьдесят чистыми деньгами хочешь ты получить?

— Что ж спрашивать, Сергей Сергеевич...

— Ну, так вот ты их чистоганом получишь. И не я тебе их дам, пойми! Нет, ты сам их возьмешь, собственными руками. А уж взявши их, пойми, ты мне поможешь в моем деле. Понял ли?

— Понял, а все ж-таки лучше скажите сызнова и потолковее.

— Видишь ли. Так надо обстоятельства подвести, чтобы ты пришел в Крутоярск, сам бы отправился в нашу кладовую и забрал бы там все опекунские деньги, какие есть наличными. А их больше пятидесяти тысяч. И вот ты их возьмешь, положишь в карман, затем меня отблагодаришь помощью... Обвенчаешь Илью с Нилочкой в храме божьем, будучи посаженым у крутоярской царевны.

Все показалось просто Никифору, но последнее обстоятельство — желание Мрацкого, чтобы он, безродный, был посаженым Кошевой, показалось ему загадочным.

— Слушай-ка, Никифор. Кто такой поднял весь край, всю сумятицу произвел и на столицу страх напустил? Кто он такой?

— Сказывают — донской казак, Пугачев, Емельян Иванович.

— Кто сказывает?

— Да все, Сергей Сергеевич.

— Врут все, Никифор! Клятвопреступники все, бунтовщики истинные! Нет никакого Емельяна Пугачева. Все выдумки немецкие, столичные! Явлен России и всему миру истинный царь Петр Федорович, чудом спасенный от смерти.

— Что вы, Сергей Сергеевич?! — вытаращил глаза Никифор.

— То-то, что вы! Пускай дураки врут и турусы на колесах расписывают. А умным людям, как я да ты, не подобает истинного царя обманным образом самозванцем звать! — проговорил Мрацкий твердо, но при этом улыбка его и взгляд маленьких глаз сразу все объяснили Никифору.

И молодой человек вдруг усмехнулся, даже отчасти добродушно.

— Что ж дальше, Сергей Сергеевич?

— Будем так сказывать: велик государь Петр Федорович! И мы за него!

— Ну, а дальше-то что?

— А дальше очень просто. Соберется скопище великое. Нету великого — хоть бы каких три-четыре сотни калмык, татар и крестьян православных. И будет оно под командою царского воеводы состоять. Соберет войско и благоустроит, давши в руки топоры и дубины, наперсник царский, звать его Неплюевым. И по указу его императорского величества шаркнет в Крутоярск. Опекун, Сергей Сергеевич, со всеми сожителями встретит посланника царского с хлебом-солью, и пойдут празднества. Потребует воевода царский что ни на есть. И все ему на подносе поднесут. Спросит воевода: «Есть у вас деньги?» Скажут: «Есть, к вашему удовольствию». Отворят кладовую, и набьет себе воевода Никифор полны карманы. А там объявит он царскую волю: указал Петр Федорович скорехонько повенчать Илью Сергеевича Мрацкого на Неониле Аркадьевне Кошевой. Сейчас попа и весь причт за хвост и в храм. В два часа времени все будет покончено, будет над всем помещица Неонила Аркадьевна Мрацкая. А мы воеводу после венца и свадебного угощения с поклонами проводим из Крутоярска. Хороша ли моя сказка?

— Хороша, Сергей Сергеевич, только всякой сказке конец полагается, а в вашей его нету.

— Какой конец?

— А что после-то будет?

— Да ничего.

— С Мрацким, с его сыном, с его невесткой, Сергей Сергеевич, понятное дело, ничего не будет. Обвенчаются и заживут себе молодые не мирно и не тихо... Ну, да это их дело! А воевода что? — спросил Никифор, усмехаясь язвительно.

Наступило молчание.

Мрацкий понял сразу вопрос, но не знал, как отвечать.

— Воевода? — заговорил он.— Что же? Кабы у него карманы пусты были! Воевода уделит десяточек тысчонок на чиновную братию, да и на волокиту, да на всяких судейских крючков — и выйдет сух из воды.

— Полагать надо,— нет, Сергей Сергеевич. Воеводе с этими деньгами придется удирать на край света, менять свое отечество и прозвище и на всю жизнь поселиться не весть в каких краях, чуть не в Немеции.

— Э... полно врать! — рассердился вдруг Мрацкий.— Во всех тех делах, что происходят и произойдут, в этой-то сумятице да неразберихе — какой черт какого лешего разыщет. Как ты полагаешь, если сотня разбойников нападет на проезжих да перебьет всех, узнается ли — кто кого как убил? И сами-то они не знают промеж себя, кто что натворил.

Наступило снова молчание и продолжалось долго. Никифор тяжело дышал, взор его блуждал кругом него, то останавливался на деревянном лице Мрацкого, сидевшего с опущенными глазами, то бродил по стенам и углам горницы. Но очевидно, Никифор ничего не видел перед собой, поглощенный одною мыслью, которая заставила шибко биться его сердце и через силу переводить дыхание.

— Сергей Сергеевич,— выговорил он наконец совершенно глухим голосом.— А если в кладовых нету этих денег или теперь есть, да тогда не окажется?

— Желаешь, дам тебе книги, по которым сам все усмотришь,— горячо ответил Мрацкий.— За последнее время оброком и всякими другими делами собралось в кладовую пятьдесят три тысячи с сотнями и десятками. И будут они лежать сохранно впредь до благополучного прибытия царского воеводы и посланника. Да сам ты, олух, рассуди, что же мне эти пятьдесят тысяч, когда все состояние Кошевой будет состоянием Неонилы Мрацкой!

И снова наступило молчание.

— Ну, Сергей Сергеевич...— проговорил было Никифор, но смолк и как бы не решался продолжать. Затем молодой малый быстро поднялся, почти вскочил с места и выговорил едва слышно: — Идет!

— Ну, вот умница! — отозвался Мрацкий таким умышленно равнодушным тоном, как если бы дело шло о пустяках.

— Не даром, стало быть, я бегал! — проговорил Никифор как бы сам себе.

— Даром ты ничего не делаешь,— пошутил Мрацкий.

— Что вы затеяли, то уже готово...

— Как так?

— Да у меня в тридцати верстах отсюда уже есть команда человек в двести, которая по моему указу хоть на город Самару пойдет. Но не думал я с нею на Крутоярск идти! Видит бог! Думал я с нею три-четыре усадьбы разгромить и тоже поискать в них, нет ли если не кладовых, то хоть сундуков каких... Ну, а вы много умнее меня надумали, попроще. Как сами сказываете, все в два часа времени обойдется. Ладно, будь по-вашему! Чрез неделю встречайте царского воеводу Неплюева, но помните одно, Сергей Сергеевич. Вот вам бог! — И Никифор перекрестился.—Коли не найду я ваших пятидесяти тысяч в кладовой, то разгромлю всю усадьбу. И даже того хуже...

Мрацкий усмехнулся и ничего не ответил.

— Смешного мало, Сергей Сергеевич!

— Знаю. Но этого не будет. Деньги лежат и пролежат до тебя в сохранности.

— Ладно. Так и будет! Только одного я и опасаюсь, чтобы меня крестьяне крутоярские не встретили тоже с вилами и топорами. Ну, а если нас числом меньше будет, так за то много мы отчаяннее. Либо одолей, либо в острог иди.

— Об этом, Никифор, не тужи и не думай,—усмехаясь произнес Мрацкий.— Завтра поутру, когда проснешься, позовут тебя в большую залу так же, как и всех прочих, и ты ахнешь от того, что услышишь.

— Что же такое услышу я?..

— Потерпи до завтра. Говорю, ахнешь.

Действительно, наутро все крутоярцы были поражены несказанно всем, что произошло в доме.

По приказу опекуна все собрались в большой зале. Царевна вышла, окруженная своим штатом, с Лукерьей Ивановной во главе.

Вся семья Мрацких и Жданов с Неплюевым явились тоже.

Впереди толпы стояла дворня, а за ней крестьяне человек с полсотни из самых умных и дельных.

Опекун Сергей Сергеевич сказал речь, в которой объяснил, что в Оренбургском краю явлен истинный государь российский Петр III Федорович, который идет на столицы воссесть на престол. Все толки, что это якобы самозванец — изменничество. И если будет сам царь или кто-либо из его воевод шествовать чрез Крутоярск, то все они обязаны встречу учинить как истинные верноподданные, с иконами и хоругвями и с хлебом-солью, при колокольном звоне.

Все отнеслись к объявлению Мрацкого одинаково радостно.

— И слава богу, что царь! А то сказывали — разбойник, душегуб.

Одна Нилочка поняла всё... Новый замысел злого опекуна поразил ее. Чего хочет он? Чью погибель затеял опять? Быть может, на этот раз — ее собственную?!

XXXIII

Наступил декабрь месяц. Бунт в крае был в полном разгаре. Вести, привозимые сыщиками крутоярского опекуна, были все диковиннее. Бунтовали давно не одни татары и всякие инородцы.

Мрацкий был доволен вестями.

«Все пуще мутится вода,— думал он.— И чем мутнее она будет, тем легче мне дело справить».

Однако Мрацкого смущало то обстоятельство, что от исчезнувшего Никифора не было ни слуху ни духу. Он уехал из Крутоярска на другой же день после торжественного объявления Мрацкого насчет явленного государя и с тех пор ни разу не известил о себе опекуна, где находится и что делает.

Дни шли за днями, не принося ничего нового, и Сергей Сергеевич начинал уже смущаться. Наконец однажды утром явился один из сыщиков и доложил Мрацкому, что в ста верстах от Крутоярска появилось большое войско, отряженное государем Петром Федоровичем под начальством графа Чернышева.

На следующий день другой разведчик привез ту же весть. Войско, под начальством графа Чернышева, двига-

лось и было уже верстах в семидесяти. Слух ходил, что оно отряжено царем для взятия города Самары.

Войско это состоит главным образом из ставропольских калмыков, вооруженных чем попало, но с ним много крестьян и несколько рядовых солдат, имеющих ружья.

Мрацкий был несколько смущен. Крутоярск лежал как раз на пути этого войска. Если Сергей Сергеевич был готов принять с хлебом-солью царского воеводу и своего сообщника Неплюева, то вовсе не был готов встретить так же графа Чернышева, очевидно, такого же истинного, каким был и сам государь Петр Федорович.

От этого графа-самозванца он мог ждать совершенно иного. Если шайка нападет на усадьбу, то что же может произойти? А между тем опекун не только не подготовил из многочисленной дворни и крестьян какую-либо команду для отпора разбойников, но, наоборот, подготовил весь Крутоярск — и село, и усадьбу — к радостной встрече любого самозваного грабителя и бунтовщика, лишь бы он назвался царским воеводой. Взяться тотчас за дело, набрать команду человек в триста и вооружить ее чем попало, чтобы дать отпор сборщикам Пугачева и его наперсников,— было бы, конечно, возможно, если бы не торжественное объяснение опекуна, сделанное им когда-то в зале. Мрацкий, быть может, первый раз в жизни окончательно растерялся и не знал, что делать. Каким образом можно было объяснить всем в Крутоярске — от главных нахлебников и дворовых до последнего крестьянина на селе,— что он только в том случае согласен признать государем вора-самозванца, если к нему явится воеводой Никифор Неплюев, а войско или шайку под командой графа Чернышева он, Мрацкий, должен теперь почесть бунтовщиками? Кто же это рассуждение поймет?! Однако на следующий день Сергей Сергеевич сразу успокоился и даже возликовал.

Новый разведчик, явившийся к нему с докладом, объяснил, что войско в полтысячи человек идет прямо на Крутоярск. Начальствует им действительно граф Чернышев, человек молодой еще, черноволосый, небольшого роста и очень строгий. По дороге он разгромил уже две небольшие усадьбы и сжег. Сказывают, из двух помещиков одного повесил, а другого застрелил. Барынь и барышень не убивает, а за собой уводит и при себе велит состоять. Но главная диковина для докладчика,— а не для Мрацкого,— состояла в том, что при этом графе Черныше-

ве состоит в помощниках крутоярский молодой барин Никифор Петрович.

Мрацкий чуть не бросился обнимать сыщика за эти известия.

Через час все в крутоярском доме ожило. Всем было оповещено от имени опекуна, что к ним идет царский воевода граф Чернышев и что надо готовиться торжественно встретить его. Всем равно тотчас же было известно, что при графе Чернышеве адъютантом состоит Неплюев.

На следующий день утром Мрацкий узнал, что к вечеру войско будет уже в Крутоярске, а воевода намерен переночевать, чтобы утром двинуться на Самару.

Действительно, в сумерки появились на селе отдельные кучки разного сброда, затем въехал длинный обоз. Как лошади и сани, так и всякого рода добро, которым был нагружен обоз,— все было имущество, награбленное накануне по усадьбам.

Спустя час уже целое скопище заняло и переполнило все село. На каждую крестьянскую избу пришлось по нескольку постояльцев, но всему скопищу, конечно, места не хватило, и гурьбы калмыков и всяких инородцев остались на улице на всю ночь и грелись вокруг разложенных больших костров. Село приняло сразу зловещий вид.

Перед полуночью, когда Мрацкий, тщетно ждавший Неплюева, уже собирался ложиться спать, к нему явился Герасим с докладом. На селе, по его словам, расположилось самое дикое, воровское скопище. Крестьян и солдат мало, больше все татары, калмыки и невесть какие шайтаны. Графа же Чернышева он видел сам, своими глазами.

— Как быть следует воевода из себя пригожий и важный. Говорят все, что зело лют,— докладывал Герасим.— Вешает, головы рубит, кнутами засекает до смерти так обстоятельно и распорядительно, что его и свои усердно очень почитают. В одной усадьбе молодого помещика он собственноручно казнил, выпалив ему в ухо из пистоли.

Неплюева Герасим тоже видел и даже говорил с ним.

— Никифор Петрович,— объяснил лакей,— состоит при графе в адъютантах, все его указы исполняет в точности и очень при нем тих и смирен, разговаривает перегнувшись. Совсем я нашего Никифора Петровича не признал! Так ласков, что удивительно! Уж когда наш головорез графа боится, так что ж с других требовать?!

Однако главного Герасим не разузнал. Мрацкий хотел увериться, чего ждал наутро, что прикажет воевода. Гера-

сим спрашивал Никифора от имени Сергей Сергеевича, какие будут распоряжения, но Никифор ответил, что ничего не знает.

— Наутро видно будет! — сказал он.

Сергей Сергеевич, нисколько не успокоенный такими известиями и даже еще более тревожась, решился, однако, ложиться спать.

В это самое время кто-то такой быстро прошел через двор, вошел в дом, поднялся по лестнице в левое крыло, где помещалась вся семья главного опекуна, и встретился в коридоре с Герасимом.

— Никифор Петрович! — ахнул старик лакей.

— Я, любезнейший! Он самый! Доложи Сергею Сергеевичу.

Герасим, всегда презиравший и ненавидевший «Никишку сибирного» и всегда называвший его даже при Мрацком просто головорезом, теперь относился к нему с особенным уважением. Герасим, веривший в доподлинность воеводы графа Чернышева, решил, что, чего доброго, не ныне завтра и «Никишка» этот попадет в царские воеводы.

XXXIV

Мрацкий, конечно, тотчас же почти выбежал в гостиную, где его ожидал адъютант царского воеводы. Старик приблизился к молодому человеку, вопросительно глядя ему в лицо, как бы ожидая, что тот объявит; но Никифор только улыбался и точно также вопросительно глядел в лицо Мрацкого. Наступила пауза, которая смутила опекуна. Пред ним стоял уже не тот Никифор, что был недавно для совещаний. На целые две головы вырос этот «сибирный» и был настолько важен, как если бы сам исполнял роль графа и воеводы.

— Ну, что ж, Никифор? — выговорил наконец Мрацкий тревожно, почти боязливо.

— Ничего, Сергей Сергеевич.

— Что скажешь? Что ж нам делать, как завтра быть? Выходить на него с образами, с хлебом-солью или ждать в доме?

— Никакого приказа от его сиятельства еще нету! — вымолвил Никифор, самодовольно ухмыляясь.

— Никифор, ты чудишь! Не грех ли тебе! Давай говорить толком.

— Вестимо, Сергей Сергеевич, мы толком и поговорим, только прежде соизвольте вспомнить, что промеж нас условлено. Что? Уже и забыли? Возьмите-ка вот ключ от кладовой, сходите туда, вернемся и побеседуем.

— Ох, голубчик! — вскрикнул Мрацкий.— Да это сейчас. Изволь! В этом ли дело?

Мрацкий засуетился. Ему не хотелось при Никифоре доставать ключ, который был в потайном ящике стола, но затем он сообразил, что обстоятельства настолько исключительны, что стоит ли того о пустяках и думать.

Через несколько минут старик уже растворил стол, выдвинул ящик, прижал какой-то гвоздик — и под отскочившей дощечкой оказались ключи. Он взял в руки один из самых больших и, улыбаясь, довольный, почти радостный, обернулся к Никифору.

— Пожалуй!.. Пятьдесят две тысячи с сотнями, почти пятьдесят три!..

И оба вышли в горницы, прошли по коридору, спустились по лестнице и, будучи уже в подвальном этаже, подошли к толстой двери, обитой железом. Замок нещадно заскрипел, и тяжелая дверь медленно поддалась вперед при их усилиях.

— Дверь умница,— весело заметил Мрацкий.— Туго идет при отворе. А назад сама бежит, только пальцем ее ткни хоть малость.

Действительно, снова толкнутая Мрацким дверь легко защелкнулась на тяжелую железную щеколду. Мрацкий зажег огня. Никифор оглянулся. Они были в небольшой на сводах горнице, аршин пять в квадрате. По стенам стояло несколько ящиков и два сундука, кованные железом.

— Тут все дребедень разная,— объяснил Мрацкий,— серебряные сервизы да какая-то иностранная посуда,— сказывают, якобы дорогая,— а нам, братец мой, вот что всего дороже!..

Мрацкий отворил ближайший сундук. Он был полон пачек ассигнаций.

— Ну, забирай! Припас ли что с собой?

Никифор усмехнулся, полез за пазуху и вынул что-то сложенное. Это оказался большой мешок из толстого полотна.

— Запасливый! — усмехнулся Мрацкий.

— Я-то? Конечно!

И оба они начали наполнять мешок ассигнациями, золотыми монетами и несколькими мешочками с серебром.

Через несколько минут дверь кладовой снова заскрипела, затем легко захлопнулась, и две фигуры среди темноты направились обратно в горницы опекуна. Поставив свой довольно большой мешок на пол у стенки, Никифор сел и вымолвил:

— Ну-с, вот теперь и рассуждать будем! Только скорей. Время не терпит, да и объяснять мне вам много не нужно. Графу все известно. Завтра поутру ждите приказаний явиться к нему, чтобы объясниться, и возьмите с собой Илью Сергеевича. Вы доложите ему о вашем желании сочетать браком сына с помещицей Кошевой. Доложите, что и она на сей брак согласна, а только так малость колеблется. После этого, как я полагаю, граф явится к вам со своими адъютантами к столу. Переговорите обо всем и на следующий день будет назначено и венчание парадное Ильи Сергеевича с Неонилой Аркадьевной. Вот и все. Хорошо бы было, конечно, кабы вы из кладовой еще бы десятков пять тысяч выдали и графу. Вы думаете, я вам так и поверил, что в других-то сундуках одна посуда, хотя бы и серебряная?

— Вот тебе господь бог! Ничего там больше нету! — воскликнул Мрацкий.

Никифор рассмеялся.

— Полноте, Сергей Сергеевич, ведь я знаю хорошо от батюшки, какие капиталы каждый год приходят в крутоярское опекунское управление со всех вотчин и поместий Неонилы Аркадьевны! Сколько этих тысяч должно накопиться в кладовой! Если я согласился взять вот этот мешочек,— ткнул Никифор пальцем к стене,— так это по моей уж совестливости. Не жалейте, будет с вас и того, что все состояние Кошевых достанется вам. Поднесите тысяч пятьдесят графу, а то как бы не вышло какой беды... Подумайте, ну, вдруг ему придет охота штурмом взять крутоярские палаты?! Что тогда будет?

— Как же это можно,— раздражительно отозвался Мрацкий.— Я его в качестве царского воеводы встречаю с хлебом-солью, а он будет насильствовать?

— Да черт ему в вашем хлебе и в вашей соли, когда он может попользоваться всем, чем сам захочет! Верно вам говорю! Сознавайтесь! Ведь опять в кладовую не пойдем... Ведь есть у вас там еще десятки, а то и сотни тысяч? По-моему, за двенадцать лет опекунского управления доходу-то должно было накопиться тысяч пятьсот, а не пятьдесят две.

Мрацкий замахал руками и рассмеялся.

— Жалею я, что не раскрыл все сундуки при тебе! Сам бы увидел, что там ничего больше нету.

— Ну, как знаете! Это ваше дело.

Через несколько минут среди полной тьмы ночи кто-то быстро шагал через двор крутоярских палат и повернул в рощицу. На спине его был мешок.

Достигнув небольшого домика-сторожки, Неплюев вошел в нее, поставил свой мешок на пол и начал хлопотать и возиться. В каких-нибудь четверть часа он разобрал пол, под которым оказалось пустое пространство, опустил туда мешок и снова заделал все.

Никифор давным-давно загодя, вскоре после своего условия с Мрацким, ночью устроил и хитро приготовил местечко для своего будущего клада. Две ночи тогда проработал он тут,— зато теперь в несколько минут все было сделано.

XXXV

Рано утром поднявшийся Мрацкий недолго ждал. С села явился какой-то молодой малый, по виду дворовый лакей. Он был прислан просить от имени графа Чернышева опекуна господина Мрацкого и его старшего сына пожаловать для объяснения в избу крутоярского бурмистра — самую просторную и чистую, где остановился царский воевода.

Сергей Сергеевич, довольный, с радостным лицом, стал собираться, приказав и сыну надеть свое новое платье. Через полчаса оба Мрацких в легоньких саночках уже выехали со двора на село и остановились у избы бурмистра. Вокруг нее стояла целая толпа крутоярских крестьян, баб и ребятишек.

Мрацкий, оглянув толпу, смутился. Все лица были неприязненные, насмешливые, злобные, и никто, ни единый человек не ломал шапки. Все глядели на Мрацкого и его сына не как на господ, являющихся в гости к воеводе, а как-то иначе.

Мрацкий хотел прикрикнуть на толпу и заставить всех снять шапки, но сдержался.

— Чудно это! — выговорил он, слегка смущаясь.

Через минуту оба Мрацкие были уже в избе. В углу на лавке сидел среднего роста черноволосый человек лет за тридцать, с усами и бородкой. С виду это был настоящий казак, каких много видал Мрацкий.

У стены стояло четверо молодцов, одинаково одетых в кафтаны и шальвары с высокими сапогами. В числе их был и Никифор. На другой стороне, на лавке, сидел крутоярский батюшка, около него дьякон, и оба они были, видимо, перепуганы.

Мрацкий в сопровождении сына вошел, быстро оглянул всех, поклонился и произнес:

— Имею честь явиться к вашему сиятельству и выразить вам мои чувства сердечные к его величеству государю, коего вы...

— Ладно, ты не болтай! — оборвал его сразу граф Чернышев.— Ты послушай, что я тебе скажу. Моя речь будет не долга. Сколько ты лет опекунствовал и сколько ты за это время себе награбил, обворовывая сироту?

Мрацкий, смутившись и побледнев слегка, хотел отвечать, но самозванец вскрикнул:

— Молчи! Мало того что ты ограбил сироту, а еще выдумал воровским образом совсем и имущество в руки забрать, надумал вот этого дикобраза,— показал он пальцем на Илью,— женить на сироте. Кроме того, за все время опекунства только кровопийствовал, православных крестьян — подданных великого государя Петра Феодоровича — всячески изводил, засекал, в Сибирь ссылал! Начать тебе теперь сказывать все, что ты, собака, за свою жизнь понатворил,— до вечера не кончим. А мне спешить надо... Ну-тко вы, ведите их!

Трое из адъютантов графа Чернышева двинулись к Мрацкому. Один Никифор стоял у стены, опустив глаза в землю.

Мрацкий, совершенно бледный, почти зеленый, и растерявшийся Илья, ничего не понимавший, оба почти бессознательно двинулись вон из избы.

Через несколько мгновений на улице произошла дикая расправа. Оба Мрацкие — и отец, и сын,— еле живые от перепугу, очутились в руках крестьян.

Через несколько мгновений оба уже висели, вздернутые на воротах избы...

Между тем граф Чернышев, объяснив батюшке и дьякону, чтобы наутро все было готово к парадному венчанию в церкви помещицы крутоярской, отпустил обоих.

— Помни, батька,— прибавил он,— чтобы все было законно! Документы мы тебе вручим и жениховы, и невестины. И все так сделай, состряпай и запиши, чтобы брак был законнее всех, какие когда-либо ты в жизни совершал.

Священник и дьякон вышли из избы на крыльцо и, оглянувшись на ворота, ахнули. Никакого шуму или крику не было на улице, пока они объяснялись с царским воеводой. А между тем здесь, на перекладине ворот, уже повисли два мертвых тела двух человек, которые сию минуту живые стояли перед ними.

Едва только самозванец и Никифор остались одни, как последний отошел от стены, сел на скамью к столу и произнес:

— Ну, Егорка, молодец ты! Не ожидал! И откуда у тебя, подлеца, важность берется? Поглядишь — и в самом деле ты какой граф Чернышев! И я бы так не сумел! Один вид чего стоит! Как ты стал Сережке выговаривать! Теперь одно только: ради Создателя в доме не осрамись. Пуще всего помни: будем за столом, не пей ты ничего. Помни, что я говорю! В случае, если ты мне все дело изгадишь, догадается Кошевая, кто ты таков есть, я тебя тут же собственными руками придушу!

— Уж это вы, Никифор Петрович, напрасно! — отозвался ряженый граф.— Сказал я вам — несколько деньков продержусь и никакого сраму не будет. А там, как все уладится, вы уж меня из этих графов увольте.

— Понятное дело. Как сказано. Завтра к вечеру после венца получишь обещанное — и ступай на все четыре стороны.

XXXVI

Около полудня Никифор явился в дом, к нему навстречу выбежало много дворни, все штатные барыни. На всех лица не было, все, казалось, ожидали себе того же, что постигло Мрацких. Никифор в нескольких словах успокоил всех.

— Никому ничего не будет, никакой беды, только вот что: ступайте скажите Анне Павловне и ее детенышам, чтобы они сейчас же собирались и чтобы к вечеру их в доме не было. Если кто из семьи Мрацких окажется завтра поутру в доме, того повесят точно так же на первой осине.

Затем Никифор велел доложить о себе Нилочке. Когда молодой человек вошел в горницу Нилочки, то едва узнал крутоярскую царевну. Молодая девушка была сильно бледна, казалась похудевшей, но лицо ее было холодно, спокойно, взгляд упорен и тверд настолько, что Никифор почти не узнал этих давно знакомых ему голубых глаз.

Сразу догадался молодой малый, что эта девочка-сирота, под впечатлением всего происходящего в доме за последнее время, постарела лет на десять, стала женщиной и женщиной решительной, с такой волей, выработанной отчаянием, какой не может проявиться вдруг в девочке в обыкновенные мирные времена.

— Неонила Аркадьевна! — заговорил Никифор.— Я к вам по самому важному делу, какие только в жизни человеческой бывают. Извольте решить свою судьбу. Я являюсь к вам от воеводы государя императора, графа Чернышева. От вашего ему ответа будет все зависеть, даже — скажу прямо — ваша собственная жизнь... в зависимости от ваших же слов и решения. Либо все будет благополучно, либо и вы погибнете почти так же, как и Мрацкие.

Говоря это, Никифор пристально смотрел в лицо Нилочки и, к своему удивлению, не заметил ничего. Бровью не двинула шестнадцатилетняя сирота.

— В чем же дело? — выговорила девушка глухим шепотом.

— Дело простое! Позвольте начать издалека...

И Никифор подробно, с чувством, которое казалось не поддельным, а искренним, тихим и сравнительно ласковым голосом стал объяснять Нилочке, что он давно, с пятнадцатилетнего возраста, любит ее.

Он никогда, конечно, не смел мечтать о том, чтобы быть претендентом на ее руку, подобно, как покойный Щепин, или князь и даже как Илья Мрацкий. Но теперь обстоятельства настолько изменились, что он, Неплюев, решился заговорить о том, что таил в себе много лет.

— Я осмеливаюсь теперь объясниться с вами,— сказал Никифор,— и просить вас ответствовать, согласны ли вы выйти за меня замуж?

Нилочка слегка изменилась в лице, чуть-чуть потупилась и молчала.

— Я знаю, что вас останавливает, Неонила Аркадьевна. Вы любили князя Льгова, собирались за него замуж, и теперь вы надеетесь, что все это устроится еще легче. Но я должен вам сказать... прошу вас приготовиться услыхать горькую для вас весть: вы за князя Льгова теперь замуж выйти не можете...

— Почему?! — воскликнула Нилочка, подняв голову и устремив на Неплюева испуганный взгляд.

— Теперь это стало невозможно, Неонила Аркадьевна... Даже господь бог, не только люди, не могут этого дела поправить. Вы слышали, что в Самаре был большой бунт,

князь командовал всякими охотниками, из коих составил дружину. Была у него битва с нашими, государевыми войсками. И от его дружины не осталось, почитай, ни одного человека. Кто убит, кто повешен, а кто убежал, потому что в начале битвы командир был... Вы, одним словом, теперь свободны.

Нилочка мертвенно побледнела, потом взяла себя руками за голову и глухо выговорила:

— Не верю я этому!

— Верно, Неонила Аркадьевна. Князя нету! В этой самой битве он был окружен... сбит с коня...

Никифор не мог продолжать, ибо в эту минуту прямо сидевшая перед ним Нилочка тихо опрокинулась на спинку дивана, а затем соскользнула на бок.

Она лишилась чувств.

Никифор вскочил, стал звать горничных, но в комнатах не было ни души. Он выбежал в коридор и, наконец случайно встретив штатную барыню Лукерью Ивановну, послал ее к барышне, а сам стал ходить из угла в угол по большой зале.

Прошло с полчаса, и та же Лукерья Ивановна вышла и позвала его.

— Неонила Аркадьевна ничего, слава богу, в себя пришла, просит вас пожаловать.

Едва только Никифор очутился перед бледной как снег Нилочкой, она вымолвила слабым голосом:

— Когда это случилось с князем?.. Сколько дней тому... Когда он был... ну, погиб когда?

— Да уже дня три-четыре... Уж и похоронили, должно быть...— отозвался Никифор твердо.

Но едва только девушка выслушала ответ, как опустила глаза, так как глаза эти ярко блеснули и могли выдать ее.

— Что ж, нечего делать,— выговорила после паузы Нилочка.— Такова моя судьба! Было у меня четыре жениха, и из них остался в живых только один... Такова, стало быть, судьба! Когда вы хотите венчаться, Никифор Петрович? — прибавила она ласково, поднимая глаза и улыбаясь.

И Никифор не сразу ответил. Он был поражен переменой, совершившейся сразу в этом красивом лице. Глаза сияли, легкий румянец набежал уже на бледные щеки, улыбка была не деланная, а искренняя. Нилочка казалась довольной и счастливой.

«Что ж это? — невольно подумал он.— Чудно. Вот бабья-то любовь!»

— Вы мне всегда нравились,— заговорила Нилочка.— Если бы не князь, то я бы, конечно, предпочла вас и Бориньке, и Илье Сергеевичу. А теперь и так все к тому же свелось... Когда же мы будем венчаться?

— Если вы согласны меня осчастливить, то завтра же! — воскликнул Неплюев.

— Я совершенно согласна. Да и пора, давно пора! Нужен мне покровитель! Времена такие наступают страшные. А ведь я здесь одна. Никого не осталось, все на том свете! А Марьяна Игнатьевна заживо мертвая.

— Так позвольте сегодня же просить вас пригласить к столу графа Чернышева, одного из его адъютантов и меня.

— Конечно! Я сейчас распоряжусь...

Никифор не вышел, а выбежал из крутоярского дома. Он чувствовал себя самым счастливым смертным.

«Ничего не понимаю,— думалось ему.— Как просто! Неужели этак любят? Узнала о смерти князя и в полчаса успокоилась... Ничего не понимаю! Вон она, девичья любовь! Недаром я ни во что ставил ее!»

И, повернув из парадных горниц в правое крыло, к себе, Никифор не вошел, а ворвался в горницу, где жил Жданов.

Петр Иванович, давно снова хворавший, страдавший от болей в ногах, сидел в углу горницы и при виде Никифора вскрикнул:

— Слава Создателю! Я сижу здесь брошен, некому стакана воды подать! Поутру я только узнал о тебе и все ждал. Жив ли?

— Как видите.

— Ну, садись, рассказывай.

— Да что ж рассказывать?

— Про все... Про Мрацких, про царя, про воеводу этого... Говори!

Никифор сел и, смеясь, произнес:

— Это все пустое. А вот что, батюшка, любопытно, что мы остались в Крутоярске на всю жизнь! Завтра в Крутоярск, и все будет принадлежать Неониле Аркадьевне Неплюевой. А свекор ее будет важно разгуливать по всем горницам! Как ни верти, а все-таки свекор! И все это ему за то, что не бросил мальчишку побочного, а приютил и воспитал!

И Никифор положил руку на плечо Жданова. Лицо его было ласково и стало красиво. Счастие и восторг преобразили его.

XXXVII

Между тем, пока пораженный вестями Жданов пытал и расспрашивал сына, за что казнили Мрацкого с сыном, какие вести о подвигах государя Петра III, Нилочка сидела, запершись в своей комнате, и писала письмо.

Написав его, она быстро оделась и вышла в сад. Какая-то штатная барыня попалась ей навстречу.

— Что вы? Куда вы, барышня? Избави бог! По всему саду татарва бродит... Убить могут! Разве это можно?

И женщина схватила Нилочку за руку.

— Не ваше дело! Ступайте к себе! — повелительно выговорила Кошевая и, оттолкнув женщину, вышла из дому.

Пройдя по дорожке, расчищенной от снега, она повернула к надворным строениям, миновала их и через внутренний двор пошла далее. Выйдя в рощицу, она пробежала ее и наконец очутилась близ храма, около маленького домика, где жил дьячок.

— Барышня! — воскликнул вышедший к ней навстречу маленького роста человечек, с рыжей бородкой и рыжими, длинными волосами, лежавшими на плечах.

— Я, Михайлыч! Сослужи мне службу, и веки вечные не забуду. Знаешь, что тут творится?

— Знаю, барышня, знаю... Страсти господни! Вам бы уехать. В Самару, что ль...

— Не могу, Михайлыч. Уж собиралась. За мной присмотр от разбойников... Поймают... Слушай меня. Я посижу тут, а ты сбегай на скотный двор, разыщи Аксюту и приведи сюда.

— Слушаю, барышня, слушаю!

— Только скорей, Михайлыч, скорей!

— В одну минуту!

И девушка осталась в маленьком домике, где пищали двое детей, а дьячок вышел и бегом пустился через рощицу.

Не более как минут через двадцать Нилочка увидела в окно ворочающегося дьячка, а вместе с ним и девушку, в которой трудно было бы признать Аксюту. Она была в нагольном тулупе, в огромных грязных сапогах и в каком-то драном сером платке, накинутом на голову.

Когда она появилась пред Нилочкой, девушка едва узнала ее,— настолько Аксюта похудела, изменилась в лице и подурнела.

— Слушай, Аксюта,— взмолилась Нилочка,— хочешь ли ты меня спасти от петли, почитай, от смерти. Кроме тебя, некого мне просить...

— Для вас, голубушка, на все пойду! — выговорила Аксюта.

И снова удивилась Нилочка. Голос девушки был другой: разбитый, хриплый.

— Возьми вот это письмо и вот деньги! Раздобудь себе подводу и ступай в Самару, да только так, чтобы тебя никто не видал, а то задержат — и все пропадет.

И Нилочка объяснила Аксюте, что она должна тайком выбраться из Крутоярска, доехать до Самары, разыскать князя Львова и передать ему записку.

— Больше ничего, Аксюта. Но этим делом ты меня от смерти спасешь. Пойми ты это!

— Будьте спокойны, барышня! Сейчас же, прямо отсюда. Никакой лошади не надо! Прямо вот в поле пешком до деревушки Карповки. А там найду лошадку и к вечеру буду в Самаре. А где стоит князь, я знаю, мне Борис Андреевич часто рассказывал...

И при этих словах слезы градом полились по лицу Аксюты... Через минуту она оправилась, отерла лицо, спрятала письмо Нилочки за пазуху и выговорила твердо:

— Будьте спокойны, барышня, к вечеру буду у князя!

К трем часам Нилочка, довольная, слегка бледная, но все-таки улыбающаяся, пожалуй, радостная, сидела в анненской гостиной с штатными барынями, одетая в светлое шелковое платье.

Она ждала гостей: царского воеводу графа Чернышева и его двух адъютантов, из которых один был уже ее как бы нареченным женихом.

Нилочка задумалась, перебирая в голове все пережитое за последнее время.

«Много ли прошло времени — всего каких-нибудь месяца три,— а сколько воды утекло!»

Царский воевода граф Чернышев и его адъютант явились и были представлены крутоярской царевне ее женихом.

И пред столом, и во время обеда гости удивили и всех штатных барынь, и Петра Ивановича своим поведением. Одна Нилочка не была удивлена, хотя чувствовала себя стесненной с гостями.

И граф, и его адъютант вели себя не только скромно и порядливо, не только вежливо, но даже чересчур похолопски смирно. Оба вдобавок будто повиновались Не-

плюеву, а в обращении с Кошевой робели, конфузились и запинались в беседе...

И только раз граф Чернышев обмолвился. Говоря об Самаре, он заметил:

— Город губернский. Улицы какие! Кабаки — и те в кажинных домах. А мой любимый все-таки на той стороне Волги. Там, как ни налижися — будочникам в лапы не попадешь.

Все удивились было, но находчивый Никифор объяснил, что граф сказывает это про мужиков. Сам же в Самаре не бывал никогда, да в своем графском состоянии и не может будочников бояться или в кабаки ходить.

XXXVIII

К вечеру Неплюев выпроводил обоих гостей и остался с Нилочкой вдвоем у нее в горницах.

Девушка была любезна с ним, казалась довольной и спокойной, и только изредка какая-то тень набегала на ее худенькое лицо, будто утомленное всем пережитым за последнее время.

Никифор, оставшись с девушкой наедине, снова начал говорить ей о своей давнишней к ней страсти, которую должен был таить ото всех.

— Напрасно,— сказала наконец Нилочка.— Все-таки следовало мне тогда закинуть словечко. Почем знать, что бы было, кабы я давно это знала... А скажите мне, Никифор Петрович,— вдруг, будто решаясь, выговорила девушка,— зачем мы спешим с венчаньем? Нельзя ли обождать день-два?.. Приготовить все получше...

Никифор взволновался сразу.

— Зачем же откладывать?!

— Да вот приготовиться. У меня и платья подвенечного нет.

— Стоит ли из-за этого ждать, Неонила Аркадьевна?!

— А мне бы очень... очень хотелось.

— Нет, уж извините... Я не могу... Да и графу надо выступать дальше, походом.

— А вы хотите, чтобы он был у нас на свадьбе? Разве без него нельзя обвенчаться?

— Простите, Неонила Аркадьевна, а я так полагаю, что вы хитрить хотите. Я же отлично понимаю, что, как граф отсюда с войском выступит, вы откажетесь венчаться со мной. Ведь я не дурак! Я знаю, вы меня не любите

теперь, я могу только надеяться, что потом полюбите, по пословице — стерпится, слюбится.

— Какой же вы подозрительный. Ну, так я вам скажу, что вы ошибаетесь совсем. Если б я не захотела за вас идти замуж, то не испугалась бы никаких угроз. А только вот что я еще скажу...

Нилочка подумала и снова заговорила.

— Видели вы Марьяну Игнатьевну с тех пор, что она заперта?

— Нет-с, не видал с того самого вечера, что приключилось это диковинное и неразгаданное несчастье с ее сыном.

— У меня до вас просьба, Никифор Петрович. Самая простая.

— Что прикажете?

— Повидайте мою бедную Маяню.

— Зачем? — спросил Никифор странным голосом, и лицо его потемнело.

— Мне хочется, чтобы вы с ней побеседовали о чем-нибудь и хорошенько ее разглядели... Вы умный человек и можете увидеть и решить,— как по-вашему: придет ли она когда в себя или на веки вечные лишена разума? Вот что мне хочется знать.

— Извольте, Неонила Аркадьевна,— глухо отозвался Никифор.— Хотя мне и не очень по душе видеть безумную женщину. Но для вас... Извольте. Когда прикажете...

— Да хоть сейчас... Я вас провожу к ней.

— Не поздно ли? Ночь ведь...

— Для бедной Маяни нет ни ночи, ни дня. Она всегда лежит на постели.

— Вы бываете у нее?

— Нет, никогда. Тяжело видеть мне ее. Я не могу. Другие все бывают.

— Говорит она?

— Говорит... Но все такое... Не совсем понятное... Редко понятно, а то надо догадаться. Чаще всего спрашивает, что Боринька и когда приедет из столицы на побывку...

Никифор не ответил, и наступило молчание.

— Так как же? — выговорила наконец Нилочка.

— Что-с?

— Пойдем мы к Маяне?

— Пойдемте. Извольте. Только я долго сидеть у нее не буду. Тяжело, как вы сами сказываете.

— Зачем долго? Вы сразу увидите все... И можете мне сказать: есть ли надежда на ее выздоровление. Минут десять довольно. А я вас подожду у дверей ее горницы.

XXXIX

Нилочка встала и двинулась. Неплюев, несколько угрюмый, последовал за девушкой. Пройдя гостиные и обе залы, они поднялись в следующий этаж и скоро были у двери горницы, где уже давно жила безвыходно сумасшедшая.

Дверь оказалась запертой снаружи.

Нилочка позвала горничную из соседней комнаты.

— Ты, Саша, теперь дежурная? — спросила она.

— Точно так-с.

— С каких пор?

— С утра. Я днем дежурю, а Маланья по ночам. Так завсегда-с.

— Когда ты входила к Марьяне Игнатьевне?

— Раз десять была и в сумерки была,— солгала Саша.

— Что она?.. Как сегодня?..

— Ничего-с... Все так же-с...

— Тиха?.. Молчит?..

— Да-с. Как завсегда... Будто все спят. Покушают и опять лягут и глаза закроют. И лежат... Редко когда Бориса Андреевича кличут. Иногда, бывает, вас тоже поминают... А то вот их... Больше никого...

— Меня? — чуть не вскрикнул Никифор.

— Да-с, вас,— ответила Саша.

Никифор вдруг стал еще угрюмее и наконец вымолвил, обращаясь к Нилочке:

— Право, не знаю, Неонила Аркадьевна, зачем вам желательно... Пожалуй, она признает меня... А ведь она не любила меня. Будет ей, пожалуй, неприятно увидеть.

— Где же ей вас узнать, Никифор Петрович,— заметила горничная.— Она никого как есть не признает.

— Ну, извольте...— вздохнув, сказал Неплюев.

Горничная отомкнула замок. Никифор вошел в комнату, а Нилочка осталась за дверью, судорожным движением замкнула замок и припала головой к дверям, трепетно прислушиваясь.

Лицо девушки сразу побледнело, грудь высоко вздымалась, и сердце стучало молотом.

«Господи! На что я иду, на какое дело!» — думалось ей.

В горнице безумной была полная тишина.

«А если ничего не будет?..» — мысленно ужаснулась девушка, прислушиваясь и трепетно ожидая.

В дверь сильно толкнули.

— Пустите!..— раздался громкий голос Никифора.

И он стал кулаком стучать в дверь.

— Пустите! Неонила Аркадьевна! — крикнул Никифор.— Не глупите! Даром не сойдет. Я понял... Вижу... Что ж? Я ее зарежу — вот и все... Отворите... Отворите...

— Барышня, слышите...— испугалась горничная.

Нилочка дрожала всем телом, но глаза ее сияли страшным блеском. И ужас, и радость вместе дико оживили ее красивый взгляд...

В горнице поднялся шум... Завязалась, очевидно, борьба... Никифор крикнул еще раз: «Отворите!» — но сдавленным от усилий голосом... Он отбивался...

Вместе с тем у самой двери стал ясно слышаться и другой голос, страшный, хрипливый, шипящий, бормотавший бессвязные слова.

Горничная в испуге бросилась бежать от дверей, а Нилочка ничего уже не слышала от ужаса, который проник в нее. Ее надежда сбывалась. Он не уйдет от нее!.. Он силен, но она, от безумья и жажды мести, еще сильнее.

Девушка знала, что делала и в чем была ее последняя надежда на спасенье от брака с безродным негодяем, ненавистным ей.

Она знала, что у Марьяны Игнатьевны давно уже одна утеха: иметь большой ножик под подушкой... Когда-то ей не давали его, несмотря на слезные просьбы, но затем, по приказанию Мрацкого, дали, и женщина успокоилась... Она забавлялась ножиком по целым дням, гладила его, целовала и называла по имени Мрацкого и Неплюева.

Нилочка вынула ключ из замка, спрятала себе за пазуху и, боясь лишиться чувств от леденящего ее ужаса, отошла от дверей горницы, но тотчас же она опустилась на пол без сил и почти без сознания...

Об дверь бились... В горнице происходила яростная дикая борьба... Наконец раздался сильный, отчаянный вопль... То был голос Никифора.

XL

Шестнадцатилетняя сирота, крутоярская царевна, спасла себя от позорного насильственного брака.

Женщина, безумная во всем, что было обыденной жизнью, была разумна в одном — в ясном сознании жажды мести. В миг узнала она врага... Одолеть ее было бы не под силу и троим, не только одному... И враг жизнью уплатил матери за жизнь безвинно погубленного им сына ее.

Граф Чернышев, при известии о страшной и удивительной погибели своего адъютанта, не только не напал на крутоярские палаты, но уехал тотчас на подводе... бежал. Скопище его было объято необъяснимым страхом и тотчас поднялось тоже и очистило село...

Однако чрез час по исчезновении толпы бунтовщиков все разъяснилось. Из Самары шла дружина охотников из дворян и мещан с сотней солдат под командой князя Льгова.

Священник недаром все заготовил в храме для венчанья... Ему пришлось пред сумерками действительно венчать крутоярскую царевну.



МИКЕЛЬ-АНЖЕЛО

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

МИКЕЛЬ-АНЖЕЛО

Тебе навеки сердце благодарно,
С тех пор, как я, раздумием томим,
Бродил у волн мутно-зеленых Арно,

По галереям сумрачным твоим,
Флоренция! И статуи немые
За мной следили; подходил я к ним

Благоговейно. Стены вековые
Твоих дворцов объяты были сном,
А мраморные люди, как живые,

Стояли в нишах каменных кругом:
Здесь был Челлини, полный жаждой славы,
Боккачио с приветливым лицом,

Макиавелли, друг царей лукавый,
И нежная Петрарки голова,
И выходец из Ада величавый,

И тот, кого прославила молва,
Не разгадав,— да Винчи, дивной тайной
Исполненный, на древнего волхва

Похожий и во всем необычайный.
Как счастлив был, храня смущенный вид.
Я — гость меж ними робкий и случайный,

И, попирая пыль священных плит,
Как юноша, исполненный тревоги,
На мудрого наставника глядит,—

Так я глядел на них: и были строги
Их лица бледные, и предо мной
Великие, бесстрастные, как боги,

Они сияли вечной красотой.
Но больше всех меж древними мужами
Я возлюбил того, кто головой

Поник на грудь, подавленный мечтами,
И опытный в добре, как и во зле,
Взирал на мир усталыми очами:

Напечатлела дума на челе
Такую скорбь и отвращенье к жизни,
Каких с тех пор не видел на земле

Я никогда, и к собственной отчизне
Презренье было горькое в устах,
Подобное печальной укоризне.

И я заметил в жилистых руках,
В уродливых морщинах, в повороте
Широких плеч, в нахмуренных бровях

Твое упорство вечное в работе,
Твой гнев, создатель Страшного суда,
Твой беспощадный дух, Буонаротти.

И скукою бесцельного труда,
И глупостью людскою возмущенный,
Ты не вкушал покоя никогда.

Усильем тяжким воли напряженной
За миром мир ты создавал как бог,
Мучительными снами удрученный,

Нетерпелив, угрюм и одинок.
Но в исполинских глыбах изваяний,
Подобных бреду, ты всю жизнь не мог

Осуществить чудовищных мечтаний,
И, красоту безмерную любя,
Порой не успевал кончать созданий.

Упорный камень молотом дробя,
Испытывал лишь ярость, утоленья
Не знал вовек,— и были у тебя

Отчаянью подобны вдохновенья:
Ты вечно невозможного хотел.
Являют нам могучие творенья

Страданий человеческих предел.
Одной судьбы ты понял неизбежность
Для злых и добрых: плод великих дел —

Ты чувствовал покой и безнадежность.
И проклял, падая к ногам Христа,
Земной любви обманчивую нежность,

Искусство проклял, но, пока уста
Без веры бога в муках призывали,
Душа была угрюма и пуста.

И бог не утолил твоей печали,
И от людей спасенья ты не ждал:
Уста навек с презреньем замолчали.

Ты больше не молился, не роптал,
Ожесточен в страданье одиноком,
Ты, ни во что не веря, погибал.

И вот стоишь, непобежденный роком,
Ты предо мной, склоняя гордый лик,
В отчаянье спокойном и глубоком,

Как демон — безобразен и велик.

I

Весною тысяча пятьсот шестого года в Риме половина площади перед деревнею, еще не перестроенною, базиликою св. Петра, была завалена громадными глыбами каррарского мрамора: они искрились на солнце, как белые

груды только что выпавшего снега с голубыми тенями. Каждый день морем до Остии, потом по Тибру к выгрузной пристани Рима приходили все новые и новые барки с мрамором. Сваленные глыбы громоздились до церкви Санта Катарина и между церковью и тем узким коридором, который ведет из дворцов Ватикана в крепость св. Ангела. С утра до вечера скрипели колеса тяжелых повозок, запряженных быками и буйволами, раздавались крики погонщиков, стучали молотки каменщиков.

Римляне, которые с древности славятся жадностью к зрелищам, толпами собирались в Борго, чтобы любоваться на эти величественные приготовления. По городу ходили разные слухи, но достоверно было одно: новый папа Юлий II заказал флорентийскому ваятелю и зодчему Микель-Анжело Буонаротти гигантскую гробницу, какой не удостаивались ни императоры, ни великие полководцы древности. На высоте трехъярусного мавзолея, окруженного кариатидами, аллегориями всех искусств и наук, мраморными колоссами и титанами, среди которых должен был восседать, подобный чудовищному двурогому демону, длиннобородый гигант, разгневанный, готовый разбить скрижали, Моисей,— вознесутся два изваяния, исполинская Кибела, богиня Земли, плачущая о смерти папы, и ликующая о его переселении в лучший мир Урания — владычица Неба: они будут поддерживать гроб Юлия. Благочестивые люди находили кощунственным подобный замысел — две языческие богини, несущие на руках своих саркофаг наместника Христова, служителя того бога, который пожелал родиться как нищий, на соломе, в приюте пастухов, чтобы проповедать людям любовь к бедности. Для новой гробницы старая базилика Петра, древняя святыня христианского мира, оказывалась малой и тесной: Юлий, желая построить новую, более просторную и пышную, не задумался разрушить тысячелетние стены храма, основанного во времена Константина Равноапостольного. Он поручил это дело своему любимцу, человеку на все готовому, расторопному и угодливому — Браманте из Урбино, бывшему придворному архитектору герцога Людовико Моро.

Когда однажды старый поселянин из Кампании, несколько лет не бывавший в Риме, зашел в церковь св. Петра помолиться и увидел, как низвергнута и опозорена древняя святыня,— он не мог удержаться от слез. Пыль столбами подымалась между деревянными лесами. На

груды извести, мусора и щебня навалены были обломки порфировых колонн; гробницы древних святителей церкви Христовой были разрыты и прах костей их развеян по ветру: мозаики, над которыми работали поколения искусных мастеров, были разбиваемы молотками поденщиков, и жалко было смотреть, как их нежная, драгоценная чешуя осыпается под ударами каменщиков. Браманте ничего не жалел, ни перед чем не останавливался. Новые люди закладывали основание нового храма.

Угождая своеволию папы, архитектор заставлял рабочих приготовлять известь и кирпичи, обмазывать цементом куски травертина ночью при свете факелов, чтобы днем, на глазах Юлия, как бы волшебством, вырастали из-под земли новые стены: чудотворный строитель мало заботился о прочности, только бы обмануть нетерпение своего повелителя.

Папа торопил ваятеля не меньше, чем зодчего. Римляне указывали друг другу на подъемный мост за церковью Санта Катарина, соединявший коридор Ватикана с домом и мастерскою Микель-Анжело: Юлий во всякое время дня и ночи, никем не замеченный, мог приходить к художнику, беседовать с ним наедине и следить за его работой. Прелаты и кардиналы завидовали пришельцу, флорентийскому «выскочке», каменотесу, которому первосвященник оказывал такие милости.

Надолго ли? У Микель-Анжело опасные враги: хитрый Браманте нашептывает папе злые речи и старается охладить его к мавзолею. Ему удалось оттеснить от постройки собора Джулиано да Сан-Галло, призвавшего Буонаротти к римскому двору; теперь очередь за Микель-Анжело.

II

Однажды, в начале апреля, в тихое солнечное утро, из тех, какие бывают в Риме, когда в городе пахнет свежестью окрестных полей и к небу возносится, как пение, звон колоколов, двое каменщиков вели беседу, сидя за работой среди белых обломков мрамора. Один был старый генуэзец, по имени Грилло, из небольшого местечка Лаванья, к северу от Каррары, где Микель-Анжело нанял лодочников и гребцов, чтобы перевозить камень в Рим, другой — юноша, по имени Чьопполи, каменотес из флорентинского предместья Сеттиньяно.

— Что, как вино у монны Пипы? — произнес Грилло, постукивая молотком и щуря от мраморной пыли и солнца воспаленные веки.

— Сказать правду — кислятина. Монна Пипа такая же пройдоха, как все эти трактирщицы. Но есть у нее просоленая рыбка,— как ее наешься, то так захочется пить, что, кажется, вылакал бы целый монастырский погреб, и уж всякое вино тогда покажется вкусным... Ничего, мы вчера изрядно напились, еще сегодня голова трещит. Подлеца Амброджио за ноги вытащили из-под лавки. Весело было. Пойдем-ка сегодня, куманек, к монне Пипе. Будешь доволен.

— Куда мне, старику! — тяжело вздохнул Грилло,— ты человек холостой, одинокий, у тебя мысли веселые, а у меня на сердце кошки скребут. Дома, в Лаваньи, жена да две дочери на выданье. Может быть, они без меня уже с голоду померли или по миру пошли, если только, не дай бог, чего-нибудь хуже не приключилось. Долго ли до греха с молодыми девками. Эх, поскорее бы домой, право. И чего нас держать? Получить бы деньги по расчету...

— Ну нет, братец, деньги ты не так-то скоро получишь. Теперь у хозяина денег мало, и бог знает, когда будут.

У Грилло вытянулось лицо, маленькое, загорелое и сморщенное, как печеное яблоко; он беспомощно заморгал красными веками.

— Что ты, что ты, Чьопполи! Да избавит нас св. Георгий от такого несчастья. Мы люди бедные, нанимались по уговору. Мессэр Микельаньоло господин добрый и честный, он нас не обманет...

— Он-то не обманет, да его самого обманули, а ты знаешь, Грилло, что на папу суда нет и жаловаться некому.

— Да ведь папа любит хозяина; я слышал, что он вперед дал тысячу скуди.

— Что дано — истрачено, а больше не дает...

— Объясни же мне, Чьопполи, что случилось. Ты лучше меня знаешь здешние дела.

— Неладно, Грилло. Черная кошка пробежала между папою и Микельаньоло.

— Кто же их поссорил?

— Браманте, архитектор собора. Знаешь, такой важный господин, тучный и лысый, ездит на белом муле в шелковой упряжке, и щедрый, никогда меньше не дает на выпивку, как по сольди...

— Знаю, он мне намедни серебряную монету бросил на улице Банки за то, что я ему низко поклонился.

— Ну, вот, вот. Это, видишь ли, ловкий пройдоха, в одно ухо влезает, в другое вылезет. Он-то и роет яму нашему хозяину.

— А за что он его невзлюбил?

Чьопполи на минуту остановил молоток и с таинственным видом наклонился к уху товарища:

— За то и невзлюбил, что тут, братец ты мой, дело нечистое. У Браманте губа не дура. Синьор щедрый и великолепный. Такие пиры задает, что и герцогу впору. Деньги ему всегда нужны до зарезу. У жидов кругом в долгу, а привык, чтобы куры у него червонцев не клевали. Папу обманывает и разоряет казну. Здания возводит непрочно; говорят, лет через десять стены трещины дадут. Папа на него не нарадуется, потому что скоро строит, скоро, да не споро, все на песке. А мессэр Микельаньоло насквозь его видит, все шашни его знает. Микельаньоло человек правдивый и неподкупный. Браманте и боится, чтобы наш-то хозяин его не обличил, на чистую воду не вывел, и наушничает, и уверяет папу, что строить себе гробницу при жизни — дурная примета: значит, мол, смерть себе пророчить. Папа испугался, гробница ему опротивела, и денег больше не дает. Каменщиков, лодочников наняли, мрамору навезли гору, заварили кашу, а кто расхлебает — бог весть... Я так полагаю, что еще не скоро ты вернешься в Лаванью, Грилло...

— Тише, тише, Чьопполи, хозяин.

И они усердно принялись за молотки.

III

Сопровождаемый толпою подрядчиков, плотников, барочников, каменотесов, которые спорили, кричали, приставали, лезли со счетами, ругались, божились и требовали денег, подходил человек с уродливым и угрюмым лицом, в старой и пыльной одежде из черного бархата.

— Как вам будет угодно, мессэр,— говорил главный подрядчик,— а мы больше ждать не можем. Мы, как честные люди, нанимались. Пожалуйте расчет.

— Ежели его святейшество...— пробовал возразить человек, осаждаемый толпою.

— Мы не к его святейшеству, а к вам, мессэр...

— Я обещаю вам...

— Обещаниями сыт не будешь. Не за обещаниями мы пришли, а за деньгами. С голоду нам помирать, что ли?

— Не обижайте нас, синьор,— молили жалобные голоса,— мы вам правдою служили. Пожалейте, отпустите душу на покаяние.

— Слушайте, вот вам мое последнее слово, и оно твердо. Подождите до завтра. Я в последний раз схожу к папе, и если он не заплатит, я вам из собственных денег отдам все до последнего сольди. Не бойтесь,— за мною не пропадет. Я вас нанимал, я и заплачу, если бы даже мне пришлось заложить дьяволу душу и тело.

Молвив так, он повернулся и пошел к своему дому между глыбами мрамора по узкой дорожке, усеянной белыми осколками, которые хрустели под ногами как плотный снег в морозный день.

Это был человек лет за тридцать, роста ниже среднего, крепкого и костлявого телосложения. Голова казалась громадною, борода была жидкая, черная и жесткая, такие же волосы, нижняя губа выступала вперед с выражением угрюмой надменности; вокруг некрасивого рта были злые, страдальческие складки; под редкими бровями маленькие, серые, холодные, как свинец, широко расставленные глаза отталкивали тех, кто с ним говорил, подозрительным и тяжелым взглядом. Но особенное безобразие придавал ему расплющенный нос. Во Флоренции, когда он был мальчиком, живописец Торриджиани, человек грубого, зверского нрава, в драке, начавшейся из-за насмешек самого Буонаротти, кулаком раздавил ему носовой хрящ. Художник остался изуродованным на всю жизнь, сознавал это и мучился.

Подойдя к двери дома за церковью Санта Катарина, Микель-Анжело постучался. Ему отперла старая служанка, стряпуха с засученными рукавами и подоткнутым платьем.

— Посланный от казначея был? — спросил он старуху.

— Не был. Погонщики мулов за деньгами приходили, кричали да ругались, я едва выпроводила.

В доме пахло чадом оливкового масла: приготовлялся обед для множества рабочих, плотников, мраморщиков, нанятых во Флоренции. Проходя в мастерскую, он с отвращением и скукою заглянул в большую комнату, наполненную постелями, скарбом, утварью, инструментами поденщиков, живших в доме. Теперь все эти люди остались у него на руках, и он не знал, что с ними делать.

В мастерской было тихо и светло. Он вздохнул с облегчением, почувствовав привычный приятный запах влажной глины и мраморной пыли. За деревянными подмостками белели грубые неясные глыбы, едва тронутые резцом, но глаз художника уже различал в них скрытые образы. Он взял резец, молот и сделал несколько ударов.

Работа не дала ему забвенья,— в сердце не было спокойствия. Он сошел с подмостков, приблизился к столу и начал пересматривать чертежи, планы злополучной гробницы, оказавшиеся теперь ненужными и бессмысленными. Среди них попался ему голубой тонкий лист бумаги; это был любовный мадригал единственной женщине, которая всю жизнь была верна другому, как он был верен ей. Наивная, чувствительная надпись, достойная влюбленного мальчика, гласила на полях: «*Delle cose divine se ne parla in campo azzuro.*— О небесных вещах следует писать на бумаге небесного цвета».

Милые жалкие рифмы, затерянные среди унылых счетов лодочников и плотников. Улыбка озарила на мгновение его суровое, безобразное лицо.

Он взглянул в окно и по знакомой тени соседнего дома в переулке увидел, что солнце перешло за полдень. Надо было идти во дворец немедля; в этот час папа кончал обед и его наверно можно было застать. Он посмотрел на свою одежду, запачканную во время работы, старую и пыльную, с истертыми локтями; на груди болталась пуговица, готовая оторваться, висевшая на тонкой нитке: служанка все забывала ее пришить. Люди считали его высокомерным и презрительным, но на самом деле ему достаточно было всякой мелочи, чтобы покраснеть и смутиться как школьнику. Он вспомнил с горечью, как недавно папа приходил к нему в мастерскую для простых дружеских бесед, тогда он не побрезгал бы его домашней одеждой. Ему стало досадно и противно вынимать из гардеробного шкапа свое единственное придворное платье голубого шелка с пышными разводами. Он поскорее собрал необходимые планы и счеты и, уже заранее сердитый и мрачный, пошел во дворец, как был в старом камзоле.

Недалеко от бельведера, на веселой широкой лестнице, недавно построенной папским любимцем Браманте великолепно и непрочно, ему попался навстречу сам строитель, окруженный толпою льстивых поклонников и друзей. Архитектор возвращался от папы довольный, обласканный, должно быть, получил много денег. Паж, тонкий и стройный, как молодая девушка, нес за ним большие свитки

планов и чертежей. Браманте был одет и держал себя как царедворец. Складки великолепной одежды, самоуверенная, почти юношеская осанка, умный взор живых глаз, мягкие седые волосы, обрамлявшие широкий голый череп, истинный лоб древнего мудреца Пифагора или Архимеда, придавали красивому старику выражение приятной и благосклонной важности. Он говорил с молодым епископом о своей новой кобыле, купленной у приезжего турка-барышника Мустаффы, красавице, сводившей с ума всех наездников Рима. Потом обернулся он к собеседникам и стал приглашать их на ужин.

— Только что получены куропатки из Муджелло, и вы отведаете, друзья мои, нашего доброго ломбардского вина — монтебриантино. Оно поспорит с лучшим корсиканским...

Браманте увидел всходившего по лестнице Буонаротти. Старик, сняв берет, с изысканной, несколько преувеличенной вежливостью поклонился молодому сопернику, который ответил холодным, сдержанным поклоном.

Микель-Анжело шел по бесконечным коридорам и галереям Ватиканского дворца: в то время они перестраивались; художник невольно любовался созданием соперника, легким, как светлый сон, изящным и непрочным: Буонаротти предвидел, что эти стены обрушатся лет через двадцать, если их не укрепить контрафорсами. Пахло сыростью новой штукатурки; всюду возвышались деревянные леса.

Он подошел к дверям, у которых стоял на карауле швейцарец с копьем и арбалетом. Внимательно посмотрел он в лицо Буонаротти, должно быть не сразу узнав его, потом извинился и пропустил.

IV

Микель-Анжело вступил в обширную полутемную залу, служившую столовой папы; на сводах мерцали старинной позолотой фрески Джиотто. Стены увешаны были драгоценными фландрскими коврами, аррацами с тусклыми, нежными, мягкими красками, с изображением языческих мифов — похищения Европы, смерти Адониса. Внизу по стенам шли скамьи с высокими точеными спинками из темного дерева.

Папа кончил обед и занимался делами. Секретарь читал депеши из Болоньи. Царствовала тишина. Кардиналы

и немногие придворные, сидевшие за столом, перешептывались шепотом. В душном воздухе был тонкий запах обеденных пряностей. Слуги, приходя и уходя по знаку церемониймейстера, скользили неслышно, как тени. Придворный лейб-медик держал пузырек лекарства и осторожно отсчитывал капли в стакан вина, приготовленный для папы. У самых ног его святейшества, на шелковой вытканной золотом подушке сидел странный юноша необычайной красоты, не то шут, не то вельможа, в полудетской, полуженской одежде, с белокурыми, длинными локонами, с прелестными, лукавыми глазами, в которых сияла нега. Он небрежно и тихо, так, чтобы не мешать деловому чтению, перебирал струны лютни. То был всемогущий баловень грозного Юлия, семнадцатилетний ганимед ватиканского Юпитера, сиятельнейший спальничий, камерьер Аккорзио, который обладал ключами от сердца папы так же, как папа обладал ключами неба.

Луч солнца скользил по столу, дробился в хрустальной чаше с недопитым вином, играл на маиоликовом блюде, задевал серебряную белую бороду Юлия, которая выделялась на пурпурном бархате широкого папского наплечника, и сверкал в большом рубине перстня на исхудалой, бледной руке старика. Он сидел немного сгорбившись, опираясь обеими локтями на ручки кресла, отодвинутого от стола. Голый череп покрывала надвинутая на лоб бархатная скуфья такого же темно-красного цвета, как наплечник. Пороки и болезни оставили следы свои на этом изнуренном лице с ввалившимися щеками. Но тонкие губы все еще были сжаты с выражением неодолимого упорства, закоренелой привычки к самовластию, и под насупленными бровями в глубоких впадинах глаз светился огонь воли, не побежденной ни пороками, ни болезнями. Взор этих глаз был страшен, когда они сверкали гневом.

Микель-Анжело входил в столовую. Секретарь кончил чтение болонских депеш. Юлий заметил Буонаротти, бросил на него исподлобья быстрый, недовольный и скучающий взгляд. Художник понял, что пришел не вовремя; ни с кем не заговаривая, одинокий и надменный, остановился он у окна, ожидая очереди, как проситель.

К папе приблизился юркий, жирный, круглый, как шар, с грязными руками, болтливый старик, придворный золотых дел мастер. Он говорил о покупке драгоценных камней для украшения недавно заказанного Юлием креста к алтарю Сикстинской капеллы.

Папа, не слушая, закрыл усталые веки. Ювелир прекратил болтовню, думая, что папа уснул. Тогда Юлий открыл глаза и молвил сердито:

— Остались деньги?

— Нет, ваше святейшество, я истратил все, что было назначено. Осмеливаюсь просить ваше святейшество о прибавке: армянин Джем предлагает за дешевую цену два карбункула и смарагд, ежели ваше святейшество...

— Довольно,— с нетерпением махнул папа рукою,—говорю: довольно, отстань!

Ювелир переминался с ноги на ногу и хотел возразить, но папа крикнул:

— Убирайся к черту и помни, больше я не дам ни гроша, ни на малые, ни на большие камни...

Микель-Анжело понял, что значат эти «большие камни», понял, что намек был обращен к нему.

Когда наступила очередь, он подошел к Юлию с чертежами, планами и счетами. Папа взглянул на них брезгливо:

— Некогда,— молвил он, зашевелившись на кресле,—приходи в понедельник.

— Святой отец,— возразил Микель-Анжело спокойным твердым голосом,— не угодно ли вам будет посмотреть на эти счета? Рабочие требуют платы: по справедливости, нельзя им долее отказывать. Велите казначею выдать деньги, или я должен буду заплатить за мрамор для вашей гробницы из собственного имущества.

Юлий пристально, как будто удивленно, взглянул на Микель-Анжело. Художник, не потупившись, выдержал этот взгляд.

Все замерли в ожидании. Аккорзио, оставив мандолину, поднял голову с лукавым и веселым любопытством.

Юлий промолчал, только отстранил рукою положенные пред ним планы и счета, так что они упали на пол. Потом, не обращая на Буонаротти внимания, как будто забыв о нем, он поднялся с кресел; два молодых прелата подскочили и поддержали его под руки, третий подал ему палку, и, опираясь на нее, быстрыми, еще бодрыми шагами папа направился к выходу из приемных зал во внутренние покои для краткого послеобеденного отдыха.

Буонаротти побледнел, судорога ярости исказила его губы. Чувствуя на себе насмешливые взоры пажей, лакеев и конюхов, он должен был наклониться, чтобы подобрать с полу упавшие бумаги.

V

Он вернулся домой и тотчас же написал своему старому флорентийскому другу, мессэру Бальдазару Бальдуччи, который заведовал делами в римском банке мессэра Галли, и попросил у него взаймы двести золотых имперских дукатов. В тревоге стал он ожидать ответа, с горечью думая о возможности отказа и новых унижений. Но даже если бы Бальдуччи согласился, Микель-Анжело был разорен: чтобы заплатить долг, ему надо продать дом во Флоренции, в котором жили старый отец его и братья. Он вспомнил долгие годы лишений, которые добровольно терпел, чтобы обеспечить семью, вспомнил восемь месяцев, только что проведенных им в каменоломнях Каррары. Лихорадки, изнурительная работа то под жгучим солнцем, то под ледяными дождями едва не сломили его крепкого здоровья. Имея двух слуг и одну лошадь, в продолжение всего этого времени он ничего не получал от папы, за исключением насущного хлеба. Он не был скуп, но расчетлив, деловит, как истинный флорентинец, знал цену деньгам и отказывал себе во многом, мечтая о будущей независимости и спокойствии. Так он был воспитан в доброй честной семье, где с молоком матери передавалась привычка свято чтить свое и чужое имущество.

Наконец пришел посланный с ответом из банка. Бальдазар Бальдуччи в краткой и любезной деловой записке обещал прислать деньги на следующее утро.

Микель-Анжело, успокоившись, опять взошел на подмостки и взял резец. Мало-помалу работа увлекла его. Статуя была одним из «Связанных невольников», олицетворений искусств, которые должны были стоять на четырехугольных выступах мавзолея. Этими изваяниями художник хотел сказать, что смерть, похитившая Юлия, заковала цепи искусства и лишила их надежды когда-либо найти подобного ему покровителя. Теперь художник без горькой усмешки не мог вспомнить этой аллегории. Но не все ли равно? Предчувствуя, что гробница не будет окончена, он работал для себя, бесцельно и бескорыстно, не думая о папе. Он забыл про все. Удары молота были так сильны, что, казалось, вся статуя разлетится вдребезги. Осколки мрамора сыпались дождем.

Приходила служанка и звала его ужинать; он не пошел, только взял кусок хлеба, торопливо съел его, не сходя с подмостков, и опять принялся за работу. Твердый камень становился все мягче, таял как воск. Ваятель осво-

бождал из-под каменной оболочки скрытый образ. Молодой невольник закинул голову с отчаянием, все члены, все жилы и мускулы были напряжены в бесконечном усилии, чтобы порвать узы, которые врезывались в тело.

Художник оставил работу поневоле, когда наступили сумерки, засветил огонь и до поздней ночи просидел над любимой книгой, «Божественной комедией», с которой никогда не расставался, так же, как и с Библией. В эту ночь написал он гордые стихи, посвященные Данте:

Dal mondo scese ai ciechi abissi

. . . .

Pur fuss'io tal! ch'a simil sorte nato,
Per l'aspro esilio con la virtute,
Darei del mondo il piu felice stato

Из мира сошел он в темные пропасти,
Людям открыл вечные тайны,
Но подвиг остался без награды;
Неблагодарный народ не понял и отверг его.
И все же пусть бы я был таким: за его судьбу,
За его суровое изгнание и добродетель
Я отдал бы самый счастливый удел на земле.

Ночь начинала бледнеть, когда Микель-Анжело лег на жесткую бедную постель для недолгого отдыха, как он это часто делал, почти не раздеваясь, не снимая обуви.

Утром Буонаротти призвал лодочников, плотников, каменотесов и заплатил все, что был должен, до последнего сольди.

VI

В назначенный Юлием день, т. е. в понедельник, пошел он опять во дворец. Ему сказали, что папа едет на охоту в Альбанские горы. Двор был полон веселых звуков рогов, лаем собак, криками доезжачих, шумом и трепетом соколиных крыльев. Микель-Анжело увидел издали, как Юлий, в странном для духовного лица охотничьем наряде, в больших ботфортах, в шляпе с перьями и кожаном панцире, подобный старому полководцу, садился на великолепного коня. Аккорзио держал стремя. Папа казался оживленным и что-то на ухо говорил своему любимцу, который улыбался тонко и двусмысленно, как женщина. Буонаротти понял, что теперь Юлию не до мыслей о гробнице. Он пришел во вторник. Папа еще не возвращался с охоты. Пришел в среду и в галерее встретил знакомого

секретаря, который предупредил его, что его святейшество в дурном расположении духа, так как из Болоньи нехорошие вести; он только избил костылем епископа Анконского. Из приемной выходили придворные с растерянными лицами, и Микель-Анжело услышал, как французский посланник с улыбкой говорил своему собеседнику, упитанному, жирному и безмятежному капеллану:

— *Mais il est terriblement cholerique, votre pape!* [1]

У Буонаротти была еще надежда, что если удастся напомнить папе о счетах, то он, скрепя сердце, заплатит. Во что бы то ни стало решил он добиться свидания на следующий день, в четверг.

Но когда подошел к двери приемной, его остановил «палефреньер», папский конюх.

— Извините, синьор. Мне не приказано пускать вашу милость...

Один из епископов Лукккских, находившийся в передней, услышав эти слова конюха, прикрикнул на него и сказал:

— Как ты смеешь, грубиян! Ты верно не знаешь, с кем говоришь. Это мессэр Буонаротти. У него пропуск во всякое время.

— Вы ошибаетесь, синьор,— отвечал палефреньер невозмутимо,— я очень хорошо знаю мессэра Буонаротти, но мой долг, не рассуждая, исполнять приказания папы и моих начальников.

Микель-Анжело не верил ушам своим. Ему казалось, что все это он видит в дурном сне. Ничего не ответив, повернулся он, пошел домой и написал папе следующие строки:

«Блаженнейший отец. Сегодня по вашему приказанию я был выгнан из дворца, а потому объявляю вам, что с этого часа, если пожелаете меня видеть, то вам придется искать меня в другом месте, а не в Риме».

Он отправил это письмо камерьеру Агостину Скалько для передачи папе.

Призвав двух верных слуг, давно у него живших, старших надзирателей за рабочими, плотника Козино и мраморщика Антонио, он сказал им:

— Ступайте, отыщите какого-нибудь жида, продайте все, что есть в этом доме, и приезжайте ко мне во Флоренцию.

---

[1] Но он — ужасный холерик, ваш папа! *(фр.)*

Потом отправился в гостиницу «Трех мавров», где останавливалась почта, взял место в неуклюжей и неудобной почтовой карете, запряженной четверкой заморенных кляч, и через два часа выезжал из Рима по дороге на север. Его спутниками были угрюмый и молчаливый аптекарь из Перуджии, старый еврей-ростовщик с лицом ветхозаветного патриарха, монах-чертозианец, веселый и вертлявый, все время убеждавший еврея креститься, и толстая, белолицая мызница с корзинкой яиц, множеством узелков, которая боялась нападения разбойников или турок. Микель-Анжело был рад, что никто его не узнает, но все-таки опасался и успокоился окончательно только тогда, когда отъехали на несколько миль от Рима. Кругом на необозримое пространство до амфитеатра Сабинских гор, с грозным обрывистым утесом Рокка-ди-Папа, как туманное море, мягкими, зелено-синими волнами холмов, расстилалась Кампанья. Кое-где на ясном небе чернела сторожевая башня непокорных феодальных баронов Священной области,— Колонна, Орсини, Савелли. Над тихими развалинами и сломанными пролетами акведуков, тянувшихся до самого Фраскати, реяли черные крикливые стаи галок и ворон.

Микель-Анжело, радуясь тишине и свободе, с наслаждением вдыхал крепкий, как вино, сладкий, как мед, запах диких трав. Все, что с ним произошло на службе папы Юлия, казалось ему теперь далеким воспоминанием.

Дорога медленно поднималась в гору. Он любовался облаками, лежавшими на горизонте равнины. С детства любил он отыскивать в этих белых громадах образы, как бы статуи неведомого ваятеля, которые величием превосходят все, что может создать человек. И он вспомнил, как однажды, глядя на каменоломню Каррары с высокой горы над морем, задумал высечь в скале исполинскую статую, чтобы мореплаватели видели ее издалека. То была греза художника, такая же бесцельная, как эти мгновенные, чудовищные и пленительные очертания нагроможденных облаков.

VII

Наступила ночь, когда почтовая карета, дребезжа и звеня, въехала в плохо мощенные, тесные и узкие улицы маленького города, старой крепости Поджибонси, первого местечка, принадлежащего Флоренции, в восемнадцати или

двадцати милях от города. Микель-Анжело решил остановиться и отдохнуть до утра, считая себя в безопасности здесь, на земле, принадлежавшей флорентинцам. Правителем города, подеста, был его приятель Федериго Старно.

Буонаротти остановился в маленьком альберго под вывеской «Оловянного блюда», недалеко от ратуши. В громадной сводчатой кухне пылал очаг, играли в кости, распевали песни и пьянствовали доганьеры, чиновники таможни и наемные солдаты из Сан-Джеминьяно. Хозяин объявил, что все постели заняты лошадиными барышниками, спешившими на сиенскую ярмарку, и отвел гостя в тесную душную горницу, где, на необъятном ложе, подобии катафалка, заливались храпом трое спящих; он указал Микель-Анжело на оставшееся свободное место с края постели и обещал дать отдельную подушку, уверяя, что «ежели немного потесниться, то будет просторно». Гость предпочел устроить ночлег у окна на широкой деревянной скамье, завернувшись в дорожный плащ и подложив под голову вместо подушки кожаную сумку с чертежами и бумагами.

Давно уже не спалось ему так сладко, как в этой дрянной гостинице, первую ночь на свободе и в родной земле.

Петухи пропели, звезды начинали бледнеть, и в часовне св. Петрониллы прозвучал колокол, когда послышался громкий стук в ворота альберго, крики богохульства, топот лошадиных копыт. Микель-Анжело вскочил и долго не мог сообразить в темноте, что с ним и где он: он все забыл во сне, и ему казалось, что он еще в Риме, в своей спальной комнате рядом с мастерской. Затем вспомнил и подумал, что это внизу, в кухне буйствуют пьяные доганьеры. Но по лошадиному топоту в соседнем переулке скоро догадался, что дело не ладно, должно быть, за ним приехали посланные от Юлия. Сердце его забилось чаще: он хорошо знал, что поступок его с папою может стоить ему жизни или, по крайней мере, заключения в страшных подземных темницах св. Ангела. В темноте, обшарив скамью, ощупал он кожаный пояс с прикрепленными к нему ножнами, вынул кинжал и положил рядом с собою на подоконник.

Дверь горницы отворилась, и в нее просунул голову хозяин гостиницы, заспанный и растрепанный, с фонарем в руке, от которого упал колеблющийся круг света на кирпичный пол.

— Не вы ли мессэр Микель-Анжело Буонаротти из Рима? — спросил хозяин.

— Я Буонаротти из Флоренции и возвращаюсь в мой город из Рима. Чего вам нужно?

— Ах, помилуйте, ваша эчеленца, мог ли я предполагать что-либо подобное! — воскликнул хозяин с подобострастным поклоном.— О, зачем же ваша эчеленца давеча не изволили предупредить? Знаю, знаю, инкогнито... Но, поверьте, если бы я только имел счастье подозревать, что такой знатный и благородный господин делает честь моему скромному жилищу, я отвел бы покои внизу. Правда, мы ожидаем с часу на час посла яснейшей республики мессэра Джустиниани, но для вас, знаменитейший и сиятельнейший...

— Послушайте, что вам нужно? — повторил Микель-Анжело с нетерпением, слыша продолжавшиеся крики и стук.

— Курьеры, курьеры его святейшества, преображеннейшего и преподобнейшего отца нашего папы Юлия,— объявил хозяин с таинственным видом, как неожиданно радостную весть.— Я велел им отпереть с вашего позволения. Пресердитые и преважные господа, осмелюсь доложить, едва ворот не выломали, всю крепость всполошили...

— Вы окажете мне большую услугу, добрый человек,— произнес Микель-Анжело,— если немедленно пошлете кого-нибудь или сами сходите к здешнему подеста, моему другу мессэру Федериго Старно. Попросите от моего имени, чтобы он пришел со своими людьми: скажите, что мне скоро может понадобиться его помощь.

— Вашей милости нечего беспокоиться,— возразил хозяин,— я слышал голос мессэра Федериго у моих ворот. А ночью он никогда не выходит без стражи. Вот и господа курьеры...

И он пропустил в комнату пять человек с ног до головы вооруженных, в огромных ботфортах, забрызганных грязью. Трое спящих на громадной постели проснулись и вскочили: один из них, думая, что это разбойники, спрятался под кровать, другой, крестясь, шептал *Ave Maria*, третий ругался, протирая глаза.

В предводителе маленького отряда, в молодом человеке с красивым и хищным лицом Микель-Анжело узнал кавалера папской гвардии. Юноша снял черный берет с алым пером и произнес, вежливо кланяясь:

— Имею честь быть, мессэр Буонаротти, вашим покорным слугою,— рыцарь Джисмондо Брандино. Я позволил себе явиться к вашей милости с поручением от папы. Не угодно ли будет вашей синьории последовать за

нами,— лошади стоят у ворот. Не должно медлить, так как его святейшество ожидает вас с великим нетерпением.

— Папа, вероятно, уже получил мое письмо,— возразил Микель-Анжело,— я извещаю его, что навсегда уехал из Рима и не намерен возвращаться.

— Я имею письмо от его святейшества.

Джисмондо приблизился и подал конверт с привешенной на шнурке большою печатью зеленого воска, на которой изображена была тройная остроконечная митра и ключи римского первосвященника. Хозяин принес заплывшую сальную свечу на неуклюжем деревянном подсвечнике. Микель-Анжело прочел следующие слова, торопливо написанные рукою папы:

«По прочтении сего немедленно ехать в Рим или готовиться к нашему гневу.

Юлий».

— Это письмо,— спокойно произнес художник,—ни в чем не меняет дела. Вы можете передать его святейшеству, что я остаюсь при моем намерении никогда не возвращаться в Рим.

— Мессэре,— молвил Джисмондо,— говорю вам теперь не как посланный его блаженства, а как человек, желающий добра великому художнику, славе и гордости нашего отечества: исполните волю папы. Святой отец разгневан, но готов простить и оказать вам новые, еще большие милости. Я знаю, что он велел заплатить двести дукатов, которые вы в прошлую субботу заняли в банке мессэра Галли.

— Благодарю за добрый совет, рыцарь,— с усмешкой возразил Буонаротти,— но, к сожалению, вы имеете дело с человеком не менее своевольным и упрямым, чем его святейшество папа Юлий. Не тратьте же слов даром: воля моя столь же неизменна, как воля папы, и счеты мои с ним кончены.

— Мессэр Буонаротти, как мне не прискорбно, но я должен предупредить вашу милость, что в случае, если бы вы не пожелали добровольно вернуться, я имею полномочия употребить крайние средства. Надеюсь, что вы не заставите меня...

— Угроза? — перебил Микель-Анжело и быстро подошел к окну, открыв ставни, поднял подвижную раму с тусклыми стеклами и увидел у ворот альберго Федериго Старно с вооруженными людьми и толпою любопытных.

Утреннее небо светлело, колокола св. Петрониллы заливались весело и тонко.

— Мессэр Буонаротти, последнее слово: вы не желаете следовать за нами? — произнес Джисмондо.

— Оставьте меня в покое, уверяю вас, это лучше для нас обоих.

— В таком случае...

По знаку Джисмондо один из солдат приблизился к Микель-Анжело и взял его за руку. Он понял, что они хотят связать его, и оттолкнул солдата с такою силой, что он ударился о стену и едва не упал. В то же мгновение Буонаротти схватил кинжал и, выглянув в окно, приветствовал своего друга подеста громким голосом:

— Доброго здоровья, мессэр Федериго. Как поживаете?.. Нет, нет, благодарю вас, пока помощь ваша не нужна.— Потом, обернувшись к папскому курьеру, продолжал: — Слушайте, мессэр, если кто-нибудь из ваших людей тронет меня пальцем, я позову стражу подеста, и вам будет плохо. Мне довольно сделать знак, чтобы люди, стоящие у ворот, изрубили вас. Мы здесь на свободной земле. Я гражданин флорентийской республики, и горе тому, кто посмеет наложить на меня руку. Я не хочу, чтобы проливалась кровь. Ступайте же с богом, пока не случилось беды.

Джисмондо понял, что Микель-Анжело не шутит, переменил выражение лица и голоса и начал просить, чтобы он, по крайней мере, ответил на письмо папы.

Художник согласился, велел хозяину принести чернильницу и написал короткое письмо, в котором извещал, что посланные настигли его во флорентийских владениях, а потому не могли заставить ехать в Рим, объявил, что ни за что не вернется, что за верную службу не следовало оскорблять и выгонять его, как негодяя, и что так как папа не хотел дозволить ему окончить гробницу, то он считал сделанные условия уничтоженными и не желал делать новых.

Выставив число в письме, он запечатал и передал его Джисмондо. Рыцарь с церемонной испанской вежливостью поклонился и молвил: «Надеюсь, до скорого свидания в Риме», и, так как делать было больше нечего, вышел со своими людьми. Через несколько времени Буонаротти услышал удалявшийся стук лошадиных копыт.

В тот же день, среди милых нежных холмов, где извиваются серебряные кольца Арно, он увидел черепичный,

подобный громадному нераспустившемуся цветку, красноватый купол Марии дель Фиоре и темно-серую, высокую башню палаццо делла Синьория.

VIII

В это время правителем Флоренции, пожизненным гонфалоньером, был старый друг Микель-Анжело, Пьетро Содерини. Он принял художника под свою защиту.

Через три месяца пришла из Рима папская булла.

«Возлюбленные чада! — обращался Юлий к флорентинским сеньорам,— прежде всего апостольское наше вам благословение во здравие и спасение души и тела. Микель-Анжело, ваятель, который легкомысленно и необдуманно уехал от нас, ныне, как мы слышали, не смеет возвратиться. Мы не гневаемся на него, зная нрав и природу людей, подобных ему. Но для того, чтобы он отложил всякое подозрение, напоминаем вам о долге сыновней почтительности и поручаем сказать ему, что ежели бы он пожелал вернуться, то мы не причиним ему никакого зла и примем с той же милостью, какую оказывали ему до отъезда. Из Рима дано 8 июля 1506, нашего правления третьего лета».

Микель-Анжело хорошо знал, что этим великодушным обещаниям нельзя доверять, что святой отец не задумается нарушить слово, что он не раз уже преступал клятвы в делах с людьми более сильными и что милостивая булла — только хитрость, дипломатическая западня.

Содерини ответил Юлию почтительно и уклончиво, что Микель-Анжело так напуган *(impaurito)*, что несмотря на уверения, заключенные в булле, считает возвращение в Рим небезопасным. Он, Содерини, всячески убеждает и будет убеждать его возвратиться в Рим, но, вместе с тем, уверен: что, если только он перестанет обращаться с Микель-Анжело ласково и осторожно, тот непременно убежит. Два раза он уже был близок к тому.

Гонфалоньер не обратил большого внимания на первую буллу, не очень торопил Микель-Анжело ехать и надеялся, что гнев Юлия скоро потухнет.

Через несколько дней пришла вторая, еще более милостивая и настоятельная булла.

Тогда Содерини, человек безукоризненно честный, но слабый и нерешительный, призвав Микель-Анжело, молвил:

— Ты поступил с папою так, как не осмелился бы поступить с ним король Франции. Не при против рожна. Довольно упорствовать. Мы не хотим и не можем начинать из-за тебя войну с папою и подвергать город опасности, а потому просим тебя возвратиться к его святейшеству.

— Лучше я отправлюсь к великому турку, чем к его святейшеству,— воскликнул Буонаротти,— султан сумеет защитить меня от папы.

Содерини знал, что эти слова в устах Микель-Анжело — не простая угроза. Художник давно уже вел переговоры с Баязетом II через одного, приехавшего из Константинополя, францисканского монаха. Чувствуя себя как зверь, затравленный в берлоге, Буонаротти готов был на все, чтобы избавиться от страшных когтей папы. Султан предлагал ему построить мост через один из рукавов Золотого Рога, чтобы соединить Константинополь с Перою. Художнику нравилось величие этого замысла.

От Содерини пошел он к монаху-францисканцу, с которым вел переговоры,— к фра-Тимотео.

Тот принял его, как всегда, с радостью, стал угощать восточным розовым вареньем, показал новые письма из Константинополя и умолял поскорее решить дело, так как султан не хочет долее ждать и требует окончательного ответа.

— Фра-Тимотео,— произнес Микель-Анжело,— заклинаю вас, скажите мне правду, как пред богом, не потребует ли султан, чтобы я отрекся от Христа и поклонился нечестивому Магомету? Я лучше хотел бы умереть, чем не только сделать, но даже подумать что-либо подобное.

— О, будьте покойны, мессэр Буонаротти, клянусь вам святою Пасхою, клянусь спасением души моей, что султан не потребует от вас ничего противного совести. Поверьте мне, суд божий не то, что человеческий. Я жил в Константинополе, жил в Риме, и, право, мне трудно было бы решить, говорю вам по совести, где больше порочных людей,— при дворе его святейшества или при дворе его величества. Мессэр Буонаротти, все мы люди, все человеки. Я знавал язычников, которые были милосерднее и праведнее, чем те, кто называют себя христианами и повторяют мертвыми устами: «Господи, господи», а в сердце их дьявол.

— Буду ли я свободен, фра-Тимотео, свободен во всем? Позволит ли мне султан в искусстве делать то, чего я желаю?..

— Слушайте, сын мой, я прочел однажды, не помню в какой книге, что древний ваятель задумал вырубить из целой горы, стоявшей на берегу моря, статую Александра Великого, такую громадную, чтобы на ладони рук ее мог поместиться город с площадями, улицами, храмами, с десятками тысяч народа. Если бы вы задумали что-нибудь подобное, а я знаю, что великая душа ваша способна и к большему, то султан поймет вас и ни в чем не откажет — ни в деньгах, ни в людях. Этот всемогущий государь хочет, чтобы вы создали произведение, достойное вас и его; необычайное, о каком еще ни один человек на земле и подумать не смел. Султан сильнее папы, и в сравнении с тем, что он ожидает от вас, замыслы его святейшества ничтожны. У папы есть Браманте. Довольно с него. Лучшего не стоит. На вашем месте я бы показал флорентинцам-купчикам и римским папам, кто у них был и кого они лишились! О, я проучил бы их, уехал бы к султану уже для того, чтобы долго они помнили, что значит оскорблять художника. У меня и теперь душа замирает от смеха, как подумаю, какое лицо сделает папа, узнав, что ваша милость уехала к султану. Святой отец будет себе руки кусать от злобы. Да поздно,— птичка улетела, не воротишь... Итак, мессэр Буонаротти, по рукам, не правда ли? Я дурного не посоветую. Через два дня мы выезжаем отсюда, потом на корабль из Венеции. Скажите только «да» — и я сегодня же напишу его величеству.

IX

В глубоком раздумье возвращался Микель-Анжело от фра-Тимотео по тихим улицам Флоренции. В сотый раз взвешивал он на внутренних весах совести: папа или турок? Что лучше — папа или турок?

— Господи, неужели и вправду нет на земле свободы, неужели нет такого места, где бы я мог никому не служить,— ни папе, ни турку, исполняя волю своего сердца и бога?

С тяжелым вздохом поднял он глаза к небу. Недосягаемо высокие облака, круглые, мелкие, голубые, как перламутр, освещались невидимой луной: там был вечный холод, покой и свобода.

— Папа или турок? — повторил он с горькой усмешкой,— монах прав, они стоят друг друга. Не все ли равно! Нет свободы, надо быть рабом, надо терпеть и покоряться.

Он вспомнил себя, каким был в Поджибонси — бесстрашным и надменным. Трех месяцев мелких оскорблений, мелких счетов с жизнью довольно было, чтобы обезоружить его сердце, чтобы в душе его не осталось ни капли гордости. Он чувствовал себя беспомощным и слабым. Стоило возмущаться, стоило убегать из Рима, людей смешить!..

Поскорее вернулся он домой, не зажигая свечи, разделся, лег в постель, с головою завернулся в одеяло так, чтобы ничего не видеть и не слышать, повторяя одно слово: «Скучно, скучно!» Холод отвращения к жизни, к людям, к себе пронизывал его до сердца, как холод смертельной тошноты. Обессиленный и уничтоженный, без мысли, без чувства, без воли, заснул он мертвым сном.

На следующий день пришла третья булла.

Гонфалоньеру донесли о новых переговорах Буонаротти с турками. Содерини опять призвал его к себе и стал уверять, что, если он уедет к султану, Юлий наверное отлучит его от церкви. Лучше умереть от руки папы, чем жить при дворе турка. Впрочем, художнику нечего опасаться; святой отец благосклонен и требует его к себе, потому что любит, а не потому, что желает причинить ему обиду. Но если он все-таки страшится, флорентинская синьория готова дать ему титул посланника — *ambasciadore*, делающий лицо неприкосновенным.

Микель-Анжело ответил, что согласен на все и готов ехать к папе.

В это время его святейшество, не как смиренный пастырь Христовых овец, а как римский военачальник, не снимая шлема и панциря, не сходя с боевого коня, опустошил замки, города и селения непокорных вассалов и баронов церкви, завоевал Перуджию и триумфатором при кликах народа вступил в Болонью.

С титулом *ambasciadore* — посланника флорентинской республики — приехал туда Микель-Анжело 15 ноября 1506 года.

Гонфалоньер дал ему письмо к своему брату, кардиналу Содерини.

«Смеем вас уверить,— писал он, между прочим, брату,— что Микель-Анжело — человек необыкновенный, первый ваятель в Италии, если не в целом мире. Мы поручаем его вашему вниманию. Вежливостью и ласковостью можно с ним сделать все, что угодно. Но следует дать

ему заметить, что его любят и ценят. Помните, что Микель-Анжело возвращается к папе, доверившись нашему слову».

Несмотря на все дипломатические любезности, Буонаротти, по собственному выражению в одном из тогдашних писем, ехал к папе «с ремнем на шее», т. е. как собака, которую тащат насильно.

Он передал письмо кардиналу Содерини, который был болен, извинился, что не может лично ходатайствовать, и поручил одному из своих епископов замолвить слово перед папою за художника.

Буонаротти приехал в Болонью утром и пошел слушать обедню в соборе. По дороге встретили его папские конюхи. Они обрадовались и повели его во дворец.

X

В торжественной и мрачной зале, во дворце шестнадцати *(Palazzo desedici)*, папа, окруженный рыцарями и военачальниками, сидел под триумфальным балдахином из темно-зеленого бархата, по которому были вышиты золотом дубовые листья и желуди — геральдический знак Юлиева дома — дела Ровере.

Епископ, приближенный кардинала Содерини, встретил Буонаротти в дверях, положил руку на его плечо и стал успокаивать:

— Как вы себя чувствуете, сын мой? Главное, не теряйте присутствия духа. Господь милостив,— папа сегодня в хорошем настроении. Не бойтесь, уж мы за вас похлопочем.

Микель-Анжело взглянул на епископа: это был вертлявый человек с угодливым и приторным выражением лица.

— Главное, присутствие духа,— повторял он хлопотливо.— Сложите руки, смотрите его святейшеству в глаза; его святейшество любит, чтобы ему смотрели прямо в глаза. Изобразите кротость и смирение в лице...

Епископ подвел художника к престолу папы. Микель-Анжело стал на колени.

Юлий взглянул на него исподлобья и тотчас же отвел глаза. В старческих пальцах сжимал он костяную ручку своего страшного знаменитого посоха. Наконец Юлий проговорил тихо и угрюмо:

— *In cambio di venir tu a trovar noi, tu hai aspettato che veniamo a trovar te?* (Вместо того чтобы тебе явиться к нам, ты подождал, пока мы сами не пришли к тебе?)

Его святейшество хотел этим сказать, что Болонья находится ближе к Флоренции, чем Рим, и таким образом он первый приехал к Микель-Анжело в Болонью.

Художник произнес заранее приготовленные слова,— вежливо извинял свой поступок, уверяя, что не имел желания оскорбить его святейшество. Он позволил себе покинуть Рим, полагая, что более не нужен папе.

Юлий не отвечал и сидел, опустив голову. Лицо его было гневно, брови нахмурены, и судорожно подергивались углы плотно сжатого, старческого, ввалившегося рта. Наступило молчание.

Тогда угодливый епископ решил, что пора заступиться, что иначе дело может кончиться плохо для Буонаротти. Среди зловещего молчания он произнес жалобным и глупым голосом:

— Ваше святейшество, простите беднягу, не извольте на него гневаться. Такой уж народ все художники: с них и спрашивать нельзя, это люди невежественные, необразованные, ничего не разумеют, кроме своего ремесла...

— Дурак! — закричал папа таким голосом, что у епископа ноги подкосились от испуга,— ты говоришь ему дерзости, которых и мы не говорим. Невежда не он, а ты. В мизинце этого человека больше ума, чем в твоей голове. Убирайся к черту!

И он с яростью замахнулся костылем на епископа, который стоял ни жив ни мертв.

Тогда конюхи, лакеи, приспешники окружили, затерли, оттеснили его, сначала потихоньку, подталкивая под локти, потом уже не церемонясь, выпроваживая в двери, по выражению самого Микель-Анжело, который впоследствии нередко рассказывал об этом случае друзьям своим,— «лакейскими толчками».

Папа сорвал сердце на епископе. Все вздохнули свободнее. Юлий велел художнику приблизиться, поднял его и милостиво дал благословение:

— Чудак,— молвил папа, и улыбка заиграла на его губах.— Чего ты струсил? Думал, я тебя съем, что ли?

Потом лицо его сделалось серьезно, он наклонился и сказал ему на ухо быстро и тихо, так, чтобы окружающие не могли слышать:

— Не верь клеветникам, как я не верю, и знай, Буонаротти,— сколько бы ты ни жил, не найдешь ты другого человека, кто бы так любил тебя, как я.

Он обнял, поцеловал Микель-Анжело в лоб, и оба почувствовали, что понимают друг друга.

XI

Вскоре после этого свидания папа, еще находясь в Болонье, приказал художнику вылепить с него громадную статую, отлить из меди и поставить в нише над главным входом в церковь св. Петрония. Для исполнения заказа положил он в банк мессэра Антонио Мария Леньяно тысячу скуди. Буонаротти с жаром принялся за дело, и до отъезда Юлия в Рим глиняная модель статуи была готова.

Однажды папа пришел к нему в мастерскую взглянуть на работу. Святой отец был изображен благословляющим народ правою рукой, но художник не знал, что дать ему в левую.

— Не пожеласте ли книгу, ваше святейшество? — спросил он Юлия.

— Книгу! — воскликнул папа.— О, нет, я человек неученый! Не книгу, а меч. *Mettivi una spada, che io non so di lettere* [1].

Потом, указывая на могучее и грозное движение поднятой правой руки, папа, улыбаясь, спросил его:

— Что это? Благословение или проклятие?

— Ваше святейшество,— отвечал Микель-Анжело,— вы говорите жителям Болоньи, что накажете их, если они будут непослушны.

Буонаротти провел шестнадцать месяцев в тяжелом труде, лишениях и заботах, отливая статую. Наконец она была готова: над входом в церковь сидел медный папа, как живой, с грозно поднятою десницею, но в левой руке держал он не книгу и не меч, а ключи св. Петра.

Эта статуя погибла бесследно. Граждане Болоньи, которые некогда встречали восторженными криками Юлия триумфатора, по возвращении изгнанных папою герцогов Бентиволио, с яростью, бранью и хохотом стащили веревками статую на площадь и разбили ее вдребезги; герцог Альфонсо д'Эсте, большой любитель и знаток артилле-

---

[1] Вложи мне меч, поскольку грамоты я не знаю *(ит.)*.

рии, вылил из обломков громадную пушку, которая получила имя Юлия.

Микель-Анжело, окончив работу, вернулся в Рим и надеялся, что папа позволит ему продолжать гробницу.

Но враги готовили новые сети. Браманте не мог успокоиться, придумывал средства, чтобы поссорить папу с Буонаротти, и с этой целью пригласил из Урбино своего родственника, юного Рафаэля Санцио. Он угадал, что Рафаэль будет единственным соперником, страшным для Буонаротти не в скульптуре, а в живописи. Браманте решил заманить Микель-Анжело в живопись и стал нашептывать папе, что следует покрыть фресками потолок недавно перестроенной капеллы Сикста и что во всем мире нет человека, более способного к столь трудному делу, чем Микель-Анжело. Браманте надеялся, что если Буонаротти не примет заказа, то восстановит против себя папу, если же согласится, то славу его, как живописца, затмит Рафаэль.

Микель-Анжело понял намерение врагов и старался избавиться от заказа. Он убеждал папу, что следует поручить это дело Рафаэлю, что он, Буонаротти, отвык от живописи, не разумеет и не любит этого искусства. Но таков был нрав Юлия: чем больше Микель-Анжело упорствовал, тем непреклоннее становилась воля папы. Дело грозило окончиться новой ссорой. Браманте злорадствовал.

— Нашла коса на камень,— говорил он сообщникам своим, весело потирая руки.

Наконец Микель-Анжело понял, что сопротивление бесполезно, и, скрепя сердце, с отчаянием в душе, начал подготовительные рисунки.

Сикстинская капелла — узкое, длинное здание с высокими окнами, с гладкими голыми стенами без всяких украшений. Продолговатый потолок с дугообразными отвесами хорошо освещен. Желая оставить свободное место для совершения служб церковных, папа не позволил загромождать нижней части часовни. Леса надо было строить так, чтобы без подпорок они держались на высоте, соединяясь с полом только узкими, опасными лестницами.

Папа поручил Браманте постройку лесов. Он долго не знал, как приступить к этому трудному делу. Наконец придумал способ: проделал в крыше и потолке небольшие дыры, в которые пропустил канаты: на них должны были держаться легкие висячие мостики. Эта сложная сеть веревочной паутины,— хитрая воздушная постройка, была чудом искусства, но чудом бесполезным.

Микель-Анжело, увидев ее, рассмеялся в лицо Браманте:

— Что же мы будем делать с дырами, когда придется покрывать эти места живописью?

Браманте смутился, пожал плечами и ответил, что иначе сделать нельзя, если не строить подпорок снизу, чего папа не позволяет.

Тогда Буонаротти пошел к Юлию и объявил, что леса Браманте никуда не годятся.

— Ежели он не умеет,— возразил папа, бросая гневный взгляд на архитектора,— сделай сам.

Браманте почувствовал, что попал в яму, которую рыл другому.

Микель-Анжело разобрал веревочную паутину, заделал дыры, причем вынутых канатов оказалось такое множество, что бедный помощник его, плотник Козимо, которому он их подарил, на вырученные за них деньги выдал замуж двух дочерей.

Буонаротти построил леса без помощи веревок, искусно утвердив на карнизах выступы бревен и досок, соединяя их и переплетая так, что подмостки становились тем прочнее и надежнее, чем более накладывали на них тяжестей.

Эта постройка открыла глаза Браманте, научила его воздвигать леса и он воспользовался уроком, когда строил подмостки для церкви св. Петра.

Боясь, что собственных сил не хватит для выполнения замысла, Буонаротти пригласил из Флоренции живописцев — Граначчио, Буджиардино, Бастьяноди Сан-Гало.

Но скоро увидел он, что помощники бесполезны; они раздражали его упрямством и неумелостью. Мало-помалу он начал их избегать, потом отпустил совершенно, и они уехали домой оскорбленные и негодующие.

Микель-Анжело принялся за работу один, никого не пуская на леса, кроме плотника — молчаливого Козимо. Лицом к лицу с почти непреодолимыми трудностями Буонаротти отказался от всякой помощи.

Окончив первые картины, он разобрал часть подмостков, чтобы взглянуть на работу снизу, и убедился, что размеры человеческих фигур слишком малы, не соответствуют высоте потолка. Он должен был уничтожить все сделанное и сызнова начать работу.

Картина потопа была готова, когда за ночь, при северном ветре «трамонтано», на стенах, покрытых новой непросохшей известью, выступила плесень. Микель-Анжело

увидел белесоватые уродливые пятна, под которыми краски побледнели и кое-где совсем исчезли. Он побежал к папе.

— Говорил я вашему святейшеству, что живопись не мое дело. Все, что я написал, погибло. Если вы не верите, пошлите кого-нибудь.

Папа послал Джулиано ди Сан-Галло, который, осмотрев стены, понял, что Микель-Анжело накладывал слишком влажную известь: сырость, при ночном холоде, выступила плесенью; Сан-Галло утешил и научил приятеля снимать плесень так, чтобы она не причиняла вреда картине.

Это было последней попыткой Буонаротти освободиться от ненавистного заказа, последней надеждой, за которую он ухватился, как утопающий за соломинку. Случилось то, что он более всего страшился: работа увлекала его. Она изнуряла как тяжелая болезнь. Ему казалось, что он умрет, не окончив ее, сойдет с ума. Но он не мог остановиться. Невыполнимое притягивало как бездна, как безумие. Таким он был создан. Душа его презирала возможное. И он работал поневоле, с отчаянной и бесповоротной решимостью, с неимоверной быстротой, с убийственным напряжением всех сил душевных и телесных.

Он писал лежа, закидывая голову, чтобы видеть потолок. Тело его так привыкло к мучительному положению, что, когда становился на ноги, держал голову прямо, он почти ничего не видел. Зрение ослабевало: он боялся ослепнуть, страдал бессонницами и головокружениями. Чтобы читать письма и бумаги, должен был подымать их выше головы и обращать глаза кверху. По целым неделям не сходил он с лесов на землю.

Когда же сходил, то, понурив голову, угрюмый и одинокий, спешил по веселым улицам Рима и чувствовал с отвращением на своем изможденном лице любопытные взоры людей. Ему чудилось, что он должен казаться выходцем из могилы. Повседневные человеческие лица были ему противнее и ненавистнее, чем когда-либо. Завидев издали знакомого, он обходил его, чтобы не встретить. Его мучило вечное подозрение, что за ним подсматривают враги, подосланные Браманте. На вежливые поклоны друзей он не отвечал и отвертывался. Тогда, в самом деле, в городе стали говорить, и до папы дошли слухи, что Микель-Анжело не в своем уме, что он страдает черной меланхолией.

XII

Однажды, в жаркий день, когда у потолка на подмостках было нестерпимо душно, Микель-Анжело работал с утра, лежа на своей скамейке, передвижной, катавшейся на колесах, с небольшим деревянным изголовьем, покрытым войлоком, чтобы оно не терло шеи. Голова его была закинута: пот выступал на лбу, и порой с потолка прямо ему на лицо падали капли невысохших красок, только что положенных кистью. К этому он давно привык и не обращал внимания. Лицо его в разноцветных пятнах казалось бы смешным, если бы не было таким уродливым и страшным.

Картина изображала создание первого человека. Бог Отец в порыве бури, окруженный ангелами, спускается с неба к телу Адама, лежащему на голой земле, и готов прикоснуться, но еще не прикоснулся рукой к его руке, чтобы дать ему жизнь. Микель-Анжело осторожно накладывал последние тонкие, почти неуловимые тени, доканчивая руку Адама, беспомощно протянутую к Создателю, с могучими, но неоживленными мускулами, поникшую, слабую, как у спящего ребенка, который должен и не хочет проснуться.

Внизу на лестнице послышался знакомый скрип ступеней. Буонаротти всегда боялся, чтобы его не застали врасплох. Он встал со скамейки и подошел к двери, нарочно устроенной так у входа с лестницы на подмостки, чтобы никто не мог взойти на леса, когда Микель-Анжело запирал ее изнутри. Надо было выломать дверь, чтобы проникнуть в эту воздушную крепость.

«Кого черт несет»,— подумал художник со злобой и спрятался за доски, рядом с дверью, расположенной так, чтобы можно было, как из засады, видеть, кто идет по лестнице. Тревога оказалась напрасной. Микель-Анжело забыл, что послал Козимо к ближайшему пекарю *«fornaio»* за хлебом и ветчиной на завтрак.

— Это ты? А я испугался, думал: опять лезут. Письмо?

— Почта из Флоренции! — отвечал угрюмый плотник, карабкаясь по лестнице.

— Давай, давай скорее!

Он взял письмо, но перед тем, чтобы распечатать, подумал: не лучше ли сперва кончить, наложить последние тени, потом он забудет их и не найдет; письмо опять расстроит его на целый день, лишит силы работать. Мысли о семье, письма от отца и братьев были для него един-

ственным горьким рассеянием, единственным отзвуком далекой жизни. В последнее время он имел дурные вести из Флоренции: младший брат Джиован-Симоне, необузданный, легкомысленный юноша, вел порочную жизнь, не слушался отца, разорял семью, бросал деньги на женщин,— эти проклятые, святые деньги, которые он, Микель-Анжело, зарабатывал с такими невыразимыми страданиями, его деньги, его кровь и пот.

Он нетерпеливо распечатал письмо, прочел, и лицо его потемнело, глаза вспыхнули. Он злобно оттолкнул ногою рабочую скамейку, которая далеко откатилась с жалобным визгом, и негодующими, большими шагами заходил взад и вперед по скрипучим шатким доскам.

Отец писал ему о брате Джиован-Симоне, который дошел до такой наглости, что недавно, вернувшись домой пьяный, грозил старику побоями.

— Подожди, я тебя проучу, негодяй! — восклицал Микель-Анжело, размахивая руками, не обращая внимания на сосредоточенного Козимо, который давно привык к этим яростным монологам своего господина. Кончив скудный завтрак, плотник равнодушно возился в углу над кадкой со свежей известью для потолка.

— Ты не человек, а зверь,— продолжал Буонаротти, обращаясь к невидимому собеседнику,— *anzi sei una bestia*! [1] и я поступлю с тобой как со зверем. Знаешь ли, несчастный, когда сын подымает руку на отца,— дело идет о жизни и смерти?

Он хватался за голову с отчаянием:

— О, господи, да неужели не могут они оставить меня в покое? Я скитаюсь в Италии, не нахожу себе покоя, терплю лишения, обиды, подвергаю себя бесчисленным опасностям, изнуряю тело и душу и все для них, все для отца и братьев. И вот, когда мне удалось немного устроить и поддержать их, этот полоумный хочет уничтожить все, что я приобрел такими усилиями. Клянусь плотью и кровью Христовой, не быть тому вовеки! Если бы десять тысяч братьев пришли ко мне, я сумел бы с ними расправиться как следует. Довольно на плечах моих тяжести, я больше не возьму на себя ни одного золотника.

Несколько раз он пытался преодолеть волнение и приняться за работу: ложился на скамью, привычным движением закидывал голову и упирал затылок в деревянную перекладину. Но каждый раз вскакивал, бросал кисти

---

[1] ты все же зверь! *(ит.)*

и опять начинал ходить взад и вперед. Он так привык к своим лесам, что, не думая и не замечая, в одном месте на ходу расставлял ноги шире, как и следовало, чтобы перешагнуть и не провалиться в дыру между досками. Злоба душила его. Теряя самообладание, он кричал и грозил кулаком:

— Покажу я тебе, молокосос, что значит бросать на ветер чужие деньги, поджигать свой дом и свое добро. Вот ужо приеду во Флоренцию, погоди, щенок, доберусь я до тебя. Не посмотрю я на вашу гордость, мессэр Джиован-Симоне, завоете вы у меня, как дети воют под розгами. На отца поднял руку!.. О, мерзавцы, все мерзавцы!..

Козимо, не отнимая рук от кадки, обернул к Микель-Анжело равнодушное лицо.

— Это вы правду изволили сказать, мессэре, что все мерзавцы. Изгадились людишки. Смотреть тошно... Давеча Браманте опять подсылал, денег дает, сколько хочу, только бы я позволил ему, когда вас не будет, взглянуть на потолок. Я ответил, что с лестницы спущу его и этого молодчика из Урбино, Брамантова прихвостня, Рафаэля, если они осмелятся прийти сюда. Мерзавцы!

Козимо выражался кратко и невразумительно. Но слуга и хозяин понимали друг друга с полуслова, даже без слов.

— Козимо, есть у тебя чернильница и перо?

— Есть, как не быть! Все у нас есть, кроме птичьего молока.

Он гордился хозяйством своего воздушного жилища. Не торопясь пошел Козимо в угол, где стояли две постели, порылся среди домашнего скарба, старого платья, кухонной посуды, бутылок с вином, горшочков с жидкими красками, запаса кистей, плотничьих и столярных инструментов, ящиков с известью, нашел чернильницу, перо, бумагу и подал их Микель-Анжело.

И тут же, присев на доски перед рабочей скамьей, художник решительно и быстро написал брату, которого, несмотря ни на что, любил больше других братьев, в буйных выходках Джиован-Симоне находя душу, подобную собственной душе.

Но на этот раз он высказал все, что думал, не смягчая выражений: *anzi sei una bestia*! Он грозил брату жестокой расправой, если он не одумается. Микель-Анжело, отправив письмо, вздохнул свободнее.

На следующий день он опять принялся за картину. Когда художник взглянул на нее, он почувствовал радость. Он знал, что это ненадолго, что стоит кончить произведе-

ние, чтобы оно ему опротивело. Но мгновения этой обманчивой радости были единственной наградой, без которой он бы не принял и не вынес муки творчества.

Микель-Анжело радовался, думая, что в действительности все было так, как он изобразил, и не могло быть иначе.

Блаженные духи, первозданные херувимы, которые прячутся в бурных складках ризы господней, с недоумением, любопытством и ужасом смотрят на человека, на своего нового брата, а в лице Создателя благость, которая есть совершенное знание. Но если Он благ и знает все, то зачем создает обреченного греху и смерти?

XIII

Наступали сумерки. Художник собирался оставить работу, когда снова услышал внизу ненавистный скрип ступеней и чужие голоса.

— Мессэр Буонаротти! Эй, мессэр Буонаротти,— звали его так, как будто ничуть не боялись помешать.

— Опять! О, черти! — проворчал художник и хотел крикнуть ругательство непрошеному гостю, но, выглянув из засады, увидел внизу у подножия лестницы папу Юлия в сопровождении двух конюхов.

— Поскорее, мессэр Буонаротти. Разве вы не видите? Его святейшество ожидает вас.

«Отправил бы я ко всем дьяволам ваше святейшество»,— подумал Микель-Анжело и только тогда отпер дверь, когда убедился, что ни самого Браманте, ни Рафаэля Санцио не было с Юлием.

Он сошел, поздоровался и попросил благословения у папы с таким злобным видом, что старик невольно улыбнулся: он был в хорошем настроении.

— Святой отец,— молвил Микель-Анжело,— я не советую вам подыматься. Одна ступенька сломана, плотник не успел починить. Не дай бог свалиться, костей не соберешь. К тому же темнеет, и вы все равно ничего не увидите.

Но папа уже толкал его нетерпеливо на лестницу.

— Ну, ну, не упрямься же,— полезай вперед и давай мне руку. Если свалимся, оба расшибемся,— вместе умрем, как вместе жили.

Делать было нечего: папу не переспоришь. Микель-Анжело медленно и осторожно стал подниматься, помогая

и держа за руку старика, который бесстрашно карабкался по узкой головокружительной лестнице без перил.

— Одичал ты, мессэр Буонаротти,— подсмеивался Юлий над спутником,— совсем одичал на своих подмостках. Приступу к тебе нет, волком смотришь, того и гляди укусишь.

Микель-Анжело молчал и думал:

«Хорошо бы сбросить с лестницы этого болтуна».

Они лезли все выше и выше: те, кто смотрели снизу, должны были закидывать голову, и казалось, что художник уводит папу в недосягаемую бездну, в самое небо, где в сумраке исчезали их соединенные тени.

Наконец вышли они на подмостки: старик, запыхавшись от подъема, тяжело дышал и опирался на плечо Микель-Анжело.

Потом он стал молча обходить леса и рассматривать картины. Иногда с любопытством приподнимал куски грубой холстины, которыми были завешаны неоконченные фрески. Микель-Анжело страдал, но должен был водить его святейшество за руку, вежливо предупреждая, где надо поставить ногу и перешагнуть дыру между досками.

Папа нетерпеливо жевал старческими губами; художник видел, что он собирается что-то сказать.

«Ну, вот,— подумал Буонаротти с отвращением и скукою,— начнутся советы».

Юлий приблизил лицо к Сибилле Кумской, чтобы рассмотреть страшные мышцы загорелой руки, которой старуха исполинша поддерживала на коленях открытую книгу, читая в ней пророчество.

— Да, терпение, дьявольская анатомия! — произнес папа и обернул лицо к художнику,— клянусь спасением души моей, я ничего подобного не видел. Но это невозможно! слышишь?

— Что невозможно, ваше святейшество?

— Я говорю, Буонаротти, невозможно так работать. Ты хочешь того, что выше сил человека. Когда ты думаешь кончить потолок, если будешь выписывать каждый мускул, каждую жилку?..

— Я не могу иначе,— произнес Микель-Анжело.

— Да для кого, скажи на милость, для кого? Когда снимут леса, потолок будет на такой высоте, что всех этих твоих морщинок, мускулов и складочек все равно никто не увидит. Надо стоять здесь, на подмостках и смотреть в упор, чтобы оценить эти подробности. Зачем же тратить время и силы? Это сумасшествие.

— Я не могу иначе,— повторил Микель-Анжело, не скрывая досады.

— Затвердил, как попугай, не могу иначе, не могу иначе, а ты моги. Слушай, Буонаротти, я стар, смерть у меня за плечами. Я хочу, чтобы ты кончил работу прежде, чем я умру. Ты должен кончить. Скорее, слышишь? Не выписывать,— я так хочу,— скорее!

— В таком случае, ваше святейшество,— произнес Микель-Анжело тихо и злобно,— следовало поручить работу кому-нибудь другому, например, этому ловкому молодому человеку, Рафаэлю из Урбино, любимцу Браманте и вашему. Они бы живо расписали потолок и уже, конечно, не постеснялись бы складочками и мускулами, которых, в самом деле, чернь, глазеющая снизу, не оценит. Я согласен уничтожить работу, но испортить ее никому не позволю...

Юлий застучал костылем о звонкие доски пола.

— Что, что ты сказал? Повтори. Не хочешь ли, чтобы я велел тебя сбросить с подмостков.

— Если вам угодно, я могу повторить,— произнес Микель-Анжело невозмутимо,— я сказал, что не двину пальцем скорее, чем нужно для моей работы, и кончу ее не ранее, чем буду в силах.

— Буду в силах! Буду в силах! — произнес папа, дрожа от злости и наступая на него,— подожди, негодный, научу я тебя, как должно говорить со своим отцом и благодетелем!..

Он два раза ударил его палкою.

Микель-Анжело молча посмотрел ему в глаза. Под этим взглядом Юлий притих. Через несколько мгновений он уже раскаивался. Когда они спустились с подмостков, старик обернулся к Микель-Анжело и хотел ему что-то сказать на прощание, но, увидев лицо художника, смешался, опять рассердился на себя и, как виноватый, поскорее ушел в сопровождении конюхов.

В тот же вечер к Буонаротти пришел папский любимец, молодой Аккорзио, и объяснил, что он послан его святейшеством, с невинным бесстыдством передал кошелек, туго набитый золотом,— в нем оказалось пятьсот дукатов,— просил позабыть обиду и старался, как мог и умел, извинить своего господина. Аккорзио был так очарователен, говорил с такой вкрадчивой улыбкой и женственной грацией, что Микель-Анжело не пробовал возражать, не мог сердиться, взял подарок, поцеловал маль-

чика в лоб и отпустил с миром, сказав, что прощает обиду его святейшеству.

Микель-Анжело понял: Юлий готов был на все, только бы с ним помириться, боясь, чтобы Буонаротти снова не покинул его и не убежал во Флоренцию.

XIV

Наконец наступил день, которого Юлий ожидал нетерпеливо. Потолок был готов. Микель-Анжело велел сломать леса в 1512 году, в день всех святых. Облака пыли от сброшенных досок и бревен не успели улечься, когда пришел папа в сопровождении прелатов, епископов и кардиналов. Косые лучи солнца падали сквозь узкие окна часовни, пронизывая голубыми снопами клубившуюся пыль. И сквозь нее, как бы сквозь дымку, в недосягаемой высоте папа увидел создание Буонаротти. Юлию казалось, что стены и потолок раздвинулись, и он созерцает лицом к лицу открывшуюся бездну.

Посередине было девять картин, изображавших творение неба и земли из хаоса, солнца и луны, вод и растений, первого человека, жены его, выходящей по слову бога из ребра Адама, грехопадение, жертву Авеля и Каина, потоп, насмешку Сима и Хама над наготою спящего отца.

Вокруг девяти средних картин, не думая о тайнах, заключенных в них, вечно свободные и беспечные, играли юные боги первозданных стихий, сопровождая равнодушной пляской и хором трагедию вселенной.

Под ними пророки и сибиллы, гиганты, отягченные скорбью и мудростью.

Еще ниже — предки Иисуса Назареянина, ряд поколений, покорно передававших друг другу бесцельное бремя жизни, томившихся в муках рождения, питания и смерти. Они не участвовали в мудрости пророков и сибилл, не слышали бури господней, которая волновала веселые хороводы стихийных богов. В домашнем сумраке, в семейной тишине, они только любили, укрывали и грели детей своих, ожидая пришествия неведомого Искупителя.

Так Микель-Анжело изобразил три ступени бытия: веселие богов, мудрость пророков, любовь матерей к своим детям. Но трагедия бога и человека, тайна бытия не разрешилась ни веселием, ни любовью, ни мудростью.

Осмотрев потолок, Юлий обнял Микель-Анжело.

— Слава тебе, Буонаротти,— произнес папа, и слезы блеснули на его глазах,— слава тебе и мне, ибо, если бы не мое упорство, если бы я не стоял над тобой, не понукал тебя и не надоедал, ты никогда не кончил бы.

Кардинал, считавший себя знатоком живописи, указывая на потолок, произнес:

— Ваше святейшество, не находите ли вы, что следовало бы протрогать эту картину золотом и аквамарином. А то простому народу потолок покажется бедным. Золото в церкви никогда не мешает.

Папа с улыбкой обернулся к Буонаротти.

— Что ты скажешь?

— Скажу, блаженный отец, что более не прикоснусь к потолку: что я сделал, то сделал. Конечно, легко разукрасить живопись золотом и аквамарином по церковному обычаю. Но зачем? Люди, изображенные в моих картинах, были не из тех, которые украшаются золотом и пышными одеждами.

Толпами сходились римляне в часовню Сикста. Повсюду говорили о новых фресках; рыночные торговки болтали и спорили о живописи. Лаисы империи, Анжелики, даже знаменитая своим легкомыслием «Мадреманон-вуоле»,— все модные римские куртизанки рассуждали о том, кто из двух живописцев выше, Рафаэль или Микель-Анжело.

А сам Буонаротти ходил как потерянный. За двадцать месяцев он так успел привыкнуть к своей работе, что, лишившись ее, чувствовал себя более одиноким, чем когда-либо. Вместо заслуженной радости в душе его были холод, пустота и скука.

В часовню он почти не заходил, чтобы не слышать нелепых суждений о себе или еще более нелепых восторгов.

XV

Однажды понадобилась ему кожаная сумка с бумагами и письмами, забытая в ящике среди хлама и сброшенных лесов, которые не успели убрать из капеллы. К счастью, в этот день народу было мало: все пошли на большой праздник в церковь св. Петра.

Микель-Анжело рылся в ящике; никто его не видел. Нагроможденные доски и бревна сваленных подмостков закрывали его. Художник с тайным сожалением смотрел

на пыльные развалины своей неприступной крепости, где он провел столько памятных дней.

Отыскивая нужную сумку и разбирая хлам, тщательно сложенный бережливым Козимо, он услышал вблизи спор двух посетителей. Судя по говору, один из них был чужеземец, приехавший в Италию с далекого севера, вероятно, фламандский художник. В другом Буонаротти узнал венецианца, ибо тосканское *g* он выговаривал по-детски смешно и мягко, как *z*. Мессэра Джиорджио, своего собеседника, он называл мессэром Зиорзио.

Буонаротти старался не обращать внимания на их разговор, но отдельные слова и выражения споривших поразили его, и он с любопытством прислушался к беседе.

— Как? И вы еще спорите, мессэр Зиорзио,— горячился венецианец,— нет, нет, всеми комментариями Аверроэса к Аристотелю вы не докажете, что когда-либо Рафаэль создаст что-нибудь подобное этому потолку.

— Почем вы знаете, мессэр Федериго, что он создаст? Рафаэль молод,— возразил медлительный и хладнокровный фламандец.

— Да, молод годами, мессэр Зиорзио. Но он себя показал до конца. Он тут весь, как на ладони. Рафаэль всегда подражает.

— Подражает природе, тем лучше! — возразил Джиорджио.

— В том-то и дело, что не одной природе. Сперва он подражал своему учителю Перуджино, потом Леонардо да Винчи, потом древней живописи, которую отыскал в римских подземных гротах. Теперь увидите, как усердно начнет он подражать Микель-Анжело: Рафаэль берет у всех.

— Берет у всех и всем возвращает сторицею,— перебил Джиорджио,— старое делает новым, чужое — своим.

— О, я не спорю, это — великий художник, самый великий и неподражаемый из подражателей... А кстати, слышали вы, мессэр Зиорзио, что, когда потолок еще не был окончен, он хлопотал через Браманте, чтобы его святейшество отнял работу у Буонаротти и поручил расписать другую половину потолка ему, Рафаэлю... Видите ли, он чувствует свою слабость и боится,— иначе он не стал бы прибегать к таким средствам!

— Вы говорите о человеке, не о художнике. Какое мне дело до человека, мессэр Федериго?

— Каков человек, таков художник. Рафаэль осквернил себя корыстью. Он любит искусство и славу, но еще больше любит жирные куски со стола кардиналов, свой

роскошный палаццо, построенный для него Браманте, своих лошадей и наложниц. Он пишет Мадонн и живет как язычник из стада Эпикура. Обманывает простодушных, прикидывается неземным созданием, самым невинным из мечтателей, но этот *fortunato garzon* [1], по выражению моего друга Франчиа, этот херувим, слетевший к нам с высот Урбино, удивительно ловко устраивает свои дела. Впрочем, он имеет то, чего хотел и заслуживает; да, у Рафаэля — «счастливого мальчика» — бессмертная слава. Чего же больше? Он останется навеки идолом людей, любящих в искусстве приятное, доступное и поверхностное, людей чувствительных и мало думающих, богом живописи для толпы.

— А кто же бог избранных? — спросил фламандец.

Мессэр Федериго указал на потолок часовни.

— Тот, кто это создал, с кем счастливому мальчику я посоветовал бы никогда не соперничать.

— В словах ваших много правды, Федериго, но я хотел бы нечто сказать,— только не знаю, сумею ли выразить мою мысль: я плохо говорю по-итальянски, и у меня нет привычки говорить о таких предметах...

Микель-Анжело давно забыл о том, зачем туда пришел, и перестал рыться в ящике: с жадным вниманием приблизил он ухо к тонким доскам, чтобы не потерять ни слова, и, не понимая причины своего волнения, чувствовал, как сердце бьется все чаще. С трепетом боязни ожидал он, что возразит мессэр Джиорджио.

— Видите ли, Федериго,— начал фламандец медлительно, путаясь в словах и запинаясь,— вы говорите, мысль... Конечно, я с этим спорить не могу: у Микель-Анжело мысль. Он думает и знает, чего хочет. И потом — сила, это главное. Такой силы нет ни у кого. Когда смотришь, все время удивляешься и видишь, как он старается сделать хорошо, так хорошо, как до него никто не делал. Думаешь, как ему трудно и какая сила. Буонаротти ничего не получает даром, сколько заработает, столько возьмет. А у Рафаэля не так. Не видно, чтобы он работал, кажется, само сделалось нечаянно, он не старается, чтобы вышло хорошо, а выходит лучше, чем когда стараются. Ему легко, у него все даром. Когда смотришь на греческие статуи, которые выкапывают из-под земли, тоже думаешь, не трудно бы так сделать. А пусть кто-нибудь попробует! Это легкое — есть трудное, последнее в искусстве, то, что без

---

[1] счастливый мальчик *(ит.)*.

бога невозможно, как чудо. И это важнее мысли, потому что оттуда все мысли и туда идут. Я говорю не ясно, мессэр Федериго, но, может быть, вы поймете. Микель-Анжело — против бога. А Рафаэль с богом. Вот почему ему легко, и душа у него ясная, как зеркало. Вы говорите о деньгах, о лошадях, о женщинах. Это — маленькое, житейское. Зачем об этом говорить? Рафаэль может делать злое, жить как язычник, а все-таки душа у него — ясная. Микель-Анжело делает доброе, живет как святой, а душа у него темная, страшная, и никогда в ней не будет света. Я знаю, что Микель-Анжело сильнее Рафаэля, но вспомните, мессэр, слово Священного писания: «Бог не в бурях, а в тишине» . . . .

. . . .

Через тридцать лет после этого разговора, 24 октября 1542 года, из Рима Буонаротти в заключение одного письма к монсиньору Синегельскому, епископу Марку Вигерию писал следующее:

«Все несогласия, происшедшие между папой Юлием и мной, произошли от зависти Браманте и Рафаэля Урбинского. Вот причина, по которой папа не продолжал заниматься гробницей и разорил меня. Что касается до Рафаэля, то он имел причину завидовать мне, потому что все познания в искусстве он приобрел от меня».

Чувствуя, что эти слова несправедливы, Микель-Анжело все-таки написал их, потому что завидовал Рафаэлю, счастливому и ничтожному мальчику.

XVI

Много лет прошло с тех пор, как Буонаротти окончил потолок Сикстинской капеллы. Старость приближалась, но, несмотря на страдания и труды, здоровье его не ослабевало, а как будто крепло. Он говаривал, шутя, что люди, всю жизнь имеющие дело с камнями, под конец сами каменеют. Только лицо покрывалось морщинами, кожа темнела, сохла,— он делался все уродливее. Когда маленьким детям случалось его встретить неожиданно в сумерках на пустынной улице, они убегали с плачем и рассказывали матерям, что видели черта.

Виттория Колонна, вдова маркиза Пескарского, дочь надменного Фабриция Колонна, со смерти мужа жила вдали от света как монахиня, но в благочестии сохраняла гордость древнего рода. Виттория чтила гений Микель-

Анжело, позволяла ему любить себя, но он никогда не забывал, что она принадлежит другому, покойному мужу своему, единственному человеку, которого маркиза всю жизнь любила.

Так они оба состарились, и за долгие годы Микель-Анжело ни разу не сказал ей, что любит ее. Даже в стихах боготворил ее издалека, мадригалы и сонеты его были полны не страстью, а модной в то время платонической риторикой.

«Ваятель,— писал он ей,— задумав статую, лепит ее сначала из глины, потом уже молотом высекает из мрамора. Так я был несовершенной глиняной формой, пока ваш резец, о, мадонна, не сделал из меня нового человека. Но какая мука ожидает мое непокорное сердце, если вы захотите до конца научить и наказать его?»

Однажды, ненастным вечером, в конце февраля 1546 года, Микель-Анжело направлялся из своего маленького дома у подножия Монте-Кавалло в монастырь Санта Анна-дей-Фунари, куда пригласила его только что приехавшая в Рим из Витербо маркиза Колонна.

Шел мелкий дождь; на улицах было холодно, грязно и темно. Он думал о предстоящем свидании. Одной из мук его любви было то, что он не мог вообразить себе ее лица, когда не видел: помнил каждую отдельную черту, но не умел соединить их.

Он слышал, что маркиза в последние годы постарела. Ее преследовали несчастья. Родственники погибли в смятениях. Надменный род Колонна был унижен и низвергнут папами Фарнезе. Виттория осталась одна, покинутая, окруженная врагами. Он знал, что недавно она перенесла тяжелую болезнь.

Подымаясь по монастырской лестнице и спрашивая сестер бенедиктинок, в каком покое остановилась маркиза, он чувствовал, что колени его дрожат, и ему было стыдно, что, шестидесятилетний старик, он робеет перед свиданием как влюбленный мальчик.

Его привели в большую келью с белыми стенами. Огней еще не зажигали. Сквозь стекла окон, серых, мутных от дождя, как будто заплаканных, падал свет зловещих сумерек. *Angelus* звучал как похоронный колокол. Среди монахинь, на кресле, увидал он маркизу Витторию. Сердце его сжалось. Перед ним была старая женщина. В черном шелковом платье, не опираясь на высокую спинку кресла, держалась она прямо, и в ее осанке была гордость древнего рода вдовы маркиза Пескарского, дочери

Фабриция Колонна, которая одно время должна была сделаться неаполитанской королевой. Сквозь кисею вдовьего покрывала, спускавшегося низко на лоб, закрывавшего плечи, грудь и шею, он увидел седые волосы. Выражение спокойствия и печали было вокруг увядшего рта, в глазах, все еще прекрасных; но он заметил в них покорную доброту,— признак старости.

Он подошел и приветствовал ее почтительно. Слабый румянец покрыл ее щеки. После первых незначительных слов, когда монахини отошли в другой конец комнаты, Виттория, наклонившись, произнесла тихим голосом, с робкой и стыдливой улыбкой:

— Вы удивились, мой друг, увидев меня такой, не правда ли? Я очень постарела...

Он хотел сказать, что для него она не может быть старой, что он любит, как всегда, еще больше, чем всегда, но не посмел и только взглянул на нее глазами, полными такой боязливой нежности, что она поняла все и ответила ему долгим, благодарным взглядом. В этот день, прощаясь, маркиза Колонна первый, единственный раз в жизни взяла его за руку, и Микель-Анжело несколько дней, вспоминая это прикосновение, ходил как потерянный, от радости и удивления.

Он стал посещать монастырь святой Анны. В присутствии монахинь рассуждали они подолгу о текстах Священного писания, о боге, о смерти, о будущей жизни. Он чувствовал себя более близким к Виттории, чем когдалибо, писал ей, как тридцать лет тому назад, пламенные, благоговейные и риторические сонеты, в которых, сравнивая ее с Беатриче, с Лаурой, прославлял ее бессмертную молодость.

Она опять заболела. В Риме с еще большей силой возобновилась изнурительная лихорадка. На глазах его она ослабевала и таяла. Он думал о конце, но не верил в него: смерть Виттории казалась ему невозможной. По мере того как приближалась вечная разлука, улыбка ее становилась все прекраснее и прекраснее.

«Она обещает мне так много,— писал он в своем дневнике,— что, когда я смотрю на нее, мне кажется, я делаюсь прежним, молодым, хотя я очень стар и уже поздно. Смерть между нами, и я могу любить ее прежнею любовью только в те краткие мгновения, когда забываю о смерти. Но мысль моя все чаще возвращается к ней, и жар любви остывает от смертельного холода — *dal mortal ghiaccio è spento il dolce ardore*».

Предчувствие Микель-Анжело исполнилось. В начале 1547 года Виттория умерла. Он не плакал, ни с кем не говорил и был похож на сумасшедшего. Лицо его выражало недоумение, усилие и невозможность понять то, что случилось.

Но он не умер и не сошел с ума, только внутри все в нем еще более окаменело.

Через десять лет после смерти Виттории Микель-Анжело рассказывал однажды события своей долгой и печальной жизни молодому художнику, одному из немногих своих учеников, Асканио Кондиви, который записывал их, чтобы передать потомству. Речь зашла о маркизе Пескарской. Микель-Анжело говорил о ней мало, но спокойно. Вдруг изменившимся тихим голосом он произнес:

— Асканио, я скажу тебе то, чего никому не говорил. Когда она лежала в гробу и я пришел проститься, я поцеловал ее руку и не осмелился поцеловать в лоб. Вот уже десять лет, как это мучает меня, сын мой...

И, забыв о присутствии ученика, он долго сидел неподвижно, в забытьи. Медленные слезы струились из глаз его по старым щекам с глубокими, безобразными морщинами.

XVII

Папа Юлий II перед смертью завещал Микель-Анжело окончить гробницу и оставил для этого деньги душеприказчикам своим, кардиналам Санти-Кватро и Аджиненси. С особенной любовью возобновил Буонаротти работу своей молодости. Но преемник Юлия, Лев X, заставил бросить начатое дело, чтобы ехать во Флоренцию, где вздумалось папе украсить мрамором фасад церкви своего прихода — Сан Лоренцо. Микель-Анжело умолял, чтобы его оставили в покое, напоминая условия, сделанные душеприказчиками Юлия, но Лев не слушал и говорил:

— Предоставь мне окончить это дело: я берусь удовлетворить всех.

И, послав за обоими кардиналами, велел им освободить Микель-Анжело от исполнения условий. Со слезами на глазах покинул художник злополучную гробницу и отправился во Флоренцию исполнять прихоть нового господина.

По смерти Льва враги Микель-Анжело распространили слух, что Буонаротти от папы Юлия за гробницу получил вперед шестнадцать тысяч скуди и, ничего не сделав, положил их в карман. Началась нескончаемая тяжба,

которая с каждым годом запутывалась, не давала ему ни минуты покоя и, наконец, так опротивела, что он начал раскаиваться, что не перенес клеветы молча.

«В меня ежедневно бросают каменьями, как будто я распинал Христа,— писал он в 1542 году синегельскому епископу, прося у него защиты,— этот гроб Юлия скоро сделается моим собственным гробом. Излишняя верность, которую не хотели оценить, погубила меня. Так угодно моей судьбе... Меня называют вором и ростовщиком, многие утверждают, что я отдал в рост деньги папы Юлия и обогатился ими. Если ваша милость найдет возможным сказать слово в мою защиту — скажите его, потому что я пишу вам правду. Не только перед богом, но и перед людьми я считаю себя честным человеком, потому что никогда никого не обманывал и потому также, что, защищая себя от негодяев, иногда, как видите, мне можно «с ума сойти».

И несколько раз он повторял в письме с отчаянием:

«Я пишу правду. Я был бы рад, если бы папа и весь свет прочли это письмо. Я не вор, не ростовщик, не разбойник, но флорентийский гражданин, благородный сын честного человека».

При жизни папы Климента Буонаротти начал расписывать хор Сикстинской капеллы. Он приказал оштукатурить стену и закрыть лесами от пола до потолка. Климент хотел, чтобы Микель-Анжело написал Страшный суд, последнее действие трагедии, изображенной на потолке часовни. Но на многие годы художник был отвлечен от работы тяжбою. Папа Павел, приняв к себе на службу Буонаротти, требовал, чтобы он окончил Страшный суд.

Работа была готова на три четверти, когда Павел пожелал взглянуть на нее, увидел, что громадная стена, перед которой стоял алтарь и должно было совершаться богослужение, вся сверху донизу покрыта голыми телами. Ни ангелы, ни праведники, ни грешники не стыдились наготы своей: земные покровы упали, и люди должны были голыми, какими вышли из чрева матери, предстать перед лицом божественной справедливости. Испуганный и растерянный папа не знал, что сказать.

Наконец обратился он к своему церемониймейстеру мессэру Биаджио-ди-Чезепа, которого Вазари называет «*persona scrupulosa*» [1], и спросил, что он думает.

Биаджио ответил:

---

[1] щепетильная особа *(ит.)*.

— Это бесстыднейшая из картин, какие я когда-либо видел, блаженный отец. Она достойна не папской капеллы, а общественной бани или остерии! *Non opera die capella di papa ma da stufe e d'osterie*! [1]

Буонаротти, услышавший эти слова, продолжая работу, своему адскому судье Миносу, у которого туловище дважды обвито змеевидным холстом, придал сходство с Биаджио.

Церемониймейстер пожаловался папе, но тот ответил ему с улыбкой:

— Видишь ли, друг мой, если бы он поместил тебя в чистилище, я мог бы что-нибудь сделать, но ты в аду, откуда уже никто не может извлечь тебя, ибо там, как тебе известно, нет помилования,— «*nulla est redemptio*».

XVIII

В это время в Венеции жил знаменитый писатель Пьетро Аретино. Он был сыном продажной женщины в Ареццо, от которой мальчиком убежал, обокрав ее, попеременно делался переплетчиком, монахом, уличным бродягой, лакеем, терпел нужду, голод, побои, бесчисленные оскорбления, но, наконец, пером своим и, по собственному выражению, «пóтом чернильницы» приобрел славу и богатство. Клеветой и лестью, угрозой пасквилей и обещанием панегириков выманивал он деньги и почести у сильных мира сего. Не только многие итальянские государи, но и сам император выплачивал Аретино ежегодную пенсию. Христианнейший король Франции подарил ему золотую цепь с изображением змеиных языков, эмблемой ядовитых сатирических жал. В честь его была выбита медаль с головой поэта, увенчанной лаврами, с латинской надписью: «*Divus Petrus Aretinus flagellum principum*» (Божественный Петр Аретин, бич королей), и на обратной стороне: «*Veritas odium parit*» (Истина рождает ненависть). Под самыми злыми и наглыми из своих пасквилей, направленных против государей, медливших подарками, он подписывался: «*Divina gratia homo libero*» (Божией милостью свободный человек). С легкостью и быстротой сочинял он по заказу все, что угодно. По поручению Виттории Колонны писал благочестивые размышления и жития святых, по просьбе ученика Рафаэля Маркантония — сонеты к таким бесстыдным гравюрам, что папа, несмотря

[1] Не для папской капеллы работа, а для бани и остерии! *(ит.)*

на заступничество многих кардиналов, посадил за них художника в тюрьму. В прекрасном палаццо на *Canale Grande* [1], в знаменитой *Casa Bolani* [2] жил Аретино с царственным великолепием, окруженный постоянно сменявшимся гаремом красивых женщин и редкими произведениями искусства. Тициан ухаживал за ним, писал с него портреты, дарил ему свои произведения. Со всех концов Италии стекались к нему картины, рисунки, барельефы, медали, бронзы, античные мраморы, камни, маиолики, резные камни, драгоценные вазы. Когда его дворец так переполнялся, что больше не было места, он делился художественной добычей с теми из вельмож и государей, которые заслужили его милость: по собственному выражению, поэт отдавал царям крохи со своего стола.

Из тщеславия столько же, как из врожденной любви к прекрасному, Аретино давно горевал, что в его музее нет ни одного произведения Микель-Анжело. Через клевретов своих Бенвенуто Челлини и Джиорджио Вазари несколько раз намекал он Буонаротти, что очередь за ним; но тот не удостаивал его ответом.

Тогда писатель решил сам закинуть удочку.

В 1537 году обратился он к Буонаротти с одним из знаменитых посланий своих, которые распространялись по Италии в тысячах списков.

Сначала приветствовал художника, потом объяснял ему, какие свойства его таланта он, Аретино, более всего ценит. Главная часть письма начиналась обращением: «Итак, я, чьи похвалы и порицания имеют такую силу, что слава или позор людей в настоящее время создаются единственно мною, я тем не менее малый и, можно сказать, ничто, приветствую вашу милость, на что не дерзнул бы, если бы мое имя не достигло некоторого блеска, благодаря тому уважению, которое оно внушает величайшим государям нашего века. Но перед Микель-Анжело мне остается только благоговеть. Королей на свете много, Микель-Анжело один, и он затмил славой имена Фидия, Апеллеса и Витрувия»,— письмо продолжалось в этом духе, пока речь не заходила о «Страшном суде»: тут Аретино давал советы и учил художника, как следует писать картину. В заключение — новые предложения услуг и готовность прославлять его имя.

Буонаротти ответил краткой и вежливой запиской,

---

[1] Большой канал *(ит.)*.
[2] Дом Болани *(ит.)*.

в которой чувствовалась ирония сквозь преувеличенные похвалы.

Аретино предпочел не заметить иронии и в новом письме просил на память хотя бы самого маленького рисунка, одного из тех, которые художник бросает в печку. Микель-Анжело не ответил, и Аретино в течение пяти лет оставил его в покое.

В 1544 году он известил Буонаротти, что император Карл V только что оказал ему, Аретино, неслыханные почести *stupendi onori*: позволил ехать на коне по правую руку от себя. Челлини пишет, что Буонаротти благоволит к Аретино. Это всего дороже поэту. Он любит и чтит Микель-Анжело. Он плакал от умиления, увидев снимок со «Страшного суда». Его друг Тициан также чтит Буонаротти и восторженно прославляет его.

Микель-Анжело продолжал безмолвствовать. Через два месяца поэт напомнил через римских друзей об ожидаемом рисунке. Никакого ответа. Аретино подождал год и напомнил снова. Наконец получил он из Рима жалкие отрепья, вместо рисунка — бумажные клочки, которые были скорее насмешкой, чем подарком. Он написал Микель-Анжело, что считает себя неудовлетворенным и ожидает большего. Опять молчание в продолжение нескольких месяцев. Тогда терпение Аретино истощилось. Он послал Челлини угрожающее письмо. Буонаротти должен стыдиться; пусть он ответит ему прямо, намерен ли исполнить свое обещание или нет; он требует объяснений, иначе любовь его превратится в ненависть.

Угроза подействовала так же мало, как лесть. В это время Тициан, бывший в Риме, воспользовался удобным случаем насплетничать покровителю своему Аретино на соперника своего Микель-Анжело и поссорить их окончательно.

XIX

В ноябре 1545 года Буонаротти получил следующее письмо из Венеции:

«Мессэр, теперь, когда я увидел снимки «Страшного суда», я узнаю в нем, что касается до исполнения и замысла, знаменитую прелесть Рафаэля. Но как христианин, как человек, принявший святое крещение, я стыжусь необузданной свободы, с которой ваш дух посягнул на то, что должно быть последней целью христианской добродетели и веры.

Итак, этот Микель-Анжело, столь могущественный в своей славе, этот Микель-Анжело, которому мы все удивляемся, показал людям, что он столь же далек от благочестия, сколь близок к совершенству в искусстве. Как могло случиться, что художник, сам себя уподобляющий богу и потому прекративший почти всякие сношения с обыкновенными смертными, осмелился таким произведением осквернить храм Бога Всевышнего, первый из алтарей христианских, первую капеллу мира, где великие кардиналы, досточтимые пресвитеры, где сам наместник Христа в божественных и страшных таинствах приобщаются плоти и крови господней?

Если бы не казалось почти преступным сравнивать такие вещи, то я позволил бы себе напомнить вам, как в моих легкомысленных диалогах из жизни куртизанок я сумел облечь бесстыдное содержание благородными и нежными словами. Тогда как вы, имея дело с такими возвышенными предметами, лишаете ангелов их небесной славы, праведников их земной стыдливости. Но даже язычники облекали Диану в покровы и когда изображали нагую Венеру, то заботились о том, чтобы целомудренное движение руки заменяло ей одежды. А вы, христианин, дошли до такого безбожия, что дерзаете оскорблять в часовне папы стыдливость мучеников и святых дев... Воистину, для вас было бы лучше вовсе отречься от Христа, чем, будучи верующим, глумиться над верой своих братьев. Но знайте, что небо не потерпит, чтобы преступная смелость вашего необычайного искусства оставалась безнаказанной. Чем удивительнее эта картина, тем вернее будет она гробом вашей славы».

Потом Аретино переходил к своим собственным счетам: напоминал художнику, что он не исполнил обещания, не прислал рисунка.

«Впрочем, если горы золота, полученные вами от папы Юлия, не побудили вас исполнить вашего долга — построить обещанную гробницу, то на что может надеяться такой человек, как я?.. А все-таки, положив в карман чужие деньги и нарушив слово, вы сделали то, чего не следовало сделать, и это называется воровством».

В заключение он советовал папе уничтожить «Страшный суд», показав пример такой же благочестивой ревности, с какой некогда папа Григорий разрушал изображения языческих богов, как бы они ни были прекрасны.

«Если бы вы последовали моему совету,— обращался он к Буонаротти,— если бы вы исполнили указания, кото-

рые я вам дал в моем письме, ныне всему миру известном, где я подробно и научно объясняю устройство неба, ада и рая, то природе не пришлось бы стыдиться, что столь великим гением одарила она такого человека, как вы. Напротив, письмо мое оградило бы ваше произведение от всякой вражды и зависти до скончания веков.

Ваш слуга *Аретино*».

Послание было переписано чужой рукой для того, чтобы Микель-Анжело не мог сомневаться, что оно обнародовано и распространяется по всему миру, но в конце были следующие строки, написанные рукой самого Аретино:

«Теперь, когда я отчасти излил мою ярость, причиненную грубостью, с которой вы ответили на мою доброту, и когда, смею надеяться, вы имеете достаточное доказательство того, что если вы — божественный (*de-vino* — из вина), то и я, с своей стороны, не из воды (*dell'aqua*),— разорвите это письмо так же, как я готов его разорвать, и признайте, что, во всяком случае, я достоин получать ответы на свои письма даже от императоров и королей».

XX

Папа, прочтя одну из бесчисленных копий этого письма, испугался. Первой мыслью его было последовать совету Аретино и уничтожить «Страшный суд». Теперь ему было не до шуток. Святой отец сам боялся попасть в то место, где «*nulla est redemptio*». Не могло быть никаких сомнений: письмо было доносом инквизиции.

Но, немного успокоившись, папа решил, что можно поправить дело так, чтобы волки были сыты и овцы целы: по совету кардинала Караффа он призвал к себе Буонаротти и велел прикрыть одеждами нагие тела в «Страшном суде».

— Главное ангелов,— говорил папа,— чертей ты можешь оставить наполовину голыми. Но ангелов и праведников изволь одеть совершенно. Не то что там по бедрам какими-нибудь лоскутами, а в длинные пристойные одежды... Анатомии не жалей и крылья не забудь приделать, кому следует...

Микель-Анжело отказался. Тогда папа поручил это дело ученику его Даниэле-да-Вальтерра, который ревностно принялся за работу, и через несколько дней, к немалому утешению Павла, св. мученик Биаджио со скребницей и св. Катерина с колесом были одеты. Вальтерра получил хорошие деньги за то, что согласился обезобразить

создание учителя. Буонаротти молча покорился и даже с учеником своим не поссорился.

Тогда не только враги, но и лучшие друзья восстали на него, уверяя, что он выжил из ума от старости, так как иначе не мог бы вынести безропотно такого поругания своей картины.

Буонаротти был равнодушен ко всему, потому что в это время умирал последний друг, старый верный слуга его, плотник Козимо Урбино. В одном письме к Джиорджио Вазари Микель-Анжело рассказывал об этой смерти.

«Мне трудно писать, однако же в ответ на ваше письмо скажу кое-что. Вы знаете, как умер Урбино. Это событие было для меня великой божеской милостью, но оно причинило мне много вреда и горя. Милость заключается в том, что он, оживлявший меня в продолжение моей жизни, умирая, научил меня умирать бестрепетно, с любовью к смерти. Он прожил у меня двадцать шесть лет и всегда был редким, верным человеком. Теперь, когда я обогатил его и надеялся, что он будет костылем, успокоителем моей старости, он исчез, и мне осталась только надежда видеть его в раю. Эту надежду внушил мне Создатель его счастливой смертью, тем, что он, умирая, не столько жалел о том, что умирал, сколько о том, что оставлял меня одного в этом предательском мире, среди всевозможных горестей. Большую часть меня он унес с собой и мне оставил одни бесчисленные неприятности. Поручаю себя вашему вниманию».

Микель-Анжело пережил царствования шести пап — Юлия II, Льва X, Климента VII, Павла III, Юлия III, Павла IV. Все современники и товарищи его умерли. Он был окружен новыми, чуждыми поколениями. Весной в 1549 году он тяжело заболел. Доктора успокаивали, но не помогали. Он не спал ночей, стоная от боли. Ему было 75 лет. Все думали, что это конец; но он выздоровел.

С каждым днем душа его становилась мрачнее: он думал только о смерти.

«Я стар,— говорил он ученику своему Кондива,— смерть отняла у меня все юношеские мысли, а кто не знает, что такое старость, должен иметь терпение дожить до нее. Прежде этого ее нельзя узнать».

Он вспоминал свою любовь к Виттории, но надежда встретиться с ней в другом мире не утешала его.

И он писал в дневнике: «На утлой ладье через бурное море жизни я достиг того предела, где мы должны дать отчет во всем. И теперь я узнаю, каким обманом была моя прихоть к искусству, ибо всякое желание человека на

земле — обман. И с любовными грезами, некогда такими суетными и веселыми, что сталось теперь, когда я приближаюсь к двум смертям, одной — телесной неминуемой, другой — духовной угрожающей? Ни живопись, ни ваяние более не утоляют моего сердца, обращенного к той Любви, которая на кресте, чтобы принять нас, открывает руки».

Он молился, но в душе его не было света Христова, и ему казалось, что он осужден богом на вечную погибель.

«Горе мне, горе; вспоминая столько прошедших годов, я не нахожу среди них ни одного дня, который я мог бы назвать моим. Мне знакомы все человеческие страсти: я плакал, любил, горел, желал, не сделав ничего доброго в моей жизни. И вот я ухожу мало-помалу. Тени растут; солнце заходит, и я готов упасть, утомленный, изнемогающий».

Он продолжал работать, без цели, без радости, по привычке. Однажды, в конце августа 1561 года, он упал среди работы на пол и лишился сознания. Когда домашние сбежались и привели его в чувство, художник объяснил обморок тем, что встал рано утром, не одевая обуви и чулок, и три часа простоял за рабочим столом босыми ногами на голом полу. Через два дня он поправился, мог уже ездить верхом и опять принялся за работу, за архитектурные рисунки и планы для собора св. Петра. Ему было 86 лет. Казалось, что он никогда не умрет.

Но ранней весной 1564 года обнаружились признаки близкого конца. Силы покидали его медленно. Целые дни и ночи он чувствовал озноб,— никакие одежды не могли его согреть от изнуряющего внутреннего холода. Им овладела смертная тоска. Он перестал работать. Молодой флорентинский врач Федериго Донати ухаживал за ним.

XXI

Однажды вечером, 14 февраля, Федериго подъезжал на муле к дому Буонаротти: в то время он жил на площади древнего Форума Траяна, рядом с церковью Санта Мария ди Лорето. Перед домом был маленький сад, окруженный стеною, где росли лавры. Дул холодный трамонтано; по небу ползли унылые, низкие тучи. Врач удивился, увидев, что Микель-Анжело прохаживается по саду под дождем. Мертвые прошлогодние листья лавров шуршали под его ногами. Ворона уныло каркала на мокрых черепицах соседней крыши.

— Мессэре Буонаротти,— заметил Федериго,— вам не следует выходить из дома в такую погоду.

— Что же делать,— ответил Микель-Анжело,— мне дурно... Я не нахожу себе места. Дома хуже. Вот, вышел погулять. Скучно, мессэр Федериго, я не могу вам сказать, как скучно...

И он продолжал торопливо ходить взад и вперед, от стены до стены, по крошечному саду, попадая ногами в грязные лужи, шурша гнилыми мокрыми листьями лавров. Он говорил бессвязно, с трудом находил слова.

Только пред самым концом он лег в постель; его причастили, и когда спросили о последней воле, он сказал:

— Душу мою — богу, тело — земле, имущество — родным.

Потом попросил, чтобы его похоронили на родине во Флоренции. 18 февраля, в час *Ave Maria*, он скончался. Смерть была спокойной. Просьбы Микель-Анжело не исполнили: он был погребен в Риме, в церкви св. апостолов.

Но флорентинский герцог Козимо Медичи пожелал, чтобы прах Буонаротти покоился во Флоренции. Посланные ночью тайно вырыли тело Микель-Анжело, зашили его в мешок, как зашивают товары, и отправили во Флоренцию.

Флорентинская академия рисования решила устроить торжественные похороны. Народу на улицах собралось так много, что академики не без труда внесли тело в церковь. Чтобы последний раз увидеть учителя, открыли гроб. Ожидали найти полуразвалившийся труп, так как со дня смерти прошло двадцать пять дней. Но, ко всеобщему удивлению, тело было нетронуто тлением: он лежал в гробу маленький, почернелый, высохший, как мощи. Вокруг безобразного широкого рта были все те же надменные, злые морщины. Их не разгладила смерть.

* * *

Академики, желая почтить память художника, превратили церковь в музей, наполнили ее аллегорическими фигурами, статуями и картинами тогдашних художников, учеников и последователей Микель-Анжело. Эти произведения казались жалкими карикатурами на создания учителя. Достаточно было взглянуть на них, чтобы убедиться, что искусство погибает. Но печальные мысли не приходили в голову академиков. В особенности торжествовал, несмотря на свою любовь к покойному, знаменитый художник, почетный депутат академии Джиорджио Вазари. Лицо его сияло самодовольством. В тот же вечер описывал

он эти блестящие похороны своему покровителю, герцогу Козимо Медичи:

«Светлейший и превосходнейший государь мой!

Сего утра, то есть 14-го текущего месяца, было совершено погребение божественного Микель-Анжело Буонаротти, вполне удовлетворившее здешнюю публику, толпившуюся в церкви Сан-Лоренцо, которая была так наполнена важными лицами, благородными дамами и множеством иностранцев, что нельзя было не удивляться. Вице-президент академии сидел посредине церкви против кафедры, члены академии и общества рисования сидели в порядке на самом видном месте. Ниже членов академии сидело до двадцати пяти юношей, изучающих рисунок. Некоторые из этих юношей имеют достоинство. Сегодня утром, увидев в соборе восемьдесят человек живописцев и скульпторов, публика пришла в восторг. Кажется, никогда не было так много и таких отличных мастеров, как теперь.

Как удачно был исполнен катафалк, как он был пышен, великолепен, и какое впечатление производили стоящие на нем статуи, передать невозможно! Каждый из молодых людей старался выказать свои достоинства, и все они так хорошо исполнили свое дело, что статуи, после того, как их выбелили и подделали под мрамор, кажется, выросли и сделались гораздо изящнее. Вся церковь была уставлена скелетами, которые обрезали стебли, увенчанные тремя лилиями, означавшими три искусства. Скелеты, казалось, выражали сожаление, что были обязаны обрезать цветы и не могли изменить порядок, установленный природой. Между скелетами была помещена Вечность, стоявшая над Смертью.

Поистине, государь мой, я с моими начальниками благословляю труды и время, употребленные на устройство похорон, потому что эти похороны были причиной того, что ваша светлость осчастливила академию своим посещением, за что академия приносит вам покорнейшую и чувствительную благодарность. Она видит, как ваша светлость ценит заслуги, и горит желанием служить вам. И я, со своей стороны, желаю, чтобы вы помогали художникам, и всячески буду стараться оживлять искусства».

. . . .

Таково было последнее оскорбление, последняя насмешка жизни над великим художником. Но он уже ничего не чувствовал, и маленькое, уродливое, окаменелое лицо его в гробу хранило печать спокойного презрения.



ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ СТАРЦА ФЕДОРА КУЗМИЧА,

УМЕРШЕГО 20 ЯНВАРЯ 1864 ГОДА В СИБИРИ, БЛИЗ ТОМСКА НА ЗАИМКЕ КУПЦА ХРОМОВА

Еще при жизни старца Федора Кузмича, появившегося в Сибири в 1836 году и прожившего в разных местах двадцать семь лет, ходили про него странные слухи о том, что это скрывающий свое имя и звание, что это не кто иной, как император Александр Первый; после же смерти его слухи еще более распространились и усилились. И тому, что это был действительно Александр Первый, верили не только в народе, но и в высших кругах и даже в царской семье в царствование Александра Третьего. Верил этому и историк царствования Александра Первого, ученый Шильдер.

Поводом к этим слухам было, во-первых, то, что Александр умер совершенно неожиданно, не болев перед этим никакой серьезной болезнью, во-вторых, то, что умер он вдали от всех, в довольно глухом месте, Таганроге, в-третьих, то, что, когда он был положен в гроб, те, кто видели его, говорили, что он так изменился, что нельзя было узнать его и что поэтому его закрыли и никому не показывали, в-четвертых, то, что Александр неоднократно говорил, писал (и особенно часто в последнее время), что он желает только одного: избавиться от своего положения и уйти от мира, в-пятых,— обстоятельство мало известное,— то, что при протоколе описания тела Александра было сказано, что спина его и ягодицы были багрово-сизо-

красные, что никак не могло быть на изнежененном теле императора.

Что же касается до того, что именно Кузмича считали скрывшимся Александром, то поводом к этому было, во-первых, то, что старец был ростом, сложением и наружностью так похож на императора, что люди (камер-лакеи, признавшие Кузмича Александром), видавшие Александра и его портреты, находили между ними поразительное сходство, и один и тот же возраст, и та же характерная сутуловатость; во-вторых, то, что Кузмич, выдававший себя за непомнящего родства бродягу, знал иностранные языки и всеми приемами своими величавой ласковости обличал человека, привыкшего к самому высокому положению; в-третьих, то, что старец никогда никому не открыл своего имени и звания, а между тем невольно прорывающимися выражениями выдавал себя за человека, когда-то стоявшего выше всех других людей; и в-четвертых, то, что он перед смертью уничтожил какие-то бумаги, из которых остался один листок с шифрованными странными знаками и инициалами А. и П.; в-пятых, то, что, несмотря на всю набожность, старец никогда не говел. Когда же посетивший его архиерей уговаривал его исполнить долг христианина, старец сказал: «Если бы я на исповеди не сказал про себя правды, небо удивилось бы; если же бы я сказал, кто я, удивилась бы земля».

Все догадки и сомнения эти перестали быть сомнениями и стали достоверностью вследствие найденных записок Кузмича. Записки эти следующие. Начинаются они так:

I

Спаси бог бесценного друга Ивана Григорьевича [1] за это восхитительное убежище. Не стою я его доброты и милости божией. Я здесь спокоен. Народа ходит меньше, и я один с своими преступными воспоминаниями и с богом. Постараюсь воспользоваться уединением, чтобы подробно описать свою жизнь. Она может быть поучительна людям.

Я родился и прожил сорок семь лет своей жизни среди самых ужасных соблазнов и не только не устоял против них, но упивался ими, соблазнялся и соблазнял других,

[1] Иван Григорьевич Латышев — это крестьянин села Краснореченского, с которым Федор Кузмич познакомился и сошелся в 39-м году и который после разных перемен места жительства построил для Кузмича в стороне от дороги, в горе, над обрывом, в лесу келью. В этой келье и начал Кузмич свои записки. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

грешил и заставлял грешить. Но бог оглянулся на меня. И вся мерзость моей жизни, которую я старался оправдать перед собой и сваливать на других, наконец открылась мне во всем своем ужасе, и бог помог мне избавиться не от зла — я еще полон его, хотя и борюсь с ним,— но от участия в нем. Какие душевные муки я пережил и что совершилось в моей душе, когда я понял всю свою греховность и необходимость искупления (не веры в искупление, а настоящего искупления грехов своими страданиями), я расскажу в своем месте. Теперь же опишу только самые действия мои, как я успел уйти из своего положения, оставив вместо своего трупа труп замученного мною до смерти солдата, и приступлю к описанию своей жизни с самого начала.

Бегство мое совершилось так. В Таганроге я жил в том же безумии, в каком жил все эти последние двадцать четыре года. Я, величайший преступник, убийца отца, убийца сотен тысяч людей на войнах, которых я был причиной, гнусный развратник, злодей, верил тому, что мне про меня говорили, считал себя спасителем Европы, благодетелем человечества, исключительным совершенством, un heureux hasard [1], как я сказал это madame Staël [2]. Я считал себя таким, но бог не совсем оставил меня, и недремлющий голос совести не переставая грыз меня. Все мне было нехорошо, все были виноваты. Один я был хорош, и никто не понимал этого. Я обращался к богу, молился то православному богу с Фотием, то католическому, то протестантскому с Парротом, то иллюминатскому с Крюденер, но и к богу я обращался только перед людьми, чтоб они любовались мною. Я презирал всех людей, а эти-то презренные люди, их мнение только и было для меня важно, только ради его я жил и действовал. Одному мне было ужасно. Еще ужаснее с нею, с женою. Ограниченная, лживая, капризная, злая, чахоточная и вся притворство, она хуже всего отравляла мою жизнь. Nous étions censés [3] проживать нашу новую lune de miel [4], а это был ад в приличных формах, притворный и ужасный.

Один раз мне особенно было гадко, я получил накануне письмо от Аракчеева об убийстве его любовницы. Он описывал мне свое отчаянное горе. И удивительное дело: его постоянная тонкая лесть, не только лесть, но настоя-

---

[1] счастливой случайностью *(фр.)*.
[2] госпоже Сталь *(фр.)*.
[3] Мы предполагали *(фр.)*.
[4] медовый месяц *(фр.)*.

щая собачья преданность, начавшаяся еще при отце, когда мы вместе с ним, тайно от бабушки, присягали ему, эта собачья преданность его делала то, что я если любил в последнее время кого из мужчин, то любил его. Хотя и неприлично употреблять это слово «любил», относя его к этому извергу. Связывало меня с ним еще и то, что он не только не участвовал в убийстве отца, как многие другие, которые именно за то, что они были участниками моего преступления, мне были ненавистны. Он не только не участвовал, но был предан моему отцу и предан мне. Впрочем, про это после.

Я спал дурно. Странно сказать, убийство красавицы, злой Настасьи (она была удивительно чувственно красива), вызвало во мне похоть. И я не спал всю ночь. То, что через комнату лежит чахоточная, постылая жена, не нужная мне, злило и еще больше мучало меня. Мучали и воспоминания о Мари (Нарышкиной), бросившей меня для ничтожного дипломата. Видно, и мне и отцу суждено было ревновать к Гагариным. Но я опять увлекаюсь воспоминаниями. Я не спал всю ночь. Стало рассветать. Я поднял гардину, надел свой белый халат и кликнул камердинера. Все еще спали. Я надел сюртук, штатскую шинель и фуражку и вышел мимо часовых на улицу.

Солнце только что поднималось над морем, был свежий осенний день. На воздухе мне сейчас же стало лучше. Мрачные мысли исчезли, и я пошел к игравшему местами на солнце морю. Не доходя угла с зеленым домом, я услыхал с площади барабан и флейту. Я прислушался и понял, что на площади происходила экзекуция: прогоняли сквозь строй. Я, столько раз разрешавший это наказание, никогда не видал этого зрелища. И странное дело (это, очевидно, было дьявольское влияние), мысли об убитой чувственной красавице Настасье и об рассекаемых шпицрутенами телах солдат сливались в одно раздражающее чувство. Я вспомнил о прогнанных сквозь строй семеновцах и о военнопоселенцах, сотни которых были загнаны насмерть, и мне вдруг пришла странная мысль посмотреть на это зрелище. Так как я был в штатском, я мог это сделать.

Чем ближе я шел, тем явственнее слышалась барабанная дробь и флейта. Я не мог ясно рассмотреть без лорнета своими близорукими глазами, но видел уже ряды солдат и движущуюся между ними высокую, с белой спиной фигуру. Когда же я стал в толпе людей, стоявшей позади рядов и смотревшей на зрелище, я достал лорнет и мог рассмотреть все, что делалось. Высокий человек с при-

вязанными к штыку обнаженными руками и с голой, кое-где алевшей уже от крови, рассеченной белой сутуловатой спиной шел по улице сквозь строй солдат с палками. Человек этот был я, был мой двойник. Тот же рост, та же сутуловатая спина, та же лысая голова, те же баки, без усов, те же скулы, тот же рот и те же голубые глаза, но рот не улыбающийся, а раскрывающийся и искривляющийся от вскрикиваний при ударах, и глаза не умильные, ласкающие, а страшно выпяченные и то закрывающиеся, то открывающиеся.

Когда я вгляделся в лицо этого человека, я узнал его. Это был Струменский, солдат левофланговый унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка, в свое время известный всем гвардейцам по своему сходству со мною. Его шутя называли Александром II.

Я знал, что он был вместе с бунтовавшими семеновцами переведен в гарнизон, и понял, что он, вероятно, здесь в гарнизоне сделал что-нибудь, вероятно, бежал, был пойман и вот наказывался. Как я потом узнал, так это и было.

Я стоял как заколдованный, глядя на то, как шагал этот несчастный и как его били, и чувствовал, что что-то во мне делается. Но вдруг я заметил, что стоявшие со мной люди, зрители, смотрят на меня,— одни сторонятся, другие приближаются. Очевидно, меня узнали. Увидав это, я повернулся и быстро пошел домой. Барабан все бил, флейта играла; стало быть, казнь все продолжалась. Главное чувство мое было то, что мне надо было сочувствовать тому, что делалось над этим двойником моим. Если не сочувствовать, то признавать, что делается то, что должно,— и я чувствовал, что я не мог. А между тем я чувствовал, что если я не признаю, что это так и должно быть, что это хорошо, то я должен признать, что вся моя жизнь, все мои дела — все дурно, и мне надо сделать то, что я давно хотел сделать: все бросить, уйти, исчезнуть.

Чувство это охватило меня, я боролся с ним, я то признавал, что это так и должно быть, что это печальная необходимость, то признавал, что мне надо было быть на месте этого несчастного. Но, странное дело, мне не жалко было его, и я, вместо того чтобы остановить казнь, только боялся, что меня узнают, и ушел домой.

Скоро перестало быть слышно барабаны, и, вернувшись домой, я как будто освободился от охватившего меня там чувства, выпил свой чай и принял доклад от Волконского. Потом обычный завтрак, обычные, привычные — тяжелые, фальшивые отношения с женой, потом

Дибич и доклад, подтверждавший сведения о тайном обществе. В свое время, описывая всю историю своей жизни, опишу, если богу будет угодно, все подробно. Теперь же скажу только, что и это я внешним образом принял спокойно. Но это продолжалось только до конца обеда. После обеда я ушел в кабинет, лег на диван и тотчас же заснул.

Едва ли я проспал пять минут, как толчок во всем теле разбудил меня, и я услыхал барабанную дробь, флейту, звуки ударов, вскрикивания Струменского и увидал его или себя,— я сам не знал, он ли был я, или я был я,— увидал его страдающее лицо и безнадежные подергивания и хмурые лица солдат и офицеров. Затмение это продолжалось недолго: я вскочил, застегнул сюртук, надел шляпу и шпагу и вышел, сказав, что пойду гулять.

Я знал, где был военный гошпиталь, и прямо пошел туда. Как всегда, все засуетились. Запыхавшись прибежал главный доктор и начальник штаба. Я сказал, что хочу пройти по палатам. Во второй палате я увидал плешивую голову Струменского. Он лежал ничком, положив голову на руки, и жалобно стонал. «Был наказан за побег»,— доложили мне.

Я сказал: «А!», сделал свой обычный жест того, что слышу и одобряю, и прошел мимо.

На другой день я послал спросить, что Струменский. Мне сказали, что его причастили и он умирает.

Это был день именин брата Михаила. Был парад и служба. Я сказал, что нездоров после крымской поездки, и не пошел к обедне. Ко мне опять пришел Дибич и докладывал опять о заговоре во 2-й армии, напоминая то, что говорил мне об этом граф Витт еще до крымской поездки, и донесение унтер-офицера Шервуда.

Тут только, слушая доклад Дибича, приписывавшего такую огромную важность этим замыслам заговора, я вдруг почувствовал все значение и всю силу того переворота, который произошел во мне. Они делают заговор, чтобы изменить образ правления, ввести конституцию,— то самое, что я хотел сделать двадцать лет тому назад. Я делал и разделывал конституции в Европе, и что и кому от этого стало лучше? И главное, кто я, чтобы делать это? Главное было то, что вся внешняя жизнь, всякое устройство внешних дел, всякое участие в них — а уж я ли не участвовал в них и не перестраивал жизнь народов Европы — было не важно, не нужно и не касалось меня. Я вдруг понял, что все это не мое дело. Что мое дело — я, моя душа. И все мои прежние желания отречения от

престола, тогда с рисовкой, с желанием удивить, опечалить людей, показать им свое величие души, вернулись теперь, но вернулись с новой силой и с полной искренностью, уже не для людей, а только для себя, для души. Как будто весь этот пройденный мною в светском смысле блестящий круг жизни был пройден только для того, чтобы вернуться к тому юношескому, вызванному раскаянием, желанию уйти от всего, но вернуться без тщеславия, без мысли о славе людской, а для себя, для бога. Тогда это были неясные желания, теперь это была невозможность продолжать ту же жизнь.

Но как? Не так, чтобы удивить людей, чтобы меня хвалили, а напротив, надо было уйти так, чтобы никто не знал и чтобы пострадать. И эта мысль так обрадовала, так восхитила меня, что я стал думать о средствах приведения ее в исполнение, все силы своего ума, своей, свойственной мне, хитрости употребил на то, чтобы привести ее в исполнение.

И удивительное дело, исполнение моего намерения оказалось гораздо более легким, чем я ожидал. Намерение мое было такое: притвориться больным, умирающим и, подговорив и подкупив доктора, положить на мое место умирающего Струменского и самому уйти, бежать, скрыв от всех свое имя.

И все делалось, как бы нарочно, для того, чтобы мое намерение удалось. 9-го я, как нарочно, заболел лихорадкой. Я проболел около недели, во время которой я все больше и больше укреплялся в своем намерении и обдумывал его. 16-го я встал и чувствовал себя здоровым.

В этот день я, по обыкновению, сел бриться и, задумавшись, сильно обрезался около подбородка. Пошло много крови, мне сделалось дурно, и я упал. Прибежали, подняли меня. Я тотчас же понял, что это может мне пригодиться для исполнения моего намерения, и, хотя чувствовал себя хорошо, притворился, что я очень слаб, слег в постель и велел позвать к себе помощника Виллие. Виллие не пошел бы на обман, этого же молодого человека я надеялся подкупить. Я открыл ему свое намерение и план исполнения и предложил ему восемьдесят тысяч, если он сделает все то, что я от него требовал. План мой был такой: Струменский, как я узнал, в это утро был при смерти и должен был кончиться к ночи. Я ложился в постель и, притворившись раздраженным на всех, не допускал к себе никого, кроме подкупленного врача. В эту же ночь врач должен был привезти в ванне тело Струмен-

ского и положить его на мое место и объявить о моей неожиданной смерти. И удивительное дело, все было исполнено так, как мы предполагали. И 17 ноября я был свободен.

Тело Струменского в закрытом гробу похоронили с величайшими почестями. Брат Николай вступил на престол, сослав в каторгу заговорщиков. Я видел потом в Сибири некоторых из них, я же пережил ничтожные в сравнении с моими преступлениями страдания и незаслуженные мною величайшие радости, о которых расскажу в своем месте.

Теперь же, стоя по пояс в гробу, семидесятидвухлетним стариком, понявшим тщету прежней жизни и значительность той жизни, которой я жил и живу бродягой, постараюсь рассказать повесть моей ужасной жизни.

МОЯ ЖИЗНЬ

12 декабря 1849.
Сибирская тайга, близ Красноречинска.

Сегодня день моего рождения, мне семьдесят два года. Семьдесят два году тому назад я родился в Петербурге, в Зимнем дворце, в покоях моей матери императрицы — тогда великой княгини Марьи Федоровны.

Спал я сегодня ночью довольно хорошо. После вчерашнего нездоровья мне стало несколько легче. Главное, прекратилось сонное духовное состояние, возобновилась возможность всей душой общаться с богом. Вчера ночью в темноте молился. Ясно сознал свое положение в мире: я — вся моя жизнь — есть нечто нужное тому, кто меня послал. И я могу делать это нужное ему и могу не делать. Делая нужное ему, я содействую благу своему и всего мира. Не делая этого, лишаюсь своего блага — не всего блага, а того, которое могло быть моим, но не лишаю мир того блага, которое предназначено ему (миру). То, что я должен бы был сделать, сделают другие. И его воля будет исполнена. В этом свобода моей воли. Но если он знает, что будет, если все определено им, то нет свободы? Не знаю. Тут предел мысли и начало молитвы, простой, детской и старческой молитвы: «Отче, не моя воля да будет, но твоя. Помоги мне. Прииди и вселися в ны». Просто: «Господи, прости и помилуй; да, господи, прости и помилуй, прости и помилуй. Словами не могу сказать, а сердце ты знаешь, ты сам в нем».

И я заснул хорошо. Просыпался, как всегда, по старческой слабости, раз пять и видел сон о том, что купаюсь в море и плаваю и удивляюсь, как меня вода держит высоко,— так, что я совсем не погружаюсь в нее; и вода зеленоватая, красивая; и какие-то люди мешают мне, и женщины на берегу, а я нагой, и нельзя выйти. Смысл сновидения тот, что мешает мне еще крепость моего тела, но выход близок.

Встал до рассвета, высек огня и долго не мог зажечь серничка. Надел свой лосиный халат и вышел на улицу. Из-за осыпанных снегом лиственниц и сосен краснела красно-оранжевая заря. Внес вчера наколонные дрова и затопил, и стал еще колоть. Рассвело. Поел размоченных сухарей; печь истопилась, закрыл трубу и сел писать.

Родился я ровно семьдесят два года тому назад, 12 декабря 1777 года, в Петербурге, в Зимнем дворце. Имя дано мне было, по желанию бабки, Александра,— в предзнаменование того, как она сама говорила мне, чтобы я был столь же великим человеком, как Александр Македонский, и столь же святым, как Александр Невский. Крестили меня через неделю в большой церкви Зимнего дворца. Несла меня на глазетовой подушке герцогиня курляндская, покрывало поддерживали высшие чины, крестной матерью была императрица, крестным отцом был император австрийский и король прусский. Комната, в которую поместили меня, была так устроена по плану бабушки. Я ничего этого не помню, но знаю по рассказам.

В обширной комнате этой с тремя высокими окнами, посередине ее, среди четырех колонн прикреплен к высокому потолку бархатный балдахин с шелковыми занавесами до полу. Под балдахином поставлена кроватка железная, с кожаным тюфячком, подушечкой и легким английским одеялом. Кругом балдахина балюстрада в два аршина вышины — так, чтобы посетители не могли близко подходить. В комнате никакой мебели, только позади балдахина постель кормилицы. Все подробности моего телесного воспитания были обдуманы бабушкой. Запрещено было меня укачивать, пеленали особенным образом, ноги были без чулок, купали сначала в теплой, потом в холодной воде, одежда была особенная, надевалась сразу, без швов и завязок. Как только я начал ползать, так меня клали на ковер и предоставляли самому себе. Первое время мне рассказывали, что бабушка часто сама садилась на ковер и играла со мной. Я ничего этого не помню, не помню и кормилицу.

Кормилицей моей была жена садовникова молодца, Авдотья Петрова из Царского Села. Я не помню ее. Я увидел ее в первый раз, когда мне было восемнадцать лет и она в Царском подошла ко мне в саду и назвала себя. Было это в то мое хорошее время моей первой дружбы с Чарторижским и искреннего отвращения ко всему тому, что делалось при обоих дворах, как несчастного отца, так и ставшей мне ненавистной тогда бабки. Я был еще человеком тогда, и даже не дурным человеком, с добрыми стремлениями. Я шел с Адамом по парку, когда из боковой аллеи вышла хорошо одетая женщина, с необыкновенно добрым, очень белым, приятным, улыбающимся и взволнованным лицом. Она быстро подошла ко мне и, упав на колени, схватила мою руку и стала целовать ее.

— Батюшка, ваше высочество. Вот когда бог привел.

— Кто вы?

— Кормилка ваша, Авдотья, Дуняша, одиннадцать месяцев кормила. Привел бог взглянуть.

Я насилу поднял ее, спросил, где она живет, и обещал зайти к ней. Милый intérieur [1] ее чистенького домика; ее милая дочка, совершенная русская красавица, моя молочная сестра, которая была невестой берейтора придворного; отец ее, садовник, такой же улыбающийся, как и жена, и куча детей, тоже улыбающихся,— все они точно осветили меня в темноте. «Вот настоящая жизнь, настоящее счастье,— думал я.— Так все просто, ясно, никаких интриг, зависти, ссор».

Так вот эта милая Дуняша и кормила меня. Главной няней моей была немка Софья Ивановна Бенкендорф, а няней — англичанка Гесслер. Софья Ивановна Бенкендорф, немка, была толстая, белая, прямоносая женщина, с величественным видом, когда она распоряжалась в детской, и удивительно униженной, низкопоклонной, низкоприседающей при бабушке, которая была на голову ниже ее ростом. Она ко мне относилась особенно раболепно и вместе с тем строго. То она была царицей, в своих широких юбках и с своим величественным прямоносым лицом, то вдруг делалась притворяющейся девчонкой.

Прасковья Ивановна (Гесслер), англичанка, была длиннолицая, рыжеватая, всегда серьезная англичанка. Но зато, когда она улыбалась, она рассиявала вся, и нельзя было удержаться от улыбки. Мне нравилась ее аккуратность, ровность, чистота, твердая мягкость. Мне каза-

[1] интерьер *(фр.)*.

лось, что она что-то знает такого, чего не знал никто, ни маменька, ни батюшка, даже сама бабушка.

Мать свою я помню сначала как какое-то странное, печальное, сверхъестественное и прелестное видение. Красивая, нарядная, блестящая бриллиантами, шелком, кружевами и обнаженными полными белыми руками, она входила в мою комнату и с каким-то странным, чуждым мне, не относящимся ко мне грустным выражением лица ласкала меня, брала на свои сильные прекрасные руки, подносила к еще более прекрасному лицу, откидывала густые пахучие волосы, и целовала меня и плакала, и раз даже спустила меня с рук и упала в дурноте.

Странное дело: внушено ли мне это было бабушкой, или таково было обхождение со мною матери, или я детским чутьем проник ту дворцовую интригу, которой я был центром, но у меня не было простого чувства, даже никакого чувства любви к матери. Что-то натянутое чувствовалось в ее обращении ко мне. Она как будто что-то выказывала через меня, забывая меня, и я это чувствовал. Так это и было. Бабка отняла меня от родителей, взяла в свое полное распоряжение, для того чтобы передать мне престол, лишив его ненавидимого ею сына, моего несчастного отца. Я, разумеется, долго ничего не знал этого, но с первых же дней сознания я, не понимая причин, сознавал себя предметом какой-то вражды, соревнования, игрушкой каких-то замыслов и чувствовал холодность и равнодушие к себе, к своей детской душе, не нуждавшейся ни в какой короне, а только в простой любви. И ее-то и не было. Была мать, всегда грустная в моем присутствии. Один раз она, поговорив о чем-то по-немецки с Софьей Ивановной, расплакалась и выбежала почти из комнаты, заслышав шаги бабушки. Был отец, который иногда входил в нашу комнату и к которому потом водили меня с братом. Но отец этот, мой несчастный отец, еще больше и решительнее, чем мать, при виде меня выражал свое неудовольствие, сдержанный гнев даже.

Помню, как раз нас с братом Константином привели на их половину. Это было перед отъездом его в путешествие за границу в 1781 году. Он вдруг отстранил меня рукой и с страшными глазами вскочил с кресла и, задыхаясь, заговорил что-то обо мне и бабушке. Я не понял что, но помню слова:

— Après 62 tout est possible... [1]

[1] После 62 года все возможно... *(фр.)*

Я испугался, заплакал. Матушка взяла меня на руки и стала целовать. И потом поднесла ему. Он быстро благословил меня и, стуча своими высокими каблуками, почти выбежал из комнаты. Уже долго потом я понял значение этого взрыва. Они с матушкой ехали путешествовать под именем Comte и Comtesse du Nord [1]. Бабушка хотела этого. И он боялся, чтобы в его отсутствие он бы не был объявлен лишенным права на престол и я признан наследником...

Боже мой, боже мой! И он дорожил тем, что погубило телесно и духовно и его и меня, и я, несчастный, дорожил тем же.

Кто-то стучится, произнося молитву: «Во имя отца и сына». Я сказал: «Аминь». Уберу писание, пойду отопру. И если бог велит, буду продолжать завтра.

13 декабря.

Спал мало и видел нехорошие сны: какая-то женщина, неприятная, слабая, жмется ко мне, и я не ее боюсь, не греха, а боюсь, что увидит жена. И будут опять упреки. Семьдесят два года, и я все еще не свободен... Наяву можно себя обманывать, но сновидение дает верную оценку той степени, до которой ты достиг. Видел еще — и это опять подтверждение той низкой степени нравственности, на которой я стою,— что кто-то принес мне здесь во мху конфеты, какие-то необыкновенные конфеты, и мы разобрали их из моха и роздали. Но после раздачи остались еще конфеты, и я выбираю их для себя, а тут мальчик вроде сына турецкого султана, черноглазый, неприятный, тянется к конфетам, берет их в руки, и я отталкиваю его и между тем знаю, что ребенку гораздо свойственнее есть конфеты, чем мне, и все-таки не даю ему и чувствую к нему недоброе чувство, и в то же время знаю, что это дурно.

И странное дело, наяву со мной нынче случилось это самое. Пришла Марья Мартемьяновна. Вчера стучался от нее посол с запросом, может ли она побывать. Я сказал, что можно. Мне тяжелы эти посещения, но я знаю, что ее огорчил бы отказ. И вот нынче она приехала. Полозья издалека слышно было, как визжали по снегу. И она, войдя в своей шубе и платках, внесла кульки с гостинцами и такой холод, что я оделся в халат. Она привезла оладей, мас-

---

[1] Граф и графиня Северные *(фр.)*.

ла постного и яблок. Она приехала спросить о дочери. Сватается богатый вдовец. Отдавать ли? Очень мне тяжело это их представление о моей прозорливости. Все, что я говорю против, они приписывают моему смирению. Я сказал, что всегда говорю, что целомудрие лучше брака, но, по слову Павла, лучше жениться, чем разжигаться. С ней вместе приехал ее зять Никанор Иванович, тот самый, который звал меня поселиться в его доме и потом не переставая преследовал меня своими посещениями.

Никанор Иванович — это великое для меня искушение. Не могу преодолеть антипатии, отвращения к нему. «Ей, господи, даруй мне зрети прегрешения моя и не осуждать брата моего». А я вижу все его согрешения, угадываю их с проницательностью злобы, вижу все его слабости и не могу победить антипатии к нему, к брату моему, к носителю, так же как и я, божественного начала.

Что значат такие чувства? Я в моей долгой жизни не раз испытывал их. Но самые сильные мои две антипатии это были Лудовик XVIII, с его животом, горбатым носом, противными белыми руками, с его самоуверенностью, наглостью, тупостью (вот я сейчас уже начинаю ругать его), и другая антипатия — это Никанор Иванович, который вчера два часа мучил меня. Все мне, от звука его голоса до волос и ногтей, вызывало во мне отвращение. И я, чтоб объяснить свою мрачность Марье Мартемьяновне, солгал, сказав, что мне нездоровится. После них стал на молитву и после молитвы успокоился. Благодарю тебя, господи, за то, что одно, единственное одно, что нужно мне, в моей власти. Вспомнил, что Никанор Иванович был младенцем и будет умирать, тоже вспомнил и о Лудовике XVIII, зная, что он уже умер, и пожалел, что Никанора Ивановича уже не было, чтобы я мог выразить ему мое доброе к нему чувство.

Марья Мартемьяновна привезла много свечей, и я могу писать вечером. Вышел на двор. С левой стороны потухли яркие звезды в удивительном северном сиянии. Как хорошо, как хорошо! Итак, продолжаю.

Отец с матерью уехали в заграничное путешествие, и мы с братом Константином, родившимся два года после меня, перешли на все время отсутствия родителей в полное распоряжение бабки. Брата назвали Константином в ознаменование того, что он должен был быть греческим императором в Константинополе.

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. Бабка ласкала, хвалила меня, и я любил ее, несмотря на отталкивающий меня дурной запах, который, несмотря на духи, всегда стоял около нее; особенно когда она меня брала на колени. И еще неприятны мне были ее руки, чистые, желтоватые, сморщенные, какие-то склизкие, глянцевитые, с пальцами, загибающимися внутрь, и далеко, неестественно оттянутыми, обнаженными ногтями. Глаза у нее были мутные, усталые, почти мертвые, что вместе с улыбающимся беззубым ртом производило тяжелое, но не отталкивающее впечатление. Я приписывал это выражение глаз (о котором вспоминаю теперь с омерзением) ее трудам о своих народах, как мне внушили это, и я жалел ее за это томное выражение глаз. Видел я раза два Потемкина. Этот кривой, косой, огромный, черный, потный, грязный человек был ужасен. Особенно же ужасен он мне был тем, что он один не боялся бабки и говорил своим трескучим голосом громко при ней и смело, хотя и называл меня высочеством, ласкал и тормошил меня.

Из тех, кого я видел у нее в это мое первое время детства, был еще Ланской. Он всегда был с ней, и все замечали его, все ухаживали за ним. Главное, сама императрица беспрестанно оглядывалась на него. Я не понимал, разумеется, тогда, что такое был Ланской, и он очень нравился мне. Нравились мне его букли, нравились обтянутые в лосины красивые ляжки и икры, нравилась его веселая, счастливая, беззаботная улыбка и бриллианты, которые повсюду блестели на нем.

Время это было очень веселое. Нас возили в Царское. Мы катались на лодках, копались в саду, гуляли, катались на лошадях. Константин, толстенький, рыженький, un petit Bacchus [1], как его называла бабушка, веселил всех своими шутками, смелостью и выдумками. Он всех передразнивал, и Софью Ивановну и даже саму бабушку.

Важным событием за это время была смерть Софьи Ивановны Бенкендорф. Случилось это вечером в Царском, при бабушке. Софья Ивановна только что привела нас после обеда и что-то говорила, улыбаясь, как вдруг лицо ее стало серьезно, она зашаталась, прислонилась к двери, скользнула по ней и тяжело упала. Сбежались люди, нас увели. Но на другой день мы узнали, что она умерла. Я долго плакал и скучал и не мог опомниться. Все думали, что я плакал об Софье Ивановне, а я плакал не о ней,

---

[1] маленький Вакх *(фр.)*.

а о том, что люди умирают, что есть смерть. Я не мог понять этого, не мог поверить тому, чтобы это была участь всех людей. Помню, что тогда в моей детской пятилетней душе восстали во всем своем значении вопросы о том, что такое смерть, что такое жизнь, кончающаяся смертью. Те главные вопросы, которые стоят перед всеми людьми и на которые мудрые ищут и не находят ответы и легкомысленные стараются отстранить, забыть. Я сделал, как это свойственно ребенку, и особенно в том мире, в котором жил: я отстранил от себя эту мысль, забыл про смерть, жил так, как будто ее нет, и вот дожил до того, что она стала страшна мне.

Другое важное событие в связи с смертью Софьи Ивановны был переход наш в мужские руки и назначение к нам в воспитатели Николая Ивановича Салтыкова. Не того Салтыкова, который, по всем вероятиям, был нашим дедом, а Николая Ивановича, служившего при дворе отца, маленького человечка с огромной головой, глупым лицом и всегдашней гримасой, которую удивительно представлял маленький брат Костя. Переход этот в мужские руки был для меня горем разлучения с милой Прасковьей Ивановной, прежней няней.

Людям, не имевшим несчастия родиться в царской семье, я думаю, трудно представить себе всю ту извращенность взгляда на людей и на свои отношения к ним, которую испытывали мы, испытывал я. Вместо того естественного ребенку чувства зависимости от взрослых и старших, вместо благодарности за все блага, которыми пользуешься, нам внушалась уверенность в том, что мы особенные существа, которые должны быть не только удовлетворяемы всеми возможными для людей благами, но которые одним своим словом, улыбкой не только расплачиваются за все блага, но награждают и делают людей счастливыми. Правда, от нас требовали учтивого отношения к людям, но я детским чутьем понимал, что это только видимость и что это делается не для них, не для тех, с кем мы должны быть учтивы, а для себя, для того, чтобы еще значительнее было свое величие.

Какой-то торжественный день, и мы едем по Невскому в огромном, высоком ландо: мы, два брата, и Николай Иванович Салтыков. Мы сидим на первом месте. Два напудренных лакея в красных ливреях стоят сзади. Весенний яркий день. На мне расстегнутый мундир, белый жилетик и по нем голубая андреевская лента, так же одет и Костя; на головах шляпы с перьями, которые мы то

и дело снимаем и кланяемся. Народ везде останавливается, кланяется, некоторые бегут за нами. «On vous salue,— повторяет Николай Иванович.— A droite» [1]. Проезжаем мимо гауптвахты, и выбегает караул.

Этих я всегда вижу. Любовь к солдатам, к военным экзерцициям у меня была с детства. Нам внушали — особенно бабушка, та самая, которая менее всех верила в это,— что все люди равны и что мы должны помнить это. Но я знал, что те, кто говорят так, не верят в это.

Помню, раз Саша Голицын, игравший со мной в бары, толкнул меня и сделал больно.

— Как ты смеешь!

— Я нечаянно. Что за важность!

Я чувствовал, как кровь прилила мне к сердцу от оскорбления и злобы. Я пожаловался Николаю Ивановичу, и мне не было стыдно, когда Голицын просил у меня прощения.

На нынче довольно. Свеча догорает. И надо еще нащепать лучины. А топор туп и наточить нечем, да и не умею.

16 декабря

Три дня не писал. Был нездоров. Читал Евангелие, но не мог вызвать в себе того понимания его, того общения с богом, которое испытывал прежде. Прежде много раз думал, что человек не может не желать. Я всегда желал и желаю. Желал прежде победы над Наполеоном, желал умиротворения Европы, желал освобождения себя от короны, и все желания мои или исполнялись и, когда исполнялись, переставали влечь меня к себе, или делались неисполнимы, и я переставал желать. Но пока эти исполнялись или становились неисполнимыми прежние желания, зарождались новые, и так шло и идет до конца. Теперь я желал зимы, она настала, желал уединения, почти достиг этого, теперь желаю описать свою жизнь и сделать это наилучшим образом, так, чтобы принести пользу людям. И если исполнится и если не исполнится, явятся новые желания. Вся жизнь в этом.

И мне пришло в голову, что если вся жизнь в зарождении желаний и радость жизни в исполнении их, то нет ли такого желания, которое свойственно бы было человеку,

---

[1] Вас приветствуют. Направо *(фр.)*.

всякому человеку, всегда, и всегда исполнялось бы или, скорее, приближалось бы к исполнению? И мне ясно стало, что это было бы так для человека, который желал бы смерти. Вся жизнь его была бы приближением к исполнению этого желания; и желание это наверное исполнилось бы.

Сначала это мне показалось странным. Но, вдумавшись, я вдруг увидал, что это так и есть, что в этом одном, в приближении к смерти, разумное желание человека. Желание не в смерти, не в самой смерти, а в том движении жизни, которое ведет к смерти. Движение же это есть освобождение от страстей и соблазнов того духовного начала, которое живет в каждом человеке. Я чувствую это теперь, освободившись от большей части того, что скрывало от меня сущность моей души, ее единство с богом, скрывало от меня бога. Я пришел к этому бессознательно. Но если бы я поставил своим высшим благом (а это не только возможно, но так и должно быть), считал бы своим высшим благом освобождение от страстей, приближение к богу, то все, что придвигало бы меня к смерти: старость, болезни, было бы исполнением моего единого и главного желания. Это так, и это я чувствую, когда я здоров. Но когда я, как вчера и третьего дня, болею желудком, я не могу вызвать этого чувства и, хотя и не противлюсь смерти, не могу желать приближаться к ней. Да, такое состояние есть состояние сна духовного. Надо спокойно ждать.

Продолжаю вчерашнее. То, что я пишу про свое детство, я пишу больше по рассказам, и часто то, что мне про меня рассказывали, перемешивается с тем, что я испытал, так что я не знаю иногда, что я пережил и что слышал от людей.

Жизнь моя, вся, от рождения моего и до самой теперешней старости, напоминает мне местность, всю покрытую густым туманом, или даже после сражения под Дрезденом, когда все скрыто, ничего не видно, и вдруг тут и там открываются островки, des éclaircies [1], в которых видишь ни с чем не соединенных людей, предметы, со всех сторон окруженные непроницаемой завесой. Таковы мои детские воспоминания. Эти éclaircies в детстве только редко, редко открываются среди бесконечного моря тумана или дыма, потом чаще и чаще, но даже и теперь у меня есть времена, не оставляющие ничего в воспоминании.

---

[1] просветы *(фр.)*.

В детстве же их чрезвычайно мало, и чем дальше назад, тем меньше.

Я говорил об этих просветах первого времени: смерти Бенкендорфши, прощанье с родителями, передразниванье Кости, но и еще несколько воспоминаний того времени теперь, когда я думаю о прошедшем, открываются передо мной. Так, например, я совершенно не помню, когда появился Костя, когда мы стали жить вместе, а между тем живо помню, как мы раз, когда мне было не более семи, а Косте пяти лет, мы после всенощной накануне рождества пошли спать и, воспользовавшись тем, что все вышли из нашей комнаты, соединились в одной кроватке. Костя в одной рубашке перелез ко мне и начал какую-то веселую игру, состоящую в том, чтобы шлепать друг друга по голому телу. И хохотали до боли живота и были очень счастливы, когда вдруг вошел в своем расшитом кафтане с орденами Николай Иванович с своей огромной напудренной головой и, выпучив глаза, бросился на нас и с каким-то ужасом, которого я никак не мог объяснить себе, разогнал нас и гневно обещал наказать нас и пожаловаться бабушке.

Другое памятное мне воспоминание, уже несколько позже — мне было около девяти лет,— это происшедшее у бабушки почти при нас столкновение Алексея Григорьевича Орлова с Потемкиным. Было это незадолго до поездки бабушки в Крым и нашего первого путешествия в Москву. Как обыкновенно, Николай Иванович приводит нас к бабушке. Большая с лепным и расписным потолком комната полна народом. Бабушка уже причесанная. Волосы ее зачесаны кверху надо лбом и как-то особенно искусно заложены на темени. Она сидит в белом пудроманте перед золотым туалетом. Горничные ее стоят над нею и убирают ее голову. Она, улыбаясь, смотрит на нас, продолжая говорить с большим, высоким, широким генералом с андреевской лентой и страшно развороченной щекой ото рта до уха. Это Орлов, Le balafré [1]. Я тут в первый раз видел его. Около бабушки андерсоны, левретки. Моя любимица Мими вскакивает с подола бабушки и вскакивает на меня лапами и лижет в лицо. Мы подходим к бабушке и целуем ее белую пухлую руку. Рука переворачивается, и загнутые пальцы ловят меня за лицо и ласкают. Несмотря на духи, я чувствую неприятный

[1] человек со шрамом *(фр.)*.

бабушкин запах. Но она продолжает глядеть на Balafré и говорит с ним.

— Какоф маладец,— говорит она, указывая на меня.— Вы ишо не витали его, граф? — говорит.

— Молодцы оба,— говорит граф, целуя руку мою и Костину.

— Карашо, карашо,— говорит она горничной, надевающей ей на голову чепец. Горничная эта — Марья Степановна, набеленная, нарумяненная, добродушная женщина, которая всегда ласкает меня.

— Où est ma tabatière? [1]

Ланской подходит, подает открытую табакерку. Бабушка нюхает и, улыбаясь, глядит на подходящую шутиху Матрену Даниловну.

---

[1] Где моя табакерка? *(фр.)*



ПОВЕСТЬ О ЕЛЕВСИППЕ,

РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ

О, Парменид, мудрейший среди мудрых, не ты ли первый сказал людям, что звезда, отмечающая конец и начало дня, зовущая любовников к лобзаньям и расторгающая страстные объятия, несущая покой работникам и снова призывающая их к трудам,— одна и та же? Как же мне не вспоминать твое имя при начале повести моей долгой, полной превратностей, жизни, о, мудрый?

I

Я был родом из Корианды, равно как и мой отец, по имени Питтак; я не помню своей матери, которая умерла, дав мне жизнь и назвав меня Елевсиппом, но старая рабыня Манто часто говорила, что это была высокая женщина, с большими голубыми глазами, искусная в пряже и тканье. От нее я наследовал голубые глаза и веселый, легкий характер, а от отца некоторую хилость тела и страсть к путешествиям. Но я узнал это гораздо позднее, хотя, увы, слишком все-таки рано! А теперь пока путешествия мои ограничивались окрестными горами и морем, на которое мы, ребятишки, отваживались пускаться на оставшихся челноках, когда все старшие отправлялись на рыбную ловлю, а матери хлопотали у очагов. Впрочем, мы не доезжали даже до ближайших безлесных и безлюдных островков, которые манили меня и о которых я мечтал, засыпая на коленях у старой Манто на пороге нашего дома, смотря на туман над морем, из-за которого выплыва-

ла луна, оранжевая, на лиловом небе. Однажды отец меня брал в Галикарнасс, но я никогда не бывал в Милете; о поездке в первый из названных городов я также сохранил смутное воспоминание; помню только белых лошадей, вставших на дыбы и ржущих, которые меня напугали, шумную толпу, большие храмы, но больше всего занимало меня, что я так долго нахожусь с моим отцом, небольшим, подвижным человеком, с худым и задумчивым лицом и черною бородой. Я слышал стороною, что он один из самых богатых людей окрестности, что случается, что он ссужает деньгами даже милетцев и что никто так не строг к должникам, как он, но я плохо понимал это, и мне казалось невероятным, чтобы этот серьезный, печальный и ласковый человек мог быть строг к кому-нибудь. В бурную погоду мы вылезали на крышу и смотрели на волны, и когда случалось чужому судну разбиться около наших берегов, мы с увлечением вылавливали плавающие товары и вещи экипажа, соревнуясь в удачной ловле. Так я жил до пятнадцати лет изо дня в день, из года в год, растя вместе со своими сверстниками и радуясь солнцу, как ящерица.

II

Это было под вечер, когда загоняли стада. Помогая отцовским пастухам и завлеченный отставшею и непослушною козою далеко в горы, я очутился в местности, которая казалась мне неизвестною. Ручей с берегами, поросшими густым кустарником, один нарушил тишину узкой долины между безлесными скалами. Я не видел, куда в надвигающейся ночи свернуло упрямое животное, и стоял в раздумье, как вдруг кусты у ручья зашевелились, раздвинулись, и моим глазам открылась девушка лет четырнадцати, вышедшая на берег. Так как ее волосы были украшены водяными цветами, сама она была прекрасна, насколько можно было судить в сумерках, и, встреченная в безлюдной местности, она не походила ни на одну из окрестных девушек, знаемых мною, то я подумал, что это нимфа ручья, текущего по долине. Я стал на колени в отдалении и, сложив молитвенно руки, так начал к ней, остановившейся у самых кустов берега: «Если я тебя потревожил, благая нимфа, прости мою неосторожность и, как милостивая, помоги мне лучше найти мою козу и дорогу домой, чтобы тебе снова вкушать безмятежность покоя». Она же стояла, не отвечая; и я про-

должал: «У меня теперь ничего нет с собою, что могло бы походить на дар тебе, но я обещаю завтра принести пирожков с маком, молока, меду и цветных лент на кусты, чтобы почтить тебя, госпожа». Белевшая в сумерках фигура заколыхалась слегка, и голос, тонкий, как пение кузнечика, прозвучал мне: «Кто ты, смешной человек, не могущий отличить бедной, простой девочки от божественных нимф?» Я подумал, что нимфа может испытывать меня, и, не вставая с колен, продолжал: «Зачем же ты в этой долине одна и ночью? Что ты здесь делаешь? Подойди ко мне, дотронься до меня рукою и ответь на мои вопросы, чтобы мое сердце не смущалось напрасно».— «Вот я подошла, вот я дотрагиваюсь до тебя, вот я отвечаю: я жду здесь моего отца, который, приехав, пошел в Корианду и, не захотев ни брать меня в город, ни оставлять на берегу у всех на виду, провел в эту, едва ли не ему одному известную, долину дожидаться его прихода».— «Вот я теперь тоже узнал эту долину и всем расскажу, и тебе нельзя будет сюда прятаться».

— Зачем же ты это сделаешь? Ты нас совсем не знаешь и зла от нас не видел.

— А затем: наверно, ты с твоим отцом занимаешься нехорошими делами, раз их нужно делать ночью и спрятанными от людских взоров.

Она, нахмурившись, сказала:

— Ты глупый и злой мальчик, больше ничего, я сама скажу отцу, и если ты придешь сюда еще раз, он убьет тебя.

— Я сам могу убить его.

— Ты? — спросила она, и тихая долина огласилась громким смехом, разбудившим спящих птиц. Меня и влекла и сердила эта еле видная девушка, и, не желая ссоры, я проговорил миролюбиво:

— Не сердись, девушка, я не скажу, и ты не говори, а когда ты будешь здесь, я буду приходить тоже, чтобы тебе не было скучно.

— Хорошо, так-то лучше. А ты сам кто?

— Я Елевсипп, сын Питтака,— начал было я, но она прервала, спрашивая, какие у меня волосы, глаза, рост и губы, и, получив ответы на свои вопросы, прибавила:

— Ты должен быть красивым, мальчик, и я люблю тебя и рада, что встретилась с тобою. Дай я тебя поцелую.

И это было совсем не то, что поцелуи старой Манто. Но раздался громкий свисток, возвещавший приход отца девушки, и я поспешил уйти, узнав на прощанье, что ее зовут Лимнантис. Домой я пришел совсем поздно, когда

все уже давно спали, и, легши на дворе, я всю ночь просмотрел на звезды, слыша шорох овец за загородкой и думая о поцелуе Лимнантис.

III

Приходя неоднократно в долину к Лимнантис, я узнал и ее отца; я до сих пор не знаю, какие дела приводили его так часто в Корианду и с какою целью их надо было скрывать; он был поживший и видевший, пожалуй, больше моего отца городов человек, и его жесткие веселые глаза часто смущали меня и останавливали мое начинающееся к нему расположение; звали его Кробил; однажды мы поспорили с ним из-за пустяков, и я вспылил, но бессильный перед ним, упомянул про богатство и значение моего отца Питтака.

— Где тебе рассуждать о богатстве и значении, когда ты дальше своей дыры ничего не видел.

— Моего отца знают и в Галикарнассе и даже в Милете.

— Охо, в Милете, а в Афинах, а в Риме? в Сицилии и Александрии? а в Карфагене, у далеких бриттов? — закричал он.

— Ты, конечно, считаешь меня за мальчика, плетя были с небылицей. Афины, разумеется, я знаю, что они за морем, и Рим мне поминал отец мой, а выдуманных стран и городов я тебе могу наговорить еще больше.

Но Кробил, махнув рукою, ушел от меня, я же поспешил к Лимнантис рассказать свою обиду. Прослушав, девушка заметила:

— Конечно, ты не прав, вступая в спор о том, чего не знаешь.

— Понятно, что ты на стороне отца!

Я отвернулся недовольный, но вскоре мы помирились за поцелуями, слова же Кробила мною вовсе не были забыты. Отцу я ничего не говорил ни про девушку, ни про Кробила, ни про долину и на время его нечастых пребываний дома сокращал свои посещения в горы, так что он, и вообще рассеянный ко мне, не замечал никакой перемены. Больше я боялся старой Манто и часто опускал глаза, краснея, когда она слишком долго на меня смотрела, и, увидав, что ее пристальный взор замечен мною, вздохнув и покачав головою, снова принималась за оставленное шитье или чинку сети. Когда Лимнантис не бывало, я находил написанными веткой на песке слова: «Буду

тогда-то, жду тебя; целую», и я в свою очередь чертил ответ: «Радуйся, в гóре жду тебя; люблю», и, сорвав длинную ветку в цветах, сметал написанное наверху, чтобы оборотная сторона стиля, стирающая строки, была не менее прекрасна, чем их писавшая.

IV

Близилась осень, и вершины гор все чаще были заволакиваемы облаками; отцу Лимнантис приходило время прекратить свои приезды, и мы с грустью думали о предстоящей разлуке. Как часто случается, простейшее решение пришло последним в голову, и только накануне их отъезда я решился спросить у Кробила, согласен ли он дать мне в жены свою дочь, и об этом же переговорить с моим отцом. «Смотри, согласен ли будет на этот брак Питтак, твой отец, столь богатый и известный даже до Милет человек?» — сказал мне Кробил, усмехаясь.

— Я умру, если он не согласен,— проговорил я, краснея от полного благодарности взора Лимнантис. Когда, пришедши к моему отцу, я сказал, что мне надо поговорить с ним, он заметил, улыбнувшись:

— Наши желания совпадают, сын мой; мне тоже необходимо поговорить с тобою и сообщить решение, могущее интересовать и тебя.

— Вот я готов тебя слушать, отец,— ответил я, чувствуя смутную тревогу.

Помолчав, он начал так: «Приобресть богатство, значение и влияние у сограждан ты мог бы, лишь развивая то, что ты имеешь наследовать от меня, но вот я вижу, что мало этого, чтобы чувствовать себя совершенным и богоподобным человеком. Ученье, которого мне недостает, я намерен дать тебе, и сколько бы это мне ни стоило, я решил послать тебя в Афины, чтобы из самого очага получить огонь знания. Будь мужем; смотри, твоя верхняя губа уже темнеет первым пухом, и прошла пора сидеть тебе у женского платья. Благодарить богов и радоваться ты должен каждую минуту за твою молодость и предстоящий путь».

— Я благодарю богов и тебя, отец, но не скрою, что другая цель и другой предмет беседы с тобой мною предполагался. Сноху в дом твой хотел я ввести, а ты готовишься вывести из него и сына.

— Сноху, дитя? я и не заметил, что ты жених. Кто же она? Хлоя, дочь Никандра?

— Нет, отец, Кробила она дочь, Лимнантис.

— Кробил — не из числа моих друзей и в первый раз слышу, что у него есть дочь. Она — чужеземка.

— Не чужеземкой ли была и мать моя, твоя жена?

— Я ничего не говорю против девушки, я ее не знаю, но ты молод, и твоя любовь не потонет при переезде морем в Афины. Это — лучшее испытанье; верная любовь, верная дружба, любовь к родителям и смерть за родину — четыре блага, которые первыми должно просить у бессмертных. В путь, в путь, сын мой; девушка, если хочет, может жить часть времени у меня, чтобы я узнал ее ближе.

И он обнял меня, задумчивого и хмурого, как вершины наших гор осенью и вовсе непохожего ни на жениха, ни на юношу, едущего в Афины.

V

— Согласен, согласен! — кричал я, спускаясь в знакомую долину и видя, как Лимнантис спешила мне навстречу радостная.

Приблизившись на расстоянье, откуда можно рассмотреть выражение лица, она остановилась и, опустив поднятые руки, промолвила:

— Разве теперь веселые вести приносятся с лицом, как на похоронах? И я верю больше твоим глазам и щекам, с которых сбежал румянец, чем голосу, несущему радость.

— Он согласен, говорю я, мой отец, на наш брак, лицо же мое печально и щеки бледны оттого, что я пришел проститься с тобою.— И, вздыхая, с запинками, я передал ей решенье и разговор моего отца. Видя, что она молчит в ответ на мои слова, я тихо молвил, обнимая ее:

— Теперь ты видишь, что я говорил правду?

— Да, обе твои правды — увы! — правдами оказались.

— Разве ты не веришь верности моей любви?

— Я и верю, и не верю, радуюсь и скорблю; я знаю, что ты меня любишь, но умный большой город, новые лица, друзья — плохая поддержка любовной памяти. Я буду ждать тебя одна, лишь с твоим образом в сердце за друга, и не одинаково будет проходить неделя в Афинах и семь дней в Азии, и часы будут неравно длинны для разлученных любовников.

Я клялся ей, целуя землю, и она улыбалась, но когда, простившись, я с горы обернулся в последний раз на

долину, девушка, закрыв лицо руками, казалась плачущей. На следующий день чуть свет мы с отцом отправились в Галикарнасс, чтобы там сесть на корабль, идущий в Афины, так как он не заходил в Корианду. Слушая краем уха наставления моего отца, я смотрел, как родной берег все удалялся, и мысль, что я вижу его в последний раз, была далека от меня.

VI

Отправляясь впервые на настоящем корабле в такой сравнительно дальний путь, я мало думал об оставляемом мною: об отце, девушке и Корианде, и, следуя мимо голубоватых в дымке отдаленности островов, я смотрел на играющих дельфинов, мало занимаясь своей будущей судьбою. На корабле я свел знакомство с природным афинянином, который, узнав, кто я, куда и зачем еду, захотел взглянуть на письмо к отцовскому знакомцу, где я должен был остановиться.

— Главк, сын Николеаха? — воскликнул новый знакомый,— но ведь он умер известное время тому назад и, будучи одиноким, оставил дом пустым. Но не беспокойся, юноша,— прибавил он, заметив мое опечалившееся лицо,— я могу тебе оказать помощь в этом отношении и дать письмо к моему родственнику, живущему в Афинах.

— Он, конечно, честный и достойный человек? — спросил я, помня наставления отца об осторожности.

— Он исполняет обычаи сограждан, не женат на собственной дочери, как персы, не дает ее другим, как массагеты, не считает воровство за подвиг, как киликийцы, и погребает своих умерших по обычаю предков — потому считается честным и достойным человеком.

Смущенный несколько таким отзывом, я повторил: «Все-таки он, значит, честный?»

— По-афински, мой друг, по-афински.

— И мне, уверяешь, будет там удобно?

— Я не знаю твоих свойств: может быть, ты причудлив, как Демофон, стольник Александра, которому было жарко в тени и который на солнце испытывал холод, а может быть, ты, как Андрон Аргосский, переходивший без жажды Ливийскую пустыню. Но важнее всего в твоем положении не имеющего знакомых и чужестранца, что ты будешь иметь дружеский дом, где остановиться.

Поблагодарив своего нового друга, я спросил, как имя моего будущего хозяина, и узнал, что его зовут Ликофроном, сыном Менандра. За такими разговорами мы не заметили, как прибыли в Пирей, где и сошли на сушу.

VII

Ликофрон жил у Диомейских ворот на нижних уступах Ликабедской горы, так что нам, прибывшим через гавань, пришлось проехать весь город, чтобы достигнуть места остановки. Еще начиная с Пирея, я был как вне себя: мне казалось, что весь город охвачен трепетом всеобщих празднеств и тревогою военного времени. Я никогда не видел такого количества людей, домов, храмов; лошади в колесницах ржали и становились на дыбы, солнце блестело на конских сбруях и шлемах солдат, продавцы с водой громко кричали, шли священные процессии и когорты с музыкой, голуби с мягким шумом крыльев стаями перелетали с места на место, и гадальщик, сидя на корточках у стены, предсказывал желающим судьбу по бобам. Хозяин, хотя и не предупрежденный, встретил нас радушно, равно как и его два сына, приблизительно мои ровесники; меня сейчас же отвели в ванну, и потом мы сели за обед, меж тем как рабы наскоро приготовляли комнаты для нашего жилья. Я не знаю, были ли женщины в семье, так как за столом я их не увидел, но мужчины были разговорчивы и просты, и, слушая их непринужденный разговор о городских делах и вопросах поэзии, я чувствовал свое еще полное невежество, но когда я высказал свои мысли, гости громко рассмеялись, говоря, что в моем возрасте время еще далеко не потеряно и что младший из сыновей хозяина, Хризипп, старший меня только на несколько месяцев, будет моим спутником и товарищем в занятиях. Когда раб, пожелав мне спокойной ночи, оставил меня одного, я долго ходил взад и вперед по своей маленькой комнате. Шум улиц или смолк уже, или не долетал досюда, и в окно, расположенное выше моего роста, виделся квадрат ночного неба с большою одинокою звездою, знакомою мне еще с детства в Кориандe. Я с грустью вспомнил о родине, Лимнантис, но скоро отвлекся мыслью к завтрашнему утру, когда я пойду слушать философов и Артемия ритора вместе с Хризиппом, казавшимся мне таким умным, изящным и красивым.

VIII

Жизнь наша, хотя и в Афинах, была очень однообразна; мы знали только две дороги: из дома к месту наших занятий и обратно домой; сначала по старинному обычаю нас сопровождал даже раб, неся наши вещи, но потом мы стали ходить вдвоем. Я очень подружился с сыном Ликофрона, и, перестав несколько считать его фениксом учености и светскости, я тем свободнее говорил с ним о детстве, о своем отце, о старой Манто и о моей любви к Лимнантис. Признания Хризиппа были другого рода и, не понимаемые мною, несколько смущали меня, что я готов был всецело относить к моей необразованности и всеми силами старался стать достойным дружбы этого высокого и надменного юноши.

Однажды под вечер мы гуляли в олеандрах за городом у ручья и я в десятый раз вспоминал о Лимнантис, как Хризипп, усмехнувшись, молвил:

— Ты как старый жрец повторяешь слова, о которых не думаешь, и я не верю, что поцелуи простой девочки могли быть так искусны, чтобы память о них сохранялась полгода.

И раньше чем я успел что-нибудь ответить, он взял мой затылок одной рукой и, крепко прижав мои губы к своим, поцеловал меня, быстро вложив свой язык мне в рот и взяв его обратно так неожиданно, что мне это казалось молнией, и, ясно запомнив его потемневшие зрачки совсем близко к моим глазам, я не узнал его через секунду в опять спокойном надменно усмехающемся высоком юноше.

Ночью я горько проплакал, вспоминая о Лимнантис, но вскоре память о ней становилась все бледнее, и как радушный дом Ликофрона заменил мне отцовский, так бедная любовь девушки забылась мною в первых радостях тесной дружбы.

IX

Позванный через раба Ликофроном, я нашел его сидящим в саду под платаном; в руках у него были таблетки, которые он держал открытыми; солнце освещало скамейку и колени Ликофрона в белой тунике, оставляя лицо его в тени.

— Тебе неизвестно написанное здесь? — спросил он, протягивая мне вощеные дощечки, где я прочел:

Сравнить возможно ль снег на вершинах гор
С твоим прекрасным, ясным, как день, челом?
И кудри тень на лоб бросают,
Тени от тучи подобны летней.

Сравнить возможно ль неба лазурь весной
С очей лазурью, где не бывает туч,
Где вечно та весна осталась,
Будто в блаженных райских рощах?

Сравнить возможно ль алой гвоздики цвет
С твоим румянцем, алостью нежных губ?
И сколько зерен есть в гранате,
Столько в устах у тебя лобзаний!

Я не читал дальше, узнав алкейский размер Хризиппа, и, отдавая назад дощечки, проговорил:

— Разумеется, знаю: это стихи твоего сына Хризиппа.

— А к кому они обращены, ты тоже знаешь?

— Ты спросил бы лучше у него самого об этом, но мне он говорил, будто ко мне обращена элегия,— ответил я менее спокойно. Ликофрон, молча пожевав губами, начал:

— Сделать совершившееся не бывшим невозможно, но имея амбар, охваченный пожаром, должно заботиться о спасении других построек. Теперь я отвечаю за тебя перед твоим отцом, и если даже не случится необходимости тебе его увидать, чтобы успокоить его старость, все совершаемое тобою будет подробно ему известно. Думай об этом при поступках.— Ликофрон встал и поправил одежду, будто давая знать, что беседа кончена.

Гнев Хризиппа, когда я передал этот смутивший меня разговор, был ужасен. «Бежать, бежать! — поминутно повторял он, ругаясь как бешеный.— Разве мы живем в Спарте? Из-за обыкновеннейшей вещи подымать такой шум? Небось испугается, когда увидит, что мы осмелились отплыть. Притворись обиженным и скучающим по родине, и когда ты сядешь на корабль, делая вид, что отплываешь в Галикарнасс, я буду уже на палубе, чтобы вместе ехать провести некоторое время на Крите, где у меня достаточно друзей». Я был смущен и обидой и необыкновенностью Хризиппова плана, а он утешал меня, обнимая, и шаткая кровать скрипела от наших движений.

X

Начатое благоприятно путешествие было, очевидно, неугодно богам, так как на второе утро омрачившееся внезапно небо, отдаленные раскаты грома и громкий крик морских птиц известили нас о надвигающейся буре. Она налетела раньше, чем мы думали, и, несмотря на выброшенный груз, на наше бросанье всей толпой с борта на борт, при каждой волне, чтобы привести корабль в равновесие, на наши молитвы и обеты богам, вскоре сделалось очевидным, что нам не избегнуть крушения.

Со слезами и поцелуями мы с Хризиппом связали себя длинным поясом, чтобы вместе спастись или погибнуть, и бросились в бушевавшее море в ту минуту, как раздался треск нашего корабля, нанесенного бурей на острую скалу, заглушенный криком экипажа. Вынырнув через некоторое время из поглотившей нас волны, я увидал, что непрочная связь, соединявшая нас, порвалась, и, не слыша слов Хризиппа, плывшего вблизи, но уже отдельно от меня, из-за свиста ветра, шума волн и почти незаметного при общем грохоте грома, я кричал ему ободрения, крепко держась за попавшуюся под руки доску. Волны разделяли нас все больше и больше, и, все более удаляясь от своего друга, я видел, как его скрывшаяся под водой голова вынырнула, чтобы снова быть покрытой водою, и, захлестнутая волною после вторичного появления, не показывалась больше. Обессиленный борьбою со стихиею, пораженный очевидной гибелью друга, я лишился чувств и не знаю, молитвами ли моего отца в Корианде, покорностью ли моего тела, предавшегося на волю волн, спасенный, очнулся на незнакомом песчаном берегу, усеянном обломками нашего судна, и то мертвыми, то бесчувственными телами. Все мои члены были разбиты, меня тошнило от соленой морской воды, и при воспоминании о гибели моего друга из глаз моих полились обильные слезы. Когда тучи совсем прошли и засияло солнце, пришли люди, забравшие выброшенные и годные еще вещи и оставшихся живыми людей; так как я не мог двигаться, меня отнесли на руках в хижины прибрежных гор, жители которых были пираты и торговцы невольниками, родом из Тира.

XI

Захватившие нас решили, подождав, когда я достаточно окрепну, чтобы перенесть далекий путь и чтобы иметь достаточно хороший вид для покупателей, определив меня в партию рабов, отправляемых на александрийский рынок; остальных пленников с нашего корабля они распродали по окрестностям, оставив до Александрии, кроме меня, только еще старика из Трапезунда, ценного своим знанием ухода за садами. Работать меня не принуждали, и я, слабый от перенесенного, целыми днями лежал в полутемной комнате, думая о прошлом, оплакивая несомненную гибель Хризиппа или слушая рассуждения трапезундца, человека доброго и справедливого, хотя и не признававшего бессмертных богов, воле которых, напротив, покорившись, я легко и бездумно помышлял о будущем. Звали моего нового друга Феофилом, хотя он был еврей по вере. И мы очень желали попасть к одному и тому же хозяину, не расставаясь и в рабстве. Это наше желание исполнилось вполне, так как, когда после довольного времени нас привезли в Александрию и выставили на рынке ранним утром, мы были в тот же день куплены одним человеком, приставившим Феофила к огороду, а меня взявшим для своих личных услуг, так как я был молод и приятен на взгляд. Так как мой хозяин был человек далеко не старый, добрый, всегда улыбающийся и от него пахло мускусом и амброй, то я скоро привык к своему положению, хотя садовник и говорил, что я живу во грехе, чего я не понимал, будучи различной с ним веры. Хозяина же нашего звали Евлогием, и его дом находился недалеко от Солнечных ворот.

XII

Всего утомительнее бывало для меня стоять во время долгих пиров. Когда интереснейшие вначале разговоры становились бессвязными, певцы и музыканты, уставшие, играли каждый свое, воздух делался тяжел от пара жареной дичи, дыма курений и дыхания людей, подавая блюда и вино или ходя с освежающей вербеной, я совсем засыпал и чуть не падал на пролитых лужах вина и раздавленных брошенных розах. Однажды Евлогий давал прощальный ужин актрисе и куртизанке Пелагее, которую он любил больше трех месяцев. Она сидела рядом с ним в венке из

настурций, в полосатом, черном с красным, хитоне, рыжая, с несколько раскосыми подведенными глазами, блестя подвесками и зубами, видными во время улыбки, прикасаясь к кубку в том месте, где прикасался Евлогий, и тихонько с ним говорила, будто не перед разлукой. И вдруг, когда случайно говор стих, была услышана ее речь к хозяину: «И вот, прощаясь с тобой, мой друг, я обращаюсь к тебе с просьбой: по обычаю не откажи мне подарить на память, чего бы я ни пожелала!» — «Приказывай, прекрасная Пелагея; надеюсь, ты не будешь кровожадна и не потребуешь моей жизни?» — «Елевсиппа я прошу, твоего раба»,— сказала женщина, и Евлогий, не нахмурившись, быстро ответил: «Он твой», и потом, обратившись ко мне, добавил: «Целуй руку новой госпоже». Пелагея мне казалась чудом красоты; не будучи новичком в любви, я не знал женщин, и слова куртизанки мне показались зовом к чему-то неведомому; но, не сознавая сам, что я делаю, я опустился на колени перед Евлогием и сказал: «Я — раб твой: ты меня можешь убить, продать, подарить, но если мой голос может быть услышан, не прогоняй меня; если ты недоволен, накажи меня, но не разлучай с тобою». Евлогий, нахмурившись, молчал, а Пелагея, захлопав в ладоши, воскликнула: «Я отказываюсь, я отказываюсь: лишить такого преданного и нежного слуги было бы преступлением!»

Наутро я был высечен, но нежность Евлогия ко мне удвоилась.

XIII

Однажды, когда по обыкновению трапезундец укорял меня за жизнь, которую я веду в доме господина, я заметил ему:

— Я делаю это не по своей воле, будучи рабом, притом если ты заботишься о моем спасении, то, хотя бы и исправив свою жизнь по-твоему, я, не приняв твоего учения, все равно буду далек от цели.

— Во-первых, будучи рабом, можно свою волю и желание вкладывать в то, что делаешь как невольник, а потом я скажу тебе, что вот однажды отец сказал двоим сыновьям: «сделайте то-то»; один сказал: «вот еще» и сделал, а другой: «слушаю, батюшка» — и не сделал. Кто же из них исполнил отцовскую волю?

— Я не понимаю, почему нужно быть или упрямым лицемером, или добрым грубияном, но если тебе хочется, я познакомлюсь с твоими единоверцами, чтобы ближе узнать ваше учение.

Мы замолчали, так как из ближайшей аллеи вышел Евлогий в сопровождении большой овчарки; он шел задумавшись, но не грустный и, заметив нас, дал знак мне остаться, уйти другому, сев на скамью, некоторое время смотрел на летающих низко над землею с криком ласточек и потом, посадив меня рядом с собою, начал:

— Любишь ли ты меня, Елевсипп?

— Ты знаешь, господин, что я люблю тебя.

— Ты любишь меня как доброго хозяина и из боязни, в случае нелюбви, смерти или продажи другому, может быть, менее ласковому.

Вспыхнув, я ответил: «Ты несправедлив, думая так; если б ты был равным мне, я бы любил тебя не менее».

Помолчав, он продолжал, гладя собаку:

— Если все проходит, все тленно, это не означает, что должно отвергать или пренебрегать этими вещами, но бывает, что человек устает в пути и, не дожидаясь, когда сон сомкнет ему веки, сам ложится раньше вечера спать на дворе гостиницы.

Хотя его слова не несли явной мысли о печали, мне стало жаль его, и я, не знаю сам к чему, проговорил:

— Есть люди, считающие душу людей бессмертною.

— Ты — не христианин? — промолвил он рассеянно.

— Нет, я не знаю христиан и верю в бессмертных богов.

— Если нам придется расстаться, юноша, будешь ли ты вспоминать обо мне?

— Верным тебе я быть клянусь.

— При встрече с носящим мое имя человеком на минуту вспомнить, что это имя знакомо — было бы достаточною верностью,— улыбнувшись моему восклицанию, заметил он.

Раб принес только что купленную вазу, где гирляндой плясали вакханты и Ахиллес прял в женской одежде в кругу служанок; рассматривая ее с непривычным любопытством, Евлогий тихо сказал:

— Я мог бы разбить ее движением руки, но она может пережить моих детей и внуков и память о них.

Записав цену, он распорядился насчет посадки осенних цветов и, в сопровождении овчарки, легкой походкой удалился, оставив меня смущенным и недоумевающим.

XIV

Имея некоторое время свободным, мы с Панкратием, невзирая на сильный ветер и тучи, отправились, как уже давно мечтали, кататься в лодке по Нилу.

Ветер уже разорвал закрывавшие небо тучи, и багровый закат обнаружился во всем своем зловещем величии, кровяня волны с гребнями, когда мы, с трудом двигая веслами, повернули домой, то вспоминая прошлое, причем Панкратий живо рассказывал свои похождения у актеров, от которых его купил Евлогий, то говоря о смутности последнее время нашего хозяина. Не успели мы привязать нашу лодку к железному кольцу у широкой лестницы, спускающейся из сада к реке, месту обычной стоянки хозяйских суден, как наш слух был поражен смутными криками, доносившимися изнутри дома. Ведомые этими звуками и видя бегущих только в одном с нами, но не встречном направлении людей, мы не могли узнать причины этих стенаний раньше, чем не достигли комнаты, где в ванне сидел Евлогий, казавшийся уже безжизненным, смертельной бледности, окруженный друзьями, домашними и докторами. По скорбным лицам присутствующих, молчанию, царившему здесь, из соседнего покоя доносившимся воплям, мы поняли, что смерть не оставила места никакой надежде, и, не расспрашивая о несчастии, молча присоединились к общему горю. На следующее утро мы узнали, что Евлогий, оставив краткую записку, где говорилось об усталости и пустоте жизни, добровольно открыл себе жилы в бурный осенний день, когда солнце появилось только в багровом закате. Из завещания стало очевидно, что мы, награжденные хозяином, отпущены на свободу. Не имея определенных планов, несмотря на неудовольствие Феофила из Трапезунда, я решил искать судьбы с Панкратием, намеревавшимся, отыскав старые знакомства, снова приняться за прежнее занятие актера.

XV

Наше общество состояло из Панкратия, меня, Диодора, искусного гимнаста, с сыном Иакхом, Кробила, Фанеса и белой собаки Молосса; мы путешествовали в двух повозках, вмещавших наши пожитки и приспособления для представлений, останавливаясь в попутных местечках

и городах, иногда специально приглашаемые на местные праздники, живя не богато, но весело и беззаботно.

Панкратий меня быстро обучил своему искусству, и, привыкши к театру в нескольких небольших ролях, я скоро перешел на первые, играя, благодаря своей молодости, девушек и богинь, особенно, говорят, трогательно изображая Ифигению, приносимую в жертву Агамемноном, и Поликсену. Бездумная жизнь в Корианде, гибель Хризиппа, пример Евлогия научили меня не придавать большой ценности богатству и благосостоянию, и, имея душу спокойной, я был счастлив, ведя жизнь странствующих мимов. Я любил дорогу днем между акаций мимо мельниц, блиставшего вдали моря, закаты и восходы под открытым небом, ночевки на постоялых дворах, незнакомые города, публику, румяны, хотя и при маске, шум и хлопанье в ладоши, встречи, беглые интриги, свиданья при звездах за дощатым балаганом, ужины всей сборной семьею, песни Кробила, лай и фокусы Молосса. Деньги, полученные от бывшего господина, я хранил в крашеном ларчике из резного дерева и не трогал их до подходящего случая, который и не замедлил представиться, но об этом узнается в свое время, как и последующее течение моей полной превратностей жизни.

XVI

Однажды, случайно бодрствуя ночью, когда в гостинице все уже покоились сном, я улышал сильный запах дыма, и сквозь щели деревянных стен мелькали красноватые отблески, не похожие на свет зари; выглянув в слуховое окно, я увидел, что дом, где мы спали, наполовину объят пламенем, не заметить которое дала возможность моя, бодрствующего, глубокая задумчивость и крепкий сон товарищей. Громко закричав о пожаре, я, не будучи еще раздетым, быстро сбежал по занявшейся уже лестнице, крикнув по дороге какому-то спящему старику: «Спасайся, авва!», и очутился на улице невредимым и первым спасшимся. Вскоре место перед пожаром было наполнено народом, тушащим дом, соседями, любопытными, матерями, отыскивающими своих детей, собаками, пожитками, наваленными кучей, плачущими детьми; люди из второго жилья простирали руки, вотще умоляя о помощи, или калечились, бросаясь из окон, так как лестница давно уже рухнула; старик бродил по площади, рассказывая, как он

был разбужен громким криком: «Спасайся, авва», и увидел огневласого ангела, который и сохранил его от верной гибели.

— Полно баснословить, отец,— сказал я, подходя к старику,— этот ангел был не кто другой, как я.

Но рассказчику и слушателям больше нравился огневласый ангел, и они недружелюбно промолчали на мои слова. Когда от дома осталась только кирпичная печь с одиноко торчащей трубою, все стали расходиться и солнце близилось к полдню, я заметил девочку лет семи, горько плачущую на обгорелом бревне. С трудом получая ответы от нее самой, я, через соседей, узнал, что ее родители, люди проезжие, погибли в пожаре, в городе близких нет никого и что ее зовут Манто. Это имя, напоминавшее мне мою далекую родину, беспомощное положение ребенка, не перестававшего молча плакать, привычка не долго думать и покоряться судьбе, сознание, что у меня есть деньги,— заставили меня оставить девочку у себя, и наша семья, потерявшая сгоревшего Молосса, пополнилась маленькой Манто, вскоре привыкшей к нам и к нашей жизни. Но заботы о ее пропитании и воспитании считались принадлежавшими главным образом мне.

XVII

Следующую часть моей жизни, быть может, еще более богатую приключениями, я принужден передать более кратко, торопимый близостью конца, общего всем людям, и не желая оставлять без урока имеющих возможность почерпнуть таковой в моем повествовании. Около этого времени я был просвещен святым крещением и присоединен к святой апостольской церкви. Этим я обязан Феофилу из Трапезунда, с которым я встретился в один из наших заездов в Александрию; он ясно представил мне всю скверну и греховность моей жизни и даже отсутствие самой надежды на вечное блаженство при продолжении ее. Я благосклонно слушал его наставления, чувствуя усталость от однообразия пестрой жизни странствующих мимов, любовных историй и путешествий; меня беспокоила участь маленькой Манто, но трапезундец сказал, что питающий птиц небесных не оставит погибнуть невинное дитя, особенно если оно будет просвещено святым крещением. Я и девочка приняли таинство в один и тот же день от самого александрийского папы и с успокоенной со-

вестью в одно ясное утро для скорейшего достижения блаженства я покинул столицу, чтобы направиться в ливийскую пустыню.

XVIII

Мне нравилась простота братий, долгий день, разделенный между плетением корзин и молитвами, рассказы о кознях дьявола, то проливающего кружку с водой, то отягчающего дремотой веки брата за чтением псалтыря, то являющего в сновидениях, казавшиеся давно забытыми, милые лица, то в виде черных нагих отроков пляшущего перед отдаленными кельями. Рассказы братий, приходивших из дальних лавр и киновий, имели также предметом различие уставов, пищи и бдений, особое попечительство господа бога о пустынножителях и нападки на них дьявола. Один только рассказ, одна встреча не походила на обычные повествования и, как шум моря в занесенной на сушу раковине, напомнила мне жизнь в мире, полную превратностей и уроков.

XIX

Однажды, подойдя к источнику, я заметил человека с дорожной сумкой, сидевшего, скрестив ноги, на камне, в позе, выражавшей сладость и безмятежность покоя. Без одежд он походил бы на отдыхающего Гермеса. Приветствовав его, я спросил, куда он так спешит.

— Ты прав более, чем думаешь,— отвечал тот, улыбаясь,— говоря, что я спешу, но человеку, загнавшему лошадь и принужденному идти пешком по пустыне семь дней под этим солнцем, позволительно отдохнуть и подумать о дальнейшем.

Освежившись отдыхом, свежей водой и пищей, принесенной мною, юноша начал рассказ, сдавшись на мои настойчивые просьбы.

— Я родом из Милета и зовусь Хариклом, а мой отец носил имя Ктезифона. Он был купец, но меня предназначал для другого поприща, и едва мне минуло шестнадцать лет, послал меня на знакомом корабле в Рим к старому своему знакомцу и школьному товарищу Манлию Руфу.

Мне было жаль покидать родину, тесный кружок друзей, Мелиссу, которая начинала более благосклонно вы-

слушивать мои нашептыванья, но я был молод, и самое слово «Рим» меня влекло как луна морскую воду.

— Конечно, в Риме молодому человеку с деньгами можно недурно провести время не только в Субурре, но и съездив к морю за Остию,— заметил я.

— Ты заблуждаешься, думая, что только жажда наслаждений влекла меня в Рим.

У Руфа был степенный изящный дом, редкая библиотека, и его беседы были истинным наставлением для робкого провинциала; встречая у него множество всяких людей, я не имел надобности выходить одному и почти всегда только сопровождал своего хозяина. Однажды мы отправились в цирк; Цезарь, задержанный делами, опоздал, и в цирке, совсем уже наполненном, ждали только его прибытия, чтобы начать зрелище. Осматривая ряды зрителей, я заметил двух людей, которые привлекли мое внимание.

Признаюсь, что, собственно, красота одного из них заставила меня обратить внимание и на не совсем обычный их вид. Старший из них, в одежде восточных астрологов, что-то говорил младшему, не сводя с него глаз, и заканчивал свою речь улыбкой, похожей на улыбку заклинателя змей, между тем как тот, в свою очередь, также, казалось, не видел ничего из окружающего, кроме глаз своего спутника. «Кто эти?» — спросил я у Манлия, но тот замахал на меня рукою, говоря: «Кто же этого не знает? Орозий маг и его ученик! Разве можно громко задавать такие вопросы? тише — Цезарь». Действительно, Цезарь, окруженный свитою, входил в свою ложу. С тех пор мои мысли всецело были заняты этим юношей, и я всячески изыскивал средства увидеть его; узнав место, где жил Орозий, и сказав Руфу, что хочу составить свой гороскоп, я отправился однажды вечером в дальний квартал, где жил маг, в тайной надежде свидеться с предметом моей любви. Я узнал обиталище мага по львам, которые, прикрепленные к цепи, ходили взад и вперед перед входом; немой раб, введя меня в переднюю, оставил там одного; я, едва сдерживая бьющееся сердце, смотрел на догорающие угли в жаровне, мерцающие медные зеркала, высушенные кожи змей. Наконец занавес отдернулся и вошел маг, но он вошел один.

Рассказчик, отерши пот с лица, так продолжал:

— Придя за гороскопом, я думал найти любовь и встретил заговор и смерть.

— Да, трудно предположить, что можно встретить, увлекаясь чувствами,— промолвил я несколько равнодушно.

— Маг дал мне несколько старинных стихов, где говорилось о смелости, орлах и солнце и где я приветствовался как новый герой. Я помню начало и некоторые отдельные фразы.

Радостным, бодрым и смелым, зрю я блаженного мужа,
Что для господства рожден с знаком царя на челе...
В горных высотах рожденный поток добегает до моря.
В плоских низинах вода только болото дает.
. . . . Осушивши
Кубок до дна, говори: «выпил до капли вино».
И между уст, что к лобзанью стремятся, разлука
приходит.

Вскоре — увы — я узнал на себе справедливость последнего изречения. Посещая Орозия все чаще и чаще, я увидел, что вовлечен в большую сеть заговора, который едва не потряс власти Кесаря. Ты, может быть, слышал про это великое предприятие, не удавшееся на первых порах, но которое, клянусь Вакхом, восторжествует?

— Ты напрасно думаешь, что великое для тебя и твоих римских друзей велико и для всего мира.

— Но Цезарю было важно то, что касалось его благоденствия. Вскоре он узнал через шпионов о заговоре против его божественности; везде начались аресты; друзья Манлия Руфа передавали это как свежую новость. Сам Руф не был ни в чем замешан и не знал, как терзают мое сердце все более подтверждающиеся слухи об открытии заговора и вероятной казни участников. Когда я заходил в дом мага, я часто не заставал ни Орозия, ни юноши; унылые лица слуг, молчание или тоскливое перешептывание, пыль, лежавшая повсюду слоями,— все говорило, что обитатели этого дома слишком заняты важными и не сулящими благополучия тревогами. Однажды я застал Марка (сказал ли я тебе, что так звали ученика мага?) в передней; выходя, он крепко сжал мою руку и, не останавливаясь, прошептал: «Завтра перед солнцем жди меня у ворот, что ведут к Остии. Увидит Цезарь, что не рабов в нас встретил, а героев!» Рассказчик умолк, опустив голову на руки, и я, подождав достаточное время для успокоения чувств или риторической остановки, промолвил:

— Прошу тебя, продолжай, если есть продолжение; твой рассказ меня живейше интересует.

— Когда я вышел за ворота, над равниной, спускающейся к морю, поднимался туман, который казался тем гуще, что за городскими стенами уже была видна заря. Вскоре я увидел всадника, в котором я без особенного труда узнал Марка; молча он сошел с коня и стал доставать письма; я заметил необыкновенную строгость выражения его бледного, почти еще отроческого лица и то, что он как будто ранен. Передавая мне письма к друзьям других городов, делая наставления, он вдруг пошатнулся, прижав к сердцу свою одежду, сквозь которую явственно выступила кровь. Опершись на мое плечо, он продолжал голосом, все слабеющим, но не менее полным воли и огня: «Если я буду близок к смерти, если я умру, не бойся оставить меня здесь, на дороге. Спеши, спеши, бери мою лошадь, оставь меня так... Будь радостным, помни: учитель обещал тебе радость, я же завещаю тебе любовь!» И он, наклонившись, поцеловал меня в первый раз, затем, вздрогнув, умер. Солнце уже было видно из-за городских стен, и я, поцеловав еще раз мертвого друга, закрыл ему лицо полой плаща, сел на оставленного им коня и быстро поехал к гавани.

XX

Десять раз зиму сменяла весна и за летом следовала осень с тех пор, как я удалился в пустыню; память о прошлом едва уже рисовала мне знакомые картины прежней жизни, и я считал себя давно совлекшим ветхого Адама, когда был послан по делам киновии в Александрию в сопутствии брата Маркела. Теперь приближается повествование, могущее смутить душу читателей, но которое тем яснее показывает, как мало можно надеяться на свои силы без помощи благодати, как милосердие освещает самое дно бездны падения, как неисповедимыми путями ведет нас Промысл к спасению. Ты, Христос, сын бога живого, сам дай мне язык глаголящий, чтобы в моей слабости, в моем падении была ясна твоя высота и сила. Однажды, окончив нашу работу, мы с Маркелом возвращались к подворью через узкую улицу в садах за ограждениями в предместье. Было жарко, хотя солнце уже село и из-за лиловых пыльных облаков выплывала луна; пахло верблюжьим пометом, пылью и жасминами, и из-за ограждений садов доносились звуки, тонкие и гнусливые, лир, систров и неизвестных мне инструментов. Какая-то волна тепла будто

расходилась по моему телу и заставляла руки дрожать и ноги замедлять шаги не от усталости. Мы сели на каменную скамью у ворот одного сада, и Маркел с удивлением смотрел на мои опущенные веки и открытый ссохшийся рот; звуки все звенели, будто рой комаров, и давно забытые лица Лимнантис и Пелагии, Хризиппа и Евлогия закружились, сплетясь, передо мною. За решеткой в слуховом окне показалось улыбающееся нарумяненное лицо, и нам сказали: «Путники, зайдите внутрь, не бойтесь. Здесь омоют ваши ноги и всячески вас успокоят». Я не двигался, образы все сплетались передо мною, нагие черные отроки кувыркались в какой-то странной бесстыдной игре, голос из-за решетки продолжал говорить, тогда я встал и, отвернувшись от Маркела, смотревшего на меня с грустью, но без укора, вошел в огражденье.

— Я дождусь тебя, авва,— сказал мне оставленный на улице.

XXI

Я оставался там до утра, и брат меня ожидал на улице; на следующий день он один пошел на работу, я же, как пленник, все кружился около этого ограждения, и каждый вечер заставал меня входящим в знакомую калитку и вне сидящим брата. Истративши свои скудные запасы и не работая вновь, я стал тратить заработок Маркела, понесшего двойную тяжесть. Я был лишен стыда и жалости и только ждал, когда скрипнет заветная дверь, пройду я по саду мимо нарумяненных смеющихся женщин с гостями, подниму тростниковую занавеску, как забренчат запястья на тонких смуглых руках и щиколотках, поцелуи, запах надушенного тела, как потом женщина, сидя на полу, поджавши ноги, будет перебирать струны, и щиплющие тонкие звуки будут сливаться с тихим, печальным и страстным напевом. Что-то в лице ее напоминало мне о прошлом, и я не раз спрашивал ее об ее родителях, родине, жизни. Она или целовала меня, закрывая глаза, или начинала плясать, звякая кольцами, или сердилась и плакала. Но однажды, когда она была добрей и тише, она рассказала мне свою историю, из которой я узнал, что эта женщина — не кто иная, как маленькая Манто, спасенная мною на пожаре, воспитанная и потом оставленная, когда я покинул мир; я же ей не открылся. Я должен говорить как перед богом и не могу скрыть, что была жестокая

радость своим наслажденьем делать еще более скорбными печальные плоды моего благочестивого подвига. Я проводил с Манто дни и ночи, Маркел же все худел и чах, не говоря ни слова. Он уже не поджидал меня у ворот, а лежал дома на циновке, и когда я объявил ему свое решение снять ангельский образ и взять Манто в жены, он едва мог поднять голову. На следующее утро он умер, я же отправился в пустыню за оставленным там золотом.

XXII

Деньги свои я нашел в углу пещеры, где я оставил их зарытыми; не открывая своих дальнейших намерений, я объявил настоятелю, что покидаю их киновию; игумен не сказал ни слова, но простился с сухою смиренностью, и братья не пошли меня проводить до поворота дороги, как был обычай. Меня это не оскорбило, так как я возвращался из пустыни с еще более легкою и обновленной душою, чем шел туда. Путь мне казался найденным. «Прямо и просто поправить зло, которое наделал, хотя бы и невольно, отбросить гордость, стать обыкновенным простым смиренным семьянином, работником, быть добрым, милостивым — не исполнение ли это прямых слов господа?» — думал я с гордостью и с любовью смотрел на звезды, мечтая о новой жизни с Манто и оглашая пустыню псалмами и песнями, которые я певал когда-то, еще будучи в Кориандe.

XXIII

Я открыл красильню пурпуром, купил дом с садом, рабов, и Манто, освобожденная от необходимости продавать свою любовь, с гордостью и старанием занялась устройством нового хозяйства. Жизнь текла спокойно в тихом счастье и смиренно-горделивом довольстве найденного пути, исполненного долга. Но скоро я заметил, что Манто стала задумчива, не с такою радостью занимается огородом и садом, часто сидит у дверей, бесцельно смотря на улицу, куда-то уходит, и однажды, возвратясь из мастерской, я нашел ее пьяною. Потом она сказала:

— Я знаю, что я — неблагодарное и дурное создание, но я так не могу дольше жить, привыкшая к той жизни, от которой ты меня освободил, чтобы сменить на эту. И там,

зная, что я живу во грехе, я утешалась, что есть другая, достойная жизнь, теперь же, не ставши ни счастливее, ни добродетельнее, я лишена и последнего утешенья. Я знаю, что я тебя огорчаю, прости меня за это Христа ради, но дай мне уйти назад.

Так она меня покинула.

XXIV

Продавши своих рабов, дом и красильню и заплатив вырученными деньгами за должников, сидящих в тюрьме, я поселился со слепою овчаркою на чужом огороде, карауля его за шалаш и пищу. Пришедши к убеждению, что всякий путь, считающийся единственно истинным, ложен, я считал себя мудрее и свободнее всех. Так я прожил лет 20, и слухи о моей жизни и учении распространились далеко за пределы столицы и привлекли ко мне множество людей. Так как мои слова не связывались с определенным божеством, то они принимались равно христианами, язычниками и евреями. Презирая деньги, я часто встречал своих посетителей с грубостью, принимаемою ими за простоту, считая, что обращение должно главным образом сообразоваться с удовольствием, доставляемым тому, к кому оно направлено. Так прошло много лет, как однажды у меня явилось сомнение, не есть ли мое отрицание пути тоже путем, который должен быть отброшен? Проворочавшись без сна до рассвета, поутру я вышел из шалаша, уверенный не возвращаться назад, но не зная куда идти, и слепая овчарка залаяла на меня, как на чужого.



СУЛАМИФЬ

> Положи мя, яко печать, на сердце твоем, яко печать, на мышце твоей: зане крепка, яко смерть, любовь, жестока, яко смерть, ревность: стрелы ее — стрелы огненные.
>
> *Песнь Песней*

I

Царь Соломон не достиг еще среднего возраста — сорока пяти лет,— а слава о его мудрости и красоте, о великолепии его жизни и пышности его двора распространилась далеко за пределами Палестины. В Ассирии и Финикии, в Верхнем и Нижнем Египте, от древней Тавризы до Иемена и от Исмара до Персеполя, на побережье Черного моря и на островах Средиземного — с удивлением произносили его имя, потому что не было подобного ему между царями во все дни его.

В 480 году по исшествии Израиля, в четвертый год своего царствования, в месяце Зифе, предпринял царь сооружение великого храма господня на горе Мориа и постройку дворца в Иерусалиме. Восемьдесят тысяч каменотесов и семьдесят тысяч носильщиков беспрерывно работали в горах и в предместьях города, а десять тысяч дровосеков из числа тридцати восьми тысяч отправлялись посменно на Ливан, где проводили целый месяц в столь тяжкой работе, что после нее отдыхали два месяца. Тысячи людей вязали срубленные деревья в плоты, и сотни моряков сплавляли их морем в Иаффу, где их обделывали тиряне, искусные в токарной и столярной работе. Только

лишь при возведении пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе употреблено было такое несметное количество рабочих.

Три тысячи шестьсот приставников надзирали за работами, а над приставниками начальствовал Азария, сын Нафанов, человек жестокий и деятельный, про которого сложился слух, что он никогда не спит, пожираемый огнем внутренней неизлечимой болезни. Все же планы дворца и храма, рисунки колонн, давира и медного моря, чертежи окон, украшения стен и тронов созданы были зодчим Хирамом-Авием из Сидона, сыном медника из рода Нафалимова.

Через семь лет, в месяце Буле, был завершен храм господень и через тринадцать лет — царский дворец. За кедровые бревна с Ливана, за кипарисные и оливковые доски, за дерево певговое, ситтим и фарсис, за обтесанные и отполированные громадные дорогие камни, за пурпур, багряницу и виссон, шитый золотом, за голубые шерстяные материи, за слоновую кость и красные бараньи кожи, за железо, оникс и множество мрамора, за драгоценные камни, за золотые цепи, венцы, шнурки, щипцы, сетки, лотки, лампады, цветы и светильники, золотые петли к дверям и золотые гвозди, весом в шестьдесят сиклей каждый, за златокованые чаши и блюда, за резные и мозаичные орнаменты, залитые и иссеченные в камне изображения львов, херувимов, волов, пальм и ананасов — подарил Соломон Тирскому царю Хираму, соименнику зодчего, двадцать городов и селений в земле Галилейской, и Хирам нашел этот подарок ничтожным,— с такой неслыханной роскошью были выстроены храм господень и дворец Соломонов и малый дворец в Милло для жены царя, красавицы Астис, дочери египетского фараона Суссакима. Красное же дерево, которое позднее пошло на перила и лестницы галерей, на музыкальные инструменты и на переплеты для священных книг, было принесено в дар Соломону царицей Савской, мудрой и прекрасной Балкис, вместе с таким количество ароматных курений, благовонных масл и драгоценных духов, какого до сих пор еще не видали в Израиле.

С каждым годом росли богатства царя. Три раза в год возвращались в гавани его корабли: «Фарсис», ходивший по Средиземному морю, и «Хирам», ходивший по Чермному морю. Они привозили из Африки слоновую кость, обезьян, павлинов и антилоп; богато украшенные колесницы из Египта, живых тигров и львов, а также звериные шкуры

и меха из Месопотамии, белоснежных коней из Кувы, парваимский золотой песок на шестьсот шестьдесят талантов в год, красное, черное и сандаловое дерево из страны Офир, пестрые ассурские и калахские ковры с удивительными рисунками — дружественные дары царя Тиглат-Пилеазара, художественную мозаику из Ниневии, Нимруда и Саргона; чудные узорчатые ткани из Хатуара; златокованые кубки из Тира; из Сидона — цветные стекла, а из Пунта, близ Баб-эль-Мандеба, те редкие благовония — нард, алоэ, трость, киннамон, шафран, амбру, мускус, стакти, халван, смирну и ладан, из-за обладания которыми египетские фараоны предпринимали не раз кровавые войны.

Серебро же во дни Соломоновы стало ценою, как простой камень, и красное дерево не дороже простых сикимор, растущих на низинах.

Каменные бани, обложенные порфиром, мраморные водоемы и прохладные фонтаны устроил царь, повелев провести воду из горных источников, низвергавшихся в Кедронский поток, а вокруг дворца насадил сады и рощи и развел виноградник в Ваал-Гамоне.

Было у Соломона сорок тысяч стойл для мулов и коней колесничных и двенадцать тысяч для конницы; ежедневно привозили для лошадей ячмень и солому из провинций. Десять волов откормленных и двадцать волов с пастбища, тридцать кóров пшеничной муки и шестьдесят прочей, сто батов вина разного, триста овец, не считая птицы откормленной, оленей, серн и сайгаков,— все это через руки двенадцати приставников шло ежедневно к столу Соломона, а также к столу его двора, свиты и гвардии. Шестьдесят воинов, из числа пятисот самых сильных и храбрых во всем войске, держали посменно караул во внутренних покоях дворца. Пятьсот щитов, покрытых золотыми пластинками, повелел Соломон сделать для своих телохранителей.

II

Чего бы глаза царя ни пожелали, он не отказывал им и не возбранял сердцу своему никакого веселия. Семьсот жен было у царя и триста наложниц, не считая рабынь и танцовщиц. И всех их очаровывал своей любовью Соломон, потому что бог дал ему такую неиссякаемую силу страсти, какой не было у людей обыкновенных. Он любил

белолицых, черноглазых, красногубых хеттеянок за их яркую, но мгновенную красоту, которая так же рано и прелестно расцветает и так же быстро вянет, как цветок нарцисса; смуглых, высоких, пламенных филистимлянок с жесткими курчавыми волосами, носивших золотые звенящие запястья на кистях рук, золотые обручи на плечах, а на обеих щиколотках широкие браслеты, соединенные тонкой цепочкой; нежных, маленьких, гибких аммореянок, сложенных без упрека,— их верность и покорность в любви вошли в пословицу; женщин из Ассирии, удлинявших красками свои глаза и вытравливавших синие звезды на лбу и на щеках; образованных, веселых и остроумных дочерей Сидона, умевших хорошо петь, танцевать, а также играть на арфах, лютнях и флейтах под аккомпанемент бубна; желтокожих египтянок, неутомимых в любви и безумных в ревности; сладострастных вавилонянок, у которых все тело под одеждой было гладко, как мрамор, потому что они особой пастой истребляли на нем волосы; дев Бактрии, красивших волосы и ногти в огненно-красный цвет и носивших шальвары; молчаливых, застенчивых моавитянок, у которых роскошные груди были прохладны в самые жаркие летние ночи; беспечных и расточительных аммонитянок с огненными волосами и с телом такой белизны, что оно светилось во тьме; хрупких голубоглазых женщин с льняными волосами и нежным запахом кожи, которых привозили с севера, через Баальбек, и язык которых был непонятен для всех живущих в Палестине. Кроме того, любил царь многих дочерей Иудеи и Израиля.

Также разделял он ложе с Балкис-Македа, царицей Савской, превзошедшей всех женщин в мире красотой, мудростью, богатством и разнообразием искусства в страсти; и с Ависагой-сунамитянкой, согревавшей старость царя Давида, с этой ласковой, тихой красавицей, из-за которой Соломон предал своего старшего брата Адонию смерти от руки Ванеи, сына Иодаева.

И с бедной девушкой из виноградника, по имени Суламифь, которую одну из всех женщин любил царь всем своим сердцем.

Носильный одр сделал себе Соломон из лучшего кедрового дерева, с серебряными столпами, с золотыми локотниками в виде лежащих львов, с шатром из пурпуровой тирской ткани. Внутри же весь шатер был украшен золотым шитьем и драгоценными камнями — любовными дарами жен и дев иерусалимских. И когда стройные черные рабы проносили Соломона в дни великих празднеств среди

народа, поистине был прекрасен царь, как лилия Саронской долины!

Бледно было его лицо, губы — точно яркая алая лента; волнистые волосы черны иссиня, и в них — украшение мудрости — блестела седина, подобно серебряным нитям горных ручьев, падающих с высоты темных скал Аэрмона; седина сверкала и в его черной бороде, завитой, по обычаю царей ассирийских, правильными мелкими рядами.

Глаза же у царя были темны, как самый темный агат, как небо в безлунную летнюю ночь, а ресницы, разверзавшиеся стрелами вверх и вниз, походили на черные лучи вокруг черных звезд. И не было человека во вселенной, который мог бы выдержать взгляд Соломона, не потупив своих глаз. И молнии гнева в очах царя повергали людей на землю.

Но бывали минуты сердечного веселия, когда царь опьянялся любовью, или вином, или сладостью власти, или радовался он мудрому и красивому слову, сказанному кстати. Тогда тихо опускались до половины его длинные ресницы, бросая синие тени на светлое лицо, и в глазах царя загорались, точно искры в черных брильянтах, теплые огни ласкового, нежного смеха; и те, кто видели эту улыбку, готовы были за нее отдать тело и душу — так она была неописуемо прекрасна. Одно имя царя Соломона, произнесенное вслух, волновало сердце женщин, как аромат пролитого мирра, напоминающий о ночах любви.

Руки царя были нежны, белы, теплы и красивы, как у женщины, но в них заключался такой избыток жизненной силы, что, налагая ладони на темя больных, царь исцелял головные боли, судороги, черную меланхолию и беснование. На указательном пальце левой руки носил Соломон гемму из кроваво-красного астерикса, извергавшего из себя шесть лучей жемчужного цвета. Много сотен лет было этому кольцу, и на оборотной стороне его камня вырезана была надпись на языке древнего, исчезнувшего народа: «Все проходит».

И так велика была власть души Соломона, что повиновались ей даже животные: львы и тигры ползали у ног царя, и терлись мордами о его колени, и лизали его руки своими жесткими языками, когда он входил в их помещения. И он, находивший веселие сердца в сверкающих переливах драгоценных камней, в аромате египетских благовонных смол, в нежном прикосновении легких тканей, в сладостной музыке, в тонком вкусе красного искристого вина, играющего в чеканном нинуанском потире,—

он любил также гладить суровые гривы львов, бархатные спины черных пантер и нежные лапы молодых пятнистых леопардов, любил слушать рев диких зверей, видеть их сильные и прекрасные движения и ощущать горячий запах их хищного дыхания.

Так живописал царя Соломона Иосафат, сын Ахилуда, историк его дней.

III

«За то, что ты не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов, но просил мудрости, то вот я делаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе».

Так сказал Соломону бог, и по слову его познал царь составление мира и действие стихий, постиг начало, конец и середину времен, проник в тайну вечного волнообразного и кругового возвращения событий; у астрономов Библоса, Акры, Саргона, Борсиппы и Ниневии научился он следить за изменением расположения звезд и за годовыми кругами. Знал он также естество всех животных и угадывал чувства зверей, понимал происхождение и направление ветров, различные свойства растений и силу целебных трав.

Помыслы в сердце человеческом — глубокая вода, но и их умел вычерпывать мудрый царь. В словах и голосе, в глазах, в движениях рук так же ясно читал он самые сокровенные тайны душ, как буквы в открытой книге. И потому со всех концов Палестины приходило к нему великое множество людей, прося суда, совета, помощи, разрешения спора, а также и за разгадкою непонятных предзнаменований и снов. И дивились люди глубине и тонкости ответов Соломоновых.

Три тысячи притчей сочинил Соломон и тысячу и пять песней. Диктовал он их двум искусным и быстрым писцам, Елихоферу и Ахии, сыновьям Сивы, и потом сличал написанное обоими. Всегда облекал он свои мысли изящными выражениями, потому что золотому яблоку в чаше из прозрачного сардоникса подобно слово, сказанное умело, и потому также, что слова мудрых остры, как иглы, крепки, как вбитые гвозди, и составители их все от единого пастыря. «Слово — искра в движении сердца»,— так говорил царь. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Был он

мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Хилколы, и Додры, сыновей Махола. Но уже начинал он тяготиться красотой обыкновенной человеческой мудрости, и не имела она в глазах его прежней цены. Беспокойным и пытливым умом жаждал он той высшей мудрости, которую господь имел на своем пути прежде всех созданий своих искони, от начала, прежде бытия земли, той мудрости, которая была при нем великой художницей, когда он проводил круговую черту по лицу бездны. И не находил ее Соломон.

Изучил царь учения магов халдейских и ниневийских, науку астрологов из Абидоса, Саиса и Мемфиса, тайны волхвов, мистагогов, и эпоптов ассирийских, и прорицателей из Бактры и Персеполя и убедился, что знания их были знаниями человеческими.

Также искал он мудрости в тайнодействиях древних языческих верований и потому посещал капища и приносил жертвы: могущественному Ваалу-Либанону, которого чтили под именем Мелькарта, бога созидания и разрушения, покровителя мореплавания, в Тире и Сидоне, называли Аммоном в оазисе Сивах, где идол его кивал головою, указывая пути праздничным шествиям, Бэлом у халдеев, Молохом у хананеев; поклонялся также жене его — грозной и сладострастной Астарте, имевшей в других храмах имена Иштар, Исаар, Ваальтис, Ашера, Истар-Белит и Атаргатис. Изливал он елей и возжигал курение Изиде и Озирису египетским, брату и сестре, соединившимся браком еще во чреве матери своей и зачавшим там бога Гора, и Деркето, рыбообразной богине тирской, и Анубису с собачьей головой, богу бальзамирования, и вавилонскому Оанну, и Дагону филистимскому, и Авденаго ассирийскому, и Утсабу, идолу ниневийскому, и мрачной Кибелле, и Бэл-Меродоху, покровителю Вавилона — богу планеты Юпитер, и халдейскому Ору — богу вечного огня, и таинственной Омороге — праматери богов, которую Бэл рассек на две части, создав из них небо и землю, а из головы — людей; и поклонялся царь еще богине Атанаис, в честь которой девушки Финикии, Лидии, Армении и Персии отдавали прохожим свое тело, как священную жертву, на пороге храмов.

Но ничего не находил царь в обрядах языческих, кроме пьянства, ночных оргий, блуда, кровосмешения и противоестественных страстей, и в догматах их видел суесловие и обман. Но никому из подданных не воспрещал он приношение жертв любимому богу и даже сам построил на

Масличной горе капище Хамосу, мерзости моавитской, по просьбе прекрасной, задумчивой Эллаан — моавитянки, бывшей тогда возлюбленной женою царя. Одного лишь не терпел Соломон и преследовал смертью — жертвоприношение детей.

И увидел он в своих исканиях, что участь сынов человеческих и участь животных одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом. И понял царь, что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание — умножает скорбь. Узнал он также, что и при смехе иногда болит сердце и концом радости бывает печаль. И однажды утром впервые продиктовал он Елихоферу и Ахии:

— Все суета сует и томление духа,— так говорит Екклезиаст.

Но тогда не знал еще царь, что скоро пошлет ему бог такую нежную и пламенную, преданную и прекрасную любовь, которая одна дороже богатства, славы и мудрости, которая дороже самой жизни, потому что даже жизнью она не дорожит и не боится смерти.

IV

Виноградник был у царя в Ваал-Гамоне, на южном склоне Ватн-эль-Хава, к западу от капища Молоха; туда любил царь уединяться в часы великих размышлений. Гранатовые деревья, оливы и дикие яблони, вперемежку с кедрами и кипарисами, окаймляли его с трех сторон по горе, с четвертой же был он огражден от дороги высокой каменной стеной. И другие виноградники, лежавшие вокруг, также принадлежали Соломону; он отдавал их внаем сторожам за тысячу сребреников каждый.

Только с рассветом окончился во дворце роскошный пир, который давал царь израильский в честь послов царя Ассирийского, славного Тиглат-Пилеазара. Несмотря на утомление, Соломон не мог заснуть этим утром. Ни вино, ни сикера не отуманили крепких ассирийских голов и не развязали их хитрых языков. Но проницательный ум мудрого царя уже опередил их планы и уже вязал, в свою очередь, тонкую политическую сеть, которою он оплетет этих важных людей с надменными глазами и с льстивой речью. Соломон сумеет сохранить необходимую приязнь с повелителем Ассирии и в то же время, ради вечной дружбы с Хирамом Тирским, спасет от разграбления его

царство, которое своими неисчислимыми богатствами, скрытыми в подвалах под узкими улицами с тесными домами, давно уже привлекает жадные взоры восточных владык.

И вот на заре приказал Соломон отнести себя на гору Ватн-эль-Хав, оставил носилки далеко на дороге и теперь один сидит на простой деревянной скамье, на верху виноградника, под сенью деревьев, еще затаивших в своих ветвях росистую прохладу ночи. Простой белый плащ надет на царе, скрепленный на правом плече и на левом боку двумя египетскими аграфами из зеленого золота, в форме свернувшихся крокодилов — символ бога Себаха. Руки царя лежат неподвижно на коленях, а глаза, затененные глубокой мыслью, не мигая, устремлены на восток, в сторону Мертвого моря — туда, где из-за круглой вершины Аназе восходит в пламени зари солнце.

Утренний ветер дует с востока и разносит аромат цветущего винограда — тонкий аромат резеды и вареного вина. Темные кипарисы важно раскачивают тонкими верхушками и льют свое смолистое дыхание. Торопливо переговариваются серебряно-зеленые листы олив.

Но вот Соломон встает и прислушивается. Милый женский голос, ясный и чистый, как это росистое утро, поет где-то невдалеке, за деревьями. Простой и нежный мотив льется, льется себе, как звонкий ручей в горах, повторяя все те же пять-шесть нот. И его незатейливая изящная прелесть вызывает тихую улыбку умиления в глазах царя.

Все ближе слышится голос. Вот он уже здесь, рядом, за раскидистыми кедрами, за темной зеленью можжевельника. Тогда царь осторожно раздвигает руками ветки, тихо пробирается между колючими кустами и выходит на открытое место.

Перед ним, за низкой стеной, грубо сложенной из больших желтых камней, расстилается вверх виноградник. Девушка в легком голубом платье ходит между рядами лоз, нагибается над чем-то внизу и опять выпрямляется и поет. Рыжие волосы ее горят на солнце.

День дохнул прохладою,
Убегают ночные тени.
Возвращайся скорее, мой милый,
Будь легок, как серна,
Как молодой олень среди горных ущелий...

Так поет она, подвязывая виноградные лозы, и медленно спускается вниз, ближе и ближе к каменной стене, за которой стоит царь. Она одна — никто не видит и не слы-

шит ее; запах цветущего винограда, радостная свежесть утра и горячая кровь в сердце опьяняют ее, и вот слова наивной песенки мгновенно рождаются у нее на устах и уносятся ветром, забытые навсегда:

Ловите нам лис и лисенят,
Они портят наши виноградники,
А виноградники наши в цвете.

Так она доходит до самой стены и, не замечая царя, поворачивает назад и идет, легко взбираясь в гору, вдоль соседнего ряда лоз. Теперь песня звучит глуше:

Беги, возлюбленный мой,
Будь подобен серне
Или молодому оленю
На горах бальзамических.

Но вдруг она замолкает и так пригибается к земле, что ее не видно за виноградником.

Тогда Соломон произносит голосом, ласкающим ухо:

— Девушка, покажи мне лицо твое, дай еще услышать твой голос.

Она быстро выпрямляется и оборачивается лицом к царю. Сильный ветер срывается в эту секунду и треплет на ней легкое платье и вдруг плотно облепляет его вокруг ее тела и между ног. И царь на мгновенье, пока она не становится спиною к ветру, видит всю ее под одеждой, как нагую, высокую и стройную, в сильном расцвете тринадцати лет; видит ее маленькие, круглые, крепкие груди и возвышения сосцов, от которых материя лучами расходится врозь, и круглый, как чаша, девический живот, и глубокую линию, которая разделяет ее ноги снизу доверху и там расходится надвое, к выпуклым бедрам.

— Потому что голос твой сладок и лицо твое приятно! — говорит Соломон.

Она подходит ближе и смотрит на царя с трепетом и с восхищением. Невыразимо прекрасно ее смуглое и яркое лицо. Тяжелые, густые темно-рыжие волосы, в которые она воткнула два цветка алого мака, упругими бесчисленными кудрями покрывают ее плечи, и разбегаются по спине, и пламенеют, пронзенные лучами солнца, как золотой пурпур. Самодельное ожерелье из каких-то красных сухих ягод трогательно и невинно обвивает в два раза ее темную, высокую, тонкую шею.

— Я не заметила тебя! — говорит она нежно, и голос ее звучит, как пение флейты.— Откуда ты пришел?

— Ты так хорошо пела, девушка!

Она стыдливо опускает глаза и сама краснеет, но под ее длинными ресницами и в углах губ дрожит тайная улыбка.

— Ты пела о своем милом. Он легок, как серна, как молодой горный олень. Ведь он очень красив, твой милый, девушка, не правда ли?

Она смеется так звонко и музыкально, точно серебряный град падает на золотое блюдо.

— У меня нет милого. Это только песня. У меня еще не было милого...

Они молчат с минуту и глубоко, без улыбки смотрят друг на друга... Птицы громко перекликаются среди деревьев. Грудь девушки часто колеблется под ветхим полотном.

— Я не верю тебе, красавица. Ты так прекрасна...

— Ты смеешься надо мною. Посмотри, какая я черная...

Она поднимает кверху маленькие темные руки, и широкие рукава легко скользят вниз, к плечам, обнажая ее локти, у которых такой тонкий и круглый девический рисунок.

И она говорит жалобно:

— Братья мои рассердились на меня и поставили меня стеречь виноградник, и вот — погляди, как опалило меня солнце!

— О нет, солнце сделало тебя еще красивее, прекраснейшая из женщин! Вот ты засмеялась, и зубы твои — как белые двойни-ягнята, вышедшие из купальни, и ни на одном из них нет порока. Щеки твои — точно половинки граната под кудрями твоими. Губы твои алы — наслаждение смотреть на них. А волосы твои... Знаешь, на что похожи твои волосы? Видала ли ты, как с Галаада вечером спускается овечье стадо? Оно покрывает всю гору, с вершины до подножья, и от света зари и от пыли кажется таким же красным и таким же волнистым, как твои кудри. Глаза твои глубоки, как два озера Есевонских у ворот Батраббима. О, как ты красива! Шея твоя пряма и стройна, как башня Давидова!..

— Как башня Давидова! — повторяет она в упоении.

— Да, да, прекраснейшая из женщин. Тысяча щитов висит на башне Давида, и все это щиты побежденных военачальников. Вот и мой щит вешаю я на твою башню...

— О, говори, говори еще...

— А когда ты обернулась назад, на мой зов, и подул ветер, то я увидел под одеждой оба сосца твои и подумал: вот две маленькие серны, которые пасутся между лилия-

ми. Стан твой был похож на пальму и груди твои на грозди виноградные.

Девушка слабо вскрикивает, закрывает лицо ладонями, а грудь локтями, и так краснеет, что даже уши и шея становятся у нее пурпуровыми.

— И бедра твои я увидел. Они стройны, как драгоценная ваза — изделие искусного художника. Отними же твои руки, девушка. Покажи мне лицо твое.

Она покорно опускает руки вниз. Густое золотое сияние льется из глаз Соломона, и очаровывает ее, и кружит ей голову, и сладкой, теплой дрожью струится по коже ее тела.

— Скажи мне, кто ты? — говорит она медленно, с недоумением.— Я никогда не видела подобного тебе.

— Я пастух, моя красавица. Я пасу чудесные стада белых ягнят на горах, где зеленая трава пестреет нарциссами. Не придешь ли ты ко мне, на мое пастбище?

Но она тихо качает головою:

— Неужели ты думаешь, что я поверю этому? Лицо твое не огрубело от ветра и не обожжено солнцем, и руки твои белы. На тебе дорогой хитон, и одна застежка на нем стоит годовой платы, которую братья мои вносят за наш виноградник Адонираму, царскому сборщику. Ты пришел оттуда, из-за стены... Ты, верно, один из людей, близких к царю? Мне кажется, что я видела тебя однажды в день великого празднества, мне даже помнится — я бежала за твоей колесницей.

— Ты угадала, девушка. От тебя трудно скрыться. И правда, зачем тебе быть скиталицей около стад пастушеских? Да, я один из царской свиты, я главный повар царя. И ты видела меня, когда я ехал в колеснице Аминодавовой в день праздника Пасхи. Но зачем ты стоишь далеко от меня? Подойди ближе, сестра моя! Сядь вот здесь на камне стены и расскажи мне что-нибудь о себе. Скажи мне твое имя?

— Суламифь,— говорит она.

— За что же, Суламифь, рассердились на тебя твои братья?

— Мне стыдно говорить об этом. Они выручили деньги от продажи вина и послали меня в город купить хлеба и козьего сыра. А я...

— А ты потеряла деньги?

— Нет, хуже...

Она низко склоняет голову и шепчет:

— Кроме хлеба и сыра, я купила еще немножко, совсем немножко, розового масла у египтян в старом городе.

— И ты скрыла это от братьев?

— Да...

И она произносит еле слышно:

— Розовое масло так хорошо пахнет!

Царь ласково гладит ее маленькую жесткую руку.

— Тебе, верно, скучно одной в винограднике?

— Нет. Я работаю, пою... В полдень мне приносят поесть, а вечером меня сменяет один из братьев. Иногда я рою корни мандрагоры, похожие на маленьких человечков... У нас их покупают халдейские купцы. Говорят, они делают из них сонный напиток... Скажи, правда ли, что ягоды мандрагоры помогают в любви?

— Нет, Суламифь, в любви помогает только любовь. Скажи, у тебя есть отец или мать?

— Одна мать. Отец умер два года тому назад. Братья — все старше меня — они от первого брака, а от второго только я и сестра.

— Твоя сестра так же красива, как и ты?

— Она еще мала. Ей только девять лет.

Царь смеется, тихо обнимает Суламифь, привлекает ее к себе и говорит ей на ухо:

— Девять лет... Значит, у нее еще нет такой груди, как у тебя? Такой гордой, такой горячей груди!

Она молчит, горя от стыда и счастья. Глаза ее светятся и меркнут, они туманятся блаженной улыбкой. Царь слышит в своей руке бурное биение ее сердца.

— Теплота твоей одежды благоухает лучше, чем мирра, лучше, чем нард,— говорит он, жарко касаясь губами ее уха.— И когда ты дышишь, я слышу запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Сестра моя, возлюбленная моя, ты пленила сердце мое одним взглядом твоих очей, одним ожерельем на твоей шее.

— О, не гляди на меня! — просит Суламифь.— Глаза твои волнуют меня.

Но она сама изгибает назад спину и кладет голову на грудь Соломона. Губы ее рдеют над блестящими зубами, веки дрожат от мучительного желания. Соломон приникает жадно устами к ее зовущему рту. Он чувствует пламень ее губ, и скользкость ее зубов, и сладкую влажность ее языка и весь горит таким нестерпимым желанием, какого он еще никогда не знал в жизни.

Так проходит минута и две.

— Что ты делаешь со мною! — слабо говорит Суламифь, закрывая глаза.— Что ты делаешь со мной!

Но Соломон страстно шепчет около самого ее рта:

— Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим... О, иди скорее ко мне. Здесь за стеной темно и прохладно. Никто не увидит нас. Здесь мягкая зелень под кедрами.

— Нет, нет, оставь меня. Я не хочу, не могу.

— Суламифь... ты хочешь, ты хочешь... Сестра моя, возлюбленная моя, иди ко мне!

Чьи-то шаги раздаются внизу по дороге, у стены царского виноградника, но Соломон удерживает за руку испуганную девушку.

— Скажи мне скорее, где ты живешь? Сегодня ночью я приду к тебе,— говорит он быстро.

— Нет, нет, нет... Я не скажу тебе это. Пусти меня. Я не скажу тебе.

— Я не пущу тебя, Суламифь, пока ты не скажешь... Я хочу тебя!

— Хорошо, я скажу... Но сначала обещай мне не приходить этой ночью... Также не приходи и в следующую ночь... и в следующую за той... Царь мой! Заклинаю тебя сернами и полевыми ланями, не тревожь свою возлюбленную, пока она не захочет!

— Да, я обещаю тебе это... Где же твой дом, Суламифь?

— Если по пути в город ты перейдешь через Кедрон по мосту выше Силоама, ты увидишь наш дом около источника. Там нет других домов.

— А где же там твое окно, Суламифь?

— Зачем тебе это знать, милый? О, не гляди же на меня так. Взгляд твой околдовывает меня... Не целуй меня... Не целуй меня... Милый! Целуй меня еще...

— Где же твое окно, единственная моя?

— Окно на южной стороне. Ах, я не должна тебе этого говорить... Маленькое, высокое окно с решеткой.

— И решетка отворяется изнутри?

— Нет, это глухое окно. Но за углом есть дверь. Она прямо ведет в комнату, где я сплю с сестрою. Но ведь ты обещал мне!.. Сестра моя спит чутко. О, как ты прекрасен, мой возлюбленный. Ты ведь обещал, не правда ли?

Соломон тихо гладит ее волосы и щеки.

— Я приду к тебе этой ночью,— говорит он настойчиво.— В полночь приду. Это так будет, так будет. Я хочу этого.

— Милый!

— Нет. Ты будешь ждать меня. Только не бойся и верь мне. Я не причиню тебе горя. Я дам тебе такую радость, рядом с которой все на земле ничтожно. Теперь прощай. Я слышу, что за мной идут.

— Прощай, возлюбленный мой... О, нет, не уходи еще. Скажи мне твое имя, я не знаю его.

Он на мгновение, точно нерешительно, опускает ресницы, но тотчас же поднимает их.

— У меня одно имя с царем. Меня зовут Соломон. Прощай. Я люблю тебя.

V

Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему.

Сорок колонн, по четыре в ряд, поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий; пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представлявшей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы шесть ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по два бронзовых льва, по одному с каждой стороны. Самый же трон был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась золотым диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между пяти колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей.

На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из шестидесяти бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его, Вирсавии, но в последнее время благодаря преклонным летам она редко показывалась в городе.

Ассирийские гости, с суровыми чернобородыми лицами, сидели вдоль стен на яшмовых скамьях; на них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать

о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, начальники провинций и придворные. Здесь был Ванея — некогда царский палач, убийца Иоава, Адонии и Семея,— теперь главный начальник войска, невысокий, тучный старец с длинной седой бородой; его выцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели по-старчески тупо; рот был открыт и мокр, а мясистая красная нижняя губа бессильно свисала вниз; голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный высокий человек с сухим, болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный, рассеянный Иосафат, историограф, и Ахелар, начальник двора Соломонова, и Завуф, носивший высокий титул друга царя, и Бен-Авинодав, женатый на старшей дочери Соломона — Тафафии, и Бен-Гевер, начальник области Арговии, что в Васане; под его управлением находилось шестьдесят городов, окруженных стенами, с воротами на медных затворах; и Ваана, сын Хушая, некогда славившийся искусством метать копье на расстоянии тридцати парасангов, и многие другие. Шестьдесят воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона; старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиав, сын Ахилуда.

Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. Работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его, Ахиоровой, жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею,— это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии; но тот уверял, и тоже с клятвою, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора.

И вот теперь все четверо — Ахиор, Захария и двое свидетелей — стояли перед троном царя израильского.

Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже:

— Отведите их всех в отдельные покои и заприте каждого отдельно.

И когда это было исполнено, он приказал принести четыре куска сырой глины.

— Пусть каждый из них,— повелел царь,— вылепит из глины ту форму, которую имел камень.

Через некоторое время слепки были готовы. Но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни; другой — в виде овечьей головы, и только у двоих — у Ахиора и Захарии слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь.

И царь сказал:

— Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору, и вместе с ним уплатит ему тридцать гражданских сиклей судебных издержек, и отдаст десять сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по пяти сиклей в казну за ложное показание.

Затем приблизились к трону Соломонову три брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в средине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с тремя отделениями: знайте, что верхнее — для старшего, среднее — для среднего, нижнее — для меньшего из братьев». И когда после его смерти они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед троном, не воздержались они от взаимных упреков и обид.

Царь покачал головой, выслушал их и сказал:

— Оставьте ссоры; тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему — весь скот и всех рабов, а младшему — дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше.

И трое братьев — недавние враги — с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку.

И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое три дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из двух его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю.

Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал:

— Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело.

Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании.

— Я исполнил все, что ты приказал, царь,— сказал этот человек.— Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии ста двадцати локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце.

— Прекрасный выстрел,— сказал Соломон.— А младший?

— Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности... Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого... Не буду стрелять в труп моего отца».

— Так пусть ему и принадлежит имение его отца,— решил царь.— Он оказался достойнейшим сыном. Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди, с меткою рукою, верным взглядом и с сердцем, обросшим шерстью.

Затем предстали пред царем три человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись наутро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили.

Каждый из них обвинял другого в тайном похищении, и так как все трое казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь:

— Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый и добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему о своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: «Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. Пусть он снимет с меня клятву, тогда я возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь!» И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех поступил лучше пред лицом бога — девица, жених или разбойник?

И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха; третий же находил самым великодушным поступок разбойника.

И сказал царь последнему:

— Значит, ты и украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого.

Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы:

— Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него!

Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов:

— Возьми жезл этого человека и разломи его пополам.

И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки; вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении.

Также пришла в дом Ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала:

— Я прошу правосудия, царь! На последние два динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток! Мне теперь нечем накормить моих детей.

— Когда это было? — спросил царь.

— Это случилось сегодня утром, на заре.

И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых должны были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их:

— Молили ли вы бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?

И они ответили:

— Да, царь! Это так. И богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер.

— Я радуюсь за вас,— сказал Соломон.— Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?

И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал:

— Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар.

И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра.

Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий и подарков, сколько не раздавал иногда в целый год, и простил он Ахимааса, правителя земли Неффалимовой, на которого прежде пылал гневом за беззаконные поборы, и сложил вины многим, преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной.

Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый, широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черною густою бородою,

с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом:

— Царь!..

В бронзовом чреве его бога было семь отделений: одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя.

Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руку и воскликнул с мольбой:

— Царь! Заклинаю тебя твоей радостью!.. Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь.

Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.

VI

Вечером пошла Суламифь в старый город, туда, где длинными рядами тянулись лавки менял, ростовщиков и торговцев благовонными снадобьями. Там продала она ювелиру за три драхмы и один динарий свою единственную драгоценность — праздничные серьги, серебряные, кольцами, с золотой звездочкой каждая.

Потом она зашла к продавцу благовоний. В глубокой, темной каменной нише, среди банок с серой аравийской амброй, пакетов с ливанским ладаном, пучков ароматических трав и склянок с маслами — сидел, поджав под себя ноги и щуря ленивые глаза, неподвижный, сам весь благоухающий, старый, жирный, сморщенный скопец-египтянин. Он осторожно отсчитал из финикийской склянки в маленький глиняный флакончик ровно столько капель мирры, сколько было динариев во всех деньгах Суламифи, и когда он окончил это дело, то сказал, подбирая пробкой остаток масла вокруг горлышка и лукаво смеясь:

— Смуглая девушка, прекрасная девушка! Когда сегодня твой милый поцелует тебя между грудей и скажет: «Как хорошо пахнет твое тело, о моя возлюбленная!» — ты вспомни обо мне в этот миг. Я перелил тебе три лишние капли.

И вот, когда наступила ночь и луна поднялась над Силоамом, перемешав синюю белизну его домов с черной синевой теней и с матовой зеленью деревьев, встала Сула-

мифь с своего бедного ложа из козьей шерсти и прислушалась. Все было тихо в доме. Сестра ровно дышала у стены, на полу. Только снаружи, в придорожных кустах, сухо и страстно кричали цикады, и кровь толчками шумела в ушах. Решетка окна, вырисованная лунным светом, четко и косо лежала на полу.

Дрожа от робости, ожиданья и счастья, расстегнула Суламифь свои одежды, опустила их вниз к ногам и, перешагнув через них, осталась среди комнаты нагая, лицом к окну, освещенная луною через переплет решетки. Она налила густую благовонную мирру себе на плечи, на грудь, на живот и, боясь потерять хоть одну драгоценную каплю, стала быстро растирать масло по ногам, под мышками и вокруг шеи. И гладкое, скользящее прикосновение ее ладоней и локтей к телу заставляло ее вздрагивать от сладкого предчувствия. И, улыбаясь и дрожа, глядела она в окно, где за решеткой виднелись два тополя, темные с одной стороны, осеребренные с другой, и шептала про себя:

— Это для тебя, мой милый, это для тебя, возлюбленный мой. Милый мой лучше десяти тысяч других, голова его — чистое золото, волосы его волнистые, черные, как ворон. Уста его — сладость, и весь он — желание. Вот кто возлюбленный мой, вот кто брат мой, дочери иерусалимские!..

И вот, благоухающая миррой, легла она на свое ложе. Лицо ее обращено к окну; руки она, как дитя, зажала между коленями, сердце ее громко бьется в комнате. Проходит много времени. Почти не закрывая глаз, она погружается в дремоту, но сердце ее бодрствует. Ей грезится, что милый лежит с ней рядом. Правая рука у нее под головой, левой он обнимает ее. В радостном испуге сбрасывает она с себя дремоту, ищет возлюбленного около себя на ложе, но не находит никого. Лунный узор на полу передвинулся ближе к стене, укоротился и стал косее. Кричат цикады, монотонно лепечет Кедронский ручей, слышно, как в городе заунывно поет ночной сторож.

«Что, если он не придет сегодня? — думает Суламифь.— Я просила его, и вдруг он послушался меня?.. Заклинаю вас, дочери иерусалимские, сернами и полевыми лилиями: не будите любви, доколе она не придет... Но вот любовь посетила меня. Приди скорей, мой возлюбленный! Невеста ждет тебя. Будь быстр, как молодой олень в горах бальзамических».

Песок захрустел на дворе под легкими шагами. И души не стало в девушке. Осторожная рука стучит в окно. Темное лицо мелькает за решеткой. Слышится тихий голос милого:

— Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Голова моя покрыта росой.

Но волшебное оцепенение овладевает вдруг телом Суламифи. Она хочет встать и не может, хочет пошевельнуть рукою и не может. И, не понимая, что с нею делается, она шепчет, глядя в окно:

— Ах, кудри его полны ночною влагой! Но я скинула мой хитон. Как же мне опять надеть его?

— Встань, возлюбленная моя. Прекрасная моя, выйди. Близится утро, раскрываются цветы, виноград льет свое благоухание, время пения настало, голос горлицы доносится с гор.

— Я вымыла ноги мои,— шепчет Суламифь,— как же мне ступить ими на пол?

Темная голова исчезает из оконного переплета, звучные шаги обходят дом, затихают у двери. Милый осторожно просовывает руку сквозь дверную скважину. Слышно, как он ищет пальцами внутреннюю задвижку.

Тогда Суламифь встает, крепко прижимает ладони к грудям и шепчет в страхе:

— Сестра моя спит, я боюсь разбудить ее.

Она нерешительно обувает сандалии, надевает на голое тело легкий хитон, накидывает сверху него покрывало и открывает дверь, оставляя на ее замке следы мирры. Но никого уже нет на дороге, которая одиноко белеет среди темных кустов в серой утренней мгле. Милый не дождался — ушел, даже шагов его не слышно. Луна уменьшилась и побледнела и стоит высоко. На востоке над волнами гор холодно розовеет небо перед зарею. Вдали белеют стены и дома иерусалимские.

— Возлюбленный мой! Царь жизни моей! — кричит Суламифь во влажную темноту.— Вот я здесь. Я жду тебя... Вернись!

Но никто не отзывается.

«Побегу же я по дороге, догоню, догоню моего милого,— говорит про себя Суламифь.— Пойду по городу, по улицам, по площадям, буду искать того, кого любит душа моя. О, если бы ты был моим братом, сосавшим грудь матери моей! Я встретила бы тебя на улице и целовала бы тебя, и никто не осудил бы меня. Я взяла бы тебя за руку и привела бы в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я по-

ила бы тебя соком гранатовых яблоков. Заклинаю вас, дочери иерусалимские: если встретите возлюбленного моего, скажите ему, что я уязвлена любовью».

Так говорит она самой себе и легкими, послушными шагами бежит по дороге к городу. У Навозных ворот около стены сидят и дремлют в утренней прохладе двое сторожей, обходивших ночью город. Они просыпаются и смотрят с удивлением на бегущую девушку. Младший из них встает и загораживает ей дорогу распростертыми руками.

— Подожди, подожди, красавица! — восклицает он со смехом.— Куда так скоро? Ты провела тайком ночь в постели у своего любезного и еще тепла от его объятий, а мы продрогли от ночной сырости. Будет справедливо, если ты немножко посидишь с нами.

Старший тоже поднимается и хочет обнять Суламифь. Он не смеется, он дышит тяжело, часто и со свистом, он облизывает языком синие губы. Лицо его, обезображенное большими шрамами от зажившей проказы, кажется страшным в бледной мгле. Он говорит гнусавым и хриплым голосом:

— И правда. Чем возлюбленный твой лучше других мужчин, милая девушка! Закрой глаза, и ты не отличишь меня от него. Я даже лучше, потому что, наверно, поопытнее его.

Они хватают ее за грудь, за плечи, за руки, за одежду. Но Суламифь гибка и сильна, и тело ее, умащенное маслом, скользко. Она вырывается, оставив в руках сторожей свое верхнее покрывало, и еще быстрее бежит назад прежней дорогой. Она не испытала ни обиды, ни страха — она вся поглощена мыслью о Соломоне. Проходя мимо своего дома, она видит, что дверь, из которой она только что вышла, так и осталась отворенной, зияя черным четырехугольником на белой стене. Но она только затаивает дыхание, съеживается, как молодая кошка, и на цыпочках, беззвучно пробегает мимо.

Она переходит через Кедронский мост, огибает окраину Силоамской деревни и каменистой дорогой взбирается постепенно на южный склон Ватн-эль-Хава, в свой виноградник. Брат ее спит еще между лозами, завернувшись в шерстяное одеяло, все мокрое от росы. Суламифь будит его, но он не может проснуться, окованный молодым утренним сном.

Как и вчера, заря пылает над Аназе. Подымается ветер. Струится аромат виноградного цветения.

— Пойду погляжу на то место у стены, где стоял мой возлюбленный,— говорит Суламифь.— Прикоснусь руками к камням, которые он трогал, поцелую землю под его ногами.

Легко скользит она между лозами. Роса падает с них, и холодит ей ноги, и брызжет на ее локти. И вот радостный крик Суламифи оглашает виноградник! Царь стоит за стеной. Он с сияющим лицом протягивает ей навстречу руки.

Легче птицы переносится Суламифь через ограду и без слов, со стоном счастья обвивается вокруг царя.

Так проходит несколько минут. Наконец, отрываясь губами от ее рта, Соломон говорит в упоении, и голос его дрожит:

— О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна!

— О, как ты прекрасен, возлюбленный мой!

Слезы восторга и благодарности — блаженные слезы блестят на бледном и прекрасном лице Суламифи. Изнемогая от любви, она опускается на землю и едва слышно шепчет безумные слова:

— Ложе у нас — зелень. Кедры — потолок над нами... Лобзай меня лобзанием уст своих. Ласки твои лучше вина...

Спустя небольшое время Суламифь лежит головою на груди Соломона. Его левая рука обнимает ее.

Склонившись к самому ее уху, царь шепчет ей что-то, царь нежно извиняется, и Суламифь краснеет от его слов и закрывает глаза. Потом с невыразимо прелестной улыбкой смущения она говорит:

— Братья мои поставили меня стеречь виноградник... а своего виноградника я не уберегла.

Но Соломон берет ее маленькую темную руку и горячо прижимает ее к губам.

— Ты не жалеешь об этом, Суламифь?

— О нет, царь мой, возлюбленный мой, я не жалею. Если бы ты сейчас же встал и ушел от меня и если бы я осуждена была никогда потом не видеть тебя, я до конца моей жизни буду произносить с благодарностью твое имя, Соломон!

— Скажи мне еще, Суламифь... Только прошу тебя, скажи правду, чистая моя... Знала ли ты, кто я?

— Нет, я и теперь не знаю этого. Я думала... Но мне стыдно признаться... Я боюсь, ты будешь смеяться надо мной... Рассказывают, что здесь, на горе Ватн-эль-Хав, иногда бродят языческие боги... Многие из них, говорят,

прекрасны... И я думала: не Гор ли ты, сын Озириса, или иной бог?

— Нет, я только царь, возлюбленная. Но вот на этом месте я целую твою милую руку, опаленную солнцем, и клянусь тебе, что еще никогда: ни в пору первых любовных томлений юности, ни в дни моей славы, не горело мое сердце таким неутолимым желанием, которое будит во мне одна твоя улыбка, одно прикосновение твоих огненных кудрей, один изгиб твоих пурпуровых губ! Ты прекрасна, как шатры Кидарские, как завесы в храме Соломоновом! Ласки твои опьяняют меня. Вот груди твои — они ароматны. Сосцы твои — как вино!

— О да, гляди, гляди на меня, возлюбленный. Глаза твои волнуют меня! О, какая радость: ведь это ко мне, ко мне обращено желание твое! Волосы твои душисты. Ты лежишь, как мирровый пучок у меня между грудей!

Время прекращает свое течение и смыкается над ними солнечным кругом. Ложе у них — зелень, кровля — кедры, стены — кипарисы. И знамя над их шатром — любовь.

VII

Бассейн был у царя во дворце, восьмиугольный, прохладный бассейн из белого мрамора. Темно-зеленые малахитовые ступени спускались к его дну. Облицовка из египетской яшмы, снежно-белой с розовыми, чуть заметными прожилками, служила ему рамою. Лучшее черное дерево пошло на отделку стен. Четыре львиные головы из розового сардоникса извергали тонкими струями воду в бассейн. Восемь серебряных отполированных зеркал отличной сидонской работы, в рост человека, были вделаны в стены между легкими белыми колоннами.

Перед тем как войти Суламифи в бассейн, молодые прислужницы влили в него ароматные составы, и вода от них побелела, поголубела и заиграла переливами молочного опала. С восхищением глядели рабыни, раздевавшие Суламифь, на ее тело и, когда раздели, подвели ее к зеркалу. Ни одного недостатка не было в ее прекрасном теле, озолоченном, как смуглый зрелый плод, золотым пухом нежных волос. Она же, глядя на себя нагую в зеркало, краснела и думала:

«Все это для тебя, мой царь!»

Она вышла из бассейна свежая, холодная и благоухающая, покрытая дрожащими каплями воды. Рабыни надели

на нее короткую белую тунику из тончайшего египетского льна и хитон из драгоценного саргонского виссона, такого блестящего золотого цвета, что одежда казалась сотканной из солнечных лучей. Они обули ее ноги в красные сандалии из кожи молодого козленка, они осушили ее темноогненные кудри, и перевили их нитями крупного черного жемчуга, и украсили ее руки звенящими запястьями.

В таком наряде предстала она пред Соломоном, и царь воскликнул радостно:

— Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце? О Суламифь, красота твоя грознее, чем полки с распущенными знаменами! Семьсот жен я знал, и триста наложниц, и девиц без числа, но единственная — ты, прекрасная моя! Увидят тебя царицы, и превознесут, и поклонятся тебе наложницы, и восхвалят тебя все женщины на земле. О Суламифь, тот день, когда ты сделаешься моей женой и царицей, будет самым счастливым для моего сердца.

Она же подошла к резной масличной двери и, прижавшись к ней щекою, сказала:

— Я хочу быть только твоею рабою, Соломон. Вот я приложила ухо мое к дверному косяку. И прошу тебя: по закону Моисееву, пригвозди мне ухо в свидетельство моего добровольного рабства пред тобою.

Тогда Соломон приказал принести из своей сокровищницы драгоценные подвески из глубоко-красных карбункулов, обделанных в виде удлиненных груш. Он сам продел их в уши Суламифи и сказал:

— Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей.

И, взяв Суламифь за руку, повел ее царь в залу пиршества, где уже дожидались его друзья и приближенные.

VIII

Семь дней прошло с того утра, когда вступила Суламифь в царский дворец. Семь дней она и царь наслаждались любовью и не могли насытиться ею.

Соломон любил украшать свою возлюбленную драгоценностями. «Как стройны твои маленькие ноги в сандалиях!» — восклицал он с восторгом, и, становясь перед нею на колени, целовал поочередно пальцы на ее ногах, и нанизывал на них кольца с такими прекрасными и редкими камнями, каких не было даже на эфоде первосвященника. Суламифь заслушивалась его, когда он расска-

зывал ей о внутренней природе камней, о их волшебных свойствах и таинственных значениях.

— Вот анфракс, священный камень земли Офир,— говорил царь.— Он горяч и влажен. Погляди, он красен, как кровь, как вечерняя заря, как распустившийся цвет граната, как густое вино из виноградников энгедских, как твои губы, моя Суламифь, как твои губы утром, после ночи любви. Это камень любви, гнева и крови. На руке человека, томящегося в лихорадке или опьяненного желанием, он становится теплее и горит красным пламенем. Надень его на руку, моя возлюбленная, и ты увидишь, как он загорится. Если его растолочь в порошок и принимать с водой, он дает румянец лицу, успокаивает желудок и веселит душу. Носящий его приобретает власть над людьми. Он врачует сердце, мозг и память. Но при детях не следует его носить, потому что он будит вокруг себя любовные страсти.

Вот прозрачный камень цвета медной яри. В стране эфиопов, где он добывается, его называют Мгнадис-Фза. Мне подарил его отец моей жены, царицы Астис, египетский фараон Суссаким, которому этот камень достался от пленного царя. Ты видишь — он некрасив, но цена его неисчислима, потому что только четыре человека на земле владеют камнем Мгнадис-Фза. Он обладает необыкновенным качеством притягивать к себе серебро, точно жадный и сребролюбивый человек. Я тебе его дарю, моя возлюбленная, потому что ты бескорыстна.

Посмотри, Суламифь, на эти сапфиры. Одни из них похожи цветом на васильки в пшенице, другие на осеннее небо, иные на море в ясную погоду. Это камень девственности — холодный и чистый. Во время далеких и тяжелых путешествий его кладут в рот для утоления жажды. Он также излечивает проказу и всякие злые наросты. Он дает ясность мыслям. Жрецы Юпитера в Риме носят его на указательном пальце.

Царь всех камней — камень Шамир. Греки называют его Адамас, что значит — неодолимый. Он крепче всех веществ на свете и остается невредимым в самом сильном огне. Это свет солнца, сгустившийся в земле и охлажденный временем. Полюбуйся, Суламифь, он играет всеми цветами, но сам остается прозрачным, точно капля воды. Он сияет в темноте ночи, но даже днем теряет свой свет на руке убийцы. Шамир привязывают к руке женщины, которая мучится тяжелыми родами, и его также надевают воины на левую руку, отправляясь в бой. Тот, кто носит

Шамир,— угоден царям и не боится злых духов. Шамир сгоняет пестрый цвет с лица, очищает дыхание, дает спокойный сон лунатикам и отпотевает от близкого соседства с ядом. Камни Шамир бывают мужские и женские; зарытые глубоко в землю, они способны размножаться.

Лунный камень, бледный и кроткий, как сияние луны,— это камень магов халдейских и вавилонских. Перед прорицаниями они кладут его под язык, и он сообщает им дар видеть будущее. Он имеет странную связь с луною, потому что в новолуние холодеет и сияет ярче. Он благоприятен для женщины в тот год, когда она из ребенка становится девушкой.

Это кольцо с смарагдом ты носи постоянно, возлюбленная, потому что смарагд — любимый камень Соломона, царя израильского. Он зелен, чист, весел и нежен, как трава весенняя, и когда смотришь на него долго, то светлеет сердце; если поглядеть на него с утра, то весь день будет для тебя легким. У тебя над ночным ложем я повешу смарагд, прекрасная моя: пусть он отгоняет от тебя дурные сны, утешает биение сердца и отводит черные мысли. Кто носит смарагд, к тому не приближаются змеи и скорпионы; если же держать смарагд перед глазами змеи, то польется из них вода и будет литься до тех пор, пока она не ослепнет. Толченый смарагд дают отравленному ядом человеку вместе с горячим верблюжьим молоком, чтобы вышел яд испариной; смешанный с розовым маслом, смарагд врачует укусы ядовитых гадов, а растертый с шафраном и приложенный к больным глазам, исцеляет куриную слепоту. Помогает он еще от кровавого поноса и при черном кашле, который не излечим никакими средствами человеческими.

Дарил также царь своей возлюбленной ливийские аметисты, похожие цветом на ранние фиалки, распускающиеся в лесах у подножия Ливийских гор,— аметисты, обладавшие чудесной способностью обуздывать ветер, смягчать злобу, предохранять от опьянения и помогать при ловле диких зверей; персепольскую бирюзу, которая приносит счастье в любви, прекращает ссору супругов, отводит царский гнев, и благоприятствует при укрощении и продаже лошадей; и кошачий глаз — оберегающий имущество, разум и здоровье своего владельца; и бледный, сине-зеленый, как морская вода у берега, вериллий — средство от бельма и проказы, добрый спутник странников; и разноцветный агат — носящий его не боится козней врагов и избегает опасности быть раздавленным во время земле-

трясения; и нефрит, почечный камень, отстраняющий удары молнии; и яблочно-зеленый, мутно-прозрачный онихий — сторож хозяина от огня и сумасшествия; и яспис, заставляющий дрожать зверей; и черный ласточкин камень, дающий красноречие; и уважаемый беременными женщинами орлиный камень, который орлы кладут в свои гнезда, когда приходит пора вылупляться их птенцам; и заберзат из Офира, сияющий, как маленькие солнца; и желто-золотистый хрисолит — друг торговцев и воров; и сардоникс, любимый царями и царицами; и малиновый лигирий: его находят, как известно, в желудке рыси, зрение которой так остро, что она видит сквозь стены,—поэтому и носящие лигирий отличаются зоркостью глаз,—кроме того, он останавливает кровотечение из носу и заживляет всякие раны, исключая ран, нанесенных камнем и железом.

Надевал царь на шею Суламифи многоценные ожерелья из жемчуга, который ловили его подданные в Персидском море, и жемчуг от теплоты ее тела приобретал живой блеск и нежный цвет. И кораллы становились краснее на ее смуглой груди, и оживала бирюза на ее пальцах, и издавали в ее руках трескучие искры те желтые янтарные безделушки, которые привозили в дар царю Соломону с берегов далеких северных морей отважные корабельщики царя Хирама Тирского.

Златоцветом и лилиями покрывала Суламифь свое ложе, приготовляя его к ночи, и, покоясь на ее груди, говорил царь в веселии сердца:

— Ты похожа на царскую ладью в стране Офир, о моя возлюбленная, на золотую легкую ладью, которая плывет, качаясь, по священной реке, среди белых ароматных цветов.

Так посетила царя Соломона — величайшего из царей и мудрейшего из мудрецов — его первая и последняя любовь.

Много веков прошло с той поры. Были царства и цари, и от них не осталось следа, как от ветра, пробежавшего над пустыней. Были длинные беспощадные войны, после которых имена полководцев сияли в веках, точно кровавые звезды, но время стерло даже самую память о них.

Любовь же бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит,— царица, потому что любовь прекрасна!

IX

Семь дней прошло с той поры, когда Соломон — поэт, мудрец и царь — привел в свой дворец бедную девушку, встреченную им в винограднике на рассвете. Семь дней наслаждался царь ее любовью и не мог насытиться ею. И великая радость освещала его лицо, точно золотое солнечное сияние.

Стояли светлые, теплые, лунные ночи — сладкие ночи любви! На ложе из тигровых шкур лежала обнаженная Суламифь, и царь, сидя на полу у ее ног, наполнял свой изумрудный кубок золотистым вином из Мареотиса, и пил за здоровье своей возлюбленной, веселясь всем сердцем, и рассказывал он ей мудрые древние странные сказания. И рука Суламифи покоилась на его голове, гладила его волнистые черные волосы.

— Скажи мне, мой царь,— спросила однажды Суламифь,— не удивительно ли, что я полюбила тебя так внезапно? Я теперь припоминаю все, и мне кажется, что я стала принадлежать тебе с самого первого мгновения, когда не успела еще увидеть тебя, а только услышала твой голос. Сердце мое затрепетало и раскрылось навстречу к тебе, как раскрывается цветок во время летней ночи от южного ветра. Чем ты так пленил меня, мой возлюбленный?

И царь, тихо склоняясь головой к нежным коленям Суламифи, ласково улыбнулся и ответил:

— Тысячи женщин до тебя, о моя прекрасная, задавали своим милым этот вопрос, и сотни веков после тебя они будут спрашивать об этом своих милых. Три вещи есть в мире, непонятные для меня, и четвертую я не постигаю: путь орла в небе, змеи на скале, корабля среди моря и путь мужчины к сердцу женщины. Это не моя мудрость, Суламифь, это слова Агура, сына Иакеева, слышанные от него учениками. Но почтим и чужую мудрость.

— Да,— сказала Суламифь задумчиво,— может быть, и правда, что человек никогда не поймет этого. Сегодня во время пира на моей груди было благоухающее вязание стакти. Но ты вышел из-за стола, и цветы мои перестали пахнуть. Мне кажется, что тебя должны любить, о царь, и женщины, и мужчины, и звери, и даже цветы. Я часто думаю и не могу понять: как можно любить кого-нибудь другого, кроме тебя?

— И кроме тебя, кроме тебя, Суламифь! Каждый час я благодарю бога, что он послал тебя на моем пути.

— Я помню, я сидела на камне стенки, и ты положил свою руку сверх моей. Огонь побежал по моим жилам, голова у меня закружилась. Я сказала себе: «Вот кто господин мой, вот кто царь мой, возлюбленный мой!»

— Я помню, Суламифь, как обернулась ты на мой зов. Под тонким платьем я увидел твое тело, твое прекрасное тело, которое я люблю как бога. Я люблю его, покрытое золотым пухом, точно солнце оставило на нем свой поцелуй. Ты стройна, точно кобылица в колеснице фараоновой, ты прекрасна, как колесница Аминодавова. Глаза твои как два голубя, сидящих у истока вод.

— О милый, слова твои волнуют меня. Твоя рука сладко жжет меня. О мой царь, ноги твои как мраморные столбы. Живот твой точно ворох пшеницы, окруженный лилиями.

Окруженные, осиянные молчаливым светом луны, они забывали о времени, о месте, и вот проходили часы, и они с удивлением замечали, как в решетчатые окна покоя заглядывала розовая заря.

Также сказала однажды Суламифь:

— Ты знал, мой возлюбленный, жен и девиц без числа, и все они были самые красивые женщины на земле. Мне стыдно становится, когда я подумаю о себе, простой, неученой девушке, и о моем бедном теле, опаленном солнцем.

Но, касаясь губами ее губ, говорил царь с бесконечной любовью и благодарностью:

— Ты царица, Суламифь. Ты родилась настоящей царицей. Ты смела и щедра в любви. Семьсот жен у меня и триста наложниц, а девиц я знал без числа, но ты единственная моя, кроткая моя, прекраснейшая из женщин. Я нашел тебя, подобно тому как водолаз в Персидском заливе наполняет множество корзин пустыми раковинами и малоценными жемчужинами, прежде чем достанет с морского дна перл, достойный царской короны. Дитя мое, тысячи раз может любить человек, но только один раз он любит. Тьмы тем людей думают, что они любят, но только двум из них посылает бог любовь. И когда ты отдалась мне там, между кипарисами, под кровлей из кедров, на ложе из зелени, я от души благодарил бога, столь милостивого ко мне.

Еще однажды спросила Суламифь:

— Я знаю, что все они любили тебя, потому что тебя нельзя не любить. Царица Савская приходила к тебе

из своей страны. Говорят, она была мудрее и прекраснее всех женщин, когда-либо бывших на земле. Точно во сне я вспоминаю ее караваны. Не знаю почему, но с самого раннего детства влекло меня к колесницам знатных. Мне тогда было, может быть, семь, может быть, восемь лет, я помню верблюдов в золотой сбруе, покрытых пурпурными попонами, отягощенных тяжелыми ношами, помню мулов с золотыми бубенчиками между ушами, помню смешных обезьян в серебряных клетках и чудесных павлинов. Множество слуг шло в белых и голубых одеждах; они вели ручных тигров и барсов на красных лентах. Мне было только восемь лет.

— О дитя, тебе тогда было только восемь лет,— сказал Соломон с грустью.

— Ты любил ее больше, чем меня, Соломон? Расскажи мне что-нибудь о ней.

И царь рассказал ей все об этой удивительной женщине. Наслышавшись много о мудрости и красоте израильского царя, она прибыла к нему из своей страны с богатыми дарами, желая испытать его мудрость и покорить его сердце. Это была пышная сорокалетняя женщина, которая уже начинала увядать. Но тайными, волшебными средствами она достигала того, что ее рыхлеющее тело казалось стройным и гибким, как у девушки, и лицо ее носило печать страшной, нечеловеческой красоты. Но мудрость ее была обыкновенной человеческой мудростью, и притом еще мелочной мудростью женщины.

Желая испытать царя загадками, она сначала послала к нему пятьдесят юношей в самом нежном возрасте и пятьдесят девушек. Все они так хитроумно были одеты, что самый зоркий глаз не распознал бы их пола. «Я назову тебя мудрым, царь,— сказала Балкис,— если ты скажешь мне, кто из них женщина и кто мужчина».

Но царь рассмеялся и приказал каждому и каждой из посланных подать поодиночке серебряный таз и серебряный кувшин для умывания. И в то время когда мальчики смело брызгались в воде руками и бросали себе ее горстями в лицо, крепко вытирая кожу, девочки поступали так, как всегда делают женщины при умывании. Они нежно и заботливо натирали водою каждую из своих рук, близко поднося ее к глазам.

Так просто разрешил царь первую загадку Балкис-Македы.

Затем прислала она Соломону большой алмаз величиною с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким сложным ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продеть сквозь этот алмаз шелковинку. И мудрый царь впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, оставил за собою следом тончайшую шелковую паутинку.

Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса великолепной художественной работы. «Этот кубок будет твоим,— повелела она сказать царю,— если ты его наполнишь влагою, взятою ни с земли, ни с неба». Соломон же, наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомленного коня, приказал отнести его царице.

Много подобных загадок предлагала царица Соломону, но не могла унизить его мудрость, и всеми тайными чарами ночного сладострастия не сумела она сохранить его любви. И когда наскучила она наконец царю, он жестоко, обидно насмеялся над нею.

Всем было известно, что царица Савская никому не показывала своих ног и потому носила длинное, до земли, платье. Даже в часы любовных ласк держала она ноги плотно закрытыми одеждой. Много странных и смешных легенд сложилось по этому поводу.

Одни уверяли, что у царицы козлиные ноги, обросшие шерстью; другие клялись, что у нее вместо ступней перепончатые гусиные лапы. И даже рассказывали о том, что мать царицы Балкис однажды, после купанья, села на песок, где только что оставил свое семя некий бог, временно превратившийся в гуся, и что от этой случайности понесла она прекрасную царицу Савскую.

И вот повелел однажды Соломон устроить в одном из своих покоев прозрачный хрустальный пол с пустым пространством под ним, куда налили воды и пустили живых рыб. Все это было сделано с таким необычайным искусством, что непредупрежденный человек ни за что не заметил бы стекла и стал бы давать клятву, что перед ним находится бассейн с чистой свежей водой.

И когда все было готово, то пригласил Соломон свою царственную гостью на свидание. Окруженная пышной свитой, она идет по комнатам Ливанского дома и доходит до коварного бассейна. На другом конце его сидит царь, сияющий золотом и драгоценными камнями и при-

ветливым взглядом черных глаз. Дверь отворяется перед царицей, и она делает шаг вперед, но вскрикивает и...

Суламифь смеется радостным детским смехом и хлопает в ладоши.

— Она нагибается и приподымает платье? — спрашивает Суламифь.

— Да, моя возлюбленная, она поступила так, как поступила бы каждая из женщин. Она подняла кверху край своей одежды, и хотя это продолжалось только одно мгновение, но и я, и весь мой двор увидели, что у прекрасной Савской царицы Балкис-Македы обыкновенные человеческие ноги, но кривые и обросшие густыми волосами. На другой же день она собралась в путь, не простилась со мною и уехала с своим великолепным караваном. Я не хотел ее обидеть. Вслед ей я послал надежного гонца, которому приказал передать царице пучок редкой горной травы — лучшее средство для уничтожения волос на теле. Но она вернула мне назад голову моего посланного в мешке из дорогой багряницы.

Рассказывал также Соломон своей возлюбленной многое из своей жизни, чего не знал никто из других людей и что Суламифь унесла с собою в могилу. Он говорил ей о долгих и тяжелых годах скитаний, когда, спасаясь от гнева своих братьев, от зависти Авессалома и от ревности Адонии, он принужден был под чужим именем скрываться в чужих землях, терпя страшную бедность и лишения. Он рассказал ей о том, как в отдаленной неизвестной стране, когда он стоял на рынке в ожидании, что его наймут куда-нибудь работать, к нему подошел царский повар и сказал:

— Чужестранец, помоги мне донести эту корзину с рыбами во дворец.

Своим умом, ловкостью и умелым обхождением Соломон так понравился придворным, что в скором времени устроился во дворце, а когда старший повар умер, то он заступил его место. Дальше говорил Соломон о том, как единственная дочь царя, прекрасная пылкая девушка, влюбилась тайно в нового повара, как она открылась ему невольно в любви, как они однажды бежали вместе из дворца ночью, были настигнуты и приведены обратно, как осужден был Соломон на смерть и как чудом удалось ему бежать из темницы.

Жадно внимала ему Суламифь, и когда он замолкал, тогда среди тишины ночи смыкались их губы, сплетались руки, прикасались груди. И когда наступало утро, и тело

Суламифи казалось пенно-розовым, и любовная усталость окружала голубыми тенями ее прекрасные глаза, она говорила с нежной улыбкою:

— Освежите меня яблоками, подкрепите меня вином, ибо я изнемогаю от любви.

X

В храме Изиды на горе Ватн-эль-Хав только что отошла первая часть великого тайнодействия, на которую допускались верующие малого посвящения. Очередной жрец — древний старец в белой одежде, с бритой головой, безусый и безбородый, повернулся с возвышения алтаря и произнес тихим, усталым голосом:

— Пребывайте в мире, сыновья мои и дочери. Усовершенствуйтесь в подвигах. Прославляйте имя богини. Благословение ее над вами да пребудет во веки веков.

Он вознес свои руки над народом, благословляя его. И тотчас же все, посвященные в малый чин таинств, простерлись на полу и затем, встав, тихо, в молчании направились к выходу.

Сегодня был седьмой день египетского месяца Фаменота, посвященный мистериям Озириса и Изиды. С вечера торжественная процессия трижды обходила вокруг храма со светильниками, пальмовыми листами и амфорами, с таинственными символами богов и со священными изображениями Фаллуса. В середине шествия на плечах у жрецов и вторых пророков возвышался закрытый «наос» из драгоценного дерева, украшенного жемчугом, слоновой костью и золотом. Там пребывала сама богиня, Она, Невидимая, Подающая плодородие, Таинственная, Мать, Сестра и Жена богов.

Злобный Сет заманил своего брата, божественного Озириса, на пиршество, хитростью заставил его лечь в роскошный гроб и, захлопнув над ним крышку, бросил гроб вместе с телом великого бога в Нил. Изида, только что родившая Гора, в тоске и слезах разыскивает по всей земле тело своего мужа и долго не находит его. Наконец рыбы рассказывают ей, что гроб волнами отнесло в море и прибило к Библосу, где вокруг него выросло громадное дерево и скрыло в своем стволе тело бога и его плавучий дом. Царь той страны приказал сделать себе из громадного дерева мощную колонну, не зная, что в ней покоится сам бог Озирис, великий податель жизни. Изида

идет в Библос, приходит туда утомленная зноем, жаждой и тяжелой каменистой дорогой. Она освобождает гроб из середины дерева, несет его с собой и прячет в землю у городской стены. Но Сет опять тайно похищает тело Озириса, разрезает его на четырнадцать частей и рассеивает их по всем городам и селениям Верхнего и Нижнего Египта.

И опять в великой скорби и рыданиях отправилась Изида в поиски за священными членами своего мужа и брата. К плачу ее присоединяет свои жалобы сестра ее, богиня Нефтис, и могущественный Тоот, и сын богини, светлый Гор, Горизит.

Таков был тайный смысл нынешней процессии в первой половине священнослужения. Теперь, по уходе простых верующих и после небольшого отдыха, надлежало совершиться второй части великого тайнодействия. В храме остались только посвященные в высшие степени — мистагоги, эпопты, пророки и жрецы.

Мальчики в белых одеждах разносили на серебряных подносах мясо, хлеб, сухие плоды и сладкое пелузское вино. Другие разливали из узкогорлых тирских сосудов сикеру, которую в те времена давали перед казнью преступникам для возбуждения в них мужества, но которая также обладала великим свойством порождать и поддерживать в людях огонь священного безумия.

По знаку очередного жреца мальчики удалились. Жрец-привратник запер все двери. Затем он внимательно обошел всех оставшихся, всматриваясь им в лица и опрашивая их таинственными словами, составлявшими пропуск нынешней ночи. Два другие жреца провезли вдоль храма и вокруг каждой из его колонн серебряную кадильницу на колесах. Синим, густым, пьянящим, ароматным фимиамом наполнился храм, и сквозь слои дыма едва стали видны разноцветные огни лампад, сделанных из прозрачных камней,— лампад, оправленных в резное золото и подвешенных к потолку на длинных серебряных цепях. В давнее время этот храм Озириса и Изиды отличался небольшими размерами и беднотою и был выдолблен наподобие пещеры в глубине горы. Узкий подземный коридор вел к нему снаружи. Но во дни царствования Соломона, взявшего под свое покровительство все религии, кроме тех, которые допускали жертвоприношения детей, и благодаря усердию царицы Астис, родом египтянки, храм разросся в глубину и в высоту и украсился богатыми приношениями.

Прежний алтарь так и остался неприкосновенным в своей первоначальной суровой простоте, вместе со множеством маленьких покоев, окружавших его и служивших для сохранения сокровищ, жертвенных предметов и священных принадлежностей, а также для особых тайных целей во время самых сокровенных мистических оргий.

Зато поистине был великолепен наружный двор с пилонами в честь богини Гатор и с четырехсторонней колоннадой из двадцати четырех колонн. Еще пышнее была устроена внутренняя подземная гипостильная зала для молящихся. Ее мозаичный пол весь был украшен искусными изображениями рыб, зверей, земноводных и пресмыкающихся. Потолок же был покрыт голубой глазурью, и на нем сияло золотое солнце, светилась серебряная луна, мерцали бесчисленные звезды, и парили на распростертых крыльях птицы. Пол был землею, потолок — небом, а их соединяли, точно могучие древесные стволы, круглые и многогранные колонны. И так как все колонны завершались капителями в виде нежных цветов лотоса или тонких свертков папируса, то лежавший на них потолок действительно казался легким и воздушным, как небо.

Стены до высоты человеческого роста были обложены красными гранитными плитами, вывезенными, по желанию царицы Астис, из Фив, где местные мастера умели придавать граниту зеркальную гладкость и изумительный блеск. Выше, до самого потолка, стены так же, как и колонны, пестрели резными и раскрашенными изображениями с символами богов обоих Египтов. Здесь был Себех, чтимый в Фаюмэ под видом крокодила, и Toот, бог луны, изображаемый как ибис, в городе Хмуну, и солнечный бог Гор, которому в Эдфу был посвящен копчик, и Баст из Бубаса, под видом кошки, Шу, бог воздуха — лев, Пта — апис, Гатор — богиня веселья — корова, Анубис, бог бальзамирования, с головою шакала, и Монту из Гермона, и коптский Мину, и богиня неба Нейт из Саиса, и, наконец, в виде овна, страшный бог, имя которого не произносилось и которого называли Хентиементу, что значит «Живущий на Западе».

Полутемный алтарь возвышался над всем храмом, и в глубине его тускло блестели золотом стены святилища, скрывавшего изображения Изиды. Трое ворот — большие, средние и двое боковых маленьких — вели в святилище. Перед средним стоял жертвенник со священным каменным ножом из эфиопского обсидиана. Ступени вели к ал-

тарю, и на них расположились младшие жрецы и жрицы с тимпанами, систрами, флейтами и бубнами.

Царица Астис возлежала в маленьком потайном покое. Небольшое квадратное отверстие, искусно скрытое тяжелым занавесом, выходило прямо к алтарю и позволяло, не выдавая своего присутствия, следить за всеми подробностями священнодействия. Легкое узкое платье из льняного газа, затканное серебром, вплотную облегало тело царицы, оставляя обнаженными руки до плеч и ноги до половины икр. Сквозь прозрачную материю розово светилась ее кожа и видны были все чистые линии и возвышения ее стройного тела, которое до сих пор, несмотря на тридцатилетний возраст царицы, не утеряло своей гибкости, красоты и свежести. Волосы ее, выкрашенные в синий цвет, были распущены по плечам и по спине, и концы их убраны бесчисленными ароматическими шариками. Лицо было сильно нарумянено и набелено, а тонко обведенные тушью глаза казались громадными и горели в темноте, как у сильного зверя кошачьей породы. Золотой священный уреус спускался у нее от шеи вниз, разделяя полуобнаженные груди.

С тех пор как Соломон охладел к царице Астис, утомленный ее необузданной чувственностью, она со всем пылом южного сладострастия и со всей яростью оскорбленной женской ревности предалась тем тайным оргиям извращенной похоти, которые входили в высший культ скопческого служения Изиде. Она всегда показывалась окруженная жрецами-кастратами, и даже теперь, когда один из них мерно обвевал ее голову опахалом из павлиньих перьев, другие сидели на полу, впиваясь в царицу безумно-блаженными глазами. Ноздри их расширялись и трепетали от веявшего на них аромата ее тела, и дрожащими пальцами они старались незаметно прикоснуться к краю ее чуть колебавшейся легкой одежды. Их чрезмерная, никогда не удовлетворяющаяся страстность изощряла их воображение до крайних пределов. Их изобретательность в наслаждениях Кибеллы и Ашеры переступала все человеческие возможности. И, ревнуя царицу друг к другу, ко всем женщинам, мужчинам и детям, ревнуя даже к ней самой, они поклонялись ей больше, чем Изиде, и, любя, ненавидели ее, как бесконечный огненный источник сладостных и жестоких страданий.

Темные, злые, страшные и пленительные слухи ходили о царице Астис в Иерусалиме. Родители красивых мальчиков и девушек прятали детей от ее взгляда; ее имя боялись

произносить на супружеском ложе, как знак осквернения и напасти. Но волнующее, опьяняющее любопытство влекло к ней души и отдавало во власть ей тела. Те, кто испытал хоть однажды ее свирепые кровавые ласки, те уже не могли ее забыть никогда и делались навеки ее жалкими, отвергнутыми рабами. Готовые ради нового обладания ею на всякий грех, на всякое унижение и преступление, они становились похожими на тех несчастных, которые, попробовав однажды горькое маковое питье из страны Офир, дающее сладкие грезы, уже никогда не отстанут от него и только ему одному поклоняются и одно его чтут, пока истощение и безумие не прервут их жизни.

Медленно колыхалось в жарком воздухе опахало. В безмолвном восторге созерцали жрецы свою ужасную повелительницу. Но она точно забыла об их присутствии. Слегка отодвинув занавеску, она неотступно глядела напротив, по ту сторону алтаря, где когда-то из-за темных изломов старинных златокованых занавесок показывалось прекрасное, светлое лицо израильского царя. Его одного любила всем своим пламенным и порочным сердцем отвергнутая царица, жестокая и сладострастная Астис. Его мимолетного взгляда, ласкового слова, прикосновения его руки искала она повсюду и не находила. На торжественных выходах, на дворцовых обедах и в дни суда оказывал Соломон ей почтительность, как царице и дочери царя, но душа его была мертва для нее. И часто гордая царица приказывала в урочные часы проносить себя мимо дома Ливанского, чтобы хоть издали, незаметно, сквозь тяжелые ткани носилок, увидеть среди придворной толпы гордое, незабвенно прекрасное лицо Соломона. И давно уже ее пламенная любовь к царю так тесно срослась с жгучей ненавистью, что сама Астис не умела отличить их.

Прежде и Соломон посещал храм Изиды в дни великих празднеств и приносил жертвы богине и даже принял титул ее верховного жреца, второго после египетского фараона. Но страшные таинства «Кровавой жертвы Оплодотворения» отвратили его ум и сердце от служения Матери богов.

— Оскопленный по неведению, или насилием, или случайно, или по болезни — не унижен перед богом,— сказал царь. Но горе тому, кто сам изуродует себя.

И вот уже целый год ложе его в храме оставалось пустым. И напрасно пламенные глаза царицы жадно глядели теперь на неподвижные занавески.

Между тем вино, сикера и одуряющие курения уже оказывали заметное действие на собравшихся в храме. Чаще слышались крик, и смех, и звон падающих на каменный пол серебряных сосудов. Приближалась великая, таинственная минута кровавой жертвы. Экстаз овладевал верующими.

Рассеянным взором оглядела царица храм и верующих. Много здесь было почтенных и знаменитых людей из свиты Соломоновой и из его военачальников: Бен-Гевер, властитель области Арговии, и Ахимаас, женатый на дочери царя Васемафи, и остроумный Бен-Декер, и Зовуф, носивший, по восточным обычаям, высокий титул «друга царя», и брат Соломона от первого брака Давидова — Далуиа, расслабленный, полумертвый человек, преждевременно впавший в идиотизм от излишеств и пьянства. Все они были — иные по вере, иные по корыстным расчетам, иные из подражания, а иные из сластолюбивых целей — поклонниками Изиды.

И вот глаза царицы остановились долго и внимательно, с напряженной мыслью, на красивом юношеском лице Элиава, одного из начальников царских телохранителей.

Царица знала, отчего горит такой яркой краской его смуглое лицо, отчего с такою страстной тоской устремлены его горячие глаза сюда, на занавески, которые едва движутся от прикосновения прекрасных белых рук царицы. Однажды, почти шутя, повинуясь минутному капризу, она заставила Элиава провести у нее целую длинную блаженную ночь. Утром она отпустила его, но с тех пор уже много дней подряд видела она повсюду — во дворце, в храме, на улицах — два влюбленных, покорных, тоскующих глаза, которые покорно провожали ее.

Темные брови царицы сдвинулись, и ее зеленые длинные глаза вдруг потемнели от страшной мысли. Едва заметным движением руки она приказала кастрату опустить вниз опахало и сказала тихо:

— Выйдите все. Хушай, ты пойдешь и позовешь ко мне Элиава, начальника царской стражи. Пусть он придет один.

XI

Десять жрецов в белых одеждах, испещренных красными пятнами, вышли на середину алтаря. Следом за ними шли еще двое жрецов, одетых в женские одежды. Они должны были изображать сегодня Нефтис и Изиду,

оплакивающих Озириса. Потом из глубины алтаря вышел некто в белом хитоне без единого украшения, и глаза всех женщин и мужчин с жадностью приковались к нему. Это был тот самый пустынник, который провел десять лет в тяжелом подвижническом искусе на горах Ливана и нынче должен был принести великую добровольную кровавую жертву Изиде. Лицо его, изнуренное голодом, обветренное и обожженное, было строго и бледно, глаза сурово опущены вниз, и сверхъестественным ужасом повеяло от него на толпу.

Наконец вышел и главный жрец храма, столетний старец с тиарой на голове, с тигровой шкурой на плечах, в парчовом переднике, украшенном хвостами шакалов.

Повернувшись к молящимся, он старческим голосом, кротким и дрожащим, произнес:

— Сутон-ди-готпу. (Царь приносит жертву.)

И затем, обернувшись к жертвеннику, он принял из рук помощника белого голубя с красными лапками, отрезал птице голову, вынул у нее из груди сердце и кровью ее окропил жертвенник и священный нож.

После небольшого молчания он возгласил:

— Оплачемте Озириса, бога Атуму, великого Ун-Нофер-Онуфрия, бога Она!

Два кастрата в женских одеждах — Изида и Нефтис — тотчас же начали плач гармоничными тонкими голосами:

«Возвратись в свое жилище, о прекрасный юноша. Видеть тебя — блаженство.

Изида заклинает тебя, Изида, которая была зачата с тобою в одном чреве, жена твоя и сестра.

Покажи нам снова лицо твое, светлый бог. Вот Нефтис, сестра твоя. Она обливается слезами и в горести рвет свои волосы.

В смертельной тоске разыскиваем мы прекрасное тело твое. Озирис, возвратись в дом свой!»

Двое других жрецов присоединили к первым свои голоса. Это Гор и Анубис оплакивали Озириса, и каждый раз, когда они оканчивали стих, хор, расположившийся на ступенях лестницы, повторял его торжественным и печальным мотивом.

Потом, с тем же пением, старшие жрецы вынесли из святилища статую богини, теперь уже не закрытую наосом. Но черная мантия, усыпанная золотыми звездами, окутывала богиню с ног до головы, оставляя видимыми только ее серебряные ноги, обвитые змеей, а над головою

серебряный диск, включенный в коровьи рога. И медленно, под звон кадильниц и систр, со скорбным плачем двинулась процессия богини Изиды со ступенек алтаря, вниз, в храм, вдоль его стен, между колоннами.

Так собирала богиня разбросанные члены своего супруга, чтобы оживить его при помощи Тоота и Анубиса:

«Слава городу Абидосу, сохранившему прекрасную голову твою, Озирис.

Слава тебе, город Мемфис, где нашли мы правую руку великого бога, руку войны и защиты.

И тебе, о город Саис, скрывший левую руку светлого бога, руку правосудия.

И ты будь благословен, город Фивы, где покоилось сердце Ун-Нофер-Онуфрия».

Так обошла богиня весь храм, возвращаясь назад к алтарю, и все страстнее и громче становилось пение хора. Священное воодушевление овладевало жрецами и молящимися. Все части тела Озириса нашла Изида, кроме одной, священного Фаллуса, оплодотворяющего материнское чрево, созидающего новую вечную жизнь. Теперь приближался самый великий акт в мистерии Озириса и Изиды...

— Это ты, Элиав? — спросила царица юношу, который тихо вошел в дверь.

В темноте ложи он беззвучно опустился к ее ногам и прижал к губам край ее платья. И царица почувствовала, что он плачет от восторга, стыда и желания. Опустив руку на его курчавую жесткую голову, царица произнесла:

— Расскажи мне, Элиав, все, что ты знаешь о царе и об этой девочке из виноградника.

— О, как ты его любишь, царица! — сказал Элиав с горьким стоном.

— Говори...— приказала Астис.

— Что я могу тебе сказать, царица? Сердце мое разрывается от ревности.

— Говори!

— Никого еще не любил царь, как ее. Он не расстается с ней ни на миг. Глаза его сияют счастьем. Он расточает вокруг себя милости и дары. Он, авимелех и мудрец, он, как раб, лежит около ее ног и, как собака, не спускает с нее глаз своих.

— Говори!

— О, как ты терзаешь меня, царица! И она... она — вся любовь, вся нежность и ласка! Она кротка и стыдлива,

она ничего не видит и не знает, кроме своей любви. Она не возбуждает ни в ком ни злобы, ни ревности, ни зависти...

— Говори! — яростно простонала царица, и, вцепившись своими гибкими пальцами в черные кудри Элиава, она притиснула его голову к своему телу, царапая его лицо серебряным шитьем своего прозрачного хитона.

А в это время в алтаре вокруг изображения богини, покрытой черным покрывалом, носились жрецы и жрицы в священном исступлении, с криками, похожими на лай, под звон тимпанов и дребезжание систр.

Некоторые из них стегали себя многохвостыми плетками из кожи носорога, другие наносили себе короткими ножами в грудь и в плечи длинные кровавые раны, третьи пальцами разрывали себе рты, надрывали себе уши и царапали лица ногтями. В середине этого бешеного хоровода у самых ног богини кружился на одном месте с непостижимой быстротой отшельник с гор Ливана в белоснежной развевающейся одежде. Один верховный жрец оставался неподвижным. В руке он держал священный жертвенный нож из эфиопского обсидиана, готовый передать его в последний страшный момент.

— Фаллус! Фаллус! Фаллус! — кричали в экстазе обезумевшие жрецы.— Где твой Фаллус, о светлый бог! Приди, оплодотвори богиню. Грудь ее томится от желания! Чрево ее как пустыня в жаркие летние месяцы!

И вот страшный, безумный, пронзительный крик на мгновение заглушил весь хор. Жрецы быстро расступились, и все бывшие в храме увидели ливанского отшельника, совершенно обнаженного, ужасного своим высоким, костлявым, желтым телом. Верховный жрец протянул ему нож. Стало невыносимо тихо в храме. И он, быстро нагнувшись, сделал какое-то движение, выпрямился и с воплем боли и восторга вдруг бросил к ногам богини бесформенный кровавый кусок мяса.

Он шатался. Верховный жрец осторожно поддержал его, обвив рукой за спину, подвел его к изображению Изиды и бережно накрыл его черным покрывалом и оставил так на несколько мгновений, чтобы он втайне, невидимо для других, мог запечатлеть на устах оплодотворенной богини свой поцелуй.

Тотчас же вслед за этим его положили на носилки и унесли из алтаря. Жрец-привратник вышел из храма. Он ударил деревянным молотком в громадный медный круг, возвещая всему миру о том, что свершилась великая тайна

оплодотворения богини. И высокий поющий звук меди понесся над Иерусалимом.

Царица Астис, еще продолжая содрогаться всем телом, откинула назад голову Элиава. Глаза ее горели напряженным красным огнем. И она сказала медленно, слово за словом:

— Элиав, хочешь, я сделаю тебя царем Иудеи и Израиля? Хочешь быть властителем над всей Сирией и Месопотамией, над Финикией и Вавилоном?

— Нет, царица, я хочу только тебя...

— Да, ты будешь моим властелином. Все мои ночи будут принадлежать тебе. Каждое мое слово, каждый мой взгляд, каждое дыхание будут твоими. Ты знаешь пропуск. Ты пойдешь сегодня во дворец и убьешь их. Ты убьешь их обоих! Ты убьешь их обоих!

Элиав хотел что-то сказать. Но царица притянула его к себе и прильнула к его рту своими жаркими губами и языком. Это продолжалось мучительно долго. Потом, внезапно оторвав юношу от себя, она сказала коротко и повелительно:

— Иди!

— Я иду,— ответил покорно Элиав.

XII

И была седьмая ночь великой любви Соломона.

Странно тихи и глубоко нежны были в эту ночь ласки царя и Суламифи. Точно какая-то задумчивая печаль, осторожная стыдливость, отдаленное предчувствие окутывали легкою тенью их слова, поцелуи и объятия.

Глядя в окно на небо, где ночь уже побеждала догорающий вечер, Суламифь остановила свои глаза на яркой голубоватой звезде, которая трепетала кротко и нежно.

— Как называется эта звезда, мой возлюбленный? — спросила она.

— Это звезда Сопдит,— ответил царь.— Это священная звезда. Ассирийские маги говорят нам, что души всех людей живут на ней после смерти тела.

— Ты веришь этому, царь?

Соломон не ответил. Правая рука его была под головою Суламифи, а левою он обнимал ее, и она чувствовала его ароматное дыхание на себе, на волосах, на виске.

— Может быть, мы увидимся там с тобою, царь, после того как умрем? — спросила тревожно Суламифь.

Царь опять промолчал.

— Ответь мне что-нибудь, возлюбленный,— робко попросила Суламифь.

Тогда царь сказал:

— Жизнь человеческая коротка, но время бесконечно, и вещество бессмертно. Человек умирает и утучняет гниением своего тела землю, земля вскармливает колос, колос приносит зерно, человек поглощает хлеб и питает им свое тело. Проходят тьмы и тьмы тем веков, все в мире повторяется,— повторяются люди, звери, камни, растения. Во многообразном круговороте времени и вещества повторяемся и мы с тобою, моя возлюбленная. Это так же верно, как и то, что если мы с тобою наполним большой мешок доверху морским гравием и бросим в него всего лишь один драгоценный сапфир, то, вытаскивая много раз из мешка, ты все-таки рано или поздно извлечешь и драгоценность. Мы с тобою встретимся, Суламифь, и мы не узнаем друг друга, но с тоской и с восторгом будут стремиться наши сердца навстречу, потому что мы уже встречались с тобою, моя кроткая, моя прекрасная Суламифь, но мы не помним этого.

— Нет, царь, нет! Я помню. Когда ты стоял под окном моего дома и звал меня: «Прекрасная моя, выйди, волосы мои полны ночной росою!» — я узнала тебя, я вспомнила тебя, и радость и страх овладели моим сердцем. Скажи мне, мой царь, скажи, Соломон: вот, если завтра я умру, будешь ли ты вспоминать свою смуглую девушку из виноградника, свою Суламифь?

И, прижимая ее к своей груди, царь прошептал, взволнованный:

— Не говори так никогда... Не говори так, о Суламифь! Ты избранная богом, ты настоящая, ты царица души моей... Смерть не коснется тебя...

Резкий медный звук вдруг пронесся над Иерусалимом. Он долго заунывно дрожал и колебался в воздухе, и когда замолк, то долго еще плыли его трепещущие отзвуки.

— Это в храме Изиды окончилось таинство,— сказал царь.

— Мне страшно, прекрасный мой! — прошептала Суламифь.— Темный ужас проник в мою душу... Я не хочу смерти... Я еще не успела насладиться твоими объятиями... Обойми меня... Прижми меня к себе крепче... Положи меня, как печать, на сердце твоем, как печать, на мышце твоей!..

— Не бойся смерти, Суламифь! Так же сильна, как и смерть, любовь... Отгони грустные мысли... Хочешь, я расскажу тебе о войнах Давида, о пирах и охотах фараона Суссакима? Хочешь ты услышать одну из тех сказок, которые складываются в стране Офир?.. Хочешь, я расскажу тебе о чудесах Вакрамадитья?

— Да, мой царь. Ты сам знаешь, что, когда я слушаю тебя, сердце мое растет от радости! Но я хочу тебя попросить о чем-то...

— О Суламифь,— все, что хочешь! Попроси у меня мою жизнь — я с восторгом отдам ее тебе. Я буду только жалеть, что слишком малой ценой заплатил за твою любовь.

Тогда Суламифь улыбнулась в темноте от счастья и, обвив царя руками, прошептала ему на ухо:

— Прошу тебя, когда наступит утро, пойдем вместе туда... на виноградник... Туда, где зелень, и кипарисы, и кедры, где около каменной стенки ты взял руками мою душу... Прошу тебя об этом, возлюбленный... Там снова окажу я тебе ласки мои...

В упоении поцеловал царь губы своей милой.

Но Суламифь вдруг встала на своем ложе и прислушалась.

— Что с тобою, дитя мое?.. Что испугало тебя? — спросил Соломон.

— Подожди, мой милый... сюда идут... Да... Я слышу шаги...

Она замолчала. И было так тихо, что они различали биение своих сердец.

Легкий шорох послышался за дверью, и вдруг она распахнулась быстро и беззвучно.

— Кто там? — воскликнул Соломон.

Но Суламифь уже спрыгнула с ложа, одним движением метнулась навстречу темной фигуре человека с блестящим мечом в руке. И тотчас же, пораженная насквозь коротким, быстрым ударом, она со слабым, точно удивленным криком упала на пол.

Соломон разбил рукой сердоликовый экран, закрывавший свет ночной лампады. Он увидал Элиава, который стоял у двери, слегка наклонившись над телом девушки, шатаясь, точно пьяный. Молодой воин под взглядом Соломона поднял голову и, встретившись глазами с гневными, страшными глазами царя, побледнел и застонал. Выражение отчаяния и ужаса исказило его черты. И вдруг, согнувшись, спрятав в плащ голову, он робко, точно испу-

ганный шакал, стал выползать из комнаты. Но царь остановил его, сказав только три слова:

— Кто принудил тебя?

Весь трепеща и щелкая зубами, с глазами, побелевшими от страха, молодой воин уронил глухо:

— Царица Астис...

— Выйди,— приказал Соломон.— Скажи очередной страже, чтобы она стерегла тебя.

Скоро по бесчисленным комнатам дворца забегали люди с огнями. Все покои осветились. Пришли врачи, собрались военачальники и друзья царя.

Старший врач сказал:

— Царь, теперь не поможет ни наука, ни бог. Когда извлечем меч, оставленный в ее груди, она тотчас же умрет.

Но в это время Суламифь очнулась и сказала со спокойной улыбкой:

— Я хочу пить.

И когда напилась, она с нежной, прекрасной улыбкой остановила свои глаза на царе и уже больше не отводила их; а он стоял на коленях перед ее ложем, весь обнаженный, как и она, не замечая, что его колени купаются в ее крови и что руки его обагрены алою кровью.

Так, глядя на своего возлюбленного и улыбаясь кротко, говорила с трудом прекрасная Суламифь:

— Благодарю тебя, мой царь, за все: за твою любовь, за твою красоту, за твою мудрость, к которой ты позволил мне прильнуть устами, как к сладкому источнику. Дай мне поцеловать твои руки, не отнимай их от моего рта до тех пор, пока последнее дыхание не отлетит от меня. Никогда не было и не будет женщины счастливее меня. Благодарю тебя, мой царь, мой возлюбленный, мой прекрасный. Вспоминай изредка о твоей рабе, о твоей обожженной солнцем Суламифи.

И царь ответил ей глубоким, медленным голосом:

— До тех пор, пока люди будут любить друг друга, пока красота души и тела будет самой лучшей и самой сладкой мечтой в мире, до тех пор, клянусь тебе, Суламифь, имя твое во многие века будет произноситься с умилением и благодарностью.

К утру Суламифи не стало.

Тогда царь встал, велел дать себе умыться и надел самый роскошный пурпуровый хитон, вышитый золотыми скарабеями, и возложил на свою голову венец из кроваво-

красных рубинов. После этого он подозвал к себе Ванею и сказал спокойно:

— Ванея, ты пойдешь и умертвишь Элиава.

Но старик закрыл лицо руками и упал ниц перед царем.

— Царь, Элиав — мой внук!

— Ты слышал меня, Ванея?

— Царь, прости меня, не угрожай мне своим гневом, прикажи это сделать кому-нибудь другому. Элиав, выйдя из дворца, побежал в храм и схватился за рога жертвенника. Я стар, смерть моя близка, я не смею взять на свою душу этого двойного преступления.

Но царь возразил:

— Однако, когда я поручил тебе умертвить моего брата Адонию, также схватившегося за священные рога жертвенника, разве ты ослушался меня, Ванея?

— Прости меня! Пощади меня, царь!

— Подними лицо твое,— приказал Соломон.

И когда Ванея поднял голову и увидел глаза царя, он быстро встал с пола и послушно направился к выходу.

Затем, обратившись к Ахиссару, начальнику и смотрителю дворца, он приказал:

— Царицу я не хочу предавать смерти, пусть она живет, как хочет, и умирает, где хочет. Но никогда она не увидит более моего лица. Сегодня, Ахиссар, ты снарядишь караван и проводишь царицу до гавани в Иаффе, а оттуда в Египет, к фараону Суссакиму. Теперь пусть все выйдут.

И, оставшись один лицом к лицу с телом Суламифи, он долго глядел на ее прекрасные черты. Лицо ее было бело, и никогда оно не было так красиво при ее жизни. Полуоткрытые губы, которые всего час тому назад целовал Соломон, улыбались загадочно и блаженно, и зубы, еще влажные, чуть-чуть поблескивали из-под них.

Долго глядел царь на свою мертвую возлюбленную, потом тихо прикоснулся пальцем к ее лбу, уже начавшему терять теплоту жизни, и медленными шагами вышел из покоя.

За дверями его дожидался первосвященник Азария, сын Садокии. Приблизившись к царю, он спросил:

— Что нам делать с телом этой женщины? Теперь суббота.

И вспомнил царь, как много лет тому назад скончался его отец, и лежал на песке, и уже начал быстро разлагаться. Собаки, привлеченные запахом падали, уже бродили вокруг него с горящими от голода и жадности глазами. И,

как и теперь, спросил его первосвященник, отец Азария, дряхлый старик:

— Вот лежит твой отец, собаки могут растерзать его труп... Что нам делать? Почтить ли память царя и осквернить субботу или соблюсти субботу, но оставить труп твоего отца на съедение собакам?

Тогда ответил Соломон:

— Оставить. Живая собака лучше мертвого льва.

И когда теперь, после слов первосвященника, вспомнил он это, то сердце его сжалось от печали и страха.

Ничего не ответив первосвященнику, он пошел дальше, в залу судилища.

Как и всегда по утрам, двое его писцов, Елихофер и Ахия, уже лежали на циновках, по обе стороны трона, держа наготове свертки папируса, тростник и чернила. При входе царя они встали и поклонились ему до земли. Царь же сел на свой трон из слоновой кости с золотыми украшениями, оперся локтем на спину золотого льва и, склонив голову на ладонь, приказал:

— Пишите!

«Положи меня, как печать, на сердце твоем, как перстень, на руке твоей, потому что крепка, как смерть, любовь и жестока, как ад, ревность: стрелы ее — стрелы огненные».

И, помолчав так долго, что писцы в тревоге затаили дыхание, он сказал:

— Оставьте меня одного.

И весь день, до первых вечерних теней, оставался царь один на один со своими мыслями, и никто не осмелился войти в громадную, пустую залу судилища.



НОЧНОЙ ПРИНЦ

РОМАНТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой говорится о странных мечтаниях Миши Трубникова, о купальщице, разбитой тарелке и желтой даме

На оных изображены персоны.
(Из аукционных публикаций)

«Государь мой. Всякий поступок должен иметь свои причины. Чем прикажешь извинить вчерашнее твое поведение? Сервиз, из коего ты разрознил рыбную смену, стоил мне 500 рублей ассигнациями, но ты знаешь, что не убыток возмутил меня. Наденька и я с тревогой ожидаем твоих объяснений, так как припадок твой охотнее считаем мгновенным затмением разума, чем дерзостью.

Остаюсь преданным слугой твоим

Князь *Григорий*».

Уже не слишком раннее утро тусклого, метельного петербургского дня и письмо на толстой серой бумаге, надписанное почерком тонким и строгим — Милостивому государю Михаилу Ивановичу Трубникову в красный дом противу Вознесенья, в собственные руки,— разбудили молодого человека в большой квадратной комнате, соединяющей в себе некоторое притязание на роскошь и заброшенность почти нежилого помещения.

Было ему на вид лет пятнадцать. Тонкие черты его не были лишены приятности, хотя их несколько портили коротко и неровно подстриженные волосы и бледность лица.

Смущенно скомкал он полученное письмо, сунув его под подушку, почти не читая. Тяжелая растерянность охватила его. Беспокойный блеск глаз говорил о каких-то тайных, мучительных тревогах. Еще не совсем отошли ночные видения, каждую ночь одни и те же в этой комнате, а письмо с досадной живостью напомнило ему все события вчерашнего дня и за ними длинную цепь других дней, тоскливых и тягостных. Все смешивалось и все томило: и скучный наставительный голос князя Григория, и розовое личико Наденьки, в которую он еще недавно считал себя влюбленным, и завешенная купальщица на стене в дядином кабинете, и разговоры с Пахотиным, тягостные и влекущие, и вечер в ресторации, и она, своей улыбкой переполнившая чашу всех мучительств и сомнений, обольстительное наваждение, лукавая прелестница, от которой остались после вчерашнего обеда одни черепки, но странными чарами живая теперь навсегда в беспокойных снах, в сумеречных видениях, колдунья в желтых шелках, с тайным намеком трех мушек, носящая пышное и роковое имя — она, маркиза Помпадур.

— А вы бы, сударь, вставали,— со сдержанным осуждением сказал наконец Кузьма, потому что Миша, натягивая одеяло на голову, делал отчаянную попытку отвратить несносную минуту вставанья, в чем старый слуга, справедливо, находил непорядок.

Как бы пойманный на месте преступления, Миша начал одеваться с покорной поспешностью, не решаясь даже поставить на вид Кузьме нечищеные сапоги и нерасправленный мундирчик. Почтительная наглость избалованного лакея угнетала его и приводила в раздражение, которое он, впрочем, всеми силами старался скрыть, равнодушно задавая вопросы о погоде и делах несложного дядиного хозяйства, над коим был он теперь поставлен временным господином.

Миша наскоро окончил незамысловатый свой туалет, даже не пригладив смешно торчащие кустики волос, обезображенных небрежной рукой лицейского цирульника Ефимыча. Кузьма подал ему на исцарапанном подносе убогий завтрак; помахав метелочкой по диванам и столу, исполнил обряд уборки комнат и наконец уплелся на людскую половину, что-то ворча себе под нос о непорядках.

Жареная картошка с селедкой и вчерашнее, пересушенное в мочалку мясо отбивали аппетит. Во рту было гадко; вялость после тяжелого сна не пропадала. По привычке Миша стал ходить по комнатам — их было пять,

и каждая странным убранством своим походила одна на другую. Казалось, хозяин их, сделав удачный набег на дворец Бахчисарайского султана, не знал, куда поместить награбленные богатства, и заполнил все комнаты свои оттоманками, мягкими коврами, парчовыми занавесями с полумесяцем и арфами, цветными фонарями, золочеными саблями и кинжалами, словом, всем, что дает обстановке название «восточной». Затейливыми ширмами с огненными птицами и золотыми драконами были тщательно заставлены все принадлежности домашнего обихода, обеденный стол, кровать, умывальник, чтобы ни один из презренных сих предметов не выдавал, что это мирное обиталище почтенного, правда, холостого чиновника 5-го класса, а не легкомысленный приют для каких-нибудь нескромных утех молодого повесы. Такова была фантазия Мишиного дяди, Дмитрия Михайловича Трубникова, в квартире которого проводил он одиноко свои рождественные каникулы, преследуемый странными, часто самому ему непонятными мыслями, мечтами и даже видениями.

Тихо раздвигая свешивающиеся над каждой дверью занавеси, переходил Миша из комнаты в комнату; останавливался у замерзших окон, за которыми густо валил снег и в пустынном переулке спешно пробегал редкий прохожий, представляя своей закутанной фигурой, какой стоит на улице мороз; и уже сладкая, знакомая томность ранних сумерек и пустых комнат овладела им.

У Вознесенья изредка звонили. Еще раз постояв у окна, Миша тихо, тихо, как бы прокрадываясь по мягким коврам, прошел ряд комнат, помедлил у последней двери, огляделся и вошел.

Это была большая комната с четырьмя диванами по стенам, называвшаяся почему-то кабинетом. С притворной небрежностью Миша побродил по комнате, потрогал замысловатые чубуки, стройным рядом выставленные в бронзовой подставке, погрел руки у жарко натопленной печи, и, только развалившись в шелковых подушках дивана, наконец поднял глаза.

На противоположной стене висела завешенная купальщица.

Уезжая, дядя прикрыл картину двумя концами окружающих ее занавесок, сказав со смешком: «Это для тебя еще рано». Только голова в голубом венке вполуоборот и кончик голого плеча были видны на зеленоватом небе.

Сначала Миша не поддавался власти этих ласковых глаз; равнодушно даже что-то посвистывал и твердо убеж-

дал себя, что все это чушь и дребедень, но незаметно для себя скоро он уже не отрывался от задорного и слегка как будто удивленного лица купальщицы. Все тело сделалось сухим, как в лихорадке, и только шелк подушек холодил приятно и нежно. Так пролежал он на низком диване до самой темноты. Почти сливались очертания мебели, и едва-едва смутно выступало розовое плечо и лицо задорное и вместе с тем печальное и напряженное.

Вдруг ему показалось, что портрет пошевелился.

Совсем слегка дрогнули углы губ, и Миша узнал вчерашнюю улыбку желтой дамы, взглянувшей на него в ту минуту, когда он в смущении тыкал ножом рыбную котлету.

Стыд окрасил его щеки. «Погоди же, проклятая колдунья»,— прошептал он с злобной горечью, вспомнив о вчерашнем позоре и разбитой тарелке.

Порывисто вскочил и трепетной рукой сорвал занавеску.

Плотная туника покрывала все тело ее, кроме кончика плеча, и еще явственней различил он рассмешливую улыбку. Быстро, едва задерживая шаги, чтобы не побежать, вышел Миша из кабинета. Нежный, как звон тысячи серебряных колокольчиков, смех преследовал его из темноты комнат. Кузьма храпел в передней. На ходу натягивая шинель, Миша бросился на улицу.

— Ба! Куда? А я вчерашний вечер...— Улыбающийся, весь в снегу стоял в подъезде Пахотин, хлопал рука об руку и, захлебываясь, уже что-то рассказывал, нимало не обращая внимания на растерянный вид приятеля.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой говорится о роковой встрече, Мишиной неловкости, о балете и многом другом

Кончился второй акт балета «Торжество Клектомиды, или Ленивый обольститель». Сделав прощальный пируэт, Истомина улетела в розовые кулисы. Кордебалетки улыбались каждая своему обожателю.

Пахотин неистовствовал. Сорвавшись со своего места в тринадцатом ряду, он подбежал к оркестру, бесцеремонно растолкав нескольких штатских старичков, и хлопал, перевесившись через барьер, пока пухленький амур из веселой толпы воспитанниц лукаво не погрозил ему золоченой стрелой. Тогда он возвратился на свое место

потный и торжествующий, мало стесняясь насмешливых улыбок гвардейских франтов и дам, наводящих на него из бельэтажа язвительные лорнеты.

— Цидулька моя возымела действие. Знатную протекцию себе я составил. Ты заметил ли, как она сложена? Только шестнадцатый год пошел, а князь Василий уверяет, будто...

Пахотин говорил громко и хвастливо. Миша слушал его, восхищаясь и завидуя. Он то краснел от стыда, что к их разговору прислушиваются любопытные соседи, то бледнел от волнения, когда слова его друга становились слишком нескромными и увлекательными.

— Полно, полно. Что ты,— смущенно бормотал он, вместе и боясь и желая продолжения соблазнительных речей.

— Да что. Я тебе такое покажу! Поедем сегодня с нами ужинать. У меня карета припасена, прямо отсюда и поедем,— уговаривал Пахотин приятеля и, нагибаясь, рассказывал шепотом последние подробности, так что старичок, сидевший спереди, не удержался, громко крякнул и потянул ухо в их сторону.

Миша вспомнил, что у него в кармане шесть рублей, которых должно хватить к тому же до конца праздников, и решительно отказался. Пахотин обиделся и ушел курить.

Пышная зала, с нарядной публикой, с золотом и светом, томила Мишу. Рассказы Пахотина, нимфы и амуры в полупрозрачных одеждах, открывающих розовое трико, обманно манящее воображение, модницы в ложах с открытыми для жадных взоров шеями и руками, самый воздух сладкий и теплый, исполненный соблазна,— все сливалось в одно томительное желание.

— Благодарствуйте,— с чопорной улыбкой сказала девица в сиреневом платье, когда Миша поднял оброненную афишку и весь пунцовый на несколько секунд заградил ей проход. Она с изумлением посмотрела ему прямо в глаза, не понимая его смущения.

— Благодарствуйте,— еще раз произнесла она и слегка отодвинула его локоть, мешавший пройти. Миша долго стоял как в столбняке, хотя он даже не разглядел, красива ли она или нет. Соседи посматривали на него пренебрежительно — он отдавил им ноги, оказывая неловкую услугу барышне.

— Что я тебе покажу. Пойдем-ка, пойдем-ка,— вновь тормошил его Пахотин, таща за руку из залы, хотя музы-

канты уже готовились начать прелюдию, а капельдинеры тушили свечи.

В узеньком коридоре прогуливались, толкались и волочились. У третьей ложи с левой стороны было как-то особенно тесно. Около колонок толпилось несколько уланов и штатских. Дамы, проходя, оглядывались презрительно. Миша еще через головы разглядел высокий с белыми перьями ток из серого меха.

Пахотин ловко протолкнул его вперед. На ступеньках к ложе стояла дама. На ней было платье темно-розового бархата; драгоценное колье ослепляло и мешало разглядеть камни подробнее; сережки — крупный жемчуг в золотых полумесяцах — свешивались почти до плеч. Черные слегка вьющиеся волосы и нежная смуглость лица говорили о южной родине дамы. Пудра, ярко накрашенные губы и глаза, тонко подведенные голубой краской, преднамеренной искусственностью своей придавали лицу невыразимую соблазнительность. Она была стройна и тонка, как мальчик. Казалось, она не обращала никакого внимания на глазеющую публику. Серые томные глаза ее были равнодушны и печальны. Как королева она спустилась со ступенек, подобрав тяжелый подол в золотых звездах; толпа расступилась перед ней с шепотом. Медленно прошла она по коридору и скрылась в дамской уборной.

— Кто она? — толковали в кучке мужчин.

Никто точно не знал.

— Испанка. Граф Н. вывез,— сказал кто-то неуверенно.

— Неправда, та была толстая.

— Похудела...

— С чего бы ей худеть?

Все смеялись возбужденно. На проходящих красавиц даже не смотрели. И правда, все женщины после нее казались грубыми, непривлекательными и одетыми бедно и без вкуса.

Когда Миша входил в полутемную залу, помраченный, взволнованный, на сцене уже танцевала Истомина, расплетая желтую вуаль, поднимаясь на носки, кружась, изнемогая и маня; ленивый Гульям лежал на одиноком ложе, а девять муз, ссорясь в сторонке, готовили победу своей любимице.

Во время действия Миша не раз украдкой посматривал на третью ложу с левой стороны.

Дама сидела совершенно одна, облокотясь в небрежной позе на барьер. Развернутый веер закрывал нижнюю поло-

вину лица, и только глаза, как бы исполняя докучливую работу, равнодушно наблюдали возню, происходившую на сцене.

В эту минуту Клектомида уже соблазнила ленивого Гульяма, и, поднявшись, он выражал в быстром танце пламень страсти, Клектомида — свою радость, а все участвующие (девять муз, амуры, нимфы, пейзане и пейзанки, турки и Аврора), кружась в grande valse finale [1],— общее удовлетворение. Наконец кавалер упал на одно колено и, подав руку балерине, помог ей взлететь ему на плечо; все застыли в живописных позах.

Занавесь медленно опустился, скрывая блаженство торжествующей Клектомиды и ее нерешительного возлюбленного.

В коридоре Миша потерял Пахотина. Он не помнил, в какой стороне оставил свою шинель, и машинально пошел налево. Лакей уже накинул даме синюю на соболях шубку и, прокладывая ей дорогу, толкнул Мишу весьма неучтиво. Тот гневно оглянулся и встретился с ней лицом к лицу. На одну секунду она приостановилась под его почти безумным взглядом. Ему показалось, что совсем слегка углами губ она улыбнулась. Это была та же проклятая улыбка. Миша отступил на шаг, отдавил чей-то подол и, оступившись, полетел через три ступеньки головой вниз. Когда он поднялся, дамы уже не было. Два лакея, взявшись за бока, хохотали, указывая на него пальцами. Сконфуженный, потирая ушибленное место, Миша поспешил спрятаться в толпе и найти свою шинель.

Гвардейцы в тяжелых бобрах громко сговаривались, куда отправиться. Дамы, выставляя из-под шуб ножки в золоченых туфлях, жеманно пищали. У подъезда гарцевали с факелами два гайдука. Дворники бегали и выкрикивали кареты.

— Иван с Галерной,— кричал кто-то пронзительно.

— Завтра, милая, завтра.

Кого-то подсаживали; кому-то целовали ручку; из быстро захлопнувшейся дверцы кареты вывалилась записка, и офицер ловко поймал ее на лету.

Миша пробирался сквозь веселую толпу, одинокий и сумрачный. На площади он едва перелез через сугробы, навалившиеся за вечер. Отбиваясь от наезжающих ванек, он вышел на Невский.

---

[1] общий заключительный вальс *(фр.)*.

— Пади, пади,— раздался свирепый крик, и Миша едва успел броситься из-под кареты в снег.

У тусклого фонаря он ясно разглядел в промелькнувшем окне две соединенные поцелуем тени.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой заключены скучные, но необходимые рассуждения на мосту

Миша шел, уткнувшись в воротник и засунув руки в карманы. Охваченный тяжелым волнением, он не замечал ни мороза, ни снега, задавшегося, казалось, целью засыпать весь город по самые крыши, ни улиц, которые он быстро проходил одну за другою, поворачивая за углы, возвращаясь назад, опять идя прямо, как бы предавшись какой-то посторонней силе, благой и премудрой.

Наконец он остановился на высоком мосту над канавкой.

Снег густой сеткой заплетал дома, и, казалось, кругом расстилалась глухая площадь, на которой бегали, кружились, сплетались существа, то угрожающие и злобные, то манящие и ласковые. Облокотясь на парапет, Миша прислушивался к причудливой их игре. Снег замел почти весь мост с высокими статуями и нежно ложился на плечи, голову и руки.

Так стоял он, вглядываясь в метель, пока не почувствовал острой боли в отмерзающих пальцах.

Тогда Миша попрыгал на середине моста и, прячась от ветра, обернулся к противоположной стороне. Сквозь снег светился второй этаж углового дома по набережной. Танцующие пары проходили одна за другой в освещенных окнах.

Как зачарованный, не мог оторваться Миша от праздничного зрелища. За полузамерзшими стеклами призраками казались ему легко скользившие, приседавшие и кружившиеся пары. В плавных движениях их передавалась и неслышная музыка, и нежные улыбки, и томные вздохи, и все они казались ему веселыми, нарядными и влюбленными.

— Кавалеры стараются изрядно, но дамы уж слишком заглядываются на нас. Разве вы не находите такое поведение их не совсем приличным?

Высокий незнакомец в меховом картузе, неизвестно откуда взявшийся, стоял совсем рядом с Мишей, тоже пристально вглядываясь в окна, и говорил таким тоном,

будто только одну минуту тому назад прервали они длинный разговор, который он и возобновил опять этим обращением.

— Вы думаете, они замечают нас? — спросил Миша, оборачиваясь к нему.

— Замечают ли они нас? Какая невинность! Для кого же по вашему мнению тогда все эти пышности? — воскликнул тот с веселым смехом, который чем-то не понравился Мише.

Несколько минут они помолчали. Незнакомец заговорил первый, вкрадчиво касаясь плеча Мишиного.

— Дорогой принц, я знаю, что не простой мальчишеский каприз ваши меланхолические настроения, но неужели нет никаких средств против ваших печалей? Неужели я, в преданности которого, надеюсь, вы не сомневаетесь, не могу ничем помочь вам?

Миша прервал его весьма нетерпеливо:

— Прежде всего, сударь, вы, очевидно, введены в заблуждение, называя меня почему-то принцем, а во-вторых, позволю себе заметить, что никогда я не имел даже случая где-либо с вами встречаться, а не только давать вам право задавать вопросы, которые кажутся мне более чем странными.

И порывисто повернувшись, он намеревался покинуть неучтивого собеседника.

— Штраф, штраф! — воскликнул тот с такой простодушной веселостью, что Миша невольно остановился, заинтересованный его речью.— Я плачу штраф. Я нарушил ваше инкогнито. Я преступил мудрое правило не замечать чужого раздражения. Конечно, сударь, мы никогда не встречались с вами и даже самое имя ваше мне неизвестно, как и вам мое. Только поэтому я приплел случайно попавшийся на язык титул. Только поэтому. Но пустая обмолвка моя ведь не помешает же нам провести эту ночь вместе, так как ни я, ни вы, кажется, не имеем пока ни малейшей охоты возвращаться в наши конуры.

И он вдруг засмеялся так пронзительно, что Миша опять сделал нетерпеливое движение, которое сразу успокоило странного шутника, и он продолжал, хотя и не без усмешки:

— Итак, мы проведем эту ночь, печально вздыхая о нашем бедственном положении. Мечтательно будем наблюдать с моста сквозь тусклые стекла чужое веселье. Там у дома еврейского банкира на набережной бедный поэт, прислонясь к столбу и заведя глаза к двум окнам второ-

го этажа, еще раз со слезами поведает мне трогательную повесть о прекрасной Джессике и жестоком жиде. Не так ли?

— О каком жиде толкуете вы? — пробормотал Миша, достаточно спутанный и заинтересованный бессвязной болтовней, смысл которой совершенно ускользал от него.

— О, в прекрасную Джессику влюблены все бродячие, печальные поэты, как мы, с блаженной памяти времен господина Шекспира. Но я ничего не утверждаю. Может быть, таинственная испанка будет предметом сегодняшних импровизаций или даже вечно очаровательная маркиза Помпадур, часто не дающая спать воображению некоторых молодых людей.

— Откуда вы знаете об этом? — крикнул Миша в гневном ужасе.

— Вот вы и выдали себя, мой друг,— дотрагиваясь до Мишиной шинели, засмеялся он.— Впрочем, тут нет ничего удивительного. Поэты любят мечтать о невозможном.

— О невозможном,— повторил Миша с глубоким вздохом.

— Но, дорогой принц,— заговорил незнакомец неожиданно серьезно.— Ведь именно невозможного хотели вы. Наш уговор был именно промечтать эту ночь о невозможном. Да замолчите же вы! надоели. Тсс-с,— закричал он, замахав руками по направлению освещенных окон.

И вдруг, как будто по условленному знаку, все они разом погасли, и снег окутал тусклой своей пеленой танцующих, самый дом, набережную, все, что освещалось ярким огнем залы.

Миша, пораженный, молчал. Незнакомец продолжал свою речь ласково:

— Да и стоит ли желать чего-нибудь, кроме невозможного? Стоит ли даже терять время, чтобы сказать: «Я хочу возможного, земного, простого?» Нет, дорогой принц, это только роковая ошибка — ваша печаль, что не сойдет к вам пленительная купальщица, чтобы замкнуть круг ограниченный и глухой и не оставить никаких просторов для ваших мечтаний. Госпожа Помпадур, вероятно, охотно бы исполнила все ваши желания, но ведь вы сами истребили ее, как только она попробовала воплотиться и выйти из своего фаянса. Впрочем, не буду вспоминать этого неприятного почему-то вам случая,— поспешил закончить он примирительно, чувствуя опять неудовольствие своего собеседника.

Миша упорно молчал. Незнакомец опять заговорил с воодушевлением, мало стесняясь этой неучтивостью.

— Вы даже не можете себе представить, какая бы скучная путаница произошла, если бы все наши мечтания сбылись. Благородная профессия поэтов была бы упразднена. Все пылкие, бледные от томности любовники соединились бы, и прекратились бы веселые ночи вздохов, печальных свиданий через окна, робких клятв, слез, серенад, переодеваний, погони, мрачных разлук, всего, что поют поэты и что, в сущности, только постоянная мечта о невозможном. Хмурьтесь, плачьте, дорогой принц, но не изменяйте нашим профессиональным обязанностям. Мы поэты — нам надлежит быть не слишком веселыми. Положим, последний совет для вас вполне бесполезен. Вы добросовестны в этом отношении как десять поэтов, которые готовятся излиться в элегиях, стансах или даже грянуть грозной балладой.

Но наконец даже у него истощился весь запас словоохотливости и оба они замолчали — Миша безнадежно и обидчиво, незнакомец насмешливо и ожидающе.

Метель унималась, и только по временам поднятые ветром пролетали бесчисленными стройными рядами снежные искры, как мягкие волны, и опять успокаивались, спадая. Снег же падал медленными, тяжелыми, ровными хлопьями, и неясно выступали редкие фонари улиц.

— А вот и барон,— воскликнул незнакомец, уж давно беспокойно как будто кого-то поджидающий.

Действительно, в ту же минуту на мост вступил еще человек, роста ниже среднего, в цилиндре и модной шубе. Он не только вежливо поклонился Мише, сурово обратившемуся к нему на возглас, но даже попытался расшаркаться по бальному уставу и едва не упал, поскользнувшись, поддержанный первым незнакомцем, который весело представил его.

— Господин барон, прошу любить и жаловать. Большой филозóф, покровитель искусств и человек весьма рассудительный. Надеюсь, с его помощью мне удастся скорее убедить вас в вашем призвании довольствоваться благородной профессией печального поэта, мечтающего по целым ночам о прелестях разбитой маркизы и не желать сделаться самодовольным шалопаем, услаждающим себя ограниченными и грубыми утехами с какой-нибудь девкой.

— Шут,— прервал его барон, впрочем, скорее все-таки одобряющим голосом.

— Ловлю вас на слове и напоминаю наше условие,— ответил тот, как бы задетый за живое, и весьма неуважительно хлопнул собеседника по цилиндру, надвинув его на самый баронский нос, на что его милость только весело рассмеялась, еще раз воскликнув: «Шут».

— Мы еще поговорим с вами, любезнейший,— оборачиваясь опять к Мише, многозначительно оборвал незнакомец и с прежней живостью заговорил:

— Однако прежде чем начать веселую ночь печальных приключений, я думаю, не худо будет слегка подкрепиться. К тому же «Розовый Лебедь» не заставит нас делать особенного крюка. Ваше мнение, барон?

— Шут,— крикнул тот почти злобно, но, будто пропустив мимо ушей обижавшее его слово, незнакомец подхватил обоих собеседников под руки и потащил их, не прерывая болтовни, с моста в переулок, заваленный сугробами.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой описано все, что случилось в «Розовом Лебеде», а также появление «Ночного Принца»

В «Розовом Лебеде» было светло, тепло и достаточно оживленно, потому что хотя ставни и были уже закрыты, но посетители и не думали расходиться. Особенно шумно было в одном углу, где пировали несколько студентов, поснимавших мундиры и то и дело затягивавших латинскую песню, которую, слышную за два дома на улице, можно было принять за отдаленный вой волчьей стаи. Впрочем, когда наши путники приближались к ресторации, кроме студенческой песни оттуда несся еще невообразимый гам свалки, так как именно в эту минуту услужающие выводили, стараясь соблюсти вежливость, одного из забуянивших посетителей; два студента вступились за него и вытащили из-под стола свои шпаги; другие унимали их и тянули свою песнь; хозяин, стараясь успокоить всех, кричал всех громче, а оркестр из гитары, двух скрипок, барабана и арфы играл вовсю.

Только что спустившись в погребок, незнакомец как-то сразу вмешался в скандал и через минуту прекратил шум. Только вытолкнутый пьяница кричал из сугроба за дверью:

— Погодите. Будет вам на орехи. Я тоже знаю кое-что про ваши фокусы, и подмигивающим валетом меня не

удивишь. Выходите-ка сюда, господин Цилерих, выходите-ка.

Как будто придавая какое-то значение пьяной болтовне, незнакомец быстро взбежал по лестнице, постоял несколько секунд на улице, притворив за собой дверь, и больше уже ничто не нарушало благочиния, если не считать того, что оркестр по временам, по знаку хозяина, яростно принимался разыгрывать польку из «Лонжюмосского почталиона», а студенты затягивали свои куплеты, обрывая их второй строчкой.

При свете Миша разглядел своих спутников.

Тот, который назывался бароном, оказался еще совсем молодым человеком, очень розовым, очень упитанным и очень белокурым. Волосы его были тщательно расчесаны и завиты на височках. Одет он был изысканно, и из-под щегольской шубы, отороченной серым мехом, выглядывали шелковый с розами жилет, тонкие кружева, модные пуговицы и лорнетка слоновой кости.

Другой тоже был не стар, хотя и название молодого к нему не подходило. Насмешливый тонкий рот не постариковски свежим казался; глаза из-под тяжелых век блестели весело, но желтый, сливающийся с низкой лысиной лоб весь в морщинах, редкие волоса на височках, выкрашенные и полинявшие, узловатые руки, все это придавало ему вид старческого убожества. Скромная и поношенная, но опрятная одежда его ничего не говорила. На острой макушке имел он под картузом маленькую зеленого бархата ермолку.

— Так,— хлопнув ладонью о стол, начал он, усаживаясь.— Так, благородные господа. Наконец-то мы можем познакомиться поближе. Как вы находите, молодой человек, нашего барона? Да и вообще нашим обществом вы, кажется, не совсем довольны?

— Да нет. Право, нет,— при свете потеряв всю решительность своей грубости, возражал Миша.— Конечно, согласитесь сами, наше знакомство состоялось несколько неожиданно и странно. Но я очень рад, очень рад. Моя фамилия Трубников.

— Вы все еще упорствуете? Ну, пусть будет по-вашему.

— Как же вы хотели бы, чтобы я назывался? — робко возразил Миша, будто сам не совсем уверенный в своем имени.

— Ваше высочество,— начал барон, изящно нагибаясь.— Я очень ценю вашу затею. Я восхищен, но Цилерих груб и материален. Он знает несколько штук уличного

шарлатана и думает себя всемогущим. Доверьтесь мне. Я умею ценить тонкие чувства.

— Браво, браво, барон. Вы отличный дипломат, но ссориться со мной я вам не советую.

— Если вы не замолчите, я вышвырну вас как последнюю собаку. Мои полномочия,— пронзительно закричал барон.

— Плевать я хотел на ваши полномочия. Моя находка,— прервал его старик и сделал хищное движение, как бы желая оттащить Мишу в свою сторону.

— Почтенные господа, потише. В моем заведении десять лет не было такого шума. Не ссорьтесь, ради господа,— подкатился на возвышающиеся голоса собеседников толстый запыхавшийся хозяин.— Дома разберете ваши ссоры. Пейте вино. Сейчас Степанида споет — «Верные приметы», наимоднейший романс. Не ссорьтесь, почтенные господа.

Музыканты потеснились на своем возвышении, и двое цыган, низко кланяясь и приветливо кивая знакомым, выбежали, звеня серебряными подковами. Цыган, не молодой, необычайной толщины, в белом с позументами кафтане, даже как будто не плясал, а так просто, стоя на месте, пошевеливал плечами, повертывал в руках шляпу, изредка причикивая и притоптывая одной ногой; выходило же прекрасно, ловко, живо, благородно.

Взвизгивая и руками всплескивая, начала Степанида:

Ах, зачем, поручик,
Сидишь под арестом,
В горьком заключенье
Колодник бесшпажный.

Цилерих казался живо заинтересованным. Он подпевал цыганке, хлопал рукой по столу в такт и только иногда взглядывал на Мишу, которому, нагибаясь через стол, барон шептал:

— Одно слово, ваше высочество, одно слово, и все будет исполнено. Не только высшею мудростью соединены мы, но и постоянною готовностью во всем, не щадя живота, помогать взалкавшему брату. Доверьтесь мне. Откройте ваши желанья.

Миша разглядывал белую с отточенными ногтями руку барона; на левом мизинце заметил он черный перстень.

— Вы и ваши друзья массоны? — спросил он вместо ответа.

— Видимость, только видимость,— нагибаясь еще ниже от Цилериха, заговорил тот,— не все ли равно «Петр

к Истине», «Владимир к Порядку»? Все это только оболочка. «Ночного Принца» ищем мы, и находим, и служим. В исполнении воли его последняя истина. Избранный не должен противиться.

Лицо барона не менялось, розовое в белокурых локонах.

Цыганка кончила, красной шалью размахивая, соскочила с возвышенья и обходила зрителей с тарелкой. Смеясь, она отбивалась, когда кто-нибудь из студентов старался слишком упорно задерживать ее, схватив за талию. Подойдя на знаки Цилериха к столу, она заговорила, улыбкой показывая белые зубы:

— Щедрый барин, счастливый. Дай ручку, погадаю.

Миша тупо и пристально смотрел на женщину. Из-под платка выбились черные косы. Смуглое лицо с накрашенными губами наклонилось к нему.

— Что смотришь, красавчик, ручку пожалуй — всю правду скажу.

— Робок он у нас,— засмеялся Цилерих.

— Молодой барин, пригоженький, чего бояться меня, не съем, угости — погадаю,— не унималась цыганка.— Сесть рядом позволишь?

— Пожалуйста, пожалуйста,— заторопился Миша, сконфуженно отодвигаясь к барону, который с брезгливой гримасой смотрел на приставанье, очень радовавшее старика.

— Не утесню тебя, не утесню,— улыбалась Степанида и, сев совсем рядом, обняла Мишу, прижала одной рукой его голову к своей, другой взяла Мишину руку и, раскачиваясь, начала обычные предсказательные приговоры:

— Счастливый будешь, сахарный мой, меня любить будешь, а уж я-то тебя буду на пуху носить.

— Комедианты,— услышал Миша баронов голос. Жарко ему было и стыдно; чувствовал, что смешно было бы отбиваться от пригожей цыганки.

— Ай да Степанида,— слышалось в зале, и множество народа с кружками и трубками собралось вокруг их стола; пересмеиваясь, слушали гаданье, на которое скупа считалась Степанида.

— И еще тебе скажу, голубь мой, последнее слово,— кончила она и надавила вдруг мизинцем кончик носа Мише.— Не двоится; знаешь, что значит? — шепотом, нагнувшись, сказала на ухо.— Любви не знаешь еще, а сильно думаешь и ночью и днем.

Сделав вид, будто еще что-то шепчет, губами дотронулась пониже уха.

— Оставьте меня,— странную новую решимость чувствуя, поднялся Миша.

— Принц,— воскликнул барон встревоженным голосом.— Смотрите, смотрите.— Миша повернулся и в небольшом овальном зеркале увидел в короне и долматике, как рисуют императора Павла, с пылающим строгим лицом юношу, почти мальчика. В первую минуту он не узнал чудесно изменившихся черт своего лица. Узнав же, почти потерял сознание и, отвернувшись от зеркала, пошатнулся на руки подоспевших барона и Цилериха.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой описано коронование Миши Трубникова и все, что этому предшествовало

Очнулся Миша в сугробе. Он лежал, побледневший, с закрытыми глазами, как убитый, на меху шубы, совсем маленьким мальчиком. Барон растирал ему виски снегом. В переулке было тихо и звездно. Шум и духота ресторации казались приснившимися.

— Ну вот, ну вот, и все прошло,— проговорил барон ласково и просто. Цилериха же не было.

Миша встал. Слабость и пустоту чувствовал он будто после угара. Очень хотелось спать и есть.

Барон взял его под руку. Медленно они шли по переулку с темными окнами и едва протоптанной тропинкой между сугробов.

— Не привык я,— сказал Миша, как бы извиняясь.— Простите, что утрудил вас. Куда же мы пойдем?

— Не беспокойтесь, пожалуйста, я думаю, вам хорошо бы передохнуть и погреться. Трактиры все уж закрыты. Вот разве согласитесь зайти к другу моему. Его дом сейчас за углом. Там не спят всю ночь, а мешать нам не будут. Можно расположиться как дома.

— Хорошо,— согласился Миша, испытывая сладкую безвольность.

В дом вошли не стуча, так как дверь барон открыл своим ключом. Слуга спал в передней на шубах. Синяя свеча горела в низких подсвечниках, и ладаном навстречу входящим пахнуло.

Проведя Мишу коридором, барон ввел его в большую комнату, видимо, библиотеку, сплошь заставленную шкапами. В глубине стоял маленький стол со свечой, накрытый на две персоны; в камине пылали дрова.

— Видите, нас ждали,— промолвил барон, жестом приглашая сесть в кресло у стола.

Острые, незнакомые на вкус блюда быстро подавались и убирались бесшумно входящим и снова уходящим слугой.

Лицо Мишино горела от вина и близкого огня камина. Барон оставался простым и милым собеседником, ни одним жестом, ни одним словом не напоминавшим тех странных и страшных минут. В разговоре старался он не обращаться к Мише, чтобы никак его не называть. Говорили о предметах посторонних. Миша с непривычным оживлением рассказывал о лицейских проделках. Барон слушал, улыбаясь и мешая догоравшие поленья в камине.

— Ну, а как же, однако, мы решим,— сказал вдруг барон, не изменяя тона, но так, что Миша понял, о чем он спрашивает, и все-таки трусливо переспросил:

— Что вы хотите решать?

— Три святых амулета. Красный рубин — любовь, зеленый изумруд — власть высокая, мутный опал — мудрость. Выбирать час пришел, ваше высочество, выбирать.

— Хорошо,— тихо и задумчиво ответил Миша, не удивляясь и глядя на пламенные цветы угля,— хорошо. Рубин, изумруд, опал,— еще тише добавил,— рубин.

Барон встал; Миша тоже поднялся.

— Я готов, ваше высочество. Не угодно ли вам будет за мной последовать.— Он отпер незаметную под цвет стены окрашенную дверь между двух шкапов. Зала открывалась перед ними. Два старика, беседуя на диване в углу, не обратили на вошедших никакого внимания. Все люстры и канделябры блестели, зажженные и отраженные в зеркалах.

— Сию минуту, ваше высочество,— шепнул барон и, плавно скользя по паркету, быстро удалился, оставив Мишу посередине ярко освещенной пустой залы с колоннами и розовыми амурами по стенам. Миша не знал, что делать ему. Он оглянулся на стариков; те по-прежнему шепотом говорили, кивая друг другу седыми напомаженными головами.

Через минуту шум быстрых шагов донесся из соседней комнаты. Дверь распахнулась. Прямо на Мишу вышла высокая, несколько полная дама под руку со стариком. За ними следовало много гостей.

— Милый принц, вот и вы пожаловали к нам. Я так счастлива,— говорила дама, смотря на Мишу.— Я очень счастлива.

Опуская смущенно глаза, Миша все-таки успел невольно как-то рассмотреть улыбающиеся губы и локоны с высокой прически.

— Что же вы молчите, ваше высочество,— услышал Миша голос, напомнивший ему Цилериха. Гости обступили его тесным кругом.

— Вы даже не хотите поздороваться со мной.

— Сударыня,— сказал Миша, багровея.— Сударыня,— и, нагнувшись, он поцеловал протянутую руку, не поднимая глаз на говорившую.

Хорошо запомнил Миша в беглом взгляде нежные, прекрасные руки, которые дама обе протянула ему навстречу; прикоснувшись же губами к руке, ощутил он дряблую холодную кожу, наполнившую его нестерпимым отвращением.

Подняв глаза, увидел Миша стоящим перед собой Цилериха в зеленой ермолке. Его руку держал, только что поцеловав; дама же в смущении отступила.

Миша так и остался, не опуская руки Цилериха, а тот улыбался ехидно:

— Ошибочка вышла, ваше высочество.

Все заговорили, стараясь замять неприятный случай, и дама, опять ласково взяв Мишу под руку, прошла в другие комнаты, показывая его всем и говоря:

— Какой прекрасный у нас принц.

Но Миша не мог забыть и успокоиться; гадко было ему, и голова кружилась, и хотелось бежать, но нельзя было.

Комнаты большие и маленькие, залы, гостиные, диванные, все были освещены как для праздника, но музыка не играла, громко говорили только там, где были дама и Миша, а в соседних покоях стояло молчание, так что странно было даже, открыв двери, находить полную комнату гостей. Тревога овладела Мишей, хотя ничто не предвещало опасности; дама ласково пожимала его локоть; все гости учтиво кланялись и старались при приближении принца принять вид веселости. Раза два в толпе мелькало лицо Цилериха. Мише хотелось ему что-нибудь крикнуть, броситься на него, но, как бы угадывая это намерение, тот быстро скрывался. Барон тоже изредка попадался и улыбкой старался ободрить Мишу. Дама редко обращалась со словами к Мише, что позволяло оставаться и ему молчаливым.

— Разве вам не нравится наш праздник, на котором вы повелитель? — спросила она.— Все желанья, все желанья должны свершиться сегодня. Скажите, чего вы хотите?

— Я хочу уйти отсюда,— сказал Миша вяло.

— Но почему? Но почему? — заволновалась дама, пожимая Мишин локоть все сильнее.— Что случилось? Что отталкивает вас? Вы не хотите празднества,— будет тишина и молитвы. Вы хотите?

— Я хочу уйти отсюда,— не делая никакого движения, повторил Миша.

— Это невозможно,— сказала дама и с тем же нежным видом повела Мишу дальше, повторяя всем уже не в первый раз: — Какой прекрасный у нас принц сегодня.

Гости кланялись и улыбались, приветствуя, как привычные придворные, принца, который шел среди них с лицом гордым и печальным.

Наконец дама сказала громко:

— Почему же музыка не играет и никто не танцует?

Будто услышав условленный пароль, все стали выходить из зал в коридор, мужчины в одну сторону, дамы — в другую. Барон подошел и, взяв Мишу под руку, увел его от дамы. Когда они проходили коридором, Миша сказал:

— Я хочу уйти отсюда.

— Одну минуту, ваше высочество,— ответил тот.

В маленькой комнате перед зеркалом лежали корона, мантия и цепь из драгоценных камней. Барон возложил их на Мишу.

— Теперь все исполнилось. Вы коронованы. Нет запретов перед вами.

Миша чувствовал, что теряет сознание. Ему хотелось посмотреться в зеркало, чтобы еще раз увидеть того пылающего и прекрасного отрока в далматике, но вдруг как бы холодный ветер вернул ему силу желания, и он твердо сказал:

— Я узнал теперь все. И сейчас я уйду один. Так нужно и так будет.

Барон несколько удивленно посмотрел на Мишу, как бы не узнавая его, но покорно поклонился и бросился подбирать мантию, которую Миша небрежно сбросил к ногам.

Миша вышел в переднюю. Слуга проснулся.

— Уходите, сударь? — спросил он и нашел Мишину шинель среди вороха других военных, штатских и дамских шуб.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой описано последнее приключение этой ночи

Так расставшись со спутниками, Миша медленно стал подыматься по улице. Костер, у которого недавно занимал своими шутками все общество господин Цилерих, потух. Будочник, напугавший Мишу, спал на тумбе, опять похожий на медведя.

Карета, скрипя по снегу, перегнала Мишу и остановилась у подъезда.

Замедлив шаги, он ясно различил, как из нее вышла дама в синей шубке. Он узнал серый ток и лакея, толкнувшего его в сенях театра. Поразительней всех событий сегодняшней ночи показалась Мише эта встреча. Прислонившись к стене, переждал он, когда карета отъедет, и подошел к крыльцу. Света в круглом окошке привратника не было. Снег так замел дверь, что Миша уже сомневался, эту ли он видел открытой минуту назад.

— Твое дело, поганый,— пробормотал он, плюнув с досадой, и намеревался идти, как в сугробе увидел желтую розу, какие были в волосах дамы. Миша поднял цветок и, боясь передумать, быстро поднялся на ступеньки и громко постучал в дверь.

«Ночному принцу нет преград»,— вспомнил он слова Цилериха, замирая.

Высокий молодой слуга открыл дверь тотчас же, как будто ожидая посетителя. Заслонив ладонью свет, несколько секунд рассматривал Трубникова. Сказав обождите, поставил подсвечник на пол и ушел по темной лестнице, широко шагая через ступени.

Страх почти до обморока почувствовал Миша в просторных сырых сенях, освещенных оплывавшей свечой.

«Бежать, бежать»,— было его мыслью, но дверь оказалась уже замкнутой. Как пленник покорился он своей участи и сел на скамью, опуская голову к коленям.

— Пожалуйте.— Слуга, освещая путь, стоял перед ним.

Проходя, Миша заметил много дверей и за одной расслышал голоса. Один мужской:

— Луиза, Луиза.

Другой женский:

— Неправда, я не могу больше.

— Не угодно ли будет вам раздеться, сударь,— спросил слуга, ставя свечу на стол с остатками ужина в комнате большой и почти свободной от мебели.

Миша сбросил шинель на ручку стула; слуга стряхнул снег концом ливреи с сапог.

Арапка в красном нескромном платье вышла из-за занавеси, отделявшей соседнюю комнату, и произнесла что-то хрипло и весело. Слуга засмеялся, но, сдержавшись, сказал:

— Ихняя камеристка. Она вас и проведет. Тоже выдумает всегда,— и, прыснув еще раз, быстро ушел, унеся свет.

В темноте арапка подошла к Мише, шатаясь как пьяная, и сказала нечеловеческим голосом попугая:

— Ти милий.— Засмеялась, взяла за руку и повела, что-то бормоча. Запах от нее, смешанный с запахом вина и сладкой смолы, кружил голову.

За узкой низкой дверью оказалась неожиданно большая комната, тоже пустая. Огромная кровать стояла посередине. На возвышении пышный туалет с глубоким креслом освещался двумя свечами в серебряных шандалах. Первую минуту покой показался Мише пустым. Не сразу разглядел он в зеркале туалета отраженную женщину. Она сидела глубоко в кресле, беспомощно опустив до пола руки в кольцах. Не двигаясь, не открывая глаз, подведенных тонко голубой краской, дама спросила на непонятном языке. Служанка ответила хриплым лаем и недовольная вышла.

Ощипывая желтую розу, Миша стоял, опустив голову, но его смущение было непритворным только наполовину.

Наконец дама встала и заговорила. Ласковы и печальны были слова того же незнакомого, сладкого, протяжного языка. Слабый знак руки понял Миша за позволение приблизиться. Подошел и встал коленями на ступеньки возвышения. Сделалось легко, торжественно и любопытно.

Казалось, что понимал медленную речь. Казалось, она говорила:

— Это хорошо, что вы пришли ко мне. Я жду вас давно. Вы будете любить меня.

— Да, да, я буду любить вас,— отвечал, улыбаясь, сам не зная от какой радости.

Она тоже улыбнулась, и уже не пугала ее улыбка Мишу. Легко складывались его слова. Он говорил:

— Всю ночь я искал вас. Да не одну ночь. Давно знал я вас. Знали ли вы?

— Знала, милый,— продолжала она разговор, различно понимаемый, быть может, каждым.

Ничто больше не смущало Мишу, и не удивлялся он пустой комнате в странном доме, даме в розовом с цветочками капоте, стройной и томной, склоняющейся к нему с амвона, своим собственным речам, свободным и нежным.

Не прерывая ласковых слов, дама продолжала свой туалет: сняла кольца, распустив прическу, спрятала волосы под круглый чепчик с широким бантом; бегло, но пристально оглядела себя в зеркало, спрыснула руки и платье духами и, потушив одну свечу, высоко держа в руке другую, прошла по комнате. Сев на постель, снимала лиловые чулки, нежно что-то приговаривая.

Некоторое несоответствие слов и улыбки дамы с ее действиями поставило Мишу в тупик, и он не знал, что отвечать ей. Она же, видя его нерешительность, подбежала к нему, села, поджимая голые ноги, рядом на ступеньки, обняла одной рукой за шею и ласково уговаривала; расстегнула пуговицы жесткого его мундира и, засунув пальцы за ворот Мишиной сорочки, смеялась невинно и коротко. Смутился Миша неожиданной шалости печальной дамы, но темные, тяжелые мечтания последних дней даже не вспоминались.

— Я щекотки не боюсь,— тряхнув головой по-мальчишески, сказал он.

Веселость буйная и небывалая охватила Трубникова, который и мальчиком-то был всегда скромен и тих.

Странные игры начались в пустой комнате. Бегали друг за другом, боролись, толкались, смеялись, как расшалившиеся дети.

Запыхавшись, дама упала на кровать. С блестящими глазами наклонился Миша над ней. Со смехом привлекала она его к себе, и он со смехом в первый раз осмелился поцеловать ее.

Арапка, тихо войдя, потушила нагоревшую свечу.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой описано все, что произошло утром, следующим за ночью

Миша проснулся поздно. Солнце на красных ширмах горело пламенными пятнами. Открыв глаза, Миша вскочил как под ударом. Босиком, в ночной рубахе, бросился на середину спальни, сам не зная для чего. Знакомое запустение знакомых комнат; солнце прямо в окно, блестевшее снежными крышами напротив; тишина; большая дядина кровать, с которой он только что встал; раз-

бросанные вещи его собственные — все казалось необычайным.

С досадным страхом не мог вспомнить Миша, где сонные видения разделялись с событиями действительными. В большом зеркале увидев свое собственное испуганное и бледное лицо со спутавшимися волосами, не узнал он себя. Вошедший Кузьма заставил его принять вид спокойствия. С непривычной медлительностью одевался Миша.

Кузьма, растапливая печку, начинал почтительную свою воркотню:

— От князя вчерась и сегодня опять присылали. Велели сказать, что ждут ответа. Что сказать прикажете? Поздно вчера пожаловать изволили.

— Да замолчи же, старый хрыч. Пошел вон. Чтоб духу твоего не было,— сам не узнавая своего звонкого голоса, сам удивляясь и радуясь своему гневу, крикнул Миша, будто хлыстом ударили его по лицу. Отвернувшись к зеркалу, на минуту увидел он желтую парчу и почти незнакомые черты тонкого, пылающего лица, как короной увенчанного сиянием. Одну минуту продолжалось смутное, вчерашний вечер сладко напоминавшее видение.

— Что же это, господи? Что же это? — бормотал он, задыхаясь восторгом и ужасом опять, как вчера.

Но комната в солнце, неубранная кровать, Кузьма с разинутым ртом, на корточках перед печкой,— все это привело его в сéбя.

С колебанием взглянув в зеркало, увидел он себя обычным, слегка разрумянившимся, смущенно улыбающимся, в высоком воротничке, в желтых с цветочками подтяжках. Сдерживая дрожь гнева и внезапного восторга, Миша старательнее чем всегда причесался. По-новому строго сказал Кузьме:

— Подавай же завтрак. И чтоб порядок был у меня, а не то я сегодня же дяденьке напишу.

Удивленный Кузьма прислуживал быстро и почтительно.

Чувствуя себя стройным и как-то особенно красивым, окончательно оправился Миша перед зеркалом, принял от слуги чистый платок и перчатки и веселым, преувеличенно замедленным шагом прошел в переднюю по ярко освещенным комнатам, ликующе блестевшим празднично вычищенными полами.

Быстро шел Трубников вдоль канала, радуясь не только морозному солнцу, зимнему небу, солдатам, с музыкой возвращавшимся по Гороховой с парада, но и еще чему-то

смутному и слегка страшному, тайному и торжественному. Милостиво улыбался он встречным, и, казалось ему, все думали и даже говорили про него: «Какой прекрасный молодой человек. Кто бы он был?» Уже почти у самого Невского Миша остановился на углу против моста. Всю улицу занимали возы, загораживая проход.

Пережидая их, Миша поднял глаза и вдруг узнал перекресток, на котором встретил он вчера господина Цилериха. И статуи на мосту, и покосившиеся тумбы, и тысяча других мелочей вдруг напомнили ему вчерашнее. Не без волнения отыскивал Миша дом, в освещенных окнах которого видел он вчера бал, послуживший как бы началом чудесных приключений прошедшей ночи.

— Эй, берегись, барчук,— крикнул на зазевавшегося возчик, и Миша, сторонясь лошади, вбежал на высокий мост. Напротив стоял длинный облупленный дом, выкрашенный когда-то в зеленую краску, но теперь посеревший. Оборванные ставни, сломанная водосточная труба, грязный вход придавали ему вид неопрятный. Подойдя ближе, рассмотрел Миша широкую белую доску с надписью:

«ГАМБУРГСКАЯ РЕСТОРАЦИЯ

для почтенных посетителей освобождается зало
под свадьбы, обеды и семейные вечера по вольной цене»

— Какие глупости,— воскликнул Миша, прочитав.— Какие глупости,— и засмеялся так громко, что встречные останавливались и глядели ему вслед.

Нанимая извозчика, все еще не мог удержаться Миша от смеха, еле выговаривая: «На Литейный».

— Веселый барин,— ухмыльнулся кучер, застегивая полость.

От быстрой езды и мороза у Миши дух захватило. Мелькнули на Невском кареты, офицеры в санках. У Френделя Пахотин окликнул его, но он только рукой махнул, зажимая рукавом лицо от смеха и холода. Весело и вольно было так скакать по рыхлому снегу. Все мысли, тяжелые и мрачные, куда-то уплыли. Всю дорогу без причины радовался и улыбался сам себе Трубников и думал только: «хороший извозчик попался, надо полтину ему дать».

У темно-голубого дома на Литейном, в который с самого детства входил он с чувствами противоречивыми и всегда взволнованный, весело и легкомысленно выскочил Миша из саней и вбежал, бросив шинель швейцару, на площадку второго этажа. Лакей поднялся со стула

и как-то почтительнее, чем всегда, выговорил: «С праздником, Михаил Иванович».

Получивши же неожиданный рубль на чай, совсем удивленным голосом, выпрямившись в струнку, доложил: «Его сиятельство ждут вас и просили обождать в гостиных. Княжна-с там».

Равнодушно и быстро вошел он в белую с золотом залу. Холодный порядок стульев, тщательно расставленных вдоль стен, задернутых чехлами люстр, венецианских зеркал в простенках нарушен был богато разукрашенной елкой посередине. Ее сладким и ободряюще праздничным ароматом была наполнена комната.

По далекому ряду комнат шла к Мише навстречу Наденька. Без тени былого смущения ответил он на ее задорную улыбку улыбкой и так сжал ее руку, целуя, что княжна на минуту потупилась, удивленная и даже смущенная.

— Где вы пропадали, кузен? — слегка грассируя, спросила она.— Мы были так обеспокоены вашим припадком.

— Да, да теперь все это прошло.

— Что прошло? Что было? Не томите, Мишенька? — вспыхнув от любопытства, воскликнула княжна.

Миша с улыбкой рассматривал вздрагивающую мушку, обозначающую «согласие», на румяной щеке и чувствовал, что больше никакими улыбками, никакими неуместными словами его не смутить.

Глядя на розовое личико, задорное и любопытное под легкой прической à la grecque [1], на праздничное, зеленое с лентами цвета заглушенной жалобы платье, открывавшее локотки, делалось ему еще веселее и свободнее перед этой девочкой, недавней насмешницей, недавним предметом тайных вздохов.

— Странные встречи бывают, кузиночка. Я могу позабавить вас удивительной сказкой в стиле, столь любимом вами,— полушутя и намекая с подавляемой гордостью, что многое должен он пропустить, начал рассказывать Миша у большого окна, в котором виднелся на зимнем, пылающе закатном небе тонкий розовый месяц.

— Ах, как это хорошо,— вздыхала княжна, увлеченная.

— Да, забавный случай, но я не очень-то поддался их шуткам.

---

[1] в греческом стиле *(фр.)*.

— И вот вы принц. Это правда. Сегодня, как только вы вошли, я заметила, что вы изменились.

— Но ведь принц одной только ночи,— насмешливостью скрывая свое волнение, возразил Миша.

— Нет, теперь навсегда для меня вы принц. Я завидую вам, Мишенька,— шепотом кончила она, робкая и восхищенная.

— Но ведь вы знаете, что сделаться принцессой— ваша власть,— наклоняясь, тоже шепотом ответил Миша, и с небывалой, самого его испугавшей смелостью он поцеловал княжну в розовую щеку.

Князь Григорий, из каких-то сложных расчетов давно желавший подобного оборота дела, помедлил в соседней гостиной и, кашлянув, вышел в залу, возможную ласковость придав лицу.

— Я очень рад, очень рад,— начал он, растроганно обнимая Мишу.

ЭПИЛОГ,

в котором все невзгоды и чудесные приключения Миши Трубникова являются только смутными воспоминаниями

В праздничные и именинные дни, когда князь Григорий приказывал сервировать стол голубым фаянсом, рыбную тарелку, с много от склейки пострадавшей госпожой Помпадур, дворецкий всякий раз зорко наблюдал, чтобы ставили никому другому, как сидевшей в самом краю Эмилии Васильевне, бывшей бонне княжны, особе, по положению самой низкой из допускаемых к княжескому столу.

Миша же надежды князя не оправдал и на княжне не женился, что вызвало большой скандал и служило пищей светскому злоречию не менее двух недель.

Получив наследство, которого для него ожидал только князь Григорий, Трубников вышел в гвардию, лицея не кончив. Томный вид застенчивого мальчика нашел он нужным не оставить и в офицерском мундире, хотя общая молва указывает на него как на затейника многих отчаянных и нескромных шалостей. Решительным ударом в атаке на благосклонных к нему дам, хвастаясь товарищам, называл он трогательный рассказ о посвящении его господином Цилерихом в ночные принцы.

Ноябрь, 1908 г.
С.-Петербург.



ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВОРОЖЕЯ

1818 г.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

> Здорово, рыцари лихие
> Любви, свободы и вина!

I

На закате море загорелось и слилось с запылавшим небом. Озолотились темно-зеленые сады невских островов. Вдали адмиралтейский шпиц вспыхнул, как огненный, над петербургской громадой.

На Крестовском нынешним летом поют цыгане. Сам Илья приехал с табором из Москвы. От «гуляков» в трактире вторую неделю отбою нет. Только завечереет, все на Крестовский валом валят: и гвардейцы, и важные господа, и всякая столичная мелочь. Запустели совсем веселые кабачки — и Желтенький, и Красный. Кому неохота послушать лихих цыганских песен, полюбоваться на красавицу Танюшу! Голос у Танюши соловьиный: смеется и плачет, печалит и веселит; душу вынет, истомит, сердце измает.

Небесное золото еще не потускнело, а уж цыганский трактир шумит. Кудлатые черные чавалы с гитарами расхаживают по саду в цветных кафтанах, перебирая струны; откашливаются, поводят плечами. Гости съезжаются на катерах и в шлюпках: по двое, по трое, вшестером. Все больше удалая военная молодежь: гусары из Царского да гвардейские уланы; кто из лагеря отлучился до первого барабана на острова, кто по летнему времени сбежал

тайком на часок из караульни. Говор понемногу крепнет; пробки захлопали, и шампанское зашипело.

Седой Илья шумно вывел в запестревшую залу веселый хор и присел на скамью строить гитару. Табор расставился полукругом. Вышла Танюша, в малиновом сарафане, в яркой турецкой шали: расшитая золотом, приколола шаль к левому плечу. Серьги жемчужные, монисто из червонцев. Смуглая, желто-румяная,— перловыми зубами блистают алые губы,— распустила Танюша по плечам из-под золотой повязки свои вороновые косы. «Здравствуй, Танюша, раскрасавица!» — «Жги, говори!» — «Пора!» — «Начинай, что ли!» Гусары чокаются за здоровье цыганки. Почтенные, седые баре кряхтят: «Эх, хороша девчонка!» — «Огонь!» Долговязый дипломат в коричневом кургузом фраке с огромным жабо, в узких бланжевых «веллингтонах», навел на Танюшу лорнет, разинул рот, да так и остался.

Блеснув улыбкой, поклонилась в пояс гостям Танюша и звонко залилась песней. Сложили ту песню весной шутники-преображенцы. Поется в ней про молодого поручика, что влюбился в княжну и ладил было перевенчаться увозом, да вместо венца угодил на гауптвахту.

Ах, зачем, поручик,
Сидишь, мой голубчик,
В горьком заключении,
Колодник бесшпажный?..

Разливается, стонет разноголосый цыганский хор; дружно подхватили песню молодые гости. Весь табор в сборе. Впереди две голосистых подружки, Анюта Пучок и Лизавета Турчиха. За ними молоденькая плясунья Пиша. Тут и мать ее, скуластая оскаленная старуха; совсем без голосу, а как взвизгнет, пройдется да махнет ширинкой,— сразу поддаст жару запевале: недаром первая певунья была Алена в хоре у графа Алексея Григорьича Орлова.

Песня кончилась. Старый Илья оглянулся соколом и лихо ударил трепака. Выскочил Алексей Бурбук, первый плясун во всем таборе, толстый, как бочка; в белом кафтане с позументом. Чисто пляшет Бурбук. С виду все как будто стоит на месте, а не удержаться, глядя на него: так и гонит тебя самого вприсядку. С щелканьем, с присвистом идет забубенная, разухабистая российская плясовая.

Сударыня-барыня,
Чего тебе надобно?
Сударь-барин, приходи,
Подарочек приноси!

Струны гудят, хор частит, заливаясь на двадцать пять разных голосов; сам Илья, глядя на плясуна, корчится над гитарой; гости за столами и половые в дверях ходят ходуном, дергают и плечами, и ногами,— а Бурбук под бешеный вихорь трепака, подбоченясь, легко и осторожно взмахнул поярковой своей шляпой, переложил из правой в левую, сунул ее под мышку, выхватил, подбросил и, посадив набекрень, шевельнул плечом. Гикнул, притопнул и селезнем полетел по кругу.

Сударь-барин приходил,
Подарочек приносил,
Подарочек не простой,
Перстенечек золотой!

Рокот гитар сливался в безумный, неистово-резкий гул; старая Алена визжит во все горло, басы вторят дикими голосами; гости давно повскакали с мест: ухают, присядая. Раз! И оборвалась пляска. Толстый Бурбук остановился, гикнул и взмахнул шляпой. Ударил ее оземь и с табором убежал в сад.

Все шумно заговорило: «Ловко пляшет, анафема!» — «Ай да, молодец!» — «Славно!» — «Молодчина, Алеха!» Красный, с налитым затылком гусар, пыхтя и утираясь, будто сам после пляски, шлепнул долговязого дипломата с лорнетом.

— Так-то, брат, каковы цыгане?

Народу прибывало. Смех, шуточки, разговоры. Пробки захлопали чаще. Из душной залы потянуло в сад. И там, за столиками, полно гостей. Червонные ментики и голубые в шнурках венгерки перемешались с серыми фраками и гороховыми сюртуками. Записные щеголи в высоких «робинзонах» и «пиках» разочарованно драпируются в длинные черные «воротники». Парижскую речь пересыпают российские словечки; порой залпами хохота взрывается дружное веселье.

Статный молодой улан, задумчивый и спокойный, неторопливо прошелся по саду, осмотрелся, закрутил рыжий ус и, цепляя саблей за столы, пробрался с трудом в опустевшую вполовину залу. Там, в дальнем углу, за бутылкой вина, одиноко пригорюнился на диване чернявый юноша в коротком сюртуке и верховых сапогах.

Улан подошел.

— Здравствуй, Черкес, как поживаешь?

— Ах, Юрьев, это ты. Наших нет?

— Не видно. Мальчик, аи!

— Дорого нынче аи: полтора целковых бутылка.

— Что с тобой, Черкес,— давно ли ты стал деньги считать?

— Начнешь считать, коли по уши в долгу. Актрисы да шампанское, шампанское да актрисы,— только тебе и дела. Les affaires ne sout pas lucratifs, à vrai dire, nest pas? [1]

— Пустое, брат Черкес. А вот и наши. Отсюда вижу Васю со Сверчком.

II

Вошли двое молодых людей, военный и штатский. Первый — рослый красивый кавалергард, в белом мундире — смотрит вялым и неуклюжим парнем. Добрые рыбьи глаза его заспаны и ленивы; на слабых губах бродит рассеянная улыбка. Вася непохож на гвардейца: мундир на нем мешковат и неловко скроен, тяжелый палаш неряшливо бьется об огромные ботфорты. Зато штатский его товарищ вертляв, боек и одет франтом. Чтобы пройти в дверь, пришлось ему снять с головы широчайший «боливар», исполинские поля которого задевают за косяки. Стройная, легкая фигурка Сверчка лихо завернута в волочащийся шлейфом испанский плащ. В руке он вертит оборванный хлыстик. Толстогубое маленькое лицо в каштановых кудрях озарено приветливым взглядом и беззаботной улыбкой.

— Что это у вас, аи? — быстро заговорил Сверчок.— Слава богу, здорово! Вася! спроси скорей дюжину,—выпьем за здоровье лейб-улана.

— Тебе, Сверчок, доктор запретил.

Сверчок присел к столу.

— Ты мне не доктор: я, слава богу, здоров. Свет мой, Павел, полно тебе вздыхать по Крыловой. Она еще целехонька. Успеешь наплакаться у себя в деревне, а здесь покудова вы оба, слава богу, здоровы.

— Отстань, Сверчок, со своим здоровьем, без тебя тошно.— Черкес насупился. Юрьев и Вася, взявшись под руки, вышли в сад.

— Где ты был, Сверчок? У Наденьки?

Сверчок загадочно улыбнулся, показав нить перламутровых зубов.

---

[1] Дела не прибыльные, по правде говоря, не так ли? *(фр.)*

— Черкес, поздравь меня, я решился. Иду в гусары.

— Дело хорошее. Пей же, будущий Бонапарт.

Голубые глаза Сверчка затуманились; он опустил голову.

— Под маской веселости ты, Павел, я знаю, давно разглядел и понял мою душу. Я тоскую comme un fou, comme un amoureux [1]. Не знаю, чего мне еще надобно. Мне нет двадцати, а я уже дряхлею. Видно, правду говорил намедни Петр Яковлич, что таков наш век. Все пережито, во всем пришлось извериться. Вино и женщины мне постыли, книги — и того пуще. Мне брюхом хочется перемен. Если бы царь спустил с цепи Наполеона, я был бы безмерно счастлив. Оттого-то я и рвусь так в гусарские ряды.

В залу хлынула из сада толпа гостей, с ними Юрьев и Вася.

— Сейчас запоют. Сверчок, о чем задумался?

Сверчок не отвечал. Юрьев хватил кулаком так, что стаканы задребезжали.

— Что вы, в самом деле? Давеча Черкес киснул один над бутылкой да считал гроши, а теперь Сверчок наморщился и в ус не дует. Мальчик, вина!

— Вот это дело! Молодчина, лейб-улан! Пробудись, Черкес, выпьем за Крылову!

Приятели оживились. Сверчок, скинув плащ, остался в кашемировом сюртуке и гусарских сапожках. Он с детским весельем залюбовался золотыми искрами в ледяных стаканах. Мешковатый Вася удобно устроился на диване. Даже Черкес, которого Юрьев заставил выпить три полных стакана, успокоился, повеселел и приказал мальчику подать трубки.

Цыгане опять зашумели в дверях. Танюша вышла и запела.

III

— Я так полагаю,— молвил лениво Вася,— что там ни говори философы о глупости суеверий, но только эта Танюша колдует, просто наводит чары.

Четыре приятеля сидели в саду при свечах, кончая последнюю бутылку. Трактир давно опустел. Белая ночь беззвучно простерлась над столицей.

---

[1] как безумец, как влюбленный *(фр.)*.

Черкес зевнул.

— Полно, Вася, в наш просвещенный век какие чары? Было, да прошло.

— А спроси Сверчка, зачем он разревелся как баба, когда Танюша запела «Дороженьку»? — Сверчок вздрогнул, очнувшись.

— Сейчас я думал о предопределении,— заговорил он, кусая ногти.— Fatum... [1] существует ли оно? Песня дикой цыганки навеяла мне странные мечты. Мысль о смерти давно уже меня преследует. Смерти я не боюсь, вам это, господа, хорошо известно. Но если бы только знать наверно, какой смертью суждено нам умереть!

Юрьев затянулся из длинного чубука.

— Пожалуй, помогу тебе, коли хочешь. У Аничкина моста живет гадалка, поезжай завтра к ней, она тебе все расскажет.

— Гадалка? — спросил Черкес.— Что ж, молода, хороша?

— Старуха, но лучше молодой.

Ночной мотылек налетел на свечу и бессильно забился на мокрой от вина салфетке. Сверчок задумчиво следил за трепыханьем его опаленных крыльев. Все молчали.

— Ехать, так ехать сейчас! — Сверчок вдруг вскочил.— Кто со мной?

— Поздно уж, скоро начнет светать. Да и мне пора в лагерь.

— Ну, так я еду один. Кто со мной?

— Пойдет дурить теперь Сверчок,— поворчал Юрьев.— Пойми же, неугомонный, что гадалка давно спит и тебя не примет. Это тебе не Оленька Масон.

— Вздор, мой милый, гадалки не спят по ночам. Когда ж гадать им, как не теперь? Едем!

— Я с тобой, все равно деться некуда,— сказал Черкес.

— А ты, Вася?

— Поеду. Юрьев, что ж?

— Не могу, завтра я дежурный. Увидимся у Голландца, хорошо?

Сверчок втрое обернулся плащом и, волоча за собою длинный хвост, двинулся из сада. В своем широкополом «боливаре» он походил на огромный гриб. Все четверо вышли вместе из ворот.

Прозрачный тающий сумрак белой ночи величаво почил над зеркальной задумчивой Невой. Ночь, а даль свет-

---

[1] Судьба, предопределение *(лат.)*.

ла, как днем, и чистое небо сияет без месяца и без звезд. Прощальный чистый пурпур зари, быстро умирая, сливается незаметно с воскресающим на востоке воздушным золотом. В бестенной тишине робко плеснули весла. Нева, светлая, ясная, спокойна, как небо. Редко-редко промчится гул над мостом да пронесутся по воде протяжные, заунывные оклики дальней стражи.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный.

I

Лодка то медленно, то быстро скользит вдоль уснувших улиц Петрограда. Спит величавое Адмиралтейство со своими нимфами и героями загрезившими призрачно на рассвете. В светлой вышине похолодевший шпиц стынет серебряной иглой. Молчаливо дремлет Летний сад, прямолинейное создание державного великана. Сам великан тлеет в гробнице Петропавловского собора, сложив на широкой груди трудовые руки, а бронзовый его двойник взлетел над Невой на коне, попирая бурными копытами усмиренного навеки змея. Петровы липы безмолвны; не шелохнется их дремотная листва. Недвижно чутки сквозь сон стерегущие их мраморные боги, трофеи победоносного Суворова из покоренной Варшавы.

Весла равномерно плескали.

— Мы, как сонные колодники,— из тюрьмы да в зеленый лес,— заговорил Сверчок.— После трактирной духоты слаще дышится на прохладе.— Он сбросил плащ и сюртук и уселся на носу в белом распахнутом жилете.— Последняя вольность! Скоро затянусь я в гусарский доломан. Прости, свобода! Но, право, за прелести походной жизни я готов отдать все льготы штатского прозябанья.

— Ничего нет хорошего в походной жизни. Ты проклянешь эти прелести в первый же месяц,— с кормы отозвался Вася.

В молчании лодка стремилась зеркальной гладью.

— Я думаю,— сказал Черкес, отдавая лодочнику весла,— что отраднее деревенской тишины нет ничего на свете. Что все эти походы, почести, ордена? Никакая слава не заменит мне истинного счастья. В службе одни вечные

хлопоты да тревоги. Так и быть, проторчу в коллегии еще одну зиму, а с весны навсегда переселюсь в деревню. Буду хозяйничать, зайцев травить да за соседками волочиться. В прошлом годе я один прожил всю зиму в вотчине. И ничего, не скучно. Вечером ходишь себе по залам, свищешь да снимаешь со свеч. Выкуришь трубку, другую, чаю с малиновым вареньем напьешься, часок помечтаешь за клавесином,— ан, хвать, и вечер прошел. Соседи ко мне, я к соседям. У меня от природы склонность к семейной жизни. Если б не воля родителя, я давно бы в отставку вышел.

— Нет, я этак не мог бы. В деревне хорошо пожить месяц, два. Баня, малина, все это прекрасно, да скоро надоедает. Зато в гусарах и мечтателю живется хоть куда. Наш Петр Павлыч Каверин остался же философом и, слава богу, здоров, а сушит по дюжине в день клико.

С большой Невы лодка скользнула на Фонтанку. Выдвинулась громада Аничкина дворца; скоро лодка сравнялась с нею. На верхней террасе виднелся издали стройный силуэт военного в эполетах, склоненного при канделябрах над столом.

— В какую рань встает,— вполголоса молвил Вася, застегнув заботливо воротник.— Наш только-только потягивается, а уж этот в мундире. И не ждут саперы, как вдруг нагрянет. Аккуратность любит. Недаром у нас его Карлом Иванычем зовут...

Вася не досказал. Сверчком вдруг овладело буйство. Внезапно вскочив на носу, он поднял руку, кулаком угрожая сидевшему на террасе. В тот же миг Вася схватил проворно Сверчка за ворот и пригнул головой к скамье. Черкес быстро поймал брошенные было весла и вдвоем с лодочником пустился грести изо всей силы.

— С ума сошел: ты всех нас этак погубишь,— сказал Вася, опять пересаживаясь на корму.— Пей, да ума не пропивай.

Сверчок, бледный, стиснул злобно оскаленные зубы.

— Милостивый государь...— Голос его прерывался резко.— Извольте нынче же дать мне сатисфакцию за дерзость. Je ne suis pas garçon pour me prendre par le col. Je vous jette le gant! [1]

Вася приподнял высокую, белую фуражку.

— A vos ordres, monsieur! [2]

— Приехали,— сердито сказал Черкес.

---

[1] Я не позволю хватать меня за горло. Я посылаю вам вызов! *(фр.)*
[2] Я в вашем распоряжении! *(фр.)*

II

Фонтанка и посейчас такая же глухая речонка, какой она была во дни императрицы Екатерины. Правда, покойная государыня повелела одеть в гранит ее низкие берега, но за железными перилами Фонтанка осталась попрежнему захолустьем. Сто лет тому, при Петре Великом, струился здесь мелкий болотистый ручеек; из него накачивали воду в фонтаны Летнего сада. С тех пор Фонтанка получила свое прозвание. Дальше за дворцом стелются унылые финские болота; туда дворцовые служители ходят ранней зарей стрелять перелетных уток.

Здесь мирная и тихая, не по-столичному, жизнь. Редко залетает сюда бешеный барский четверик с озорником форейтором, орущим визгливо свое па-а-ади-и-и! Чаще по набережной дребезжат извозчичьи дрожки, провозя саперных адъютантов в Аничкин дворец с докладом.

В рассветной бледноте лодка приткнулась к берегу. Дикая и неприютная местность открыла несколько разбросанных жалких хижин. Со взгорья издали мигнул огоньком трехоконный домик.

— Сюда возим господ, к гадалке то есть,— молвил Черкесу лодочник.— Прямо в калитку ступай, сейчас отопрут.

Розоватое утро с еле слышным шорохом и роптаньем выступало уже на задрожавшем востоке. Похолодало. Отрезвевшие собутыльники молчали, не глядя друг на друга. Черкес тщательно сложил весла; перегнувшись, зачерпнул пригоршню и, брызгаясь, освежил румяное лицо.

— Я гадать не стану.

Сверчок, нахохлившись, дремал, весь закрытый шляпой.

Вася посмотрел на бледное небо, потянулся, зевнул и, соскочив с кормы, медленно стал подыматься на пригорок. Было видно, как он постучал в крайнее окно. Калитка отворилась, и его впустили.

Сверчок и Черкес, переглянувшись, один за другим спрыгнули с лодки.

— Ну? — спросил Черкес.— Один буду я, а другой?

— Либо Юрьев, либо Никита. Только предваряю вас, господа, условия мои будут беспощадны. Я стреляться намерен насмерть.

Сверчок опять побледнел от злости. Толстая, как у негра, верхняя губа его скуластого лица дрожала, ясные глаза потемнели. Черкес молчал.

Крики чаек возвестили близость зари. Совсем засвежело. Лодочник храпел на скамье под армяком. Из щелкнувшей калитки вышел Вася. Ленивым шагом приблизился он к стоявшим молча друзьям. Усмешка заиграла на красивом его лице.

— Ворожея предсказала мне скорую смерть. В справедливости ее слов уверимся мы сегодня ж в полдень. А покамест надобно мне спешить в манеж.

Вася ткнул лодочника палашом, вскочил на корму и, отчаливая, махнул фуражкой. Сверчок ответствовал учтивым поклоном.

Он внезапно повеселел.

— Обожди же меня, Черкес, я тотчас разделаюсь с гадалкой.

И резво побежал к домику.

III

Всклокоченная босая девчонка в огромном платке отворила, скрипнув, калитку и повела гостя двором к низкому крыльцу. В сенях шибнуло в нос мятой и полынью; медный кофейник ярко блеснул на полке. Черный кот выгнул приветливо спину и шмыгнул, отряхаясь, в дверь.

Голубая комната совсем пуста: ни зеркал, ни картин. Свеча, мерцая, струила холодный свет. У круглого стола, с колодой карт, сидела в креслах полная с орлиным носом женщина, в белом платье. Она пристально взглянула на гостя. Сверчок поклонился.

— Садите у стол,— зазвенел приятный, будто жалобный голос. Под потолком, у окна что-то завозилось: попугай, зеленый с белым хохлом, два раза перевернулся в клетке.— Хотите вы узнавать вашу судьбу?

— Хочу знать мою смерть,— выговорил твердо Сверчок, кусая губы.

Ворожея разложила карты, задумалась и опять посмотрела в глаза Сверчку. Брови ее то сдвигались, то раздвигались.

— Покажить руку.

К ней через стол протянулась маленькая рука с длинными ногтями. Ворожея прищурилась на ладонь и удивленно повела круглым плечом.

— Я не знай... Такой линий, как есть у вас, я еще не встречал до нынче. Тут есть место... вот оно. По картам выходит то ж. Я имею сказать вам, mein Herr, что ваша судьба не есть простая. Du wirst der Abgott deiner Nation werden [1]. Народ будет поклониться вам. Только...— Она смешала карты.—...Бойтесь белый конь и белый человек.

Острый крик попугая заставил Сверчка вскочить. Надменная улыбка скривила его побелевшее лицо. Одолевая дрожь, он уронил на стол червонец и быстро вышел.

Черкес, угрюмый, руки за спиной, поджидая приятеля, прогуливался одиноко.

— Рассказывай, что гадалка?

Сверчок неторопливо свернул плащ и перекинул через плечо.

— Нечего рассказывать. Сперва, по обычаю всех кудесниц, несла вздор и сулила земные блага. Потом велела бояться либо белого человека, либо белого жеребца. Пойдем к Голландцу. Только искупаемся сначала и отдохнем.

Черкес усмехнулся, помолчав.

— А ведь Вася-то белый,— сказал он с косым взглядом на приятеля.

— Ну, значит, будет нынче, слава богу, здоров. Смотри, Черкес, солнце всходит.

Грохнул в крепости утренний барабан.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Богами нам еще даны
Златые дни, златые ночи.

I

С раннего утра в Гостином дворе кипит торговля. От новой Суконной линии до Птичьего ряда лавки и лабазы пестреют товарами; шустрые сидельцы выбегают из-за прилавков, кланяются низко, хватают ранних прохожих за полы и зазывают к себе. Грузные хозяева степенно восседают у дверей на плетеных стульях, прихлебывая горячий сбитень с калачом либо играя с благоприятелями в шашки на расписанной в виде «шашельницы» скамье.

Нищие с рассветом потянулись на работу. Ободранные, пьяные, хромые,— распевают они во всех уголках

---

[1] Ты станешь кумиром своей нации *(нем.)*.

и переходах Гостиного двора. Грязная баба с грудным младенцем смиренно кланяется и причитает Христа ради, а посмотреть, так вместо младенца у нее в поганые тряпки завернуто полено. Там чухонки оравой собирают на свадьбу и, обходя лавки, покрикивают гнусаво: «Помогай невесте!» Тут же трое фонарщиков в кафтанах просят на разбитое стекло: должно быть, пьяный молодец из Гостиного камнем вышиб. Вот тащится полицейский нижний чин,— именинник,— с утра под хмельком, в куцом мундиришке с красными обшлагами, в белых заплатанных штанах. В платочке у него именинный с анисом крендель, а в кульке куры, обрезки сукна, яйцы, сахару кусочки.

— С сахаром нынче небось не разойдешься: рафинадто дорог, по три целковых за фунт, потому идет он, сказывают, прямо из Парижа.

— Что сахар, все теперь, мать моя, вздорожало: шутка ли, говядины фунт пятак, пуд масла коровьего два рубля, сажень дров семь гривен. И не говори, мать, последние времена приходят,— толкует с кумой сморщенная регистраторша в ветхом салопе.

— Добросердечный купец, помоги нищенствующему пииту! Пиит Петр Татаринов просит благородного вспоможения! Прочти акоростишие и дай, что можешь.— Татаринов, небритый, с сизым носом, в изваляпном в пуху сюртуке, и босой, смиренно подносит купцу Огородникову трепаный синий лист, весь исписанный выкрутасами и крючками.

Ты добродетелью сияешь, яко злато,
А добродетель есть премудрая жена.
Той изукрашенный и щедростью богатый,
Ах, воззри на меня: судьба моя — ина.
Растерзан, край одежд твоих я лобызаю
И к щедрому тебе прибежищу взываю!

На свете счастие неведомо пииту.
О сколь безжалостно надмение судеб!
В тебе одном я зрю мою одну защиту.
У милости твоей весь мой насущный хлеб.
Нищ, гладен, край одежд твоих я лобызаю,
А к щедрому тебе прибежищу взываю!

Спасительны дары несет тебе Фортуна,
А я последнего пристанища лишен.
По стогнам града бос бреду, не зная руна.
О щедрый муж! внемли пиита жалкий стон.
Гол, беден, край одежд твоих я лобызаю
И к щедрому тебе прибежищу взываю!

Огородников отмахивается, ухмыляясь, и сует пииту за пазуху медный грош. Зато двух беловолосых слепцов с поводырем-мальчишкой зазывает он в лавку и велит им петь. Странники резко голосят. Хозяин, вздыхая, разглаживает по брюху широкую бороду и сокрушенно смотрится в свои зеркальные голенища.

Прореки мне судьба моя,
Где мне кости сложити?

Взойду на гору высокую,
Снизойду в землю глубокую.

Гробик мой, гро-о-бик,
Вечный мой домик!

Камни соседи мои,
Черви друзья мои...

Торговля в разгаре. Там избили вора, там купца поймали на плутне: не обманешь, не продашь. Над окнами в клетках, щелкая, заливаются соловьи. Сидельцы выкрикивают тонкими голосами:

— К нам пожалуйте! — Что угодно? — У нас покупали!

II

— Ничего у вас нет, ну вас! А называется еще Гостиный двор. Черкес, придется ехать на Невский.

— Помилуйте-с! Все, что угодно-с! Ваше сиятельство, пожалуйте к нам, сюда, осчастливьте-с! — Огородников вскочил, кланяется низко, посмеивается, стаскивая картуз, угодливо гладит бороду — засуетился совсем купчина.

— Врешь, борода, нет у тебя, чего мне угодно. Говори: пистолеты есть?

— Как не быть-с, ваше сиятельство, помилуйте-с! Лучшего оружейника, прямо из Тулы!

— То-то, что мне не тульских надо, а настоящих.

— Настоящих нет, ваше сиятельство, простите великодушно.

— Бог простит. Сделай милость, Черкес, как позавтракаем, по дороге к Никите заезжай на Невский и возьми пару Кухенрейтера либо Лепажа.

Сверчок обмахнулся батистовым платком. Утомленное арапское лицо его измято; он весь раскис. Шелковый плащ небрежно виснет на левой руке и метет пыль по галерее. Черкес по-прежнему угрюм и равнодушно глядит на при-

ветствующего его издали господина. Видный барин пожилых лет, с почтенным подбородком, в летнем сюртуке и низких с желтыми отворотами сапогах, подошел к приятелям.

— Что так рано, государи мои? Видно, всю ночь не спали? Усердные жертвы принесены Бахусу и Венере, не так ли?

— На грех мастера нет, Иван Андреич. Послушали вчера цыганок.

— И каемся в том карателю грешных нравов,— досказал Сверчок.

— Вот уж, государи мои, чего нет, так нет. В молодые годы был я куда беспутней всех вас. За картами высиживал по целым неделям, и юность есть-таки чем вспомнить,— проскочила она весело и шумно. Ну, а под старость всяк поневоле делается Катоном. Что ж и остается?

Иван Андреич усмехнулся лукавым глазом.

— Куда вас бог несет, Иван Андреич?

— А никуда. Прогуливаюсь себе по Гостиному в видах, так сказать, геморроидальных.— Иван Андреич, не торопясь, открыл серебряную табакерку и захватил большую щепоть Рапе́.— Угодно вам, господа?

III

На биржевой набережной пробуют свежих устриц. Привез их вчерашний день с отмели старик голландец. В несколько дней, один, с мальчиком-юнгой да с лохматой собакой, сплавал он по тихой погоде и примчал с собой не один бочонок. В лавочке, за накрытыми столиками, у самой воды, столичные любители с утра глотают жирных морских затворниц. Хозяин доволен удачным ловом: он ласково бормочет, ухмыляется и с улыбкой во весь сморщенный рот принимает и подает фаянсовые тарелки. Обветренный, красный юнга с обезьяньим проворством льет в стаканы портер; веселая старая собака, приветствуя гостей, машет пушистым хвостом.

— Так вечером опять на Крестовский.— Сверчок брызнул в раскрытую сырую раковину лимонным соком.— Послушаем Танюшу. Не знаю, правда ли, будто Каталани подарила ей шаль. Что ты, Павел?

— Так, ничего... померещилось. Тьфу, пропасть!.. что значит всю ночь не спать.

— Да что с тобой?

— Пустое...— Черкес улыбнулся насильно белыми губами.— Выпьем скорей!

Принесли аи, но сладострастное его шипенье не развеселило поникшего Черкеса. Зато Сверчок разошелся и принялся дурить. Он разговаривал с хозяином по-голландски, поил юнгу вином, потчевал раковинами собаку. Черкес все хмурился и, наконец вытащив нетерпеливо плоский с екатерининским вензелем брегет, сунул его Сверчку.

— Так поезжай ты один, а я здесь останусь. Надо допить бутылку. А вот кстати и Федя Юрьев.

Точно: Юрьев в полной форме, в высоком хвостатом кивере, подходил к приятелям с набережной мерным шагом. Спокойное рыжеватое лицо в веснушках, как всегда, было сдержанно и невозмутимо сурово. Гремя саблей, лейб-улан опустился на скамью.

— Ну? — слабо спросил Черкес. Юрьев, понурясь, закрутил усы.

— Скверная новость, господа. Васю сейчас в манеже заколол солдат.

Черкес ахнул и побледнел как скатерть. Глаза его остолбенели, задрожавшие руки уцепились судорожно за стол, и тарелка вдребезгах зазвенела на полу. Сверчок молчал. Казалось, он не слышал роковой вести. Лицо его сенила задумчивая строгость. Не подымая глаз со сверкавшего игристыми иголками бокала, он медленно глотал одну устрицу за другой.



РЕЯ СИЛЬВИЯ

ПОВЕСТЬ ИЗ ЖИЗНИ VI ВЕКА

I

Мария была дочерью Руфия, каллиграфа. Ей не было еще десяти лет, когда 17 декабря 546 года Рим был взят королем готов Тотилою. Великодушный победитель приказал всю ночь трубить в букцины, чтобы римляне, узнав об опасности, могли бежать из родного города. Тотила знал ярость своих воинов и не хотел, чтобы все население древней столицы мира погибло под мечами готов. Бежал и Руфий со своей женой Флоренцией и маленькой дочкой Марией. Беглецы из Рима громадной толпой целую ночь шли по Аппиевой дороге; сотни людей в изнеможении падали на пути. Все же большинству, в том числе и Руфию с семьей, удалось добраться до Бовилл, где, однако, для очень многих не нашлось приюта. Пришлось римлянам расположиться станом в поле. Позднее все разбрелись в разные стороны, ища какого-нибудь пристанища. Некоторые пошли в Кампанию, где их захватывали в плен господствовавшие там готы; другие добрались до моря и даже получили возможность уехать в Сицилию; третьи остались нищенствовать в окрестностях Бовилл или перебрались в Самний.

У Руфия был друг, живший около Корбия. К этому бедному человеку по имени Анфимий, промышлявшему на маленьком клочке земли разведением свиней, и повел свою семью Руфий. Анфимий принял беглецов и делил с ними свои скудные запасы. Живя в жалкой хижине свинопаса, Руфий узнал о всех бедствиях, постигших Рим. Тотила одно время грозил срыть Вечный Город до основания и обратить его в пастбище. Потом готский король смило-

стивился, удовольствовался тем, что было сожжено несколько участков города и разграблено все, что еще уцелело от алчности и ярости Алариха, Генсериха и Рицимера. Весной 547 года Тотила покинул Рим, но увел с собою всех еще оставшихся в нем жителей. В течение 40 дней столица мира стояла пустой: в ней не было ни одного человека, и по улицам бродили только одичавшие животные и дикие звери. Потом, несмело и понемногу, римляне стали возвращаться в свой город. А несколько дней спустя Рим был занят Велисарием и опять присоединен к владениям Восточной империи.

Тогда вернулся в Рим и Руфий с семьей. Они разыскали на Ремурии свой маленький дом, по незначительности его пощаженный грабителями. Почти все скудное имущество Руфиев оказалось цело, в том числе и библиотека с драгоценными для каллиграфа свитками. Казалось, что можно было позабыть пережитые бедствия, как тягостный сон, и продолжать прежнюю жизнь. Но очень скоро выяснилось, что такие надежды обманчивы. Война далеко не кончилась. Пришлось пережить новую осаду Рима Тотилою, когда опять жители сотнями умирали от голода и от недостатка воды. После того как готы сняли наконец безуспешную осаду, Велисарий также покинул Рим, и город оказался под властью алчного византийца Конона, от которого римляне так же убегали, как от врага. Еще после готы вторично заняли Рим, воспользовавшись изменою стражи. Впрочем, на этот раз Тотила не только не грабил города, но даже пытался ввести в нем некоторый порядок и хотел восстановить разрушенные здания. Наконец после смерти Тотилы Рим был взят Нарсесом. Это было в 552 году.

Как пережили Руфии эти бедственные шесть лет, трудно даже выяснить. В годы войны и осад никому не было надобности в искусстве каллиграфа. Никто более не заказывал Руфию списков с творений древних поэтов или отцов церкви. Не было в городе таких властей, к которым нужно было бы писать каллиграфически разного рода прошения. Жителей в городе было мало, денег еще меньше, а всего меньше съестных припасов. Приходилось добывать себе пропитание всякой случайной работой, служа и готам, и византийцам, не брезгуя порой и ремеслом каменщика при починке городских стен или носильщика вьюков для войска. При всем том бывали не только дни, но целые недели, когда всей семье случалось голодать. О вине нечего было и думать, и пить надо было скверную воду из цистерн и из Тибра, так как водопроводы были разрушены

готами. Только потому и можно было сносить такие лишения, что им подвергались все, без исключения. Потомки сенаторов и патрициев, дети богатейших и знатнейших родов вымаливали на улицах кусок хлеба, как нищие. Рустициана, дочь Симмаха и вдова Боэция, протягивала руку за подаянием.

Не удивительно, что в эти годы маленькая Мария была предоставлена себе самой. В раннем детстве отец выучил ее читать по-гречески и по-латыни. Но после возвращения в город ему некогда было заниматься дальше ее образованием. Целыми днями она делала, что ей вздумается. Мать не принуждала девочку помогать по хозяйству, так как и хозяйства почти никакого не было. Чтобы скоротать время, Мария читала книги, сохранявшиеся в доме потому, что их некому было продать. Но чаще уходила из дому и, как дикий зверок, бродила по пустынным улицам, форумам и площадям, слишком обширным для ничтожного теперь населения. Редкие прохожие скоро привыкли к худенькой черноглазой девочке в оборванном платье, шмыгавшей везде, как мышь, и не обращали на нее внимания. Рим сделался как бы громадным домом для Марии. Она узнала его лучше, чем любой составитель описания его достопримечательностей прежнего времени. День за днем Мария исходила все необъятное пространство города, вмещавшее когда-то свыше миллиона жителей, научилась любить одни его уголки, стала ненавидеть другие. И часто только поздно вечером она возвращалась домой, под невеселый отчий кров, где не раз случалось ей ложиться спать без ужина, после целого дня, проведенного на ногах.

Мария в своих блужданиях по городу забиралась в самые отдаленные части города, по сю и по ту сторону Тибра, где стояли пустые, частью сгоревшие дома, и там мечтала о прошлом величии Рима. Она разглядывала на площадях немногие уцелевшие статуи — огромного быка на Бычьем форуме, бронзовых гигантов слонов на Священной улице, изображения Домициана, Марка Аврелия и других славных мужей древности, колонны, обелиски, барельефы, стараясь вспомнить, что́ она обо всем этом читала, и, если недоставало знаний, дополняя прочитанное фантазией. Она проникала в покинутые дворцы бывших богачей, любовалась на жалкие остатки прежней роскоши в убранстве покоев, на мозаику полов, на разноцветные мраморы стен, на стоявшие кое-где пышные столы, кресла, светильники. Точно так же посещала Мария и громады терм, казавшиеся отдельными городами в городе, безлюд-

ные во всякое время, так как не было воды, чтобы питать их ненасытные трубы; в некоторых термах еще можно было видеть великолепные мраморные водоемы, мозаичные полы, купальные кресла и ванны из драгоценного алебастра или порфира, а местами и полуразбитые статуи, которыми не воспользовались войска ни готов, ни византийцев как ядрами для своих баллист. В тишине огромных покоев Марии слышались отголоски беспечной и богатой жизни, собиравшей сюда ежедневно тысячи и тысячи посетителей, приходивших встретить друзей, поспорить о литературе или философии, умастить изнеженное тело перед праздничным пиром. В Большом цирке, представлявшемся диким оврагом, так как он весь зарос травой и бурьяном, Мария думала о торжественных состязаниях ристателей, на которых смотрели десятки тысяч зрителей, оглушая счастливых победителей бурей рукоплесканий: Мария не могла не знать об этих празднествах, так как последнее из них (о! горестная тень давнего великолепия!) было устроено еще при ней Тотилою при его втором владычестве в Риме. Иногда же Мария просто уходила на берег Тибра, садилась там в укромном месте, под какой-нибудь полуразрушенной стеной, смотрела на желтые воды прославленной поэтами и ваятелями реки и опять, в тишине безлюдия, думала и мечтала, и еще мечтала и думала.

Мария привыкла жить своими мечтами. Полуразрушенный, полупокинутый город давал щедрую пищу ее воображению. Все, что Мария слышала от старших, все, что она без порядка прочла в книгах отца, смешалось в ее голове в странное, хаотическое, но бесконечно пленительное представление о великом, древнем городе. Она была уверена, что прежний Рим был поистине, как это говорили поэты, средоточием всей красоты, городом-чудом, где все было очарованием, где вся жизнь была один сплошной праздник. Века и эпохи путались в бедной головке девочки, времена Ореста казались ей столь же отдаленными, как правление Траяна, а царствование мудрого Нумы Помпилия столь же близким, как и Одоакра. Древность была для нее все, что предшествовало готам; далекой, и еще счастливой, стариной — правление Великого Теодориха; новое время начиналось для Марии только со дня ее рождения, с первой осады Рима при Велисарии. В древности все казалось Марии дивно, прекрасно, изумительно, в старине — все привлекательно и благополучно, в новом времени — все бедственно и ужасно. И Мария старалась

не замечать жестокой современности, мечтами живя в милой ей древности, среди любимых героев, которыми были и бог Вакх, и второй основатель города Камилл, и Цезарь, вознесшийся звездой на небо, и мудрейший из людей Диоклециан, и несчастнейший из великих Ромул Августул. Все они и многие другие, чьи только имена случалось слышать Марии, были любимцами ее грез и обычными видениями ее полудетских снов.

Мало-помалу Мария в мечтах создала свою историю Рима, ничем не похожую на ту, которую рассказывал когда-то красноречивый Ливий, а потом другие историки и анналисты. Любуясь уцелевшими статуями, читая полустертые надписи, Мария все толковала по-своему, везде находила подтверждения своим безудержным вымыслам. Она говорила себе, что такая-то статуя изображает юношу Августа, и уже никто не мог бы уверить девочку, что это — плохой портрет какого-то полуварвара, жившего всего лет пятьдесят назад и заставившего неумелого делателя гробниц обессмертить свои черты из куска дешевого мрамора. Или, видя барельеф, изображающий сцену из «Одиссеи», Мария создавала из него длинный рассказ, в котором опять появлялись ее любимые герои — Марс, Брут или император Гонорий, и потом уже была убеждена, что эту историю вычитала в одной из отцовских книг. Она создавала легенду за легендой, миф за мифом и жила в их мире, как в более подлинном, чем мир, описанный в книгах, а тем более чем тот жалкий мир, который окружал ее.

Намечтавшись вдоволь, утомленная ходьбой и измученная голодом, Мария возвращалась в свой родной дом. Там ее угрюмо встречала мать, озлобившаяся от всех пережитых несчастий, сурово совала ей кусок хлеба с сыром или луковицу чесноку, если это находилось в кухне, да присоединяла иногда к скудному ужину несколько бранных слов. Мария, дичась, как пойманная птица, наскоро съедала поданное и спешила в свою каморку, на жесткую постель, чтобы опять мечтать, в минуты перед сном и в самом сне, о блаженных, ослепительных временах древности. В исключительно счастливые дни, когда отец бывал дома и в духе, он иногда заговаривал с Марией. Но и тогда быстро их разговор переходил на ту же, милую обоим древность. Мария расспрашивала отца о прошлом Рима и, затаив дыхание, слушала, как старый каллиграф, увлекаясь, начинал говорить о величии империи при Феодосии или декламировал стихи древних поэтов — Вергилия, Авсония и Клавдиана. И еще более помрачался хаос

в бедной головке девочки, и порой ей начинало казаться, что действительная жизнь только снится ей, а что в самом деле она живет в блаженные годы Энея, Августа или Грациана.

II

После занятия Рима Нарсесом жизнь в городе стала принимать более или менее обычный ход. Правитель поселился на Палатине, часть разоренных комнат императорского дворца была для него расчищена, и по вечерам они светились огнями. Византийцы привезли с собой деньги, в Риме возобновилась торговля. Большие дороги стали сравнительно безопасны, и обнищавшие жители Кампании повезли в Рим на продажу припасы. Там и сям вновь открылись винные таберны. Появился спрос даже на предметы роскоши, покупавшиеся главным образом женщинами легкого поведения, которые вороньей стаей следовали за разноплеменным войском великого евнуха. Зашмыгали по всем улицам монахи, от которых тоже было можно кое-чем поживиться. Тридцать или сорок тысяч жителей, скопившихся теперь в Риме, считая с войском, придавали городу, особенно в его средней части, вид населенного и даже оживленного места.

Нашлась наконец настоящая работа и для Руфия. Нарсес, а потом его преемник, византийский дукс, принимали разные жалобы и прошения, для переписки которых требовался искусный каллиграф. Эдикты Юстиниана, признавшего одни из актов готских королей и отвергшего другие, подавали повод к бесконечным кляузам и судебным процессам. Приходилось переписывать и бумаги, направляемые прямо его святости, императору, в Византию, за что платили сравнительно хорошо. Выпадали и более важные заказы. Один новый монастырь пожелал иметь каллиграфический список богослужебных книг. Какой-то чудак заказал список поэм славного Рутилия. В доме Руфиев опять появилось некоторое довольство. Семья каждый день могла обедать и уже не дрожала за судьбу следующего дня.

Все могло бы пойти хорошо в доме Руфиев, если бы каллиграф, сильно постаревший за годы лишений, не начал пить. Нередко весь заработок он оставлял в какой-нибудь таберне или копоне. Для Флоренции это было жестоким ударом. Она всячески боролась с несчастной

страстью мужа, отбирала у него заработанные деньги, но Руфий пускался на всякие хитрости и всё находил способы напиться. Мария, напротив, любила дни, когда отец бывал пьян. Тогда он возвращался домой веселым, не обращал внимания на плач и укоры Флоренции, но охотно звал к себе Марию, если та была дома, и опять говорил ей без конца о прошлом величии Вечного Города и читал ей стихи старых поэтов и своего собственного сочинения. Полубезумная девочка и пьяный отец как-то понимали друг друга и часто до поздней ночи просиживали вдвоем, когда разгневанная Флоренция, бросив их, уходила спать одна.

Сама Мария не изменила своей жизни. Напрасно отец, когда бывал трезв, заставлял ее помогать ему в работе. Напрасно мать гневалась на то, что дочь не разделяет с ней трудов по хозяйству. Когда Марию принуждали, она нехотя, угрюмо переписывала несколько строк или очищала несколько луковиц, но при первой возможности убегала из дому, чтобы опять целый день бродить по своим любимым уголкам города. Ее бранили, когда она возвращалась, но Мария выслушивала все упреки молча, не возражая ни слова. Что было ей до брани, когда в ее мечтах еще блистали все роскошные картины, которыми она тешила свое воображение, притаившись около порфирной ванны в термах Каракаллы или запрятавшись в густой траве на берегу старого Тибра. Ради того, чтобы у нее не отнимали ее видений, она охотно снесла бы и побои, и всякие мучения. В этих видениях была вся жизнь Марии.

Осенью 554 года Мария видела на улицах Рима триумфальное шествие Нарсеса — последний триумф, отпразднованный в Вечном Городе. Разноплеменное войско евнуха, в которое входили греки, гунны, герулы, гепиды, персы, нестройной толпой шло по Священной улице, неся богатую добычу, отнятую у готов. Воины пели веселые песни на самых разнообразных языках, и их голоса сливались в дикий оглушающий вой. Полководец, увенчанный лаврами, ехал на колеснице, запряженной белыми конями. У ворот Рима его встретило несколько человек, одетых в белые тоги, выдававших себя за сенаторов. Нарсес через полуразрушенный Рим, по улицам, на которых между мощными плитами камней прорастала трава, направился к Капитолию. Там Нарсес сложил свой венок перед статуей Юстиниана, откуда-то добытой для этого случая. Потом, уже пешком, опять через весь Рим, проследовал к базилике св. Петра, где был встречен папою и духовенст-

вом в торжественных облачениях. Толпившиеся на улицах римляне без особого восторга смотрели на это зрелище, которому действующие лица стремились придать пышность. Торжество византийцев было для римлян делом чужим, почти что торжеством врагов родины.

И на Марию триумф не произвел никакого впечатления. Равнодушными глазами смотрела она на пестрые одежды воинов, на триумфальную тогу евнуха, маленького безбородого старичка с бегающими глазами, на торжественные ризы духовенства. Песни и воинственные крики войска только наводили ужас на Марию. Так непохожим казалось ей все это на те триумфы, которые она так часто воображала в своих одиноких мечтах, — на триумфы Августа, Веспасиана, Валентиниана! Здесь все ей представлялось страшным и безобразным; там все было великолепие и красота! И, не дождавшись конца триумфа, Мария убежала от базилики св. Петра на Аппиеву дорогу, к своим любимым развалинам терм Каракаллы, чтобы в тиши мраморных зал свободно плакать о невозвратном прошлом и видеть его в грезах вновь живым и прекрасным, каким оно только и может быть. В этот день Мария вернулась домой поздно и не хотела отвечать на расспросы, видела ли она триумф.

Марии в это время было уже почти восемнадцать лет. Она не была красива. Худая, с неразвитой грудью, с болезненным румянцем, с дикими, черными глазами, она скорее пугала, чем привлекала внимание. У нее не было подруг. Когда соседские девушки заговаривали с ней, она им отвечала односложно, отрывисто, спешила прервать всякий разговор. Что они, эти другие девушки, понимали в ее тайных мечтах, в ее заветных видениях! О чем было Марии говорить с ними! Ее считали не то дурочкой, не то помешанной. К тому же она никогда не ходила в церковь. Иногда на пустынной улице пьяный прохожий приставал к Марии, пытался ущипнуть ее за локоть или обнять. Тогда Мария оборонялась как дикая кошка, царапалась, кусалась, пускала в ход кулаки, и ее оставляли в покое. Нашелся все-таки один юноша-сосед, сын медника, посватавшийся к Марии. Когда мать сказала ей об этом, Мария встретила известие с истинным ужасом. Когда же мать стала настаивать, говоря, что лучшего мужа теперь искать негде, Мария начала рыдать с таким отчаянием, что Флоренция отступилась от нее, порешив, что дочь или еще слишком молода для замужества, или и в самом деле не совсем в своем уме. Так Марию и оставили жить на

свободе и наполнять свой бесконечный досуг всем, чем ей угодно.

Проходили дни, недели и месяцы. Руфий работал и пил. Флоренция хлопотала по хозяйству и бранилась. Оба считали себя несчастными и проклинали свою горестную судьбу. Одна Мария была счастлива в мире своих грез. Все меньше и меньше замечала она ненавистную действительность, окружавшую ее. Все глубже и глубже уходила она в царство своих видений. Уже она разговаривала с образами, созданными ее воображением, как с живыми людьми. Домой она возвращалась в уверенности, что сегодня повстречалась с богиней Вестой, а сегодня — с диктатором Суллою. Она вспоминала то, что пережила в мечтах, как бывшее на самом деле. В часы ночных бесед с пьяным отцом она пересказывала ему эти свои воспоминания, и старый Руфий не удивлялся им: по поводу каждого рассказа у него были наготове какие-нибудь стихи, он дополнял и развивал безумные грезы дочери, и, слушая сквозь сон их странные беседы, Флоренция то плевала и произносила проклятия, то крестилась и шептала молитву Пресвятой Деве.

III

Весной следующего за триумфом года Мария, блуждая вокруг разрушающихся стен терм Траяна, заметила, что в одном месте, где, по-видимому, уже начинался Эсквилинский холм, есть в земле странное отверстие, словно вход куда-то. Местность была пустынная; кругом стояли только необитаемые, покинутые дома; мостовые были испорчены, и обрывистый склон холма зарос бурьяном. После некоторых стараний Марии удалось добраться до раскрытой трещины. За ней был темный и узкий проход. Мария без колебания поползла по нему. Ползти пришлось долго в совершенной темноте и в спертом воздухе. Внезапно проход кончился обрывом. Когда глаза Марии привыкли к сумраку, она при слабом свете, доходившем из отверстия, различила, что перед ней обширный зал какого-то неведомого дворца. Подумав немного, девушка сообразила, что ей не удастся осмотреть его без освещения. Она осторожно выбралась назад и весь тот день пробродила в раздумье. Рим казался ей ее достоянием, и она не могла снести мысли, что было в городе что-то, ей неизвестное.

На другой день Мария, запасшись самодельным факелом, вернулась на прежнее место. Не без опасности для себя она спустилась в открытый ею зал и там зажгла факел. Величественный покой предстал ее взорам. Стены до половины были мраморные, а выше расписаны дивной живописью. В нишах стояли бронзовые статуи работы изумительной, казавшиеся живыми людьми. Можно было различить, что пол, засыпанный мусором и землей, был мозаичный. Налюбовавшись новым зрелищем, Мария смело пошла вперед. Через огромную дверь она проникла в целый лабиринт ходов и переходов, приведших ее в новый зал, еще более великолепный, чем первый. Дальше следовала целая анфилада покоев, убранных мрамором и золотом, стенной живописью и статуями; во многих местах еще стояла драгоценная мебель и разная домашняя утварь тонкой работы. Кругом бегали ящерицы, пауки и мокрицы, шныряли летучие мыши, но Мария не замечала ничего, упоенная единственным зрелищем. Перед ней была жизнь древнего Рима, живая, во всей своей полноте, наконец-то обретенная Марией!

Долго ли Мария наслаждалась в тот день своим открытием, она сама не знала. От сильного волнения или от спертого воздуха ей сделалось дурно. Когда она очнулась на каменном, сыром полу — оказалось, что ее факел погас, догорев. В совершенной тьме Мария ощупью начала искать дорогу к выходу. Она блуждала долго, много часов, но только путалась в бессчетных переходах и покоях. В затуманенном сознании девушки уже мелькала мысль, что ей суждено умереть в этом неведомом, погребенном под землей дворце. Такая мысль не пугала Марию: напротив, ей представлялось прекрасным и желанным кончить жизнь среди пышной обстановки древней жизни, в мраморном зале, где-нибудь у подножия прекрасной статуи. Мария жалела лишь об одном: что кругом было темно и что ей не суждено будет видеть ту красоту, среди которой будет умирать... Неожиданно впереди блеснул луч света. Собрав силы, Мария пошла к нему. То был лунный свет, проникавший через трещину, похожую на вход, которым Мария проникла во дворец. Но эта трещина была в совершенно другом зале. С большими усилиями, карабкаясь по выступу стен, Мария добралась до этого отверстия и выбралась на волю, в час, когда весь город уже спал и луна полновластно царила над грудами полуразрушенных зданий. Пробираясь вдоль стен, чтобы ее не заметили, Мария вернулась домой, изнеможенная, чуть жи-

вая. Отца не было дома — он пропал на всю ночь, а мать ограничилась несколькими грубыми окриками.

После того Мария начала ежедневно посещать открытый ею подземный дворец. Понемногу она изучила все его переходы и залы, так что могла бродить по ним в полной темноте, без опасения опять потерять дорогу. Впрочем, она всегда приносила с собой маленькую лампу или смоляной факел, чтобы вдоволь любоваться на роскошное убранство покоев. Мария изучила их все. Она знала комнаты, сплошь расписанные и убранные красным, другие, где преобладал желтый цвет, третьи, напоминавшие своей зеленой росписью свежие луга или сад, четвертые — все белые, с украшениями из черного эбенового дерева; она знала все стенные картины, изображающие то сцены из жизни богов и героев, то знаменитые битвы древности, то облики великих мужей, то смешные приключения фавнов и амуров; она знала и все сохранившиеся во дворце статуи, бронзовые и мраморные, и маленькие бюсты в нишах, и торжественные изваяния во весь рост, и необъятную громаду, представляющую трех человек, мужчину и двух юношей, сплетенных кольцами гигантских змей и тщетно пытающихся освободиться из гибельных объятий.

Среди всех украшений подземного дворца Марии особенно полюбился один барельеф. Он изображал девушку, худую и стройную, покоящуюся в глубоком сне в какой-то пещере; около девушки в военных доспехах стоял юноша с благородным лицом, дивной красоты; над ними, как бы в облаках, была изображена плетеная корзина с двумя младенцами, плывущая по реке. Марии казалось, что черты изображенной девушки похожи на нее, на Марию. Она узнавала самое себя в этой тоненькой спящей царевне и не уставала целыми часами любоваться на нее, воображая себя на ее месте. Временами Мария готова была верить, что какой-то древний художник чудом угадал, что некогда явится в мир девушка Мария, и заранее создал ее портрет в барельефе таинственного, заколдованного дворца, который должен был сохраняться неприкосновенным под землей в течение столетий. Смысл других фигур на барельефе долгое время оставался для Марии темным.

Но однажды вечером Марии случилось опять разговориться с отцом, вернувшимся домой веселым и пьяным. Они были одни, так как Флоренция, по обыкновению, оставила их болтать свои глупости и ушла к себе спать.

Мария рассказала отцу о найденном ею подземном дворце и его сокровищах. Старый Руфий отнесся к этому рассказу так же, как ко всем другим бредням дочери. Когда она ему говорила, что встретила сегодня на улице Великого Константина и тот милостиво с ней беседовал, Руфий не удивлялся, но начинал говорить о Константине. Теперь, когда Мария рассказала о сокровищах неведомого дворца, старый каллиграф тотчас заговорил об этом дворце.

— Да, да, дочка! — сказал он.— Между Палатином и Эсквилином, это действительно там. Это — Золотой дом императора Нерона, самый прекрасный из дворцов, когда-либо воздвигавшихся в Риме! Нерону для него не хватало места, и он сжег Рим. Рим горел, а император декламировал стихи о пожаре Трои. Потом же на расчищенном месте воздвиг свой Золотой дом. Да, да, между Палатином и Эсквилином, ты права. Прекраснее в городе не было ничего. Но после смерти Нерона другие императоры из зависти этот дворец разрушили и засыпали землей: его нет более. Построили на его месте дома и термы. Но это был самый прекрасный из дворцов!

Тогда, осмелившись, Мария рассказала и о полюбившемся ей барельефе. И опять не удивился старый каллиграф. Он тотчас объяснил дочери, что хотел изобразить художник:

— Это, дочка моя,— Рея Сильвия, весталка, дочь царя Нумитора. А юноша — это бог Марс, полюбивший девушку и отыскавший ее в священной пещере. У них родились близнецы, Ромул и Рем. Рею Сильвию утопили в Тибре, а младенцев вскормила волчица, и они стали основателями Города. Да, все это так было, дочка.

Руфий подробно рассказал Марии трогательную сказку о провинившейся весталке Илии или Рее Сильвии и сейчас же начал декламировать стихи из «Метаморфоз» древнего Насона:

Proximus Ausonias iniusti miles Amuli
Rexit opes... [1]

Но Мария уже не слушала отца; она тихо повторяла про себя:

— Это — Рея Сильвия! Рея Сильвия!

---

[1] Воин Амулий потом авзонийскою правил страною,
Прав не имея на то...

(Пер. с лат. С. В. Шервинского.)

IV

С того дня еще больше времени стала проводить Мария перед чудесным барельефом. Она приносила с собой, вместе с факелом, скудный завтрак,— чтобы больше часов оставаться в подземном дворце, который считала более своим домом, чем дом отца. Мария ложилась на холодный и скользкий пол перед изображением дочери Нумитора и при слабом свете смоляного факела долгими часами всматривалась в черты лица тоненькой девушки, спящей в священной пещере. С каждым днем все более казалось Марии, что она странно похожа на эту древнюю весталку, и мало-помалу, в мечтах, уже не умела различить, где бедная Мария, дочь Руфия, каллиграфа, и где несчастная Илия, дочь царя Альбы Лонги. Себя самое Мария уже не называла иначе как Рея Сильвия. Лежа перед барельефом, она мечтала, что и к ней, в этой новой священной пещере, явится бог Марс, что и у нее родятся от божественных объятий близнецы, Ромул и Рем, которые станут основателями Вечного Города. Правда, за это надо было заплатить смертью, погибнуть в мутных водах Тибра,— но разве страшила Марию смерть? Часто Мария засыпала с такими грезами перед барельефом, и во сне ей снился тот же бог Марс, с благородным лицом дивной красоты, и его божественные, обжигающие объятия. И, проснувшись, Мария не знала, было ли то во сне или наяву.

Стоял уже палящий июль, когда улицы Рима в полдень пустели, словно после грозного приказа короля Тотилы. Но в подземном дворце было прохладно и влажно, и Мария по-прежнему каждый день приходила сюда, чтобы дремать в привычных сладких грезах перед изображением Илии, мечтая о своем суженом — боге. И когда однажды, в легкой дремоте, она вновь предавалась обжигающим ласкам Марса, внезапно какой-то шум заставил ее проснуться. Мария открыла глаза, еще ничего не понимая, и огляделась кругом. При свете маленького факела, вставленного в расщелину между камнями, она увидела перед собой юношу. Он был не в военном доспехе, но в той одежде, какую обычно носили небогатые римляне, однако лицо юноши было исполнено благородства и Марии показалось сияющим дивной красотой. Несколько мгновений смотрела Мария изумленно на неожиданное явление, на человека, проникшего в этот заколдованный дворец, который она считала известным лишь себе одной. Потом, присев на полу, девушка спросила просто:

— Ты пришел ко мне?

Юноша улыбнулся улыбкой тихой и пленительной и отвечал также вопросом:

— А кто ты, девушка? Не гений ли этого места?

Мария сказала:

— Я — Рея Сильвия, весталка, дочь царя Нумитора. А ты не бог ли Марс, ищущий меня?

На это юноша возразил:

— Нет, я — не бог, я — смертный человек, меня зовут Агапит, и я не искал тебя здесь. Но все равно, я рад найти тебя. Здравствуй, Рея Сильвия, дочь царя Нумитора!

Мария позвала юношу сесть с ней рядом, что он тотчас и исполнил. Так они сидели вдвоем, девушка и юноша, на сыром полу, в пышном зале засыпанного землей Золотого дома Нерона, смотрели друг другу в глаза и сначала не знали, о чем говорить. Потом Мария, показав юноше на барельеф, стала пересказывать легенду о несчастной весталке. Но юноша прервал рассказ:

— Я это знаю, Рея,— сказал он,— но как странно: лицо девушки на барельефе действительно похоже на твое.

— Это — я,— возразила Мария.

Столько уверенности было в ее словах, что юноша смутился и не знал, что думать. А Мария нежно положила руки ему на плечи и стала говорить вкрадчиво и почти робко:

— Не отказывайся: ты — бог Марс, принявший смертный облик. Но я тебя узнала. Я давно тебя ждала. Я знала, что ты придешь. И я не боюсь смерти. Пусть меня утопят в Тибре.

Долго слушал юноша бессвязные речи Марии. Все было странно кругом. И этот подземный, никому неведомый дворец с его великолепными покоями, где жили только ящерицы да летучие мыши. И эта полутьма огромного зала, чуть освещаемая слабым светом двух факелов. И эта безвестная девушка, похожая на Рею Сильвию древнего барельефа, с ее непонятными речами, чудесным образом попавшая в погребенный Золотой дом Нерона. Юноша чувствовал, что та грубая действительность, которой он только что жил, перед тем как проникнуть в подземное жилище, исчезала, развеивалась, как утром сон. Еще минута, и юноша сам поверил бы в то, что он — бог Марс и что он встретил здесь любимую им дочь Нумитора, весталку Илию. Сделав над собой последнее усилие, юноша прервал Марию.

— Милая девушка,— сказал он,— выслушай меня. Ты во мне ошибаешься. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Я открою тебе всю правду. Агапит — не мое настоящее имя. Я — гот, и меня зовут на самом деле Теодат. Но я должен скрывать свое происхождение, потому что меня убьют, если об нем узнают. Разве ты не слышишь по моему произношению, что я — не римлянин? Когда мои соплеменники покинули ваш город, я не последовал за ними. Я люблю Рим, люблю его историю и его предания, я хочу жить и умереть в Вечном Городе, который одно время был нашим. Теперь, под именем Агапита, я служу у одного оружейника, работаю днем, а вечером брожу по городу и любуюсь на его уцелевшие памятники. Зная, что на этом месте был Золотой дом Нерона, я пробрался и в это подземелье, чтобы полюбоваться остатками прежней красоты. Вот и все. Я рассказал тебе всю правду и верю, что ты не выдашь меня, потому что одного твоего слова будет достаточно, чтобы послать меня на смерть.

Мария выслушала речь Теодата с недоверием и неудовольствием. Подумав, она сказала:

— Зачем ты меня обманываешь? Зачем ты хочешь принять облик гота? Разве я не вижу нимба вокруг твоей головы? Марс Градив, для других ты — бог, для меня — мой возлюбленный. Не насмехайся над своей бедной невестой, Реей Сильвией!

Опять Теодат долго смотрел на девушку, говорившую безумные слова, и стал догадываться, что ум Марии не в порядке. И когда эта мысль пришла в голову юноше, он сказал себе: «Бедная девушка! Нет, я не воспользуюсь твоей беззащитностью! Это было бы недостойно гота». После этого он тихо обнял Марию и начал с ней говорить как с малым ребенком, не оспаривая ее странных бредней, признавая себя богом Марсом. И долго сидели они в полутьме рядом, не обменявшись ни одним поцелуем, говоря и мечтая вдвоем о будущем Риме, который будет основан двумя близнецами, Ромулом и Ремом, их детьми. Наконец факелы стали догорать, и Теодат сказал Марии:

— Милая Рея Сильвия, уже поздно. Нам должно уходить отсюда.

— А ты вернешься завтра? — спросила Мария.

Теодат посмотрел на девушку. Она казалась ему непонятно привлекательной, со своим худым, полудетским телом, со своим болезненным румянцем на щеках и глубокими черными глазами. Непонятно-привлекательно было и это свидание в полутемной зале погребенного дворца,

перед дивным барельефом неизвестного художника. Теодату захотелось повторить эти минуты странной беседы с бедной помешанной, и он ответил:

— Да, девушка, завтра, в этот же час, после дневной работы, я опять приду сюда, к тебе.

Рука с рукой они направились к выходу. У Теодата была веревочная лестница. Он помог Марии взобраться к трещине, служившей входом во дворец. На улицах уже вечерело.

Прежде чем расстаться, Теодат повторил, глядя в глаза Марии:

— Помни, девушка, что ты никому не должна говорить, что встретилась со мной. Это мне может стоить жизни. Прощай, до завтра.

Он первый спустился на землю и быстро скрылся за поворотом. Мария медленно пошла домой. Если бы в тот вечер ей пришлось вести беседу с отцом, она ничего не рассказала бы ему о пришедшем к ней наконец Марсе Градиве.

V

Теодат не обманул Марии. На другой день, к вечеру, он действительно вновь пришел в Золотой дом, к барельефу, изображающему Марса и Рею Сильвию, где уже ждала Мария. Юноша принес с собой хлеба, сыра и вина. Вдвоем они ужинали в роскошной зале дворца Нерона. Мария опять мечтала вслух о красоте прошлой жизни, о богах, героях и императорах, смешивая рассказы о действительно пережитом ею с бредом своей фантазии, а Теодат, обняв девушку, тихо гладил ее руки и плечи и любовался черной глубиной ее глаз. Потом они вместе гуляли по пустынным подземным покоям, озаряя факелами великие создания эллинского и римского гения. Расставаясь, они вновь дали друг другу обещание встретиться на следующий день.

С того времени каждый день, окончив скучную работу в мастерской оружейника, где изготовлялись и чинились шлемы, копья и панцири для византийского отряда, охранявшего Рим, Теодат шел на свидание со странной девушкой, считавшей себя ожившей весталкой Илией. Непобедимая привлекательность была для юноши и в хрупком теле девушки, и в ее полубезумных речах, которые он готов был слушать целыми часами. Они вместе осматривали все залы, проходы и комнатки дворца, куда только можно было проникнуть, вместе радовались каждой новой

найденной статуе, каждому новому замеченному барельефу, и не было дня, чтобы неожиданное открытие не наполняло их души новым восторгом. День за днем они жили неизменяющим счастием — наслаждаться творениями искусства, и в минуты умиления перед новым мрамором, ваянным, быть может, резцом Праксителя, юноша и девушка приникали друг к другу в объятия в блаженном и чистом поцелуе.

Незаметно и для Теодата Золотой дом Нерона стал родным домом, а Мария — самым близким и самым дорогим существом в мире. Как это случилось, Теодат не знал и сам. Только все другие часы, которые он проводил на земле, казались ему тягостной и ненавистной обязанностью; и лишь время, когда он был вместе с Реей Сильвией, под землей, в забытом дворце древнего императора,— истинной жизнью. Целый день с мучительным нетерпением ждал юноша минуты, когда можно будет наконец оторваться от медных шлемов, клещей и молотков, чтобы с веревочной лестницей, спрятанной под одеждой, бежать на склон Эсквилина, на заветное свидание. Лишь этими свиданиями исчислял Теодат свои дни. Если бы его спросили, что ему нравится в Марии, он затруднился бы ответить. Но без нее, без ее безумных речей, без ее странных глаз — вся жизнь показалась бы ему пустой и лишней.

На земле, в мастерской оружейника или в своей жалкой каморке, которую он снимал у одного священника, Теодат мог рассуждать здраво. Он говорил себе, что его Рея Сильвия — бедная помешанная девушка, что он сам, может быть, поступает дурно, потворствуя ее губительным бредням. Но, сойдя в прохладно-сырую полутьму Золотого дома, Теодат словно менялся весь — мыслями и душой. Он становился иным, не тем, что в зное римского дня или в удушливом воздухе кузницы. Он чувствовал себя в другом мире, там, где действительно можно повстречать и весталку Илию, дочь царя Нумитора, и бога Марса, принявшего облик молодого гота. В этом мире все было возможно и все чудеса естественны. В этом мире прошлое было живо и басни поэтов въявь осуществлялись на каждом шагу.

Не то чтобы Теодат вполне верил в бредни Марии. Но когда она перед какой-нибудь статуей древнего императора начинала говорить о том, как однажды встретила его на форуме и беседовала с ним, Теодату казалось, что в действительности было что-то подобное. Когда Мария рассказывала о богатствах дворца своего отца, царя Нумитора,

Теодат был готов думать, что она рассказывает правду. И когда Мария мечтала о пышности будущего Рима, который будет основан новыми Ромулом и Ремом, Теодат, увлекаясь, сам развивал те же мечты, говорил о новых победах нового Вечного Города, о новом завоевании земли, о новой всемирной славе... И вдвоем они придумывали имена грядущих императоров, которые будут править в городе их детей... Мария не называла себя иначе как Реей Сильвией, а Теодата — иначе как Марсом, и он так привык к этим именам, что порой мысленно сам называл себя именем древнего римского бога войны. И когда оба, и девушка и юноша, пьянели от темноты, от дивных созданий искусства, от близости друг к другу, от странных, полубезумных мечтаний, Теодат почти начинал чувствовать в своих жилах божественный ихор олимпийца.

И опять проходили дни. В самом начале своего знакомства с Марией Теодат дал себе обещание щадить безумную девушку, не пользоваться затмением ее разума и ее беззащитностью. Но с каждым новым свиданием все труднее и труднее становилось Теодату сдерживать свое слово. Каждый день встречаясь с той, которую он уже любил со всей страстностью юношеской любви, проводя наедине с ней долгие часы в уединении, полумраке, касаясь ее рук и плеч, чувствуя близ себя ее дыхание, обмениваясь с ней поцелуями, Теодат был должен употреблять все большие и большие усилия, чтобы не сжать девушку в сильных объятиях, чтобы не привлечь ее к себе с той же лаской, с какой бог Марс привлек к себе когда-то первую весталку. А Мария не только не уклонялась от такой ласки, но как бы искала ее, тянулась, влеклась к ней всем своим существом. Она медлила в объятиях Теодата, когда тот целовал ее, она сама прижималась к его груди, когда они любовались статуями и картинами, она своими большими черными глазами поминутно словно говорила юноше: «Когда же? скоро ли? я устала ждать!» Теодат спрашивал себя: «Полно! да правда ли, что она — безумная? Тогда безумен и я! И не лучше ли наше безумие, чем разумная жизнь всех других людей! Зачем же мы отказываемся от полной радости любви?»

И то, что должно было свершиться неизбежно, свершилось. Свадебным чертогом Марии и Теодата стала одна из великолепных зал Золотого дома Нерона. Зажженные смолистые сучья, вставленные в древние бронзовые светильники с изображением амуров, были их брачными факелами. Союз юной четы благословили мраморные боги, изва-

янные Праксителем, с неземной улыбкой глядевшие из порфирной ниши. Великая тишина погребенного дворца затаила в себе первые страстные вздохи новобрачных, и таинственный полумрак подземелья осенил их побледневшие лица. Не было свадебных песен, не было торжественного пира, но долгие века славы и могущества склонялись над брачным ложем, прах и земля которого казались влюбленным мягче и желаннее, чем пух понтийских лебедей в византийских спальнях.

С того вечера встречи Марии и Теодата стали свиданиями любовников. Долгими ласками сменились их долгие беседы. Страстными признаниями и страстными клятвами — полубезумные речи. Они опять бродили по пустынным покоям Золотого дома, но уже не столько влекли их картины, статуи, мраморы стен и мозаика, сколько возможность в новой комнате снова и снова упасть в объятия друг другу. Они еще мечтали о будущем Риме, который будет основан их детьми, но это радужное видение уже затмевалось счастием несдержанных поцелуев, в пламенном дыме которых исчезала не только действительность, но и мечта. Они еще называли себя Реей Сильвией и богом Марсом, но уже стали бедными земными любовниками, счастливой четой, подобной тысячам тысяч других, живших на земле за тысячи тысяч столетий...

VI

Никогда, вне зал подземного дворца, ни Теодат не старался встретиться с Марией, ни Мария с Теодатом. Они существовали друг для друга лишь в Золотом доме Нерона. Может быть, они даже не узнали бы один другого на земле. Теодат перестал бы для Марии быть богом Марсом, а Мария не показалась бы Теодату красивой и удивительной. Правда, после их сближения честный гот не раз говорил себе, что он должен разыскать истинных родителей девушки, должен жениться на ней и пред всеми людьми, открыто признать ее своей женой. Но день за днем Теодат откладывал исполнение своего решения: ему страшно было разрушить сказочное очарование, в котором он жил, ему страшно было несказанную быль подземных зал сменить на обыкновенную действительность. Может быть, сам Теодат и не так объяснял себе свою медлительность, но все же он не спешил прервать жгучее счастие тайных свиданий и каждый раз, прощаясь с Марией, вновь клялся ей,

что на другой день придет опять. Она же не ждала и не спрашивала большего: с нее было довольно и мечтательного блаженства — быть любимой богом...

— Ты будешь меня любить всегда? — спрашивал Теодат, сжимая своими сильными руками хрупкое тело Марии.

Та качала головой и возражала:

— Я буду любить тебя до смерти. Но ты — бессмертен, а я должна буду умереть скоро. Меня бросят в воды Тибра.

— Нет! нет! — говорил Теодат,— этого не будет! Мы будем жить вместе и вместе умрем. Без тебя я не хочу бессмертия. И после нашей смерти мы будем так же любить друг друга там, на нашем Олимпе!

Но Мария смотрела недоверчиво. Она ждала смерти и была готова к ней. Ей хотелось лишь одного — продлить счастие так долго, как это возможно.

Юноша говорил себе, что ему должно тайно проследить за Марией, узнать, где она живет, прийти в ее дом, к ее настоящему отцу, сказать ему, что он, Агапит, любит эту девушку и хочет сделать ее своей женой. Но когда наступал час расставания, когда Мария, взяв с Теодата клятву, что он вновь придет завтра в Золотой дом, легкой тенью ускользала в вечереющую даль, юноша опять давал себе отсрочку: «Пусть это будет завтра! Пусть еще раз мы встретимся, как Рея Сильвия и бог Марс! Пусть еще продлится эта сказка!» И Теодат уходил к себе домой, в комнатку, которую снимал у священника, чтобы всю ночь грезить о своей возлюбленной и наслаждаться новым счастием — воспоминаний. И никого не спрашивал Теодат о странной девушке с черными глазами, хотя Марию знали едва ли не все в Риме. Да в сущности, Теодату ничего и не хотелось знать о ней, кроме того, что она — весталка Илия и каждый день любовно ждет его, Теодата, в подземной зале дворца Нерона.

Но вот однажды Мария, прождав до вечера, не дождалась Теодата: юноша не пришел. Огорченная и смущенная вернулась Мария домой. Бред, наполнявший ее голову, как бы несколько прояснился с того дня, когда она предалась Теодату, и Мария уже могла успокаивать себя, говоря, что ее возлюбленного что-нибудь задержало. Но юноша не пришел ни на другой день, ни на третий. Он вдруг исчез совсем, и тщетно Мария ждала его на условленном месте час за часом, день за днем, ждала в томлении, в отчаянии, рыдая, молясь и древним божествам и теми молитвами, каким ее учила когда-то мать: не было ответа ни на ее слезы, ни на ее мольбы. По-прежнему

неземной улыбкой улыбались мраморные боги в нишах стен, по-прежнему живописью и мозаикой блистали пышные покои древнего дворца, но Золотой дом стал вдруг для Марии пустым и страшным. Из блаженного рая, из страны полей Елисейских он вдруг превратился в ад жестоких мучений, в черный Тартар, где только ужас, одиночество, невыносимое горе и невыносимая боль. С безумной надеждой по-прежнему каждый день шла Мария в подземелье, но она шла теперь туда, как к месту пыток. Там ждали ее горькие часы обманутого ожидания, страшные воспоминания о недавнем счастии и новые, долгие, безутешные слезы.

Всего страшнее, всего мучительнее было Марии именно подле барельефа, изображающего весталку Рею Сильвию спящей в священной пещере и бога Марса, приближающегося к ней. К этому барельефу влекли Марию все воспоминания, но близ него тоска самая непобедимая овладевала ее душой. Здесь Мария падала на пол и билась головой о каменные мозаичные плиты, закрывая глаза, чтобы не видеть лучезарного лика бога. «Вернись, вернись! — повторяла она в своем безумии.— Приди еще только один раз! Божественный, бессмертный, сжалься над моими страданиями! Дай увидеть тебя еще однажды! Я еще не все тебе сказала, я еще не всего тебя целовала, мне надо, надо видеть тебя еще раз в жизни! А после пусть смерть, пусть бросят меня в воды Тибра, я не буду спорить. Сжалься, божественный!» И Мария опять открывала глаза, опять при слабом свете факела видела бесстрастное лицо изваянного бога, и опять воспоминание о внезапно утраченном блаженстве повергало ее ниц, в новых слезах, рыданиях и воплях. И уже она сама не знала, приходил к ней бог Марс, были ли в жизни те дни полного счастия, или и это ей снилось среди тысячи ее других видений.

С каждым днем все безнадежнее становились ожидания Марии. С каждым днем все более и более измученной и потрясенной возвращалась она домой. В те часы, когда проблески сознания загорались в ней, она смутно вспоминала все, что говорил ей когда-то Теодат. Тогда она бродила по улицам Рима и под разными предлогами заглядывала во все мастерские оружейников, но нигде не встречала того, кого искала. Говорить же с кем-нибудь о своем горе и о своем исчезнувшем счастии было для нее невозможно, да никто и не поверил бы рассказам бедной, сумасшедшей девочки, все сочли бы их за новый бред ее расстроенного воображения. Так жила Мария одна, со своим горем, со

своим отчаянием, и мать только уныло качала головой, видя, как еще более худеет и сохнет Мария, как еще более впалыми становятся ее щеки, а глаза начинают гореть еще более странными отсветами огня.

Но так же неутомимо проходили дни — и над бедной помешанной девочкой, и над оскверненным Вечным Городом, и над целым миром, в котором медленно зарождалась новая жизнь. Проходили дни, Юстиниан праздновал последние победы над остатками готов, лангобарды замышляли свой поход на Италию, папы тайно ковали звенья той цепи, которой в будущем должны были оплести и Рим и весь мир, римляне жили своей скудной, подавленной жизнью, и Мария в один из дней поняла наконец, что она должна будет стать матерью. Весталка Рея Сильвия, к которой снизошел со своего Олимпа бог Марс, почувствовала, что в ней бьется новая жизнь,— не близнецы ли, новые Ромул и Рем, которые должны основать новый Рим?

Никому — ни отцу, ни матери — не сказала Мария о том, что она почувствовала. Это было ее тайной. Но она странно успокоилась после своего открытия. Мечта исполнилась вполне. Надо было дать жизнь основателям Рима, а потом ждать смерти в мутных водах желтого Тибра.

VII

Иногда в доме старого Руфия собирались гости: сосед, торговавший на форуме дешевыми женскими украшениями, сын медника, который когда-то сватался к Марии, дряхлый ретор, больше не находивший применения своим знаниям, несколько других обедневших людей, доживавших свои дни в унынии и собиравшихся вместе только затем, чтобы пожаловаться друг другу на свою несчастную судьбу. Пили плохое вино, закусывая его чесноком, и, между привычных жалоб, осторожно вставляли в беседу горькие слова о власти византийцев и о бесчеловечных поборах нового дукса, поселившегося в Палатине вместо уехавшего евнуха Нарсеса. Флоренция услуживала гостям, разливала вино и, слушая речи старого ретора, тихонько крестилась при упоминании имен проклятых богов.

На одном из таких собраний сидела в уголку и Мария, в тот день вернувшаяся из своих скитаний домой раньше обыкновенного. Никто не обращал на нее внимания. Все привыкли видеть в своем кругу молчаливую, безответ-

ную девочку, которую давно считали помешанной. Она не вмешивалась в разговоры, и никто не обращал к ней ни слова. Унылая, с опущенной головой, она сидела неподвижно и, казалось, даже не слушала ничего из речей пьяневших собеседников.

В этот день особенно много говорили о строгости нового дукса. Но сын медника взялся защищать его.

— И то надобно взять в расчет,— сказал он,— что по нынешним временам без строгости обойтись невозможно. По городу шныряют разведчики. Того и гляди опять нагрянут какие-нибудь варвары. Натерпимся мы тогда с новой осадой! А потом эти проклятые готы! Убираясь из города подобру-поздорову, они в разных местах позапрятали свои сокровища. И теперь то один, то другой тайком, переодевшись, возвращаются в Рим, чтобы откопать спрятанное и унести с собой. Уж таких-то людей должно ловить и щадить их не приходится: ведь все их богатства у вас же, у римлян, украдены.

Слова сына медника показались любопытными. Его стали расспрашивать. Он охотно рассказал все, что знал о сокровищах, спрятанных готами в разных местах Рима, и о том, как теперь уцелевшие от разгрома готы стараются эти клады разыскать и унести. Потом рассказчик добавил:

— Да вот еще недавно поймали одного такого. С веревочной лестницей пытался вскарабкаться на Эсквилин, где есть в земле трещины. Схватили его, отвели к дуксу. Тот обещал ему помилование, если только проклятый укажет, где именно зарыты сокровища. Но он ничего не хотел говорить, упирался, и все тут. Уж его пытали, пытали, но ничего не добились. Так и запытали до смерти.

Кто-то спросил:

— Умер?

— Конечно, умер,— отвечал сын медника.

Вдруг внезапное озарение осветило помутившийся ум Марии. Она встала во весь рост. Огромные ее глаза еще расширились. Прижав обе руки к груди, она спросила прерывающимся голосом:

— А как звали, как звали этого... этого гота?

Сын медника и это знал точно, так что сейчас же ответил:

— Он себя называл Агапитом, служил здесь поблизости, в мастерской одного оружейника.

И, вскрикнув, Мария лицом упала на пол.

Мария была больна долго, много недель. В первый же день болезни у нее родился трехмесячный недоносок: жалкий комочек мяса, о котором нельзя было сказать, мальчик это или девочка. Флоренция, при всей своей суровости, любила дочь. Пока Мария много дней оставалась в беспамятстве, мать ухаживала за ней, не отходя от постели. Звали к больной и знахарей, и священника. Когда же наконец Мария очнулась, у Флоренции не нашлось для нее укоряющих слов: она только плакала безутешными слезами, припав к груди дочери. Должно быть, все угадала ее материнская душа. А потом, когда стало Марии немного лучше, мать, тоже без упреков, рассказала дочери все, что с ней случилось.

Но Мария со странным недоверием выслушала рассказ матери. Как могла бы поверить ему Рея Сильвия, которой, по воле богов, суждено было родить близнецов Ромула и Рема? Совсем ли помутился ум бедной девочки или попрежнему своим мечтам верила она больше, чем действительности, только она на слова матери лишь слабо покачала головой. Ей казалось, что мать обманывает ее, что во время болезни она все же родила божественных близнецов, только их отняли у нее и в плетеной корзине бросили в Тибр. Но Мария знала, что их найдет и выкормит волчица, потому что они должны основать новый Рим.

Пока Мария была так слаба, что не могла подымать головы, никто не удивлялся на то, что она не отвечает на вопросы и целые дни молчит, не спрашивая ни пить, ни есть, или нехотя произносит односложные слова. Но и оправившись несколько, найдя в себе силы медленно бродить по дому, Мария продолжала молчать, затаив в душе какую-то сокровенную мысль. Даже с отцом она не хотела более говорить и не радовалась, когда он начинал ей декламировать стихи древних поэтов.

Наконец, однажды утром, когда отец ушел по делу, а мать отлучилась на рынок, Мария неожиданно исчезла из дому. Никто не заметил, как она ушла. И никто более не видел ее в живых. А через несколько дней мутные воды Тибра выбросили на песок безжизненное тело Марии.

Бедная девочка! Бедная весталка, нарушившая свой обет! Хочется верить, что, бросаясь в холодные объятия воды, ты была убеждена, что твои дети, близнецы Ромул и Рем, сосут в эту минуту теплое молоко волчицы и в свое время возведут первый вал будущего Вечного Города. Если в минуту смерти ты не сомневалась в этом, может быть, ты была счастливее всех других в этом жалком, полуразрушенном Риме, на который уже двигались с Альп полчища диких лангобардов!

КОММЕНТАРИИ

ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ КРЕСТОВСКИЙ

(1840—1895)

В. В. Крестовский родился в Киевской губернии в старинной дворянской семье.

В течение двух лет он обучался на историко-филологическом факультете Петербургского университета.

С 1857 года выступает в печати со стихами и небольшими прозаическими произведениями. На заре своей литературной деятельности Крестовский сближается с Аполлоном Григорьевым и Львом Меем, которые оказали на него немалое влияние.

Большую известность писателю принес социально-авантюрный роман «Петербургские трущобы» (1864—1867).

В 1868 году уже немолодой литератор неожиданно для всех поступает юнкером на военную службу в 14-й Уланский Ямбургский полк. Крестовский участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов, принесшей освобождение Болгарии. На него было возложено редактирование «Военно-летучего листка» и посылка фронтовых корреспонденций в «Правительственный вестник». Писатель принимал участие и в боевых действиях, за что был награжден орденами.

С 1892 года Крестовский — главный редактор стоявшего на официозных позициях «Варшавского дневника».

Крестовский известен как автор «антинигилистических» романов «Панургово стадо» (1869) и «Две силы» (1874), составивших дилогию «Кровавый пуф», а также трилогии «Тьма Египетская», «Тамара Бендавид» и «Торжество Ваала», критически оцененных представителями революционной демократии.

При жизни писателя вышли его сочинения в 8-ми томах.

Повесть «Деды» была написана Крестовским в период его историко-архивных занятий, когда он по долгу службы работал над историей своего полка.

Деды

Историческая повесть из времени императора Павла I

Впервые — Русский мир, 1875, начиная с № 61.

Печатается по изд.: Крестовский В. В. Собр. соч., т. IV. СПб., 1899.

Стр. 24. *Платон Александрыч Зубов* (1767—1822) — русский государственный деятель, последний из фаворитов Екатерины II; светлейший князь; был генерал-губернатором Новороссии и главнокомандующим Черноморским флотом.

Нарышкин Лев Александрович (1733—1799) — видный вельможа Екатерининской эпохи; обер-шталмейстер.

София — городок под Петербургом, основанный Екатериной II; позднее слился с Царским Селом.

Стр. 25. *Николай Зубов* (1763—1805) — старший брат фаворита, генерал; обершталмейстер; был женат на дочери Суворова.

Граф Салтыков — Николай Иванович Салтыков (1736—1816), генерал-фельдмаршал (1796), граф (1790), князь (1814); с 1773 г.— вице-президент Военной коллегии и попечитель наследника Павла Петровича, с 1783 г.— главный воспитатель великих князей Константина Павловича и Александра Павловича; в 1796—1802 гг.— президент Военной коллегии. В 1812—1816 гг.— председатель Гос. совета и Кабинета министров.

Стр. 26. *Ростопчин* Федор Васильевич (1763—1826) — граф (1799), фаворит Павла I; в 1798—1801 гг.— фактический руководитель Коллегии иностранных дел. В 1801 г. попадает в опалу. В 1812—1814 гг.— военный губернатор Москвы.

Вершник — верховой; форейтор.

Стр. 27. *Граф Безбородко* — Александр Андреевич Безбородко (1747—1799), секретарь Екатерины II (1775—1792); с 1784 г. фактически руководил Коллегией иностранных дел. В 1797 г. получил чин канцлера и титул светлейшего князя.

Стр. 30. *Алексей Григорьевич Орлов* (1737—1807/1808) — граф (1762), генерал-аншеф, сын новгородского губернатора, вместе с братом Григорием, фаворитом Екатерины II, руководил дворцовым переворотом 1762 г., в ходе которого император Петр III был свергнут и убит, а на престол возведена Екатерина II. Прославился в русско-турецкой войне в морских сражениях у Наварина и Чесмы (1770), за которые получил титул князя Чесменского.

Стр. 31. *Императрица Мария* (1759—1828) — Мария Федоровна (до перехода в православие София Доротея Августа Луиза), супруга Павла I (с 1776 г.), дочь герцога Вюртембергского.

Аналой — высокий, с покатым верхом столик, на который кладутся богослужебные книги, иконы и другие церковные принадлежности.

Стр. 32. *Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834) — русский государственный деятель, временщик при дворах Павла I и Александра I, генерал от артиллерии (1807). Сын небогатого помещика Тверской губернии. С 1792 г. инспектор гатчинской артиллерии и пехоты, гатчинский губернатор; с 1796 г. петербургский городской комендант; граф (1799). Дважды увольнялся Павлом I в отставку (1798, 1799—1801). При Александре I (с 1815 г.) фактически сосредоточил в своих руках руководство Государственным советом и Кабинетом министров. Проводимая им политика обскурантизма, деспотизма и откровенной военщины получила название «аракчеевщины».

Стр. 33. *Великий князь Константин* — Константин Павлович (1779—1831), второй сын Павла I; участник суворовских походов 1799—1800 гг. и Отечественной войны 1812 г.; отказался от своих прав на престол в пользу брата Николая.

Андреевские ленты — ленты для ношения ордена Андрея Первозванного, которым награждались великие князья при рождении.

Стр. 34. *Инде* — в другом месте, с другой стороны.

Стр. 35. *Лосины* — плотно облегающие штаны из грубой замши — часть старинной военной формы.

Стр. 40. *Анненский крест* — голштинский орден св. Анны (1735), имел четыре степени. В число российских орденов был введен Павлом I в 1797 г.

Стр. 41. *Фриштык* (фришток) — завтрак.

Демутов трактир — так называлась одна из лучших петербургских гостиниц с популярным при ней рестораном; основана во второй половине XVIII в. голландским виноторговцем Демутом.

«Алиниеман» — построение в линию.

Стр. 42. *Решпект* — уважение, почтение.

Стр. 43. *Четверик* — старая русская мера объема сыпучих веществ, равная 1/8 части четверти (26,239 л.).

Григорий Орлов — Григорий Григорьевич Орлов (1734—1783) — фаворит Екатерины II, участвовавший со своим братом и группой гвардейских офицеров в возведении ее на престол в результате дворцового заговора против ее мужа Петра III. Камергер, граф; в 1765—1775 гг. генерал-фельдцейхмейстер

(командующий артиллерией) русской армии. В 1775 г. после появления при дворе новых фаворитов вышел в отставку и уехал за границу.

Стр. 44. *Панин* Никита Иванович (1718—1783) — граф с 1747 г., посланник в Дании, затем в Швеции. В 1760—1773 гг. воспитатель цесаревича Павла; в 1763—1781 гг. возглавлял Коллегию иностранных дел; выступал за ограничение абсолютной власти монарха.

Порошин Семен Андреевич (1741—1769) — русский государственный деятель и литератор; в 1762—1766 гг. был воспитателем наследника престола.

Стр. 46. *Куафер* — парикмахер.

Стр. 48. *Сиверкий день* — холодный, ветреный день.

Стр. 49. *Городок* — узор в вышивании в виде зубцов.

Маэстозное — величественное, торжественное.

Стр. 50. *«Мартын Задека»* — имя, под которым выпускались «толкователи» снов: «Гадательный, древний и новый всегдашний оракул, найденный по смерти стошестилетнего старика Мартына Задеки» и др.

Стр. 51. *Камчатная салфетка* — сделанная из камки — старинной узорчатой цветной шелковой ткани.

Стр. 56. *Басон* — плетеные изделия (шнуры, кисти, галун и т. п.) для украшения одежды или мебели.

Стр. 61. *Петиметр* — ироническое наименование светского щеголя, модника, франта, обычно слепо подражающего французам в моде и манерах.

Штофный диван — диван, обитый штофом — плотной тканью с крупным узором.

Стр. 62. *Шталмейстер* — придворный чин 3-го класса; заведовал царскими конюшнями.

Гофмейстер — придворный чиновник в Российском государстве, ведавший канцелярией, кассой и т. п.; впоследствии старший придворный чин и должность 3-го класса.

Стр. 63. *Эволюция* — передвижение, развертывание строя, осуществление маневра.

Стр. 64. *Куверт* — столовый прибор.

Стр. 67. *Амфитрион* — древнегреческий мифологический герой; внук Персея и царь Тиринфа. Его имя — синоним гостеприимного хозяина.

Стр. 73. *Канчук* — казачья плеть, нагайка.

Фальшфейер — бумажная трубка с ярко горящим составом; использовалась для подачи сигналов.

Стр. 76. *Причт* — духовенство какой-либо церкви, клир.

Стр. 77. *Дормез* — старинная большая дорожная карета, приспособленная для сна в пути.

Стр. 78. *Мартинисты* — одна из тайных сект, близкая к масонству и оккультизму.

«Фран-масоны» — (от фр. «Francs-maçon» — вольные каменщики) члены тайных или полутайных масонских лож, занимающихся как религиозно-этической пропагандой, так и борьбой за политическую власть. Отдельные исследователи соотносят международное масонство с гигантской пирамидой (в настоящее время, по их мнению, насчитывается около 8 млн. масонов), верхушка которой реально претендует на установление мирового господства. Происхождение масонских лож обычно связывают с началом XVIII в.; существует точка зрения, относящая возникновение масонства к библейским временам, 928 г. до н. э., к моменту начала строительства храма Соломона.

Фаддей Костюшко (правильно: Костюшко Тадеуш) (1746—1817) — руководитель Польского восстания 1794 г., в 1796 г. был освобожден Павлом I из заключения в Петропавловской крепости.

Стр. 80. *Куртаг* — прием, приемный день в царском дворце.

Стр. 87. *Пале-Рояль* — дворец с садом, бывшим излюбленным местом прогулок парижан.

Стр. 88. *Кутайсов* Иван Павлович (ок. 1759—1834) — граф, обершталмейстер, камердинер и фаворит Павла I, по национальности турок.

Стр. 89. *Строганов* Александр Сергеевич (1733—1811) — граф, член Государственного совета, президент Академии художеств.

Нарышкин — очевидно, имеется в виду один из братьев Нарышкиных: Александр Александрович (1726—1795), обер-шенк, или Лев Александрович.

Стр. 93. *Кенкет* — вид старинной лампы с горелкой на масле.

Стр. 96. *Ордонанс* — монарший указ, предписание.

Шлафрок — домашний халат.

Швальня — портняжная мастерская.

Стр. 97. *Стамед* — шерстяная, косонитная ткань.

Эспонтон — тупой палаш для учебной рубки.

Плутонги, эшелоны, пуань-де-вю, пуань д'аппюи — военные термины, обозначающие низшее подразделение в боевом порядке пехоты, часть боевого порядка и т. п.

Стр. 105. *Генерал-фельдцейхмейстер* — командующий артиллерией в русской армии.

Стр. 107. *Лития* — род краткого богослужения.

Стр. 109. *Барятинский* Федор Сергеевич (1742—1814) — обер-гофмаршал (1796), участник переворота 1762 г. После похорон императрицы был выслан Павлом I в деревню.

Шпалеры — ряды войск по сторонам пути следования лица, которому оказывают воинский почет.

Стр. 110. *Эктения* (ектенья) — заздравное моление (о государе и о доме его).

Стр. 112. *Нелидова* Екатерина Ивановна (1756—1839) — камер-фрейлина императрицы Марии Федоровны; фаворитка Павла I. Позднее попала в опалу и была выслана Павлом I из Петербурга.

Стр. 121. *Сюркуп* (от. фр. surcoupe) — подозрение, немилость, арест.

Стр. 122. *Исполать* — хвала! слава! — высказываемое кому-то одобрение.

Стр. 123. *Фараончик* (фараон) — старинная азартная игра в карты (обычно без крупных ставок).

Стр. 129. *Кеньги* — особая зимняя обувь, подшитая внутри мехом или байкой и надеваемая сверх башмаков или сапог.

Стр. 144. *Орден св. Андрея Первозванного* — высшая награда Российской империи. Учрежден Петром I в 1698 г. Давал право на чин III класса.

Орден св. Александра Невского — один из высших орденов Российской империи с девизом «За труды и Отечество», учрежден в 1725 г.

Стр. 157. *Татищев* Василий Никитич (1686—1750) — русский государственный деятель и историк. Управлял казенными заводами на Урале (1720—1722; 1734—1737); в 1737—1739 гг. руководил также Оренбургской экспедицией; астраханский губернатор (1741—1745).

Шамхал — титул бывших владетелей страны, находившейся в Дагестане на побережье Каспия.

Берг-коллегия — учреждение, основанное Петром I в 1719 г. для заведования горным производством.

Стр. 158. *Селадон* — верный и чувствительный ухаживатель и волокита, по имени героя романа д'Юрфе «Астрея».

Стр. 167. *Соломонов храм* — храм, строительство которого было начато Соломоном в 928 г. до н. э.

Стр. 168. *Неофит* — новообращенный в какую-либо религию; новый приверженец чего-либо.

Стр. 171. *Озерецковский* Николай Яковлевич (1750—1827) — естествоиспытатель, путешественник, академик.

Стр. 174. *Супервест* — безрукавный кафтанчик.

Стр. 175. *Карусель* — конные состязания, заменившие средневековый рыцарский турнир.

Стр. 177. *Сан-Суси* — дворец прусских королей в пригороде Берлина, известный красотой архитектуры и художественными коллекциями.

Стр. 177. *«Справа повзводно, в Сибирь на поселение»...* — Эпизод наказания целого полка основан на действительном событии.

Стр. 181. *Лансада* — высокий прыжок верховой лошади.

Стр. 192. *Флигельман* — фланговый солдат, демонстрировавший перед строем ружейные приемы.

Стр. 197. *Франц II* (1768—1835) — последний император «Священной Римской империи» (1792—1806); затем австрийский император. При его правлении Австрия проиграла Франции четыре войны.

Тугут Франц де Паула (1736—1818) — барон; посланник в ряде стран, затем министр иностранных дел Австрийской империи.

Мирабо Оноре Габриель Рикетти (1749—1791) — граф, виднейший деятель первого периода Великой Французской революции.

Стр. 198. *Розенберг* Андрей Григорьевич (1739—1813) — генерал от инфантерии.

Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) — граф, в 1799 г.— генерал-майор, шеф Апшеронского полка. Суворов был другом его отца. Позже стал генералом от инфантерии; герой Отечественной войны 1812 г.

Стр. 199. *Багратион* Петр Иванович (1765—1812) — князь, генерал от инфантерии. В 1799 г.— генерал-майор, шеф 7-го егерского полка; любимый ученик Суворова. Был смертельно ранен при Бородине.

Стр. 200. *Моро* Жан Виктор (1763—1813) — генерал Французской республики; политический соперник Наполеона; был выслан последним из Франции.

Серрюрье Жан Матье Филибер (1742—1819) — участник Семилетней войны; в 1799 г.— дивизионный генерал итальянской армии; впоследствии маршал Франции.

Стр. 201. *Мелас* Михаэль Фридрих Бенедикт (1729—1806) — барон; фельдмаршал-лейтенант; затем генерал-фельдцехмейстер австрийской армии. Командовал австрийскими войсками в соединенной армии Суворова, который называл его «папой Меласом». В 1806 г. стал генерал-фельдмаршалом австрийской армии.

Стр. 202. *Фурлейт* — обозный рядовой, возничий.

Стр. 205. *Дерфельден* Вилим Христофорович фон (1735—1819) — генерал от кавалерии, соратник Суворова.

Макдональд Жак Этьенн (1765—1840) — выходец из семьи шотландских эмигрантов; командовал в Италии одной из двух французских армий. Впоследствии получил звание маршала и титул герцога Тарентского.

Стр. 207. *Дефенсив* (англ.) — оборона.

Жуберт Бартелеми Катрин (1769—1799) — один из генералов Директории; командующий итальянской армией, был убит в сражении.

Стр. 211. *Римский-Корсаков* Александр Михайлович (1753—1840) — в 1799 г. генерал-лейтенант, командовал корпусом; впоследствии генерал от инфантерии.

Герман Иван Иванович — генерал-лейтенант русской армии, попавший во французский плен.

Массена Андре (1758—1817) — республиканский генерал Франции; впоследствии маршал, герцог Риволи (1808), князь Эслингский (1810).

Брюн Г.— французский генерал, разбивший в сентябре 1799 г. в Голландии русско-английские войска.

Эрцгерцог Карл (Карл Иоганн) (1771—1847) — брат императора Франца, командовал австрийскими войсками.

Стр. 214. *Черес* — старинный узкий, длинный кошелек, который подвязывали вокруг ноги или пояса.

Стр. 216. *Баярд* Пьер дю Терайль (1476—1524) — французский полководец, которого называли «рыцарем без страха и упрека».

Стр. 220. *Лекурб* К.-Ж.— французский генерал; командир дивизии.

Стр. 223. *Ребиндер* Максим Владимирович (1730—1804) — в 1799 г. генерал-лейтенант, кавалер ордена Александра Невского. По возвращении из похода был назначен военным губернатором Риги.

Стр. 224. *Дефиле* — теснина, проход через ущелье.

Линкен — барон, фельдмаршал-лейтенант австрийской армии.

Готце (Хотце) Фридрих (1739—1799) — барон, фельдмаршал-лейтенант австрийской армии; родом швейцарец.

Стр. 227. *Готце... пропал без вести...*— В сражении на реке Линте 14 октября корпус Готце был разгромлен, а сам он погиб.

Елачич де Бужим Франц (1746—1810) — австрийский генерал-майор; командовал бригадой в корпусе Готце; впоследствии фельдмаршал-лейтенант.

Стр. 228. *Ауфенберг* — австрийский генерал-майор.

Стр. 229. *«...Петру Великому изменил мелкий человек...»* — Речь идет либо о Мартине Нейгенбауэре, немце, бывшем воспитателе цесаревича Алексея, ставшем затем послом Карла XII в Турции, либо о генерале русской службы Янусе фон Эберштедте, пропустившем турецкие войска через Прут.

Речь Суворова воспроизводится близко к той записи, которая была сделана Багратионом.

Стр. 240. *Кригс-цальмейстер* — военный казначей.

Стр. 242. *Толстой* Петр Александрович (1761—1844) — граф; в 1799 г.— генерал-лейтенант, полномочный министр при Главной квартире эрцгерцога Карла. Впоследствии — генерал от инфантерии.

Стр. 243. *Иосиф II* (1741—1790) — австрийский эрцгерцог (император) с 1780 г.; император «Священной Римской империи» с 1765 г.; был сторонником просвещенного абсолютизма.

Демосфеновская болтовня — здесь: краснобайство, злоупотребление ораторским искусством.

Академики бессмысленные — имеются в виду кабинетные стратеги.

Сенат Карфагенский.— Сенаторы-карфагеняне вмешивались в действия Ганнибала и сводили на нет его военные успехи.

Стр. 247. *Гульден* — первоначально — золотая, а затем серебряная денежная единица Германии, Австрии и некоторых других стран. Ныне сохранилась лишь в Голландии.

Стр. 248. *Валгалла* — в древнескандинавской мифологии дворец бога Одина, обиталище душ воинов, павших в бою.

...предметом новой своей оды...— Имеется в виду державинская ода «На переход Альпийских гор».

Стр. 249. *Минто* Жильбер Элио (1751—1814) — лорд, английский посланник в Вене.

...помолвил он и своего сына с принцессой Курляндской.— Сын Суворова Аркадий был помолвлен с дочерью Бирона герцогиней Саганской. Брак этот не состоялся после смерти Суворова.

Стр. 251. *Беллегард* (Бельгард) Генрих (1756—1845) — граф; в 1799 г.— фельдмаршал-лейтенант; командовал австрийскими войсками в Тироле.

Лаудон Гедеон Эрнест (1716—1790) — известный австрийский полководец, прославившийся в Семилетней войне.

Стр. 252. *Вейкарт* Г. И.— придворный лейб-медик.

Стр. 253. *...читал Часы и Апостол.*— «Часами» называются определенные молитвословия в церковно-богослужебной книге «Часослов». «Апостол» — книга деяний и проповедей апостолов, учеников Иисуса Христа.

Стр. 256. *Хвостов* Дмитрий Иванович (1757—1835) — друг и поклонник Суворова, был женат на его племяннице; граф, действительный тайный советник, был известен и как поэт-архаист.

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ЛЕСКОВ

(1831—1895)

Н. С. Лесков, прославившийся своими романами, повестями и рассказами из современной жизни, проявлял тем не менее интерес и к исторической тематике. Действие романа «Захудалый род», например, начинается с описания событий Отечественной войны 1812 г. Прототипом героя романа «Чертовы куклы» становится знаменитый русский художник Карл Брюллов. Лескова интересовали в частности сложные взаимоотношения художника с императором Николаем I.

С наибольшей силой мастерство Лескова как исторического писателя проявилось в цикле его повестей, написанных на сюжеты из «Пролога», древнерусского житийного сборника XII—XIII веков, составленного по образцу аналогичных византийских сборников. Писатель часто отходил от житийной фабулы и обогащал повествование историческим и этнографическим материалом времен первых веков христианства на Ближнем Востоке. Поэтому эти произведения — «Скоморох Памфалон», называвшийся в журнальных гранках «Повесть о боголюбезном (а еще раньше — «о великодушном») скоморохе» и «Прекрасная Аза», «Гора» и «Совестный Данила» — в целом выглядели монументальной фреской древневизантийской духовной жизни и быта.

В письме к С. Н. Шубинскому Лесков писал: «Вы первый и долгое время Вы единственный ценили этот рассказ ⟨«Скоморох Памфалон»⟩, стоивший мне особого труда по подделке языка и по изучению быта того мира, которого мы не видали и о котором Иосифовский «Пролог» в житии св. Феодула давал только слабый и самый короткий намек» (цит. по изд.: Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 8. М., 1958, с. 584).

Скоморох Памфалон

Впервые — Исторический вестник, 1887, март.

Печатается по изд.: Лесков Н. С. Собр. соч. в 11-ти томах, т. 8.

Стр. 261. *Лао-тзы* (Лао-цзы) — древнекитайский философ VI—V вв. до н. э., основоположник даосизма.

Феодосий Великий (ок. 346—395) — римский император (с 379 г.); признал христианство государственной религией и запретил языческие культы.

Патрикий — сановник.

Епарх — управляющий провинцией.

Стр. 262. *«...оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем...»* — Цитата из Евангелия от Матфея, гл. VI, ст. 12.

Стр. 264. *«...бе бо ему богатство многосущное...»* — ибо было у него богатство разнообразное (церковнослав.).

Едесса или Эдесса (ныне Урфа) — город-государство (II в. до н. э.) в северной Месопотамии, сыгравший видную роль в распространении христианства. В городе было около 300 монастырей, и в нем жил Ефрем Сирин — один из великих учителей церкви IV в. Его сочинения читались в церквях после Священного писания.

Стр. 265. *...читая на память три миллиона стихов Оригена и двести пятьдесят тысяч стихов Григория, Пиерия и Стефана.* — Речь идет о философах-богословах первых веков христианства. Лесков в конце жизни особенно увлекался Оригеном (ок. 185—253/254), христианским теологом из Александрии, в VI в. объявленным церковью еретиком.

Стр. 266. *«...кацы суть богу угождающие и вечность улучившие?»* — «какие (кто) угождают богу и получают за это вечность?» (церковнослав.)

Стр. 269. *Козья милоть* — одежда из выделанной козьей шкуры.

Стр. 271. *Седмь* — семь.

Странные — странники.

Содом и Гоморра — согласно Библии, древнепалестинские города, уничтоженные огнем, посланным с неба, за поголовное распутство и нечестивство их жителей. Бог оставил невредимым только праведного Лота и его семью.

Стр. 273. *Гетера* (греч. hetaira — подруга) — в Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая свободный образ жизни.

Стр. 274. *Некры* (перс.) — барабаны.

Стр. 275. *Гнуткие драницы* — гибкие колотые сосновые дощечки, используемые как материал для кровли.

Стр. 276. *Дротяные кольца* — проволочные кольца.

...странноприимный кров Авраама. — Речь идет о ветхозаветном патриархе и родоначальнике еврейского народа, который, чтобы доказать свою веру, был готов принести в жертву богу Яхве своего сына Исаака, но жертвоприношение было отклонено.

Сиракузы — древнегреческий полис на юге Сицилии, известный своей морской торговлей. Позднее был завоеван римлянами.

Стр. 281. *Митушует* — топает, частит в пляске.

Стр. 284. *Коринф* — древнегреческий полис, известный своими ремеслами; также находился в составе Римской империи.

Силен — в древнегреческой мифологии спутник и воспитатель Диониса, являвшийся в образе веселого добродушного старика с мехом вина; олицетворение беспробудного пьяницы.

Стр. 285. *Стогны* — площади.

Стр. 290. *Поприще* — здесь: мера длины. По одним источникам эта мера равна версте, по другим — двадцати верстам.

Левитон — вид верхней одежды у ранних христиан.

Стр. 291. *Литр* — здесь: денежная единица.

Стр. 292. *...нитрийского брата.*— Нитрия — место в Сирии, где находилось множество монастырей.

Стр. 300. *Горы* (Оры) — древнегреческие богини, ведавшие сменой времен года. Их изображали девушками с плодами в руках.

Стр. 301. *...вспомни, что сделала мать Маккавеев?* — По библейскому преданию, Соломония, мать Маккавеев, предпочла смерть своих детей их позору: она погибла вместе с ними, отказавшись от предлагаемого язычниками идоложертвенного мяса.

Стр. 302. *Эол* — владыка ветров (греч. миф.).

Стр. 303. *Епанча* — старинный широкий безрукавный плащ.

ДАНИИЛ ЛУКИЧ МОРДОВЦЕВ
(1830—1905)

Д. Л. Мордовцев родился в казачьей слободе Даниловка, относившейся к области Войска Донского. Его предки по отцовской линии происходили из украинского казачества. Будущий писатель учился в Саратовской гимназии и Казанском университете, а в 1854 году окончил историко-филологический факультет Петербургского университета со степенью и золотой медалью за диссертацию «О языке «Русской правды». Долгое время служил в провинции и Петербурге, работал редактором «Саратовских губернских ведомостей», правителем канцелярии саратовского губернатора. В 1886 году вышел в отставку в чине действительного статского советника. Литературную деятельность Мордовцев начинал как украинский писатель; затем стал писать на русском языке. Широкую известность получил его роман «Знамения времени» (1869), написанный с позиций умеренного народничества и запрещенный цензурой. Многие современники Мордовцева сравнивали этот роман по социальному воздействию с знаменитым романом Чернышевского «Что делать?».

Мордовцев выступил и как профессиональный историк («Самозванцы и понизовая вольница» (1867), «Гайдамачина» (1870), «Политические движения русского народа» в двух томах (1871), а также «Обличительная литература в первых русских журналах и стеснение гласности» (1769—1775), «Падение Польши»,

«Исторические черты даровитости русского народа», «Ванька-Каин», «Суворов в народной поэзии» и пр.).

В 1876 году вышел в свет первый исторический роман Мордовцева «Идеалисты и реалисты» из эпохи Петра I. Затем последовали «Лжедмитрий» (1879) и «Великий раскол» (1880); «Сагайдачный» (1882) и «Царь и гетман» (1880); «Двенадцатый год» (1879) и «За чьи грехи?» (1890).

Перу Мордовцева принадлежит и немало исторических повестей, среди которых выделяются «Кум Иван», «Господин Великий Новгород» (1882), «Авантюристы» (1886).

В своей исторической прозе, как, впрочем, и в научных трудах, Мордовцев выступал с демократических позиций, о чем свидетельствует, в частности, его письмо к главному редактору журнала «Древняя и Новая Россия» С. Н. Шубинскому. «Я полагаю,— писал он,— что в «Древнюю и Новую Россию» следует впустить русский народ, а то ваш сборник почти исключительно вертится около царей, цариц, царевен, князей и всяких высоких особ. Я хочу демократизировать ваш журнал — в самом деле это необходимо» (см.: Исторический вестник, 1905, № 2, с. 596—597).

Собрание сочинений Д. Л. Мордовцева, вышедшее в начале века, включало пятьдесят томов.

Кум Иван

(Историческая быль)

Впервые — Исторический вестник, 1887, № 1.
Печатается по этому тексту.

Стр. 314. *Иридиевы блестки* — здесь: разноцветные блестки (от названия металла «иридий», происходящего от греческого «ирис» — радуга).

Стр. 315. *Хамсин* — сильный, знойный африканский ветер.

Малахай — шапка на меху с широкими наушниками и плотно прилегающей задней частью.

Стр. 316. *Петел* — петух.

Петр апостол — по библейской легенде, один из ближайших учеников Иисуса Христа; был мученически казнен в Риме в правление Нерона. Согласно легенде, Петр был в течение 25 лет первым епископом Рима и передал власть над всей христианской церковью своим преемникам — папам римским.

Стр. 318. *Ноли* (древнерус.) — даже, если же, аж.

Ширинка — полотенце.

Стр. 319. *Кипень* — белая пена на поверхности воды (при кипении или бурном волнении).

Стр. 322. *Глазетовый* — из шелковой ткани с золотым или серебряным рисунком: применялся глазет в основном для церковных одеяний и придворного платья.

Ризы — церковное облачение священнослужителей из парчи, тканное золотом или серебром.

Стр. 324. *«Корабленники»* — монеты с изображением корабля.

...князь Данило Холмский... — Даниил Дмитриевич Холмский (ум. 1493 г.), князь, боярин и воевода; одержал блестящие победы над крымскими татарами (1468) и казанскими татарами (1469); командовал войском Ивана III в Шелонской битве.

Шелонская битва — сражение в 1471 г. на берегах реки Шелони, в котором московское войско разгромило наголову сорокатысячную новгородскую рать, что во многом предопределило будущее присоединение Новгорода к Московскому государству.

Стр. 325. *Софья Фоминишна* — Софья Палеолог (?—1503), с 1472 г. вторая супруга Ивана III, дочь Фомы, родного брата последнего византийского императора. По мнению некоторых летописцев, под влиянием Софьи Иван III покончил с ордынской зависимостью.

Стр. 326. *Киота* (киот) — створчатая рама или шкафчик для икон со стеклянной дверцей.

Васюта — сын Ивана III Василий III (1479—1533), великий князь московский с 1505 г.

Марфа-посадница — см. примеч. к повести Н. М. Карамзина «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» в т. I наст. изд.

Стр. 329. *Вено* — приданое.

Стр. 331. *Чапанишко* (чапан) — крестьянский верхний кафтан или полукафтан, часто из сермяжной ткани.

Онуча — кусок плотной материи, навертываемый на ногу при ношении лаптей или сапог.

Стр. 334. *Николай Чудотворец* — архиепископ Мирликийский (христианский святой).

Скипетр — жезл, украшенный драгоценными камнями, символ монархической власти.

Державное яблоко — золотой шар с крестом или короной, эмблема владычества над землей.

Думный дьяк — в русском средневековом государстве, 4-й (низший) чин членов Боярский думы.

Курицын Федор Васильевич (? — после 1500), дьяк, писатель, приближенный Ивана III; видный дипломат той эпохи.

Стр. 335. *Посадник* — высшая государственная должность в Новгороде XIII—XV вв. и Пскове в XIV— нач. XVI вв.; избирался из знатных бояр на вече.

Стр. 338. *Стадия* — древняя мера измерения, введенная еще в Вавилоне (около 180—200 м). На Руси стадия имела около 80 сажен.

Велия — великая.

Стр. 339. *Протоиерей* — старший иерей, глава православного клира.

Митра — позолоченный головной убор, надеваемый преимущественно на время богослужения представителями высшего духовенства.

ВЛАДИМИР ГАЛАКТИОНОВИЧ КОРОЛЕНКО

(1853—1921)

Быстро вошедший в число наиболее признанных писателей конца XIX в. своими произведениями о современности, В. Г. Короленко обращается и к исторической теме. В повести на библейский сюжет «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иегуды» (1886) выступает против теории «непротивления злу насилием». На историко-фольклорном материале написан рассказ «Лес шумит» (1886), а «фантазия» «Тени» представляет собой сложное переплетение исторических и философских мотивов.

Серьезный замысел был связан у Короленко с работой над повестью о Пугачеве («Набеглый царь»), но завершить его так и не удалось. В записных тетрадях Короленко сохранилось много выписок из документов и публикаций, относящихся к Павлу I, что свидетельствовало о наличии еще одного интересного, но также не реализованного замысла на историческую тему.

Тени

(Фантазия)

Впервые — Русская мысль, 1891, № 12.

Печатается по изд.: Короленко В. Г. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 2. М., 1954.

Автор называл это произведение рассказом, но по своей жанровой характеристике оно скорее относится к разряду маленьких повестей. В черновике эта историческая фантазия Короленко носила название «Тени богов». При работе над ней Короленко усиленно занимался древнегреческой философией, изучая в первую очередь труды Платона и Ксенофонта.

Стр. 343. *Потидея* — коринфская колония в южной части Македонии. Афиняне вели с Потидеей долгую и тяжелую войну.

...делосских празднеств.— Расположенный в Эгейском море небольшой остров Делос был крупным центром античной религии; известен также своими ежегодными празднествами в честь Аполлона, которые проводились в старинном святилище Аполлона.

Демос — в Древней Греции свободное население, обладавшее гражданскими правами. Позже демосом стали называть бедные слои населения.

Гелиасты — члены афинского суда присяжных.

Цикута — сильнодействующий яд.

Стр. 344. *Мина* — древнегреческая денежная единица, равная ста серебряным драхмам.

Стр. 346. *«Листьям в дубраве подобны сыны человеков...»* — Приводится строфа из поэмы Гомера «Илиада».

Стр. 348. *Пан* — в древнегреческой мифологии бог лесов, покровитель стад, наводящий ужас на людей. Изображался в виде человека с козлиными рогами, копытами и бородой.

Стр. 349. *...лучше быть последним рабом на земле, чем властителем во мраке аида.*— Изречение из гомеровской «Одиссеи». Его произносит Ахилл, когда Одиссей проникает в подземное царство Аида.

...нет ни дороги, ни герма...— Гермы — статуи с изображением древнегреческого бога торговли Гермеса, которые ставились на перекрестках дорог.

Стр. 351. *Орк* — бог подземного царства, во многом тождественный Аиду (римск. миф.).

Стр. 352. *Парки* — в римской мифологии богини судьбы, представляемые в виде старух, прядущих нить человеческой жизни.

Стр. 353. *Гекатомба* — жертвоприношение из ста быков (или иных животных).

Стр. 364. *Эгид* (эгида) — щит Зевса (иногда богини Афины), с изображением змей и головы Горгоны; символ то гнева, то покровительства богов (греч. миф.).

ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ ДАНИЛЕВСКИЙ

(1829—1890)

Уроженец Харьковской губернии, Данилевский получил образование в Московском университетском пансионе и Петербургском университете. Был награжден серебряной медалью за конкурсное сочинение «О Пушкине и Крылове», хотя выпущен кандидатом права по юридическому факультету. Данилевский привлекался по делу Петрашевского и несколько месяцев провел

в одиночном заключении в Петропавловской крепости, но затем был «оправдан». В последние годы жизни Данилевский занимал пост главного редактора «Правительственного вестника» (с 1881 г.).

Данилевский снискал себе прочную славу мастера художественно-этнографической и историко-авантюрной прозы. Вместе с Евг. Салиасом и Вс. Соловьевым он входил в тройку самых читаемых в России авторов. К числу наиболее известных его произведений принадлежат романы «Беглые в Новороссии» (1862); «Княжна Тараканова» (1883); «Сожженная Москва» (1886); «Черный год» (1889), «Мирович» (1880), а также повести «Потемкин на Дунае» (1878), «Последние запорожцы» (1878) и др. Известен сборник исторических и биографических очерков Данилевского «Украинская старина» (1866). Его полное собрание сочинений выдержало 9 изданий.

Царевич Алексей

Впервые — Русский вестник, 1892, № 1—2.

Печатается по изд.: Данилевский Г. П. Полн. собр. соч., т. I. СПб., 1899.

Стр. 366. *«Сиверка»* — сильный, холодный северный ветер; здесь в переносном смысле: расправа.

Штоф — плотная одноцветная ткань с крупным рисунком, идущая на портьеры или обивку мебели.

...от ее сестры, жены австрийского императора.— Сестра Шарлотты была замужем за Карлом VI (1685—1740), австрийским эрцгерцогом и императором «Священной Римской империи» с 1711 г.

Стр. 367. *Гофмейстерина* — гофмейстер — один из старших придворных чинов в Российском государстве.

Она насильно пострижена...— Речь идет о матери Алексея, первой супруге Петра I (с 1689 г.) Евдокии Федоровне Лопухиной (1669—1731). В 1698 г. она была насильственно пострижена в монахини и заточена в Суздальский монастырь; от опалы избавилась только в 1721 г. с воцарением ее внука Петра II (1715—1730).

...а у отца, при живой жене, другая, бывшая пленная немка.— Имеется в виду императрица (с 1725 г.) Екатерина I (1684—1727), урожденная Марта Скавронская, по первому мужу Рааб; попала в плен при взятии Мариенбурга; с 1703 г. гражданская жена Петра I; в 1712 г. вступила с ним в церковный брак.

Стр. 368. *Карлсбад* — старинное немецкое название Карло-

вых Вар, чешского бальнеологического курорта, пользовавшегося европейской известностью уже в XVIII столетии.

Шарлотта Вольфенбютельская (Христина-София) — дочь герцога Людвига Брауншвейг-Вольфенбютельского (1694—1715), жена царевича Алексея (с 1711 г.).

Меншиков Александр Данилович — см. примеч. к повести А. О. Корниловича «Андрей Безыменный» в т. I. наст. изд.

Або — шведское название финского города Турку, основанного в XII в.

Бароний Цезарь (1538—1607) — католический историк церкви, автор крупного двенадцатитомного труда «Церковные анналы до 1198» (в 1678 г. в сокращенном виде «Анналы» были переведены на русский язык и часто использовались раскольниками в полемике с государственной церковью).

Де Лавальер Луиза Франсуаза (1644—1710) — герцогиня, первая из фавориток Людовика XIV, автор ряда сочинений.

Ларим — возможно, имеется в виду французский философ Рамус (де ла Рамо́; 1515—1572).

Стр. 369. *Дрексель* — очевидно, речь идет об Иеремии Дрекселе, авторе известного сочинения «Илиотропион, то есть обращение солнца или созерцание воли человеческой с волею божеской».

Стр. 370. *Брауншвейг* — старинный немецкий город (в Нижней Саксонии), основанный в начале XI в. В XII в. был резиденцией герцога Генриха Льва, затем стал столицей Брауншвейгского герцогства.

Фижмены — очевидно, искаженное от «фижмы»: каркас для юбки из китового уса.

«Алеманда» (Аллеманда) — старинный танец с умеренным темпом и плавной мелодикой, появившийся в Европе в середине XVI в.

«Куранта» — придворный танец XVI—XVII вв.

«Сарабанда» — старинный танец андалузского происхождения, известный с XVI в.

«Жига» — быстрый старинный народный танец кельтского происхождения, в XVII в. распространившийся во многих странах Западной Европы.

Ринальдо — очевидно, речь идет об опере Генделя «Ринальдо» (1711), написанной по поэме Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим».

Те-дёум — гимн для хора и симфонического оркестра, нередко с участием певцов-солистов и органа, на текст католического песнопения («Тебе Бога хвалим»).

Нарышкин — очевидно, Лев Кириллович (1664—1705), дядя Петра I, начальник Посольского приказа (1690—1702).

Стр. 372. *Торбон* (торбан) — старинный струнный щипковый инструмент.

Апостол — богослужебная книга, содержащая деяния и послания апостолов.

Камермедхен (нем.) — камеристка.

Стр. 374. *Кикин Александр* Васильевич (ум. 1718 г.) — деятель Петровской эпохи. В Азовском походе сопровождал Петра I в качестве денщика; затем выполнял различные административные и дипломатические поручения. В 1712 г. был произведен в адмиралтейские советники. Из-за вражды с Меншиковым сблизился с опальным царевичем Алексеем и помогал тому в его планах бегства за границу. Был приговорен к смертной казни и колесован.

Стр. 376. *Аз* — Я.

Януарий — январь.

Еси — быти, то есть быть, существовать.

Ны — нас, нам.

Стр. 377. *Паки* — опять, снова.

...надеть рясу и клобук, что Василию Шуйскому? — Василий IV Шуйский (1552—1612), русский царь (1606—1610), был низложен москвичами и насильственно пострижен в монахи. Позже попал в польский плен, где и скончался.

Стр. 378. *Александр Иванович Румянцев* — сподвижник Петра I, генерал-лейтенант; с 1735 г. губернатор астраханский, а затем казанский; в 1738—1740 гг. правитель Малороссии; умер в 1750-е годы.

Стр. 383. *Рацея* — длинное, скучное наставление или рассуждение.

Стр. 386. *Андрей Артамонович Матвеев* (1666—1728) — русский государственный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, граф (1715), посол в Голландии (1699—1712) и в Австрии (1712—1715), с 1719 г. президент юстиц-коллегии и сенатор.

Стр. 387. *...с библейскими изображениями: Суд Соломонов, Давид и Голиаф и прекрасная Сусанна у купели...* — Речь идет о распространенных в западноевропейской живописи сюжетах из библейской истории.

Сулея — плоская склянка или бутыль (преимущественно для вина).

Протазан — копье с плоским и длинным металлическим наконечником.

Стр. 388. *Берлины, калеши* — разновидности старинных карет.

«Доктор принужденный» — имеется в виду «Лекарь поневоле» Мольера.

Стр. 390. *Аликанте* — испанское сладкое вино.

Мальвазия — сорт сладкого виноградного вина.

Стр. 391. *Суспет* — подозрение.

Стр. 393. *Карпетки* — короткие мужские чулки, носки.

Стр. 400. *Веброны* — старинные платья с кринолином.

Стр. 405. *...немецкие куранты...* — «Курантами» назывались первые русские рукописные газеты; здесь, очевидно, речь идет о немецкой периодической печати.

ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ САЛИАС

(1840—1908)

Е. А. Салиас де Турнемир родился в Москве. Его отец был французским графом, а мать — русской писательницей Евг. Тур (урожденной Е. В. Сухово-Кобылиной). Молодой граф Салиас долгое время оставался французским подданным, хотя на родине отца бывал только наездами. Получив блестящее домашнее образование, Е. А. Салиас поступает на государственную службу. Некоторое время он служил в Тульском суде, а затем был редактором «Тамбовских губернских ведомостей», непродолжительное время возглавлял газету «Санкт-Петербургские ведомости». Однако вскоре он совсем отходит от редакторской и журналистской деятельности. В 1876 году он принимает русское подданство и последний период жизни, будучи уже известным русским писателем, живет в Москве, не служит, занимаясь в основном исторической романистикой.

Его первая повесть «Ксаня чудесная» напечатана в 1862 году, в 1873 году был опубликован большой исторический роман «Пугачевцы». Вокруг романа в литературных кругах развернулась оживленная полемика. В последующих романах Салиас все больше склонялся к историко-авантюрному направлению, что с одной стороны увеличивало его популярность среди читателей, принеся ему славу «русского Дюма», а с другой — вызывало все большее охлаждение к нему литературной критики. Так в конце XIX века возник своеобразный «парадокс Салиаса»: писатель, занимавший первое место в стране по числу читателей, в литературной «табеле о рангах» котировался весьма низко.

Однако журнал «Исторический вестник» вполне справедливо писал о сочинениях Салиаса, что «в ряду собственно русской исторической беллетристики им принадлежит по праву едва ли не самое выдающееся место» (Исторический вестник, 1890, № 8, с. 394).

Остросюжетность и знание изображаемой эпохи отличало романы Е. А. Салиаса — «Петербургское действо» (1880) и «Принцесса Володимирская» (1881), «Свадебный бунт» (1886) и «Кудесник» (1886), «Граф Татин Балтийский» (1879) и «На Москве» (1885), «Атаман Устя» (1885) и «Барыни-крестьянки» (1889). Большим успехом пользовались и исторические повести Салиаса, которые охотно печатали на своих страницах популярные журналы «Огонек», «Нива», «Русский вестник», «Русская мысль»: «Бригадирская внучка» (1888), «Фрейлина Марии Лещинской» (1889), «Философ» (1891), «Крутоярская царевна» (1893), «Француз» (1905).

Еще при жизни писателя начало выходить полное собрание его сочинений в 33 томах, что стало заметным событием в истории русского издательского дела и отразило его подлинную популярность.

Крутоярская царевна

Историческая повесть

(1773 г.)

Впервые — отдельным изданием: Салиас Е. А. Крутоярская царевна. М., 1893.

Печатается по изд.: Салиас Е. А. Собр. соч., т. XIII. М., 1895.

Стр. 409. *...в одной из жестоких битв русских войск с фридриховскими.*— Речь идет о Семилетней войне (1756—1763), в которой участвовало десять европейских государств. Россия в союзе с Австрией и Саксонией нанесла в окончательном итоге поражение прусской армии короля Фридриха II (1712—1786).

Стр. 410. *...все состояние оказалось бы выморочным.*— Собственность, никому не завещанная и не имеющая наследников, переходит в государственную казну.

Кирилл Григорьевич Разумовский (1728—1803) — последний гетман Украины (1750—1764); после отмены гетманства получил чин фельдмаршала, но в Екатерининскую эпоху постепенно отстранен от дел. Был младшим братом Алексея Григорьевича Разумовского (1709—1771), фаворита, а затем и тайного морганатического супруга императрицы Елизаветы Петровны.

Стр. 412. *Император Петр Федорович* (1728—1762) — российский император (с 1761 г.), немецкий принц Карл Петр Ульрих, внук Петра I. Был свергнут и убит в результате дворцового переворота, организованного его женой, будущей императрицей Екатериной II.

Стр. 433. *Караимка* — женщина караимской национальности, то есть относящаяся к немногочисленной этнической группе тюркского происхождения и иудаистского вероисповедания.

Стр. 529. *Пугачев* Емельян Иванович (ок. 1742—1775) — донской казак, предводитель крупнейшего крестьянского восстания в истории России в 1773—1775 гг., объявивший себя спасшимся царем Петром III.

Стр. 533. *Бибиков* Александр Ильич (1729—1774) — генерал-аншеф, сенатор; выдвинулся в Семилетней войне. Командовал правительственными войсками, направленными на подавление Пугачевского восстания.

Кар — русский генерал-майор, за неудачные действия против восставших отозванный и уволенный со службы.

Стр. 541. *Граф Чернышев* — один из виднейших вельмож Екатерининской эпохи Захар Григорьевич Чернышев (1722—1784), генерал-фельдмаршал, с 1773 г. президент Военной коллегии. В повести идет речь о самозваном графе Чернышеве — сподвижнике Пугачева — Иване Никифоровиче Зарубине (Чике) (1736—1775).

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МЕРЕЖКОВСКИЙ

(1866—1941)

Один из зачинателей русского символизма Д. С. Мережковский родился в Петербурге, в семье дворцового чиновника; окончил историко-филологический факультет Петербургского университета.

Мережковский известен как поэт, исторический прозаик, литературовед и философ. Он был автором литературно-критических книг «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), «Л. Толстой и Достоевский. Жизнь и творчество» в двух томах (1901—1902), «Гоголь и черт» (1906) и др. Философские искания Мережковского находились в русле мистического «богостроительства». Проповедь своеобразного неохристианства привела Мережковского к конфликту с официальным православием; саратовский епископ Гермоген даже потребовал отлучить от церкви за «языческое направление» в литературе среди прочих и Д. С. Мережковского (см.: Русская литература конца XIX — начала XX вв. 1908—1917. М., 1972, с. 462).

Заметную роль сыграл Мережковский в развитии русской исторической прозы. Его трилогия «Христос и Антихрист», в которую вошли «Юлиан Отступник» (1896), «Леонардо да Винчи» (1901), «Петр и Алексей» (1905), а также романы

«Александр I» (1911—1912) и «14 декабря» (1918) создали Мережковскому репутацию крупного исторического романиста. Его перу принадлежат несколько исторических новелл, пьесы «Павел I» (1908), «Царевич Алексей» (1920) и др. Накануне революции вышло собрание сочинений писателя в 24 томах.

Мережковский не принял Октябрьскую революцию. С 1920 года он — в эмиграции. В 20-е годы у него вышли в свет двухтомные труды о Наполеоне и о Данте.

Повесть «Микель-Анжело» — единственное обращение писателя к жанру исторической повести.

Микель-Анжело

Историческая повесть

Впервые — в кн.: Мережковский Д. С. Итальянские новеллы конца XV века. Микель-Анжело. Святой Сатир. М., Скорпион, 1902.

Печатается по изд.: Мережковский Д. С. Полн. собр. соч., т. VI. СПб.— М., 1911.

Стр. 560. *Челлини* Бенвенуто (1500—1571) — знаменитый итальянский скульптор и ювелир; автор всемирно известных мемуаров.

Макиавелли Никколо (1469—1527) — итальянский политический деятель и писатель; считал оправданными для достижения государственного блага любые средства.

Петрарка Франческо (1304—1374) — великий итальянский поэт, родоначальник гуманистической культуры Возрождения.

...и выходец из Ада величавый...— Речь идет о Данте (1265—1321), любимом поэте Микеланджело.

Да Винчи Леонардо (1452—1519) — великий итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер, которого Микеланджело считал своим главным творческим соперником.

Стр. 563. *Папа Юлий II* (1441—1513) — римский папа (с 1503 г.) (в миру — Джулиано делла Ровере), племянник папы Сикста IV, стремился к усилению папского престола, покровительствовал искусству, пытаясь превратить Рим в центр художественной жизни.

Моисей — по Библии, предводитель израильских племен, призванный богом Яхве вывести израильтян из фараоновского рабства; на горе Синае Моисей получил от Яхве скрижали с «10 заповедями».

Константин Равноапостольный (274—337) — римский император (с 306 г.), прозванный позже Константином Великим. Православная церковь чтит память Константина как святого

и равноапостольского, так как последний оказывал поддержку христианской религии, хотя и не преследовал язычников. В 330 г. Константин перенес столицу империи в Константинополь.

Браманте Паскуччо д'Антонио Донато (1444—1514) — известный итальянский архитектор; в течение многих лет проектировал и строил собор св. Петра в Риме.

Людовико Моро (1452—1508) — знаменитый полководец, герцог Миланский из рода Сфорца.

Стр. 564. *Травертин* — пористый известняк, используемый в качестве строительного камня.

Джулиано да Сан Галло (да Сангалло) (1445—1516) — известный итальянский архитектор, инженер и скульптор эпохи Ренессанса.

Стр. 567. *Торриджиани* (Ториджано) Пьетро (1470—1522) — флорентийский скульптор, бежавший из-за ссоры с Микеланджело в Рим. Позже работал в Англии и Испании.

Стр. 568. *Бельведер* — название дворца в Ватикане.

Стр. 569. *Джиотто* (Джотто) ди Бондоне (1266/67—1337) — великий итальянский живописец; прославился изображением евангельских сюжетов и росписями в церквях.

Аррацци — вид обоев и ковров.

...с изображением языческих мифов — похищения Европы, смерти Адониса.— По преданию, дочь финикийского царя Европу похитил Зевс, принявший облик быка; по другому мифу воспитанник Афродиты Адонис погиб на охоте, и из капель его крови выросли розы (г р е ч. м и ф.).

Стр. 570. *...Ганимед ватиканского Юпитера...*— Ганимед — необыкновенной красоты троянский юноша, похищенный Зевсом на Олимп, где он стал виночерпием богов, оставаясь любимцем самого Зевса (г р е ч. м и ф.). Здесь в значении: любимый прислужник.

Стр. 571. *Карбункул* — старинное название густо-красных прозрачных минералов (рубина, пиропа, альмандина).

Смарагд — старинное название изумруда.

Стр. 575. *Монах чертозианец* (картезианец) — член монашеского ордена, основанного в XI в. во Франции, в альпийской долине Шартрез, от латинского названия которой и пошло наименование ордена.

Мызница — владелица или арендаторша небольшой загородной сельскохозяйственной усадьбы.

Стр. 576. *Альберго* (и т.) — гостиница.

Доганьер — таможенник, сборщик подати.

Стр. 580. *Пьетро Содерини* (1452—1522) — гонфалоньер Флоренции (с 1501 г.).

Стр. 581. *Баязет II* (1447—1512) — турецкий султан (с 1481 г.); сын завоевателя Константинополя Мохаммеда II. Вел постоянные войны с соседями Османской империи, но при этом также заботился о строительстве и украшении мечетей в Константинополе и Андрианополе.

Стр. 598. *Аверроэс* (Ибн Рушд) (1126—1298) — арабский философ и врач.

Перуджино Пьетро (между 1445 и 1452—1523) — итальянский живописец, учеником которого был Рафаэль.

Стр. 600. *Виттория Колонна* (1490—1547) — маркиза де Пескара, итальянская поэтесса; была предметом платонической влюбленности Микеланджело.

Стр. 601. *...папами Фарнезе.*— Речь идет о представителе знатного итальянского рода Фарнезе Александре Фарнезе (1468—1549), кардинале с 1493 г., ставшем римским папой Павлом VI в 1534 г. Утвердил в 1540 г. орден иезуитов; при нем дальнейшего расцвета достигли протекционизм и непотизм.

Стр. 603. *Асканио Кондиви* (1525—1574) — итальянский скульптор и ученик Микеланджело, написавший биографию своего учителя.

Стр. 604. *Папа Климент* (?—1534) — римский папа (1523—1534) из рода Медичи, до избрания на папский престол был кардиналом и архиепископом Флоренции.

Остерия — трактир, закусочная.

Стр. 605. *Пьетро Аретино* (1492—1556) — знаменитый писатель-сатирик эпохи Возрождения. Его сатир боялись даже монархи.

Маркантоний (Раймонди Маркантонио; 1475(?) — ок. 1534) — итальянский гравер на меди, друг Рафаэля.

Стр. 606. *Джорджио Вазари* (1511—1574) — итальянский живописец и архитектор (создатель ансамбля Уффици во Флоренции), историк искусства. Прославился своими «Жизнеописаниями наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550).

Фидий, Апеллес, Витрувий — великие мастера античной культуры. Апеллес — греческий живописец второй половины IV в. до н. э. Писал темперой на деревянных досках; автор портретов Александра Македонского, картины, изображавшей Афродиту, выходящую из воды. Произведения Апеллеса, о мастерстве которого складывались легенды, до нашего времени не дошли. Фидий (нач. V в. до н. э.— около 432/431 до н. э.) — крупнейший скульптор, архитектор и живописец Древней Греции периода высокой классики. Главный помощник Перикла при реконструкции афинского Акрополя. Особенно прославился ко-

лоссальной статуей Афины Промахос (из бронзы) для Акрополя в Афинах (ок. 460 г. до н. э.), а также выполненными из золота и слоновой кости статуями Зевса Олимпийского и Афины Парфенос (эти несохранившиеся шедевры известны по описаниям и последующим воспроизведениям).

Стр. 607. *Карл V* (1500—1558) — император «Священной Римской империи» (1519—1556) из династии Габсбургов; король Испании (Карлос I) в 1516—1556 гг.; мечтал о создании «мировой христианской империи». Покровительствовал художникам. В 1556 г. добровольно отрекся от престола и ушел в монастырь.

Стр. 612. *Козимо Медичи* (1519—1574) — представитель боковой ветви рода Медичи, герцог Флоренции с 1537 г.; объединил всю Тоскану и в 1569 г. получил титул великого герцога Тосканского.

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

(1828—1910)

Историко-философская эпопея Толстого «Война и мир» (1863—1869) стала выдающимся явлением не только русской, но и всемирной литературы. При написании романа Толстым, по его собственному признанию, владела «мысль народная». Вот почему главным героем эпопеи, в которой более пятисот персонажей, стал великий русский народ. В романе действуют не только многие герои, вымышленные и исторические, но затрагиваются судьбы целых народов и государств. Толстому принадлежат и такие шедевры в жанре исторической повести, как «Хаджи-Мурат» и «Посмертные записки старца Федора Кузмича». К сожалению, остался невоплощенным интересный замысел писателя из эпохи Петра I, как и замысел романа о декабристах, к которому он обращался дважды, в 1860 и 1879 годах.

Идея повести о старце Федоре Кузмиче возникла у Толстого еще в 1890 году, но к непосредственной работе над повестью писатель приступил только в 1905 году, так и не окончив ее.

Посмертные записки старца Федора Кузмича

Впервые — Русское богатство, 1912, № 2 (с купюрами); полностью — в 1918 г. в кн.: Толстой Л. Н. I. Хаджи Мурат. II. Посмертные записки старца Федора Кузмича (М. б/г).

Печатаются по изд.: Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22-х томах, т. 14. М., 1983.

Стр. 614. *Шильдер* Николай Карлович (1842—1902) — историк, генерал-лейтенант; автор четырехтомного труда «Император Александр I, его жизнь и царствование» (СПб., 1897—1898).

Стр. 616. *...madame Staël...* — Де Сталь Анна Луиза Жермена (1766—1817) — французская писательница, политический противник Наполеона; провела несколько лет в России в эмиграции.

Фотий (в миру Спасский Петр Никитич) (1792—1838) — русский церковный деятель, друг Аракчеева; в 1822 г. был назначен в сане архимандрита настоятелем Юрьевского монастыря. Оказывал сильное влияние на политику Александра I.

Паррот Георг Фридрих (1767—1852) — физик, профессор и ректор Дерптского университета; был в дружеских отношениях с Александром I.

Крюденер (Криденер) Варвара Юлия (1764—1825) — баронесса, писательница; проповедница мистического учения иллюминатов.

Стр. 617. *Нарышкина* Мария Антоновна (урожд. княжна Святополк-Четвертинская; 1779—1854) — жена Д. Л. Нарышкина, любовница Александра I.

...об убитой чувственной красавице Настасье... — Имеется в виду убийство в 1825 г. крепостными Аракчеева Анастасьи Федоровны Минкиной, его домоправительницы и любовницы.

Я вспомнил о прогнанных сквозь строй семеновцах... — Имеется в виду жестокая расправа над восставшими в 1820 г. частями Семеновского лейб-гвардейского полка, сформированного еще в 1687 г. из потешных войск Петра I.

Стр. 618. *Струменский* (ум. 1825 г.) — унтер-офицер 3-й роты Семеновского полка, прогнанный сквозь строй и умерший вскоре после экзекуции.

Волконский Петр Михайлович (1776—1852) — князь, генерал-фельдмаршал, министр двора, ближайшее лицо к Александру I.

Стр. 619. *Дибич* Иван Иванович (1785—1831) — русский генерал-фельдмаршал (1829), граф (1827); сын прусского офицера, перешедшего на русскую службу в 1798 г.; один из любимцев Александра I. С 1823 г. был начальником Главного штаба.

Шервуд (Шервуд-Верный) (1798—1867) — унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, первым донесший о заговоре декабристов. За это была «пожалована» прибавка к его фамилии «Верный».

Стр. 623. *Чарторижский* (Чарторыйский) Адам Ежи (1770—1861) — польский и русский государственный и политический деятель; князь; один из ближайших друзей Александра I; в 1804—1806 гг.— министр иностранных дел. Во время Польско-

го восстания 1830—1831 гг. возглавлял Национальное правительство, затем был лидером политической эмиграции.

Берейтор — обучающий верховой езде.

Стр. 626. *Лудовик* (Людовик) *XVIII* (1755—1824) — король Франции (1814—1815) и (1815—1824).

Стр. 627. *Потемкин* Григорий Александрович (1739—1791) — русский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, один из руководителей дворцового переворота 1762 г.; фаворит Екатерины II.

Ланской Александр Дмитриевич (1754—1784) — генерал-адъютант, граф, фаворит Екатерины II.

Стр. 628. *Салтыков* Николай Иванович — см. примеч. на с. 773 наст. тома.

Стр. 629. *Голицын* Александр Николаевич (1773—1844) — князь, близкий друг Александра I с детских лет.

Стр. 631. *Пудромант* — накидка, надевавшаяся на голову при пудрении лица.

Левретка — небольшая комнатная собака из породы борзых.

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ КУЗМИН

(1875—1936)

М. А. Кузмин родился в Ярославле, в дворянской семье. Учился в Петербургской консерватории, что несомненно сказалось на его литературном творчестве. Первые публикации Кузмина относятся к 1905 году. В 1910-е годы он, наряду с Н. С. Гумилевым, крупнейший представитель русского акмеизма. С одинаковым успехом Кузмин выступал в поэзии, прозе и драматургии. Его творчество, в основном отмеченное изысканным стилизаторством, можно рассматривать, в определенной степени, как литературный аналог художнической деятельности «Мира искусства».

В 1914—1918 годах вышло в свет девятитомное собрание сочинений М. А. Кузмина. Известен он и как переводчик Шекспира, Апулея, Боккаччо. После революции выступает в основном как поэт (сборники: «Параболы», 1923; «Новый Гуль», 1924; «Форель разбивает лед», 1929). К своим стихотворениям Кузмин иногда писал музыку.

В исторической прозе Кузмина господствуют тенденции стилизации под позднеантичный или средневековый рыцарский роман и под европейскую авантюрно-галантную повесть XVII—XVIII веков. Такие произведения Кузмина, как «Приключения Эме Лебефа», «Путешествие сэра Д. Фирфаркса», «Образчики доброго Фомы», «Подвиги Великого Александра», «Тень Филли-

ды», «Повесть об Елевсиппе», «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» отличались не только остросюжетными хитросплетениями, но и своеобразной эстетикой.

Повесть об Елевсиппе, рассказанная им самим

Впервые — Золотое руно, 1906, № 11—12.

Печатается по изд.: Кузмин М. А. Вторая книга рассказов. М., 1910.

Стр. 633. *Милет* — древний город в Ионии, в Малой Азии. В XIV в. до н. э. это был уже крупный ахейский город. Позднее играл ведущую роль при расселении греков по берегам Мраморного и Черного морей.

Стр. 639. *Массагеты* — кочевые племена в Закаспии и Приаралье, солнцепоклонники.

Киликийцы — жители области в Малой Азии, входившей в течение веков в различные государства — от Хетского царства до Римской республики.

Стр. 641. *Таблетка* — тонкая пластинка или дощечка для письма.

Стр. 642. *Алкейский размер* — стихотворения, написанные размером, которым писал древнегреческий поэт Алкей (VII — вторая половина VI в. до н. э.). Алкеева строфа представляла собой четверостишие, с разным количеством слогов в строке.

Стр. 643. *Тир* — приморский город-государство в Финикии, достигшее расцвета в начале I тыс. до н. э.

Стр. 646. *Вакханты* — спутники древнегреческого бога виноделия Диониса (Вакха) в его пьяных шествиях и оргиях (вакханалиях).

...Ахиллес прял в женской одежде...— Согласно мифу, мать Ахилла морская богиня Фетида, чтобы предотвратить неизбежную гибель сына в бою, спрятала Ахилла на острове Скирос, во дворце царя Ликомеда, где он, переодетый женщиной, жил среди его дочерей (греч. миф.).

Стр. 648. *...Ифигению, приносимую в жертву Агамемноном...*— Дочь Агамемнона Ифигения была в начале похода ахейцев на Трою принесена в жертву Артемиде, но во время жертвоприношения богиня подменила Ифигению ланью, а девушку перенесла в далекую Тавриду, где сделала ее жрицей в своем храме (греч. миф.).

Поликсена — дочь троянского царя Приама, в которую влюбился при осаде Трои Ахилл.

Стр. 650. *Киновье* (Киновия) — общежительный монастырь.

Гермес — древнее аркадское божество, позднее причисленное

к олимпийским богам. Гермес считался богом торговли и вестником олимпийских богов, а также покровителем глашатаев, послов и всех путников.

Стр. 651. *Остия* — гавань Рима.

Стр. 653. *Систр* — древнеегипетский музыкальный инструмент в виде изогнутой металлической пластины с вставленными в нее металлическими прутьями.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН

(1870—1938)

Легендарно-историческая повесть Куприна «Суламифь» (1908) имела большой читательский успех. В жанре историко-аллегорической утопии написан рассказ «Королевский парк» (1911). К исторической тематике Куприн обращался и в годы эмиграции: это рассказы из русской истории XIX столетия — «Царский писарь» (1920), «Однорукий комендант» (1923), «Тень императора» («Тень Наполеона», 1928), «Царев гость из Наровчата» (1933) и др.

Суламифь

Впервые — альманах «Земля», 1908, сборник I (с посвящением И. А. Бунину).

Печатается по изд.: К у п р и н А. И. Собр. соч. в 9-ти томах, т. 5. М., 1972.

Стр. 657. *«Песнь Песней»* — раздел Ветхого завета Библии, состоящий из любовных песен, авторство которых приписывалось Соломону.

Соломон (д р е в н е е в р. Шело́мо) — царь Израильско-Иудейского царства (ок. 965—928 до н. э.) в эпоху его наивысшего расцвета. О мудрости царя Соломона слагались легенды, ему приписывалось авторство многочисленных дидактических и лирических произведений, в том числе книг «Притчей Соломоновых», «Премудрости Соломона», Екклесиаста и «Песнь Песней», входивших в Библию.

Исмар — древнефракийский город.

Персеполь — древнеперсидский город.

В 480 году по исшествии Израиля... — Согласно Библии, евреи до завоевания Палестины находились в фараоновском рабстве в Египте, откуда их вывел пророк Моисей.

Стр. 658. *...пирамид Хефрена, Хуфу и Микерина в Гизехе...* — Пирамиды древнеегипетских фараонов Хефрена, Хеопса и Мике-

рина в городе Гизе (около Каира), построенные в III тыс. до н. э., относились к числу величественных сооружений древности.

Хирам-Авий — упоминаемый в Библии чеканщик и зодчий, один из строителей храма Соломона (см. примеч. к с. 167 наст. тома). Погиб при строительстве храма. В масонском ритуале он стал символической фигурой.

Сидон — торговый город в Древней Финикии.

Певг — ценная порода хвойного дерева.

Ситтим — дерево из семейства акации.

Виссон — тонкая льняная ткань.

Сикль — распространенная на Древнем Востоке мера веса для благородных металлов; впоследствии мелкая монета.

...Тирскому царю Хираму.— Речь идет о Хираме I (969—936 гг. до н. э.), древнефиникийском правителе Тира и Сидона.

Милло — укрепленная часть Иерусалима.

Царица Савская — легендарная правительница древней страны Савы, находившейся предположительно в Южной Аравии.

Чермное море — Красное море.

Стр. 659. *Талант* — самая крупная весовая и денежная единица, распространенная в Древнем Египте, в Вавилоне, в Древней Греции, в Персии и Финикии.

...из страны Офир...— Речь идет об области в Южной Аравии (но, возможно, и в Западной Индии), откуда, согласно Библии, корабельщики Тирского царя Хирама привезли 420 талантов золота Соломону для постройки его храма.

...ассурские и калахские ковры — из древнеассирийских городов Ашура и Калаха (Кальху).

...царя Тиглат-Пилеазара...— Тиглатпаласcар — имя нескольких ассирийских царей; речь идет, вероятно, о современнике Соломона — втором царе этой династии.

Ниневия — древнеассирийский город, расположенный на левом берегу реки Тигр; позже был в течение нескольких десятилетий столицей Ассирии.

Нимруд — город и храм близ Ниневии.

Хатуар — город в северо-восточной части Древнего Египта.

Сикимора — дерево из семейства тутовых.

Кедронский поток — ручей к северо-востоку от Иерусалима.

Кор — древнееврейская мера для жидких и сыпучих тел.

Бат — древняя мера для жидких и сыпучих тел.

Стр. 660. *Баальбек* — древнесирийский город.

Стр. 661. *Астерикс* — редкий вид рубина и сапфира, дающий преломление лучей света в форме звезды.

Стр. 662. *Иосафат, сын Ахилуда...*— Упоминаемый в Библии Иосафат бен-Ахилуд был главным визирем и историографом царя Давида.

Библос и *Акра* — древнефиникийские города.

Борсиппа — древний город близ Вавилона.

Стр. 662—663. *...был он мудрее и Ефана Езрахитянина, и Емана, и Хилколы, и Додры, сыновей Махола...*— Имена легендарных ученых из библейской Книги Царств.

Стр. 663. *Абидос, Саис* — древнеегипетские города.

Мемфис — столица Древнего Египта в 28—23 гг. до н. э.

...тайны волхвов, мистагогов и эпоптов...— то есть мудрецов, магов и прорицателей.

Ваал-Либанон (правильнее Баал) — древнее общесемитское божество солнца, грозы, плодородия, вод, войны.

Астарта — греческое наименование верховной богини древних семитов-язычников, культ которой ведет начало из Вавилона и Ассирии. Считалась богиней луны, любви, материнства, плодородия. Центром ее культа был финикийский город Сидон.

Изида (Исида) — в древнеегипетской мифологии богиня, покровительница плодородия, материнства. По одному из мифов, Изида — сестра и жена *Озириса* (Осириса), бога умирающей и воскресающей природы. Большой популярностью в древнем мире пользовались мистерии в честь Озириса.

Гор — в древнеегипетской мифологии бог солнца, покровитель фараона, сын Изиды и Озириса.

Кибела (Цибела) — в греческой мифологии богиня фригийского происхождения, считавшаяся матерью богов и всего живущего на земле.

Стр. 664. *Хамос* — один из богов моавитян.

Екклезиаст — одна из книг Библии (ок. III в. до н. э.), проникнутая пессимизмом и философским скепсисом. Книга неосновательно приписывалась Соломону.

Молох — в библейской мифологии божество (бог солнца у древних финикийцев), для умилостивления которого сжигались на жертвеннике дети знатных фамилий, иногда заменявшиеся рабами.

Стр. 665. *Себах* (Себех) — в древнеегипетской мифологии бог воды, земли, небесных сил; изображался с головой крокодила.

Стр. 668. *...в колеснице Аминодавовой.*— Имеется в виду колесница, на которой, согласно Библии, древнееврейская святыня («Ковчег завета») была перевезена из дома жреца Аминодава в святилище на горе Сион.

Стр. 670. *Силоам* — пруд в окрестностях Иерусалима.

Стр. 671. *...в зале дома Ливанского...*— Во дворце Соломона, построенном из ливанских кедров.

Берилл — минерал, разновидностями которого являются изумруд, аквамарин, гелиодор, ростерит, воробьевит.

Стр. 672. *Иоав, Адония, Семея* — братья Соломона, убитые по его приказу за их притязания на престол.

Парасанг — принятая на Древнем Востоке мера длины.

Стр. 676. *Динарий* (динар) — золотая монета на мусульманском Востоке; впервые была отчеканена только в VII в. нашей эры.

Иаффа (Яффа) — главный торговый центр и порт Палестины.

...земли Неффалимовой...— Согласно библейскому преданию, племя Неффалимово поселилось в верхней Галилее, близ Тира и Сидона.

Стр. 677. *Драхма* — денежная и весовая единица в Древней Греции.

Стр. 683. *Эфод* (ефод) — накидка с наплечьями из драгоценных камней, одеваемая во время богослужения.

Стр. 684. *Анфракс* (антракс) — разновидность камня граната.

Камень Шамир — древнееврейское название алмаза.

Стр. 685. *Кошачий глаз* — полупрозрачный, с зеленовато-золотым отливом камень халцедон.

Вериллий — берилл.

Стр. 686. *Онихий* — очевидно, оникс, разновидность агата.

Яспис — египетская яшма.

Черный ласточкин камень — темный агат, который, по поверьям, встречается в гнездах ласточек.

Орлиный камень — старинное название пустотелых овальных железняков.

Заберзат — полудрагоценный камень желто-зеленого цвета.

Стр. 687. *Мареотис* — местность Нижнего Египта, район виноделия.

Стр. 692. *Наос* — святилище, где помещалась статуя божества.

Стр. 693. *Сикера* — хлебный напиток вроде пива.

Стр. 694. *Гипостильная зала* — зала с колоннами, поддерживающими потолок.

Обсидиан — вулканическое стекло, очень твердый минерал различных цветов, используется как поделочный камень.

Стр. 695. *Тимпан* — древний ударный музыкальный инструмент, род тарелок, а также литавры.

Систра — см. примеч. к с. 653.

Стр. 699. *Авимелех* — имя нескольких царей, упоминаемых в Библии; здесь человек царской крови.

Стр. 703. *...о чудесах Викрамадитья.*— «Тридцать два рассказа о троне Викрамадитьи» — древние индийские сказания о подвигах царя Викрамы.

Стр. 704. *Скарабей* — изображение в виде жука древнеегипетского бога солнца Хепера; служило украшением и амулетом.

СЕРГЕЙ АБРАМОВИЧ АУСЛЕНДЕР

(1886—1943)

С. А. Ауслендер родился в Петербурге, учился на историко-филологическом факультете Петербургского университета; начал печататься с 1906 года. Выступал как прозаик и драматург, близкий по своей стилизаторской и неоромантической манере М. А. Кузмину. Сборники повестей и рассказов Ауслендера (1908, 1912, 1916 и 1917 гг.) стали заметным явлением в прозе предреволюционной эпохи, в том числе и исторической. Наиболее значительным в творческом отношении был цикл «Петербургские апокрифы», посвященный истории родного города на рубеже XVIII—XIX веков и вошедший в кн. II «Рассказов» (1912).

Историко-авантюрное направление на зарубежном материале в прозе Ауслендера представлено повестью «Некоторые достойные внимания случаи из жизни Луки Бедо» (1908).

В советское время Ауслендер писал детские повести на историко-революционную и историческую тематику. В 1928 году вышел в свет его роман «Пугачевщина».

Ночной принц

(Романтическая повесть)

Впервые — Аполлон, 1909, № 1 (с иллюстрациями М. Добужинского).

Печатается по изд.: Ауслендер С. Рассказы. Кн. II. СПб., 1912.

Стр. 708. *Маркиза Помпадур* — Помпадур Жанна Антуанетта Пуассон (1721—1764), знаменитая фаворитка короля Людовика XV; оказывала влияние на государственные дела. Ее имя стало синонимом влиятельной фаворитки.

Стр. 709. *Оттоманка* — мягкий турецкий диван с подушками, без спинки.

Стр. 710. *Чиновник 5-го класса* — статский советник, что соответствовало в гражданской службе генеральскому чину.

Истомина Авдотья Ильинична (1799—1848) — знаменитая русская балерина. С 1816 г. ведущая танцовщица петербургской балетной труппы. Первая исполнительница партий в балетах на пушкинские сюжеты.

Стр. 712. *Ток* — женский головной убор, круглый, прямой, без полей.

Стр. 716. *...трогательную повесть о прекрасной Джессике и жестоком жиде.*— Речь идет о «Венецианском купце» В. Шекспира.

Стр. 720. *Массоны* (правильно масоны) — см. примеч. на с. 776 наст. тома.

Стр. 720—721. *«Петр к Истине», «Владимир к Порядку»* — названия масонских лож.

Стр. 722. *Долматик* (далматик) — род мантий или накидки — принадлежности одежды при короновании.

Император Павел (1754—1801) — российский император (с 1796 г.), сын Петра III и Екатерины II. Убит придворными заговорщиками. Являлся членом масонской ложи.

БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ САДОВСКОЙ

(1881—1952)

Б. А. Садовской (настоящая фамилия — Садовский) родился в г. Ардатове, в семье нижегородского историка А. Я. Садовского. В 1906 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. В начале века Садовской получил известность как литературный критик, выступая на страницах журналов «Весы» и «Русская мысль», газет «Речь» и «Русская молва». У него выходят сборники критических статей «Русская камена» (1910), «Озимь», «Ледоход» (1916), а также стихотворные сборники «Пятьдесят лебедей» (1913), «Самовар» (1914), «Полдень».

Его сборники повестей и рассказов на историческую тематику «Узор чугунный» (1911), «Лебединые клики» (1913), «Адмиралтейская игла» (1915) стали заметным литературным явлением той эпохи.

В советское время им написана историко-фантастическая повесть «Приключения Карла Вебера» (1928).

Петербургская ворожея

(1818 г.)

Впервые — Русская мысль, 1910, № 3 (с подзаголовком «Эпизод из жизни Пушкина» (1818) и посвящением В. Я. Брюсову).

Печатается по изд.: Садовской Б. А. Узор чугунный. М., 1911. В тексте книжной публикации были сняты журнальный подзаголовок, посвящение Брюсову, а также общий эпиграф:

«И где мне смерть пошлет судьбина?» (Пушкин А. С. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»; 1829).

Стр. 733. Эпиграф — из стихотворения Пушкина «Юрьеву» («Здорово, Юрьев именинник!») (1819).

Запустели совсем веселые кабачки — и Желтенький, и Красный.— Речь идет о популярных в то время среди мелких чиновников и небогатых горожан загородных трактирах.

Чавалы — цыгане.

Стр. 734. *Бланжевый* — тельного, телесного цвета.

«Веллингтоны» — блестящие кожаные сапоги, названные по имени одного из победителей Наполеона герцога Веллингтона.

Граф Алексей Григорьевич Орлов — см. примеч. на с. 773.

Стр. 735. *Половой* — слуга в трактире.

Ментик — короткая гусарская куртка, опушенная мехом.

Юрьев Федор Филиппович (1796—1860) — приятель Пушкина по «Зеленой лампе», лейб-уланский офицер.

Стр. 736. *Аи* — один из лучших сортов французского шампанского.

Сверчок — лицейское прозвище А. С. Пушкина.

Боливар — широкополая шляпа, названная по имени знаменитого освободителя Южной Америки Симона Боливара.

Стр. 737. *Петр Яковлич* — речь идет о П. Я. Чаадаеве (1794—1856), известном русском мыслителе, близком друге юного Пушкина.

Стр. 738. *Оленька Масон* — интимная приятельница юного Пушкина, которой было посвящено его стихотворение, начинавшееся такими строками:

Ольга, крестница Киприды,
Ольга, чудо красоты,
Как же ласки и обиды
Расточать привыкла ты!

...увидимся у Голландца...— Видимо, имеется в виду гостиница и ресторан «Демутов трактир», основанный виноторговцем Демутом, выходцем из Голландии (см. с. 41 наст. тома).

Стр. 739. *Повеса вечно праздный, // Потомок негров безобразный...*— Эпиграфом ко 2-й главе взяты строки из пушкинского стихотворения «Юрьеву» (1821).

Державный великан — Петр I.

Доломан — гусарский мундир, расшитый шнурами и имеющий наплечные шнуры вместо эполет или погон.

Стр. 740. *Петр Павлыч Каверин* (1794—1855) — один из близких друзей Пушкина в 1816—1820 гг.; поручик лейб-гвардии Гусарского полка, известный своими кутежами, член Союза благоденствия; ранее учился в Геттингенском университете.

Клико — популярный сорт французского шампанского.

Стр. 743. *Бойтесь белый конь и белый человек.*— Пушкину, в действительности, было сделано подобное предсказание его судьбы.

Эпиграф к 3-й главе — из стихотворения Пушкина «Друзьям» (1816).

Стр. 744. *Регистраторша* — жена коллежского регистратора, чиновника последнего — XIV класса.

Стр. 745. *Кухенрейтер, Лепаж* — известные оружейные мастера.

Катон (Старший) (234—149 до н. э.) — римский консул; писатель; прославился своей приверженностью строгим древнеримским нравам.

Стр. 747. *Брегет* — карманные часы, названные по имени французского часовщика Брегета (1747—1823); отличались большой точностью, отбивали минуты и показывали числа месяца.

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ

(1873—1924)

Крупнейший представитель русского символизма, В. Я. Брюсов с успехом выступал почти во всех литературных жанрах, хотя наибольшую известность он получил как поэт. В 900-е годы он возглавляет важнейшие органы литературного модернизма — издательство «Скорпион» и журнал «Весы». Однако, постоянно оставаясь в эпицентре новейших литературных течений и поисков, Брюсов постепенно приходит к строгому, классическому реализму. Энциклопедическая образованность Брюсова, названного Горьким «самым культурным писателем на Руси», особенно ярко проявилась в его поэзии и прозе, выразившись в преимущественном интересе к исторической тематике. В его творчестве воскресают образы далеких эпох — легендарной Атлантиды, Древнего Египта, Вавилона и Халдеи, античного мира. Живо интересовался Брюсов и средневековой историей и культурой. Как пишет современный исследователь его творчества, «стихотворный обзор смены мировых цивилизаций от Атлантиды до современности присутствует едва ли не в каждом новом сборнике Брюсова, начиная с «Семи цветов радуги» (Гаспаров М. Л. Брюсов и античность.— В кн.: Брюсов. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 7. М., 1975, с. 543).

Большинство прозаических произведений Брюсова написано на исторические сюжеты. В их числе нашумевший роман на материале немецкого средневековья «Огненный ангел» (1907), монументальная, правда, недописанная, дилогия из древнерим-

ской истории «Алтарь Победы» (1911—1912) и «Юпитер поверженный».

«Рея Сильвия», небольшая историческая повесть, по тематике примыкающая к древнеримской дилогии Брюсова.

Неосуществленным остался грандиозный замысел Брюсова воссоздать образы всех времен и народов в прозаическом цикле «Фильмы веков» или «66 картин из жизни народов различных времен и стран».

Рея Сильвия

Повесть из жизни VI века

Впервые — Русская мысль, 1914, № 6.

Печатается по изд.: Брюсов В. Я. Повести и рассказы. М., 1983.

Стр. 748. *Тотила* (ум. 552 г.) — король остготов (с 541 г.), сражался против византийского завоевания Италии; был смертельно ранен в одной из битв.

Букцина — духовой инструмент, употреблявшийся как сигнальный рожок.

Стр. 749. *...от алчности и ярости Алариха, Генсериха и Рицимера.*— Речь идет об Аларихе I (ок. 370—410) — короле вестготов (с 395 г.), который в 410 г. захватил Рим и подверг его трехдневному разграблению; а также Генсерихе (Гензерихе, Гейзерихе) (? — 477), короле вандалов (428—477 гг.). Он захватил и разграбил Рим в 455 г. Рицимер — полководец Западной Римской империи; во главе войска древних германцев в 472 г. занял и также разграбил Рим. Рицимер — герой незавершенного юношеского романа Брюсова «Грань», посвященного заговору против императора Валентиана III в 455 г.

Велисарий (505—565) — полководец византийского императора Юстиниана; разгромил государство вандалов в Северной Африке; отвоевал у остготов Южную и Среднюю Италию; сражался с иранцами и гуннами.

Ремурия — место на вершине Авентинского холма в Риме, где Рем, легендарный основатель города, совершал гадания.

...алчного византийца Конона...— Речь идет о крупном спекулянте продовольствием в Риме, который был убит восставшими солдатами в 548 г.

Нарсес (Нарзес; ок. 478—568) — полководец византийского императора Юстиниана; армянин, евнух; был малого роста и слабого телосложения. В 552 г. разбил армию остготского короля Тотилы и к 555 г. завершил завоевание Италии Византией. В 555—567 гг. был правителем Италии.

Стр. 750. *Рустициана* — в прошлом богатая и знатная римлянка.

Симмах — философ, государственный деятель при Теодорихе Великом, казненный вместе со своим зятем *Боэцием* (480—524), писателем, философом и богословом, по обвинению в государственной измене.

Бычий форум — древнее название Римского форума.

Домициан Тит Флавий (51—96) — римский император (с 81 г.), последний из династии Флавиев; сын императора Веспасиана. При Домициане были предприняты походы в Британию. Проводил политику заигрывания с римским плебсом. Убит в результате заговора своих вольноотпущенников.

Марк Аврелий (121—180) — римский император (с 161 г.), проводил активную внешнюю политику; одержал победу в войне с Парфянским царством, восстановив протекторат над Арменией и присоединив Месопотамию. Вошел в историю как самый образованный и мудрый из императоров Древнего Рима, что во многом обусловлено его приверженностью учению стоиков. В философском трактате «Наедине с собой» он призывал к моральному самоусовершенствованию.

Стр. 751. *...времена Ореста... правление Траяна...*— Орест — герой аргосских сказаний, сын Агамемнона и Клитемнестры; мстя за убитого отца, он убил свою мать и ее любовника Эгисфа. Миф об Оресте стал сюжетом трагедий Эсхила, Софокла, Еврипида, а также Расина, Вольтера.

Траян (53—117) — римский император с 98 г. из династии Антонинов. При нем были завоеваны Дакия и Аравия (106 г.), Великая Армения (114 г.), Месопотамия (115 г.) и империя достигла своих максимальных границ. Около 114 г. в Риме была воздвигнута знаменитая Траянова колонна в честь побед императора над даками.

Нума Помпилий (715—673/672 до н. э.) — второй царь Древнего Рима; сабинянин из Кур; ему приписывают учреждение религиозных культов и создание жреческих коллегий.

Одоакр (ок. 431—493) — предводитель одного из наемных отрядов в армии западноримского императора, происходил из германского племени скиров. В 476 г. низложил последнего императора Западной Римской империи Ромула Августула, провозгласив себя правителем Италии. Вскоре его государство было завоевано остготами, а сам Одоакр был убит.

Теодорих Великий (ок. 456—526) — король остготов (с 493 г.), основатель остготского государства в Италии.

Стр. 751. *...со дня ее рождения, с первой осады Рима при Велисарии.*— Неточность автора. Велисарий взял Рим

в 534 г. Выше указано, что в 546 г. Марии было 9 лет, т. е. она родилась в 537 г.

Стр. 752. *...второй основатель города Камилл...* — Марк Фурий Камилл (423—364 до н. э.) — римский патриций, полководец; отстроил Рим после галльского нашествия.

Диоклециан (Диоклетиан) (ок. 245—313) — римский император (284—305); провел ряд реформ (назначив себе трех соправителей, разделил империю на четыре части; упорядочил налогообложение; увеличил численность армии и т. п.). При нем усилились гонения на христиан. В 305 г. добровольно отказался от престола.

Ромул Августул — последний император Западной Римской империи (475—476 гг.), свергнутый Одоакром.

...красноречивый Ливий... — Тит Ливий (59 до н. э.— 17 н. э.) — историк, автор «Римской истории от основания города», излагавшей всю историю Рима с легендарных времен до 9 г. н. э. Ливий выступал сторонником старой Римской республики.

Брут — имеется в виду Брут Луций Юний, один из первых консулов Римской республики (VI век до н. э.), или Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — убежденный республиканец, который принял участие в заговоре и убийстве своего покровителя Цезаря, стремившегося установить свою пожизненную диктатуру.

Гонорий (384—423) — император Западной Римской империи с 395 г.

...о величии империи при Феодосии... — См. примеч. на с. 781 наст. тома.

Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.) — поэт «золотого века» римской литературы; прославился своим сборником «Буколики» и особенно поэмой «Энеида», великим эпическим произведением Древнего Рима.

Авсоний Децим Магн (нач. IV в.— ок. 393) — поэт; автор эпиграмм, эклог, идиллий. Брюсов переводил произведения Авсония и написал о нем литературно-биографический очерк «Великий ритор. Жизнь и сочинения Децима Магна Авсония» (М., 1911).

Клавдиан Клавдий (ок. 365 — ок. 404) — поэт конца империи, автор поэм и многочисленных стихотворений; некоторые из них были переведены на русский язык В. Я. Брюсовым.

Стр. 753. *Эней* — мифический родоначальник римлян, якобы спасшийся при разгроме Трои; герой поэмы «Энеида».

Грациан (359—383) — римский император с 375 г.

Палатин — один из семи холмов Рима.

...великого евнуха... — то есть Нерсеса.

Рутилий Клавдий Намациан (конец IV в.— 1-я треть V в.) — последний крупный поэт Древнего Рима, восхищавшийся его прежней доблестной историей.

Копона — по пояснению Брюсова, «виноторговля, где на месте пили вино».

Стр. 754. *Термы Каракаллы* — общественные бани в Риме, построенные в начале III в. и отличавшиеся роскошью. Названы были по имени императора Каракаллы (186—217).

Герулы и *гепиды* — германские племена, вторгавшиеся в «Древнюю Римскую империю».

Базилика св. Петра — храм, построенный в начале IV в. при императоре Константине. Сейчас на этом месте находится современный Собор св. Петра.

Стр. 755. *Веспасиан* Тит Флавий (9—79) — римский император с 69 г. и полководец; основатель династии Флавиев.

Валентиниан I Флавий (321—375) — римский император с 364 г., успешно воевавший с германскими племенами.

Стр. 756. *Богиня Веста* — в римской религии богиня домашнего очага, культ которой отправлялся жрицами-весталками, дававшими обет безбрачия.

Диктатор Сулла — Луций Корнелий Сулла (138—78 до н. э.) — римский полководец и политик, диктатор Рима с 82 г. до н. э. При нем проводились массовые репрессии.

Термы Траяна — общественные бани в Риме, построенные в начале II в. известным зодчим Аполлодором. Свое название получили по имени императора Траяна.

Стр. 758. *...пытающихся освободиться из гибельных объятий.*— Описывается знаменитая древнегреческая скульптурная группа, изображающая прорицателя Лаокоона и двух его сыновей, оплетенных змеями (I в. до н. э.).

Стр. 759. *Константин Великий* Флавий Валерий (ок. 285—337) — римский император с 306 г.; в годы его правления христианство пользовалось официальной поддержкой.

Нерон Клавдий Цезарь (37—68) — римский император с 54 г., вошедший в историю как маньяк и жестокий тиран.

...трогательную сказку о провинившейся весталке Илии или Рее Сильвии...— В этой легенде рассказывается, как дети нарушившей обет весталки были воспитаны волчицей и стали впоследствии основателями великого Рима.

Назон (Насон) Овидий Публий (43 до н. э.— 17 н. э.) — великий римский поэт; конец жизни провел в далекой ссылке на побережье Черного моря. Цитируется его знаменитая поэма «Метаморфозы».

Стр. 760. *...царя Альбы Лонги...*— Речь идет о Нумиторе, потомке Энея и легендарном царе первого латинского города в Италии Альбы Лонги; его дочерью была весталка Рея Сильвия.

Стр. 762. *Градив* — шествующий, один из эпитетов Марса.

Стр. 764. *Пракситель* (ок. 390— ок. 330 до н. э.) — великий древнегреческий скульптор, представитель поздней классики, автор знаменитой «Афродиты Книдской», дошедшей до нас только в копиях.

Стр. 765. *Ихор* — согласно древнейшим греческим представлениям, кровь богов.

Стр. 771. *...полчища диких лангобардов!* — Германское племя лангобардов во главе целого племенного союза в 568 г. вторглось в Италию и образовало раннефеодальное королевство, завоеванное в VIII в. Карлом Великим.

СОДЕРЖАНИЕ

Русская историческая повесть. В 2-х т.
Р89 Т. 2/Сост., вступ. статья, коммент. Ю. Беляева.— М.: Худож. лит., 1988.—815 с.

ISBN 5—280—00095—7 (Т. 2)
ISBN 5—280—00093—0

Во втором томе антологии представлена русская историческая повесть конца XIX — начала XX века. Открывающая сборник повесть В. В. Крестовского «Деды» из эпохи Павла I относится к 1873 г., а завершает его повесть В. Я. Брюсова «Рея Сильвия» из жизни VI в. в Риме, датированная 1914 г. В сборник включены также повести Н. С. Лескова, Д. Л. Мордовцева, Е. А. Салиаса, Л. Н. Толстого, М. А. Кузмина, Д. С. Мережковского и др.

Р $\frac{4702010100 - 381}{028(01) - 88}$ 1 — 88 ББК 84Р1

РУССКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

Том второй

Редактор *Г. Колосова*

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
В. Нефедова

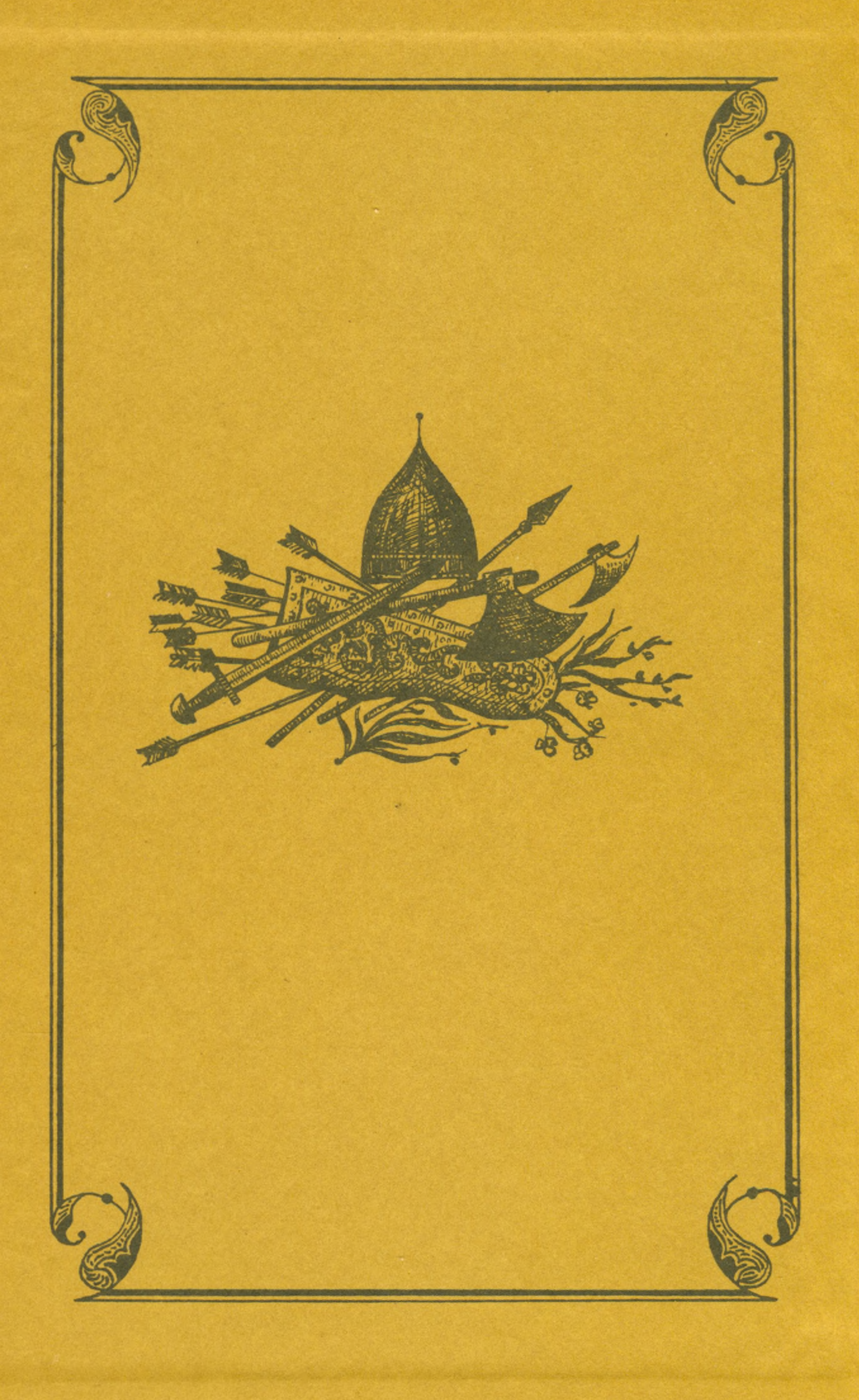
Корректоры
Т. Калинина, И. Филатова

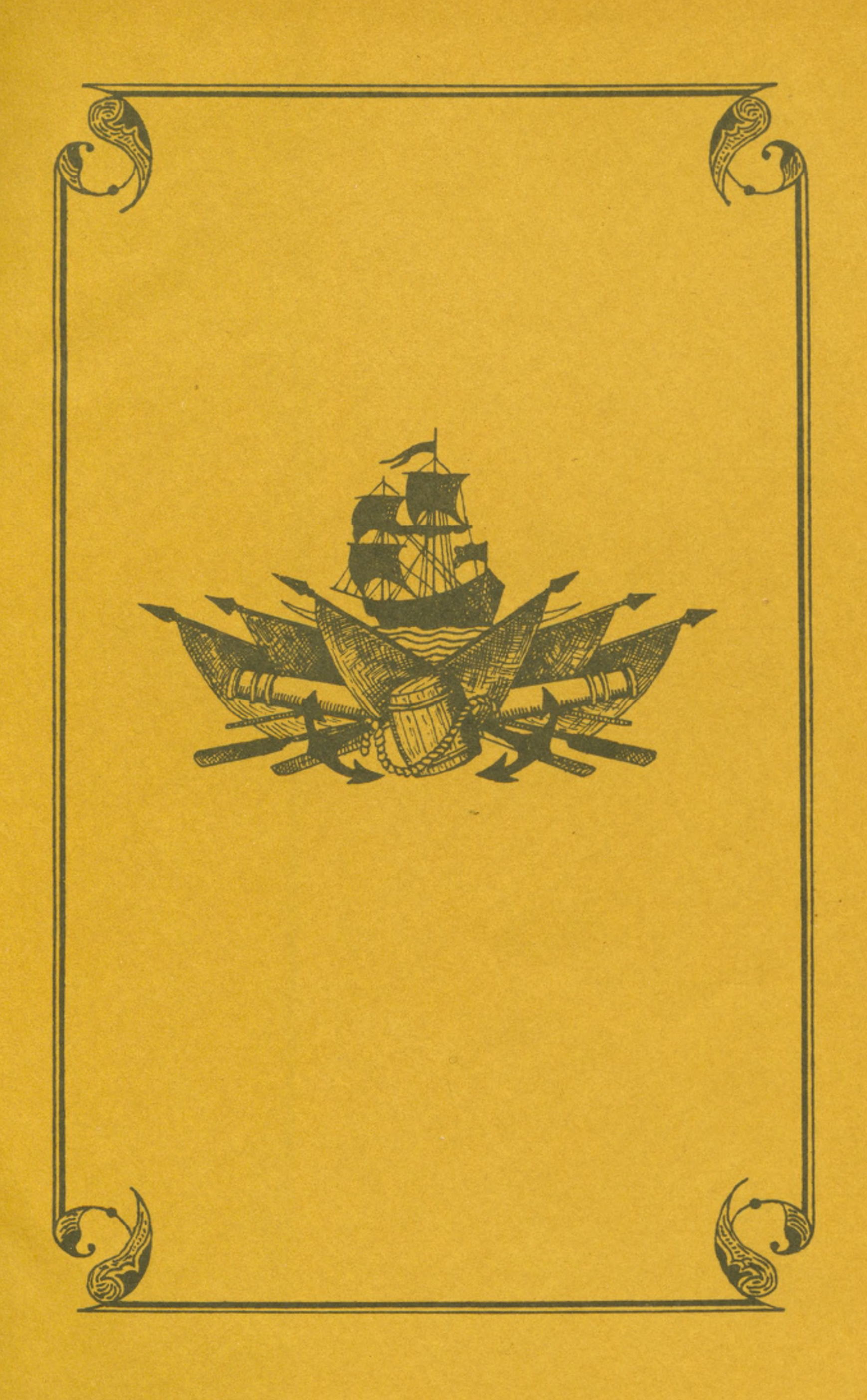
ИБ № 5042

Сдано в набор 05.03.88. Подписано к печати 05.09.88. Формат 84×108 1/32. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 42,84. Усл. кр.-отт. 43,26. Уч.-изд. л. 48,04. Тираж 500 000 экз. (1-й завод 1—250 000). Изд. № II-2701. Заказ 1477. Цена 4 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.






4p